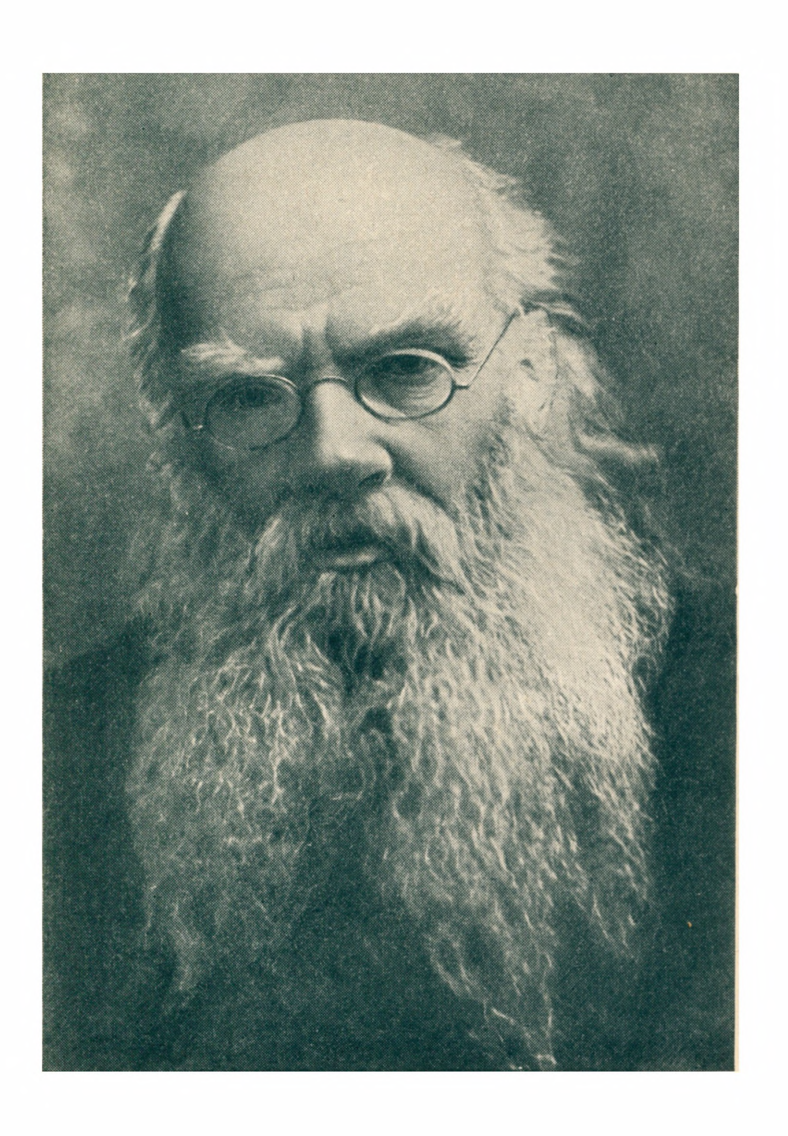
Н. ЗЛАТОВРАТСКИЙ

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ГОСЛИТИЗДАТ

Н. Н. ЗЛАТОВРАТСКИЙ

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ



Н. Н. ЗЛАТОВРАТСКИЙ

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Вступительная статья
А. ЕГОЛИНА

Редакция текста
А. Н. и С. Н. ЗЛАТОВРАТСКИХ

Комментарии
Л. Е. ЦУКЕРМАН

ОГИЗ
Государственное издательство
художественной литературы
Москва — 1947

ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ Н. Н. ЗЛАТОВРАТСКОГО

Николай Николаевич Златовратский родился во Владимире 26 декабря 1845 года в семье бедного чиновника. В конце пятидесятых годов отец писателя участвовал в работах по подготовке крестьянской реформы. В доме Златовратских нередко собирались местные общественные деятели, как-то проездом был и Н. А. Добролюбов.

В 1864 году Златовратский окончил владимирскую гимназию и поступил в Петербургский Технологический институт, в котором, однако, не мог нормально учиться из-за материальной необеспеченности. Он служит корректором, работает в литографии, печатает заметки и статьи в газетах и журналах.

Не выдержав суровой борьбы за существование в столице, молодой писатель оставляет занятия в Технологическом институте и уезжает в 1872 году на родину, во Владимир. Здесь Златовратский пишет «Крестьяне-присяжные» — произведение, доставившее автору литературную известность. В 1877 году он создает повесть «Золотые сердца» — о разночинцах, в 1878—1883 годах печатается его роман «Устои». Умер Н. Н. Златовратский 10 марта 1911 года.

Н. Н. Златовратский формировался в период общественного подъема, когда в центре всеобщего внимания стояла крепостная деревня. Художественная литература той поры разносторонне освещала проблему народного блага, экономического и правового положения крестьян. Крестьянская тема стала одной из основных и в творчестве Н. Н. Златовратского.

В своих воспоминаниях «Как это было» писатель рассказал, что еще в молодости он испытал «жажду света новой жизни», затем провел «ряд голодных годов борьбы за существование, борьбы сомнения с надеждою, веры с отчаянием».

Творческий путь Златовратский начал с сочинения стихов. Первые поэтические опыты, по признанию автора, состояли в «секретном упражнении в писании стишков под Кольцова». Эти «стишки под Кольцова» не сохранились. Находящиеся в архиве Златовратского в Институте литературы Академии наук рукописные стихи[1] написаны под влиянием гениального поэта крестьянской демократии Некрасова, «властителя дум» молодежи шестидесятых годов. Особенно наглядно выступает некрасовское влияние в стихотворениях Златовратского, изображающих безрадостную жизнь крестьян. Таковы, например, стихотворения «Деревенские красоты» и «Ненастье». Наиболее характерным для молодого писателя является последнее стихотворение. Здесь даны типические черты жизни пореформенного русского крестьянства: бедность, мрачные думы, протест против реформы, даровавшей «волю» и ограбившей крестьян.

Вспоминая годы ранней юности, Златовратский писал о своем отношении к поэзии Некрасова: «Это были первые звуки «истинной» поэзии, которые коснулись моего слуха. Я был весь внимание... что-то, казалось, творилось неведомое в моей голове... Мне было и жутко и стыдно; у меня то замирало сердце, то вдруг кровь заливала все лицо»[2].

Ранние стихотворные опыты Златовратского, хотя и не представляющие большой художественной ценности, уже ясно говорят о демократических настроениях молодого писателя. В письме к Некрасову от 9 сентября 1873 года сам Златовратский говорит: «Позвольте просить вашего внимания к прилагаемому стихотворению, которое если не особенно хорошо по выполнению, то может быть не без интереса по содержанию».

В стихотворениях Златовратского звучит призыв к борьбе на пользу общества, протест против обывательщины. Характерно для автора и стремление к пропаганде науки.

Первый беллетристический рассказ Златовратского «Чупринский мир» был опубликован в августовском номере «Отечественных записок» за 1866 год за подписью Н. Череванина. Маленькие рассказы и очерки писатель помещал в «Искре», «Будильнике».

Н. Златовратский не был поэтом, он раскрылся как художник-реалист, именно перейдя к прозе.

Почти все его очерки носили резко обличительный характер.

---

[1] Несколько стихотворений Н. Н. Златовратского опубликовано в книге В. В. Буш „Очерки литературного народничества", 1931, стр. 33—40.

[2] Н. Н. Златовратский, Собр. соч., т. I, СПБ, 1912, стр. 60.

Но эти ранние произведения еще не отличались яркой индивидуальностью.

Повесть Златовратского «Крестьяне-присяжные» — первое крупное его произведение. В этой повести сказались все черты творчества, характерные для писателя-народника. В центре внимания писателя — крестьяне с их нуждами, интересами и запросами. В характеристике героев повести подчеркивается постоянство, нерушимость традиционных крестьянских устоев.

Избранным от крестьян в качестве присяжных заседателей оказывается «народ все идейный», «правильный», «из стариков». Таковы Петр Спиридонов, Савва Прокопов, Лука Трофимов, Еремей Петров, Фомушка.

Златовратский стремится показать единство хозяйственных интересов крестьян, понимание ими громадной роли единого коллектива.

Как и во всех последующих крупных произведениях писателя, в «Крестьянах-присяжных» отчетливо проводится идеализация общины. Крестьяне по-своему рассуждают о преступлении и наказании. Их морально-этический кодекс, все их мысли и представления сложились под влиянием жизни в общине. Сила «мира» подчеркивается на каждом шагу. Авторитет «общества» для крестьян непререкаем. Присяжные-крестьяне во всяком деле исходят из мысли, что подумает «общество», как порешит мир на сходе. Златовратский противопоставляет крестьян-общинников как интеллигентам, так и рабочим фабрик и заводов. Люди «общества», «трудолюбивые земледельцы» недоверчиво относятся к «фабричным»

Жизнь и судьба Петра Недоуздка иллюстрирует пагубное влияние фабрики на человека. Недоуздок, когда оставил крестьянское хозяйство, «мотался по фабрикам года два; шлялся по кабакам, играл на балалайке, пил, плясал трепака». И только вернувшись в деревню, он опять стал «степенным, рассудительным, хозяйственным мужиком».

Златовратский находит разницу в мировоззрении крестьян-общинников и крестьян-собственников. Все внимание и все симпатии автора на стороне крестьян-общинников. В общине, по мнению писателя, крестьяне равноправны, здесь беспомощный труженик находит поддержку и опору. Полнее всего эти свои сокроенные мысли Златовратский выразил в отрывке, не вошедшем в печатный текст произведения.

Углубляя свои наблюдения над жизнью деревни, Златовратский отмечает процесс диференциации крестьянства. Писатель констатирует выделение из общины крестьянина-собственника и рисует четкий образ кулака.

Эта тема классового расслоения деревни получает освещение в драме «Устои», названной писателем «опытом народной комедии». Произведение не было напечатано и сохранилось лишь в рукописи.

Вскоре автор переделывает драму «Устои» в роман того же наименования. В 1878 году в «Отечественных записках» появляется первая часть романа, а продолжение ее выходит в 1880—1883 годах.

Роман «Устои» является основным произведением Златовратского. Развивая излюбленные мысли об общине, о перестройке действительности в духе народнических мечтаний семидесятых — восьмидесятых годов, писатель выступает в «Устоях» «беззаветным романтиком». Но наряду с утопическими общинными идеалами Златовратский рисует и конкретные явления жизни, создает правдивые характеры: «правда жизни» ярко и полнокровно выступает в его романе, как и в других произведениях, которые содержат познавательный материал огромного социального значения. И в этом сила Златовратского.

Роман «Устои», по выражению П. Н. Сакулина, — «величавая эпопея борьбы старой и новой деревни». Заслуга Златовратского состоит в постановке насущных вопросов социально-экономической жизни России. Резко отрицательно писателем оценивается реформа 1861 года. В результате реформы крестьянство оказалось разутым и раздетым; сказкой об одной рубахе на двоих писатель говорит об ограблении народа.

В романе содержится много ценных наблюдений писателя-художника, во всех деталях изучившего пореформенную деревню. Златовратский занят рассмотрением конкретных условий крестьянской жизни в изменившейся обстановке после 1861 года. Недаром роман «Устои» носит подзаголовок «История одной деревни».

Интересное определение роли Златовратского в изображении деревни дает старый революционный деятель С. И. Мицкевич: «Думаю, что Златовратский не был правильно оценен критикой. Создалось мнение, что он «обсахаривал мужика». А между тем, его «Устои» являются реалистическим художественным произведением, в котором представлены разные слои деревни: беднота, маломощные середняки, зажиточные «хозяйственные» мужички и разные типы кулаков, представлена драматическая борьба этих групп, на которые разложилась тогдашняя русская деревня. По силе и глубине изображения русской деревни того периода нельзя указать другое равное произведение в русской литературе».

Златовратский признает, что окончательно отжили дедовские начала. «Унес с собой старый в гроб райскую тишину из гнез-

да», — замечает Феклуша своему собеседнику Строгому, рассказывая о новых явлениях в семье Волка, обитателя деревни Дергачи.

Вопреки своим ортодоксально-народническим убеждениям, правдиво изображая действительность, Златовратский создает картину распада «устоев». Волчий поселок разложился, общинные порядки рушатся. В Дергачах развертывается классовая борьба. Выставленное на самочинном сходе требование всеобщей «поровенки» не проведено в жизнь.

Вполне правдиво изображает Златовратский и вопрос о взаимоотношениях крестьянства с интеллигенцией. Писатель увидел и без всяких прикрас изобразил их взаимное непонимание и даже отчужденность. В письмах Лизы, сельской учительницы-народницы, показана та пропасть которая разделяла интеллигенцию и народ в семидесятые годы. Обрисованы также и индивидуалистические стремления кулака Петра противостоять «правде» интеллигенции. Эпилог «Устоев» так и назван: «Две правды». С неподдельной грустью, с щемящей болью писатель-романтик вынужден был рассказать о разбитых надеждах, утраченных иллюзиях народнической интеллигенции.

«О, сколько переменилось уже с тех пор этих Лиз!.. Но не они, а все еще Пиманы и Петры заполняют собой мужицкую душу... Вот и Ваня Петров такой же, Вася Гурин, и Петя Гущин, и... и... очень, очень много их... И из этих чистых, светлых, робких и добрых душ образ бедной учительницы Лизы, проведшей здесь с ними лучшие молодые годы, сотрется еще быстрее, чем они успеют забыть преподанную им грамоту. Зато Пиман крепко и прочно засядет в их душе».

Златовратский показал образование особых поселков из собственников-крестьян. Хотя в новом поселке удержалась еще дергачевская «общинная традиция» в одинокой келье Ульяны, сестры выселившихся братьев Мосевых, но Волчий поселок уже никогда не может превратиться в прежнюю общину.

Кулаку Петру противопоставлен батрак Ефим, представляющий собой массу батраков. Эта глава называется «Ефимы». Характеризуя батраков Ефимов, писатель отмечает, что на них лежит целое ярмо обязанностей, долгов. В романе показано, как Петр и Ефим идут в разные стороны: один богатеет, другой разоряется, нищает. Ефим привязан к своей семье, проживающей от него вдалеке на «соломенной замухрястой деревенской улице». Но Ефим удручен бедностью: он вынужден «ежедневно считать по вечерам и даже ночам харчи, часы, гривенники, пятиалтынные и двугривенные».

Дергачевские крестьяне без обиняков называют Петра «кулаком», проклинают его как «кровопийцу». «Мораль» кулака излагается в таких словах: «Слабому и глупому не потакай, сильному да умному поддавайся. Вот тебе и вся недолга!..»

Петр действует в одиночку. В отличие от крестьян, «мирских людей», «живших общинными инстинктами», Петр держится «особнячком». «Так-то оно лучше. Ни ты ни к кому в душу не лезешь, ни в твое расположение никто носу не сует».

Петру кажется нестерпимым «смиренство» и «приниженье» деревенских людей. «Тоже и мы люди! Чем мы других хуже?.. Нужно-с тоже и свою гордость иметь!» — рассуждает Петр.

Хотя Златовратский всюду подчеркивает силу кулака Петра, у которого «все вперед удумано», тем не менее его симпатии всецело на стороне старой деревни. Писатель является горячим сторонником и пропагандистом общинных начал, противопоставляет Петру «мирских людей», идеализирует старика Мосея, «мужика-эстетика», «влюбленного» в «березовую барскую рощу», чуждающегося города, так как там «греха много».

Петр характеризуется как человек без души, у него, по определению Филаретушки, «прострел в сердце». Зато с трогательной любовью Златовратский описывает мечты Филаретушки, в которых явно идеализируется «умственный мужик», «носитель» новой деревенской правды. Эти иллюзии Филаретушки и составляют «слащавую романтику» (М. Горький) Златовратского, которая является слабостью писателя. За такие надуманные картины Глеб Успенский назвал Златовратского писателем «шоколадного мужика».

Ленин писал о народниках, что они поставили вопрос о капитализме, но решить его не могли, больше того, они создали реакционное учение о народническом социализме.

Н. Златовратский, как романтик, ошибался в своих думах о народе, но он искренно болел за неустройство его жизни и всеми своими помыслами, умом и сердцем стремился помочь народу.

А. Еголин

КРЕСТЬЯНЕ-ПРИСЯЖНЫЕ

Повесть

Глава первая

ПО ПУТИ В ОКРУГУ

I

Напутствие

К началу ноября пришла очередь выставить присяжных в «округу», — так у нас называют окружный суд и вместе губернский город, — за подгородными волостями уездного городка П., лежащего в палестине, омываемой водами Оки и ее притоков. В их числе была и Пеньковская, от которой на этот раз «в череду» значились: Лука Трофимов — мужик обстоятельный, уже раз бывший присяжным, значит, в таком деле советчик первый, Петр Спиридонов да Савва Прокопов, Еремей Петров да Еремей Горшков — народ все хозяйственный и в летах умеренных; из стариков только один и попал Фомушка, да и то занесли его в очередные списки в последний раз, по нужде, за сына: избу сыну нужно править, лес возить, погорели они несчастным делом. Потом значились: Дорофей Бычков, мужик базарный, ловкий, и Петр Недоуздок, крестьянин «правильный», богобоязненный и даже состоявший в недавнее время сотским.

Приказали на Михайлов день собираться. Порешил мир на сходе: считать по три пятака на брата в день. На подводы не полагается, потому до своего города можно пешком дойти, а там по шоссе — как ни то со

Христом, а где и с обозами, при случае. А лошади дома нужны лес возить, да и содержание их в городе дорого стоит.

В Михайлов день очередные собрались в волостное правление, совсем снарядившись в путь: мешки за спины подвязали, в них бабы по обменке положили, по рубахе да по портам, и потискали ржаных кокурок на сметане; к мешкам пристегнули лапти и сапоги, по паре.

— Ну, братцы, пора уж... Неравно поторапливайтесь. Беда, слышь, запоздать. Штрафы берут, такие штрафы, что и казны всей нашей нехватит. Вот что! — говорил старшина. — Вы не смотрите на шабринских: они на подводах едут. Вишь, их Гарькины везут всех гуртом на фабричных конях!

— За что ж бы это они их ублажают, Парфен Силыч? — любопытствовал Недоуздок.

— Ну, уж это кто их знает. Не наше это, почтенные, дело... Да и вам мой приказ: коли что ежели и прознаете, так молчок. Наше, мол, дело сторона.

— Знамо, сторона... Мы по себе.

— Наше дело молчок. Так-то-сь! А то там, в округе, народ до всего дошлый... Обчество, братцы, берегите, чтоб за вас ответу не было.

— Как можно обчество!.. Ежели что — нас же накажете.

— Это так, к слову... Да еще присмотр за собой ежечасно имейте, оглядку вокруг себя... Ты, Лука, знаешь... Потому будете там у всех на-чеку, а народ там тонкий, во всем будет от вас ответа ждать. И чтоб нам, почтенные, ни против людей, ниже против господа дураками себя не оказать.

— Зачем дураками оказываться!

— Да еще, господи сохрани, не прохарчитесь как ни то на винище на подлое... Сдерживайтесь как можно. Деньги у нас, братцы, не очень вольные.

— Зачем баловаться!

— А то как бы нам с вами, судьями, после не поссориться. Да и еще приказ: коли ежели где в трактире али в харчевне будете, всего наипаче старайтесь молчать и ни с кем, а более с приказными да ходоками зубы не точить.

— Слушаем, Парфен Силыч.

— Ну, и господи благослови! — сказал старшина и, встав, перекрестился.

— Благослови царь небесный, — ответили пеньковцы и тоже покрестились.

— Ну, вы, судьи, получай свои-то паспорты! — крикнул писарь и роздал повестки.

— А чем не судьи, Хрисанф Потапыч?

— Лапотники первый сорт! лыком шиты!

— Годи мало: сапоги сошьем, не ты один в сапогах ходить будешь.

— Того и жди. С нас снимете да себе наденете. Кто у вас артельный?

— Лука артельный у нас. Он ходил в череду, знает порядки.

— На́ вот, получай; ты принимаешь — на тебе и спрос будет.

Лука Трофимыч принял харчевые деньги, собрал повестки и вместе на груди в кошель завязал.

— С богом! А ты, Лука, посматривай за Недоуздком-то! — крикнул им вслед старшина, — попужайте его там, братцы, судьбищем-то... А коли что, так мы его после и лозой — судью-то!

Что же это за «юридические лица» были все эти Луки, Петры, Еремеи, которых еще можно лозой вспрыскивать? Все они были, прежде всего, трудолюбивые землепашцы, принадлежали к тому великорусскому типу, который отличается крупными чертами лица, ростом более среднего, шагистою и несколько развалистою походкой, серыми или бледноголубыми глазами и белесовато-рыжими (двушерстными) бородами. Все они большие любители говорить и слушать разные сентенции, вроде того, например, что «мужику баловаться нельзя; мужика за баловство знаешь, как надо... Мужик—что бык...» Все они более легковерные художники, чем строгие мыслители, и хотя, прежде чем на что-нибудь решиться или решить какое-нибудь дело, долго носятся с ним, думают, исследуют со всех сторон, но вдруг, утомившись, бросают все свои длинные подготовительные изыскания и произносят решение, иногда совершенно противоположное всем добытым предварительными изысканиями результатам, но зато согласное с их душевным настроением. Они впечатлительны; в них заметна склонность решать дела «по

душе», а не по хитросплетенным измышлениям. Все это кладет на их характер печать добродушия. Эти общие свойства прилагались к нашим пеньковцам в разнообразных степенях: в одном преобладает долгая, упорная вдумчивость — «семь раз примерь»; другим, напротив, овладевает всецело вдохновение, и он живет «наитием минуты». Первый, по понятиям пеньковцев, будет считаться «мужиком основательным, правильным», второй — «неосновательным». Лука Трофимыч известен всем за самого основательного, или иначе «обстоятельного» мужика. На печь он никогда не завалится, не увлечется ни делом, ни бездельем; все у него идет ровно: есть дело — он делает его не торопясь, основательно, толково, нет дела — он ходит с топором вокруг избы, в огороде — там стукнет, тут потешет, в другом месте скрепит. И везде у него крепко, плотно. Посторонним влияниям поддается он туго, осторожен, даже недоверчив; ходит в высокой шляпе грешневиком. Но при всем том с этим же Лукой Трофимычем случилось раз такое дело: облюбовал он сруб избяной; долго всматривался в него, долго уговаривался с владельцем; казалось, взвесил все, обдумал — и дело приходило к концу. Но тут кто-то, по дороге в город, заехал к нему в гости и, между прочим, заметил, что он бы, пожалуй, продал «хорошему человеку» и лошадь, и упряжь, и телегу. «А что? пожалуй бы, я и купил, — сказал Лука Трофимыч. — Хоша мне и не очень нужно, да конь приглянулся, и человек-то ты хороший». Через десять минут Лука Трофимыч выложил половину денег, назначенных на сруб, а о нем и не вспомнил. Потом сам же добродушно подсмеивался и над собой, и над владельцем сруба: «Да вот поди ж ты, братец... кто знал? Вот мы полгода, почитай, с тобой сговаривались, а дело-то как вышло»... Но это нисколько не мешало Луке Трофимычу считаться мужиком основательным. Недоуздок — другое дело. Мужик он из наших пеньковских очередных самый младший: ему лет тридцать с небольшим. Мужики говорили, что и самое «обличие» показывало в нем «необстоятельного» мужика: у него русая, кудрявая, окладистая бородка, широкий, открытый и вечно улыбающийся рот, постоянно показывающий белые здоровые зубы; маленькие смеющиеся серые глаза; на русых, кудрявившихся, под скобку, волосах

носит он картуз, который лежит на них, как на форме. Идет «обстоятельный» мужик, задумчивый, сердитый, повеся длинную бороду, посмотрит на Недоуздка и не утерпит, чтоб не сорвать: «Ну, чего оскаляешься? Чего любо?» И Недоуздок тут и разольется над ним самым добродушным хохотом, хотя он прежде и не думал смеяться. Репутацию «необстоятельного» получил Недоуздок за свою впечатлительную и порывистую натуру и действительную «необстоятельность» своего характера. Как-то уж совсем он жил «под наитием». Парнем он был самый веселый, самый разбитной малый: ни один вечер, хоровод, посидки, свадьба не обходились без него; его всегда приглашали в дружки, так как никто не умел заразить всех таким добродушным весельем. «И рожа-то у него, что у скомороха», — говорили обстоятельные мужики. А скоморох, когда ему минул девятнадцатый год, встретился с одним купцом. Купец этот был полуидиот, полуаскет, постоянно ходил в церковь, ставил свечи, крепко стукал лбом в кирпичный пол; на суставах пальцев на руках и на коленях образовались у него большие мозолистые наросты от поклонов. Это поразило Недоуздка, он сошелся с ним — и скоро нельзя было узнать парня; бросил пирушки, девок, хороводы, даже свою возлюбленную, которая с отчаяния скоро сошлась с другим, и стал «церковником»: читал псалтирь, звонил в колокола, целовал у попа руку и раздувал кадило; стал поститься, много молиться. Купец собирался итти в монастырь, и Недоуздок собирался «посвятить себя богу». Купец действительно ушел в монастырь, а Недоуздок сейчас же после этого вернулся к пирушкам, к хороводам и как ни в чем не бывало потребовал своих прав: и от свадеб, и от сверстников, и даже от своей возлюбленной, которую принудил выйти за себя замуж, отчего и устроил не очень красивую семейную жизнь. Он не мог себе представить, почему она его могла разлюбить. У них поначалу шли с женой такие разговоры: «Ориша, — скажет Петр, — подь сюды... Сядь... Ну, ведь ты врешь, что ты меня разлюбила? а? Врешь ведь?» — «Мне что-ка! — запевает Ориша, — все одно: ты мне муж». — «У, дура! Поди прочь!» Он стал мечтать, как бы ему жениться на другой, а эту жену отдать своему сопернику, допрашивался, нет ли таких подходящих законов, но их не ока-

залось. «Умрет, тогда женись, — говорили ему, — вот тебе и все законы, — располагайся». Но Петр не хотел смерти жены. Впрочем, мало ли что могло случиться «под наитием» и что могла наделать поселившаяся в голове мысль. Он мечтал уйти куда-нибудь, взять у старосты свидетельство, что жена умерла, и жениться на другой и пр. Но тут дела повернулись неожиданно: кто-то сказал ему, что житье на фабриках веселое и привольное. Он, недолго думая, бросил хозяйство, жену и ушел. Мотался по фабрикам года два; шлялся по кабакам, играл на балалайке, пил, плясал трепака. Он забыл о жене, та — о нем. Она оказалась ловкою бабой: забрала хозяйство в руки, взяла батрака и вместе с ним «подымала» землю. Но вдруг пришел Петр и потребовал признания всех своих на время отчужденных прав, — «к закону вернулся», — как говорили мужики, сделался степенным, рассудительным, хозяйственным мужиком. Только свои и знали, как он заставлял и жену «вернуться к закону».

Лука Трофимыч и Недоуздок шли впереди. За ними следовали прочие «хозяйственные и правильные мужики». Только Фомушка (по списку Фома Фомин), это воплощенное смирение, плелся сзади всех.

Шли присяжные бойким и частым шагом, молча. Верст за пять от волости сиверком понесло с полей. Дорогу стало заметать, словно мучною пылью, мелким снегом. За полушубки, за воротники пробивала стужа к телу. Пройдя верст семь, путники остановились.

— Ишь ты как, братцы, заметает. Того и жди, что разыграется...

— Вьюжит... Кафтанишка-то, парни, у меня не очень чтоб хорошо приспособлен. Дырявит! — печалился Фомушка.

— Когда б засветло в слободу поспеть.

— Где поспеть? Сугробно.

— На печь бы, братцы, важно теперь, али бы на полати забраться, — мечтал Недоуздок. — А то, глянь, какая подымается мятлица. Неровно закоченеешь. Валенки-то, вишь они, поистерлись. Хорошие-то жене покинул. Жалко стало, — истаскаю, думаю.

— Все мы тоже не очень чтоб в какие заморские меха-то разодеты. Эк ведь господь наслал за грехи наши. Хоть бы пообождать денек-другой.

— Нельзя. У судей все по срокам.

— И то. Не застаивайся, братцы. Нехорошо в экую божью волю.

Присяжные обернули головы платками и опять бойко двинулись вперед.

Снега наносило все больше и больше. Хотя времени было еще немного, но становилось заметно темнее. Лес вдали зачернел. По ветру волчий вой донесся. Влево стали показываться едва заметные придорожные елки.

— Вон путина-то. Способней теперь будет итти-то. Тракт многоезжий, — заметил кто-то.

По большой почтовой дороге итти стало легче; но и она была пустынна: никто не обгонял их. Вот кто-то где-то свистнул. На свисток еще ответили. Присяжные пошли уже не гусем, а кучей.

— Это *он* балуется. Любит он экую пору, — заметил один Еремей.

— Нет, это не он. Это овражники, — сказал Лука Трофимыч.

— Много, слышь, их здесь.

— Много, фабрики все кругом. Народ баловень... Народ оттябель кругом их селится. Днем-то их не видать, а вот по ночам так знатно закучивают. По слободе у них, как ночь, так и пойдет гульба. Позапрошлым годом такого молодца мы судили. Рассказал всего. Много, говорит, нас. Другой раз, говорит, на фабрике-то месяца по два расчета не дают, а то без муки сидим. Ну, и собираемся в слободу. А там есть коноводы такие: сейчас это тебе водки дадут на голодное-то брюхо. И денег предложат, только, говорят, по ночам на дорогу выходи. И идем, говорит, — кто в сигнальщики, кто в досмотрщики, кто в передатчики...

В это время кто-то промчался верхом, обогнал их, круто осадил лошадь, оглянул молча, свистнул и, обернувшись назад, скрылся в кустарник.

— Это, должно, из них, — досмотрщик.

— Они нас не тронут, — заметил Недоуздок.

— Что так?

— Не тронут. Мы судьи.

— А почем им знать?

— Как не знать! Кто в эту пору из пешеходов гурьбой ходит, кроме нас! Богомолы по зимам не ходят;

на заработки тоже не ходят, а коли и ходят, так в экую пору по своей воле не пойдут, — не срочные.

— Это так. А что ж бы им нас и не тронуть? Разве они нас боятся?

— Судей бояться им нечего. Нет, они судей не боятся, потому — что́ им судьи? Они станового боятся. Ну, а все же судью ублажить им чем ни то нужно. С судьей ему, гляди, прилучится встретиться. Нехорошо, по совести, судью обижать.

— Нет, они нашего брата не обидят, — подтвердил Лука Трофимыч. — Рассказывал тот парень: нам, говорит, понапрасну людей обижать не́почто, мы сами по горькой нужде идем. А там, говорит, как пустят фабрику в ход, заработки, харчи выдадут, — мы и опять работать... Плачет паренек-то, говорит: я было в покаянье пришел, — очень уж, вишь ты, душа-то стала тосковать от такого беспутства, — а они ж меня, дурака, и выдали.

— Дурака! А их не поймают, выходит, умников-то?

— На то он и умник... Умник-то в лисьей шубе ходит.

— Ну, и что ж, Лука, вы этого парня?..

— Оправили... О господи, господи! — вздохнул Лука и помолчал. — А гляньте-ка, ребята, — огни! Это в слободе!

— Это волки!

— Где волки! Вишь вон и колокольня мерещится будто...

— Поддай, братцы, ходу, — крикнул Недоуздок, — печка близко! Здорово знобит!

Присяжные прибавили шагу. Слобода была близко.

II

Присяжные на ночлеге

Наступила ночь. В слободе уездного города П. кое-где мелькали еще сквозь занесенные снегом окна мутные огни. Где-то выла собака. С одного постоялого двора по снегу бегали через улицу из-под подворотни длинные тени и лучи: кто-то ходил по двору с фонарем. Слышно фырканье лошадей.

— Осторожней с огнем-то... вы! — кричали из глубины двора.

— Мы осторожны... не впервой.

— То-то. Полуношники. Сожжете, — с вас взыски-то какие!

— Ну, не очень важны хоромы-то... Може, выплатим старыми лаптями...

— О, гужееды-зубоскалы! Сами бы нажили... Век изжили в одних портках, так не знаете, каково она, нажива-то, дается.

Присяжные, все занесенные снегом, подошли через сугроб к воротам и стукнули железным кольцом.

— Кого там еще в экую ночь носит?

— Ночевать бы, — откликнулись присяжные.

— Эко ночевальщики какие проявились! — огрызался голос со двора. — Куда это ветер гонит?

— В округу.

— Пешие, чай?

— Пешковые мы.

— Проходите дальше... Проходите... Местов у нас нет... Какие такие с вас барыши?.. Проходите в харчевню.

— Полно-се, ты старый! Уймись! Загрызла тебя корысть-то! — крикнул женский голос из избы. — Куда их гонишь в экую погодь? Где они будут харчевню искать теперь?

— Ну, умны стали, — проворчал кто-то и стукнул дверью.

— Много ли вас? — спрашивал тот же женский голос за калиткой.

— Восьмеро.

— Много. Тесно будет... экое дело!.. Возчики еще у нас стали, порожняки... Разве потеснятся.

— Мы потеснимся. Не важно привыкли спать! — откликнулись голоса со двора. — Пущай!

— Ступайте, родимые, ступайте... Да снег-то отряхните на воле. Намочите, — говорила женщина, отворяя калитку.

Присяжные вошли в избу, в которой по лавкам укладывались возчики; они, видно, только что поужинали. Работница собирала со стола посуду.

— Раздевайтесь, ро́дные, — говорила, входя, хозяйка, — посушитесь, а вы, возчики, потеснились бы.

— А кто будете? — спросили возчики.

— Чередные будем.

— Присяжные?

— Они самые.

— Ну, ну, грейтесь... Места будет... Всем хватит.

С печи послышалось ворчанье:

— Эка напустили побиральцев... Гольтяпы — какая арава.

— Полно, уймись...

— Спи, старичок, со Христом; мы не обидим.

— Поужинать что будете? — спросила хозяйка, полная, с грудью-козырем, расторопная баба.

— Нету. У нас деревенское есть. Кокурками бабьими побалуемся. Тоже бабы наделили как быть, — любят.

— А то поели бы. Щи вот остались. Я ничего не возьму. Знамо, люди из повинности. В городе тоже, поди, четырнадцать дён прожить придется. Изъянно.

— Харчевито.

— Харчевито — что̀ говорить! Похлебайте.

— Приживальщики! — ворчал голос с печи.

— Вот оно у меня, дитятко-то, — заметила баба. — Правду говорят, что малый, что старый — все одно.

— Мы, коли что̀, поплатимся за щи-то. Наливай. Знатно оно с морозу-то. Зябко было.

— Как не зябко! Погрейтесь.

Работница поставила щи на стол.

— Где у нас гроза-то? Ай унялась? — спрашивали вошедшие со двора с фонарем возчики.

— На печке гроза-то. Оттуда гремит, — отвечала хозяйка.

— Ну, ну! Гремит еще? Грозён.

— Хозяин будет? — обратились присяжные к хозяйке, кивая на печку и залезая за стол.

— Нету. Отец. Блажной — не приведи господи...

— Нехорош стал отец — в гроб пора. Нажил добра — теперь довольно! — ворчал старик.

— Вот он на вас, на судей, больно сердит.

— Ой? Что так?

— Да вот года три тому назад штрафовали его. Тоже вот в череду был: повесткой вызывали. «Куды, говорит, еще в город ехать?.. Какой такой суд с мужиками — что за мода? Брось, вишь, хозяйство да судить ступай. Мало там их, приказных-то? Модники! Какой, говорит, я такой судья-мужик? Народу только балов-

ство. Воры-то насмех подымут...» Ну, и не ходил; двадцатипятирублевкой штрафовали. С того и сердит... А хозяин мой тоже в череду. С вами, мотри, будет. Уехал позавчера.

— Мотри, с нами будет.

— Так думать нужно. Что поделаешь? Ваше дело подневольное. Убыточно оно, точно... да, толкуют, для души хорошо. Вы как?

— Это об чем?

— А вот говорят: для бога очень хорошо, для души. Из вас кто был ли в череду-то?

— Были, — откликнулся Лука Трофимыч.

— О! так скажи-ка ты мне об этом. Уж я и буду спокойна.

— Это об душе-то тебе сказывать?

— Да, да... Об ней-то ты мне сказывай. Хозяин, признаться, тоже не хотел ехать, да поп уговорил. На этом и согласился. А то говорит: «Боюсь я, говорит, баба, этого самого суда». Да чего, мол, тут, Спиридон Иваныч, бояться? Не ты один. «Так-то так, говорит, а все же как это подумаешь, так тебя будто в зноб бросит... Перцовки, говорит, коли неравно что, перед судьбищем-то выпью».

— Это так, так, — заметил один из возчиков, — по себе знаю, помогает чудесно. Я ее, перцовку-то, вò как уважаю. Однова̀ настудился я. В за́жору, братцы, попал совсем, и с возом. Та̀к думал: «Ну, больше, мол, Петруха, не жилец ты...» А еще оженился недавно только. Жалко было бабу... Да перцовки, братцы, выпил это с фершалом штоф, ну, и опять хоть снова в за́жору полезай.

— Да ты это к чему сказывал о перцовке-то? — переспросила хозяйка.

— Это я к себе...

— А кто тебя просил? Ты слышь, я рассказываю: на хозяина, мол, страх напал. Говорит: «Мотри, кабы после-то совесть не заклевала». Я вот к чему... А он об за́жорах.

— Всякому свое мило, — заметил возчик и улегся на лавке, подостлав тулуп.

— Так я вот об этом-то... Как ты скажешь... Бывалый ведь ты? — обратилась хозяйка к Луке Трофимычу.

— Ну, об этом как тебе говорить. — Лука Трофимыч

затруднялся и продолжал смущенно: — Дело точно будет, так сказывать надобно, доброе... Да во всем нужно с рассудком... А пожалуй, и так скажем, что как ежели по человеку...

— Да, да... Без рассудка долго ли до греха. А все ж за благодушного-то судью бога помолят.

— Помолят. Это будь спокойна, хозяйка, — заговорил один из возчиков, подходя к столу. — Да вот как помолят-то, я вам скажу... Ты, что ли, в судьях-то был?

— Я был.

— Ну, так вот... Я, может, тебя за твое-то благодушие во как бы отблагодарил, кабы в силу было... Так вы меня племяшем уважили, что я за кашу не сяду, за вас не помолившись.

— Что ж у тебя племяша-то судили?

— Судили. Так, дело совсем непутящее было. Зашел, вишь ты, братец, он в городе с ребятами в кабак, да и забаловались там за полуштофом. А тут, на грех, и случилась в кабаке-то драка, да кто-то и умри непутевым часом. Всех и забрали. И нашего-то. Год сидел в тюрьме. Совсем мы со старухой, с маткой-то его (сестра мне будет), порешили, что уж пропадать ему за чужое дело... Паренек был исправный, кормилец, один после отца надел справлял...

— Ну, и оправили его, судьи-то?

— Об чем же я-то сказываю? Совсем уважили. Да вот как, братец: сестра-то это моя, старушка, ходочка какого-то упросила в округе, чтоб он ей всех судей-то на записку выписал, поименно. Вот как. Да с этою бумагой-то летось в Соловки сходила, перед угодниками по свечке за здравие судей затеплила старушка божья!

— Зачтется это твоей старушке от господа.

— А я об чем же?.. Она вот теперь говорит сыну-то: «Я, бат, вам уж больше, по старости моей, не работница, отпусти ты меня, бат, на гору Афон, — еще помолюсь за новых судей-то...» Так вот я и сказываю: за благодушного-то судью молитва в народе не пропадет...

— Нет, нет.

— Так ты за хозяина-то будь спокойна.

— Я спокойна...

— Ну, и ладно. А присяжных всегда уважь.

— Мы уважаем. Этого у нас греха нет.

— Ты бы им вот кваску нацедила, и я бы, может, хлебнул кстати.

— Федосья! Нацеди-ко-сь.

— Благодарствуем, хозяйка, — сказали присяжные, вылезая из-за стола.

— Не на чем, родные. Може, наш кусок не пропадет. Ложитесь-ко. Чать, завтра рано тронетесь?

— По-рану. К вечеру нам быть бы нужно.

— Слышь, к нам сюда будет суд-то ездить... Хорошо было бы для нас, неизъянно.

— Для нас все одно...

— Все ж ходьбы-то поменьше.

— Это правда... Сапогам облегченье.

Утром поднялись присяжные рано, отдыхали они немного; еще свет не занимался, как они начали справляться. Возчики еще спали. Хозяйка поднялась за перегородкой, зевнула, вышла, почесывая обеими руками под повойником, и зажгла свечу.

— Ну, дай бог счастливо, — заговорила она, позевывая и крестя рот. — Увидите моего-то хозяина, известите, что, мол, мы благополучны.

— Ладно, скажем.

— Щи, мол, у твоей хозяйки хлебали... А останавливались, мол, у нее возчики, скажите.

— Ладно.

— Да известите (вот только что в просоньях-то вспомнила): Палагея, мол, родила... Уж там знает. В кумовья его думали, да уж заочно помянут. Родила, мол, родила... Девочку, мол.

— Скажем. И про Палагею известим. Будь покойна.

Один из возчиков повернулся на лавке, высунул голову из-под полушубка и, вытаращив осовелые глаза, долго смотрел на присяжных; потом спросил:

— Вьюжно?

— Метет!

— То-то зябко.

И, закутавши голову в полушубок, повернулся к стене.

— Почтенные, — сказал Лука Трофимыч, — вы бы присмотрели... Чтоб после греха не было.

— Ступайте, ступайте со Христом! — кто-то крикнул с полатей. — Мы вас не опасаемся.

— Все же...

— Нету, нету... Зачем грешить на вас! Маятно вам будет итти-то? — спросил голос.

— Сугробно, думать нужно.

— Может, коли порожнем нагоним, подвезем.

— Спасибо.

Присяжные подвязывали мешки.

— Отчего не подвезти? Подвезем, — отозвался кто-то еще. — О-ох, господи!.. А у тебя, хозяйка, тараканов довольно.

— Ну, что они тебе, тараканы-то, помешали?

— Я так... к слову... Мне что? Пущай живут.

Вдруг кто-то забредил: «Суди-суди... у кобылы... кобылы... хвост украл... Ло-ви его, братцы!» — закричал впросонках возчик и проснулся.

— Ах, чтоб те... где кобыла-то? — спросил он, бестолково водя глазами.

— Лови ее!.. Увели!

— Домовик, чтоб его... Придушил совсем. А навалист он у тебя, хозяйка.

— Прощай, хозяйка... Прощай, дед! Не обессудь за беспокойство. Ай спишь?

— Ну-ну, уж ступайте... Судейщики! С этою вашею модой-то, того гляди, всех перережут да переграбят. Такой разбой кругом пошел, — когда было видано?.. Поблажники!

— Ах, грозен у нас на печи судья проявился! — заметили возчики.

— Федосья, запри за ними калитку-то! — крикнула хозяйка, опять укладываясь за перегородкой.

— Не ходи, незачем... Сам запру, — заворчал старик, спрыгивая с печи прямо в валеные сапоги. — Ноне только за всем своим глазом присмотри — то и цело.

Присяжные выходили один за другим. За калиткой они снова перекрестились и пошли вдоль слободы. Еще не рассветало. По улицам сугробы намело. Ноги вязнут. Где-то вдали светится огонь. У домишка стоят несколько саней; лошади дремлют и вздрагивают. Откуда-то слышатся взвизгивания песни и гармоники.

— Души-и! — вылетает из глубины двора подавленный выклик.

— Стой-ой!.. ой!.. Вот все здесь — получай!..

— Вина-а! — неистово раздается ответный крик.

— Крра-а-аул! Косу вырвал... Па-ад-лец! — выбегает из калитки растрепанная женщина.

— Вот они где... грехи-то!.. Сохрани господи! — боязливо промолвил Фомушка.

Присяжные удрученно молчали.

III

Деревенский статистик

Опять раскинулась пред нашими пешеходами «трактовая путина» — теперь почти безбрежная, совсем слившаяся под общим снеговым пологом, которым укутала вьюга за ночь и дорогу, и луга, и поля и до которого еще не коснулся ни лапоть, ни валеный сапог, ни копыто, ни санный полоз. Ровною и живописно однообразною скатертью раскинулась она впереди. Изредка только попадались путникам спасительные, уныло согнувшиеся в одну сторону, заиндевевшие и покрытые белою бахромой елки, вокруг которых наметала вьюга целые валы снега. Все же путина эта была не пустынная, и в другое время весело на ней путнику. То усадьба покажется в стороне за рощей с своими старыми службами, с красными тесовыми крышами, длинным барским домом, с нетронутыми еще новым владельцем или арендатором-купцом «балясами» и колоннами. То выселок выбежит на крутой берег плещущейся в овраге речки тремя-четырьмя новыми большими избами, мельницей, пасекой, — это владения поселившихся на «своих» пустошах братьев-собственников, мирно живущих, пока ходок-аблакат не занесет к ним страшного слова «раздел» и не «натравит» их на бесконечную тяжбу, в которой каждый будет доказывать права свои «по стариковой памяти» и пока в этой «травле» не погибнет выселок, выпустив на вольный свет безземельных голяков и обогатив «за труды и юридические познания» ходока-аблаката и стакнувшегося с ним «большака-брата». То монастырь блеснет белыми стенами и золотыми главами среди необозримой поймы и заповедных лугов. То вдруг за лесом, на спуске к полной реке, усеянной правильными площадками бесчисленных плотов, где, бывало, разбиты были английские скверы и парки и с утра до поздней ночи слышались звуки охотничьих рогов, вдруг

выдвинется чудище, длинное и высокое, шумящее и гудящее тысячами веретен, смотрящее сотнями мигающих в сумерки глаз...

Деревенька высыпала пред присяжными по обе стороны «трактовой путины» десятками двумя-тремя убогих изб. После вьюги еще печальнее смотрят они: какая-то пустота, заброшенность царит вокруг них. Овины, клети и риги развалились, клочками торчит на одних растрепанная ночною вьюгой солома, другие наполовину растасканы на дрова; «крестьянский двор» сглаживается, пустеет и оголяет сиротливо стоящие без хозяйственных служб избы.

Прошли ее наши путники в конец, — никого не видали, ни у дворов, ни из изб голосов не слышно, только старуха глухая у одних ворот стояла. На конце уже деревни старика заметили: он колол на дрова старую, изгрызанную и прогнившую колоду. Старик был высокий, сгорбленный, сухой, с длинными, высохшими и цепкими руками; из-за большой седой бороды и подстриженных усов показывался беззубый рот; лысая голова изборождена была ямами и шишками; сморщившаяся кожа старческими глубокими складками, словно шрамами, покрывала щеки и лоб; из-под длинных клочковатых седых бровей смотрели слезящиеся, но умные и зоркие глаза. Дырявый полушубок едва держался на его костлявых плечах; из-под него виднелась впалая, волосатая, тяжело, точно кузнечные меха, подымавшаяся и ниспадавшая грудь.

— Видно, у вас, дедушка, без поселенцев деревня-то стоит? — спросили его присяжные. — Ты в досмотрщики, что ль, к пустым избам приставлен?

— Почитай что так, — неторопливо отвечал старик, вздохнув всею грудью, погладив ладонью лысину и надевая шапку. — Только нам, старым да грудным, и осталось... Ноне у нас вон где поселенье-то развеселое. Невесело в своих-то отцовских избах! — показал старик по направлению к фабрике.

— Где весело!.. Вишь, она, деревенька-то родная, как замухрилась...

— Замухряешь! Ноне мы за собой не смотрим... Ноне мы на купцов работники... А вы чьи будете?

— Мы пеньковские. В округу чередными пробираемся...

— Ну-у! наших, поди, судить будете?

— Разве от вас кто есть?

— Еще как есть-то!.. Много от нас к суду идет.

— Что так?

— Народ от закона отбился... в тумане ходит. Мужья жен не знают, жены мужей покидали. Сватовства уже и не слыхано: сватов ровно из-веков в заводе не было. Девки рожают без стыда, что бабы. Робят перемешали: не разберут, кой законный, кой нет. Недавно вот тут, на Ильинки, баба родила, а муж-то и не признал. «Не мой, говорит, — это машинный (фабричный, значит), из-под машины рожден...» да в беспамятстве и об угол младенца! — отчетливо и не торопясь излагал старик пред присяжными народную уголовную летопись.

— Экие дела скорбные! — заметил Фомушка.

— Кои в прорубь таскают: из года в год как пить дают по утопленнику... Жена мужа летось, в Троицу, яичницей с мышьяком накормила, — это в селе Семенках. В Болтушках мужик, на Покров, бабу зашиб, — вишь, с приказчиком заприметил. На Капельника дядя Петр на вожжах повесился из-за невестки... Вот какое место греха народного насчитал я вам, старый!

— И ты все это, дед, помнишь? — удивлялся Недоуздок точности, с которою высчитывал старик «несчастные случаи».

— Наказал господь памятью на такое дело! Сижу вот другой раз, да и считаю: сколько за лето, сколько за зиму, сколько за тот год, сколько за другой господь за грехи несчастных дел на наши палестины напущает... Все помню, как на ладони все это предо мной видится... Во младенчестве, должно, согрешил пред господом, что наказал он меня такою памятью... За всю мою жизнь все злое, недоброе, непутное, что только на кару господь за грехи нам, мужикам, посылает, — все вижу год в год, день в день...

— А как тебя звать, сверстничек? Чтобы неравно нам на судьбище, вспоминаючи тебя, страх божий не забыть! — спросил благочестиво Фомушка.

— Архип Сук. Суком, друг, меня прозывают... Плохо, братцы, дело в нашей палестине! Судите строго-праведно, други мои! Может, и поослабнет грех-то...

— Всех бог рассудит! — ответили присяжные. — Спаси тебя господь...

— Вас спаси господи.

Старик покряхтел, посмотрел им вслед и снова начал раскалывать дубовую колоду.

— То-то здесь горе над людьми лютует! — далеко уже отойдя от деревеньки, заметил Лука Трофимыч.

— То ли уж народ глуп, то ли привык он на мамону чужую работать! — недоумевал как будто про себя Недоуздок.

— Поддержки народу нет, — порешил Фомушка, — что малый ребенок он... Как ты его осудишь?

Толковали присяжные, казалось, хладнокровно, а между тем личность Архипа Сука, этого безвестного статистика народного «греха и несчастия», подействовала сильно на них. С каждым шагом к округе, с каждою встречей все сильнее начинали они ощущать, хотя смутно, свою близость к этому народному «греху и несчастию», свою нравственную обязанность к нему.

Так называемые «культурные» люди не могут иметь даже смутного ощущения этой близости. Для них народный «грех, несчастие» есть не более, как «абстрактная идея» права (выражаясь их словами); для народа — это «боль человека с плотью и кровью». Фомушка, вспоминая Архипа, думал, что ежели осудить человека «греха и несчастия», то как бы не перевысить меру господня наказания и как бы тому человеку больнее не стало, чем по совести следует. В то время как по понятиям одних «грех» начинается с момента преступного акта и требует наказания, — для крестьянина он уже сам по себе есть часть «кары и несчастия», начало взыскания карающего бога за одному ему ведомые, когда-то совершенные поступки.

IV

«Божий помещик»

Чем дальше подвигались присяжные по многоезжему торговому тракту, чем чаще попадались им на пути различные селения, тем чаще приходилось снимать шапки, раскланиваться с встречными и отвечать на одни и те

же вопросы всегда любознательного относительно своего брата селянина.

— Чьи будете? — спрашивает селянин.

— Чередовые, — откликаются, проходя, присяжные.

И спрашивающий еще долго смотрит, засунув одну руку в карман полушубка, а другую за пазуху, вслед уходящим. Другие, не желая упустить случая чем-нибудь разогнать зимнюю скуку, подшучивали над присяжными.

— Эй, пешковые! — окликнули присяжных в одном селе, и вслед за этим, заложив руки в карманы, стали, не торопясь, подвигаться к ним три-четыре селянина. По их походке, по оклику присяжные хорошо знали, что почтенным селянам желательно «поточить зубы».

— Доброго здоровья! — приветствовали поселяне, слегка приподнимая высокие, в форме шампанских пробок шапки, которые любят носить ямщики, а за ними и все прочие обитатели почтовых трактов.

— Спасибо.

— Присяжные, что ли, будете?

— Они будем.

— Ну, братцы, палками бы нужно вам у нас запастись.

— Что так?

— Для вас тут у нас засада есть.

— Нас не обидят.

— Вас-то и обидят.

— Чего с нас взять... Разве шалят у вас?

— Шалит-то, братцы, у нас всего один — Аника-воин. Помещик будет... Вот с самой «воли», как он всем нам войну объявил, даром что мы казенные были.

— С чего ж это он у вас?

— А вот как положенье вышло... Барин он был хороший, легкий барин; мужики у него на оброке были. Машины все землепашные покупал; привезут, он соберет соседей, мужиков, начнет им показывать разные действа с машинами-то. И против воли не был: «Я, говорит, против мужицкой воли не стою, только всем зараз волю никак дать не можно: будет, пишут, буйство, грабеж». А тут прослышал, что всем воля, и сполуумствовал... Усадьбу свою — вам по дороге будет — принялся тыном обносить, ворот наделал, застав настроил и объезды стал делать. Ребятишек нарочно на-

нял, старых лакеев, да верхами, с оружием, что твои казаки, и рыщут вкруг усадьбы... Наряд себе такой приспособил: кафтанчик опушенный, с красными кармашками, шапку-черкеску, через плечо ружье, саблю, пистолетик... чудесно.

— Для чего же нам палки-то брать?

— Чего, братцы! шутит-шутит, да инно как очень разгорится, и до беды доведет... Скотину около рощи настигнут, — загонят; баб али девок с грибами, с ягодами заприметят, — всех по амбарам позапирают; на мужиков, где около своего тына наедут, — сейчас обыск; трубки найдут, спички, топоры, ножи — все отберут, а потом все это и посылает к мировому целым этапом, при бумаге, как бы с поличным: спички — это у него поджог, грибы — это захват. Только ни мировой, ни исправник ему не верят. Уговаривали было, да так и бросили: умрет-де скоро...

— Ну, а мы-то что же в вашей войне, при чем?

— А это, почтенные, вот какое дело. Сын у него, барчонок, в городе обучался, только, должно, скучно стало. Приехал и говорит: «Я, говорит, тятенька, не хочу учиться, довольно учен — все понимаю; я в аблакаты пойду...» — «Это помещик-то! — крикнул отец, — с купцами якшаться?.. Нет тебе ни моего благословения, ни денег! Ступай!» Ну, сынок сейчас себе шапку с красным околышем купил, да и пошел по торговым селам с купцами чертить... Вскорости фальшивых бумаг на купцов наделал... Тут его под присяжный суд — да в Сибирь... Инда взревел отец-то: «Это, говорит, моего-то сына мои же мужики судили!» Так вот с тех пор вам с ним и опасно встречаться... Мы еще туда-сюда с ним, ну, а вы...

— Ничего. Нам этот воин не страшен, — сказали пеньковцы, расставаясь с поселянами.

Едва прошли путники две версты, как стала показываться вблизи дороги усадьба, с огороженными полями, с тыном из заостренных здоровых кольев около двора, с разными шлагбаумами, вереями, мачтами. На крыше дома подымался гигантский флюгер в образе русского петуха с выщипанными перьями; петух этот лениво повертывался на шпице и визжал самым жалобным образом. За тыном слышалась тревога; раздавались голоса. Кто-то суетился неимоверно и выкрикивал всеми

легкими: «Палашка, замыкай! По местам! Заставы за-апри-и!.. Сергей!.. на пункты!.. Флоров!.. отпусти!.. Есаул Клоп!.. снаряжай!..

— Папа, папа!— прерывал торопливую команду свежий, звучный, подхватываемый ветром женский голос.— Да куда вы?.. Где вы волков видите?

— Вижу, матушка, вижу... Отлично вижу...

— Да что вы видите?.. И нет никаких вовсе...

— Вижу, Раичка, вижу... ступай в комнату, душенька, — настудишься. За мной! — скомандовал вдруг кто-то.

— Ах, боже мой! Папа! оставьте!

Ворота растворились, На рыжей высокой английской кляче выехал, бодрясь, седенький помещик, в черкесском костюме; за ним два старика в полушубках с прорванною шкурой и дырявых валеных сапогах — тоже верхами. Один держал на своре пару страшно худых собак. Два мальчонка, путаясь в глубоком снеге, бежали «на пункты».

— Стой в седле! Подсматривай! — скомандовал седенький старичок в черкеске и сам, гарцуя, поскакал за путниками и стал описывать около них круги, увязая в сугробах и геройски выскакивая из них. Чистокровная английская кляча пыхтела, фыркала и начинала пускать пар под усердным седоком. Пеньковцы продолжали итти молча. Пропустив их несколько за усадьбу, помещик круто повернул к своему шлагбауму.

— Вон он! Вон, батюшка, серый! — крикнул один из рыцарей в валеных сапогах, с длинною седою бородой. — Доезжайте его, сударь!

— Воззрись! — закричал седенький помещик. — Спускай в мою голову! Атту его-го-го-о-о!

И за этим раздался выстрел на воздух.

Собаки бросились за волком, которого они не видали; пробежав несколько сажен, они сочли за благо остановиться и подняли вой. Пеньковцы испуганно обернулись и невдалеке от себя увидели седого Дон-Кихота, схватившегося обеими руками за живот.

— Ха-ха-ха! — надрывался он от добродушного хохота, кашляя и захлебываясь и обратив к ним свое раскрасневшееся маленькое лицо, по которому текли из помутившихся глаз непослушные слезы. — Оша-але-е-ели, милые!.. Я ва-ас!.. Ха-ха-ха! — ребячески востор-

женно выкрикивал он, грозясь своим маленьким кулачком.

— Божьим помещиком стал барин-то! — посмеивались присяжные, ступая по сугробистой дороге и вслушиваясь в долетавший за ними по ветру неудержимый старческий смех.

V

Проходимцы

Между тем погода начинала снова разыгрываться; вьюга, ослабевшая немного, поднялась с удвоенною силой; с боку надвигался сумрак; снег повалил хлопьями. То сзади, то с боков вдруг налетит облако снега, оболочет кругом, и дальше нельзя ступить шагу; захватывает дух, ноги заплетаются и тонут.

— Ну, братцы, божья воля! а нужно куда ни то укрыться. Только понапрасну изморимся, — говорили путники.

— Где укроешься!

— А вон, вишь, будто темнеет что в стороне... И собаки, слышно, лают.

Ветер рванул, порывисто пронесся с снежным облаком в сторону и вдруг стих. Путники могли разобрать в стороне дороги строения. Они повернули к ним уже прямиком, через сугробы, ощупью стали пробираться к воротам; ветер и снег заволокли снова все. Присяжные стукнули в калитку. Неистовый лай и вой здоровых псов ответил им, но никто не выходил. Они стукнули сильнее, — сильнее заливались собаки. Долго пришлось слушать присяжным этот лай и вой, сопровождаемый свистом и вызвизгом ветра; около них образовался сугроб; ноги коченели.

Наконец раздался за воротами здоровый горластый женский оклик, относимый ветром то в одну, то в другую сторону.

— Вы, что ли, это, Парамон Петрович? — спрашивал голос, силясь перекричать и собак, и вьюгу. — И не ходите лучше! Запили, батюшка, у нас... Говорит: лучше мне этот аблакат в экий час на глаза не показывайся, — за себя не отвечаю.

— Мы бы укрыться, хозяйка, укрыться-я! — на-

сколько возможно подняв голоса, в пятый раз крикнули присяжные.

— Кто такие еще?

— Прохожие, милая... В округу пробираемся.

— Нету, нету... Проходите. Здесь ноне не пущают. Купцы живут. Купцы поселились.

— Переобуться бы только нам.

— Да кто такие?

— Чередные мы. Присяжные будем.

— Ахти, батюшки! Да мы сами от судов в этих пустынях отсиживаемся. Сами с этими присяжными в беду попали. Из города нарочно в тишину укрылись... Что?

— Ваше дело, родная, ваше дело.

— Нету, нету. Проходите. У нас этих заведеньев нет. Мы келейно живем... купцы мы. А вот тут недалечко помещики живут, подальше. Аблакаты, по вашей части будут...

Присяжные молча стали выбираться опять на дорогу, а горластый голос, словно разрываемый ветром, еще невнятно, клочками доносился до них вместе с неперестававшим собачьим лаем.

Скоро показалось и еще строение. На самом юру торчал новенький пятиоконный домик, без всякого признака хозяйственных служб, как будто он исключительно построен для наблюдений над открытыми для него со всех сторон окрестностями. Ветер угрожающе то насыпал вокруг него груды снега, то вновь разбрасывал их и ходуном охаживал его со всех сторон.

На стук присяжных полуотворилась калитка и показалась седая, развеваемая ветром борода, прикрывавшая открытую, впалую, медно-красную грудь.

— Ах, болезные, — проговорил старик, — эк неволя то вас гонит в экую пору. По делам, что ли, к нашему-то? Переждали бы хоть метелицу-то!

— Нету, дедушка. Укрыться бы нам. Путники мы. В округу пробираемся.

— О? Экое дело! Уж и не знаю. Входите, може, пустит наш-то. Временем он ничего...

Присяжные несмело вошли за стариком в холодную переднюю и остановились в дверях, переминаясь на одном месте. Скоро через сени, с другой половины, вошел средних лет мужчина с растрепанными с проседью баками, кудрявившимися на красных вздувшихся

щеках, как будто он постоянно держал за ними по куску пирога; маленькие глазки, с загноившимися ресницами и подпухшими веками, хотя и слезились, но старались метать серьезные взгляды. Он был в потасканном татарском халате, подпоясанном старою подтяжкой, с трубкой в руках.

— По какому делу? — спросил он. — Ведь я объявил по волостным правлениям, что по понедельникам ходатайств не принимаю.

— Мы, ваше бл-дие, нездешние.

— Все равно... Я всем готов служить своим... — Хозяин задумался, затянулся и выпустил вместе с дымом: — юридическим образованием.

— Мы, батюшка, как по-христиански... укрыться просились... Так вот старичок-то позволил. Думаем, итти в экую божью волю — как бы греха не случилось...

— Ну, это другое дело. Грейтесь, грейтесь. Я не прячусь ото всех, как вон эта шельма-купчина. Бочонок! Сорокоуша! Засел за псами и сидит, никого не пускает. Не пустил ведь?

— Не пущает, батюшка...

— Ну, я знаю... Подлец! Дать доверенность — и вдруг: «Не принимаю». Рюмки водки шельме жалко... адвокату своему! Чьи будете?

Присяжные сказали.

— Присяжные? Каково! — удивился помещик и быстро ушел на другую половину, однако ж скоро вернулся, но уже закусывая что-то соленым огурцом. Присяжные все еще боялись расположиться как нужно.

— Переобуться позвольте, ваше бл-дие.

— Переобуться? Можно, можно! — говорил он равнодушно, прожевывая огурец. — А повестки есть?

— При нас.

— Покажи.

Он протянул руку. Лука Трофимыч засуетился, полез за пазуху и, отвернувшись в сторону, вытащил из кожаного мешка повестки.

— Хорошо, хорошо... Вижу, что в порядке.

Помещик стоял посреди комнаты, попыхивал в трубку и хладнокровно обводил их глазами. Присяжные стали разуваться. Помещик растопырил ноги и поместился против них.

— Гм... оборы! — говорил помещик, попыхивая из трубки.

Мужики снимали лапти и сапоги.

— Гм... лапти! — продолжал он.

Мужики развертывали тряпки.

— Гм... онучи.

Мужикам становилось неловко. Но помещик вдруг повернулся и снова скрылся за сенцы.

— А он, нужно так полагать, прожженный! Он в лаптях-то наших теперь, может, хлеб себе усматривает.

— Чего дивить! И в лаптях, братцы, они, эти ходоки-то, корм себе провидят.

Присяжные, распоясавшись, сидели, забившись в угол, и, поворотившись к стене, закусывали.

Вошел старик, отворявший им калитку, седой, в больших валеных белых сапогах и рваном полушубке; кряхтя и сгорбившись, уселся он около двери, на краешек скамьи, держась за нее старческими трясущимися руками.

— Чьи, старичок, будете с хозяином-то? — спросили присяжные.

— Проходимцы, — сердито отвечал старик.

— Звание хорошее, — заметил Недоуздок. — Прыток он очень!

— Кто ноне не прыток! Нас, дураков, много. Насулят всего и званиев разных пожалуют, только горбы подставляй... Горбы-то у нас здоровые. Прыгай да прыгай, осаживайся, как тебе будет лучше... Мы готовы завсегда — повезем...

— А как он у вас прозывается?

— Парамошкой прозывают... По шерсти и кличка.

— Ничего, ласково прозван.

— Он не обидчив. Вот купца-соседа (благоприятель нашему-то) и хуже прозвали, да ничего. Даже доволен.

— За что ж это их?

— А за хорошие дела. Мало им стало у мужиков хлеб на корню скупать, так они кабачков настроили, а около больших волостей да фабрик притончики веселые завели... Восемьдесят лет прожил, а в таких притонах в нашей стороне никто не нуждался.

Речь старика прервал пришедший гость.

— Пути сообщения... нну! «Пожалуйте в гласные...» Да как же тут, когда ежели на мосту зимой прова-

лился?.. Одна лошаденка — и та ногу повредила! — говорил в волнении, скидая с себя овчинную шубу, отряхаясь, отплевываясь, отфыркиваясь, снимая с бороды сосульки, низенький, толстенький, пузатенький человек, в длинном кафтане, подпоясанном широким поясом, и в шапке с длинными ушами. — Парамон Петрович у себя?

— Обедает.

— Ну, ладно... А ты что ж, братец, сидишь?.. А еще старик, умирать собираешься! Нет чтобы пойти да посмотреть: как, мол, он приехал, где у него лошадь-то? Нет, в вас этого послушания не ищи... На-ка, поди прикрой ее кошмой...

Старик ворча вышел, а приезжий не переставал суетиться; ходил он по комнате скоро, вприпрыжку, бегал глазами с предмета на предмет, морщился, гримасничал и то и дело что-нибудь переворачивал, перекладывал, рылся за пазухой.

— Умирать пора, в гроб смотрит, а об церкви не подумает. Заржавела душа-то... О-ох, господи! Не бойсь, это не купцы!.. Чего? А вы кто будете? Чьи? — спрашивал он присяжных как будто мимоходом, всецело занятый тем, что́ у него в длинных больших карманах и за пазухой.

— Присяжные мы.

— Что ж не кланяетесь? Отвалятся головы-то?.. Забывать стали? Гордыня обуяла?..

— Да ведь мы... признаться... как узнаешь? — сказали, подымаясь, присяжные.

— По одеждам видно, что не мужик... Костюм на что-нибудь дан! Много в вас этой своеобычности... Вы бы вот с господ купцов примеры-то брали: как они — с уважением, благочестием, доброхотством... Даром, что капиталы имеют... Зато и награждены... А вы что? Лапотники, а смирения ни на грош!.. Чего?

— Просим, мол, извинить, — проговорил Недоуздок.— Не всмотрелись сразу...

— То-то! Присяжные! А что такое присяга? А? А ежели церковнослужитель навозу на поле повозить попросит, так двери на запор, оглобли воротить? Чего? А как восьмая заповедь читается?

— Мы, батюшка, по пальцам-то не происходили... Учил это нас, признаться, писарь, да думали, чего, мол, тут по пальцам-то высчитывать!

— Вы все такие... У вас учителя-то без сапог ходят, сами навоз возят... Чего? А где об церкви радение? К духовному сану почтение? Сначала бы вот об этом... Были ли на духу-то? Вот бы что заставлять нужно... «Увещавайте! На то вы и учители!» Легко говорить! А где поддержка?

— А! это вы, Кузьма Демьяныч Бессребренник! — прожевывая остаток обеда, приветствовал приезжего помещик. — Должно быть, дело не хвали... а?.. Ежели в эдакое время не позадумались навестить...

— Душа-с скорбит, Парамон Петрович! Вот все с ихнею братией... Житья нет нынче... Просто звери стали!

— Они нынче судьи... Ну, что? Идете? — обратился Парамоша к присяжным. — Пора, пора... Отдохнули, обогрелись у меня...

— Много благодарствуем... Отошли будто немного...

— То-то... добрых людей не забывайте... Помещик Парамон Петрович Перчиков — всякий знает! Дел не будет ли? О разделах, о побитии...

— Будем помнить.

— У односельцев не будет ли? Посылайте... Вот, мол, по дороге в округу... на самом, мол, пути адвокат живет, Перчиков... к нему, мол, толкнитесь...

— Уважительный барин! — прибавил Бессребренник, доставая из мешка за ногу замороженного поросенка.

— Душа, мол, человек... И недорого берет, как по крестьянству сподручнее... даже под расписку... Берет зерном, крупой...

— Слушаем-с, — отвечал степенно и «обстоятельно» Лука Трофимыч.

— Яйца, кур, гусей... .

— Слушаем-с.

— Поросят... Все, мол, берет... Потому — хозяйством заводится...

— А каков поросенок-то, Парамон Петрович! словно малый овен,— крикнул Бессребренник, тютюшкая и подкидывая на руках поросенка. — Где тетенька-с?.. Деревенский гостинчик...

Присяжные вышли из усадьбы помещика Парамоши и стали пробираться через глубокие сугробы к трактовой путине.

VI

Лесная сила

Лес показался; сначала по обе стороны шла порубь, едва теперь заметная по выскочившим кое-где из-под общего снегового покрова пням да сосновым редко разбросанным подросткам, уныло согнувшимся под напором разгульного ветра. В лесу погода стихла. Вековые сосны непроглядною и мощно угрюмою стеной стали на пути вьюги, и она, бессильно злясь и негодуя, только изредка ворвется в просеку, просвистит с одного конца до другого, тряхнет побелевшую лесную шапку и снова стихнет. Мирно стоят гиганты-деревья, опустив вниз свои отяжелевшие от снега ветви. И какая несметная рать стоит здесь этих гигантов и угрюмо ждет, когда придет какая-то сила, повалит их и уложит в стройные ряды поленниц. А уж эта сила пришла: то с одной, то с другой стороны мелькают широкие подсеки, или усеянные выкорчеванными громадными корнями, или уставленные правильными кубами напиленных дров, бревен, досок... На небольших луговинах, защищенных гигантскою стеной от злой непогоды, молодая поросль и подростки прячутся от лютых морозов под толстою, мягкою шубой снега и рассыпаются кучками белоснежных пирамидок. Тихо. В лесу всякий звук слышится чутче; птица шарахнулась о сучок, осыпала с него снег, крикнула и, взмахнув крыльями, пронеслась вверху; зверь где-то захрустел по бурелому; вбок от дороги, к поруби, прошел волчий след.

— Стой, братцы! — сказал, приостановившись, Недоуздок.

Присяжные разом остановились.

— Чего пугаешь? И так жутко.

— Слышь: голосит!

— Это леший.

— Какой тут леший? и вся баба заливается.

Присяжные сбились в кучу.

— А и то, братцы... Уйдем от греха, — продолжал Бычков. — Далеко где-то. Место совсем пустое!

Ветер явственно донес плач.

— Где далеко? Совсем близко. Нам бы грех, братцы, на такое дело идучи, от горя бежать, — заметил Фомушка.

— Где ты его, это горе-то, здесь по лесу отыщешь? Вишь вон, то здесь оно огласит себя, то с другого боку... Как ты его по такому месту настигнешь? — сомневался Лука.

Но вдруг вопль раздался сзади них; все обернулись. Из лесу выходил высокий, в нагольном тулупе, опоясанном широким ремнем, в больших валеных сапогах, в мохнатой шапке лесник, у которого видны были только большие замерзлые усы да сросшиеся длинноволосые, выступавшие из-под шапки брови. Он держал в одной руке дубину, другою вел под уздцы лошаденку, запряженную в дровни. За дровнями шла баба, неся в руках топор, и навзрыд причитывала. В дровнях лежал связанный кушаком мужик.

— Что за люди? Чего нужно в экую пору в лесу? — окликнул присяжных полесовщик таким окриком, что и сам лес будто дрогнул вместе с присяжными.

— Мы, почтенный, своею дорогой.

— А куда путь? — спросил он, останавливаясь против них и вытирая замерзлые усы. — Экая погодка!..

— В округу... в churед.

— О!

Лесник прислонил к лошади дубину, скинул рукавицы и стал набивать трубку, вытащив из-за пазухи кисет.

— Вишь ты, тетка, какое твоему-то счастье! — обратился он к бабе. — Не успел украсть, а уж на судей напал. Другие по годам экое счастье в острогах ждут... Моли бога.

— Зверь ты, Федос, зверь стал! — завыла баба.

В дровнях застонал мужик; собачонка лесника, присевшая у края дороги, подняв озябшую лапу, подвыла им обоим.

— Должно, впервой? — спросили присяжные.

— Впервой. Не бывал еще в переделах-то. Что заяц косой — сам на ружье лезет... Должно, холодно им с бабой стало, погреться захотели... Так что ж, чередные! судите, что ли, нас с ним... Ха-ха-ха! Судейщики! — предлагал лесник, раскуривая трубку.

— А мы, дядя Федос, пожалуй бы, и рассудили, — сказал Недоуздок.

— Вишь ты! Ну-ко как?.. Суди, суди!..

— Да оправить бы мужика надо... Вон она, зима-то

какая... В кулак-то не надышишься... А ты ему ребра-то, должно, знатно пощупал.

— Ничего. На медведя ходил.

— Приметно... Так уж, кажись бы, и довольно.

— Ха-ха! Вишь ты... и в самом деле судейщики!.. А ты думаешь, вам за это спасибо скажут... а? Поблажникам-то?

— За спасибом-то не угоняешься... А ты вот что подумай, — заговорил Фомушка, — добро-то тебе здесь, по лесной жизни, не часто, чай, делать приводится? А нам на старости наших лет с тобой, в гроб-то смотрючи, добро-то бы не след упускать... И так от него, от лесу-то, душа черствеет, так не дело бы тебе еще на себя зверское-то обличие напущать...

— Поблажники и есть... Свой брат!

— Ну, скажи-ка ты нам, судьям, как мы его осудим, обличие-то твое вспоминаючи, строгий воин?.. Нну? — наступал на него Фомушка.

— Мы в это не входим.

— Ежели ты не входишь, так ты хошь образ-то зверский сокрой. Да сходи ты в божью церковь, — все грознее говорил Фомушка, — да возьми ты к себе в хижину-то ребячью душу, каких много по нашим местам сиротливыми бродит. Она, душа-то ребячья, сведет с тебя узоры-то зверские, что мягкий воск растает сердце твое от нее... Верь, по себе знаю! Был и я лесником. Обнял это меня лес, охватил, не вынесла душа, руки хотел на себя наложить... И случись тут старуха странняя; говорит: возьми, Фома, младенца на воскормленье, — лес над тобою силу потеряет, тоска у тебя с души сойдет, от ребячьего глаза рукой твою тугу снимет... Сиротинка у нас на селе был, — взял...

— Погоди, старик! — прервал Фомушку лесник. — Есть и у меня, есть... Твое слово в руку: взял я ноне Федорку свою на колени, а она, глупая, мне: «Тятька, говорит, ты страшный... боюсь я тебя... У тебя борода колючая отросла, а брови ровно осока торчат...» — Ах ты, глупыш, говорю, да ведь у тебя тятька-то кто? Солдат тятька-то?.. Так разве можно ему другому быть?.. Ведь его двадцать пять лет в этом звании производили! А? Видал ли нашивки-то?.. Двадцать пять лет к этому-то обличию приспособляли! Зато он и лесник! Вишь, ему какую махину на охрану вверили! Глупыш

ты, говорю, неразумный...—«Нет, говорит, ты ровно лесовик стал... Молчишь нынче все: мало говоришь, сказки говорить разучился... Боязно мне с тобой! В деревню убегу!» — Ах ты, говорю, порченый! Вишь, что сказал: лесовик!.. тятька-то! Вот я тебя лозой! Дал ей шлепка, думаю: бабы наболтали девчонке! А вот и ты, старый, не умнее Федорки моей сказываешь!

— Верь, милый человек, верь! Может, у тебя и сойдет с лица узор-то звериный... и улыбнется на тебя младенец...

— Али больно уж я на зверя-то смахиваю? — спросил старый солдат, дрогнув левым усом и бровями и силясь улыбнуться.

— Недолго, друг, оно, — продолжал убеждать Фомушка, заприметив, что по лицу солдата прошла какая-то дрожь. — Лес-то — он ведь сила, он человеком скорее обладает, чем ты им. По себе знаю. Большая в нем сила! И стоит она, эта нечисть, и досматривает, как бы душу христианскую от доброго дела отвести...

Фомушка так и впился своими слезящимися маленькими глазками в «обличие» лесника. Лесник снял шапку и рукавицу и стал чесать затылок.

— Х-ха-ха! — разразился он на весь лес, который с разных сторон отозвался грохотом на его хохот. — Зверское обличие, слышь, у человека стало! Полгода не прошло! Ай да Федорка! Надаю я тебе шелепов вдоволь, порченая! Сними-ка с своего кушак-то! — обратился он к бабе.

Баба опять зарыдала и, припав к лежавшему мужику, стала развязывать дрожащими руками кушак.

— Ну, ступайте своею дорогой! — сурово прикрикнул лесник присяжным. — Судите там, кто пойман. А уж этого рассудили...

— Это, милый, не наш суд, — твоя душа судила! — ответил Фомушка.

VI

Блаженненький

Верстах в трех за лесом раскинулось, наконец, пред присяжными длинное, вытянувшееся по обе стороны трактовой путины село Проскино с двумя церквами,

одною каменной, другою деревянной, — последний переход, последняя станция до города, до «округи». Фомушка еще раньше говорил, что его знобит и что нужно бы в Проскине зайти в кабак и выпить. Выпить захотелось и всем по шкалику. Думали и рассуждали об этом долго; наконец порешили купить полуштоф. Кабак был рядом с почтовою станцией, около которой возились ямщики за кибиткой. На крыльце станционной избы стоял в лисьей шубе молодой краснощекий купец и грыз, держа в пригоршне, орехи. Проскинские мужики от нечего делать терлись у крыльца и смотрели то на ямщиков, то на купца. Некоторые из них подходили полюбезничать с лошадьми.

— Тпрру... Ну... тпрру, милая... Ну, что, что? Хо-хо-хо! — разговаривал с одною лошадью мужик, дергая ее за холку и поглаживая ей морду, которой она старалась ткнуть ему в бороду.

В кабаке было тесно: присяжные, один по одному, выпивали, а закусывать выходили на волю; проскинские мужики заводили с ними разговоры неизбежным вопросом: «Чьи будете?»

Из станционной избы вышла молодая купчиха, полная, с лицом-пышкой, укутанная в ковровую шаль и куний салоп.

— Ты что? — спросил купец.

— Взопрела... задохнулась совсем.

— Садись здесь.

Купчиха села на скамью, а купец достал ей в пригоршню из кармана орехов. Ямщики о чем-то переругивались. Откуда-то вдруг раздался страшный выкрик.

Мужики стали осматриваться.

— А-ах, чтоб его! Антипка-кокун из-под караула у старухи убег!

— Иго-го-го! Кó-окку-у! Кò-окку-у! — выкрикивал хохлатый, нечесаный, низенький мужичок, трусцой подбегая к станции.

Он был в одной рубахе и портах, грудь открыта, ноги босые. Через шею, словно регалии, висели на веревке лапти.

— Антипка-шут, — пристали к нему мужики, — представь вот его степенству... Сыграй!

— Енарала представь, Антипушка!

— Как тебя судили? Ну-ко-сь! Вот и судья здесь... сам присяжный... Гли, — говорили ямщики.

Антипка безумно водил глазами, потом начал что-то бормотать и вертеться на месте.

— Дурак будет? — спросил купец.

— Блаженненький, — ответили мужики.

— Вы бы, ваше степенство, подоброхотствовали, — заговорили умильно мужики.

— Чего еще?

— Пожаловали бы на прокормление. Ноне такое положение.

— Какое положение?

— А подавать-то *им*, — показали мужики на Антипа.

— Не знаю. Кому?

— Он, ваше степенство, с суда такой... помешавшись... Судили его: он там на суде и повихнулся. Испужался очень.

— Робкий всегда был крестьянин, — подтвердили ямщики.

— Соблаговолите, ваше степенство! Он вам комедь сыграет. Тогда ему присяжные в округе рублев десять собрали, — сладкими голосами убеждали мужики купца, некоторые даже шапки сняли.

— Дать, что ли? — спросил купец жену.

— Много их! Этот юродивый не из настоящих, — представляется.

— Говорят, присяжные дают. Нам нельзя.

— Дай семитку.

— Прими, — сказал купец, протягивая монету, снял шапку, перекрестился и поправил волосы.

— Антипка, примай! Вишь, его степенство жалует... У-у, глупый, не разумеет! — говорили мужики, передавая ему семитку.

— За что судили? — спросил купец.

— За что? Да как бы сказать? Точно что будто как мы тут греха на душу маненько взяли, — замялись мужики. — Он, вот видишь, работал запрежде у купца; купец этот за его подати вносил, избу справил ему, и позадолжал ему Антипка. Ну, купец думает: пущай работает. А Антипка-то и убеги от него: оченно уж он над ним, купец-то, издевку большую стал позволять. «Ему, — говорил Антипка, — что больше слу-

жишь, то больше должаешь!» Убег, а купец к нам в обчество жаловаться.

— Ну?

— Мы, признаться, постегали Антипку тогда и приговорили, чтоб ему опять итти к купцу в услуженье. Говорил тогда Антипка: «Братцы, говорит, что вы делаете? Он мне душу по гроб контрактом опутает, что петлей; с каждым годом он меня туже да туже окручивает! В город он меня вести хочет, чтоб там я в суде за печатью за ним навек приписался. Лучше ж я ему хоть вдвое на стороне отработаю, а в контракт, что в хомут, голову класть не стану». Ну, мы и еще постегали малость за упрямство.

Подошли и наши присяжные к крыльцу и стали вслушиваться.

— Ну, а он у купца-то лошадь и угони, в городе и продай, штоб только откупиться от него чем. Там и взяли. А на суде-то, глупый, и помешался: думал, что его в крепость хотят к купцу приписать... Робкий!..

— Ну, и что ж, оправдали? — спросил купец.

— Чего его оправдывать? Его бог оправдал.

«Бог оправдал! — повторил про себя Фомушка. — Им одним еще и правда на земле крепка!» — думал он, вспоминая Архипа Сука.

— А вот эти тоже с вами, мужички-то пешеходные! — показали ямщики купцу на присяжных. — Только им, должно, за вашим степенством не угнаться. Вы все торопите: проворней да проворней, а то штраф возьмут... А вот они пешком... Неужели ж скорей нас приедут на липовой-то машине?

— Да кто это?

— Чередные... Присяжные... Вместе судить будете.

— Мы купеческого звания.

— Ноне все одно что пеший, что на троечке, — все на одной скамеечке сидят!

— Нет, мы в отдельности должны. Слышишь, — обратился купец к жене, — мы полагали сами по себе, своим разумом судить, а нас с лапотниками сажают. Это все неправда, я так полагаю.

Антипка опять запел кукушкой.

— Ну, Антипка, потешь! — начали приставать мужики. — Може, его степенство еще пожалует. Сыграй

нам суд, как тебя в крепостные хотели опять обернуть. Вишь, вот здесь все судьи собрались.

— Спроси, может, пророчествует? — посоветовала купчиха мужу.

В это время подбежала к станции маленькая, сморщенная и горбатенькая старушка в черном с белыми горошинками платы, в накинутом на плечи зипуне; грозно сверкнула она глазами на мужиков, причем сухие губы ее беззвучно шевелились и подергивались, а острый подбородок трепетал; молча схватила Антипку за руку и, таща за собой, почти бегом пустилась с ним вдоль улицы на противоположный конец села. Антипка загоготал во все горло.

— Это кто будет? — осведомился купец.

— Сестра... Тоже будто маленько и с ней попритчилось... Ведьма-ведьмой стала, никому голосу не подает, ни с кем с того раза слова не говорит.

— Так все и молчит?

— Все и молчит. У нас часто бывают эдакие молчальники из стариков: молчат год-два, смотря как по обещанью, потом опять заговорят.

— С чего ж они... с обиды?

— Богу служат!

— Двое их только... семьи-то у кукушки?

— Двое. Так и живут теперь в келийке безгрешно на конце... Любит его старуха-то сестра: в праздник вымоет, вычешет, рубаху красную наденет, шаровары плисовые (целую зиму нитки сучила — на то и купила; работящая старушка, — у нее всегда все в довольстве), в церковь сводит, по знакомым которым вместе ходят... Только беда, ежели увидит, что над ним потешаются.

— Чем же они живут? Сбирают у вас?

— Нет; кое-что, сказываем, робит старуха-то, а то и сбирают. Только от нас никак не принимает. По стороне ходит.

Присяжные послушали и пошли снова в путь. Проходили мимо последней избы, «келийки». Вдруг из нее выбежала та же старушка в платке горошком, поддерживая что-то в переднике, и молча стала оделять присяжных ржаными лепешками.

— Да за что это, кормилка? Не надо нам... Господь с тобой! Самой пригодятся, — сказали присяжные.

Старушка замотала головой и повалилась им в ноги.

— Ну, ну... Не гневайся, милая. Мы твоим добром не гнушаемся. Спаси тебя, господи, скорбную!

Все присяжные сняли шапки, перекрестились и вышли из села.

— Ко-окку-у! Ко-окку-у! Иго-го! — раздавались им вслед из келийки безумные выкрики Антипки.

Они уныло вслушивались в них, удаляясь все дальше и дальше от села, пока ветер перестал доносить до них эти дикие, прерывистые звуки и пока, наконец, они замерли совсем.

— Дело наше, милые, ответное пред богом и людьми! Как восковая свеча пред образом — вот оно какое! — проговорил Фомушка после долгого молчания и еще раз перекрестился.

Ему не отвечали — то ли от усталости, то ли от чего другого. Но только в эту минуту, может быть, более чем когда-нибудь, все присяжные чувствовали свою близость к «народному греху и несчастию», сознавали нравственную обязанность пред ним и думали одною думой с Фомушкой.

Глава вторая

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С НОВЫМИ ПРАВАМИ

I

Пеньковцы приспособляются

Поздно к вечеру присяжные входили в губернский город.

Долго шли они по длинной Московской улице, освещенной изредка мигавшими фонарями, отбиваясь от бросавшихся под ноги собак; наконец подошли к площади с собором и присутственными местами.

— Это она, что ли, Лука, округа-то? — спросили присяжные и, сняв шапки, стали креститься на собор.

— Она самая. Вот тут, братцы, горя-то нам кажут... Тут их насмотритесь.

— Насмотримся... Вишь, в какие хоромы засадят!

— На старое место нас, что ли, поведешь?

— Знамо. Все ж по знакомству безопасней.

Присяжные прошли на другой конец города и остановились среди Ямской слободы у постоялого двора.

— Сюда, молодцы, сюда пожалуйте! — зазывал их с крыльца постоялого двора мужик с фонарем. — Господа присяжные? Ну... сюда... здесь стояли... Это уж всем известно — наш двор для господ присяжных.

— Будто как не тот хозяин-то, — сомневался Лука.

— Как не тот? Что ты, голубчик! Господь с тобой! Что со мной поделалось! Ты вот завтра посмотри-ко, посветлее будет, — он самый...

— Завертывать, что ли, ребята?

— Мотри, не налететь бы... Четырнадцать ден ведь жить-то... — опасались путники.

— Завертывай, завертывай без сумленья! Тут обману нет! Эх, почтенные, на стуже-то стоять! А тут теплынь, покой — парься! — соблазнял дворник. — У нас все для вас, как есть, и приспособлено: нары, полати... Мы, кроме господ присяжных, редко пущаем... На той половине у нас трактирчик, — господа абвакаты пристают...

— А как пища?

— Что пища? Пищей мы господ присяжных не обижаем: хлебово, крупяник... ну, картофель можно... Квас тоже, чай, пить будете... Мы для вас, господа, скидку даже делаем... Пожалуйте!

Присяжные не решались. Лука всматривался вдоль улицы, не признает ли где прежнего места, но было темно.

— Эй, господа присяжные!.. Куда же вы?

— Нам бы вот хотелось своих тут поискать... Шабринских...

— Да помилуйте... Что ж вы не сказали? Шабринские? Здесь они-с... у нас... Где ж им больше быть! По городу и местов больше для господ присяжных нет. Пожалуйте.

— Ну, завертывай, Лука... К месту скорей бы... Изустал и так — беда! — порешил Фомушка.

— И то. Не покажется — переменим. Ведь не на цепь прикуют.

Дворник с фонарем повел их в избу. Они вошли в длинную, просторную комнату, по стенам которой действительно тянулись нары. Дворник, вынул из фонаря огарок, воткнул его в бутылку и полуосветил черные стены, кое-где обклеенные старыми газетами. Два человека спали, закутавшись, по углам нар; кто-то возился на полатях. В заднем углу стояла широкая изразцовая печь; на изразцах глазурью были наведены невозможные китайцы в широкополых шляпах. Вообще в комнате было пусто, сыро и прохладно. Но присяжным показалось хорошо.

— Ужинать, может, будете? — спросил дворник.

— Нету. Рады, что до места добрались.

— Так, так. У нас покойно. Вздохнете. Издалеча?

— Дальние. Из-под Горок.

— Да, да. Не близко. Может, пить захотите?

— Оно бы хорошо, кабы кваску хлебнуть, — мы бы с лепешкой прихлебнули. В горлах пересохло!

— Пересохнет. Разбирайтесь... Места у нас вдоволь.

Присяжные огляделись: просторно, как будто тепло. Им еще не верится, что не дует ветер и не саднит лицо, не вязнут более и не скользят застывшие ноги.

— Ах, важно, — подхватил Недоуздок. — Шибко натрудили себя. Теперь дубинкой меня не разбудишь.

Ему весело подкрякивали и подкашливали прочие.

— А что-то шабринских не видать.

— Може, на полатях.

— Где на полатях! Они бы сказались.

Вошел хозяин с большим деревянным поставцом квасу.

— А где ж наши-то, говорил ты, почтенный?

— А они вот рядом... Помилуйте! У нас без обмана... Вот рядом... Спят, поди! Завтра свидитесь чудесно. Будьте покойны.

— Так, так... А печку-то, хозяин, должно, выдуло. А нам посушиться требуется, — осторожно поглаживая широкою ладонью по изразцам с китайцами, заметил Недоуздок.

— Печка-то? Ах, братец... Это городская, потому и остывает. А ты — сушить! Сушить если — на кухню приходите. Туда приносите.

— Так, так. Ну мы и на кухню, коли так...

— Выдуло! Это уж печка такая, — объяснял хо-

зяин, — купецкая... Печка легкая. Она тебя исподволь греет... А не то что — лег, да и бок спалил.

— Бывает, почтенный, — подтверждал Недоуздок, — бывает у нас по деревням и это... Наработавшись, часто палят у нас бока-то. Умаявшись, на нашу печку ложись с опаской... Ожжет!

Присяжные даже расшутились. Снеся свои мокрые одеяния на кухню, они скоро улеглись по нарам и полатям.

Наутро по обыкновению пеньковцы поднялись рано; все они, по указаниям Луки Трофимыча, умылись, переодели рубахи, причесались, густо намазав коровьим маслом волосы, расчесали бороды и затем стали вынимать «обменки»: вынули у кого были синие, у кого серые зимние суконные, а у кого летние тиковые поддевки и кафтаны, которые надеваются ими в деревнях только два-три раза в год в высоковажных случаях: на свадьбах, в приходский праздник, на Рождество и Пасху. Привели в порядок обувь: пятеро надели кожаные сапоги, слегка их смазав сальною свечкой; прочие валенки. Лука Трофимыч одевался и прибирался вперед всех, другие делали то же, что делал и он. Надев «парадную» одежду, подпоясались все новыми кушаками; на горло туго повязали большие пестрые и красные платки. Богаче всех, «купцом», оделся Бычков: в сине-суконную чуйку, опоясанную красным кушаком с широкими концами с кистями, в кувшинные сапоги, собранные «в кольца», на шее был даже шелковый платок. Те, у кого хорошая «обменка» была летняя, накинули еще на плечи серые зимние разлетаи; только опять один Бычков, хотя и был в теплой чуйке, надел поверх широкий синий кафтан.

Все были степенно довольны и даже несколько трусили. Один Фомушка глядел уныло и кряхтел, и одет был беднее всех; ему нездоровилось.

— А ведь нас, братцы, дворник-то объехал, — сказал Недоуздок.— Искал я шабринских — нигде рядом не нашел... Тут и стройки-то нет.

— Вчера изустали очень: рады месту. Где тут его поверять!

Вошел хозяин.

— Как же, брат, наших-то не видать?

— Ваших-то? Да на что вам они? В суде увидите... Разве у нас плохо? У нас чудесно, лучше не надо: про-

стор, чистота, теплынь. А ваши, я говорил, рядом будут... вот пройдешь три избы,— тут тебе и будут.

— А говорили — здесь. Мы было с тем и шли. А то опаска есть насчет одежонки, тоже... по незнакомству-то.

— Здесь? Да это все одно: у дяди они у моего остановились. Дядя тоже двор держит... Что ж, мы родные, близкие... А насчет опаски будьте покойны: у нас этого баловства нету. У меня за всем свой глаз. Пожалуй, хоть заприте, — вот в конничек. Прекрасно будет. Я и замок приспособлю.

Успокоившись на этот счет, присяжные надели шляпы, картузы и шапки и, перекрестившись, пошли в город.

Было еще рано. Звонили к ранним обедням. Попадавшиеся пеньковцам горожане, спешившие на рынок, останавливались, видя разодетых по-праздничному мужиков, говорили: «Присяжные!» и смотрели им вслед, словно на диво какое. «В новинку им мужики-то ряженые», — замечал Недоуздок. Проходя площадь, зашли присяжные в собор, постояли на паперти, в дверях, помолились; издали поглядели на украшения, на купол, на большое паникадило; на паперти обратил их внимание Лука Трофимыч на большую картину страшного суда, написанную на стене, с полинявшими и облупившимися грешниками и бесами. «Вот она, полоса-то божьей грозы! — заметил Еремей Горшок. — Экие страсти!.. А это, братцы, гляди: судию неправедного поджаривают... вон этот черномазый-то. И весы, вишь. Один богомаз мне сказывал: судей, говорит, мы всегда с весами рисуем. Одна-то чашка, видишь, правда, другая — кривда... Ну, кривда правду у него перетянула — вот и поджаривают... Вот оно каково легко судьей-то быть!» — прибавил он боязливо и почти с ужасом посмотрел на соборного сторожа, который равнодушно, как с давнишними знакомыми, обращался с бесами без всякого страха: к одному лестницу поставит, к другому щетку пихнет, а третьему на самый нос, — куда, вероятно, им же был вбит здоровый гвоздь, — повесил скуфейку и ключи. Прошел важно протодьякон, расчесывая большою гребенкой кудрявую бороду; вид он имел осанистый, рост высокий, живот большой, волосы заплетенные в мелкие косички; присяжные полагали, что это сам благочинный по меньшей мере, и пожелали пред судом принять благословение, но протодьякон сердито махнул рукой и поспешно ушел

в алтарь, загудев что-то сплошным басом на весь собор. «Не удостоил», — с грустью прошептал Фомушка.

Из собора присяжные пошли к окружному суду. У крыльца мерзла какая-то крестьянка с котомкой за плечами и часто сморкалась в угол головного платка; она низко поклонилась им и, пропустив, вошла уже вместе в переднюю под сводом лестницы.

Усатый, высокий, с большими солидными баками и серьезным лицом, в полушубке и чисто вычищенных сапогах, швейцар ходил со щеткой между деревянными вешалками и выметал сор.

— Раненько, почтенные, раненько! — проговорил он, увидя присяжных. — Долго вам придется ждать. Присяжные?

— Они. Да ведь где у нас время-то знать! Поранее-то оно без опаски. А то вы, слышь, строги.

— Мы строги. У нас все строки. Как что мало-мальски упущенье, хоша полчаса, — сейчас строк... Ну, и штрафуют.

— Вишь, оно как, спуску, не дают. Так тут, по нашим капиталам, и с ночи заберешься.

— Пожалуй, что заберешься. Посидите пока, — пригласил их швейцар. — А ты что, старуха, все ходишь?

— Я, ваша милость, по делу... Сынок у меня тут судился...

— То-то, судился... Так что ж теперь дожидаешь, каждый день ходишь?

— Говорят, потребуют еще... Да я богу молюсь... Вот к заутрени схожу, а оттуда и сюда.

— Привыкла, должно, к суду-то!

— А что ж, милая, али осудили сынка-то? — спросили присяжные.

— Осудили, родные!

Крестьянка заплакала.

— А за что?

— За поджог.

— Как же это он?

— По глупости.

Крестьянка замолчала, подумала, потом начала кланяться им.

— По глупости, родные... Всего шестнадцатый годочек минул, что малый ребенок еще... Будьте милостивы! Все купцы да приказные судили: они наших делов

не знают... Може, вы помилуете. Вам наши порядки известны.

— Теперь уж не воротишь.

— Все может... Слышь, опять приведут еще... Я вот и в церковь каждый день хожу: надежды на заступницу не теряю...

— Не воротишь, бабка, не воротишь, — уверял швейцар. — У нас на все порядок.

Швейцар стал «прибираться по-форменному». Присяжные смотрели, как он фабрил усы, «височки», чесал баки и приглаживал волосы на голове, как надевал ливрею с позументами.

— Вот оно, дело-то: как видел его в полушубке, так теперь и не боязно, — заметил Недоуздок, — а глянь-ка сразу, — того и смотри, что сробеешь.

— Форма! Нельзя! У нас все форма. Потому у нас дело с таким народом, чтоб страх был...

Наконец стали прибегать мимо присяжных молодые чиновники с порфелями и без портфелей, в очках и без очков, и непременно суетливо. Прежде в чиновниках никогда такой хлопотливости и серьезной «вдумчивости» в «приказное дело» не замечалось.

— А, присяжные! — удивлялись они и, шагая по лестнице через три ступени в четвертую, уносились вверх в достолюбезное лоно Фемиды.

— Вы теперь наверх ступайте, — посылал присяжных швейцар, — там уж ждите.

— А что ж, почтенный, хламиды-то у вас, что ли, сберегутся?

— У нас.

— То-то, посмотрите, хоть и мужицкие... Суд судом, а всякому свое дорого,—внушал швейцару Бычков, трусивший за свою «купецкую» одежду.

II

«На судейском положении»

Присяжные поднялись вверх по лестнице, а за ними и старуха-крестьянка. В приемной комнате, перед залой заседаний, скоро стали собираться разнообразные личности: свидетели, адвокаты, ходатаи, поверенные, купцы,

помещики. Пришли и прочие присяжные: в числе их было большинство крестьян, тут же и шабринские; чиновник из уездного города П.; два купца оттуда же; учитель духовного училища с белыми пуговицами на вицмундире и медалью за крымскую войну в петлице и один купеческий сын, одетый «по-статскому», лет пятидесяти, высокий, плотный и ширококостый, с проседью. Он был очень оживлен, ко всем приставал, всех расспрашивал, рассказывал анекдоты, смеялся, вообще чувствовал себя как дома, очень свободно. Пришел и молодой купец с женой, наряженной теперь в невозможных размеров шиньон и шляпку, готовую ежеминутно слететь с затылка.

Купеческий сын повел носом и нюхнул воздуху: пронесли в буфет горячие пирожки. Зазвучали ружья, загремели цепи — ввели осужденных «для выслушивания решения в окончательной форме». Осужденные смотрели мрачно. Старуха-крестьянка подходила к каждому из них, всматривалась в лицо и отирала платком катившиеся слезы.

Кто-то прошел в шитом золотом мундире. Крестьяне-присяжные, пришедшие в первый раз, поднялись.

Кто-то, взглянув на них, обратился к сторожу:

— Присяжные?

— Точно так-с.

— Скажите, чтоб не вскакивали... пред всяким.

Лука Трофимыч, услыхав замечание, обратился к своим:

— Чего прыгаете? Упрыгаетесь: здесь много ходят. Мы сами теперь судьи...

Купеческий сын уговаривал учителя духовного училища зайти в буфет.

— А то не успеем, ей-богу, не успеем... Проморят часов до шести, тогда раскаетесь, да поздно будет.

— Да не хочется. Рано.

Купеческий сын шепнул ему что-то на ухо.

— Ну? Разве можно?

— Говорят... Ей-богу, я слышал: в ведре... за дверью, будто бы, дескать, вода... Рюмкой нельзя, а стаканчиком можно... Так и подадут вместо воды... Как же адвокаты-то? Неужто же терпеть будут?

Купеческий сын и учитель стали пробираться в буфет.

Между тем сторож обходил стоявших и сидевших кучками присяжных.

— Присяжные? — спрашивал он шопотом.

— Так точно-с, — отвечали некоторые, порываясь встать.

— А вы сидите, не вставайте. Не приказано. Потому вы сами судьи. Вы вперед не кланяйтесь, пусть вам сначала поклонятся. А то нехорошо. Вот сейчас член заметил, говорит: «Нехорошо».

— Слушаем.

— Чести-то, парень, не оберешься! — удивлялся Недоуздок.

А в это время почти рядом с ним шел разговор между молодым мундирным господином и «знаменитым» приезжим адвокатом, искусно вскидывающим на нос пенсне, во фраке, в безукоризненно белой сорочке с золотыми запонками, в белом галстуке и жилете, с прекрасною бородой и тщательно расчесанным на затылке английским пробором; в шляпе держал он свод кассационных решений.

— Помилуйте, что же это, наконец, будет? Ведь совсем нельзя защищать! Так неравномерно составлять списки! Борода на бороде, бородой погоняет! — говорит знаменитый адвокат.

— Гм, гм... Серо, серо, — морщась, ворчит другой, «не знаменитый» адвокат.

— Нынче вся сессия *серая*... Радуйтесь! Ха-ха-ха! — ядовито замечает мундирный молодой человек. — Цветы вашего красноречия можете и не тратить понапрасну. Поберегите до благоприятного времени! Да и дам что-то мало собирается. Серенькая сессия-с, серенькая...

— Это невозможно... Я отведу... всех *серых* отведу. Мое дело такое... деликатное...

— А у вас что? Растрата сумм?

— Да... «недоразумение!»

— Так «серые» не годятся; нужно «разумеющих»? Это не то что какого-нибудь сиволапого защищать, который то «по глупости» ребра поломает, то «по непреднамеренности», после полуштофа водки, жену удавит, то на закуску стащит стяг севрюги у соседа «со взломом»!

— Как бы то ни было, а мне нужен теперь состав деликатный.

— Э, батюшка! Будто бы не знаете, что с этими серяками ваш брат всякие штуки может проделывать! С ними еще лучше. Говорят, раздать вот каждому, хотя теперь, по записке и написать на ней: «Нет, не виновен...» Пусть и помнят, и заучивают... Право, попробуйте!

— Смейтесь! Я посмотрю, посмотрю да и велю своему клиенту сердцебиением захворать, вот мы другой сессии и дождемся... Ох, уж заедешь в эту вашу трущобу!..

— Столичная вы птица! Погодите, вот скоро у нас двоеженца будут судить... Вот бы вам!.. Что, не возьметесь? Из образованных...

— Слышал! Голяк...

— Ради красноречия... Можно бы цветы рассыпать: все наши сливки соберутся, все дамы — в самых лучших нарядах... Дело романическое: *он* — молодой, умный, образованный, *она* — милая, грациозная, певица... Жалко, жалко, что вы упускаете случай блеснуть своею красотой и образованностью...

— При этих «серых»-то? Покорно благодарю!

— Недолюбливает нас, серяков, баринок-то! — заметил Недоуздок Фомушке.

— Дело господское.

Вдоль приемной степенно прохаживались, оглядывая присяжных, батюшка в шелковой рясе, с наперсным крестом, красным лицом и широкою лысиной, расчесывая жидкие вьющиеся волосы, и солидный толстый господин с широким лицом и большим носом, в форменном фраке не судебного ведомства; он держал в руках шелковый фуляр и вертел табакерку; на толстой шее болтался у него орденок.

— Вот посмотрите, каких присылают, — говорил толстяк, показывая на Фомушку. — Они думают, что если у них *там* выжившие из ума «старики» первые судьи во всем, так и в округе за первый сорт сойдут... Я полагаю, что закон в этом случае не досмотрел: шестьдесят лет — большой срок. Вы не поверите, как скоро эти *господа* глупеют! У меня крепостные, бывало, до тридцати лет — дурак набитый, ничего не понимает, только и знает: «как старики»; с тридцати лет начинает как будто в ум входить; не успел еще хорошенько войти в него, как лет с пятидесяти уже начинает «забываться» и опять глупеть. По-моему, пятьдесят лет — вот срок для них...

Ведь это не мы!.. Если их «правоспособность» ограничить периодом десяти лет, было бы много лучше. Списки составлялись бы равномернее, процент «серого элемента» был бы меньше, контроль был бы возможнее... А он необходим, потому что тут ведь один инстинкт...

— От непросвещения-с, — заметил батюшка, изгибаясь всем корпусом, чтобы достать со дна кармана платок из сиреневого цвета полукафтанья. Они остановились пред Фомушкой.

— Э-эх, старик, старик,— с сожалением сказал толстяк с орденом, слегка обмахивая нос шелковым фуляром, — сидел бы ты на печи дома да грелся... Присяжный ведь, поди?

— Удостоен на старости лет, сударь... Привел господь и мне на конце жизни хотя раз великому делу причаститься...

— То-то, «великому делу»... Ты думаешь, здесь то же, что у вас по волостям: сойдутся старики, покряхтят, сказку расскажут — и конец... Вот вы своего-то батюшку спросили ли, каково «велико» это дело-то?.. Он бы вам сказал. Кабы ты понимал, так лучше сидел бы на печи да грелся, да богу молился, чтоб господь отвел с глупым-то разумом от мудреного дела.

— Неужто, батюшко, не годимся? Думается, что, мол, какие ни есть, сударь, тоже люди... Знамо, мужичий разум — что вода темная, только ведь мы с молитвой на это дело идем.

— То-то и есть, «вода темная»... А из-за тебя, глядишь, хороший человек в Сибирь угодит, а мошенник гулять пойдет.

Фомушка посмотрел во все глаза на большой нос толстяка, на его пухлые щеки, толстую шею с орденом. Что-то его словно резнуло по сердцу, задело за живое.

— Чать, у меня, милой, крест-то тоже есть на шее, хотя и не такой, что у тебя. Ума, может, с твое нехватит, а душа христианская.

Толстяк побагровел; батюшка закашлял, поспешил принять озабоченный вид и отойти. Кругом начали прислушиваться другие присяжные.

— У вас все «душа»—процедил, поворачиваясь, толстяк.—Вы и глупы «по душе», и мошенники «по душе»!

— О чем вы? — любопытствовали присяжные.

— Огорчаются нами, — промолвил Фомушка.

Вошел торопливо судебный пристав с белою цепочкой на шее, с записочкой и карандашом в руках.

— Господа присяжные,—сказал он громко и внушительно, — потрудитесь все отойти — вот сюда.

Присяжные поднялись, задвигались и собрались в кучку — крестьяне в один угол, прочие в стороне.

— Купеческий сын Петр Иванович Сабиков! — начал перекликать пристав.

— Здесь. Налицо-с.

— Отойдите к этой стороне.

— Крестьянин Лука Трофимов!

— Здесь, — отвечал Лука.

— Отойдите. Крестьянин Петр Недоуздок!

— Здесь! — выкрикнул Недоуздок и перешел в другой угол.

— Крестьянин Филипп Иванов Савелов!

— Здесь... Сами-с, — тихо проговорил седой низенький и юркий старик, отходя к стене и прячась за спины присяжных.

Недоуздок, раскрыв по обыкновению «восторженно» рот, с удивлением смотрел на шабринского соседа. Пристав продолжал перекличку. К нему подошли с вопросами: «Ну, что? все? а?»

— Нет, двадцать восемь только, а нужно тридцать шесть, — пожимая плечами, отвечал он.

— Ну-ну, не допущу, — сказал адвокат с пенсне, — отложат... И прекрасно.

— А ты с коих это пор, Пармен Петрович, в Филиппы-то Ивановы записался? — подошел и спросил Недоуздок Савелова.

— Ай ты забыл?.. С чего это ты, брат? — проговорил смешавшийся Савелов.

— То-то я тебя все Парменом знавал, а теперь в судьи попал — Филиппом стал... Разве перекрестился?

Но тут подошли к ним Лука Трофимыч и шабринские.

— Чего ты пристаешь? — приступили шабринские к Недоуздку. — Свою волость знай, а в чужую не суйся. Что за пристав?

Савелов мигал своим, боясь скандала.

— Отойди, Петра! Вспомни, что старшина наказывал, — сказал рассудительный Лука Трофимыч, видя, что их соседи косо смотрят на них.

— Мне-ка что! — говорил Недоуздок, передергивая плечами. — Пущай хоть Маланьей зовись. Они народ богатый... може, им позволительно...

— Да ты, может, ошибся? Запамятовал?

— Ну, вот! Чай, у него зятя так-то зовут: я и дружкой у его-то зятя был. У них на фабрике работал полгода. Это вы не знаете, а я знаю. Да и по фамилии-то они Гарькины будут.

— Все ж тебе не след соваться: ты не один. Спаси, господи, всех нас под свидетельство подведешь.

— Да ведь мне плевать на них! Пущай! Я ведь ничего!

— Ну, и молчи. И хорошо, что с ними на постоялом не встали. Вишь, им не по нраву.

Скоро ввели присяжных в залу заседаний. Прежде всего шли они по ней гуськом, боязливо передвигая ноги; затем Недоуздок испугался больше всего священника и налоя с евангелием и крестом: они произвели на него сильное впечатление. Присяжные старались не смотреть по сторонам и глядели прямо против себя, в упор, на поместившегося против них прокурора и «знаменитого» адвоката, который, рисуясь, метал на них из-под пенсне сердитые взгляды. «Чего этот баринок, подумаешь, взъелся на нас!» — размышлял Недоуздок и никак не мог понять. Раздались известные слова: «Прошу встать: суд идет!» Присяжные-крестьяне вздрогнули, испугались, смешались и, вставши, долго еще не решались сесть, ожидая, не скажет ли чего-нибудь еще пристав, но тот начал им молча махать руками. Началась известная процедура, но скоро встал адвокат и развязно, как не особенно важное, что-то сказал. Крестьяне-присяжные никак не могли разобрать, даже Недоуздок, которому очень хотелось знать, что «баринок» про них говорил, но как он внимательно ни вслушивался, ничего не понял. Затем председатель молча качнулся корпусом к прокурору, тот тоже, едва привстав, что-то ответил, а что именно — крестьяне ничего не поняли. Судьи стали шептаться и, наконец, объявили, что сегодня, по неполному комплекту присяжных, заседание не состоится. Стали толковать о причине неявки присяжных; большую часть штрафовали. Недоуздок удивился величине штрафов. «Полсотни... слышь? — толкал он под бок Фомушку. — Купецкий штраф... Нам бы это ни к чему — и взять не с чего».

Наконец их отпустили, сказав, чтоб приходили завтра.

Общее впечатление формальной стороны суда на крестьян-присяжных было очень смутное, неясное; все они словно в тумане ходили и не могли ничего понять. Им все казалось, что их куда-то ведут, где-то сажают, поднимают, перекликают и все приказывают: «Встаньте, сядьте, подойдите, отойдите...» Поэтому первые дела всегда трудно даются присяжным. Наши были счастливее: им было время приноровиться, одуматься, присмотреться после разнообразных «внушительностей».

III

Общинники и собственники

Присяжные вышли из суда гурьбой; постояли на крыльце; потом стали спускаться с лестницы, шаг за шагом. Разбились на кучки; слышались возгласы: «Вот оно как ноне: не захотел судиться — до завтра оставят. Не притесняют, без прижимки».

— А все же, брат, завтра али послезавтра, а в свое место уйдет, куда судьба тащит.

— Уйдет! Суд свое возьмет.

— Ах, чтоб те! День-то даром пропал... Баловство, гульба! — ворчал какой-то мещанин, перегоняя пеньковцев.

— Знамо, гуляй. Мы судьи! — трунил Недоуздок.

— Тебе хорошо на общинные-то деньги, — говорил мещанин. — А вот тут — проежа! Кто тебе заплатит?

— Неужто у тебя меньше нашего денег?

— Всяк себе свой счет знает. Вот вы бы одни и судили с приказными, коли любо. Вам это в привычку. А нам ни к чему: у нас судов нет и не было. Нам баловаться некогда, — у нас каждый день копейку выжми, копейку произведи. А тут пятнадцать ден — заведенье! Только продержка, баловство, по трактирам обчистка, сиротской копейки прижимка.

— А ты, сиротская копейка, не балуйся, не ходи в трактир.

Шабринские шли в стороне и что-то горячо рассуждали с стариком Гарькиным (Савелов тож). Наконец один отделился от них и подошел к пеньковцам.

— Вы, соседи, теперь куда? — спросил он их.

— Ко дворам, обедать думаем.

— Рано. Лучше пойдем в трактир — чаю попьем. Благо денек выдался, — погулять хоть. В другой раз, сказывают, и рад бы, да не выпустят.

— Капиталы-то у нас не очень припасены на чаи-то. Это вы уж гуляйте, — отвечал угрюмо Лука Трофимыч.

— И у нас тоже немного. Да коли угощают, так чего отказываться. У *них* денег много. От добра отказываться грех.

— Коли угощают, так и ступай.

— Вы подите. Вас зовут. Соседи ведь будем... По соседству.

— Что ж, соседи? — заговорил, подходя и приподнимая шляпу, старик Гарькин (Савелов тож). — Не обижайте, не откажите принять наше угощенье... Здесь, на чужой стороне, что за счеты! А мы тоже с вами не далекие, кабысь совсем свои. Недаром *шабрами*[1] из веков звались. Уважьте. Нам это будет не в раззор, а в одолженье... Друг об дружке, а бог обо всех.

— Да ведь какие у нас с вами такие знакомства? Вы люди богатые, собственники...[2] Ваше дело купеческое, фабричное, — говорил Лука Трофимыч.

— Полно, отец, что ты! Мы ежели и собственники, так всегда к обчеству близки. Купцы! Что за купцы, коли в крестьянском звании находимся? А что насчет знакомства, так вот Недоуздок ваш нам большой благоприятель даже... Чать, помнишь, Петра, как дружкой-то пировал? А тебя помнят: прибаутчик был ты завзятый.

— Как не помнить! Я с тех пор и имя-то твое крещеное помню...

— Ну, это, други, оставим. По крестьянству порой на это не очень смотрят. Как кто ни зовись, был бы человек хороший, с душой. Для дела в этом разницы нет. Может, еще другой-то человек с душой, и лучше для дела-то. Так ли я говорю?

— Так что ж и в сам деле, братцы? — спросил Не-

[1] Шабер, шабры — сосед, соседи (*Прим. автора*)

[2] Крестьяне, в описываемой нами местности, называют *собственниками* только тех, которые владеют недвижимым имуществом, приобретенным помимо общего надела и выкупа, и то в значительном количестве. (*Прим. автора*).

доуздок. — Коли человек хороший, отчего не уважить?.. а? А оно пополоскать тепленьким животы важно было бы с дороги!

В это время присяжные подошли к трактиру; шабринские стали подниматься по лестнице; пеньковцы подумали, подумали и тоже пристали к ним. Только Фомушка не пошел, — он совсем разнемогся и поплелся на квартиру. Тут пеньковцы заметили, что старушка-крестьянка, которую встретили они в суде, не отставала от них и теперь поплелась вместе с Фомушкой.

Войдя в трактир, все отправились было, по привычке, мимо буфета на «черную половину», заметив в ней серые полушубки.

— Сюда-с, направо пожалуйте. Господа присяжные! — крикнул, выбегая из-за стойки, толстобрюхий, на коротеньких ножках хозяин, улыбаясь, расшаркиваясь и неимоверно быстро действуя локтями. — Помилуйте, господа присяжные, что вы-с! Вот сюда-с! Разве это можно-с?.. С черным народом? Что вы-с?.. Это для нашего города даже большой стыд, ежели... Даже для самого государства-с, я так полагаю... Как же можно-с? Мы обязаны со всяким уважением принять... Располагайтесь!.. Федька, салфетку поверни!.. Располагайтесь свободней, вот на диванчик...

— Почету-то сколько за нонешний день набрался, за пазухой домой не унесешь! — удивлялся Недоуздок.

— Как же-с! Помилуйте... Мы, горожане, вас обязаны даже с хлебом-солью принимать... Потому, господа, через вас сельское обчество с городским обчеством в один интерес входят, — говорил политик-трактирщик. — А то на черную половину! Нельзя-с... Городу обидно... Мы городские представители-с, гласные, так скажем, а вы наши гости... Вот отсюда все на виду-с... Вот и господа там кушают... Чайку-с? Сколько парочек? На всех прикажете?

— Да, на всех... чайку... Да там пропустить, что ли, с огурчиком, — заказывал Гарькин.

— Водочки-с?.. Сию минуту... Федька! «Поповки» господам присяжным! — распоряжался хозяин, так ловко повертывая большим животом, что вызвал даже Недоуздка на удивление: «Вишь ты, как брюхо-то поворачивает! Не даром копейку выжимает!»

Однако хозяин-политик все же посадил «господ при-

сяжных» наших на средней половине, а не на «чистой», где сидели купцы и чиновники, хотя она и отделялась всего четырьмя колонками. Но и такой мизерный и призрачный «почет», которым сегодня с самого утра награждала «округа» мало избалованных крестьян-присяжных, доставлял им детское удовольствие.

— Важно быть присяжным! Со всяким ты равен! Изредка побаловать нашего брата можно... ничего... хорошо! Будто веселей неумытым-то рылом взглянешь! — высказывал вслух свои тайные ощущения Недоуздок.

Вообще он был, казалось, всех довольнее своим «судейским положением». Глубоко впечатлительный, он отзывался на все «по душе»; все его интересовало, все он любопытствовал и все принимал за чистую монету, но зато больше и грубее всех ему приходилось и разочаровываться и затем глубоко страдать или удивляться своему же разочарованию. Шутить с такими натурами опасно: что̀ уже им дано, то они хотят пить полною чашей, не удовольствуясь полумерой, одним «прихлебыванием». Им все или ничего. Такие натуры — прекрасный пробный камень для «благих намерений» и «прекрасных слов».

— Те-те-те! Постойте! — вдруг заговорил купеческий сын Сабиков, заметив шабринских, и подошел к ним, всматриваясь в Гарькина. — Ну, так и есть! Вот ведь, насилу узнал... Смотрю на суде, что лицо знакомое будто!.. Чье, мол, думаю? Да опять фамилия не такая! Думаю, забыл... Ведь Гарькины будете?

— Нет-с, мы Савеловы, — несколько смутившись, проговорил Гарькин.

— Опять Савеловы! И в суде Савеловы! Вот подите же! А у меня вот так на уме и вертится, что вы Гарькины.

— Нет-с, Савеловы. Это бывает часто: будто затмение...

— Да, это случается. Но все же я так ясно помню: ведь у вас фабрика полотняная в Шабрах?

— Имеем-с.

— Ну, вот... Ведь вы были в *** в прошлом году на ярмонке? Еще я у вас полотно покупал... Припомните-ка: еще я тогда забраковал у вас, руками разорвал чуть не полкуска.

— Не припомню-с. Это вот, может, зять мой. Так тот точно что и по фамилии Гарькин. Да я ему и все дела по фабрике сдал, потому, по старости, не занимаюсь.

— Странно, странно... А у меня где-нибудь дома даже и записано... Ну, батюшка, нажгли вы было меня с полотном-то! А я еще хотел тогда жене поручить... Вот уж именно пословица-то: на то щука в море, чтоб карась не дремал... А быть бы мне карасем. Вообще, видно, вы народ оборотливый...

— Не знаю-с. У меня так не бывало. Впрочем, за зятя не ответчик. Он, точно, человек оборотистый. Может быть, и было что... по купечеству... Хе-хе-хе! Дело коммерческое.

— Нда. Что̀ если бы нашего брата не на две недели только, а каждый день в году заставлять присягу принимать? а? Пред каждою сделкой? Ведь коммерция рушилась бы, совсем бы рушилась.

— Не знаю... Нельзя полагать. Я так думаю, что ежели тебе есть резон обмануть, так ты и с присягой и без присяги обманешь... А не обманешь — не продашь! — прибавил Гарькин и весело засмеялся. Он совсем овладел собой смущение даже заменилось игривостью.

— Верно, верно...

— При этом-с, кроме того, и присяга ведь розная, — продолжал Гарькин, ловко поправляя рукава и принимаясь развязно споласкивать чашки. — Примерно хоть присяжный: дает он присягу в том, чтоб судить по чести, по совести... И будет судить, и от присяги не отступится. Ну, только это дело от всех других его дел опять-таки сторона. Тут он слободен делать, как ему нужно. Судить дал он присягу по убеждению совести, нелицеприятно, и судит так... А спроси ты его в это время: как тебя зовут? Акулиной, — скажет он. И ничуть это противу присяги его не будет, коли ежели в этом его интерес есть: может, вся жизнь, дети, семья, состояние... Так ли я говорю-с?

— Оно, конечно... Только ведь каково дело, каков предлог?

— Знамо, коммерческое-с... В этом деле сам господь снисходительствует.

— Именно, снисходительствует... Пожалуй, что и

правда... Ха-ха-ха!.. Ведь вот теперь хоть бы мое дело: ей-богу, с радостью бы сообщил, если б только поверили, что у меня жена умирает... Сейчас бы в суд прошение — и марш домой. Теперь, поверите ли, ведь совсем в две-то недели все дела станут. Ярмонка — и послать некого... Жена на-сносях, седьмым, господь с ней... Просто хоть плачь. А тут опять расходы: ведь здесь рублем в день не обернешься, соблазны, притом ежеминутно! В суде опять: глядишь, пирожок — гривенник, котлетка — четвертак... Кушает господин прокурор, ну, и тебе как-то обидно отстать. На серяках не взыщут, хоть коровай за пазухой притащи, а нам нельзя. Вот рассказывают: коммерсант один вдруг получил телеграмму на самом заседании, что у него отец умирает. Прочитал, даже побледнел, затрясся весь. Посмотрели: сейчас же отпустили, даже слова не сказали. А все вздор: отец-то здоровехонек был; вот ведь как представился! Побледнел! Знает, что справляться никто не поскачет. Нда-с... А у меня даже и случай есть: жена родит. Право, хочу уведомить, чтоб она телеграммишку сюда черкнула: «Приезжай, милый супруг! совсем, мол, у меня дух вон!»

Недоуздок не утерпел, чтоб не заметить, что купцам, видно, и уставы не писаны никакие.

— Ну, а вы что? — накинулся на него купеческий сын. — Святее, что ли, нас? Поди, нет у вас «нетчиков», али не запаивают мир, чтоб в очередь не заносили? Думаешь, вы одни святые?

— Да нам к чему в нетчики-то итти? Мы общинники. Нам ни к чему. Мы еще даже, пожалуй, в охоту по зиме-то сходим; проветришься лучше, чем на печи-то преть, — отвечал Лука Трофимыч. — Вот собственники — дело другое... Али вон летом и нам...

— Хорошо вам общинные-то деньги проедать!

— Хороша проежа!—крикнул Недоуздок.—Ах, купец! Мирскому пятиалтынному — и тому ты позавидовал...

— Все же хоть пятиалтанный есть с кого взять... А мы с кого взыщем?

— И у вас обчество есть.

— Наше-то, брат, общество скажет: у тебя денег много у самого, на то ты и купец.

— Так об чем же, почтенный, горюешь? Денег много, а он горюет! Это как будто не дело, как будто выходит: хоть и не надо, а все-таки урвать.

Лука Трофимыч и прочие присяжные сосредоточенно и недовольно молчали, даже шабринских коробило от излишней «игривости» старика Гарькина, увлекшегося слишком своими «коммерческими принципами» в разговоре с купеческим сыном, и сидевший рядом с ним *шабер* не раз ткнул его исподтишка под бок. Луке Трофимычу начинали не нравиться трактирные разговоры: ему постоянно вспоминался старшина и его «напутствие», в основательность которого он не мог не верить по предшествовавшему опыту.

Между тем посетители собирались в трактире все отборнее и отборнее. Недоуздок обратился весь в слух и наблюдение.

— Ничего! Кажись нам теперь *округа* во всем обличии... Здесь на свободе... Посмотрим мы тебя, как ты об нас, серяках, теперь полагаешь...

Однако пеньковцы, наскоро напившись чаю, боялись долго оставаться в трактире и ушли. Только Недоуздок остался: он не мог не удовлетворить своего любопытства вконец.

IV

Мужики

Вернувшись на постоялый двор, пеньковцы удивились, найдя комнату, в которой они помещались пустою и отпертою; но тут скоро заметили, что в одном углу, на нарах, ютилась старуха-крестьянка. Она, казалось, совсем облюбовала этот угол и расположилась в нем «по-хозяйному»; вверху на гвоздочки развесила плетенки из суконной покромки, какие-то мешочки, бурачки и приладила образок. Сама она, обернувшись сгорбленною спиной к двери, копалась в мешке с холстинными постромками, подшитом сверху телячьей потертой шкурой с изношенного солдатского ранца. Старуха была теперь в крашенинном синем сарафане и в составленном из разных лоскуточков повойнике на голове; из-под серой грубой рубахи смотрела ее впалая сухая грудь темнокоричневого цвета. Сморщенное маленькое лицо ее носило по изборожденным шрамами и морщинами щекам следы бесконечно пролитых слез, оставивших в них после себя темные дорожки примоченной грязи.

— А ты что, старушка, здесь делаешь? — спросил Бычков, заметив ее.

Старушка встала и низко поклонилась пеньковцам.

— А я вот, почтенные, со старичком вашим! — отвечала она.

— Сдружились?

— Спокою его... Слаб он у вас, старичок. Претерпел от вьюги. Зорок мой глаз на это: сейчас заприметит. Тем и по селеньям нашим известна. Тем и век свой проживаю, что болящего спокою...

— Лекарка будешь?

— Нету. Я молитвой. Жальливая я... Из-за наших грехов старичку напасть пришла... Из-за грехов наших потрудился.

— Из каких из наших?

— Так, из наших. И я для него должна потрудиться ради господа моего. «Бабочка, — говорит мне старичок, — тоска, говорит, мне на сердце большая. Шел я на великое дело, на ответное — за неразумный грех человеческий у царя и закона постоять, да не принимает, должно, господь моего заступления, попустил он, батюшко, вьюге сломить старые кости, а людской обиде сломить и смутить до конца дух мой». Помолимся, говорю я, грешные.

— А где же ты нашего старичка сокрыла? а? — спрашивал Бычков. — Смотри, бабка, не смути его у нас... Где у тебя он?

— Нишкните, милые; чуточку забылся. На полатях он. Сном господь исцеленье всякой душевной истоме приносит.

— Так помолились, старушка? Дело доброе... Вот мы после суда-то и поженим вас, пожалуй. Ишь вы у нас как слюбились! — шутили присяжные, распоясываясь и снимая свои «парадные одеяния».

— Встали мы пред иконою, — неторопливо продолжала старуха, — и помолились: за сродников, за родителев, за царя-батюшку, за судию благодушного, за скорбящего, несчастного, за законом обличенного...

— Умеешь ты, бабка, хорошо молиться! — восхищались присяжные.

— Потому у меня душа чиста, что стекло прозрачное. Я давно так научилась молиться.

— За что ж это тебя господь сподобил?

— За смиренное терпение... Я не ропщу.

— А сын, старушка?

— Ежели господу угодно, он надежду мою поддержит. Не угодно — смирюсь.

— Истинно ты, бабушка, богу угодишь этим.

— Господь награждает меня. Благодарю его всечасно. Святыми целеньями я от него завсегда награждена на людскую нужду.

Крестьянка вынула из висевшего на поясе кармана, из разноцветного ситца, пузыречки и показала пеньковцам.

— Вот маслице от Споручницы... Вот от Миколы-угодника из самой мощи... Вот от Живоносного источника... Спрыснула я старичка святою водой от Живоносного источника, обвязала ему голову ледяною примочкой. Успокоился старец божий, просветлел, что младенец. А болен у вас он, болен! Натрудился шибко.

— Что сделаешь, бабка!.. За наши грехи бог, должно, наслал экую метелицу... Может, нарочно нас отстранял, потому, надо полагать, что недостойны... вишь-де лапотники, пешкара эдкая, лошаденок жалеем, пешком идем, а туда же судьи... Недаром здесь нами гнушаются... Знамо, больно уж ловки стали, в судьи захотели... С барями, да богатеями судить!.. Вот господь за гордость-то мужичью... и того, — философствовал Еремей Горшок, — и карает...

— Ври больше! — сердито сказал Лука Трофимыч.

— Да, право, тоска! Ты смотри, сколько на нас из-за этого самого обижаются... Пущай бы их одни судили, коли не по нраву с нами...

— Знал бы, не пошел, — сказал другой Еремей. — Лучше откупиться! Всякую напраслину на тебя гнут...

— Смирись, — поучал Лука Трофимыч.

— Мы, кажись, смирны... Уж так смирны, что малый ребенок, и тот тебе в бороду плюнет!

— Обедать бы, братцы, лучше... а во всем прочем буди воля божия! — заметил Бычков, засунув широкие ладони за пояс.

— Обедать так обедать. Заказывай, — отозвались пеньковцы.— Недоуздка нам ждать нечего. Это уж мужик такой: по три дня скорее не евши пробудет, чем дело не выследит.

Сели обедать. Все стали добродушнее. Завели разговоры.

— Бабка, похлебай с нами. Недорого возьмем. А то за нашего старичка и так покормим, — предложили присяжные.

— Спасибо. Я этим себя не питаю.

— Что ж так?

— Я — что птаха малая... У меня и тела нет!

— Оттого и тела нет, что ешь мало...

— Нет, не от этого. А тела нет, оно и не требует... Сухонького пожую — и довольно... Пять лет уж я так-то...

— Из тебя, мотри, моща выйдет.

— Выйдет, думать нужно. Я и теперь моща, только живая.

— А ты чья, бабка?

— Я-то? Я беглая.

— Беглая? От кого?

— От хозяина.

— За что так?

— Пятый год я беглая. Жили мы большою семьей: два брата. Большак-то вдовый, трое малых ребятишек у него. Такой он тихой в характере, за ребятишками своими что баба ходил, няньчился. Зимой истопит печку, перемоет всех, вычешет. Дивно на него смотреть было, да и смешно. Мой был мужик рассудительный; он все подсмеивался над большаком, «женкой» его прозвал, и считал себя не в пример умнее. Мой не скажет: «Люблю, мол, тебя, Паранька!» — нет, он все эдак норовит по уму сказать: «Мы с вами, примерно, Прасковья Титовна, от самого господа бога и с благословения родительского любиться должны... Так ты по сторонам не разувай глаза-то». Не нравилось ему, что большак другой раз с базару платок мне привезет, сластей каких. Сынишку нашего тоже баловал. Пришло так, уехал мой-то в Нижний, а большак к знахарке ходил, питья мне какого-то в квас влил. Может, этим больше и обошел меня. Тем делу конец бы, потому я скоро свой грех пред господом сознала, стала в церковь ходить, покаянье на себя наложила. И все внутри меня что-то говорило: «Не видать тебе, раба Лукерья, до конца твоей жизни счастия! Весь дом твой несчастием порешится. А будет твоей душе спокой, ежели скитаться будешь по земле и помогать болящим... И даю *я* тебе провиденье — вся-

кую болезнь в человеке признавать, и ты, болезнь ту провидевши, должна за тем человеком следовать... Вот тебе *мой* приказ».

— Как же хозяин-то?

— Пришел и признал. Сейчас с братом в раздел. Стали делиться, а большак все себе и отсудил. Тут мой уж стал бить меня. Я молчу и только к сынку привязалась, десятый годок ему шел. Он и его у меня отнял в ученье. А сам все бьет; два года бил: грудки отшиб. Стала я сохнуть. Тут я надумала: «Божье повеленье исполнить требуется». И ушла в бега: в Соловки ходила, в Новом Ерусалиме была, по всем обителям странствовала. Вернулась тихонько домой — сынку четырнадцатый годок шел; и стал он щепка щепкой, и как будто рассудком тронувшись. «Петя, говорю, это я, матка твоя».— «Вижу», — говорит. «Не рад ты мне?» — «Нет, говорит, ступай опять в бега... Узнает отец — убьет и тебя, и меня!» Горько мне было, заплакала я — ушла опять к Киеву. Год ходила. Вернулась сюда, в город, слышу, говорит мне один мужичок из наших: «Твоего сына судить будут...» — «За что?» — спрашиваю. «Отец, слышь, его из-за тебя избил; привязал к телеге — да вожжами... Зверь стал — насилу оттащили. А после того Петьку-то поймали у задворок со спичками. Избу хотел поджечь. А отец-то пьяный спал. Хорошо, что усмотрели. Спалил бы и деревню!»

— А сколько тебе, бабка, лет? — прервал его Бычков.

— Третий десяток в исходе.

Пеньковцы посмотрели на нее.

— Ну, истинно твое слово: недаром твое покаянье... В половину тебе господь годов прибавил — веку укоротил.

В эту минуту за дверью послышался разговор.

Пеньковцы стали вслушиваться.

— Не нас ли кто ищет? — сказал Лука Трофимыч, приподнимаясь, чтоб справиться.

Дверь отворилась, и в ней показался хозяин, за ним солдат, длинный и прямой, как веха, с корявым усеянным прыщами лицом; в руках у него была книга.

— Господа присяжные? Вот здесь-с. Они самые. Получайте! — говорил хозяин, пропуская вперед солдата и показывая на пеньковцев.

Пеньковцы все поднялись, только крестьянка, как сидела, так и осталась невозмутимою.

Солдат, не снимая кепи, молча подошел к окну и стал рыться в книге. Наконец он вынул лоскут бумаги.

— Фома Фомич кто из вас? — спросил он.

— Есть. Старичок будет. Вот на полатях он!

— Можно, чай, слезать с полатей-то. Не велик барин!

— Болеет он у нас, кавалер, — жалобно заговорил Лука, — уж просим прощенья... Потрогать жалеем... Забылся только что...

— Ну, мне все равно. Вот повестка. В семь часов приказано явиться. Вы с ним одной волости?

— Одной.

— Все?

— Мы все пеньковские. Других нет...

— И женка? — спросил солдат, кивнув на крестьянку и едва изобразив на корявом лице какое-то подобие улыбки. — От скуки, что ли, прихватили с собой... али, может, и женка в присяжных тоже?

— Нет-с... Зачем же?.. — умильно улыбаясь, объяснял Лука Трофимыч. — Так, бабочка... набеглая... Присталая, выходит...

— Ну, и ее тащи к нам, — шутил солдат.

— Непочто, господин служивый, непочто... Мы вам не слуги... Мужики вам слуги, а мы, благодарение отцу милостиву, не слуги еще вам... Мы, бабы, не вам, — богу служим! — заявила храбро «беглая бабка».

— Вот так женка — заноза! — продолжал шутить солдат и потом, быстро обернувшись опять к пеньковцам, сурово прибавил: — Так всем вам, пеньковцам, явиться к семи часам.

Пеньковцы перепугались и молчали.

— А не известны вы будете, господин кавалер, к чему это нас? — проговорил дрожащим голосом Лука Трофимыч.

— Там объявят... За хорошим делом к нам звать не станут.

Солдат оставил повестку и ушел.

— Что за грех? — спрашивал тихо Лука Трофимыч, всматриваясь в боязливо недоумевавших пеньковцев. — Ч-чу-де-са-а!.. Сохрани, господи-батюшко, Миколай угодник! Что за притча? Не Пётра ли что?

— Фомушку, слышишь, зовут. К чему тут Пётра? — заметил Бычков.

— Ну-ко, Дорофей, прочитай поскладней, нет ли там чего еще? Не прописано ли? — обратился к нему Лука, подавая повестку.

Бычков стал читать по складам, но, кроме приказания крестьянину Пеньковской волости Фоме Фомину явиться в семь часов пополудни сего ноября, дня, такого-то года, не нашел ничего, хотя посмотрел и на другую сторону и даже долго и тщетно старался разобрать хитрый росчерк у подписи письмоводителя.

— Помилуй нас, грешных! — глубоко вздохнули пеньковцы.

— Смотри, братцы, часы-то бы как не проворонить. Вишь, здесь какие строгости — все строки, — внушал обстоятельный мужик. — Ты, Еремей, карауль смотри. Почаще к хозяину-то понаведывайся. Да не задрыхни, спаси господи, как ни то грехом; не ложись на лавку-то, а у стола присядь... Да вот, вот бабка-то, может, приглядит за тобой. А мы отдохнем пока.

— Ну, братцы, чудеса здесь! — продолжал он, собираясь ложиться. — И ума теперь совсем решишься... Не соображусь...

— Да прежде-то разве не бывало? — спросили другие.

— Как не бывало!.. Всяко бывало... То-то вот и пужаешься... Думается теперь, как-никак, а бесприменно по трактирным делам... Вишь, что горожане чудят над нами.

— Тьфу ты, господи! — рассердился, наконец, всегда смирный и покорный Еремей Горшок. — Дались тебе, Лука, эти трактиры. На всякое дело у него одно решенье — трактир! Да неужто, кроме трактира, так уж над нами и чудить некому? Не клином, чать, округа-то сошлась... И опять, разве Фомушка был хоша раз в трактире?

— Так, так... Совсем оглупел, братцы! Простите, — признался благодушно Лука Трофимыч, зевая и крестя рот.

Смерклось. Зазвонили к вечерням. Дежурный Еремей Горшок, все время дремавший за столом и то и дело просыпавшийся и бегавший на хозяйскую половину справляться о времени, перебудил пеньковцев.

Встал и Фомушка. Спросили его товарищи, не знает ли он, зачем его вызывают.

— Господь знает, милые, — отвечал он. — Какой бы уж грех от старика мог быть? Только что разве вот в округе с барином одним говорил — с крестом был тот барин... Так он же меня обидел. А больше греха за собой не припомню.

Повздыхали присяжные и стали понемногу сбираться «на приглашение».

Собрался кое-как и Фомушка, окутав, по настоянию «беглой бабочки», все лицо, голову и шею, которые у него горели, платком.

— Не след бы старичку ходить... Ох, не след бы! — толковала она. — Трудно будет старичку перенести!

Когда пеньковцы выходили на Московскую улицу, заметили они сквозь сумерки чью-то подвигавшуюся к ним темную фигуру в картузе, шедшую неровным, торопливым шагом, постоянно сбиваясь с протоптанной по снегу дорожки в лежавшие по бокам сугробы; темная фигура изредка размахивала руками и, вероятно, вела таинственные разговоры сама с собой; вообще она сильно смахивала на подпившего человека.

Фигура в картузе прошла было, не замечая пеньковцев, мимо, но они, всмотревшись, окрикнули:

— Пётра!.. Ты это?

Фигура в картузе остановилась и в недоумении, как впросонках, не понимая ничего, смотрела на них.

— Чего ты опешил? Воротись: итти нам нужно всем. Объявиться приказ вышел.

— Куда? — спросил Недоуздок, быстро подходя к ним: это был действительно он.

— В контору приказано. Вот Фомушку требовают и нас всех с ним.

— А-а! Па-анимаю... — заговорил Недоуздок про себя. — Учить, значит...

— С шабринскими, что ли, угостился? — спросил недовольно наблюдавший за ним Лука Трофимыч. — Не след бы... И без угощеньев ихних беда на тебя из-за каждого угла налетает.

Недоуздок счел ненужным отвечать и доказывать неосновательность павшего на него подозрения: он знал, что был почти пьян, но только не от вина. Он присоеди-

нился к товарищам и снова погрузился в разрешение каких-то таинственных вопросов.

В канцелярии полувоенного ведомства долго сидели пеньковцы по скамьям передней, вздыхали и смотрели, как солдаты курили махорку и играли у ночника в три листика.

Часа через полтора пришел высокий, толстый, бакастый господин, в полуформенной одежде. Сверкнув глазами на пеньковцев из-под фуражки, он, не снимая ее и бросив с плеч на руки подскочившим солдатам шинель, прошел быстро в дальние комнаты.

Минут через десять раздался по комнатам повелительный и несколько охриплый окрик:

— Фома Фомин! Здесь?

— Здесь! Фома Фомин, который? — засуетились солдаты.

— Сюда! — крикнул опять голос.

Солдат повел Фомушку через неосвещенные комнаты на голос. Фомушку била лихорадка, но не от боязни, а от развившейся болезни.

Дверь за ним затворилась, и все смолкло.

— Пеньковцев! Сюда! — раздался опять голос.

Тот же солдат ввел пеньковцев в комнату, где сидел перед столом, покрытым клеенкой, разбросанными бумагами, шнуровыми книгами, с медною лампой с тусклым абажуром, полуформенный господин, погрузившись внимательно в чтение каких-то листов. В стороне стоял Фомушка. Пеньковцы боязливо и бегло взглянули на него: лицо его было красно и лихорадочно пылало, губы дрожали.

— Вы кто? — сверкнул на них взглядом, на секунду подняв от бумаги голову, полуформенный господин.

— Крестьяне, ваше бл-дие.

— То-то. Мужики?

— Так точно-с.

— Я вас спрашиваю: мужики?

— Они самые будем-с, — упавшим голосом ответил Лука.

— И больше ничего?

Мужики молчали.

— Ничего больше? — тоном выше переспросил полуформенный господин.

— Так точно-с... То-ись...

— Без всяких «то-ись»!

Помолчали.

— И вы это звание свое помните хорошо?

— Довольно хорошо, ваше бл-дие.

— Плохо, я говорю.

— То-ись... ежели... ваше бл-дие.

— Без «то-ись»! (Тоны повышаются crescendo.) Плохо, говорю я.

Пеньковцы замолчали.

— Если вы забудете, кто вы и чтó вы (взор полуформенного господина молнией проносится по пеньковцам), тогда... Это что значит? — вдруг прерывает он себя, обращаясь к Недоуздку. — Что это значит? Я тебя спрашиваю! (Указательный палец допрашивающего начинает внушительно тыкать по направлению ко рту Недоуздка, у которого в углах губ начинается какая-то игра.)

— Не могу знать, — отвечал Недоуздок и стыдливо утер широкою ладонью усы и бороду.

— Ты не утирай, не торопись, братец... Что *это* у тебя выражает?.. а? Он всегда *так* смеется? — спросил быстро пеньковцев бакастый господин.

Пеньковцы посмотрели на Недоуздка.

— Не примечали, ваше бл-дие.

— Скажите, какой смешливый!.. а?.. Сма-атри, братец!.. Сма-атри!.. Как прозываешься? (Допрашивающий берет карандаш.)

— Недоуздок.

— Узду пора!.. Слышишь?

Полуформенный господин что-то бегло начал писать.

— Если вы забудете, кто вы и что вы, — проговорил он после небольшого молчания, растягивая слова, — так вот он вам скажет, — он показал на Фомушку. — Ты передай им, — прибавил он ему. — Ступайте!

Пеньковцы вышли. Молча и медленно подвигались они к квартире. К Фомушке, однако, не навязывались с расспросами, оттого ли, что щадили болевшего товарища, или оттого, что очень хорошо знали, в чем состояли бы его ответы.

— Пётра, — проговорил Фомушка, — ослаб я. Подведи меня.

Недоуздок взял его под руку.

— Ты не бойся, Фомушка... Ничего! — успокоивал он его.

— Чего мне бояться? Господь с ними! Пущай учат, коли любо.

— Что за грех такой, Фомушка?.. И за что это нам остраску задали? Ась? — осторожно спросил Лука Трофимыч.

— Тот... с крестом-то... толстый...

Губы Фомушки задрожали, застучали зубы; лихорадка опять забила и не дала договорить.

В квартире Фомушку приняла «беглая бабочка».

— Э-эх, старичка как ушибло! — ворчала она. — Ушибло старичка совсем. Не нужно бы ходить, — говорила я. Сбегайте-ка, родные, за водкой, натрем мы его! — говорила она, укладывая Фомушку на нары.

— Братцы, тяжело мне! — простонал старик.

— Что̀, Фомушка, велено тебе сказать-то нам? — спросил опять Лука Трофимыч, как будто боясь, чтобы он не испустил дух.

— Пустите! Зачем кушак? И зачем вы кушаком меня окручиваете? Только что сняли — и опять кушак...

Фомушка забредил. Лука Трофимыч боязливо отошел и перекрестился.

Долго и угрюмо сидели присяжные в этот зимний вечер в округе.

V

«Оправили»

Фомушке становилось хуже; итти ему в суд — нечего было и думать. Хозяин начинал сердиться и посылал в больницу. «Беглая бабочка» неустанно ходила за больным: спрыскивала его «святыми целеньями», привязывала к голове примочки из разведенного в водке снега, подавала ему пить. Пеньковцы были ей рады, так как могли совершенно спокойно оставить больного на ее попечении. Сами они пошли в суд. Лука Трофимыч искоса и пристально наблюдал за Недоуздком, который так необычно вел себя, что, не будь он на ногах, можно бы было принять его за больного одною с Фомушкой болезнью: он или задумчиво молчал, или говорил что-то про себя, отвечал невпопад и несообразно совсем.

В суде народу было сегодня немного, только «свои», судейские. Приходили какие-то господа с барынями, посмотрели на вывешенное у залы заседаний расписание дел и, прочитав, что на сегодня назначено к разбору дело о покушении на поджог малолетнего крестьянина Петра Петрова, 16 лет, махнули рукой и ушли. Подсудимый был худой, с тупым и равнодушным взглядом мальчик лет пятнадцати; он так был мал и сух, что казался еще моложе; белые волосы у него острижены были в кружок и падали на лоб, он не поправлял их; ушедшие глубоко в орбиты глаза следили одинаково равнодушно и за судьями в мундирах, и за мужиками-свидетелями, и за дремавшим и клевавшим носом у двери залы сторожем, обязанным отпирать и запирать залу во время разбора дела. Он даже очень долго и пристально всматривался в ружье стоявшего с ним рядом солдата и так был занят, казалось, мыслью разузнать и произойти всю хитрую механику курка, что не один раз заставлял председательствующего повторять вопросы. Отвечал он односложно, беззвучно. Свидетели, пятеро его однодеревенцев, из которых один был староста, другой сотский, постоянно выказывали желание отвечать за него, подсказывали ему, вроде того: «Петька, не трусь ты; чего трусишь? Свои здесь!.. Говори: ваше, мол, высокоблагородие, виноват, мол, точно, ну, а при сем... Ты, родной, смелее». А когда их председательствующий останавливал, они говорили между собой: «Глупыш еще!.. Не разумеет, ведь... Что на нем взять?»

Присяжные, в числе двенадцати человек, все были крестьяне. Можно было предполагать, так как дело шло о поджоге, что защитник отвел богатых собственников, а прокурор, напротив, отвел тех из крестьян, которые казались на вид «нехозяйными»; но как большинство из тридцати человек все-таки были крестьяне, то состав исключительно и наполнился ими. Только купеческий сын попал в запас, чем и остался очень недоволен, так как дело было для него неинтересное, а приходилось «зря» быть внимательным. Из наших знакомцев вошли в состав суда: Бычков, которого, по грамотности, выбрали в старшины, Лука Трофимыч и один Еремей; прочие были незнакомы, и в число их попал и мещанин. Недоуздок и другие пеньковцы не пошли домой, а поместились на скамьях, назначенных для публики. Пеньковцы только

в конце судебного следствия догадались, что подсудимый мальчик был сын «беглой бабочки», а именно при показании одного из свидетелей, сотского, поймавшего его на месте преступления, о «буйстве» и «необстоятельности» его отца, от которого даже «женка должна в бегах состоять вот уж пятый год...» Из речи прокурора и защитника узнали они, что мальчик судится второй раз, так как решение первого состава присяжных почему-то было кассировано защитником, но почему именно — они никак не могли понять, ибо дело касалось какой-то хитрой юридической формы. Нашим присяжным, казалось, приятно было это случайное совпадение, и они весело переглянулись с пеньковцами, сидевшими в числе слушателей. Те тоже ответили им какою-то мимикой, дескать: «Вот он, бог-то!.. Ты и гляди... Каждый день бабочка понапрасну в суд ходила, ждала, а ноне, когда для богоугодного дела при мужике осталась, как нарочно господь на нас и навел... полосу-то». Пеньковцам нравилось и то, что суд шел скоро, без всяких «смущений». Прокурор и защитник не «травились». Медленно выплыли присяжные из совещательной комнаты и тем же торжественным шагом, каким обыкновенно идут в церкви к причастию, вышли перед судейскую эстраду. Бычков, до невозможности высоко подняв голос, прочитал оправдательный приговор. Пеньковцы, сидевшие на скамьях зрителей, были уверены в этом приговоре, но все еще боялись, что вот-вот председательствующий скажет: «Эх, вы! Разве так судят здесь, по-мужицки?.. Разве мужицкий здесь суд?» Когда же председательствующий поднялся и объявил: «Подсудимый, вы свободны; можете итти куда угодно», сердце у Еремея Горшка и Недоуздка застучало. Посторонняя публика вышла. Мещанин тотчас же, как ушли судьи, стремительно убежал «выжимать копейку». Дело «освобождения невинного» совершилось просто. Никаких восклицаний, восторгов. Пеньковцы и свидетели подошли к Петюньке.

— Ну вот, Петька, и молись за них теперь богу, — сказали свидетели, показывая на присяжных, — им скажи спасибо.

— Бога, малец, бога благодари! — откликнулись присяжные.

— Вот мы, брат, какие... так-то! — прибавил, улыбаясь, купеческий сын и тоже радовался, забыв, при общем

увлечении, что он нисколько в этом деле не повинен, а сидел «в запасе».

— Ну, а теперь, Петька, в деревню с нами собирайся. Опять заживем!

— Я не пойду.

— Да куда ж ты, глупый, пойдешь? Ведь так-то и на поселенье сошлют... Почему ж ты не пойдешь?

— Отца боюсь.

— Отца не бойся теперь! Теперь он сократился... Теперь кто ж ему над тобой власть даст? Теперь ты по закону слободен!

— Я птицу стрелять пойду... Ружье достану...

— Ах ты, глупый!.. Вот он — малец, так малец и есть...

— А где у тебя, милый, матка-то?

— Матка в бегах.

— Вот и матку тебе разыщем мы, — сказали свидетели.

— Так, так. Мы и еще тебя порадуем: пойдем с нами, мы тебе ее, матку-то, покажем! — говорили присяжные.

— А где она? Она далеко.

— Совсем близко. При нас она живет. Она за тебя бога упросила. Так вот все к матке и пойдем. Господа кавалеры теперь уж тебя отпустят!

— Нет, нельзя... Мы его должны в тюрьму представить, — ответили солдаты.

— Зачем еще... али мало?

— Мало. Пущай попрощается. Тоже в чужой одежде нельзя. Казенное сначала вороти.

Солдаты встряхнули ружьями и, встав по обеим сторонам мальчугана, приготовились итти.

— Я не пойду! Пустите! Я убьюсь там, — проговорил «освобожденный» и заплакал.

В это время подошли к нему кругленький адвокат и судебный пристав. Заметив слезы, они рассмеялись.

— Ты о чем плачешь? а? — спрашивает адвокат. — Недоволен мной, что я тебя освободил? а?.. Ну, как ты — не знаю, а я, брат, тобой доволен... Что ваш «товарищ»-то съел? — обратился он к приставу. — Ведь я говорил тогда, что кассация моя... Не хочет ли теперь еще со мной потягаться?.. Я так и быть уж, ради эдакого турнира, еще даровою защитой пожертвую... Ну, о

чем же ты плачешь? а? на́ вот на калачи... да меня помни! — прибавил адвокат Петюньке и сунул ему в руку рублевую бумажку.

Пеньковцы утешили мальчугана и объяснили, где ему найти их и матку, когда он совсем разделается с тюрьмой. Затем все вышли. У трактира нагнали они двух купцов, сидевших «в публике». Купцы повертывали ко входу и что-то сердито объясняли третьему.

— Конечно, это одна выходит зрятина, — говорил один. — Какой к суду страх будет? Мы же тогда обвинили, а теперь мужики верх взяли...

— Суды совсем мужицкие. Мужик задолеет — беда! — заметил другой.

— Конечно, беда!.. Теперь, господи благослови, первым делом они сейчас поджигальщиков оправдывают! Да теперь поджигальщики для хозяйного человека хуже из всех! Разбойник сноснее! Им, голякам, ничего! Они что? Однопортошники, одно слово... Сгорел шалаш у него в деревне — печали немного: взял порты подмышку и поселился у соседа... А разве мы при нашем имуществе можем это стерпеть?.. Судьи! Судилась бы гольтяпа промеж собой по деревням как знала.

— Это так. Нам с ними, мужиками, вовек не сойтись. Им преступник жалостен, а нам — страшен.

— Постой теперь! Теперь только дворников да собак позубастей заводи... Ха-ха-ха!..

Сумрачно, сыро и холодно в избе постоялого двора. Скверная сальная свечка, вставленная в горлышко бутылки, воняет и едва светит каким-то красноватым светом. Фомушка лихорадочно мечется на нарах под дырявым полушубком; пеньковцы, понадев дубленки, или ежатся по углам, или бесцельно ходят с одного места на другое. В заднем углу нар «беглая бабочка» что-то копошится и шепчет около Петюньки, надевая ему на шею какие-то гайташки с ладонками. Петюнька сидит на лавке и, держа обеими руками французский хлеб, равнодушно жует и болтает ногами в большущих валеных сапогах. Недоуздок только что вернулся откуда-то; не сказав ни слова на недовольное ворчание Луки Трофимыча, подозревавшего его постоянно в сношении с Гарькиным и трактиром, он бросил в угол нар, в головы

армяк и растянулся, закинув руки за голову; Лука Трофимыч чем-то недоволен и ворчит; Еремей Горшок сидит на лавке, сложив на брюхе руки, уткнув нос в бороду и покачивая головой, не то дремлет, не то думает о чем-то с закрытыми глазами. Бычков сидит у стола и соскабливает с него ногтем сальные лепешки. Видимо, все недовольны чем-то, всем не по себе. Так бывает всегда после неполной радости, нарушенного удовольствия, обманутого ожидания или же когда грубая, неуклюжая пошлость ни с того, ни с сего ворвется к человеку в особенно высокие минуты душевного настроения и бессовестно оборвет высокую струну чувства, начинавшую звучать в душе.

Как будто впросонках слышит Недоуздок, что пришли однодеревенцы «беглой бабочки», староста, сотский и два крестьянина, — народ по одежде, видно, бедный.

— Садитесь — гости будете! — приглашали пеньковцы, отодвигая от лавки стол. — Вот у нас хоромы-то какие, простор, да толку мало... Надули нас ловко. Тогда с вьюги-то показалось знатно тепло... Ну, а теперь господская-то печка не очень мужиков нежит!

— А мы вас насилу разыскали. Город. Народу всякого много.

Гости уселись по лавкам и стали говорить тихо, заметив метавшегося в лихорадке Фомушку.

— Болеет? — спросили они.

— Заболел. Вьюга по дороге-то настигла.

— Вы в больницу.

— Не желает. Погодите, просит, может, еще не смерть мне... Думает: что̀ завтра.

— Ну, а мы, Петька, за сапогами, брат, пришли, — говорил сотский Петюньке. — Скидавай сапоги-то. Что делать? У меня у самого одни они надежа. В кожаных-то по теперешнему времени недалеко напляшешь до деревни, да и те худые... Разом с беспалыми ногами домой придешь. А ты вот получай свои узоры-то: в целости из тюрьмы выдали! — прибавил сотский, кладя на лавку растрепанные лаптишки.

— Стало, он в твоих сапогах-то? То-то больно уж велики.

— В моих. Чего! пришел в острог-то, а ему и выйти не в чем; девять месяцев тому взяли его в шугайчике да лаптишках — они и есть только. А шапка? — спра-

шиваю. А шапки, говорят, и совсем не значится. Ну, сходил на фатеру, принес вот ему валенки да шапку дойти до матери.

Стукнули о пол сапоги, — Петюнька освободил из них свои худые, маленькие ноги.

— Вот так-то, — говорил сотский, — а ты богат теперь. Вишь, какую кредитку тебе дал аблакат-то на калачи! И на сапоги изойдет.

Слышит Недоуздок, как после того заговорил что-то Фомушка и заметался.

— Старуха, — тихо выговаривает он, — подь-ка ты сюды... Вот подыми-ка ты меня немного... Ну, так так! Расстегни-ка грудь-то! Вот здесь... Ах, руки-то дрожат!.. На-ко вот, купи ребенку сапожнишки-то! Ох, дело-то студеное... Долго ли до беды... А у нас какие ведь вьюги-то!

Слышно, беглая бабочка всхлипывает и уговаривает Фомушку.

— Э-эх... зачем только руки мне связали? Руки зачем? — начинает опять бредить Фомушка. — Лесничок, лесничок, Федосеюшко, развяжи кушак-то, родной...

Все молчат и боязливо слушают. Некоторые крестятся. «Беглая бабочка» спрыскивает Фомушку святою водой.

Немного погодя Фомушка успокоился. Стали опять разговаривать.

— Говорят, здесь обчество есть: помогает тем, которых освободят.

— Говорят, что есть. Ну, только хлопоты. Боятся они мужику деньги на руки выдать: пропьет, вишь! Так пойдут у них тут сначала справки от обчества, потом когда-то пришлют в волость. А из волости когда еще выдадут; и то с вычетом... Рубля три, может, и останется. На руки не дадут: это и говорить нечего... А ведь есть-то теперь нужно... Вот и босиком-то тоже зимой не больно находишься!

— Хорошо, кабы выдали. Вот и нам, может, что-нибудь перепало бы, — замечают свидетели. — Два раза гоняли. А мы люди небогатые. Прожились тоже.

— А помногу выдают?

— Нет, совсем стали помалу... Говорят, присяжные-крестьяне больно много голяков стали освобождать. Эдак, слышь, не годится. Денег не напасешься!

Опять бредит Фомушка. Невесело, вяло идет разго-

вор про бедность, горе, несчастье. Кто-то опять заводит разговор с Петюнькой, чтоб повеселить компанию:

— Ну, Петька, рад, что домой пойдешь?

— Нет. Я не пойду, — отвечал Петька, грызя сухие баранки, которые сует ему в руку и за пазуху матка, тихо нашептывая: «Жуй, кровный, жуй со Христом! Вишь, тельцо-то с тебя все посошло».

— В лес пойдешь? а? Птицу стрелять?

— В лес пойду... И мамку возьму...

— А мамку зачем?

— Отец убьет... Жалко...

— Мы отцу теперь не дадим бить.

Петюнька замолчал.

— А зачем раньше давали? — спросил он. — Все одно и теперь...

— Теперь мы его в холодную запрем.

— Из холодной он опять придет. А мы лучше с мамкой совсем уйдем.

— Вам нельзя. Земля за вами. Мы и пашпортов не дадим.

— Я в бега уйду.

— А чем жить будешь?

— Господи, помилуй нас, грешных, — прошептал Еремей Горшок, горячо молясь на сон грядущий.

Глава третья

СТОЛКНОВЕНИЯ В ОКРУГЕ И ПОСЛЕДОВАВШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

I

Во что разыгралась метелица.

В предшествовавшую ночь, когда Недоуздок безысходно путался в неразрешимых противоречиях «судейского положения» и Еремей Горшок склонял к полу пред образом свою лысую голову, в эту пору на другой половине происходила такая сцена. Всю ночь дворник то ложился в постель, то сползал с нее, то зажигал свечу,

босиком подходил к двери присяжных и чутко вслушивался, то будил жену.

— Стефанида, а Стефанида! — говорил он, подталкивая ее в бок.

— Ну! — откликалась впросонках супруга.

— Оторопь меня берет, дура!

— Да побоишься ли ты бога, Савелий Филиппыч, ни одной ты мне ночи спокою не даешь!

— Эка глупая, — удивлялся дворник, — хозяин мучается, а она спокой!.. И как это у тебя язык повернулся сказать!.. Дура ты, дура!.. Вставай, богу молись!

Едва стало светать, как Савелий уже явился на половину присяжных.

— Почтенные, почтенные! — покрикивал он в дверях, боязливо поглядывая в угол, где лежал под полушубком Фомушка. — Эй, господа присяжные!

Присяжные стали подыматься: сперва показалось им было, что не проспали ли они суд, так как некоторым из них уже во сне виделось, как их штрафовали за неявку, но потом удивились, к чему их так рано будит хозяин, так как припомнили, что суда на сегодня, по случаю праздника, не назначено, и еще вчера располагали поспать подольше.

— Чего требуется? — отозвались они.

Но в это время полушубок на Фомушке задвигался, и Фомушка стал медленно подниматься, опираясь на сухощавые руки.

Почтенный дворник задрожал и, быстро захлопнув дверь, ушел к жене.

Дело было в том, что почтенный гражданин содержатель постоялого двора, в котором судьба указала ютиться нашим присяжным, стал с некоторого времени бояться покойников. И чем старше и степеннее он делался, чем полнее росло его довольство, чем ближе настигал он вожделенный идеал мирного мещанского жития, тем эта странная болезнь одолевала его все более. И чего только супруга его не делала: и отчитывала его, и свечи в соборе ставила, и молебны служила, — ничего не помогало. На беду, двор их стоял на пути к кладбищу, и хозяину каждый день суждено было следить за отправляющимися в лучший мир гражданами. Почтенный дворник перебрался было с супругой в задние апартаменты, но мирные тени опочивших горожан не остав-

ляли тревожить и здесь по ночам чуткий сон его. Много толков, по обыкновению, ходило по этому поводу среди слободских обитателей, вообще любителей отыскивать причины тонких психических болезней, известных у них под общим собирательным именем «нечисти» или просто «чертовщины». Рассказывали, что это началось с дворником с тех пор, как в бытность его присяжным заседателем, в первую по открытии новых судов сессию, случилось что-то не совсем чистое: говорили, будто он запродал свой голос; рассказывали также, что ночью около его дома нашли среди дороги замерзшего, видимо в пьяном виде, свидетеля, который, как все знали, остановился дня за два пред тем на его постоялом дворе, и пр. и пр. Но так как психиатрические исследования обывателей должны быть принимаемы крайне осторожно, то мы и оставим вопрос «чертовщины» открытым и перейдем к изложению более достоверных наблюдений. Заметим только, что с тех пор, как слег Фомушка, почтенным дворником совсем «*он* обладал», как по секрету сообщала своим приятельницам его супруга.

Присяжные еще почесывались, сидя на облежанных местах, и вздрагивали от пронизывающего холода и сырости, как вошла к ним жена дворника.

— Почтенные, — заговорила она, — уважьте нас, уберите своего старичка.

— Что̀ вам старичок, чего он, старичок, мешает? — вступилась «беглая бабочка» из своего угла, торопливо подправляя под синий повойник выбившиеся седые косички. — Чем он вашему благополучию поперек встал?

— Ну, об нашем благополучии тебе говорить не подобает, сударка... А я тебе вот что скажу: и тебе хозяин приказал убраться... Живешь ты без платы, поселилась без приказу, того гляди умрешь, — ишь вы какие с мальчонком-то и теперь точно мощи! А здесь город... Да и понятия тоже насчет смерти у нас другие...

— Не трожь ее... Мы заплатим, — сказал Лука Трофимыч.

— Что нам плата! Мы не из-за одной платы живем... Мы не мужики... У нас и другая какая причина найдется, чтоб за свой покой постоять. Вот за вашего старичка мы и от платы от всякой откажемся... Нам, может, тысяч не надо, только чтобы покой был... За тихий сон мы всем пожертвуем... Мы городские...

— Что я вам сделал? Э-эх, люди! — отозвался Фомушка.

— Ничего ты нам не сделал... Только покою лишил... Мы своим покоем дорожим... А потому в больницу ляг... В своем доме покоиников не можем допустить, чтоб сна они нас решили...

— Да какой он покойник?.. С чего ты?.. Вон ему ноне полегче, и ночь спал спокойнее... Чего вы мужиков-то заживо боитесь?.. Ведь тебе ноне полегчало, Фомушка? — спросили пеньковцы.

— Как не легче? Известно, легче... А ежели в больницу, так тут и смерть моя!

— Чего не покойник? Совсем покойник! — уверяла дворничиха. — Хозяин мой уж ежели скажет, так верно... Дня за три уж он об этом извещен бывает...

— Кто ж его извещает? — спросил Недоуздок.

— Ну, ты над этим зубы-то не скаль... Мужик — так мужик и есть неверующий... Правда говорится: гром не грянет — мужик лба не перекрестит... А вот теперь присяжный ты, так после и увидишь, что̀ это значит... Вам еще неизвестно, каково по благородным должностям состоять...

— А присяжные-то тут при чем?

— А так: измотает душу-то... Да и детям-то своим закажешь. Да и жену-то с ума сведешь...

— Н-ну! настращены же вы, купцы!

— А я вот сказываю, чтоб ноне вы своего старика убрали. Без греха... Мы вам и лошадь приготовим... А коли нет, так все выбирайтесь подобру-поздорову... А тихий сон мне всех вас милее...

— Дай ты мне, милая, хоша денек отсрочки... Может, господь допустит, послужу завтра великому делу! — молил Фомушка, в душе которого едва заметное облегчение болезни вызвало вновь неудержимое желание «постоять за невольный грех человеческий пред царем и законом» и тем завершить дело своей жизни. Ему еще вчера снилось, как кто-то, *неспознаемый,* приходил к нему и шептал: «Заключенного в темнице посети, страждущего успокой, жаждущего напой, за обличенного постой»... Может быть, это долетали до его слуха слова длинной и четкой молитвы «беглой бабочки», которая, ложась вчера спать, перебирала на сон грядущий все статьи того кодекса отношений к несчастным, который

создал себе народ под гнетом тяжелых веков. Но все равно, так или иначе это было, только Фомушке после того снилось, что он в суде, что стоит перед налоем с евангелием и истово выговаривает: «Нет, не виновен!.. господь с тобой!.. Молись за меня!» и на этом выражении всепрощения он проснулся и почувствовал, что ему как будто легче, как будто спал с него тяжкий кошмар горячечных видений.

— А ты полицией припугни!.. Чего тут еще канитель тянуть? Мы свой покой должны охранять! — раздалось за дверью.

— Опять *они!* — вскрикнул Фомушка, устремив свои серые, лихорадочно светящиеся глаза на дверь. — Они!.. Вот я их вижу... Вот толстый... и с крестом... вот и этот... Зачем вы меня связываете? Зачем не допускаете?.. Милые, да разве я...

— Старичок, старичок!.. Смерть твоя тут пришла... Молись, что с твоим глупым разумом бог тебя от греха отвел...

— Опять! Слышу, слышу... Ум вам нужен, а душа не нужна... Божью грозу вы своим умом отвести хотите?.. Руку господню задержать?

— Господи!.. Отходит, отходит! — крикнула в страхе дворничиха, крестя себя широкими размахами. — Что нам будет делать?.. Почтенные, прибирайте скорее его...

В эту минуту дверь отворилась, и дворник высунул в нее голову.

— Что ж это?.. Доколе же ты будешь сказки-то сказывать? — выпрямившись, загремел дворник. — Али я в своем дому не хозяин?.. Али я дурак, что вы надо мной издеваетесь? — гремел он сильнее, почуяв, что в слове любви нет места «ужасному заклятию».

— Н-ну, теперь вези меня... — прервал его Фомушка. — Погодь одну минутку... Вот, братцы, здесь... возьмите поберегите... А умру — так... этому горю... на сапожнишки...

Фомушка снял с своей шеи кошель и подал его Луке.

— Ну, снаряжайтесь... Пойдем умирать!.. Помоги натянуть полушубок-то...

Дворник хотел что-то еще прогреметь, но в комнату вошел околоточный надзиратель, и он быстро изогнулся в его сторону.

— Ваше бл-родие!.. Сам бог вас посылает. Сделай-

те милость, — заговорил дворник, — моей мочи больше нет... В своем дому покоя не имею...

— В чем дело?

— А вот господа крестьяне заразу распространяют... Помилуйте, у нас тоже заведение, место входное... Сделайте милость!.. А уж мы вам... Жена!.. Что глаза-то пялишь? Живо — закусочку господину приставу... Самоварчик приставу..., Самоварчик там, графинчик, грибов, белорыбочки...

— А кто здесь без паспорту проживает? — спросил полицейский. — Слух идет, что появилась какая-то женщина, называющая себя «беглой»...

— Беглая?.. Я, ваше благородие, беглая, — отозвалась «беглая бабочка» и, храбро встав перед полицейским, поклонилась ему в пояс.

— Ты по церквам ходишь?

— Хожу-с... богу моему ежечасно служу...

— А в суде толкалась каждый день?

— И по судам ходила, ваше благородие.

— Собирайся... Тебя подозревают в покраже половой щетки и калош у швейцара суда и чайника с освященною водой из соборной трапезы... Не видал ли кто из вас у нее этих вещей?

— Не примечали, — сказал Лука Трофимыч, — точно что водица эта самая церковная была у нее. Старичка она нашего пользовала...

— Возьмите ее, — сказал околоточный солдатам.

— Извольте, ваше благородие... Я сама пойду, — смиренно проговорила «беглая бабочка», — потому я против Заступницы ничего не могу... Угодно ей на меня еще испытание наложить, я смиряюсь, за грех свой... Сказано: за грех твой кровь твоя прольется.

И «беглая бабочка» спокойно начала укладываться в своем ранце. Проснувшийся Петюнька сначала глядел, ничего не понимая, широко открытыми глазами на полицейских, но когда один из них подошел к ним и крикнул: «Нечего прятать: все равно осмотр будет», — Петюнька заплакал.

— Мамка, зачем нас опять в острог? Не пойду я... Убейте меня... Убежим в лес, мамка...

— Не плачь, кровный... не плачь... Это я уж теперь пойду... Ты уж отсидел свой черед... Теперь, кровный, тебе череда богу служить, мне терпеть... Так сказано...

— Мамка! А я куда?

— К богу, милый, ступай... к богу...

— Чего? — спросил пристав. — Да кстати, не здесь ли Фома Фомин проживает? — обратился он к пеньковцам.

— Здесь-с.

— По заявлению окружного суда, требуется освидетельствовать его болезненное состояние через доктора земской больницы... Фома Фомин, собирайся!

— Я-то? Я готов... Да зачем вы бабочку тревожите? а? Али вконец ее, исстрадалую...

— Ты кто такой? — спросил полицейский.

— Я?.. Присяжный я, судья, — твердо выговорил Фомушка, даже с тем храбрым упорством, с каким иногда старики заявляют свои права на участие в жизни, в которой их песня спета.

— А вот сначала мы освидетельствуем... нет ли у тебя чего-нибудь там, — повертел пристав пальцем около лба. — Собирайся!

— Готов я... Ведите! — порешил Фомушка, как будто сбросив со счетов жизни последнюю кость.

— Ну, и прекрасно, — похвалил пристав.

II

Городские сцены

В первый еще раз с начала зимы, утром нынешнего дня, солнце выглянуло из-за туч над городом и рассыпало целые снопы лучей и на белые, словно гагачьим пухом, покрытые мягким снегом кровли домов, и на тротуары улиц, по которым кое-где были протоптаны ранними пешеходами узкие тропки. День глянул весело; от бесконечно разнообразной игры света в снежных кристаллах приятно щекотало глаза, снег лежал так легко и мягко, что, казалось, достаточно было одного едва заметного дуновения, чтобы он вдруг поднялся с крыш к небу и там рассыпался в безбрежном воздушном пространстве. Легкий мороз подрумянивал щеки и, пробиваясь сквозь ткань к телу, бодрее гнал кровь в жилах, чутче и напряженнее делал нервы. В такой день тяжелая тоска овладевает сердцами тех, кого злая судьба при-

ковывает к узкому, душному пространству, заключенному в четырех стенах, и тысяча таких сердец в эту минуту мучительно молят о свободе, о воздухе, стонут о жизни, о счастии...

Пеньковцы, ничего не привыкшие делать в одиночку, всякое дело решали скопом; так и в это утро, проводив всею артелью Фомушку в больницу, помещавшуюся за городом, медленно шли все они обратно, закинув руки за спины, распахнув широкие полы разлетаев, из-под которых виднелись красные кушаки, и уставив вниз бороды.

— Эко день-то какой — благодать! — сказал Бычков, любуясь на ярко блестевшие от солнца свои кувшинные купецкие сапоги.

— Кабы в такой день привел бог путину нас справить, може, и Фомушка был бы цел, — заметил Еремей Горшок. — А то вот и запрятали в духоту, смрад... какое здоровье!.. А как он просил: здоров, говорит, я... Я, говорит, при этом солнышке-то оживу...

— А завтра, может, и еще кого запрячем, — в раздумьи говорил Недоуздок и потом, оглянув всех, усмехнулся.

— Кого? — спросил Лука Трофимыч.

— Кому тоже солнышко мило...

— Ты всегда, что ворона, непутное пророчишь, — отозвался с неудовольствием Лука Трофимыч, вообще имевший какой-то суеверный страх ко всяким «непутным словам», которые порождали в нем разные «предчувствия».

Пеньковцы повернули к базарной площади. Базар был сегодня небольшой. Несколько возов виднелось кое-где; с полсотни мужиков что-то горланили у кабаков, и кабацкие двери постоянно визжали, то и дело отворяясь. Мужики выходили и входили в них, с заломленными на затылок шапками, с рукавицами подмышкой; у всех широкие ладони были распростерты; на ладонях лежали медные пятаки, которые они деликатно пересчитывали и поворачивали корявыми ногтями. Бабы, стоя около них и боязно поглядывая на эти распростертые ладони, с трепетом следили за выражением мужицких лиц, стараясь уловить витавшую на них мысль... Но выражение мужицких лиц было непроницаемо, как у сфинксов, и не было возможности уследить тот момент, когда «хо-

заева», утомленные долгими расчислениями и соображениями, вдруг быстро складывали распростертые ладони, опускали руки — и медяки пропадали от глаз жен в широких карманах, а мужья внезапно устремлялись к кабакам. Тут уж начиналась борьба. Бабы старались удержать хозяев за полы и рукава полушубков, разжалобить какими-то крикливыми нотами и напоминаниями. Но хозяйские ноги неуклонно шествовали к вожделенной цели. Такие толпы то там, то здесь рассыпались по площади, вполне поглощенные интересами «купли-продажи» и возможностью добыть малую копейку барыша для получения «хоть какого ни то для души удовольствия»... Пеньковцам понравилось на базаре. Пред ними проходили знакомые картины родственной жизни. Они переходили от воза к возу, прислушивались к торгам, к громкому похлопыванию широких ладоней; приценялись к муке, крупе, мясу, делали свои заключения. Они совсем увлеклись этими интересами. Даже мысль о «судейском положении» совсем вышла из головы пеньковцев.

Но в это время кто-то вдруг крикнул из толпы: «Везут! везут!..» Все обратились по направлению, на которое указывал палец одного из обозников. Пеньковцы тоже приостановились и стали всматриваться: из переулка, примыкавшего к торговой площади, медленно двигалась какая-то процессия, похожая на похоронную. Она направлялась к какому-то черному помосту, высившемуся на середине площади, с торчавшим одиноко столбом.

— Братцы! Эшахвот! — крикнули в толпе, и вся она устремилась к помосту.

Из прилегающих улиц, домов и лавок бежали приказчики, купцы, сидельцы, кухарки и лакеи, с кулечками, из которых выглядывали мерзлые лапы всякой живности. Покорные общему инстинкту толпы, как-то совершенно невольно, торопливым шагом поспешили за нею и пеньковцы. Многие из них в былые времена бывали свидетелями таких позорищ, когда им случалось посещать округу. А что это были за позорища, то им напоминали о них их «железные» нервы, которые на много лет сохранили в себе следы впечатлений... Вероятная жажда повторения подобных же ощущений невольно влекла их и теперь вслед за толпой. Толпа уже собра-

лась вкруг помоста, а поезд еще продолжал подвигаться: две клячонки, едва двигавшие разбитыми ногами, казалось, не тянули черные дроги, а сами подталкивались вперед огромным дышлом, которое, мотаясь то в ту, то в другую сторону, увлекало их за собой; сгорбившийся старый возница в дырявом полушубке и в шляпе из собачьей шкуры с поднятыми вверх ушами дергал неистово вожжами, махал длинными промерзшим и обледенелым кнутом и вообще так усердно поощрял своих кляч, что от них валил пар. Тем не менее поезд ни на шаг не подвигался скорее: ни клячи, ни возница не могли сократить минут ожидания нетерпеливого чиновника в треуголке, махавшего белым носовым платком. Дроги, на летнем ходу, увязали в снегу, купались в ухабах, а замерзшие колеса не вертелись. Этапные солдаты ругались и грозились с возницей, то перегоняя, то останавливаясь поджидать слишком уж торжественно подъезжавший экипаж. Все это время толпа подсмеивалась над молодым «мундирным» человеком, одетым «налегке» и яростно бегавшим по помосту с портфелем подмышкой.

Слышался говор:

— Каторжный?

— К каторге приписан.

— А кто такой?

— Убивец.

— Из здешних?

— Нет, дальний... Из артельных... С чугунки... На чугунке работала артель-то...

— С чего ж это?

— Разно болтают...

— Знамо, не от добра...

Наконец поезд приблизился настолько, что можно было рассмотреть сидевшего на дрогах. Толпа сотнями глаз уставилась на обвиненного: это был молодой, не особенно здоровый мужик; лицо худое, весноватое; жиденькая бородка красиво обрамляла лицо; глаза полузакрыты; голова наклонена. При каждом ухабе, при каждом толчке он всем корпусом покачивался вместе с дрогами, как будто мускулы у него были расслаблены. За дрогами шли, спотыкаясь, две крестьянки с узелками: одна старая, другая молодая. Поезд заключал хромой, дряхлый старик с жиденькой седой бородкой; он торопливо ковылял, что-то бормоча себе под нос, и ши-

роко размахивал искалеченною ногой и толстою палкой, на которую упирался. Недоуздок весь был внимание; он не мог оторвать глаз от преступника, и чем ближе подвигались дроги, тем яснее ощущал он какое-то незнакомое ему прежде волнение: он не мог понять, отчего это с ним. Ему припомнилось, что он то же самое видел лет пятнадцать тому назад; но тогда была «кобыла», тогда он сам был мал... Недоуздок невольно бросил взгляд на помост: на нем «кобылы» не было. Между тем, пока сходил с дрог преступник, пока молча делались приготовления на помосте, кучка любопытствующих обступила хромого старика и двух женщин.

— Сродственники будете? — спрашивали их.

— Родные... Сын будет.

— Ай-ай-ай! Горе какое! Что же это с ним у вас?

— Божье дело! Божье дело! — проговорил старик в изнеможении, обеими руками упираясь на костыль и низко опустив голову. Он тяжело вздохнул раз, другой и остался неподвижен: казалось, натрудившиеся члены застыли.

— Старик, а старик! Дяденька! Скажешь, что ль? — приставала к нему какая-то бойкая торговка.

— Оставьте его! Чего пристали?.. Видите, чай, тут горе замерло! — сказал кто-то.

Пеньковцы обернулись к старику: он стоял неподвижно, и только костыль подрагивал у него в руках.

Но бойкая торговка не унималась. Она допрашивала крестьянок. Крестьянки плакали и робели пред толпой.

— А ты не бойся, рассказывай... Нам ведь что!.. Нам только что из любопытства! — поощряли любопытные торговки.

— Недоимошники мы, — начала несмело старуха, — а у нас недоимошники все от мира в работу сдаются артельщикам... Артельщики за них подати внесут, а они к ним в работу, в правленьи, приписываются. Хошь не хошь — идешь... Артельщики их на чугунки справляют... на пристани... Так случилось, что нашего что ни год — к одному артельщику приписывали... Говорили мы волостному: «Ослобоните хошь годок, домом не справимся». А у него детки пошли... Жена молодайка... Ну, одначе, угнали... На чугунке они землю рыли... Осень стояла бедовая... По колени вода, в сараях — холод... Хворь

пошла... Наш и подговорил артель убежать... Прослышал он к тому, что артельщик похвалялся его молодайку смутить... Ну, бежали... Тут их вскорости поймали, на место опять вернули.... Две недели их запертыми держали, потом на работы вывели... Тут приказчик этот над нашим надсмеялся... А к вечеру его, артельщика-то, в яме нашли. Голова проломлена. Говорят, это Ванюша-то его...

Внятно слушали этот рассказ пеньковцы, между тем как глаза их пристально всматривались в «недоимошника». Он стоял у позорного столба, голова низко наклонена к груди, глаза закрыты; он не смотрел ни разу на толпу.

Только что мундирный человек начал читать, как откуда-то взявшийся изорванный картуз в валеных калошах вдруг крикнул, расталкивая толпу:

— Посторонитесь, посторонитесь! Присяжные здесь! Господа присяжные! Вперед!

Преступник поднял голову.

— Братцы, уйдем! Грех нам здесь стоять! — сказал Лука Трофимыч и перекрестился. Пеньковцы тоже перекрестились и, повернувшись к эшафоту, наклонив головы, вышли из толпы.

— Ванюшка!.. Что ты не потерпел, глупыш? — раздалось сзади их тихое восклицание, тут же поглощенное надорванным плачем.

Они обернулись: неподвижная фигура хромого старика-отца стояла в той же позе, только все тело теперь вздрагивало, словно внутри его что-то переливалось. Еремей Горшок еще раз истово перекрестился.

В эту минуту присяжные сознали, что они уже с некоторых пор потеряли связь с «толпой».

III

***

Пеньковцы неторопливо опять двинулись было по Московской улице, как неожиданно сзади их раздались знакомые голоса:

— А это наши!.. Пеньковские... Глядико-сь!

— Они самые!.. Земляки! — окрикнул их голос.

Пеньковцы обернулись; к ним подходили двое фабричных с широкими улыбками, махая руками.

— Вот оно, бог-то привел где! — сказали и пеньковцы, озарившись тою же улыбкой. — Давно ли вы здесь?

— Почитай, полгода работаем... Вы как?.. Домишки наши что?

— Бог терпит пока.

— Ну, коли терпит, жить можно... Живы?

— Живы, все живы.

— Хлеб-то есть?

— Есть. До святой, так думаем, дотянем, ежели поосторожней... Ну, а там...

— Там мы пришлем... Скажите, чтоб не жались очень-то... Мы по десятке вышлем, прикупят... Ну, и слава те, господи!.. Больше хошь и не спрашивай! А вы как здесь? Вот ведь и забыли совсем... Очень уж рады вестям-то... Давно не получали...

— Мы здесь повинность правим...

— Присяжную?

— Присяжную.

— Ну-ну!.. Судьи, значит, вы теперь почетные! Вот как!.. И ты, Пётра, в судьях?

— Как же!

— Рад?.. Эх, хоть бы разок когда судьей побывать!— заметил один из фабричных.

— Радости мало, брат. То же и мы сначала-то полагали...

— Ну-у? Что так?

— Тяжело...

— Тяжело? — удивились фабричные.

— Недовольны нами. Плохо, говорят, мы судим.... Судили бы, говорят, по деревням, а то в город залезли. Только и слышишь: серяки да серяки-неотесы... дураки сиволапые.

— Пущай их! Вам что? Собаки лают—ветер носит... Вы вот не привыкли... А нам так это совсем нипочем. У нас своя гордость есть — тоже рыло всякому не подставим!

— Это так... Да главное дело в том, как тебе в уши-то постоянно трубят, что ты глуп, так и сам привыкнешь, и самому тебе думается. Какой ежели и был умишко, и тот потеряешь, и в тот веры решицься. Спознать-то себя времени не дадут. А уж ежели веру в себя

потерял, какой уж тут судья!.. Грех такому судье быть!

— Какой уж тут судья! — согласились фабричные. — Да что мы, братцы, на холоду-то стоим!.. Это на радостях-то!.. Ну, дураки же мы... Земляки, пойдемте, хоть мы вас чайком попоим...

— Нет. За́чем же? — проговорил трусливо Лука Трофимыч.

— Что вы, братцы!.. Как «зачем»? Ведь нам не вчастую приходится чай-то с земляками распивать... Нынче ж праздник.

Присяжные и фабричные направились к трактиру политичного гласного.

— А у нас несчастие, — говорили пеньковцы по дороге.

— Ой? Не дай бог! Что такое?

— Старичка вот мы сегодня в больницу свалили... Настудился по дороге. Фомушку-то, знаете?

— Как не знать... Это благодушного-то?

— Он, он самый!

— Экая жалость! А уж кому быть судьей, так это ему... Как же так? Неуж пешком вы?

— Пешковыми.

— Ну, за это мы вас не похвалим. Всегда вы, деревенские, прижимисты. Человека не познобили бы...

— Точно, что поприжались немного... на этот раз. Недоимку внесли... Потрава тут у нас случилась, так судились, судились...

— Чай, поди, вдесятеро с писарями в кабаках пропили, как суды-то шли?

— Нет, оно точно что — капиталов мало.

— Нам бы отписали... Мы на это дело не постоим! Через год, что ли, очередь-то приходится? Али у нас денег нет! — шутливо ударил один из фабричных по карману с медяками. — Нас не обижайте!..

Все улыбнулись, как улыбаются на героя-ребенка, храбро выступающего в бумажном шлеме с деревянною саблей.

— Братцы, неравно старичок долго проваляется в больнице-то, вы уж присмотрите за ним. Понаведайтесь.

— Что вы говорите!.. Разве мы не мужики?.. Нас не обижайте... Мы бы вот, пожалуй, и к себе взяли его, да у самих такие бараки, что ни день — в больницу таскают... Кабы дворцы-то наши получше были, да хоша

малую отдышку при работе, так жить можно... И молодух бы выписали. Мы не требовательны... Скажите молодайкам: ждут, мол, управляющий сменится, полегче будет; с бабами, слышь, жить будет можно... Управляющий новый, слышь, хозяина уговорил, что рабочий при бабе вдвое здоровее... И лекарь тут молодой приехал — тоже сказывает, что хозяину вдвое наработают, коли ежели рабочему хошь часок лишний отдышки при семействе дать, да малую копейку на эту семью накинуть...

— Так... так... Скажем... Рады будут... Так при бабах-то работа спорее?

— Много спорее. Теперь наш брат сколько денег по слободам тратит — страсть! А опять притом болезнь тащит. Фабрике тоже убыток — больные-то. Это все лекарь высчитал. Скажите: мужья, мол, вам, бабы, из городу наказали, чтоб вы как можно за этого лекаря молились. Не умолите за него бога, — и мужей вам, мол, не видать.

— Скажем, скажем. Они на это дело не постоят, лба не пожалеют. Лишний раз попам поклонятся. Они и так без нас такие-то ли богомолки стали, — шутили присяжные.

— Тут взмолишься! Да, земляки, не зайдем ли к нам, благо по пути? Вот только сейчас в переулок, тут около пруда и дворцы наши... Зайдемте. Посмотрите, как мы живем. Лучше рассказывать будете в деревне. Да и других наших, може, встретите, те тоже рады будут землякам.

— Что ж, мы с радостью. Время способное...

Все земляки Пеньковской волости повернули в переулок.

Пеньковцам беседа с земляками становилась все отраднее. Они были несказанно рады, что встретили близких людей в далеком, незнакомом городе, которым можно передать свои мысли и ощущения, с которыми могли потолковать от сердца, освободить души, переполненные несознанными, смутными впечатлениями.

Едва только прошли пеньковцы два коротких переулка, как свежее обоняние их тотчас дало знать, что завод близко.

— Вы кожевники ведь будете?

— Кожевники. Али уж наша-то амбра в нос шибанула?

— Приметно.

— А мы привыкли.

Когда прошли третий переулок, пред ними открылся кожевенный завод — огромное трехэтажное, с маленькими и частыми окнами, здание, кирпичное, почерневшее. По бокам и сзади стояли деревянные сараи серо-дымчатого цвета, с низкими фундаментами и высокими, готически-двухъярусными крышами. Пред фабрикой и кругом было грязно, неприглядно; несмотря на зиму, снег был перепачкан и забросан всякою дрянью; невдалеке был пруд, на котором пробито несколько прорубей. Около главного здания почти никого не было, зато у ворот, ведших во двор, была толкотня. Фабричные то входили, то выходили поодиночке и толпами, медленно и лениво, видимо, без определенной цели: войдут, пройдут несколько шагов, потопчутся на месте — и опять назад. На дворе то же самое. Двор лежит между деревянными флигелями, длинный и узкий; вдоль его, слева, тянутся кладовые, над ними сначала идут, во всю длину зданий, деревянные галлереи, с протянутыми вертикально жердями, на которых висят провяливающиеся кожи, а затем высятся высокие крыши, с поместительными и свободно вентилирующимися чердаками. На дворе вонь становится еще невыносимее, а грязь от кожи и всяких обрезков так велика, что почти незаметно снега. Во флигеле, по правую сторону, те же галлереи с кожами, хотя в нем отведены помещения для рабочих. По двору снуют рабочие, видимо, бестолку; все они одеты по-праздничному — в синие кафтаны, новые картузы и шапки; у многих видны чистые рубахи, разноцветные шерстяные шарфы на шеях, но, заметно, они сами не знают, для чего вырядились: это было вроде того, как если бы съехались разодетые гости на давно ожидаемый бал в предвкушении приятного отдыха, веселых впечатлений, и вдруг им объявляют, что получена телеграмма о смерти близкого к дому лица, и хозяева внезапно уехали. Потолкутся, потолкутся гости с вытянутыми физиономиями, скажут две-три остроты насчет «бренности земной жизни», кисло улыбнутся и разъедутся опять коротать вечер по домам. Незаметно и признака здорового, реального развлечения. По лицам ясно, что у всех бро-

дит неопределенно тоскующая, «неустойчивая» мысль: такое состояние разрешается или отупением, или дикою выходкой. Вот идут навстречу один другому двое рабочих; у обоих в пригоршнях орехи; оба лениво грызут и еле передвигают ногами, оба как бы не замечают друг друга и сталкиваются. Орехи сыплются на снег. Ругань, а затем здоровый хохот. Весело обоим. Вот бросились рабочие на чей-то крик: рады скандалу.

— Бьют кого-то! — говорят пеньковцы.

— Что там? — допрашивают рабочие.

— Расправа... Опоек Васька стащил.

— У нас часто, — замечают земляки пеньковцам, — с вечера все спустили, а нынче за промысел. Ну, да у нас до суда не доводят всего-то. А то бы вам со всеми и не управиться.

У ворот еще раздается чей-то крик.

— Убью!.. Подступись! — кричит какой-то рабочий, размахивая правым кулаком, а левой рукой обнимая какую-то женщину.

— Ловок больно! Всем скучно! — кричат из толпы.

— Убью, говорю! Только подступись.

— Ха-ха-ха! Попалась Дунька в лапы...

— Долго ли до греха!.. А-ах! — покачал головой Еремей Горшок.

— У нас даже очень недолго. Мы вам говорили. У нас тут из-за солдаток такие баталии идут. Ну, земляки, теперь зажимай носы-то! — предостерегали фабричные, поднимаясь по широкой и убитой натасканным снегом лестнице в один из флигелей, где помещались рабочие.

Действительно, для непривычного человека вонь была нестерпимая. Во флигеле по стенам шли нары. Свет проходил только с одной стороны и то плохо: окна были малы и заплесневели. Вентиляция в помещениях для кож была лучше, чем здесь.

— Лекарь этот, — говорили рабочие, — на том стоит, чтобы нам на вольных квартирах жить. А то, говорит, мы чистого воздуха не вдыхаем. Спросили нас; мы говорим: привыкли, не чувствуем... «Дураки, говорит, вы эдакие! Привыкнуть нос ко всякой гадости может, да здоровью-то от этого не лучше...» Такой чудак! А славный! Вот это он же о бабах-то хлопотал... А то вот, поглядите, какое у нас веселье! — показали они в противоположный угол нар.

Там было человек пять рабочих. Среди них сидела растрепанная толстая женщина, с раскрасневшимся лицом; она старалась повязать платок, но сзади кто-нибудь шутя сдергивал его.

— Чорт хромой! — любезничала женщина, тузя кого-то кулаком в спину.

— Ха-ха-ха! — хохотали кругом. — Палагея Петровна, желаете, я вам унтера подпущу? — предлагал кто-то.

— Подпусти, подпусти! — поощряли прочие.

— Попробуй! — огрызалась женщина.

«Унтера» подпускали, и все разражалось хохотом.

Проходя дальше, пеньковцы-фабричные наткнулись на чьи-то ноги.

— Нну-у!.. Это — Опенок! Что ж вы человека-то не подымете? — обратились они к сидевшим у окон двоим молодым рабочим. — Недолго, чай!

— Пробовали, дерется... Не подымем.

Рабочие с пеньковцами подняли подпившего работника и положили на нары.

— Тоже вот! — рассказывали фабричные, — был когда-то человек, а теперь, того гляди, сгинет.

— Что ж он?

— Очень об жене затосковал... Тоже ребятишки есть. Выписал было он их сюды, вольную квартиру снял. Все было спервоначалу хорошо шло. На ребятишек радовался, — мы их так и прозвали *опёнками*... Месяца два протянул, а там, глядит, не в силу... Заработка нехватало... В деревне отец, земля — работницу надо... А жену взял, нужно работника нанимать. Думал, думал — никак не натянешь; опять в деревню проводил. Сам к нам перешел и затосковал, пить начал. Чертит во всю мочь, а разве на это наших денег хватит?

— Вам бы его в деревню, к земле отпустить.

— К земле хорошо... С землей греха меньше...

— С землей — божье дело...

— Это так. Да ведь и от земли-то уйдешь, коли она не прокормит. Он теперь все ж как ни то управится с податями-то, а уйдет в деревню — волком вой.

Пеньковцы подошли к поместившемуся у окна рабочему. Он был худой, низенький, почти мальчик; но по бороде и старческому лицу ему было лет тридцать. Он лежал на животе, опершись на локти и подперев руками голову; под носом у него лежала книжка с лубочными

картинами; он внятно и мерно читал, закрыв ладонями уши, весь погруженный в какой-то волшебный мир, который вызывала перед ним лубочная сказка.

— «И от-вер-жонный любовник упал к но-гам прелестной... Ельми-ры...» — истово выговаривал он.

— Это у нас грамотник, — рекомендовали пеньковцам, — рассказчик первейший! Сколько это он сказок знает — страсть! Другой раз попросим его — он и начнет!.. Начетчик! Не здесь бы ему быть!

— Что так?

— Умрет скоро... Вишь какой! — тихо прибавили фабричные.

Вот из дальнего угла раздалась гармоника: кто-то присел у дверей и, смотря в упор в окно, наигрывал со всем усердием камаринскую. Игрок ничего не замечал кругом себя; он, кажется, не чувствовал и своей музыки. По устремленным вдаль глазам приметно было, что его мысль витала где-то далеко отсюда.

— Зачем баб сюда водите? — вдруг окрикнул кто-то веселую компанию, подпускавшую «унтера». — Ведь сказано, что полиция запрещает...

— Это, Ван Ваныч, землячка.

— Все у вас землячки.

— Ей-богу! Из самой соседней слободы...

— Выбирайтесь, выбирайтесь!

— Мы только маненько поиграем, Ван Ваныч! Ей-богу.

— А это что за народ? — обратился к пеньковцам допрашивавший седой старик с длинною бородой и выбритою маковицей, — очевидно, раскольник.

— Это земляки, Ван Ваныч.

— Опять земляки! А попрежнему — кож нехватит, кто в ответе?

— На них не грешите, Ван Ваныч... Они — судьи...

— Судьи!.. Судьям-то нечего по фабрикам таскаться да с фабричною вольницей якшаться. Сидели бы по домам. А то наслушаются тут наговоров: то нехорошо, другое, нехорошо. После только и слышишь: «Нет, не виновен!» Мы-де с судьями земляки! Нам теперь что!.. На замок бы запирать судей-то, чтоб они не шлялись да во все носа не совали...

Старик прошел дальше и долго еще что-то ворчал густым басом.

— Это кто будет?

— Это дядя нашему хозяину-то. Шишига как есть. Сторожей не заводи: лучше пса хозяйское добро бережет. Каждый день с петухами встает да рабочих усчитывает. Ни минуты на работу не запоздай. Руки опустишь, сейчас приметит — штраф!..

— И в самом деле итти бы нам, — сказали пеньковцы.

— Что ж, посидите. Вот других-то земляков никого не видать. Ну, да мы скажем; они сами к вам забегут.

Посидели. Разговор не клеился.

— А у вас, точно, тоска...

— Не весело. С этой больше тоски и грех-то бывает. С ней и головы теряют. Жен нет, ребятишек тоже — к кому поластишься? Душа грубеет.

Скоро все вышли из флигеля на вольный воздух.

— Ну вот, землячки, и посмотрели наше житье-бытье... Каков заводский праздник? — говорили рабочие.

— Не очень чтобы весел.

— То-то и есть! Как тут в слободы не закатишься? Ну, а теперь уважьте нас: примите от нас угощенье... И нам с вами веселее будет.

Пеньковцы-присяжные и фабричные вошли в трактир политичного гласного.

IV

* * *

В трактир пеньковские рабочие вошли как «свои люди» и без стеснения начали располагаться на средней половине.

— Туда бы! — мотнули головами присяжные на серую половину.

— К чему? Мы не люди, что ли? А вам себя и подавно нечего унижать — нам стыд.

— Вы, фабричные, храбры.

— Мы себя знаем.

По случаю праздника в трактире много было народа, и наших присяжных не скоро заметили. Им это было по душе, только Недоуздок и Бычков то и дело заглядывали на чистую половину, где заметили Гаркина и шабрин-

ских, сидевших среди «господ». Это из ряда вон выходящее обстоятельство очень их интересовало.

— Наши бородачки-то... вишь ты! — показал Бычков на шабринских.

— Это все Гарькин их мутит, — заметил Лука Трофимыч. — Кабы не он, разве бы они полезли?

— И вам бы так нужно. Вы наши судьи, — сказали рабочие. — Лезть незачем, а прятаться по углам тоже не к чему.

— Способнее, — объявил Еремей Горшок.

Подали чай. Земляки повели беседу. Теперь уже рабочие отбирали вести во всех подробностях; пеньковцы обстоятельно им докладывали; выступили на сцену Матрены, Дарьи, Авдотьи, дядья Ферапонты и Наумы, тетки, отцы и матери крестные, пока не перебрана была почти половина деревни. Может быть, от родни дело перешло бы к начальству: старостам, писарям, но вполне «обстоятельному» разговору помешали какой-то приказный и мещанин, усевшиеся за соседним столом с полуштофом водки. Мещанин, должно быть, давно признал в пеньковцах присяжных; он несколько раз негодующе что-то ворчал и порывался встать с места, приходя в сильную ажитацию от разговора, который ведут присяжные.

— С-судьи!.. Ха! — взывал мещанин, с горькою иронией подмигивая приказному.

— Я тебе не раз говорил, — утешал приказный. — Одры! Я с ними принял муку, как старшиной был; благородного судили, чиновника! Пойми: титулярный советник. Ты можешь понять?..

— Да нет... Я вас спрошу, можете ли вы, — вдруг вскакивая и не обращая внимания на приказного, налетает мещанин на пеньковцев, искоса презрительным взглядом окидывая чашки, — можете вы понять, ежели... «адва-акат», «эксперты», «предупреждений совести»... теперича опять «юрист»?

Мужики сердито молчат и, стараясь не смотреть на мещанина, усиленно хлебают с блюдечек чай.

— Колачиков бы, хозяин! — спрашивает один из рабочих.

— «Колачиков бы»! — передразнивает мещанин. — С-судьи!..

— Софрон! оставь! плюнь! — говорит приказный.

Мещанин отходит, раздражительно подбирает полы чуйки и садится перед приказным.

— Выпей, — говорит ему приказный, — а потом, если ты хочешь, чтобы я с тобой водку пил, слушай меня. Первое дело — обвинение в мошенничестве. Я говорю: примите вы в резон, что он титулярный, — за что ему чин дан? Кто дал? Вы, говорю, подумайте, умные головы, кто это ему такой чин дал? Разве даром дают чины? Притом же он это сделал при своей бедности; потому он не может, чтоб у титулярного советника дочь полы мыла али онучи стирала. У него дочь-то не за коровами ходила, а на фортепианах первая игральщица! При его превосходительстве, в личном присутствии, в дворянском собрании на благородных концертах играла. Так вы, умные головы, из деревень-то повылазши, эти дела перекрестившись обсуждайте, поопасливее... А они что?

— Что? — переспрашивает мещанин, снова начиная волноваться.

— Одры! Вот что!.. Два часа битых... из сил выбился... пот прошиб... Бился, бился — ничего не поделаешь... Ну, думаю, пускай! так, — так-так... Согласен, говорю, я с вами... Взял и подмахнул этот самый вердикт... Вышел, читаю: «Нет, не виновен»... А они подумали, подумали, да как бухнут: «Мы, говорят, так несогласны были...» Всех и вернули опять, нового старшину выбрали... Н-да, вот они какие!.. Ты вон послушай, что они говорят: Матрешки да Дуньки — это они знают хорошо... Это им по губе... А ведь у нас здесь «цивилизация». Понимаешь, Софроша?

Но мещанин опять не вытерпливает.

— Вы откуда будете? — грозно спрашивает он пеньковцев, наморщивая брови.

— Мы-то?.. Мы из-под Горок.

— Горские! Так и есть, слава известная!.. Не вы ли двух крестьян с козой при царе Горохе судили?

Некоторые из гостей начинают прислушиваться.

— Нет, крестьян не судили.

— Не судили? Кто же их судил? Вы судьи-то!

— Кажись, тебе, слободская кость, лучше знать про козу-то, — сказали рабочие.

— Чего?

— Лучше тебе про козу-то знать. Коза — мещанину сноха. Кого хочешь спроси!

В публике хохот.

— Калашники! — ругается сконфуженный мещанин.

— Ну-ну!.. — вступились рабочие, — али нас не узнал?.. Мы ведь, брат, не деревенские...

— А слышали, братцы, что приказный про господ-то рассказывал? — сказал Еремей Горшок.

— Слышали, а что?

— То-то, мол... это он верно. Мы вот тоже опасаемся. Слышь, придется скоро барчука судить, двуженца.

— Так что ж?

— То-то опасно. Бог их знает: ихняя душа нам потемки. Проштрафиться недолго.

— Это так, — подтвердили фабричные. — Вот мы вспомнили: было здесь такое дело, было. Рассказывали тогда по городу: из-за этого самого один присяжный мужичок в бега ушел.

— В бега? — переспросили присяжные.

— Совсем убег... Поискали, поискали—так и бросили.

— Что ж это с ним?

— А так: веры в себя решился... очень уж мужичок-то был смирный да богу крепкий.

— О господи! — вздохнул Еремей Горшок, — вот какие дела. Да, бывает временем таково тяжело, что точно себя решишься.

В это время пеньковцев заметили с «чистой половины».

— А!.. Еще присяжные!.. Нужно представить! Нельзя! — кричал «градский представитель», имевший особенную страсть к представительству и всякого рода представлениям, толстенький, коротенький человек с розовыми, раздувшимися щеками, среди которых пропадал маленький нос пуговкой; он был в коротком узком пиджачке, который словно впивался в его рыхлое тело. — Нельзя! — кричал он. — Петя!.. Саша!.. Господа присяжные, вот рекомендую: местные адвокаты... Кандидаты прав, — рекомендовал он пеньковцам, показывая на двух братцев-адвокатов, в бархатных визитках, пивших у буфета на брудершафт, — вот-с они, петушки... защитники наших интересов... Вот-с каких жеребцов вырастили... Все на городском фураже-с воспитывали! Еще по тридцати лет нет, а уж животики округляют... Ха-ха! Вот они какие нынче, наши-то ученые, не чета прежним, что сухопарыми цаплями ходили! А что касательно пушку,

так вон, посмотрите-ка, какие вяточки у ворот стоят! Послужи нам — мы наградим!

Градский представитель пришел в совершенный восторг и до того увлекся, что начал что-то сообщать на ухо подвернувшемуся Недоуздку, хитро подмигивая на братцев-адвокатов.

— Так и споил, не глядя, что брат? — спрашивал Недоуздок.

— И споил! — восторгался представитель. — А дело было совсем труба. Как он его это накатил коньячищем (сам-то он крепок, Саша-то, ну, а Петя послабже будет), уснул тот, а Саша в суд, да к нотариусу, да пока тот спал, он все имение (князя какого-то) и заложил в тридцать тысяч... Ха-ха! А последний срок был! Проснулся Петя: «Ну, говорит, пора бежать в суд, как бы не опоздать запрещение наложить на княжеское имение, а то мои доверители-кредиторы ничего не получат». — «Не торопись, говорит, Петя, я заложил уж!» — «Когда?» — «А вот, пока ты спал». — «И не совестно тебе брата спаивать? Ведь я тебе поверил...» — «Это тебе наука: вперед будь умнее...» Вот это так действо. И опять — как родные.

— Ну, и что ж они, эти ваши-то братья, только по денежным делам или и всех защищают?

— Они всех. Кого хочешь. Да, признаться вам сказать, кабы не они, так с нынешними судами — беда! Прежде знал, с кем дело имел, а нынче где судью-то искать будешь? Деньгами нынче не возьмешь. Вот ваш брат норовит все с обуха пришибить... Примерно, купца вам засудить ничего не стоит. Вы в резон коммерции не принимаете. Тут одна надежда — на них. Напустят они этого туману мужикам в глаза...

— Нынче этому туману-то, почтенный, не очень даются. Спервоначала, может, и было, а теперь таких дураков мало, — заметил один из фабричных.

— Конечно, что... мужицкие суды...

— Каких же бы вам, почтенные, судов нужно было, коль нонешние нехороши?

— Завсегдательских! Вот то суды!

— Хороши?

— Первый сорт! Примерно, выбрали от сословий года на два, на три кого ежели постепеннее и спокойны... И знаешь, что тот уж настоящий судья, к нему и обра-

щаешься, ему и почет такой. Да и сам уж он в этом направлении себя держит, а то — нынче лапти продает, завтра судит, а послезавтра свиней пасет...

— Обидно купцу стало крестьянское величанье, — заметил тот же фабричный.

— А думаешь, нет? — накинулся на него представитель. — Нам, горожанству, одна полоса назначена, вам — другая. Так ты того и держись, и не суйся. Я еще говорить-то буду с тобой подумавши. Вот что! А то смешали всех... Земство! А сколько теперь город наш на мужиков зря денег переплатил? Одно это только неудовольствие... Мужики сдуру что́ сделают, а тут на всех мораль. Доблестное дворянство, али степенное купечество вашим величаньем умаляйся! Величанье! Нет, ты сначала заслужи! Мы за медали-то наши, может, сколько капиталов ввалили, а при чем они теперь? Храмов божьих настроили, градских богаделен, богоугодных зданий, украшений города — чье все?.. Все забыли... Мы, говорят, тоже мосты мостим! Ха-ха!..

— С чего же, друг почтенный, огорчился? Мы тебя не обижали, — сказал Недоуздок.

— Мы давно обижены.

Между тем на чистой половине, где собрались представители почти от всех сословий: купцы присяжные и неприсяжные, чиновники, купеческий сын, шабринские, два коммерсанта, содержатели трактиров и водочных заводов и сам туз горожанства, замечательный только удивительною бородой-монстром, которую он в то время, когда ел и когда говорил «речь» в городской управе, ловко затискивал за борт жилета, с неизменным своим спутником «градским» архитектором, — шли такие разговоры:

— Согласитесь, — выкрикивал Саша, обращаясь к купеческому сыну, у которого все лицо лоснилось и блестело от какого-то удовольствия, как лоснились и его потертый сюртук, и старый жилет, и широчайшие тиковые штаны, — согласитесь: присяжные, представители общественной совести, и вдруг помещаются где-нибудь в харчевнях, питаются неудобоваримыми продуктами! Тогда как они должны иметь светлый взгляд...

— Прохарчка-с — это точно, — заметил купеческий сын, переходя за спину Саши.

— Прохарчка? Что такое прохарчка?.. Тут важно, чем мы с братом мотивируем. Брат, поди сюда! В чем

главный мотив? Тут мотив важен. А какой мотив? — спросил Саша, уставив пристальный и даже сердитый взгляд на купеческого сына. — Позвольте предварительно спросить: у нас теперь что такое присяжные?

— Прися-яжные? — вдумчиво переспросил купеческий сын. — Все отцы семейств, смею доложить, — вдруг решил он. — Супруги, малютки, хозяйство оставлены на произвол, смею сказать, на четырнадцать ден-с без присмотру...

— Да я не в том смысле... Присяжные во все время сессии у нас разобщены, не имеют связи с обществом, им неизвестно состояние общественного мнения по делу... От них скрыты симпатии и антипатии общества...

— Ежели к тому вести, конечно, что не мешает... Сначала ежели разузнать...

— Вот то-то и есть... Исходя из этих соображений, мы, я и брат, благодаря инициативе госпожи Штукмахер, дамы опытной в деле благих начинаний (она уже основала общество попечения о лицах «по суду оправдываемых» — слышали?), мы и решились приложить всевозможные старания, чтобы основать эдакий кружок, где могли бы предварительно всякое преступление...

— Преступное деяние, мой милый! — поправил, подходя, Петя. — Ну да, одним словом, обмен идей...

— Это верно-с... Только, извините-с, не каждому, осмелюсь сказать, по карману...

— Уж это будет дело общественной благотворительности. Нам уже обещано.

— Ежели так, очень даже приятно-с. Потому, как именно вы это сказали, много веселее... насчет взгляду-то.

— Обещано!.. Вот почтенный гражданин Павел Павлыч... (Знаете?.. Нет? Познакомьтесь... Он теперь на поруках, но это одно недоразумение... Мы все это рассеем.) Он помещение даже предлагает в своем доме. Госпожа Штукмахер своим личным участием... Наш достоуважаемый, наконец, Петр Петрович...

— Ну, ты там, Сашенька, не заговаривайся... Я, брат, ничего тебе не обещал, — отозвался туз с чистой половины.

— Как не обещали? Ведь вы же согласились, что инициатива для нашего города необходима, — говорил Саша, подходя к «чистой» половине.

— Это, брат, не я, это губернатор...

— А сами просили еще написать доклад в управу!..

— Доклад, пожалуй... А только не обещаю, брат, на городское иждивение принимать...

— Да ведь выгоды-то какие! Мотив важен-с!

— Вот, впрочем, хочешь колачей? Могу обещать.

— Шутите!

— Ничего не шучу... Все же хоть колачи, чем по дворам ходить... А то вон один пейзан ко мне пришел наниматься дрова рубить...

— Ну, смотрите, — крикнул Саша. — Я на вас пожалуюсь госпоже Штукмахер!

— Да говори! Гуманничать!.. Знаю я, как она гуманничает на чужие-то колачи: мужа ей хочется в председатели земские втереть! Успокой ты ее, бога ради, скажи: очень, мол, рады, примем с радостью, без колачей. Только бы он из «невменяемости» не выходил, так для нас это будет рай... Руки нам, по крайней мере, развяжет...

— Вот Петр Петрович сказал слово к делу! —вскричал представитель, замахав руками. — Рублем подарил!.. Что̀ значит голова так голова!.. Дай я хоть поцелую... хочешь? Да мы за этим Штукмахером все вернем!.. А то, господи благослови, первым делом мы для души спасения богоугодных для города заведений настроили, а они — в земство!.. Да с чего ж это мы мужиков-то лечить обязаны? И теперича опять разговор про кормежку...

— Полно ты, буржуа эдакая бородатая! — фамильярно заметил Саша и прибавил ему на ухо: — Прошлым годом кто после побоища-то по постоялым дворам бегал, да помещение со столом предлагал?

— Да, дурашка, разве это вчастую?

— Ну, и не в редкость... А ты лучше помолчи, если не понимаешь мотивов!

— Ну, конечно, дурашка, ведь я не юрист! Мотивы! Чорт вас возьми! Пойдем лучше по доппелькюмельцу пройдем...

— Господа! Однако вы-то как же относитесь к нашему почину? — спросил Саша, подходя к пеньковцам. — Вы слышали?

— Слышали.

— Ну, так как же?

Крестьяне молчали.

— Нам не требоается, — ответил, наконец, Лука Трофимыч, дотянув с блюдечка чай и отодвинув с решимостью от себя чашку.

— Как «не требоается»? — удивился Саша, тонко пародируя «мужичий жаргон». — Вам-то и «требоается» главным образом... Мы так полагали, что скудость ваша...

— Мы обеспечены...

— Кто же вас «обеспечил»?

— Сами, обчеством...

— Но ведь, должно быть, не всех обеспечивает «обчество», когда присяжные принуждены колоть дрова...

— Не знаем... Не слыхивали нешто...

— «Не слыхивали нешто»! — заметил туз архитектору на чистой половине. — Понимаешь? Тоже стыдятся.

— Это-с, Петр Петрович, и скверно, что мужику стыдиться позволено... Я знал это еще по своим крепостным: коли стыдится — значит, самый опасный мужичонко... Так у меня на этот счет строгая система была: я подвергал его сначала осмеянию, наряжая в шутовские костюмы, заставлял доить коров какого-нибудь бородача, мыть телят и прочее в таком роде. И, могу сказать, достиг цели: даже девки стыд потеряли. Такие козыри стали — любо глядеть.

Саша пожал плечами и отошел на чистую половину.

В эту минуту шум на чистой половине вдруг смолк: стали к чему-то прислушиваться. Заинтересовались и пеньковцы, но в особенности Недоуздок: он уж давно наблюдал за Гарькиным, который был сегодня особенно игрив и развязен, польщенный вниманием «почетных» гостей. Он сидел против толстого, высокого и массивного, с грубым и широкоскулым лицом, чиновника, очевидно, пользовавшегося на «чистой» половине особым авторитетом, что отражалось во всей его фигуре, в его внушительных покрякиваниях, многозначительных «гм», которые он произносил в ответ на обращаемые к нему вопросы. Гарькин и купеческий сын давно подобострастно увивались около него.

— Вы, так сказать, среди мужиков «столпы», — говорил авторитетный чиновник густым басом и особенно напирая на букву «о», едва заметно обращаясь к Гарькину.

— Именно-с, — подтверждал Гарькин кивком головы.

— Вы, собственно, устои, на которых держатся обычаи...

— Так точно-с.

— Дедовские обычаи... вековые...

— Совсем верно-с!

— Так вы должны между нами и темными мужиками составить, так сказать, звено...

— Завсегда-с.

— Вы обязаны *им* внушать...

— С удовольствием!.. Помилуйте-с!.. Мы ежечасно-с... И мужички нас слушают...

— То-то и есть. Ведь они глупы...

— Случается-с...

— Вот теперь двуженца будут судить...

— Нда-с.

— Дело это для вас будет темное. А мы знаем доподлинно, кто он такой, этот двуженец!

— Сама-азванец! — крикнул от буфета пьяный купец, у которого с бороды текли потоки водки и падали кусочки приставшей икры.

— Лицедей! — поддержал его представитель.

— Мало!.. Он у меня в учителишках был, сына от торговли отбил, дочь непокорству научил... Жена посты забыла...

. . . .

— Братцы! Собирай шапки, — заторопился Лука Трофимыч, перепугавшись. — К дому пора.

— Погодить бы. Любопытно, — заметил Бычков.

— Нѐпочто... нечего! — строго заметил Лука Трофимыч.

Пеньковцы вышли, а Недоуздок подвинулся ближе к чистой половине. В его воображении начинала создаваться драма, которая где-то когда-то родилась из отношений, так напоминавших его собственные к Орише. Ему сильно захотелось выследить суть этой драмы до конца.

V

«Смущение»

Молча вернулись пеньковцы на постоялый двор, молча отобедали и затем расселись по углам: каждый из них как будто сосредоточился в самом себе. Впечатления

этого дня не были, как прежде, одинаковы для всех пеньковцев... Обстоятельный Лука Трофимыч, против обыкновения, не мог заснуть после обеда, и долго, так что успело почти совсем смеркнуться, не переставал вздыхать и говорить такие речи:

— Ну вот, здравствуй! Еще ни уха, ни рыла не видя, а уж, господи благослови, наслушались всего, нагляделись! В мужицкие-то головы уж успели туману напустить. Надурманились! Э-эх, мужики, мужики!.. А Недоуздок вдосталь теперь этого дурману-то набирается, должно... чего там остался? Примем еще мы с этим мужиком муки!

— Ловкие, парень, эти городские, — высказался, наконец, Бычков. — Пальца в рот не клади — укусят! Что в зубы попадет — назад не вырвешь... нет! Вон они как насчет своих-то правов собачатся... Ловко! Ах, чтоб...

— Небось, не нам чета, что из медвежьих углов повытаскали. Нас как липку обдери со всех сторон — и не услышим... Лука! ты слыхал, какие такие есть наши права? — спросил Еремей Горшок.

— А вот погоди — узнаешь. Здесь научат.

— Узнаешь! Глянь, ан в деревню-то и совсем без правов придешь... Ха-ха-ха! — засмеялся Бычков.

— Это вернее, — боязливо промолвил молчаливый Савва Прокопов, хотел что-то еще прибавить, но испугался, пожевал губами и опять смолк.

Странный мужичок был этот Савва Прокофьич. Многие, видевшие его смиренную фигуру среди присяжных, пожимали плечами; одни считали его выжившим из ума, другие говорили, что он «забываться стал», третьи просто считали его сонулей. А Савва был когда-то заведомый балагур, увлекательный сказочник и для выражения своих мнений не считал нужным выжидать благоприятных случаев. Давно то было, — еще когда Савва Прокофьич звался Савкой, — сидел Савка в лесу с своею невестой. Кругом — тишь лесная, над ними птицы чирикают; заяц один-другой выбежит из-за куста, посмотрит — и тягу; еж, побеспокоенный в минуты своего дневного сна, пробежал, ничего не видя, и врезался всею тонкою мордочкой в муравейник. Савке было хорошо: расходился Савка, стал Савка вольные мысли перед своею невестой высказывать, рассказал Савка веселую штуку про то, как барин к горничной пробирался. Увлек-

ся Савка и вдруг: а-ах! Дикий крик вырвался у Савки, он схватился за голову и отскочил, как раненый зверь. пред ним стоял барин в охотничьем костюме, в одной руке ружье, в другой нагайка... Два года он не видал после того своей невесты, его услали в дальнюю деревню.

Зажила у Савки голова... Опять Савка балагурит, опять сказывает перед собравшеюся на деревенскую улицу толпой: «А вот, братцы, слышно, нам волю прислали», — начинает он и пускается взапуски за своею неудержимою фантазией описывать какие-то такие вольные времена, что у самого дух захватывает. «Ну, рассказывай, рассказывай! Хорошо сказываешь! Любо! Ей-богу! Какой, братцы, у вас увеселитель есть! Редко такие бывают!» — вдруг раздалось сзади него. Он обернулся — за ним стоял становой... «Ну, что же ты, каналья, замолчал... а?» — крикнул становой. Задрожал Савва. Долго где-то был, где-то сидел Савва, так долго, пока не разучился сказки рассказывать.

Пеньковцы молчали.

Вдруг Бычков засмеялся опять.

— Дураки, одно слово — дураки! И хвалить не за что! — заговорил он и как-то нервически-торопливо заходил по комнате.

Обстоятельным мужиком овладело подозрение.

— Дорофей! Да ты что? — спросил он.

— А так... тоска!

— Какая тоска?

— А я тебе вот что скажу: больше я быть дураком не желаю, Лука Трофимыч! Так ты и знай, — проговорил внятно Бычков, нервически подтягивая кушак и ища картуз.

— Ты куда?

— Будет! Довольно плевали нам в бороду-то! Пора и себя спознать, что тоже люди... Пора в ум войти! — отвечал Бычков и надел картуз.

— Постой!.. На беду бежишь!..

Бычков на минуту поколебался, но инстинкты деятельной натуры в нем уже заговорили. Он отворил дверь. Навстречу ему входили двое шабринских.

— А-а! Папашенька!.. Али куды собрались? — спросил, входя, низенький мужичок, с помятым лицом, масляными глазками и длинною, свалявшеюся в косицы рыжею бородой.

— Нет, никуда, — ответил Бычков, повесил на гвоздь фуражку и сел в дальний угол, не снимая верхней одежды.

— А мы к вам! Скучно одним на фатере. Признаться, мы тоже струсили малость: вина этого теперь очень много в трактире... Пармен Петрович, Гарькин-то, не пущал было, да думаем: ему, умному, и вино в пользу, а нам, дуракам, с ним не всегда сладить, с вином-то...

— Падки вы на него, — заметил сердито Лука Трофимыч.

— На вино-то?

Бычков из угла пристально всматривался, как Лука Трофимыч неторопливо и осторожно чиркает спичкой по китайцам; вот он зажег огарок; огарок долго не разгорается, рыжебородый шабер сморкается на сторону и долго, основательно вытирает нос полой кафтана; другой шабер сидит, вытянувшись, не сгибаясь, и тоже пристально смотрит, как зажигает Лука свечу и не может зажечь.

— Вино-то? — опять повторяет рыжебородый шабер. — Верно, папашенька... Я вот тебе, свет ты мой ясный, расскажу про него...

Шабер начинает что-то рассказывать. Бычков смутно слышит или вовсе не слышит.

— Как что скажет — так и будет, потому он умник, всякое слово ихнее понимает, — вслушивается Бычков, как рыжебородый шабер рассказывает пеньковцам. — Вино!.. Нет, папашенька, ты дальше смотри, где *евойная* власть-то, этого Гарькина... Ты вот что посуди: он у нас над двадцатью селениями, может, владыка, всякий у него в руках, всякий от его ума пропитывается... Вот мы, папашенька, и достаточнее других, а скажем так, что и весь достаток у нас им же держится... Потому: большому кораблю большое и плаванье; большому уму и весло в руку... Ты погодь, папашенька, что я тебе скажу, — убеждал рыжий мужичок. — Вот мы, положим так, в зависимости от него... Так будто, точно, не можем ему перечить... А ты вот спроси его, Архипа Иваныча... Он человек вольный, сам — сила... А спроси его: почему он ему послушен?.. Потому, папашенька, ум! Так ли я говорю? а? Вот он, Архип-то Иваныч, и денежный мужик, и благожелательный, и сколько у него теперь этих несчастненьких привечено, сколько он

теперь бедной родни у себя держит, — мужик от всего мира уважаемый, — а спроси его: почему он у Гарькина денно сидит?.. Потому, скажет, умом его не нарадуешься? Всякое дело он тебе знает, всякому делу толк даст... Так ли я говорю? а?

Всматривается Бычков в шабра Архипа сквозь красноватый полусвет свечки. Это — широкой кости, железных мускулов человек, гигантского роста; рыжая грива, закинутая на затылок, открывает его высокий лоб. Мощь и сила так и бьют в каждой его мышце. А между тем по лицу этого геркулеса расплывается благодушие, робость, смущение: он весь вечер не знает, куда убрать свою шапку, куда деть свои длинные ноги и руки. Это — гигант-ребенок. Даже глуповатость проглядывала в нем.

— Это точно, — говорит Лука Трофимыч, — не очень похвально это. Их дело, так скажем, дело пропойное, — показывает Лука на «папашеньку».

— А-ах, папашенька!

— Нет, ты погоди; что верно, то верно.

— Н-ну, папаша, — с горечью от такой незаслуженной обиды выговаривает «папашенька».

— А ты, Архип Иваныч, и в самом деле, с чего с ним якшаешься? Чего ему покорствуешь?

— Это Гарькину-то?

— Да.

— Гм... Умен!.. Сила ума! — говорит Архип застенчиво.

— У тебя своего-то нет, что ли?

— Столько нет... У меня ум в тело ушел, в силу, что у быка... А он в ум растет, он не жиреет.

— Так это ты ему и веришь во всем?

— Верю.

— А обманет?

— Он нас не обманет. Мы за него покойны. Я с малых лет с ним братаюсь, он меня не обманывал, учил.

— А что ж сам свое дело не заведешь, чем у него денно торчать?

— Не могу... Пробовал... У него — любо: фабричка это орудует, машины, за всем сам глядит... все у него колесом. Везде знает... живой человек! А я не могу, — повторил Архип Иваныч и в смущении почесал свою рыжую гриву.

— Так ли, папашенька? а? — заговорил опять шабер. — Вон он где, корень-то... Дальше его ищи... А то — вино!.. Вон они теперь все с господами собеседуют... Обчество, вишь, какое-то заводят... Барчука одного, слышь, скоро судить, так они вперед уж об этом деле столкуются... А мы что, сидя здесь, узнаем? Много ли? Придем на суд-то: хлоп, хлоп ушами — и все. Обвиним — виноваты и не обвиним — виноваты... Так должны ли мы их слушать?

— А где Недоуздок? — спросил Лука.

— Это ваш-то молодец? С ними! Мысленный мужик. Он до всего допытается... А почет-то им какой!.. Тоже ведь городские-то знают, у кого сила в чем... Вот и почет этой силе, и вера, и правда у нее.

Бычков схватил картуз и быстро вышел в дверь.

— Дорофей!.. — крикнул ему вслед Лука Трофимыч. — Убег!.. Двоих теперь нет!.. Смутили!..

— Кто его, папаша, смущал? Что ты?

Сальная свечка трещит. В избе полумрак. Шабры ушли, потому что после огорчения обстоятельного мужика беседа ни под каким видом не могла вестись благодушно. Лука Трофимыч раздражен: скорбит и читает длинное нравоучение своей артели. Молчаливый Савва Прокофьич усердно слушает, зажмуря глаза. Горшок душеспасительно вздыхает и, наконец, сообщает:

— Бегуны, слышь, бывают.

— Че-ево? — с ужасом переспрашивает обстоятельный мужик.

— Бегуны-то, недаром, мол.

— Какие бегуны?

— А вот обыкновенные: присяжные бегуны.

— Ну, еще что? Да-альше!

Лука Трофимыч едва сдерживает свою обстоятельную скорбь пред явною необстоятельностью еремеевой речи.

— То-то, мол, недаром. Своя душа дороже.

— Ну, ну!.. Придумай еще что!

— И убежишь...

— Ну, еще вали! У нас с тобой хватит головы-то!

— И в самом лучшем виде: наденешь валенки, да и уйдешь.

— Дурья твоя голова!— крикнул Лука Трофимыч.— Аа-ах! Не согреша согрешишь, прости меня, господи!— одумался он. — Тьфу! Плевать! Бегите! Будет мне больше маяться... Все бегите!

Лука берет полушубок и решительно кидает его в угол нар, под голову.

— Ведь это мы к примеру... Как ежели, значит, к случаю... А то что нам до этих бегунов!.. Пущай бегут, — утешает Еремей.

Лука молчит, лежа на нарах лицом к стене. Это мужикам не нравится и наводит на них разные предчувствия.

— Лука, не дури, — говорят они ему.

От Луки ни звука, ни послушания.

Еремей думал, думал и... надумал молиться.

VI

«Засудили»

Тем этот день и покончился. На следующее утро всякие недоумения, встречи, столкновения этого дня изгладились из памяти пеньковцев; в суде начались усиленные занятия; пеньковцы выходили рано, приходили после вечерень, а то и позже, несколько усталые, с туманною головой от постоянно напряженного внимания. «Судейское положение» вошло в колею; ничто постороннее «не смущало» более пеньковцев, а сам Лука Трофимыч успокоился окончательно. Беседовали они только между собою, за ужином, да разве кое-когда завернут шабры или земляки; разговаривали большею частью о решенных в суде делах, и то коротко, несколькими замечаниями. Затем рано ложились спать, утешая себя тем, что они теперь «служилые люди».

Наверное, такими исправными «служилыми людьми», такими честными и искренними исполнителями возложенного на них «великого ответного дела», по посильному убеждению своей совести, вернулись бы они в свои родные палестины, с сознанием, что они «ни против людей, ниже против господа бога дураками себя не оказали». Но одно обстоятельство несколько нарушило такой обычный мирный исход дела, хотя нимало

не изменило общих результатов их «судейского положения». Обстоятельство это произошло опять от столкновения пеньковцев с «цивилизацией», постоянно приносившей им столько «смущений».

Серенький ноябрьский день, с самого утра хмурившийся все более и более и, наконец, охвативший весь город какою-то мглой миллионов хлопьев снега, крутящихся в необузданном вихре и разгуле ветра, повидимому, нимало не располагал губернских обитателей к сильным ощущениям. Будь это в иные, «старосветские» времена, ни один обыватель не вышел бы в такой день на волю: мирно засели бы они за карточные столы вместо канцелярии, утешая себя, что за подобное занятие в служебные часы «в такой дьявольский денек и сам бог не взыщет». Но мало ли что было в старосветские времена. Много воды утекло с тех пор. Появились какие-то «гражданские доблести», какие-то «гражданские обязанности», а главнее того — забрались в душу какие-то смутные опасения «в ненарушимости», опасения за мирное и безмятежное житие, явилась потребность самосохранения, «охранения» этого мирного, непостыдного и безгреховного жития... И вот, в то время, когда, как говорится, в былые времена благонамеренный гражданин паршивой собаки со двора не выгнал бы, теперь сам этот гражданин летит в суд, невзирая ни на вьюгу, ни на сугробы, завалившие его пути сообщения, ни на забившийся в рукава и за воротник его «енотки» мокрый снег.

Серенький день, тщетно с самого утра старавшийся побороть некоторым подобием света туманную мглу снежной вьюги, готов был погрузиться в полные сумерки, а благонамеренный гражданин все еще не выходил из суда, и его лошади, стоявшие у крыльца, продолжали еще вздрагивать, волнуясь гривами и хвостами, развеваемыми ветром. Кучера успели выкурить по нескольку трубок на крыльце и не раз сходить в ближайший кабак под нотариальною конторой. Сторожа в передней тщательно осмотрели, исследовали и даже оценили все медведки, енотки, польские и иные бобры, которые сегодня не взауряд собрались в таком огромном количестве под их присмотр.

Зала судебных заседаний уголовного отделения была полна. Двери в приемную были раскрыты; публика свободно ходила из зала в буфет, из буфета в зал. Во всех было заметно напряженное ожидание; очевидно, что присяжные еще не вынесли приговора. В зале стоял какой-то смутный, но сдержанный гул, в котором все еще продолжала напряженно звучать томительно изнывающая струна «благонамеренных опасений».

— Охранят или не охранят? — гадает благонамеренный гражданин, закрыв глаза и стараясь свести один на один свои указательные пальцы.

Но в этом гуле звучали и иные струны.

На одной из скамеек шел сдержанный разговор.

— Это — риск, — говорил горбоносый господин, — только риск необходимый.

— Но ведь, согласитесь, здесь главным образом затрагивается непосредственное чувство справедливости, — возражал белокурый, красивый его собеседник с бархатными ресницами, с бархатными баками и с «бархатными» глазами.

— На непосредственность здесь рассчитывать невозможно. Да и что такое «непосредственное чувство»?.. Не прирожденное же оно правосудие.

— Вы, Сергей Владиславыч, слишком мрачно смотрите. Вы пессимист.

— А вы... оптимист?

— Кто же прав? — спросила, пытливо окинув их взглядом, сидевшая рядом с горбоносым господином молоденькая дама.

— Я думаю, что я, — отвечал ее сосед.

— Так, значит, ты... против? — дрогнувшим голосом проговорила молоденькая дама.

— Против... кого?

— Против *них?* — кивнула дама едва заметно к пустым креслам присяжных.

— А ты против *того* и *той*? — угрюмо промычал пессимист, показав глазами на подсудимого и скамью свидетелей, где сидела женщина и несколько мужчин.

— Значит, без исхода? — едва выговорила молоденькая дама и вдруг вся вспыхнула от сильного волнения.

— Пока — да.

— Следовательно, эти должны быть жертвой?

— Да. Чтобы просветились *те,* должны погибнуть *эти*...

Скрипнула боковая дверь. Глаза всех обратились на нее. Молоденькая дама лихорадочно откинула вуаль, нагнулась всем корпусом вперед и как будто замерла. В дверь один за другим выходили медленно присяжные: три купца, учитель духовного училища, купеческий сын, Гарькин, трое шабринских, Недоуздок, Савва Прокопов и Еремей Горшок. Пока они неторопливо устанавливались перед эстрадой судей, в зале было глубокое молчание. Слышалось поскрипывание сапог; из чьей-то груди вырвался подавленный вздох и замер. Купеческий сын Сабиков держал вердикт. Присяжные установились; Сабиков поклонился судьям, кашлянул и начал скороговоркой, раскачиваясь всем туловищем за каждою фразой:

— Виновен ли подсудимый, кандидатского университета, в том, что, получив ложные сведения о смерти своей жены, с которою он не имел совместного жительства, воспользовался этим и вступил в другой брак с девицею NN, то есть сделался двоеженцем?

Здесь купеческий сын неловко кашлянул и поперхнулся. Потребовался платок. Пауза была томительная.

— Да, виновен! — не сказал, а выкрикнул как-то Сабиков, поклонился еще раз, подал председателю вердикт и, весь красный, обливаемый пòтом, обернулся к публике.

Присяжные направились к своим местам. Едва они сели, раздался слабый, болезненный, одинокий крик. Вздрогнул Недоуздок. Тишина внезапно порвалась, и по зале пронесся сдержанный глухой ропот. Осужденный, бледный, бесстрастными и широко открытыми глазами глядя на присяжных, опустился бессильно на скамью. Около скамьи свидетелей хлопотливо суетились горбоносый господин, принимая стакан с водой от пристава, белокурый бархатный красавец и молоденькая дама. С госпожой NN был обморок. Все время, пока судьи совещались о «мере наказания», Недоуздок упорно и неподвижно смотрел на подсудимого. Казалось, он или припоминал что-то давно забытое, или изучал и наблюдал новое, не знакомое явление.

Шумно расходилась многочисленная публика. Крестьяне-присяжные стеснились в углу. Недоуздок стоял рядом с Саввой Прокофьичем.

Толстяк с орденом на шее поровнялся с пеньковцами, и Лука Трофимыч торопливо шепнул: «Кланяйся, братцы!.. Это он самый, фомушкин-то»... Савва перепугался. Пробежали братья-адвокаты, за ними торопливо представитель и купеческий сын, таща за руку вспотевшего Гарькина. Гарькин махнул за собой шабринских. Пеньковцы сошли медленно в швейцарскую.

— Присяжный будете? — вдруг окликнул кто-то Недоуздка. Петр обернулся: перед ним надевал «медведку» благонамеренный гражданин.

— Присяжный.

— А!

Благонамеренный гражданин улыбнулся во весь рот, приподнял шляпу, чуть не сделал ручкой и, завернувшись воротником, выбежал на крыльцо.

— Гришка! — крикнул он.

Подкатила пара в яблоках.

— Барыню отвез?

— Отвез.

— К себе?

— Так точно-с.

— Н-ну, так... к Амалии... па-ашоол! — крикнул благонамеренный гражданин.

Лошади подхватили и вмиг скрылись в снежном вихре.

«Этот чему обрадовался?» — подумал Недоуздок.

С лестницы тихо спускались дама и мужчина; они вели под руки госпожу NN. Пеньковцы уже ушли. Недоуздок с Саввой Прокофьичем приостановился и пристально смотрел на сходивших. За первыми на лестнице показались горбоносый господин, дама с опущенным густым вуалем и оптимист.

— Ты обвиняешь *их?* — спросила дама горбоносого господина, проходя мимо Недоуздка, и, как ему казалось, кивнула в его сторону.

— Я никого не обвиняю, — раздраженно проворчал пессимист. — Но умиляться-то тоже не от чего...

— Но согласитесь, что известная форма... — заговорил оптимист.

— Форма! Форма! — пессимист передернул плечами. — Насквозь прогнившее содержание...

— Сережа, ради бога тише! — прервала его с мольбою молоденькая дама, боязливо оглядываясь.

— Вы возмущены... Вы все видите... — заметил было опять оптимист.

— Я вижу только одно: глупо-добродушного ребенка, приходящего в восторг.

Оптимист горько улыбнулся.

— Но просвещающее влияние... Вы сами говорили, что «пока»...

— Говорил, потому что был также глуп...

— Вы, по крайней мере, не можете отрицать, что душа народа...

— Слыхал. Посмотрите, кто идет впереди нас...

— Сережа! — проговорила в волнении молоденькая дама и крепко сжала ему руку, — час тому назад ты был справедливее.

Горбоносый господин нервно передернул плечами. Разговаривающие прошли.

— О чем они, Петра? — спросил Савва Прокофьич.

— В оба уха слушал, ничего не понял, — отвечал Недоуздок. «И откуда они так научились разговаривать?» — подумал он.

Публика продолжала спускаться с лестницы. Чем ближе к выходу, чем дальше от залы суда, тем смелее высказывались замечания; глухой ропот, едва пронесшийся в зале заседаний, сделался здесь внушительнее и резче.

— Ну что, батюшка, как ты себя чувствуешь? — спрашивала старушка с седыми распущенными из-под шляпки буклями, опираясь на руку провожавшего ее молодого человека.

— Ma tante [1], прошу вас...

— Нет уж, mon ami [2], ты извини: не поверю... Нет, нет, ты меня этим либеральничаньем не смущай больше... И если ты мне хоть заикнешься, — лишу, как хочешь... Все Неточке передам... Бог мой!.. Да это так и должно быть: мужики — так мужики и есть... Разве им что-нибудь значит засудить человека?

— Ma tante, из этого ничего не следует.

---

[1] Тетя.

[2] Мой друг.

Юноша подает старухе атласный салоп, и они выходят.

— Помилуйте!.. Разве это возможно? — говорит, гремя саблей, высокий и плотный капитан. — Чего же это прокурор смотрит? Заведомо засуживают мужики невинного человека — и...

— Вероятно, это дело не оставят, — успокаивает его статский.

Перед Недоуздком и Саввой Прокофьичем вдруг останавливается седенький старичок, держа в руках табакерку и разминая в ней пальцами табак.

— Насколько могу припомнить, — говорит он, всматриваясь в них прищуренными глазами, — вы были в составе присяжных?

— Были-с.

— Нехорошо, нехорошо... Гм... — Старичок понюхал табаку. — Зачем же вы человека-то засудили?.. Впрочем, извините, не смею любопытствовать.

Старичок вытер нос, раскланялся и отошел.

— Да разве мы виноваты? — спросил Савва Недоуздка, боязливо глядя на него.

Зашуршал по полу длинный шлейф. Молодая дама вскинула лорнет и близорукими глазами пристально посмотрела в лицо сначала Недоуздка, потом Саввы Прокофьича и, сжав губы, прошла мимо. Савве было не по себе.

— Петра, уйдем, — сказал он.

Трактир политичного гласного был полон. Висевшие с потолков лампы смутно светили в удушливом, наполненном промозглыми парами и табачным дымом воздухе. Безалаберный гул голосов покрывал собою грохот машины, со всем старанием разыгрывавшей веселый мотив. Градский представитель, с блаженною улыбкой и размалеванными яркою краской щеками, стоял перед нею и, растопырив, подобно крыльям, руки, что-то выделывал и ими, и ногами в такт веселому мотиву.

— Наддавай, наддавай!.. Звуку больше! Маменька, вынеси! Голубушка, коленцо! — с каким-то замиранием объяснялся он с машиною. — Не пискни, голубушка! Раз! Начинает!.. Тише вы!.. Слушай!

Представитель замер. Пьяные гости, бессмысленно улыбаясь и выпучив осовелые глаза, широко раскрыли рты, как бы собираясь со всем усердием проглотить не только «колено», но и всю машину. Половые, ухмыляясь, замерли на своих местах, задержав на минуту неугомонную беготню.

Недоуздок, проходивший в это время с Саввой Прокофьичем мимо трактира, приостановился и не утерпел, чтобы не удовлетворить своего любопытства.

— Зайдем, — сказал он Савве.

— Нету... Ну их!..

— Не надолго.. Только заглянем... что они там...

Они вошли и присели у дверей. Савва Прокофьич долго не мог понять, что такое происходило перед ним. Впечатление строго торжественных сцен суда перед многочисленным сборищем городской публики, какое он когда-либо видывал, сцены разъезда после суда, грохот машины, пылающие лица трактирных гостей — все перемешалось у него в голове. И только когда машина смолкла, он мог рассмотреть разглаживавшего самодовольно бороду Гарькина, сидевшего среди купцов, осклаблявшиеся физиономии мужиков, залезших за ним на «чистую половину», и, наконец, умиленного представителя, кричавшего: «Важно, маменька! Уважила!»

— Позвольте вас спросить, — вдруг обратился к Савве Прокофьичу купеческий сын, чем-то озабоченный.

Савва Прокофьич смешался.

— Вы вот с энтим самым господином коммерсантом,— показал Сабиков на Гарькина, — из одной волости будете?

— Нет, мы разных будем.

— Ну, все ж, из одних мест?

— Из мест — из одних... Шабры...

— Ну вот! Ведь он Гарькин будет?

— Он самый.

— Не Савелов?

Савва Прокофьич замялся: он испугался, как бы ему чего не было.

— Так не Савелов? — допрашивал купеческий сын.

— Нет, не Савелов.

— Ну, так и есть!.. У меня, я помню, где-то записано было... Жена тогда так и сказывала, когда он было меня нагрел... Вы позвольте... будьте свидетелем... Я сейчас, — проговорил Сабиков и подошел к «братцам-адвокатам».

Савва Прокофьич совсем струсил.

— Н-ну вас тут совсем! — прошептал он и выбрался за дверь.

Гарькин обернулся — Саввы Прокофьича уже не было. Около купеческого сына между тем стали собираться слушатели.

— То-то, думаю себе, как будто затмение,— рассказывал он, размахивая руками. — Мы, изволите видеть, по своей коммерции такого обычая держимся: записывать, кто ежели нашего брата насчет какого товара объедет... Жена, изволите видеть, приехала и говорит: смотрю — полотно...

— Да в чем дело-то, говорите! — крикнул Саша.

— Самозванец, — растерявшись, проговорил Сабиков.

— Кто?

— Вот они-с, — показал он на Гарькина.

— Ах, чорт возьми! — с досадой сказал Саша. — Теперь кассируют. А все это мужичье!

— Конечно, Сашурка, они, — поддержал представитель.

Гарькин давно уже подозрительно поглядывал на купеческого сына и вдруг, заметив Недоуздка, побледнел и смолк.

— Что такое?— переспрашивали в трактире.

— Оказия!

— Какая?

— Мужичье кого-то засудило...

— Господин купец! А почему, позвольте спросить, вы пили-пили — и вдруг самозванец? — обратился представитель к Гарькину.

Гарькина охватил столбняк.

В эту минуту какое-то непонятное, необычайное волнение овладело Петром; он покраснел, глаза его забегали.

— Обманщик! Иуда! — крикнул он в лицо Гарькину и, как ребенок, выбежал из трактира.

Гарькин очнулся...

VII

Бегуны

Между тем Савва Прокофьич вернулся на постоялый двор. Пеньковцы только что собирались обедать. Савва Прокофьич присел и ничего не сказал. После обеда он совсем затих, замер и забрался в самый дальний угол избы. Долго и подозрительно всматривался в него Лука Трофимыч, а Савва посидит-посидит и вдруг, без всякой видимой причины, пересядет на другое место.

— Прокофьич, а Прокофьич! — окликнул его Лука Трофимыч.

— А?

— Ты чего?

— Ничего.

Савва пересаживается.

— Чего ты не посидишь толком, Савва?

— Страх...

— Какой страх?

— А так: пред бедой бывает эдак.

— Пужа-ай! Чего у вас там с Недоуздком не было ли? — спрашивает он дальше.

— Было.

— Да что было-то?

— В том и страх, что не знаю.

— Как же так?

— В ум не возьму.

Так пеньковцы ничего и не добились от Саввы Прокофьича.

Стемнело. Дверь потихоньку отворилась, и медленно вошли все четверо шабринских; физиономии у всех вытянутые, глаза широко открытые,— пришли и, не говоря ни слова, уселись по лавкам, помолчали.

— А-ах, папашенька... дело-то! — наконец, произнес рыжебородый шабер.

— Что еще? — спросил Лука Трофимыч.

— Не слыхали нешто?

— Чего слыхать-то?

— Убег ведь...

— Кто?

— Наш-то... Парамен Петрович... умница-то, в бега!

— Как так?

— А так, оченно, папашенька, даже просто: в моих и валенках-то... Вот оно что! Пришли этто мы к себе из трактира, глядим: валенок-то моих и нет, а его середь избы валяются... Это он с трусу-то не разобрал... И опять же теперь шапку баранью забыл, так в шляпе и улетел. Мы спрашивать; говорят: лови в поле ветер! Он теперь так-то ли на парочке по первопутью закатывает!

— С чего ж это он? Али что открылось?

— А вы бы об этом свово молодца спросили.

— Недоуздка? — спросил Лука Трофимыч.

— Верно, что его... Теперь, папашенька, беда... Дело поголовное!

Лука Трофимыч смутился.

Но в эту минуту вошел Недоуздок и молча снял разлетай.

— Петра, что у вас там?—спросил Лука Трофимыч.

— Человека засудили, — сказал Недоуздок и сердито сел за стол, положив на него локти.

— Ну, так и в трактире говорили, — заметил «папашенька».

На минуту все замолчали.

— Обманул!— прошептал Архип, замигав глазами, и вдруг как-то весь сократился еще больше.

Шабры давно уже ушли. Пеньковцы поужинали и собирались спать. Кто-то постучал в замерзлое окно.

— Не спите? — спросил голос с улицы.

— Нету. Входите,— откликнулся Лука Трофимыч.— Что бы это такое?

— Не в пору весть — худо,—сказал Еремей Горшок.

В это время в избу вошли, стуча сапогами, два земляка-фабричных и наскоро помолились в угол.

— Ну, молитесь, земляки, теперь и вы, — сказали фабричные. — Здравствуйте.

— А что так?

— Помер.

Пеньковцы поднялись и перекрестились.

— Упокой господь его душу! — произнес Лука Трофимыч.

— Не удостоился, значит! — заметил Савва Прокофьич и вдруг пришел в какое-то особенное возбуждение и стал копаться в своем углу.

— Ему эта кончина от господа зачтется, — заключили фабричные.

Потом все помолчали немного и затем стали толковать о приготовлении к похоронам.

— А вас кто известил?— спросили пеньковцы.

— У нас там фершалок есть знакомый...

— Проститься-то допустят ли?

— Допустят. Этот самый фершалок нам большой благоприятель... Он нам все это честь-честью устроит... как, значит, званию ващему подобает... А то ведь там как хоронят!

Земляки ушли поздно.

А наутро, когда поднялись пеньковцы и стали собираться в больницу, вдруг заметили, что Савва Прокофьич не ночевал. Думали, не ушел ли он с земляками, но оказалось, что и мешка его нет. Пошли справиться у хозяина, не говорил ли он с ним. Но дворник только их же обругал, что они, не сказавшись, шляются по ночам и всякий народ к себе пускают; а после что пропадет — кляузы пойдут.

— За ваш пятиалтынный только греха не оберешься! — оборвал он, хлопнув дверью. — Неволя одна велит вас пущать-то...

— Ну, братцы, должно, справедливо это говорят: одна беда не ходит,— заметил Лука Трофимыч.

— И с чего бы это он?— раздумывал вслух Еремей Горшок. — Ах, Савва, Савва!

— А это вот все с твоих пустых слов, Еремей Гаврилыч, — ответил ему Лука, — ты все это про бегунов пророчил.

— Ну вот!.. Ври больше!.. Ведь это только у нас разговор был... Разве от этого что может?

— Раздумать это — дело нелегкое, — сказал угрюмо Недоуздок, сделавшийся вдруг почему-то много серьезнее и солиднее.

До суда пеньковцы сходили попрощаться с Фомушкой.

А на другой день схоронили Фомушку. На похороны собрано было несколько рублей с «судебного персонала» и купцов-присяжных; об этом в особенности хлопотал «мундирный молодой человек». Гроб проводили крестьяне-присяжные, к которым примкнул и купеческий сын, постоянно остривший над «судейским положе-

нием», и земляки с завода. Фомушку наскоро и попросту «уложили на вечный покой» под мягкие, пуховые сугробы городского кладбища, покрестились и кстати, тихомолком, вспомнили о Савве Прокофьиче.

Скоро разошлись провожавшие гроб, а часа через два пошла погода, и от свежей могилы не осталось следа.

ЭПИЛОГ

Стоял сильный мороз, не тот освежающий мороз, который бодрит дух и тело, но тот, который зовут костоломом, при котором тяжело дышать и в костях ощущается тупая боль. Воздух был сгущен, как будто в нем плавали застывшие пары. Наступали уже сумерки, когда у одного поворота с почтового тракта на проселок остановился обоз-порожняк. Около передовой лошади собралась кучка мужиков. Одни из них вынимали из саней мешки и вскидывали на спины, другие о чем-то говорили.

— Э, братцы, — говорил один мужик, — бог с ними!.. На их деньги не разживешься...

— Ну, ин, коли так... и то! — сказал другой и вскочил в сани. — Все, что ли, почтенные выбрали?

— Все. Невелико имущество, — отвечали седоки.

— Мы как рядились, так и поплатимся. Вы этим себя не стесняйте, — сказал один из седоков, высыпая на ладонь деньги из кожаного кошеля, висевшего у него на шее.

— Не-ету!.. Мало что там рядились!.. Это так, значит, больше для спокою... А грешить нечего! Он ведь, бог-то, видит! — резонировал первый возчик, берясь за вожжи. — А на полштоф — оно точно... было бы не обидно... без греха... Мороз-то ведь тоже от господа, вишь какой!

— Ну, так получите. Спасибо вам, братцы. Кабы не вы, может, и не дошли бы в целости до дому.

— Все под богом... Счастливо!

— Дай бог путь!

Так на пятнадцатый день, по отправлении в «округу», возвратились наши пеньковцы в свои родные пале-

стины. Поправив на плечах мешки, они выступили на узкую, малонаезженную проселочную дорогу, по бокам которой тянулись неоглядною далью сугробы вплоть до «волости». Они шли торопливым шагом и молчали. Через полчаса ходьбы замигали вдали огни, на беловатом фоне снежной пустыни зачернели избы. Показалась «волость». Волостные псы приняли было с разных сторон поздних гостей громким лаем, пока первый встречный пес не учуял «своих» и, виляя хвостом, не подбежал к путникам, не обнюхал гладившую его заскорузлую ладонь и не переменил сердитого, сиплого лая на визгливое приветствие; поняли это и прочие псы и, смолкнув, снова позалезли за подворотни, как за единственную защиту этих неподкупных деревенских стражей от рыскающих в это время голодных волков.

— Гляньте, братцы, у старшины огонь. Надоть бы по-настоящему перво-наперво в волость объявиться, а там уж и домой. Успеем еще к бабам-то, — сказал Лука Трофимыч.

— Поздно, — заметил Бычков.

— Поспеешь. После когда еще собираться! А теперь оправим себя перед обчеством — и конец. Благо, не спит старшина-то.

Пока они шли к волостному правлению, из изб уже выходили и смотрели, почесываясь, обыватели, поднятые с печей расходившимися было псами. Скоро на селе узнали, что кто-то прибыл в волость с новостями.

В «волости» старшина сидел у стола, за которым что-то бойко писал волостной писарь. Старшина то громко зевал, крестил рот, то от нечего делать поправлял, поплевывая на пальцы, нагар на сальной свечке или коптил печать и делал пробы на лоскутке бумаги. Видимо, ему было очень скучно, и он не знал, как дождаться, когда писарь подсунет ему бумагу и он приложит к ней обсаленную и накопченную волостную печать, предварительно, с помощью непослушных корявых пальцев, изобразив повыше ее: «Волостной старшина Парфен Силин», — единственные слова, которые его выучил писать писарь в продолжение трех лет; больше же — при всем к чести его относящемся усердии и желании — успехов в грамоте сделать он не мог, благодушно сваливая этот неуспех на свою седину.

— Ну-ну! — встретил весело старшина пеньковцев,

очень довольный, что есть чем разогнать скуку. — Вот и пришли... наши судьи-то!.. Ну, здорово! Садитесь. Теперь вы уж у нас в чинах-то повысились... Поди, к вам и подступу теперь нет!..

— Полно, Парфен Силыч!.. С чего ты? — шутили пеньковцы.

— А что? Знаем мы, брат, каково этой самой понюхать... чести-то...

— Это верно. Ну мы, одначе, не того...

— А что?

— Больше смирились.

— И то дело. И то хорошо.

— Верь им! Как же! — сказал через засунутое между губ перо писарь. — Ты вот посмотри, как они станут поговаривать! Видали мы, что значит мужик в чести!

— Смирились, друг, смирились. Это верно, — подтвердил Лука Трофимыч. — Не ведаем, как с другими от этой чести, а что мы, так, скажем, страх божий узнали.

— И за то возблагодарим создателя!.. А Недоуздок как? Обуздался ли? а?.. Как ты, Петра?

Недоуздок улыбнулся.

— Останешься доволен... насчет узды-то, — сказал он.

— Как можно! Петра у нас много обстоятельнее стал, — подтвердил и Лука Трофимыч. — А уж это на что лучше!

— На что лучше! — согласился и старшина. — Ну, рассказывайте теперь — как, что... Вишь, вон уж набралась деревня-то... Тоже, живя за сугробами, новому рады.

В правление уже, действительно, набились любопытные; все они улыбались и пристально всматривались в пеньковцев, как будто с последними должна была совершиться за две недели удивительная метаморфоза; тут же явились жены Бычкова и Еремея Горшка, так как они были из самого Пенькова.

— Что рассказывать? — сказали присяжные. — Всего не припомнишь сразу... Разве уж помаленьку как ни то, исподволь... А что несчастия наши вам известны...

— Да, что поделаешь!. Все под богом! Его святая милость, — благочестиво заметил старшина, вообще

большой любитель выражаться «от божественного». — Царство небесное рабу твоему Фоме!.. Себя дураками не оказали? В грязь лицом не ударили? Перед господом богом не сфальшивили?

— Кажись бы, нет. А что насчет господа бога... так кто ему, батюшке, не грешен, царю не виноват? Вот хоть бы Савва.

— Ну, Савва... что ж! Дело ваше было немалое... Всяко бывает!.. На каждый час не убережешься, — благодушничал старшина.

— Приобыкнем.

— Это так. Раз не так, а другой — послужим...

— Достало ли кокурок-то? — спросила Ерему Горшка его баба. — Все я оченно сумневалася.

— А-ах, баба! — сказал старшина. — Ты бы спросила, в каких они дворцах сидели... А она — кокурок!

— Почем знаешь! Думается, кто ж их в палатах-то кормить станет?

— А все ж, бабы, палаты палатами, а напредки больше пеките... Да одевайте теплее, — вот что главное!

Старшина зевнул и перекрестил рот.

— И так... с господом! Спать, чать, хотите? А там после — обо всем прочем... Завтра вам честь будет: ко мне заходите... Завтра и об дворцах порасскажете...

— Там честь-честью, а с Саввы взыскать штрафной суммы, по требованию окружного суда, в количестве десяти рублей, — проговорил скороговоркой писарь и повернул перед старшиной бумагу.

— Ваше дело, — заметили пеньковцы.

— Наше дело при нас останется... А учить вас тоже нужно... Копти! — сказал он старшине, подсовывая печать.

Пеньковцы сдали отчет и разошлись по домам.

Прошел месяц — и все забыли о чести «судейского положения», поглощенной общинною равноправностью. Только за Саввой Прокофьичем надолго осталось прозвище «судейщика», которым окрестили его деревенские ребятишки. Поводом к этому послужило его странное поведение после бегства из округи. Он как пришел в свою деревню, так и не выходил с тех пор из избы, и, при всех убеждениях, старшина не мог его вызвать на разговор, разузнать что-либо. Ребятишки долгое

время засматривали любопытно в промерзшие окна к «судейщику» и созидали по поводу его «отшельничества» разнообразные легенды. Одна из них с большою убедительностью рассказывала, как «судейщик спасается». Действительно, едва наступила весна, Савва Прокофьич пришел в первый раз в волость, чтобы выхлопотать паспорт: он отправлялся на богомолье в Соловки.

1874—1875 гг.

УСТОИ

История одной деревни

Роман в четырех частях

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ДЕДОВСКОЕ ГНЕЗДО

Глава первая

КАК В НЕМ ЖИЛИ

I

Волчий поселок был таким дедовским гнездом. «Вольчьим» он прозван потому, что первые устои его заложены были мужиком по прозвищу Волк, Мосей Волк. А Мосей был прозван Волком потому, что любил лес и в давние времена, еще до воли, будучи лесником, стал нелюдим, хмур, молчалив и задумчив, в особенности с тех пор, как ему в голову засела «идея». Но когда эту «идею» ему удалось осуществить, то он значительно смягчился. Тем не менее прозвище «Волк» осталось навеки за ним и его потомством.

Что это была за идея, мы сейчас увидим. Невдалеке от деревни Дергачи стояла молодая, веселая березовая барская роща, на спуске к узкой, но глубокой, поросшей осокой речке. Мосей «влюбился» в эту рощу, так как Мосей был мужик-эстетик, один из тех детей природы, которые ее великие феномены наградили такими нежными и ласкательными именами, каковы: «зоренька ясная», «солнце красное», «мать земля-кормилица» и т. п. Влюбившись в рощу, Мосей упросил барина поставить его в сторожа к роще («в ногах валялся у барина!»). Барин согласился. Два года холил он ее, от семьи отбился, от деревни, каждое дерево, как свой глаз, берег. Но скоро стали доходить до Мосея слухи (может быть, просто хотели пошутить над ним), что барин хочет продать рощу. Загрустил Мосей, заугрюмел

и, наконец, одним утром явился к барину, опять упал на колени и стал просить отпустить его «на сторону», с тем что через пять лет он вернется и купит рощу. С барина заклятье пред образом взял, что тот до его прихода никому рощи не продаст. Через пять лет вернулся: сапоги кувшинные, на плечах сибирка; бурмистр его в передний угол садит... Где пропадал, откуда и как нажил денег, чтобы заплатить барину за рощу, Мосей не любил рассказывать.

Когда была осуществлена эта первая «идея», у Мосея явилась другая. Как она к нему попала в голову — как результат опыта, или как темный наследственный инстинкт, или то просто было личное желание сделать неприкосновенным и закрепить «заветом» то, что стоило трудов целой жизни, — это вопрос не решенный. Так или иначе, эта «идея» была очень определенно выражена рядом следующих своеобразных положений.

Вернувшись из своего безвестного скитания, купив у соседнего помещика излюбленную им рощу с пустошами, Мосей снял свою городскую чуйку, облекся в прежнюю сермягу и ушел в рощу, построив в ней малую избу. Близ этой малой избы запустил он улья, пригласил к себе ходить за пчелами старую бобылку Феклушу и «ушел от жизни», «отрешился», оставив свою семью жить «на всем прежнем положении» в деревне, как жила она и в то время, когда он находился в «безвестном сокрытии». Мало того, Мосей, как только пришел, сделал заказ своим сыновьям, в особенности старшему, Вонифатию, «не только проситься, ниже помышлять об отходе в столицы, пока господь бог грехам терпит и голодом не гонит». Такой заказ привел всех в немалое удивление, так как на селе давно решили, что Мосей всех сыновей, а старшего наипаче, поведет по своей дороге, да и Вонифатий был в этом уверен. Когда спрашивали об этом заказе Мосея, он отвечал коротко: «греха много!» Что̀ разумел он под этим, он вряд ли бы обстоятельно разъяснил, так как, вероятно, больше чувствовал возможность этого греха, чувствовал, что между его хождением в столицы по «идее» и между хождением за наживой была большая разница; что, достигнув исполнения «идеи», человек мог остановиться; наживе же нельзя положить и конца-краю. А была ли в Вонифатии эта «идея»? Нет, Мосей видел,

что никакой такой не было. Было одно: явился из столицы отец с деньгами, значит и сын должен итти туда за ними же; если отец принес 100 рублей, то сын должен уже принести 200.

Таким образом, этот «заказ» Мосея объясняется тем, что Мосей был мужик «идейный». Он умел в своей голове «прикинуть» кое-что к чему-либо.

«Идейные» люди и в народе пользуются уважением. Народ знает, что «идейный» человек редко сбивается с пути, а потому то, что позволено «идейному» человеку, не позволено простому смертному. Так смутно чувствовал и Мосей; он не видел в своем сыне «идейного» мужика и не пустил его туда, где «неидейный» мужик сделается просто мошенником. Но он, например, ничего не сказал, когда его дочь Ульяна ушла, после смерти своего жениха, найденного замерзшим у села, на Афон и в старый Иерусалим, где пропадала три года. Он на нее надеялся.

Но одного этого «заказа», вероятно, показалось Мосею недостаточно, и он, чтоб уже окончательно отрезать своей семье возможность выйти «из прежнего, вообще мужицкого положения», проделал одну очень внушительную церемонию.

Когда Мосей решил «отряхнуть прах с ног своих» и, скинув синюю чуйку, облекся в сермягу, он явился на сход и заявил, что часть приобретенной им, вместе с рощей, в пустошах пустопорожней земли, прилегавшей к деревне, отдает в пользование миру, который в земле нуждается, а ему с ней делать нечего. «Одному с семьей всей не поднять, а батраков нанимать — завода заводить не желает; при себе же оставляет одну рощу, которую издавна возлюбил». Сказав это, Мосей при первом же переделе земли сам сделал на свою землю жеребьи и вместе с другими вынул жеребий для своих сыновей. Община не осталась ему неблагодарной и поощряла его разными льготами — по рекрутству, общественной службе.

После этого Мосей ушел в свою избу, в рощу, куда по смерти своей жены, как мы сказали, пустил жить старую бобылку Феклушу.

Его три сына, из которых был женат только старший, Вонифатий, и дочь, девица Ульяна, остались на селе, «на всем прежнем положении».

Шли годы. Минуло барство. Кончилась, наконец, «неурядица эмансипации», выражаясь стилем помещиков того времени, завершенная нарезкой наделов, размежеванием чресполосных владений и, наконец, «упразднением» мировых посредников, главных героев того бурного времени; наступил порядок, долженствовавший покоиться на двух китах местной администрации — исправнике и непременном члене. Но едва почуялось в воздухе приближение этого вожделенного порядка, как вдруг всем мужикам сделалось отчего-то жутко. Их как будто испугала та математическая строгость и определенность, с которыми отмежевывались границы их полей. Прежде, во времена посредников, каждый лишний клочок земли был как будто спорный, питалась надежда, что этот лишний клочок земли, «хоша и не наш, а может, и наш будет», верилось в возможность, что «еще, может, и оставят», в возможность как-никак сговориться с барином... «Все же ведь живой человек... Может, как ни то уговорим. Из-за лишнего клочка не станет тягаться». Но наступил порядок, и все принуждено был «сократиться», съежиться, установиться в отрезанные каждому стойла. Господа вздохнули, потому что период их психической «неустойчивости» кончился, так как теперь каждое мужицкое нападение на их сердобольные души отпарировалось словами: «Закон, батюшка, закон! Теперь уж все кончено. И землемеры разъехались. Да-с, теперь уже все взвешено и определено...» И мужики поняли, что точно все взвешено и определено. А так как, собственно говоря, взвешено и определено было только одно отношение земель мужицких к барским, распределение же мужицкой земли было предоставлено «народному обычаю», то эта определенность предстала мужику во всем ее ужасе, а «народный обычай» распределения подвергся такому тяжелому испытанию, какому он не подвергался, вероятно, ни разу во все свое тяжелое историческое существование.

Деревню Дергачи, к которой принадлежал Мосей, обуял именно такой ужас пред «определенностью», когда почуялось приближение «порядка» за «неурядицей». Нужно заметить, что барин у дергачевцев был по-своему человек хороший, «народолюбец», поклонник старозаветных народных обычаев и деятельный их защит-

ник в редакционных комиссиях. У этого-то доброго и слабого человека долгое время дергачевцы без особых препятствий запахивали целые загоны полей, веруя и надеясь, что «еще как-нибудь мы с барином споемся». Сердобольный барин хотя и поругивался, но, ввиду не совсем еще точного определения границ, считал несправедливым обвинять мужиков в захвате. Так шло дело до приезда в имение супруги барина, барыни уже совсем другого закала, и до прибытия землемера. Скоро, очень скоро, эти две личности при помощи г. исправника ввели в отношения мужиков к барину «порядок» и определенность, которые заявили себя пред дергачевцами одновременным повышением податей и урезанием области их пользования землею до 1½ десятины надела, в который оказался врезанным даже один клочок земли, уступленный Мосеем общине. До того доведена была «определенность»! Когда дергачевцы протестовали было против такой чересчур своеобразной определенности, им сказали, что земля эта барская, так как Мосей во время крепостного права не смел покупать землю на свое имя. «А если и купил, так, значит, она ему не нужна, когда он вам отдал». Дергачевцы только крякнули, а Мосей и совсем боялся слово пикнуть, чтобы и последнюю землю с рощей не взяли.

Итак, воцарился «порядок». Порубки, покашивания и запахивания оказались невозможными. Перед дергачевцами стояла одна математическая определенность в 1½ десятины надела, а выгон, лес, луга, — все это отошло за границы «определенности». Дергачевцы приступили к проверке той сказки, которая рассказывает, как двое голых нашли одну рубаху и как они «распределяли» ее между собою. Думали-думали нищие, как им быть, и никак не решили. Пошли к судье; судья потребовал доказательств «первородства», но никто из них доказать не мог. Пошли к попу; поп сказал: «Отдайте, братия, рубаху мне, а сами идите с миром, дабы не возгорелась между вами вражда». Не понравилось — пошли к книжникам; книжники сказали: «Кто из вас кого поборет, тому, как сильнейшему, и рубаху отдать». Не понравилось и это — пошли к исправнику. Исправник как крикнет на них: «Полезай оба в рубаху!.. И чтобы не ссориться! Услышу — совсем отниму!» Перетрусили нищие, залезли в рубаху. Только сил

нет так жить, с голоду помрешь. Пошли потихоньку на мирской сход. Мирской сход думал-думал, наконец такое решение установил: «Как-никак, братцы, а не иначе вам придется — по очереди носить. Пущай из вас ныне один рубаху наденет да хлеб доставать идет, а другой дома сидит. Придет первый — второй ступай. Мы и все так живем». Попробовали нищие, и вышло, что мирское слово всего лучше.

Между тем к этому времени семья Мосея Волка «набрала в себя большую силу»: с самим Мосеем она считала уже 10 душ, пять мужеска и пять женска пола. Такая огромная семья должна была, конечно, поглощать значительную долю общественных земельных жеребьев. Так или иначе, нужно было выселиться: Мосей принужден был, таким образом, значительно поступиться своим «заказом». Первым делом предстала настоятельнейшая необходимость поскорее «осесть» на свою землю, чтобы хотя фактором заселения укрепить ее за собой; а вторым делом, односельцы прямо заявили Мосею, что «как-никак, а тебе с семьей в собственники иттить надоть, потому у вас земля есть своя, а у мира и без вас делить нечего, — рассуди по-божьи».

Одним ранним утром большая двухэтажная изба Мосея, с пристроенною к ней кельей, искони стоявшая середи деревни Дергачи, оказалась уже без крыши. Сыновья Мосея железными ломами снимали венец за венцом из крепких, чуть не в аршин толщиной, дедовских бревен, каких теперь нигде не найдешь уж, складывали на лошадей, а бабы отвозили их на новое место, на собственные пустоши Мочки и Кочки.

— Смотри, братцы, не очень шибко бейте, — тараканов не разгоните, — шутили дергачевцы, покрикивая работавшим на избах братьям Волкам, — ведь они дедовские, старожилые тараканы-то! Пущай с вами переезжают... Разбегутся — пути не будет!

— Ульяна, поди, уж полну пазуху набрала! За этим дело у баб не станет, — отшучивались братья.

— Ну, вы теперь у нас собственники как быть, заправские будете, — опять шутили дергачевцы, когда выезжал из Дергачей последний воз с последним венцом от мосеевой избы.

— Что говорить! Купцы!— отшучивались снова в свою очередь молодые Волки. — Ну, так прощайте, братцы!

Приходите к нам новоселье праздновать. Вот как только избы поставим!

— Ладно, ладно!

На месте мосеевой избы скоро осталась только груда мусора, в которой копошились ребятишки, отыскивая «клады». Впрочем, поиски их были совершенно напрасны. Степенная хранительница дедовских обычаев, келейница, «пущенная по грамоте» еще с малых лет, Ульяна (крестьяне звали ее, впрочем, «Ульянея», на монашеский манер, в отличие других Ульян и Ульяшек) ни под каким видом не позабыла захватить с собою ничего из «дедовского». Она даже бережно перенесла на новое место ласточкино гнездо и скворешницу. С последним же возом не забыла прихватить в мешочек и «дедовской земли».

Ставить избы на новом месте «сбил» дергачевский мир «помочь» Мосею, и не прошло двух недель, как вместо прежней большой избы поставлено были три, которые и примкнули к одноконной избушке старика Мосея.

Переселение, видимо, доставило Мосею большое удовольствие.

Старик, уже сгорбленный и седой, с утра до позднего вечера с палкой в руках, следил за работами, покряхтывая и балагуря с дергачевцами. Дергачевцы, видя такое благодушное настроение Мосея, как-то и сами настраивались на этот лад.

— А что, дедушка Мосей, ведь, гляди, мы тебе тут целую деревню выведем?.. Что ни есть помещик, за первый сорт будешь!..

— Что ж!.. Дело доброе! Поселок мы поставим, устой укрепим, а потом пущай добрые люди живут-поживают да Мосея вспоминают! — говорил Мосей.

— То-то!.. Мы про это же! А знаешь ли, дядя Мосей, уж взял бы ты на себя с мира тяготы малую толику, пустил бы ты поселиться и Сатира Кривого. Что ему у нас делать? Мужик, ты знаешь, он и хороший, а лядащий... На заработки ему уж не итти, надел взять — податей всех не подымет, а нас утеснит. А у тебя было бы ему куда под силу!..

— Ну, что ж!.. Сатир Кривой — так Сатир Кривой!.. Селитесь, селитесь!.. Мне и умирать веселее будет... На людях и смерть красна. Мы бы сообща и новину подняли кстати. Не батраков стать нанимать!

— Это верно... Ну, а земли у тебя еще вдосталь хватит. Ведь не маклачить ты ей будешь... Мы тебя знаем. От кого другого, а от тебя этого не станется. Ты живешь по дедовским заветам.

— Зачем маклачить! Земли хватит, хоша на целую деревню хватит, — говорил польщенный Мосей.

— Так, так... Так уж ты Сатира-то Кривого пристрой при себе. Мы ему всем миром снесем избу и поставим. А что насчет наших с тобой земель, мы уж друг от друга отбиваться не станем: мы тебя и в выгон и в луга пустим, а ты уж нам свои гоны уступи, что по соседству... Опять говорим: не батраков тебе стать нанимать... Сочтемся... Люди свои!

— Люди свои! Люди не чужие!

— Мы с тобой из веков крепко связаны, так нам друг друга обижать нечего. А, значит, все к тому, чтобы тяготы нести сообща и впредь! — все громче и громче выкрикивали дергачевцы на ухо деда Мосея (он туговат стал на ухо в последнее время).

— Так, так... Как уж по дедовскому завету, так чтобы и навековечно!

— Ну, то-то. Мы там, на миру, закажем, а ты своим ребятам в завет поставь!

— Это уж первое дело!

— Так, значит, и порешили? Селиться без сумнения?

— Селитесь, селитесь!—повторял дед Мосей, сидя на обрубке, поправляя кивками головы большую, грешневиком, шляпу, поглаживая самодовольно седую бороду и мигая красными веками больных, уже подслепых глаз.

— Он же ведь тебе, Сатир-то Кривой, будет не то, чтобы совсем чужой, — опять выкрикивали дергачевцы, чтоб уж вдосталь убедить дедушку Мосея в необходимости снять с мира тяготу в лице Сатира Кривого.

— Так ли мы говорим, дедушка?.. Все одно выходит как бы, значит, в одну семью идет...

— Так, так. По мне—все одно, только бы человек был душевный...

— Да он, Сатир-то, — подхватил староста, — душевный... Тебе ли сказывать об этом! Что насчет души — тут сомнения нет. Только вот на миру ему жить с своим карахтером трудненько. Теперь же он как раз в такой ноте: податей платить у него желания, чтобы,

значит, посмирно, без ссоры, нет,—с начальством у него теперича перекоры... Земли теперича он потребует, а чтобы отдать за нее смиренно, что полагается, — от него не жди. Потому он теперь, сам знаешь, третий год в одержании. Ну, а мир все в ответе. Будь у нас земли вдоволь — да мы бы со всем нашим удовольствием! Живи, сделай милость!.. Так ли? А у тебя ему будет чудесно!.. Начальство-то к вам сюда, поди, и не заглянет. В эдаком райском месте он, Сатир-то, совсем ангел будет! А при всем при том они, с Ульянѐей-то Мосевной, знаешь, приятели — водой не разлей!

Покончив, таким образом, дипломатический поход на деда Мосея и убедившись, что дед Мосей непрочь «и впредь делить тяготы с миром», дергачевцы, в лице того же хлопотливого дипломата-старосты Макридия, совсем измотавшегося на неблагодарном деле приведения в гармонию интересов управляемых и управителей, тотчас направились к Сатиру. Вошли в избу — в избе никого нету, кроме кур. Заглянули на двор — только лошадь свободно ходит, путаясь в поводу.

— Эй ты, Сатир! Дома, что ли? — окликнули дергачевцы.

— Ну-у, дома! — кто-то лениво и сердито проворчал с задворок. Пошли на задворки. На задворках сидит, задом к избе, на корточках, длинный и сухой, как жердь, Сатир и плавит в железной ложке свинец.

— Сатир! — окликнули мужики.

— Да ну!

— Мы пришли.

— А кто вас звал?

Сатир сидел на корточках и не считал нужным обертываться.

— Мы, брат, пришли избу сносить.

— Чью?

— Твою.

— Куда?

— К Мосею.

— По чьему приказу?

— Какой тут приказ! Мы хлопочем, чтобы как тебе лучше...

— А кто вас просил?

— Кто просил?.. Чать, мы — мир. Мы, брат, худого не вздумаем... Мы, Сатирушка, на душу этого греха не

возьмем, — заговорил староста Макридий, — мы все, чтобы как лучше... Коли придется — вернешься к нам, не обидим... Усадьба завсегда за тобой будет, по закону.

И староста распространился о том, как прекрасно будет жить Сатиру у Мосея.

Сатир стал наливать пули.

— Ну, так что же ты молчишь? Господи! — рассердился, наконец, староста. — Что это за человек! что я с ним тяготы понес! Слышишь, что́ ли? Ведь сносить будем.

— Да ну, дуй вас горой — сносите! Что вы ко мне привязались?.. Что вы мне отдышки не дадите?—крикнул, вскакивая, Сатир и бросил ложку, между тем как кривой глаз, упорно обращенный на дергачевцев, приводил их в сильное смущение.

— Да ты что ругаешься? Мы для тебя же, дурака, чтобы как лучше было. Всем миром...

Сатир опять присел на корточки.

— Так ты слышишь, что ли, скажи хоть раз по-человечески: согласен, что ли? Так мы и знать будем.

Сатир молчал.

— Ты то посуди: ведь мир с тобой смаялся!

Сатир молчал.

— Ведь драть тебя — одно приходится. Вот до чего ты хочешь мир довести.

— Тьфу! — окончательно рассердился Сатир и так плюнул в свою теплину, что она затрещала.

— Да вы что? — вскочив, закричал он на дергачевцев, — а? Вы когда спокой мне дадите?

— Да ведь мы — мир, толком тебе говорят!

— Мир!.. Мир!.. — повторял в волнении Сатир. — Да разве мир-то затем установлен, чтобы жилы из человека тянуть?

— Да ты постой...

— Ведь вы, господи благослови, как день-то денской начнется, дадите ли с своим миром человеку отдышку-то? Кто обязывает меня вам каторжную-то лямку тянуть?

— Кто?.. Кто?.. Начальство!

— Начальство?! Так ты так и говори, пустая твоя борода! — накинулся Сатир на старосту, махая руками и уставившись на него страшным кривым глазом. — Ты миром-то не суй... Богохульник!

— Что ты кричишь? — осердился и староста.

— Пустая борода!

— Ругатель — одно слово...

— Мир!.. Халуи — вот вы кто!

Сатир растер сапогами теплину схватил ложку и пули и ушел в овин.

Мужик посмотрел ему вслед.

— Ушел! — сказал староста Макридий и в отчаянии взмахнул руками.

— Чего тут стоять-то? Пойдемте.

Пошли. Но на улице опять остановились перед сатировой избой и стали смотреть на нее.

— Чего смотреть-то? — сказал Макридий. — Сносить надо!

— Без спросу-то?

— Да что ждать-то? Сноси и шабаш, коли он счастья, можно сказать, своего не понимает.

— Без согласу нельзя, — заговорили мужики, — это что ж будет?

— Да ведь мы—мир!—уверял староста.

— Мир!.. Мир!.. Мир не на-то установлен, чтобы человека утеснять... Без согласу нельзя.

— Нет, нужно пождать.

— Сатировых баб разыскать надо. Пущай они его спросят.

Разыскали сатирову дочь. Послали ее к отцу в овин за решеньем. Вышло разрешенье. В два дня изба Сатира была свезена и поставлена у Мосея в поселке общими силами дергачевцев. Макридий был доволен. Дед Мосей опять сидел с палочкой около плотников и, поглаживая бороду, приговаривал: «Ну, что ж, пущай с господом растет наш поселок! То нам и честь, что люди нами не брезгуют! Селитесь, селитесь!»

А Сатир в тот же день, как дергачевцы приступили к сносу избы, ушел на охоту и вернулся, когда уже было все кончено. Он постоял у своего пепелища, поглядел кругом, плюнул и пошел в Волчий поселок.

Сатир был чудак, один из тех чудаков, которых русская жизнь производит иногда ради скорбного юмора и иронии над своими историческими судьбами. Сатир долгое время жил в дворне. Обязанность его была — доставлять к барскому обеду всевозможных сортов дичь. Если он запивал недели на две, его в на-

казание производили в мужики, отнимали у него ружье и заставляли пахать. Сатир не унывал и только жаловался, что ему не дают покоя; пахать он ленился, но, сознавая, что он почему-то еще обязан работать на барина, пахал. Когда у барыни недоставало дичи, она приходила к заключению, что Сатир, вероятно, достаточно наказан, и приказывала его вновь «произвести в охотники». Все эти «производства» развили в Сатире, с одной стороны, значительную беспечность, с другой — желание свободы, чтобы его весь мир «оставил в спокое». Ему и снилось и грезилось, когда он будет в состоянии охотиться по охоте, а не по приказанию, пахать, когда сам захочет, и дичь носить к себе, а не на барский стол. Наконец он как-то раз бросился барину в ноги, прося «навеки определить его в крестьянство». Барин согласился, и Сатир стал полным мужиком. Это было незадолго до воли. Но, попав в мужики, Сатир скоро увидал, что «спокоя» тут тоже немного; однако он смирился и утешал себя мыслью: «Вот придет воля, тогда уж оставят ко мне приставать, тогда уж — спокой!» Пришла «воля». Сатир был так уверен, что его уж теперь никто «не убеспокоит», что совсем отдался охоте. Понятно, что разочарование не заставило себя ждать в лице Макридия и дергачевского мира, с его повинностями, податями, наделами, и переделами, сельскими и волостными сходами. Занятый охотой и вполне убежденный, что он уж теперь человек совсем «вольный», Сатир обрабатывал свой надел спустя рукава, сколько мог сам сделать с дочерью, и довольствовался, если ему хватало на прожитие. Денег у него никогда не было, а какие были — он и те тратил на порох. Понятно опять, что такая «беспечность», при бедности вообще дергачевского мира и при увеличивавшихся с каждым годом податях, была по меньшей мере очень странна, о чем тотчас же, в лице опять-таки Макридия, и дали почувствовать Сатиру. Сатир обругался. У Сатира Макридий свел телку. Сатир плюнул. На другой раз у Сатира Макридий продал корову. Сатир разодрался. Дергачевский мир попробовал Сатира высечь «легонько». Сатир, наконец, озлобился на всех и на вся. Неизвестно, чем бы кончилось это «убеждение» Сатира в неосновательности его надежд на «полный

спокой», если бы дергачевский мир не переселил его к Мосею. Сатир ожил. Повидимому, здесь он достиг если не полного, то уже значительного осуществления своих надежд. Мосей его не притеснял. Макридий приходил только за подушными. Но испытания для Сатира не кончились: впереди ожидали его еще горшие.

Сатир, однако, был далеко не одним звеном, которым дергачевский мир нравственно связывал себя с Мосеем. Не прошло и полгода, как дергачевцы, в лице неусыпно деятельного своего представителя, старосты Макридия, опять уже вели дипломатические подходы под благодушного Мосея и его дочь, степенную начетчицу Ульяну, имевшую большое влияние на самого старика Мосея и, в качестве старшей в семье, пользовавшуюся особым уважением от младших ее членов.

— Так вот какие у нас, можно сказать, прокламации выходят, Ульянея Мосевна, — жалобно говорил Макридий, — то есть не приведи бог!.. Если бы то есть не жаль мира было, плюнул бы можно сказать, с большим удовольствием!.. Потому при эдакой, можно сказать, полосе сообразиться некогда. Только ты в одном месте починил—глядь, в другом прорвало!.. А там, господи благослови, в третьем!

— Что говорить! Ровно как бы и еще тяжелее жить людям стало, — замечала Ульянея.

— А я-то про что говорю? Вот, вот это самое и есть. Теперь вот у нас солдаточка есть одна, Сиклетея... Знаешь, чать, дедушко Мосей?

— Знаю, как своих не знать...

— Ну, вот! Да не родня ли еще она тебе будет? Гляди, что родня!

— Нет, не родня... совсем не родня.

— О? Ну, не родня, так не родня, все одно... Да, вот эта солдатка теперь при семействе осталась, ребятишки мал-мала меньше... Пришла этто на мир — ревет: хошь бы какую да ни есть поддержку на пропитание... Думали-думали это мы, хотели ей огородец вырезать... да у кого отрежешь? Какие у нас палестины-то там? Можно сказать, блохе — негде повернуться! Тоже всякий дорожится, всякому свое дорого...

— Это что говорить!

— То-то... Так ты как насчет этой солдатки-то понимаешь? Ведь тоже мирская тягота, хоша мы и не обязаны, как, значит, солдатка — отрезанный ломоть... А я тебе скажу — женщина она дорогая! Смиренница. Ребятишки это, малыши — водой не замути!.. Ей-богу, не вру!.. Не ревут даже — вот какая благодать!..

— Так, так!.. Знаем мы ее.

— Так уж не примешь ли ты еще тяготы с мира? а? Солдатку-то?

— Ну, что же, солдатку так солдатку! Селитесь, селитесь!

— Ну, вот! Я вот сейчас бегом... Все уж миром опять ей келейку перенесем. А что уж насчет мира, какая если тебе помочь нужна, так уж будь без сумнения — отказу тебе не будет... Уж этому поверь!

— Да мы верим!

— Уж тебе от мира всякое уважение... Будь в надежде! Ты думаешь, может, что мы твоею добротой пользуемся, так это ты напрасно, ошибаешься... Мало ли у нас тут вон кулаков-то появилось! Да разве мы к ним идем? Потому мы знаем: ни они от нас ничего не жди, ни мы от них. А мы с вами как бы сообща.

— Сообща — на что лучше!

— Так уж я солдатку уведомлю... Ведь ей много ли надо? Чтобы только не умереть, единственно... Где-нибудь ей клочок выделишь, и пущай с господом копается с ребятишками: капустки насадит, огурчиков. Вот ей и божья пища!

— Ладно, ладно! Селитесь, селитесь! К миру ближе — теплее!

— Это верно... По-старинному так говорили.

И низенький, юркий Макридий, вечно в синем суконном разлете, с неизменною биркой в руках, трусцой бежал к своей деревне, размахивая руками, и, по обыкновению, продолжал разговаривать сам с собою.

Дней через пять к одному боку выселка примкнула и келейка солдатки Сиклетеи, огласившая выселок гомоном ребятишек от полугодового до семилетка и громким криком самой Сиклетеи, целый день творившей над этою ребячьею стаей материнский суд и расправу.

За солдаткой Сиклетеей, бог весть откуда, явился месяца через три старый, сгорбленный заштатный пономарь Феотимыч, в сопровождении того же дипломатического Макридия. И снова дергачевский мир устами последнего убеждает Мосея принять тягу с мира в лице старика Феотимыча, причем прибавляется: «что хоша мы и не обязаны, да для ради родительского поминовения было бы очень хорошо!» И «для ради родительского поминовения» старику Феотимычу выпрашивается «самый то есть укромный уголышек где ни то», и Феотимыч поселяется в выселке.

К тому времени, когда начинается наш рассказ, Волчий поселок представлял довольно оригинальное поселение, с явным стремлением в более или менее близком будущем превратиться в свою очередь в новый дергачевский мир. Вполне вероятно, что с течением времени стерлось бы всякое воспоминание о «собственном владении» когда-то «осевшего» на этом месте старика Волка, и никакие юристы в мире не откопали бы и следа каких-либо данных «к восстановлению нарушенных прав собственности».

Примыкая задами к березовой роще, вытянулись по косогору, с отлого сбегающего вниз к речке и мельнице зеленою лужайкой, шесть избушек поселка: одна из них, самая большая, в три окна в улицу и две большие половины во двор, была келья Ульянеи, где жил теперь Мосей, уже совсем одряхлевший, глухой и слепой. Эта изба была «общая». Здесь собирались братья Волки для советов и вся семья — для обедов и ужинов по праздникам; в трех соседних избах, в два окна каждая, жили три брата с семьями: старший Вонифатий, «большак», к которому перешло первенство в семье за старчеством Мосея, вдовец, с двадцатилетнею дочерью Лушей, главный хозяин и управитель выселка, почтенный мужик лет пятидесяти. Следующие за ним — Вахромей, у него жена Федосья и два малолетка; третий брат — Архип, больше известный под именем Хипы; у него жена Прасковья и один малолеток. За этими тремя избами следуют «избенки» чудака Сатира с дочерью, «солдаточки» с целою стаей ребятишек, и не то изба, не то шалаш какого-то неизвестного человека, молчаливого, смиренного. Каким он образом попал в выселок — неизвестно никому. Только в одно утро он

предложил Вонифатию съездить за него попахать. Вонифатий, думая, что это новый поселенец, принятый Мосеем, отдал ему лошадь и соху. Незнакомец пропахал весь день и следующий, и еще следующий. Работал он изумительно много и скоро. Назвал он себя, шутя, Иваном Забытым. И через неделю все уже в поселке знали Ивана Забытого, как родного. Никому его присутствие не было в диво; для всех он как будто давно был необходимым человеком.

— Иванушка! перенеси-ко мне борть с дерева, — просила Феклуша.

— Что ж, с удовольствием, — говорил Иван, добродушно улыбаясь.

— Иванушко! посмотри, родной, за ребятишками, — кричала Ульяна, поручая ему стаю своих учеников.

— Что ж, с удовольствием, — говорил Иван и принимал на себя должность надзирателя.

— Ах, Иванушко, посмотри ты за моими голяками-то, дорогой! Я вот только в деревню за заступом... А вот малому-то сунь соску, он и пущай лежит! — говорила солдатка Сиклетея.

— С удовольствием! — опять отвечает Иван и садится с ребятишками у солдаткиной избы, делает им чижи и кубари, няньчит на руках ребенка.

Через две недели он наскоро устроил в выселке кузницу, сделал мехи, на первый раз из старых голенищ. И кузнецом он оказался великолепным.

— Золотой мужик у нас Иванушко, — говорили поселенцы Волчьего выселка. — И откуда это господь к нам его прислал?

Но Иван обыкновенно отшучивался на этот счет, и никто так и не добился, кто он, откуда. Волки думали, что его поселили к ним, по обыкновению, дергачевцы; дергачевцы думали, что сами Волки его откуда ни то привлекли своим «мирным житием». Впрочем, всем было известно, что он податей не платит. Вонифатий после устройства кузницы совсем стал без ума от Ивана, умилившись перед его умелостью, бывалостью и усердием, несмотря на то, что в последнее время «большаком» стали овладевать какие-то смущения.

Так народился и заселился этот невеликий поселок, который прозвал дергачевский мир «Волчьим».

II

Если вы хотите познакомиться с старозаветными «благомысленными людьми» деревни, приходите в осенний праздник, после окончания летней страды, в село Доброе, где есть большая старинная церковь с посеревшею колокольней в форме сахарной головы, с большою луговиной вокруг нее, покрытою сочною зеленою муравой, с длинным пятиоконным «батюшкиным домом» и палисадником против алтаря. Светлый, прохладный осенний день в это время больше всего собирает в церковь деревенского люда. Около девяти часов. Обедня уже скоро отойдет, но народ все еще идет в церковь. Запоздавшие по хозяйству бабы трусцой бегут от села, наскоро поправляя платки на головах и завертывая в ручники восковые свечи. От церкви падает на луговину длинная тень. В ней приютились слепые нищие, деревенские ребятишки, предпочитающие больше быть около церкви, чем в ней, и лошади, с отпущенными поводами, заложенные в телеги. Около них-то преимущественно и беседуют ребятишки. Но особым их вниманием пользуется одна большая сивая лошадь, которую они кормят из рук свежею травой. Эта лошадь исключительно оставлена под их присмотр. Ребятишки давно уже оценили достоинство и самой сивки, и большой телеги, и теперь скучали, сидя в кружок перед мордой сивки, добродушно жевавшей, глядя на них, подкладываемую ей траву. Зазвонили, наконец, к отходу. Народ медленно двинулся из церкви. Ругавшиеся у паперти слепые нищие точас же затянули свои «стихи». Зазвенели гроши, падая в подставленные деревянные чашки. Деревенский дурачок Филиппушка затянул бессмысленно: «ма-а-а-а!», приставая к выходящим с протянутою рукой. Низенькая, худенькая старушка, покрытая по самые глаза синим платком, стала около него и молча кланяется в пояс проходящим.

— Прими, христа-ради! — говорит седой мужик в шляпе грешневиком, вынимая из кошеля медяк, и, сгорбившись и покряхтывая, проходит далее, опираясь на длинную палку. Молча раскланиваются с ним встречные.

— Н-ну-у! Спасибо, спасибо! — ворчит старик, махая рукой и, не снимая шляпы, кланяясь с народом.

— К нам не пожалуешь ли, Иван Федотыч, — говорил высокий, плотный мужик, новичок-старшина, в синей сибирке, раскланиваясь полупочтительно, полувысокомерно с стариком.

— Ваши гости, ваши гости! — пересиливая одышку, проговорил старик. — Только неколи теперь... Недосуг... Дарья, Дарья!.. Где запропастилась? — сердито кричал он, подходя к своей телеге.

— Ребятишки! сбегай в церковь, посмотри Дарью Ивановну, — приказывает старшина, — дедушка, мол, дожидается... Заехали бы, Иван Федотыч!.. Чем бог послал угостились бы...

— Нету, нету... Спину разломило,—ворчит старик.— К нам, коли что...

А между тем народ не перестает отвешивать низкие поклоны, проходя мимо старика. Но старик не считает нужным постоянно снимать шляпу и кланяться.

— Ну, ну! Спасибо, спасибо!—продолжает ворчать он полусердито, полудобродушно, помахивая рукой на приветствие.

— Василий! — приказывает старшина первому попавшемуся парню, — поди взнуздай кобылу-то Ивану Федотычу!

Парень подходит к лошади старика и, молча сняв картуз и затем опять плотно натянув его на курчавую голову, начинает взнуздывать лошадь.

Но едва успевает, кряхтя, старик поднять ногу на колесо, чтобы залезть в телегу, как около него раздается голос смиренного мужика.

— Иван Федотыч, будь добр — на минутку бы... Загляни, сделай милость!

— Ох, что у тебя?

— Посоветоваться бы... Такие дела, такие дела — не приведи господи! А-ах!... — отчаянно машет рукой мужик.

— Ладно. Зайди ко мне. Приходи как ни то...

— Да когда мне ходить-то? Ведь до тебя-то, почесть, пять верст будет! А дело-то кипит!.. Сделай милость, загляни ко мне...

— Эх! — крикнул старик, — спинушку разломило... Печки просит. Ну, ладно! Заеду уж...

— Так верно? — говорит обрадовавшийся мужик.

— Верно, верно... Эх! Теперь заедешь, того гляди,

до обеда не выберешься, — опять кряхтит старик, залезая в телегу.

А смиренный мужик трусцой пускается бежать в село, чтобы успеть раздобыть самовар, купить на пятак серебра чаю с сахаром в лавочке и баранок и достойно принять «благомысленного» старика.

Иван Федотыч — один из «благомысленных» людей добросельского мира. Весь век жил «по правде», пред неправдой был «крепок», «бога помнил», умел во-время «отгрешиться» от зла и уцелеть — вот смысл его жизни; вот права его на репутацию «благомысленного» мужика, на уважение и память своих сообщественников.

Пока Иван Федотыч собирался уезжать, из церкви выходила другая личность, перед которою также расступался народ, кланялись бабы и снимали мужики шапки. Это была высокая, худая, несколько сутуловатая, одетая «по старине», в синий сарафан, в большие «коты» и в черный кафтан, повязанная большим черным платком, пожилая, но еще не старая женщина; степенно-серьезно смотрело ее лицо; глубокие складки лежали по щекам и морщины по лбу.

— Иди, иди, Лушенька! Иди! Не засматривайся по сторонам... Давай дорогу и другим пройти!— говорила она ровным, спокойным голосом своей бойкой черноглазой племяннице, тихонько поталкивая ее в спину перед собой.

— К нам не пожалуете ли, Ульянея Мосевна? — говорит опять плотный старшина, не кланяясь, но полупочтительно, полунебрежно снимая картуз. — Не оставьте... Премного бы нас удовольствовали...

И в то время как старик Иван Федотыч считал себя, по старости лет, вправе не откланиваться на приветствия, Ульяна Мосевна спешила не только отвечать на них мерными кивками головы, но каждого кланявшегося, в особенности баб, поименовать по отечеству.

— Ваши гости! ваши гости, Сила Титыч! За ласку примите спасибо... Будет время, вас не минуем... К нам милости просим.

— Гаврило! Иван! собирайте кобылу-то Ульянее Мосевне! — приказывает опять плотный старшина. — А то заехали бы, чем бог послал угостились бы, около, значит, самоварчика. Супругу бы навестили...

— Как она?

— Пухнет-с. Истинно господне наказание!..

— Что ж баночки-то?

— Наставляли-с... Оттянуло малую меру. Предполагаем с фельдшером піявицу припустить...

— Водянка, смотри того, будет?

— Надо полагать-с. Потому пухнет-с.

— Заеду, заеду!.. Нельзя не заехать.

— Просим не оставить.

Телега и сивка, предоставленные исключительно под присмотр деревенских ребятишек, принадлежали Ульяне Мосевне.

— Ну, что, ребята, присмотрели благополучно? — спрашивала она ребятишек.

— За первый сорт!.. Откормили так, хоть на убой, так впору! Мы, тетенька Мосевна, все здесь были!— заявили ребятишки.

— Ну, хорошо, хорошо... Бегите к Сафронычу, и я туда как раз поспею... Мы у него за пятак сахарной лапши закупим.

— Ладно!

— Заверни, Мосевна, к нам-то, бога для, сударка! — тихо шептала какая-то старушка, когда Ульяна Мосевна садилась в телегу.

— Ай, что у вас?

— Беда, родная! Не говори! Сам-то ходит, ровно очумелый. А сама-то пластом лежит. Того гляди — руки бы не наложила. Просит сама-то: позови, говорит, Мосевну, хотя бы я с ней словечко перемолвила... Хотя бы душу-то отвела.

— Да что у вас такое?

— Секли, родная. В волости секли. А ведь уж мужик в летах. Ребятки тоже не грудные... Как им глаза-то показать? Ну, и мечется.

— Спаси, господи, сохрани и помилуй! Заеду, Митревна, сейчас заеду.

Плотно сжала строгие губы Ульяна Мосевна, покачала головой и, мирно раскланиваясь с шедшим по улице народом, тихо двинулась с своею племянницей к селу.

— Ульянея Мосевна! ко мне-то, ко мне-то не забудь, касатка! — кричит ей какая-то бабенка. — Заждалась я уж тебя!

Вечерние сумерки давно уже спустились на село Доброе, а лошади «благомысленных» людей еще не

исчезают с сельской улицы; то у одних, то у других ворот стоят их крепкие, хозяйственные телеги. Ждала телега Ульяну Мосевну и у малой, подпертой кольями, дряхлой избенки Дмитревны, пока больная бабенка «отводила душу», выплакивая перед Мосевной свое горе; ждала она и у Сильвестра, непокладистого, крутого мужика, пока Мосевна уговаривала его пустить к ней ребятишек в науку; ждала и у избы старшины, где «пухла» головиха от неумеренного и тайного употребления «красной водочки», пока Мосевна ощупывала ей «отекшие» ноги и живот и рекомендовала ей целый ворох целебных средств; ждала и у «батюшкина дома», где словоохотливая попадья успела высыпать целый короб сплетен, пока Мосевна дожидалась, когда батюшка отыщет ей старый требник с целебными молитвами; ждала и у сельского кабака, пока зоркий глаз Мосевны искал в кабацкой толпе одного «женина мужа», сбежавшего от больной жены и ребятишек.

Бывали случаи, что телега Ульяны Мосевны останавливалась и у волостного правления, и у мирской сходки, и нередко приезжала домой Ульяна Мосевна только на третий день, побывав и в селе, и в ближайших деревнях. Давно уже она совершает такие объезды, осеннею и зимнею порой, еще с тех пор, как семья Мосея жила в деревне Дергачи и не выселялась.

Зайдите в знойный июльский или августовский день, в самый разгар деревенской страды, в какую угодно убогую деревеньку, загляните в ту или иную другую низенькую, дряхлую двухоконную избушку, всю вросшую в землю, там, среди общего безмолвия и пустоты, вы найдете в большинстве случаев маленькую девочку, лет пяти-шести, бледную и болезненную, с большим вздутым животом и тонкими ногами. Эти хрупкие слабые ноги не держат ее, и еще с самого рождения она не становилась на них. Молча сидит этот ребенок по целым дням на лавке в углу избы, закутанный в старый полушубок, и то безучастно глядит своими большими грустными глазами (взгляд этих глаз всегда неимоверно жалок), как братишки возятся на полу с котятами, то по целым часам — один-одинешенек оставленный в страдную пору — вслушивается в жужжанье мух, но-

сящихся стаями над ним. И никого кругом, кроме таких же, как и он, малых ребятишек, никого — целые часы! Разве только отец приедет захватить забытый топор, сурово окрикнет у ворот баловней-парнишек, сурово посмотрит на больного ребенка, войдя на секунду в избу, отмахнет от его сонного личика мух, бросит ему ложку вместо игрушки и опять уйдет. И опять девочка одна целые томительные часы. В полдень навернется мать, пришедшая захватить жницам обед в поле, погладит ребенка по голове, посмотрит на нее как-то боязливо-задумчиво, поставит перед ней чашку с вареным картофелем и скажет: «Пожуй, пожуй, болезная!» — «Не хотца!» — протянет шопотом ребенок. «Что же, касатка? Али что болит? Позыву-то, вишь, у тебя на пищу нет... Болит, мол, что ли, что»? — «Нету, ничего не болит». — «Эко дело, эко дело!» — только скорбно проговорит про себя мать, покачает головой и начнет кутать опять ребенка полушубком. «Чего ты застряла там, Аграфена? — кричат в окно бабы. — Иди скорее! Ведь мы ждем! Не одну тебя будут на перевозе-то переправлять!» — «Иду, иду! Ох, сейчас, только вот девчонку-то приберу!» И мать бросается из избы, наскоро захватив хлеба и кувшин с квасом... До глубокого вечера ребенок опять остается один, в сообществе только неугомонных мух, предоставленный всем случайностям, которые вздумает ниспослать на его бедную, беззащитную голову суровая мужицкая судьба... «Не сгорела бы как ни то... Мальчишки-то мал-мала меньше... Чего с них взять? Спалят ее, того гляди, а то прибьют, пожалуй, — тоскует на жнитве мать. — Чего, голубушка! Пришла это я вчера, а Вонифашка-то мой стоит около нее да кричит, пузан эдакий: «Ступай со мной играть! Чего ты со мной не играешь? Вишь, какая мне скука... Вот призову я ребятишек, палками тебя сгоним с лавки-то!» А она, милые, смотрит на него так жалобно, словечка не скажет» — «Ну, все одно — не жилец она у тебя... Она уж божья, — утешают мать сердобольные бабы, — как-никак, а скоро ее приберет». Да, много прибирает господь по нашим деревням этих несчастных детей, этих жертв народной бескормицы и безрассветной деревенской тьмы. Много мрет ежегодно по деревням этих несчастных детей, но много остается их и в живых, наполняя наши деревни огромным контингентом

тех немых свидетелей народного горя, тяжесть прокормления которых опять-таки несет на себе скудная крестьянская закрома и которых народ окрестил скорбными именами «блаженненьких», «дурачков», «юродивых», «божьих людей». Редко, но случается, что из контингента этих обреченных на вымирание, но спасенных волею случая, калек «выправляются» настоящие люди, обыкновенно, впрочем, с слабым физическим развитием, но зато с сосредоточенною душой. Лишенные возможности подымать тяжесть полевых трудов, эти «спасенные», обыкновенно женщины, отдают в свою очередь все свои заботы и привязанности таким же детям, какими выросли они. И благо той деревне, в которой проявится такая «спасенная»; она не с одной матери снимет бремя тоски и забот об оставленных в страду на произвол судьбы ребятишках.

Такова была и Ульяна Мосевна: в детстве она была «обреченная», в юности — «спасенная». К десяти годам, хотя медленно, но стала Ульяна выправляться; к двенадцати — она уже выглядывала за ворота. «Вишь ты, не берет господь! И что ей за судьба будет? Куда она, такая ледащая, годится?» — думал Мосей, глядя на ее сухую, с бледным лицом, фигуру и покачивая головой. «Как-никак, надо ее по грамоте пустить... Больше в ней проку не будет!» — решил он и отвел ее к одной местной начетчице. Это было спасеньем для Ульяны. Освобожденная от тяжелых работ, она стала «выправляться» и к шестнадцати годам могла уже помогать матери по хозяйству. Господа ее, как «обреченную» на смерть, не трогали, а чтобы не заметили как-нибудь «с барского двора», что Ульяна «выправляется», мать ее, Аграфена, теперь насильно заставляла ее сидеть дома и не показываться на улицу. Но нельзя было укрыть восемнадцатилетнюю девку от деревенских парней. В тихие летние ночи часто слышался на задворках мосеевой избы чей-то шопот, раздавались чьи-то задержанные поцелуи. Парень попался Ульяне хороший, обещал жениться, но барыня, как раз в это время ссадила его на оброк, и он ушел в столицу на заработки, поклявшись Ульяне через год непременно обвенчаться с нею. Ушел парень, Ульяна совсем скрылась в своей избе, а немного спустя в овине Мосея тихо, до того тихо, что никто не слыхал даже из чутких до этих дел соседок, наро-

дилось малое «незаконно рожденное» существо. К великому счастью мосеевой семьи, существо это жило один час. Бабкой была Аграфена, восприемником Мосей. Тою же ночью взял Мосей мертвого младенца, завернул его в пазуху, и сказавши семье: «Убью, ежели только слово на ветер вынесете!», унес его к себе в лес (как известно, он был лесником). Этою же ночью он схоронил его в лесных дебрях. Тайна Ульяны осталась навеки тайной. Ульяна ждала теперь жениха, и жених действительно вернулся к назначенному сроку, но вернулся мертвым: его нашли замерзшим и занесенным вьюгой в полуверсте от деревни. «Чего тут? Видимо — судьба. Только смотри у меня — еще не дурить!» — прикрикнул Мосей на Ульяну. Ульяна скрытно от всех собралась на богомолье. Мосей махнул рукой: «Пущай! Ей уж одна утеха!» Только через три года вернулась Ульяна домой. Но больше скрываться было нельзя. На «барском дворе» уже ее наметили и погнали на барщину. Здесь столкнулась она с Сатиром. Он только что овдовел и остался один с трехлетнею дочерью. Дочь эту он любил, с охоты носил ей то земляники, то голубицы, то цветов. Ульяне понравилось это. Ей хотелось выйти за Сатира замуж. Но Сатир был еще тогда молод, и, как вся дворня, хвастлив и разгулен, между тем как Ульяна в двадцать пять лет выработала уже в себе ровный, спокойный, сосредоточенный характер. В первый же день их любовного объяснения Сатир похвастался в кабаке, так, совсем зря, без всякого умысла, потому что и сам стал было любить Ульяну. В Ульяне словно что порвалось. «Не судьба мне!» — решила она уже в последний раз и с тех пор стала избегать Сатира. Сатир был изумлен, но ему было и горько. Он уважал Ульяну за ее любовь к дочери, за ее строгий, степенный характер. Он видел, что ему уж не вернуть ее. К этому времени овдовел старший брат Ульяны, Вонифатий, и она, заменив оставшимся сиротам, Луше и Петру, мать, вместе с тем сделалась и полною хозяйкой в семье, так как мать у нее умерла еще раньше, а Мосей жил уже в своей роще. Сатир долго кутил, потом вдруг решился: пришел он к Ульяне с дочерью на руках и смиренно просил ее принять к себе, пока на ноги не станет девчурка: «А то ведь при нашем проваленном житье ни за грош загибнет! Неужто про-

гонишь ее-то?! — с боязнью спросил Сатир. Но Ульяна не прогнала. Аннушка, дочь Сатира, была первою девушкой, взятою Ульяной со стороны в «учебу». Сатир долго опять после того кутил и, наконец, совсем заугрюмел. С каждой охоты приносил он какой-нибудь презент своей дочурке и Ульяне Мосевне. Молча клал свой презент на стол, угрюмо поглаживал дочь по голове, сумрачно взглядывал на Ульяну Мосевну и тотчас же, нахлобучив на уши картуз, уходил, широко шагая, из избы. Ни на какие приглашения остаться, ни на какие угощения он не сдавался. Давно уже выросла дочь Сатира и вела свое собственное хозяйство у отца, давно уже Сатир переселен был дергачевским миром в Волчий поселок, а он и до сего времени, неуклонно и так же молча, как добровольный оброк, носит с каждой охоты «презенты» предмету своей чистой, но неудачной любви...

III

В один из осенних дней Ульяна Мосевна, по обычаю «благомысленных людей», навещала знакомых и незнакомых баб добросельского мира, жаждавших «отповедать» ей накопившиеся за лето горести и невзгоды. Впрочем, теперь уже реже делала свои объезды Ульяна Мосевна, да и ездила уже одна: как минуло Луше шестнадцать лет, она перестала ее брать с собою, а теперь Луше шел уже двадцатый год. Ульяна Мосевна успела побывать и в селе Добром, и в деревнях Подпалихе с Поджарихой, и теперь выезжала в родные Дергачи, чтоб отсюда отправиться в свой поселок.

— Ну вот, приехала!— сказал староста Макридий, стоявший среди дергачевского мира, по какому-то поводу собравшегося у старостиной избы.

— Эй, благомысленная! А мы к вам было в выселок собрались всем миром! — говорит Макридий, раскланиваясь с Мосевной и махая, по обыкновению, руками.

— Али что у вас? Милости просим.

— Да что? Такие дела... такие дела... Только единственно, как мир жалеючи, — начал свою обычную песню староста Макридий, без которой он ни разу не начинал никакого разговора с тех пор, как стали его выбирать в старосты.

Подошли мужики. Одни сняли шляпы, другие, по близкому знакомству, не сочли нужным.

— Так что ж, ступайте, милости просим...

— Да мы вот тебя поджидали... Когда ты проедешь..:

— Что ж я-то?.. Есть там и без меня хозяева. Наше дело бабье...

— Чего тут без тебя! Без тебя нельзя... Тут дело такое... тут дело душевное. Ты скоро ли управишься?

— Да вот с матерями-то хотелось бы кое-что перемолвить.

— Ну, ну, ступай... Мы подождем! Да не долго сударьте там!..

— Хорошо, хорошо! Мы уж как ни то сократимся.

Действительно, Ульяна Мосевна повернула дело скоро: не осталась дожидаться ни самоварчика, которым было уже раздобылись некоторые бабы, ни конца их рассказам. Бабы остались, конечно, не совсем довольны нынешним посещением. Но они были люди «близкие, свои» и потому во всякое время, в особенности осенью и зимой, могли с лихвой наверстать прерванные разговоры.

Пока Ульяна Мосевна собеседовала с дергачевскими бабами, дергачевцы-хозяева в это время шли к Волчьему поселку. Шли они в выселок, медленно и лениво двигая ногами, заложив руки за спины, «балуясь» с «обчественною собачкой» Шерком, всюду сопровождавшею дергачевский мир, если он собирался под предводительством Макридия. Прежде всего встретили они старика Мосея.

В грубой синей рубахе и портах, в больших серых валеных сапогах, сидел он, как неподвижная статуя, на завалине своей уже дряхлой, полуразвалившейся «сторожки», в которой он прожил почти половину своего долгого века и теперь предоставленной в полное распоряжение неизменной спутницы его уединения, пасечницы Феклуши. С боку «сторожки», на луговине, вдавшейся в самую рощу, стояли ульи. Красное, как кровь, солнце спускалось далеко за речкой и лесом. Косыми лучами, скользившими по желтой жнитве и побуревшей отаве, прямо ударяло оно в окна выселка, в высокие, стройные, серебристые стволы берез. Прямо ударяло оно и в морщинистое, словно мхом, заросшее волосами, лицо Мосея.

Дергачевцы, предводимые Макридием в вечном разлетае, в числе пяти мужиков, подошли к Мосею.

— Здорово, дедушка!.. Как можется? — крикнул на ухо, ударив его по плечу, Макридий.

— Али кто говорит со мной? — прошамкал старик. — Не слышу, нет, уж ничего теперь не слышу и не вижу, ребятушки... Что внутренним оком — только то и чую... Вот я на солнышко-то вышел посидеть... Солнопеку-то я чую...

— Не слышишь? — сказали дергачевцы. — Ну, бог с тобой!.. Сиди, сиди, коли пригрело... Тебе только теперь и счастие, ежели пригреет. Что говорить — все равно, значит, как малый ребенок... Право! Правду говорит пословица: «что малый, что старый — единственно!» — резонировали дергачевцы, подвигаясь к «настоящему» выселку. Вот теперь что хошь с ним делай!.. Выведи вот его в рощу, оставь там, так с голоду и помрет... Покличет, покличет, всплакнет, как ребенок, упадет — тут ему и смерть.

— Зачем так!.. Этого не бывает... Собачку вот — и ту так нельзя, — заметил один из дергачей, — так в людях не полагается.

— Кто говорил, что полагается!.. Да вот хорошо — у них семья большая, хорошо вот он устой укрепил за свой век крепкий, живут теперь они в достатке, в семье зла нету... Что говорить — приглядят за ним!.. А возьми вот наше дело, ежели господь попустит — доживешь, так тоже радости мало!

Когда они подходили уже к избам, им навстречу вышел Вонифатий, плотный, низенького роста, с широкою бородой, степенный мужик и, как все степенные мужики, ходивший медленно, любивший поглаживать бороду и постоянно как бы соображать что-то «по хозяйству». Рядом с ним шел незнакомый дергачевскому миру человек, в сибирке черного сукна, в кувшинных блестящих сапогах, которыми он ступал легко, не всей ступней, не по-медвежьи, как ступали искони все дергачевцы, а слегка поскрипывал и как бы чуть-чуть заметно приподнимался на ходу на носки. Он был в картузе, с подстриженною русою бородкой; серые глаза его уверенно, бойко и проницательно глядели кругом, хотя вся фигура его выражала сдержанное почтение.

— А дочка при вас будет... при родителях? — спра-

шивал он Вонифатия, силясь своим ястребиным взглядом разглядеть сидевших у качели баб.

— При родителях, — отвечал Вонифатий, что-то бережно завертывая в бумажку и пряча в карман.

— Так-с!

И наблюдательный взгляд незнакомого молодца быстро обошел весь поселок.

— Райские у вас места! Ежели бы это подле столицы — блаженство! — заметил он.

— Места ничего!

— Только в запущении... Дикости очень достаточно.

— Этого у нас много... Известно, лес...

— Вот мы и опять к вам! — бесцеремонно перебил Макридий беседу большака с гостем, не кланяясь ни с Вонифатием, ни тем более с незнакомым молодцом, и замахал руками.

— По андреиному делу?

— По нему самому...

Вонифатий крякнул и помолчал.

— Ну да ладно, — сказал он, — как вот наши — посмотрим... Эй, бабы! Кликните-ка, где братья-то! — приказал он бабам.

— Архип-то на мельнице был, а Вахромей, чать, у Сатира, — откликнулась Прасковья.

— Кликните их... Шли бы сюда... Да вот еще Ульяны нет...

— Приехала, и Ульяна приехала... Слава те господи — все в сборе... Задержки не будет! Вот я, постой, сам сбегаю, кликну ее, — засуетился деятельный Макридий.

— Так пока счастливо оставаться! — сказал молодец в сибирке, когда подошли дергачевцы.

— Погоди... Вот познакомься с нашими-то... Вот сейчас все соберутся... всей семьей.

— По земельному делу?

— По земельному...

— Гм... по нашему занятию, любопытно.

Скоро все собрались у женщины, стоявшей против вонифатьевой избы. Вонифатий с гостем и два дергачевца присели на широком, шедшем вокруг избы крыльце. Тут же присел в угол и Вахромей, с трубкой, низенький, худой, с цыганским лицом и черными кудрявыми волосами, мужик лет тридцати. Хипа, высокий, ши-

рокий в плечах, молчаливый, с большими добрыми глазами, местный силач и младший брат, остановился невдалеке.

— Братья будут? — спросил молодец в сибирке.

— Они самые.

Хипа только мотнул головой, а Вахромей посмотрел сбоку на молодца, сплюнул и продолжал сопеть трубкой.

Пришла и Ульяна с Макридием.

— Тетенька будете Петру-то Вонифатьичу? — спросил, привстав и снимая картуз, молодец, когда Ульяна подошла к мужикам и степенно поклонилась им кивком головы.

— Тетка была, — сказала она, пристально всматриваясь в незнакомого молодца, — а вы разве из тех мест?

— Из столицы... Наказывал поклон передать, как, выходит, мы приятели будем.

— О?.. Ну, как он, Петруша-то? — спросила Ульяна Мосевна совсем другим голосом.

— В благоденствии... Обещал скоро сам быть.

— Ой ли? Ну, ну... пора, давно пора... Пять годов не видела... Так ты, родной, в приятельстве с ним? — совсем расчувствовалась Ульяна Мосевна. — Ведь я ему, почесть, мать родная была. Сама выходила.

— Так точно-с. Петр Вонифатьич сообщали...

— Так неужто? а? — обратилась Ульяна Мосевна к Вонифатию.

— Говорят — едет; врать не станут, — сказал Вонифатий и полез в карман.

— Ну, вот у вас и праздник! И мы попразднуем, — заговорил Макридий, — оно же теперь в самый раз... Поди, чать, купец-купцом. Медвежье-то обличье, поди, все сошло: следа не сыщешь!

— Трудновато, — заметил, самодовольно улыбаясь, Вонифатий и, бережно вынув из бумажника фотографическую карточку, подал ее Ульяне.

— Любуйся!

— Наткось, наткось! — закачала головой Ульяна Мосевна и, прищуриваясь, с широкою улыбкой стала всматриваться в портрет.

— Да нет! Уж будто как и не признаешь совсем! Может, оно так и нужно!.. Дело столичное, — заметила в конце концов Ульяна Мосевна.

— Ну-ка, ну-ка, покажь! — засучивая рукава, сказал Макридий. — Каковы наши молодцы выправляются там? Тоже свои, лестно!

— Как не лестно! — заметили и мужики. — Вместе, бог даст, жить будем!

И все сгрудились около Макридия, который держал карточку обеими руками, отставив ее от себя на приличную дистанцию, чтобы видно было всем.

Иронически, сбоку, глядел на карточку Вахромей; молча, с неизменным хладнокровием, посматривал Хипа; из-за спины Вонифатия глядели исподлобья хитро-насмешливые черные глаза Луши, и даже, словно откуда-то издалека, сверкал единственный глаз неизвестно когда подошедшего Сатира. Карточка между тем была очень обыкновенная и далеко неказистая, и по ней действительно не особенно легко было признать оригинал; вообще карточки, встречающиеся в деревнях, отличаются замечательным несходством, главным образом потому, что народ любит сниматься во весь рост, «во всем костюме» непременно, хотя бы и в ущерб величине и сходству собственного лица: он не любит поясных портретов: Ввиду этого будут понятны замечания, которые делали дергачевцы: что «сапоги важно выведены — надо полагать с глянцем, купецкие... и кафтан — не нашим чета: приедет, девки наши только держись» и т. п. И только один Вахромей взглянул несколько иначе.

— Схожи, — сказал он, иронически подмигнув молодцу в сибирке.

— Нет, мало, — отвечал тот, — съемка эта самая не в кураже была...

— Я говорю, на тебя похож, — внушительно пояснил Вахромей.

— Это точно, меж нами сходства много.

— То-то!..

— Ну, будет. Сглазите еще! — сказал Вонифатий и отобрал от дергачевцев карточку. Подошли было и бабы с ребятишками на руках, еще издали почуявшие «что-то новое». Но на предложение Макридия «уж и бабам показать москвича» Вонифатий только проворчал: «Ну, наболтают еще зря! На бабье слово удержу нет!» — и, опять бережно завернув карточку в бумажку, спрятал в карман.

Дергачевцы еще продолжали делать свои замечания

насчет «москвичей», а Ульяна Мосевна вступила было в подробные расспросы молодца в сибирке о своем племяннике Петре, но Вонифатий прямо заявил, что пора приступить к делу.

— Так где он, Андрей-то?

— Вот здесь, здесь, — засуетился Макридий. — Андрей! поди сюда... Выйди, братец! Чего прячешься? Эх, братец! Отвык и от людей, по «темным»-то сидя!

Из среды дергачевцев выдвинулся шага на два мужичок, лохматый, нечесаный, в истлевшей совсем ситцевой рубахе; мужичок, что называется «оброшеный», по прозвищу Клоп.

— Я не прячусь. Что прятаться! Я вот здесь... Мое дело пред богом правое, — смиренно проговорил Клоп, смотря в землю и пошевеливая носком сапога попавшую под ногу щепку.

Плохо жить вообще смиренным людям, но в периоды общественной «бестолочи», в периоды поголовного «метания» смиренный человек, наименее вооруженный против всяких случайностей, которыми полны эти периоды, наименее подготовленный извиваться и увертываться под их ударами, безусловно обречен на гибель. При первой же такой случайности его охватывает «оторопь». Пришибленный ею, он начинает метаться вместе с другими, но без всякого толку, без всякого соображения, еще более увеличивая общую бестолочь и сутолоку, сбивая с толку тех, которые намеревались было выбраться на свет божий, принимая на себя ругань и окрики тех, которым подвертывался под ноги.

Нечто подобное представлял собою и «смиренный» Клоп. Отец огромной малолетней семьи, которую он любил какою-то исключительною, даже надоедливою любовью, он не мог прокормить ее; с полуторадесятинного надела хлеба едва хватало до Рождества; он ревел в избе вместе с голодными ребятишками и женой, ревел на миру; миру было самому не легче, и Клопа ругали, а Клоп не переставал тащить на мир все свои личные невзгоды. Мало этого, в «оторопи» у него «опускались руки», он не успевал усмотреть даже за семьей: то ребятишки подпалят избу, то упадет развалившийся сарай, который он позабыл подпереть новыми жердями, и пришибет «останную» корову, то жена родит «мертвенького», и испуганный Клоп тащит его тихонько хоронить в

лесу, но на него доносят. Наезжает суд. Кричит на Клопа становой, кричит поп, кричит староста, кричит весь дергачевский мир, сбитый с ног наездом суда. Смиренный Клоп уничтожен...

Ушел было он на заработки, да угодил, по подозрению в сообществе с какими-то грабителями, в тюрьму, и тоже потому, что «оторопь» взяла... «Чем бы мне, дураку, бежать, а у меня язык отнялся, руки-ноги затряслись», — объяснял Клоп. Его взяли вместе с грабителями, которые не задумались запутать его в свое дело. Два года сидел он в тюрьме, два года в арестантских ротах, пока, наконец, не был послан запрос дергачевскому миру: «Желает ли он принять обратно в сельское общество бывшего под судом крестьянина деревни Дергачи Андрея Клопа?» — а иначе, дескать, он будет отправлен по этапу на поселение в места «не столь отдаленные». Завыли клоповы ребятишки, завыла жена. Дергачевцы только руками махнули: «Пущай приходит... Мужик-то уж он очень душевный. Хошь и самим тесно, да уж как ни то...» Пришел Клоп — нужно «приспособить его к роду жизни». Вот это-то и составляло одну из тех задач, которые предоставлено решать исключительно мужицкому миру и от решения которых считают себя свободными все другие «миры», к их, конечно, благоденствию и спокою.

— Ну, так как дела? — спросил Вонифатий Клопа.

Клоп переступил еще два шага, намереваясь что-то сказать.

— Погоди, постой, — сказал Макридий, отстраняя рукой Клопа и подсаживаясь к Вонифатию и Ульяне. — Вот что, благомысленные, самую эту прокламацию мы оставим, потому это дело известное... Качества этого самого мужика тоже уж, можно сказать, нам доподлинно знакомы... Так мы об этом речь-то прекратим! Так ли? А будем, значит, так говорить: как, значит, у нас с родителем вашим завет был положен, чтобы все сообща и чтобы как можно друг от друга не отбиваться, так, думается, и впредь надлежит быть... А старые заветы рушить нам нечего! Так ли?

— Так, так. Да разве мы рушили, Макридий Сафроныч? — спросила Ульяна.

— Зачем рушить? Как можно родительские заветы рушить? — подтвердил и Вонифатий.

— А я про что ж? Вот я про это самое... Я к тому и речь веду, чтобы, мол, и напредки нам не рушить, а в согласии пребывать. Вот!

Тут Макридий поправил рукава и пустился в пространные объяснения насчет тех всем мужикам любезных вопросов, что, мол, «земля-матушка», «земля-кормилица», что «смиренному мужику без земли не жить, что ему без земли сгинуть надо» и т. п. В конце концов оказывалось, «что хоша и мирская тягота, да где же мы ему земли возьмем? До передела ниже клочка взять нам негде. Потому теперь всякому тоже свое дорого. Вон у удельных, как у них, господи благослови, земли-то в меру, так на эти самые случаи отметные земли приспособлены... А у нас не то что отметные земли иметь, не на что, можно сказать, курицу выпустить!» — заключил Макридий.

— На этот случай, кажись, заработки предусмотрены, — заметил вскользь московский молодец.

— На заработки! — крикнули дергачевцы. — А ты знаешь ли, что такое заработки-то? Аршинничать или маклачить на заработках-то легко. А ты вот поди спину около кулей потри. А коли вот мужичок-то, будем говорить, отец любящий, к семье привержен, а семьи-то он вот четвертый год не видал, так как ему за заработками-то бегать? Ему только об одном стараться, как бы от детишек совсем не отбиться да душу в конец не загубить. Ты вот знаешь ли: коли теперь мужика опять от семьи отбить, так он и совсем ума решится!

— Не загубите! — прошептал Клоп. — Исщемило, в остроге-то сидемши. Все представления были, все будто вокруг меня детишки... Лягу, а мне будто шепчут: «Тятька, сделай конька... Конька мне, тятенька, из полена выруби...» — говорил Клоп, стыдливо утирая глаза рукавом рубахи.

— Ишь, вон! Да! Уж мы пробовали его на заработки-то гонять... Легко сказать: заработки! — говорили мужики, избегая смотреть в лицо Клопу.

— Ну, не реви! — прикрикнул Макридий на Клопа.— Пора тебе бросить это поведенье-то! Будь-се, братец, посурьезней! Эдак, ежели мы все заревем, хорошего мало будет! Эх, братец! Будь вполне мужиком, как надлежит, — кряхти, а крепись, то и честь! — поучал Макридий. — Молчи! Будь стеленней! А уж вы, благомыс-

ленные, так скажем, — обратился он к Вонифатию и Ульяне, — с миру тяготы возьмите и теперь, как попрежнему, озимку-то поднять ему не откажите... Ведь ему много ли надоть?.. Ежели бы раздобыться десятинкой только — и довольно пока... И вполне даже достаточно! Так ли? — и Макридий уставился глазами на Вонифатия и Ульяну.

— Как вы, братья?.. Ты как, Ульяна? — спросил Вонифатий.

— Мое слово было тебе сказано: из тех загонов нам корысть не велика — пущай пользуется, — отвечала Ульяна Мосевна, — мы все люди свои... От своих нам не отбиваться. Как уж от батюшки идет, так и будет.

— Это так... Верно. Я за этим не стою. Только вот Петюшка прописывает мне... Кто его знает?! Пишет: «...а землю вы, родные, распущать по чужим рукам подождите, попридержите, — пишет, — при своих руках... И от того нам будет всем большая польза!..»

Вонифатий сказал и вдруг замолчал.

Мужики притихли. Некоторые из дергачевцев закинули руки за спины и придвинулись поближе к Вонифатию, а Макридий до того был весь внимание, что, казалось, готов был вскочить Вонифатию в самые глаза. Вахромей перестал сопеть трубкой, и только по лицу Хипы витало прежнее добродушное безучастие.

— Петюшка — паренек еще неразумный, — ласково заметила Ульяна Мосевна. — Мало ли чего он там, в городе, наслушается: живет середь купцов, приказчиков. У него уж мирского разума нету...

— Вот-вот, благомысленная! Истинно твое слово! У него этого разума быть не может... Это, значит, наше поведенье, мужицкое! — подхватил Макридий. — Будем так говорить: почему мы из веков — крестьяне, купцы — купцами, а баре — барами? Потому у нас свое поведенье, а у купцов свое...

— Ну, и что ж пишет? чтобы, значит, так и так с землей обращенье иметь? — интересовались дергачевцы.

— Ка-ак же! все это расписал как быть надлежит: и строенье надворное, и рощу, и землю — все размежевал, всему свое приложенье...

— Уставщик! — проговорил Вахромей.

— Больно умен уж! — заметил Хипа и весь просиял невиннейшею улыбкой.

— Умен, слова нет! — подхватил Вонифатий снова самодовольно поглаживая бороду. — Что еще! вьюнош, а об своих мысли не оставляет. За это дело — похвали! Ну, так как же нам Андрея-то? Если погодить, пока Петюшка приедет?

— Советую, — проговорил московский молодец.

— Кто приедет? — вдруг круто спросил Вахромей, все еще сидя вдали, на самом конце крыльца.

Вонифатий ничего не сказал.

— Петр Вонифатьич, — ответил за него молодец.

— Кто он такой будет, Петр-то Вонифатьич? — продолжал допрашивать издали Вахромей.

— Погодите! что пустое болтать! — строго сказала Ульяна Мосевна. — Нам, почтенный молодец, — обратилась она к москвичу, — Петр Вонифатьич не указ. Мы по дедовским заветам живем. И Петру Вонифатьичу наипаче надлежит тем заветам следовать.

— Еще и старичок-то ваш, благодарение господу, вживе! Вон он, старичок-то божий! Мало, что он слепой... Слепцу-то господь сам тайное все открывает. Мы вон нынче с ним беседовали, а он и говорит: «я, говорит, ребятушки, внутренним оком чудесно все вижу!» — не то чистосердечно, не то тонко-дипломатически заметил как бы вскользь Макридий, показав в сторону сидевшего у своей избушки дряхлого Мосѐя.

Все как-то невольно обернулись к роще и посмотрели на неподвижную фигуру слепого старика.

— Приходи, Андрей Терентьич! Приходи без сумленья! — решила Ульяна Мосевна. — Мы тебе три загона под озимую отрежем.

— Ну, так — так-так! — сказал и Вонифатий. — И то правда! Дело, выходит, как бы, значит, общее, мирское.

— Да уж как искони! Ну, вот и помогай господи!.. Беритесь по рукам! — заторопился Макридий.

— Дай бог совет да любовь,— проговорила, крестясь, Ульяна Мосевна.

— На что лучше! — поддакивал Макридий. — Вот и опять, значит, мы завет укрепим... Так ли? Чтобы сообща... Ведь мы только до переделу... Вот у нас через два года передел будет, как-никак, может, собьемся где ни то в ренту землицы прихватить... Да мы тогда, благомысленные, вас утруждать и не помыслим! Боже упаси!.. Да мы тогда от вас всех, пожалуй, опять к себе

переправим: и Сатира возьмем, и солдаточку возьмем, коли вам утесненье будет.

— Зачем так, зачем? Не приведи до этого господи! Это равно, что из избы венец вынуть: из дома благодать вон... Наш поселок сообща был закреплен, — говорила Ульяна Мосевна, пока Макридий, Клоп и братья Волки, размахивая руками, хлопали друг друга по широким ладоням.

— Поправляйся!— сказал лаконично Вахромей, а Хипа только пожал своею могучею рукой руку Клопа и улыбнулся.

Долго еще раздавались взаимные пожелания и уверения во взаимной помощи, «все чтобы сообща, как из веков, так чтобы и навековечно».

— А условие у нас будет одно... — говорил Вонифатий Клопу. — Брать нам с тебя, скорбного, нечего, пока не управишься... семья у тебя большая... А как будем: у нас в чем несправка — ты поможешь; у тебя коли в чем недостача — мы не оставим.

— А нас всех мир честной не оставит, коли господь бедой попустит! — вставила Ульяна Мосевна.

— Да уж это будьте в надежде, благомысленные! Мир — не один человек. На миру обману меньше! — уверял представитель дергачевского мира.

Всем вдруг стало как-то веселее. Смиренный Клоп в умилении только и повторял:

— По гроб жизни! Во веки вечные не забуду! Детишкам в завет поставлю... Благомысленные мои!

— А как-никак, требовалось бы того... по обычаю, спрыснуть, — несмело и ухмыляясь во весь рот, заявил один дергачевец.

Согласились и спрыснуть, на какой раз думали раздобыться четвертухой водки от Вонифатия.

Так разрешилась, к общему удовольствию, задача, заданная смиренным Клопом дергачевскому миру, и только один москвич остался, повидимому, не особенно доволен таким ходом дел. Все время он изредка вздыхал, изредка окидывал мужиков проницательными взглядами.

— Выходит, по вашим местам не в цене стоит земля-то? — наконец, не вытерпев, спросил он Вонифатия и Ульяну Мосевну.

— Нет, ничего. По нашим местам земли мало. С землей здесь кулаки дела хорошие ведут. Цену подняли за самую эту ренту так, что нас, мужиков, совсем в разор разорили! — добродушно заметила Ульяна Мосевна.

— Гм... Райские места! Ежели бы это к рукам — блаженство, — вздохнул опять москвич.

— Места ничего: потные места, — подтвердил и Вонифатий.

— Места теплые, любезный друг, ежели руки греть... Греют у нас хорошо ловкачи-то, — прибавили дергачевцы и двинулись к качелям с Иваном Забытым и Сатиром.

Москвич покачал головой.

— А этот народ в каком качестве при вас состоит? — мотнул он головой по направлению к качелям.

— Живут, — отвечала Ульяна.

— Батрачки-с?

— У нас этого завода нет. У нас это редко. По душе живут. Мирское дело.

— Богадельня-с, выходит? — усмехнулся москвич.

— Мирское дело, почтенный, мирское дело, — внятно проговорила Ульяна Мосевна.

— Нельзя похвалить! — сорвалось у молодца.

— Мы не для похвальбы живем. Похвалы нам не надобно. Не по нраву пришлось — просим не взыскать. Ежели будет желание угощение принять, когда Петюшка приедет, милости просим, а новых устоев нам не надо, — степенно выговорила, кланяясь, Ульяна Мосевна. — А ты зайди-ка ко мне, Андрей Терентьич, помолимся на благое начинание.

— Пойдем, пойдем, направница ты наша, — шептал в умилении Клоп, махая шапкой и торопясь за нею.

Москвич был недоволен, что промахнулся. Он дожидался, что его поддержит Вонифатий. Но Вонифатий продолжал сидеть, сложив руки под животом, и, благодушно посмеиваясь, глядел куда-то вдаль, в сторону рощи. Вонифатий был мужик «общего настроения», так сказать, и очень любил, «когда все как-то само собой идет» и не требует от него особенного напряжения. Если общее настроение благодушно, то и он чувствовал себя как нельзя лучше и погружался в беспечальные созерцания.

Иногда он по целым часам, в праздничный день, сидел на этом же крыльце, поглаживая бороду, изредка играл перстами, перекладывал ногу на ногу да от времени до времени покрикивал на расшумевшихся ребятишек выселка. Когда его ничто не беспокоило, он любил мечтать, и ему никто в этом не мешал. Братья с ним редко говорили. В крестьянских семьях мужики вообще лаконичны друг с другом, как бы в укор бабам, обладающим с излишком качеством противоположного свойства. Когда беспокойство случалось небольшое: например, бабы рассорятся, Вонифатий вставал, медленно подходил к ним, засунув одну руку в карман, другую за пазуху, несколько времени, в качестве большака, выслушивал жалобы и, сказав: «Дуры, пошли по избам!» — уходил на старое место. Но если беспокойство было несколько существеннее, Вонифатий, как всякий мечтатель, начинал вдруг соваться и в дело, и не в дело, вспоминал, что он «большак» и что ему непременно нужно о ком-то «стараться».

— А тетенька-то с душком будет-с? — спросил молодец в сибирке, когда они остались одни с Вонифатием.

— Ульяна-то? Нет, она, по-нашему, смиренная. Ничего.

Опять замолчали. Москвич поиграл пальцами по борту кафтана.

— А дочка... Эта самая будет? — кивнул он по направлению к Луше, тихо покачивавшейся, сидя на доске качели.

— Она самая.

— Приятная девица!

— Работящая, — лениво отвечал Вонифатий.

Опять замолчали. Наконец, заметив, что Вонифатием до того овладело благодушие, что от него вряд ли можно было ожидать поддержки разговора, москвич, чуть заметно покачавшись несколько секунд на носках своих блестящих сапог и еще раз окинув проницательным взглядом поселок, сказал:

— Однако дикости у вас достаточно! — и, не дождавшись ответа от Вонифатия, прибавил: — Пока счастливо оставаться!

— Прощай... Навестишь, неравно Петюшка приедет?

— Ка-ак же! Первым долгом.

Молодец направился мимо качели к своей телеге, стоявшей на конце выселка. Он было приподнял с форсом фуражку, вероятно в честь Луши, но ему никто не ответил, и только все посмотрели ему с любопытством вслед. Москвичу хотелось было поближе сойтись с бабами выселка, и если бы его пригласили, он непрочь бы побеседовать, в особенности с Лушей, но и ему самому и всем сидевшим у качели было слишком ясно, что он в полном смысле чужой человек для Волчьего поселка.

С отъездом молодца в сибирке у качели стало еще веселей, тем более что Ульяна Мосевна поднесла дергачевцам по стакану водки. Иван Забытый с своим обычным удовольствием отзывался на всякую просьбу: он то играл на гармонике, то потешал прибаутками, то запевал песни, — одним словом, явился во всем разнообразии бывалого человека, прошедшего огонь и воду. Даже угрюмый Сатир рассмеялся, и его единственный глаз уже не смущал более дергачевцев. Наконец благодушное настроение дошло до того, что сам дипломатичный Макридий не устоял пред ним.

— О, дуй вас горой! — вскрикнул он, вскакивая и взмахнув руками: — что это у вас только за жизнь на выселке! Ей-богу! Кажись, только денек пожил бы, тут бы и умер от удовольствия!.. Да ежели здесь недовольство может быть, так уж это, выходит, господа бога в конец изобидеть!.. Да нет, этого мало! — мы весь выселок в законный брак сочетаем! — фантазировал Макридий Софроныч. — Первым делом, господи благослови, Ульянею с Сатиром... первый сорт! Вторым делом, Лушу за Ивана Забытого — на что лучше?.. Погоди, постой... Феклушу с Феотимычем!... Важно, али нет? Петька приедет — его с Аннушкой сатировой! Любо ли? Ну, а в закончание всего Вонифатия к солдаточке Сиклетее приспособим! Так ли, милые мои? Эй, Вонифатий Мосеич! слышишь, что ли? — крикнул Макридий.

— Ну-у, тебя!.. — махнул рукой Вонифатий от житницы, улыбнулся, потер бороду, переложил ногу на ногу, подтянул руками живот и опять погрузился в мечтания.

— Да тут, други мои, до скончания века над вами благодать господня ненарушимо будет! — заключил даже торжественно Макридий. — Так ли, Феотимыч?

— Аминь, Макридий Софроныч, аминь, благожелатель! — подтвердил старый понамарь.

Но русский мужик подозрителен и чуток. Как ни привлекательна была фантазия Макридия Софроныча, тем не менее, когда прошел порыв всеобщего «благодушия», все как-то еще почувствовали, что на мирную жизнь поселка наплывает что-то «новое», что-то «чужое». В чем состоит это «новое», определительно сказать никто бы не мог, только чувствовалось, что в жизни мужика не бывает идиллий, что суровая мужицкая судьба не преминет заявить о себе. Почему-то вышло так, что и дергачевцы, возвращаясь обычною мужицкою поступью, заложив за спины руки, в свои Дергачи, лаконично перебрасывались фразами по поводу приезда «москвичей» в Волчий поселок и покачивали головами; и Вахромей с Сатиром, собираясь к утру на охоту, говорили о том же; и бабы выселка, собравшись после ужина у избы солдатки Сиклетеи, шопотом толковали о приезжем молодце в сибирке, который, по ее словам, оказывался очень похожим на «теперешнего» Петюшку; Вонифатий же продолжал мечтать попрежнему и от времени до времени поигрывал пальцами.

Только одного человека из дергачевского мира не томили в этот день никакие «предчувствия»; только один человек ликовал беззаветно, и именно тот, которому, может быть, всех меньше выдавалось ликовать в жизни. Человек этот был смирный Андрей Терентьич Клоп. Помолившись у Ульяны Мосевны «на благое начинание», он, не заходя под качели, тотчас же побежал домой, в свои родные Дергачи. Он «под собой земли не чуял», как сам рассказывал об этом дне, «был сам не в себе» от детишек, образы которых не оставляли его даже в остроге. Но характернее всего выразилась его радость следующим, совсем неожиданным ни для кого образом. В Волчьем поселке он увидал качели, выведенные дошлым до всего Иваном Забытым и мало или вовсе неизвестные до того в дергачевском мире. Штука эта показалась Клопу до того занятной, что не выходила у него из головы даже в то время, как решался вопрос о его «быть или не быть». Он еще тогда же рассчитал: «Как-никак, выпрошу у Ульяны два бревна... В ноги поклонюсь, а вымолю... Да она даст! Она ведь, Ульянея-то Мосевна, благомысленная. Она чадолюбивая... Вымо-

лю два бревна, непременно вымолю... Скоблем вычищу, гладкие будут! А на веревки у меня старые вожжи есть. Вот ребятишкам утеха-то будет! Да не то что моим только, всем голоштанникам. Тогда у моей избы отбою не будет ребятишкам-то, ровно воробьи к овсу налетят... Шуму-то! Шуму-то что! А славу-то какую разнесут! Это, скажут, нам все смирный Клоп предоставил, моду-то ввел! Умру — будут вспоминать!»

Все эти обольстительные картины быстро пронеслись в его голове, как только ударил он, в знак окончания дела, по рукам с братьями Волками.

И действительно, не прошло недели, как в Дергачах появилась первая качель перед избушкой Клопа. Нечего и говорить, какое удовольствие доставила она зеленому населению Дергачей. Смирен, низкоросл, худ был сам Клоп, мала, едва поднимаясь от земли, в два крохотных оконца, была его избушка, малы были его ребятишки, — и такую же малую, словно игрушечную, вывел он пред своею избой качель.

Глава вторая

НОВЫЕ ЛЮДИ

I

— Ну, что, приедет? Верно? Нынче ждете?

— Ждем... Надо бы нынче быть...

— Здравствуйте! — быстро говорил, встретившись при входе в поселок с Вонифатием Мосеичем, жиденький человек с худым, почти детским лицом, черты которого были как-то особенно обострены. Он был в фуражке и длинном демикотоновом разлетайчике, который постоянно запахивал.

— Он как отписывал? За неделю до Покрова?

— За неделю...

— Ну, верно! Нынешнее число!.. Я уж высчитывал... Книжка такая есть — «Путеводитель» прозывается... У адвоката я ею одолжился... Вот я сейчас...

Худенький человечек полез сначала в один карман

демикотонового разлетая, затем в другой, пощупал лежавшие в них пачки каких-то бумаг, затем слазил за пазуху, откуда вытащил сначала истрепанную и, кажется, с оборванным концом книжку судебных уставов и, наконец, после нее достал, тоже весь истрепанный, «Путеводитель».

— Вот я вам сейчас разъясню, — говорил Вонифатию человек, быстро обмусоливая средний палец и перевертывая слипшиеся страницы «Путеводителя». Он весь был нетерпение, а быстрые и живые глазки его напряженно пробегали заголовки страниц.

— Вот! — наконец, сказал он.

— Ну, ну! Высчитывай... Посмотрим, каков ты отгадчик. Вы ведь дошлы до всего — грамотеи! — говорил, снисходительно улыбаясь, Вонифатий Мосеич.

Нетерпеливый человечек тотчас же начал высчитывать часы и минуты прихода поездов ближайшей к Волчьему поселку чугунки.

— Вот уж это верно; еще утром должны быть, — заключил, наконец, он. — Задержка вышла... Это уж насчет подводы в городе... Тут всегда остановки бывают, а теперь ждите — это верно.

— Подождем... Некуда бежать-то нам!.. — говорил Вонифатий Мосеич.

Он, впрочем, хотя и плохо верил вычислениям худенького человека, тем не менее частенько посматривал вдоль дороги, извивавшейся по высокому склону на горизонте. А когда послышался вдали грохот колес, не только обернулись на него невольно оба собеседника, но и хлопнуло окно в келье Ульяны Мосевны, и ее голова высунулась посмотреть в том же направлении.

— Да никак Филаретушка здесь? — спросила она, заметив худенького человечка.

— Здесь, здесь!.. Здравствуйте, Ульяна Мосевна! — откликнулся он.

— Али также поджидаешь Петюшку-то?

— К-а-ак же-с!

— Ну, ну... Одногодки ведь вы с ним, вместе росли тоже неразлучно...

— Ка-ак же?.. Приятели душевные были... Помилуйте! чтобы я забыл!.. Ну, и теперь из столицы едет. Все это нам лестно, все это нам в поучение: как и что... Ведь мы, Ульяна Мосевна, не более, как мужики тем-

ные-с... Обучаться должны всему от умных людей, кому, значит, счастие вышло в столицах побывать...

— Ты у нас и сам грамотник, ученый... Всему поселенью известен. Натка-сь! по судам ходишь, с господами судьями говоришь...

— Нет-с, это что!.. Какая у нас грамота, Ульяна Мосевна?.. Так, кое-что — самоучкой... А посмотришь на господ образованных — все-то у него гладко идет, тонко... А у нас, урывками-то, спорины нет, вот в чем загадка! Нет-с, какие же мы наученные!

Худенький человек грустно покачал головой, снял фуражку и вытер платком вспотевшее от волнения лицо, несмотря на то, что на воле было свежо и осенний ветер продувал его демикотоновый разлетай.

— Ну, вот, Петюшка приедет, научит всему... Не горюй, — благодушно заметил Вонифатий, — говорят, ума барку везет...

— Ка-ак же-с! Слышал, слышал... то нам и лестно! Так уж я побегу... за село... к Коронату Львовичу... Там у него встречу... Мимо поедет... Это уж верно: гляди, часу не пройдет — здесь будем с Петром Вонифатьичем. Ждите!

— Ну, беги, беги... Не терпится! — сказал Вонифатий Ульяне Мосевне, когда Филаретушка побежал вон из выселка, наскоро застегивая свой разлетайчик и поправляя полы, которые раздувал холодный ветер. — Птица, как есть птица. Недаром Чижом прозвали...

— Добрый паренек... Вот ему, что Петюшке, поди годов двадцать с лишком будет, а совсем, почесть, младенец. И матка у него старуха добрая... Только не спорится у них... Кабы, говорит старуха-то, женить Филаретушку, работницу бы в дом взять... Да ведь у нас девки какие! Говорят: разве кто за Чижика замуж пойдет? Хохочут! А что из того, что он Чижик? Да добротой его господь наградил не в пример прочим... Недаром к нашему Петюшке привязался... Тот тоже сердцем-то был ровно младенец...

— Что уж за мужик — птица! Какой девке приятно, коли смеяться над мужем будут?

— Смех смеху рознь... Над Чижиком и посмеются, а глядишь — вернее Чижика нет, все к Чижику идут... Хоть и дело у Чижика не спорится, а все Чижику верят, потому с ним дело, как с младенцем, чистое.

Так говорили большаки Волчьего поселка, пока худощавый человек почти бежал по направлению к селу Доброму, борясь с дувшим ему навстречу северным осенним ветром и весь погруженный в какие-то светлые мечты.

Этот худощавый человек с обостренными чертами лица, этот мужичок-птица, эта, наконец, сиротская младенческая душа был Филарет Флегонтыч, сын давно уже помершего дворового человека. Филарет Флегонтыч, как, вероятно, заметили читатели, известен под разными прозвищами: Птицы, Чижйка, Филаретушки, а иногда и просто Филаретки, но, как бы его ни прозывали мужики, каждое прозвище, несомненно, било на то, чтобы выразить собою существеннейшую сторону его души: какую-то чисто птичью беззаветность и певучесть. Филаретушка был дергачевец, хотя и не считался полноправным членом этого невеликого мира; а не считался потому, что имел в Дергачах только небольшую избушку, в которой и жил с своею матерью, да полдесятины своей собственной земли, еще купленной на кое-какие гроши его отцом по освобождении из барской передней. В этой барской передней родился, воспитался, вырос и возмужал его отец, пройдя все стадии холопского развития. Отец его был добр по душе, но холопское положение заковало его душу в безмолвную сосредоточенность и на его лицо и всю фигуру наложило печать суровой степенности. С этою суровою степенностью барского наперсника покинул он после 19 февраля барскую переднюю и приписался к дергачевскому обществу. Дергачевцы предложили было ему, по своему обычному добродушию, войти с ними в общение «на всех мужицких правах», но суровый Флегонт предпочел лучше купить на скопленные гроши собственную усадьбу и землю и жить на свою личную ответственность, чем принимать участие в несении общей мирской тяготы. Это было резонно, пока у Флегонта оставался еще запас всякой барской рухляди, которую он пускал в оборот, кое-какие гроши, которые он пускал в рост, и хлопотливая, хозяйная баба, не покладавшая рук по хозяйству. В то время как мать Филаретушки успевала разделывать свою невеликую усадьбочку, вскапывала гряды под огурцы, капусту, вспахивала загона два-три под картофель и горох, а затем успевала чинить и мыть белье на мужа и сына, Флегонт,

флегматичный и ленивый, мог спокойно сидеть на крыльце своей избы, курить «крупку» из длинного барского чубука и, пуская колечки, смеяться в свои густые, рослые баки над дергачевскими мужиками, которые чуть не в драку лезли из-за аренды флегонтовой полудесятины. «Филеретка, — говорил он сыну, — ты у меня учись... Ты у меня не думай в мужики итти... Пропадом пропадешь! Ни за грош сгинешь! Разве это жизнь? Из-за куска хлеба... Помилуйте! Ты гляди, Филаретка, мужик-то встанет до свету, ляжет заполночь, за день-то жилы вытянет, а что получит? До Рождества своего хлеба нехватит... Разве это жизнь?.. Дураки они, Филаретка, дураки... То ли дело, как ежели человек с понятием себя на барскую ногу поставит: поучится маленько, с благородными людьми знакомство поведет, одежкою городской раздобудется и сидит себе — покуривает! Ха-ха-ха! Потому он строку написал, ан больше заработал, чем мужик пять раз сохой пройдет... Так-то, Филаретка!» — заканчивал свою житейскую философию «барский человек», поглаживая по голове единственного и нежно любимого сына. «Я, папенька, учусь», — бойко отвечал мальчуган, ежась, как котенок, под отцовскою лаской. Филаретушка действительно в это время учился у писаря. Но философия «барского человека» влияла на него как-то совершенно своеобразно. Филаретушка не был похож на отца. Впечатлительный и подвижный, Филаретушка не мог бы, по темпераменту, удовольствоваться идеалом сиденья на крылечке и попыхиванием в чубук. Но это, впрочем, не мешало отцу и сыну быть приятелями. Отец любил слушать, от нечего делать, а сын искал душу, пред которой мог бы излить запас своих ребяческих впечатлений. По целым вечерам сидели они на крылечке своей избы и предавались разнообразным мечтаниям, пока хлопотливая мать Филаретушки не обзывала их лентяями и не гнала ужинать и спать. «Ха-ха-ха! — добродушно подсмеивался его отец, — ничего, Филаретка! Постой, мы с тобой далеко пойдем! Только учись!» Однако Флегонт скоро умер, умер как раз в то время, когда всякие ресурсы из «барской рухляди» уже истощились; оборотный капитал тоже иссяк. Бог знает, что было бы с «барским человеком» после этого, если бы бог не принял его к себе и тем, так сказать, до конца не дал ему возможности поддержать достоин-

ство философии, выработанной в барской передней. «Хозяйная» мать Филаретушки не упала духом. Она решила сама «поднять» землю, взяв сына из ученья, и принялась вместе с ним пахать. Филаретушка заскучал. Жажда впечатлений и излияний не давала ему покоя. Для излияний скоро нашел он другую душу, Петюшку вонифатьева, задумчивого, сосредоточенного, тщедушного мальчика. Филаретушка привязался к нему; он был доволен, что тот молча и внимательно выслушивал все, что по целым часам рассказывал ему неугомонный Филаретушка. Но скоро и Петюшку взяли в Москву. Филаретушка, прощаясь с ним, плакал, просил позволить ему проводить его до «машины», несмотря на то, что назад пришлось итти пешком, в распутицу, под дождем, верст двадцать. «Не забудь меня, смотри, в столице-то,— говорил он Петьке, — может, и я вырвусь... Приеду... А ты, гляди, высоко взлетишь! Кабы вместе нам, неразлучно!» — заключил он и чуть не заревел. С отъездом Петьки Филаретушкой овладела какая-то ненасытная жажда деятельной жизни ума и сердца. Едва выпадал ему, даже в страдную пору, лишний свободный час, он бежал на мирскую сходку, вмешивался в суету, в говор, не обращая внимания, что он тут ни при чем, что ему тут нет никакого дела... «Как? что? почему?»—раздавался его задорный тенористый голос. Филаретушку гнали, Филаретушку ругали, даже били, но он упорно продолжал «соваться», пока, наконец, дергачевцы не убедились, что и из Филаретушки может быть толк.

Скоро ни одно «общественное» собрание не только в Дергачах, но и в волости — селе Добром — не обходилось без участия Филаретушки. Филаретушка ловил захожего мужика в кабаке, жаловавшегося кабатчику на что-то, и налетал на него с неизменным вопросом: «Как? что?.. почему так? Прошение прописать?.. Милости просим! У нас грамотники есть!» Мужику действительно оказывалось нужным написать прошение, и Филаретушка писал, а в случае недоумения, бежал к своему приятелю, волостному писарю. Это неустанное «как, что, почему?» давало такую массу разнообразных впечатлений душе, такую деятельность уму, что Филаретушка отдавался своей новой деятельности с каким-то запоем, в особенности по зимам. Если «дел» не оказывалось, он сам

их откапывал. Встретит, например, Филаретушка мужика. Мужик что-то рассказывает другим.

— Что? как? о чем?

— Да нет, мы так.

— Да ты скажи...

— Да что тут! Так, зря болтаем. Все одно — дело пропащее. К слову пришлось...

— Какое дело? В чем? Почему, пропащее?.. Кто может сказать? Говори! Рассказывай!

— Да нет! Что тут зря-то языком бить? — упорно отказывается мужик.

— В чем у него дело, братцы? Расскажите, пожалуйста... Сделайте такую милость! — молил мужиков Филаретушка.

— Да что, вот видишь... — начинает нехотя рассказывать мужик.

Филаретушка — весь внимание. Он поощряет мужика разными возгласами и в конце концов бесповоротно решает, что «нужно подавать, выше нужно подавать!»

— Да что тут подавать? Сказано уж.

— Как? Почему? Кто сказал? Подавать нужно. Главным делом — подавать! Пиши доверенность, пойдем в кабак, а там и в волость, рукоприкладство совершим — и шабаш.

— Да не стоит!..

— Я за тебя... Понимаешь — я? Ну? Разве тебе не все равно?.. Выгорит — наша взяла!.. Так ли? Ставь полуштоф... Вот и мужичков угостим... Валяй!.. Они уж меня знают... Ты откуда, из Дерюхина?

— Из Дерюхина.

— Ну, значит, к Павлу Васильичу... Павел Васильич у вас мировой-то?

— Он, он самый.

— Ну, вот, знакомый! Валим в кабак... А на меня надейся, меня здесь знают.

Мужик чешет затылок, потом вопросительно посматривает на дергачевцев.

— Ничего... доверяйся с господом... Мы его знаем, Чижика-то... Он, брат, не обманет... Он не из корысти...

Мужик поддается, пишет доверенность — и Филаретушка начинает иск у мирового. В первое время адвокатской деятельности Филаретушка был у мирового вроде горохового шута. Над ним потешался мировой, хохо-

тали писаря, помещики «из публики», но Филаретушка только отмалчивался да потел и вытирал лицо большим синим платком, а когда уж слишком обижали его писаря, он крикливо ругался и даже дрался. Пользуясь его незнанием «мировой казуистики», очень часто мировой судья и писаря заставляли его нарочно проигрывать заведомо верные дела. И нужно было посмотреть в эти минуты на Филаретушку! Он так искренно горевал за свое незнание, так искренно сокрушался о своей доле, которая не дала ему возможности выбиться в «настоящие люди», что у проигравших дело его клиентов язык не поворачивался ругнуть его. Случалось, что в минуты такого самобичевания Филаретушка приносил обратно рубль и два, «пропитые на него» или взятые вперед и уже истраченные им деньги своего клиента. Вот это-то ребячье бескорыстие, эта наивная искренность и поддерживали в мужиках доверие к Филаретушке, несмотря на то, что у него «плохо спорилось». Иногда же богатые мужики доверяли ему иски по векселям, распискам, доверяли получение денег, так как добросовестность его была всем известна. Было время, когда отчаяние овладело было от неуспеха Филаретушкой. Но он не поддался ему. Он раздобылся от одного барина старыми, истрепанными судебными уставами и долго штудировал те места, которые ему указал его приятель-писарь и которые ближе относились к его делам. Несмотря на град насмешек, несмотря на то, что даже мать начинала ворчать на него и говорила: «Полно, Филаретушка, бреханьем-то заниматься... не наше это дело... Ведь это умным на пользу идет, а у нас с тобой — не то чтобы в доме прибыль, а из дому... Занялся бы ты, по бойкости своей, торговлей. Много бы прибыльнее было!» — несмотря, наконец, на неуспехи своих дел, Филаретушка не мог «отрешиться» от деятельности, которая давала пищу его уму и сердцу.

Впрочем, вряд ли изучение судебных уставов могло помочь «споркости» филаретушкиной деятельности. Для этого требовалось от адвоката нечто другое, нечто такое, чего Филаретушке никогда бы не удалось развить в себе. Был такой случай: Филаретушка, по доверенности от одного кулака, должен был взыскать по расписке с одного обезработевшего мужика, служившего у кулака в батраках, несколько рублей. Дело юридически было чистое. Фи-

ларетушка уже знал, что такие дела — всегда верные дела. Но когда он услыхал рассказ ответчика о том, при каких условиях дана была эта расписка, когда увидал, как мужик заплакал и повалился мировому в ноги, Филаретушка понес тут такую ахинею, что чуть самолично не втянул своего доверителя под уголовный суд за вымогательство. Писаря хохотали, мировой, улыбаясь, только руками махал, а дело получения по расписке так и прогорело.

II

Филаретушка бежал... Как известно, он направлялся к усадьбе землевладельца Короната Львовича, расположенной в полуверсте от села Доброго по одному проселочному тракту. Здесь он думал встретить ранее других своего друга детства, Петра, который, проезжая, не мог миновать этого пункта. Итак, Филаретушка бежал; он уже миновал свои Дергачи, деревню Подпалиху, и теперь входил в село Доброе. А в это время в усадьбе Короната Львовича происходила такая сцена...

Но предварительно несколько слов о селе Добром, которое в конце концов не может не играть известной роли в судьбе наших героев, так как в нем привитало и привитает непосредственное начальство того крестьянского мира, судьбы которого нас интересуют. Село Доброе — большое село; расположено на горе, внизу которой лежит небольшая пристань при мелководной реке. Такое его положение сразу дало ему и своеобразную физиономию; а если еще к этому прибавить, что после 19 февраля его население было торжищем таких разнообразных сделок, что в конце концов оказалось похожим на те одеяла из пестрых лоскутков, которые являют собою высшую степень эстетического вкуса каждой мещанской невесты, то эта физиономия определится уже достаточно. Еще до освобождения село Доброе делилось между четырьмя владельцами — троими помещиками и казной. После же освобождения прежние владельцы-помещики разделили свои клочки между наследниками, а последние пустили в поспешный оборот свои уставные грамоты и выкупные свидетельства, начались нескончаемые «разделы» между братьями, сестрами и родственниками по всем нисходящим линиям. К этой борьбе за

наследство пристали кулаки и, пользуясь на этом торжище правами людей капитальных, приобретали в руки «куски» прежде обширных барских усадеб; наконец из барских передних хлынул выброшенный на божий свет, «в чем мать родила», целый своеобразный контингент «дворовых людей». Село Доброе представляло собою, таким образом, характерную почву для борьбы на жизнь и смерть, в которой вымирал «ветхий» деревенский человек, ликовал человек «переходный» и на которой суждено развиться «новому человеку деревни». Читателю легко представить по этим данным, какова должна быть и внешняя физиономия села. Тут были и купеческие хоромы с железными крышами, и крытые тесом избы казенных крестьян, и «хлевушки» дворовых людей. Здесь было два кабака, трактир, школа, волостное правление, аптека, несколько лавок, лесная контора. Здесь жили разоренные мелкопоместные баре, купцы, рядчики, крестьяне, мещане, дворовые и попы. Кругом села, по высокому берегу реки, там и здесь виднелись бывшие барские усадьбы, одичавшие парки и сады, разрушающиеся, заколоченные наглухо, большие, длинные барские дома, серые, мрачные, неприглядные, а рядом с этими хоромами мелькали и блистали на солнце своими желтоватыми новыми стенами какие-то наскоро сколоченные, недостроенные, высокие домики, напоминающие «конторы» и «сторожки», которые выводятся около лесной эксплоатации или пристаней. Одна из этих старых барских усадеб была в особенности мрачна в своем разрушенном величии, но зато тем наглее бил в глаза поставленный рядом с заколоченными «барскими дворцами» новенький пятиоконный домик. В этом доме и проживал землевладелец Коронат Львович, который, впрочем, известен был в селе Добром просто под именем Короната. Коронат Львович явился в эти палестины лет семь тому назад, неизвестно откуда, в качестве претендента, среди массы других наследников, на имение «ветхого» человека. Получив по разделу полуразрушенную усадьбу и несколько десятин плоховатой земли, он выстроил близ заколоченного дома, в котором всего один раз и был с тех пор, новенький домик. Вскоре, впрочем, стали доходить слухи, что Коронатушка был где-то, когда-то мировым посредником, разъезжал в поддевке в красной шелковой рубахе, ухитрился совершить в три

года своего служения до 150 беззаконных уставных грамот, вызвал среди подвластного ему мужицкого населения несколько «недоразумений» и кончил тем, что его отдали под суд, отобрали в казну имение и оставили затем в покое. Он переменил только шелковую рубаху на кумачевую и внезапно явился в соседство добросельского мира.

В описываемое нами утро у Короната Львовича, по обыкновению, были гости, тем более что было воскресенье. В большой комнате с итальянским окном пахло плохим табаком; стены были без обоев: никакого признака хозяйской руки ни на чем. Около стен два-три плетеные стула и стол; посредине плохой биллиард с изодранными лузами и обитыми бортами; у противоположной стены новый, не обитый ничем диван; близ него в углу плевальница и кии; на окнах куски мелу и окурки. Между окнами, по бокам плохого ломберного стола, сидели — добросельский старшина Сила Титыч, известный уже нам несколько, давно уже переставший заискивать пред «благомысленными» деревенскими людьми и политично раскланиваться с ними. С тех пор он достаточно пополнел и полысел, физиономия его распухла — что называется, ему «господь лица прибавил», и он сделался еще флегматичнее и недоступнее. Он лениво смотрел на игравших на биллиарде и неторопливо, но неустанно грыз подсолнечные семечки, которые от времени до времени вынимал из кармана своего суконного халата. Рядом с ним, через стол, сидел пьяный Марк Марков, местный воротила по хлебной части, дальше — волостной писарь Терка, рябой, с перехваченным запоем горлом, и, наконец, сельский учитель — юноша в сажень ростом, с большим носом и большими ногами, на которых чрезвычайно как-то странно сидели сапоги и брюки, с убитым выражением лица. Все они лениво смотрели, как Коронат Львович в казакине табачного цвета, с цепочкой через шею, остриженный à la мужик, сияющий пухлыми розовыми щеками, играл на биллиарде с низеньким, юрким рядчиком. Кулак с Теркой выпивали, старшина невозмутимо грыз семечки и укладывал в правильные кучки шелуху; учитель внимательно следил за игрой и старался «держать в уме» счет очков; рядчик, ликуя, нырял около бортов, а Коронат Львович сердито мелил после каждого удара кий.

В таком направлении давно уже шла приятельская беседа, когда послышалось звяканье бубенцов. Коронат Львович взглянул в окно, мигом распахнул его и закричал:

— Петруша!.. Петр Вонифатьич! Заезжай же, сделай милость! Что же ты, братец, мимо? Это не по-приятельски... Заезжай, заезжай!..

— Неколи-с! Поспешаем очённо! — отозвался звучный молодой голос с середины дороги.

— Да полно! Успеешь еще! Ишь, гордый какой стал!..

— Да право-с, поспешаем очённо, чтобы засветло вот попутчику к домам поспеть... Уж мы как ни то на-днях...

— Да ты хоть на минутку заверни, на одно словцо...

— Это кто же такой будет, граф-то? — спрашивал Марк, прожевывая огурец.

— Это-с Петр Вонифатьев, Марк Маркыч, — отвечал Терка, — из Волчьего поселка.

— Петрушка-то?

— Он самый.

В комнату вошел молодец, в суконном кафтане, поверх которого надет был синий халат, в сапогах с тщательно уложенными складками на голенищах. Из-за борта кафтана выглядывала тонкая серебряная цепочка от часов. Молодой человек был среднего роста, худощавый, с худым, выразительным лицом, опушенным редкою кудрявою бородкой, и гладко причесанными волосами. В особенности выразительны были его карие, смотревшие исподлобья глаза, подозрительные, недоверчивые, как бы мимоходом сторожившие малейшее движение собеседников, схватывавшие всякое чуть заметное изменение на лицах других и затем хоронившие весь запас своих наблюдений на глубине души. Что творились там, на дне этой души, не говорил, казалось, ни один мускул на лице, — так вышколил свою подвижную от природы физиономию этот молодой парень. Едва он успел войти, как его зоркие глаза уже донесли ему, что мог сказать о нем кулак и как смотрели на него все присутствовавшие. Петр поискал было глазами образ, но, не найдя его, только перекрестился.

— Ну, брат, извини, — сказал Коронат Львович, — нет еще... Все еще вот не обставлюсь как следует... Все

еще, признаться тебе сказать, на кабак у нас здесь похоже... Да ничего не поделаешь, время такое, деловое... Надо приобрести... Это еще лучше будет! Ко мне ведь самый серый народ ходит... Я обычай уважаю... Ну, здравствуй! Поцелуемся, брат, без церемоний, по-приятельски... Кажись, можно нам приятелями быть: в Москве достаточно познакомились.

Петр троекратно расцеловался с Коронатом Львовичем, затем с легким поклоном подал руку старшине, который только притронулся до нее своей, затем подал руку Терке и просто поклонился прочим. Учителю он только кивнул головой, потому ли, что он не знал его, или не считал его достойным, — неизвестно.

— Ну, присядь, — говорил Коронат Львович, — вот сюда... Папироску не хочешь ли?

— Нет-с, благодарствую... Этого не придерживаемся, — отвечал Петр, отирая платком лоб.

— Старовер! Бросить бы пора предрассудки.

— Сызмалетства, точно, баловались... Да отстали... Потому пустое дело...

— Ну, водочки...

— Не употребляем.

— Что так?

— Так-с... Бесхарактерность это одна — не более...

— Вот как!..

— К отцу едешь? — строго спросил его Марков, словно обидевшись на его замечание о водке.

— К кому же больше?.. Понятное дело! — отвечал Петр, не смотря на него.

— А ты не учи: понятное дело!.. Без тебя знают...

— А коли знаете, так что ж и спрашивать... — сдержанно отвечал Петр, между тем как глаза его сузились и заискрились.

— А коли спрашивают, так, значит, есть зачем... Тебе об этом рассуждать нечего, а надлежит одно почтение выразить. Не велик еще барин! Дергачевский голоштанник!

— Ну, будет тебе... Угомонись... Ведь это, брат, не с вахлаками-мужиками... Набил мошну-то, так думаешь, что на тебя, как на идола, все молиться должны? — сказал Коронат Львович Марку.

— Кто это идол?

— Да ты...

— Я?.. Так помолишься и сам, — сказал Марков, наливая рюмку.

— Давно не видал своих-то? — заговорил старшина с Петром, так же равнодушно, как равнодушно ел подсолнечники.

— Давненько, годов пять будет, как наезжал на малое время... Одначе прошу прощения... Поджидают меня... Может, вы сообщение какое ни то хотели сделать?— обратился Петр к Коронату Львовичу.

— Да, да, — заторопился Коронат Львович, — вот поди-ка сюда...

И Коронат Львович увел Петра в соседнюю комнату.

— Вот присядь-ко.

— Ничего-с, постоим.

— Нет, ты присядь, брат, по-приятельски... Я тебе по дружбе все открою... Будь другой, да и я, если бы до кого другого касалось, не сказал бы, во-первых, потому, что наш брат, дворянин, с вами все еще, знаешь, привык по-крепостнически... Ну, а я этого предрассудка никогда не имел... Не так воспитан. Так вот я хочу предупредить тебя, истинно из дружбы...

— Коли что-с, — будем благодарны, в убытке не оставим. Оплатим.

— Вот ведь ты какой: сейчас и обижать. Недоверчивы вы очень.

— Дружба дружбой, а убытки к чему же нести?

— А из чувства благородства? Вы ведь этого не понимаете, что из одного благородного чувства развитой человек может на всякую жертву решиться.

Петр молчал и постукивал по столу пальцами.

— Что ж ты молчишь? Не веришь?

— Извольте продолжать-с.

— А если вот за это я не буду продолжать?.. Если за это вот, что ты так говоришь, я ничего и не скажу тебе? — рассердился Коронат Львович и в волнении стал закуривать папироску.

— Как вам будет угодно... Только чего же вы от нас желаете?

— Доверия, братец, доверия дружеского... Сердечности — вот чего... Ведь если бы ты был кулак Маркушка, так я бы, конечно, с тобой так не стал говорить... Потому ведь тот идол! Ведь он свинья откормленная! С ним по-человечески и не обращаются... Теперь я с него

получаю, что мне следует, как доверенному по делам, и больше знать его не хочу...

— Так и со всеми подобает-с, — заметил Петр.

— То-то вот и есть, что не со всеми... Я с тобой вовсе не хочу так дело вести, потому что ты не свинья, потому что в тебе замечаю нечто другое... Ты молод... В тебе вижу я залог... Не свинства — понимаешь?.. А залог именно того, чего недоставало до сих пор мужику... Залог ума, русского ума, русского здравого смысла... Вот почему я хочу от тебя доверия не бумажного, не официального, а сердечного... Я тебя уж давно отличил от других и готов открыть для тебя свое сердце!

Петр молчал и угрюмо продолжал постукивать пальцами по столу.

— Что же ты опять молчишь?.. Ну, да, впрочем, мы еще об этом поговорим... Ты меня еще недостаточно хорошо знаешь. А вот присмотришься, тогда... Только пойми, что я сердечно хочу сойтись с вами... Я дорожу хорошими отношениями с «новым» мужиком, с мужиком передовым, так сказать, который не хочет больше, как его родители, распустя слюни по бороде, жить, да у всякого, кто в сюртуке, ручки целовать.

Коронат Львович несколько раз молча прошелся по комнате, как бы желая умерить свое волнение.

— Ты еще меня не знаешь, — снова начал он. — Ты думаешь, что я только разными аферами занимаюсь, богатых мужиков охаживаю... Нет, брат, с нами еще живут благородные чувства... Мы не какие-нибудь выскочки из кутейников... Для тех одно: рви, сколько влезет, и все... У нас, брат, другое воспитание было... Мы, брат, с рабами умели жить душевно, с сердечною привязанностью.

Коронат Львович опять замолчал; повидимому, у него уже приходил к концу запас дипломатических подходов под «нового мужика».

— Так вот на первый раз я тебе скажу откровенно: пора вам за ум взяться... Едешь ты теперь к старикам; на тебе лежит обязанность их расшевелить, указать им на то, в какие они могут впасть беды, если, по нынешнему времени, будут жить спустя рукава...

— Это мы знаем-с.

— Ты-то знаешь, в этом я уверен... А по каким документам твои-то старики владеют Корявинской пустошью?

— По условию... Самим барином было подписано...

— То-то!.. А знаешь ли, что барыня-то теперь хочет все эти условия объявить несостоятельными, так как барин-то был тово? — и Коронат Львович повертел пальцами у лба.

Коронат Львович проницательно смотрел в глаза Петру, желая угадать, какое впечатление произвело сделанное им сообщение. Но Петр молчал, и в его глазах светилась только одна таинственная бездна.

— Ну, вот тебе на первый раз... доволен? Ты пойми, чем я рискую, открывая это тебе, — прибавил Коронат Львович.

— Благодарим душевно-с, — проговорил Петр и, по-видимому, чистосердечно.

— Ну, то-то... Ты всегда, Петруша, обращайся, коли будет нужно, как к другу... Заходи почаще, поговорим... Ведь тебе скучно будет там, в лесу-то, с медведями... Ведь у тебя старики-то сущие волки... Когда, случается, придут на село, так на них, как на редких зверей, смотрят. Приходи же.

— Благодарим... К нам на праздник не угодите ли? Милости просим... А теперь счастливо оставаться!

— До свидания, Петруша, до свидания! — ласково-покровительственно говорил Коронат Львович, похлопывая Петра по плечу, вполне, кажется, довольный, что, наконец, удалось ему вырвать у Петра хоть одно «сердечное» слово.

Между тем Филаретушка давно явился. Еще во время беседы с Коронатом Львовичем Петр неоднократно прислушивался, как в соседней комнате над кем-то хохотали и издевались Марк Маркыч и писарь Терка. Он слышал, как Марк кричал: «Эй ты, Чиж!.. хочешь к моей козе в абвакаты наняться?.. Ха-ха-ха!.. Промеж козы с козлом у меня препирательства произошли. Хочешь али нет? Отвечай, когда спрашивают!..» — «Помилуйте, Марк Маркыч, как это можно так его обижать?.. Мы его в судьи метим-с!.. Вот только цепь еще не сготовлена!.. Ха-ха-ха!..» — «Да чего ж ждать-то?.. Позвольте!.. Господин старшина! при вас ваши регалии? Позвольте на малое время... Вот мы только на Чиже примеряем: какой вид будет?..»

Филаретушка молчал.

— Писарь! надевай на него! Надевай! Ну, садись

за стол — суди... Рублевку дам! Слышишь? Получай рублевку, — орал Марк, — сделай нам удовольствие.

Вдруг Филаретушка взвизгнул:

— Отстаньте! Отступитесь! Что я вам сделал?.. Уйдите! — кричал он каким-то диким, певучим, визгливым голосом.

В это время Петр и Коронат Львович входили в дверь. Терка держал Филаретушку в охапке и старался надеть на него старшинскую медаль. Миниатюрное, острое лицо Филаретушки было неимоверно жалко: на нем выражались и ярость, и испуг, и стыд.

— И Чижик здесь! — сказал Коронат Львович. — Вот брат, рекомендую, мой конкурент по адвокатской части... Оставьте его! Что вы, идолы, издеваетесь?.. Я своих в обиду не дам!.. Ты знаешь его, Чижика-то? — спросил он Петра.

— Да-с, знавали... — сказал Петр и сердито-холодно посмотрел на Филаретушку.

Филаретушка успел несколько оправиться. Он уже не обращал ни на кого внимания, он видел только Петра. Весь еще красный от волнения, с бегающими и возбужденными глазами, он подошел к Петру.

— Вот у нас... какая здесь публика-то! — несмело и стыдливо проговорил он, вытирая платком потное лицо, как будто извиняясь за деревенские безобразия. — И ничего не сделаешь! Никаких средств! Конечно, от необразования... А я так и знал, — вдруг переменив тон, заговорил он шопотом и скороговоркой, — уж я там стариков-то предупредил... Я уж им высчитал минуту в минуту... Книжка такая есть... «Путеводитель» прозывается. Говорю: через час ждите нас... Непременно самолично представлю... И вот как раз!.. Минута в минуту!..

— Совсем, думается, напрасно волнение такое заводить, — холодно заметил Петр.

— Как напрасно? Почему так?.. Мы все ждем... и старики... Всем лестно... Я нарочно бегом бежал, — волновался Филаретушка.

— Пока счастливо оставаться! — обратился Петр к Коронату Львовичу.

— Ну, так до свиданья, Петруша...

— К нам на праздник не угодите ли? — пригласил Петр, обращаясь зараз ко всем.

— Придем, придем! — отвечал Коронат Львович.

— Ну, это еще бабушка надвое сказала!.. Пущай покланяется не раз, тогда и честь будет! — заметил Марк.

Петр вышел, а Филаретушка успел проскользнуть в дверь еще впереди его.

— Каков! Парнишка-то! — орал Марк Маркыч. — Ха-ха-ха!.. Из молодых, да ранний!.. Мое почтение-с, говорит, и ручку!.. Ах, поросенок!.. Ха-ха-ха!..

— Вот, погоди, утрет он вам бороды-то... Это, брат, не такие люди, что вы... Не идолы! — заметил Коронат Львович.

— Ну, ученые, простите!.. Виноват!.. Конечно, люди образованные!.. Скачите до нас, а мы подождем! Авось на нашу дорожку вернете!.. У нас, брат, что ни говори, а колея наезженная: едешь — ровно дома сидишь, только укачивает... Ха-ха-ха!.. Так ли, старшина?

— Правильно! — решил старшина, догрызший уже все подсолнечники, и стал собираться домой.

— Еще партийку отмахнем-с? — сказал рядчик Коронату Львовичу.

— Ставь!

Коронат Львович опять сердито насупил брови и принялся мелить кий.

III

— Извините, Макар Карпыч, — говорил, поправляя сиденье, Петр дожидавшемуся его спутнику, уже знакомому нам московскому молодцу в сибирке, — вот позамешкался очень...

— Продолжительно! — недовольно заметил москвич, подбирая вожжи.

— Нельзя... Я бы и не пробыл так долго, да человек-то, оказывается, нужный будет... Сообщение одно сделал. — Петр занес ногу в плетеный тарантасик.

— Это статья особая, коли так, — решил москвич. — Трогать?

— А мне-то можно... с вами? — сказал Филаретушка, все время тершийся около тарантасика.

— Стеснение будет... вот им, — проворчал Петр.

— Я на облучок... вот на самый кончик...

— Ну, ладно!.. До деревни подвезем... Это недалеко, — заметил Петр москвичу.

Филаретушка вскочил на облучок. Статная сивая ло-

шадь в тяжелой наборной сбруе сразу «снялась» с места и пошла бойкой рысью. Филаретушка приосанился. Он любовно посматривал на москвичей и думал, с чего бы начать с ними, как людьми столичными, политичный разговор?

— Ну, что, Петюша... тоись Петр Вонифатьич, как вы, значит, в Москве поживали? — начал он, как-то особенно ухарски. — Хорошо жить?

— Умному человеку везде хорошо, а дуракам и в столице плохо, — оборвал Петр.

— Да... это верно... Без образования куда плохо!.. Да ведь где же его возьмешь по здешним хоть, примерно, местам? Плохо здесь, бедно на этот счет... Чтоб ежели для ума али для души полезного — ничего не найдешь... Богачи здешние — все насчет того, чтобы как издевку над кем произвесть, а простые мужички во тьме ходят... Трудно здесь, трудно!.. Верно ведь, что трудно здесь, кому ежели пробиться вздумается?

— Умному человеку везде ход, — опять сердито-лаконически заметил Петр, глядя в сторону, в даль полей.

— Это верно!.. Конечно, что все от глупости... Только ведь тоже без поддержки трудно! Очень трудно! Я вот без вас, Петр Вонифатьич, тоже было по умственной части пошел... Книжки кое-какие нужные произошел.

Филаретушка улыбнулся и взглянул на Петра. Филаретушке хотелось высказаться: по обыкновению, его так и подмывало «излиться», но едва он взглядывал на серьезное, недоверчивое лицо Петра, что-то перехватывало его птичье горло. Он начинал и не договаривал, снова начинал и снова глотал конец речи. Наконец вдруг загрустил как-то, когда Петр, на его вопрос о том, что, вероятно, в Москве ученых по судейской части много, ответил:

— Брехачей-то этих достаточно... А что фигляров-то, так и своих там много...

— Что ж так... фигляров? Ведь ежели это на мой счет, так ведь я не виноват, ежели здесь публика такая... Вы видели, какая у нас публика-то!.. — обиделся Филаретушка и замолчал.

Он перестал «изливаться». Но жгучая потребность узнать от новых людей — как, что и почему? — так и подмывала его, и он от времени до времени обращался с односложными вопросами.

— Ивана Великого видели?.. Взлезали на него? Говорят, ежели посмотреть с него — картина? Верно? — спросил он.

— Не знаю... Этим не занимались.

— Гм.

Спутники опять молчали. Гулко и отчетливо-равномерно била лошадь копытами о плотную почву. Слегка поскрипывал и покачивался небольшой тарантасик.

— А правда ли, что будто скоро передел земли будет? — опять внезапно спрашивал Филаретушка.

— Какой передел?

— А так; мужички наши поджидают...

— И с той, что̀ есть, управиться не умеют! И ту бы от дураков отобрать надо, — заметил москвич.

— Гм... Так у вас там, выходит, об этом размышления нет?

— Мало ли вздору болтают, всего не переслушаешь, — ответил Петр.

Филаретушка опять замолчал и снова стал вслушиваться в глухие удары лошадиных подков.

— А не слыхали ли вы, говорят в народе, будто в псаломщики теперь по найму можно будет всякому поступать?

— Что же? Думаешь сам?

— Отчего же? Все же поддержка... и притом по книжной части...

— Нет, не слыхали...

— Гм... Ну, а что насчет податей?.. Говорят, будто одна поземельная подать будет...

— Это не наше дело, — сказал москвич, — для этого есть, кто выше поставлены... Говорить-то об этом...

— Вы, значит, этим не занимаетесь?

— Нет! Мы своим делом занимаемся.

— Ну, а у нас здесь мужички и об этом думают... Потому нельзя — дело близкое... Только что вот разъяснить некому... Много зря болтают... Книжек этаких тоже не достать... Думал, что вот вы разъясните... Ожидал...

— За эти разговоры-то у нас в Москве не хвалят, — сказал москвич.

— Ой? — быстро спросил Филаретушка.

— То-то и есть.

— Да ведь это все одно: чему быть — тому быть... Вот, примерно, пред чугункой говорили, что будет-де

вместо лошадей машина возить, огнем... кто бы поверил? Ан так и оказалось... Куда же вы сворачиваете?..— вдруг спросил Филаретушка. — Ведь вот сюда в Дергачи-то...

— Зачем нам в Дергачи-то? — сказал Петр. — Ты вот слезай... Мы подвезли...

— Как зачем? Почему так? А мы было всею деревней поджидали... Думали — мимо поедешь, поздороваешься с своими деревенскими-то... Тоже всем лестно...

— Нету, незачем... Чего там? Не видывал я, что ли, мужиков? А на мне какие узоры-то смотреть?

— Так, значит, не заедешь?

— Нету... Приходите на праздник к нам в поселок, там и увидимся...

— Гм... Так пока прощайте!

— Прощай!

Филаретушка спрыгнул с облучка, запахнул полы разлетая и быстро побежал к Дергачам. Он был взволнован; ему было не по себе. Он постоянно поправлял на голове свой новый, нарочно надетый для нынешнего дня картуз и только про себя повторял. «Нет, не так... Тут что ни то не так!..»

— Нет, не так... Тут что ни то не так! — повторял Филаретушка таинственно и тогда, как дергачевские мужики любопытствовали от него:

— Ну, что, Филарет Флегонтыч, как твои хваленые москвичи проявили себя?

— Нет, сразу нельзя, — говорил Филаретушка, — надо прежде всего расследовать! Тут что ни то, не так!

— Чего там расследовать! Это, брат, дело давно расследовано! Кулаки-то у нас, кажись, не в новинку!.. Али ты их еще не примечал?— нападали дергачевцы на Филаретушку. — Что, должно, неласково нашего брата с тобой гладят?

Но Филаретушка не поддавался; он ничего не говорил о московском приятеле Петра, который и самому ему почему-то не нравился, но защищал самого Петра; он боялся сделать окончательный вывод и глубоко верил, что тут есть что-то непонятное, что́ нужно «расследовать». Он не находил в своем лексиконе достаточного определения для этого «чего-то», которое, по

его мнению, должно было составить сущность петровой души. До праздника в Волчьем поселке оставалась еще неделя. Филаретушка мучился желанием скорее разузнать это таинственное «что-то» в своем друге Петре; он несколько раз порывался сходить в поселок, не дожидаясь праздника, но обида, нанесенная его беззаветной дружбе холодностью Петра, сдерживала его порывы. Он бы и готов был простить эту обиду также беззаветно, он и простил даже ее отчасти, во имя того таинственного «нечто», которое так изменило душу Петра и наложило на нее своеобразную печать, но чувство собственного достоинства и несколько уязвленное самолюбие не пускали его. Признаться, он даже поджидал, что Петр раскается в своей холодности, которая могла быть напущена в виду товарища-москвича, и сам придет в родные Дергачи.

Возбужденное воображение Филаретушки уже не один раз рисовало во сне такие соблазнительные картины. Сидит под вечер весь дергачевский мир на завалинке около избы старосты Макридия и «промывает бока» кулакам, мироедам и вновь наехавшим москвичам. Но вот вдали слышится стук колес. Кто-то едет в телеге со стороны Волчьего поселка. И вдруг все узнают, что это Петр с Вонифатием и Ульяной Мосевной. Телега подъезжает. Петр издали раскланивается, любовно улыбаясь, с дергачевцами, самодовольно поглаживает бороду Вонифатий.

— Ну, что? как живы-здоровы? — спрашивал Петр, пожимая по очереди руки каждому дергачевцу.

— Ничего, живем помаленьку, пока бог грехам терпит... Ты как?

— И мы, слава господу!.. Вот в Москве побывали, ума-разума попытали, людей посмотрели, себя показали, да и опять домой вернулись. Потому недаром пословица говорит: «в гостях хорошо, а дома лучше...»

— Так, так, это верно... Спасибо, что нас не забыл...

— Зачем забывать!.. Все мы свои люди!.. Об вас мысли не оставляли... Об том старались, чтобы как-никак полезным оказаться... Чему научились, об чем наслышались — все вам предоставим, обо всем побеседуем... Есть об чем поговорить, есть!

Так говорил Петр в разгулявшемся воображении Филаретушки.

— Ну, а как парнишки поживают, что Филька Косой? Что Василий Картошка?.. А как слепенькая Дашутка живет?.. Чай, уж большая выросла?

И долго, долго в таком роде спрашивает и любопытствует Петр; долго и пространно отвечает ему пронятый такою душевностью дергачевский мир, долго потчует молодого москвича староста Макридий жиденьким чаем. Но вот, наконец, покончил беседу Петр с почетными лицами дергачевского мира.

— Ну, что, Филарет Флегонтыч? Ты как? Как твоя старушка живет-может? Жива ли?

— Жива, жива! — вне себя от радости отвечал Филаретушка. — Пойдем ко мне, в хибару-то мою... Припомни-ка избушку-то... Вот, брат, где кое-что поисправил, крышу тесом перекрыл. Это, брат, все на то, что зимой перепадало от судейских делопроизводств!.. Да, брат!.. А то бы шабаш!.. Хоть в пастухи нанимайся!

И пойдут они с Петром в филаретушкину избушку. Тут-то уж покажет ему Филаретушка все и вся, накопленное им, свое «святая святых». Покажет он ему картины, развешанные по стенам, которые покупал он, когда случалось ездить в город в мировой съезд. Картины на стенах все были больше «строгие», которые он выбирал, сообразуясь со вкусом матери: сначала шли различные изображения божией матери, от «Утоли моя печали» до «Неувядаемого цвета», затем архипастыри, в число которых попал какими-то судьбами Ян Гус, вероятно выдранный из какой-нибудь книги. Но главным-то образом показал бы он ему свой сундучок. В этом сундучке лежали на самом низу тщательно сложенными (о, ужас! Филаретушка даже при одной мысли покраснел) старенькие триковые брючки, поношенный сюртучок, доходивший ему ниже колен, жилетка с фасонистыми обшлагами, глаженая манишка и галстук. Он сказал бы ему, что все это он надевал только один раз, и то потому, что «никак нельзя было иначе», и то в городе, где бы не видали его мужики. Единственный раз форснул он в нем в мировом съезде. С тех пор весь этот костюм лежит нетронутым. Впрочем, был еще случай. Как-то прошел слух, что к добросельскому батюшке приехали «господа ученые» — его два сына: один вновь испеченный врач, в только что сшитом форменном вицмундире, и студент-медик. Филаретушке ужасно

хотелось познакомиться и поговорить с этими «учеными». Но как это сделать? Будут ли они с простым мужиком знакомиться? Как бы им представиться в качестве нового деревенского человека? И вот Филаретушка решил одеться в свою заветную пару. Одевшись, он сначала издали прошел мимо батюшкина дома, затем поближе, еще поближе, пока, наконец, не дождался, когда вышли «господа ученые» на крыльцо. Здесь он, как будто разгуливающий по своим делам, почтительно снял фуражку и раскланялся. К его счастью, «господа ученые» сразу заговорили с ним, и он, таким образом, достиг цели. Впрочем, это знакомство было недолгое. «Ученые» скоро уехали. А над филаретушкиной парой долго после того гоготала и издевалась сытая добросельская интеллигенция. Поверх этой заветной пары лежала разная «необходимая принадлежность». Он не стал бы, конечно, показывать Петру зеркальце, ваксу, помаду, щетки, карандаши, бумагу, но показал бы ему приобретенные им в городе же на толкучке книжки: «Календарь крестный» («чрезвычайно приспособительная книжка»), «Устав о воинской повинности», о конной повинности какие-то листочки («все это более для деревенского приложения»), несколько разрозненных книжек «Грамотея», евангелие венского издания, бог знает где добытое им, и, наконец, тетрадка, на которой крупным почерком выведено: «Титулы» («важная вещь! Это мне добросельский писарек все выписывал, как, к кому, с каким титулом, при каком обращении к чину и званию всякого положения относиться... Вот, например: к мировому судье — его высокородию... к г. губернатору — его превосходительству, начальнику губернии...»).

Так долго беседует во сне Филаретушка с воображаемым Петром, пока Петр не скажет:

— Эх, брат Филаретушка, славный ты малый!.. Я, брат, думал, ты загиб во тьме-то здешней кромешной!.. Думал, и грамоту-то забыл! Думал, что ты при своей бедности, кроме мамона, ни о чем уже понятий не имеешь! Думал, выйдет из тебя от тоски да горя пьянчужка, что у богатых мужиков да господ наезжих ручки целует за косушку водки... А вот бог хранил!.. Ну, коли так, Филаретушка, мы с тобой вместе в Москву поедем... Там, брат, не таких еще книжек достанем!.. С умственными людьми я тебя там сведу!..

Вот парочка-то как раз и пригодится там... Там уж не будут над ней издеваться!

Разгулявшаяся фантазия уже донесла Филаретушку в Москву.

Он в Москве с Петром. Петр водит его повсюду. Показал он ему и Ивана Великого, и царь-пушку, познакомил он его с «умственными людьми». И эти умственные люди над ним не хохочут, не издеваются, а все говорят, все толкуют, все рассказывают; книжек да ведомостей надавали — счету нет. Закружилась у Филаретушки голова. Давно, еще прежде, в деревне, он нередко задумывался над вопросом: кто и как это книжки пишет? А теперь уж думает: «Ловко бы было, кабы самому книжку составить и все в ней изложить, что крестьянства касающее! Только ведь смысла много надо!»

— Тоже ведь попробуй-ка начало с концом свести!.. Много смысла надо! — сомневается в своих силах Филаретушка. Но умственные люди обещают после показать ему, как и книжки составлять.

— Ну, — говорит Петр, — будет нам в Москве проживаться. Ведь здесь соблазны велики! Только дай над собой волю, так, пожалуй, и родных своих презирать будешь; пожалуй, и серого мужика станешь стыдиться, забудешь зачем и ехал сюда! Пора, Филаретушка, пора в родные палестины забираться...

Опять фантазия переносит Филаретушку в родные Дергачи.

Видится ему, с каким почетом и с каким уважением встречает их родная деревня, да и не одна только, а вся Добросельская волость. По всей Добросельской волости про них слава, что стали они совсем людьми «умственными», а меж тем в Москве не отстали от них, мужиков, не отрешились. Мало ли, много ли времени спустя, только скоро выгнали из старшин толстого Силу Титова и выбрали «единогласно» Петра Вонифатьева, Волка-младшего. Филаретушку сейчас же к нему в волостные писаря определили. Фантазия донесла уж Филаретушку до того пункта его заповедных мечтаний, где уж она не могла остановиться. Даже во сне трепетал Филаретушка, покуда картина за картиной, неудержимо, одна за другой, неслись пред ним.

Видится ему, что едва только совершилось единогласное утверждение Петра в добросельских старши-

нах, а его, Филарета Флегонтова Чижова, в волостных писарях, как тотчас они с Петром объявили добросельскому миру, чтобы он собрался к волостному правлению. Собрался мир. Вышел к ним Петр и сказал: «Ну, мужички почтенные, известно нам давно, что много у нас с вами накопилось горя, много накопилось нужд... И пока владычествовали над нами кулаки-мироеды, не можно было нам о тех нуждах кому следует изложить... Теперь надлежащее время приспело. Для того мы и в Москву ездили и от «умственных» людей научались, чтобы полезными вам в сем деле оказаться... Посему надлежит вам выбрать из каждого сельского обчества «лепутата» к нам в пособие, а мы с «лепутатами» составим подробное изложение, как мужички и в чем нуждаются и в каком роде крестьянское устроение наилучшим и справедливым помышляют... А сие изложение, по прочтении вам и по составлении надлежащего законного приговора, повезем мы с лепутатами в Петербург».

Еще неудержимее несется фантазия Филаретушки. Вот уже выбраны семь «лепутатов», — семь благомысленных мужиков от семи сельских обществ Добросельской волости. Вот уже заседают эти благомысленные «лепутаты» в волостном правлении целый месяц за составлением изложения нужд и необходимостей крестьянских и как крестьянскому устроению, согласно желанию мирскому и справедливости, надлежит быть; заседают они под руководством Петра Вонифатьевича Волка младшего, а Филарет Флегонтов Чижов неустанно исправляет, направляет и составляет протоколы. Вот уже готово «изложение», готов приговор добросельского мира, который уполномочивает семерых благомысленных людей, под старшинством Петра и в сообществе с волостным писарем Филаретом Флегонтовым, ехать с этим изложением куда надлежит, и «что́ сии «лепутаты» по сему делу сочтут нужным и необходимым учинить, в том он, добросельский мир, спорить и прекословить не будет».

Но здесь уже отказалась фантазия Филаретушки рисовать дальше. Дальше что-то закружилось в его голове неясное, неопределенное, баснословное. Остановимся и мы здесь.

Филаретушка мечтал день, другой, третий, а Петр не приезжал в родные Дергачи.

IV

«Как-то теперь в Волчьем поселке? что? каким образом? вообще в каком направлении дело состоит?» — не один уже раз спрашивал самого себя Филаретушка.

Филаретушке очень интересно было узнать, как там встретили Петра, как и что сам он, как взглянул на своих близких, «какое обращение имеет», как отнесся он к сторонним людям выселка, кому какие подарки привез, об чем и с кем «собеседует»... Все эти вопросы вертелись в его голове постоянно, на все хотела получить самые подробные ответы его полная любопытства душа. Эти же вопросы не переставал он задавать себе, когда решился, наконец, зайти в поселок.

А между тем мирная жизнь поселка вступала в новый фазис.

Мы уже упомянули, что ожидаемый приезд «москвичей» возбудил в обитателях выселка какие-то неясные, неопределенные и потому тяжелые «предчувствия». Обитателям поселка, так же как и всем прочим людям, тоже не чужды и мечты, и жажда перемены, и смутное стремление к лучшему, но тяжелый опыт исторической жизни подорвал крылья этим мечтам. Давно уже эти смутные, неопределенные стремления обозвал мужик «предчувствиями» чего-то недоброго; давно он боится их, чурается и всячески усиливается заглушать в себе; редко великие перемены в исторической жизни приносили ему радость и счастье. Когда нечто «новое», нечто «чуждое» ему колебало устои его жизни, он бежал в раскол и крепко держался за эти устои, крепко стоял за них, как за «свое», каково бы оно ни было, так как в этом «своем» он находил удовлетворение и своему уму, и своему сердцу, и своим вековым идеалам. Эти «предчувствия» в ожидании наплыва чего-то «нового» напоминают то душевное состояние, которое испытывает мужик при приближении мрачной, свинцовой, надвигающейся из-за горизонта тучи. Давно ожидали ее мужики, ее, желанную и неоднократно просимую у бога. Давно растрескавшаяся земля жаждет хоть капли влаги, давно ждут ее и поблекшие всходы ярового хлеба, и уже по местам «загоревшиеся» полосы ржи, и душный, пропитанный гарью воздух. В этом душном, распаленном воздухе носятся мириады насекомых. Истом-

ленная скотина ищет хоть капли свежего воздуха, хоть клочка тени; она бросается в лес, но здесь облепляют ее мухи и слепни, и скоро, как очумелая, несется она вон из леса, вся как будто иссеченная иглами и прутьями, с потоками струящейся по груди и бокам крови... А солнце жжет и жжет неустанно: томительно-однообразно тянется день за днем в какой-то тяжелой истоме; работа валится из рук; изнурительный пот ослабляет организм; труд становится каторжным; тяжко дышать и жить. Хоть бы какой-нибудь перемены! Надо молиться! Но вот и она. Тяжело, медленно подвигается она из неведомого далека. Крестится мужик, но в то же время душу его томит страшное предчувствие. Ее гнетет неизвестность, — оросит ли эта желанная, давно жданная туча благодатным дождем его опаленные нивы, или пронесется разрушительным ураганом и градом и уничтожит последние мечты и надежды.

Пред Волчьим поселком, где дорога делала поворот из рощи, московский молодец Макар Карпыч приосанился, поправил на голове картуз, подобрал вожжи, крепко натянул их, и статная сивая лошадь молодцевато пронесла приехавших через улицу поселка прямо к избе Вонифатия. Петр не успел даже раскланяться с встретившими его обитателями. Вонифатий, покрякивая и улыбаясь, бросился бегом во двор и настежь распахнул ворота. Макар Карпыч ввел в них под уздцы лошадь, а Петр суетливо стал вынимать из кузова тарантаса узлы.

— Поди, поди, касатик, в избу-то,—говорила старая бобылка Феклуша, — мало ли здесь народу-то! Все внесут.

— Нет, зачем же... Я сам... Мы сами.

— Ну, милости просим... Пора, давно пора! Забыли совсем родную-то деревню! — ласково говорила Ульяна Мосевна, уже успевшая войти в избу Вонифатия, смахнуть с лавок и со стола сор и выгнать наседку с цыплятами. — Ну, входите, входите! А вы, ребятки, пропустите гостей-то, — обратилась она к набравшимся уже в сенцы крыльца солдаткиным ребятишкам.

Петр молча вошел в избу, положил на лавку узлы и фуражку и стал креститься.

— Честь имеем кланяться! Вот и мы к вам!—громко сказал, войдя, товарищ Петра.

— Ну, милости просим! ждали!..

Петр попрежнему молча расцеловался троекратно с Ульяной и Вонифатием. Солдаткины ребятишки успели забраться и в самую избу.

— Припереть бы дверь-то, — заметил Петр.

— Зачем, зачем припирать, Петруша? Все наши ведь соберутся! — сказала Ульяна.

— Вы... пошли вон!.. Пошли!.. Чего не видали? — выгонял Вонифатий ребятишек.

— Полно, оставь их. Ведь им тоже любо... Все ведь мы здесь, почесть, родные... Совсем мы здесь, Петрушенька, все как сроднились... Вот солдаткины-то ребятишки мне все одно, ровно свои, кровные... Право!

— Так это, выходит, у вас родни-то здесь весьма довольно!— вскричал Макар Карпыч.

— Довольно, довольно,—заметил, улыбаясь, Вонифатий, садясь рядом с Петром, вытиравшим лицо и расстегивавшим кафтан.

— Весьма довольно! Эдак и наследства нехватит про всех! Как бы после какого препирательства между названными родственниками не вышло!

— Хватит, про всех хватит... Нам ведь немного надо! Мы по-мирскому живем! А от неудовольствия сохрани господи! — заметила Ульяна. — Мы все свои.

— Тетенька, распорядись, — сказал Петр, вынимая из узла сверток и подавая Ульяне, — у меня, значит, намечено — кому что... Распределено. Только ежели недостача выйдет, так прошу не взыскать... Потому все у меня не более как по кровному родству распределено.

— Ну, уж как сделано, так сделано, — заметила Ульяна, — не переделывать... Только бы, по-моему, забывать и других тоже не след... Все ведь из одной чашки едим, в одну житницу хлеб возим... Ну да уж ничего, мы ведь невзыскательны...

— Надо извинить,—сказал Макар Карпыч,—почему что, как все это от любви к вам, кровным, он так и сделал... больше вас уважает, чем чужих...

— Про всех нехватит, — проговорил Петр.

— А помаленьку, так и про всех хватит, Петюшенька... Хоть и помаленьку, да всякому, — ан, глядишь, и всем удовольствие.

— Ну, полно тебе ворчать-то... Только что въехал,

а она уж и выговоры! Дай хоть оглядеться-то, — вступился Вонифатий.

— Ну, он на мне не взыщет, я ведь не от сердца говорю... Только напредки, чтобы в уме держал... Натко-сь!—удивлялась Ульяна Мосевна:—На всяком подарке ярлычки прописаны... Всякая вещь веревочкой перевязана... Как быть по-столичному!

— Все чтобы в порядке. Он зря не любит Вы бы взглянули у него в Москве на фатере... Загляденье! Не то что по-деревенски, можно сказать, свинство какое, как некоторые из мужиков живут! — рекомендовал Петра его приятель.

— Это дело хорошее, что́ говорить! Ведь и по-деревенски живут в чистоте, кого ежели господь мало-мальски достатком благословит. Тоже грех сказать, чтобы как свиньи жили. Все люди!.. А кого господь бедностью пошлет, то ему уж не к чему и порядки приспособлять. Хвалиться этим нечего!.. Все от бога!..

— Не могу сказать-с...

— Вишь ты, вишь ты, какую шаль мне привез! Вот, что напрасно, так напрасно! А это вот тебе, вишь ты, намечено, отец! На кафтан вот это. А это уж и не знаю, к чему, такое узорчатое...

— Это батюшке на жилетку, — заявил Петр, — полубархат... Остаточком закупил.

— Ай, ай, ай,—закачала головой Ульяна Мосевна,— вот не похвалю... Ну, куда нам, старикам, эти форсы?.. Ты бы подумал...

— Я так полагаю, тетенька, что пора бросить смиренство-то да приниженье... Тоже и мы люди! Чем мы других хуже?.. Нужно-с тоже и свою гордость иметь!— сказал Петр и весь вспыхнул.

— Весьма правильно, — поддержал его московский товарищ.

— А по моему глупому разуму, — сказала Ульяна,— так нам бы попроще и за глаза было довольно, да и всем бы нашим посельским хватило на уважение по подарочку. Всем бы было в удовольствие! А то вот теперь и зазорно мне на людях в фасонах-то этих ходить... Вот и спрячу я его, подарок-то твой, чтобы люди не видали...

— Напрасно. Не с тем деньги тратили. Думали, чтобы как лучше, как способнее...

— А вот поживешь между нами, так и узнаешь, как лучше надо. Так-то, Петюшенька. Ну, да и то сказать: чего я раскудахталась в самом деле? Голодное-то брюхо, говорят, к ученью глухо... Пойти-ко мне сготовить все. Приходите ко мне ноне в келью обедать. Ноне уж, так будем считать, праздник у нас... Я на всех готовила. Филаретушка высчитал, что тебе непременно сегодня быть надо. Да встретил ли он тебя? Должно, задержало что ни то. А как уж он старался всячески, чтобы тебя встретить... Больно уж он к тебе привержен, словно младенец! Наредкость такая дружба.

— Видел я его. У Короната Львовича встретил.

— Что ж он с тобой не приехал?

— Стеснение могло быть, потому меня вот Макар Карпыч нарочно в городе встретил. Притом, что ж ему теперь здесь делать?.. Здесь дело родственное... На праздник приглашал я его.

— Ну, ваше дело, ваше дело!.. Так я кликну вас обедать!

Ульяна ушла. Петр снял кафтан. Он хотел переодеться. В дверь то и дело выглядывали чьи-то глаза. Один раз мелькнул даже единственный глаз Сатира.

— Припереть бы, тятенька, дверь-то,— сказал опять Петр.

— О? Ну, ладно. Припру. Еще насмотрятся.

— Конечно. Не более, как деревенское любопытство: лезут в самую физиономию,— заметил москвич.

Петр взял узел и ушел переодеваться за перегородку.

Москвич подсел поближе к Вонифатию и, мотнув головой по направлению к Петру, сказал вполголоса:

— Весьма умственный человек!

— Это Петюшка-то?

— Петр Вонифатьич. Да-с. Наредкость, я вам могу сказать. Из крестьянского звания даже очень редко такие проявляются.

— Ой ли? — наивно-самодовольно удивлялся Вонифатий.

— Совершенно правда. Конечно, не сам от себя, все от родителей... Выходит, вы сами почтенный родитель, и детище такое вышло... Весьма умственный крестьянин!

— Он у меня шустрый! И я ведь в свое-то время

куда шустер был, большой руки был вор!.. Теперь-то вот пристарел, как бы, значит, смирился...

— Так, так!.. По родителям! Мой тятенька вот тоже большой руки был кеммерсант... Пять раз банкротился, а все капиталец нам, хоша и небольшой, предоставил, вечная ему память!

И москвич перекрестился.

— Мы родителей уважаем-с!

— А мать-то жива у тебя?

— Как же-с! Божий милостью проживает. У нас капитал общий-с. Все на маменькино имя переведено-с. Оно так-то свободнее...

— А вы из крестьян будете?

— Как же-с! Из крестьян. Тятенька не один раз хотел в купцы выписаться, да говорил: зачем свое звание унижать? Умственным людям своему сословию надлежит честь делать...

— Гм...

Помолчали.

— Далеко пойдет! — опять мигнул москвич за перегородку, — только, по молодости, весьма с людьми суров... А так нельзя. Более надо обходительностью брать.

— Молод еще!

— Дочка ваша, тоже могу сказать, весьма приятная девица, — опять как бы мимоходом заметил москвич. — Конечно, одного родителя...

— Так что ж? Сватай, коли нравится! На то и девки растут, — пошутил вконец польщенный и размякший от благодушного настроения Вонифатий Мосеич.

Москвич приятно и чуть заметно улыбнулся.

— Ты холостой ведь?

— Пока не в сожительстве.

— Чего ж думать? Пора и закон принять, пока не набаловался. Вот мы и Петюшку окрутим здесь, по-деревенскому.

— Мы непрочь.

— Так-то так... Да ведь вам наши деревенские-то девки, поди, не по губе уж будут.

— Отчего же-с? По нынешним временам и с деревенскою девушкой можно весьма значительный оборот сделать.

— А можно, так и за сватов приниматься! Слышал

ли, Петюшка? Мы здесь сватовство зачинаем, — обратился Вонифатий к вернувшемуся из боковушки Петру.

— На чей счет?

— Да вот обоих бы вас, московских молодцов.

— Я и подожду. Торопиться с этим некуда. А что насчет ежели Макара Карпыча, то это дело уж у нас давно одумано. Единственно только за вами с теткой разговор остался.

Вонифатий Мосеич несколько удивленно посмотрел сначала на улыбавшегося Макара Карпыча, потом в серьезные, вдумчивые глаза Петра.

— Да вы в шутку это, али в серьез? — спросил он.

— От умственных людей шуток не бывает,— заметил Петр. — Ежели мы сумеем умственного человека отличить, так от него, кроме серьезного, ничего быть не может.

— Это так, так... Я тебе верю. Ты даром что молод, а зря слова не бросишь, у тебя все вперед удумано. Всем так говорю...

— Эти качества не при нас только состоят, — скромно заметил Петр, — они у всякого, кто умственно желает жить, а не то что по благодушию, спустя рукава... Одначе, тятенька поспешить бы с этою самою церемонией-то, — прибавил он.

— С какой? Со свадьбой-то? Больно ты прыток...

— Не об свадьбе речь, а насчет обеда... Макару Карпычу в губернский надо, так чтобы нам с тобой успеть палестины обежать... Макар Карпыч сейчас прикинет, что к чему нужно. А потом в городе насчет земельных банков справку сделает... С чиновниками об аукционах поговорит. Нынче дар-то божий, земли-то, весьма легко с молотка приобресть...

— Не пойму я вас, признаться.

— А впоследствии времени все это весьма уяснится, — утешил Макар Карпыч.

— Об этом уж обо всем заранее удумано: даром время не проводили в столицах... Коли в чем прямая польза, так непонятного и сумнительного быть не может. Я так полагаю, никто своему счастью не враг, — проговорил несколько раздраженно Петр.

— Что ж? Коли что вперед удумано, так тут фальши нет. Значит, дело не зря. Вы люди деловые, вам виднее, — поспешил заявить Вонифатий, как бы боясь,

чтобы как-нибудь не разрушились за раз все его мечты. — Ступай, торопи тетку-то, — прибавил он.

— Да-с, поспешить надобно,— сказал Макар Карпыч, поднимаясь и осанисто начиная слегка покачиваться на носках своих блестящих сапогов. — Сызначала насчет общего земельного нашего обустройства операцию сделаем, а там, смотря по обстоятельствам времени, вашу дочку, с вашего позволения, на нашем жеребце по селу прокатим-с... И весьма будет это для всех нас вообще дело полезное!

— Посмотрим, посмотрим, — полунедоверчиво, но тем не менее не без тайной приятной мечты в сердце проговорил Вонифатий Мосеич.

— Присмотримся и мы-с.

Как ни старался Петр, однако «поспешить с церемонией обеда» ему не удалось. Прежде всего Ульяна Мосевна прямо заявила, что он больно прыток стал... «Вот погоди, в Москву к тебе приеду, там и верти, как хочешь, по новым модам... А здесь, в наше дело старинное, соваться тебе нечего», — говорила она хотя и любовно, но с очевидным расчетом на заднюю мысль. Затем оказалось необходимым разыскать и подождать дядьев, без которых ни под каким видом церемония обеда не могла состояться. Пришли дядья, троекратно расцеловались — Хипа с неизменным молчаливым добродушием, Вахромей полусердито, недоверчиво. Последний тотчас же сел на порог двери, закурил трубку и, поджав под себя ноги, попыхивая в чубук да сплевывая за дверь, стал настойчиво и хладнокровно смотреть на Петра. Одинаково внимательно и неторопливо исследовал он его лицо, затем жилетку, рубаху, штаны, сапоги. Он ни о чем не спрашивал, ни о чем не любопытствовал; повидимому, свои личные безмолвные наблюдения он находил совершенно непогрешимыми и достаточными и считал ненужным входить в какие-либо расспросы. Хипа, напротив, вовсе не думал делать выводов и наблюдений, а удовольствовался только тем, что полюбопытствовал посмотреть у Петра московские часы, повертел их в руках и бережно опять положил ему в жилетный карман.

Сели было уж совсем за стол, но Ульяна Мосевна

заявила, что она нынче про всех готовила и что ради такого случая нужно непременно крикнуть к общему столу и Сатира с Иваном Забытым.

— К чему эту церемонность, тетенька? — опять не вытерпел и заметил Петр. — Лучше бы ноне без гостей... по-родственному.

— Не гости они у нас, не гости — свои люди... И тебе надлежит с ними общего хлеба-соли принять: вместе, бог даст, жить приведется, вместе и горе, и радость делить, — ответила Ульяна Мосевна. — К людям ближе — счастие крепче.

— Чего людей-то боишься? — круто и неожиданно спросил Петра Вахромей.

Петр не отвечал.

Пришли и Сатир с Иваном. Начался обед — чинно, продолжительно, степенно. Даже Вахромей, несмотря на свой порывистый темперамент, несмотря на то, что и сам в другое время редко высиживал до конца обеда, нынче ел, как нарочно, особенно медленно. За обедом мало говорили, только один москвич рассказывал до утомления обстоятельно об удобствах московских конножелезных дорог.

Наступил уже вечер, когда Вонифатий, Петр и Макар Карпыч, порядочно-таки измученные, возвращались с обхода палестин Волчьего поселка. Московский молодец был, повидимому, вполне доволен результатом осмотра. Он уже не раз повторял, вздыхая: «Места здесь — блаженство!» А рощу даже назвал «парком». Вонифатий хотя и не понял, что́ это значит, но остался очень доволен. Петр не предавался никаким восторгам, никаким излияниям. Он шел несколько впереди, один, и глядел упорно в бесконечную даль полей.

А в это время у избы Вахромея мирно беседовали обитатели поселка и двое из дергачевцев, уже облекшиеся, по осеннему времени, в валеные сапоги и полушубки. Вахромей держал в пазухе свою младшую дочурку и занимал ее разными охотничьими подсвистываниями и подкрякиваниями. Хипа с одним из дергачевцев, как малые ребята, «баловались», сидя на земле и перетягивая друг друга за палку. А другой дергачевец их поощрял и, сияя своею широкою рыжею бородой,

произносил решающий приговор состязанию. Тут же присутствовал и Сатир с Иваном Забытым.

Петр давно уже заметил мирную компанию, но, когда он разглядел, чем эта мирная компания занималась, ему вдруг стало ужасно стыдно. Ему хотелось обойти их, отвести мимо и своего приятеля москвича, но обойти было нельзя. Притом его приметил и тянувшийся за палку бородатый дергачевец, бывший заметно навеселе.

— Петру Вонифатьичу! Сколько лет, сколько зим не видались! — закричал он ему навстречу. — А мы вот не утерпели... Сами явились. Полюбопытствовать, выходит, — прибавил он, когда подошел Петр.

— Интересного мало,— проворчал Петр.

— Помилуйте... Как можно-с! Ведь у нас такие люди наредкость! Столичное поведение, так скажем... Совсем, значит, особая статья.

— На палке не тянемся — это верно! — опять отрывисто заметил Петр.

— Ну, вот, вот! Как есть! Ведь это наше дурацкое поведение. Почему что, как лесные дураки, выходит! — заговорил задетый за живое дергачевец.

— А он, братцы, у вас из деловых, — иронически заметил другой дергачевец, — недаром с москвичом-то дружен... не успел родным честь сделать, да уж и за дело.

— В деле греха нет.

— По коммерческой части, — продолжал рыжебородый дергачевец. — Смотрите, как бы и вас заживо не запродали, — подмигнул он дядьям.

— Ни о чем не думая, скорее себя запродашь, а умный человек еще других закупит, — отвечал Петр, лихорадочно постукивая себя пальцами по борту кафтана и стоя вполоборота к присутствовавшим.

— Так, так... Неравно продавать будете, так спросить не забудьте. Может, кто и не согласится еще!

— От счастия люди не отказываются.

— Как знать? Мы ведь деревенские дураки! Может, по глупости, и счастия не признаем.

— Случается. Под носом не видят. До старости по боям ходят, на палках тянутся, на птицу охотятся. А тем временем на спинах-то горбы вырастают, а на этих горбах только ленивые не катаются. Други да приятели после самим же в глаза нахохочут! А там, малое

время годя, фиглярить начнем! За рюмку водки хоть наплюй на лик-то божий...

Петр говорил, ни на кого не смотря, и только блеск его глядевших сердито исподлобья глаз да порывистые движения руки по борту кафтана выдавали его волнение.

— Так, так! — подтвердил дергачевец. — Это, брат, что верно, то верно! Эту самую нашу судьбу расписал ты чудесно... А с приездом, брат, поздравиться надо бы! — прибавил он, утерев бороду.

— Этою бесхарактерностью мы не занимаемся! — круто закончил Петр и, заметив подходивших отца и москвича, зашагал к своей избе.

— Вонифатию Мосеичу! — крикнули дергачевцы. — А мы вот полюбопытствовать насчет вашего молодца...

— Ну, что ж!

— Видели, видели! Деловой!

— Дай бог!

— Дай бог! Что говорить! Разнес он тут и дядьев своих, и нас — чудесно. Лучше быть не надо! К вашему богатому делу он идет... А кабы он к нам в деревню приехал, так мы бы ему, деловому-то, да цеп в руки! Это бы вернее... Так ли?

Но Вонифатий только махнул рукой и, не отвечая, прошел с москвичом.

— С приездом бы, Вонифатий Мосеич! — крикнули ему вслед дергачевцы.

— На праздник приходите, на праздник. Заодно уж! — откликнулся он.

— Ну, на праздник, так на праздник — нечего делать!.. Прощайте пока! Деловит больно у вас молодец-то.

Дергачевцы ушли. Дядья продолжали еще сидеть молча. Вахромей, однако, давно уже спустил с рук дочурку и порывисто выкуривал трубку за трубкой, что было у него признаком сильной душевной неурядицы. Но он до поры до времени не любил говорить, не любил «отводить душу» разговорами.

Скоро мимо них проехал москвич на своем сивом жеребце и как-то особенно почтительно раскланялся. Вахромей только сплюнул ему вслед и сердито крикнул в окно своей бабе:

— Федосья! накрывай ужинать!

Собеседники разошлись. Ульяна Мосевна заглянула было в окно к Вонифатию, но Петр сказал, что он устал и хочет спать. Ушла к себе в келью и Ульяна Мосевна.

V

Утро следующего дня застало обитателей Волчьего поселка за молотьбой хлеба. Они уже работали давно, и нынче как-то молчаливо шла работа. Вследствие ли осенней погоды, или почему другому, но мужики были суровее обыкновенного, сердитее кричали на баб и лаконичнее отвечали на вопросы. Даже Хипа меньше улыбался. Только Вонифатий Мосеич был, к удивлению, благодушнее, чем когда-либо, и даже расшутился было, но шутка не удалась, когда его сердито оборвал Вахромей. Вонифатий замолчал, но лицо его не перестало сиять благодушием. Это «сияние», повидимому, не особенно нравилось Вахромею и раздражало его, хотя он не говорил ничего. Братья Волки уже кончали овин и собирались итти завтракать, когда проснулся Петр. Умывшись, он тщательно причесал свои черные кудри, затем истово помолился пред образом и, наконец, вынул из ящика небольшой самовар, в виде вазы, с львиными лапками у ручек. Он сам сходил за водой, сам поставил его и, когда он закипел, внес его в избу, постлал скатерть на стол, вынул из чемодана пару чашек, небольшой ящик с чаем и сахаром и, поместившись пред самоваром у окна, молча, сосредоточенно и с сознанием собственного достоинства принялся пить чай. Пил он неторопливо, блюдечко за блюдечком, и, повидимому, нисколько не смущаясь одиночеством. Нисколько не смутился он, когда вошел в избу отец и, размахнув руками, вскричал:

— Ай да москвич! Уж и хозяйством раздобылся! Ну и деловой же у вас в Москве народ! Ну, ну, угощай!

Петр с особенною ловкостью вытер чашку, как-то особенно искусно, то приподнимая, то опуская чайник, тонкою струей налил чай и, подвинув чашку на другой конец стола, проговорил:

— Садись.

— Угощай, угощай, брат!.. Только вот без хозяйки-то что-то как будто нехватает! — говорил Вонифатий, в душе совершенно довольный «хозяйными» качествами своего сына.

— Деловой, деловой! Правду дергачевцы-то говорили, — повторил Вонифатий, принимаясь за блюдце. — Московский чаек-то? — спросил он, втягивая носом пар от чашки.

— Кяхтинский, настоящий. Черная бровь. Петра Орлова с сыновьями.

— То-то, попахивает... приятно!

— Букет... два рубля фунт... Там завсегда такой пьют, кто ежели толк понимает...

— Что говорить!.. Нет, вот у нас, что ни вали в чайник-то, все будто травой отзывает. Да ведь мы невзыскательны! Была бы вода в животе попарить да поотдохнуть нараспашку... Тепло оно при самоваре-то.

Но еще в большее изумление пришла от «хозяйных» качеств Петра Вонифатьевича Ульяна Мосевна.

— Ишь ты, ишь ты! — сказала она, входя в избу Вонифатия, ударила по по́полам руками и пристально посмотрела в лицо племянника. Затем она села и долго, с какою-то особенною, не то грустною, не то ироническою улыбкой качала головой.

— Искушайте за компанию, — предложил Петр свою чашку.

— Кушай, батюшка! спасибо за угощение... А я было тебя вот пришла звать со всеми сообща попить. Завтракать наша-то деревня собралась... А ты, вишь, особнячком все, все особнячком! — заметила Ульяна Мосевна.

— По-столичному. Так-то оно лучше: ни ты ни к кому в душу не лезешь, ни в твое расположение никто носу не сует.

— Особнячком, особнячком, — вместо ответа, задумчиво проговорила Ульяна Мосевна и вышла.

Она начинала огорчаться таким обособлением Петра. Вначале она принимала своеобразные выходки Петра не больше как за ребячество и относилась к ним, как ворчливая нянька. Но чем больше она вглядывалась в отношения Петра к обитателям выселка, тем суровее смотрела на то «новое», что́ наложила столица на душу

Петра, тем молчаливо-степеннее стали ее разговоры с Вонифатием и Петром.

— Что ж родитель-то с сыном не жалуют в нашу компанию? — спросил Вахромей, когда Ульяна молча стала разливать чай в своей келье.

— Свой пьют.

— Московский, значит.

Ульяна не отвечала. Ее очень огорчало это странное, повидимому, беспричинное нарушение обычного благодушия, которое, так давно ничем не затуманиваясь, царило на ее «общих» чаях и обедах. Ничто не может принести большего огорчения домовитой, хозяйной женщине.

Молчали и все. Только слышалось усиленное всхлебывание горячего чая с блюдечек.

Деревенский человек привык жить открыто. Большая часть его жизни проходит «на миру», на улице, на глазах у всех. Даже самые интимные моменты своей жизни он не умеет скрыть от улицы: как, что и сколько он работает, как, что и сколько он ест, как и кого он любит, как воспитывает детей, каковы отношения в его семье, — все это известно «миру», «улице» до мельчайших подробностей, точно так же, как известно и то, кого он ненавидит.

Обитатели Волчьего поселка были «мирские люди», жили общинными инстинктами, как и близкие к ним дергачевцы. Понятно, что появление среди них Петра с так резко заявляемым все больше и больше стремлением обособиться от общей жизни не могло не возбудить в них какого-то бессознательного недовольства, а впоследствии и неопределенного страха пред какою-то «бедой».

Весь этот день Петр не выходил, вплоть до вечера, из избы. Сначала он разобрал свой гардероб, перечистил одежду; самолично проветрил ее, развесив на вожжах на задах избы, затем развесил в клети. Только к вечеру, когда бабы, девушки и мужики выселка, по обыкновению, собрались у качелей, Петр надел армяк (похуже который), фуражку, шарф на шею и, засунув руки в карманы, сел один на завальню отцовской избы. Так как Вонифатий был занят на мельнице, а Ульяна Мосевна уехала по «бабьим делам» в Дергачи, то к Петру никто и не подходил. Повидимому, это его

нимало не смущало. Он слегка постукивал по земле своими вычищенными насветло сапогами и смотрел в глубь постепенно охватываемой сумеречною мглой рощи.

А когда вернулся отец, он опять вошел вместе с ним в избу. Сидевшие у качелей могли видеть, как при зажженной свече ловко щелкал на толстых конторских счетах Петр, рассматривая в то же время какие-то бумаги, которые подал ему отец, вынув их из тряпицы, завернутыми в которой лежали они в углу божницы. Долго засматривали бабы в окно вонифатьевой избы, а Петр все еще продолжал считать, что-то обстоятельно доказывая отцу. Вонифатий слушал и только время от времени тер рукой бороду да снимал со свечи нагар.

Наконец и бабам надоело смореть в окна, и они ушли спать. Только Вахромей долго еще сидел у качели и, покуривая трубку за трубкой, время от времени взглядывал на освещенные окна вонифатьевой избы.

Но вдруг он поднялся, высыпал на ладонь золу из трубки и, набивая ее свежим табаком, быстро пошел к брату. Вахромей широко растворил дверь и вошел. Петр вспыхнул при такой неожиданности, по лицу у него пробежало неприятное выражение, но он ничего не сказал, Вонифатий же Мосеич почему-то смешался, словно его накрыли с поличным. Он рассеянно стал было собирать со стола бумаги, но Петр сложил их и положил к себе в чемодан. Вахромей спокойно закурил у свечи, стоявшей на столе, трубку и сел на лавку в дальний угол.

— Ну и деловой же у вас там народ, в столицах!— заговорил Вонифатий. — Так из копейки рубль и сделает?.. Дома сидя и рук не мозоля?

— В лучшем виде.

— Слышь? — обратился Вонифатий к Вахромею.— И без грабежу? — опять спрашивал он Петра.

— Дело чистое... Тут деньги сами нарастают. Потому взаимный кредит, — говорил Петр вполне уверенно, как человек, которому это дело известно в совершенстве.

— Слышь? — опять кивал головой Вахромею Вонифатий.

Но Вахромей в ответ только усиленнее сопел трубкой.

— Ну, и где ж это... в каких тоись местах?— опять допрашивал Вонифатий, сияя своею широкою бородой и уже заранее предвкушая тот эффект, который должен произвести его «умственный» сын знанием таких тонких столичных дел.

— Капиталы произрастают?

— Да, да.

— В банках.

— Ну, ну... как? Рассказывай.

Петр начал объяснять вообще хитрую механику банковых операций, и в особенности земельных банков, сначала не особенно удачно и даже как будто неохотно, но скоро одушевился: ему очень хотелось поразить своими познаниями сурового дядю, повидимому более других скептически относившегося к нему. Но суровый дядя, лесной охотник, в совершенстве умевший подкрякивать уток и тетеревей и приходивший в детский восторг пред каждым своеобразным проявлением лесной жизни, плохо понял, а еще хуже оценил развитие своего племянника, несмотря даже на поощрительные подмигивания умилявшегося Вонифатия. В конце концов он также внезапно и молча поднялся, засунул трубку в карман штанов и вышел.

А наутро, когда в Волчий поселок пришел посланный от Короната Львовича и Вонифатий с Петром внезапно уехали, Вахромей вошел в келью Ульяны Мосевны. Но в избе ее не оказалось. Он прошел к житнице, около которой собрались бабы и мужики поселка. Они пересыпали и провевали прошлогоднее зерно.

— Ульяна здесь? — спросил Вахромей.

— Здесь, здесь, — отвечали бабы. — Ульяна Мосевна! — крикнули они в глубь житницы. — Вахромей Мосеич тебя спрашивает.

— Слышу, слышу.

Пока вылезала Ульяна из житницы, Вахромей, отворотившись от присутствовавших, сердито смотрел вдоль дороги и даже на приветствие Клопа, участвовавшего в общей работе, только сурово сказал:

— Здравствуй!

— Ты что меня, Вахромей Мосеич? — спросила, отряхая с себя пыль Ульяна Мосевна.

Нужно здесь заметить, что, преимущественно пред всеми, Вахромея всегда и все величали по имени и от-

честву. Нередко большаков поселка просто звали Вонифатием и Ульяной, но Вахромей всегда был Вахромей Мосеич, даже для братьев, несмотря на то, что он не играл никакой особенной роли ни в поселке, ни в Дергачах, ни в селе Добром. Это нередко случается в крестьянстве, и бывает чрезвычайно трудно объяснить такое особое почтение к личности, повидимому, ничем не выдающейся. Нужно долго присматриваться, прежде чем увериться, что такое почтение не совсем беспричинно.

— У тебя где брат-то с племянником? — спросил сердито Вахромей, круто поворачиваясь к ней.

Необычный тон и вообще особая сосредоточенность Вахромея обратили внимание всех. Клоп боязливо даже вздрогнул и придвинулся к разговаривавшим, несмело и добродушно заглядывая им в глаза.

— А что? — спросила Ульяна, несколько испугавшись.

— То-то! Они у тебя о чем по ночам-то разговоры ведут?

— Мало ли о чем сын с отцом говорят.

— А зачем они к Коронашке поехали?

— Почем знать...

— То-то! Пора бы знать. Мы здесь не в особняк живем. В молчанку-то играть нечего бы. Не одни мы здесь живем... Всякому тоже думается.

Сказав это, Вахромей зашагал к сатировой избе.

В первое время Ульяна Мосевна не нашлась что сказать, но слова Вахромея заключали в себе именно то, что уже давно смутно чувствовалось каждым из обитателей поселка.

— Давно уж я чуяла, милые, быть беде... По пчеле уж я знаю. Не будет у меня даром пчела бунтоваться, — сказала старая бобылка Феклушка.

— Деда своего, старца почтенного, не оповестил... Старческому лику почести не сделал! — сказал заштатный понамарь Феотимыч.

— Какая тут почесть! Зачем нас, мужиков, почитать! Благо, дядья молчат, так и теток знать не надо... Работницы — все одно... Чего им в зубы-то смотреть! — сказала жена Хипы, Прасковья. — Дождемся, что и совсем погонят в чем мать родила!.. Это не в редком бываньи-то!

— Благомысленная!.. Точно что-то думается, — заметил и смиренный Андрей Терентьич Клоп.

— Полно, полно вам пустое молоть, ничего не видя! — наконец строго выговорила Ульяна Мосевна, но вдруг как бы спохватилась и тотчас переменила тон: — Ну, что, что тут такое? Дело петюшкино еще молодое, еще он сам себя хорошенько не спознал: что видел, за тем и тянется... А вот старика-то надо бы хорошенько всем сообща поучить. Молиться, мол, пора, тебе, старому, молиться, а не то, что бороду широкую поглаживать да за молодыми тягаться! Вот мы его, как ни то, в хороший час по-бабьему примем... Мы ведь, бабы, как сообща-то примемся учить, так хоть кого проймем! — шутила Ульяна Мосевна.— Вот мы Феклушу с Феотимычем на них напустим: Феклуша-то в былое время боец была, за словом в карман не лазила!

— Нет уж... Мы уж с дедом на все махнули, мы свой век изжили. Вы живите. А мы свой предел, как по чести-совести подобает, преизошли. Вы уж теперь управляйтесь, а мы повадок-то немного давали.. Наше время было строгое! — говорила Феклуша. — Бывало, как соберутся благомысленные бабочки да, как гусыни, накинутся на мужика-то непутевого, так только клочья из бороды летят!.. Строго жили!.. А бывало, бабушки наши говорили, как у которой матери парень задурит, пойдет она, соберет соседок-матерей, свяжут парня да на овине и высекут! Так баб-то и боялись! Однова так-то одна женка мужа учила. Вот у нас какие порядки-то были: у мужиков — мир, а у баб — свой... Наше время строгое было. Чего смеетесь? Верно говорю, — строго закончила Феклуша, когда раздался звонкий хохот Луши и Ивана Забытого.

Даже сам Андрей Терентьич Клоп рассмеялся и скептически покачал головой. Уж на что был он «смиренный» мужик, и то усомнился, чтобы у баб могла быть такая сила.

— Мне уж вот за девятый десяток перевалило, неужто лгать буду?.. Чего гогочешь? — обиделась было Феклуша.

— Верно, верно, Феклуша! сама слыхивала, — поддержала ее Ульяна Мосевна. — Погоди, вот и мы, как ни то, в силу войдем, и мы бабушкины порядки заведем!

Развеселившаяся рабочая компания заставила Феклушу еще рассказать про старые бабушкины порядки. У каждого и в своей памяти нашлось кое-что подходящее. Феклуша была очень довольна и все время с усердием рассказывала про свое «строгое время». Ее рассказы на этот раз отвели от обитателей поселка налетевшее было уныние.

Ульяна Мосевна была очень довольна этим и сама шутила все время, но тем не менее, когда, после обеда, вернулись Вонифатий и Петр, она положила пред образом три поклона и направилась к вонифатьевой избе. Если бы кто-нибудь из обитателей поселка увидал ее в это время, посмотрел ей в серьезное, вдумчивое лицо, заметил ее мерную и несколько тяжеловатую походку, как будто она нарочно отчеканивала каждый шаг, тот, наверное, мог бы сказать, что в жизни поселка начинает совершаться нечто важное.

Но, прежде чем итти прямо к избе Вонифатия, она прошла мимо житниц, оглядела, все ли в порядке, и, когда, наконец, повернула к воротам, ее окликнул чей-то голос.

— Здравствуйте, Ульяна Мосевна! — сказал, подбегая, Филаретушка.

— Никак ты к Петюшке собрался? Ну, вот и кстати.

— Не утерпел, Ульяна Мосевна. Сначала я хотел было к вам зайти, чтобы предварительно расследовать — как, что, вообще в каком направлении дело состоит...

— Какое дело?

— Как же-с! Петр-то Вонифатьич нынче уж не таков, как прежде... Тоже затруднялся я прямо-то отнестись... Может статься, он и теперь не в снисхождении...

— А вот пойдем, пойдем вместе. Вот оно и кстати!.. Там мы и поговорим насчет снисхождения-то...

— Весьма хладнокровен он стал в настоящее время, — проговорил тихо Филаретушка, входя в ворота.

VI

Филаретушка, после матери, больше всех любил и уважал Ульяну Мосевну. Ульяна Мосевна тоже любила, как родного, Филаретушку. Когда над Филаретуш-

кой издевались многие, а смеялись почти все, даже братья Волки, Ульяна Мосевна всегда стояла за него и защищала его. Теперь их еще больше связывали одинаково сердечные отношения к Петру. Почти с одинаковыми чувствами в душе вступали эти два любящие существа в избу Вонифатия.

Когда наступили сумерки, с таким же одинаковым душевным настроением, опять вместе с Филаретушкой вышла от Петра Ульяна Мосевна. Еще суровее легли складки на ее лице. И если бы полупрозрачная мгла осенних сумерек не скрыла и не смягчила этих складок, то, может быть, обитатель поселка, заметивши их, долго не уснул бы в эту ночь. Филаретушка, по своей обычной привычке, только нетерпеливо подергивал козырек и постоянно поправлял на голове картуз, как будто никак он не укладывался на его встревоженной голове.

— Весьма хладнокровен он стал в настоящее время, — повторил тихо Филаретушка, выходя от Петра, ту же самую фразу, с которою входил к нему.

Ульяна Мосевна молчала.

— Говорит: «Каков есть!.. Не взыщите... Надо полагать, умные люди лучше нас знают, что хорошо!»— повторял внушительно вслух Филаретушка разговор Петра, как будто хотел навеки запечатлеть его в своей памяти. И тут же он обращался время от времени к Ульяне Мосевне за разъяснениями.

— Что же, тетенька, неужели ж иных примеров и нет от умных людей? Думается, не должно так быть?— спрашивал он.

— Не знаю, Филаретушка... Должно быть, для нас, мужиков, нет. Не про нас там палаты строены, не про мужичьи бока барские полати выведены. Нечего бы нам соваться-то туда... Для нас свои примеры есть. Слушали бы, как деды да прадеды жили, — вот и примеры. От устоев-то бы дедовских не отбивались...

— Говорит: «На погосте жить — не о всех тужить...», — продолжал, как будто про себя, выговаривать Филаретушка. — Что же, тетенька, я так полагаю, что уж это, значит, как бы дело мирское... Вот мы с маменькой и дворовые люди, а век-то проживши вместе с дергачевцами, как будто и со всеми сроднились... Вот теперь у соседей, в Комарах, недавно я был: гля-

жу—мирские чаи распивают... Что так? Почему? А это, тетенька, к ним переселенцы в гости приехали... Лет, видишь, десять тому будет, как от них в башкирские земли пять семей ушли... Ну, вишь, теперь нарочно оттуда в гости побывать собрались»! Ка-ак же! Все одно, говорят, что родные. Тоска взяла, нельзя не наведаться: как, что, ну и прочее такое. Зовут с собой земляков-то, кои обедняли: земли обещают у себя, избы помочью поставить...

— Так-то, по божьему-то, Филаретушка, и надо бы; Дедовские это устои-то. Века люди на них прожили, так примера худого не будет.

И снова задумался Филаретушка.

Наконец вдруг как-то особенно неожиданно обратился он к Ульяне Мосевне:

— А знаете, тетенька Ульяна Мосевна, я так полагаю: у него, у Петруши-то, прострел в сердце! — почти вскрикнул Филаретушка, как будто сам пораженный осенившею его мыслью.

— Не легче от этого, Филаретушка, не легче! — попрежнему с грустною суровостью проговорила Ульяна Мосевна.

Они подошли к келье Ульяны, как до них донесся говор от качели. Только теперь заметили они, что у качелей собралась обычная компания. Ульяна Мосевна не хотела, впрочем, теперь итти к ней и уже стала было прощаться с Филаретушкой, как услыхала несшийся от качелей голос Вонифатия. Вонифатий был как-то необычно весел, что-то рассказывал, чем-то хвалился и сам хохотал на весь выселок. Это поразило не только Ульяну Мосевну, но и Филаретушку, и они пошли к качелям.

Сумеречная мгла все больше и больше сгущалась над выселком. Окружающие предметы все больше теряли определенные очертания и сливались в какие-то сплошные темные полосы. Фигуры людей превратились в движущиеся тени. На темном осеннем небе кое-где загорались звезды. Сырой северный ветер гнал по улице поселка желтые листья и вместе с ними разносил над выселком веселые речи Вонифатия.

Когда Ульяна подошла к качелям, Вонифатий рассказывал про какую-то проделку Короната Львовича и кулака Маркушки с Филаретушкой.

— Здравствуйте, — сказал Филаретушка.

— Да вот он и сам здесь, господин аблакат!.. Ха-ха!.. Легок на помине! Ну, умственный крестьянин, расскажи-ка нам от судейского-то понимания что ни то! Ну-ка, пойдем к моему Петюшке, он тебе проверку сделает!.. Каков ты пред ним окажешься?.. Ха-ха! Небось, над Петюшкой баре да богачи не надсмеются, как над тобой! Так-то, друг! Куда уж нам! На-ка тебе вот семечек... Пощелкай, господин судейщик!

Все лицо Вонифатия сияло несказанным благодушием: его глаза прищурились и были влажны; щеки даже пылали, казалось, вместе с его рыжею широкою бородой. Он был, поистине, человеком, который вдруг увидал осуществление своей долгой мечты, и притом без всякого личного труда с своей стороны. На нем была поярковая шляпа грешневиком, несколько свалившаяся на затылок, синий, слегка наброшенный на плечи разлетай, в широкий карман которого он поминутно лазил за подсолнечниками и постоянно просыпал их через пальцы. Он угощал ими всех присутствовавших. Луша весело смеялась над отцом, действительно несколько смахивавшим на паяца. От него попахивало водкой. Сидевших у качелей было очень трудно распознать, и только по голосу можно было отличить разговаривавших, да изредка трубка Вахромея красноватым заревом освещала его сурово-таинственное, несколько цыганское лицо и здоровую, полнощекую, широкую, вечно улыбающуюся физиономию брата Хипы, сидевшего рядом с ним.

— Так-то, брат! Далеко нам с тобой! — хлопнул Вонифатий по плечу Филаретушку и захохотал.

— Что ты гогочешь? Чего ты старину-то свою бесчестишь? — вдруг раздался среди тьмы звучный, несколько мужиковатый голос Ульяны Мосевны. — Али темно, так никому не видно, что у тебя старческого стыда нет? Молиться тебе пора, старик, молиться! А ты что делаешь? За молодыми, что ли, угоняться хочешь? Чем бы молодой разум на путь наставить, а ты за ним же в погоню!..

— Ну, что, ну, что ты, старуха, разворчалась? — несколько смутившись, проговорил Вонифатий.

— Молиться, говорю, молиться пора тебе, старик, а не по Коронашкам да Маркушкам бегать... Пора бы

тебе сесть за Четьи-Минеи да благочестиво чад своих поучать... А вы что затеваете с сыном-то? Об чем по ночам-то в молчанку играете?

— Разве мы к худу? Мы к тому, чтобы всем как лучше, а она...

— Как лучше? Али ты забыл, как по-дедовски лучше-то? Али дедовские устои потерял? Так, поди, дедушка-то еще жив! Поди пади пред ним ниц, да и сына-то возьми с собой (еще он, господи благослови, о дедушке-то и не заикнулся спросить!), да и моли старца, чтоб он вам разум и сердце открыл... Может быть, господь, от вашей молитвы смиловавшись, и откроет старцу словесную речь вам в поучение... Вот как лучше-то! Может быть, тебе старец-то и скажет, что по-дедовски в молчанку-то не играли, что помнили, ежели к нам чужие люди привержены, то их в смущение грех приводить... Вот как лучше-то! Лучше-то — вышли бы вы вот на улицу да пред всем честным миром и сказали: вот, мол, и вот что́ мы придумали, а верх за мирским словом. Потому — ум хорошо, а два лучше!..

— А ежели пятеро дураков да столько же баб, так и совсем никуда не годится! ха-ха-ха! — засмеялся своей остроте Вонифатий Мосеич, совсем не только уже оправившийся от смущения, но даже преисполнившийся наипущей храбрости. — Да теперь, ежели правду-то говорить, так Петюшка-то всех нас разумом за пояс заткнет, — вдруг твердо заговорил он, внушительно наступая на Ульяну Мосевну.

— Его разум при нем и останется, а наш — при нас.

— Да теперь, — продолжал, не слушая и повышая голос, Вонифатий, — знаючи его, я прямо скажу: дураки мы здесь сидим, круглые дураки. На нас так же люди-то смеются, что вот над Филареткой!

— Мы для души живем, а не для похвальбы.

— Да теперь, — снова продолжал все внушительнее Вонифатий Мосеич, — скажи мне Петюшка только слово, да я за ним куда хочешь пойду! Потому это человек наредкость! Ему ото всех уважение, а не то что смешки...

— Пущай пред Коронашками он и выхваляется, коли нашею душевностью небрежет! А ты подождал бы свою-то старость бесчестить! Подождал бы пример-то с Маркушек брать да от дедовских устоев отшатывать-

ся! А и то сказать, коли здесь не любо, так свой монастырь в столицах заводите, да в нем свои уставы и вводите! А в дедовском гнезде, на дедовской земле вам делать нечего... В дедовском гнезде сообща живут, на дедовской земле ни для кого особняков не построено!

— Да какая земля-то? — спросил, несколько даже торжественно, Вонифатий Мосеич.

— Дедовская, не чужая...

— Да чья она такая? а? земля-то? Дедушка-то вон глухой да слепой сидит, а мы, дураки, в благодушии пребываем... А земля-то чья?

— Никак что-то я не пойму тебя, — сказала Ульяна Мосевна, между тем как у нее вдруг подогнулись колена и задрожали ноги.

— А вот поди к Петюшке, он тебе скажет... Он вот в столице жил да больше нас знает.

— Чья же земля-то? — вдруг кто-то спросил глухим голосом среди окружавшей тьмы.

Голос этот звучал так странно, что даже Вонифатий вздрогнул и не отвечал, пока не догадался, кому он принадлежал.

— Поди Короната Львовича спроси: он тебе скажет, кто нынче за Корявинскую пустошь полтораста серебром, как едину деньгу, отвалил.

— Кто же отвалил? — спросил опять тот же голос, сопровождавшийся усиленным сопением в чубук и полным снопом красноватых лучей, вылетавших из трубки.

— А Петюшка отвалил, потому что в столице был да знал, что́ с землей делается, а мы здесь, дураки, сидели, да мало видели. Вот чья земля-то! Еще надо попросить умственного человека разузнать, чья у нас земля-то!.. А мы расселись на ней, ровно и впрямь помещики! Да замест того, как умные люди поступают, чтобы дар-то божий за собой закрепить да оборот с ним сделать, мы, по бабьему-то разуму, еще чужаков на нее нагнали. Пора за ум взяться, а коли своего нехватает, так тех, у кого он есть, слушаться! Вот что! Еще большак-то — я!.. Какое распределение сделаю, так и будет! Худого не придумаю!

Вонифатию высказать все это стоило такого напряжения, что, замолчав, он потерялся и не мог ничего сообразить.

Последние слова Вонифатия были до того неожиданны для слушателей, что все смолкли, никто сразу ничего не мог возразить, и кругом настала мертвая тишина; даже трубка Вахромея не сопела больше. Вонифатий и сам как будто испугался своей храбрости. Не будь он выпивши, не опьяней он так от обаяния пред успехом Петра среди «добросельской интеллигенции», не будь, наконец, так темно, — вряд ли бы он сказал и половину того, что открыл теперь. Да вряд ли бы его за это похвалил и сам Петр, так как это не могло быть в расчетах его недоверчивого, скрытного ума.

Наконец Вонифатий опомнился, но чувствовать себя большаком не переставал.

— Луша, иди домой! — строго приказал он среди общего молчания.

— Тятенька, я еще успею, — тихо проговорила она.

Она сидела на доске качели, рядом и обнявшись, с дозволения обычаев тех палестин, с Иваном Забытым.

— Иди, говорят! Пора за ум взяться! Будет со всяким якшаться! Ступай к брату!.. Ступай в свой дом! — крикнул грозно Вонифатий, поправил на голове шляпу и походкой самоуверенного человека пошел к своей избе.

Если бы кто мог осветить в эту минуту осеннюю глубокую тьму, пред его глазами предстал бы один из драматических моментов в жизни выселка. Он увидал бы, как при словах отца, сказанных таким тоном, которого еще никто не слыхал, сошла вся кровь с пунцовых щек Луши, и они сделались белее полотна; как вспыхнул, напротив, Иван Забытый, и его рука, обнимавшая Лушу, вдруг упала, словно разбил ее паралич, и горькая улыбка с примесью не то злобы, не то покорности судьбе пробежала по его губам. Вряд ли с этой минуты он оправится и будет попрежнему добродушно говорить свое обычное: «с удовольствием!»

Кроме этого, в тот момент совершилось здесь и еще нечто. Несколько секунд спустя после слов Вонифатия засопевшая было опять трубка Вахромея вдруг смолкла, но по лившемуся от нее свету было видно, как быстро поднялся Вахромей, хотел крикнуть: «Раздел!» — но удержался, сжал губы и медленно опустился опять на бревно, на котором сидел. Рано или поздно, впрочем, этому слову уже не миновать теперь сорваться с его губ.

— Ну, утро вечера мудренее! — сказала Ульяна Мосевна. — Идите-ка спать, да подумайте каждый про себя.

А между тем «новый человек деревни», Петр Вонифатьевич Волк-младший, сидел все это время на завальне отцовской избы и угрюмо смотрел в глубину ночи, окутавшей и его, и выселок, и рощу. Он думал на неизменную свою тему: «чтобы все как лучше».

Филарет же Флегонтович Чижов (иначе Чижик) давно уже, еще как только Вонифатий заявил свои права большака, тихонько исчез от качели и побежал к своим Дергачам. Он струсил и испугался, его охватила боязнь — чего? — он решительно не понимал. Он только бессвязно твердил:

— Прострел в сердце — это верно!.. В сердце прострел! Вот оно самое!

Что он разумел под этими словами, он вряд ли бы и сам объяснил. Он только очень был рад, что нашел такое слово, которое, по его мнению, знаменовало то *нечто*, что изменило душу Петра.

Как бы то ни было, нынешняя ночь была первая ночь, когда обитатель выселка лег, не уверенный в завтрашнем дне.

Глава третья

РАЗДЕЛ

I

В Ямской слободе губернского города N наибольшею известностью среди трудового странствующего крестьянства пользовался постоялый двор выписавшегося в мещане крестьянина деревни Дергачи Еремея Еремеича Строгого. Надо думать, что окрестили его таким прозвищем недаром, так как был он действительно мужик «строгих правил» и притом «строгого обличия». Высокий, коренастый, сутуловатый, с большою лысиной на голове, длинным носом, поросшим седыми волосами на конце, сердитым взглядом больших карих глаз и седою бородой — он везде, в церкви ли, в думе ли

среди гласных, на базарах ли, резко выделялся из толпы. А его суровый, глухой, но сильный, как труба, голос хорошо был известен как торговому, так и крестьянскому сословию, наезжавшему в город. Кроме того, он пользовался известностью как человек справедливый и неподкупный; справедливый потому, что не обсчитывал мужиков, насыпал полные меры овсом и не только не допускал насыпки «слегка», но даже постукивал по бокам железной меры и встряхивал ее в доказательство своей «справедливости»; неподкупный потому, что постоянно вел войну с мелкою полицейскою сошкой, давать которой взятки считал «от бога нигде не положенным» и «ни от кого не предписанным». Эта война очень нередко доводила его до самого губернатора, с которым он имел храбрость объясняться без холопства и безбоязненно, вероятно потому, что вполне верил, что выше губернатора есть еще бог да царь. Вот этот-то «строгих правил» человек возвращался одним зимним утром от ранних обеден к себе домой.

Войдя в первую, просторную комнату, с черными закопченными стенами, увешанными лубочными картинами религиозной морали, он помолился в передний угол и, распоясывая кушак, крикнул своим громовым голосом:

— Эй! живы ли?

— Живы, живы, по милости божией! — отвечал из задних комнат, вероятно из «стряпной», чей-то женский голос.

— Ну, и слава создателю!.. Кипяточку бы наставить не мешало.

— Готово, готово.

— А это и еще лучше. Нутро попарить — важное дело! — перекликался Еремей Еремеич, стаскивая с себя кафтан. Он остался в красной ситцевой рубахе и, покряхтывая, уселся на лавке, растопырив ноги, как человек, вполне довольный самим собою.

— Али никто не навертывался? — крикнул он опять.

— Есть, есть... Мы, батюшка, навернулись... Нас судьба завернула... Али не приметил на дворе подводы-то? — сказала старуха Феклуша, выходя из стряпной.

— Да ты, старая, как забралась сюда? — спросил Строгий.

— Ты на меня не дивись. А то дивись, мы ведь к

тебе всем Волчьим поселком тронулись. Вот она какая машина! И Ульяна Мосевна, и братья — все с родного гнезда тронулись.

— Что так?

— Вот и так. И я уж за ними... Старичка-то моего, Мосея, схоронили, так на свободе я теперь... Вот и притыкаюсь ко всем... Они тронулись в город, и я, думаю, хошь богу помолюсь. Авось, тоже не без пользы будет к ихнему делу.

— Да какое дело-то?

— Да неужто ты неизвестен? — укоризненно качая головой, повязанной синим повойником, сказала Феклуша. — Да полно-се, Еремей Еремеич, шутки со мной шутить.

— Говорю, ничего не знаю! — крикнул Строгий.

— Ой, не кричи, родимый! — схватилась старушка руками за уши, а ее сухощавая фигурка так и заколыхалась, словно под налетом ветра. — И совсем ты меня речи лишишь, так-то трубимши! Ты полегче, родимый, со мной... Ведь уж мне, люди-то считают, за девяносто перевалило.

— Ну, ладно, пощажу твою дряхлость. Давай-ка вот попьем кипяточку, а тем временем, не торопясь, и расскажешь, — шутил Строгий, принимаясь заваривать чай из самовара, который внесла толстая, грудастая дворничиха.

— Слышал? Дела-то какие? — спросила она мужа и вышла опять.

— Да нету же!

— Али не бывали у тебя Вонифатий-то Мосеич с крестником? — спросила Феклуша.

— Нету.

— Ишь ты! У крестного отца не был! А поди, уж с месяц в городе живут.

— Петюшка-то с отцом?

— Они, они, вместе теперь, неразлучно.

— А Ульяна-то где же? Говоришь, и Ульяна здесь?

— Ушли... только что приехали — и ушли. Хлопотать в палаты ушли. Тоже боятся, как бы просрочки не сделать.

— Да что у них такое, скажешь ты или нет? — не выдержал опять Еремей Еремеич и даже ногой притопнул.

Феклуша так и обмерла. Чуть выговаривая, задыхаясь, она только твердила:

— Мышеядь... мышеядь... одолела, родимый, мышеядь.

— Какая такая мышеядь? Ну, да бог с тобой — пощажу твою дряхлость, — махнул рукой Строгий, — рассказывай сама, как ума хватит, — и Еремей Еремеич принялся усиленно хлебать с блюдечка чай.

— И пошла, родимый, с самой-то осени, — начала, несколько приходя в себя, Феклуша, — и пошла эта мышь, такая мышь, такая мышь — видимо-невидимо... И идет, и идет, откуда только эдакая машина этой гадины берется... Это, видишь, как раз когда старика похоронили... Ну, думаю-гадаю, не к добру это... Ой, не к добру!.. Говорю: унес с собой старый в гроб райскую тишину из гнезда! И повалила эта мышь... Все валит, все валит...

— Да уж слышал! Дальше-то что?

— А заранъше того пчела у меня взбунтовалась. Вот и бунтует пчела, вот и бунтует, и нету мне с ней никакого сладу. Век за пчелой ходила, а такого бунту от нее не видала...

— Ты мне вот что, старуха, — перебил Феклушу Строгий, — ты мне одно только скажи толком: зачем они в палату пошли?

— Да судьбище у них, родимый, судьбище промеж собой началось.

— За что? Чего делят?

— В раздел пошли!

— В раздел?.. Что за оказия! Это братья-то Волки?

— Они, родимый, они самые: благомысленные братья...

— Да ведь я у них на празднике был, ничего не приметил... как быть семья благословенная!

— Что говорить! Праздник был истинно благословенный. Раньше-то было и вышло у них препирательство, а тут и опять все забыли... Свои люди, побранятся — сами и помирятся... И Вонифатий Мосеич, и Петруша, и Вахромей Мосеич — все как будто подушевному один с другим. Ульяна Мосевна не нарадовалась... Только вот, после тебя-то на третий день уж это будет, сидели это все с гостями у качелей, песни играли... Гляжу это я, родной, а через улицу-то, к жит-

ницам мышь, пошла. Вот и идет мышь, и идет стадом, стадом... Я так и руками взмахнула, говорю: ой, не к добру! А меня все ругать... Идет это мышь — только за ней следом из городу москвич едет, а за москвичом староста Макридий Сафроныч (только что он тоже из города вернулся: в казну деньги возил). Ну, и принялись их угощать... А Макридий-то Софроныч, знаешь, какой, выпимши-то, на язык невоздержанный? Сейчас это в кураж вошел, да и позавидуй: «Эх, говорит, что это у вас только за жизнь на выселке! Хошь бы денек так пожил! Тут бы, кажись, и умер от одного удовольствия! Да этого, говорит, еще мало... Мы, говорит, всех в законный брак сочетаем!.. Уж ежели теперь не время, так, пожалуй, лучшего и не дождешься... Все, говорит, теперь налицо. Вот, говорит, примерно, Ульянею с Сатиром, шутит, Ивана Забытого к Луше приспособим, Аннушку Сатирову с Петром Вонифатьичем, а в заключение всего — Вонифатия самого к солдаточке Сиклетее пристроим!.. Тогда, говорит, неуклонно благодать господня над вами в веки вечные укрепится!..» Сказал он это, а Петр Вонифатьич с отцом да с москвичом улыбнулись да в один голос: «Ноне времена другие, Макридий Софроныч. Кое-что у умных людей и получше удумано! Так как, говорит москвич-то, наши теперь земельные с вами дела в городе на лучшем ходу стоят, то позвольте, тятенька, с вашего позволения, вашу дочку на нашем жеребце по улице прокатить! А мы, говорит, уж в городе все прикончили: ваше земельное имущество завтра же заложим и капиталы получим!» Как это он, родимый, только выговорил, и пошла тут скорбь на весь поселок... Такая ли скорбь!

Старушка закачала головой, замолкла и всплакнула. Долго она всхлипывала и утирала нос платком. Еремей Еремеич от усиленного внимания, с которым он пил чай и слушал старуху, до того вспотел, что пот у него лил градом, и он только постоянно вытирал лицо полотенцем да делал знаки жене — не перебивать рассказчицу. Он уже боялся и заикнуться, чтобы не сбить старуху с колеи, на которую она попала наконец. Старушка продолжала плакать. Дворничиха, смотря на нее, чуть сама не прослезилась, а в дверях в стряпную стояла вся разрисованная мукой стряпуха и, подперев голову руками, умильно смотрела на Феклушу.

— Ну, старушка, ну! — рискнул нежно понукать Феклушу соскучившийся ее слезами Еремей Еремеич.

— Сейчас, родимый, сейчас... Жалко ведь! На Макридия-то Софроныча я все сержусь: невоздержан уж он на язык-то очень... И доброе слово сказать тоже надо ко времени, да к месту, да с молитвой...

— Ну, ну, старушка, дальше-то что? — подгонял Строгий, стараясь возможно спустить свой голос на самые низкие ноты.

— И пошла, родимый, скорбь на весь поселок... Вахромей-то Мосеич налетел это на Вонифатия с Петром. «Вы, говорит, с чьего это спросу, по чьему приказу?..» — «Мы, говорит, ни с чьего спросу, ни с чьего приказу, а с того, что мы мужики умные, не чета вам, лесным дуракам!..» Прасковья-то Хипу в спину колотит: «Ты, говорит, дурак, чего смотришь? Али, говорит, ждешь, пока вас умные-то люди вконец оболванят?» А Хипа-то был выпимши, не спросясь ума-разума, да за Вахромеем, кричит: «Подавай раздел!.. В раздел желаем!» — «Нет вам раздела, кричит Вонифатий, а жить вам по моему умному приказу... Потому мы к тому, чтобы всем как лучше!» Федосья в слезы, Луша в слезы, все бабы, окромя Ульяны Мосевны, ровно с ума сошли. Знамо, ведь все грехи из-за баб идут. Бросились, родимый мой, по избам, кто у кого что тащит: кто лоханку волочит, кто ухват, кто сковороду. Та кричит: мое имущество, другая — мое... А мужики свое выговаривают. А я, родимый, стою, эдак, в стороне, да осиновым листом трясусь и молитву твержу... Твержу да плачу...

И старушка опять заплакала.

— Ну, старуха, мы с тобой до конца-то, должно, скоро не доберемся... — сказал Еремей Еремеич, — слава богу, что и до этого дошли.

— Слава богу, — проговорила старуха.

Еремей Еремеич покряхтел, поразмял кости, походил по комнате и, поглаживая живот, что-то проворчав про себя, забрался с ногами на широкую лежанку изразцовой печи.

А в то время, как Феклуша вела беседу с Еремеем Еремеичем, по улицам города N, пробираясь по протоптанным через сугробы тропкам, бродила кучка баб и му-

жиков с заиндевелыми бородами и бровями, в просто нагольных и в крытых крашениной полушубках, в серых и в бурых валеных сапогах. То были наши знакомцы: Ульяна Мосевна, Хипа, Прасковья и Филаретушка. Филаретушка волновался, по обыкновению, размахивал руками, что-то говорил Ульяне Мосевне и постоянно забегал вперед.

— Я говорю, примерный мужчина, — толковал он, — знаю! Уж будьте в надежде. Ежели какой титул, к кому с каким обращением к чину и званию всякого состояния относиться, так уж уважит! Единственный чиновник! По крестьянским делам служит. Вот сейчас, в этой улице. Господин! — обращался он к какому-нибудь встречному, — чиновник Вертихвостов, в собственном доме, где будут находиться? Надо думать, в этой улице? Они в этой улице проживали...

И вот после многих спросов, наконец, отыскивали они чиновника Вертихвостова в собственном доме, жались в узеньких сенях, пока Филаретушка осведомлялся о «расположении» чиновника на его кухне. Наконец их «допускали».

— Проходите, проходите все, — приглашал Филаретушка в чиновничью переднюю своих земляков.

— В чем дело? — говорил чиновник, считая почему-то непременною обязанностью принять строгий вид. — Проходи сюда!

Ульяна Мосевна несмело входила в зальце с геранями на окнах, с плетеною поломанною мебелью, с портретом начальника и литографией какого-нибудь архипастыря на стенах, с launченным еще полом и явными признаками недавнего в ней присутствия целой оравы ребятишек. Чиновник в халате, с заспанным лицом, неумытый и непричесанный еще, сурово садился около стола, вполоборота к просителям, и снисходительно приготовлялся слушать.

— Вот вам старушка изложит, — рекомендовал Филаретушка, показывая на Ульяну Мосевну, —она всякого мужика толковее будет... Будьте спокойны.

— В чем дело? — опять повторил сурово чиновник.

— А вот видите, господин, живем мы по нашему дедовскому завету, по деревенским обычаям, сообща, как искони положено, — начинала степенно Ульяна Мосевна, истово выговаривая слова.

Долго и обстоятельно льется речь Ульяны Мосевны. Филаретушка изредка вставляет в нее свои замечания. В дверях стоит высокая, коренастая, добродушная фигура Хипы, плавающего глазами по потолку и стенам зальца. Сзади его, внимательно следя за рассказом, сердито глядела жена его Прасковья, и когда Ульяна Мосевна примолкала, чтобы поклониться чиновнику, Прасковья толкала Хипу в спину и говорила: «Поклонись». Хипа спохватывался и отвешивал низкий поклон. Наконец чиновник начинал зевать и вдруг, не дослушав и половины, посылал их к другому чиновнику за справкой, брал подносимый Ульяной Мосевной рубль и уверял их, что приятель его все для них устроит в лучшем виде.

Опять бродит по сугробным улицам города N кучка деревенского люда. Опять утешает Филаретушка Ульяну Мосевну, что «выше надо подавать», главным образом «выше подавать!», что у него, кроме этого чиновника, есть такие адвокаты, которые в правительствующий сенат не задумаются прописать — и как, и что, и по какой причине. Опять отыскивают крестьяне нового чиновника «в собственном доме», опять начинает обстоятельно выговаривать Ульяна Мосевна: «А вот видите, господин, живем мы, по нашему дедовскому завету, по деревенским обычаям, сообща, как искони положено». И снова гуляет глазами по стенам и потолку чиновничьего зальца добродушный Хипа, и снова стукает его в спину Прасковья и говорит: «Поклонись, деревянный!» И снова чиновник, принимая рубль, посылает их куда-то, за какою-то справкой, и снова утешает их Филаретушка, «что они беспременно всякую правду отыщут», пока, наконец, усталые, не возвращаются они, при звоне к вечерням, на постоялый двор Еремея Еремеича Строгого.

А Строгий, как человек вполне строгих правил, никогда не упускал случая поддержать приобретенную им репутацию. Он держался того мнения, что всякий непременно в чем-нибудь да виноват, «потому кто же без греха»? Выработав в себе такие убеждения, он не любил никому «поблажать», потому, как бы ни считал он человека правым, все же находил необходимым дать ему «острастку».

— Ну, что, бунтовать вздумали? — крикнул он, сидя

уже за вечерним чаем, когда ходоки Волчьего поселка вошли в избу и помолились в передний угол. — Не успели деда в яму свалить, а уж бунт зачинать?

— Не мы зачинаем, Еремей Еремеич, — проговорила Ульяна Мосевна, снимая взмокшую от снега баранью шубу.

— Мышеядь!.. Вишь, что выдумали — мышеядь! Сами себя поедом съедите! Сами! На мышей-то нечего валить!

— Какие мыши, Еремей Еремеич! Не мыши тут... А люди закон потеряли, на дедовские заветы наплевали...

— То-то наплевали! — не слушая, продолжал «задавать острастку» Еремей Еремеич. — Большак-то, поди, не хуже вас знает, что хорошо... А тебе бы, старуха, грех молодых-то бунтовать. Тебе бы их надо послушности учить да покорности к большаку, потому он теперь всем вам заменит отца, надо всеми вами владыка...

— Позвольте, господин купец, — заволновался Филаретушка.

Но его перебила Прасковья.

— Да нам что большак-то? Да рази большаку-то позволено зорить семью? От кого такие законы? — вдруг сорвалась она с лавки и бойко наступала на Еремея Еремеича. — Разве большаку-то позволено вертеть всеми, как холопами?

— Молчать! — крикнул Строгий и даже ногой пристукнул. — Молода еще разговаривать-то!.. Ишь вы, набаловались! На мои бы вас руки!.. Ты чего жену-то не учишь? — спросил он Хипу.

Хипа так и озарился улыбкой во все свое широкое лицо.

Ходоки присмирели. Только Ульяна Мосевна заметила строго:

— Выше большака, Еремей Еремеич, совет да любовь в семье... А кольми паче, ежели к нам чужие люди привержены. Все мы в одну житницу хлеб возили, в одну руку работы поднимали. Все мы своего ищем. Надо рассудить по справедливости!

— Это верно, верно! — подхватил Еремей Еремеич, вспомнив при слове «справедливость» о своей репутации. — Помоги вам бог! Придвигайтесь-ка к столу да попарьте живот-то! Чай, измерзли, изустали?

— Что уж говорить! Ежели бы не верил, что у бога правду сыщешь, так лучше бы в гроб лечь, — грустно проговорила Ульяна Мосевна.

По лицу ее было заметно, что глубокая грусть и скорбь давно уже поселились в ее душе; у другой женщины эта скорбь и грусть, наверное, излились бы неиссякаемым потоком слез, но Ульяна Мосевна не умела плакать. Только на лицо ее все темнее и темнее ложились суровые тени, только строже и худее делалось ее лицо, серьезные глаза глубже уходили в глазницы, плотнее сжимались сухие старческие губы и меньше было у нее охоты говорить.

— Дела! — проговорил Еремей Еремеич. — В разор разорят, — прибавил он про себя и, кряхтя, стал одеваться. Не говоря никому ни слова, натянул он по уши баранью шапку и вышел.

— Только, тетенька, не отчаивайтесь, — утешал Филаретушка Ульяну Мосевну, — это нельзя-с, чтобы правды не отыскать. Ежели в одном месте не возьмет, выше надо подавать. Главное дело — подавать и до конца стоять! Одно это требуется!

И с этою верой утомленные ходоки Волчьего поселка скоро заснули.

II

Было уже совсем темно, когда вышел Строгий на улицу. В окнах домов замелькали огни, тусклыми полосами света освещая сугробные улицы. Строгий, что-то ворча себе под нос (это была одна из тех привычек, которая придавала ему особенно строгий вид), переходил переулок за переулком, перебрался через погруженную в мрак торговую площадь, по которой рыскали собаки, и, наконец, на одном из углов ее вошел в грязненький трактиришко, хотя в нем и имелись «номера для благородных». Строгий протянул руку оперщемуся локтями на стойку и дремавшему хозяину и спросил:

— Волки у тебя, что ли, стоят?

Хозяин молча кивнул головой в биллиардную и опять задремал. Строгий прошел в биллиардную, грязную, тусклую, плохо освещенную висевшею с потолка лампой. На биллиарде играло человек пять благородных; одни были в запачканных мелом визитках, другие в одних

жилетках и глаженых сорочках, на которых особенно выделялись всевозможных сортов запонки в виде собачек, подков, лошадиных голов и пр. Среди этих «благородных», очевидно юных служителей Фемиды, выделялся своим казакином, красною, выпущенною за пояс рубахой, длинною золотою цепочкой через шею, розовыми щеками, красивым лицом и гордою осанкой статной фигуры землевладелец Коронат Львович, «адвокат из уезда», как звали его в городе. Видимо, он был с игравшими на приятельской ноге. После каждого удара он весело обнимал одною рукой кого-нибудь из юных служителей Фемиды и «отливал пулю», приводившую в восторг его приятелей. Коронат Львович считался остряком, хотя, кроме пошлостей, никакого остроумия от него никто не видел. Но уж почему-то все привыкли смеяться при его «пулях». Вдоль стен биллиардной сидела публика «неблагородная», в сибирках или длинных пиджаках, одни из них с видимым удовольствием следили за игрой, другие скучали. В числе, кажется, последних был и Петр. Он сидел, облокотившись на уставленный пивными бутылками стол, и, небрежно подбрасывая в рот сухари, с надменным, скучающим видом следил за игроками. На его худом лице, и в тонких губах, и в тускло сверкавших исподлобья глазах было заметно утомление, с примесью какого-то полупрезрения ко всему. Но в общем вся его фигура, его посадка, так и била в глаза гордым сознанием удовлетворенного самолюбия. Это было еще более заметно, когда после каждой сыгранной партии Коронат Львович, обняв кого-нибудь из юных служителей Фемиды (по попадавшим в их разговорах фразам, нужно думать, что они все были с университетским образованием), подводил их к столу с бутылками и весело говорил Петру:

— Петруша!.. Ну-ко, друг, выпьем пивца с господами юристами!

Петр, не изменяя позы, говорил, повертывая голову в угол комнаты:

— Тятенька, прикажи!

И из угла поспешно подымалась румяная, широкая, улыбающаяся, с рыжею большою бородой фигура Вонифатия Мосеича, все время дремавшего в благодушном самодовольстве от присутствия среди благородной компании. Он уже не раз начинал клевать носом, но

окрик Петра постоянно пробуждал его. Вонифатий Мосеич поспешно вскакивал, улыбался приятною улыбкой господам юристам и спрашивал:

— Пивка, что ли, еще? — и отправлялся к буфету.

Очевидно, Вонифатий Мосеич начинал цивилизоваться — успел уже перенять в городе кое-какие приемы вежливого обращения, хотя с этим и не особенно мирилась его деревенская тяжеловатая комплекция.

Пред приходом Строгого только что произошла вышеописанная сцена. Сегодня Петр был как-то еще суровее.

— Вот, друг мой, этот парень... такая скотина! — сказал на ухо Коронат Львович одному из приятелей, отходя от стола с бутылками. — Рекомендую! Думаю, братец, проучить...

— Конечно, оборвать надо! — посоветовал молодой юрист.

И Вонифатий и Петр при внезапном появлении Строгого как будто смутились. Надо сказать, что Строгий был кумом Вонифатия и крестным отцом Петра, которого он крестил, когда еще жил в Дергачах. Вонифатий всегда побаивался крутого характера Еремея Еремеича, который выражал свои мнения прямо в глаза, а Петр еще с малых лет как-то привык уважать его. Ему нравилась в нем и прямая грубость, и суровость, и неподатливость в сношениях с мелкою начальническою сошкой, и дельный, оборотистый характер, и сметка, и то, что все его как будто побаивались. В Строгом именно не было того, что выражал Петр словом «фиглярить» и чего он так не мог терпеть. Пред приездом к отцу он счел нужным заехать к Еремею Еремеичу.

— Здорово, — сказал сердито Строгий и, положив руку с шапкой на стол, присел на кончик стула.

— Здорово, кум! — улыбаясь, приветствовал Вонифатий, а Петр только проговорил: «здравствуй!»

— Давно ли приехали? — отрывисто спрашивал Строгий, безучастно в то же время смотря на игру.

— Да уж недели с две, поди... Какие у нас дела-то! Дела-то какие! а? Слышал, чай? — горевал Вонифатий Мосеич.

— Чего у меня не встали? — не слушая кума, продолжал спрашивать Еремей Еремеич.

— По делу так требовалось, — отвечал Петр.

Строгий замолчал. Потом взглянул на ряд бутылок на столе и внимательно посмотрел на Петра. Он хотел узнать, пил ли Петр, или нет. Что Вонифатий был выпивши — он в этом не сомневался. Петр выдержал взгляд крестного, не изменив ни позы, ни выражения.

— Али вы здесь и спите, и едите? — опять сурово спросил Строгий.

— Как можна-а!.. Что ты, кум любезный! — обиделся Вонифатий.

— Мы два номера снимаем: один для себя, другой для барина — адвокатом при нас состоит... Пойдем к нам, — пригласил Петр.

Пошли в номер, провожаемые, незаметно для них, подозрительным взглядом Короната Львовича. Номер был грязненький, но убран с претензией на барскую ногу: на окнах ситцевые гардины с крупными цветами, шторы; такая же гардина отделяла спальню. Вместо увесистого старомодного дивана с клопами, неизбежно являющегося в номерах провинциальных гостиниц, стояла кушетка, убранная бахромой, и плетеные гнутые стулья. На небольшом комоде стояли два подсвечника с розетками. Над ним зеркало в гнутой раме, но грязное и засиженное мухами. Тем не менее, если бы кто заглянул в душу Петра, он узнал бы, как приятно щекотала его самолюбие эта незатейливая обстановка. Когда Вонифатий Мосеич брался зажигать свечи своими корявыми руками, Петр всегда напоминал ему внушительно о розетках. Кровать была, хотя с очень плохим, но все же с байковым одеялом и матрацем. На ней спал Петр. Он ни на минуту не сомневался в бесспорном на нее праве. Вонифатий Мосеич, конечно, не только не помышлял заявлять на нее какие-нибудь претензии, но даже на кушетку садился всегда «с осторожностью», а спал около дверей, по-деревенски, подостлав баранью шубу.

Строгий попрежнему угрюмо оглянул номер и сел к столу.

— Выпить не хочешь ли? — спросил Петр.

— Али денег много?.. Не надо! — отрезал Строгий.

— С этою прокламацией денег не наживешь... Гляди, и последние-то спустишь, — недовольно проговорил Петр, садясь по другую сторону стола и нервно поправляя салфетку.

Строгий исподлобья поглядел на него.

— А чего бунтуете? чего семью зорите? — затрубил он своим зычным голосом.

— А-ах, кум! — выразил было искреннее соболезнование Вонифатий Мосеич и даже руками взмахнул, но Петр взглянул на него, и старик не договорил.

— Не успели деда в яму свалить, а уж бунты начинать? Чего зорите родных, спрашиваю, а? — гремел Строгий, постукивая рукой по столу, верный своей привычке задавать всем «острастку». — Кому пользу видите, родным-то животы потроша? Самих себя съедите поедом! Прахом все пустите! Брехачам польза — вот кому польза будет!

На голос Строгого в дверях номера незаметно мелькнула фигура Короната Львовича с кием в руках. Петр не возражал; он дал высказаться Еремею Еремеичу и не раз своим взглядом заставлял молчать отца, который, скорбно покачивая головой, порывался высказать, «какую напраслину взводил на него любезный кум». Наконец, когда Строгий успел ругнуть и «молодых модников, что в Москве у цырюльников волосы подовьют, да и нос кверху дерут», и «старую бороду» Вонифатий Мосеича и, таким образом, истощил весь запас сильных выражений для поддержания репутации «человека строгих правил», — Петр обернулся к нему и говорил ровным, уверенным голосом:

— Мы, крестный, так издавна полагали, что человек ты справедливый, с головой, всякое к людям отношение понимающий, к невежеству и фиглярству строгий, а замест того... Весьма это удивительно для нас, что такую от умного человека видим необстоятельность и несправедливость...

— Ну, — крикнул Строгий, — ты мне об моих-то качествах не рассказывай!.. Я об своей справедливости давно хорошо известен!

— И тем для нас удивительнее... Мы, может, с тобою, не в пример прочим, желали бы во всем совет иметь, от твоей рассудительности чем-нибудь позаимствоваться, а замест того видим, что ты старых баб слушаешь предпочтительно умственным людям... Весьма это для нас неожиданно!

— Ну, так говори, что у вас там такое? — прикрикнул задетый за живое Строгий.

Петр говорил правду: Еремей Еремеич Строгий был действительно единственный почти человек с родины Петра, с которым он, не унижая себя, мог бы снизойти до откровенной «беседы», до совета в своих делах. Отца он считал человеком «слабым» и, понятно, не мог довериться ему вполне; тетку Ульяну он хотя и уважал, но считал «бабой», и если он признавал в ней достоинства, то только в «области бабьего дела». Он знал, что она ходила за ним вместо матери, как за родным сыном, знал, что она нежна, любяща, добра, и за все за это почитал ее и был ей признателен, насколько допускала это его недоверчивая, замкнутая натура. Дядья... но дядья были для него именно представителями того добродушного, сиволапого деревенского невежества и необстоятельности, над которой мог издеваться последний писарь, которым мог наплевать в бороду первый проходимец, первый хожалый. Он, пожалуй, и любил их, он ни на минуту не переставал считать их «своими кровными», но себя все-таки считал неизмеримо выше их умственно. Один Еремей Еремеич был, по его мнению, мужик, с которым можно было говорить «о делах» «сурьезно», зная, что он оценит «деловитость» всякого человека «по справедливости», не подкупаясь никакими посторонними соображениями: родственными, сердечными, предрассудочными и другими. Вот почему Петр толково, ясно и вполне передал ему план той «земельной» операции, которая так давно была уже им «удумана» и осуществить которую он явился было на свою родину. Операция была не особенно сложна: заложить земли Волчьего поселка, полученную сумму прибавить к имеющейся уже сумме, накопленной в Москве, купить на эти деньги продававшиеся с аукциона два соседние барские имения и все приобретенные земли «пустить в коммерческий оборот», отдавая в аренду нуждающимся крестьянам. Чем дальше развивал Петр свой план, тем все больше и больше, незаметно для себя, он им увлекался.

— Это ли зорить называется? — время от времени обращался он к внимательно и молчаливо слушавшему Строгому. — Знаешь ты, какие земли-то вокруг нас? — приволье! И все это лежит вмертве, впусте! А ежели бы господь дал собрать в одни руки, к одному месту —

это ли бы разоренье было? В барском бы доме все сообща поселились, фундаменты под него подвели бы, крыши железом вывели, скотные бы дворы открыли... А там, глядишь, пошли бы по Оке наши барки... Сами бы провожать их стали, вплоть до Рыбинска!.. Флаги распустим! Каюты с резьбой! Лоцмана в кумачных рубахах! (Надо думать, Петр знал слабую струнку Еремея Еремеича: «человек строгих правил» еще во времена детства Петра любил иногда помечтать на эту тему и часто развивал ее на дергачевской улице, в длинные зимние вечера, с замечательно соблазнительною определенностью). А дядья бы дома были, каждый при своей части. А тетки на скотном дворе пусть хозяйничают с сестренкой. Зятя денежного и умственного в дом введем. Это ли зорить называется? (Глаза Петра как будто начали еще глубже уходить в подлобье и искриться; его охватывало нервное раздражение.) А теперь что сделали? Кто зорит семью-то? Куда теперь деньги-то идут? На аблакатов, на барское угощение, на пропой. Да еще унижайся, спину гни, подставляй под плевки лик крестьянский, чтобы в разор не разорили! Кто же зорит-то? Кто в раздел-то пошел? Собрали дергачевских стариков, что из ума выжили, и давай распределять родительское достояние: и тому выдай, и другому выдай, проходимцу какому-то, нивесть откуда налетевшему, родства не помнящему (Иваном Забытым недаром прозвали), и тому часть выдай, потому, вишь, по дедовскому завету — труды его награди... Да с чего? В кровном он с нами родстве, что ли? А дуры бабы — за каждый уполовник в драку. Это ли порядок? Кто же зорит-то?

Петр на секунду приостановился. Строгий молчал: «человек строгих правил» колебался.

— Поди,—раздраженно проговорил Петр,—поди скажи им, кто зорит семью-то, кто самого себя ест, счастья своего не понимает!... А мы ихнему невежеству покоряться не станем.

— А мы ихнему невежеству покоряться не желаем! — внушительно подхватил Вонифатий Мосеич и даже сердито, негодуя, поднялся со стула. — Зорить себя и их, по ихнему невежеству, мы не допустим!.. Я—большак! — прикрикнул он (слезившиеся глаза его, впрочем, нимало не желали терять своего весело-добродушного

выражения и гармонировать с его внезапною суровостью). — Пущай нашему уму покорятся!

— А стариковские-то распорядки бросить пора... Потому — это от предания! — заметил Петр.

— Пущай нашему уму покорятся, мы не обидим! — твердил Вонифатий Мосеич, внушительно тыкая. своим обрубленным по первый сустав указательным пальцем и постоянно поглаживая другою рукой свою широкую бороду. — А земли из своих рук мы не выпустим... Пущай после приходят, нашему уму покорятся, мы не обидим... Самим, дуракам, сладко будет!

Молчал Петр. Молчал, сурово смотря в пол, и Еремей Еремеич Строгий. Только Вонифатий Мосеич расходился и, немного пошатываясь, ходил по комнате, неистово скрипя половицами, да повторял, тыкая пред собою обрубком пальца:

— Пущай нашему уму покорятся, ежели счастья своего не понимают! Да!.. Пущай нашему уму покорятся!

— Дела! — только и нашелся, опять вздохнув, проговорить «справедливый» человек Еремей Еремеич Строгий.

Он поднялся, молча застегнул на крючки под бородой кафтан и сказал:

— Прощайте! — и вышел.

— Прощайте пока, — ответил Петр и вскоре вслед за ним вышел в биллиардную.

Он был еще раздраженнее, еще суровее. Беседа с крестным вызвала в нем целую массу воспоминаний: и кропотливую выработку неустанной идеи: «чтобы как лучше», которая не покидала его все время пребывания в Москве, и целый ряд мечтаний, осуществление которых было им так строго и определенно «удумано», и мелкую борьбу с разными неблагоприятными обстоятельствами, и страдания вечно уязвляемого самолюбия, которые до поры до времени хоронил он в своей душе. Все это как-то хаотически, неопределенно перемешивалось с обстоятельствами данной минуты и раздражало его. Он сел опять к столу с пустыми бутылками, не говоря ни слова.

— Вот что, брат, Петр Вонифатьевич, — подошел к нему Коронат Львович, — эдак, брат, нельзя... Ты об чем там со всякими мужиками толкуешь?

— А вам что?

— То-то и есть. Дело, брат, ежели вести толком, так нечего об нем звонить встречному и поперечному. Ты еще этого не понимаешь.

— А я вам вот что скажу: извольте кушать! Ежели в бутылках пусто, так мы еще прикажем... А насчет нашего понимания разговор оставим.

— Ты, брат, я замечаю, в последнее время очень заносчив стал... Смотри, брат, на кого-нибудь не навернись!

— Извольте кушать! Кажись, без угощения не оставляем. Вполне довольствуем!

И Петр загремел бутылками по столу. Коронат Львович сверкнул было глазами, но удержался и, ничего не сказав, отошел к биллиарду.

Петр, попрежнему молча, стал подкидывать в рот соленые сухари.

— Вот, mon cher, какие у нас коммивояжеры в суконных халатах проявляются! — сострил Коронат Львович, подмигнув молодым юристам на Петра. И сам Коронат Львович и молодые юристы захохотали.

Петр не понял, что сказал Коронат Львович, но он чувствовал, что смеялись над ним. Его глаза сузились, он весь, как улитка, ушел в себя и замер.

III

Еремей Еремеич Строгий, возвращаясь домой по темной торговой площади и сугробным улицам, что-то ворчал себе под нос. Он был недоволен; не часто с ним случались такие обстоятельства, чтобы он не мог решить чего-нибудь сразу «по справедливости». Он вообще не любил головоломных задач и привык, худо ли, хорошо ли, решать все вопросы сразу, безапелляционно. Но теперь подвернулось именно такое обстоятельство, что он принужден был сконфузиться. Еремей Еремеич Строгий ощутил в своей душе раздвоение, а он этого не терпел. Вот почему он часто и сердито плевал, поправлял на голове шляпу. Вернувшись домой, он еще не пришел ни к какому решению. Вероятнее всего, что, застав не спавшими ходоков Волчьго поселка, он сорвал бы на них сердце, задав «острастку», но они спали. Наутро

Еремей Еремеич решился как-никак помирить обитателей Волчьего поселка. В этом он видел некий душеспасительный подвиг, и это же льстило его самолюбию, поддерживая приобретенную им репутацию справедливого и строгих правил человека.

Но пока он обдумывал, как приступить к эдакому щекотливому делу, события не давали себя ждать.

На третий или на четвертый день по приходе в город ходоков Волчьего поселка, когда, вечером, возвратившись с базара, Еремей Еремеич хотел было окончательно приступить к душеспасительному делу миротворения, он застал в передней избе, где поселились Ульяна с своими спутниками, заштатного понамаря Феотимыча. В стареньком, порыжелом и заштопанном полукафтаньи, с неизменною седою косичкой на затылке, которой не изменял он во все долгое время своей «заштатной» жизни, Феотимыч развешивал на печи свое мокрое одеяние и что-то неторопливо рассказывал сидевшим по лавкам Ульяне, Хипе и Прасковье.

— Ты чего, старик, приплелся? — окликнул его, входя, Еремей Еремеич. — Али вам всем перемерзнуть дорогой хочется? Чего вы старые-то кости с Феклушей растревожили?

— Посланец, благожелатель, посланец! — отвечал Феотимыч. — Для ради души спасения всем потщиться надо.

— Что у вас там еще?

— Все благополучно, вашими молитвами!.. Вахромей Мосеич с извещением к Вонифатию Мосеичу послал, что, мол, дочь его Лукерья Вонифатьевна изволила свои родные места покинуть!

— Как так?

— Чего ж больше теперь и ждать? Раз начни баламутить — за вольной дело не станет... Брось камень-то у одного бережку, а он тебе волну до другого берегу даст, — сказала Ульяна Мосевна.

— Постой, старуха! — прикрикнул Строгий. — Так как же это она смелость такую взяла? а?

— А так, благожелатель: собрала свой короб, на могилку к матери сходила, память деда своего почтила, из-под снегу, около избы, родной землицы щепоточку вырыла и в ладанку зашила, вышла на улицу да пред всеми и говорит: «Прощайте, говорит, пока... Вот,

говорит, смотрите, что я с собой беру, это, говорит, только приданое мое... Неравно, лихом не помяните... А теньке, говорит, Ульяне Мосевне, от меня земной поклон передайте, а обо всем прочем я ее извещу...» Ну, мол, господь с тобой! Ступай!.. В те поры Вахромей Мосеич с охоты вернулся. Рассказываем ему: «Что ж, говорит, она свое взяла — не чужое унесла... Поди, говорит, Феотимыч, в город, извести отца». Вот и пошел я, благожелатель...

— А в погоню не послали?

— Что за ней гнаться-то? Чай, она не воровка, не своей семьи разорительница, — сказала Ульяна Мосевна. — Бог знает, как за наши дела наградить.

— Что за ней гнаться? — повторил Феотимыч: — не в нощи ушла, на людских очах.

— Говорили отцу-то?

— Нет еще, благожелатель... Признаться сказать, с духом не соберусь... Нутко, к нему теперь иттить-то... Только уж ради души спасения укреплюсь, как ни то.

— Нну-у, — вздохнул Еремей Еремеич и махнул внушительно рукой, — пошла битка в кон... Одна беда, говорят, не ходит!

— Не ходит, благожелатель, не ходит, — поддержал и Феотимыч.

Еремей Еремеич оставил пока всякую мысль о примирении и заказал самовар.

На следующий день Феотимыч, как только заблаговестили к ранней обедне, пошел в церковь. Дряхлый, полуразрушенный старик, он трусил теперь каждого окрика. Господу же богу угодно было наложить на него столь тяжелое бремя, как сообщение большаку об уходе его дочери. Знал Феотимыч, каков бывает в этом случае большак, а тем более «испивающий», и заранее предчувствовал, что неповинно должно обрушиться на его старческую голову за такую весть. У обедни он усердно молился, затем, для придания себе храбрости, понюхал дружески табачку из тавлинки своего сверстника, церковного звонаря (причем они сообщили друг другу, что им «давно бы уж умирать пора»), и отправился в номер к Волкам — старшему и младшему.

А в это время Волки, старший и младший, сидели, за самоваром, около стола. На столе лежали крендели, куски сахару в синей бумаге, соленые огурцы и стояла

бутылка водки. Вонифатий Мосеич уже был румян и весел, Петр, по обыкновению, молчалив и сердито сосредоточен, несмотря на то, что у них сидел гость. Гость этот был московский молодец Макар Карпыч. Макар Карпыч был тоже чем-то не совсем доволен.

— Какая оттяжка вышла, а-а? — тянул он недовольным тоном, нехотя прикусывая крендель. — Проволочисто, весьма проволочисто вышло! Не ожидал! Теперь на самые эти разъезды сколько времени потеряли!

— Сделай милость, оставь!.. Не грусти!.. Пожалуйста, прошу тебя — не грусти! — уговаривал его Вонифатий Мосеич.

Петр молчал, смотря упорно на стол, и тихо барабанил по нем пальцами.

— Уже одну усадьбу продали, — продолжал, не слушая, москвич. — Конечно, умные люди ждать не станут!

Он замолчал.

— Мы тоже, кажись, не глупее других считались, — проворчал Петр.

— Я не про то... А главное дело, в хозяине у вас силы весьма недостаточно. Вот у нас, как мы, значит, уже более к купечеству привержены, так у нас, бывало, тятенькино слово — закон, от его речей не только что родная семья, а все домочадцы в трепетании находятся... Потому — главенство вполне! Проволочек-то этих и не бывает, — вот она, коммерция-то и идет.

— Не грусти! Пожалуйста, прошу тебя, не грусти! — опять умолял москвича Вонифатий Мосеич. — А что ты обо мне сказываешь, так это ты ошибаешься... Ты думаешь, — вот я теперь добр, так и всегда?.. Не-ет, брат!.. Спроси-ка Петра, как его в молодости лозьем обучал! Да не то что Петра, я Лушку, и ту другой раз, в пьяном часе, поднявши подол-то, подхлестывал... Вот что? Мы страх-то божий не хуже кого другого понимали.

— Надо полагать, не вполне! — заметил москвич.

В это время вошел Феотимыч и, остановившись у двери, стал молиться на большой образ с лампадой, висевший в углу.

— Никак Феотимыч! — крикнул Вонифатий Мосеич. — Ты чего, старик, с печки-то слез? Али помолиться угодникам задумал?

— Помолиться, благожелатель! Удостоился от отца благочинного благословение принять.

— Ну, ну! Садись, обогрейся кипяточком... Вот я тебе водочки поднесу... Что у вас — благополучно ли?

— Молитвами вашими живем!

— Ну, выпей... Выпей, ничего, не бойся!

Феотимыч боязливо взял дрожащими руками стакан и с пожеланиями выпил, крякнул, закусил и опять присел.

— Вахромей Мосеич кланяться приказал.

— Ну, пущай бы и не кланялся, убытку бы не было!

— Приказал объявить, что дочка ваша Лукерья Вонифатьевна изволила самоохотно отбыть третьягодняшнего числа.

— Чево? — не понял Вонифатий Мосеич.

— Отбыть, мол, изволила.

— Да ты что говоришь?

— Отбыть, мол, неизвестно куда, изволила...

— Это Луша-то? Про нее, что ли, ты?

— Про нее-с, про Лукерью Вонифатьевну, благожелатель!

— Ну?

— Отбыть изволила...

— Как отбыть?

С каждым вопросом глаза Вонифатия Мосеича открывались все больше, все упорнее всматривался в лицо Феотимыча, который старался не смотреть на него.

— А так, благожелатель, — начал медленно выговаривать Феотимыч. — На могилку к родительнице сходила, память деда своего почтила, из-под снегу, около избы, родной землицы щепоточку вырыла и в ладанку зашила, вышла на улицу, вынесла свой короб да всем и говорит: «Вот, говорит, добрые люди, смотрите, что я с собою беру: это, говорит, приданое мое... Неравно, лихом не помяните! А тятеньке...»

— Это, выходит, ваша дочка сбежала? — перебил его москвич, обратясь к Вонифатию.

Вонифатий Мосеич блуждающими глазами посмотрел, не понимая вопроса, в лицо москвича, потом на Петра, потом на Феотимыча и вдруг, как бы осененный сознанием, крикнул на Феотимыча:

— Ванька Забытый где?

— Ушел, благожелатель, точно что ушел... Надо думать, вместе они ушли...

— Голубчики, помогите! — вдруг заревел Вонифатий

Мосеич. — Обокрали! Дочь родная обокрала! Дочь!.. — причитал он, между тем как по бороде и щекам его лились слезы.

Но вдруг он вскочил, схватил в одну руку шапку, в другую бараний тулуп и бросился, одеваясь на ходу, вон. Пробежав через трактир, вызвав общее любопытство, он спустился под темный навес двора, где стояли лошади, бессмысленно потолкался около саней и вдруг, опять бегом, волоча по полу тяжелые полы тулупа, поднялся по вонючей и грязной лестнице трактира вверх и снова вбежал в номер.

— Поедемте со мной!.. Скорей поедемте! Петр, одевайся! — кричал он. — Дочь родная обокрала!.. Сердце родительское обокрала — вот что обидно!.. Одевайтесь, говорю!.. Облаву сгоним, со дна моря найду.

— Нечего теперь в поле ветер ловить... Надо бы раньше знать, каково хорошо богадельни-то строить да приживальщиков с ветру брать, — проговорил Петр. — За твое-то добро они дадут восчувствовать!

— Поедемте, говорю, собирайся! — кричал Вонифатий Мосеич, бестолку хватая пожитки.

— Незачем ехать. — отвечал Петр, — образумься лучше.

— Макарушка, родной! беги, ступай, хоть до самого губернатора дойди — поймай ее, излови, срамницу! Отдаю ее тебе, — бери, учи ее, как знаешь! — говорил, все еще плача, Вонифатий Мосеич москвичу.

— Не наше теперича здесь, вижу я, дело... Извините! — сказал, поднимаясь, москвич.

— Ступай к архирею!.. Проси, чтоб всем попам настрого приказал их, срамников, под венец не ставить! Беги, опоздаешь, Макарушка!.. Беги скорей!..

— Точно, что отсюдова бежать надо... Потому, видно, всяких прокламаций здесь конца краю не видать! — пробормотал москвич, насмешливо улыбнувшись, и взялся за шапку.

— Прощенья просим... Благодарим за угощенье!.. А за свое не взыскиваем, — сказал он, иронически раскланиваясь, и пошел к двери.

— Вы куда же, Макар Карпыч? — спросил в волнении Петр.

— Домой-с, к маменьке... И так весьма проволочисто время убили... Мы уж лучше с купцами дело поведем, —

проговорил москвич уже в коридоре между номерами. — Самим, выходит, весьма в убыток! — заключил он, натягивая на уши баранью шапку.

Петр, шедший было за ним, вдруг понял все — остановился, и улыбка не то презрения, не то грусти искривила его лицо.

— Что такое у вас? — спросил, выбегая в одной ночной рубашке из номера, Коронат Львович.

Волосы у него были растрепаны, красивое лицо заспано и измято после бессонной ночи и кутежа. Голос был хриплый и сердитый.

— Так, свои дела, — отвечал Петр, все еще стоя в какой-то нерешимости в коридоре.

— Какие дела? Что такое? Он ушел, компаньон-то? — кивнул к лестнице Коронат Львович.

— Ушел...

— Совсем?.. Что такое вышло?

— Вполне, значит, умственный человек, — проговорил Петр и зло улыбнулся.

— То-то и есть! Он, брат, нос-то не дерет, а дело понимает! — сурово выговорил Коронат Львович, быстро повернулся к Петру спиной и, вместо того чтобы пригласить его, по обыкновению, к себе, захлопнул ему под носом с треском дверь.

У Петра зазвенело в ушах, лицо вспыхнуло. Он на минуту растерялся.

Между тем Вонифатий Мосеич, посмотрел бестолково и ничего не понимая вслед уходившему москвичу, вдруг набросился на несчастного Феотимыча. Феотимыч только разводил руками да изредка вытирал потное лицо, смиренно поднимая на свои плечи нелегкие пожелания, которые посылал Вонифатий и «побиральцам», и «крохоборам», и «приживальщикам», и своим братьям, и всему населению поселка вообще. Петр вошел в это время в номер, равнодушно посмотрел на стариков, взял фуражку и вышел опять, не сказав ни слова. Очнувшийся Вонифатий оставил, наконец, Феотимыча и бросился за советом «к своему аблакату», Коронату Львовичу. Коронат Львович из его безалаберного рассказа мог, наконец, сообразить, что уход Луши имел вообще для «дела» Волков более глубокое значение, чем простая любовная интрига. Он догадался, что вместе с нею ушла от «дела» половина силы в лице капитального москвича.

Коронат Львович намотал это тотчас на ус. Его уже давно тревожила холодная и надменная «повадка» чувствующего свою силу мужика. Все еще не успокоившийся Вонифатий «от своего аблаката» бросился на постоялый двор Строгого, по пути обогнал Феотимыча и не упустил случая еще раз его выругать. На постоялом дворе он никого не нашел, кроме Феклуши. Досталось от него и старушке Феклуше, и снова досталось только что доплетшемуся до двора Феотимычу. «Ах, ты, господи, вот напасть! — проговорил даже Феотимыч. — Ишь, как враг-то человеческий наводит!» Но, чувствуя, что и им нужно «терпеть и нести крест» вместе с своими благожелателями, они, не ропща, принимали окрики расходившегося большака. Не застав дома Ульяны, Вонифатий бросился в палату, где и встретил наших ходоков на крыльце суда. Облегчив свое горе руганью с сестрой, братом и невесткой, и даже Филаретушкой, Вонифатий, наконец, нашел где-то попутчика в село Доброе и уехал один, без Петра, производить дознание и показывать власть большака, в Волчий поселок.

Мы не будем, однако, следить за подвигами огорченного отца, не будем рассказывать, как он жалостно причитывал и пенял на людскую неблагодарность среди дергачевского мира, как он роздал всем сестрам по серьгам в Волчьем поселке, как досталось от него и Сатиру, и солдатке Сиклетее. Все эти подвиги, понятно, только обострили еще более взаимное неудовольствие обывателей Волчьего поселка. Мы лучше прямо перейдем к рассказу о том, чем кончилась эта «история дедовского гнезда».

IV

Прошло немало дней, недель и даже месяцев, прежде чем решилось «дело о разделе общего имущества крестьян-собственников, братьев Волков». Не один раз «обе стороны», выражаясь судейским языком, уезжали из города опять к себе домой, снова приезжали, возвращались опять; и опять останавливались ходоки у Еремея Еремеича Строгого, а «умственные крестьяне с своим аблакатом» — в трактире с «номерами для господ благородных». Впрочем, здесь следует заметить, что Петр, после того как оставил их москвич, а отец

уехал по делу дочери в село, тотчас же переместился из своего номера в более скромный, уже без гардин и розеток, в темный, с окном на грязный двор, с диваном, наполненным клопами; вообще, он значительно сократил свой бюджет, так как скопленная им в Москве сумма быстро истощалась на тяжбу. Но еще более сокращались ресурсы ходоков, с Ульяной Мосевной во главе. Много раз уже кожаная мошна, висевшая на груди Ульяны Мосевны, иссякала до последнего гроша, снова наполнялась благодаря постепенно вывозимой из поселка живности и спускаемой на городском базаре, и снова иссякала. Было спущено в городе уже все, что имелось ценного у братьев и у самой Ульяны. В последний раз были запроданы в городе синие суконные сибирки Хипы и Вахромея и старинный, шитый парчой сарафан самой Ульяны Мосевны. Знакомые Филаретушки, «единственные в мире чиновники и адвокаты, происшедшие вдосталь всякие титулы» и даже не задумывавшиеся писать в правительствующий сенат, оказались, во-первых, далеко не так шустрыми, а во-вторых, далеко не так добросовестными, какими считал их отзывчивый, душевный Филаретушка. Чем больше истощался достаток, тем Прасковья становилась злее и сердитее, тем больше ругала и Хипу, и всех и вся, да и сам Хипа начинал выходить из себя и тяготиться своим безмолвным содействием и сопутствием Ульяне Мосевне. От безделья и городской жизни он привык даже и запивать.

Еремей Еремеич Строгий после неудавшейся попытки к примирению, на которую он все-таки рискнул было для очищения совести, теперь обратил свои строгие реплики на «всеобщее разорение» и самоядение, которому подвергали себя обе стороны разлагающейся семьи. Он приходил в чрезвычайное раздражение при одной мысли — сколько денег прахом пошло на «крапивное семя» (этим именем он продолжал называть и адвокатов, нисколько не смущаясь их более прогрессивным значением, чем бывшие подьячие). И при этом человек строгих правил одинаково соболезновал как о той, так и о другой половине семьи Волков.

Время шло. Наступила весна. В последний раз проехали в санях в город, и то с трудом, ходоки Волчьего поселка. Хмуры, раздражительны и молчаливо-суровы были они теперь. Давно уже сошли с их лица доброта,

наивность и ласковая улыбка, воспитанные среди мирной, бесхитростной жизни деревенского достатка. Истомленные заботами, непрестанною мыслью о будущем, о грозящей страшной нужде, ехали они в город с тщетною надеждой услыхать, наконец, решение своей судьбы.

И судьба Волчьего поселка скоро была решена. Две трети пахотной земли (в нее входила преимущественно земля, которая была в пользовании дергачевской общины) были присуждены младшим братьям, но рощи, третья часть пашни и вся Корявинская пустошь поступили в вечное и нерушимое владение большака, старшего брата. Впрочем, здесь считаю нужным заметить во избежание могущих быть недоразумений, что, внося, вскоре по своем прибытии в Волчий поселок, деньги за Корявинскую пустошь, во избежание тяжбы с барыней, Петя вовсе не имел того в виду приобресть эту пустошь в *свою* исключительную пользу: он делал это для блага всей семьи. И только уже впоследствии, когда оказался неизбежным раздел и Петр крепко встал на своем: «пущай нашему уму покорятся — мы не обидим»,— только тогда сделалось так, что документы на владение пустошью очень пригодились и для той операции, о которой он мечтал.

Когда сделалось известным решение, Филаретушка вознегодовал:

— Подавать надо! Выше надо подавать! Как так? Почему? По какой причине денной грабеж допускать?

Ульяна Мосевна, Хипа и Прасковья стояли в недоволновался он.

Ульяна Мосевна, Хипа и Прасковья стояли в недоумении, посматривая на Филаретушку, и в нерешимости молчали.

— Выше надо подавать!.. Нам еще права предоставлены! — продолжал волноваться Филаретушка.

Они не сомневались в его личной сердечной доброте, но круто чувствовали оскудение своих достатков, чувствовали, что они уже дотянули до последних кишок.

— Пускай подавятся!—решила сердито Прасковья.— На награбленное добро не разживутся... Встанет оно им поперек горла, да и детям-то ихним не раз чужая корка поперхнется! — кляла она вслух на судейском крыльце своих родственников.

— Молитесь, глупые, молитесь, что еще совсем не

разорились! — строго выговаривал Еремей Еремеич, — что еще не совсем вас мышь съела!

Ульяна Мосевна не говорила уже теперь почти совсем.

С тем и уехали из города ходоки Волчьего поселка. неся с собою скорбный приговор его былому патриархальному существованию.

Петр был еще очень молод. Только что оконченное «дело» было первым делом в его житейской практике, и вот почему, несмотря на то, что результаты далеко не соответствовали задуманному плану, он был в глубине души доволен, как ребенок. Он чувствовал теперь себя человеком, в руках которого влияние, и сила и, может быть, скорое богатство. Вначале, когда только что был «удуман» план земельной операции, он, как известно, лично стушевывался, так как операция эта предполагалась быть общим делом всей семьи Волков. Но теперь обстоятельства неожиданно повернули дело иначе. Хотя и уменьшились объемы операции, но зато личное значение и сила Петра возросли до того, что он мог *от себя* устроить счастье своих родных. Его болезненно развитому самолюбию это говорило очень много. Но вместе с тем душа Петра была взволнована и возмущена. Его молодая, неокрепшая натура еще не мирилась с такими шулерскими передержками в человеческих отношениях, которые с такою откровенною наглостью могли проделывать опытные практики, как Коронат Львович и москвич. Несмотря на то, что Петр уже достаточно вышколил свою подвижную физиономию, чтобы скрывать на глубине всякую душевную тревогу, но заглушать и убивать в себе тотчас же всякую возможность этих душевных тревог он еще не умел. После сцены с москвичом он долго волновался и не успокоился еще и теперь.

Коронат же Львович, как человек опытный, смотрел на дело трезвее: он видел, что предполагавшаяся операция далеко не удалась, что выигрыш Петра в сущности был очень невелик и что рассчитывать было не на что. Коронат Львович был уже давно недоволен Петром, а теперь и вовсе не желал с ним стесняться.

На другой день после решения Петр делал в трак-

тире «спрыски». Народу набралось на даровое угощение немало. Приходили личности, едва известные Петру, и поздравляли его с Вонифатием Мосеичем. Были тут и судейские чиновники и городские мещане, и пьянчужки из села Доброго, и писаря из добросельской волости, и даже затесались какими-то судьбами два бродячие пьяные дергачевца, которые с самыми нежным и ласковыми улыбками уверяли и Петра, и Вонифатия, что дергачевский мир по первому их слову всякое им уважение предоставит. Все, кстати, ругали и Ульяну, и младших братьев Волков. Почтенная публика давала полное удовлетворение надменному тщеславию молодого «умственного» мужика. Гордый, серьезный и суровый, с обычною презрительною улыбкой сидел он посредине перед столом, уставленным бутылками и закусками, и равнодушно слушал пьяные уверения в дружбе.

Подвыпивший Вонифатий Мосеич давно уже, кажется, забыл свое отцовское горе и, румяный, улыбающийся, плавал по зале трактира и с истинным русским радушием потчевал гостей. Но Петр еще не был вполне доволен. Он ждал Еремея Еремеича и Короната Львовича. Пришел Еремей Еремеич Строгий, «из любопытства единственно», как заявлял он, не выпуская из рук шапки, посидел рядом с Петром, помолчал, посмотрел на собравшуюся публику, поворчал на Вонифатия и скоро ушел. Вслед за ним явился и Коронат Львович, как-то особенно нагло выступая. Он был пьян; лицо у него обрюзгло, глаза заплыли после целой недели кутежей.

— Ну, что, братец, — обратился он прямо к Петру, разваливаясь на диван, — доволен? Будешь мне благодарен?

— Кажется, мы расквитались... Сколько следует, оплатили... Нам с вами не ребят крестить, — надменно отвечал Петр.

— Что такое ты говоришь?

— А вот не желаете ли вы поздравиться?.. Сверх, значит, всего прочего, что вам за аблакатские труды уплачено от нас...

— А я, братец мой, неоднократно тебе замечал, что ты слишком забываешься... Ты, кажется, забыл, что я — дворянин?.. — поднялся Коронат Львович на диване и грозно сверкнул глазами на Петра.

— Точно что... Однако, кажись, мы более от вас не в зависимости... Наплевались в лик-то крестьянский весьма достаточно...

— Ты — хам, — загремел Коронат Львович, — ты в умственной от меня зависимости! В умственной! Слышишь?

— Пустое это дело-с, — перебил его Петр. — Аблакаты-то нынче всякие есть... Извольте-ка лучше поздравить с окончанием дела... А что насчет умственности, так это еще богу известно!

— Мальчишка! Мужик! — заревел, уже вскакивая совсем, Коронат Львович, весь побагровев. — И ты смеешь... Да я тебя...

И кулак Короната Львовича сделал внушительную дугу в воздухе.

Петр вскочил, его глаза засверкали и еще глубже ушли в глазницы. Мгновенно в его воображении мелькнула какая-то давно забытая, но очень похожая сцена в Москве. Петр задрожал, как в лихорадке.

— Бей его!.. — крикнул он, бросаясь со сжатыми кулаками.

Пьяные гости повскакали с мест. Коронат Львович, никак не рассчитывавший на подобный оборот, как ни был пьян, но сообразил, что он тут один...

V

Два дня спустя после этой сцены в Волчьем поселке, в келье Ульяны Мосевны, утром собрались братья — Вахромей и Хипа, их жены — Федосья и Прасковья, Феотимыч и Феклуша. Возвратившийся только что из Дергачей, Вахромей Мосеич передавал результат своих переговоров с дергачевцами о переселении младших братьев Волков снова в родную деревню. Дергачевцы уступили им под усадьбы небольшие клочки земли с края деревни, в обмен за двойные участки пахотной земли в полях, доставшихся по разделу братьям.

— Торопиться надо... Пора уж с этого непутного места тронуться... Вишь, как его нечистая сила охватила! — говорил Вахромей Мосеич. — Совсем загубит, со свету сживет...

— Сглазили, родные! — заговорила, Феклуша.

— Так что ж?.. Ежели пущают, так и слава тебе, господи: выбирайтесь полегоньку, — сказала Ульяна Мосевна.

— Пора!.. Чтобы до работ-то хоть срубы крышей покрыть!.. Чтобы хоть дождем летом не мочило...

— Эка сила рухнула! — шептал Феотимыч.

Пока разговаривали собеседники, в поселок въехал Петр. Он был один. Отца он оставил в городе, пока не выправит нужные бумаги. Петр подъехал к своей избе. Она была заперта и пуста. Привязав лошадь к кольцу калитки, он пошел к келье Ульяны Мосевны. За разговором никто не слыхал, как он приехал. Когда Петр отворил дверь, вдруг все вздрогнули и переменились в лице. Петр молча и истово помолился пред образом, затем в три приема низко поклонился родным. Никто не шелохнулся, и только Феклуша три раза тихонько сплюнула в сторону да Ульяна Мосевна перекрестилась.

— Бог в помочь! — проговорил Петр.

Никто не отвечал, только опять одна Ульяна Мосевна проговорила тихо:

— Благодарим... Милости просим! Садись!

Петр прошел к столу и сел около него.

Все отодвинулись к углам избы и молчали.

— Весьма для нас было это неожиданно, — начал слегка дрожащим голосом Петр, постукивая в волнении пальцами о доску стола и смотря на дверь, — весьма неожиданно, что мы вообще о том всю жизнь свою помышляли, чтобы как всем нам лучше приустроиться, а замест того... от нашего невежества... самих себя в разоренье привели.

Петр остановился.

— Не от невежества это, а от греха, от врага рода человеческого, — заметила Ульяна Мосевна.

Вахромей закурил трубку, отворил окно и, облокотившись на него, стал выпускать тонкие струйки дыма.

— Но как это дело, значит, выходит, поконченное, — увереннее продолжал Петр, — то об нем и панафиды петь нечего. А к тому я говорю, что и теперь, ежели умственно дело взять, можно еще к наилучшему все приустроить. Мы с тятенькой так порешили: оста-

ваться всем нам здесь на прежнем положении, и работы вести сообща, и операцию земельную то ж сообща произвести. Вы нашему уму покоритесь, а мы вас не обидим. Земли ваши при вас останутся, а наши при нас: никому, значит, не обидно, а в то ж время сообща о том будем стараться, чтобы как всем лучше... Как ты, тетенька, об этом скажешь?

— Мое дело, Петрушенька, тут сторона. Я и хлопотала не за себя, а за сирот. Чего мне надо? Мне ничего не надо. Я на свой век от трудов прокормлюсь!— сказала Ульяна Мосевна. — Вот дядьев спрашивай, их бы совета тебе давно принять надо...

— Наши дядья туги насчет этого. Кабы они умственного дела касались, так столь большой скорби для нас не произошло бы. Вот что я вам скажу. Так вам бы поосудить их не мешало, заказать бы им семьи-то свои зорить да от верного счастья отказываться, ежели у них своего ума-понятия нет.

— Убью! — вдруг закричал Хипа и с своими страшными, известными на всех дергачевских боях кулаками подскочил к Петру.

Петр побледнел, но не струсил. Он не был трус вообще. Федосья и Ульяна схватили за руку Хипу, безумно поводившего глазами, и усадили его между собой на лавку.

— Мало вам? Мало еще? — сорвалась с лавки, вслед за мужем, Прасковья. — Мало вы родной-то крови выпили? Чего вы еще захотели? Али еще нечистая сила не улеглась в вас? Али еще вы своими прелестями мало соблазнили да крови выпили?.. Будьте вы прокляты!.. прокляты!.. прокляты!..

— Паша... Паша! — удерживала за подол сарафана Ульяна Мосевна расходившуюся невестку.

— Вы у кого хлеб-то отняли? а? Не у нас, не у дядьев — нет! Нечистая ваша сила из деточек наших кровь пила! Кровь! Подавитесь вы грабленым куском! Провалитесь вы в вашем поселке! Бог от него отступился! Ребячьи душеньки его прокляли! Мы и дня здесь не останемся, на этой земле проклятой!.. Не то что на ваши умственные прелести польститься! Мы по миру лучше пойдем, лучше дергачевскому миру в ноги поклонимся.

Так сыпала безостановочно, задыхаясь, махая ру-

ками, освирепевшая Прасковья, не давая никому выговорить слова. Наконец Ульяне Мосевне кое-как удалось ее угомонить.

— Не желаете, выходит?— спросил Петр после того, как в избе настала тишина.— Коли так — с богом! — решил он вставая в сильном волнении.— С богом! А на нас вину класть нечего! Берите на себя! Подите поживите с дергачевцами, коли вам мало... Попробуйте кабалы-то! Авось на миру драть будут... Остальных коров продавать... Испробуйте!.. Только на нас вины не валите! Умственный человек о том думает, чтобы как лучше, а дуракам, выходит, закон не писан! — закончил Петр, в нервном раздражении застегивая ворот кафтана. Он плотно надел на голову фуражку и вышел.

— Будьте вы прокляты, кровопийцы!— крикнула ему вслед Прасковья, опять сорвавшись с лавки, и долго еще неслись за Петром из окон кельи Ульяны Мосевны проклятья Прасковьи, пока не успокоили ее бабы.

Петр задами вошел в свою избу.

Когда же через полчаса он вышел оттуда и сел на лошадь, то услыхал, как железные ломы ударяли уже в крышу избы Вахромея. На крыше стояли Хипа, Вахромей и Сатир и рушили совсем пошатнувшиеся дедовские устои.

Петр молча проехал мимо них в село Доброе, чтобы кое с кем осмотреть еще не проданную барскую усадьбу.

Чуть забрезжилось следующее утро, как от Волчьего поселка по направлению к Дергачам снова потянулись возы бревен, и попрежнему шутили помогавшие молодым братьям Волкам дергачевцы:

— Опять, значит, в крестьянское сословие! Так-то оно лучше! Греха меньше! Пущай уж умные мужики помещиками живут! А мы и так, по своей простоте, век дотянем!

— Поселяйтесь, поселяйтесь! — покрикивал староста Макридий Софроныч, когда братья Волки клали первые венцы. — Селитесь, мы с вами всегда в дружбе были, одни от других не отбивались! Селитесь с господом! — говорил он, поглаживая бороду, как некогда дед Мосей, кладя первые устои своего поселка. — А пущай там, кто умней, новые устои ставит!

Ну, что, Сатир Иваныч, и ты опять к нам?.. Вон оно что значит произволение-то божие — от него не уйдешь.

И дергачевцы посмеивались, вслед за своим неизменным старостой, над Сатиром.

Только Сатир был суров и угрюмо молчал.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ВНУК

Глава первая

СТРОГИЙ

I

Деревня Дергачи встречала весну 186* года, пятую весну после «освобождения». Неизменные любимцы русской деревни, весенние заморские гости, торопливо собирались под соломенные, знакомые крыши: колокольчиком зазвенел над зазеленевшеюся нивой жаворонок, залился, восторженно трепеща крыльями, скворец, и весело защебетала в кустах малиновка. Нет сомнения, они радовались благополучному возврату под кров бедной деревеньки и приветствовали ее мирного и знакомого обитателя, ее скудные, но любимые и широко привольные нивы. Но если бы эти воздушные и беззаботные певцы могли заглянуть в душу деревенского обитателя, они, наверное, пришли бы в немалое удивление и «недоумение», как и сам этот обитатель, при виде того, что происходило в Дергачах в одно такое свежее, благодатное, весеннее утро.

У одной большой, хозяйственно сколоченной избы заметно было особое, необычное движение. В то время как из изб деревеньки навстречу восходящему солнцу узкими, полупрозрачными полосами весело несся резко душистый дым, в этой избе не загорался уже сегодня семейный очаг. Вот сама заботливая хранительница этого очага, высокая, статная, здоровая женщина, одетая по-дорожному, не первый раз уже выходит на задворки, в огород, в небольшой сад, заглядывает в

сарай и как-то сосредоточенно, словно замерев на месте, долго и любовно обводит глазами эти давным-давно сроднившиеся с ее душой места. Ищет ли она чего здесь, или беззвучно разговаривает с этими безмолвными и безучастно смотрящими на нее предметами? Что они могут говорить ее сердцу? А они, должно быть, говорят... Вот у женщины быстро скользнули по щекам крупные слезы, из груди вырвался глухой, подавленный вздох. Она окинула еще раз глазами овин, сенницу, огород и, медленно повернувшись, опустив голову, пошла к избе. В избе народу было много; за столом и вдоль стен по лавкам сидели гости — мужики и бабы; на столе — самовар, водка и пироги. Подвыпившие гости были веселы или нарочно старались развеселить хозяев.

— Что, Алена Матревна, али неохотно трогаться с наших местов: плохо, плохо, а все свои? — спрашивали бабы вернувшуюся в избу женщину с заплаканными глазами.

— Да ведь как же: родное все, сжилась со всем... Деды да отцы жили...

— Да, да... Как не жалко! Вот и хозяин-то твой закручинился... Что говорить! Какие мы ни есть, а все люди... Все оно вместе век-то прожили — сроднишься. Там еще, в городе, бог знает, какие люди будут, какие друзья-приятели. Может, хуже нас, грешных, — говорили гости.

— Все бог, никто, как бог! Кушайте, почтенные, кушайте! — сурово-степенно угощал гостей высокий с проседью в волосах мужик, то подходивший к столу угощать гостей, то таскавший связанные узлы на стоявший у ворот воз.

— Это что говорить! Конечно, что бог, — отвечали гости. — Нас все же не забывайте. Мы ведь не виноваты... Мы от души... Разве мы утесняли?.. Господи помилуй... У нас против тебя зла нету...

— Нету, нету... Этого не думайте, — мимоходом говорил сосредоточенный старик. — А кто виноват, то один бог знает. Все виноваты, так думать надо...

— По жисти уж так...

— Да, по жисти... Пожалуй, что верно. Ну, вон и подъехали, — прибавил хозяин, взглянув в окно. — Кажись, все забрали?

— Все, все, — отвечала его жена. — Одного не возьмешь, — родной земли не возьмешь!

— Что ж, наша земля не пустовать будет, к своим же в руки перейдет... Ну, владай нашим имуществом, Иван Тимофеич, владай на благополучие, а не во вред... Приедем, неравно, в гости, чтобы было тебе чем перед нами похвалиться, — сказал хозяин, обращаясь к одному из гостей, и затем стал молиться. Помолилась и жена. Гости встали. Помолчали. Затем все двинулись из избы. У ворот на улице стояли лошади; одна из них была Ульяны Мосевны. Сама она сидела в телеге; с нею рядом подросток лет пятнадцати, племянник Петр, задумчивый, худощавый мальчик, с карими, смотревшими исподлобья глазами, в синем суконном армячке и в новой черной фуражке. Его отец, Вонифатий Мосеич, перетягивал торопливо супонь, а на облучке, как-то съежившись, сидел друг-приятель Петра, Филаретка, в ситцевой рубахе и старой отцовской жилетке; он от времени до времени вздрагивал всем телом — от внутреннего ли волнения, или от ядреной свежести весеннего утра.

— Готовы? — спросил вышедший из избы, в сопровождении гостей, старик и затем, внимательно взглянув в лицо Ульяны Мосевны, проговорил: — Чего сердишься, старуха?.. Ах вы, бабы, бабы!..

Словно под неотразимым влиянием взгляда старика, и мальчик Петр недовольно-сердито глянул в лицо тетки и нетерпеливо повернулся на месте.

— Что сердиться! Сердиться нечего, — истово выговаривала Ульяна Мосевна, — а только мало хорошего, ежели друг от дружки люди бежать пустились, с родных мест бегут... Надо сказать правду, Еремей Еремеич.

Старик взглянул мельком опять в суровое лицо Ульяны Мосевны, потом посмотрел на жену; его высокая, здоровая баба стояла еще у ворот избы; вдруг она медленно поклонилась в пояс земле, коснувшись ее рукой, но не успела подняться, как глубокая скорбь, вырвавшаяся из груди сдержанным рыданием, повалила ее совсем. Несколько секунд рыдала она, припавши к земле. Всем стало тяжело и неловко. Бабы вздыхали. Мужики прятались один за другого. Ульяна Мосевна сердито смотрела в сторону. Филаретка вдруг выпря-

мился и во все глаза глядел на рыдавшую женщину: у него у самого навертывались слезы. Петр внимательно следил за стариком, и как-то невольно его молодые черты отражали на себе малейшие оттенки выражений стариковского лица.

Старик Еремей Еремеич покачал с сердитым недовольством головой и крикнул своим обычным, громким, басовым голосом:

— Будет уж!.. Пора! Давно решено!

Из дергачевских изб повысыпала чуть не вся деревня и окружила уезжающих. Сняв шляпу, Еремей Еремеич истово помолился на восток, запад и юг, затем также истово и низко поклонился на все три стороны.

— Не осудите, — проговорил он, — прощения просим...

— Нас не осуди... Зла, главное, не помни... Может, — всяко бывает, — может, опять господь вернет, — заговорили в толпе. — Воля твоя была... Не наша вина...

— Нету, нету, — торопливо проговорил старик, взнуздывая лошадь, и задергал вожжами. Подводы тронулись.

Толпа долго молча смотрела им вслед и вслушивалась в поскрипывание телег. Как будто в недоумении перед тем, что творилось на деревенской улице, на время замолкшие было деревенские певцы теперь дружно огласили свежий утренний воздух. Мужики еще следили за трепещущими на синеве неба жаворонками и за лихорадочно-беспокойною работой ласточек, свивавших гнезда под их убогими крышами. Смотрели дергачевцы за прилетевшими весенними гостями, слушали их веселые песни и о чем-то думали, но о чем именно — сказать это было бы довольно трудно, да и вряд ли возможно было эти думы уложить в какое-либо определенное выражение. Все тут больше чувствовалось, чем логически мыслилось. Чувствовался тут, жутко чувствовался один только гнетущий факт: прожил человек всю жизнь на одном месте, где жили и умерли его деды и отцы, прожил до старости на родимой земле, среди своих, чуть не родных мирян, и вдруг этот человек «снялся с родимого места», снялся на старости лет, перед смертью, и уезжал... Что же это такое? Трудно сказать. Только чувствовалось дергачев-

ским миром какая-то неловкость, как будто даже стыд, и тем этот стыд был невыносимее, что он был стыдом за кого-то *другого,* не за себя, что, ведь в сущности-то, дергачевцы, положа руку на сердце, не могли себя ни в чем обвинить: ведь не они же, в самом деле, вынудили (упаси господи!) сняться почтенного старика с места и уехать умирать на чужую сторону. И дергачевцы скорее имели право сердиться на этого самого старика, который своим отъездом с родного гнезда косвенно обвинял как будто их в чем-то, клал на них худую славу, как будто их деревенский мир нарушил вековые устои любовного и сердечного общежития.

— Да мы птичьего гнезда не разорили, не токмо что... Господи помилуй! Вот она, птица-то божья, и неразумное создание, а гляди — опять к нам вернулась; даром, что за морями летала, а нас не забыла. Ежели бы мы ее чем утесняли, не бойся, не прилетела бы, так бы у нас не запела! А теперь, гляди-ка, как пташка веселится!

— Что говорить! Птица — и та зря даром не изобидит. А тут — жил, жил человек, по душе, по любви, и вдруг на старости лет... Когда это у нас бывало? От дедов у нас такого греха не бывало... Вот Мосей уходил, точно, да малое время годя и опять к нам вернулся... Нас не отвергнул... А *он,* Строгий-то, вишь ты, на старости лет... Какой теперь, будем говорить, пример молодым? — Так, негодуя и волнуясь, рассуждал возмущенный дергачевский мир.

— А драть его на шест — и то сказать! — порешил один из особенно откровенных дергачевцев.

Это, пожалуй, что так — «драть его на шест!», но ведь, однако, было бы за что драть и Еремея Строгого: это был не пропащий мужичишко, не лентяй, не вор-грабитель, не пьяница; это был обстоятельный, трезвый, трудолюбивый мужик, понимавший и чтивший, не хуже кругих дергачевцев, вековечные устои крестьянского устроения. Вытянула его вон из Дергачей не пустая жажда наживы, не легкомысленный порыв молодой, разгульной жизни, а что-то другое, что-то именно бившие прямо в «вековечные устои» глубоким и тяжелым оскорблением.

«Умственный мужик был», — разом одною думой ре-

шили дергачевцы, как бы в ответ на замечание слишком уж откровенного собрата.

— Умственный мужик! — повторили они, и, повидимому, это определение достаточно их успокоило. Не то, чтоб оно им сразу все разъяснило, как божий день, но в нем, по их мнению, по крайней мере, таинственно скрывалось все то, что после «барщины» било из всех пор деревенской жизни, било тем «новым», с чем ежечасно и все больше и больше приходилось считаться, ибо это «новое» упорно раскачивало «вековечные устои»... Зачем? Что из этого выйдет: рушит ли это «новое» совсем вековечные эти устои, выбросит их, как нечто негодное, изжившее, истрепавшееся, и на место них поставит краеугольным камнем что-то другое, или же оно только выбросит из этих устоев то, что подгнило, подточено червем, и только крепче положит связи и несокрушимее утвердит тот же краеугольный камень жизни, который был положен некогда их отцами и дедами? Но перед этими вопросами дергачевец мог только недоумевать... Дергачевцы повздыхали и с этим «недоумением» в душе разошлись по избам.

II

У Строгого была здоровая «железная» натура и здоровый мозг. Этот мозг, во-первых, хотел мыслить, во-вторых — мыслить самостоятельно. Любопытно, что деревня привела его только к двум основным положениям: в области морали — «быть справедливым»; в области отвлеченной мысли — к религиозному скептицизму и свободомыслию. Но еще любопытнее те своеобразные формы, в которые он воплощал эти положения.

Он был одиночка и женился на дочери богатого мужика. Когда тесть умер, к нему перешла мельница. Они были бездетны; для полевых работ по летам они держали или работника, или работницу. Мельница давала им такое обеспечение, что ни сам Строгий, ни его жена никогда не чувствовали необходимости «тянуть из себя жилы», а работали столько, сколько требовалось это общим складом деревенского труда. Сам Строгий постоянно был на мельнице, в особенности по осени; по-

мощников себе он в этом деле не любил. Напротив, он любил даже хвалиться тем, что один всю мельницу правил: в самые сильные бури он умел ставить мельницу так, что помол, на самый опытный глаз, не изменял своего качества ни на иоту; верх мельницы он поворачивал в бурю так же ловко, равномерно и легко, как и в тихое время; и никогда ветер не ломал у него ни крыльев, ни шестерен, не сворачивал с катков верхи. Зато по зимам и весной он пользовался известным досугом. В это время его мозг начинали одолевать разные вопросы, и вот он пускался за поисками «умственного» человека и умственной беседы. Заложив своего сивого породистого жеребца (единственная роскошь, которую он себе позволял, да, впрочем, и не роскошь — это был прямой расчет: сильная, здоровая лошадь зарабатывала ему больше, чем пять худых кляч), он ехал к попу, дьякону, писарю, учителю; прослышит о новом раскольничьем начетчике — к нему; а в городе у него завелось знакомство с одним пожилым, некрупным чиновником. Ему он доставлял самую «новую» муку и любил с ним беседовать: через него соприкасался он с тем миром, который стоял далеко в стороне от деревни. Впрочем, ко всем этим лицам Строгий не выказывал ни особой любви, ни особого доверия. Всех их определял он одним словом: «труха». В этом понятии соединял он все качества этих людей: легковесность, непостоянство, разлад дела и слова и крайнюю умственную мешанину. В свою очередь все эти «умственные» люди звали Строгого «меланхолией», хотя в нем похожего на настоящую меланхолию и следа не было. «Меланхолией», по их мнению, была та умственная «блажь», которая одолела Строгого. А эта «блажь» имела результатом то, что Строгий неожиданно пришел к следующему выводу: «Надо быть справедливым, потому — все виноваты. А всему причиной вино: и тот виноват, кто пьет, и тот, кто пить дает». Вывод вполне деревенский и, повидимому, не особенно глубокий. Но когда пришли к Строгому о рождестве и причт, и писарь, и учитель, то водки он, к изумлению гостей, не подал, а стал говорить о возвышенных предметах.

Когда же дьякон, не утерпев, заметил.

— Что же, брат Еремей Еремеич, водочки-то? Али забыл?

— Ноне я не держу, — как будто мимоходом заметил Строгий.

— Да ты шутишь, что ли?

— Правду говорю. Что! пустое это дело... Несправедливое!

— Да ты сам-то не пей, прах тебя побери! Ты нас угости...

— А угощать того хуже! — полусерьезно, полудобродушно говорил Строгий, постукивая пальцами по столу.

Дьякон пришел совсем в изумление, а писарь и учитель решили, что он становится «шишигой». Но батюшка сказал ему, уходя, внушительно улыбнувшись, что это с его стороны «не более, как меланхолия».

С тех пор это прозвище утвердилось за Строгим среди деревенской интеллигенции.

Между тем Строгий последовательно развивал свою «меланхолию» и под ее давлением выработал совершенно своеобразные взгляды на весь деревенский обиход. Прежде всего он вдруг перестал ходить в церковь: когда начиналась служба, он надевал свой новый синий кафтан, выходил на зады своей избы, становился на холм, где из-за старых вязов виднелась вдали церковь, и здесь, молясь на сверкавший на солнце крест колокольни, выстаивал всю обедню.

— Вон и Строгий под дубьем свою обедню отслужил! — говорили про него мужики, возвращаясь из церкви; они улыбались, но это не была ни насмешка, ни порицание.

Прошел слух, что Строгий ударился в раскол. Этот слух дошел, с одной стороны, до священника, с другой — до местного раскольничьего начетчика, жившего в селе, верст за пятнадцать. Как тот, так и другой поспешили к Строгому «спасать душу», один — ренегата, другой — прозелита. Но оба, однако, вернулись ни с чем: батюшка сказал ему опять, что «все это с его стороны не больше, как меланхолия», а раскольник почему-то обозвал его «идолопоклонником». Что отвечал им Строгий, осталось неизвестным; только мужики рассказывали за верное, что тому и другому он сказал одно и то же *слово,* но какое это «слово», — никто не знал. Однако с тех пор пошла про Срогого «умная слава»; к нему стали относиться с большим

почтением, и разговаривавшие с ним всегда уверяли, что он умеет сказать «слово».

Случалось, когда Строгий бывал на сходках, мужики кричали:

— Постой, ребята, погоди... Смолкните!.. Вот Еремей Еремеич что́ нам скажет! Постой, он нам *слово* скажет... У него *слово* верное!

Случалось, Строгий говорил им:

— Дураки вы — одно вам слово.

Мужики смеялись, и в конце концов оказывалось, что сами же повторяли:

— Дураки! Это верно! Оболванил нас купец в лучшем виде! Строгий слова напрасно не бросит.

Конечно, сказать слово «дураки» еще не бог знает как умно, но дело в том, что за этим словом дергачевцами предполагалась целая система взглядов и отношений Строгого к дергачевскому миру и к людям вообще.

Петюшке (он был крестник Строгого) едва минуло четыре года, когда Строгий стал таскать его на своих могучих руках к себе в избу. Он любил и баловал его: учил ездить верхом на своей сивой лошади, воровать мед у пчел на своей пасеке, кормил его пряниками и орехами; а когда Петьку выучили грамоте, заставлял его читать для себя Четьи-Минеи. В это же время Строгий начал посвящать Петра и в свою «меланхолию».

— Ты, Петюшка, умен будешь! — говорил он ему, всматриваясь, как вдумчиво и серьезно читал мальчик «божественную книгу».

— А почем ты знаешь? — серьезно спрашивал мальчик, не отнимая глаз от книги.

— Я по глазам вижу. Только, брат, надо быть справедливым; а не будешь справедливым — и в век умен не будешь.

— А как быть справедливым? — спрашивал так же серьезно мальчик.

— Я тебе скажу, пожалуй. Секрет не большой: слабому и глупому не потакай, сильному да умному не поддавайся. Вот тебе и вся недолга!.. Будешь так делать, Петька?

— Буду.

— Ха-ха-ха! — добродушно и весело смеялся Стро-

гий, кивая на Петра своей жене. — Он, глупыш, думает, легко это!.. Скоро, брат, сказка сказывается, да не скоро дело делается.

Петр слушал, и не только слушал, он видел, как применял его крестный на практике свои сентенции. Чем больше рос Петр, чем старее становился Строгий, тем «меланхолия» его развивалась последовательнее и последовательнее.

В дергачевском миру, распадавшемся на пять вытей, была и выть *Строгих,* в которой вытным был двоюродный брат Еремея, Сысой, человек душевный, краснобай, любивший выпить в компании, «артельный мужик», как говорили о нем дергачевцы. С некоторого времени стала выть Строгих иногда снимать у соседней деревни луга в аренду. Один раз запоздали с покосом. Надо было собрать помочь, а помочь надо угостить.

— Не товарищ, — говорил Строгий.

— Как! — удивился Сысой.

— Так. Не товарищ... Пущай без меня опаивают.

— Да ведь, блажная твоя голова, ведь это по-милу идет, по-согласу... Надоть али нет угостить-то?

— Без нас опаивают народ-то хорошо...

— Да неужели тебе стакана-то водки жаль нам?.. Перекрестись! Ведь мы, кажись, соседи! — уговаривали его мужики, приглашенные на помочь.

— Ступайте к купцу!.. Он угостит вдосталь, — ног не приволочите домой!.. Вполне уважит!

— И уважит!.. Потому — это дружба... не что иное...

— Ну, и с богом!.. Оболванивайтесь!

— Да ты шутки-то полно шутить!

— Не товарищ... Хочешь наняться за деньги — изволь. Давай торговаться. Без греха. Что следует — получи по справедливости. А опаивать... ступайте к купцу! Он ублаготворит... Али вон к попу, к писарю...

— Ну идол! — сердятся мужики.

И если помочь состоится у Сысоя, Еремей в ней не участвует.

Также не участвовал Строгий никогда ни в «мирских чаях», ни в «мирских четвертях и полуведрах».

Сысой Строгий был совершенная противоположность Еремею. Он — вечно на улице, «на миру», вечно устраивает «мирские дела». Нужно вдове помочь со-

гнать, — вдова к Сысою, Сысой сейчас по избам. Мужики упираются, чешутся, потому от вдовы угощеньем не разъедешься. Но Сысой умел это дело «оборудовать в аккурате».

— Как не будет угощенья? Будет! Что вы, православные!.. Вот я, господи благослови, жертвую, значит, по силе-помочи! — выкрикивает Сысой, снимая шляпу, и бросает в нее гривенник. — Вот, православные, гляди!.. Вот плотичка и засеребрилась... Ну-ка на живца... — потряхивает он пред мирянами шляпой.

— Эх, дуй вас горой! Авось с гривенника-то не разоришься! — кричит молодой мужик и с треском бросает в шляпу Сысоя два медяка.

— Вот так! идет!.. Православные, на вдовью долю! — покрикивает Сысой.

Весело миру, позвякивают в шляпе Сысоя пятаки. Мигом справлена помочь вдове и мигом пропита «вдовья доля», собранная в шляпе Сысоя.

Оболванит дергачевцев какой-нибудь соседний кулачишка, — Сысой устраивает или мирской чай, или «пропой горя».

У Сысоя была большая семья; жил он в достатке, мог бы даже разбогатеть, так как семью держал строго. Но выше обычного деревенского достатка он не поднялся. И понятно почему: мирской был человек, «артельный».

Брат Еремей его уважал, только звал «несправедливым мужиком». И Сысой уважал брата Еремея, но только называл его «тупым топором»: «рубить не рубит, а только за душу тянет».

— Вот что я тебе, Еремей, скажу, — говорил ему нередко Сысой. — Ехал бы ты жить в город, али в монастырь... Ей-богу... И тебе хорошо было бы, и людям лучше... Ну, чего ты, на нас глядя, казнишься, да и нас казнишь? Был бы ты там, может, вполне человек, а здесь вот *идолом* тебя зовут... Что хорошего?

— Верно, верно ты, Сысой, говоришь: ты мужик умный. Верно, что с вами здесь не споешься, а сопьешься. Тут строгого правила не выдержишь, — серьезно замечал Еремей.

— Это и думать оставь! — восклицал Сысой. — Дай прожить как бог на душу положит, а ежели в правилах, так это у нас, пожалуй, с ними до душегубства

дойдешь!.. Ты вот и о христовом имени радеешь, а вона что выходит! Хорошего немного...

— Зато я мужик справедливый, а ты несправедливый, — добродушно укорял его Еремей.

— И бог с тобой, с твоею справедливостью... Она при тебе и останется... Только я тебе верно говорю: ехать бы тебе в город, пока до худого дело не дошло.

— И уеду, — обрывал сердито Еремей Строгий.

То же советовала ему сердито и Ульяна Мосевна. Маленький Петр злился и на тетку Ульяну, и на Сысоя Строгого за эти советы. Что им сделал «справедливый» Еремей Строгий? Мужик он умный, прямой, не пьющий, не лентяй, не попрошайник, не пьяница.

На мысль об отъезде в город иногда нападал и сам Еремей, но он долго не решался. Между тем его «меланхолия» развилась в какой-то тупой индиферентизм почти ко всему. Чем больше бедствовали Дергачи, чем больше запутывались они в какие-то клейкие, но неуловимые и тонкие паутины «мирских дел», чем бессознательнее, как-то на одну только веру и упование, стали они жить, полуинстинктивно, махнув рукой, не видя возможности разобраться, тем Строгий все больше и больше уходил от «мира». Поземельные отношения в Дергачах достигли страшной, невообразимой путаницы. Мужики толковали о необходимости «передела». Стали переделять — кроме споров и тяжб с собственниками, затесавшимися в их наделы, не выходило долго ничего. Начались «судьбища».

— Замежуетесь и не размежуетесь во веки веков, — сказал Строгий и бросил обрабатывать свой надел.

Он передал его в аренду своему соседу, чтобы самому окончательно «отойти от мира».

Мужики на это совсем осердились и стали Строгого «донимать» систематически.

Однажды, когда Петюшка сидел у него и читал ему «божественную книгу», приходят к Строгому Сысой и еще два дергачевские мужика. Присели.

— Что, братцы, скажете? — спросил Строгий.

— Да вот, братец, мир на тебя обижается, — заговорил Сысой, гуляя глазами по потолку. — На сход не ходишь, обчественным делом небрежешь... Мир, брат, от тебя в обиде...

— От меня? Ишь ты... от кого нашли обиду!.. Нашли обидчика! — иронически проговорил Строгий.

— Обижается, братец, мир, обижается, — твердил в свою очередь Сысой.

— Небрежешь... мирским делом, — подтверждали сотоварищи Сысоя.

— Что ж вам нужно? — вдруг крикнул Строгий, сердито моргнув волосатыми бровями.

— Да вот, братец, желательно миру, чтобы ты послужил... обчественную тяготу взял...

— А-а! Ишь ты...

— Да... в сотские тебя изобрали.

Строгого покоробило, но он старался скрыть это.

— Изобрали уж?.. Скоро... И не спрошали!

— Где ж тебя искать?.. Мир тебя искать не станет, сам на сход не ходишь...

— А тебе это не стыд, Сысой Петрович? — обратился вдруг к Сысою Строгий.

— Дело мирское.

— Не стыдно это твоей седине? а? — кричал все громче Строгий. — Али ты мне впервой видишь? Али ты не знаешь, что не охотник я старшинам да становым служить да бороду под плевки подставлять? а? Али у вас там мало народу приобыкшего? Я не мальчишка бегать-то...

— Посдержаться бы тебе, Еремей Еремеич, — строго заметил Сысой.

— Чего?

— То-то... Бороды-то оне все одне — мужицкие... Твоя борода тем же гребнем чесана... Для твоей бороды особых уставов не положено...

— Чего же вам надо, несправедливый вы народ? — заорал уж не своим голосом Еремей, стукнув кулаком по столу. — Водки хотите, водки? В грех меня ввести хотите?.. Не дам!.. Ступайте с богом... Не дам!..

— Ступай на сход... Там узнаешь, что надо...

— И пойду!

— Ну идол, — говорили мужики, выбираясь из избы Строгого.

Строгий, не говоря ни с кем ни слова, надел свой синий кафтан, сердито надвинул на голову шляпу и вышел на сход. Вслед за ним, сторонкой, пошли его жена и Петр, оба взволнованные, словно предчувствовали бе-

ду. Жена потихоньку крестилась, боясь, чтобы Строгий не довел дело до беды, а Петр, с возбужденными глазами, весь внимание, беспокойно следил, «как обижали его крестного, справедливого человека».

— Честному миру! — сказал Строгий, снял, не кивая головой, шляпу и опять неторопливо надел ее.

— Милости просим... Давно не видали...

— Чего мир православный от меня желает?

— Да вот, братец, миру послужить надо... Давно уж ты у нас льготой балуешься...

— Так... А, может, водочки испить не желаете ли?

— И то хорошо... Непрочь... Отчего ж? От тебя оно и больно бы сладко было... Давно уж мы твоим угощением не балуемся...

— Ну, идет... Только, господа миряне, водки я вам не дам... А вот от своего достатка жертвую, значит, в мирскую казну десять рублей... Примите... А кого заместо меня выберете, тому работника на лето выставлю...

— Ну, ну, ладно, — смеются мужики, — ты мужик справедливый... Ублажим... Что ж! На первый раз и то хорошо, посдался маленько...

— Староста, давай книгу, принимай! — сказал Строгий, вынимая деньги.

— Какую книгу?.. Не зажилим...

— Подавай книгу, говорю... Записывай: «От Еремея Строгого на мирскую нужду десять рублей, без пропоя»... Пиши: «без пропоя»...

— Да чорт!.. Чего ты книгу-то хочешь пакостить?

— Пиши, пиши!

— Ну идол же! — смеется мир.

И затем аккуратно каждый день Еремей Еремеич ходил к старосте и требовал от него показать ему запись в мирской книге и деньги.

— Да леший, — кричал староста, — вон они, у меня в сундуке лежат...

— Покажь...

— О, идол!.. Обалдуй, чорт упрямый!.. На, смотри!

Прошло месяца два. Опять Сысой и двое мужиков приходят к Еремею, и опять почти та же сцена повторяется между ними. Снова с какою-то странною, сердитою решимостью надевает Строгий свой синий кафтан, берет из божницы завязанный в платок бумажник, сует его за пазуху, крестится на образ и широким, увесистым

шагом в больших сыромятных сапогах направляется к сходу.

— Слышу, мир честной почествовать меня хочет? — говорит Строгий.

— Да, Еремей Еремеич, точно, желаем почествовать, под начал к тебе хотим... Ты мужик справедливый... От тебя обиды не будет... Послужи мирскому делу... Кланяемся тебе старостой, послужи миру дергачевскому...

— Благодарю!.. Эй, Егорка, беги в кабак! Тащи ведро... два ведра тащи! Вот деньги — получай!.. Гуляй, мир православный!.. Хочу с вами в ладу жить!.. Гуляй!.. — кричал Еремей в сильном возбуждении, словно в нервной горячке.

— Вот оно — дело!.. Слава тебе господи! — повторил удивленный мир. — Человек в артель входит!

Только Сысой да жена Строгого и Петр с подозрительным вниманием следили за Строгим и ждали «беды».

— Пей, мир православный, пей!.. Опоить тебя хочу... Чтобы после из тебя веревки вить сподручнее было... Да!.. Пора за ум взяться!.. Пей! — кричал Строгий, поднося лично каждому мирянину по большому стакану водки, почерпывая им в стоявшем на чурбане ведре.

Когда было выпито первое ведро, Строгий вдруг снял шляпу.

— Ну, а теперь благодарю за честь, мир честной, — сказал он и низко, до пояса, поклонился. — Давайте теперь торговаться... Вот от своих достатков жертвую, значит, миру две четвертных, — полусотенную, выходит (и Строгий положил две двадцатипятирублевых бумажки около ведра)... А уж меня простите: хочу в мещане в город приписаться... Корысть заела!.. Нажива одолела!.. Не могу греха стерпеть... Простите, братцы, не могу... Увольте от мира!

— Вот что!.. Ишь ты! — заговорил в смущении изумленный мир, не зная, что сказать: оборот был совершенно неожиданный. Никто не мог еще решить: прав был Строгий или нет? Мало он дает или много? Обманывает или нет?

Но вот заговорил вдруг Сысой:

— Ну, брат Еремей Еремеич, значит, насильно мил не будешь!.. Брезгуешь нами, небрежешь мирскому делу — твоя душа в ответе... Мы, братец, всякие подходы делали... Ну, выходит, дело у нас с тобой пропащее...

Господу не угодно!.. Ступай, поезжай... Дай бог счастливо! Нас не забывай...

— Насильно мил не будешь — это верно, — подхватил мир. — Только как будто маловато... Мужик ты оборотистый, денежный, в силе... От мира упускать такого мужика жалко.

— Да что ж я вам?.. Я вот и теперь уж землей не занимаюсь... в аренду сдаю... Мельницу тоже сдам. Охотники есть... Земли у вас мало... Землю всякий с охотой возьмет... А ежели... так я вот еще десятку накину... Получите! А притеснять зачем человека? — и Строгий положил еще красную бумажку около ведра.

— Зачем притеснять!.. Насилу мил не будешь! — заговорил мир.

— Притеснять не надо, — заговорил Сысой. — Я тебе давно говорил, Еремей, жить бы тебе в городе... Потому у нас строгого правила не выдержишь; ежели у нас в строгих правилах жить, так с ними, пожалуй, до душегубства дойдешь!.. Верно!.. Потому в миру жить — в одном, значит, грехе со всеми жить, в одной добродетели!.. Это уж, брат, так, по жизни... А ежели в одиночку, так в городе не в пример лучше...

— Верно, верно! — подтвердил вполне согласный с Сысоем дергачевский мир.

. . . .

III

Сивая лошадь Строгого, заложенная в выкрашенную желтой краской плетушку, крупною рысью въехала в Волчий поселок и разом остановилась у кельи Ульяны Мосевны, фыркнув и энергично мотнув несколько раз своею красивою головой. Так же быстро и нетерпеливо выскочил из плетушки старик Строгий, торопливо привязал повод к крыльцу калитки и, скрипя своими большими сыромятными сапогами по чистому помосту сеней, вошел в избу. Так ездят только люди, или охваченные несдерживаемою удалью, или поглощенные взволновавшею все человеческое существо идеей.

В избе сидели Ульяна Мосевна, Луша, старица Феклуша и Петр. Взглянув в необычно и как-то лихорадочно оживленное лицо Строгого, Ульяна Мосевна что-то суро-

во прошептала про себя и опять опустила глаза на шитье.

Строгий никому не поклонился; крупным шагом прошел он к столу, положив на него шляпу, и едва присел на скамью, сказал отрывисто:

— Еду! — и внимательно взглянул на Ульяну.

Ульяна Мосевна как будто преднамеренно молчала и не поднимала глаз от шитья.

— Слышишь, старуха: еду, говорю! — крикнул он сердито своим зычным голосом, который не умел сдерживать в минуту раздражения.

— Ой, матушки! Экой голосище-то, прости господи! — невольно вскрикнула бобылка Феклуша, и ее старческое худое тело заколебалось, как легкий колос. — Ну, долго ли эдаким голосом человека с ног сшибить! Али унять себя не сможешь? Сократись естеством-то своим несуразным хоть малость, — сердито обратилась она уже к Строгому.

— Молчи, старая... Умирать бы пора. Век чужой заедаешь, — шутливо-строго прикрикнул он.

— Правду говорит она, правду... Надо бы естество-то свое сократить... Не одни в мире живем, — заговорила Ульяна Мосевна.

— Ну? А я что делаю?

— Хорошего мало делаешь, признаться сказать... На старости лет с родных мест в бега бежишь, от своих скрываешься... Стыдно старику, стыдно! Свою душу больше любишь... Себялюбец... Свою душу больше бережешь...

— И берегу... Стар уж я... Спокою я хочу, старуха, спокою!..

— Претерпи сообща... Все терпят, не хуже нас с тобой.

— Да для кого терпеть?.. Ты скажи, кому от того польза? Для души, говоришь? Посмотри на народ — для кого он терпит? Для чужого мамону... Этим терпением-то и себя, и других загубишь. Не добродетель это, терпенье-то. Коли силы нет — уходи, беги... пока не сгиб... Али уж грабь начистоту!.. Так, чтобы уж и записано было... А я не хочу!..

— Не знаю, может, ты и правду говоришь. Ты мужик умственный... А только что от родной земли бежать — хорошего мало: родители у тебя здесь лежат, деды и прадеды.

— Кто ж мне уезжать советовал?

— Добрые люди... Зачем в миру в обиде жить? В миру по-милу живут.

— Я же виноват?.. Так и запишем... Будет! будет об этом!

И Строгий сурово задумался. Сурово молчала Ульяна Мосевна. Петр сидел в самом углу около двери, положив на колени руки, и пристально, во все глаза, следил за лицами тетки и крестного. Очевидно, его внимание было поглощено происходившею сценой, в которой, как он знал, скоро должен принять участие и он.

— Ну, будет... Решено! — проговорил Строгий и поднялся.

Петр вздрогнул; по его лицу пробежала нервная дрожь, глаза беспокойно заметались.

— Петюшка, я за тобой приехал, — обратился к нему Строгий, — просись у тетки, просись у отца... Мне, брат, здесь делать больше нечего... По справедливости не мог здесь жить... Тут нужно с характером быть, чтобы они и тебя, и себя не загубили... Нужно, братец, справедливому человеку, — все суровее и суровее говорил Строгий, смотря то на Петра, то на Ульяну Мосевну, — нужно справедливому человеку всех их в лапу забрать — вот что! (сжал могучий, медно-красный кулак Еремей Строгий), да всех их справедливости-то и обучать неуклонно! А во мне этого характеру нет, строгости мало, да и валандаться-то стар уж... Умирать пора!.. А тебе, Петюшка, жить еще надо... А чтобы жить по справедливости, чтобы других и себя не загубить, надо ум да силу найти... Поедем, вместе умственных людей искать будем... Не здесь их найдешь!

Строгий помолчал. Худощавое лицо Петра засияло как-то, а карие глаза светились нескрываемою радостью, но он не говорил ничего.

— Отпустишь, что ли?.. С отцом я уж говорил, — сказал Строгий Ульяне Мосевне. — Али, думаешь, загублю я парня?

— Ты ему сам отец духовный... Сам за его душу и отвечать будешь, — проговорила Ульяна, — а я хоть и сердита на тебя, а все скажу, что коли у кого Петюшке умственно учиться, так это у тебя... А за свою науку сам ответишь.

— И ответим! — весело проговорил Строгий.

Строгий, действительно, на минуту повеселел, оттого ли, что ему уступали Петюшку, которого любил он, как родного сына, или он наивно обрадовался, что Ульяна Мосевна все же признавала в нем «умственного» человека.

— Так коли так, готовь его в дорогу, послезавтра мы двинемся... А теперь, Петюшка, поедем ко мне... Ты уж теперь мой... Поедем к тетке, помогать ей людей поить... Ноне у меня всемирная кормежка...

— Да что ты справляешь? — спросила Ульяна.

— Проводы... По всей волости объявил: сходитесь, честные люди, Еремей Строгий поминки правит по себе: водки да пирогов не в проежу, не в пропой припас!

— Какой ты на старости задорный, Еремей Еремеич, бог с тобой... И что тебе за охота людей искушать?.. Уехал бы честным манером, уж если такое тебе произволение, тихо, скромно, людей не смущая... И что тебе мило на пьяных людей смотреть?

— Мило стало, мило, Ульяна Мосевна! — как-то особенно выразительно выговорил Еремей Строгий. — Хоть последний разок глазком посмотрю, как эта саранча на мой дом слетится!.. Хоть последний разок сделаю своей душе удовольствие!

И Строгий засмеялся нервным, злым, нехорошим смехом.

Через полчаса Строгий с Петром уезжали из Волчьего поселка в Дергачи.

Тяжко спал в эту ночь Еремей Строгий: он то стонал, то кричал ужасным, раздирающим душу голосом; мучительный кошмар душил его всю ночь. Вот что снилось ему.

Вокруг избы Строгого стояла целая масса подвод — и шарабаны, и плетушки, и телеги, и простые роспуски. Выпряженные или с отпущенными поводами лошади ходили по зеленой мураве под окнами и оставляли кучи навоза. Дергачевские ребятишки, как мухи, стаями летали от окна к окну, с окна на крыльцо, с крыльца в сени, из сеней опять на улицу. Гомон голосов несся в отворенные окна вместе с табачным дымом.

Строгий почти уже подъезжал к воротам, как кто-то в куцом пиджаке, — не то писарь, не то учитель, — вылетел из сеней и, держась за стену, вдруг изгрязнил

девственную зелень густой муравы, плотно заростившей луговину перед домом.

— Тьфу! — плюнул Строгий и ехидно прошептал: — Скверни, скверни!.. Все ваше!.. Твой теперь, саранча, праздник! Моя нога за оплеванный порог не переступит уж!

Вошел Строгий в избу — и вдруг словно что-то с ним случилось: закружилась ли у деревенского ригориста голова в этой тяжкой, табачно-водочной атмосфере, или на него просто напал столбняк. Вместо того чтобы помогать хозяйке, как раньше он думал, угощать гостей, он опустился на лавку около стола и блуждающими глазами стал осматривать присутствовавших. Мысли его перепутались, он как будто ничего не понимал, как будто старался припомнить, зачем это, неожиданно, в первый раз в течение десяти лет после поминок по его отце, его изба наполнилась этим людом; зачем эти оба батюшки, эти два дьякона с распущенными волосами, эти матушки-попадьи и вдовы, эти штатные, сверхштатные, заштатные дьячки, церковные сторожа, икононосцы, даже две просвирни, зачем этот старшина, кандидат в старшины, два писаря, учитель, фельдшер, трое сотских — и все с женами, иные с детьми?.. Зачем этот бог знает откуда-то взявшийся длинный, с небритою бородой семинарист, говоривший осиплым басом и называвшийся всеми студентом?.. Тут и письмоводитель станового и мирового посредника, и опять какой-то фельдшер... А вот тут завзятые кутилы — кулак Маркушка и кандидат в старшины, и еще кто-то, и еще... Все это говорит, движется, кричит, харкает, кашляет, плюет — и пьет, пьет и пьет. Зачем тут виночерпии и хлебодары? Все ест и пьет самостоятельно, свободно, по праву... именно «по праву»... Это сознание «права» светилось в каждом лице, в каждом взмахе руки, наливавшей рюмку, в каждом проглатывании куска... И как же не «право» в самом деле? Человек уезжает с родных мест *совсем,* так-таки окончательно совсем, и уносит с собой безвозвратно всякую возможность бесконечного ряда поминок, крестин, свадеб, молебнов, именин, праздников двунадесятых и храмовых, престольных и придельных, уносит всякую возможность поступлений доброхотных лепт и угощений, уносит не только право на эту возможность от себя лично, но и от своего потомства.

— На церковное устроение не будет ли от тебя, Еремей Еремеич? — говорит толстый батюшка. — Не мешало бы на украшение храма... Вот мы будем сбирать, так на руки бы вперед.

— Сколько, батюшка, прикажете? — машинально спрашивал священника Строгий, между тем как внутри его что-то клокотало ключом и дрожали руки и ноги.

— Сколько усердия будет... Принуждать в сем деле непохвально, — говорит батюшка, но в то же время спохватывается и начинает «наводить»: — За много ли мельницу продали?

— За четыреста рублев.

— Вот бы десятинку... Искони уж десятина отлагалась на сей раз...

— Извольте, извольте... Берите! — рылся в бумажнике Строгий, едва сдерживая его в лихорадочно трепетавших руках.

— Бог вас за это, может, просветит светом истины!

— Да, да... Он не покинет, — бормочет Строгий.

— Вам бы сорокоуст... али бы и вовсе на вечное поминовение родителей не мешало, — тихо шепчет сбоку ему другой батюшка, приставляя бороду к его уху. — Когда еще здесь будете, а мы все же бы...

— Извольте, извольте...

— Исповедных за тобой, Еремей Еремеич, у меня числится неуплаты за пять лет, — неожиданно басит дьякон и внушительно тыкает в стол пальцем, — Ежели считать...

— Получи, отец дьякон, получи...

— На колокол бы... Вот сбирать будем, — гудит другой бас.

— Получите и на колокол.

— Просвирок уж больше брать не станете, — дребезжит тоненький голосок матушки-вдовы.

— Получи!..

— На школу бы... Крышу будем править.

— Получи!..

— Икононосцам бы... Образа уж носить не будем.

— Получите!

В руках Строгого быстро мелькали рублевые бумажки и звенели монеты, а глаза его все беспокойнее и беспокойнее блуждали.

— Я уж с тобой ведь теперь не расстанусь дешево...

Н-нет! Ведь ты навеки от нас утекаешь... Нет, брат, я тебя дешево не продам, — говорил лохматый, черный и толстый дьячок, охватывая стоявшую на столе четвертную и с сиплым хохотом обдавая Строгого пьяным дыханием. — Нет, не расстанусь, пока не лягу костьми! — кричал он, алчно припадая толстыми губами к стакану.

— Накачивайся, друг, накачивайся... в полное свое желание!.. Ноне запрету нету...

— Да, брат... Мы теперь в праве... На исповедь не ходить!.. Храма божьего не посещать!.. Меланхолию распущать!.. О-о-о!.. Это чем пахнет? — кричал дьячок, утирая полой грязного полукафтанья волосатый рот.

— Боже мой, боже мой! — беззвучно шепчут губы Строгого.

Вкруг его раздается невыносимый гомон десятка голосов, от которых трещит барабанная перепонка, и далеко-далеко несется через деревеньку, через убогие деревенские нивы.

А в сектантски настроенном воображении Строгого окружающая жизнь рисуется все мрачнее и мрачнее. Каждая ничтожная мелочь принимает необыкновенные, фантастические размеры.

— Вы бы, Еремей Еремеич, хоть бы подушечки мне уступили, — снова шепчут в ухо чьи-то умилительные уста. — Ведь, знаете, осталась после отца Павла вдовой, ребятишек у нас... духовенство, известно, плодится много... Где мне теперь их прокормить?.. Только что вот вами и живы... Перед крестьянином унижайся, его благоволением только и живи... Каково это? Хошь бы вы мне для хозяйства подушечки... Потому теперь уж ни сметаной, ни зерном, ни яйцами сбирать от вас не станем...

— Берите, берите и подушечки!.. Бог с вами!

— Лоханочку не уступите ли? — шепчет другой голос.—Может, по нашей бедности, и так отдадите... Куда вам везти?

— Берите, берите и лоханочки!

— Хоть бы ты и меня чем-нибудь поблагодарил... Столом бы, что ли, расступился... Немало я тебе с женой банок да пиявок припускал!

— Усту-упи-и, братец, на па-амять жене моей дубовую каду-ушку! — икая и едва стоя на ногах, сопит волостной писарь.

— Моя кадушечка... моя, Василий Петрович, — зали-

вается взволнованная батюшкина вдова, — вперед обещано... вперед... давно уж!

— Берите, берите все!.. Делите! — кричит в каком-то исступлении сам Строгий, а из глубины души его невольно так и рвется: «Боже мой! Боже мой!»

. . . .

Солнце уже закатывалось, шумно, гулко разъезжались гости Еремея Строгого. Сам он все сидел на том же месте и в таком же отупении и столбняке. Все это пьяное и бурливое обнималось, целовалось с ним и кричало ему в уши какие-то бессвязные речи; все это тащило на свои подводы «прощальные подарки»... Все это толкалось, шаталось и кричало, расходясь и уезжая, около крыльца и ворот. Матушка, вдовствующая попадья, получившая дубовую кадушку, разрумянившись от «красной водочки», подняла кверху руку с белым платочком, а другою подперев бок, пошла по улице, притопывая подкованными башмаками...

В чистой, прозрачной, поэтической тишине вечернего воздуха раздались песни...

. . . .

И опять душит кошмар Еремея Строгого, и опять мучают его раздраженный мозг тяжелые сновидения.

Стояло жаркое, жаркое лето. Был конец июля.

Тихо, недвижимо стоит теплый, прозрачный воздух; давно закатилось солнце, а еще деревни добросельской волости не успокоились. Ругаясь, путаясь и шатаясь, крича и проклиная, тянутся от села Доброго толпы «доброхотных» работников по своим деревням. Сурово шагают «непьющие», и слышатся Строгому их отрывочные речи.

— Триста возов купцу смахнули... Разом!.. Экая махина!

— И все им мало!.. Еще жилы тяни для них, а они тебе в благодарность кислого молока бочку выкатят да водки с дурманом. Ишь, народ-то одурманил!

— А завтра опять подымайся... «Долговые» справляй... Поп-то сено, слышь, «долговыми» хочет свозить... Наказывал беспременно... «Вы, братцы, говорит, бога помните: поторопитесь... С чем вы меня оставите, ежели сено сгноим?.. Уж, пожалуйста, а ежели инако, то уж не

взыщите... Мучку-то, что у меня брали, уж отберу при законе и при начальстве...»

— А кто у него долговые-то?

— Да дергачевцы — все почитай...

И опять сурово ворчат себе мужики что-то в усы.

Вернулись домой и свои, дергачевцы. Шумно, гулко ввалились они в деревню. Старики и дети, задремавшие было, боязливо проснулись. На улице идет гомон. О чем-то шумят, галдят. Чутко вслушивается в этот говор Еремей Строгий, лежа на лежанке в своей чистой, светлой избе. Вот он слышит топот ног, слышит, как все ближе ближе становятся голоса. Вдруг несколько ударов затрещало по калитке.

— Выходи!.. Эй, Еремей!.. Рано улегся!.. Выходи, драть тебя на шест!.. Сперва ответ миру подай, а там и спи-почивай!

— Что за самоуправство в глухую полночь! — ворчит трезвый Еремей Строгий на пьяных мужиков, выглядывая в окно.

— Выходи, выходи, драть тебя на шест! — кричит толпа, — а то ворота снесем!.. У мира нет самоуправства... Мир зовет к ответу!

И вот Еремей Строгий стал перед миром. Вкруг него волнуется толпа. Сотни глаз устремлены сурово на него, полсотни рук внушительно тыкают в воздухе пальцами; полсотни голов слились в один сплошной гул, из которого можно было разобрать только отрывистые фразы:

— Нет, ты говори, где был?.. Почему ты на помочь с нами к купцу да попу не ходил? а? Почему? Святее нас?

— Не бойся, на печи не лежал... Сам на помочи был... Что вы кричите, несправедливый народ?.. Я весь день у Арины вдовы проработал... Она больна, ребятишки малые... Ни скосить, ни сжать ей сил нету... Для бога я работал...

— Для бо-ога-а!.. Вишь ты! Угодник какой выскочил... А мы не для бо-о-г-а-а? а? Нет, ты скажи, драть тебя на шест, мы разве не для бо-ога-а жилы-то тянем? а?.. Вишь ты — душу спасает, доброе дело делает... А мы не могли бы, что ли, душу-то спасти? а? Ты кто такой выискался из миру, что на тебя тягостей нет?

— Полведра с него! Полведра! — крикнули на миру.— Будет ему баловаться!.. Мы, брат, и сами бы непрочь душу-то спасать... Нет, ты вот иди с миром... Коли мир

к попу — и ты к попу... А вдову-то ты оставь, ты с миром сначала потерпи...

— Незачем мне к попу ходить; водки я не пью, зерном у него не одолжался... Подите прочь!.. Я по справедливости живу!.. Нет вам ничего!..

— А! А! — закричала толпа. — Бери у него телегу со двора, тащи телегу... Вперед не будет баловаться!..

— Братцы, что вы делаете? Ведь я не для себя... Ведь я для бога, — говорил Строгий.

— И мы для бога-а!.. Мы, брат, тоже для бога!.. Тащи полведра — или телегу со двора!

И вдруг кажется Строгому, что он побежал из Дергачей вон, за околицу.

— Эй, эй! Лови! Держи! Держите его, православные! — кричит за ним чей-то знакомый голос. — Бежать он вздумал! Ишь ты! Святее других захотел быть! Себялюбец! Нет, ты с миром претерпи...

И в этом голосе он узнает Ульяну Мосевну.

— Стой! Не пущу! — вцепился в его рубаху костлявыми руками худой, больной мужик. — Ты, говоришь, попу не задолжал?.. А я почему задолжал? Ты мне почему зерна не дал, когда я просил?.. Кто меня к Гусеву одолжаться прогонял? а? Ты! Ты, справедливый человек! Бей его, братцы! Бей!

И чувствует Строгий, как навалился на него весь дергачевский мир... Вот сдавило ему живот, грудь, нельзя дышать...

Строгий застонал — и проснулся. В головах у него стояла его жена и весь бледный, дрожащий Петр.

Глава вторая

В БЛАГОРОДНОМ СЕМЕЙСТВЕ

I

Стояло серое зимнее утро. Целую ночь валившийся крупными хлопьями снег потопил совершенно все Замоскворечье; но его обитателям, вероятно, казалось много теплее и уютнее сидеть за сугробами, так как никто из них не торопился приступать к очистке снега. Было воскресенье. Богомольные москвичи длинными валеными

сапогами сами проложили, через сугробы, первые пути сообщения по направлению к церкви. Так как дальнейших путешествий никуда не предполагалось на сегодня, то, за исключением этих узких тропок с глубокими провалами, все улицы оставались в неприкосновенной красоте пушистого снегового покрова. По этим-то тропкам, часов в двенадцать утра, после обедни, пробирался молодой человек в синей чуйке, новом суконном картузе, с торчащею стоймя тульей, в светловычищенных кувшинных, с наборами, сапогах, одетых в большие «мокроступы». Подобрав на одну руку обе полы кафтана, чтобы не выкупать его в снежном море, а в другой неся большой парусиновый зонтик, молодой человек, напряженно ступая по проложенным раньше следам, шел в сторону Кожевников. Он, очевидно, устал; его худощавое лицо раскраснелось и взмокло от пота. Ему постоянно приходилось разрешать двойную задачу: с одной стороны, не потерять тропинку, с другой — следить за билетиками на воротах домов, уведомляющих об отдаче комнат. Таких билетиков, как на грех, долго ему не попадалось. Но, наконец, судьба смиловалась над ним. Он подошел к воротам одноэтажного, довольно уже старого, с палисадником под окнами, длинного дома, с «парадными» крыльцами по бокам. Одно из них было отперто, другое же, вероятно, никогда не отпиралось, так как перед ним лежала нетронутая снеговая пучина. Прочитав, выговаривая вслух, прибитый на двери крыльца билетик, извещавший, что в «благородном семействе отдается комната с мебелью, для одинокого человека, *тихого нрава»,* молодой человек задумался и не решался войти в крыльцо. Сначала он вытер лицо большим разноцветным фуляром, затем поколотил ногу об ногу, чтобы стряхнуть снег, вытряхнул полы кафтана и занес было за дверь, но, взглянув на билетик, опять быстро отступил и пошел дальше. Что его смутило: благородное ли семейство», или он сомневался в тихости своего нрава? Повидимому, скорее первое. «Не жирно ли будет?» — повторил он про себя, уходя все дальше от «благородного семейства». Ему припомнилась почему-то его деревенька в глухом захолустье соседней губернии, его родичи в нагольных полушубках, в валеных сапогах, с корявыми руками, с лохматыми, сбитыми в косицы, бородами... Ему припомнилась и его квартира в Москве,

в подвальном этаже, в артели, с длинными нарами, с тараканами, с запахом капусты, прели, черного хлеба и полушубков, с коренастыми и горластыми мужиками в ситцевых рубахах и посконных штанах, в дырявых валенках и лаптях; большая печка, на которой сушились онучи, гомон целого десятка голосов, иногда пьяных и буйных, и в этом гомоне совсем пропадающая, стушевывающаяся «сурьезная» худощавая фигура его, опрятного, несловоохотливого молодого парня. И в то время, как он, «Волчонок» (так прозвали его артельщики), некогда мечтавший в деревне о прелестях столичного «благородного обращения», принужден опять жить среди сиволапого невежества, выслушивать добродушные насмешки и выходки деревенского остроумия над своею серьезностью, в это время его сослуживцы по конторе и складам почетного гражданина Башмакова и К°, в особенности те, которые посолиднее, успели завестись «отдельными помещениями с небелью», жили по одному или по двое, в тихой, благородной беседе распивали «собственные» (а не артельные, в трактирах, целою ордой, до пятого пота) чаи из собственных «сервизов». И как было приятно ему, когда приглашали его в свою «тихую, степенную, благородную беседу за собственными сервизами» его сослуживцы, когда чистота, опрятность маленького собственного «отдельного помещения», с цветами на окнах, с гитарой, с платяным шкапом, с старинным маленьким диваном, с половиками у двери, с вымытым начисто полом, охватывали все его существо. И вот, возвращаясь в артель, его душили злые слезы, когда разные троюродные и четвероюродные дядья, шабры и всякие земляки начинали «родительски» внушать ему, что «своими-то брезговать нечего», что «оно хоша и бедно и грязно, а все ж свое, родное, близкое», что на купцов-то смотреть нечего, «потому у них свое поведение, а у мужиков свое, так ты того и держись, к чему сызмалетства прирожден», что «твои-то старики с каждою оказией молят, чтоб за тобой смотреть всячески, чтоб ты от крестьянства не отбивался, чтоб с родственниками и земляками неуклонно пребывал в почтении и дружбе... А брезговать-то нашею мужицкою бедностью еще, загодя-то, нечего, повременить надо... Еще бог знает, какое тебе произволенье указано! Еще журавли-то в небе летают!.. Так-то, Петруша».

И в ту минуту, когда в его воображении с такою замечательною отчетливостью встают все эти троюродные дядья, шабры и всякие близкие и дальние земляки, изрядно подвыпившие и тем как бы почувствовавшие сугубое призвание читать «молодым» парням наставления, молодой человек махнул рукой и быстро повернул назад к приглашавшему тихого нрава жильца благородному семейству. С какою-то отчаянною решимостью он проговорил:

— Не люди мы, что ли? (так часто повторявшееся в городе его крестным Еремеем Строгим) — и вступил в маленькие сенцы, но у звонка он опять сробел и позвонил так тихо, что никто не слыхал. Он ждал. В эти три минуты целая вереница мыслей и образов пронеслась в его голове: решимости и сомнения, надежды и страха — и опять захолустная деревня Дергачи с корявыми мужиками, и горластые троюродные дядья, шабры и близкие и дальние земляки. За дверью не было слышно никакого движения. Он позвонил еще, погромче. За дверью залаяла собачонка. Кто-то подошел к двери и сердитым голосом крикнул за нею:

— Федосья!.. Где она? Чорт знает, куда бегает!.. Чье дело дверь отворять? Сказано ведь было, что барин сам отворять дверей не будет!.. Сколько раз вам повторять? Сыщите ее!

Кто-то крикнул опять: «Федосья!» Затем другой женский голос, в другом конце дома, подхватил опять: «Федосья»; наконец, где-то позади сеней, вероятно, в кухне, новый женский голос кричал:

— Федосья! Скорей! Звонят! Отпирай двери! Папа сердится!

Кто-то, ворча и пыхтя, подбежал к двери, отложил крючок и отворил. Выглянуло вспотевшее красное лицо с испачканным в муке носом и в сбившемся набок платке на голове.

— Здесь... фатерка сдается? — спросил Петр.

— Что вам нужно? Входите!.. Холодно!.. Затворяйте дверь плотнее! — вместо высунувшейся с белым носом персоны, закричал высокого роста, с строгим взглядом, седою головой и седыми баками хозяин, стоя в халате за отворенною в переднюю из зальцы половинкой двери.

Петр вошел.

— Фатерка... — начал было он опять.

— Проходите ближе! Сюда! — приказывал хозяин. — Вы... ты чем занимаешься? — начал он допрашивать, сурово осматривая с головы до ног молодого парня и прихватывая рукой ворот халата и шею, на которой был повязан шерстяной чулок.

— По конторской и коммерческой части.

— Ты... вы где служите? — продолжал он, меняя личные местоимения и не зная, на котором из них утвердиться.

— При складах купца Башмакова и К°.

— Сколько получаешь?

— Двести рублей в год.

— Ты... вы одинокий?

— Одинокий.

— Аполлинария Петровна! Покажите!

Неизвестно откуда вдруг в углу зальцы явилась маленькая, худенькая, седая старушка с большою старинною черепаховою гребенкой, всунутою за седую косичку на затылке. Сухими костлявыми пальцами она вязала чулок.

— Пойдем, батюшка, пойдем за мной, — приглашала она Петра и, не переставая вязать, пошла впереди него по узенькому коридору, заваленному почти сплошь сундуками и картонками из-под дамских шляп.

— Ну вот, батюшка, смотри — понравится ли? — рекомендовала старушка, отворяя дверь в маленькую, в одно окно, комнатку, где-то в самом заднем углу дома.

Старушка села на стул и продолжала вязать. Петр оглянул комнату: желтенькие обои, стол, два стула, кровать, засохшая герань на окне. В окно виден сад, весь потопленный в глубоких снежных сугробах, из-под которых торчали только кое-где голые сучья яблонь.

— Маленькая комнатка, а уютная... Тепла будет... Я люблю здесь сидеть... Любимое мое местечко... А летом как прекрасно: настоящая барская усадьба, — говорила старушка, все еще не отрываясь от чулка. — Одиночка ты?

— Одиночка.

— Из деревни, чай... Издалека?

— Из деревни.

— Чай, маленьким привезли? Отец-то с матерью есть ли?

— Батюшка есть.

— Матери-то нет?.. Умерла?

— Умерла.

— И не помнишь ее?

— Плохо.

— Есть ли родные-то здесь?

— Нет, — твердо выговорил Петр и опять вспомнил троюродных дядьев.

— А где жил раньше-то?

— С сослуживцами, — опять усиленно твердо выговорил он.

— Давно в деревне-то не бывал?

— Давно не был.

— Одинокий совсем, — проговорила как будто для себя старушка и затем сказала Петру: — Нанимай!.. Хорошая комнатка!.. У нас тихо, благородно... Ты, может быть, Ивана Степаныча испугался?.. Ты не бойся, он мужчина добрый, смирный. Только что у него характера нет, так вот он строгостью берет, по привычке... Нанимай, не бойся... Он, глядишь, завтра же к тебе в шашки придет играть... Я вижу, — ты смирный... Нанимай... тепло будет!

— Не верьте!.. Холодно, очень холодно!.. В мороз руки коченеют! — крикнул за дверью звонкий девичий голос и закончил веселым раскатистым смехом.

— Лиза! Что это за школьничество? — сказал другой голос, солидным контральто, за тою же дверью.

— Вот моя вертушка дурачится все!.. — проговорила, улыбаясь, старушка. — Не любо, вишь, ей, что в армяке жилец будет... Все студента ей хотелось... Не одного уж она так-то спровадила!.. Да какие для нее студенты в Кожевниках жить будут?.. Ты не слушай ее... Добрая ведь она у меня... Что же, нравится ли?

Петр сказал, что ему лучше не надо, только как цена будет.

— А уж об этом с самим поговори. — сказала старушка и, опять быстро работая спицами, повела его через коридор в залу.

В зале Иван Степаныч уже сидел в кресле у печки и сурово курил трубку. Здесь же Петр увидал и тех, которые говорили за дверью, когда он осматривал комнатку. Это были две девицы — брюнетка и блондинка. Брюнетка была старше, выше, солиднее, с холодным высокомерным взглядом. Очевидно, не у нее был такой

веселый, звонкий, раскатистый смех. Блондинка была моложе, ниже, миловиднее; ее пухлое раскрасневшееся личико было теперь сердито, губки надуты, а тонкие ноздри чуть заметно дрожали и раздувались. Очевидно, ей принадлежал веселый, раскатистый смех; очевидно, ей не нравился новый постоялец. Но Петр ее не испугался.

— Ну, что? — спросил Петра Иван Степаныч.

— Ничего... Желали бы занять фатерку... Приглянулась.

— Нанимай! — категорически отрубил Иван Степаныч и поставил трубку в угол.

— Папа, ведь ты обещал Сереже! — вскрикнула блондинка, привскочив на стуле, и ее розовый носик, несколько вздернутый кверху, еще больше расширился.

— Оставь, говорю!.. Не хочу я знать ваших нигилистов... У них на табак нехватает! Пора остепениться, — прикрикнул Иван Степаныч и поднялся. — Нанимай!.. Я на это не смотрю, что мужик... И мужик бывает не хуже других... Я не кисейная барышня!

— С чего вы взяли, что я брезгаю крестьянином? — вспыхнула вся, как зарево, блондинка. — Я, может быть, больше, чем вы, понимаю, что... Я только...

— Ли-иза! — протянула, укорительно покачав головой брюнетка.

— Как цена будет? — перебил этот ненужный для него разговор Петр.

— Пять рублей, — отрубил Иван Степаныч.

— Два рублика скинете?

Все улыбнулись.

— Я, братец мой, квартирами не торгую, — снисходительно проговорил Иван Степаныч. — Если я сдаю лишнюю комнату, то единственно для того, чтобы доставить удовольствие молодому человеку жить в благородном семействе... понимаешь? Если ты можешь это оценить...

Но Петр не мог еще этого оценить: у него закружилась голова от пятирублевой цены... Да, ему недавно прибавили жалованье, он теперь получает почти что столько же, сколько главные приказчики. Но пять рублей! Пять рублей, когда он в артели платил всего два рубля... Ведь эти три рубля каждый месяц пойдут пра-

хом, в год, значит, тридцать шесть рублей, почти сорок рублей!.. У Петра стоял в голове туман.

— Дорожитесь очень... не по нас... Извините, — пробормотал он, весь вспыхнув, — извините, что я побеспокоил... Виноват, — пятился он к двери.

— Ничего, братец... Что ж, дело любовное! — говорил Иван Степаныч. — Федосья! проводи! — крикнул он, — а может, надумаешь... Заверни... Ты мне понравился... Ты парень солидный...

— Виноват, — говорил Петр, — дорожитесь... не по нас.

Он взялся за ручку двери; рука у него дрожала... Вот дверь отворяется: еще шаг — и «комната с мебелью в благородном семействе» потеряна для него навеки... Где еще попадется такая подходящая? Где еще он «понравится»? Где еще хозяева такие снисходительные, добрые и «обстоятельные»? Он отворил дверь совсем; Федосья захлопнула за ним; крючок щелкнул; он остался на крыльце... «А дешево! Дешевле не найти... Ежели бы богат был... Наши конторские тоже платят три и даже четыре рубля, а семейные восемь и десять рублей... Пять рублей! Один рубль лишку... Как бы три... Может, за четыре уступит?.. Дорого, а в артели — хорошо... Я вот сколько накопил, в артели-то живши... Экономия!.. Ведь это сорок рублей в год!» — думал Петр почти вслух, снова выступая по сугробам посредине улицы; но за теми думами, которые он думал вслух, в голове его гнездились другие: в его воображении стояла эта чистенькая отдельная комната, тишина, «благородство», старушка с чулком, благородный хозяин с трубкой в зубах, барышни... О чем они разговаривают? Как они живут? Что они читают в книжках? Они, чай, все знают, научат, совет дадут... Законы знают, с начальством знакомы. Коли что, господи спаси, в деревне случится — присоветуют, поддержку дадут. А главное, чистота, благородство... Драк этих, пьянства не будет, ругани, грязи... Эти хожалые, подчастки, пристава не будут ругаться... А главное, чистота, благородство, никто тебе в лицо не наплюет, не нахарчит... Сам себе господин! Придешь вечером, самовар наставишь, сядешь один, али главного приказчика позовешь, о делах поговоришь, всурьез — благородно, умно, никто к тебе с глупостью, али пьяною образиной не полезет, тебя с корявым, пья-

ным мужиком не смешают... А потом ляжешь и будешь слушать, о чем благородные люди за стеной говорят... Книжку можно попросить, законы, например, али календарь... Бумаги куплю, писать стану учиться. Можно научиться еще лучше писать... А, главное, арихметику!.. Препорции бы надоть произойти да проценты... Вот главный приказчик говорит: «Кабы ты, говорит, проценты знал, так, говорит, при твоей смышлености да выдержке, ты бы далеко пошел!» А Иван Степаныч, верно, проценты знает... Что ему рассказать когда ни то вечерком — плюнуть... Чай, также сидит зря, да трубку сосет! Поди, во всяких училищах учился... А нам бы оно наруку... Опять теперь — вексель учесть, али конторскую часть показать: что к чему... Самую эту бухгалтерию... Благородному человеку этого нельзя не знать: учили, чай, тоже... Их всему учат — и в дело и не в дело, хочешь не хочешь, а учат... И церковному закону учат, и по разным наукам... После эти науки ему и ни к чему, сидит себе да трубку покуривает, а все знает... А у нас вот и к делу бы, а поучиться негде, все урывком, по случаю... Да еще в артели живешь!.. Там, брат, немного выучишься... Сказки только сказывать выучишься. Вот как Лимподист... задерет ноги кверху и давай про леших рассказывать, а артель гогочет!.. А спроси, что к чему: это, говорит, не наше дело, а барское... Ежели ты ноги будешь кверху уметь только задирать, конешно, барское будет!.. Барин с тобой и разговаривать не станет... А ты выдержку знай и сумеешь от него научиться... А у нас что: го-го-го, — ржут, что жеребцы.

Не прошло и четверти часа, как Петр, еще более сильно взволнованный, чем прежде, снова звонит у крыльца благородного семейства, снова входит несмело в дверь зальцы и робко говорит:

— Четвертачок хотя скиньте.

— Кулак! — вырвалось у блондинки так громко, что слышно было всем.

Петр сконфузился и взглянул в ее сторону. Блондинка презрительно отвернулась.

— Это мне нравится, — проговорил солидно Иван Степаныч, — ты, молодой человек, должен быть расчетлив... А четвертака я тебе все-таки не *уступлю*....

Петр помялся несколько на месте,—у него мелькнула мысль: «Что ж, на месяц... Попробую... А может, я

из них пользы-то и не на пять рублей возьму», — повертел в руках фуражку и сказал:

— Так задаточек с вас нельзя ли?

— И это хорошо... Только, дружок, обыкновенно дело делается наоборот... А, впрочем, вот тебе рука благородного дворянина... Я, братец, повторяю — не торгаш. И это ты должен знать. Когда переедешь?

— Да сегодня же, потому праздник, день свободный.

— И прекрасно... Постой: водку пьешь? Кутишь?

— Этим не занимаемся.

— То-то!.. У меня чтобы боже упаси!.. Уговор лучше денег: ежели шум, дебош — в ту же минуту все из квартиры на мороз выкидаю!

— Этого не будет-с!

Только что вышел Петр в переднюю и стал надевать свои мокроступы, как в зальце блондинка бесцеремонно сказала с настойчивостью капризного ребенка:

— А ему не жить у нас... Лавочник!.. Я отравлю ему жизнь с первого же дня.

— А мне он нравится, — медленно, протяжно и обстоятельно выговорила брюнетка. — У него такое... интеллигентное лицо... Любопытный экземпляр! — долетело до Петра, когда он выходил.

Он не понял этих слов, но почему-то слово «экземпляр» засело у него в ушах, и он всю дорогу повторял его, коверкая на разные лады. Ему очень хотелось научиться говорить «по-благородному», но первое слово — «интеллигентный» — он никак не мог припомнить.

Петр был очень доволен; он чуть заметно подпрыгивал даже дорогой, несмотря на увесистые мокроступы на ногах. На «сердитую барышню» он не обращал никакого внимания. Какое может быть ему дело до того, что он не нравится барышне, когда иначе и быть не может? Это в порядке вещей. Для него важно было другое: это — «особое помещение с небелью» в благородном семействе. Даже его сослуживцы нанимали квартиры у мещан, а он в благородном семействе. Для него было почти несомненно, когда он звонил у двери «благородного семейства», что ему, только взглянув на его костюм, тотчас же захлопнут под носом дверь. И если он звонил, то это был почти бессознательный риск человека, желавшего во что бы

то ни стало уверить себя, что и он «не хуже других». И вдруг... он — не хуже других!

Придя на артельскую квартиру, он не застал там ни троюродных дядьев, ни шабров, ни близких и дальних земляков, которые ушли пить чай в трактир. Петр был очень рад этому случаю. Ему сегодня везло. Он еще дорогой решил — ни под каким видом не говорить дядьям и шабрам о своей новой квартире. Неужели появление среди благородного семейства закорузлых и коренастых дядьев и шабров должно лишить его сразу всего, что давно мечталось ему и что так неожиданно улыбнулось? А сколько попреков за пятирублевую цену! По крайней мере, на первое время это было невозможно. Он тотчас же нанял ваньку и, объявив седому старику, сторожившему артельную квартиру, что он переезжает к сослуживцам, свалил свои сундучки на сани и двинулся к своему новому «особому помещению с небелью», где уже не будет ни простоволосого невежества, ни грубого добродушия с своими пьяными увещаниями, которые надоели ему хуже горькой редьки, ни грязи, ни ругани, ни драк, ни ежедневных служебных подвигов городовых, околоточных, приставов, буйствовавших над артелью и с непечатною бранью и подзатыльниками таскавших мужиков в участки.

II

Огромные склады и лабазы торгового дома Башмакова и К°, ведшего обширные коммерческие операции зерном и мукой, пенькой, железом и всевозможным российским «сырьем», помещались в одном из домов Замоскворечья, на торговой площади. Массивные железные двери складов, занимавших всю нижнюю половину дома, скрипя и грохоча петлями и ключами, по зимам отворялись поздно и затворялись рано, вместе с дневным светом. С огнем в них редко сидели. И только в главной конторе седой молчаливый старик, главный конторщик, долго сидел за счетами перед лампой, еще с вечерен распустив по домам своих подручных. В новейшее время, когда цивилизация коснулась даже Замоскворечья, а старик Башмаков умер и его сыновья повели дело на торговом товариществе, одевшись, вме-

сто чуек, в пиджаки, кроме старого дяди, в администрации дома произошли тоже сообразные реформы.

Прежде, во времена старика Башмакова, вся она, по-старозаветному, сосредоточивалась в руках его самого и брата, при которых состояла целая орава приказчиков, жившая вся при хозяевах в качестве «домочадцев». Судьбой этих домочадцев Башмаков распоряжался так же бесконтрольно, как и судьбой своих собственных чад. Трепал их за волосы и за уши, ругал, иногда бил, лишал «положенного» из съестного, подарков, наград, но в то же время и поощрял, награждал, благоволил и устраивал отечески судьбу того или другого. Теперь совсем другое дело стало. Патриархальные порядки в значительной степени рухнули. Прежде всего, подорвала их самая фирма товарищества на паях, а затем и самый дух времени. Администрация дома распалась на две инстанции: низшую и высшую. Все, что копошилось в самых лабазах, терлось около кулей и мешков с утра до вечера, начиная от ломовиков-крючников и кончая главным приказчиком и пайщиком дома — стариком Башмаковым-дядей, — все это жило еще в большей или меньшей степени по-старому, ходило в армяках, чуйках и сыромятных сапогах вместе с приказчиком, хотя и не жило уже «при хозяине», а помещалось на «вольных фатерах», большею частью артелями. Это была низшая инстанция.

В верхнем этаже дома, непосредственно над лабазами, в «чистых комнатах» помещалась высшая инстанция: главная контора. Ее составляли бухгалтеры кассиры, конторщики, корреспонденты под главенством начальника конторы. Все это далеко было не похоже на низшую инстанцию. Все носило на себе последнюю окраску цивилизации: ходили в пиджаках, причесывались с пробором на затылке, на ногах носили штиблеты с пряжками, а на головах цилиндры. Паркетные полы, лакированные высокие конторки с высокими табуретами, длинные столы, покрытые зеленым сукном, конторские книги и бланки из веленевой бумаги, роскошные пергаментные переплеты «главных книг», исписанных красивыми, четкими почерками, венцом каллиграфического искусства, — такова внешняя обстановка высшей инстанции.

Контингент высшей инстанции пополняли преиму-

щественно молодыми сынками разорившихся купеческих домов, промотавшимися представителями некогда громких фирм и затем особого рода незнакомцами, без звания и рода, которые, неизвестно каким образом, всегда плодятся при больших и малых торговых домах. Не то факторы, не то ходатаи, не то комми, эти незнакомцы, одетые с шиком, хотя не имеющие за душой ни гроша, каждое утро трутся в конторах, курят хорошие сигары, рассказывают забавные анекдоты, разносят трактирные и театральные новости — и представляют собою идеал особого рода наглой бонтонности для приказчиков, конторщиков, бухгалтеров и кассиров. Последние их ужасно любят. Хозяева, хотя и третируют их несколько свысока, но в них «нуждаются». Исчезни в одно прекрасное утро из торговых контор эти «незнакомцы», и, нет сомнения, хозяева ощутят в сердце некоторую пустоту, ибо у незнакомца всегда готовый проект какого-нибудь грандиозного предприятия, который если и не всегда осуществим, зато может дать пищу фантазии и уму, всегда он готов съездить туда, заглянуть сюда, привезти билет в оперу, устроить удачный сбыт плохой партии... В некоторых случаях их называют особою кличкой *племянников*. «Племянник» иногда бывает очень важен для фирмы: он сбавляет и нагоняет цены на подрядных торгах, вносит залоги (конечно, не свои), затем берет отступные, куртажные и пр. При больших операциях иногда у племянника скопляется до десяти тысяч зараз, но все это в его руках эфемерно, и через неделю он уже закладывает последний фрак. В акционерных предприятиях опять необходим этот таинственный незнакомец, — он фигурирует там в роли подставного, наемного акционера, «голоса» и пр.

В роли этих таинственных незнакомцев большею частью фигурируют полунемцы, полужиды, отставные военные, вольнопрактикующие адвокаты, нередко с университетским образованием; нередко же попадаются неудачники — актеры, литераторы, технологи... В этом случае они говорят о политике, о всемирной торговле, о произведениях литературы и искусств, держат себя крайне надменно. Но все это не мешает участвовать им в таких сценах. В одно прекрасное утро, когда часов около двенадцати, «племянник» по обыкновению яв-

ляется в правление фирмы, с дорогим портфелем подмышкой, одетый по последней моде, подвитой и раздушенный, хотя с несколько помятою физиономией после ночного кутежа, когда он только что пускается в веселые разговоры с «правлением», вдруг входит разбешенный хозяин, только что узнавший, что «племянник» проделал с его фирмой какой-то фортель. «Племянник» догадывается и бледнеет. Сначала он слабо защищается, но когда «хозяин» все больше и больше начинает уснащать свою речь местоимением «ты», с приличными эпитетами, вроде, «мерзавец», «негодяй», он лихорадочно начинает искать свой цилиндр. Но вот раздается грозное: «Гони его, подлеца! Бей!»—приказчики и конторщики бросаются вслед за несчастным, бегущим со всех ног в переднюю. «Племянник» схватывает свою ильковую шубу, жертвуя калошами, набрасывает ее на одно плечо и быстро спускается с лестницы, сопровождаемый пинком в шею, криком, гиканьем, свистом развлекавшихся неожиданным спектаклем конторщиков. Общее возбуждение «высшей инстанции» мигом передается «низшей», и последняя, высыпая от стара до мала из лабазов, уже встречает несчастного, летящего с лестницы, гиканьем, хохотом, циканьем.

Низшая инстанция уже чутьем знает, в чем дело, так как эти спектакли устраиваются нередко.

— Стрюцкий!

— Сунылa!

— Суслик!

— Крыса!

— Тсссс!.. У-у-у-у!

Все это несется вслед прекрасному незнакомцу из окон «высшей инстанции» и из кладовых «нижней», пока он, быстро и не теряя элегантности в походке, пробегает ряд лабазов и, наняв ваньку, скрывается от взоров взбудораженных «рядов»... А «ряды» еще долго волнуются этим событием, пока весть о нем не обойдет весь рынок.

Наш «любопытный экземпляр», нанявший комнату в благородном семействе, не имел счастия или несчастия принадлежать к высшей инстанции, бывшей редко достижимым идеалом для «сибирок» низшей. Высшая инстанция примыкала непосредственно к «цивилизации», низшая — к деревне. Все это, впрочем, как мы

видели, не мешало и низшей инстанции сочувственно принимать к сердцу «события», совершавшиеся выше ее, в области, мало ей доступной. Но Петр никогда не участвовал в шумном выражении этого сочувствия. Привезенный в Москву уже шестнадцати-семнадцати лет, впечатлительный, любопытный и сосредоточенный мальчик, он не научился «цикать» и «дразниться», вообще всем тем увеселительным штукам, ареной которым служат панели торговых рядов. Он обыкновенно вначале смотрел на сцены, вроде вышеприведенных, с каким-то недоумением, даже сожалением к несчастным «незнакомцам», вылетавшим из главной конторы. Его поражало то, что его собратья «дразнили» прекрасного незнакомца словами: «Ученый! Законы проглотил!» Еще более его поражали самые эти казусы с «учеными». Ему было стыдно за них, хотя он и не сомневался, что хозяин казнил их за «дело». Но он не мог соединить в своем уме представления «ученого, проглотившего законы», с каким-то пакостным делом, за которое бьют в загривок. Это до такой степени смущало его, что при подобных случаях он иногда краснел; глаза его наполнялись слезами, и лично внутренно он страдал за «ученого», внутренно принимал на себя весь снедавший его стыд и позор.

Конечно, этому были причины. У Петра был в деревне закадычный друг Филаретка, а этот Филаретка получил из рассказов своего отца, старого дворецкого, очень радужное представление о правах ученых и благородных людей в сем мире, неустанно развивая это же уважение к ученому званию и в своем приятеле. Обольстительно рисовал он ему всю прелесть «пинжака» и знание законов («главное, чтобы законы знать!»), которые, несомненно, защитят их и их отцов, и братьев, и дядьев от всяких «прижимок», колотушек, обид... «Ежели только пинжак да законы — ходи прямо, смотри бойко! Вон мой тятька... сидит себе на крылечке, трубочку покуривает, никто его не бьет, не обидит, еще мужики шапку ломают. Нет, это, брат, первое дело», — умилялся Филаретка. Но Филаретка был натура увлекающаяся и, как всякая увлекающаяся натура, легко менял предметы своего увлечения и скоро утешался в несбывшихся мечтах. Не то был Петр. Он слушал, слушал Филаретушку и молчал, смотря на него исподлобья своими пытливыми карими глазами. Самолюби-

вый и недоверчивый, он редко делился своими мыслями даже с Филареткой. Но что раз запало в его душу, то утрамбовывалось в ней плитою; разочарованию он поддавался туго, и, если избежать его было нельзя, оно давалось ему трудно, вырывалось из души с болью... И в отношении к ближним они были различны: Филаретка был вообще добродушный, любящий; когда обижали «деревню», ему было *жалко,* Петру было *стыдно.* Филаретка соболезновал и плакал об обиженных и негодовал против притеснителей, грозя им и в будущем «пинжаком» и «законами»; Петр негодовал и на тех, и на других — и на притесняемых, пожалуй, больше, чем на притеснителей; за притесняемых он *стыдился,* краснел за их «рукосуйство», безответность, приниженность, и за этот *стыд* он платил им почти презрением, хотя и готов был выместить обиду за них на притеснителях.

Был у Петра с Филареткой друг Лимподист, добродушный парнюга, в версту ростом, с широчайшими плечами и сильными руками. Несмотря на то, что он был их старше только лет на пять, тщедушные Петр и Филаретка казались перед ним мальчиками. Да мальчиками показались бы пред ним и самые парни-женихи, если бы с громадным физическим развитием не уживалось в Лимподисте крайнее младенчество ума. Он с таким же увлечением играл с ребятишками в бабки, в лошади, пуская кубари, лазая по деревьям, как и самые малые из них. Но зато и сила его пользовалась большим уважением. С ним безбоязненно пускалась в самые рискованные путешествия вся ребячья деревня, веруя, что с Лимподистом их никто и ничто не обидит — ни зверь, ни лихой человек. По зимам он безбоязненно бегал с арясиной за волками и отгонял их целыми стаями от деревни. И Петр, и Филаретка, хотя постоянно вместе с другими подсмеивались над ним, но любили его и чувствовали к нему уважение. У них часто шли такие разговоры:

— А что, Лимподист, ежели бы теперь у нас деревня огнем занялась, — спрашивали его, — ведь ты бы не дал ей сгореть?

— Не дал бы — уверенно отвечал Лимподист.

— Ведь ты сейчас бы все по щепкам забросал? Хвать за крышу — крышу стащил бы; хвать за угол — угол своротил бы.

— Своротил бы.

— А ежели бы ночью конокрады наскакали, а ты бы их поймал... ведь изничтожил бы?

— Изничтожил бы, — отвечал Лимподист, и в глазах горела младенчески-наивная самоуверенность.

— Ну, а ежели бы медведь... Вот старики рассказывали, что к нам однажды медведь в деревню заходил... Все, говорят, попрятались, а он разломал хлев, съел козла, да и ушел... Ты бы не дал?

— Ни в жизнь!.. Я бы на него с рогатиной...

— Ну, а домового ты боишься?

— Нету. Я однова на него ходил. Матка говорит мне: Лимподист, у нас на чердаке домовик возится... Ладно, говорю, и пошел его искать.

— Ну?

— Так и не ущупал... Ежели бы ущупал, я бы...

— И т. д.

И вдруг отец с матерью женили Лимподиста «по росту», как объясняли они сельскому батюшке, который, посмотрев на Лимподиста, не стал даже и в метриках справляться; женили на тридцатилетней вдове, с маленьким сынишкой. Лимподист неожиданно стал «мужиком», а сверстники прозвали его «алениным мужем». Филаретка и Петр прониклись еще большим почтением к Лимподисту. «Ты уж теперь хозяин! — говорили они. — Ты уж скоро с нами и водиться не станешь!» Но «аленин муж» посмотрел на дело очень легкомысленно. Вместо радостей любви, получив в лице жены своей только новую прибавку к опеке над собой отца и матери, Лимподист совсем отбился от дома и, едва только улучал минутку от заданной ему отцом или женой работы, убегал к своим сверстникам. Такое легкомысленное поведение «хозяина» вызвало негодование его опекунов. В общем совете решили они итти «пожалиться» к старшине и просить его «научить малого хозяйству». Старшина был старик добрый, но строгий и «поучить любил. Велел он привести к себе Лимподиста. Лимподист убежал в лес. Наконец его поймали сотские и повели. Все его товарищи повалили гурьбой смотреть, как будут учить Лимподиста. Были тут и Филаретка, и Петр. И тот, и другой с большим волнением ожидали, как-то поведет себя неустрашимый Лимподист.

Добродушный старик старшина взял при всем чест-

ном народе Лимподиста за лохматку и, покачивая из стороны в сторону его большую голову, говорил так:

— Ты что (крепкое слово) свое хозяйство в порядке не держишь? а?

Лимподист только пыхтел.

— Ты (крепкое слово) какую это такую моду придумал — от жены бегать? а?

Лимподист заревел.

— Ах ты, канальский сын!.. Ты бы людей-то постыдился... а? Ведь ты, муж, своему дому хозяин, а тебя за волосы при всем народе таскают... Ведь ты (крепкое слово) своей семье должен пример подавать, а ты ревешь, что корова... У-у! Баба!

— Вели, ваше степенство, лозой поучить... Авось, в разум войдет! — поклонились отец, мать и жена.

Вдруг Лимподист повалился в ноги.

— Дяденька, отпусти... Не буду! Не буду! — ревел он, обливаясь слезами.

У Филаретки глаза были полны слез, а Петр... Петр по обыкновению молчал; эта сцена произвела на него сильное впечатление. Когда через несколько дней пришел к Петру с Филареткой Лимподист побеседовать, Петр как-то истерически выкрикнул: «Драный!» и убежал домой. Петр возненавидел Лимподиста. И в то время как Филаретушка предполагал, что есть такие законы, которые не велят сечь отца семейства, и что если Лимподиста высекли, то потому, что некому было эти законы показать, у Петра глубоко запали в душу слова добродушного старшины.

Лимподиста семья угнала на заработки. Это было хорошо и для семьи, и для Лимподиста. Лимподист почувствовал себя на свободе; жил в артели в Москве. Жизнь в артели показалась ему раем. Среди товарищества его натура развилась свободно, непринужденно. Из него вышел добродушный, любящий, безусловно честный мужик. Это был вполне артельный человек, который шел за нее и в огонь, и в воду. Когда Строгий с Вонифатием привезли Петра в Москву, Лимподист был выбран артелью в «старшие». Вонифатий просил артель «приспособить к себе» Петра. Лимподист встретил его с радостью. Артель согласилась. Честолюбивый Петр, увидя Лимподиста «старшим», несмотря на то, что в артели были мужики много почтеннее и старше

его, почувствовал и сам вновь уважение к Лимподисту. Но это было недолго... Скоро он увидал, как шел артельный человек за свою артель «и в огонь, и в воду». Случалось нередко артели драться с другими артелями, и старшой Лимподист пожинал лавры победителя вместе с своею артелью. Случалось нередко и другое.

Вдруг ночью являлась в артель полиция.

— Кто старшо́й? — кричал усатый унтер. — Подавай паспорта! А! Так ты воров скрывать? — и загребистая рука унтера сгребает за лохматку Лимподиста.

И вот вся всполошенная артель, в полупросоньи, бессознательно таращила глаза и с замиранием сердца ожидала, что предпримет ее старшо́й.

— Ваше благородие, не губите! — бросается в ноги околоточному Лимподист.

— А!.. Так вот что?.. Эй, вы, вахлаки, вылезай все сюда!.. Подавай паспорта... Стой! Считай!..

— Ваше благородие, минуточкой... — лепетал Лимподист, и, дрожа всем телом, копается он у себя в сундуке и потом сует унтеру что-то в руку.

Гроза отведена, артель засыпает и не нахвалится своим «старшим».

Иногда, чтобы умилостивить мундирного цербера своей улицы, артель давала ему даровые представления с разбитыми носами, с фонарями. Две артели — маляров и дергачевцев (они были просто чернорабочие) — выходили стенка на стенку, а страж замоскворецкого спокойствия похаживал по панели и щелкал на морозе рука об руку. Увеселения разбаловавшихся, ради начальства, деревенских малых шли дальше, в особенности, когда к стражу приставали, в качестве зрителей, скучающие замоскворецкие обитатели в лисьих и бараньих шубах. Тут Лимподист выпускает на арену одного из своих артельщиков, глуповатого седого старичка. «Ероша! Ероша! — умильно звал он его, — будь добр, утешь публику... Ангельская душа, разуважь! Пройдись в полном виде!.. Уж мы тебе выпивку схлопочем в лучшем манере!.. Ваши степенства! — обращается он к купцам, — поднесите старичку для куражу». Старичку подносят, и глуповатый старичок мигом снимает лапти и порты и проносится босиком вихрем по известной дистанции, при тридцатиградусном морозе. Публика ревет и завывает, а Лимподист выхлопатывает уже

опять старичку выпивку и сердечно спрашивает: «Ну что? Выпил, Ероша? Ловко?.. А ты еще целый день ноне тосковал!.. Чудак!» — Выпил, выпил... Дай тебе господи! Уважил!.. Ах, братец, совсем ты меня из гроба поднял... И ей-богу!» — шепчет ему умильно старичок. А увеселения идут еще дальше...

— Мадаму обрели!.. Мадаму нашли!.. — кричат какие-то молодцы, где-то за забором поднимая, пьяную женщину. — Г. начальство, как прикажете?

— Положить ей холодную компрессу! — дирижирует страж.

Мигом строит артель из снега седалище, и, подняв на женщине одежду, плотно всаживают ее в сугроб.

— А это что у вас за красная девица, все за воротами прячется? — обращает внимание публики на Петра замоскворецкий страж.

— Энто? Энто у нас самый Волчонок... Вот мы его сейчас!.. Желаете?

И не успеет Петр опомниться, как Лимподист с добродушною, осклабляющеюся рожей подлетает уже к нему и, дружески, хохоча во все горло, увесистыми кулаками начинает слегка выталкивать из ворот «под микитки».

— Го-го-го!.. Петрушка!.. Ха-ха-ха!.. Выглянь на народ!.. Покажи свою усмешку!

К Лимподисту пристает еще «малый» и тоже начинает дружески «под микитки» подталкивать Петра, за ним третий. Петр вспыхивает огнем, глаза у него сверкают от стыда и злобы, но под дружным хохотом и натиском его выпирают на улицу. Он бросается бежать, а вслед ему несется: «Улю-лю!.. Ого-го!..»

Петр видал и другие сцены в артели, но это сцены *обычные,* негромкие, проходившие мимо улицы, не задевавшие ни самолюбия Петра, ни его ригоризма. Так случилось, что самый этот старичок Ероша заболел, очень заболел, слег — и только просил Лимподиста Евстигнеича не «справлять его в больницу, а дать ему хоша умереть спокойно и по-христиански, и душе его покой на том свете изготовить». Долго говорила и шумела по этому случаю артель, боясь ответственности и хлопот, но Лимподист принял старика под свое покровительство и уговорил артель оставить его «умереть спокойно, как душе христианской подобает». Он ходил

за ним, приглашал к нему знахарку, а когда старичок умер, артель сложилась и на свои средства «обрядила» его в домовище, на руках снесла на кладбище... Все это хорошо, но на поминках нужно выпить, а выпивши — поругаться, а поругавшись — подраться, а подравшись — привлечь начальство, и быть уже битым, обруганным и оплеванным. Тогда Петр возмущался и негодовал и на этого старичишку, который «зря» не хотел итти в больницу, и на «лишние расходы», и на Лимподиста за его «благодушество», и «на все это безобразие». И все больше и больше возмущался артельной жизнью молодой парень, воспитанный почти одиночкой, в суровой школе таких деревенских ригористов, как Еремей Еремеич Строгий и Ульяна Мосевна.

III

Святки только что наступили. Склады купца Башмакова и К° плотно закрылись массивными железными дверями на целые три дня. Петр был свободен. Сегодня, в день рождества, он ходил к заутрене вместе с барышнями и старушкой Аполлинарией Петровной, при которых состоял в качестве провожатого, так как у Ивана Степаныча опять болело горло и опять торчал на шее шерстяной чулок. После обедни Петр разговлялся в семье Ивана Степаныча. Он был очень доволен; он был весел. Как далеки его ощущения теперь от тех, которые он испытывал, прочитывая билетик, приглашавший в благородное семейство жильца тихого нрава! Иван Степаныч относится к нему отечески-благосклонно. Добрая старушка Аполлинария Петровна была так внимательна к «сиротинке», что накануне велела Федосье выстирать Петру белье и вычистить новый кафтан, пока его не было дома. Сама Федосья — и та, может быть, больше по чувству близкого происхождения, к нему благоволила. Барышни были с ним так деликатны, так внимательны к нему, так любезны и просты, что... Но, к сожалению, он очень плохо понимал, чего хотели от него барышни, а они чего-то именно хотели. Зато «в правде» отношений к себе Ивана Степаныча, Аполлинарии Петровны и Федосьи он не сомневался. Это были люди действительно простые,

прямые и откровенные, в особенности с теми, к которым они не стояли в каких-либо «чрезвычайных» или официальных отношениях и от которых в будущем не могли ожидать для себя никаких «перспектив».

После обеда Иван Степаныч уже сидел по обыкновению с Петром за шашками в своей зальце; у печки, в старом, с вытертою спинкой кресле, помещался сам Иван Степаныч, с трубкой; против него, на маленьком круглом столике, шашечница, а на стуле, с другой стороны, Петр. Иван Степаныч давно уже играет с Петром в шашки, чуть ли не со второго же дня по приезде Петра к «благородному семейству». Петр тоже любит играть в шашки; он привык к этой игре в лабазах купца Башмакова, и, нужно отдать справедливость (даже Иван Степаныч, считавший себя большим артистом по этой части, признавал это), Петр играл мастерски. Так как сегодня для праздника чулка вязать не полагалось, Аполлинария Петровна смирно сидела в уголке дивана и дремала, время от времени сморкая свой большой, красноватый, худой и вечно мочившийся нос. В эти минуты, по привычке, в ее голове неторопливо, шаг за шагом проносилась ее долгая жизнь, сначала полная романтических мечтаний, потом скромная до отупения жизнь застращенной жены бойко жившего мужа, наполнявшаяся исключительно заботой о детской и о кухне. Подолгу глядела она в молодое, свежее, энергичное лицо Петра, полузакрытое спустившимися на лоб черными волнистыми волосами, и в это время ей вспоминался ее сын, умерший чахоткой лет четырнадцати, как она, запуганный безалаберным и вечно кстати и некстати оравшим отцом. Старушка поднималась с дивана, со слезами на глазах подходила к Петру, смотрела несколько минут за его игрой, затем тихо и нежно проводила костлявою рукой по его волосам и, стыдливо улыбаясь ему сквозь слезы, опять садилась на прежнее место. Петра охватывала при этом какая-то приятная дрожь; он сам краснел и конфузился, между тем как на душе у него становилось тепло, весело, радостно.

Барышни то сидели с книжками у окна, то по очереди вскакивали, ходили из комнаты в комнату и бесцельно смотрели в окно. Очевидно, им было скучно.

— Вы, папа, с своими шашками просто нестерпимы! — вскрикнула, наконец, блондинка, вскакивая от

окна. — И что за удовольствие — целые часы играть и играть! Вы нам никогда не дадите поговорить с Петром Вонифатьичем. То он в своем лабазе, то на уроках у Сережи, то шашки... это противное стариковское занятие!..

— Говорите, занимайтесь... Я вам не мешаю... Чем вам с ним заниматься? Ну, я вот в шашки играю, а вы будете в фанты играть, что ли? Пожалуй...

— Вы несносны, — проговорила блондинка, оттопырив губки.

Кстати сказать, она давно уже утешилась по поводу сдачи квартиры Петруше и давно же оставила всякое намерение «отравить ему жизнь с первого же дня». Как это случилось, мы увидим после. Скажем только, что и блондинка нашла, что Петр любопытный экземпляр; сестры им заинтересовались.

— Игры, друг мой, разные бывают, — говорил протяжно Иван Степаныч Петру, продолжая стукать шашками. — Шашки — это такая игра, которая развивает трезвость мысли, практическую сообразительность ума... Так ли? Я, друг мой, сам ей много обязан... А о чем вы можете с барышнями говорить? Пустая потеря времени... Уроки — конечно, я ничего не говорю... Вот Сергей! студент, ну, математика там... Это я понимаю... Так ли?.. А разговоры — это фанаберия... Да! Ты, братец, должен трезво смотреть на жизнь... Так ли? Ты теперь свободный крестьянин, ты — новое поколение, не драное и не поротое... Были крепостные — тогда с вас ничего не спрашивали... Тогда за все отвечал барин... Тогда он за вас ответ отдавал и царю, и богу... Так ли? Я сам имел крестьян и порол их, когда нужно было... А теперь... теперь я вот с тобой в шашки играю, потому я признаю в тебе полного человека. Я тебя не драл на конюшне, по зубам не бил, значит, мне тебя несовестно с собой посадить... Так ли?.. Значит, ты должен оправдать доверие... стать вполне человеком... трезво смотрящим на жизнь... Вы не барские дети... Вам нужно еще много поработать над собою, чтобы войти в хорошее общество... Таких, как я, немного, чтобы прямо с улицы мужика в залу пустить. Этого надо, брат, еще добиться... о, о! как надо добиваться!.. Годами, трудами, смирением — вот чем надо добиваться, а не фанаберией... Я, братец, человек откровенный — прямо скажу:

мы сами дворянство-то горбом добыли, оно нам не с ветру досталось, так я это понимаю, у меня никаких эдаких предрассудков нет... Не место человека красит, а человек место... Вот, например, ты... Я надеюсь, что ты доверие оправдаешь... Ты трезвый юноша... Я бы, братец, сам не отказался, может быть, иметь тебя своим сыном... А ежели — фанаберия, мечтания, фи-тю — фи-тю! Нос кверху, еще ни уха, ни рыла не смысля,— ну, брат, извини-и!.. Тогда...

— Ну, папа, вы лучше бы уж молча играли в шашки. Это было бы если и скучно, и глупо, то, по крайней мере, безвредно, — раздражительно выговорила блондинка.

— Ты их, друг мой, не слушай. Это — кисейные барышни. — Для них богом своя полоса предназначена, для нас с тобою — своя. Так ли? А в нужник-то тебе старика погодить бы засаживать... Еще погодить бы надо!.. Ты воспользовался, что я тебе тут проповедь прочитал...

— Да не в один я вас загнал, а в три! Взгляните-ка! — весело говорил Петр и смеялся. Смеялся и Иван Степаныч.

— Ловок, ловок!.. Уши, брат, не развешивай! — поощрял он его. — Ну, ставь еще!

Воспользовавшись таким веселым настроением, Аполлинария Петровна встала и нежно погладила Петра по голове, печально улыбаясь ему своими мокрыми глазами. «Совсем как мой Петруша был... Так же бы вот сидел теперь, смеялся бы с отцом», — думала она. А между тем в душе Петра что-то совершилось. Устанавливая шашки, он постоянно путался. Глаза его бегали весело и беспокойно.

— Я, Иван Степаныч, хотел вам давно (это уж он приврал: мысль у него явилась очень недавно) сказать... Посоветоваться хотел с вами, — проговорил Петр, смущаясь, как малый ребенок.

Иван Степаныч, тотчас же заметив это смущение, придал своему лицу строго-деловое выражение, но вместе с тем с оттенком отеческой заботливости.

— Что такое? Говори... Говори мне откровенно все. Я человек прямой... Советуйся... Я готов для тебя, как для сына, все...

Аполлинария Петровна раза два всхлипнула. Брю-

нетка и блондинка, продолжая смотреть в окно, однако, навострили ушки.

— У меня деньги есть... да все в бумажках, в кредитках, мелких, значит... Боюсь, потеряю... Да и лежат совсем без приложения.

— У тебя деньги есть?—переспросил серьезно Иван Степаныч, уставившись глазами в Петра, а все прочие обернулись к игравшим.

— Есть.

— Чьи же? отцовы?

— Мои собственные.

— Сколько?

— Сто с лишками.

Петр отвечал, смущаясь все больше и больше.

— В кредитках, говоришь?

— В мелких все...

— Ну, что ж ты хочешь?

— Говорят, на эти деньги билет можно купить. Теперь уж у меня хватит... Проценты пойдут, ну и выиграешь, ежели на счастье... Я бы вас хотел попросить... купить... А пока приберечь... А то растерять боюсь... да и не растратить как бы...

— Побаиваешься, как бы не кутнуть? — улыбнулся Иван Степаныч. — Изволь, друг мой, изволь. Буду тебе опекуном... И билет куплю, и за тобой буду посматривать... Давай, давай!

Петр чуть не бегом побежал в свою комнату. Здесь, присев на корточки к зеленой укладке, вынул он из большого конверта связку тщательно сложенных кредиток, пересчитал их, отложил несколько на случай, опять пересчитал.

Странное чувство охватило Петра. Трудно было сказать, что заставило его открыть свою тайну людям посторонним, когда он свято и ревниво хранил ее от близких, от дергачевцев, от своих сослуживцев: было ли это непреоборимое желание зарекомендовать себя этим «трезвым», новым человеком деревни, о котором говорил барин, или это просто был порыв доверчивости детской, хлынувшей из его замкнутой души, под обаянием добросердечия в тех, от которых он ожидал его всего менее, или же это было только проявлением его праздничного, светлого, радостного настроения вообще, которое, как мы увидим, охватило его целиком в это

время. Он вернулся в залу и подал деньги Ивану Степанычу, пересчитав их еще раз с ним вместе, все еще смущенный, раскрасневшийся. Тут уже было еще труднее объяснить эту доверчивость, тем более что Петр даже дергачевцам, даже пятачки, какие они у него просили, давал туго, а если и давал кому в долг, то в назначенный срок требовал настойчиво. Не было ли это простым результатом того положения, созданного деревней, что только нужда и бедность — причина греха, причина того, что человек принужден не исполнять своего слова, обманывать, воровать, пить, изменять, вообще быть неустойчивым, жить необстоятельно, подчиняясь только внешним влияниям?.. Где бедняку быть крепким в своем слове, когда вся его жизнь зависит от случайных сорока копеек поденной платы, которые могут нынче быть, а могут и не быть? Но какой смысл обманывать доверие других, снисходить до плутовства, не говоря уже о том, какие побуждения могут заставить человека грабить или лебезить, «фиглярить» перед другими, когда у этого человека все есть, все готово, без тяжкого труда, без тяжких забот, и притом это *все* — прочно, крепко, устойчиво, не грозит никакою случайностью не только на завтра, не только для себя, но и на целые поколения?

Вряд ли будет ошибкой предположить, что если бы в эти минуты Петр думал и рассуждал, а не действовал просто под впечатлением светлого настроения души, то он думал бы таким образом. Это ведь эмпирический вывод наивной деревни, многоопытный относительно себя и так малоопытный относительно других. А между тем, когда Петр подал деньги Ивану Степанычу и Иван Степаныч понес их к себе в кабинет, чтобы запереть в шкатулку, у всех членов благородного семейства мелькнула одна и та же мысль: «Господи! как еще он прост... как прост! Ну, хорошо, что вот он попал на нас... на Ивана Степаныча... Мы люди честные, добрые... А если бы на других?» От этой мысли Аполлинария Петровна даже совсем расчувствовалась и то и дело сморкалась, а блондинка несколько смягчилась от негодования, закипевшего было в ней при неожиданной новости, что Петр копит деньги.

— Петр Вонифатьич, — сказал она, серьезно насупив свои брови и несколько выдвинув вперед нижнюю

пухлую малиновую губку, что придало ее лицу весело-комичное выражение, — подите сюда!

Петр подошел к окну.

— Говорите, где вы взяли деньги? Говорите правду... Правду говорите! — вдруг дернув его нетерпеливо за рукав, заговорила блондинка.

— Мои собственные... Скопил...

— А зачем вы копите?

Петр сначала взглянул на блондинку в изумлении, а потом сказал улыбаясь:

— Деньги завсегда всем нужны. Кому деньги не нужны!

— Да вам-то зачем нужны? — приставала барышня.

— Чтобы бедным не быть... не работать...

— Не работать? Да разве работать нехорошо? Разве ваши родные нехорошо делают, что работают? — в изумлении вскрикнула блондинка, и в ее глазах загорелось опять негодование.

— Что хорошего землю ковырять али помойные ямы чистить... воду таскать, камни. Надо правду сказать. Только уж, конечно, как нужда... Кабы не нужда, так разве бы мы такие были?

— Вот что! Так вы хотите только пироги кушать, вино пить да на печи лежать? Да?

— Зачем так... Будем делом заниматься.

— Каким же делом?

— Так... делом... чтобы не хуже других...

— Ну вы... вы, например, каким делом хотели бы заняться, если бы были богаты?

— Я... я бы хотел какое ни то... большое дело... Только я теперь не знаю, — стыдливо проговорил Петр, — чтобы не хуже других — главное...

— Умник! умница! — восторженно сказал Иван Степаныч, входя в залу, и любовно похлопал Петра по плечу. — Главное — дело, а для дела деньги нужны... А прочее — все тьфу! фанаберия! — проговорил он еще энергичнее, засаживаясь за шашки. — Садись-ка!

— Деньги хорошо, когда человек образованный... А богатые мужики только трактирщиками бывают — вот и все их дело, — проговорила недовольно блондинка, отвернувшись от играющих, и брезгливо расширила свои розовые, просвечивающие, тонкие ноздри. Она по-

дошла к окну и, водя по потному стеклу белым миниатюрным пальчиком, о чем-то задумалась.

Сосредоточенная, холодно-равнодушная брюнетка, и без того все время погруженная в величественную задумчивость, только теперь, еще пристальнее стала всматриваться в лицо Петра своими большими, глубокими черными глазами. Задумался и сам Иван Степаныч, задумался до того, что стал сбиваться в ходах. Аполлинария же Петровна окончательно задремала в углу диванчика. Только Петр, попрежнему вдумчиво занялся игрой и не думал, что такой простой разговор и о таких вещах мог погружать вдруг всех его собеседников в глубокую задумчивость. О, как удивился бы бесхитростный сын деревни, если бы внезапно мог заглянуть в души этих добродушных членов благородного семейства! Они думали о нем, о его судьбе, всякий посвоему.

IV

Семья Ивана Степаныча Дрекалова была одна из тех широко распространенных на Руси современных семей, отличительною чертой которых является полнейшая эфемерность существования: ни позади, ни впереди, ни в настоящем нет у этих семей ничего такого, про что они могли бы сказать: «Да, вот это *наше* было — и будет; за это *свое* мы ляжем костьми; это *свое* мы не уступим, не продадим вовеки, хоть бы пришлось из-за этого страдать». Одно только у них есть *свое,* это — страшная жажда бездеятельного покоя и созерцательной лени, за которую они готовы кривить душой, пять раз продать себя, унижаться, плутовать, лишь бы гарантировать себе это право беспечального, индиферентного существования.

В свое время отец Ивана Степаныча дослужил из канцелярских чиновников до чина, дававшего право на дворянское звание. Прежде всего это «дворянское звание» он реализировал тем, что «купил» себе кухарку, няньку, горничную и кучера, а затем приобрел какими-то путями довольно порядочное именьишко с несколькими десятками человеческих душ. После смерти родителя Иван Степаныч, женившись на барышне Аполлинарии Петровне, старше его годами, прибавил, в виде

приданого к общему имуществу, еще небольшое именьишко и поступил на службу в интендантское управление благодаря какому-то «благодетелю». Скоро закупил он в Москве дом и повел жизнь на барско-чиновничью ногу. Он задавал вечера, пирушки своим сослуживцам. Дочерей отдал в пансион, себе завел любовницу на стороне, а Аполлинарию Петровну обратил в экономку. Все это — истории известные. Но вот сначала пришли «последствия» 19 февраля, а затем вскорости и другие последствия, вроде разоблачения в интендантском ведомстве целой системы мошенничеств. Ивану Степанычу было отказано от места. Он не особенно горевал и принялся проживать выкупные свидетельства, потом перепродавать рощи и т. д. Изленился он самым безбожным образом, пока, наконец, не дошел до того состояния, в котором его застал наш рассказ. Теперь он все мечтает еще поступить на службу, если б только подвернулось место не ниже того, какое он имел; пока же проживает последние остатки «дворянского достоинства», закладывает их и продает, выдумывает разные способы брать деньги у «благодетелей» и «занимается» частною адвокатурой, то есть это он только «думает», что занимается, в сущности же все его занятия состоят в том, что иногда раз в месяц пришлют к нему благодетели какого-нибудь клиента из мелких купцов, а он отвезет его к настоящему ходатаю и с этого ходатая возьмет грош «отступного». Но делал он все это серьезно. Когда навертывался такой клиент, он вдруг поднимал на ноги весь дом; ему чистили старый мундир, гладили сорочки и галстуки, искали «портфель с делами», покупали бумаги и перьев. Между тем он заказывал закуску и угощал клиента наславу, целое утро проводя с ним за этою закуской и рассказывая многообразные случаи из своей служебной деятельности. Но кончалось тем, что он просил у размямленного клиента взаймы, а затем «спускал» его к какому-нибудь действительному ходатаю. С отсутствием клиента Ивану Степанычу становится скучно, на душе делается скверно, как после похмелья, и вот Иван Степаныч начинает «смотреть мрачно на жизнь» и пилить домашних. Он рисует ужасные перспективы разоренья, говорит о «неблагодарности детей», о том, что они должны помочь отцу, что он им дал воспитание,

что ведь ему же теперь «не разорваться», что всему есть предел, что у него от вечных забот поседела голова, что пора дать отцу возможность отдохнуть, успокоиться. В период этих «печальных рулад» Ивана Степаныча вся семья впадает в минорно-кислое настроение. У Аполлинарии Петровны глаза наполняются слезами, а маленький носик краснеет и мочится. Обе дочери садятся за работу: одна вышивает воротничок, а другая канвовую подушку на диван, и изредка громко вздыхают, серьезно сдвинув свои бровки. Даже Федосья — и та на что-то молча сердится и ходит мимо барина на цыпочках. Да, для всех ясно: положение может быть ужасно... «Бедный отец! Он действительно потрудился... Да, это мерзко, скверно, — думают брюнетка с блондинкой, — жить на чужой счет, не иметь «своего труда»... Нет, непременно, непременно надо «свой труд»... Независимость, нравственное спокойствие... А то эти вечные упреки и стенания!.. Да нет, не поэтому: это просто само по себе... бесчестно, несовременно... Нынче все имеют «свой хлеб»! Мы, кажется, достаточно образованы, чтобы сознать это, чтобы понимать, что жить на чужой счет... И притом должна быть деятельность, главное — деятельность честная, высокая, полная самопожертвования, во имя идеи... Нет, непременно, непременно надо это... устроить... сделать... как-нибудь».

Все это думают девицы, сидя за работой, и внутренно волнуются. В их хорошеньких головках, как в калейдоскопе, сменяются разнообразные блестящие перспективы, и, надо отдать справедливость, эти перспективы были возвышенны и безупречны: честная деятельность во имя идеала с другом сердца фигурировала на первом плане.

Брюнетка решила: она будет актрисой... Ну, а тут уже конца не видно «перспективам».

Блондинка была проще и наивнее: «С завтрашнего же дня я иду в библиотеку и смотрю все, все газеты, где требуют учительницу... Ну, если не найду здесь... Да и лучше! Я поеду в деревню, в сельские учительницы... Я хотя и не кончила курса... но что ж? Подготовиться на экзамен в сельские учительницы—это такие пустяки... ну, неделя, две... даже меньше, куда я!.. Я вот, как только придет Сережа, сейчас же ему ска-

жу... Да, непременно в деревню... Мы должны служить народу... С нашей стороны — это просто подло!.. Он беден, задавлен, темен, беспомощен, и мы... Сережа будет служить в земстве... Мы пойдем рука об руку, внесем туда свет и любовь...»

Но все это был чистейший и невиннейший вздор. Потому что и блондинка, и брюнетка разом спрашивали себя с гнетущею тоской: «Господи! неужели никто не придет сегодня?»

«Чорт знает, — думал в свою очередь Иван Степаныч, — хоть бы кто нибудь завернул... Эдакие, парень, паскудные мысли в голову лезут... Ведь эдак, чего доброго, с ума сойдешь... И все вздор: у меня еще *там*... есть триста десятин поруби... Вот еще пять, — десять лет, на ней такой ли лес высыплет... по пятьсот рубликов за десятину сцапать можно! Ведь там питательная ветвь проходит! Да! Это будет сколько же?..»

— Лиза! — вдруг кричит отец вслух, — сколько это будет, если триста десятин по пятьсот рублей?

— А что это?

— А так... там вот у матери в имении лес вырос... Великолепный лес! Помню... Мне тогда давали по сто рублей... Ну, через пять лет, наверное, можно взять пятьсот... Да теперь, если даже перезаложить его, за первое слово по двести рублей дадут.

У всех вдруг сердце начинает весело биться, что-то «отлегло». Брюнетка положила в сторону воротничок и, медленно поднявшись, потянулась у зеркала и полюбовалась своею стройною фигурой... «О, ива ты, ива, зеленая ива!» — вертится у нее в голове.

Блондинка Лиза очень рада бросить подушку и начинает бегать по комнате.

— Ты чего? — спрашивает отец.

— Да ведь вы же заставляете считать... Ищу бумаги и карандаш...

— Неужели так не можешь? — укорительно качал головою отец.

Лиза вспыхивает и припоминает, что она собиралась быть сельскою учительницей.

— Конечно, могу!.. Только лень, папа... На бумаге скорее...

— Сто пятьдесят тысяч, — бормотал Иван Степаныч. — Однако!.. Если даже половину, и то... Возьмем

даже четверть, и то... о-о-о!.. Можно даже приданое очень порядочное сделать.

А к вечеру, в особенности если это было воскресенье, глухие стогны Замоскворечья оживлялись веселою компанией «молодежи», подъезжавшею на трех ваньках к домику Ивана Степаныча. Взлетали они в зальцу Иван Степаныча под предводительством его двоюродного племянника, «вечного студента», забулдыги и доброго малого. Он постоянно таскал с собою к Ивану Степанычу разнообразную молодежь, из которых многие менялись так быстро, что их на второй же вечер забывали. Тут были большею частью студенты, в особенности из денежных, какие-нибудь сибиряки или грузинские князья, попадались и бедняки, любившие выпить на чужой счет. Все это были добрые малые, но беспардонные и очень недалекие, любящие «прожигать студенчество». Все они любили «добродушного ветерана» Ивана Степаныча, который забавлял их бойкими анекдотами (а он их знал пропасть), с приправой нецензурного даже свойства. Любили они и «маменьку» Аполлинарию Петровну, платившую им родительскою нежностью. Но больше всего и, конечно, главным образом влекли молодежь сюда две миленькие красивые головки. Под вдохновением «вечного студента» Сережи грузинские князья и сибирские и иные «буржуа» не скупились запасаться кульками вин, закусок и конфет, и веселые, звонкие голоса молодежи наполняли далеко заполночь уютные комнатки «добродушного остряка» Ивана Степаныча. Всякие «мрачные перспективы» решительно и бесповоротно исчезали. Иван Степаныч облекался в свой старый интендантский вицмундир; старушка Аполлинария Петровна надевала чепец с лиловыми лентами, а брюнетка и блондинка блистали непосредственною красотой молодой жизни.

Иногда, когда слишком разгуляются, нанимались тройки, Иван Степаныч подхватывался на руки, красавицы закутывались в шубки — и все это мчалось к «Барсову» или в «Эрмитаж», немножко «эмансипе», немножко двусмысленно, немножко скандально, но в конце концов все же бескорыстно, безвредно и весело. На этих вечеринках то раздавались «возвышенные», полные благородного, молодого увлечения речи, то слышался шопот, искренний и умоляющий, зовущий куда-то

в золотую страну высоких помыслов и дум, то пелась «Дубинушка», «Gaudeamus»[1], а кончалось все тем, что, проводив домой «милых эмансипированных барышень», грузинские и сибирские князья и буржуа скакали доканчивать ночь «dahin, dahin, wo die Citronen blühen»...[2]

А в домике Ивана Степаныча утро встречало наших красавиц с помятыми, несколько бледными рожицами, заспанными глазами, перебиравших вороха «хороших книжек», притащенных вчера юными «просветителями» вместе с кульками вин. Эти «хорошие книжки» предназначались для развития и услаждения головок хорошеньких «эмансипе» вплоть до следующего воскресенья. Но — увы! — при всем искреннем уважении, которое питали барышни Дрекаловы ко всем этим Молешоттам, Бюхнерам и Лассалям, они могли только запомнить, и то не всегда верно, заглавие статей: ведь они были не только скучны, но и мало понятны... Да и зачем? Ведь сами эти «просветители» говорили между собой, а иногда и прямо в глаза, что в барышнях Дрекаловых именно была «неудержимо привлекательна» эта «милая женственность», эта «грациозная простота и наивность», эта «возвышенная красота, в которой гармонично воплотилось изящество тела с проблеском мысли», и т. п., и в противоположность ставились какие-то «синие чулки», «суровые идеалистки», «ригористы в юбках» и пр. Нужно, впрочем, отдать честь барышням Дрекаловым: они, в душе, сами признавались что «ленивы», мало знают и интересуются «серьезными вещами», и искренно в этом каялись. Иногда, в минуты раскаяния, они с каким-то отчаянием бросались на книжки, но они скоро выскользали у них из рук... И только романы поглощались ими до конца, но, впрочем, и то больше сосредоточенною и мечтательною брюнеткой. Лиза слишком была еще ребенок и легкомысленна, чтобы раздражать себя до утомления фантастическими выдумками и бесплодными мечтами.

Понятно, что блондинка очень скоро утешилась от огорчения по поводу сдачи квартиры Петру, и утешилась так скоро, что не успела даже приступить к исполнению своего намерения «отравить ему жизнь с первого

---

[1] Давайте веселиться.

[2] Туда, туда, где цветут апельсины...

же дня». Напротив, с первого же дня сестры заинтересовались Петром. Сначала они выбегали к дверям, когда проходил Петр по коридору в свое «помещение», и старались самым тщательным образом рассмотреть его физиономию, любуясь смущением молодого парня, проходившего под взорами четырех хорошеньких глаз как-то боком, угрюмым бычонком. Сестры решительно находили, что у него «интеллигентное лицо», а брюнетка прибавляла:

— Я тебе говорила, — любопытный экземпляр.

На другой день блондинка уже смотрела в щель двери в комнату Петра, а на третий день, к великому смущению Петра, вечером они уже сидели у него: брюнетка внимательно и флегматично смотрела в его лицо, все еще как будто ища в нем чего-то таинственного, а блондинка говорила:

— Вы хотите учиться?.. Да? О, мы вам все, все расскажем... что хотите... Мы с вами будем читать, много читать... Вы любите читать?.. Мы вам все объясним... Ведь вы не знаете, что такое, например... ну град, дождь, молния... Интересно? Это — электричество (и блондинка почему-то сама смутилась «электричества»). Я сама хочу поступить в сельские учительницы... туда, к вам... Вы еще не знаете? Да... А то здесь, право, так ни за грош пропадешь... Вас кто учил грамоте, какой-нибудь дьячок или солдат?

— Тетка учила, — отвечал Петр.

— Тетка? Кто она, городская? Простая баба? Ну, я думаю, она очень мало знает... Я думаю, она вам всяких пустяков наговорила, что, например, гром гремит — это Илья пророк едет... или что, например, чорт есть, порча... Все это пустяки: никакого чорта нет... Вы не бойтесь... Ха-ха-ха!

И блондинка весело хохотала.

Понятно, что в первое же воскресенье барышни Дрекаловы конфиденциально и выразительно, с блестящими от возбуждения глазами, сообщили собравшейся молодежи, что у них поселился «любопытный экземпляр».

— Сын народа, — сказала Вера.

— Дитя деревни, — прибавила Лиза.

— Редкое, интеллигентное лицо! — сказала Вера.

— Непосредственная натура! — прихвастнула Лиза.

— В нем есть что-то незаурядное, — прибавила Ве-

ра, — что-то такое... даже таинственное!.. Непочатая сила.

— Страстно желает просвещения, образования... И понятлив... Я пробовала с ним об электричестве... Ничего, понимает, — перебила Лиза.

— Редкий экземпляр! — сказала Вера.

— И чудак!.. Я прозвала его «волчонком», — закончила Лиза.

Молодые люди серьезно слушали рекомендацию «сына народа», вдумчиво пощипывая и покручивая свои молодые, жидкие бороды.

— Гм... Это надо принять к сведению, — глубокомысленно заметил даже развеселый «вечный студент» Сережа. — Такие экземпляры грешно оставлять без внимания.

— Положительно грешно, — с серьезною настойчивостью сказала Лиза. — Погодите, ужо мы вас с ним познакомим.

И едва Петр к вечеру пришел из своих лабазов, как к нему с шумом, предводительствуемая барышнями, ввалилась целая толпа молодежи. Все это пришло, как в зверинец. И действительно, «отдельное помещение с мебелью» смахивало на клетку, а смущенный «сын народа» — на пойманного волчонка. Под внимательными взглядами дюжины направленных на него глаз он забился совсем в угол и, молча, покраснев, исподлобья смотрел на гостей, не зная, что делать с своими руками. Как, впрочем, ни было велико его смущение, в душе ему было приятно видеть у себя этих «ученых», с открытыми, гордыми физиономиями, полных энергии и сознания своей силы, чисто и прилично одетых. Ему опять здесь припомнился Филаретка: ему обязан он невольным уважением, которое питал он к ученому сословию. Молодежь между тем не спускала глаз с волчонка и слишком уж бесцеремонно всматривалась в его лицо, отыскивая в нем и «нечто интеллигентное», и отпечаток «непочатой силы», и выражение «непосредственной натуры». Блиставшие нескрываемым удовольствием глазки барышень перебегали с одного зрителя на другого, как бы говоря: «Что, не правда разве? Замечаете? Каков?»

Минуты через две публика уже успела разместиться в комнатке Петра, и вечный студент Сережа прекратил

томительное, молчаливое исследование «любопытного субъекта». Он приступил к «допросу».

— Ну, здравствуйте, юноша, — сказал он, садясь против Петра, несколько наклонившись к нему корпусом и всматриваясь в его лицо сквозь пенсне подслеповатыми глазами (Сережа имел основание назвать Петра «юношею»: «вечный студент» был высокий, плотный парень с густою, окладистою русою бородой, добродушными серыми глазами и уже с зачатками лысины на лбу; ему было двадцать пять лет). Сережа забрал товарищески в свою широкою ладонь руку Петра и, не выпуская ее, продолжал: — Так вы жаждете просвещения, юный сын народа?... Да?.. Хотите учиться юноша?..

— Желали бы-с, — пролепетал все еще смущенный Петр.

— Прекрасно!.. Вы от нас можете требовать, даже должны требовать... Мы обязаны... Как это вас бог на нас навел!.. Хоть завтра же приходите ко мне, как только вам будет свободно... Вы нас не бойтесь: мы ребята простые... Придете?

— Приду... Ежели только стеснения вам не будет...

— Нет, нет!.. Мы все очень рады... Ведь вот нас сколько!.. Мы даже по очереди можем. А если мало, так мы затащим вас в университет: там вас нарасхват! Там, батюшка, колом в вас студиозусы просвещение вобьют!.. Нынче на вашего брата падки, — сказал весело Сережа и захохотал.

Засмеялись весело и все. Улыбнулся даже сам Петр. Допрос пошел оживленнее когда, откуда, кто родители, как живут и пр., и пр.

Через четверть часа уже совершилось «полное слияние», и молодежь увлекла «сына народа» в зальцу Ивана Степаныча. Петр начинал чувствовать себя свободнее. Его молодую натуру невольно охватывала собой непринужденная, беззаботная, вольная веселость молодежи. Его ранняя, не по летам, задумчивость, скрытность и замкнутость, воспитанные среди деревенского захолустья, под влиянием таких суровостепенных ригористов, как Строгий и Ульяна Мосевна, — с одной стороны, и в тяжелых условиях деревенской и артельной жизни вообще, вдруг начали смягчаться. В груди заговорили молодые инстинкты молодой крови. Молодежь по обыкновению пробыла у Дрекалова далеко

заполночь: спорили, болтали, танцовали, пели... Заставляли танцовать Петра, но это решительно не удалось; заставляли его проглотить рюмку вина, пили с ним на «брудершафт» и, наконец, тоже принудили примкнуть к хору и спеть «Вдоль по морю, морю синему». У Петра оказался чистый, сильный тенор. От Петра то приходили в восторг, то шутили и смеялись над его неловкостью. Иван Степаныч добродушно поощрял его первые шаги к «слиянию» и просвещению; Аполлинария Петровна радовалась на него, как на родного сына.

Расходясь по окончании вечера, все были веселы, довольны, радостны; все жали крепко руку Петру, и в этом пожатии невольно и таинственно сказывалось какое-то хорошее, искреннее чувство, какое-то чистое, светлое увлечение. Мысль всех почему-то сосредоточивалась на Петре, всякий неудержимо разрисовывал для него какие-то особые, незаурядные перспективы в будущем, и, мало этого, как-то само собой с Петром отождествлялся «народ», «весь русский народ», его будущее, служение ему интеллигенции, слияние и пр., и пр. Господи! Да как же иначе? Ведь все это были истые русские люди, беззаветные творцы иллюзий, разрушавшихся от первого дуновения сурового ветра... Петра начинал охватывать какой-то ужас. У него даже несколько кружилась голова, когда он вошел в свою комнату.

На следующий же день, едва Петр вернулся из лабазов, как восторженная Лиза, целый день не знавшая, как дождаться вечера, тотчас же объявила Петру, что «она сейчас же провожает его к Сереже, что терять драгоценного времени нечего». Она тотчас же шутя втолкнула Петра в его комнату и велела переодеться, а сама пошла звать с собой несколько тяжеловатую на подъем Веру. Вера хотя и потянулась в нерешимости несколько раз, и даже зевнула, но обстоятельство было такое чрезвычайное и необычное, что она не могла отказать себе в удовольствии присутствовать на первом «сеансе». Барышни, в сопровождении Петра, тронулись пешком на Трубу, что с Замоскворечья, да еще из Кожевников, представлялось немалым подвигом, и, надо отдать справедливость, барышни шли бойко, без вздохов и охов, и энергично преодолевали усталость «в пользу сына народа».

Надо отдать справедливость и Сереже. Он не забыл

о своей новой «миссии» и ждал уже в этот вечер Петра. Он постарался обставить «первый шаг к просвещению» возможными вниманиями и облегчить его для «сына народа» настолько, чтобы просвещение показалось ему не «чортом», а соединением «utile et dulce» [1], как выразился он. Сережа, во-первых, был медицинский студент, во-вторых, терпеть не мог «отвлеченностей и сухих туманов». Поэтому «первый сеанс» просвещения сына народа он обставил с тактом, делающим честь его проницательности. Он запасся колбами и кое-какими химическими реагентами, собрал у собратьев несколько простеньких физических инструментов, вроде термометров, даже лейденскую банку. Все это разложил на столе, где кипел пузатый, зеленый, никогда не чищенный самовар.

— А, и вы, барышни!.. Вот это хорошо!—приветствовал он гостей. — Это уж, значит, просвещение пойдет у нас вполне dulce!.. Ну, юноша, честь и место! — приглашал он Петра на кровать, заменявшую в его студенческой «каморе» диван. — А сей — мой коллега. Рекомендую, — показал он на суховатого субъекта, ходившего по комнате в длинном пальто, с поднятым воротником, который он придерживал рукой, стараясь извинить себя за «отсутствие галстука».

— Ну, юноша, приступим же к науке... Дайте-ка я вас позабавлю, чтобы вам не страшно уж очень было спервоначала... А вы, барышня, угостите нас чаем.

Сказав это, Сережа сначала показал Петру и растолковал кое-что по части физики, потом принялся кипятить в пробирных трубках и колбочках какие-то снадобья. Запахло «химией», пошли взрывы, разные научные «фокус-покусы». Лопнуло несколько пробирок, Сережа облил и испортил «в пользу науки» азотною кислотой штаны.

Барышни ахали, смеялись и восторгались (хотя все это было им давно знакомо: таким же путем ведь Сережа просвещал и барышень, подвижничая в *свое время* в пользу «женского вопроса»; он застал еще его на первом курсе). Сережа шутил, а между тем ловко делал опыты и объяснял. Петр был совершенно очарован. Он сидел смирно, не шелохнувшись, на диване, как вполне примерный ученик, сложил на коленях руки, а

[1] Полезное с приятным.

между тем глаза его светились ярким блеском удовольствия, любопытства, удивления и самодовольства. Сережа иногда взглядывал в его одушевленные глаза, и ему было приятно такое внимание ученика. «А он не глуп, чорт его возьми! За него надо потуже взяться!» — думал он про себя.

Покончив с химией, Сережа перешел к «настоящей науке», но и то исподволь. Он проделал Петру несколько задач планиметрии, и зная, что перед ним просвещается сын народа, с направлением ума преимущественно практическим и утилитарным, он показал ему из своей области то, что наиболее имело приложения к крестьянской жизни, именно — несколько землемерных приемов измерения площадей. Петр, от удовольствия и не владея собой, несколько раз даже засмеялся и привстал.

Первый сеанс был кончен довольно поздно. Все были довольны. Всех опять охватило хорошее, свежее, искреннее чувство, светлая, чистая мечта. Замоскворецкие молодые обитатели теперь и не видели, как прошли пять верст.

Петр просто изменил себе; он всю дорогу только и говорил, что об опытах, несколько раз подробно повторяя процессы каждого опыта, как бы желая запечатлеть их в памяти навеки. Барышни ему снисходительно поддакивали, как люди уже с этим давно знакомые, и поощряли, как маленького ребенка. А Лиза даже хохотала неудержимо на всю улицу и могла бы хохотать на всю Москву, если бы ее не сдерживала степенная Вера. Лиза хохотала и оттого, как смешно коверкал Петр различные технические выражения (хотя, признаться, и она не совсем верно выговорила бы их, если бы пришлось ей держать экзамен), и оттого, как изменился «волчонок» и мало-помалу становился совсем «ручным».

Волчонок, действительно, преображался, и преображался быстро, — так много было в нем еще непосредственной юношеской свежести, так била ключом жизнь из всех пор его молодого организма. Он вдруг почувствовал какую-то свободу, как будто его выпустили из какой-то клетки, или не выпустили, а, лучше, он сам вдруг прозрел, увидал, что клетка, сдерживавшая его в замкнутости и отделявшая от других вовсе уж не была так неразрушима, как ему казалось... Все эти «баре»,

все эти «ученые» — какие простые, добрые люди! И отчего это прежде он чувствовал к ним такое недоверие, даже страх, отчего «слияние» с ними прежде казалось ему так невозможным? И что же в них такое, чего бы стоило бояться? Это все деревня виновата, невежественная деревня, которая наболтала про них бог знает что.

Так думал и чувствовал Петр все сильнее и сильнее, чем дальше шли его уроки с Сережей, чем крепче «сливался» он с городскою интеллигенцией. К Сереже он ходил два раза в неделю, и, надо признаться, оба они исполняли свои обязанности не только строго, но даже с упоением. Петр с каким-то нетерпением ожидал дня урока. В этот день он не мог даже высиживать определенных часов в лабазе и часом раньше отпрашивался у главного приказчика, чем и возбудил подозрение лабазников, что будто бы у него «завелась интрижка».

Да, у Петра действительно завязывалась интрига, но интрига не обыкновенная, а сложная и глубокая.

Давным-давно не видавшийся почти ни с кем из своих артельщиков-дергачевцев, кроме Лимподиста, который пришел к нему в лабаз полюбопытствовать, куда и зачем он переехал, и с которым он тогда обошелся очень сурово, он теперь сам вдруг вспомнил о них, и ему захотелось зайти к ним, побеседовать с ними, даже пригласить к себе. Может быть, в этом играло не малую роль тайное желание погордиться своим положением перед «необразованным мужичьем», но все же здесь больше было наивного, юношеского доверия к людям вообще, а из них, конечно, прежде всего к своим. Артель его совсем «не признала даже», — так изменился «волчонок» («волчонок» его звали и в деревне, и в артели, по случайному совпадению также прозвали его и у Дрекаловых, и среди молодежи). Движения его сделались развязнее, язык вычурнее, глаза смотрели открытее и прямее. А, главное, он был весел и болтлив. Он рассказывал, как он теперь «возвысился», где жил, у кого учился и чему. Артель диву давалась, а Лимподист самым добродушным образом приходил от Петра в восторг и все повторял, что у них Петрушка «высоко взлетит».

Просидев у дергачевцев вечер и возвращаясь от них домой, он чувствовал себя еще лучше, чувствовал какое-то нравственное удовлетворение. Его душу несколь-

ко гнело то, что он ушел от дергачевцев, от артели, как будто тихонько, украдкой, «убегом», что он скрывался от них, что он как будто стыдился их. Но прежде считал он такое поведение необходимым, и крепкая воля помогала ему неуклонно следовать тому, что в данный момент он считал нужным. Теперь же он как будто снял с плеч какую-то обузу, тем более что от дергачевцев не только не услыхал он выговоров, а, напротив, всюду встречал одобрение в том, что он теперь живет «чисто» (кому эта грязь-то по душе? Знамо! Надо судить по человечеству!.. Только уж единственно, как нужда...), что он не «заболтался», не «зашибся», обстоятельно ведет себя, ну, и по науке пошел... Мало ли от этого и себе, и своим пользы будет!..

В таком настроении жил Петр почти до святок. Но тут дела несколько изменились. «Вечный студент» Сережа вечно мыкался по урокам и вечно нуждался. Известно, что «московские кондиции» в былое время отличались не столько денежною стоимостью, сколько «питательностью» и обилием угощения. На уроках у гостеприимного москвича пять раз можно спиться даже крепкому студенту, как это хорошо знают многие, подвижничавшие по кондициям. Так и Сережа на уроках получал мало, а пил много; вследствие обеих этих причин и сидел уже на факультете седьмой год, заполучив, за выслугу лет, звание «вечного студента». Все эти обстоятельства имели результатом то, что, во-первых, через две же недели уроки с Петром потеряли у него прежнюю пунктуальность, так как часто по вечерам Петр не заставал учителя дома, который был или на именинах у своих, «на кондиции», или в трактире с приятелями; во-вторых, скоро потеряли и увлекательность, так как Сережа, которому всякие уроки надоели до тошноты, стал заниматься спустя рукава; а в-третьих, Сережа стал занимать у Петра деньги — по полтиннику, по рублю: ничего не поделаешь! — то керосину нет, то чаю, то «раздавить маленькую» хочется с похмелья. Притом, нужно было принять во внимание, что Сережа был реалист — и дальше арифметики с геометрией не шел, во всех же прочих науках считал себя слабоватым.

Все это заставило его в душе, «как парня честного», устыдиться своего поведения перед Петром, и он стал подумывать, кому бы, более подходящему из своих со-

братьев, свалить на плечи миссию дальнейшего просвещения «сына народа». Хотя Сережа и говорил раньше, что только кликнуть — и студиозусы колом вобьют в сына народа просвещение, и что на эту миссию сбежится чуть не весь университет, однако это оказалось не так просто. У «студиозусов» оказалось столь же много основательных причин уклониться от этой миссии, как и у самого Сережи, если еще не более: лучшие из них были, во-первых, люди занимающиеся, а во-вторых, круглые бедняки, ухлопывавшие на грошевые уроки целые вечера и потому дорожившие каждым свободным часом. На грузинских же князей и сибирских и иных буржуа надежда была плохая. Впрочем, надо сказать правду, что многие из студиозусов, подумавши, может-быть, и согласились бы «постесниться» в пользу «сына народа» и как-нибудь, хоть сообща, да подняли бы миссию просвещения, но подвернулось тут одно обстоятельство, которое придало делу несколько иной оборот.

В первый день святок Петр открыл свою заветную тайну Ивану Степанычу. Мы уже знаем, в какую глубокую задумчивость повергло это открытие всех членов семейства господ Дрекаловых. А разговор по поводу этой тайны с Петром привел Лизу в такое смущение и негодование, что она тотчас же отправилась к Сереже и в энергичных выражениях, путаясь и волнуясь, передала ему свои опасения за будущность «волчонка». Эти опасения приняли к сердцу как Сережа, так и присутствовавшие тут же его приятели. Тотчас же было приступлено к обсуждению этого дела.

— Тут уж с химией ничего не поделаешь, — сказал Сережа. — Да и чорта ли его начинять химией, коли из него в конце концов лавочник или кулак выйдет? Не стоит овчинка выделки!

Все с этим согласились и поставили вопрос: есть ли какие-нибудь данные воспитать Петра в другом направлении? Вопрос этот был решен, к счастию Петра, в самом благоприятном для него смысле: все признавали, что ум и душа Петра еще чистейшая tabula rasa [1] — это во-первых; что эта tabula — хорошего, доброкачественного материала и что, значит, пиши на ней что угодно, а старания даром не пропадут.

---

[1] Чистая доска.

— Это так, — заключил Сережа, — только, братцы, и на tabula rasa с одною химией немного изобразишь... Хотя он и tabula rasa, а кое-какие задатки уже есть... Тут ведь нравственною ломкой дело-то пахнет... А это статья опасная, по крайней мере, для нас... Как бы греха на душу не взять.. Я вот знаю примерец: распропагандировали однажды такого молодца в лучшем виде, а из него вышел — шпион, да всех своих просветителей-то и упек!

Все согласились, что, действительно, «неопытные люди» могут тут немало греха на душу взять. Дело становилось очень затруднительным, когда Сереже пришла счастливая мысль.

— Вот что, господа, мы передадим этого юношу человеку, который лучше меня неизмеримо, братцы мои, и знает тоже неизмеримо больше, и честнее он меня тоже неизмеримо. А от времени до времени и я непрочь.

Этот «неизмеримо лучший» человек был Пугаев.

Все согласились, что более удачной мысли не могло и быть.

Глава третья

«СЫН НАРОДА»

I

Пришли. Пугаев жил на Арбате, в деревянном двухэтажном домике, на дворе. Квартира его помещалась на антресолях. Две низкие комнатки, заставленные старою, «сборною» мебелью, и какие-то темные уголки, отгороженные перегородками, составляли все помещение. Наших знакомцев встретила какая-то молоденькая, бледная, худая женщина и провела в кабинет; в соседней комнате, на старом диване, лежала с книгой в руках другая молодая женщина, и тоже, повидимому, больная; по крайней мере, на лице ее лежали тени недавнего страдания, утомления и следы слез. Она взглянула молча на пришедших и тотчас же принялась опять читать. Первая молодая дама, сказав, что «дядя» ушел до лавочки только, скрылась в одну из темных каморок, где заплакал ребенок; однако он скоро успокоился. В комнате на-

стала тишина. Наши посетители молчали. Петр трусливо осматривал кабинет: в нем было беспорядочно и грязновато, хотя, повидимому, кто-то и старался завести порядок. Книги и посуда, белье и провизия — все это лежало в разных местах и вместе. Петру это «не показалось». Это было первое впечатление. Через несколько минут в комнату вошел, тихо ступая и осторожно притворив за собою дверь, человек среднего роста, довольно полный, лет сорока, с добрыми серыми глазами и открытым, располагающим выражением лица. Длинные, волнистые, с чуть-чуть пробивавшеюся сединой волосы падали ему почти на плечи; небольшая русая, несколько «раздвоенная» борода придавала еще больше мягкости выражению его лица; на нем был широкий, просторный пиджак, несколько длиннее обыкновенного, и широкие брюки; сапоги мягкие, без каблуков. С приветливою улыбкой, как будто озаряя ею сверху присутствовавших, он крепко пожал каждому руку. Ему тотчас же отрекомендовали Петра и сказали, что сейчас уйдут и им мешать не будут.

Уходя, Лиза выразительно шепнула Пугаеву:

— Помните, этот волченок уже теперь начинает копить деньги!

А Сережа прибавил:

— С своей стороны, я ему кое-что передал по части реальных знаний... Но реализм, как вы сами говорите, это — только руки и ноги. Душу вложите уж вы... Я по этой части профан.

— Попробую. Постараюсь, — отвечал озаряясь своею обычною сердечною улыбкой, Пугаев.

Пугаев был «опытный» наблюдатель-психолог, по крайней мере, так думал сам он, и в этом же была убеждена московская молодая интеллигенция; эта интеллигенция даже боялась его «прозорливости», чарующего обаяния его речи, в особенности молодые женщины. Среди них он пожал настоящие лавры.

Пугаев не был строгий мыслитель, даже был плохой мыслитель; у него не было строго логически проведенной и обоснованной системы. Когда его ловили на противоречиях или абсурдах, он сам искренно говорил: «Я не могу вам это объяснить ясно, определенно, логически... Но я в душе глубоко чувствую сущую правду моих слов, и вы меня ничем не разубедите... Нет выше,

чище и глубже критерия этой сущей правды, как человеческое сердце, таинственная глубина души» и т. д. Но его проповедь, не отличаясь строго логической выдержанностью, блистала бесподобными частными обобщениями, светлыми идеями, смелыми выводами, глубокою художническою способностью комбинирования картин, выхваченных прямо из действительности. Его несколько восторженная и как бы вдохновенная интонация, его всегда импровизированная, но горячая и страстная речь, а главное, уменье затронуть тайные душевные струны своих слушателей — все это скоро создало ему репутацию, тем более что его личная жизнь была полна незаурядных, оригинальных проявлений. Некогда, во-первых, он был рьяный «политик»—и пострадал. Нервная система его была расшатана и доведена до такой степени напряженности, что мир галлюцинаций занял в его душе такое же место, как и мир реальных представлений. Картины и образы, которые рисовало ему воображение, были до такой степени рельефны, что их *логику* он часто принимал за логику реальной жизни.

Выйдя из заключения, он окончательно «порешил с политикой», найдя ее совершенно бессильной преобразовать человечество. Он сначала ударился в шопенгауэризм, а затем, вдохновленный поэзией этой системы создал себе какую-то туманно-мистическую программу жизни, напоминавшую христианский социализм. Вследствие этого пропаганда его исключительно вращалась на создании «новой религии»: утилитаризм стал его личным врагом, политика — тоже (впрочем, только в принципе; но, как мы увидим, не в *жертвах* ее, которые в его глазах были хорошие люди, высокие души, но заблудившиеся и легковерные последователи «эгоистической» европейской философской мысли). Он верил только в *нравственное* возрождение человечества; верил в пришествие Мессии — этого величайшего из величайших художников человечества, который в горниле своего всеобъемлющего духа и вдохновения создаст грандиознейшую картину человеческой жизни; в ней, как в фокусе, в образах поразительных, ясных и ужасающих, сконцентрирует он *зло* человечества и, раскинув ее перед очами изумленного мира, вдруг мгновенно поразит этот мир «просиянием»; человечество мгновенно сознает все зло, накопившееся в нем,

ужаснется и просветлеет: «Ибо раз сознанное зло — уже не существует: оно подорвано». Идея всепрощения, всебратства и вселюбви охватит всечеловеческую душу! Все сольются в один клик: «Друг друга обымем!» Цари и великие мира спустятся в хижины, полные любви и утешения, бродяга и нищий войдут во дворцы и найдут там слова любви и братства. Таковы идеалы. Человечество всегда стремится к ним. Все, что было до сих пор великого в человечестве, все это были художники, высокие, неумирающие. И Моисей, и Будда, и Магомет, и Шекспир, и Гете, и Платон, и Шопенгауэр... Но это были только предтечи, успевшие сконцентрировать в своих образах только часть *зла,* всечеловеческого зла. Но они все шли к одной высокой цели. Их путь, их пример должны руководить и нами. Мы должны подготовить путь к пришествию Великого Художника. Чем более наша душа будет способна к восприятию его проповеди, к постижению его слова, тем скорее народится он, тем скорее придет.

В устах талантливого пропагандиста не пропадала бесследно эта проповедь, иллюстрированная роскошными и возвышенными образами великих людей и подкрепленная туманными, темными, никем еще неизведанными, но грандиозными и обольстительными картинами тех психических эпидемий, которые, по слову пророков и проповедников, охватывали целые массы человечества и стихийно, неудержимо, стремительно влекли их за своим вождем; эти массы, как дети, по первому их слову, отрешались от всего, что им было дорого, от всех «бренных благ», падали ниц и исповедывали «святая святых» своей души, гласно, всенародно и братски сливались одною общею, возвышающею и объединяющею идеей.

Но и помимо этих «внешних» преимуществ своей пропаганды, Пугаев умел придать ей еще большую силу «практическим» ее применением. Сам, в своей личной жизни, он руководился почти крайним ригоризмом; все свои средства (он был из дворян с небольшим наследством от дяди) он употребил на помощь «жертвам», оставшись теперь с очень скудными доходами, не превышающими сорока — пятидесяти рублей в месяц. «Жертвы», пользовавшиеся его вниманием, были очень разнообразны: тут были и «жертвы политики» (в то время, лет десять — двенадцать назад, по преимуществу «поли-

тики студенческой»), и жертвы «социальных язв», вроде дочери, бежавшей из семьи за поисками «света» или «любви», любовницы, брошенной любовником, с ребенком, беременной девушки, не знающей, где приклонить голову и скрыть свой стыд, жены, бегущей от мужа и разыскиваемой полицией... Все эти «жертвы» изо дня в день чередовались, сменялись одна другою и постоянно ютились в небольшой квартирке Пугаева. Вот почему в его квартире был вечный кавардак, вечный беспорядок, вечное отсутствие «обстоятельности», как заметил с первого же раза Петр, так привыкший к этой «обстоятельности» у Ульяны Мосевны и Строгого. Квартира Пугаева была «постоялым двором», бивуаком. Он отдавал все свое в полное распоряжение временных хозяев, а сам все время проводил у своих последователей и слушателей, увлекая их и увлекаясь сам своими импровизациями. Нередко его время поглощалось хлопотами о своих «жертвах». Веруя сам и стараясь уверить других, что в людях не так много зла, как предполагают, что в каждой человеческой душе есть «тайничок», затронув который можно из злодея сделать мгновенно праведника (вся суть только в том, чтобы уметь открыть этот «тайничок»), он самонадеянно брался за примирение своих «жертв». Но он тут очень, очень часто подвергался неприятностям. Иногда, впрочем, удавалось ему и выхлопотать примирение, но редко. Чаще всего для содержания своих «жертв», за полным недостатком собственных средств, он должен был изыскивать эти средства на стороне. И это ему удавалось лучше. Способность «отрешения от личных благ в пользу другого» была для него мерилом проникновения в его проповедь. Часто после своей импровизации он прямо приступал к своим слушателям и требовал «практического», реального выражения их сочувствия к его идеям. И интеллигенция, в особенности женского пола, наэлектризованная его нервными манипуляциями, его искреннею, вдохновенною речью, не скупилась на пожертвования. Нужно прибавить, что деятельность Пугаева, несмотря на свой мистицизм, была все же благотворна. В мир «темного царства», где изнывали бедные, подавленные, ищущие «мысли», хоть какой нибудь «мысли», существа, он вносил именно «луч света», воодушевлял, преображал их и выводил в широкий, вольный свет труда и благород-

ных порывов... Из них часто и бывали те самые «жертвы», которых первые, нетвердые шаги «свободной жизни» он и должен был поддерживать. Впоследствии, и очень скоро, они «отпадали» от своего учителя, не разделяли его фантазии, но за то «светлое, чистое, высокое», что сумел он вложить в их души, за ту способность «мысли и порыва», которая вызвала их к разумной жизни, они ему оставались всегда признательными. Таков был «новый учитель» Петра, этот «неизмеримо лучший» человек, по отзывам «вечного студента».

Итак, Пугаев был проницательный психолог и сердцевед, или «сердцеед», как в шутку звали его кое-какие легкомысленные скептики из молодежи. Прежде всего он постарался отнестись к Петру возможно мягче и нежнее, он обласкал его, ободрил (это был один из его приемов: ведь он имел дело с таким нежным инструментом, какова человеческая душа). Исподволь, не торопясь, в живой беседе он расспросил Петра о его родных, об отце, тетке, братьях, дядьях; незаметно старался он восстановить перед собой картину условий, в которых развивалась и выросла душа Петра. Ответы Петра были коротки, односложны, просты, и по ним было бы очень трудно представить себе ясную и правильную характеристику окружавших его детство условий. Но Пугаев, во-первых, был опытный психолог, во-вторых, был интеллигентный человек, обладающий целою системой априорных представлений о народе. Нескольких слов, сказанных Петром о тетке Ульяне Мосевне и Строгом, было совершенно достаточно, чтобы воображение Пугаева создало целые типы. Он, как истый художник, по едва уловимым признакам умел создать цельные полные образы. Создав их, он чувствовал себя вполне удовлетворенным. Пугаев поднялся и несколько раз задумчиво прошелся по комнате, потирая от внутреннего удовольствия руки.

— У нас, дорогой юноша, дело пойдет... Я надеюсь... мы будем друзьями... большими друзьями, — говорил он с искренним увлечением, пытливо вглядываясь в лицо Петра, и потом прибавил про себя, хотя довольно внятно: — Какая почва, какая почва!

И он опять прошелся несколько раз по комнате, погруженный в собственные мечты. Он улыбался. Он был доволен, очень доволен.

Дело в том, что у Пугаева была одна слабость, или, лучше, одно крупное заблуждение, одно грандиозное недоразумение, но это заблуждение было его излюбленною мечтой, его идеалом, к которому он стремился: он был убежден, что до сих пор его деятельность не имела надлежащей для себя почвы, что интеллигентные классы были наименее восприимчивою почвою для нравственной проповеди, что она органически несродна им (этим объяснял он и те печальные «измены», которыми фатально дарили его прозелиты, лишь только развитие их пробужденной мысли открывало им целую бездну противоречий в учении своего учителя), но вот где для нее настоящая почва, вот где для нее арена, широкая, необъятная: это — народ! Там, в этой юдоли вековых страданий, каторжного труда, вечного принижения личности и безмерного терпенья, — там та восприимчивая почва, с которой в будущем великий проповедник «нравственного просияния» пожнет обильные плоды... Было время, когда Пугаев искренно мечтал «отрясти прах», «посыпать главу пеплом» и совлечь с себя «ветхого человека». Он верил беззаветно, что народ тотчас же примет его и проникнется проповедью «отрешения» от бренных благ. Да и как было не верить, когда перед его интеллигентными очами, в его вечно ищущем пищи воображении вставали грандиозные образы народного подвижничества всюду — и в самосожигающихся раскольниках, и в типах холопского самотречения «верных слуг», и в миллионной терпеливой массе, всепрощающей, всеожидающей и всеверующей в пришествие «правды»? Впрочем, ему не удавалось осуществить свое намерение. Отчасти он боялся, боялся бессознательно, по предчувствию, как бы его опыт не увенчался неудачей. Положим, он мог бы всегда объяснить эту неудачу разнообразными неблагоприятными условиями, но тем не менее это был риск. Отчасти его задержали дела с «интеллигенцией». Там, «в народе», что еще будет, а здесь он уже собирал жатву, хотя и не особенно обильную, но все же пожинал. По крайней мере, была у него масса хлопот, и получалась известная доля самодовольства.

И вот теперь стоял перед ним «сын народа», экземпляр «чистой пробы», воспитанный в исконно-народных

традициях и еще не успевший развратиться реализмом житейской грязи.

— Какая почва! — повторял Пугаев. — Я не нарушу грубым отрицанием ни одного из верований этой непосредственной души; нет, на них я построю здание — величавое, возвышенное, прочное!.. Может быть, грубы эти верования, нелепы, дики, но они чисты и наивны. Я только освещу их светом высоких нравственных откровений; я внесу в них связь, смысл и сознание...

Так думал он, провожая Петра и любовно, ласково пожимая ему руки, после первого урока. Урок нынче, на первый раз, был короток. Он успел сообщить Петру кое-что о некогда существовавших великих нациях, кое-что намекнул о «великих учителях» человечества — Будде и Моисее, с тем, чтобы в будущий урок поразить его воображение величавыми образами этих проповедников и вместе с этим развить перед ним высокое значение проповеди «нравственного просияния, подвига самоотречения».

Когда Петр вернулся от Пугаева домой, в доме Дрекаловых маленькая зала уже шумела роем молодежи, собравшейся на святочный вечер.

— Ну что? Как? — тотчас осыпали Петра вопросами и Лиза (главным образом Лиза), и Вера, и Сережа, пристально всматриваясь в полусконфуженное лицо Петра, как будто проповедь Пугаева имела такую чудодейственную силу, что сразу клала уже отпечаток на личность ученика. Впрочем, они тотчас же сами увидали, что уже это «слишком», и своими вопросами возбудили только в Петре сознание, что с уроков Сережи он выносил нечто, имевшее вполне веский, реальный смысл, между тем как от Пугаева он не вынес еще ничего реального. Это он сознал тут же, как только вздумал передать результаты своей с ним беседы: при всем усилии он ничего не мог сказать и только конфузился. Однако в этот раз все это мало его смущало. Вся душа его была поглощена одним общим всеохватывающим ощущением; то было ощущение довольства, какое испытывает человек среди новой, непонятной, но приятной для него обстановки, которая удовлетворяет и его самолюбие, и любопытство: ему было тепло, уютно, хотя, может быть, и несколько боязно. *Он сознавал в себе человека,* и вот душа его была полна этим

смутным, но приятным сознанием, для него ещё все заключалось в одном только факте — что с ним сидели, говорили, им занимались, ему доверяли, его любили, а кто — Сережа или Лиза, Вера или Пугаев, и что и как каждый из них говорил и любил, — для него было безразлично: все их частные, индивидуальные особенности тонули в общем чувстве отношений «мужика» к «интеллигенции»... Среди «своих», среди «крестьян», он довольно ясно различал обстоятельных и необстоятельных, добрых и злых, «умственных и простяков, но здесь, в этой жизни, тайные пружины которой были ему неведомы, для него существовало только одно *общее:* частные, случайные черты, присущие только одной какой-либо личности, для него были общими, типичными чертами всей этой жизни, всей этой обстановки... Переместись Сережа на место Пугаева, а Пугаев на место Сережи, — и он не заметил бы в этом ничего невозможного; превратись все они внезапно из добрых, любящих и деликатных в злых, грубых и коварных — и это было бы в его глазах совершенно естественно. Значит, так нужно, такова эта интеллигенция. За грехи и добродетели одного в его глазах отвечали *все*. Таков закон нарождения первых общих представлений. Таково же зарождение и первых симпатий и антипатий.

Петра несло общее течение, и он не знал, не ощущал, та или другая волна охватывала и увлекала его.

II

Замоскворецкие святки были в самом разгаре. Трактиры кишели народом; молодые купчики и приказчики неистовствовали после долгого воздержания. Арфистки усиленно «зарабатывали», молоденькие клирошанки женских монастырей в удвоенном комплекте ныряли среди пирующих. По улицам, шатаясь, толпами ходили «ряженые», скакали тройки, назойливо пищали гармоники... Песни, хохот, драки... Замоскворечье веселилось. В этом общем ликовании не последнее место занимал и домик «почтенного ветерана» Ивана Степаныча Дрекалова. Бездомная молодежь, не уехавшая почему-либо под сень родных очагов или давно уже оторвавшаяся от них, с раннего утра стекалась под гостеприимную

кровлю дрекаловского дома. Здесь, в этом домике, в молодых душах воскресали былые ощущения юности, проведенной под родительским кровом. Иван Степаныч и Аполлинария Петровна так напоминали добросердечных и благодушных родителей; в свежих, веселых голосах барышень Дрекаловых воскресали серебристые, нежные и любовные речи сестренок и «сюжетов первой, младенческой любви», изнывающих теперь где-то в далеких Царевококшайсках и Чухломах. Цыганствующая по холодным меблированным комнатам душа студента особенно неравнодушна в эти праздники к мирному складу семейной жизни. Грузинские князья и сибирские буржуа не скупились на пополнение быстро пустевших кульков, Иван Степаныч и Аполлинария Петровна — на родительское радушие и ласки, барышни Дрекаловы и их подруги — на задушевную веселость и позволительные, невинные «вольности», а молодежь — на беззаветное, полное увлечения, веселье. Все пили наслаждение полною чашей, вольно, непринужденно, как только может пить юность, не связанная ни узами прошедшего, ни узами настоящего... Шум, говор, хохот, песни, остроты, шутки... Волчонок доставлял в особенности неистощимый материал для веселого остроумия. Его учили пить, петь, плясать, танцовать, играть в фанты, целоваться с барышнями — целому ряду этих глупеньких и невинных мелочей, и старания развеселившегося «сына народа» серьезно войти в роль цивилизованного шалопая встречались взрывом неудержимого смеха... Петра все глубже и глубже захватывали волны новых, неизведанных ощущений. И он бросался в эти волны свободно, с каким-то жадным упоением. Что ему: ведь тут кругом — все, все чужие; тут ни строгих ригористов — Ульяны Мосевны и Строгого, ни добродушных моралистов — дергачевцев, ни главных и малых приказчиков из лабазов, которые ехидно могли бы после посмеяться над ним и в будущем припомнить ему все эти несвойственные «серьезному парню» фортели. А эти люди: что им во мне, что мне в них? Наши дороги — дороги, случайно пересекшиеся и затем разбежавшиеся в разные стороны!.. Такие мысли смутно мелькали в голове Петра и придавали ему храбрости: с детским ухарством выпивал он подносимые ему бокалы вин, с наивно-веселою наглостью целовал розовые губки барышень,

«срывая» фанты, и, с сознанием собственных успехов, встречал шумные взрывы одобрений.

— Посмотрите, господа, не правда ли, какое интеллигентное лицо?—говорила Вера, показывая на Петра, которого она заставила надеть пиджак и глаженую сорочку. — Мне, право, кажется, что он нисколько не хуже вас... Мне кажется, что если бы этих «детей народа» отдать на воспитание культурным женщинам, мы давно видели бы народ и умным, и деликатным, и образованным.

— Позвольте усомниться, — сказал один юноша.

— Напрасно... Женщина может очень много... если не все! — уверенно проговорила Вера. — Не правда ли, папа, волчонок развивается у нас не по дням, а по часам, — сказала она, подводя Петра к отцу.

— Вижу, вижу! — весело говорил Иван Степаныч, — только брат, смотри, не забывай сюда-то, сюда-то накладывать, — ткнул он Петру в лоб пальцем, — не забывай, брат, что ты еще мужик... что вам еще много, много нужно...

Всем было приятно чувствовать, что *они* сумели открыть и приголубить «лучший экземпляр» из народа, что, может быть, в нем воплотится та неуловимая идея «слияния», которая так упорно не поддавалась проведению в жизнь благодаря позорному индиферентизму одних, печальному недоверию других.

Даже Федосья, выглянув в двери и добродушно покачивая головой, любовно смотрела на Петра; и у этой крепостной старухи пахнуло на душу теплом при виде «мужика», уже не загнанного на кухню, не окрикиваемого и оплевываемого, а сидящего среди самих господ и даже в господском платье... И, бог знает, может быть, при этом и в ее старческой голове мелькнула мысль о светлом будущем ее родной деревни!.. И вот при виде этого деревенского парня, к которому случайно так хорошо подошел барский костюм, столько честных, хороших мыслей зародилось в головах всех этих добрых людей!

Да и Петр, в самом деле, был теперь очень хорош: лицо его сияло детским самосознанием, энергией, глаза светились веселою, откровенною добротой. Тонкие черты его лица, дышавшего здоровьем, приняли красивые, смелые очертания. В беспорядке вившиеся черные кудрявые волосы падали постоянно на высокий лоб, на глаза, в особенности когда он, встречая постоянно пла-

менно-пытливые взгляды Веры, полусмущенно и низко опускал голову и от времени до времени откидывал их красивым энергичным взмахом головы... И эти красивые, естественные, непридуманные движения не пропали от внимания Веры: в ее глазах все чаще и чаще мигали опасные огни.

Святочное веселье шло crescendo[1]. Молодежь наслаждалась с упоением, запоем. Некогда было одуматься, очнуться. Целая неделя пролетела мигом, как один день. Балы, гостиницы, театры, катанье и вино сменяли одно другое. По утрам Петр бегал в лабаз; но его занятия шли плохо, он стал рассеян. После обеда он уже едва мог дождаться пяти часов, когда послышится знакомый скрип тяжелых железных дверей и звон больших, массивных ключей и болтов. Перед ним постоянно носились скачущие тройки, танцующие пары, звуки песен и музыки... и Вера Ивановна, эта странная, волнующая и дразнящая Вера, которая вот уже неделю терзает своим неустанным вниманием и заботливостью молодого парня. Каждый день, как только он придет вечером, она уже ждет в его комнате, усадит его перед собою и долго пытливо смотрит в его лицо, страстно любуется им, подперев голову рукой (Петр теперь уже окончательно «посвятился» в барский костюм и променял на рынке свою чуйку на пиджак); а в нем неудержимо кипит и волнуется кровь, краска то охватит полымем его лицо, то вдруг отхлынет и замрет сердце.

И никогда еще в своей жизни не чувствовал себя Петр «вполне человеком», свободным и независимым, сознающим свое достоинство, как в этот бурный период своей юности, который, по странной иронии человеческой судьбы, он первый же вскоре и проклял.

Но всему есть конец, читатель. Пришел конец и замоскворецким святкам.

III

Рождественский мясоед нынешнего года был очень короток. Пролетела масленица. Была уже середа первой недели великого поста. Стояла оттепель. Замоскворечье приняло самый великопостный вид. Жиденькие

---

[1] Усиливаясь.

колокола раздражительно, уныло и монотонно звонили, в перезвон, к «ефимонам». Среди пешеходных богомольцев не может не обратить нашего внимания одна фигура, очень нам знакомая. Когда-то в том же самом виде мы уже встречали ее в этих местах. То был молодой человек в длинной суконной чуйке, полы которой он подобрал на одну руку, а в другой нес большой белый парусинный зонтик; на ногах у него были большие, тяжелые мокроступы, а на голове новая суконная фуражка с торчащей тульей. Он шел не один; с ним рядом тяжело ступал, разбрызгивая талый снег, старик в длинной, на рыжем бараньем меху чуйке, застегнутой плотно на все крючки и пуговицы, с толстою, с медным набалдашником, палкой в руке. У старика было умное, суровое лицо, которому он силился придать несвойственное ему и неприятное фарисейски-благочестивое выражение, в особенности когда ему приходилось раскланиваться с обгонявшими их купцами; он снимал свой тяжелый котиковый, с большим меховым козырем, картуз и низко, поясным поклоном, долго раскланивался с панели; тогда открывалась его огромная лысина, чуть закрытая снизу и с боков прядями черных волос. Когда он снова надевал шапку, его лицо принимало прежнее суровое выражение, и главным образом суровый вид придавал ему большой горбатый нос, нависшие седые брови и большая с проседью борода. Молодой человек и старик шли неторопливо в церковь, мирно высчитывая, в какое число и в какой день будет такой-то праздник.

Войдя в церковь, они стали в самый отдаленный угол ее за печкой, где было просторно; на скамьях сидели только нищие старухи. Петр (читатель, конечно, догадался, что это был он) стоял неподвижно, вытянувшись, и упорно смотрел впереди себя на образ. Повидимому, он нарочно не глядел ни на священнослужителей, ни на молящихся. Так научил его молиться «умственно», «скрыв очи», Еремей Строгий, когда одолевала его «меланхолия». Но Петр, собственно, и не молился даже. Когда раздавались слова священника: «Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения, любви...» и все падали ниц, вместе с другими клал земной поклон и Петр, но он не просил ни целомудрия, ни смиренномудрия, ни терпения, ни любви... Он ни о чем не просил, да он вовсе и не понимал, что такое

это «целомудрие и смиренномудрие», он только чувствовал, как все его существо незримо охватывала строгая торжественность великопостной службы, и ему становилось легче. Так после шума, грохота и смятения битвы вздыхает полною грудью усталый солдат где-нибудь в овраге, под кустом, среди внезапно воцарившейся тишины, и чувствует, как растут невидимо в нем силы... Для больной, потрясенной до основания души контраст несет или воскресение, или смерть; слабая душа в нем быстро изнемогает и тает, но сильная находит в нем животворящий дух, который надолго закаляет ее... А контраст был поразительный: *там* — шум и грохот улицы, сумятица и сутолока непонятной жизни, кипение крови, угар и дым похмелья, до головокружения, до самозабвения, а *здесь* — чуть слышный шопот молящихся, мерные, неторопливые, торжественные возгласы, тихое мерцание свеч и лампад, спокойное движение крови в жилах, знакомая почва под ногами... Петра привела сюда не внезапно охватившая жажда покаяния и молитвы, а жажда этой «знакомой почвы», которую находил он в контрасте.

Служба кончилась. Петр и сопровождавший его старик опять вышли вместе. На Замоскоречье спускались сумерки; легкий мороз затягивал лужи; снег начинал хрустеть под ногами. Они завернули в Лужницкую улицу, в сторону, совсем противоположную той, где был дом Дрекаловых, и вошли в низенькое деревянное крыльцо трехоконного домика с мезонином. Старик отпер замок у дверей квартиры. В ней было всего три комнатки, небольших, убранных запросто и по-старинному: в передней стоял большой кожаный диван и полдюжины старинных, тяжелых кожаных стульев; у одной стены — пузатый комод с медными собачьими лапками, вместо ручек, у другой — круглый стол с массивною, вычурно-резною ногой. По стенам большие, в просторных черных рамах гравированные портреты каких-то архипастырей, а в переднем углу большая божница с образами старинного письма в позолоченных окладах. Невозмутимая тишина царила здесь; даже когда явились Петр и старик и разошлись по боковым комнаткам, где стояли кровати, эта тишина нарушалась только изредка раздававшимся скрипом половиц да вздохами старика. Под неотразимым ли влиянием этого строгого келейного

безмолвия, или вследствие все той же непобедимой жажды контраста, Петр методически и упорно сдерживал и рассчитывал каждое свое движение: медленно и осторожно снял он с себя верхнюю одежду, тщательно вычистил ее и так же тщательно развесил; снял свои новые кожаные сапоги, которые, повидимому, раздражали его своим скрипом, и надел большие валенки. Затем он сел к столу и, тихо постукивая по нему пальцами, задумался. В его комнатке было уже темно, но он не зажигал огня; он жадно всматривался в трепещущий, нежно-розовый лампадный блеск, как будто мягко плывший по комнатам тихими волнами от «неугасимой», висевшей перед божницей. Иногда выходил из своей комнатки старик, неслышно ступая валеными большими серыми сапогами, и начинал поправлять поплавок лампадки, и тогда фантастические тени колыхались и ходили в розоватом свете, а старик чуть слышным, тоненьким, дребезжащим, старческим голосом пел «Свете тихий, святыя славы!» Затем старик опять скрывался с свой угол, и оттуда слышалось, как он силился произнести с особым чувством: «Пришедше на запад солнца!» Тогда, в свою очередь, тихо вставал Петр и медленно начинал ходить вдоль двух соседних комнат, от времени до времени останавливаясь перед божницей и внимательно, повидимому, всматриваясь в темные лики угодников. Впрочем, как ни старался он привлечь свое внимание к этим строгим фигурам, его воображение и мысли блуждали где-то далеко, уносили его в какой-то иной мир. Но он вдруг вздрагивал, как бы опомнившись, и снова начинал медленно ходить. Тогда по лицу его пробегало страдальчески-болезненное и в то же время сердито-неприятное выражение. Если бы те, которые интересуются этим юным «сыном народа», взглянули на него теперь, они не могли бы не заметить в нем поразительной перемены: несмотря на полупрозрачный нежный, розоватый свет лампадки, лицо его было серовато-бледное, как будто зеленое; прежний здоровый румянец заменился красными небольшими пятнами; глаза ушли еще глубже в орбиты и смотрели суровее. Он значительно возмужал, хотя это не был уже тот «сурьезный парень», каким он некогда был в артели. Он сделался солиднее; его движения, прежде грубо порывистые, стали размереннее, неторопливее, вообще, как-то все в

нем сделалось «основательнее». Но вместе с тем глаза его часто блуждали, а сам он вздрагивал. Как будто постоянный испуг и робость перед чем-то охватывали его. Как будто еще слишком чувствовалась боль, так недавно охватившая его. Так, тонувший и измучившийся в борьбе с волнами человек, выброшенный на берег, долго еще дрожит и бессознательно смотрит блуждающими глазами, и, несмотря на то, что под ним уже твердый, устойчивый берег, ему все еще кажется, что почва колеблется под его ногами и готова распасться и поглотить его. Так, загнанная и истерзанная кнутом лошадь, долго спустя, еще вздрагивает всем телом, едва стоя на трясущихся ногах, и пугливо настораживает уши.

IV

Все это совершилось чрезвычайно быстро и ни для кого неожиданно, и тем страннее, что не было никаких особых, чрезвычайных причин. То просто была цепь обыденных, ничтожных, мелочных обстоятельств, которые неуклонно цеплялись одно за другое, ткали какую-то паутину, и затем все разразилось позором, таким потрясающим позором.

Миновал уже чад и угар святочного разгула. Осталось только полупохмелье. Кружилась несколько голова. Исчезли грузинские князья и сибирские буржуа, иссякли кульки вин и закусок, истощился, повидимому, запас родительского радушия у Ивана Степаныча, и осипли серебряные звонкие голоса Веры Ивановны и Лизы. Настало то томительное, ноющее состояние души, когда оборвется туго натянутая струна. Иван Степаныч вдруг захандрил и по обычаю стал ко всем привязываться. Все в доме приняло минорно-кислое настроение. Вера и Лиза перевертывали лениво книжки. Аполлинария Петровна спряталась с чулком в спальню. Иван Степаныч ворчал:

— Ну, вот теперь и живи, как хочешь... Нам бы все только плясать, петь... Мы, матушка, не птицы небесные... Да-с!.. Вот нынче говядинка-то, говорят, по двенадцати копеечек-с... А отец и так уж измаялся, у него уж поясница болит, седина в бороде... Пора бы почувствовать, — и т. д., и т. д.

Вернулся Петр из лабазов, и как-то жутко показалось ему одиночество. Вдруг ему страшно захотелось рассеять этот туман похмелья, с кем-нибудь говорить, кого-нибудь слушать, от кого-нибудь услыхать «хорошее слово». Но в то же время он ощущал какое-то недовольство, какую-то тягость во всем организме, тягость раздражающую, но определить которой он не мог. Ввернулась было к нему Вера, но Иван Степаныч тотчас же приотворил дверь, окрикнул ни с того, ни с сего:

— Будет уж!.. Пора всякому за дело приняться, пора свое место знать!.. Что вы парня смущаете? У него свое дело есть!

Иван Степаныч бросал слова зря, потому что «никакого такого дела» за Петром он не знал. Но эти слова, этот окрик неприятно коснулись Петра. Так бывает всегда с людьми, поставленными в новую, недосягаемую для них прежде обстановку; их чуткость достигает невероятной напряженности к малейшим оттенкам тона обхождения. Он ушел в Пугаеву. Поднимаясь к нему по деревянной лестнице, он услышал шум за дверью, крик, говор... Он прислушался.

— Извольте-с или съезжать, или деньги уплатить вперед,—повелительно кричал кто-то.—И притом-с, позвольте вам заметить, такое своевольство непозволительно... это — пристанодержательство, и буде это случится вперед, вы будете привлечены к законной ответственности.

Затем дверь отворилась, и из нее вышел сначала пристав, толстый и тяжелый, а за ним дворник. Петр застал Пугаева одного врасплох. Он был расстроен и как будто сконфузился; краска заливала его лицо. В комнатах был страшный беспорядок, как будто только что выехали жильцы. Сам Пугаев одет неряшливо. Петра это как-то огорчило; непривычна была ему эта неряшливость, да еще у барина, да еще у «ученого». Увидав Петра, Пугаев тотчас же изменил выражение лица на ласковое, смиренное и добродушное. Но это, видимо, плохо гармонировало с его душевным состоянием, а потому вышло как-то уж чересчур лицемерно и искусственно. Пугаев начал нехотя, вяло урок из истории: он был нынче совсем не в ударе, но старался скрыть это. Признаться, Петра мало занимали различные «исторические параллели», а в особенности се-

годня: ему хотелось чего-то веского, реального, ощутимого; он был похож на больного, которому уже наскучило утешение и он ждет лекарства, которое сразу разлилось бы по его жилам, подняло его дух, его силы, открыло ему глаза... Ему хотелось услышать «слово», за которым ушел он от артели в «благородное семейство» и которого до сих пор никто не сказал ему; он жаждал, когда покажут ему такое «большое дело», которое для него было бы ясно, понятно и просто так же, как химический опыт Сережи, как таблица умножения, которое было бы так же веско и реально, как монета в руке.

Вдруг Пугаев приостановился, пристально оглянул новый костюм Петра и с каким-то странным порывом сказал:

— Юноша, чтó вас привело сюда, в город? Что отняло вас от родимой земли, от благодатной почвы, от сохи и бороны? Чья святотатственная рука бросила вас в эту кипятильню разврата, лжи, лицемерия?.. Я знаю, я знаю, что мне ответят. Мне ответят: здесь ум, знание, богатство, сила, цивилизация, право... Пустые, громкие слова! Печальное, горькое заблуждение! Вас, как детей... Да, вы дети, истинные дети, невинные и наивные, и всякий, кто, по словам спасителя, соблазнит единого от малых сих, достоин проклятия... Вас, как детей, обольщает этот внешний блеск... Вас манят сюда, как бабочек, пламенем света, чтобы вы обожгли себе крылья... Постойте... (Петр нисколько не думал возражать ему, но говорить так Пугаев уже привык.) Неужели вы думаете, что в нем, в этом внешнем блеске богатства и ума есть сила?.. О, как вы ошибаетесь, юноша!.. Это несчастнейшие, безумнейшие люди... Их терзает вечная жажда неудовлетворения, тоски, и чем больше стараются они залить в себе огонь этой жажды, тем сильнее и сильнее она загорается... Но погодите!.. вы, может быть, скажете, что только чрез богатство я достигну спокойствия, только чрез него я могу быть полезен и другим; чрез него приобрету силу и власть покорять под нози своя всякого врага и супостата?.. Вы думаете, что этою *силой* сделаете что-нибудь? Вы видите, как здесь «правители и заправители», вооруженные правами и значением, повелевают судьбами, людей, — так в этом, значит, и сила? Вот где и

в чем ставят вам идеалы!.. Нет, дорогой мой друг, — с еще большим чувством, хотя не лишенным обычной аффектации, продолжал Пугаев, понизив голос и беря Петра за руку, — *там* ваши и наши идеалы... Понимаете? то есть те основные цели, к которым мы должны стремиться, — *там,* откуда бежали вы сюда, *там* у вас, где оставлены вами святые труженики: ваши деды и отцы... Вот где и кто истинно счастливые и сильные люди! Вы не верите мне? Да?.. Вы говорите: чем и как могут быть сильны и счастливы эти бедняки, которые ходят в рубище и едят черствый хлеб?.. Они счастливы, друг мой, сами в себе, в сердце своем, они сильны, юноша, силой сердца, силой нравственной чистоты, они велики силой любви, терпения и всепрощения... Да, им теперь плохо потому, что идет из городов на них соблазн; этот город развращает их, этот соблазн родит широкие, растленные потребности, эти потребности требуют удовлетворения, но наступит время, и «люди деревни», эти подвижники труда, покорят весь мир силой своей любви, своего терпения и векового смирения... И когда придет время явиться тому, великому, который откроет людям очи их сердец, когда он озарит их просиянием, он там, у вас, найдет своих первых подвижников, и оттуда прольется свет счастия и любви на все человечество!..

— Знаешь ли ты, юноша, — вдруг заговорил он, быстро вставая и с пылающими глазами подступая к самому лицу Петра, — знаешь ли ты, что вот мы, мы — ученые, образованные, богатые, сильные — мы проклинаем свою жизнь, мы — мученики нашего ума, мы, несчастные страдальцы, бежим из городов *к вам,* туда, к твоим терпеливым, смиренным и наивным отцам и дедам. Да, вот где мы хотим найти нравственное успокоение для себя, мир для своей души, любовь для сердца и истинных воспитателей наших детей... А почему?.. Потому, что я — я, образованный городской человек, — чёрвь, тля, ничтожество перед последним из этих ратников труда, перед этим загнанным, грязным, пьяным чернорабочим... Беги, юноша, отсюда, беги, пока не поздно!.. Беги, откуда пришел ты, откуда вырвали тебя заблуждение и жажда наживы... Здесь ты погибнешь, здесь развратят твою душу, ожесточат сердце, здесь, может быть, дадут тебе и силу, и деньги,

и власть, но только для того, чтобы ты вернее убил своего брата... Если бы я был моложе, если бы я был сыном твоей тетки и твоего крестного отца, о, я уже давно бы порвал здесь все связи, я разодрал бы свои одежды, я отказался бы от всех преимуществ происхождения и состояния, я бросил бы свое богатство и ушел бы туда, к вам!.. Что ты так странно смотришь на меня? Надеюсь, я ничего не сказал тебе особенно нового, чего не говорили бы тебе твои отцы, чего, наконец, не читал бы ты в тех «божественных книгах», которые давал тебе твой крестный?.. Впрочем, мы еще с тобой поговорим об этом... Поговорим основательно, много... Ты меня лучше узнаешь, лучше поймешь...

Он несколько раз пытливо взглянул в лицо Петра и, заметив в нем признаки необычного волнения, с удовольствием приписал его благоприятному впечатлению от своей речи. Увы! — то было совсем другое. Мысли, высказанные Пугаевым, с такою аффектированною и как бы несколько искусственною страстностью, были до такой степени невероятны и неожиданны для Петра, что, действительно, произвели на него впечатление: то был испуг. Петр вдруг почувствовал, что у него из-под ног начинает исчезать почва...

Что это такое? Вдруг на все, что с самых юных лет он понимал ясно, определенно, во что верил беззаветно, на чем покоились его смутные, но возвышавшие и оживлявшие его надежды и упования, вдруг на этот светоч, так ярко озаривший его собственную душу, на этот светильник, осмысливавший перед ним всю сложную жизненную процедуру и освещавший ему твердый, прямой путь, — вдруг на этот светоч дунули — и он потух...

Когда он вышел от Пугаева, мысли его были так перемешаны, он чувствовал такую беспомощность, что вдруг ему захотелось уйти куда-нибудь, в такое место, где бы рассеялся этот еще больше сгустившийся над ним туман, где бы все для него снова стало понятно, ясно.

По странной ли случайности, или просто по бессознательному впечатлению от речи Пугаева, он попал не домой, а в дергачевскую артель. Область инстинктов темна... Как знать! Может быть, против беспомощности инстинкт заставлял искать спасения именно там, где меньше всего находило его сознание. Не так ли

иногда сильный ум, терзаемый печалью и уставший в умственной борьбе, ищет успокоения в наивном лепете детей; не так ли много испытавший путник, после долгих-долгих странствований по отдаленным странам, где созерцал он роскошные картины величественной природы, спешит в серенькую местность своей убогой родины, к своим поседелым, наивно-детским и беспомощным старикам?

Всю артель Петр застал в таком критическом положении, что прихода его почти никто не заметил, а сам он переступил два шага за порог и остановился, словно в столбняке. Он не понимал, что такое творилось перед ним. В узкой, длинной, сырой квартире, едва освещаемой нагорелою сальною свечой, стоял гвалт от целого десятка голосов; мужицкие фигуры, загнанные в одно место, толкались, качались, махали руками; кто-то валялся на полу и стонал; кто-то, стоял в углу, проводил широкою ладонью по окровавленной щеке и бороде, взглядывал на кровь и начинал всхлипывать. Кто-то в форменном сюртуке, с длинными черными баками, кричал пронзительной фистулой и волновался; в ногах у него валялся Лимподист, и из зубов, сквозь усы, у него тоже сочилась кровь.

— Ваше благородие... извините, ради самого господа!.. — выкрикивал он. — Свое дело... Подрались... Вваше благородие, бог даст, очухаемся... Пройдет... Все будет в порядке!.. Низвините нас, пожалуйста... Мы было поучить друг друга хотели, потому как доносители промеж нас проявились...

Лимподист проводил рукой по рту, выплевывал на нее слюну с кровью и, сбросив ее на пол, принимался опять:

— Вваше благородие... Будьте милостивы!.. работа у нас теперича... Невустойка будет... Мы вам в другоместь отслужим... отсидим, когда ежели посвободнее... Верьте нашей совести...

— Ах, вы, разбойники, пьяницы!.. А!.. Звери вы эдакие!.. Что вы раскровянились, голодные черти?.. Будет ли от вас спокой-то?.. Берите их, берите!.. Забирай их в холодную!.. — кричал форменный господин. — Принимай, держи! — выкрикивал он в волнении, схватывая за шивороты и лохматки бородатых дергачевцев и выталкивая их к дверям, где дюжие подчастки связывали

им назад руки. — Принимай! — кричал взбешенный господин, как расходившийся геркулес перед полчищем пигмеев, и схватил за шиворот Петра. Только тут в испуге очнулся Петр.

— Я не здешний, ваше благородие! — жалобно прокричал он, но тут же, вслед за здоровою тукманкой кого-то в загривок, вылетел из дверей прямо в сени.

— Не наш, точно, он не здешний, ваше благородие!.. Нас бери... а он не здешний!.. Это верно. Он уж другой человек... Надо правду говорить,—долетели до слуха Петра слова Лимподиста, когда Петр пустился без оглядки бежать из сеней во двор, со двора на улицу... и так вплоть до своей квартиры. Как будто вдруг налетевший вихрь нес его стремительно и неудержимо, не дав вздохнуть, очнуться... «Не здешний!» — вот где спасение. И сам Лимподист говорил то же.

Такой же, должно быть, внезапно налетевший вихрь очистил и сумрачное небо, нависшее было над семьей Ивана Степаныча Дрекалова. Когда вернулся Петр, он, к удовольствию, заметил, что в доме было весело. Иван Степаныч смеялся и что-то кому-то с жаром рассказывал. Серебристые голоса Веры и Лизы зазвенели весело опять по всему дому. Петр думал, что снова в передней Ивана Степаныча появились кульки грузинских князей, снова молодежь загудела в зальце, и ему вдруг так захотелось опять вздохнуть этим одуряющим, захватывающим душу воздухом.

Он непринужденно отворил дверь и вошел в залу на правах «своего» человека.

— Вот, батюшка, приберег для дорогого случая... Три года в погребе лелеял! — восторженно проговорил Иван Степаныч, выходя в это время из противоположных дверей и неся высоко в вытянутых руках две бутылки вина. Но вдруг, заметив Петра, он смутился и, поставив бутылки на стол, спросил: «Ты уж пришел?..» И любопытно, что его не столько смутил самый приход Петра, сколько то, что он увидал у него в руках бутылки.

— Я уж давно... — проговорил Петр, но тоже замялся, заметив смущение на лице и Ивана Степаныча, и Веры, и даже Лизы. Все как-то вдруг неловко замол-

чали. Вера даже чуть-чуть побледнела. На диване перед столом, уставленным закусками, сидел безукоризненно и изящно одетый господин, не первой уже молодости, с роскошною, бархатною черною бородой, и, прищурив глаза, сквозь пенсне упорно смотрел на Петра, как бы дожидаясь, когда ему объяснят причину появления этого молодца.

Но, как всегда бывает с очень добрыми людьми, они редко находчивы; отрекомендовать «мужика» своим человеком в благородном семействе, в то время когда надо было поддержать именно дворянское реноме перед незнакомым еще человеком, представлялось слишком большим самопожертвованием, а лучшего ничего придумать не спохватились. Иван Степаныч счел за благо тотчас же скрыться в другие комнаты зачем-то, а прочие продолжали томительно молчать; только Лиза, когда Петр сел у дверей, задала ему какой-то вопрос, да и тут вся вспыхнула от досады, что не могла ничего придумать лучше, чтобы вывести Петра из затруднения. Петр не успел еще ответить, как в дверную щель послышался шопот Федосьи, вызывавшей его «на секундую» за дверь.

Он вышел, и Федосья, протащив его несколько шагов за рукав по коридору, шопотом же сообщила:

— Ты бы к себе пошел теперь... Посидел бы, занялся бы чем ни то смирненько... Теперь им не до тебя... Жениха угощают... Ступай, бог с тобой, в свой угол, сиди смирненько... Самовар, что ли, тебе наставить?

— Нет, не надо... Я гулять пойду, — буркнул Петр и, схватив шапку, выбежал на улицу. Потребность хоть какого-нибудь забвения сказывалась все сильнее и сильнее. Он чувствовал, что разобраться в запутывавшей его массе впечатлений ему становится невозможным. А между тем томительно ноющая боль и изнеможение в организме сказывались все сильнее и сильнее; нервы становились раздражительнее, во всем теле чувствовался зуд. Он завернул в трактир, заказал пива и, сев около биллиарда, пил бутылку за бутылкой, и только когда в его голове встал окончательный туман, он вернулся домой и бросился на кровать. Но сон его был короток, неспокоен и полон сновидений: то ему снился Пугачев и жалобно глядел в его глаза, схватывал его руку и увлекал за собою в какую-то пропасть; из этой пропасти

слышались стоны, мольбы, выкрики пьяных, виднелись разбитые окровавленные скулы, дикие, пьяные глаза, а тут же эти глаза вдруг превращались в пытливые, сладострастные волнующие глаза Веры, а Вера превращалась в какую-то другую девицу, с толстыми, белыми, масленистыми голыми руками, обвивавшими его шею... И потом опять Пугаев, опять пропасть — и так бесконечно. Еще было темно, когда он, с тяжелою головой, с дрожью во всем теле, проснулся от какой-то боли... Только теперь он узнал ясно, что был болен.

У Дрекаловых шли праздники чуть не каждый день. Господин с роскошною бархатною бородой сидел у них уже с утра до вечера. Аполлинария Петровна не снимала своего парадного чепца, Иван Степаныч — вицмундира; Вера и Лиза были заняты то какими-то чрезвычайными приготовлениями, то развлечением нового гостя. О Петре некогда было и вспомнить. Только Иван Степаныч часто, про себя, вспоминал его и терзался какою-то, очевидно, неприятною для него мыслью. Он иногда по утрам ездил куда-то искать денег, но всегда приезжал или ни с чем, или только с таким количеством, на которое можно было купить лишь приличное угощение для будущего зятя. Впрочем, вспомнили его и еще по некоторому поводу: Федосье было строго наказано не подавать барской посуды Петру. Брезгливая Вера боялась «заразы» от больного мужика, «который мог бог знает что принести с собой».

Утром, в одно воскресенье, Петр, пошатываясь, с неестественно возбужденным выражением на лице отворил дверь в залу и остановился на пороге.

Все были изумлены его неожиданным появлением и расстроенным видом: он казался выпившим. Иван Степаныч смутился, а за ним смутились и Вера, и Лиза, по взгляду отца уже догадавшись, в чем могло быть дело. Лиза в душе искренно негодовала на отца, и ей жаль было Петра.

— Ты что? — проговорил Иван Степаныч, стараясь побороть смущение.

— Пожалуйте деньги...

— Да говорят тебе: подожди... Я теперь, видишь, занят...

— Да ведь вы сами сказали, что сегодня.

— Ну, сказал... Ну, что ж из этого?.. Если мне некогда... Неужели ты не можешь понять?..

— Это недолго-с... Если они у вас...

— Да... погоди! — закричал не своим голосом Иван Степаныч. — Какая, братец мой, ты неделикатная... свинья, — выговорил он раздраженно.

Петр пошатнулся и закусил губу. Его больные, ввалившиеся глаза засверкали. И вдруг, в это мгновение, глаза его встретились с глазами господина с бархатною бородой: он как будто его где-то видел... Господин с бархатною бородой продолжал с большим любопытством наблюдать через пенсне происходившую сцену.

— Как вам угодно, пожалуйте мои деньги, — твердо и настойчиво выговорил Петр. — Я хочу на новую квартиру.

«Какие *они,* однако, суровые!» — подумала мягкосердая Лиза.

— Да понимаешь ли ты, глупый, что я могу тебя прогнать и не дать тебе ни полушки?.. Ведь у тебя нет документов?.. Но я, благородный человек, не допущу и мысли подобной. Я говорю тебе, что завтра отдам, — убеждал его выходивший из себя и весь покрасневший Иван Степаныч.

— Если вы благородный человек, то зачем же, сказавши...

— Ах, ббоже мой, ббоже!.. Вот еще несчастие бог наслал на мою старую голову! — с искренним чувством вскричал Иван Степаныч, боясь, чтобы у Петра не сорвалось роковое слово.

Он был поистине в ужасном положении. Такой скандал перед посторонним человеком, от которого зависела судьба, может быть, всех их!.. Вера была бледна, кусала губы и смотрела на Петра с такою злобой, что казалось, готова была броситься на него и выцарапать ему глаза. Но Петр не замечал этого: он все смотрел на гостя и припоминал, где он его видел, а между тем однообразно и монотонно говорил:

— Пожалуйте деньги... Мне необходимо!

— Нет, я больше не могу!.. Я с ума сойду!.. И это — деревенский мальчишка, мужик! — вскричал Иван Степаныч, в отчаянии опускаясь в кресло.

— Это ужасно! — проговорила Вера, в волнении поднявшись со стула.

— Ради бога... уйдите!.. Подождите! — вся розовая, с вспыхнувшими щеками, умоляюще подошла к Петру и шепнула Лиза.

— Пожалуйте деньги-с... Мне необходимо... Я уж неделю жду.

«Нет, он, несчастный, погиб! он — кулак!» — с скорбным выражением в своих добрых глазах подумала, отходя от него, Лиза.

— Во-он! — вдруг протяжно проговорил, медленно поднимаясь с дивана, господин с бархатною бородой и величественным жестом указал Петру на дверь.

Петр в изумлении взглянул на господина — и вдруг узнал его. У Петра пробежала по губам усмешка: то был один из «таинственных незнакомцев», некогда пресмыкавшихся около «высшей инстанции» дома Башмакова и К°.

— Во-он! — неистово загремел, уже вскакивая из-за стола, «таинственный незнакомец» и протянул было руку к Петру.

— Битый! — выкрикнул Петр с каким-то лихорадочным смехом. — С лестницы спустили... Го-го-го!.. — кричал он.

«Таинственный незнакомец» побледнел и на секунду как бы потерял сознание, но тотчас же бросился на Петра и схватил его за ворот.

— Не пойду! — кричал Петр. — Отдайте деньги! Ах, вы... Что вы со мной сделали? Что вы со мной делаете? Я думал... А вы такая же саранча... Ах, вы...

У Петра подступили к горлу слезы, и он истерически зарыдал.

— Бейте его, бей! — кричал «таинственный незнакомец», стараясь оторвать от себя Петра, который вцепился ему в горло, как настоящий волчонок. Да, Петр был в эту минуту действительно бешеным волчонком. Его больное, бледное лицо совсем исказилось злобой, остервенением, бешенством, между тем как по щекам струились слезы.

Боровшиеся неожиданно, среди криков женщин и Ивана Степаныча, очутились за дверями, сперва на крыльце, потом на улице. Петр замер на груди «таинственного незнакомца», и тот не в силах был от него

освободиться. На улице собралась толпа, прибежали дворники, полиция. Петра оттащили, но он был уже в исступлении: он бросался на всех, кто только попадался ему. Он вцепился уже в горло полицейского, сорвал его погоны, изодрал мундир... Его стали бить... Он уже не считал, не чувствовал, сколько ударов пришлось на его долю. Он очнулся окровавленный, избитый и связанный в частном доме.

Сырая, вонючая комната где-то под сводами лестницы; тусклый, загрязненный масляный фонарь; запах махорки, полушубков и пота; топот десятка ног и ругань. Петр лежал на полу. Перед ним суетились солдаты с небритыми бородами и торчащими подстриженными усами, в ситцевых рубахах, запущенных в брюки с красными кантами. Один развязывал ему руки, поворачивая с боку на бок, как колоду, другой стаскивал сапоги.

— За что вы меня били?.. Что я сделал?.. Мои деньги, мои кровные... Я своих просил... За что меня так били? — невольно спросил Петр, почувствовав страшную боль и в спине, и в боках, и в голове.

— А за то, что не ходи пузато! — сказал солдат, стаскивавший с него сапоги. — Экий, стерва, бешеный какой!.. Всякое поведение потерял... Егорова, братец, совсем было задушил... Еще мальчишка, а зелье какое! Ну, поворачивайся! — прибавил солдат и стал тащить с него сначала пиджак, потом брюки и, наконец, нижнее белье.

— Что же это будет? — со слезами в голосе выговорил Петр.

— А вот ужо увидишь, как очухаешься.

Солдаты вдруг подняли его подмышки, встряхнули и быстро втолкнули за какую-то дверь, которая тотчас захлопнулась вслед за словами: «Прохоров! Прими!»

Кто-то схватил Петра за плечо, словно железными клещами, и швырнул, как собачонку, в угол так сильно, что он ударился лбом в стену. Петр хотел было вскрикнуть, огрызнуться, как в это время в небольшое отверстие двери раздался опять крик: «Староста! прими!» — и вслед за этим в дверь было втолкнуто новое человеческое тело: то был парень с красным лицом, воспаленными глазами, с большою встрепанною лохматкой на голове, в истерзанной, висевшей клочьями, рубахе. Он

стонал в каком-то исступлении и, дико выкрикивая, вырывался из «принявших» его рук «камерного старосты».

— Ах ты, стерва!.. Так ты еще все не угомонишься? — крикнул староста, высокий, худой, с проседью и дерзким, самоуверенным взглядом арестант. — Ребята, качай!

Вслед за этим окликом моментально поднялись с деревянных нар, на которых теперь заметил Петр целый ряд лежавших одна с другой человеческих фигур, три или четыре здоровых арестанта.

Раздались глухие, частые удары в человеческое мясо; что-то тяжелое, как туго набитый мешок, летало на здоровых кулаках с нары на нару; пронеслись раз, другой раздирающие душу выкрики, и затем тело парня тяжело шлепнулось на полу около Петра, как труп.

— Убили!.. что вы сделали? — вскрикнул под влиянием безотчетного испуга Петр, отскочил от тела, в котором он, к ужасу, признал одного из дергачевцев.

— Молчать! — крикнул староста.

У Петра подкосились ноги, он весь съежился и задрожал, как собачонка под забором, и присел в самый дальний угол камеры. Его объял прилив трусости, беспомощности, безотчетного страха, какого никогда в жизни, ни раньше, ни после, он уже не ощущал.

Утром кто-то толкнул его ногой в бок. Он проснулся на полу, под влиянием тех же ощущений страха и беспомощности, тем более что в его организме, вследствие реакции предшествовавшему возбуждению, чувствовался полный упадок энергии и силы. Петр безропотно, автоматично повиновался всему, что ему приказывали. Его только тревожила мысль, как бы не узнал его парень-дергачевец. Но парня уже не было: его свезли в больницу. В той же камере под сводами лестницы, где его вчера раздевали, ему приказали одеться. Он уже надел сапоги, штаны и взялся за пиджак, как вдруг в его воспоминании встал целый ряд тех светлых, веселых, упоительных картин, когда в этом «пинжаке» он в первый раз так полно сознал себя вполне человеком.

Припомнился ему тут, как-то странно, Филаретушка с своим восхвалением «пинжака». И — о ужас! — на спине этого «пинжака» он заметил большой, начертан-

ный мелом, круг с крестом посредине!.. Безотчетно, не зная, что он делает, Петр принялся плевать на этот круг и быстро вычищать его рукавом рубахи.

— Что за самоуправство? — окрикнул его старший полицейский. — Разве ты можешь нарушать порядок?

— Дяденька... я вытру! — с мольбой в глазах проговорил Петр.

— Разве можно против порядка?.. Вишь, какой!.. Вот поведу к мировому — там какое решение будет, тогда и вытрешь... Надевай!

— Дяденька, ради христа!.. Тебе все одно... Дяденька, как я пойду? — вдруг залепетал весь взволнованный, дрожащий Петр, упав старому унтеру в ноги.

— Экий глупый!.. Ну, глупый же! Ровно малый ребенок... Да чего тебе из эстого? Какой антерес? Барин ты, что ли? — добродушно спрашивал смущенный старик. — Пожалуй, вытирай!.. Не жалко...

Петр опять бросился к пиджаку, но полицейский мел, вареный на масле, так крепко въелся в сукно, что при всем усилии Петра белый круг побледнел очень незначительно.

— Петров, подай арестанта! — крикнули из канцелярии.

— Живо, живо! Вишь, закопались, — заторопился старый унтер и стал толкать Петра вперед себя в спину.

Петр на ходу натягивал пиджак, а по лицу его катились неудержимо слезы. К мировому через все Москворечье, при всем божьем свете, мимо знакомых!.. Господи, какой позор! Но его еще поддерживала тайная мысль, что он будет отомщен на суде, что он расскажет все: и про «таинственного незнакомца», и про Ивана Степаныча, и про Веру, и про Пугаева. «Я их осрамлю! Я ни за чем не постою!» Он не мог себе ясно представить, как бы он мог их «осрамить», но чувствовал только неудержимую жажду мести... Для него исчезло различие между всеми ними: все они слились для него в нечто общее... За грехи и добродетели *одного* в его глазах были ответственны все.

Однако он был лишен и этого последнего удовольствия: на суд не явился никто из знакомых, и только вместо «таинственного незнакомца» пришел его поверенный — какой-то старый пьянчуга от Иверской, а от

полиции — городовой с книжкой и рапортом... Это было уже полное оскорбление... У Петра защемило сердце... Он смиренно, не говоря ни слова в оправдание, выслушал постановление, приговорившее его к трем дням ареста при полиции за буйство, но под видимым смирением затаил в душе своей тайную, глубокую злобу *ко всем, ко всем им.*

V

Лампадное сияние начинало мерцать все более и более таинственно и чарующе, чем больше сгущались сумеречные тени в новой квартире Петра. Он лежал навзничь на кровати, подложив руки под голову и не спуская глаз с лампады. Мерный, несколько торжественный, неторопливый голос старика, читавшего Четьи-Минеи, раздавался из соседней комнатки, как будто откуда-то издалека, из неведомой сферы... И вот наплывали на Петра все сильнее и сильнее врачующие и умиляющие волны этой торжественной тишины, и его слабый, разбитый, усталый организм жадно как будто впивал в себя эти животворящие волны. Наслаждение отдыха ощущалось всеми его порами. Мало-помалу и мысли Петра приняли мирное, спокойное течение. Под размеренное чтение старика в его воображении вставало его детство, — это трезвое, строгое детство, проведенное то в мирной, суровой тишине кельи Ульяны Мосевны, то среди ясной, реальной, понятной и постижимой до малейших подробностей, строго-суровой жизни Еремея Строгого... Петр забывался в этих картинах, сердце билось равномерными и полными ударами, отяжелевшие веки приятно смыкались. Мало-помалу за завесой лампадного блеска бесследно исчезали волнующие, непонятные, пугающие, полные противоречий картины иной, только что пережитой жизни, подобной вязкому бесконечному болоту, которое манит блестящим ярко-зеленым ковром и блуждающими огнями несчастного путника все дальше и дальше, а у него под ногами, как волны, опускается и подымается почва, он вязнет, утопает, задыхается в рыхлых провалах, беспомощный и потерявшийся... Слава богу! Все это далеко где-то осталось позади, за туманом, и твердая нога теперь уже

ощущает под собой прочную, устойчивую почву... Кругом все принимает ясный, реальный смысл. А *туда* уже нет и не может быть возврата, как нет этого возврата из загробного мира.

Вдруг кто-то стукнул в дверь. Старик оборвал чтение. Петр очнулся из забытья и стал прислушиваться. Вот еще стукнули. Петр поднялся и, далекий от каких-либо «предчувствий», отпер дверь.

— Так вот вы где, юноша! — раздался за дверью знакомый голос. — А мы вас искали. Ну, наконец, я вижу вас.

Перед Петром за дверью показалось доброе лицо Пугаева, а за ним Лиза... Петр вдруг задрожал от неожиданно охватившего его страха и ужаса.

— Не надо-с!.. Не желаем-с!.. — выкрикнул он, не помня себя, быстро захлопнул дверь и дрожащею рукой наложил крючок.

Из соседней комнаты вышел старик со свечкой и осветил бледное, как полотно, лицо Петра.

— К тебе, что ли? — спросил старик.

— Да...

— Кто такие?

— Так... *проживальщики,* — безотчетно ответил Петр, но этим словом он на всю жизнь запечатлел в своей душе целый ряд человеческих фигур, с которыми случайно столкнула его судьба.

Пугаев и Лиза, смущенные и взволнованные, тихо шли по Лужницкой улице; скорбное выражение легло на их лица.

— Несчастный, — сказал Пугаев, — он уж слишком одержим бесами, и борьба будет трудна... Но я еще попытаюсь... Вот, сударыня, — внушительно прибавил он, — вот какие суровые натуры выделывает город из «детей народа»!

Чудак-мечтатель и не думал, что сказал этим смертный приговор и себе.

А между тем в квартире Петра лился попрежнему лампадный блеск, попрежнему раздавались торжественные слова знакомой «божественной книги», попрежнему врачующая тишина мало-помалу обнимала душу Петра. Тихо, незаметно вырабатывался в ней, в этой потрясенной душе, новый уклад...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

МЕЖДУ СТАРОЮ И НОВОЮ ПРАВДОЙ

Глава первая

ДЕТИ ПОЛЕЙ

I

В августе благодатные дни иногда выпадают нашей деревне, когда воздух так чист, что стоящие на самом краю горизонта белые сельские церкви кажутся прозрачными, как будто вылиты они из ярого воску; когда облачка нет на водянисто-лазурном небе, когда солнце одно торжественно-плавно плывет по нем и словно пристально смотрит на пригретые им деревенские нивы. Обыкновенно с утра до заката пуста и безмолвна в эти дни деревенская улица. Тут никого нет — ни взрослых, ни малых, ни старика, ни младенца. В избах окна закрыты, ворота замкнуты, живого движения почти не видать, и только один старый вяз медленно качает своею удрученною веками вершиной. А между тем слышишь, как невнятный, но сплошной гул жизни несется непрерывно справа, слева, сзади: слышишь скрип тяжело нагруженных возов, фырканье лошадей, окрики мужиков, плач грудных детей, звонкие голоса деревенской молодежи, иногда ее здоровый, переливчатый смех, или высокий фальцет матерей, раздраженно покрикивающих на забаловавшихся ребятишек. И весь этот гул человеческой жизни так же несмолкаемо висит в воздухе, как гул пчел на пасеке; как будто все живое выбралось из деревни и где-то там, за околицей, расположилось становищем кругом. Чувствуешь, что стоишь в

центре какого-то жизненного процесса, в котором не участвуешь, но который какою-то непостижимою властью подчиняет себе. Самый деревенский воздух в это время полон раздражающей кровь ароматичности: чем ближе к деревне, тем он влажнее, теплее, гуще и пахучее, как будто входишь в просторную сенницу, набитую свежим, только что привезенным сеном, так что еще кругом не успела осесть мелкая пахучая пыль сенной трухи. Чувствуешь, как эта пыль неприметными для глаз облаками носится над всею деревней, а над гумнами, за околицей, где теперь сосредоточилась вся деревенская жизнь, к этой ароматической сенной пыли прибавились облака золотистых усиков от ржаных колосьев, которые искрятся в солнечных лучах, как снежинки в ясный морозный день. Все это образует ту смешанную сытную, хлебную атмосферу сельской страды, которой дышит грудь земледельца и которая, несомненно, представляет один из животворных элементов деревенской природы, восстановляющих народные силы из-под гнета горя, нужды и мрака.

Наша деревня лежит в неглубокой ложбине, на берегу небольшого озера, окруженная цепью холмов. Если войти на один из них, то картина, которая сразу откроется перед глазами, объяснит все: и пустынность деревенской улицы, и сплошной немолчный гул окрестных полей, и захватывающую, всепокоряющую силу этого массового гула. Там и здесь, на вершинах холмов и по берегам озера, раскинулись ее соседки: они видят ее всю целиком, до последнего угла; она видит их, все, что делается в каждой из них. Тут все открыто, все ясно, все на глазах у божьего солнца. Теперь, в страду, жизнь деревни ушла от центра к периферии: как кровь из сердца, разлилась она по жилам организма, до самых крайних его пределов, и оживила собою все, и претворила в себя все мертвое, и всему придала ценность и смысл, и обратным потоком понесла освященные ее прикосновением дары земли к общему вместилищу — сердцу. Медленно движется этот обратный поток. По бокам холмов скользят высоко навьюченные возы снопов. Вокруг пустынных изб мало-помалу образуется сплошной пестрый венок: как золотые короны, вырастают один за другим скирды свежего хлеба. А между ними снуют непрерывною связующею цепью

белые, красные и синие рубахи вернувшихся с полей жнецов и жниц. Деревенская птица хлопотливо носится тучами тут же. Все живое сгрудилось здесь, вокруг этих растущих все выше и выше хлебных гигантов; все живет и чувствует здесь ими; душа мужика растет и переполняется по мере того, как растут эти скирды. Здесь все дышит этою ароматическою, сытною, хлебною пылью, которая носится в воздухе; все собралось здесь теперь, что прежде жило и задыхалось в душной избе: здесь всем дело, всем воздух, всем надежда.

Вот он, этот хлеб, этот дар природы за тяжелый труд, вот он здесь, перед глазами, под защитой, укрытый от непогоды и стихий!

— Слава создателю! — выговаривают старики и морщинистыми бурыми руками истово осеняют себя крестом. — Наткось, солнышко-то красное целую неделю грело и светило, ровно фонарь: хоть бы тебе облачко одно его заволокло. Вот что шар по синему стеклу катилось...

— Слава создателю! — вторят, подходя друг к другу, соседи, весело смотря на собравшиеся около скирдов пестрые группы своих молодых поколений.

Им весело смотреть на молодых матерей, которые уселись теперь в тени скирдов с грудными младенцами, окруженные стаей ребятишек, наголодавшихся, набоявшихся и наболевших за лето, вместе с матерями, оторванными от них с раннего утра до поздней ночи летнею страдой.

Теперь им незачем уходить от детей, теперь вся жизнь будет здесь, «на задах», за околицей, около высоких скирдов.

— Вот вам и матери пришли. Все живы будем! — выговаривают старики, поглаживая белокурые головы внуков.

Им весело смотреть и на подростков, которые то с торжественной медленностью с разных концов подъезжают к скирдам, лежа на высоких возах снопов, то ухарски мчатся порожняками в пустеющие с каждым часом поля за новыми снопами.

Им весело смотреть и на здоровых бородатых большаков, навивающих скирды. Быстро летают кверху в могучих руках желтые снопы, оставляя в бородах и на голове мужиков обломанные колосья. Пот градом

катится с усталых лиц. Расстегнутые груди усиленно дышат и буреют на солнечном припеке.

Вот высокий, здоровый парень в красной рубахе, с белою лохматкой кудрявых волос, с широким лицом, пылающим жаром, налившимся кровью, стоит на верхушке заканчиваемого одонья и, быстро схватывая то спереди, то с боков, то сзади летающие кверху снопы, усиленно укладывает их по окружности. Он весь как-то напряженно, лихорадочно, до потери сознания погружен в работу; без передышки, с тупо выпученными глазами, быстро движет он всем своим широким телом, то сгибаясь, то выпрямляясь, поминутно повертываясь во все стороны. Он весь — воплощение здорового физического труда, на вольном раздольи, в сытной хлебной атмосфере.

— Действуй! — раздается его веселый окрик. — Подавай еще!

— Будет, будет! дай народу вздоху! Запойный! — слышится ему в ответ с разных концов звонкий хохот девок.

— Подавай! — кричит парень.

— Будет! И то выше всех наклали! Не сдержит!

— Действуй! — кричит парень. Он мимоходом окидывает раскинутую внизу толпу, и ему любо, что эта толпа, покорная какой-то непобедимой силе, невольно подчиняется его окрику; все — и старики, и молодые, усталые и слабые — еще упорнее, еще лихорадочнее суетятся, спешат.

А между тем скирд парня растет все выше и выше. Вот, наконец, он «завершил» его, выпрямился, раскинул руки и посмотрел кругом: и там, по холмам, у соседок-деревень, и здесь, в ложбине, кипит работа, кишит людской муравейник и немолчным гулом гудит в воздухе.

— Ого-го-го! — заорал вдруг переполненный довольством парень, взмахивая руками, как крыльями, и вся деревенская околица откликнулась ему дружным смехом.

— О, жадный! Когда на него угомон будет! Разве за «жадными» угоняешься! — носится в толпе.

А парню любо. Турманом скатился он с высокого скирда, брякнулся оземь и растянулся в тени его. Усиленно дышит его грудь, ноздри раздуваются, как

мехи; глаза смотрят в голубое небо; он ничего не думает, он чувствует одно: как под ним как будто колышется земля, и под это укачивание по всему телу переливается истома; так пловец, усиленно работая всеми членами, выбирается, наконец, на средину озера и здесь, над бездонною глубиной, поворачивается на спину, распластав руки, и отдыхает, тихо укачиваемый волнами.

— Слава создателю! Убрались заблаговремя, — говорит низенький лохматый мужичок в синей неподпоясанной рубахе, подходя к другому, высокому и сутуловатому старику, стоявшему, опершись на вилы, около скирда, с которого скатился Пимаха. — Вишь, вон, глянь, холмы-то, — показывал лохматый мужичок рукой на желтую щетину оголевшего жнива, — все соседи убрались разом, как один человек. Вишь, деревни-то хлебом обставились за один день, ровно по приказу! — и мужичок, вытащив кисет, присел на траву, поджавши ноги, и стал набивать трубку.

— Благодарить бога! Полегчает народу. Все веселей глянет, — сказал высокий старик, подсаживаясь к нему.

— Ишь жадобный!.. Надорвался! Лют у тебя народ к работе, — указал лохматый старик на валявшегося около скирда Пимаху. — Счастлив ты, Пиман Савельич, счастлив!..

— У нас он, Пиман-то Савельич, завсегда был счастлив, — говорили, подходя к ним, еще два мужика, отирая пот и снимая платки, которыми были обернуты их головы, чтобы не мешали в работе волосы, да солнце не жгло темя.

— Какое счастье! Мужицкое счастье, — отвечал, улыбаясь, дядя Пиман.

— Конечно, мужицкое!.. А хоть и мужицкое — все же ведь счастье!

— Не стану бога гневить — наградил! Не отбивались пока от труда.

— Вишь, поворачиваются, ровно быки породистые! Что мужики, что бабы — на подбор! — говорили соседи, посматривая на суетившуюся группу, укладывавшую по соседству с поставленным скирдом днище для нового одонья.

— Что потрудишься, то и возьмешь! — заметил Пиман.

— Это так. В вас это качество есть... Недаром вас «жадными» прозвали... Ну, и еще я тебе скажу, почему ты счастлив: потому ровен ты, завсегда был ровен... Дух у тебя завсегда был ровный, мягкий дух... Вот по какой причине ты был счастлив... Уж не знаю — добродетель то будет, нет ли, только это верно, — говорил лохматый старичок, постоянно прищуривая больные глаза, которые резали яркие, отражавшиеся от скирд солнечные лучи. — Вот что речка: не трожь ты ее, не пруди — и течет себе она тихо, мирно, как берег идет; холмик встретит — обежит, к овражку подойдет — сожмется, на лужок попадет — зеркалом ляжет...

Дед Пиман засмеялся на речи старого приятеля, дяди Мина.

— Вот оно тут и есть мужицкое счастие, любезный ты мой, — продолжал лохматый Мин Афанасьевич, — без ровного духу и хлеб не сберешь!.. Как он вот во всем ровный-то дух есть, все и идет заодно, сообща, сподручно, скоро... А как ежели битва пойдет, война, попадет река на плотину или на крутизну, — ну, тут мужицкому счастию не быть!.. Мужичок мир любит, спокой, чтоб кругом его все светилось, улыбалось да радовалось: и солнышко чтоб светило и грело, и земля была теплая да мягкая, и люд чтоб был веселый, бравый, песенный, и скотина чтоб бодрее бегала, — вот то и спорость будет мужицкому счастию!.. Вот почему мужичок и чуток ко всякой битве... Ему мало, что на огороде у него тихо, ему чтоб все кругом было светло и радостно... Потому уже ежели у соседа плохо, и у тебя хорошему не быть: жди беды...

Так говорили почтенные мужики деревенского мира, сойдясь близ скирд «счастливого» Пимана, побуждаемые тайным желанием передать друг другу то чувство общего довольства, которое жило в эту минуту в каждом из них. А между тем перед ними кипела работа: после взрыва громкого смеха, говора и острот, вызванных окриком молодого Пимахи-внука, все по околице как будто стихло; но при воцарившемся молчании, казалось, еще более чувствовалась общая трудовая напряженность, — напряженность спешная, упорная. Изредка только слышался грохот опорожненных телег, окрики подростков на лошадей да где-нибудь одинокий плач грудного ребенка. Вот уже выросла новая поло-

вина скирда на глазах у Пимана под дружным усилием четырех его мужиков. Солнце давно уже село, окрасив поля оранжевым светом вечерней зари.

— Пора бы закончить. Вот уж по деревням завершили, да и наших разошлась половина по избам, — говорили Пиману усталые дети, утирая рукавами рубах мокрые лица.

— Нынче суббота, не грех и пораньше прикончить, — прибавили женщины, собираясь возле скирда и устало опершись на двузубые вилы, которыми подавали снопы. — Мы нынче бани топили... Вымыться надо сначала, а мы самовар приготовим...

— Надо б и этот сегодня свершить, — сказал старший пиманов сын. — Что ж мы его в половине оставим?

— Будет, будет!.. Управимся после, — восстали женщины разом, — надо работать на людях... И то уж нас жадными прозвали! Всего не возьмешь.

— Правда, — заметил и дед, — надо работать на людях, хотя в труде греха тоже немного... Что ж, пойдемте! Снопы уж свезены с полей... Коли ненастье настанет, все ж они дома: в сенницу после уложим.

— Конечно, что так, — ответили старшие дети, — только все же было бы лучше убраться... Завтра чем свет на подводах уедем.

— Разве что есть?

— Подходили тут Строгие, звали в артель. Взяли они у купца сорок бочек доставить до места.

— Нет на вас угомону, — промолвили жены, — все хотите забрать!..

— Мы не грабить идем. Вам же лишний кусок да спокой... Моли еще бога, что есть за что взяться... Мы не купцы: только работой и живы... Будешь тут жаден!

— Верно: все наше тут счастие, — вставил и дед.

— Когда ж отдохнете? — спросила сердобольная мать. — Ребятишек хотя не берите.

— Отдохнем на возах, по дороге... А ребятишек, пожалуй, до время оставим.

И, сказавши, все тронулись к дому; женщины убрали все лишнее в сенницы и, покрестившись, заперли их деревянным засовом. Тихо шагая, старшие пошли к избам, говоря о цене за подводы со старым Пиманом. Подростки же убирали коней торопливо и в ворота выводили на улицу, к общим колодцам, на водопой.

Улица сразу вся оживилась. Везде у колодцев толпились дети с конями и, напоив их, садились верхом, и парни, и девки, и собирались в общую группу у широко распахнутых дверей, поджидая отставших. Вот, наконец, все собрались и бойкою рысью, весело гикая, помчались в луга, над которыми легкою дымкой собирался туман. Вдали, как будто купаясь среди беловато-туманного моря росы, затопившей весь луг, рисовался табун и, заслышав громкий топот запоздавших своих односельцев, разом приветствовал их громким ржаньем. Ему еще веселее ответили всадники громким «го-го!» и, спрыгнув с лошадей, предоставили их собственной воле — мчаться на призывное ржанье. А сами гурьбой, недоуздки накинув на плечи, назад двинулись, поспешая на ужин.

II

Между тем в избах жены мужьям приготовляли белье, торопливо катая скалками, а дочери — свежие веники из березовых сучьев несли из амбаров. Захвативши все это, двинулись деды, мужья и братья к баням, стоящим толпою у речки. Но на пути их встречал староста и говорил:

— Братцы, из бань вы домой не ходите... Завернитс сначала на сборню под вязом: народ, слышь, с устатку, с уборкой поздравиться хочет... А между прочим, и дело до вас есть.

— Кто поздравиться хочет, пускай бы и пил в одиночку, — заметили трезвые дети Пимана.

— Не у всех оно к разу бывает, — добродушно ответил им староста. — А тут, в общий счет, на миру, всякому хватит по чарке...

— Это верно, — подтвердил и Пиман. — Лучше пить на миру — легче на сердце ложится, чем тянуть в одиночку.

— Что правда, то правда, — сказал староста, старый знакомый Макридий.

Скоро собрался народ в сборное место мирских посиделок, под вязом старинным, у небольшого пруда. Это старое место давно уж, еще от прадедов, выбрано было. Может быть, сотни лет, как этот старик, вяз долговязый, слушает тут мужицкое горе и радость,

песни и пени, видел хорошего много, но и жестокого тоже немало прошло перед ним.

Тут уже много народу собралось, и шумно веселые шутки шутили над слабыми к выпивке, которые все торопили с вином; дрожали они после бани и едва попадали зубом на зуб; лихорадка их била от нетерпения. Но Макридий к их мольбам не склонялся: от артельных обычаев отступить он ни за что бы не позволил себе и, держа на коленях боченок, ждал, когда все соберутся. Буйно ругались они, а над ними народ издевался остротами, и староста сам хохотал.

— Ну, вот и все собрались, — сказал он, когда подошел Пиман с сыновьями.

— Чего ж было ждать их? Черезвый ведь нам не попутчик, — заметили слабые к водке миряне.

— Порядок, — сказал Макридий. — За то меня мир уважает, что блюду я старинный обычай равненья мирского, без послабленья.

— Ну, поздравляю с удачной уборкой, — продолжал он, наливая стакан. — Нынче выпить не грех: уборка наредкость была... Полегчает народу!.. Даст бог, у всех хватит до нового хлеба...

— Коли в кабак не снесем, — молвил сурово из староверской выти старик.

— Эка ворона!.. — засмеялись миряне. — Ты говори, чтобы все в спорину шло!..

— Это вот так!.. Пейте-ка! — потчевал староста в чинном порядке, наливая и каждому сам поднося по стакану. — Главное дело, первее всего, подати справить, чтобы недоимок за нами, как и допрежде, не значилось... Это первое дело: чтоб нас не тягали, чтобы начальства у нас вовек не видали... Мужику это первое дело! Мужика только раз тронь — загубишь совсем и вовек не подымешь... Вот вам пример, мужички: Пиманова выть... Сами вы их за лютость к работе «жадными» прозвали. Вот, посмотрите: счастливее нет мужиков! А отчего все? оттого, что весь век все хозяйство свое охраняли: раньше всех встанут, позже всех лягут, нигде уж труда не упустят, лишь бы волка к овчарне не вадить... Лучше глотку заткнуть ему, только бы не шастал он у дворов... Раз повадится он — долго возиться придется!

— Вишь ты, какой проявился учитель! — шутили миряне. — Али не хочешь в холодной сидеть?

— Не сам от себя говорю: так нас старики обучали, — говорил мягко и плавно тонко-дипломатичный Макридий Сафроныч, пока мир пил вино да дакал и такал в ответ.

Впрочем, не все выпивали: были такие, как пимановы дети; они трезвость блюли неуклонно и к пьющим вино относились строго, зная, к какому оно униженью доводит. А им, почитаемым всеми, униженье такое было бы хуже раззора. Но все же они не сторонились, как выть староверская, от артельных обычаев и, чтобы миру глаза не мозолить, пили в складчину чихирь с другими, не пьющими водки.

Ныне собрались все семь вытей, по вытному с каждой, да от двора по хозяйскому члену (молодежи здесь не было видно сегодня: устала она и близ матерей, что готовили ужин, пригрелась). Были тут выти: Сохатых (или, что то же, Коты), выть Мерзлых, Пиманова выть, что прозвали «жадной», Мосева (наших старых знакомых, Мосея детей с Клопом и Сатиром), выть Строгих и выть староверов. Такие прозванья окрепли за ними от древних родов, которые первыми некогда сели в этой зеленой ложбине. И не только названья остались, но и теперь еще можно подметить в каждой выти каждому роду особый свойственный склад. Из Сохатых — кряжисты, низкорослы, толсты, бородаты; все упрямы, несговорчивы, тупы и прозванье несут «поперешных»; любят выпить, но, выпивши, все становились еще «поперешней», и хотя добры в душе, однако часто в образ звериный приходят и немало, по тупости, злого приносят... Коты — говорливая, мелкая, юркая выть; красно говорят и хоть доброе дело непрочь совершить, но за ним никогда не забудут тонко и свой интерес провести. Староста Макридий Сафроныч выти той вытный. Выть Строгих — благообразна и чистоплотна; любит почтение к старшим в доме, повиновение детей, строгость в одежде и в пище и в отношениях к ближним. Любит давать милостыню, но любит при этом сказать и резонную речь в поученье и часто своей «справедливостью» перед всеми кичится. Староверы — то скрытный, сердитый и молчаливый народ-особняк; эта выть никогда не позволит мешаться себе

с другими вытями, крепко глядит за своей усадьбой, стараясь селиться в особый конец; крепкие держат замки у ворот и у усадьб загороды. Много тут было еще мужичков захудалых: они приставали то к той, то к другой из главных вытей.

— Ну, и потешил нас ноне Пимаха твой! — сказали миряне, обращаясь к Пиману. — Экая жадность! Экая лютость к работе!.. А вот, поди, из солдат давно ли вернулся!

— Ноне поменьше их портят, — заметил Пиман, — хоть и три года с ружьем повертится, а все же мало склоненья имеет к этой забаве. Пришел, улыбается: ну, говорит, развязался! Только и думал, скорей бы домой! Вышел во двор, ходит меж коней, старых ласкает, а новым смотрит и в зубы, и в хвост... Так и скотину он всю осмотрел... Любо ему!.. «Ну, говорит, теперь меж своих!» Сохи, бороны, косы — все осмотрел, пробует, вертит в руках...

— Хорошо, кому в сильный двор придется вернуться... Да счастливых таких-то немного! — возразил один мужичок захудалый, скорбно мотнув бородой.

— Видно, миряне, голодный счастливому не пара! — заметил, лукаво смеясь, странный мирянин, который один, казалось, в общем труде и довольстве не принимал никакого участия. Засунувши руки в карманы, давно он стоял в стороне, прислонившись к старинному вязу. Пимановы дети угрюмо наморщили брови. Старик сам Пиман осердился. Но тут вдруг поднялся лохматый приятель Пимана, с больными глазами, Мин Афанасьич.

— Стойте, стойте!.. Что правда, то правда, — сказал он, поправив на плечах худой полушубок, — только не в том тут дело! Стойте, я вам расскажу... И раньше не был я очень чтоб счастлив, сами вы знаете, к тому ж, зашибались мы с братом вином; шла битва у нас денно и нощно, жены бранились, ребятишки ревели!.. Где ж тут крестьянству итти!.. Тяжко мне стало... Вот, поссорившись с братом, в раздел мы вступили: из-за каждой колоды бранились, дрались, судились... Такая битва шла! Думаю, что же я тут убиваюсь на трудной работе?.. Плюнул я, землю оставил и свою половину избы досками забил: ушел с женою и с ребятами в город... Тут повезло нам, не долго бились в нужде: к купцу нас пристроили в дворники, двор стеречи. Жил

он один, хоть и богат был, и дом был обширный; все богу молился да постничал, ни к кому не ходил, и к нему-то боялись ходить... Скуп был, за то временами запьет, тогда деньгами сыпал без счету. Перепадало и нам, случалось... Да после запою вдруг на него нападала боязнь, и тогда он меня всем ублажал, чтоб только был я ему верен. Житье было всласть: сиди у ворот целый день, или лежи на печи: пироги лезут в рот сами. Только ночью ходить вокруг дома надобно было да бить неустанно в трещетку... Что же, братцы мои, ведь году не выжил! Тоска обуяла... Бывало, деньжонки коли перепадут, все в кошелку с женой зашивали: вот поедем в деревню, купим коня, коровенку, овец, только и мысли было...

— Так, это так, — подтвердили миряне.

— Да что: в слезы, бывало, от скуки... ей богу!.. Что мы за люди здесь, думаем, ровно псы приворотные! Только и честь нам... В чем наше дело? Купца беречь по ночам, на ветер лаять, чтобы спать ему было не жутко... Вот как-то от этой тоски и пошел я в побывку в деревню; на жнитво вот так же попал... В деревне никем-никого: подошел я к нашей старинной избе; гляжу — развалилась... от трубы только два кирпича торчали на крыше. Стекла в окнах повыбиты... Ну, думаю, плох брательник живет... А поди, сколько работы и нужи подымет! Тут ведь работа не наша: за тем присмотри, за другим; тут торопись, да и там не зевай... Вышел я в поле, гляжу — весь народ там собрался. А в матушке-ржи, словно в реке, плавали бабы и девки. А мужики по задворкам уж скирды навивали!.. Подошел, говорю: «Бог в помочь, братцы!.. Как дело?» Говорят: «Слава богу!.. Мы ведь не горожане: вот наше дело все тут! Посмотри-ка, рожь-то какая, в рост человечий! Вишь, каких королей намахали! Каждый скирд ноне в полтора раза выше кладем! Скажет спасибо нам царь и народ, да и вы, горожане: ведь вы тем и живы, что мы на базар привезем... Коли мы не приедем к вам, тут вам и с деньгами смерть!» Смеются! Гляжу — брательник мой тут только меня увидел, отвернулся и шапки не снял... Стыдно и мне к нему подойти... Стал я, смотрю на народ, как он работал, ровно один человек, дружно и ходко... Вот что Пимаха теперь, помню я, так же на скирде парень стоял и гигикал во все вольное

горло... А народ, ровно вдогонку за ним, напрягался... «Брат,— говорю, — дай завершу тебе я одонье!» Мастак был когда-то на это! «Ну-ка, попробуй, — смеются, — как ты с жиру на нем станешь вертеться?» Залез я... глянул кругом — на леса, на луга, на народ... да до ночи и проработал! А пошабашивши, так же вот миряне собрались тогда к кабаку: поставил я им на поздравку четвертную бутыль... да как выпил малость, упал я тут в ноги нашему миру: «Братцы, дайте землицы... Буду крестьянином верным!.. А блажь мне простите». — «Дать мы дадим, — сказали (старики, чай, вот помнят), — а за то, что ты блажью своей теперь мир утесняешь землей, ты должен понесть наказанье — выставить миру ведро, да заплати в благодарность тому, кто твою землю холил». Так вот оно что! Чем тебя бог ни попустит, хошь бы в золотые хоромы загнал, только земли не чурайся... Да что мы! Вы вон наших деревенских купцов посмотрите: то ли не жирно живут, лесами торгуют, барской землей, а в своих деревнях лапоть свой ни ввек не покинут, дурак разве случится... Что это значит? Ась? То-то вот: значит, другое все тлен! прахово дело!.. Крепче мирского лаптя мужику не найти... Вот оно — дело какое!

— Красно говоришь ты, — сказал старовер, ворчливый, угрюмый старик,— а я так полагаю, что на вас тогда с братом отцовской плети хорошей не было, да мир не учил вас... Были бы тогда и счастливы! Счастье плохое, коли отец сыновей, а мир молодых распустит из власти!.. Видим теперь мы, к чему подошло все!.. Раздоры, гульба, пьянство, распутство!.. Да им еще землю подай!

— И я скажу тоже, — заметил из Строгих один, почтенный отец. — Хорошо говорить тебе, Мин Афанасьич, как ушел ты в город в летах. А вот как народ молодой бежит туда чуть не подростком: что из него выйдет? Гуляка, охальник!.. Придет — ему слова не молви, девку берет, не спросясь, какую захочет, и сейчас же в раздел, наособицу! Не смей ты ему наставленье прочесть, али на жену крикнуть построже... Вон мать с ребенком здесь ждет... Вот, давно ль отделились, семью всю смутили. Отец, вишь, дерется! Отец, вишь, охальник!.. Мы сами себе господа! Ну, ушли... А что вышло: сбежал мужичонко, бабенку с сынишком оставил одну... Что ж, помогайте, миряне!..

— Братцы, придет он, ей-богу, придет, — взмолился Мин Афанасьич, — право, придет, вот поверьте же слову! Блажь нашла, погулять захотел... А притти — он придет!

— Что говорить, неотменно придет!.. А мы будем миром, пока он гуляет, кормить его семью!.. А он за спасибо нам басню расскажет: где был, что видел, — с насмешкой, сердито сказал старовер.

— Почтенные! — крикнул Макридий Сафроныч, — наказать мы его безотменно должны, коль вернется: всыплем ему штук пятнадцать горячих — и будет наука! А семья ведь тут не в ответе... Она чем виновата? Вот мальчуган хоть — вырастет, будет такой же мужик, что и мы, может и нас будет лучше!.. Я вот не помню, а стариков вы спросите: вот наш Пиман ведь тоже миром был вскормлен с сестрой... А сестру его, няньку мирскую, кто не знал? Стара теперь стала, а прежде мы знали ее хорошо: у матерей на нее только и было надежды, как уходили в поля. Вернее ее никто за нами, ребятами, не уследил бы... А Пиман, так вот он пред вами. Мужик в полном виде, и бог его счастием взыскал!.. Всем нам пример!..

— Что же, счастливые пусть и мирволят гулякам, — сказал старовер.

— Счастливым с голодным не грех поделиться, — ядовито прибавил стоявший у вяза мужик.

Его звали Борисом. Когда еще клали скирды, Борис этот так же, безучастно ко всем, то лениво ходил, то, прислонившись к какой-нибудь сеннице, смотрел на работу, а народ говорил: «Что, Борис Пиманыч, гуляешь? Лучше помог бы кому... Не у всех работников, что у Пимана!» Но Борис, посмотрев равнодушно, засунувши руки в карман, проходил.

— Коли мир, так счастливым всем надо быть, — поддержали его из толпы захудалые люди, хитро смеясь и прячась за спины хозяйственных вытных.

— Дураки! тем и счастливые живы, что голодные есть, — засмеялся Борис.

— Что ж это, братцы? — заговорили дети Пимана, вскочив, торопливо волнуясь и перебивая друг друга. — Что же вы в самом деле корите нас счастием? Чем провинились? Тем, что с утра до полночи работаем? Что живем мы без ссор и без драки? Что на других

с нахрапом не лезем? Что по кабакам мы не ходим? Что подати нами справлены все начистую? Что не водят у нас со двора лошадей и коров на продажу? Что не тянемся мы по судам? Что блюдем свою честь и зады под мирскую лозу не доводим? Это, что ль, счастие-то? А чем мы его заслужили? Чего оно стоит? Кабы эти кабашные гости, что здесь укоряют, кому не зазорно, после пропоя, валяться в ногах у богатых, да подставлять свои спины под розги (на нас, мол, не виснет!)... кабы знали они, чего счастие-то наше нам стоит! Небойсь, говорить они любят, а попробовать этого счастия их нет! Вот где это счастие, да, здесь, — показали пимановы дети на здоровые, сильные руки и на широкие спины.

Но тут вдруг выступил прямо на них молчавший дотоле, желтый, длинный, сухой мирянин из Сохатых, Ермил, больной, с провалившейся грудью, и в сильном волнении, махая сухими руками, долго сбирался что-то сказать. Но тонкие губы дрожали от гнева и лихорадки, и вместо слов выходили из груди лишь сиплые стоны.

— Я... я... работал, — чуть прохрипел он.

Все тут замолчали, и даже пимановы дети не нашлись что сказать: пред ними стояло мужицкое горе.

— Эх, мужики! вздумали что: мужицкое счастие делить! Вот вы кого посмотрите, — вскрикнул хитроумный политик Макридий Сафроныч. — Ну-ка, Влас Петрович, двинься сюда... Да не стыдись!.. Полно! Человек, чай, знакомый!.. В гостях у меня.

Тут выпихнул он пред миром полегоньку мирянина из Пузырей: толстый, низенький, с брюхом большим, в красной рубахе, на поясе ключик, сапоги смотрят врозь, а ноги — что тумбы; после бани надутые щеки так и пышут. Стоит, улыбается, словно красная девка, да Макридию грозит кулаком. А Макридий хохочет.

— Вот смотрите! знаете, чай!.. Был такой же сухой, что Ермил, да бог наградил наследством... Ушел в Доброе, в волость, к купцам, вывел хоромы, давай землей торговать: через год налился, что пиявка... Пять лет был в купцах, да вдруг и пошло прахом все: в одночасье начистоту обобрали... Тут он поскорей дай бог ноги; перекрестился, да в деревню к себе, да к своей полосе, вот теперь он по ней, что пузырь, и катается... Жарко, ноги вязнут в песок, пар из него,

что от каменки в бане,— ничего, сам кряхтит за сохой, да и земля под ним стонет!

Весело сделалось миру, и даже угрюмые рассмеялись на этого гостя — Власа из Пузырей.

— Так вот оно счастие, — закончил Макридий, — не нам его усчитать. Давайте лучше равняться, как сможем... Пусть, кто сильнее в миру, тот больше и тягости примет... Это будет по правилам.

Ему тут хотели сказать пимановы дети: «По правилам так, а по-божьи кто же сильнее-то: он ли, что лавку имеет да лошадьми торгует, а земли берет всего на две души, или опять все они же, у которых пуп трещит от работы?» Но их дернул за полы Пиман, да кстати и два старика помешали: весь мир ими был занят и дружно смеялся. Два свата старых сцепились, что петухи: тоже о счастии заспорили.

Сват Парамон говорил, что был бы-де он счастлив, коли б не невестка его, смутьянка и дому всему разорительница. Но тут сват Сысой наскочил на него с такими словами:

— Я сам был бы счастлив, когда бы чорт не спутал с тобой!.. У меня бы теперь сватом купец был Грачевский, не то, что вы, сбитые лапти!.. Да чорт угораздил тогда с тобой лишнее выпить: ну, «приятель да друг!» Мир тут ввязался: сватать давай. Вот мир, водка да чорт и попутал!.. А ты бы за мою-то дочь вечно в ногах мне валялся. Ведь вы только ею и живы.

— Кто?

— Вы, лежебоки, с сыном только на печке бока парите. А она...

— Что она? Хвост да язык треплет по чужим избам. Вот она кто!.. Она лиходейка!

Так два свата бранились, пока не развел их Макридий.

— Стойте! что вы! Вот старичишки!.. Люди собрались степенно выпить после трудов, а они, вишь, смуту подняли какую! Братцы, вперед не давать им мирского вина.

— Не давать, не давать! — мир шумел и смеялся.

— Все это вот наши Пиманы, — заметил Макридий. — Чем бы тихонько, ладком бы, а они подняли спор, счастие мужицкое стали усчитывать...

— Все мы же опять виноваты? — спросили пимановы дети.

Но Макридий Сафроныч в сторону от них отвернулся и ничего не ответил.

Все замолчали. Такое молчание в миру не всегда бывает к добру; часто за ним вдруг поднимается буря: семья на семью, выть на выть наступают — и всю подноготную в жизни друг у друга поднимут. Да нынче словоохотливый Мин Афанасьевич был в духе, а когда он в духе, то молчать не любил. Случалось, за это пристрастие его и бивали.

— Даст бог — объявится правда: всех уравняет! — выкрикнул он петухом. — Уповайте — одно! Говорил уж вам: из-за плошек, ложек да жениных тряпок деремся, а большего не видим. Шел я вот как-то, в то еще время, как с братом делился, в город. Иду да тихонько реву: за что, мол, мне такая неправда? Нагнал меня старичок, пошли мы с ним рядом. «Не горюй, говорит, всему, говорит, свои времена есть и сроки. Объявится правда крестьянству. Крестьянство — держава всему! Разорить до конца его — бог не попустит. Ежели б так, непочто было б ему родить и народ. Все крестьянством крепится: не стога, не скирды, вишь ты, это стоят, — показал он мне на поля, — а золото ссыпано тут! Все им сыты: царева казна, и солдатик, и барин. Так-то! Неправда, говорит, слышь, любезный, минует; царские очи прозрят, и объявится царский приказ — поравненья. Тогда и ссоры, и драки не будет. Все, слышь, возвратят мужику, все тому, кто у хлеба стоит, кто его, батюшку, растит. Потому хлеб — вершина всему!» Вот мне что спутник сказал; и верно то слово! Я вам говорил уж, что сталось со мной. Чего же нам ссориться? Чем браниться, лучше уж выпить еще, чтобы и нам, мужикам, из этого злата что ни то за труды перепало. Так ли, миряне?

— Что говорить, приятную речь приятно и слышать! — мир подхватил, и все засмеялись. — До водки доехать всегда ты сумеешь... На что на другое тебя нехватает, а на это хватит! — острили миряне, но, видно, по сердцу пришлось им, что Мин Афанасьич нынче так кстати «сболтнул» (что, по их мнению, с ним не часто бывает). После слова такого можно нынче разойтись и без ссоры.

— Ну да ладно, — ответил Мин Афанасьич, прячась

за спины мирян, — пусть уж водка, да ссоры бы не было только.

— Верно, верно, выпить еще б не мешало!.. Что ж, в самом деле, не грызться ж! — подхватили и слабые к водке.

Но тут подошли уставшие жены: они не совсем разделяли слишком умильные взгляды Мина на водку.

— Будет вам, будет... Лучше усните покрепче, вот вам и мир, — говорили они. — И себе и другим отдых дадите! Ступайте, давно самовары готовы и ужин.

— Эх, холодно после бани! Еще б не мешало стаканчик, — слышалось с разных концов.

— Полно вам! — говорили и жены, и трезвые люди. — Вишь, теперь как на деревне тепло, как обставились сеном и хлебом кругом! Словно паром из бани несет!

— Смотрите, с огнем осторожней пуще всего, — напомнил Макридий Сафроныч.

— Всяк за себя побоится, не бойсь, — староверы заметили тихо, — а вот те, у кого ничего нет...

— Полно вам! экий народец! Что вы на ночь пужаете мир? — накинулись все на староверскую выть. — У нас еще, слава создателю, не было видно сроду, чтоб когда хлеб крестьянский сгорел от поджога.

— Верно, верно... Есть конокрады, воры, убийцы, безумные и неразумные дети, что по глупости избы сжигают, а злодеев таких еще мир не видал, чтоб пускать в мужицкие скирды огонь!.. Страшно сказать! Лиходею тому уготована черная смерть: кусок не пойдет ему в горло, и все, что ни съест, выбросит вон из себя, исхудает, как щепка; останутся кости да кожа; а умрет — и в земле ему не будет покоя: могилу его разрывать будут волки, а кости растащат вороны, — рассказывал Мин Афанасьев.

— Говорят, что до третьего будто колена все в роду анафема-прокляты будут.

— Инако нельзя! Хлеб держава всему! Хлеб да земля сами себя охранят, коли будет их у крестьянина вдосталь!.. — сказали миряне.

— Ну, прощайте... Пойдемте уж спать... И так заболтались... А завтра с выти по подводе выставим в помощь вдове: только ее полоса и осталась. Свозим

да уж на жниво и пустим скотину... Ладно, что ль? — заключил Макридий Сафроныч.

— Ла-адно! Чать, не в первой, — отвечали миряне.

Медленно двинулись все они группами к избам и долго еще толковали, смеясь, о счастии мужицком.

III

Пимановы дети ушли следом за матерью, приходившей их звать, а старик с другом старинным своим, Мином, двинулись после, неторопливо шагая, руки закинув за спины и бороды вниз опустив. То были приятели давние. Мир деревенский давно привык видеть их вместе, хотя они во многом не были схожи. Взять одно: Пиман был рослый, сухой, сутуловатый мужик; ходил он, ерзая оземь ногами, выпятив голову, шею и грудь, словно по пашне, напирая на соху. Кто бы ни увидел его, сразу признал бы в нем земледельца: нос мясистый, широкий у ноздрей; пухлые красные губы и белые прочные зубы; голубые глаза — смирные, мягкие и как будто сонливые даже; уши большие, круглые, мягкие тоже; борода же, хотя он чесал ее только раз, после бани, не сваливалась в колтун и косицы. Таких мужиков любят наши хозяйные бабы: вымывшись в бане под праздник, в чистых рубахах, смирно сидят они в прибранных избах за чисто выскобленным ножами столом, и благодушно-ленивая улыбка не сходит с их лиц; они всем довольны: в бабьи дела не суются, не ворчат попусту. А бабам и любо, что хозяева их, что короли, сидят великатно и чинно. С такими мужьями до старости живется счастливо, хотя, может, нередко молодые бабенки из-за спин великатных мужей поглядывали на кудрявых лихачей... Ну, да мало ли блажи какой не бывало! А вот после, когда воспитаешь семью душ в пять-шесть, когда за хозяйством проходишь полвека, как сладко и тепло спится около смирного мужа!

Хотя также был смирен и добр приятель Пимана — Мин Афанасьич, но все знали, что это другой человек. Он мал ростом, низок и жидок; волосы у него словно сено, а лицо постоянно смеется; ходит ли он, говорит ли — все как-то восторженно: машет руками, ногами

топочет, бороду треплет... «Разве это мужик?» — как будто над ним постоянно смеется деревня. И действительно, вот Пиман — посмотрите, в нем словно живет вся деревня, как будто он носит всюду с собой, невидимо, весь обиход деревенский. Так все в нем соразмерно деревне. Иначе его не представишь себе: идет он, и кажется, будто вот тут, перед ним, соха скрипит тяжко под могучей рукой, вцепляясь железом в засохшую землю, лошадь, высокая, статная, так же как и Пиман, напирая широкою грудью, мерно шагает, тяжело подымая ноги и в такт им тряся добродушно ушами. Обоз ли представишь — и опять тот же Пиман, та же лошадь в ногу ступают и вместе с возом как будто скрипят и пыхтят. Во дворе ли увидишь его — с ним жена, работящая, степенная, строгая баба, крупно шагая, ходит из закута в закут, с крупой и мукой, с водой и корытом, от птицы к скотине; вот тут и корова сытно жвачку жует и добро-сонливым взором спокойно лениво смотрит вокруг. Так гармонично все, так немыслимо тут одно без другого. Так же все соразмерно связано здесь, как и в природе самой, и молчаливо торжественно совершается мирный процесс органической жизни, как будто пущенный в ход чьей-то стороннею властью. Тут и признака нет, чтобы кто кем-нибудь управлял: почва ли корнем или листьями стволов, или туча все здесь оживляет, или ветер эту тучу направил, или река, поднимаясь парами к небу, ее родила? Кто ж тут важнее: река ли, почва ли, ветер, туча?.. Одно без другого — ничто. Таков был счастливый мужик.

Другое дело Мин Афанасьич.

— Так-то, Пиман Савельич, — говорил болтливый Мин Афанасьич, мигая глазами и часто семеня босыми ногами, спеша за солидным Пиманом, — говорю я: где битва, там крестьянству разор... А все ведь пустое, так, перекоры, бог весть за что, чего делят... друг другу перечат, хитрым обманом обходят, злоба, ненависть... Велик ли наш мир, а вот уж успели чуть не подраться: зависть все... Все из пустого!

— Так думаю я,— проговорил молчаливый Пиман,— оттого это ноне, что всякому стало вольнее, а миру теснее. Прежде было так: прежде было тебе утеснительно, да зато миру просторно!..

— А почему все? Потому что битва... Хотел мужичок воли, ну, царь говорит: вот тебе воля — воюй!.. Кто кого одолеет! Ну, и пошли воевать — и мужичок лютует, и барин лютует. Война и шабаш! Какой тут мир, коли война?.. В миру мир и должен быть! Мир в мире только и живет... Вот почему, друг любезный, и миру пошло утесненье: всяк за себя, за мир — никого!

— Оттого и народу стесненье, — добавил Пиман.— Кто-е знает, что уж и будет!.. Где нам воевать? Так думать надо, что нам всего хуже и будет... Да как же инако?.. Мы народ робкий... Только и живы работой... Что уж будет — и страшно подумать!.. Прежде, брат, как-то спокойнее было... Тишь была... Как-то все само собой шло... Главное, дум этих не было... Как о барщине, больше ни о чем и не думалось... В миру пред барином все равны были: земли было много, а коли кому недостача — барин достанет... Сосед забижает — опять же барин заступа: пусть там, как знает, одумает... Ну, а теперь, сам все подумай... А где же нам думать?.. К этому мы непривычны... Теперь же, послушаешь, всякий несет слухи и смуты отовсюду... Молодежь вон теперь обо всем говорит уж: придут к Покрову с заработков — чего только не порасскажут!.. И об купцах, и об барах, и об царских указах... Признаться, мне, старику, уж и жутко как будто.

— Не тоскуй, друг... Помалкивай только: всему времена и сроки. Все прейдет, только одно не прейдет — крестьянство да хлеб! Объявится правда, и будет над всем владыка один — мужичок! И мир будет в мире!.. Это вот только дураки староверы толкуют, что, мол, последнее время пришло... Да разве то можно, чтоб бог мужичка изничтожил? Может он, создатель, нас за грехи покарать, да и то по времени, по месту — где голодовкой, где хворью, да и то в расчете таком, чтоб был где ни то урожай.. Чтобы все ж не свести всего роду людского! Мужичка сведешь раз, тут и миру конец!

Так толкуя, наши друзья подошли к дому Пимана. То была большая изба, старинной и прочной стройки, в шесть окон, хотя из старинного крупного леса, но из коротких брусков. Видимо было, что она разрасталась по мере того, как вырастала семья. Теперь уж с ней рядом был заложен кирпичный фундамент: то был

предмет самых жарких мечтаний Пимана и самых усердных забот. Прежде, когда было много лесов, клал хозяйный крестьянин для внуков избу из дубовых бревен; теперь уже сделался предметом его домогательств кирпич. Прочна, вековечна такая изба, а от пожаров лучше не надо! И долго же строит такую избу «счастливый» мужик, если вздумает вывесть ее одними своими трудами. Так и Пиман с сыновьями: третий уж год как в извоз ходят они на кирпичный завод, чтобы заработать кирпич; и полегоньку, исподволь, идет приращенье избы: нынче выведут две-три кладки, на другой год — еще три, и думать надо — придется женить правнуков, прежде чем будет готова изба и покроется крышей... А бог весть, может, и так суждено ей застыть, не поднявшись до половины: «мужицкое счастие — вода!» Так часто раздумывал робкий Пиман, глядя на новую стройку, и все пуще с детьми напрягался в работе, чтобы как-никак поскорей увидать завершенным труд многих лет.

Он и теперь было остановился с Мином у стройки, чтобы передать ему снова свои упования, расчеты и опасения. Но из окна тут окрикнула их Катерина.

— Отец, чего ж запоздал ты? Мы ведь ждем тебя... Людям тоже надо вздохнуть... Гляди, уж недолго — займется заря, и опять подыматься, с подводами ехать...

— Чего ж меня ждете?.. Чать, я вас никогда не стеснял... Ешьте, спите, как всякому надо... А мне ведь немногого нужно, — ответил Пиман. — Зайдем, коли хочешь, Мин Афанасьич. У вас ноне пьют ли чай-то?

— Не знаю; чай, пьют, — сказал, почесав поясницу, Мин Афанасьич. — Да не хочется мне к ним итти-то сегодня, пущай пьют одни... Признаться, ноне мы с брательником опять поругались... У нас ведь не то, что у вас: мы народец неровный... Порох — одно!.. Мало чуть искра запала — вот и пожар!

— Что же у вас?

— Все из пустого!.. Да я не говорю... Я вот, потихоньку, чтобы шуму не делать и им на глаза не казаться, уйду прямо на сенницу, да там и высплюсь! Важно теперь там: тепло и душисто!.. А пока, пожалуй, водицы с тобой потяну.

В избе, за столом, сидели бородатые дети Пимана, наливая жиденький чай и отирая потные лица; мать-

старуха подавала им хлеб и творог; то была высокая баба, в черном платке и изгребном сарафане, с лицом худым, но приятным и умным, с губами, всегда сжатыми плотно, и с большими глазами, упавшими глубоко в глазницы, из которых они блестели уже потухавшим огнем, — все в ней говорило, что была она когда-то и бойка, и красива. И теперь, под привычным смиренным степенством ее, можно было подметить ту силу, что не бросается всем на глаза, но невидимо все направляет. Много женщин таких в наших селах. Их трудовая, тяжелая доля в крестьянстве и выходки грубой мужицкой силы над ними нередко заставляли в ней видеть «раба» без силы и воли, подобно волу. Но часто на деле всем невидимо руководит она, эта «раба» — мать молодых поколений. Женщина в деревенской семье — неустанно творящий художник: чувством она охраняет мир очага и до гроба в себе сберегает искры любви, которые в муже давно уж погасли; чувством же постигает она часто то новое в жизни, чего муж или не видит, или не хочет признать, или же просто не понимает и робко пред ним отступает. И вот, незаметно, изо дня в день намеком и словом невольно она его увлекает в ту сторону, куда он ни за что не решился итти.

Такова была Катерина Петровна. Когда-то (о, как давно это было!) любила она молодого краснобая, кутилу Мина... Почти уже дело было решенным, что быть ей за ним, но вдруг она обвенчалась со степенным, молчаливым и ровным Пиманом. Чутко ей говорило сердце, что в нем будут жить те начала, на которых прочно и крепко установляется жизнь. А любовь — это песня, улыбка, цветок: расцвели и пропали. Скучно ей было сначала с Пиманом, и в первые годы замужества она убегала по вечерам к девкам и парням, и к тому же удалому Мину, и с ним часто в лес уходила. Сказали Пиману. Пиман осердился. Но Катерина Петровна искренно так уважала его как хозяина дома, как хранителя и владыку семьи, что не могло быть сравнения между игрою молодой крови, плотским влечением и тем чувством, которое она питала к нему. И то была правда.

Когда родился у них сын, взяла она в твердые руки хозяйство, и вот сорок уж лет, как верным и неизменным спутником служит Пиману. Детей у них пятеро:

дочери две и три сына. Старшая дочь и младший сын скорей на отца походили: так же спокойно-медлительны, ровны, мягки и трудолюбивы, и бойкости было в них мало: медленно и спокойно текла мысль в их мозгу и кровь в жилах. Но старших два сына (один, самый старший, Борис, давно в разделе был и с ними уже не жил) и младшая дочь много носили в себе материнского: живее как будто двигалась кровь в них, светлее и чище был мозг, сердце билось сильнее и чутче, и в труде больше сознательно-бодрой энергии было. Да и по внешнему виду они резко носили ту же печать: одни белокуры были, в отца, а те, что в мать, черноваты; первые были на взгляд симпатичней, но вторые—красивей. Зато если первых сразу полюбишь, то о вторых долго и пристально будешь раздумывать: непобедимо загадочным чем-то веет от них. Так ясна, знакома и дорога иногда нам книга прошедшего, и так загадочно-заманчива еще не открытая книга будущего.

В избе теперь только два сына сидели и ужин кончали. Жены и малые дети давно улеглись, каждый на своей половине. А молодежи тут не было видно: откуда-то только в растворенные окна доносились говор, смех и громкая песня Пимахи-внука.

— Мир вам! — приветствовал Мин Афанасьич.

— Спасибо,— ответили дети Пимана.— Садитесь!.. Мы уж попили... Больно долго что-то вы шли... Али устали?

— Так, поболтали кое о чем со стариком, — заметил Мин Афанасьич.

— Ты уж известно: сказку затянешь — не скоро тебя остановишь, — шутливо сказал старший сын. — Вот и сегодня мир намутил...

— Что ж так? Кажись, ноне я смирно, — испуганно вскинув глазами, сказал Мин Афанасьич.

— Пора бы тебе это бросить... Поведенье плохое, — продолжал уж серьезно старший сын.

— А что ж я?

— К чему нас ты счастливыми славишь везде, в дело, не в дело? Что мы в самом деле за богачи?.. А народ тут и рад...

— Ну, оставьте об этом... Будет уж... Что привязались, — сказал недовольным тоном Пиман. — Лучше потише, ровнее... Уйдите в себя.

— И то правда, не за худое ведь назвал вас Мин

Афанасьич счастливыми, — прибавила и Катерина Петровна, — за работу да за старанье.

— Он-то так... А другие...

— А другие найдут свое завсегда... Оставьте!.. Слава богу, собрали хлеб... Убрали поле... Надо благодарить, а не то что перекорами бога гневить... Пока ничего, а дальше что будет, тогда и увидим... Давай-ка, старуха, нам хлеба!

— А я вот так полагаю, что счастлив-то ты, Мин Афанасьич, — лукаво сказала Катерина Петровна, поведя на него глазами, вспыхнувшими как будто из-под пепла огнем. — Нам за твоим счастьем не угоняться!..

— Это вот верно, — подхватили братья.

— Мы вот счастливы, — продолжала она, — пока у нас все в достатке да в мире, пока хозяйство идет колесом!.. А чуть нас прижмешь, чуть господь огорченьем попустит — тут и нашему счастию конец: пойдет недовольство, тоска, станем сердиться один на другого, виновного будем в каждом искать... А ты, где ни сядешь, все тебе мило! Что птица: сядет на землю — зернышко клюнет, сядет на ветку — поет!

— Вот это так!.. Мать тебя знает! — крикнули дети и громко смеялись. — Так ты уж вперед на миру так и кричи: я, мол, счастливый!.. А нас-то оставь... Ну, прощайте пока... С вами не кончишь до утра... А нам ведь уж скоро ехать... Неравно скотину, мамка, погонишь, толкни нас!..

— Ну, ступайте... А мы уж, на старости, и отдохнем... Ну-ка, старуха, дай нам винца! Вспомним мы с ним старину...

— Вот хорошо... Эх, хорошо!.. Пусть их, молодых; нам уж с ними не жить! — воскликнул Мин Афанасьич и рядом за стол уселся с Пиманом.

— Ну-ка вот, старички, померяйтесь лучше друг с другом: кто счастливее прожил... Нам ведь уж можно счеты свести, — сказала Катерина Петровна, ставя графин.

— Чай, пора... А может... бог знает!.. может, жизнь и в чужой еще век заведет!.. Раньше смерти счета не сведешь! — заметил Пиман Савельич, наливая Мину стаканчик. — Ну, приятель, так в чем же нам счастие-то было, а?

— Прожили — вот тебе раз; прокормили себя и дру-

гих — вот тебе два, да и напередки работников миру оставим... Вот тебе и мужицкое счастие! — ответил Мин Афанасьич.

— Слава создателю!.. Нынче год был хорош... Как-никак, может, справимся все... Народ, может, продержит и себя и скотину до нового хлеба, да и подати, может, осилит... А то, что уж! Беда! Вот три года тут было: земли своей мало, аренды большие... Без урожая убыток один... Сколько свели на базар за уплату аренды скота ни за что! Прежде не знали мы это...

— Тесно, тесно, Пиман Савельич, народу...

— Ну-ка, старуха, выпей и ты с нами... Нонче всем подкрепиться не грех. Тебе будет с нами не стыдно! — пошутил легонько старик.

— Чего стыдно! — сказала Катерина Петровна и опять повела лукаво глазами на Мина. Но Мин Афанасьич стыдливо опустил бороду вниз и долго боялся взглянуть в лицо своей старой зазнобе.

Выпили; плотно поели моченых груздей, чаем запили.

— Где ж молодки?.. Неуж все гуляют? — спросил Мин Афанасьич.

— Слышишь, чай, вон это твой заливается! — отвечала Катерина Петровна, — Яким твой, Пимаха, Анютка да Пашка мои. Нет им устатку!.. Пашутка от мужа бежала: выпил лишку, буянит да куралесит — выгнал ее... Парень всем бы хорош, да рассудок теряет в вине, а у него и так его мало; добер, работящ, сердцем тепел и мягок, ну, а к жизни приглядки не знает... А как выпьет — совсем уж дурак... Да он по Пашутке!.. Пашутка сама к нему виснет. Прибежала сегодня, ревет, а теперь вон с молодыми гуляет, пока муж не уснет да дурить перестанет. А назавтра сама на шею повиснет к нему!.. Хорошо оно жить так пока, да после-то трудно, трудно будет, — закончила мать и задумчиво взгляд опустила.

— Ну, старик, за молодыми нам не угнаться, — сказал задремавший Пиман, — им вон и работа не в усталь... Кровь молодая свое возьмет!.. Не пора ли нам к месту?

— Что ж, пожалуй... Я уж прямо на сено.

— И я тоже... Тепло там теперь, ровно на печке!..

— Да шли бы вы вместе к нам в сенницу, чем порознь... Все ж веселее было бы спать, — сказала жена.

— И то!.. За нами ведь не грудные ребята... Пойдем, Мин Афанасьич!..

На улицу вышли сначала, поглядели на небо. Покоились мирно на нем бледные звезды, только порой, словно внезапно сорвавшись, одна за другой быстро слетали и, загоревшись ярким огнем, исчезали во тьме горизонта. Где-то зарница играла. Тихо. Даже вяз старожилый спал крепко и не ворчал своей удрученной веками вершиной.

— Хорошо, кабы нас господь вдосталь уважил, — сказал Пиман Савельич. — Кабы еще постояла с неделю такая пора, не надо б топить овинов... Сыромолоткой справились бы... А ведь нам, как отняли леса, в этом не малый расчет!..

— Как можно! Что за мужик без воды, без земли да без лесу!.. Страшно подумать!.. Не мало народу, слышно, стало — в снопах хлеб продают из того, что скорее на деньги купишь муки, чем дождешься своей...

— Эх, господа, господа! — покачал головой сокрушенно Пиман.

Прошли через двор, где лошади мирно дремали, опустив головы вниз да изредка переступая ногами, огородом, откуда, словно тяжелый мешок, поднялась сова и, пролетев, неуклюже села на крыше через коноплянник, от которого воздух кругом стал густым и тяжело-душистым. А вот и овины, скирды, а дальше уж поле... Распахнув ворота сарая, улеглись старики на свежее сено, повздыхав и покрякав.

— Господи боже, спаси и помилуй нас грешных! — зевая, шептали они, раскинувшись на спины, вверх животами.

Потянуло сырою росой, а по ней откуда-то чуть внятный говор донесся.

— Все еще наши гуляют, — говорил Мин Афанасьич. — Это Янька... А это Анютка твоя хохочет...

И Мин Афанасьич опять сладко зевнул.

— Слышь-ка, Пиман Савельич... Спишь, что ли? — заговорил он опять.

— Чего ты?

— Хотел я тебе ноне сказать, кстати уж... Помнишь, кажись, мы с тобой когда-то уговор породниться поставили... Ась?

— Помню... Так что ж?

— То-то, мол, кстати... Вот и осень приходит, и хлеб убран в достатке... Хорошо бы оно и пива заварить... Ась?..

— Что ж, я непрочь... Только, знаешь ты сам, в этом деле ребятам я не указчик.

— Знаю, знаю... Завсегда ты был ровен: почему ж ты и счастлив...

— Как Анютка да мать... Большаков тоже надо спросить.. А мне что!.. Нас с тобой, говорят, не разлей и вода... Только вот у тебя, вишь, идут перекоры, битва, а ты сам говоришь...

— Полно, брось... Пустое все это!.. Из чего ведь и дело-то вышло: больно уж по́милу зажили с братом... Ну, говорим, что нам порознь чаи распивать: будем сообща пить!.. И стали... Попутал-от грех... Из-за сахару, что ли, али из чего и повздорили бабы... Мы с брательником выпивши были... Ну, и того, значит, всяк за свое... Это пустое... Мой Янька, ты знаешь, парень хороший, в работе примерный... Анютка твоя тоже девка король, и умом, и работой... Да и сами они уж гуляют давно... Так как ты?

— Говорю тебе, ладно... Вот подождем Покрова... Сватай... да спи-се!

И старики, повернувшись задом друг к другу, ноги поджав, как ребята, скоро заснули.

В щель сарая тихо глядела луна. Где-то скрипнула еще раз калитка, и ночь налегла на деревню, окутав ее серебряным светом всплывшей на небо луны и свежепахучим паром от хлеба и сена.

Глава вторая

СОН СЧАСТЛИВОГО МУЖИКА

I

Спит «счастливый» Пиман, и снится ему: как, чем и за что он сподобился этого счастия.

То было давно, лет больше полсотни назад. Ни мать, ни отца он с сестрою не помнит, и первое, что прежде коснулось сознания его, был «мир» деревен-

ский. Страшное было в нём что-то, и вместе в нем было все — и защита, и сила, и правда.

Помнит он, когда еще вкруг Дергачей стояли глухие леса и болота. Изба их была вдалеке, на опушке, у самого леса. Помнит, как по ночам собирались тут какие-то странные люди; долго сидели за светцом из лучины, пили вино и считали да прятали деньги. Один был высокий, здоровый, с черною, как смоль, бородой и остро-сердитым взглядом; ходил он всегда в грубой синей рубахе и синих портах, высоко засучив рукава, из-за которых глядела мозолистой кожи, обросшая вся волосами, рука. Всегда подпоясан он был кушаком, за который засунут топор. Тот человек, надо думать, был суровый отец их, так как один он приносил им и хлеб, и похлебку, и кашу. Откуда он брал все это — не знали они. Прежде с сестрой кормила их женщина, но давно ее они не видали. С тех пор одиноко и робко сидели они целые зимние дни, дожидаясь, когда завернет в избу тот черный мужик с бородой, что приносил им и воду, и хлеб. Были малы они, никого из людей деревенских не знали, только порой, по летам, заходили к ним из деревни храбрые девки и парни, которые решались пускаться в лесную трущобу за малиной, грибами и клюквой.

По зимам же было им жутко и страшно, когда завывали метели и волки и выходил из берлоги медведь. Но недолго так было. Однажды, весной, когда еще снег не сошел весь, слышат они, как все ближе и ближе говор несется и шум; вот он раздался в лесу; черный мужик, что принес им и яиц, и хлеба, вдруг оробел, сердито брови наморщил и, со скамьи не вставая, угрюмо подслушивал говор, словно волк, что почуял погоню.

— Мир! — вдруг сказал он, как будто невольно, и весь задрожал, заметался; то ребятишек на руки брал, то в подполье совался.

И страшно стало Пиману с сестрой этого грозного слова.

Не долго прошло, как густою толпою мужики окружили избу; другие же двинулись в лес и рассыпались там, наполнив его шумом и гамом. Тогда старики, с бородами в лопату, в лаптях, с длинными палками, ввалились в избу и, приказавши отцу явиться на сходку, вышли все вместе. Здесь, у избы, усевшись рядами

на бревнах, из которых сочилась смола золотая на солнце, стали они что-то сурово отцу говорить. Что там было, о чем говорили, ни Пиман, ни сестра не слыхали. Только скоро послышались им дикие крики и вопли отца, а из лесу с разных сторон, как по команде, раздался гулко и звонко стук топоров о вековечные сосны. Дрогнул как будто лес заповедный, и с последним криком отца их послышался хряст от паденья деревьев. Испугались ребята и в сильной тревоге забились за печку; слушали день весь, как по лесу гул и стук разносился, как птицы кричали, будто жалобно плача, носясь тучей над разоренными гнездами, как песни и говор немолчный скоро повисли вокруг. На царство лесное войной шло царство мирское.

Поздний вечер настал, и солнце давно спустилось за стену лесную, сквозь стволы пробиваясь снопами желтых лучей, когда на смену уставшим прибыли новые люди с целым рядом порожних подвод: то были бабы и дети; шумно скакали они прохладной просекой, спеша на подмогу мужьям и отцам, которые их поджидали, сидя на свежеобрубленных пнях. Скоро, сложив на колеса сочные бревна, а сучья и хворост покинув на поруби, весело двинулся поезд к деревням; ребятишки верхами сидели на бревнах, молодые девки и парни вперед шли с громкими песнями, а за ними отцы, тихо ступая, усталые двигались. То был словно поезд победителей, возвращавшийся с битвы, обремененный добычей. А на него, будто украдкой, в окно долго смотрели Пиман и сестра, у которых любопытство давно пересилило страх: никогда еще прежде они не видали столько народу... Вот он, этот «мир», перед которым суровый отец задрожал (они не знавали, чтоб он когда перед чем волновался в испуге) и застонало лесное, темное царство...

Долго тянулся медленный поезд, пока удалось ребятишкам выглянуть за дверь и подсмотреть, что свершилось. Вместо зеленой стены, за которою страшное что-то скрывалось, перед ними справа и слева и сзади лежала равнина, а столетние сосны, будто в испуге, далеко назад подались и угрюмо смотрели на поверженных братьев. Долго стояли тут и смотрели Пиман и сестра в немом изумленьи вокруг — и на равнину, зеленым еще и свежим покрытую хворостом, и на хол-

мы с деревнями, что вдруг вдали открылись пред ними, и на пернатые стаи, что все еще с жалобным криком носились над порубью, ища разоренные гнезда и клича побитых птенцов. Ночь наступила, а к ним все не шел черный мужик, с которым ныне страшное что-то такое свершилось. Только уж к раннему утру, чуть загорелась заря, торопливо зашел он в избу, слазил в подполье, вынул оттуда что-то в мешке, насыпал на стол груду медных монет, подошел к ребятишкам... но, махнувши сердито рукою, вышел опять... А наутро, чуть солнце поднялось, снова с гулом и гамом тот же «мир» надвигался на лес, что вчера; только сегодня с их избой не имел уж он дела; толпы с топорами, пилами валили одна за другою все дальше, мимо поруби свежей, к отступающему лесу. Скоро опять раздались гулкие стоны и хряст подрубаемых сосен. Долго ждали Пиман и сестра, но ни отец, ни «мир» к их избе не являлись. Прошли к лесосекам бабы и дети, толпами неся уставшим в кувшинах и кринках квас, молоко, пироги. Голод стал мучить Пимана с сестрой. И вышли они из избы и, присев на брошенный пень под окном, стали плакать. Тогда подходили к ним сердобольные бабы: «где же отец?» — говорили и, покачав головой, им по куску пирога оставляли, спешно и что-то между собой толкуя, торопясь к ожидавшим их мужикам.

А когда свечерело и вновь тронулся из лесу длинною цепью обоз с свежими бревнами, а Пиман и сестра все сидели еще у избы и плакали в страшном смущеньи, что их снова одних покидают, тогда проходивший с обозом народ приставал возле них и говорил:

— Неужели ж одних покинуть их на ночь? Отца, вишь ты, с ночи они не видали... Чего бы с собой, да и с ними он не наделал?

И, сказавши, входили в избу, смотрели и в печь, и в закуты, и нигде не нашли ничего из съестного. Когда же увидали кучу монет на столе, всем на ум подозрение пало, что недаром лесник это сделал. И, сговорившись, решили все в голос:

— На мир!.. Надо и деньги, и ребятишек к миру представить.

Услыхав это страшное слово, ребята опять заревели: представилось им, что старики с бородами и палками сделают с ними то же, что и с отцом. Однако же

их на воза посадили и, дав по ломтю пирога, повезли на деревню. Тут под вязом старинным их на бревно посадили, сказавши, чтобы ждали они, когда сберется народ. Ребятишки, что улицу всю запрудили, встречая стадо, сгрудились около них и с любопытством смотрели, как на волчат, принесенных из леса.

Скоро начали к ним подходить старики, и вот собрался снова «мир», которого словом одним, невольно сорвавшимся с губ, научил их бояться отец и видеть в нем высшую силу. Сначала старики стали расспрашивать их, но мало добились толку.

— Надо на мир взять! — сказали одни. — За отца не ответчик ребенок.

— Кто же будет кормить их? — заметили бабы. — Они еще малы, за ними уход да глаза, а у всех нас самих ребят полны руки... Сбились сами мы с ними.

— Полно вам брехать!.. Оставьте! — крикнули тут старики.

Но бабы не унимались.

— Вам, мужикам, хорошо, — говорили они, — вы не знаете нашего дела: и за скотиной поспей, и на поле, и в печь, и вам наготовить холста да синюхи, себя обшей да ребят... Ты его, малого, вымой, обшей, накорми...

— Что ж, их в лесу, что ли, бросить? — заговорили миряне. — Моли еще бога, что у отца не остались... Вышли бы с ним такие же волки лесные!.. А у нас все же крестьянами будут... Года два прокормить, а там уж, глядишь, за ними потянетесь сами: при земле лишний работник — божия милость!.. А они при земле-то да на миру, погляди, мужиками выйдут какими! Будут работники миру, и нас самих лучше... Мы вот говорим: что нам мир! Мы, мол, сами себя откормили... Так-то...

— Что говорить! бывает и так, что на мирских-то хлебах и змею вспоишь-вскормишь, — заметили неугомонные бабы. — От такого отца и щенята такие... Неровен час, с ними своих ребятишек испортишь...

— Ну, молчите!.. Ждите мирского решенья! — крикнули тут старики (а в ту пору старики на миру были сила большая) — Пока малы они, пустим, миряне, их в череду на прокорм... А уж после, коли отец не объявит себя, пристроим к хозяйному дому... Вам-же, ба-

бенкам, приказ: буде кто из вас станет ими гнушаться, ту, по суду стариков, высечем здесь вот, на сборне.

— Ну, что болтать!.. И впрямь не лесные волчата... К семьям берут, не то что на мир! — сказали солидные бабы, и все расходиться стали по избам.

Старики же промеж собой еще толковали, головами в раздумьи качая:

— Вишь ты, лютое семя, не хочет смириться... Ушел!.. Да они уж издавна были такие: хлебопашества век не знавали. Так лесными людьми завсегда проживали. Дикие стали... А после вот мастерством занялись по дорогам. Ну, да и лучше, как мы изведем их гнездо: а то уж и так навели на нас всякого чину... Только и знаем — обыск, облава, опросы... Дай понюхать разок, а начальники рады... А нам эдак не жить!.. Мы только и живы, пока нас не трогают гости такие... А ему все одно!.. Что ему!.. С нас ответ, а он в лес схоронился... Поди, ищи с него там ответа!

— Ну, теперь не вернется, — подтвердили другие,— всыпали так, что навек помнить будет... Так-то, брат, лучше, чем к начальству тащить: и вживе пустили, и в память пойдет.

— Теперь не вернутся! — добавили третьи.—Гнездо их дотла разорим, как вылущим лес на полверсту кругом, да выжжем огнем да самого сердца, да соху запустим гулять То будет веселье! И хлеба, и трав соберем не в проежу, да и волков с медведями двинем подальше от нас... И то одолели... Хлеб-то да травка получше будет, чем лесная дичина... Да и мы, глядишь, веселее станем смотреть, как кругом перед нами вскроется все: и река, и холмы, и деревни.

— Гляди, и с самих посойдет немало лесного-то виду... В поле-то к солнышку ближе, теплее; перед людьми и перед богом виднее станет. Вот лес уроним, того и смотри, над верхушками крест с погоста увидим — что звезда загорится!.. Ну, лишний раз и бога попомнишь, и лоб перекрестишь.

— Что верно, то верно.

Тут, кряхтя, поднялись старики, чтобы домой разойтись, но старейший из них сказал:

— Что ж ребятишек? Совсем и забыли... Стариковская память короче мизинца! Они вот и так на росе уж издрогли... С кого же черед начинать?

— Ну, начнем с моего хоть конца, — сказал с большою бородой, весь седой старичище из рода Груздей.

Так порешив, разошлись старики, а Груздь, журавлем длинноногим шагая, согнувшись, как оцеп, взял за руки Пимана с сестрой и, как бабы таскают овец за собой, потащил их, не говоря им ни слова, так что они вприпрыжку бежали и от страха боялись вздохнуть.

Помнит Пиман и доднесь эти дни, когда он впервые познакомился с миром мужицким и судом стариков. Крепко врезалось в память ему все, что он видел и слышал тогда; ясно, как день, помнит все это, как будто впервые сознанье светлым лучом озарило его и навеки в мозгу укрепило.

Помнит Пиман, как впервые их посвящали ребята в свой собственный мир. Ранним утром, однажды, в жаркий ведряный день, увидали они, как с холмов от деревень, их соседок, толпами шли ребятишки, девки и парни-подростки и все собирались на улице, дожидаясь приказа от старших.

— Палы! Палы палить! — кричали они. — Ваше лесное гнездо выжигать, — добавляли Пиману с сестрой.

И скоро, веселые все, захвативши с собою сирот, шумною гурьбой двинулись к лесу. Здесь, рассыпавшись мигом по поруби, вкруг которой от леса канава была уж прорыта, чтобы прекратить морю огня доступ к деревьям, стали складывать высохший хворост в высокие кучи. Скоро треск начался; там и здесь языками огонь показался и жадно лизать стал на солнечном жаре иссохшую зелень. Дым беловатый сперва, как будто колеблясь, тихо и низко пополз по равнине. Но вот застоявшийся воздух стал колыхаться, и по равнине сначала легкой струей пробежал ветерок; веселей языки заходили по сучьям, гуще дым вырывался из разгоравшихся куч, и, наконец, вспыхнуло все как то сразу морем пожара; красный огонь то длинными лентами рвался высоко на воздух, то, как змея, извивался ползком по земле, забираясь под хворост; скопившийся дым вдруг столбом, словно смерч, поднялся к облакам и наполнил окрестность мглой и удушливым смрадом. Тут как-то сразу все оживилось в равнине: треск и шипенье сучьев, крики птиц, ошалело носившихся в дыме, крик и визг ребятишек, скакавших возле огня в исступлении каком-то, словно дикие здесь собрались и

справляли священную пляску пред вечным огнем. Так взрывы стихий покоряют себе людское сознание и волю и превращают нас, жалких детей, то в паническом страхе бегущих пред ними, то безумно подражающих им бессознательным зверством. Заметалось тревожно царство болот и лесов. Тысячи ящериц, жаб, лягушек и змей, зайцев, ежей и кротов и всякой твари водяной и подземной бросились в необычайном волнении вон из трущобы, которая бесконечным рядом веков охранялась непобедимым строем дерев; все спешило, конвульсивно избегая огня, который словно вдогонку бежал и лизал языками, иных пожирая на месте, увеча других и заставляя вертеться и прыгать в страшных мучениях: все спешило искать спасенья в канаве. Но здесь их встречали скакавшие шумно дети и в радостно-диком самозабвеньи палками их добивали, топтали ногами или же с победным криком снова бросали в огонь.

Величавое было что-то и вместе с тем страшное в этом походе на трущобную дичь! А Пиману с сестрой так сделалось жутко и больно, что они враз заревели под дружный хохот ребят, как будто им жалко вдруг стало всей этой дичины.

Помнит Пиман, что долго спустя после того, как не раз еще мир собирался на зеленой равнине, то пни корчевать из-под неостывшей еще и покрытой золою земли, то с сохой поднимать новину, то делиться и жребий бросать меж собой по частям этой новой, свежераспаханной нивы, подобно недавно венчанной жене, целомудренно скрывавшей в себе избыток плодородных сил, — помнит, как в первый раз сам он ступил с сохою на эту равнину и, покрестясь, в девственно упругую грудь ее вонзил глубоко могучею рукой острие сошника... И долго еще казалось ему, будто кишат и шипят вкруг него гады лесные, на огне извиваясь, а лесовик шумит и гудит, угрожая из леса.

Но мир победил и навеки скрепил брачные узы между земледельцем и девственной почвой. Так, после бурной и пламенной страсти, борьбы и страданий брак налагает незаметные узы на примиренных любовью, чтобы мирно они могли взрастить плод взаимной любви.

Два года прошло, как Пиман с сестрой ведут череду, кормясь и ночуя в каждой избе столько дней, сколько работников значилось в доме. Вызнали за это вре-

мя они всех односельцев: были иные добры к ним и заодно с своими детьми почитали; и пищу, и место — все вровень делили, вровень же шли и наказанья, и ласки; другие же были суровы и скупы и часто хорошим куском оделяли, ревнуя к детям своим. Здесь научились они день за днем обиходу семейному: почитать и бояться старейшего в доме и во всем к нему обращаться, так как всякому он воздавал равное и чинил поравненье в работе, в одежде и в пище, заботясь, чтоб все заодно ходко и дружно старались о доме, чтоб никто один пред другим не кичился, чтобы зависти и злобы друг к другу не знали и чтобы оттого в хозяйстве не вышло ущерба. Когда же смута случалась в доме и старейший не в силах был ее прекратить собственной властью или же сам не соблюл поравнения слабости ради людской, тогда все выходили на мир и общим решением судили виновных: старики наставленье делали, а потом секли виновных у всех на глазах, так как в то время много еще дикого было в лесных мужиках. Часто в семьях ссорились жены с мужьями, и братья, и сестры, и часто готовы бывали друг друга до смерти забить из пустого; но мир, охраняя общий спокой совместной жизни, бдел над каждым и чувства любви, справедливости, равенства в ближних воспитывал строго, воздавая трудолюбивым и мирным почет, обороняя слабых и хилых, а нерадивых и буйных строго казня. Так издавна в дикой душе земледельца развивала совместная жизнь добрые чувства; исподволь их же взращала она в юных душах новых приемышей мира — Пимана с сестрой, которые до того ни людей не знавали, не видали ни ласки, ни гнева.

II

На другой бок повернулся «счастливый» Пиман.

Вот уже и детство минуло. Ушли в невозвратную даль и лесная дичина, и суровый мужик с черной, как смоль, бородой; порвались связи лесные: с лиц угрюмость лесная сошла, и с души — дикая робость. Ходит Пиман теперь бравым, степенным подростком, прямо и смело смотрит в лицо деревенскому миру; он уж умеет, как настоящий парень мирской, ловким взмахом забра-

сывать со лба волосы, аккуратно подстриженные в скобку, или, играя плечами, поправлять на них казакин, небрежно наброшенный сзади. Вот он то сидит на бревне у крепко скроенной избы, с хитрой резьбой по карнизу и в полотенцах у окон, то по двору ходит, убирая коней, таская копнами сено и воду из мирского колодца, или же в растворенные настежь ворота видно, как он пристально смотрит на старика, который, сидя в прохладной сеннице, свежедушистые доски строгает и хитрою резьбой их украшает. Видно, доволен старик: оживленно передает он Пиману мудрость узора, рисунка, что сам придумал, чистоту и точность пригонки, верность, силу, уменье владеть инструментом, хотя весь инструмент был топор да стамеска. Этот старик был тот Груздь длинноногий, что первый с себя начал череду мирского кормления Пимана с сестрой и увел их со сходки; он же был зодчий мирской и художник. Всюду на избах виднелись следы его творчества; где конёк, где полотенце, карниз, а также ребячьи игрушки да детские люльки, в которых матери возят с собою в страду грудных ребятишек. Избы же пригляднее не было, как изба самого Артемия Груздя: целые зимы Артемий неустанно творил и готовил к весне застрехи, подзоры, балясы на кровлю, на окна, на столбы и ворота.

Было время, когда Груздь выходил на поля и в луга сам-восьмой, впереди шестерых дочерей, краснощеких, здоровых и рослых, да хозяйки, пожалуй породистей каждой из них. На миру их так и прозвали «девичьей вытью». Вся молодая Вальковщина часто на общих покосах глаз не сводила с этой семьи и дивилась счастью Артемия Груздя. Только сам Груздь не был рад счастью такому: на девок не прочны надежды. Давно уж женой недоволен был деревенский зодчий; давно между ними прошла черная кошка, и с каждым новым рожденьем ребенка мрачнее становился Груздь. Ему иногда говорила жена: «Что же ты сердишься? Разве дом у тебя не полная чаша? Разве я с дочерьми меньше работаем, чем мужики? Али мы слабже их, в работе уступим? Али девки наши гуляют? Посмотри, все завидуют нам: у кого по зимам столько наткано холста и синюхи? у кого так скотину холят и нежат? у кого так прибрано, вымыто чисто в избе, во дворе? у кого столько птицы домашней?» Так считала с укором

жена, но упорно молчал Груздь на эти речи. «Ладно, ладно, — он про себя повторял, — девки — ветер!.. Только того и глядят, как бы из дому вон: им не дорого то, что отцу было дороже всего: все променяют на первого парня, на льстивую речь, на красное слово... Хорошо оно — точно, покамест... А вот налетит молодая Вальковщина, что теперь стаями вокруг дочерей моих ходит, с разных концов налетит — и прощай! Растащат тогда все хозяйство клочками, и памяти нет уж об том, кто его собирал, охранял и всю душу в него полагал... А кто *мое* охранит, сбережет?.. Кому в этой избе дорога будет каждая малость? кто будет помнить, что вот над этим узором старик целые ночи корпел? кто в печку не бросит его, кто все охранит от врага, кто за каждую малость встанет всей грудью и жизнью, а память о тебе передаст и потомству?..»

Так думал Груздь, и, случалось, в припадках тоски, под пьяную руку, он дико и зверски ругался и дрался, и взаимная ненависть росла между ним и женой с дочерьми. Тяжко им стало в родительском доме, и часто мечтали они, как бы скорее оставить его и променять на любимого мужа.

Еще мрачнее стал Груздь, когда мало-помалу сиротеть стал его двор; когда молодцы из деревень приезжали и увозили его дочерей вместе с приданым, уводя коров и овец, лошадей и свиней, и все больше хозяйство его оголяя. Часто на свадьбах сидел он тогда суров и угрюм, мрачно пил и мрачнее ночи возвращался в свой дом.

— Зятя во двор взял бы к себе, — говорили ему тут миряне. — Что ж грустить? Против судьбы не пойдешь.

— Зятя!.. Что зять! — отвечал старый Груздь. — Зять придет к тебе уж готовый... Зять — чужак. Зятю смиренный поклон да первое место, а сам — по-за-печку... Кто он такой — к нему в душу не влезешь... Отдайте-ка лучше мне парнишку Пимана: два года за ним я следил, все не решался, думал в отца бы не вышел... Да нет, видно не той он породы... Отдайте; сниму парнишку с мирского хлеба... Небось, меня знаете: не взращу лиходея крестьянскому миру... Предоставлю вам мужика в полном виде.

— Лучше не надо! — ответил мир. — Пора уж к делу пристроить сирот... Да возьми уж кстати девчонку.

Тут Груздь угрюмо вскочил и сказал, уходя, рукою махнувши:

— Коли так — не надо!

Но мир, рассмеявшись, его воротил:

— Испугался?.. Боишься ты бабьего роду!.. Ладно, бери одного уж, другую мы к месту пристроим... За девкой еще время терпит.

Года не выжил у Груздя Пиман, как старик уж совсем морщины разгладил на лбу: все улыбнулось в семье; еще светлее и чище глянула изба; любовнее еще за хозяйство принялись старик и старуха, и веселей теперь выдавали последних дочерей своих замуж: в будущем — дому хозяин-опора и старцам защита был найден. Что ни год Пиман выправлялся и телом, и духом. С тайным сердечным волнением следил за ним Груздь, а подконец и души в нем не чаял. Выходил из Пимана мужик идеальный: ростом и силою справен, почтителен к миру и старшим, ровен во всем — и в труде, и в забавах; без пути не совался всем на глаза, в дело, не в дело; с одногодками дружен всегда был и ссор из пустого не делал; к хозяйству внимателен был, скотину любил и ко всякой хозяйственной вещи относился с почтением и осторожно, и всегда был суров, когда одногодки часто в шалостях что-либо портили во дворе у Артемия Груздя. Крестьянская жизнь, где часто подростки заодно с большаками все выполняют работы, рано приучила к степенству; а череда мирского кормления еще более укрепила в Пимане с сестрой осторожность во всем, что касалось чужого добра, так как нередко сурово и строго хозяева их тому обучали.

В великом довольстве был старый Груздь, видя, какие задатки растут и крепнут в душе приемного сына, и часто примером и словом он еще больше старался в нем утвердить их, передавая все, что, по долгому опыту, считал за устои жизни крестьянской.

И вот, по зимам, обучая его выводить узор по доскам, он так говорил ему:

— Вот такой же был я, как и ты, когда еще жив был отец и когда впервые за Вальковщину мы воевали. Тогда жили мы вовсе в лесу, от всех словно крепкой стеной отрезаны были. Вальковщины только и было, что наши соседки Грачи да Тычки да два-три починка.

Больше народу в них было, точно, ну, да после войны расселились. А то жили во всем, как одни: расчищали лядины, болота сушили. Жили — сами себе господа: никого не знавали, да и нас никто не касался. Судились, рядились, женились — все сообща, на миру; под нашим вот вязом вся Вальковщина тут и сбиралась. Сами тут выбирали себе целовальников, мерщиков, вытных и торговых людей, что от мира в доверенных были и за разной мирской потребой раза два в год ездили в город. Всем управлялись мы сами; сгорим ли — мигом все соберемся Вальковщиной всей, избы нарубим еще того лучше. Хворь ли какая деревню охватит, бывало, — опять всю Вальковщину скличем: можжевельнику кучи из лесу натащим, обставим деревню кругом, подожжем и окурим, а больным натаскаем и хлеба, и молока. Когда же настанет страда — все поля уберем им, хлеб уложим в скирды, обмолотим. Так дружно мы жили, никакой, кроме мира, власти не зная. Справедливее же мира не сыщешь, его не закупишь, не обойдешь, не обманешь, потому на миру все у каждого всякому видно. Мир никого не обидит напрасно, так как ему самому мзды не надо, строго и чинно блюдет он общее дело и пользу. Старшие ж в мире, что опытом долгим познали, что для крестьянина зло и добро, советы дают молодым. Так мы жили, издавна повинность одну отправляли честно и твердо: в город справляли овес мы и сено для царских коней, что стояли тут на запасе. Было у нас здесь вдоволь всего — и земли, и лесу, и птицы. Случалось, заезжали к нам дальние люди — и диву давались, глядя на наше житье, и страшного много нам про себя говорили. Говорили, что мир их давно уж порушен, что над ним была сила большая, что бары жили в их деревнях, что секли кнутом их и плетью, что хуже скотины держали, и что на базар, как коров, продавать выводили отцов, дочерей, сыновей; что с близкими сердцу их разлучали для прихоти барской; что отрывали их от полей, которые сами вспоили потом и кровью... От этих речей вчуже жутко нам становилось, да к тому же порой подтверждали и наши мирские торговые люди, которые в города и к соседям ездили с хлебом мирским на продажу и мену. Тогда же стали все чаще, в наших лесах укрываясь, странники к нам приходить и страшнее того говорили

нам речи: «Богу молитесь, говорили они, а не попам!.. Заблудился человеческий род... Злой народился антихрист... Прячьтесь, крестьянские люди... Всюду слуги антихриста ездят и клейма кладут на людей, и отмечают каждого картой с печатью, и обращают в рабов подъяремных». Старики стали думать: «Коли у соседей все хуже да хуже, жди тут беды». Собралась Вальковщина наша и порешили: «Крепиться, сколь можно, с соседями меньше дел заводить, на гульбища к ним не ходить, не водить с ними свадеб, смирнее сидеть за лесною стеной, а в город пускай будут ездить по выбору лишь старики, что всех разумней и тверже. Кто же против заказа мирского пойдет, будет тому строгая казнь». Бывало, к нам только и ездил, что поп, да и то когда сами за ним приезжали. Тогда церковь от нас была далеко, верст, поди, за тридцать. А тут порешили: не ходить и за ним. Свадьбы стали водить только между своими, без попов, самокруткой, на миру; и хоронили тоже властью своей; это и прежде бывало. Вскоре же тут через лес наш, случилось, беглый поп проходил, от начальства скрываясь. Нес он подмышкой старинные книги: апостол да требник, крест да кадило, завернувши все в освященный плат. Попросили его мы тут миром на кладбище общие всем нашим могилкам справить поминки, а самокруткой венчанных обвести вкруг налоя. Беглый тот поп (Варламом он звался) все нам исполнил, о чем мы его ни просили. Полюбился он нам, да и ему показалось у нас хорошо: остался на зиму. Тут-то беседы пошли с ним у нас! Читал он нам божие слово, ходил вкруг полей, кадилом кадил, служил нам молебны и много хорошего нам поведал о вере христовой, о гонимых за веру, о том, как живут и что творится в мире. Рады мы были такому попу несказанно!.. Свой был поп — одно слово. Незачем было теперь нам совсем знаться с начальством. Был он, точно, падок к вину, ну, да мы это ему уж прощали. Для кормежки ему, как тебе же, мирскую череду заказали. Нашлось тут немало из наших, что похотели и сами книжному делу у него поучиться. Учил он охотно, хотя и дрался немало. Ну, да и это мы тоже прощали. Вот и я у него перенял тогда к разным узорам охоту: ловко умел он узором буквы украсить. Я было тоже тогда грамоту перенял, да,

признаться, опять призабыл все... А меня он любил, и тогда еще мне подарил список, писан уставом, а заголовок хитро украшен рисунком. Прозывается он «Слово о двух мужиках». Признаться, прочесть его все не удосужилось мне, хотя уж тому прошло лет больше полсотни. Зато берег я его: думаю, может, сынишка будет, коли ни то разберем... Да вот сына себе и посейчас не дождался... Передам уж тебе: береги... Коли самого бог не попустит наукой, своим сынам передашь, когда ни то и дойдут, что прописано там. Читал нам, признаться, тот поп, да я уж не помню.

— Ну, как же вы жили с беглым попом? — спросил Пиман. Ведь до того, кроме простых земледельцев, он никого не знавал.

— Вышло у нас вскорости, братец, с попом тем Варламом дело большое... Уже два лета живет у нас поп; вызнал, высмотрел за это лето Вальковщину всю, и рассказы его, поученья да грамота всем пришлись по душе. До того ведь мы только что сказки от стариков слыхали. В те поры издавна уж в Тычках проживал около лесу, в лачужке старик; был нелюдим он, стар и угрюм. Бог его знает, в кои-то веки к нам также забрался, что и попик тот беглый. И старики уж забыли, когда он пришел. А в свое время тоже был человек, крестьянину нужный: был он знахарь и волхв; знал целебные травы, заговоры и нечистую силу умел отводить, — попросту, значит, колдун. Был у нас он в почете: на свадьбы звали, к скотине, в поля и к больным. Ну, а попик тот беглый только лишь осмотрелся у нас, как сейчас и пошел против волхва подговаривать люд. А колдун свою линию тянет... «Ну, — говорит, — поп с колдуном, двум медведям в берлоге не жить». И началась между ними ссора и брань. Народ поделился: одни за попа, другие за колдуна, и стали на сходках ругаться и спорить, кого из Вальковщины выгнать. Тычковцы кричали, что без колдуна мы погибнем совсем: кто будет лечить нас и скот наш в болезнях? Колдун знает и травы, для чего которая служит, какая какому скоту и какая людям полезна; умеет он кровь пускать и заговаривать в жилах; знает от домовых, леших и водяных наговоры. Мы же кричали: попа не дадим, рады и то, что попался! За ним мы ровно у бога за пазухой жили. Кто нам божие слово прочтет, кто научит письмо раз-

бирать, кто расскажет про господа бога и святых его страстотерпцев?.. Во тьме без попа мы погибнем. А против болезней и нечистой силы в требнике есть мольбы у него и указанья. Так долго тягались мы на миру, пока не дошло и до драки. Поп наш распалился совсем. А тут же, кстати, мокреть пришла, в самое жнитво почесть. Лил, из ведра словно, дождь дни и ночи. Ополоумели мы, а поп стал потопом, гладом и мором стращать и говорить, что делу тому не иначе, как колдун стал причиной... Старики собирались, совещали советы и меж собой говорили: «Чтой-то, братцы, не живется им вместе? Ума не приложим. Хотя бы из корысти, что ли, какой воевали: видное было бы дело... Нет, вот всякий за свой держится ум и готов претерпеть». Стали попа мы просить кадилом поля окадить. Не кадит. Колдуна просим водяного заговорить — не желает. Тут все от тоски, ровно звери, мы стали друг на друга бросаться, да в этой битве, как-то неведомо кто (поп, думать надо) и подожгли избу колдуна: дотла вся мигом сгорела, и от самого колдуна только головешка осталась. Тут наш поп сердцем взыграл, денно и нощно со слезами молился, что бог прибрал от народа нечистую силу. Велел он тут нам колдуна в яму зарыть и осиновый кол вместо креста в могилу забить. Сделали мы, как говорил он. Тогда с кадилом, крестом и платом священным, распевая молитвы и проливая умильные слезы, поп наш пошел с нами поля обходить... И что же, ведь искренние были те слезы!.. Услышал господь, к утру очистилось небо, солнышко божье глянуло... Глядим, умиленно ликует наш попик, ходит по избам, говорит и поет: «Радуйтесь, христиане!.. Победную песнь воспоем: свят!.. свят!.. свят!.. Истинный свет просветил христиан!.. Радуйтесь нового винограда рождение!..» После того мы опять зажили мирно. Знахаря только не было долго у нас, кто бы знал целебные травы и людей и скотину мог бы лечить... У попа только надежды и было на требник! Да не долго так было: продали мир...

III

И дальше говорил старый Груздь.

— Поминал я тебе, что на общих Вальковщины сходках вместе с другими выбирали мы мирскою совестью крепких и бойких рассудком торговых людей, —

продолжал опять старый Груздь свою деревенскую повесть. — Из этих людей больше всех доверялись мы старику Пармену за то, что был он совестью крепче других и умом. Каждую осень мы его выбирали. В деле торговом такой человек лучше всего: в городе все его знали и в окрестных торговых селеньях всюду ему доверие было. Он же крепок был духом мирским и хитрым рассудком, умея всегда охранить пользу мирскую. Были у него два сына, в возрасте полном, как отец, рассудком богаты, бойки и ко всякому делу смышлены. Давно уж они, слушая, как и что отец их рассказывал нам на миру про жизнь городскую, приставали к нему, чтобы взял он их в город. И, признаться, старик баловал изредка того да другого, пока оба они молоды были. И вот, что ни год, стали они все чаще к отцу приставать, чтобы пустил он их в город пожить хоть недолгое время. Но старик был упорен и строг. На миру старикам Пармен попечалился: «Чтой-то, братцы, с сынами моими, не доведаю я? Сбились ребята о городе думой, прилежанья к хозяйству не видно, стали грубы и дерзки в словах об отце и об мире крестьянском. Что их тянет туда? Легкий ли труд городской, али, может, шумная жизнь городская, простор да раздолье, да новизна иноземщины всякой?» Так печалился старый Пармен, когда в ответ ему поп наш беглый сказал:

«Бойся, Пармен, бойтесь и вы, православные люди: и на вас мрежи свои хочет раскинуть антихрист... Много прельщений в руках у него, чтобы некрепкие души юнцов совращать на погибель: сулит он и злато без труда и заботы, и тщеславных манит прелестью власти, в рабы православных к ним обращая, и сатанинской наукой от немцев он блазнит, и скоморошеством всяким, и заморским вином, и женками, что продаются за деньги и кровь молодую волнуют... Православные! сам я прелести те от антихриста все испытал и знаю: погибель готовит он верную юным душам!.. Крепитесь и стойте за старую веру, за отцовский обычай!.. Слушайте, что вам прочту я...»

И тут прочитал он нам «Слово о двух мужиках». Говорил я, что забыл уж теперь, в чем было то слово. Выслушав речи такие, мир наш решил: «Что же, Пармен, есть у нас средство, отцами испытано было: надо женить молодцов; коли мир да земля не смиряют, креп-

че союза не сыщешь, что жена да ребята. Пусть по любви выбирают; буде же выбор ими не будет сделан, пусть тогда мир выберет им по невесте. А коли в чем ослушание будет — строптивых поучим». С тем и разошлись. Услыхали сыны Пармена о решеньи таком, и пала им на сердце мысль: убегом уйти из отцовского дома. Тихою, темною ночью, обратавши отцовских коней, что были прытче, бойчее и крепче, лесом ударились оба. Дорога была им знакома. Хватился отец поутру и пустился в погоню за ними, суров и обижен сыновним непослушаньем. Долго он всюду скитался, всюду искал сыновей... Ну, наконец, и вернулся. Глядим, везет своих сыновей: рядом в телеге сидят, затянуты крепким поясом руки и ноги (было всего им каждому лет по шестнадцати с лишним); сам же Пармен сидел впереди, сердитый и строгий, и правил конями; к сборному месту подъехал, высадил тут сыновей и, старикам поклонившись, сказал: «Судите, миряне, сами, своим справедливым судом... Вот они, отдаю вам: власти отцовской, видимо, мало». — «Где же нашел их?» — спросили. — «Срамно сказать! — говорил сокрушенно старик. — Шатались по питейным и гостиным домам, с женками пили вино, жрали всякую снедь без разбору, а табачищем от них не продохнешь... Слушали тут, вишь, они не божие слово, а скоморохов и говор базарного люда, проходимцев всякого званья и чина, что читали богохульные песни и сказки и противные малеванья казали народу...»

Выслушал поп наш Варлам все это и гневно сказал: «Братцы! дело большое в этом я вижу: сила антихриста их обуяла... Обучайте, пока еще юны и не принесли в мир душевной заразы. Надо батогами высечь нещадно ребят, дабы впредь им было гулять неповадно и о прелестях тех рассказывать в мире... И божий закон разрешает отсещи член непотребный!..» Тут старики ребят поучили, а о зиме и поженили. Сначала как будто ребята смирились и долго крепились, прижили уж и сами ребят, да вражья сила, надо думать, крепко их обуяла. Старший, покинув жену и детей, опять в бегство пустился, и долго о нем не слыхать было вести. Да после уж он наказывал кое-кому, чтобы безотменно мир и отец отпустили к нему жену и детей. Ну, на это мир со стариками согласия не дал: «Пропадай уж один, коли так». А тем временем он, бойкости ради своей и ума, завел

уж торговое дело, всякую вызнал власть городскую и на мир наш власти той жалобу подал, что старики, мол, ему самовольно жену и детей не дают.

— Эх, дело бедовское стало! — вздохнул сокрушенно старик. — Слушай: наехали в нашу Вальковщину власти; по деревням нашим гуляют, со стариками толкуют. «Мы, говорят, вас и забыли!.. Поди ж ты! Вишь, в какие забрались трущобы!.. Вам тут, слышь ты, тепло и уютно... Все, слышь, людишки несут тяготы и поборы, а вы, ровно у бога за пазухой тут!.. Купцы, право слово!.. Избы — ровно хоромы! Сами — народ хоть пускай на племя: кряжисты, красивы и сильны... Да у вас тут золотое руно, слышь!.. Да вы и властей, видно, не знаете вовсе? У вас и попы, и законы свои: сами хороните, жените, крестите... Рай да и только!.. Как бы нам с вами сойтись!.. Есть ли у вас паспорта? Ходите ль вы в божий храм и к причастью? Это вот мы сейчас разузнаем...»

Так власти над стариками, смеясь, издевались. Мы же спешно прятали все в подполья и клети; в лес угнали и лошадей и скотину. Попик же наш Варлам в великом волнении, боясь на глаза показаться властям, бегал из деревни в деревню и к православному люду взывал: «Братия, стойте и в вере крепитесь! Не допускайте слугам антихриста поработить вас: не принимайте печатей и клейм... Инако погибнете в жизни и в сей, и в грядущей!..»

Ходит по избам укромно и спешно, плачет умильно и слезно всех молит и просит: «Не загубите душ христианских! Лучше погибнуть от рук сатанинских, принять лучше кончину в мученьях! Все уж одно: не избыть вам мучений под игом, ни покорством, ни слезной мольбой их сердец не разжалобить!..»

Слушали мы в страхе и злобе, а временем тем власти велели нам миром собраться, чтобы всех переметить печатью. Тут мы взбунтовались, схватились за вилы, за колья — и старики, и младенцы, и жены... Смутились власти и спешно, в боязни и страхе, от нас убрались... Заликовала Вальковщина наша; обливаясь слезами, в радости все обнимались и стали к попу приставать, чтоб он отслужил нам молебен.

Но Варлам, скорбно смотря на наше веселье, так говорил: «Неразумные чада! Что вы ликуете? Али мните дрекольем победу взять над сатанинскою властью?.. Ве-

-лия власть та!.. Не дрекольем, а духом крепитесь и стойте! Настанет лютое время!.. Будут христиане скрываться в лесах, носить на ногах и руках железные цепи!..»

И точно: заря не потухла еще, как услыхали мы трубные звуки, и говор, и топот солдатской ватаги... Господи боже!.. Дела такого мы отродясь не видали! Многие наши, похватив тут спешно, что можно, с детьми и женами в лес убежали; иные молились, иные бранились, иные нас покориться просили... Так, в великой печали и скорби, ум потеряв и собой не владея, толпами ходили мы от деревни к деревне, не зная, какое решенье поставить. Да вдруг, видим, из хаты своей с двумя стариками, что давно с ним дружили, вышел наш попик с крестом и кадилом, плат священный воздевши на плечи, с твердым духом и верой выступил пред нас и, собрав всех православных, сказал: «Братия, крепитесь и стойте духом за старую веру и обычай отцовский!.. Не смущайтесь: крест господень за нас!.. Выйдем встречу врагу, не допустим его до жилищ... Лучше примем телесные муки, чем души загубим свои!..» Глядим на него, странное с ним ровно что стало: выпрямил стан, очи к небу возводит, крест высоко поднял в руке и твердой поступью пошел впереди, а за ним старики, дружившие с ним. Все мы тут духом как будто воспряли и Вальковщиной всей двинулись встречу врагу. Вот на этом холме — видишь, кусты уцелели доднесь — и встретились мы с воинской командой. Ехал пред нею храбрый начальник, верхом и в медалях, кричит: «Покоряйтеся, лютое племя!.. Будет тогда вам прощенье, не то всех закую в кандалы и не оставлю у вас камня на камне!.. До смерти всех кнутом и лозьем запорю!» А поп наш: «Прельщений не примем! Будем стоять до конца за отцов и за веру! Крест сперва победите, антихриста слуги!..» Тут загудела команда, на православный набросилась люд... «Мертвого или вживе доставьте попа мне!» — кричит храбрый начальник. Сплотились мы грудью вкруг нашего попика со крестом и кадилом и, спешно пред командой взад отступая, дошли до деревни. Команда в то ж время хватала первых, кто ей попадался, и вязала им руки и ноги. Так мы до хат добрались. Тут попик наш со стариками втроем заперся накрепко в избу. Все мы тут изумились, глядим, а он показался в чердачном окне и оттуда, высунув руку с

крестом, кричал нам: «Крепитеся, братия!.. Стойте твердо духом! Муки примите, кто сможет, кто ж не вместит — бегите в леса, кройтесь, в пещеры, а не давайтесь живыми в рабство врагу». Подкатил тут и начальник с командой. Кричит, сердится и над попом богохульствует, не замай, что крест господень в руках у него. Только что было приказ дал начальник команды выломать двери в избе, как из окошек и из-под крыши вырвался клубами дым... Мигом зарделась огнем солома на крыше... Языки поднялись к небу... Ахнули все мы, да и команду как будто ужас объял... А крест с рукою попа все виднелся в окне и блестел, ровно большая звезда... «Крепитесь, братия!.. Стойте духом! — слышалось, попик кричал нам. — Мы же победную песнь воспоем: свят, свят, свят бог Саваоф!..» Только что молвить успел, как со стропил сорвалася крыша, черный дым заклубился над нею, пламя змеями сквозь него прорывалось, — а крест святой все светился... Вся Вальковщина наша ровно застыла, оторопела команда, начальник сам смолк, будто колокол, у которого разом язык оторвали. Тут, кажись, всей Вальковщиной только бы двинуть — и смяли бы всю вражью силу: у всех на душе накипело; кажись, никого не оставили б вживе, даром что с ружьями были они... Да мертвая тишь над народом стояла; слышалось только, как бревна трещали в огне...

— Крест упал! —кто-то тихо промолвил.

Глянули вверх: ни руки, ни креста не видать. Дрогнули все мы, и, ровно волна на ветру, колыхнулись народ и команда.

«Смирно!» — закричал на команду, испугавшись, начальник, а Вальковщина вся, как один человек, вдруг ему в ноги упала в несказанном испуге... «Хватай их! вяжи!» — начальник кричал, бескровную видя победу. Тогда нас стали хватать и вязать, как баранов, и секли кнутом и лозой. Стон и слезы над Вальковщиной стали, начальник же все распалялся... Так нас секли от вечерней зари до вечерней, до того, что команда—и та изустала. Тогда сам начальник, что зверь распаленный, бросался на наших отцов и старцев почтенных, которые укорять его добрым словом пытались, и бил их руками, и плетью, и саблей, приказав заковать их в железные цепи...

Тут замолчал старый Груздь и, скорбно вздыхая, продолжал вырезать на досках узоры. Пиман же долго смотрел в лицо старика, изумленный, как будто искал на нем следов, что оставило «лютое время». Потом он спросил:

— И долго вас так воевали?

— Не единожды после того подымалась Вальковщина наша. Много народу у нас сгибло в лесах, от хозяйства отбилось; много бежало на Волгу и в степи; много мирских стариков, духом крепких и стойких, было взято от нас, бито нещадно плетьми и в кандалах на заводы в Сибирь угнаны были, разлученные с домом, с семьей, с миром своим, где полвека делили с близкими и радость и горе, с могилами дедов, со всем, что дорого было, что годами копил, охранял и холил в доме своем наш крестьянин. Так много народу загибло. Иных не видали уже никогда; другие же, что от страха и в злобе скрылись в лесах, не возвращались уж к нам, прятались там, ровно звери, в шайки сбирались и разбойному делу предались: грабили, били купцов, богатых и знатных людей... А мирные были запрежде: были примерные слуги и богу, и миру, и пашне. Прости, милосердный создатель, грехи их! Не от себя — от несчастья...

— Чьи же теперь мы?

— Скоро тогда сдали нас барину важному в вотчину... Да господь смилосердился: барина этого мы и доселе не знаем... Живет, вишь ты, он в столице, при самом царе, и много таких вотчин подарено ему... Нас на оброке он держит; знаем одну мы контору, что верст за пятнадцать отсюда, где также есть вотчина наша: туда мы отвозим оброки... Слава создателю! Нонче хотя и частенько начальство на нас налетает, да мы уж вызнали, что ему по губе и как от него борониться: собьем поскорей со двора по полтине да стариков, нарядивши в кафтаны, с хлебом и солью да с низким поклоном и вышлем навстречу ему. Сами же все, что поценней, подороже да лучше, припрячем подальше, в подвалы и клети, оденем руно на себя, что подырявей; скотину оставим на дворах пожиже, а показистей угоним всю в лес... На ноги старые лапти обуем, да и ждем к себе добрых гостей... А старики да старухи молитвы читают; разные молитвы были у нас: против сердец злых, против жестоких властей, на неправедных судей, на алчных и

жадных слуг... Тем только и живы! Приедет начальник, посмотрит: бедно, неуютно. «Ну, скажет, должно, уж наши тут до меня покутили!»; деньги возьмет, что старики соберут, да с тем и уедет... Упаси только бог, ежели кто найдется из нас да начальству окажет!.. Одного мужичонку так-то совсем самосудом забили... Тем только и крепки! Давно бы и мир развалился, и все в разоренье пришли бы, коли б старики строго нас на миру не казнили, как вздумает кто ссорой, иль буйством, или худым поведеньем мир довесть до ответа пред строгим начальством!

И пред Пиманом тогда невольно в памяти встал черный, суровый мужик с бородой и памятный день, когда войною на царство лесное шло царство мирское.

Глава третья

МИН АФАНАСЬИЧ

I

— Ну, и проспали же мы,—сказал Пиман Савельич, торопливо взглянувши под крышу сенницы, где, ворвавшись в оконце, солнечный луч играл по стропилам и шумно сновали касатки. — Наткось, бабы скотину согнали, благовест, слышно, был на селе.. Вот старики! Какой тут пример молодым... Прорухи такой давно за собой не запомню. А все ты! — обратился с укором Пиман к приятелю Мину, по привычке спешно вставая: — Сколько времени спать не давал с пустым разговором.

— Полно, приятель! Коли нам не поспать лишний час, так кому уж и спать... Глянь-ко наверх: вишь, касатки, должно быть, купаться летали в росе; крыльями бьют, чистятся, моются... А одна, вишь ты, убралась — поет! Вот ведь и малая тварь, а смотри ты, какое во всем разуменье. Все во-время, в меру: жадности в ней не видать. Встала, умылась, детве червяков натаскала — и за песню!.. — Так говорил Мин Афанасьич, все еще лежа на сене, раскинувши руки и ноги

и спокойно смотря на птичью тревогу. — Сладко, приятель, спалось, — продолжал Мин Афанасьич, — кто его знает с чего: с того ли, что медом пахнет от свежего сена, али оттого, что мягко на нем, как на пуховой перине... Все сны, братец, снились...

— Снились и мне ведь, братец ты мой. Вот и поди ты! Должно, оттого, что вместе мы спали, — заметил Пиман. — Думаю так, что тут есть какое ни то указанье. И совсем, братец, из ума было вон, что от отца еще мне осталась бумага. Лет двадцать тому, как совсем и забыл я об ней, да вот теперь сон напомнил.

— Твое ли в ней счастье, смотри? — сказал Мин Афанасьич. — Бывает.

— Ну, от бумаги какое уж счастье! Так, сказка была...

— А вот мне, друг ты мой, Пиман Савельич, виделось, — начал было Мин Афанасьич, весь озарившись улыбкой. — Слушай...

— Э, брат!.. Опять тебя слушать? Этак, пожалуй, без покаянья умрешь. Ты уж при себе сбереги. Вот придет Покров, тогда уж с тобой мы старухе и будем рассказывать сказки.

— Ну, Покров так Покров,— согласился и Мин Афанасьич. — Только, слышишь, Пиман Савельич, чтоб сон мой был в руку.

— Дай бог, коли был он благополучен.

— Он-то, братец, очень благополучен. Единственный сон, так тебе надо сказать! — лукаво мигнул Пиману Мин Афанасьич. — Постой минутку, — остановил он его за рукав, — что все к хозяйству бежишь? Эк оно, братец, тебя обуяло! Ведь полсотни годов прошло, как мы уговор с тобой положили сродниться; сколько уж и детей за это время было у нас, а все не свершилось... Что вчера говорил, то и сон говорил. Слышишь, пора, чай? Прежде лютое время хоть было: нужда, да хозяйство, да баре нас с тобой разводили... Али и теперь все еще не приспела пора? Как-никак, а ведь все, брат, из одного с тобой мы полена!.. Сердись не сердись.

— Кто ж говорит!.. Мужики, поди, оба были, — добродушно заметил Пиман.

— То-то и есть... Так хоть перед смертью, друг, нам с тобой бы и счеты закончить?.. И к богу бы лучше было предстать на ответ!.. А то что: век мужиками

прожили, а все уговор не сдержали... Точно, каюсь, не так справен я с сыном, как вы... Да ведь ты нас знаешь: не от худого корня и мы... А умереть оно так-то куда было бы лучше!.. Завершили б союз, ровно ключом бы замкнули, и чисто!.. Так ли?.. Предел, мол, мужицкий сполнили, по правде, по силе... Ты знаешь, мздоимцем я не был... Не из корысти я говорю... А только одно — завершить чтобы нам с тобою предел!.. Чтобы пред смертью все, что было меж нами, покрыть — и шабаш! Так ли? Умер тогда бы я, братец, не моргнул бы и глазом!

— Что ж, — отвечал Пиман Савельич, — говорил я тебе: я согласен... Хоть перед смертью обет надо исполнить... Только вот что: когда была воля моя, все помехи бывали, а теперь... Теперь времена, брат, не наши: как молодые, спроси. Вот подождем Покрова, молодые ребята придут с заработков, забегают свахи, тогда гляди сам...

— Ну, Покров так Покров! Не за горами и он!.. Покров, точно, все покрывает, — заключил довольный Мин Афанасьич, и старики, таская пальцами сено из бород, выбрались вон из сарая.

— Что ж, подождем Покрова! Покров все покрывает,— твердил Мин Афанасьич и ждал Покрова.

Вот, наконец, и Покров. Дергачи заварили пива, заходили сваты и свахи. Поп с попадьей пришили карманы пошире. Торопливее по избам забегал Макридий Сафроныч и зорче следит за «слабым народом», чтобы не успел он, — боже храни! — в пиво упрятать всю недоимку: рыщет по улице, по кабакам, под шумок пытая, кто сколько принес с заработков, кто сколько хлеба свез на базар, кто сколько пропил, на булках проел.

— Горе и только — дело мое! — плачется Макридий Сафроныч, — Людям веселье, а мне пуще заботы!

— Ну, не тяжелей, поди, нашей, Макридий Сафроныч! — отвечают ему жены, отцы и дети, с нетерпеньем поджидая своих мужей и детей.

— А кто ж виноват? Брали б с Пиманов пример... Вон у них какое веселье! податей и нужды за ними не виснет; народ весь при доме; во-время поедят, во-время выпьют... Благородно и чинно, в меру, в здоровье.

— Что ж ты Пиманов нам ставишь в пример?.. Мы

и сами не хуже были бы их, — раздраженно отвечали старосте жены и матери. — В том и счастие Пиманов, что наши мужья и дети ходят в работу бог весть куда... На нашей земле богатеют, наши же земли забрали...

— Поменьше бы пили, — ввернул Макридий Сафроныч.

— Ну, на себя обернулись бы лучше...

II

Покров — день знаменитый в деревне: там, позади, страда, время физического напряжения, все ушло в силу, в мускулы; здесь, за Покровом, вступает в права мужицкий мозг, почти полгода безропотно подчиненный сохе, бороне, косе, серпу. Чем дальше за Покров, тем больше входит в силу мужицкий ум, тем смелее разыгрывается мужицкая фантазия. Любит это время Мин Афанасьич. Летом маленькое существование Мина Афанасьича совершенно стушевывается перед физическим величием крестьянской страды. Он сам угнетен ею, да и его мало кто слушает. Но за Покровом Мин Афанасьич вдруг воскресает: он в чести; его снисходительно слушают самые хозяйственные мужики. Молодой народ несет тогда с заработков, со всех концов России, целую кучу рассказов, вестей, слухов, над которыми мужицкий мозг начинает туго, медленно работать, под шум базаров, свадеб, выбивания недоимок и податей. Тут Мин Афанасьич — дорогой человек: как-никак, а его маленькая голова значительно скорее заставляет вертеться тяжелый жернов мужицкого хозяйственного мозга.

Мин Афанасьич жил с братом в большой, старой избе. Известно, что они в течение двадцати лет по крайней мере раз пять делились, пилили избу пополам, заколачивали наглухо двери из одной половины в другую, пять раз опять начинали жить в «союзе», «по́милу», двери расколачивали, загородки разбирали. Дело в том, что у «душевного» Мина жена была баба хозяйственная, сухая, работящая, исключительно погруженная в хозяйственные интересы, между тем как у «хозяйственного» Карпа, брата Мина, жена была женщина с «легким духом», любила песни, хороводы, ули-

цу, любила слушать разговоры и даже сама с грехом пополам, надев очки, почитывала «жития».

Из этого выходило, что в трудные минуты жизни, когда выходил хлеб или собирали подати, жена Мина шпыняла жену Карпа, а сам Карп Мина Афанасьича. Ну, тогда начиналась баталия, «союз» не выдерживал; бабы шпыняли одна другую, рвали из рук горшки, Карп с Мином старались не говорить друг с другом, двери заколачивались, устанавливались загородки, скотина разводилась, делилось сено и солома, и только не раньше как через две недели все приводилось в желанный «хозяйственный» порядок. Так жили год, а потом все оказывалось вздором, и большею частию вздор этот вскрывался на Пасхе, во время передела полей, когда Мин никак не мог потерпеть, чтоб в этот великий праздник люди жили врозь. Подвыпивши с братом, он торжественно выламывал доски, забивавшие двери, ронял загородки, обнимался с братом, с женой, с свояченицей.

В настоящее время их братский союз был в фазе ущерба, начавшейся, как мы знаем, еще при уборке хлеба «из-за сахару», по словам Мина, почему последний тогда и не ночевал дома. Теперь, повидимому, «хозяйственный» элемент опять начинал преобладать, так как жена Мина, Федора, пока муж и сын собирались на праздник к Пиманам, говорила так:

— Вот как у добрых-то людей: разоденутся, чинно дома усядутся да гостей-то к себе ждут — и беседуют чинно, великатно... А мы все на улицу!.. Все в народ, в толпу лезем. Да и то сказать, к какому добру и людей-то звать... Кто еще пойдет!..

— Не бойсь, — отвечал Мин Афанасьич «ровненько» (он всегда говорил «ровненько», когда жена еще не очень одолевала его), — не бойсь, и мы к себе зазовем... Что ж, милости просим и к нам!.. Найдем чем принять...

— Нашел!.. Корову свести — это мы умеем... А как вот пример взять с добрых людей, работу найти, так нас нет!.. Вот добрые-то люди только и смотрят, как бы землицы урвать, нет ли где работы, нет ли дела... Вот они и есть истинные крестьяне!.. А у наших лоботрясов все мимо рук плывет!.. Только бы им улица, только бы в толпе толкаться... Над ними смеются, грохочут, а им любо...

— Ничего, Янюшка, ты в ее слова не очень вникай... Она уж от природы так, — говорил все так же «ровненько» Мин Афанасьич сыну. — Я вот, слава создателю, против господ выстоял, да и от нее, господь бог дал, двадцать лет отбиваюсь... И ничего!.. Своим не поступался!

Мин Афанасьич при этом с такою самоуверенностью чесал бороду, что Янька засмеялся тою беззаветною улыбкой, которая застыла на его лице с тех пор, как он в первый раз увидал, как мать учила отца хозяйству, и как отец, этот низенький, маленький, худой мужичок, крепко стоял и отбивался от высокой, здоровой бабы, которая действительно могла бы изломать такого мужичонку в куски, если бы он был не так «крепок духом», как Мин Афанасьич.

— Жадности этой никогда собой овладать не допустил, — продолжал Мин Афанасьич.

— Учи сына-то! Да разве в труде жадность есть? Труд-то сам господь возлюбил, несуразный! Чему ты сына-то учишь? — выходила совсем из себя Федора.

— И в труде жадность есть!.. Есть, милая, есть!.. А жадность всему погибель... И труд должен быть в меру, тогда и бог его любит... Все в меру, без жадности, без алчбы: во-время потрудись, во-время песню спой (песня для души нужна, чтобы на душе тяжести не было), во-время на народ сходи (на народ сходишь, все равно что в церковь: и уму есть занятие, и душе пища, потому что наша душа только на других и жива)... Тогда и будет в твоей душе довольство!.. А ежели ты и к труду жаден, так довольства не будет; будет у тебя на сердце тоска, истома, зависть, к другим ты будешь строг и сурьезен...

— Хорошо тебе молоть-то, как за чужою спиной живешь, — насыкнулась опять Федора, — как за вас ночи не спишь, истощаешься... Целый-то день-денской все думой о доме терзаешься... У других-то, у добрых людей, посмотришь, — всего-то вдоволь, все-то идет колесом... Вот хоть взять Пиманов!..

— И ты понапрасну истощаешься, — сказал Мин Афанасьч, — совсем понапрасну... И думами себя тревожишь напрасно... Кабы ты себя не истощала, было бы у тебя в душе довольство, в себе... И жили бы мы дружно, и греха бы ты ни нам, ни себе не делала...

А что ж Пиманы?.. Хорошие люди Пиманы, точно, а и Пиманам скажу: надоть бы им в труде поостепениться... И в труде жадность к добру не доведет... Ежели в труде жадность — довольства в себе нет.

— Несуразный ты, несуразный! Да ежели бы не истощалась я, — подхватила Федора первую половину возражения Мина, — да ведь вы бы и с братом-то, и с Макарихой (жёна Карпа), ведь вы бы давно сгибли... Ведь надо али нет подати-то платить? Ведь мы не баре, по своей-то охотке жить...

— И тут в тревогу приходить нечего: есть — отдадим; нет — подождут.

— А как не подождут?

— Ну, тогда... перехватим как ни то... Пущай!.. Как-нибудь себя потрудим. Ведь это все у них от жадности... Она же их и погубит!.. А себя зачем губить!.. Пускай они от своей жадности погибнут. А ежели мы все будем жадничать, — всем может оказаться погибель.

— Дураком родился, дураком и умереть ему... Да еще дурью породу от себя пустит! — выкрикнула Федора и ушла.

— Так-то, Янька, ты не смущайся, что мать говорит... Она от добра говорит, да зла за добром не видит, — сказал Мин Афанасьич сыну в поучительном тоне.

Этот поучительный, «ровненький» тон, однако, в устах Мина Афанасьича звучал так необычно долго, и притом Мин Афанасьич так тщательно намазывал волосы и прибирался, что Яньке запало подозрение, не задумано ли у отца какое-нибудь секретное дело.

— Вот, может, господь даст, поженишься, — продолжал Мин Афанасьич, все забирая тоном выше и торжественнее, — первое дело — бога помни, потому бог есть правда и милость; второе дело — жадности беги; к уму ли жадность, к земле ли, к труду ли — все жадность... А жадность погибельна... Потому довольства в себе не будет... Что бы с тобой ни сталось — жадности бойся! Помни одно: наше дело правое... Смотри прямо!.. Будут у тебя жена, деточки — от жадности их остерегай! В работе ли будут жадничать, в труде захотят, страха ради иудейска, истощаться — воздерживай... Поработают — и будет, песни пускай поют, на

народ сходят. Тогда на душе будет довольство и мир со всеми, и в семье, и на людях.

Янька слушал все с бо́льшим и бо́льшим изумлением. Никогда еще ни разу не приходилось ему выслушивать от отца такой длинной проповеди.

— Да ты чего нынче... какой? — спросил, улыбаясь, Яня, заметив, что отец надевает свой лучший синий кафтан и тщательно застегивает его под бородой, а лицо у него торжественное.

Янька знал, что отец большею частью бывал равнодушен к костюму и даже в праздники надевал полушубок, а когда ему это замечали, то он отвечал, что, мол, «шуба овечья, да душа человечья». И лицо у него никогда прежде торжественным не бывало, всегда оно «играло», как у ребенка.

— Ну, да чего тут учить!.. Коли кровью в отца — так и бровью! — сказал Мин Афанасьич, как будто силясь сбросить с себя несвойственную торжественность. — Пойдем к Пиманам... Нынче они празднуют.

Янька, повидимому, очень отдаленным чутьем догадался, в чем может быть дело. Он как-то невольно весь вспыхнул и оробел. Зачем-то еще раз взглянул мимоходом в осколок зеркала, прибитый гвоздочками к стене, пригладил волосы, франтовитее поправил на плечах накинутый кафтан и вышел с отцом.

Яня был действительно, очень похож на отца: низенький, худой, но стройный, с маленьким лицом, на котором и нос, и глаза, и рот тоже были маленькие; но в общем все это было симпатично, в особенности при застывшей на всем его существе беззаветной улыбке.

Как, однако, ни была несвойственна натуре Мина Афанасьича торжественность, он все же не мог освободиться от нее сегодня. Чем ближе подходил он к дому Пимана, тем эта торжественность в нем становилась заметнее. И торжественность эта была, должно быть, вполне подобающей моменту: впереди предстояло совершиться акту, имевшему для Мина Афанасьича — исключительно только для него — громадное значение. Он сразу должен был завершить цикл шестидесятилетней жизни, придать ей ту округлость, полноту, цельность и смысл, которые на смерть крестьянина кла-

дут такой эпический отпечаток высокого спокойствия, полного сознания «правоты» пройденного существования. Без этой округлости и цельности в этом существовании и в этой «правоте» чего-то недоставало очень ценного, что делало его похожим на могучую реку, разбившуюся на множество рукавов, разбежавшихся в разные стороны и не нашедших еще общего русла. Когда совершился великий «водоворот» в народной жизни вообще, о какой подводный камень разбилось ее могучее течечение — это дело довольно темное еще. Но что касается судьбы интересующих нас лиц, то Пиман и Мин Афанасьич, несомненно, когда-то подхвачены были и неслись по волнам тех основных и великих потоков этой жизни, которые такою яркою и широкою полосой прошли через весь исторический процесс, вблизи один другого, замечательно сходные и родственные в своей сущности и хотя редко когда мешавшие свои волны, иногда даже враждебные друг другу, но всегда стремившиеся слиться в общее русло. В то время когда Пиман являлся потомком «хозяйственного» Груздя, Мин был правнуком того Парамона, который родил «вольницу» в лице своих беглецов-сыновей. Как ни иронически звучит это по отношению к «смирному» и «захудалому» мужику Мину, но, несомненно, он был «вольница», порождение того же духа неудовлетворенности и жажды «широкого захвата», который родил вольницу новгородскую, рыскавшую по лицу земли русской. Что вышло бы из Мина Афанасьича, если бы он подхвачен был потоком, уносившим вольницу из мирной общины труда,— может быть, вышли бы те же «Иуды», продавшие родной мир, о которых говорил со скорбью Груздь, а может быть, что-либо другое — неизвестно, но когда, в лице старого Парамона община, верная традициям героического попа Варлама, с дикою строгостью силилась остановить поток вольницы из своего сердца, она успела осадить на месте целые миллионы этих элементов «широкого, поэтического захвата». Осадить она их осадила, но изменить внутреннюю сокровенную сущность их не могла. В то время когда проникшаяся «подозрением» община вырабатывала суровый хозяйственный идеал, вооруженный на борьбу за существование одним трудом, и создавала крепкую трудовую общину, осевшая вольница, сохранив в себе не-

прикосновенной «широту захвата», растворилась в этом мире безнадежного и сурового труда, принесла в него поэзию, веру, любовь. Она в трудовой сельскохозяйственной общине силилась создать общину духовную, посредством ее придать округлость, цельность и смысл миллионам человеческих существований, умерить действие почти непосильного сурового закона борьбы за существование.

III

Стояло ясное морозное утро. После обедни много собралось народу у счастливого Пимана — и из своих Дергачей, и с Вальковщины, с разных сторон. Старики и почтенные «хозяйные» люди в первой половине вокруг самовара сидели; молодежь собралась на другой половине и усердно грызла орехи; но в раскрытые настежь двери все могли слышать друг друга, и старики часто перекликались с своими детьми или слушали, как с заработков вернувшиеся парни передавали разные слухи и вести, которые молодежь часто прерывала взрывом веселого смеха.

— Ну, вот и Мин Афанасьич пришел! — весело сказала Катерина Петровна, — а то без старого весельчака и праздник не в праздник.

— Пришел!.. Как не притти!.. Где народ, там и я! — отозвался, входя с сыном, Мин Афанасьич. — Ну, старики, праздник у вас, слышно, ноне большой, — обратился он к Пиману с женой, — дай бог в спорость, в довольство, да в счастие...

— Крестьянин — не барин, немного крестьянину надо, чтоб был он в довольстве, — сказала Катерина Петровна. — При своем деле крестьянин доволен и малым... При неправом же деле всегда всего мало...

— Вот, вот!.. Я тоже всегда говорю! — подхватил Мин Афанасьич. — В том и мужицкая сила, что дела правее не сыщешь. Правота всему голова!.. Ежели ты правоту свою знаешь — и с черствым куском будешь доволен и счастлив... А нет правоты в твоем деле — что тебе ни давай, только алчбу рождать в тебе будет: все мало!.. Взять хотя бы бар... Вы вот, молодые, слава богу, не знаете их, а мы при них состояли довольно... Бывало, посмотришь, господи боже, чего у них

нет! Во всем сладкий скус, ни труда, ни заботы, нежит и тело и ум, сколько влезет... А вот, братец мой, чтобы довольство в душе было... нет!..

— Ну-у, уж ты, Мин Афанасьич, тоже придумал! — перебили его старики.— По-твоему выйдет, что нам в крепости жизнь была лучше, чем барам...

— Он всегда за господ был!.. Лизоблюд был известный, — шутя перебил старший пиманов сын. — Он, пожалуй, о барах заплачет...

— Ты постой, погоди... Выслушай прежде... Я постарше тебя... Ты вот бар-то видел в заборную щель, а я при них двадцать лет подвизался... Говорю: довольства в душе у них было мало... Бывало, рыбу ловить, на охоту, гулянку устроить, по озеру или в лесу, — первым делом за Мином сейчас: «он-де рад и сам отлынять от работы!» Мин как тут!.. Целыми ночами пьют, едят, веселятся... Чего не придумают только: и всякой еды, и питья, и веселья... а довольства все нет!.. Посмотришь в лицо им, так вот и видишь: нет довольства в душе! Бывало, молодой барин так-то, единожды, мне говорил: «Минка, отчего ты всегда так доволен и весел?» — «Оттого, говорю, барин, что у меня в душе довольство». — «Отчего ж, говорит, это у тебя в душе довольство?» — «Оттого, говорю, что я при правом деле состою, хлеб рощу... Без хлеба людям жить нельзя».— «Ну, а у Захарки (Захарка камардин был при нем), значит, нет этого довольства?» — «Нет, говорю». — «Да ты, говорит, посмотри на него: вся рожа у него оплыла... Видишь, как улыбается». — «Нет, говорю, не может быть у него довольства, потому не при правом деле состоит». — «Как, говорит, не при правом? Ведь он тоже работает! ведь и повар Васька работает, и Савельевна работает». (Савельевна тогда была в нянюшки взята.) — «Савельевна, говорю, точно, имеет в душе довольство, потому что она при правом деле: при девочках, деточек произрастает... А при деточках наблюдать, все одно, что при молодом хлебе... В деточках неправого положения нет». — «А при мне быть, при барине, — значит, мое положение неправое?» — закричал он. Позамялся я этак немного, струхнул, однако осилил себя, говорю: «В тебе, господин, тоже довольства нет!» — «Ты, Минка, говорит, глуп, да еще и бунтовщик. Как ты осмелился такое слово барину ска-

зать?» — «А потому и смелость взял, отвечаю, что при правом деле нахожусь... Как ты мне скажешь, что я неправое дело делаю?» — «Ну, выходит, по-твоему, все мужики у меня довольны! (Засмеялся.) Хоть это, говорит, хорошо. За это я, говорит, тебе твое грубианство прощаю» (и опять засмеялся). — *«В себе,* говорю довольны, ваша милость... А в тебе довольства нет». — «Раб ты, говорит, Минка, рабом ты родился — рабом тебе и быть надлежит... И рассуждения у тебя такие...»

— Ну вот, мы про то и говорили! — разом все хозяйные мужики подхватили. — К тому и дошел, что, вишь, мужикам у бар житье было не надо быть лучше... Как около бар-то терся, так ему и все казалось сладко! Барское блюдо раз лизнуть мужику — гляди, и скус к нему получил! Хорошо оно с барами-то было погуливать, как других на конюшнях пороли!.. Их порют, а Минка в дудку дудит да бар веселит!..

Все засмеялись. Мин Афанасьич, однако, этим не был встревожен. Пригладив обеими руками волосы и утерев бороду, он твердо повторил:

— В себе довольны... в своей правоте... Вот здесь «правота»! — Он постучал кулаком по худой груди, сверкнул подслеповатыми глазами и поднялся.— А правоте в мире не сгибнуть... Правота всегда жива, а неправота только временно живет... Вот Иуда предатель хотел жить неправотой — и удавился...

— Дожидайся, пока Иуды все перевешаются... Что-то, брат, неприметно...

— В свете только две правоты и есть,— продолжал, все еще играя в торжественность, Мин Афанасьич: — крестьянин при хлебе и царь при мире. И больше греха нет, как ежели крестьянин от хлеба отобьется, — значит, от правоты отшибся, а царь от мира, — потому, значит, от мирской правоты отшибается. Как крестьянину за свой грех мало жизни, чтоб умолить, так за единый, самый малый царский грех — вся Россия не умолит... Вот она какая правота-то в мире! Сила в ней, в этой правоте, большая, и никакой неправде против нее не выстоять... Не выстояла против нее и барская неправота!.. Слава создателю!..

— Да против кого ей, неправоте-то, не выстоять? Ты вот что скажи! — вдруг сердито окрикнул Мина высокий старик с большою окладистою седою бородой и

умными, но суровыми и даже с выражением какой-то сухой жестокости глазами.

Он все время слушал молча, опустив глаза в пол, и только от времени до времени поднимал их на Мина и с чувством презрения сдвигал свои густые брови. Но при последних словах Мина, и в особенности когда он стукнул в грудь кулаком — в знак искренней своей правоты, — старик не выдержал. Этот старик, Иона Губин, был старовер, вытный в староверской дергачевской выти.

— Против кого? — повторил Мин Афанасьич.

— Да, против кого неправоте-то не выстоять? — еще суровеее повторил старик.

— Против правоты, — сказал Мин Афанасьич, стараясь выдержать взгляд старовера.

— Против какой?

— Против моей! — задорно выговорил Мин Афанасьич с тем энергическим покачиванием головы и движением всех членов, с каким любят сопровождать свои уверения упрямые дети и вообще непосредственные натуры, у которых выражение чувства идет скорее, чем мозг успевает формулировать мысль.

Иона что-то произнес сквозь зубы, совсем пораженный «глупым» ответом Мина.

Взрыв веселого хохота раздался со стороны молодежи. Из среды ее внезапно вырвался высокий молодой мужик, наш старый знакомый Лимподист, недавно вернувшийся из заработков, весь белый, словно мельник, но с розовым лицом, покрытым тоже беловатым пухом, и, размахнув, как мельничными крыльями, своими могучими руками, растолкав народ, подошел, улыбаясь во весь рот, к Мину, обнял его маленькую голову своею широкою рукой и, опять оттолкнув от себя, сказал:

— Лю-ю́блю!.. Вот это я л-люблю! Вот... это... я люблю! — повторял он, силясь что-то сказать получше, но решительно не находя слов.

Лимподист почти совсем не понимал, что хотел сказать своим ответом Мин (да едва ли в этот момент понимал и сам Мин), но Лимподисту понравилась та храбрость, с которою маленький, худенький Мин Афанасьич возразил надменному книжнику. Да таков и был действительно смысл самого ответа Мина.

Этот неожиданный порыв Лимподиста вызвал еще большее веселье. Даже солидные «середняки», сначала было сочувствовавшие староверу и не одобрявшие ответа Мина, теперь смеялись. Поощренный таким одобрением, Мин Афанасьич приободрился и хотел было, так или иначе, окончательно уничтожить старовера, когда в дверях появился, зачем-то вышедший раньше, Пиман Савельич и, улыбаясь, бережно нес в руках какой-то бумажный сверток.

— Вот, во сне мне... указание было... И совсем забыл, — говорил он, бережно развертывая сверток корявыми пальцами. — Вот еще от отца (Груздя он считал отцом) остался... Говорит: «Бери... Когда ни то удосужишься — прочитаешь...» Да вот век прожил, а все не удосужился...

— Долго же собирается мужик грамоту читать! — весело заметили гости.

— Да и то забыл совсем... Ни к чему... Да вот уж во сне указание было... — говорил Пиман, все еще не умея сладить со свитком и поворачивая его то вниз, то боком.

— Дай сюда! — сказал сурово раскольник, подходя к нему с видом человека, знающего свое дело.

— Дай, дай ему... Авось, скорее тебя дочитается!.. Ты вот целый век собирался, — шутили гости.

Раскольник долго всматривался в характер «устава», которым был написан свиток. Повидимому, его интересовало не столько содержание свитка, сколько его «начертание». Но по лицу его было заметно, что он то сомневался в чем-то, то иногда в глазах его загоралась надежда.

— Как он тебе достался? — спросил, наконец, Иона Губин, повидимому в чем-то окончательно убедившись.

Пиман рассказал историю свитка, как передал ему Груздь.

— Читай!.. Пусть Иона читает! Послушаем, как старики-то наши писали! — заговорил заинтересованный народ, и все сгрудились около Ионы.

Иона обвел всех сердитым внимательным взглядом, как будто желая удостовериться, действительно ли способен окружающий его народ проникнуться серьезностью его чтения и не унизится ли он, Иона, до ме-

тания бисера перед свиньями. Наконец он стал читать медленным, протяжным тоном.

Свиток этот заключал именно то «Слово о двух мужиках», о котором говорил Груздь во сне Пиману. Стиль «Слова» заметно был рассчитан на возможно большее число слушателей и читателей, а потому в нем всюду замечались старания автора приноравливаться к пониманию и языку массы. Вот почему, вероятно, чем больше читал Иона, тем гости Пимана внимательнее вслушивались. В «Слове» говорилось обо всем просто и ясно. Начиналось оно воззванием: «Православные крестьяне, истинные Господа нашего христиане! Просим оное послушать сказанье, да будет оно вам в указанье, как течение жизни познати и оттого в тяжкий грех не впасти; чад своих от соблазна охранити и тем Царю небесному угодити!» За этим воззванием характер стиха изменялся, и «Слово» рассказывало так: «Зачиналася церковь православная, светозарная церковь апостольская (вторая половина стиха обыкновенно повторялась в первой половине следующего), разливался свет по всей земле, по всей земле российской и греческой. Настало всем христианам радование!» Рассказав затем, как «ликовали» православные люди, «Слово» продолжает: «Тому слову Господа-Спаса внимаючи, ссор и свар отрешалися, общим лобызанием сопрягалися, имуществом поделялися: на полях-лугах мужички собиралися, пред иконою Спаса поклонялися: чтобы с того часа великого жить нам в мире-любви о Господе, не делить по себе свет солнца красного, не межевать землю-матушку, а жить всем нам жизнью обчею, обчею жизнью апостольской». Затем, по рассказу «Слова», оказывалось, что дьявол был очень недоволен таким распространением среди крестьян «обчей апостольской жизни» и стал изыскивать разные козни. «Близ Новгорода проживала честная вдова с двумя сынами: старший сын, нрава кроткого, прилежал хозяйству крестьянскому, боголюбивому, а младший сын — ума дерзкого, красоты неописанной, от честной вдовы был балован, не прилежал труду боголюбивому». Этого-то младшего сына дьявол и выбрал своим орудием, «обуяв его гордыней от того ли ума дерзкого». «Не хуже я других, говорил младший сын, умом-разумом, неприлично-де мне чужому уму покорятися. Надлежит мне быть при самом царе. И ходил

он к самому царю, обольщал царя своим дерзким умом». Тогда царь приблизил его к себе, окружил почестями и предоставил ему «ведать все дела по-своему». «И тогда гордыня его подымалася, дерзновению его предела не было: возмнил он быти выше уставов апостольских». После этого «Слово» рассказывает, как он приказал печатать новые книги, править и жечь книги истинные, старинные, как всех людей метил печатью и клеймами, велел межевать земли, вводил обычаи иноземные и пр. Очевидно, «Слово» в образе младшего брата смешало в общий тип и Никона, и царя Петра, и позднейшие мероприятия Екатерины. Поступал младший брат «по своему уму дерзкому, православному миру не внимаючи... А враг человеческий тому радовался!» Дальше «Слово» рассказывает, как «возмущались тогда люди благочестивые, мужики-крестьяне православные, высылали они того ли брата старшего, да и идет он к самому царю; да велит ему царь с младшим братом померяться; чья правда вытянет — той правде в миру быть». Царь допустил их померяться, и старая правда новую перевесила. Но это не понравилось младшему брату: «аки зверь, бросился он на брата старшего», велел ковать его в кандалы, сажать в тюрьму. Наконец «Слово», заметив, что многие юные души пошли на соблазн, заключает, такою безнадежною картиной: «С того в мире брань-свара водворялася, наступали времена купующие, наступали времена самосудные; покупались судьи неправедные. Кровь на кровь подымалася, братья на братьев вооружалися, на отцов дети ополчалися. Раскололася земля русская надвое; расходились люди благочестивые по лесам дремучим, темным, уносили с собой правду старинную, хоронили ее от злого антихриста. И будут старинные люди уменьшатися, и погибнуть старшему брату от младшего, не видать на земле церкви апостольской, не знавать людям мирской правды до второго пришествия самого Христа-спаса справедливого». На этом «Слово» кончалось.

Чем больше вчитывался в него Иона Губин, тем голос его становился торжественнее, тем больше всем существом проникался он его содержанием; суровые глаза его сверкали, голос дрожал, а когда он дошел до конца, у него полились слезы. Все это произвело на слушателей сильное впечатление: прежде всего, все они

как будто несколько смутились, так как содержание «Слова» очень плохо гармонировало с общим праздничным, довольным настроением. Многие старики крестились. Старичок Ермил из Груздей подсел к Пиману, в добродушном, испуганном недоумении смотревшему на Иону и на свиток, и сказал ему вполголоса:

— Мотри, Пиман Савельич, это тебе какое ни то указание.

Пиман совсем сконфузился и оробел. Старшие сыновья Пимана качали головами, силясь тщетно понять мораль «Слова». Катерина Петровна, благочестиво сложив на груди руки, смотрела на Мина Афанасьича, который глядел куда-то в угол, в сторону, и тихонько покачивал головой, как человек, которому сделали большую несправедливость. Все же вообще повторяли ничего не значившие фразы, вроде: «Все бог, выше бога не станешь!.. Ах, дело, дело!.. Грешники, конечно...»— фразы, к которым обыкновенно прибегает крестьянин, когда его ум угнетен непривычным наплывом впечатлений. Во всех что-то бродило, что-то хотелось сказать, но все молчали, ожидая, что скажут «умные люди».

Вдруг Иона, утерев слезы, поднялся сердитый и недовольный и, взяв шапку, подошел к Мину.

— Вот! — сказал он, подставляя свиток к его лицу, — можешь ты что-нибудь в этом понимать?

Мин, не оборачиваясь к нему и все смотря в угол, отвечал:

— Не бойсь, поймем!

— Что ты понимаешь? — закричал Иона своим грубым, нахальным, голосом, которым большею частью говорят староверы с людьми из «мира», которых они презирают и которых любят унизить в глазах других (этот полемический прием, и не без успеха, они практикуют часто).

— Я понимаю, — повторил Мин Афанасьич, как будто собираясь с мыслями, которых он никак не мог высказать; он только чувствовал, что вдруг ему стало за кого-то обидно, кого-то жалко, он ощущал какую-то большую несправедливость. Почему-то он вспомнил Катерину Петровну, свою жену, Яньку, Пимана, вспомнил недавнюю уборку хлеба, сенокос, веселого Пимаху на стогу, мужиков всех вообще, почему-то вспомнил даже свою сивую лошадь, с которой он нераз-

лучно лет десять ходил бок о бок в извоз, в поле; вспомнил двух кроликов, которые жили у него в подполье...

Зачем все это вдруг пришло ему в голову, он никак не объяснил бы, но если бы он стоял пред толпой и говорил свободно, он так бы все и рассказал, как ему в голову все это лезло, и непременно было бы понятно и ясно и ему самому, и слушателям. Но когда над ним стояли с ножом к горлу и требовали категоричного ответа, он не понимал, что у него в голове, хотя и повторял:

— Я понимаю, не бойсь!..

— Что же ты понимаешь? — повторил опять свой вопрос, не изменяя ни голоса, ни позы, Иона.

Он уже чувствовал, что, ответь еще раз Мин так же, толпа не выдержит и захохочет. Иона знал мужицкую толпу.

— Чего я понимаю? — вдруг напружился Мин Афанасьич, прямо с какою-то отчаянною решимостью посмотрев на Иону, и поднялся.

— Да, — сказал Иона.

— А тебе чего нужно? — неожиданно спросил Мин Афанасьич, каким-то чутьем понимая, что перемени только Иона вопрос, и он действительно «все поймет сразу».

— Против кого, скажи, неправде-то не выстоять? Вот этой неправде-то, что тут прописано! — кричал Иона, стуча свитком по руке.

— Против кого?

— Да.

— Против нас... Вот против всех... Мы вот...

Мин Афанасьич вдруг весь заволновался, замигал глазами, всего его задергало.

— Богохульник! — проговорил Иона, услыхав прежний ответ Мина, который он принял тогда за неуместную шутку глупого мужика.

— Врешь, — закричал Мин Афанасьич, — врешь, господь нас в обиду не даст... Господь милостив, милосерд... Правому делу он не даст погибнуть... Неправому делу погибель, а правому нет... Он не допустит!.. Вот против чего неправоте не выстоять!.. Бог от нас не отступится, потому мы при правом деле...

— От вас, пьяниц и сквернословов? От разбойников? — загремел Иона. — Да он от вас, в справедливом своем гневе, давно отступился! Ему больно, что вы

имя-то его своими сквернословными устами говорите!.. Вот оно — люди-то святые что писали!.. Вникните!

— Староверские сказки, — тихо, садясь, проговорил Мин Афанасьич. — Конец-то староверы приклеили!.. По всему видно!

— Продай мне! — вдруг сказал Иона Губин Пиману, услыхав слова Мина и показывая на свиток, но не выпуская его из рук.

— Продать? — спросил в недоумении Пиман.

— Да. Хочешь четвертной билет?

— Продать? Зачем продать?.. Это у меня от отца...

— Не продавай, — шепнул ему старичок Ермил, — может, указанье... Почем знать?.. Вишь, во сне... объявилось... Может, и счастие твое оттого, что он у тебя в доме...

— Что же, продашь? — допрашивал Губин.

— Зачем продавать?.. Самим пригодится.

— Да вы себе Еруслана купите! Вам все одинаково сказки-то!..Тот всего трешник стоит, а я четвертной билет даю! — сказал Иона и иронически засмеялся.

— Зачем продавать! Не бойсь, и сами поймем, — заговорил, уже обидевшись, Пиман. Обиделись и его сыновья.

— Не кичись, Иона Петрович, очень-то, — сказали они, — ум-то не на вас одних клином сошелся!.. Найдем и у себя... Ты, батюшка, не давай... Что мы с голоду, что ли, помираем?.. Видали четвертные-то!..

— Ну, полсотни хочешь? — сказал Иона, надевая шапку.

— И полсотни не хочу, Иона Петрович. Самим пригодится.

Иона сердито сунул ему в руки свиток и быстро вышел из избы, ни с кем не прощаясь.

— Вишь, сердце какое! — сказали в толпе.

— Собачье, истинно собачье...

— Себялюбцы! — сказал Мин Афанасьич, — одно им слово...

— Эй, Пиман! — простучал клюкой в окно с улицы Иона: — Хочешь, десятку накину?

— Ступай с богом, ступай!.. Говорю, самим пригодится...

— На цыгарках искурите, богохульники! — закричал Иона с улицы и ушел.

IV

Уход Ионы как-то сразу согнал со всех томящее недоуменье; как-то сразу все что-то поняли, у всех вдруг стало светло в мозгу: все заговорили.

— Себялюбцы! — проговорил добродушный Пиман.

— Себялюбцы! — подхватил Мин Афанасьич, весь словно просияв. — Верно — себялюбцы!.. Вот истинное слово!.. Потому миру ненавистники... Себя только любят... Смотри, ото всех отгородились, ровно от чумы... Себя только святыми считают, а другие, вишь, в грехе ходят!.. Мирские ненавистники!

— Господа бога огорчают; он нас, милостивый, из каких рук-то высвободил? — заметили солидные хозяева.

— То-то вот, какую неправоту славил? — подхватил Мин Афанасьич. — Не въяве ли? А ведь прежде тоже не верили... Помните, чай, немало мне доставалось! — улыбался он.

— Трудно было, изверились, — сказал старичок Ермил из Груздей.

— Маловеры! Вот истинно, что мы маловеры... А оттого в отчаянность, в жадность впадаем, — добавил Мин Афанасьич.

— И теперь опять прописано, что мужик от ума заблудился... В уме плохого нет... Как себя поведешь... Еще без ума-то зла больше сделаешь, — сказал старший пиманов сын.

Все еще долго говорили, восклицали в подобном же роде, а Лимподист весь сиял, как будто его собственная «правота», состоявшая вся в том, что он с своею артелью таскал в московских лабазах кули, вдруг просияла для него неожиданным светом, и он внезапно объят был верой, что господь милостив, и его «правота скажется, и неправота замолчит пред его правотой, и что в будущем все для его правоты и ничего для неправоты». И во всех говорило то же. Во всех возгласах сказалась вдруг страстная жажда жизни, а с ней и веры. Так различны были результаты впечатления, произведенного одним и тем же фактом теперь и сотни лет назад.

Только один старичок, Ермил из Груздей, не разделял общего порыва веры, может быть именно потому, что был очень стар, и сказал:

— Много, много еще неправоты в мире осталось!.. Ой, много!..

— Много, дедушка, много, — подтвердил и Мин Афанасьич, — только и ей не жить...

— Вот ты говорил про бар, — продолжал Ермил, — а свой-то брат покруче будет... Ой, покруче!.. В барах баловства было много, а тут дело-то в сурьез пошло!.. В большой сурьез!..

— Сгибнут! — уверенно сказал Мин Афанасьич.

— Почему ты так? — спросили хозяйные мужики.

Все примолкли. Мин Афанасьич так убедительно доказал эту гибель относительно бар и так уверенно пророчил эту гибель кулакам, что все с большим интересом ждали его ответа. Мин Афанасьич протер больные, заслезившиеся глаза, посмеялся в бороду, обвел всех лукаво-добродушным взглядом и спросил:

— Али ноне у вас Мин умен стал?.. Что все уши-то, словно зайцы, прижали? Должно, и за Мином кое-что водится... Пора, пора!.. Есть, братцы, и у Мина заслуги!

— Ну, ну... Ты уж на пустой-то не играй! Посмотрим еще! — закричали на Мина.

— Что мне смотреть!.. Умнее не буду: все, что есть, — все при мне... Так вот, говорю вам: кулакам-мироедам не жить... А не жить им потому, что у них *сытости* нет!.. Коли сытости нет — шабаш, пропало!.. А у них, милые, даже ни чуточки ее нет... У барина хоть малость, да было, а у кулака нет: у него одна алчба, жадность, глад душевный и телесный... Чем больше жрет, тем больше утроба просит... Вот что у пьяниц: чем больше пьет, тем больше хочется... Он думает: вот выпью еще, буду в довольстве, сытости, — выпьет, а его пуще алчба мучит... Вот от этого самого... А отчего эта алчба? От неправоты... Правоты в своем положении не видит... Коли кто правоту чувствует, свою, он всегда и сытость чувствует, у него есть предел, у него довольство в себе есть... Вот, милые, где их гибель ожидает...

— От жадности, по-твоему?

— Да, оттого, что *сытости* нет... довольства в *себе* нет...

Все замолчали; трудно брел мужицкий хозяйственный мозг за Мином, у которого слова слетали с языка

как-то сами собой: ведь и сами мужики знали, что Мин говорит как-то по-птичьему, не так, как истинный умственный человек — резонисто и обдуманно, и удивлялись одному, как это у него выходило так, что все невольно его слушали.

— Будешь голоден!.. Как зубами-то прежде щелкал, так пироги-то куда вкусны!.. — заметил, засмеявшись, один толстый хозяин с красным лицом.

— От неправоты... правоты в своем деле не видит, — повторил Мин Афанасьич. — Ну, хозяюшка, расступись пивцом, — прибавил он и, выпив ковш, утер усы, бороду и, не обращая внимания, что мужики начали разговор между собою, вдруг заговорил уже по собственному, так сказать, почину.

— А вот, братцы, за свой век еще я неправоту видал!

— Какая же это, Мин Афанасьич, неправота? — спросила с серьезным любопытством умная Катерина Петровна, которая, может быть, одна в глубине души искренно верила в «ум» Мина Афанасьича, но не в тот «ум», за который она изменила ему и вышла за Пимана, не в «хозяйственный ум», так дорогой и важный для крестьянской страды, а в другой, в тот «разум», с которым плохо живется на свете, но при котором светло на душе. И рад крестьянин, когда из-под «хозяйственного ума» хотя один луч блеснет ему в душу от этого сияния разума, чистого, безгрешного, чуждого мзды и расчетов... А уж какую же кто-либо мог заподозрить «мзду» за умом Мина Афанасьича! Тем менее могла заподозрить его Катерина Петровна.

Все опять стали прислушиваться к разболтавшемуся Мину.

— Да вы, старики, сами знаете, на кого я мекаю, — отвечал Мин Афанасьич, — на немца, вот на кого!.. Помните, жил в Хопрах, в графском именьи, верст от нас за двадцать, управляющий... Чать, не забыли, как барыня наша, овдовевши, об немце мыслями сбилась и уж совсем было замуж вышла... да!.. а мы не пустили!..

— Помним, помним! — засмеялись старики.

— Ну, вот... про него я мекаю!.. Слыхали мы об немце и раньше, да так, мимоходом... Заходили оттуда к нам мужики, кое-что говорили, и во всей стороне об

немце шли слухи, — да нам тогда было оно ни к чему... А вот как прослышали мы от Савельевны, что барыня наша об немце болеет, взял я тихим манером, да и закатился в Хопры поразведать получше: что там и как у немца живется народу... Ну, посмотрел!.. «Как, — спросил мужичков, — братцы, живете: как хлебец, скотинка?» — «Мы, говорят, не знаем: вот немца спроси!.. Мы уж давно, говорят, не имеем ни в чем своей воли, нет давно уж у нас своей полосы; давно уже мы хлебушка сами не ростим, скотинушку не холим в дворах, нет с землей переделов и поравненья... Работаем мы по звонку, по часам; ровно солдат, нас выгоняют в поля; по приказу мы пашем и сеем, скотина у нас вся на скотном дворе; ходят за ней по наряду наши бабы; по часам, по мере да весу выдают ей и пойло, и корм... Так же и в поле: косят и пашут машина да плуги; луга и леса не божьею благодатью произрастают, а по немецкому указу, — засеваем мы их, как поля, семенами... Сущая каторга здесь!.. Нет ни воли тебе, ни к чему не приложишь ума своего и охоты... Как солдаты, по команде вертимся!.. К ночи вернемся домой, голова — как чугун, все в тебе ровно окостенело, словно скотина: только б до корму да до соломы дорваться; наелся и спишь, как убитый... А наутро, как скотину ж, опять выгоняют!.. Так и идет: нет вкуса ни в чем — ни в куске, ни в питье, ко всему равнодушны... Давно уж нас всех одолела тоска: сколько из нас передавилось на петле, сколько бежало от машинного хлеба...» Так мои мужики говорили; меня ж вчуже страх обуял... Пробыл у них я целые сутки: высмотрел все... Что за сила над ними? И точно, увидал: сила большая... Только чуть утро занялось, в звонки зазвонили, и не успел народ на поле собраться, немец уж там... Поглядел: мала птичка, да ноготок востер... Тонок, как спичка, а глазами так везде и стреляет, как коршун... Ничто от него, кажись, не уйдет... Кричать чтоб, как наши бары или бурмистры, — совсем не кричит, но раз что́ уж скажет — другой повторить не заставишь... Ходит везде, подмышкою книжки: там весит, там мерит, следит по часам, смотрит машины, винты, шестерни, щупает вымя коровам. Ну, дошлый!.. И что же, братцы! врать не хочу: посмотрел я на хлеб, на траву, на скотину, — такую мы во сне разве видим!..

Сказал мужикам: «Братцы! да с эдаким божиим даром и умирать бы не надо!» А они мне в ответ: «Дар это не божий, а бесовский обман... Не по-божьи, не по-крестьянски он возращен: нам он не в спорость». И точно, как я поразмыслил об ихнем житье, на другую же ночь убежал. «Господи боже, спаси нас и помилуй! — только твердил. — «Не попусти нам неправоты еще горшей!..» Так вот оно, неправота-то у немца какая... Идет она с бесовским обманом! В глазах у тебя она разукрасит богатством поля и луга и скотину... Всюду ум!.. Баловства уж не видно!.. И не приметишь, как дьявол тебя заберет к себе в лапы... Тогда уж прощай!.. Истаешь в тоске, будешь ходить, как шальная скотина, — ни об чем не заботься, не думай: все машина да немец за тебя обдумают! Бога забудешь, мир и царя... Дьяволу только и надо, чтоб из тебя ум взять и душу!.. Вот чего, милые, бойтесь... Вот об чем бога молите!.. Как царь даровал волю, так с тем и сгинул!.. Как манифест объявили, крестьяне бросились все на машины — в одночасье все поломали!.. Немец глядит: делу его пришло закончанье, — давай бог только ноги!.. Ну, вот с тех пор и не слышно немецких порядков... Жмут нас землей и лесом бары да кулаки, а только немецких обманов не видно!.. Создатель, видимо, милостив к нам, многогрешным!

— Все до поры, — заметил Ермил из Груздей. — Всякий нынче народ повелся... Из-за мамона и немцу продастся.

— Нет... Уж если б такому народу у нас быть, давно завелся бы... Он бы еще у бар заявился... Видел я и бар, как они льстились на немца: все хотели у него перенять... Да не вышло! Смех был один только!

— Ну, мужик при уме посурьезней барина будет, — сказал старший пиманов сын.

— Это верно. Только, как у немца, не выйдет.

— Почему ж у нас нет, а у немца?..

— На то он и немец! — заметил Мин Афанасьич. — Поставь меня, и поставь его: мне угонять его своею правотой трудно...

— Да ты говорил, что ли, с ним?

— Нет, не говорил... А только в лицо смотрел...

— Ну?

— Лицо у него ровное, взгляд твердый, не дрогнет!

Это ум в нем!.. Он по нем и довольство в душе своей имеет.

— И сытость в нем есть?

— И сытость есть. Он жадничать не станет. А возьмет и малую вещь, да уж ее до корня произойдет... И доволен, что умом взял!.. Ум его радует!.. Алчбы этой у него быть не может...

— Значит, все от ума?

— От ума.

— Так, так... Так, выходит, по-твоему, — засмеялся один хозяйный мужичок, — что тем мы и живы, что дураки нами владели, да и теперь мудрят?

— Пожалуй, что так.

Мин Афанасьич устал: до такой степени ему были несвойственны и торжественность и категорическое развитие мысли, что он сразу как-то ослаб и растерялся.

— Э, да ну вас со всем! — сказал он, заглянув на пустую половину, где прежде была молодежь. — Гляди, разбежались все молодые... Что вы праздник на поминки свели? Больно нынче сурьезны уж стали!

— Ты постой, погоди... Ты расскажи, как барыню вы не пустили за немца! — остановили его сторонние гости.

— Барыню-то?.. Чать, старики помнят и это... Как? Засмеяли!.. Ей-богу, не вру... Вернулся в деревню, пошли разговоры про немца, на сходках и в дворне... Только и слышно, как немец щупает кур да вымя коровам, как лижет он масло... Смех! Савельевна барыне, к слову, тоже закинет об этом... «Барское ль дело? Стыдно сказать!» А тут мы подвалили к веселому часу; говорим: «Матушка-барыня, да неужто же мы тебя с барчатами сами пропитать не сумеем?.. А коли барина нужно: бери, чтобы барин был настоящий, рук не марал на мужицком деле, а смирненько сидел себе на балконе, курил табачок да расправу чинил, когда меж собой больно войдем мы в раздор... Вот то барин! А то — щупать вымя коровье! Стыда не возьмешь!..» Что же ведь, братцы, засмеяли!.. Ей-богу!..

— Ну и что ж? — подхватили весело мужики...

— Будет, будет... Ну вас совсем... Никогда не бывало, чтоб от Мина народ разбежался... А теперь, вишь ты, скуку какую нагнали!

— Не молодые уж мы, Мин Афанасьич, — заметила Катерина Петровна, — пора быть постепенней...

— Ну, сватья, не Мина степенству учить: малая собачка до старости щенок, — отвечал ей Мин Афанасьич. — Да и тебе бы советовал я быть к молодежи поближе: на молодых и стариковской крови теплее!.. Так-то! — прибавил Мин Афансьич и, заслышав веселый говор у окон, ушел из избы.

— Бабник был — им и остался, — шутили степенные гости.

— В свое время немало свел он с ума на Вальковщине девок и баб... Кабы не держали отцы да мужья их крепко в руках при хозяйстве, с человеком таким бог знаете куда бы они угодили! — сказал старичок Ермил из Груздей. — Было однажды дело такое: своим разговором Минка увел половину баб из нашей Вальковщины...

— Ну-у? — изумились пимановы дети.

— Ей-богу, не вру... Стариков вот спросите, знают они, что за птица Мин Афанасьев... Было то пред «волей». Мин тогда то и дело слухи и вести на Вальковщину нес отовсюду. Ходит по деревням, тихо толкует по задворкам, возле него то и дело собирался народ, а больше всего бабы да девки... «Ну, говорим, Минка сгубит себя, да и нас под ответ подведет...» Хоть и самим хотелось послушать, а все же частенько гоняли его и даже бивали... А он твердит себе, знай: «Уповайте, кричит, в государе сказалась мирская правда! Эх, вы, маловеры!.. Говорю вам, сам государь ездит по селам и всюду народу правду оповещает!.. Слышь, от нас теперь верстах в сорока...» Жутко нам стало от этих речей, и, чтобы как не смутиться, настрого мы бабам и детям заказали Минку не слушать... Что же, братцы?... Вскорости после того проснулись мы утром — хвать, нет при нас ни девок, ни жен!.. Вот оказия!.. Как нам бурмистру сказать?.. А на барщину надо было итти... Туда да сюда — нет наших баб!.. Мы в Дергачи: «Братцы, целы ли бабы у вас?» — «То-то не все, говорят, наполовину и мы досчитаться не можем... Вишь ты, с Минкой ушли — царю поклониться и из самых уст его весть о правде услышать!»

— Вот так Мин! — сказали молодые смеясь. — Да ему что̀! На нем ни брань, ни побои не виснут!.. От него, слышь, баре — и те отступились... Ну, что ж?

— Ну, и была тогда всем нам гонка: нам от старост,

что жен распустили, женам от нас, а Минке ото всех по награде: и от нас, и от бар, и от баб, — в городе, вишь ты, царя и не ждали...

— Что же Минка?

— Ну, так что ж, говорит, подождем... Правда нас не минует!.. Нашего дела правее не сыщешь!.. И что же, братцы! хоть мы и сердились на Мина, а на Мине всем нам веселее бывало всегда: хочешь не хочешь, а веришь!

— Как же не верить! — сказала Катерина Петровна. — Видите сами, правду ли говорил Мин Афанасьич?.. И точно, мы маловеры, а таким людям, как Мин Афанасьич, может, сам бог открывает... Они не такие, что мы. Нет в них ни зависти к людям, ни жадности, малым довольны, всех любят, душою равны, все в них, словно в младенцах, играет... Посмотри на него, он весь наружи, ровно стеклянный... Поговоришь с ним, словно сходишь в божью церковь.

Так говорила Катерина Петровна, зардевшись вся краской, в странном волнении, пряча от посторонних возбужденные взгляды.

— Ну, матушку с Мином не разлей и вода, — пошутили пимановы дети. — А с батюшкой все же, должно, было теплее?.. а?

— Не в церквах людям жить... Церковь в праздник, а в будни — изба, — заметил мягко Пиман.

— Грешники мы, — заключила Катерина Петровна, — и маловеры!

V

Между тем молодежь, наскучив беседой солидных людей, давно уже выбралась на улицу и, вынеся скамьи, рядами уселась у окон. В середине сидела лучшая пара: то были Аннушка и Яня. Аннушка — младшая, незамужняя дочь Пимана, вся в мать, с тем же лукаво-смеющимся взглядом умных больших глаз. Яня в желтопахучем новом полушубке, накинутом на плечи, сидел откинувшись к стене, забросив высоко голову, так что глаза его только как будто скользили поверх сидевших и ставших кругом, а в сущности блуждали в безграничном просторе, открывавшемся тотчас за житницами. Руками он перебирал лады гармоники и слегка пристукивал ногой; на мягких губах витала та

характерная добродушная улыбка, которая чуть не с рождения осенила его и с тех пор уже не покидала. Рядом с ним сидел высокий парень, изъеденный оспой, в мерлушковой, набекрень, шапке, в черном узеньком сюртуке поверх красной рубахи и в узких брюках, засунутых за голенищи низких барских сапог. Вся фигура его, жилистая, костистая, неуклюже выбивавшаяся из костюма, выпученные серые глаза, упертые в коленки красные кулаки — все дышало необычайным нахальством. Это была одна из тех оригинальных фигур, которые вы часто можете встретить в фабричных конторах среди недели, когда, кроме них, эти конторы никто не осмелится беспокоить. С гармоникой подмышкой, с серьгой в ухе, с гладко остриженною головой, выпучив упорно на сурового конторщика оловянные глаза, он говорит отрывисто: «Желаю получить расчет». — «Пошел вон! — кричит конторщик. — Как ты смеешь беспокоить до срока?» — «Пожалте расчет... Как мы, значит, наскучены вашим поведением, более не желаем... Мы себе место в Расеи найдем!» — тем же нахальным тоном продолжает фабричный. Конторщик выходит из себя, бросается на него с кулаками, происходит скандал, скликают сторожей и десятников, его связывают, сажают в кутузку. В кутузке он играет на гармонике, время от времени производя буйство с дверью и тревожа сторожей; наконец ему выбрасываются деньги и выгоняют с завода. Этот парень, действительно наскучив фабрикой, недавно явился домой к старику-отцу «на праздник». Сидевшая об руку с ним востроносая, тонкая, низенькая девушка с бойкими карими глазами, казалось, была вся охвачена существом Прошки; достаточно было Прошке сказать слово, повести рукой, — ее так и подмывало. Третьей характерной парой были «молодые», недавно обвенчаные муж и жена, тип тех рабов «труда» и «хозяйства», которые провели всю жизнь под рукой «хозяина-большака» и потом вдруг вышли в «свою жизнь». Муж — это тот высокий, плечистый, с круглым красным «бабьим» лицом, огромными руками и ногами, неповоротливый субъект, которого именно разумеет общество, когда называет «мужиком». Несмотря на свое апатически-добродушное отношение ко всему, что происходит перед ним, и отвечающий на обращенные к нему в оживленной беседе вопросы только кряканьем,

он всегда находит в себе достаточно энергии, чтобы после бурных почему-либо прений лаконически сказать: «Пора бы их, подлецов, — во!» и, вытянув могучую руку, показать свой здоровенный кулак, при взрывах одобрительного хохота. Молодая сидевшая с ним жена, пока еще с пухлым крупичатым лицом, беззаветно верила в физическую силу своего мужа и в право этой силы, совершенно ясно сознавая, что этой «силе» должна подчиняться и она. Они оба были вполне довольны, перед ними лежала жизнь с изумительною ясностью и отчетливостью, разработанная веками во всех подробностях. Тут нет ни колебаний, ни сомнений; если что-либо — будет ли то сын, жена, сосед или кто-нибудь и что-нибудь из посторонних воздействий — осмелится слишком уже нарушить это неприхотливое право физической силы, то неповоротливый и смирный хозяин лаконично укажет глазами на свой волосатый кулак. Обоих молодых звали в деревне общим именем «Лукашек», так как мужик крещен был Лукой, а жена его Лукерьей. Если мы к этим трем группам прибавим Пимаху-внука, Лимподиста, то познакомимся вполне с собравшеюся у ворот Пимана группой молодежи, так как прочие пары были уже простые вариации из описанных нами. Впрочем, из этих последних следует упомянуть старшую дочь Пимана, Пашу, с мужем, которые хотя и были обвенчаны три года тому назад, но, как не имеющие самостоятельного хозяйства (муж Паши взят был Пиманом «во двор»), все еще считались наравне с парнями и младшими членами деревни, не имевшими своего голоса и воли. Паша, в противоположность сестре, была высока, белокура, полна, одна из тех «простых» натур, которые недалеки умом, но крепки душой; Паша любила своего мужа Алешу, доброго малого, представлявшего собой нечто среднее между поэтическим Яней и мужиковатым Лукашкой. Он был уже с утра навеселе и постоянно болтался то около кого-либо из сидевших, то около кучек, ходивших по улице, и всем что-то с блаженною улыбкой рассказывал, хотя его никто не понимал, да и не добивался понять. Наконец последняя пара стояла вдалеке, под навесом ворот. То был еще молодой юноша, едва вышедший из подростков, с робким, боязливым, забитым выражением на лице, но, как это часто бывает с робкими натурами, в глазах его теперь сверкала ка-

кая-то отчаянная, скрытая храбрость; он стоял рядом, плотно прижавшись плечом к плечу, с красивою девушкой, старше его годами. В каком-то невыразимом томлении, не говоря ни слова, с возбужденными глазами и пылающим лицом жались они друг к другу: так стоят целыми часами овцы или лошади, прижавшись одна к другой боками и головами. На любовную пару никто не обращал внимания, так как «стояние» было обычным среди дергачевской молодежи выражением той любовной истомы, которая охватывает молодое существо при взаимном свободном общении, охраняющем тем не менее строгую девственность. К счастью, ранние браки в крестьянстве скоро разрешают мучения «стоиков». Но положение упомянутой пары было тем печальнее, что юноша был сын сурового старовера; к обычным мучениям «стояния» здесь прибавлялось мучение безнадежности.

VI

Холодное осеннее солнце в упор освещало собравшуюся группу молодежи, когда вышел к ней Мин Афанасьич. Молодежь запела песню, сначала тихо, неровно, потом подхватила дружно. С Мина сразу соскочила торжественность; встав пред группой поющих и отступая тихо назад, чтобы видно было всех, он махал в такт руками. Его так всего и охватило... Играющими глазами впился он в своего двойника Яню и в веселое лицо Аннушки. Едва успели кончить песню, как Мин закричал:

— Стой, братцы, стой!.. шабаш! Сон в руку!.. Пиман Савельич, друг! Пиво сюда... Тащи ведро!.. Тащи сюда, на волю... Вот он, сон-то, въяве... Сват, сватья, выходи сюда!

Мин кричал; молодежь смеялась. Снисходительно улыбаясь, вылезли из избы солидные мужики. Пиман притащил пиво и стал было обносить гостей, но Мин остановил его и сказал:

— Стой!.. не так....

Взяв из рук Пимана ковш и ведро и поставив стул, он сел в середине толпы.

— Слушайте, братцы: единственный сон!..

— Ну, ну, послушаем... Давно уж с ним носишься ты, — сказал, улыбаясь, Пиман. — Кого же ты видел?

— Себя самого — вот кого!

— Милее себя Мин не знает! — рассмеялись все.

— Слушайте; так же вот Покров был... Иду я, будто не знаю откуда; слышу: веселье, и говор, и смех в Дергачах. Что бы это было? Гармоника, песни... Что за веселье? — спросил. А, вишь ты, сказали, крестьянин Мин Афанасьев сыновнюю свадьбу играет, с другом старинным, вишь ты, породниться хочет. Давнему их уговору бог показал совершиться!.. Ну, говорю, давно бы пора: ведь пятьдесят тому лет, как они уговор положили, да все не свершалось... Гляжу: кто же это то у ворот, то в избе меж гостей бродит? Ан это Мин Афанасьич и есть... «Где народ, там и я!» — говорит. Гляжу, вынес Мин скамьи, гостей усадил, сына с невестой, свата да сватью в первый конец, сам в середине круга уселся, на колени поставил четвертную бутыль и дорогих гостей угощает... ну, вот точь-в-точь, как теперь, мы уселись... «Кушайте, братцы, в полную душу! — говорит, — вижу я, будто стесняетесь вы... Полноте, други, гляди веселей! Али вам пала в голову мысль, что разорится совсем, мол, Мин бесшабашный — где ему угощенье такое поднять! Наткось, народу назвал! пир на весь мир, да и полно! А чем напоить? Ведь и то уж корову спустил!.. Так ли? Чую я вашу тайную думу!.. Э, братцы, Мина не этим доехать: мало коровы — лошадь сведу! Знайте одно, чтобы свадьба — так свадьба была, а не поминки, чтобы у свата и сватьи в глазах зарябило...» Что, сват, головою качаешь? Знаю я (подмигнул Мин Пиману), другой вы народ: крепкий, прижимистый... Да ведь и я вот не сгиб, а не меньше вас прожил... Други! пустое!.. Только в себе было бы довольство, в своей правоте... А то — временем все! Верьте, хуже не будет... Бывают дожди, морозы, а солнышко все на свое наведет; время придет — выглянет, тучи разгонит, огреет. Так-то и с нами!..

— Ну, как есть Мин Афанасьич! — вскрикнули гости.

— Слушайте, дальше что будет... Вот, говорит, — это Мин-то, — вот взять хоть бы нас с Пиманом... Сколько уж лет, как мы с ним уговор положили детей повенчать; сколько за это время всего пережито — злобы, вражды, подвохов... Ты не обидься, Пиман Савельич, коли правду я молвлю, от тебя приходилось терпеть нам немало: ты все хозяйство свое охранял... Ну, да

минуло же вот! Разве опять не приятели мы?.. Еще крепче, пожалуй, дружбу скрепили... А почему? Потому что все мы одно. Я ли, Пиман ли. Расколи нас хоть на щепки, а все одного мы полена...

— Верно, верно! — шумела толпа. — Вот не гадали, не ждали, на сговор попали!.. Ну, весели же, Мин Афанасьич!

Мин Афанасьич, взяв в руки ведро, с низким поклоном стал угощать солидных гостей, пуская в ход приговоры. Толпа шутила, смеялась. Старый Пиман с Катериной Петровной стояли в стороне, скрестив на груди руки, и добродушно-снисходительно улыбались. «Что ж! воля божья, должно», — думали они, и каждому из них казалось, что это так должно когда-нибудь быть, потому что недаром соединяла их с Мином еще с юности какая-то непостижимая и неуловимая связь.

. . . .

Мин опять сел и хотел говорить, когда послышался с другого конца деревни гулкий топот копыт. Все обернулись в ту сторону. Гулявшие по улице кучки народа сторонились и тоже с любопытством глядели на проезжавших. В желтой, на городском ходу, плетушке, заложенной в серую породистую лошадь, крупною рысью ехали двое мужчин; одному было лет под сорок, другой был значительно моложе: на вид ему было не больше двадцати пяти; оба были в суконных халатах и новых картузах. Старший — плотный, но не толстый мужчина, с худым осунувшимся лицом — лениво правил лошадью и апатичными, сонными глазами, тихо поворачивая голову, смотрел на народ, нехотя иногда хватаясь за козырек: ему лень было даже поднять фуражку. На лице его не выражалось ни любопытства, ни смущения, ни довольства самим собой, никаких ожиданий: он был спокоен и неуязвим, как человек, которому все, что окружало его, было известно как дважды два и надоело до смерти. Но молодой его спутник, несмотря на то, что старался держаться как можно спокойнее, весь, напротив, был поглощен внутренним беспокойством. Он уже совсем не кланялся с народом и только крепче натягивал на глаза козырек да старался упорно смотреть вперед. Но глаза его все-таки беспокойно бегали, и он был, повидимому, очень недоволен этим внутренним волнением.

— Я говорил, что вечером надо было ехать... Вон сколько народу: все на улице словно живут, — проговорил он.

— Все одно! — лениво протянул спутник и хлестнул лошадь. — Вечером еще хуже, как напьются...

Петр сердито закусил губу. Приехавшие в Дергачи на праздник были: Петр Вонифатьев Волк-младший и его сонный спутник — Митродор Васильев Графский, прозванный мужиками просто Графом. Последний был крестьянин деревни Пузыри, прежде торговавший красным товаром по сельским ярмаркам. Теперь он купил у одного мелкоместного барина усадьбу и жил в ней невдалеке от барского имения, которое купил Петр.

По возвращении из Москвы Петр, как известно, не завернув в Дергачи, прямо проехал в Волчий поселок и с тех пор туда не заглядывал. После же истории, порушившей существование Волчьего поселка, когда вся семья Мосея Волка переселилась опять в Дергачи, Петр тем менее имел охоты навещать свою родную деревню. Таким образом, он являлся сюда в первый раз. И замечательно, что он сам не ожидал, чтобы приезд в Дергачи вызвал в нем такое постыдное беспокойство. Он припоминал, с каким спокойным самообладанием проезжал он мимо Дергачей из Москвы, с какою самоуверенностью явился в Волчий поселок, и вдруг теперь, когда он сделался полновластным гражданином этой палестины и, конечно, приобрел еще боле права на самоуверенность, он вдруг смутился... Чего смутился — он решительно не понимал... Просто толпы, толпы обыкновенных мужиков.

Он смутился, хотя знал вперед, что в Дергачах, как и везде в этой окрестности, его встретят прежде всего с очень льстившим его самолюбию любопытством. И он не ошибался. История, проделанная им с Волчьим поселком, еще более скандал, устроенный им авдокату Парамошке и значительно выдвигавший его личность из ординарных, создали ему большую известность. Но он не знал достоверно, как о нем думают крестьяне. Точно так же и сами крестьяне хотя и говорили много о Петре, тем не менее не успели выработать никаких определенных к нему отношений. Вот почему, когда Петр, миновав быстро избы своих родственников, Ульяны, Вахромея и Хипы, куда, как думали все на

улице, он и направлялся, подъехал прямо с своим спутником к избе Пимана и остановил лошадь у собравшейся здесь группы, — все, и сами Пиманы, и гости, были поставлены в большое недоумение. Но присутствие Графа, который был знаком с Пиманом и изредка, раз-два в год, навещал его, несколько рассеяло это недоумение, и все порешили, что это собственно Граф завернул по какому-нибудь делу.

— А мы к тебе, Пиман Савельич, в гости, — сказал Граф, лениво вылезая из кузова.

— Милости просим... Давно тебя не видал, — сказал Пиман. — Пимаша! — крикнул он внуку, — введи во двор мерина-то... Задай ему корму да скажи бабам, чтобы самовар согрели... Садитесь вот сюда, — приглашал он их сесть на освободившуюся под окнами скамью, рядом с Аннушкой и Яней. — Жарко в избе-то... Пока самовар наставят, — посидим здесь.

— Посидим, — протянул Граф, утирая лицо руками, как человек, только что проснувшийся после десятичасового сна, снял фуражку, ни на кого не смотря, почесал апатично пальцами лохматку и зевнул.

— А вы что делаете? чай, сказки сказываете? — спросил он.

— Да вот сны рассказываем... Нам ведь, старикам, все старина снится... Мало ли прожитó! — сказал Пиман.

— Поди, Мин все бредит, — сказал Граф, мотнув головой в сторону Мина.

— Чтò мне бредить? — обиделся Мин, — правду говорю... Я не неволю: меня слушают, кому любо, а кому не любо, так пусть уши зажмет

— Ну, ну, дяденька Мин, рассказывай! — крикнула Аннушка, играя глазами. — Кому не любо — пусть в избу идут... А нашей забаве пусть не мешают.

Петр уже овладел собой и поглядел внимательно на нее своим надменным взглядом; Аннушка мельком взглянула на него, и ей опять захотелось как-нибудь сбить его спесь.

— Рассказывай, дяденька, рассказывай! — крикнула она опять. — Мы и сказки любим, и песни любим... Мы не привыкли по струнке выступать, что журавли...

— Вот люблю! — закричал Мин, взмахивая руками. — Аннушка... люблю — одно слово!.. Моя!.. Сон в руку!.. Моей породы!.. Миновой породы!..

— Говори, говори... Рассказывай! — закричала и вся молодежь, всегда готовая отпарировать единодушным протестом, когда в ее компании люди вздумают смотреть свысока.

— Да что ж мне еще говорить? Тут и все, — наивно вскрикнул Мин Афанасьич, весело посмотрев на молодежь. — Говорю вам — сон в руку!.. Вот он въяве! Что ж, пора нам, что ли, с Пиманом сродниться!.. Говорите!.. Знаете вы, ведь я не из выгод. Меня не этим доехать! А вот помирать надо нам скоро, а молодым жить и плодиться! Что же, приспела пора али все еще нет?.. Говори, молодые! — шутливо кричал Мин Афанасьич.

— Пора! Пора! — подхватила весело вся молодежь. — Чего еще нужно Пиманам! Счастливее нет мужиков!..

— Наши парни не хуже других!.. Не по сторонам бегать за ними! — сказал Прошка, нагло взглянув на приезжих.

— И нас уважить пора, — сказал Алеша, улыбнувшись и прикинувшись дурачком. — Не богаты казной, да кряжисты спиной... И за это надо почесть!..

— Пора и смирному честь отдать, не все бойким счастье на свете! — поддержала его любящая жена.

— Сватай, Мин Афанасьич, скорее... Лови!.. А то улетит — не увидишь, — протянул Лукашка. — Ноне девки нас, быков, не очень ласкают, ищут кого полегче:.. У вас, говорят, деревенских мужиков, больно рука тяжела!

И Лукашка, вытянув свой здоровенный кулак и широко раскрыв огромный волосатый рот, громко захохотал, поддерживаемый хохотом все возраставшей около избы Пимана толпы дергачевской молодежи.

— И я скажу: лови, Мин! Улетит, — подтвердил, смеясь, Граф.

— Мне, дружок, все одно, — ласково сказал ему Мин Афанасьич, мигая глазами, — я не из выгоды... И сыну моему тоже... Слава создателю, мы жадными никогда не бывали. Мы, дружок, довольны, хоть и не бойко живем, а довольны, в *себе,* дружок, довольны... А потому, друг ты мой, — говорил он еще ласковее и слаще, прикладывая слегка пальцы к плечу Митродора, — а потому нам все одно; коли быть теперь правоте,

так она свое возьмет, а коли неправота сильна, так, значит, еще погодить надо!

— Ну, то-то, смотри, не прогадай! — проговорил Граф и зевнул. Ему уж стало скучно.

— И опять же ты меня этим не обидишь, — отвечал Мин Афанасьич, — потому правоты моей от меня ты не возьмешь... Ты вот тогда человека обидишь, когда правоту от него возьмешь... Ну, тогда для человека все будет в обиду!

Пиман улыбнулся. У Катерины Петровны на сжатых губах витала скорбная улыбка.

Но, повидимому, ни собравшаяся толпа, ни молодежь не разделяли воззрений Мина. В то время, как Мин говорил с Графом, Петра опять начинало охватывать внутреннее беспокойство. Он невольно чувствовал, что деревенская молодежь встретила его недружелюбно, с тем нервным, досадливым раздражением и скрытым неудовольствием, с каким вообще встречают товарищи «выскочек».

Нигде не сказывается так чутко неравенство, как в среде, привыкшей быть равноправной. В непосредственных натурах это сказывается откровенно и неудержимо.

В толпе говорили:

— Приехал не иначе, что Анютку сватать... А то зачем бы ему! Гляди! своих миновал.

— Пиманы знают, где раки зимуют... Небось, это не мы, полушубки драные... Как снопы возить, так и мы хороши!.. А нажились теперь, так мы не годимся... Подавай сапожки!..

— Что говорить!.. Всякий ищет получше да рылом почище... До кого не доведись!.. Не все с нами, косорылыми пьяницами, дружбу водить!..

— Счастливый голодным не пара, — вдруг загудел словно из-за толпы, откуда-то издалека, знакомый голос.

Аннушка вдруг вся вспыхнула, быстро вскочила, схватила за руку Яню и крикнула:

—Девушки! что мы на приезжих, ровно на писаные пряники, рты разинули? Скажут, пожалуй, что завидуем еще... Давайте хоровод водить!.. У нас свое удовольствие есть!

И она, взглянув еще раз на Петра и потащив Яню, который послушно шел за ней, выбралась сквозь толпу

на середину улицы. Молодежь двинулась за ними; Янька ухарски заломил шапку и запел. Его подхватили с какою-то особенною силой, как будто вся молодежь даже песней хотела кого-то уязвить, что-то затушить в душе, что-то скрыть.

— Пойте, пока не продали! — крикнул опять голос из толпы.

Этот голос был хорошо знаком Пиманам: это выкрикивал их единокровный Борис.

На лицах Пимана с женой отразилось неопределенное беспокойство, — как и всегда при выкриках Бориса, — сопровождаемое у Пимана суровою серьезностью, а у Катерины Петровны тою тихою грустью, с которою вспоминают матери о заблудших детях.

— Пойдемте в избу. Что здесь на народ глядеть... Вот его сколько набралось, еще наслушаешься чего ни то! — пригласили гостей дети Пимана.

— Пойдемте, — проговорил с невольною поспешностью Петр.

Внутреннее беспокойство при виде все увеличивающейся толпы в нем все больше усиливалось.

— Ныне мы так живем: вольница — на улице, хозяева — в избу, — проговорил старичок Ермил из Груздей.

— Ступайте, ступайте, — сказал Мин Афанасьич, — а они пускай гуляют, коли у них в душе довольство. В душе довольство — прежде всего, дружок! — похлопал он по плечу Митродора Васильича Графа.

— Да коли ты с косушки пьян, так какого тебе еще рожна надо? — заметил Граф и громко захохотал. — Поневоле будешь доволен!

— То-то вот, дружок, и есть, — засмеялся и Мин Афанасьич. — Ты вот и по четвертой выпиваешь, а все за собой недовольство таскаешь.

И Мин Афанасьич опять засмеялся дребезжащим смехом.

Графу это замечание видимо, не понравилось. Он как-то плотоядно расширил ноздри, запыхтел, но ничего не сказал и, с пренебрежением отвернувшись от Мина, пошел в ворота.

А Мин Афанасьич, все сияя тою же улыбкой, с которой он обратился к Графу, подняв руки и тихо помахивая ими, как крыльями в такт песне, подплыл к хороводу.

Глава четвертая

ВОЛЬНИЦА

I

Новые гости — Митродор Граф и Петр Вонифатьев, сопровождаемые хозяевами — Пиманом, Катериной Петровной и старшими их сыновьями, вошли в ворота, под навес просторного, чистого и светлого пиманова двора... К ним следом присоединились и прочие «солидные хозяйственные» гости: старичок Ермил из Груздей, два соседа Пимана — его сверстники, и два «середняка»—сверстники его сыновей.

Едва только Петр вступил во двор, как его вдруг охватило какое-то приятное ощущение, напоминавшее что-то старое: этот простор и чистота истинно хозяйственного двора, эта печать порядочности, строгости, крепости и устойности, это видневшееся во всем сознание силы, правоты, прочности сразу сказало Петру, что он не ошибся и знает, с кем имеет дело. Он знал, каким путем возможно для крестьянина достижение этого хозяйственного идеала, без всякой сторонней помощи или счастливой удачи: это дело крепкой, суровой энергии, размеренного, упорного и неустанного труда, постоянной выдержки, неуклонной строгости во всем, до последних мелочей, строгой гармоничности общего труда всей семьи, где бесповоротно каждый подчинен общей гармонии, как колесо в сложной машине. Тут редко допускается фантазирующая расплывчатость, нет места «рукосуйству», лишней рюмке водки, лишней личной прихоти, лишнему слову, выходящему из пределов хозяйствования. Потому что, случись малейшее нарушение кем-либо этой «строгости», и общая гармония затрещит по всем швам: выпита лишняя рюмка водки—и общая гармония уже спешит заявить, что в этой рюмке выпита часть крови каждого из созидателей этой гармонии.

Хозяйственный союз такая же страшная деспотическая сила, как и союз суровых сектантов. Петр понял сразу, что здесь ведется борьба за существование, строгая и неуклонная, без колебаний; он знал также, чего стоит эта борьба, без унижения собственного достоинства,

одним упорным трудом, и всегда трезвым, бдительным умом, всецело пригвожденным к одному пункту. Увидал он в омшанике выхоленного молочного теленка и понял, чего стоит общей гармонии «этот теленок», какою «строгостью» он воспитан, а главное, в самых веселых глазах этого теленка так и жила уверенность, что он не будет пропит «душевным» мужиком с приятелями в кабаке в счастливую или несчастную минуту жизни или сведен за недоимку в податях и затем матерью и детьми вымолен у начальства, у кулаков-торгашей, на коленях, путем унижений, слез, ползанья в ногах, целованья ручек. Петр как-то инстинктивно понял все это; понял не только то, как это люди ухитрились все устроить (это он знавал, видел и в своей семье, у своего деда), но, что всего важнее было для него, он понял, что эти люди сумеют удержать все это, не подвергая ни одной мелочи, ни одного куриного яйца риску какой-нибудь собственной оплошности, обусловленной душевною или умственною необстоятельностью.

Петру было очень приятно такое открытие, и он выразил желание заглянуть и в конопляник, и в сенницу, и в житницу. Хозяева тотчас выразили и свое удовольствие, в особенности дети Пимана. Каковы бы ни были нравственные качества Графа и Петра, для хозяйственного мужика прежде всего шла несомненная уверенность, что они были «умственные» люди, и что единственно только эти умственные люди и могут оценить все значение «сурьезного» хозяйства. Они инстинктивно поняли, что эти люди сумеют их оценить, хотя гости не говорили об этом ни слова, не выражали своего удовольствия никакими восклицаниями; напротив, Граф даже очень сердито позевывал. Гости просто спрашивали только о цене попадавшихся им вещей, говорили, где встречали дешевле и лучше, и все в этом роде; тем не менее между гостями и хозяевами сразу установилась та внутренняя гармония отношений, в которой главную роль играет безмолвное, но льстящее и приятное взаимное понимание. Эти чисто хозяйственные ощущения охватили как Петра, так и всех присутствующих. Катерина Петровна не представляла в этом случае исключения. Было бы даже странно, если б она, главная зиждительница и хранительница этой хозяйственной гармонии в течение сорока (и каких еще!) лет, под гнетом всевоз-

можных внешних воздействий, осталась хладнокровной. И она не последняя вполне сочувствовала детям, когда они говорили: «Только умственные люди вполне оценить могут, чего крестьянину все это стоит: не легко оно крестьянину дается!.. Да! Как вот держишь себя в страхе да стараешься, как бы умом-то обладать, а не то что на первой косушке его разменять, так по нонешнему времени еще и можно крестьянину жить. Да, это надо оценить! А кто у нас ценил или ценит? Барин только из своей пользы ценил... А начальство теперешнее разве ценит? Случись что, оно первое до конца добьет, а не то что оценить али бы помочь оказать... Вы, вишь, говорят, сами обертывайтесь. На то вы вольные стали... Только вот разве умственные люди, которые ежели понимают!.. Да! коли хочешь свое крестьянство выдержать, чтобы в глаза тебе не плевали, бороду не драли да на спине не ездили, так и увидишь, чего это стоит!»

В таком роде очень долго говорили дети Пимана, Андрон и Сергей, и все вполне оценили справедливость этих слов, все до такой степени были охвачены идеалом хозяйствования, свободного, трудового, сознающего свою силу, достоинство и правоту, что, казалось, забыли все окружающее: и мир, что копошился там, с боков, сзади, спереди, и Мина, и молодежь, веселившуюся на улице, и недавние споры с раскольниками по поводу «Слова о двух мужиках». Все это исчезло, стушевалось моментально, лишь только хозяйственный крестьянин попал на свою излюбленную тему. Даже скучающий и давным-давно уже ушедший от хозяйства краснорядец Митродор Граф — и тот был завлечен этим всеобщим крестьянским умилением перед хозяйственностью. Так и чувствовалось, что все были охвачены полнотою довольства людей, выбившихся, наконец, на волю из-под векового гнета нужды и принижения.

Вернувшись в избу, все были веселы и довольны до того, что Катерина Петровна, хотя и была приятельницей Ульяны Мосевны, тетки Петра, и вместе с ней очень неодобрительно относились к проделке Петра с семьей, приведшей всю семью к разделу и почти к разорению, но и она теперь еще раз встретила гостей в избе с тем радушным, безразличным гостеприимством, с которым вообще крестьяне встречают одинаково всех и из-под

которого трудно узнать отношения хозяев к нравственным качествам гостей. Катерина Петровна хлопотливо принялась угощать, а Петр весело осматривал чистую просторную избу.

— Это у вас кто же занимается художеством-то? — обратил он внимание на узорные карнизы и переборы на перегородках, по печке, по окнам, на резной работы большую божницу.

— Это?.. это еще от отца мне осталось... Вот полсотни лет как храню. Большой был искусник, — говорил Пиман, — умирал, говорил: «Смотри, Пиман, хозяйство наблюдай наипаче всего, то и крестьянин будешь!.. Какая беда ни постигнет, все прими, а из хозяйства ничем не поступайся...» Всего пережил за век-то, бар пережил, а все вот охранил... Слава богу, теперь все же полегче нам: авось, умру, детям передам — пойдет в века... Я от него и хозяйство все принял, еще в юношестве...

— А из вас по этому художеству никто не пошел?

— Где уж!.. После того настали времена тяжелые: какое тут художество!.. Думали, как бы и то, что есть, охранить, да свою шкуру соблюсти, чтобы не свели ее совсем... Тут уж было не до художества, — улыбаясь, отвечал Пиман. — Вот теперь, может, попрочнее наше дело станет, посвободнее будет... Теперь, слава богу кажись бы, прочно устроено...

— Ой, не скажи, Пиман Савельич! — вмешался старик Ермил из Груздей. — Нет еще прочности у крестьянина, нет.

— Ну, все же попрочнее, как будто, — сказали дети Пимана. — Коли ежели сами будем прочны, да к себе строги, и все будет прочно!

— Ой, не скажи, друг!.. Крестьянин живет на ветру, на миру: занесло искру — в одночасье сгиб.

— Конечно, все бог! — прибавил Пиман.

— Полно, Ермил Кузьмич, пророчить... Что же! и мир нас не утесняет, мы с миром ладно живем...

— Да нет, ведь я так, к слову...

— Мы с миром всегда хорошо жили... От мира мы никогда не отбивались... Да ведь и мы в миру не одни... Коли что и бывало, так ведь со всяким может приключиться... Побранятся, и опять свои, — заметила Катерина Петровна Ермилу.

— Это что!.. Кто говорит!.. Ведь я не то, что про ссору али бы про утесненья... Я говорю: живем, мол, на ветру, на миру... Все одно, что в пожар: загорится вон еще в коем конце, а глядишь, и ты не уцелел... Я вот про что! — и Ермил аппетитно понюхал табачку из табачницы.

— А мы к вам, должно, не совсем чтобы к разу... Незваные гости всегда не к месту, — сказал Митродор Граф, зевнув в руку.

— Что так?

— Да, вишь, сговор у вас, должно быть.

— Сговор-то!.. Нет, это так, — сказал, улыбаясь, Пиман.

— Это так! Пока еще так; вон старичок Мин балуется, — тоже, засмеявшись, сказали дети, — сон ему, вишь ты, снился... Ну, а он у нас весельчак... Сейчас это в представление пустил...

— Что ж, хоть и сговор, — сказала Катерина Петровна — Хорошие люди всегда к месту.

— Это так, — повторил Пиман. — Старый приятель он мне, Мин-то... Мы еще из младости с ним дружили, ну, и тогда уж уговор положили — породниться... Да вот пятьдесят годов прошло, а все помехи были!

— Долгонько же вы ждали!

— Да ведь по крестьянству вперед ничего не загадаешь... Теперь не загадаешь, а прежде и того пуще... Ты думаешь так, ан вышло — вон куда... Да я молодых не утесняю в этом... Как хотят... Нынче уж не прежние времена: и нам надо молодым уступать...

— А молодые решили, должно быть? — спрашивал Граф, стараясь говорить возможно хладнокровнее и как бы мимоходом, мало этим интересуясь.

— Ничего, ничего, друг, нельзя вперед в крестьянстве сказать, — вдруг перебил Ермил из Груздей: ему пришел в голову смешной анекдот, и он, будет ли это кстати, или некстати, непременно захотел рассказать его. — Вот, говорил я вам про пожар... Так еще чище было дело. Ехали с базара три мужика, вместе они, значит, в городе по-приятельски выпили, вместе в сани ввалились, обнялись и едут назад домой, сказки рассказывают... Ехали, ехали, видят — лежат на снегу пара новых голиц. Подняли. Как теперь делить? Вот

задача: их трое, а голиц одна пара! — и, задав эту задачу, старичок Ермил поднялся, засмеялся, обвел всех взглядом и стал неторопливо нюхать из тавлинки.

— Трудно, — заметили дети Пимана. — Что ж? По-деревенски, чай, жеребий бросать?

— Вот верно; так. Решили — жеребьевку, — и старичок Ермил, хитро улыбаясь и понюхивая табак, продолжительно и обстоятельно рассказывал, как мужики кидали жребий по двух голицах, как, кинувши, выпили, а выпивши — опять заспорили, какой у кого жребий был; один говорил, что у него был пятак, а другой говорит: мой пятак, а твоя была гривна. Заспоривши о гривне, дошли до рублей; от рублей дошли до детей, от детей до матерей; да пока своим селом ехали, всю родню перебрали. Услыхала родня, кто за кого: Иваны за Власов, Власы за Павлов, Павлы за колья. Пошли колья погуливать по мужицким скулам. Едет начальство: «Что здесь такое?» — «Мир, говорят, ваша милость, пару голиц делит!» — «Засадить, говорят, десятого в тюрьму!..» Так-то вот, слышишь, и до сих пор от суда мир откупиться не может... А и всего было, что ехали три мужика да пару голиц нашли! — заключил старичок Ермил, поощренный дружным смехом слушателей. Гостям, видимо, очень понравился этот рассказ, и, по их просьбе, Ермил еще не один раз повторил снова всю историю дележа пары голиц.

— Мир, други, что стадо овец: одной в омут броситься — все за ней полезут, — заметил Ермил.

— У кого свой ум есть — за дураками сломя голову не полезет, — сказал Петр серьезно.

— Конечно, не полезет, — подтвердили и дети Пимана. — Мало ли чего в миру бывает... Коли у тебя ум есть, ты к стороне отойди...

— Ой, не скажи, дружок, — заметил опять Ермил. — Молоды вы, потому так и говорите... Вы вот постарше кого спросите... Вот хоть бы Митродора Васильича: он живал в миру, знает...

— Знаем... Видали! — протянул Митродор, все с тем же неизменным выражением бывалого человека, которого ничем не удивишь. — Возились с мужицкими мирами не мало; надоело!.. Ежели у тебя ум, да хочешь ты спокой себе — от мужицкого мира беги... С ним и ум,

и спокой загубишь!.. Ежели ты миру вот хоть с эдакую росину поверил — дурак! — сердито закончил Граф, неожиданно выходя из себя.

— То-то вот оно и есть, — прибавил Ермил.

— Ежели есть ум... — начал было Петр, сомневаясь в словах Графа.

— Оболванят!.. И не увидишь, дураком станешь, — порывисто оборвал Граф. — Ежели не хочешь себя загубить — из мира беги...

— Вот то-то, дружок, и есть, — сказал опять Ермил, уже обращаясь исключительно к Петру, — вот что опытные-то люди говорят. В миру ни за что поручиться нельзя, в миру по-своему ничего не рассчитаешь. В одиночку жить — одно, в миру — другое. Мир — велик человек, хоть и из малых людей. Какой большой человек ни приди, а мир его победит... Бывал ли ты на больших базарах, в толпе? Заройся-ка ты в эту толпу-то погуще и узнаешь, какая в ней сила: ты бы, по своему-то уму, хотел сюда, а она тебя тащит вон куда; ты бы вырваться, а она тебя на унос. У тебя ум, а у толпы свой, у тебя душа, а у ней своя... Пока ты в стороне стоишь, потоль и в своей силе, а попал в мир, глядишь, ан своей-то силы на половину и нет. Потому и сказано: мир — велик человек!...

— В миру, что в церкви, все одному богу молятся,— поддержала Ермила Катерина Петровна, — все поклон— и ты поклон.

— Мир — сила; и рад бы от нее отбиться, да невидимо сробеешь, — прибавил Пиман.

— Мир бывает поди всякий, — сказал Петр, обращаясь к Митродору Графу (хотя он и слушал, что говорили прочие, но, видимо, мало доверял, и его больше интересовало мнение Графа), — неужто ж ум дуракам покорится?

— Какая в мужицком миру сила? — сказал опять сердито Граф, — конечно, дурацкая.

— Дурацкая, а все сила, — подхватил Ермил. — Тут не в том, кто умен, кто глуп (ты по-моему умен, а по его — глуп), а в том, кто сильнее...

— Это верно, — сказали дети Пимана. — Отчего ж у нас кто умнее, тот и от мира бежит?.. От самой от этой от дурацкой силы... Что с ней сделаешь, коли она тебе жить не дает в свое полное удовольствие?..

Вот твой крестный, Строгий, ушел вот, Митродор Васильич!..

— Ну, что дальше будет, а пока тоже еще не далеко ушел. Глянь, где ни то загорится и их еще захватит: еще мужики пока и они, — заметил Ермил.

— Чего еще!.. От мужицкой глупости не скоро отобьешься! — проговорил Граф.

— То-то и есть... Все под богом ходим... Вот мы здесь то ли не в свое удовольствие пируем да погуливаем, — сказал Ермил из Груздей, снова берясь за тавлинку, — а кто-е знает? Может, вон там, у кабака, а может, и еще где дальше, может, в Грачах или Пузырях, мужики пару голиц нашли, да не разделят... Хвать, ан мы завтра из-за этих голиц в тюрьму угодим!.. Прямо с пиру!.. То-то и сказано: от сумы да от тюрьмы никогда не отказывайся, — заключил, улыбаясь, Ермил.

— Полно пророчить-то пустое! — заметила Катерина Петровна. — Мина послушаешь — ровно в божью церковь сходишь, а тебя, Ермил Петрович, послушать, так впору в гроб ложиться да умирать!

— Чего ж от него и ждать? — добродушно засмеялся Пиман, —ведь он из-под петли!.. Он одним глазом на том свете был, вот ему здесь и не по нраву все!

— Как так? — спросили удивленные гости, для которых это было, повидимому, новостью.

— А вот спросите его; коли захочет, так расскажет сам. А не захочет — его секрет. Он мало кому доверялся в этом, — ответил Пиман, совсем смутившись, видя, что неосторожно сболтнул, так как старичок Ермил вдруг закряхтел, поднялся, отыскал свою шляпу и падог и стал собираться домой.

— Чего ты, Ермил Кузьмич? Да полно... Ведь я так, ведь я пошутил, — извинялся Пиман.

— Смотри, старик... Этим не шути! Ой, не шути! Еще не в монастыре, в миру живешь, — сказал Ермил, ни на кого не глядя, полушутливо, полусерьезно, пророчески и, постучав слегка падогом о порог, вышел, ответив на все упрашивания остаться двумя словами: «Спасибо! бог вас храни!»

— Что с ним было? — спросили Пимана в один голос Граф и Петр, в особенности Петр, которого, повидимому, эта история Ермила очень заинтересовала. Но Пиман, боявшийся, как все хозяйственные крестьяне, каких

бы то ни было предвещаний, имевших отношение к их хозяйственному спокою, долго не соглашался рассказывать.

— Ну, да расскажи, полно! — сказали дети. — Чего боишься? Чай, сломя голову, как Ермил, в омут не бросимся в самом деле.

— Да что, — сказал, улыбаясь, Пиман, — сам я не знаю хорошенько... Слышал, смехом болтают про него... да, может, это одно и было... Был, вишь, он мужик крепкий, хозяйственный; семья у него трезвая, работящая, один к одному. Ото всех в округе уважаем был; матерно в жизнь не ругался, водки не пивал, ни с кем не бранился, не дрался; от соблазна и на сходы ходил редко. Много над его стойкостью и мужики подсмеивались: «Ну, говорили, нарвешься как ни то и ты на чорта! Не таких святых он смущал!» Вот проезжают как-то мужики через дальнюю барскую пустошь, видят — стоит на пустоши стог сена. Соблазнились мужики — пощипали. Сошло. Стало им в соблазн, они еще раз уж нарочно съездили, приятелей пригласили. Опять сошло с рук. Разожглись мужики на этот стог, стали о нем на миру говорить. Долго они друг друга усовещевали стог больше не трогать, а наконец того поставили решение всем миром по очереди на подщипку ездить, а после делить. Приступили к Ермилу. Ермил на слад не дается. Плюнули на него. Вот ездит мир ночь, ездит другую, от стога уж половины не осталось». Ну, говорят мужики, будет! Надо и барину оставить! А пока сошло с рук — и слава богу!» Замечают на Ермиле лица нет, ходит, как ошалелый, все ночи не спал, когда мужики к стогу ездили. Как мир в лес, так его и подмывает: поезжай да поезжай! Ну, не выдержал, а миру сознаться не хочет. Услыхал он, что мир порешил больше не ездить, первою же ночью собрал сыновей да, чтобы никто не слыхал, обвязал колеса соломой и — к стогу. Тут их, как на грех, и накрыли. Сам не свой стал Ермил, ровно подкошенный, в ноги сторожам упал, просит, молит, за все брался заплатить: и за полстога, и сторожам пообещал, и штраф выплатить, только бы на мир славы не пускали. Взяли сторожа деньги, а барину все же его представили... Так вот как вышло дело; все хозяйство, почесть, разорил на это дело, лошадей, коров попродавал, за все вдвое и втрое платил, только бы скрыть дело.

— Ну, что же, так и не узнали?

— Как не узнать! Узнали скоро, на миру в хохот над ним. А тут еще подвернулось дело: мир бунтовался, десятого пороли, — еще попади под десятого Ермил. Он — откупаться. Денег просорил много, высечь—все же высекли, а он на стропилах и повесился... Хорошо, скоро сыновья увидали...

II

Пиман кончил; гости громко смеялись и острили над Ермилом; Петр скептически улыбался, как вдруг с улицы стал доноситься шум. Все как-то смутились и смолкли, в особенности оробел Пиман; над ним кто-то пошутил. Но когда Екатерина Петровна вышла и полуотворила дверь, все ясно различили что-то кричавший на улице голос Бориса. Пиман, сдерживая беспокойство, крякнул и тяжело поднялся со скамьи. Сыновья Пимана с суровым беспокойством стали смотреть то в окно, то в дверь. Гости почувствовали себя неловко, хотя ни они, ни хозяева не хотели этого выказать.

— Кушайте, пожалуйста! — угощала Катерина Петровна, вернувшись, но не сказав, что было на улице; у нее лицо только стало как-то сдержанно серьезнее.

— Вольница! — лаконически сказал кто-то, мотнув головой на улицу.

— Да, праздничное дело... Собирается народ всякий, — заметила Катерина Петровна. — Кушайте!

— Вернулся, слышь, Борис-то? — спросил один из гостей Пимана. — Давно его не видать было.

— Давно, — проговорил Пиман как-то механически и затем притворил дверь.

Шум на улице усиливался, а вместе с тем среди гостей Пимана разговор становился натянутее. Граф и Петр невольно взглянули один другому в глаза и поняли, что обоим хотелось одного: уехать.

Петр чувствовал, что его снова охватывает неопределенное волнение при шуме толпы на улице: собственно говоря, он боялся не толпы, а боялся, что эта толпа «всякого народа» в пьяном виде редко стесняется и проделает какую-нибудь нелепую штуку, которая или поставит Петра в комическое положение, или заставит как-нибудь «изменить себе», изменить этому проникавшему

все его существо «умственному равновесию», умственной неуязвимости. Чего он больше всего боялся и не любил — это именно зависимости от улицы, залезанья этой улицы в душу каждого, кто на ней жил или только показывался, этого сознания в улице права контроля над всяким, кто попадал в ее границы. Очевидно, деревенская улица из всех улиц наиболее сознавала и сознает еще это свое право, и, очевидно, поэтому-то Петр всего более не любил ее. По крайней мере ему самому казалось, что он именно только поэтому ее боится и только потому чувствует при виде нее непреодолимое волнение. Граф же не любил улицы потому, что она-то и была та «дурацкая сила», которая могла всегда нарушить хотя на минуту его «спокой» и вывести его из полупрезрительной ко всему окружающему спячки.

Надо, однако, признаться, что эта полусознательная боязнь улицы приводила к раздражению как Петра, так и Графа, как раздражают людей, занятых серьезным делом или воображающих, что они таковым заняты, шум и гвалт за тонкою перегородкой, где «люди толпы», какая-нибудь чиновница или сапожница с азартом набрасывается на своего сожителя или соседку, поднимает весь дом коромыслом, заявляя о каких-то своих великих нуждах, о каких-то великих несправедливостях и обидах, беря в свидетели и бога, и ревущих благим матом ребятишек, и, наконец, самих занятых серьезным делом людей, врываясь к ним за перегородку, с разбитою в кровь физиономией, умоляя их покорнейше засвидетельствовать ее обиды и проч. Можно себе представить раздражение серьезных людей, так было приятно занявшихся разговором о материях важных и вдруг втянутых «улицей» в свидетели о каких-то нелепых и глупейших нуждах и обидах! Но еще более раздражала Графа и Петра та очевидная боязливая зависимость от улицы, которую выказали хозяйственные и степенные Пиманы и их гости, эти деревенские люди, еще не научившиеся или не могущие смотреть на улицу с презрением. Эта полусознательная растерянность, охватившая хозяев, эта поспешность, с которою соседи, бывшие тут же в гостях, ушли, даже не простившись, эта сердитая и загадочная торопливость, с которою зачем-то сыновья Пимана спрашивали у отца, заперта ли житница, сенница, брали ключи, выглядывали в окна, — одним словом, весь этот ряд «уступок», которые

проделывал под влиянием уличного шума «хозяйственный мужик», приводили Петра почти в негодование.

— И часто это у вас вольница-то властвует? — спросил он не без иронии.

— Мошенники! головорезы! — негодуя, сказали дети Пимана. — Истинному крестьянину ни от кого заступы нет! Бездельный народ! Что хочет, то и творит.

— Воля! — внушительно сказал Митродор Граф, но тотчас же зевнул, и на лице его опять отразилось одно: «надоело!»

Между тем где-то начавшееся мелкою рябью волнение росло все шире и шире, волны становились все больше, все большее пространство захватывали собой; последняя волна докатилась уж до избы Пимана. Вдруг кто-то ударил здоровым кулаком в ворота. Была ли то шутка веселого подвыпившего парня или же просто случайность, но теперь этот стук почему-то показался сделанным неспроста. Пиман с сыновьями, стараясь не смотреть на гостей, вдруг как-то совсем присмирели, как будто невольно прислушиваясь и дожидаясь второго удара. Петр взглянул на Графа; Граф был невозмутим; взглянул на хозяев — и вдруг весь вспыхнул: ему стало стыдно, обидно за них; ему показалось, что эти степенные, солидные, здоровые люди как будто прячутся от чего-то, смотрят какими-то виноватыми, не находя в себе сил громко и грозно заявить правоту своего существования, грозно и стремительно подавить авторитетом этой несомненной правоты бесшабашную, пьяную улицу.

— Что же, так их и усмирить нельзя? Так все степенные люди от них прячутся, и гуляют они сколько хотят? — не выдержал он и спросил, презрительно кивая головой к окну.

— Что ж с ними сделаешь? — сказал Пиман, размахнув руками. — Воевать с ними, что ли? Воевать мы непривычны... Коли в миру война—крестьянину не жить.

— С чужими тяжело воевать, а с своими того пуще,— заметила Катерина.

— Чужой вор — беда, а свой в дому заведется — вдвое, — сказали его сыновья.

— Свои грехи, — продолжала Катерина Петровна.— Как век-то проживешь, так и-и много грехов-то за собой потащишь!.. Обернешься взад-то, ан их за спиной видимо-невидимо! Хвать, что прежде и за грех не считал, ду-

мал — добродетель, ан оно после грехом обернется, да таким, что умолить времени уж нехватит.

Так говорила Катерина Петровна серьезно и грустно, одна из всех своих домашних сохранивши полное и спокойное самообладание; ее не смущал ни шум на улице, ни беспокойство мужа и детей, как будто в ней жила уверенность, что это так должно быть и иначе быть не могло; но ее, как хозяйственную женщину, конечно, тревожило это нарушение обычного хода жизни, и на лице ее отразилась сердитая грусть. С выражением этой же грусти взглянула она пытливыми и проницательными глазами на вбежавшую с заплаканным лицом свою дочь Пашу, спустившую на лоб платок и стыдливо прятавшую красные наплаканные глаза; так же внимательно-спокойно посмотрела она и на пробежавшую на другую половину, вслед за Пашей, Аннушку, взволнованную и покрасневшую до корня волос. Катерина Петровна не сказала им ни слова и не пошла за ними в светелку, куда они обе спрятались.

В эту минуту вошел староста Макридий Сафроныч и, не позабыв наскоро помолиться, тотчас же, волнуясь, замахал руками и заговорил:

— Что же вы? Ступайте на улицу. Не слышите, что ли? Что вы в самом деле по углам-то попрятались?

— А что там? — спросили Пиманы.

— Что там! Посмотрите, что там... Чего прячетесь?

— Что же нам? — сказали дети Пимана. — Твое дело. Ты староста.

— Староста, староста!.. Да что мне, разорваться, что ли? — волновался Макридий Сафроныч. — Чай, я не царь?.. Ведь это не прежний мир... Посмотри только, что делается!.. Того гляди до смертоубийства дойдут... Ведь это прежде было так-то: все староста; забаламутит кто ежели, выйдут старички, палками постучат, кого следует из буяных на миру разложат да кашей накормят!.. Поди-ка теперь так-то... Сунься! Тоже своя голова дорога, господа мужики... А вы вот, старички-то нонешные, как чуть-мало — по углам запрятались... Староста! Да что, в самом деле, царь я, что ли?

— Царь не царь, а все же власть, хотя и лыком шит, — сказал Граф и засмеялся.

— Вам хорошо, господа бояре, смеяться-то!.. А вы в миру пожили б да с мое послужили бы миру...

— И вы бы ушли... Кто вам мешает? У нас, брат, житье спокойное! — сказал Граф. — С боку на бок переваливайся, знай!..

— Ушли бы!.. И уйду!.. Вот тебе Христос — уйду... Крестьянству так нельзя, чтобы война... Что мы за турки воевать-то!.. На то солдаты есть, воевать-то. Что же вы сидите? Ах, господи! — заволновался Макридий Сафроныч, — я, коли, тоже на гуменники уйду, спрячусь... Как вы хотите!.. Коли что случится — будете сами ответчики!.. Вот помяните мое слово — смертоубийство алибо что другое будет!

— Полно пугать-то, Макридий Сафроныч, попустому! — заметила Катерина Петровна. — Пошумят — и будет. Разве впервые?

— Ты, Катерина Петровна, оставь, коли не понимаешь... Это не бабье дело... Тут и мужицкий ум не осилит... Говорю: не по-старому нынче в миру... Что было — нынче в пример ставить нельзя! Идете, говорю, что ли? — спросил он Пиманов.

Пиманы сурово молчали и как будто чего-то еще ждали.

— Что же сидите? Водку пить на миру — так вы тут, сейчас...

— Да когда же мы водку-то пьем? — спросили дети Пимана. — Ты уж и то, кажись, из ума вышел...

— Выйдешь!.. Не водку, так балясы точить под вязом... Балясы-то разводить мы умеем! До полночи готовы на улице торчать! А как вот... так староста!..

— Мы сами не казаки воевать-то! — сказали Пиманы.

— Ну, драть, коли вас на шест!.. Мне все одно... Я, что ли, тащу воевать-то?.. Как вот пустят красного петуха, так выскочите, небось!.. Тогда завоюете сразу.

И Макридий Сафроныч, сердито хлопнув дверью, вышел с обычною своею хлопотливостью и стремительностью.

— Надо сходить, — сказал старик Пиман, неохотно поднимаясь, с прежнею растерянностью, — а вы посидите пока вот с бабой, — обратился он к гостям.

— Нет, уж мы поедем,—враз сказали Граф и Петр,— видно, не в урочный час мы к вам попали...

— Да полноте! что вы! Пустое! — заговорили дети Пимана. — Ну, что! пьяницы гуляют... Хорошего на них начальства, на подлецов, нет!.. Только добрых людей, мошенники, тревожат... Чего же вы спешите?

— Нет, уж мы поедем!.. Мы уж лучше поедем, — говорил, хитро улыбаясь, Граф. — Мы тоже воевать-то не любим, отвыкли... Оно дома-то у нас поспокойнее вашего!.. Заезжайте-ка вот ко мне... Мы на прохладе побеседуем... Да и молодежь-то с собой захватите: моя жена — баба веселая... Скучно не будет...

— Ваши гости, — сказала Катерина Петровна.

— Так в воскресенье я вас ждать буду... Вот и он, Петр Вонифатьич, ко мне приедет... Мы и попразднуем на свободе, в приволье... Улица-то уж к нам в горшок там не полезет!..

— Да ведь и у нас, кабы вот не мошенники...

— А вы свадьбу-то, поди, еще не скоро будете праздновать? — заметил Граф, все так же лукаво улыбаясь и смотря прищуренными, сонливыми глазами.

— Где еще скоро!.. Скоро эти дела не делаются! Не на день — навек люди располагаются, — сказала Катерина Петровна.

— То-то!.. Это ведь не в хоровод сходить. Вы люди серьезные; вы не завтрашним днем только живете, а и вперед раскидываете, — продолжал Граф. — Это вон Мину какому-нибудь, так ему все равно: он хоть тут же на улице готов детей повенчать. Ему что!.. Нынче сыт, а завтра с сумой пошел — и опять сыт; с него — как с гуся вода... А хозяйному крестьянину, настоящему, так нельзя.

— Как можно! — сказали дети Пимана. — У нас свой стыд есть... Нам тоже бросаться зря нельзя.

Пока говорили Граф и Пиманы, Петр думал о том, как бы опять увидать Аннушку: ему было досадно, что «улица» помешала ему покороче познакомиться и получше рассмотреть ее. Но так как желания молодых людей часто совпадают, то, несмотря на вызывающую суровость, с которою Аннушка приняла Петра, когда он только приехал, ей самой очень хотелось хотя издали, — и именно издали, чтобы он не заметил ее любопытства, — вглядеться хорошенько в этого «умственного» молодца, о котором так много говорили и который так резко отличался от прочей деревенской молодежи. Но «улица», повидимому, нынче хотела помешать и этому скромному желанию: пришлось им встретиться при обстоятельствах, очень не располагающих к знакомству. Аннушка уже выглянула было из «горницы», притворив дверь и дожидаясь, когда будут выходить гости из избы, когда услыхала необычно

суровый голос отца, вышедшего раньше других к воротам. На этот голос, как сумасшедшая, выскочила Паша, а из избы вышли гости и братья.

— Мошенник!.. мошенник... — кричал отчетливо и усиленно Пиман голосом, совершенно не похожим на тот мягкий, ровный, «душевный», которым он говорил пять минут тому назад.

— Живодеры!.. Кровь вы нашу выпили!.. Будет! — отвечали чьи-то отчаянные голоса.

— Мошенники!.. Вяжите их!.. Андрон! Сергей!..—кричал Пиман сыновей. — Вон отсюда! Вон, голытьба!.. Вон, змея!..

— Тятенька!.. Алеша!.. Батюшка!.. Алеша!.. Борис Пиманыч! — голосила Паша.

Все эти выкрики, сопровождаемые каким-то усиленным пыхтением: «Стой!.. Па-а-га-ди!.. Нет, не смеешь!.. Да-а-вольно!..» — неслись от ворот.

— Батюшки, никак дерутся! — сказала в волнении Катерина Петровна и бросилась вслед за Андроном и Сергеем, бежавшим на помощь отцу, к воротам!

— Надо уехать задами,— тихо сказал опытный Граф и спустился во двор к лошади. Петр и Аннушка случайно остались в сенях одни.

— Как у вас гуляют, — проговорил Петр с легкою насмешкой, — приятное времяпровождение!

Аннушка была самолюбивая девушка и при том дерзкая и грубая.

— Какие есть! Не вам чета: по струнке не ходим! — дерзко сказала она, вспыхнула и убежала в горницу.

Здесь она села на лавку и заплакала слезами негодования, стыда за своих и досады на чужих.

Петр остался один и с секунду не знал, что делать, когда вдруг ворота на улицу распахнулись, и он увидел безобразную сцену: на улице переливалась толпа, над которой висел целый гомон голосов; у самых ворот стоял старый Пиман, которого Петр не узнал: он как-то весь выпрямился, правый рукав рубахи был засучен, ворот разорван, глаза сурово зверски смотрели из-под седых бровей; теперь он стоял, опустив обе руки, и усиленно дышал своею старою, провалившеюся грудью. Между тем, в стороне у житницы возилась около каких-то мешков целая куча тел. Петр заметил тут Андрона, Сергея, Пимаху-внука (в особенности бросился ему в

глаза молодой Пимаха-внук, остервеневший, как волчонок, и постоянно с засученными рукавами красной рубахи бросавшийся между кем-то высоким и отцом с тем же беззаветным ухарством физической удали, с каким некогда он, поглощенный до самозабвения, навивал стога). Потом он видел зятя Пимана — Алешу, рвавшего на груди рубаху, кричавшего раздирающим голосом, ругавшегося невозможным подбором слов и в то же время заливавшегося слезами, которые текли по его лицу рекой. Он то налетал на мешки, отбивался от жены, тащившей его сзади, то летел кубарем, оттолкнутый в грудь Сергеем, опять вскакивал, опять бросался... А над улицей попрежнему стоял гомон... И вдруг Петр увидел невдалеке от этой возившейся кучи высокую, могучую фигуру своего дяди Хипы. Он еще его не видывал со время переселения всего Волчьего поселка вновь в Дергачи. Его ласковый, неповоротливый, смирный силач дядя Хипа, носивший, бывало, его на ладони, водивший с собой на бой, на пристань, дававший ему так много пряничных батонов и коврижек, которые он собственно для него «выбирал» на пари у городских разносчиков и лоточников, — этот дядя был теперь неузнаваем: растрепанная рыжая лохматка его развевалась по ветру, как взъерошенный стог сена, лицо было все красно, как кумач; широкие ноздри раздувались; толстые губы что-то выговаривали грубое, жестокое, скверное; мутными и как-то совсем животно бессмысленными глазами выглядывал он кого-то, пристально смотря в окно пимановой избы. Вдруг он застучал своими здоровыми кулаками в раму.

— Где... вы?..

Но Петр уже не слыхал дальше, он вдруг побледнел и затрясся. Ему припомнилось вдруг, как года два тому он после тяжбы приехал в Волчий поселок с миролюбивым предложением своим дядьям поселиться опять вместе, лишь с условием «покориться уму», и как тогда этот дядя Хипа вдруг бросился на него, остервенелый, и закричал: «убью!..» Тогда Петр тоже побледнел, но не струсил: он не был, как известно, трусом. Но теперь он действительно испугался: его вдруг объяли ужас и вместе негодование при виде этой расходившейся на улице физической силы, внезапно сознавшей, что выше ее ничего нет.

— Петр Вонифатьич! — крикнул со двора Митродор Граф, — едем! Готово!.. Теперь ты их не дождешься... Теперь, дай бог, чтобы дня в три улеглось у них...

Петр, не говоря ни слова, смущенный, сбежал во двор вниз, торопливо вскочил в плетушку, рядом с Графом, и они быстро выехали в задние ворота, через задворки, мимо житниц и гумен.

— Ведь эдак хорошим людям и жить совсем здесь нельзя, — наконец, заметил Петр. — Что ж это за порядки? — и он весь вспыхнул как будто ему лично была нанесена кем-то кровавая обида.

Но Граф в ответ ему смачно зевнул и перекрестил рот.

III

Лет за пять до освобождения в Вальковщине произошло событие, имевшее очень важные последствия не только для многих из знакомых нам лиц, но и для многих деревень Вальковщины. Одним осенним утром в передней старого барского дома, находившегося в версте от села Доброго, стояли два мужика — один лет около пятидесяти, другой — очень еще молодой, красивый, бодрый, румяный, с умным взглядом острых, проницательных глаз; ему было на взгляд не больше 20 — 22 лет. Это были Пиман и его старший сын Борис. Одеты они были хотя и просто, но парадно, а опытный наблюдатель мог бы догадаться, что это одежда была, вероятно, у них еще не лучшая и не последняя. Отец и сын стояли в самых дверях, выходящих в залу, не осмеливаясь переступить порог, и только когда говорил Пиман, он вытягивал почтительно шею и всем корпусом наклонялся вперед, насколько было это возможно сделать, оставляя ноги в передней. По зальцу, легко и беззвучно ступая вышитыми туфлями, в суконном шлафроке, ходил неторопливо, с трубкою в зубах, низенький, седоватый, что называется «легкий» старичок, с бойким, сердитым, повидимому, но в сущности добрым взглядом. Это был сам барин всей Вальковщины, владевший ею нераздельно с братом, жившим где-то за границей, — статский генерал и уездный предводитель дворянства.

— Гм... гм... — мычал от времени до времени барин, пуская клубы дыма и глубокомысленно шевеля губами. — Так ты говоришь, Савельевна, что это брат твой с сыном? — спрашивал он, обращаясь к старушке, смиренно стоявшей в углу зальцы у двери, в косыночке, в платье и с белым платочком в руках. Она уже несколько лет как была взята прямо из «мирских нянек», в качестве которой проживала в Дергачах почти полвека, прямо в «нянюшки» в барский дом.

— Так точно-с, ваша милость... Единокровные мы с ним, — отвечала Савельевна. — Вместе сиротами остались, вместе из лесу на мир были взяты, вместе миром вспоены, вскормлены... Мы, так сказать, ваша милость, прямо мирские дети... А я сама-то почесть всех дергачевских голоштанников (простите, батюшка, за глупое слово), всех их выняньчила, а уж про родных и говорить нечего! Вот и этот молодец-то моих рук да моего глаза не минул.

— Она уж у нас, ваша милость, все она, — подтвердил и Пиман.

— Ну, что ж... Я согласен... — сказал барин. — Только вы знаете: я люблю, чтобы у меня мужик был смирный, добрый, душевный... чтобы у меня гордыбачить, да кулачить, да нос задирать одному пред другим — боже упаси!

— Да ваша барская милость... да посмеем ли мы об этом подумать! — заныл как-то умильно Пиман.

— Ну, ну... хорошо!.. Грамотный он у тебя, говоришь?

— Грамотный, сударь... Открыл бог ему разум... Так надо вам сказать, во всей волости разум у него ко всякому делу и охота — наредкость.

— Ну, ну... хорошо!.. А не на очереди он? Надо бы Елизарыча спросить, — сказал как-то мимоходом барин.

У Пимана так и «упало сердце». Он весь сразу съежился, сгорбился и так вытянул шею по направлению к барину, что, казалось, весь вот-вот перекинется в зальцу.

— Ваша барская милость, — заговорил он уже совсем умоляющим голосом, — ведь хотя оно точно... касательственно того ежели... Ведь позвольте слово молвить, батюшка барин... Хоть вот, ежели Савельевну извольте попытать али Павла Елизарыча: есть ли те-

перича во всей деревне такое хозяйство, что у нас? Алибо кто из нас когда рюмку выпил, алибо на печи провалялся, алибо за нами проступки какие против вашей милости стояли... Только вот единственно, что несправедливость к нам видится от управителя, Петра Егорыча... Теперича хозяйство у меня все в струне, все одно к одному (еще от отца-покойника весь порядок блюду), — все идет коловоротом, ровно мельница...

— Знаю, знаю... Слыхал... Ты крестьянин настоящий, хозяйственный.

— Теперича у меня и скотинка, и круподерка, и пасечка... За всем нужен глаз, присмотр... А отними ото всего этого человека, али смуту внеси, али дожиму сделай — малое тронь, ан уж все и пойдет не то... Мужичка, ваша милость, раз тронь — его уж скоро не подымешь.

— Знаю, знаю... Верно, — подтвердил и барин.

— А заместо всего, ваша милость, видишь, как бы утесненье от конторы, — все храбрее начинал говорить Пиман, сам даже удивлявшийся, откуда у него так много нашлось слов. — Мало ли теперича у вашей милости народу есть гулящего, нерадивого, к хозяйству неприверженного... Теперича они, так сказать, гулять будут, а от хозяйства человек отнимается, настоящему хозяйству разор полагается... Дело ли это?.. Заместо чтобы для вашей милости пользу соблюдать, а выходит...

— Ну, ну, хорошо!.. — прервал барин, всматриваясь в Бориса. — Парень, должно быть, хороший... Жалко, жалко такого парня... Грамотных у нас немного... Хорошо, пускай при конторе будет, присмотрится...

— Вот еще к тому же, ваша милость, и поженили недавно... Хозяйство не то чтоб умаляться, а все приращается.

— Ну, ну... Только у меня смотри, старик, вперед говорю: я в люди выведу хорошего человека, ну, только ежели будет плутовать, мироедом станет... Ты знаешь, Савельевна, я добр, ну только если что-нибудь такое замечу — стариком в солдаты забрею!

— Да смеет ли он подумать, ваша милость? — заговорили в один голос Пиман и Савельевна.

— Ну, ну!.. Ступайте с богом...

— Ваша милость, окажите защиту, — повалился в ноги Пиман.

— Ну, ну... Ступайте... Я это тоже, старик, не люблю... — замахал барин рукой с видимым неудовольствием.

— Простите нашу мужицкую глупость, — сказал Пиман, подымаясь и двигаясь задом к двери.

На другой же день по всей Вальковщине было известно, что «Пиман поклонился барину сыном Борисом», что благодаря Савельевне теперь уже Пиманам не будут страшны козни самого управляющего, почему-то невзлюбившего было их; что Борис «пойдет теперь далеко», что он при своем уме «барина самого завертит», но что вместо него теперь на очеред придется встать не иначе, как старшему сыну Мина Афанасьича (Яня тогда еще и не родился), которого он, да и сам Пиман, думал женить на своей старшей дочери, «по давнишнему их уговору» (эта дочь так и умерла в девушках после этого вскоре). «Да вот — не свершилось!» — искренно соболезновал Пиман; вперед у мужика ничего не загадаешь! И соболезнования его действительно были искренни настолько же, насколько он искренно был уверен, что «все в жизни от бога, что без божьего произволенья волос с головы не упадет...» Он чувствовал, что что-то вышло очень нехорошо, совесть его иногда грызла, но он не знал хорошенько: это *нехорошее* от него ли лично зависит и насколько, или же больше от причин, от него не зависящих.

Когда услыхал об этом беззаботный Мин Афанасьич, он вдруг как-то опешил, опустился и потерялся. Безропотно и почти равнодушно, как будто «ушибленный» стихией, с которой не может быть никаких взысков, он сдал сына в солдаты, найдя единственное утешение в том, что его сын попал за красоту и рост в гвардию. Долго после этого удара не мог оправиться Мин Афанасьич, ходил, как «опущенный», бросил хозяйство, улыбался и смеялся, как дурачок, некстати толкался без пути в толпе. Его считали совсем погибшим... Как вдруг заговорили в народе о «воле»... И вот в Мине Афанасьиче внезапно вспыхнула вся та страстная жажда жизни, счастья, любви, которая была убита в нем почти совсем под гнетом несвойственного его душе мрачного пессимизма и покорности судьбе.

С утра до ночи, в каком бы положении он ни на-

ходился — пахал или спал, сидел дома или бродил по селам и городам, чутко ища всяких слухов, — его маленькая голова неустанно работала: он только и жил тем, что создавал разнообразные формы грядущего царства «воли»; и никогда, никогда она не являлась ему иначе, как бескровною победой царства мира и любви, всеобщего мирного довольства, счастья... и всепрощения. «Ну, бог с ними! — говорил он. — Про *всех,* про *всех,* — теперь пусть уж все живут в мире, в согласии... Господь с ними! Теперь уж правота, для всех правота!»

IV

Предсказания относительно Бориса пиманова не только оправдались вполне, но превзошли всякие надежды. Умный, но не столько проницательный, сколько талантливый и бойкий, пиманов сын «пошел далеко»: через два года он уже вполне сделался доверенным доброго барина, а еще через два года, едва ему минуло двадцать семь лет, вся Вальковщина была в его руках, и не только Вальковщина трепетала его, перед ним трепетал сам управляющий и даже управляющие и бурмистры соседних поместий.

А между тем через четыре уже года, в той же зальце барского дома, так же ходил старичок-барин, но уже грозный, взбешенный до того, что, казалось, жидкие седые волосы поднимались вокруг его лысой головы, в то время как и в самой зальце, и в передней, и на крыльце, и под окнами дома стояли мужики, богатые и бедные, свои и соседние.

— Что ты наделал? Что ты наделал, каналья? а? — кричал барин, обращаясь к красивому молодому мужику в кумачной рубахе и новом суконном казакине, с тщательно причесанною головой, чистому, вымытому, в блестящих сапогах.

Это был Борис, смотревший в глаза барина бойко, самоуверенно и даже весело и в то же время с тою ироническою улыбкой, с которою смотрят в недоумении люди, вполне уверенные в своей правоте, на нелепые обвинения.

— Что ты наделал? Ведь ты всю Вальковщину против меня поднял.., всю округу... Ведь ты...

— Что же мы сделали такого... глупого? — спрашивал Борис, пренебрежительно пожимая плечами.

— Как что? Как что?.. Целый год изо дня в день я слышу жалобы ото всех... Как что?—кричал барин.— Есть ли хотя один человек у меня, кто был бы тобою доволен? Ты всех со свету сжил... От тебя народ вешается... Как что?..

— Все... для вас же... старались, а заместо того...— процедил чуть слышно Борис.

— Как? Как? Я тебе велел обижать народ? Ты смеешь прятаться за меня? — вдруг обернулся к нему барин. — Савельевна! — закричал он. — Позовите мне Савельевну.

— Ну, старуха, говори, что я с ним должен делать? Говори... Ведь ты мне за него ручалась, — говорил барин, когда трусцой, взволнованная, прибежала на зов старушка.

— Батюшка-барин, — повалилась она в ноги барину, — убери его от мира... Он с своим умом весь мир загубит, души христианские погубит!.. Думала ли я, гадала ли, что столько греха будет?.. Все, батюшка, от гордости от его... Ведь у него, непутного, еще борода хорошенько не выросла, а перед ним старики седые трясутся. Ведь его глаза пуще вашего барского боятся, простите меня, батюшка, глупую старуху.

— Чем же мы виноваты?.. Коли боятся, значит, есть за что, — проговорил Борис и улыбнулся.

Барин внимательно взглянул ему в лицо.

— А! Теперь я знаю, в чем ты виноват! — сказал он.

И к изумлению всей Вальковщины и даже соседних помещиков и крестьян, добрый барин, ратовавший за освобождение, высек своего собственного бурмистра... Говорили, что барин на другой же день раскаялся за невольный порыв гнева и думал было наградить Бориса, но Бориса уже не было в Дергачах: он бежал из них с женою и детьми.

А в сущности все-таки ни сам Борис, ни барин, ни мужики не знали, в чем же собственно виноват Борис. «Убери, ваша милость, убери его от нас!.. Боимся мы его... Житья не стало от страха!» — говорили только все в один голос. И действительно, трудно было определить, в чем собственно был виноват Борис: он не был

ни на стороне богатых, ни на стороне бедных; не грабил ни мужиков, ни барина; если был иногда суров, то был так же неожиданно щедр, милостив, справедлив. Знали только одно, что Вальковщина стала приносить барину неслыханные доходы. Борис вдруг поднял на ноги всю тысячедушную и мирно прозябавшую целый век Вальковщину. Целыми сотнями, не разбирая богатых и бедных, гонял Борис народ на работы: то заведет по всем деревням общественные запашки; на время уборки сгонит на них все здоровое население Вальковщины, и в один, в два дня громадные стога сена и скирды хлеба уже стояли на полях; то сгонит народ в лес, и целые вереницы возов потянутся из него с хворостом, буреломом, сучьями, прежде гнившими там бестолку; то целые месяцы заставлял всю Вальковщину стоять по пояс в воде, в болоте, копая канавы на протяжении пяти верст, заставляя то же делать все соседние поместья, грозя затопить их луга и поля, спустивши воду с своих болот. Борис — вечно веселый, бодрый — с каким-то запоем отдавался этой деятельности. Он страстно любил смотреть, как эти толпы, покорные одному его слову, поднимали невероятные труды и в один-два дня совершали такие дела, каких хватило бы на целые десятки лет. Он чувствовал одно, что отданная в его руки тысячедушная масса сама выносила его на какую-то высоту, где закруживалась голова. Часто, в красной кумачной рубахе и плисовых шароварах, являясь на общие работы, он выкачивал народу бочки водки и орал песни, идя впереди подгулявшей Вальковщины. Он сам весь захлебывался этою массовою поэзией... Денег он не домогался, не грабил, не припрятывал, — он не знал им счета: после каждого нового предприятия скоплялось у него их столько, что он мог отдавать их так же без счета барину, как без счета брал себе сам. Борис завел любовниц, тройку лошадей, тарантас, посадил на козлы ямщика с павлиньим пером, в плисовой безрукавке, и рыскал по соседним селам и городам, ухарский, беззаветный, встречаемый всюду с изумлением и невольным страхом и уважением. Добрый барин гордился и даже хвалился на дворянских собраниях «своим министром». Обязанный своим величием исключительно массе, которая в его руках неожиданно для всех стала творить чудеса, Борис не обращал вни-

мания на людей: часто богатые рассчитывали на Бориса в собственных видах, и лишь только входили во вкус дружбы с «сильным человеком», как он неожиданно начинал их преследовать, дожимать, повидимому без всякого повода, и расчеты на дружбу падали. Тогда думали найти защиту у «сильного человека» бедняки и посылали за него молитвы богу, когда он нередко оказывал им действительную защиту от богачей; но и здесь так же неожиданно вдруг делался суровым и беспощадным деспотом, беспощадно сдавая в солдаты детей самых бедных провинившихся в чем-нибудь мужиков, гонял беременных женщин на барщину, не позволял жениться парням на любимых невестах. Вся Вальковщина все больше и больше начинала ощущать одно — ужас, страх, непонятный, гнетущий, перед какою-то силой, перепутавшею все веками установленные определенные отношения.

Вальковщина роптала.

V

Спустя лет пять или шесть, когда уже не было в живых ни старого барина, ни прежних порядков, Борис вернулся в Дергачи один, в красной рубахе, в плисовой поддевке и штанах, сделавшийся старше, серьезнее. Был он богат или беден, при деле или нет — никто не знал. Семья Пимана уже к тому времени окрепла, и его хозяйство все росло и росло в строгом и чинном порядке большой артели-семьи. Борис гостил и все к чему-то присматривался, над чем-то наблюдал. Иногда он вдруг кутил в кабаке, угощал всякую рвань. Иногда неожиданно являлся к прежним мирским воротилам и своим посещением приводил их в смущение. Борис не мог не видеть, как все его боялись, сторонились, опасались, как в семье отца делали все важные дела как-то тайком, втихомолку от него.

А Борис все гостил, ничего не просил, но ничего и не делал: он, повидимому, ждал, когда ему укажут дело. Но ему никакого дела не предлагали и даже старались избегать говорить с ним о делах. Пили ли чай, обедали ли — и отец, и мать, и братья, — все наперерыв разговаривали с ним, как с гостем, о местных

новостях, расспрашивали о житье на Волге, о городской жизни там, и никогда ни одного слова не говорили о домашних делах. Однажды Борис, улыбаясь, сам спросил:

— Что же вы мне никакого дела не даете?

— Да ведь какие дела, Борис Пиманыч... Дело у нас идет, слава тебе, господи!.. У нас артель крепкая... Какое дело! Зачем утруждать, коли сами справляемся... Да и где же вам нашими делами заниматься?

— Что же, думаете, я работать не умею? — сказал Борис и вдруг принялся за работу. Он проработал целую неделю. Дело кипело в его руках. Он пахал, плотничал, делал телеги, косил, ездил на базары, и, наконец, сделал одну такую хозяйственную операцию, которая никогда бы не могла притти в голову тяжеловатым хозяйственным Пиманам. Так прошло недели две. Все, смеясь, восторгались Борисом, его умелостью и бывалостью, но весь этот восторг был какой-то неискренний, боязливый. Замечал это и Борис и таинственно посмеивался.

Однажды, когда он работал в огороде один, к нему подошел Пиман и, покряхтывая, наконец проговорил тяжело и запинаясь:

— Ты бы, Борис Пиманыч, отделился... Хоша и мало в семью-то господь тебе судил поработать, да уж мы не обидели бы... Вот братья-то говорят: мы бы его честь-честью... Говорят, не постоим...

— Боятся? — спросил Борис и опять улыбнулся.

— Да ведь точно... смирные они у меня, робкие... За большим не гонятся... Где уж нам!.. Коли вот все идет колесом, ровно, — ну и рады... Хозяйство — одно сказать!.. С ним надо осторожно... Ты сам умный человек: знаешь, веками оно строилось... А расстроить его немногого надо... Ну, и тово... Хозяйство!..

Борис тут же перестал работать и целые дни стал сидеть у калитки на завальне и ждал, но сам ничего не начинал. Наконец назначили день раздела. Борис сидел за столом и улыбался: он не спорил, не возражал, не протестовал. Когда его спрашивали: «так ли?», он опять улыбался и говорил: «вам лучше знать!»

Он видел, как, пользуясь его уступчивостью, его немножко дожимали, немножко обсчитывали, но он

ничего не говорил: ему приятно было чувствовать, что все тем не менее очень хорошо понимают, что *все это он видит и знает*. Так чувствует силач, которого кусают, теребят копошащиеся вкруг него пигмеи.

По окончании выдела Борис положил в карман раздельную запись, тут же продал всю живность и мелочь братьям и бывшим свидетелям, взял деньги и на другой же день исчез опять из Дергачей.

Вернулся он уже осенью, но не один, а с женой и сыном-подростком; потребовал от мира отвести ему усадьбу и землю в поле и тотчас же принялся строить большую избу. Сам нарисовал план, сам чертил и вырезал узоры для подзоров и наличников; сыпал деньги плотникам, кровельщикам; угощал их постоянно водкой... Изба была выведена на удивление всей Вальковщине; крыта железом, с резьбою везде, где было только можно; раскрашенная яркою зеленою краской, она закрасовалась на всю окрестность. Одно приводило только всех в недоумение: Борис не заводил ничего из крестьянского хозяйства. А к Рождеству он неожиданно забил окна избы тесинами и снова исчез из Дергачей с женою и сыном. Шли годы; новая узорчатая изба выветривалась, гнила бестолку, без приложения, только внушительно напоминая деревенскому люду об ее странном хозяине.

С тех пор, в течение десяти лет, он раз пять попрежнему неожиданно являлся в свою заплесневевшую избу, — то с женою и сыном, то с одним сыном, — расколачивал окна, и вот вся изба вдруг наполнялась шумом, весельем и гамом. Отец и сын, в плисовых шароварах, казакинах и кумачных рубахах, ходили по деревенским улицам, грызя орехи, угощаясь и угощая народ по кабакам и у себя в избе; если дело было зимой, они закупали статного жеребца со всею сбруей и санями, рыскали по всей Вальковщине, изумляя ее мирных обывателей, и пускали, что называется, пыль в глаза всей добросельской знати. После месячного кутежа лошадь и сбруя спускались опять за бесценок, и странная семья исчезала года на два. Много, конечно, ходило о Борисе рассказов по Вальковщине, иногда невероятных; более правдоподобны были те, которые рассказывали, что встречали Бориса то в Астрахани, откупавшего огромные рыбные участки, собиравшего артель

до 200 — 300 человек рыбаков; то видели его под Самарой, вытаскивавшего потонувший пароход; то сплавлявшего целые «караваны» с хлебом, — и все это непременно во главе огромной массы рабочего народа, который опять сгоняли в лапы отца с сыном словно какие-то невидимые силы... А отец с сыном ухарски и беззаветно царили над нею... Часто после одной из таких «операций» в их руках скоплялись огромные суммы денег. Тогда Борис распускал эти массы, пропоив на них чуть не половину денег, и возвращался доканчивать с другою половиной в родные Дергачи.

После того Бориса долго что-то не видали в Дергачах. О нем уже начинали забывать и порешили даже, что, «должно быть, уходили их необузданные головушки», когда одною весной, пешком, явились опять в свою избу отец с сыном. Сам Борис сильно постарел и полысел, хотя не потерял своего внушительного вида. Сыну его было уже лет под тридцать: он был выше, плотнее, здоровее отца, но не так подвижен и не так характерно-иронически сверкали его черные глаза. Но приятели они были неизменные. Жены Бориса уже с ними не было, и с тех пор не видали у них в доме ни одной бабы. Явились они на этот раз хотя в тех же «понизовских» костюмах, но уже казакины и плисовые шаровары были вытерты, перепачканы, стары; сапоги стоптаны, рубахи порваны. Отец и сын, по-видимому, поселились в Вальковщине на все лето. Стали они наниматься в работу — косить, пахать, но все как-то шутя, словно сами кому одолжение делали. Покосят дня три-четыре и сидят в кабаке, пьют пиво, или шатаются по сходкам, по базарам. Стали было заниматься меной лошадей. Окрестные крестьяне дрогнули и начали покрепче смотреть за скотиной. А между тем отец и сын не переставали ходить по кабакам, и когда солидные люди говорили им: «Что же это, Борис Пиманыч, ни к чему-то ты с сынком своей головы, своих рук не приложите? Ведь золотые у вас головы-то и руки!» — Борис и сын отвечали каким-то неестественным, напряженным, сухим хохотом... и говорили: «Боимся, как бы народ не напугать!» Изменила ли Борису с сыном удача, или устал сам Борис, только они теперь засели в Дергачах надолго.

VI

Когда осенние сумерки уже совсем почти налегли на Дергачи и уже совсем стихало взбудоражившее деревенскую улицу волнение, эти два человека сидели за простым сосновым столом в пустой, без всяких признаков хозяйственности, своей большой избе. В ней было сыро, пахло подвалом, по стенам стояли только лавки и висел всюду паутинник. Сальная оплывшая свеча горела, воткнутая в бутылку. Двери были растворены, и в них то входили, то выходили мужики: кто с хлебом и луком, кто с водкой, пивом. Слышался постоянный говор. Все большею частью говорили о Борисе в третьем лице, но самого его ни о чем не спрашивали. Борис сидел, отшатнувшись к стене, и лениво смотрел на толкавшуюся перед ним, постоянно менявшуюся публику с своею обычною улыбкой, изредка и коротко бросая свои замечания. Среди сменявшейся публики был и Алешка, пиманов зять, и Хипа, и Лукашка, и какие-то замухрястые мужички в изодранных полушубках, и тот худой, чахоточный мужик, который так резко когда-то оборвал на сходке своим появлением разболтавшихся «о мужицком счастьи» благодушных мирян. Заходили какие-то старички и даже бабы. Все это говорило как-то разом. Большинство, едва переступив порог, прямо начинало свой разговор, не обращая внимания, о чем говорили присутствовавшие.

— Да!.. Они так полагали, что это только мы, мол... Ха-ха!.. Нет, тут шалишь!.. Тут брат... Да!.. Вон он, Борис-то Пиманыч... Да!.. хо-хо! Это не с нами, не-ет!.. Еще с ним надо поговорить, — выкрикивал Алешка, с раскрасневшеюся добродушною рожей, на которой кое-где виднелась запекшаяся кровь, держа в руках бутылку и стакан.

— Еще бы! — подхватывали другие. — Тут, брат, разговор особый... Ведь это никто другой, как Борис-то Пиманыч!.. Да!.. А то на них страху нет!.. Да, небось, это не мы...

— Поджали хвосты-то... Ха-ха-ха!.. Под-жа-али!..

— Нет тебе, братец, ни закону, ни справедливости... Ничего-о, братец мой, ничего, — хрипел, подсаживаясь к Борису, чахоточный мужик. — А я вот больной... вот

до чего дошел с ними, оглашенными... А отчего? Порядку не видно...

— Что уж и сам деле, — говорила какая-то баба, то прислушивавшаяся к говору, то смотревшая в лицо Бориса и чего-то ждавшая от него. — Что уж и сам деле! Господи, батюшки!.. Такие ото всех обиды, такие обиды!.. Теперича ребятишки у меня, а хозяина в заработки угнали... Земли вот на паренька сколько лет просим-просим.

Пришли какие-то старички со старушкой и тоже на что-то жаловались Борису.

— Нет, они, черти, зажились... Их пошевеливать надо, пошевеливать! — вдруг кричал какой-то молодой мужик, — а? Так ли, Борис Пиманыч?.. Ха-ха!.. Мы их пошевелим!

Группы сменялись одна другой. Входили новые; опять раздавалось:

— Нет, это не мы... Они полагали, что так на них и ума не найдется... Нет, вот он, Борис-то Пиманыч... Да!.. Это, небось, не мы... Прижали хвосты!.. Ха-ха!..

А Борис все сидел, охаживая всех глазами, улыбался и молчал. Ему припомнилось, как давно когда-то и здесь, в Валковщине, и после там, на Волге, так же вкруг него раздавалось: «Умен!.. Ой, умен!.. Он, брат, всех покорит!.. Он, брат, далеко пойдет! Да!.. Нет, это не мы... Он, брат, не пропадет!».. И, как тогда же, он чувствовал теперь: что-то выносит его опять и опять, и всегда помимо его сознания и воли, из уровня кишевшей вокруг него массы и снова гонит что-то эти массы в его руки.

Глава пятая

РОМАНТИКИ

I

Войдемте, читатель, в две крайние дергачевские избы, к нашим давним, очень давним знакомым, которых хотя бледные тени еще, может быть, живут в вашем воображении. В этих избах, как-то сбоку, хвостом при-

липших к Дергачам, как лишний лоскут, поселились обитатели так еще недавно смытого стремительными потоками новой жизни Волчьего поселка, устои которого были заложены когда-то старозаветным земледельцем Мосеем. В первой избе жили Ульяна Мосевна с братом Вахромеем и его семьей; во второй — брат Хипа с семьей, а в маленькой двухоконной избушке, едва поднявшейся от земли, приютился молчаливый охотник Сатир с своею единственною дочерью. Не покинули разоренную семью и заштатный старый пономарь Феотимыч, и старая бобылка Феклуша: Феотимыч прилепился к Вахромею, а Феклуша — к Хипе. Только солдатки Сиклетеи с ребятишками не было: новые волны жизни унесли и ее в жестокий и непонятный водоворот.

Мы зайдем к ним в поздний вечер того несчастного дня, когда мирная дергачевская улица была потрясена одним из тех конвульсивных содроганий, которые в период, нами описываемый, спорадически охватывали, как болезненные, нервные припадки, наши деревни. Так по раселитренной нитке вдруг вспыхнувший огонь пробежит с одного конца до другого и потухнет. И было в этих припадках нечто такое странное, необычное, что вот наши давнишние знакомые, эти «старые» деревенские люди, собравшись, по старинной привычке, в избу Ульяны Мосевны, как издавна привыкли они делать во всех экстренных случаях, скорбно покачивают головами и, вместо того чтобы в качестве «мирских» людей пойти на улицу и помочь поскорее распутаться ей, говорят: «Что делается-то, что делается-то! Создатель милосердый!» И продолжали повторять это и тогда, когда шумный гомон стоял над улицей, и после, когда все как-то сразу улеглось и стихло на улице, и слышались лишь от времени до времени отдельные выкрики. Мосеева семья — все были трезвые люди и хотя любили «улицу», но, когда в праздник эта улица разгуливалась уже чересчур, все мосеевцы обыкновенно, незаметно ни для кого, тихо уходили по своим избам. Теперь же они не только давно уже ушли с улицы, но и Вахромей сердито скликал с улицы всех своих ребятишек, этих самых любопытнейших смертных, и, к великому огорчению их, усадил на полати, от времени до времени покрикивая на тех, которые намеревались потихоньку улизнуть.

— Незачем, ребятки, туда ходить, — говорила Ульяна Мосевна, — ну, что там смотреть, что слушать? Пьяных смотреть, скверное слово слушать. А это бог не любит... Потому бог не любит, что будешь ежели смотреть да смеяться чужому горю — не знаешь, кого осудишь... Ты его осудишь, а тут, может, горе... Ох, господи, господи! — вздохнула Ульяна Мосевна и опустила голову.

И все словно замерли, так как всем были ясны и понятны и ее слова, и ее вздохи; даже ребятишки как будто что-то понимали, потому что слышали совершенно явственно доносившийся с улицы буйный голос смирного и ласкового Хипы, отца одних и дяди других.

— Унять бы их, что ли? Очень уж все разожглись, — наивно сказал старший сын Вахромея, мальчик лет двенадцати, пугливо смотря в глаза тетки: видимо, он был или очень робок, или то, что он видел на улице, было для него ново и необычайно.

— Кого унимать-то будем, да и судить кого, коли правого не найдешь, да и виноватого не сыщешь? — отвечала Ульяна Мосевна.

И опять все молчали и как будто ясно понимали и сочувствовали Ульяне; только Вахромей, по привычке сидевший с трубкой на пороге полуотворенной в сени двери и выпускавший медленно дым в щель, поднялся и, выбивая о шесток трубку, сказал сердито:

— Поискать бы — нашли!.. Авось, оказались бы!

— Ну, братец, нас с Петрушей людям не рассудить; бог рассудит один! — отвечала Ульяна, с одного слова понявшая, на что намекал брат.

— А из-за чего ж это у них, тетенька, вдруг? Все сидели, песни пели, хороводы водили, а тут вдруг и загорелось? — спрашивали любопытные ребятишки, устремив полные недоуменья глаза на замолчавших большаков.

Но большаки, повидимому, были сами преисполнены тем же детским недоумением, так как на вопрос детей никто ничего не ответил, и только Феклуша повторяла, когда с улицы доносились до их отдаленных задворок взрывы криков:

— Свят, свят, свят! Господи милосердый! Что у них делается-то, что делается-то!

— Война, — уже не впервые категорически отвечал

ей Феотимыч, каждый раз нюхая табак, — война, Митревна, компанейская война... Я читал когда-то: бывают такие войны...

— Какие ж это такие войны? — спрашивала Феклуша.

— А такие — без солдат. Тут уж все воюют... Тут уж ни командиров, ни полководцев: одно — баталия... Брат с братом воюет, сын с отцом...

— Да что они, окаянные, — воскликнула Феклуша, — рехнулись, что ли? Али уж ноне на них суда нет?

— То-то что нет... Самосудное время!.. Когда компанейская ежели война, тогда самосудам время всегда. Вот в двенадцатом году — ты, чай, сама помнишь — компанейская война была... Казак Платов воевал; все мужики тогда воевали, с вилами, с косами, избы жгли, хлеб таскали, французов топили да обухами били... Кто не понравился, того и тюк!..

— Так, чать, тогда француз был... А ноне где он, француз-то? Чать, француза-то батюшка белый царь всего на океан-море заточил?

— Вот разве что француза-то нет! — глубокомысленно сказал Феотимыч.

— Полно, старик... Это ты все меня пугаешь, — не поверила даже Феклуша, а ребятишки давно уже смеялись: как не быть начальству? Чтобы над мужиком да начальства не было? Кто же их, головорезов, учить-то будет?

— Ахти-хти! — воскликнул Феотимыч. — Пугаешь? Испугаешься... Мы вот с тобой, старушка, жили в Волчьем поселке, что у Христа за пазухой, ничего не ведали, не знавали... А тут люди жили да поживали... да и нивесть куда ускакали!

— Верно, Феотимыч, верно ты это сказал, — заметила Ульяна Мосевна. — Нам уж, Феклуша, нынешний народ не понять... Не нам его и судить!

Действительно, если рассуждения Феотимыча вначале и были довольно-таки фантастичны, ради устрашения восьмидесятилетней Феклуши, то последнее его замечание было вполне справедливо.

Тому уже около пятнадцати лет, как семья Мосея Волка вслед за ним переселилась в его любимую рощу, перешедшую к нему в собственность, и основала там чистую земледельческую колонию, мирную, непри-

хотливую, «по-божески», по дедовским заветам. В этом Волчьем поселке прожили они пятнадцать лет, как Робинзоны, переселившиеся на необитаемый остров, сами удовлетворяя почти все свои неприхотливые потребности, и только изредка, и то больше одна Ульяна Мосевна, выходили они за границы выселка и от времени до времени сталкивались с окружавшим их миром, в котором, как им казалось, шло все так же, что и прежде. Были жалобы, были страдания, так же, как и прежде, родили бабы в поле, страдали от страды, так же били их под пьяную руку мужья; были бедные, забижаемые богатыми, были несчастные, забиваемые, вместо барина, каким-то «начальством» (они даже не знали, какое это начальство было, как не знали и теперь; какой-то исправник, непременный член, земство, мировой судья — все это смешивалось для них в одно прежнее лицо «барина»; только этому барину царь не позволял уже много «баловаться», не позволял людей продавать, на барщину гонять, — одним словом, за все, что прежде вносилось «натурой», велено вносить деньгами). Все было, повидимому, так же, как и прежде, на все считала своим долгом попрежнему откликаться «благомысленная» женщина Ульяна Мосевна, попрежнему помогала и сочувствовала чем и как могла, утешала всех тем, что «правоту господь не оставит, что неправота, которая есть, погибнет, что не надо отчаиваться, а надо верить и надеяться». И вот в этой массе мелких будничных явлений для нее совершенно пропадал внутренний смысл их; она не замечала, что под этим видимым прежним однообразием струилось что-то другое. Таково же, или еще наивнее, было отношение к окружающему и всех прочих обитателей поселка. И вдруг какая-то волна из житейского моря оторвалась и кинулась на их укромный остров, сразу потопила его в пучине, а их, утопавших и безнадежно и тщетно боровшихся с нею, снова выкинула на материк... Что это была за волна, они, конечно, не знали; не знали, что она именно и родилась от того неприметного родника, который прежде мирно и ни для кого невидимо тек под внешнею неизменностью будничной жизни, и вдруг теперь стал все чаще и чаще заявлять о своем присутствии какими-то внезапными, периодическими всплесками на поверхность. Но, слава

богу, благодаря счастливому случаю они все же выброшены были в родное гнездо, в свой старый «мир».

— Что ж, селитесь, селитесь! — говорил Макридий Сафроныч. — Свои люди... Как своим людям откажешь? Пока места хватит, а что после, то в божьих руках!

И они чувствовали, что это действительно свои люди, прежние люди. На первый взгляд, да и долго еще в обычных буднях своей родной деревеньки они видели все, все «попрежнему»: та же «земля-кормилица», тот же «хлеб», тот же труд, те же мирские порядки, те же «свои люди», только молодежь подросла как-то скоро да старики как-то стали старее... Попрежнему оставались те же жалобы, те же страдания; но вот мало-помалу в этих жалобах и страданиях вдруг они стали примечать что-то другое; и чем больше переселенцы всматривались и вдумывались в эти жалобы, тем меньше они их постигали. Скоро наши Робинзоны, эти наивные, старые *хорошие люди деревни сделались людьми недоумения*. Эти люди, которые все были зрячими, которые все до мелочи понимали в прежней своей жизни ясно, вдруг ослепли, какой-то туман заволок их очи, все пред ними как будто стало мешаться, перевертываться вверх дном. Как будто вместо прочной, устойчивой почвы под их ногами оказалась вода: вот она заливает все больше и больше, они видят, что кто-то гибнет, кто-то хочет другого спасти, но этот другой, тонущий, сам тащит в пропасть своего спасителя; вот один карабкается на берег, а другой хватается за него сзади и тащит опять назад; все кругом что-то кричат, говорят странное, новое, непонятное; все, что прежде называлось добром, в их устах стало злом, потерялось различие между злом и добром. Даже сами они, для которых прежде все было так ясно и определенно, сами они, спеша и видя зовущих на помощь, готовые ринуться к ним, стоят, пораженные недоумением, ибо не знают, кому, как, даже зачем помогать... Даже те боли, жалобы и страдания, которые искони ни в ком не возбуждали сомнения, а тем более в Ульяне Мосевне, которая всегда спешила к ним на помощь, даже то зло, которое было для нее и для всех всегда ясною причиной этого страдания, — все это вдруг приняло такой странный вид, что не раз становилась уже втупик сама Ульяна Мосевна и пред этими болями и

жалобами, и пред этим «злом», против которого она когда-то, не задумываясь, ратовала с такою непосредственною прямотой... Да неужели сама она изменилась? Неужели изменилась внутренняя сущность этих людей «непосредственной прямоты», и изменилась вдруг, таки взяла и исчезла эта нравственная сила, пережившая тысячелетие? В том-то и дело, что нет, в том-то и тяжелое недоумение, в том-то и гнетущая загадка, что вот она, Ульяна Мосевна, чувствует в глубине своей души, что она не только не изменилась, но с тою же прежнею, если еще не большею, охотой готова итти помогать болям и жалобам; чувствует она, видит, что и все ее близкие и присные, которых она уже знает давно, весь этот мир, с которым она выросла, все они — все те же, в *сущности,* с теми же грехами и добродетелями, и между тем что же это сталось с ними, что она перестала их понимать? Что такое совершилось, что те же люди — не те; что то, что прежде она считала в них несомненным добром, несет с собою зло, несет страдания, вызывает боли и жалобы; с другой стороны, то, что некогда она считала несомненным злом, вдруг приняло вид несомненного «добра», вдруг заговорило языком несомненной «правоты», требовало себе сочувствия, и нельзя было отказать в нем. В конце концов ясность различения между «добром» и «злом» вдруг исчезла, так как невидимо народилась целая масса явлений, из которых каждое было столь же виновно, сколько и право. Очевидно, не эти присные изменились в своей сущности (да как же этого не видать? Ведь вот они, все тут, налицо, живые!), а произошло что-то другое, народилось нечто «новое», что сразу вышло из сферы ясности прежнего цельного мировоззрения. Это нечто «новое», непонятное, ввергающее в недоумение, потребовало создания нового мировоззрения, новых рамок, нового мерила добра и зла... И притом это «новое» было так объемисто, так глубоко захватывало все основы жизни; оно было так неуловимо, порывисто, что не поддавалось уже никаким компромиссам, никаким сделкам с прежнею «совестью», с прежним мировоззрением. В такие моменты внезапного нарождения «нового» ничего нельзя себе представить более печального, жалкого и трагического, как положение стариков, притом же воспитанных не в условиях дисципли-

ны ума, неспособных быстро ориентироваться в новых сферах и невооруженных против неожиданностей. Положение это, иногда трагикомическое, но всегда тяжелое и грустное, сразу вырывает у человека из-под ног, у самого гроба, всю ту «гармонию жизни», которою он жил, в которой считал все ясным, определенным, понятным, в которой для него так ярко горел идеал несомненной «правоты». Нелегко, не только у дверей гроба, но и в зрелых летах, при полном обладании здоровьем и умом, вдруг узнать, что твои верования и идеалы — уже устарелые идеалы, что твое мерило добра и зла стало коротко, неприложимо, фальшиво, что непременно, вот сейчас, тут же надо взять в руки новое мерило, если ты не хочешь остаться равнодушным к окружающим тебя болям, жалобам, страданиям, требованиям...

II

Ульяна Мосевна была «благомысленная» женщина деревенского мира, старого закала, воспринявшая в свою душу все то чистое, любовное, мирное, устойное, что только выработал народный романтизм в суровую пору своей жизни; из того же великого, неиссякаемого, искони одухотворяющего народ источника черпал свою силу и Мин Афанасьич. При этом условии Ульяна Мосевна не могла не быть с ним приятельницей. Но оба они были далеко не одно и то же. Ульяна Мосевна была простая, недалекая женщина; к тому, что она знала, впитала в себя, невидимо, как чистая губка, из народной жизни, профильтровав все это в своей бесхитростной романтической душе, — она ничего не прибавила, не могла прибавить своего собственного; душа ее была именно только фильтр, не придававший тому, что через него проходило, ни собственного цвета, ни запаха, ни вкуса. Иное дело был другой народный романтик, Мин Афанасьич; хотя он почерпал свою силу из того же источника, что и Ульяна Мосевна, но он был вместе и «творец». «Народная правда», прошедшая через душу Ульяны Мосевны, в своем чистом, беспримесном виде, не пригнетала его, не давила его самостоятельное творчество так фатально, как Ульяну Мосевну; постоянно опираясь на эту «народную правду»,

он тем не менее в данный момент, как беззаветный художник, властвовал над нею, вносил в нее нечто из своего творчества, придавал ей каждый раз своеобразный вкус и цвет. Он весь жил этою постоянно преобразуемою «народною правдой»; его маленькая голова ежеминутно работала над этими новыми формами правды, никогда не изменяя ее сущности, и потому не было такого положения, где бы и когда он не мог ориентироваться с этою «правдой»; много проходило пред ним этих положений, много вокруг него падало под игом их народных романтиков, многие впадали в мрачный и отчаянный пессимизм, но для Мина Афанасьича непрестанно сияла эта «правда», вечно юная, вечно живая, и непрестанно разукрашивал он ее цветами воображения и фантазии. Были эти фантазии часто, и очень часто, глупы, нелепы до очевидности, иногда больше раздражали, обостряли раны страдающих, за что эти страдающие платили ему презрением, насмешкой, даже негодованием, но из-под этих нелепых фантазий и разрисовок всегда сияла все та же неувядаемая «правда». Сколько уже людей, носителей «старой правды», сгибло, изверилось в эту «старую правду» или заскорузло в ней фанатически, когда изменились положения и являлась необходимая поправка в этой «старой правде»; но в то время, как эти люди упорно, в отчаянии силились удержаться за эту «старую правду» и заскорузнуть в ней, будучи не в силах понять новые положения, — Мин Афанасьич уже творил «новую правду»... или нет, не *«новую правду»:* правда всегда оставалась неизменной, в какие бы путы и паутины ни была она заткана, — это неизбываемая *«правота в себе»,* внутренняя правота собственного существования всех труждающихся и обремененных, ибо у народа только и есть правота производителей необходимых потребностей жизни и правота романтика, как бескорыстного носителя и ратника «идеи» этой правоты. Нет, не «новую правду» творил Мин Афанасьич, так как никакой «новой правды» народ сотворить не может, а творил новые формы ее. Вот в этом-то и различались между собою два романтика: Ульяна Мосевна и Мин Афанасьич. Этой способности творчества, этого уменья отрешаться от формы, не изменяя содержания, этого уменья в новых положениях открыть присутствие неувядаемой «правды» и не имела «благомысленная» жен-

щина Ульяна Мосевна. И вот, когда вместо ясной, определенной, понятной и разработанной столетиями «старой правды» пред нею выступили новые положения, повидимому колебавшие эту правду до самых основ, любящая, романтическая натура ее подсказала ей только одно: что в новых положениях тоже нет ни правых, ни виноватых. Но итти дальше этого она не могла.

Немало передумала своим непосредственным умом Ульяна Мосевна за то время, когда над Волчьим поселком пронеслась гроза и с корнем сорвала столетний дуб с его вековых устоев; но сколько она ни думала, она ничего не поняла в Петре — и решила, что все это послано в наказание за какие-нибудь их личные грехи. Но когда, возвратившись в старый знакомый дергачевский мир, она увидела, что и там везде бушует та же непонятная буря и также рушит старые «устои», видимым образом разрушая прежнюю гармонию и не созидая вместо нее никакой новой, она решила, робко и скромно, с болью в сердце: нет больше в мире правды!.. Но разве прежде, при крепостном праве, была правда для нее? Была: кроме общей, неувядаемой правды труждающихся и обремененных, для нее существовал тот нравственный устой, который давал возможность ясно различать добро, ясно осязать страдания и итти на помощь; была возможность подвига, был смысл в самоотречении, были смысл и возможность «идейной» жизни для народного романтика. Этою возможностью, этим смыслом жили миллионы «человеческою жизнью», полною значения, и умирали в сознании этого «значения», как люди, а не как подъяремные скоты. И вдруг эта правда исчезла, стала непригодной, ненужной и — почем знать? (она могла судить по Петру, по всей истории со своей семьей) — может быть, она уже приносит зло вместо добра, вызывает страдания вместо исцеления. Вот она и пошла напролом за эту «старую правду», она не щадила ни силы, ни энергии, ни достатков, она все отдала на эту борьбу против племянника, и что же получилось в конце? Хипа спился, озлобился; озлобилась его жена Прасковья; нелюдим стал Вахромей, стал бояться мира, улицы; стал «обособляться», чтобы только не тронули, даже детей держит в стороне от улицы. А что сталось с Вонифатием, вдруг оторвавшимся от прежних устоев, с солдаткой Сиклетеей?

Что станется с ее ребятишками? Кто же виноват? Петр? Да виноват ли он, полно? Разве не добра он им хотел? Разве бы их не могли также разорить, но уже другие, «чужие», например барыня, которая уже и намеревалась это сделать, не подоспей Петр и не спаси их имущество? Что бы они стали против них, против этих чужих, делать? Также искать правды? но нашли ли бы они ее? Уж если не нашли тут, то тем паче не нашли бы там... И, наверное, погибли бы они еще хуже, и еще больше было бы зла и страданий. Разве не знала она таких примеров, где погибали смирные старые люди от «чужих» людей? А поселись она вместе с Петром, с этим человеком, знающим все в новых положениях, может быть знающим уже и «новую правду», покорись они его уму, кто же бы их разорил так легко тогда? И столько было бы избегнуто зол и страданий!.. Так думала Ульяна Мосевна, у которой уплывала из рук «старая правда», терялся смысл жизни; так беспомощно работал ее мозг, силясь постигнуть и разобраться в новых положениях, но не имея сил, чтобы создать для себя «новую правду». Да и когда же создать ее? Если на выработку «старой правды» потребны были столетия, то почему же на создание «новой правды» достаточно должно быть два десятилетия? И если уже в недоумении между старою и новою правдой остановилась Ульяна Мосевна, то сколько миллионов деревенских людей, заведомо хороших, этой деревенской старой интеллигенции, стоят теперь в том же недоумении, растерявшиеся, потерявшие смысл жизни, ушедшие в себя, боязливые, бегущие «мирской улицы», на которой некогда они чувствовали себя как дома, в которой все понимали, и в которой теперь все стало *выше* их понимания? Ибо в данный момент жизнь поставила задачи столь глубокие и великие, которые не стояли никогда перед «старою правдой»... И когда же все это совершилось? Совершилось — когда так еще недавно «старая правда» торжествовала и ликовала, обещая освобождение для всех труждающихся и обремененных!

Много передумала обо всем этом Ульяна Мосевна. Часто вспоминала она Еремея Еремеича Строгого: вот то ли не «умственный человек» был, то ли не человек «старой правды», а что сделал? Ушел от мира, от своих ушел в город, как себялюбец, не захотел заодно с

миром тяготу нести. А еще лучше: как он отнесся к горю их семьи, когда они изнемогали в тяжбе? «Да, говорит, дела!» Вот и он такой же, и он не знает, что делается с народом. «Конечно, — думала Ульяна Мосевна, — много-много несправедливости над народом, жмут все еще бары, жмут кулаки-купцы, поборы большие, мало у крестьянина земли и лесу; все это так, да с *самим-то* народом что делается? Ведь при барщине житье не лучше было, а народ был не такой, дружнее жил, ровнее, теснее... Что говорить! Были и тогда драки, несправедливость была, да ведь видно было, из-за чего эта драка и кто в ней виноват, кто прав, и несправедливость была для всех явнее: ежели неправедливый человек и делал несправедливое дело, так он и сам знал, что несправедливое дело делает. Ты ему скажешь, а у него один ответ: «а вот хочу так, и делаю!» Тут явное дело, что человек только «ндравом» да нахрапом берет, а нынче... Разве Петр ей так отвечал?»

Когда два года тому назад семья Мосея Волка изнемогала в тяжбе с племянником и братом, Ульяну Мосевну с ее близкими еще поддерживала вера в «старую правду»; она говорила тогда, несмотря на все испытания: «Ежели бы не знать, что у бога правду сыщешь, лучше бы в гроб лечь»; теперь же она чувствовала, что и сама «старая правда» стала бессильна...

Все это она думала и передумывала и в этот вечер, все с тем же безнадежным результатом в конце, с тем же скорбным покачиванием головы.

На улице уже темнело все больше и больше, а мосеевцы все еще хорошенько не знали, что случилось в дергачевском миру, хотя они по прошлогодним подобным же историям и предполагали, в чем могло быть дело. Они все поджидали, не зайдет ли кто с улицы. То Вахромей, то Ульяна Мосевна выглядывала в волоковое окно, но, кроме все больше и больше таявшей в сумерках толпы, как темные волны, качавшейся вдалеке, никого не видали. Вот, наконец, от толпы остались только чуть видные силуэты небольших разорванных групп.

— Что это Прасковья нейдет с Хипой? Ведь уж, поди, часа два, как она за ним побежала, — сказала Ульяна Мосевна.

— Не набедил бы чего, — прибавил Вахромей. —

Ведь оно в толпе-то, что на воде: снесет в омут — и не почуешь.

— Спаси, господи, мать пресвятая богородица, по суше странствующих, по водам плавающих... Долго ли человеку до беды! — благочестиво шептала Феклуша.

Но вот послышались тяжелые и нетвердые шаги, затем какое-то ворчанье, и в избу стала валиться, держась за косяки, могучая туша Хипы без шапки, в поддевке на одну правую руку, с осовелыми глазами и уставшим лицом.

— Куда лезешь, медведь, говорю?.. Ступай в избу да дрыхни!.. Куда ты теперь годишься? — кричала сзади Прасковья, держа в одной руке мужнину шапку, а другою силясь вытащить его назад.

— Оставь его, Паша, — сказала Ульяна Мосевна, — дай, отсидится немного... Что с него взять?

— Ну, ступай, сиди, — толкнула мужа на лавку Прасковья и сама тотчас же опустилась на другую, с истомленным лицом, поправляя на голове платок.

— Ох, батюшки мои!.. Ох, сил нет!.. Из моченьки выбилась! — выговаривала она, задыхаясь от одышки.— Ох, проклятые! Ох, ненавистники! Ох, головорезы! — повторяла она.

Все так ясно понимали эти вздохи, что никто и не думал о них спрашивать у Прасковьи, а тем более расспрашивать ее о том, что было, так как, наверное, от нее услыхали бы больше причитаний и крепких слов, чем дела.

— За-аду-ушу... всех за-аду-ушу-у!.. Вот как возьму, как поро-сенка... — ворчал между тем Хипа, сидя на лавке и склонив беспомощно державшуюся на шее голову. Он вытягивал кулак и, скрипя зубами, что придавало его широкому, добродушному лицу больше комическое, чем устрашающее выражение, — показывал вид, как бы душил поросенка.

— Сиди! — крикнула на него Прасковья. — Ворчи там! Нажрался зелья-то и развозился, что пьяный медведь!.. Доваливался бы уж до берлоги-то!.. Задушишь!.. Как же! Передушишь их всех-то, ненавистников!.. Разве сами себе горло перегрызут — одна надежда!

— Пере-е-душу-у! Всех передушу! — вдруг заорал Хипа, протянул руки, оглянул всех мутными глазами,

вскочил и опять повалился на лавку. — Подай их... А-а! По-о-длые души... Вишь, за окном прячутся... Я вас разыщу-у-у! — ворчал он с неизбежным уснащением каждой фразы целым потоком крепких слов.

— Али его кто раздразнил? — спросила Ульяна Мосевна.

— Кто? Известно кто!.. Петрушку увидал...

— Да разве он приехал? — спросила с невольным изумлением Ульяна Мосевна, так как известно, что Петр в Дергачах со времени приезда из Москвы и поселения в барской усадьбе еще не заявлялся. — Да к кому он? С кем?

— К кому? Не к нам... небось! Рыло-то тоже, чай, стыдно показать нищим-то... Они по нас не ездят... К Пиманам проехали, на праздник, вишь, с Графским Митродором...

— Зачем он? — все в большем недоумении спрашивала Ульяна Мосевна.

— А я почем знаю!.. Спроси поди!.. Что им, подлецам! Ездят в шарабанах да нищим глаза мозолят!.. Им что! Им еще любо, что у нищих-то от зависти слюни текут, на них глядя, что они от злости в кабаке винищем полоскаются... Им что, подлецам!.. Не их бокам достается... У них жеребцы хорошие! Как начала вольница-то спьяна да с досады в мертвую голову бунтовать на улице, так они, небось, жеребца-то поворотили да через задворки... Проклятые!.. Кровопийцы! — сыпала безостановочно раздраженная, нервная, грубая Прасковья.

— Переду-ш-у-у! Всех передушу! — вторил ей Хипа.

— Да и надо бы... Все одно отвечать-то!.. Авось, жадность поукротили бы... Сама бы своими руками смазливую-то рожу исцарапала, — неистовствовала Прасковья, — калом бы всех их пенжаки-то облепила!.. Ходи! Гуляй тогда!.. Ищи богатых невест!.. Ха-ха-ха! — и Прасковья захохотала нервным, болезненным, нехорошим смехом.

— Ну, полно-се, Паша!.. Ишь ты, разгасилась! — сказала Ульяна Мосевна. — Пойдемте-ка и в самом деле, я вас провожу; ложитесь-ка со Христом... Сон все покрывает!.. Бери мужа-то, а вы, ребятки, пойдемте со мной... Я вас провожу... Темно ведь, — говорила она детям Хипы. — Пойдем, Феклуша,

— Ну, медведь! Поворачивайся! — толкала Прасковья уже задремавшего Хипу. — Ну, вались, ступай к жене под бок, пока в губу кольцо не продели... Глядишь, и не почуешь, как с эдакой битвы в тюрьму угодишь!.. Ведь им, подлецам, что до того, что медведь с женой спать не будет? Ох, ты, горе мое! — говорила Прасковья с какою-то болезненно-отчаянною иронией. — Ну-ка, помогите, родные, — обратилась она к сидевшим.

Молчаливый Вахромей встал и, не выпуская изо рта трубку, подхватил, не говоря ни слова, Хипу под правое плечо, а Феотимыч, кряхтя, схватился обеими руками за левую его руку, и Хипу благополучно сволокли за ворота.

Хипа был действительно очень похож на медведя, у которого разорили зачем-то берлогу, в которой целыми столетиями и целыми поколениями его прапрадедов все было так плотно уложено, укладено и облежано, так мягко и тепло лежалось. И вот теперь, зачем-то побеспокоенный, смирный и неповоротливый Михаил Иваныч, выпуча глаза, ничего не понимая, носился по лесу, без пути ломал сосны, без пути бросался на проходящих, так как все ему казались виноватыми в непонятной и непостижимой ему невзгоде. И будет он носиться до тех пор, пока вновь не попадет на глубокую, всю усеянную на дне, как пухом, сухими листьями яму и, свалившись в нее, почувствует, что стало опять тепло, уютно, улежно, и главное, никто опять долго его не увидит и не побеспокоит.

У ворот избы Хипы Ульяна Мосевна передала ребятишек Феклуше и, не надеясь уже получить от Прасковьи какие-либо более точные сведения об уличной истории и о Петре, она приостановилась, посмотрела вдоль улицы, по которой из окон еще мелькали огни и двигались еще чьи-то тени, и подумала, к какому бы человеку получше зайти. Кто же для нее мог быть лучше Мина Афанасьича? Сказав в окно Вахромею, что она зайдет не надолго к Мину, она направилась на другой конец деревни.

На улице уже стояла полная тишь, и мрак осеннего вечера сгущался все больше и больше, какой-то мглистый, пронизывающий, влажный и холодный; огни в темноте горели ярко и падали из маленьких

окон изб полосами через дорогу. Вместе с влажностью поднимались и плыли по улице пары от свежего навоза. То там, то здесь со дворов слышались фырканье лошадей, похрюкивание свиней и стук от ударявшейся, в темноте дворов, о стены скотины. На улице всякий звук слышался отчетливо, резко. Слышно было, как в одних избах ужинавшие хозяева говорили медленно, протяжно, прожевывая пищу. Только в большой шестиоконной избе Пиманов, освещенной керосиновою, висевшею с потолка лампой, от которой яркий колыхающийся свет широкою полосой освещал противоположную половину деревни, слышался громкий разговор Андрона и Сергея, перебивавших друг друга, и старосты Макридия. Хозяева и староста сидели за самоваром. Вот навстречу Ульяне шел тихо кто-то пьяный, качаясь и едва двигая ногами, остановился, посмотрел на Ульяну и, выругавшись, прошел дальше. Вот от чьих-то ворот отделились две фигуры, вышли на середину улицы, и вдруг в сумерках раздались звуки гармоники. Это шел с кем-то, — но с кем именно, Ульяна Мосевна не разглядела, — наскучивший фабрикой Прошка. Он играл на гармонике, пел, говорил и смеялся в одно и то же время.

— «Ах ты, удивительная, восхитительная! Из кусточков шла, сапожки нашла!» — пел Прошка и затем, захохотав, говорил: — Весьма хорошо вышло!.. Веесьма даже... занятно! Ха-ха-ха!.. А то заспались без на-ас... Да-а!.. Заспались, старички, без на-а-ас!..

И опять выделывал трели на гармонике:

Ах, из кусточков шла,
Сапожки нашла,
Сафьянненькие.

— И из-за чего, братец мой!.. Предположительно, что ровно не из чего... Так, истинно позаспались все... Кровь разбить!.. Да ведь все... Старухи — и те... Хипа завозился... Разожгли старичков!..

— Все Борис, — сказал спутник.

— Что Борис! говорю: заспались... Полировку надо было в кровь пустить... Конечно, тоска, скука здесь... Какое удовольствие!.. Это вот на фабриках: — выйдешь в праздники — музыка, песни, развлечение... А здесь...

И опять гармоника:

Ах, сафьянненькие...
Чулочки нашла,
Со стрелочками...
Ах ты, удивительная,
Восхитительная!

— Все раскольник это... Мишка Раскольников теперь разжегся на «стояньи» так, что... Мы, брат, это очинно понимаем, ежели в эдаком часе тронуть!.. Упаси бог!.. Ни отец родной, ни мать родная — никто... Потому кровь крови просит! На кровь просится! Ежели теперь кровь на кровь просится и ежели ей помеху сделать — в эдаком разе она на все бросится, а свое возьмет... Вот посмотри, у него с отцом даром это не пройдет... У нас родители очинно строги были, но что касательно «стоянья», ежели парень с девкой «стоят»,— никогда чтобы препятствовать... Потому без помехи— либо сама кровь отойдет, либо свадьба будет... Ну, только ежели помеха...

Ах, чулочки нашла,
Со стрелочками...

— А Петька-то Вонифатьев, — продолжал Прошка,— фа-а-арсист, брат!.. Надо бы его в науку...

— Он далеко пойдет... Его не загонишь, — прибавил спутник.

— А Анютке Пимановой за ним быть!.. Это уж как пить дать!.. Янька пиши отпускную! Потому теперича, после такого, можно сказать, происшествия, ему пропишут Пиманы-то...

Где ж сапожки нашла?
Где чулочки нашла?
Я вдоль улицы шла,
Под кусточки зашла...

Звуки гармоники и голоса постепенно пропадали вдали. Ульяна Мосевна нарочно приостановилась и прислушалась, что говорили парни; сначала она мало поняла, но когда Прошка сказал, что Анютке быть за Петькой, Ульяна Мосевна невольно перекрестилась и пошла дальше. Почему она перекрестилась — радовалась ли она этому или же открещивалась, как от беды, — она и сама не знала хорошенько. Просто в ней

сказалась вдруг старая привязанность к племяннику, которого растила она сиротой, как родная мать; и вот она перекрестилась теперь так же, как крестилась при каждом важном акте его жизни, когда он был близок к ней.

Ульяна Мосевна дошла до двужильной избы Мина Афанасьича. В первой половине, у его брата, должно быть, уже все спали. Огонь светился только на половине Мина Афанасьича, откуда раздавался громкий, суровый голос его жены, очевидно ругавшей Мина. Ульяна Мосевна невольно приостановилась, прислушалась и задумалась, итти ей или нет.

III

— Ну, что, уличные скоморохи? Что? Спраздновали свадьбу на улице? Вишь, какое веселье было! а? У кого такие свадьбы бывают? Наткось, вся улица пировала!.. Еще бы, никто другой — скоморохи уличные свадьбу играли! Чему другому быть! — говорила однообразным басистым тоном Федора, дудя, словно майский жук, попавший в комнату в открытое окно.

— Ах вы, скоморохи! Долго ли вам добрых-то людей смешить? — вдруг подходила она к столу, за которым сидели муж и сын, и внезапно поднимая выше тон, как тот же жук, стучавшийся то в стены, то в потолок. — Хорошее дело придумали, что говорить! Пора бы за ум хватиться... Пора бы к хорошим людям, а не к пьяной улице поближе стать... Да ведь, милые мои, надоть бы прежде рыло-то суконное вымыть! Ведь прямо с улицы-то в грязных лаптях в чистые-то хоромы не пускают... Вишь, разлетелись!.. Ведь Пиманы-то, други любезные, — люди, хозяйственные крестьяне, а не уличные шатуны... Ведь Пиман-то...

И вдруг Федора, не докончив слов, меняла тон и жужжала уже ироническою певучею мухой:

— Стыд-то я с вами потеряла!.. Голову свою загубила!.. Ну, как я теперь на улицу покажусь?.. Ну? Что я скажу?.. Поздравлять станут: «поздравляем-де, мол, Федора Васильевна, с нареченным»... Ну, что мне говорить? Что я скажу? Ну, советуйте, учите!.. Ну-у...

У-у, оглашенные! — неожиданно заканчивала она уже опять басом.

Но странное дело, как ни изменяла тон Федора Васильевна, какие рулады ни выделывал ее голос, она не дождалась ни обычных «рацей», ни внезапных взрывов Мина Афанасьича, ни обычной добродушной улыбки от Яньки, которая неизменно витала на его лице во время войны между отцом и матерью. Это, наконец, она заметила и даже с беспокойством, не переставая жужжать, стала внимательно всматриваться в их лица.

Яня сидел за столом, надувшись, как большой ребенок, у которого отняли куклу: ему как будто уже и самому стыдно, что он по таким пустякам капризничает, хочется ему разыграть уже взрослого, и в то же время непонятная, еще детская связь с игрушками, которые доставляли еще вчера так много удовольствия, невольно заставляла ребячески дуться. Он сидел, опустив нос, и неохотно жевал хлеб.

Мин Афанасьич сидел по другую сторону стола и моргающими глазами смотрел то в один угол избы, то в другой, стараясь избегать взглядов жены. От времени до времени он то потирал кулаком поясницу, то всею спиной чесался о стену. Маленькое лицо его светилось попрежнему; попрежнему, казалось, сияли его большие, добрые серые глаза тою вызывающею веселостью, с которой он привык встречать обрушивавшиеся на него суровые упреки «солидных людей». Тем не менее, однако, было заметно, что он весь как-то съежился; иногда по его лицу пробегало выражение усталости и полного изнеможения, как будто он весь был под тяжестью какого-то непонятного угнетения. Так бывает, когда человек, давно уже привыкший к известному явлению, к которому всегда относился подозрительно, неожиданно узнает, что оно имеет значительно большие размеры, чем он предполагал. Нечто подобное было и с Мином Афанасьичем. Давно, целый свой век провел он под непрерывным угнетением деревенского «хозяйствования», которое с самого момента его рождения обрушилось на него всею тяжестью, всевозможными способами давало знать о себе, всеми самыми ничтожными мелочами деревенского обихода неуклонно кричало о своей силе, о своем значении, грозило за легкомысленное отношение к нему всеми

житейскими кознями, болезнями, унижениями, холодом и голодом, душило всякую малейшую попытку мятежного духа вырваться из-под его гнета, — все это знал Мин Афанасьич и со всем этим детски-наивно воевал; но он не предполагал, чтобы разгул этого «хозяйствования» сказался вдруг так жестоко, так грубо, в то время когда Мин Афанасьич так давно уже жил надеждой, что этой жестокости и суровости положен конец. И вот этот разгул хозяйствования, неожиданно сказавшийся, лишь только его потревожили, в то время когда он уже укладывался было в мирные и мягкие формы, — этот-то внезапный разгул и угнетал Мина Афанасьича, как внезапно вдруг пригинает к земле удар молнии в ясный, веселый день, при светлом, чистом небе, по которому весело неслись только белые, молочные облака. И ведь ни Мина, ни Яни никто не оскорбил, никто прямо не насмеялся им в лицо, как это можно предположить из слов Федоры Васильевны: ничего подобного не было. Когда Мин Афанасьич, услыхав крики Пимана, увидел безобразную драку у ворот пимановой избы, он на первый раз закричал: «Батюшки-светы!.. Да что вы, отцы родные! Господи милостивый!..» — и бросился было разнимать, но когда, тут же оттолкнутый кем-то в грудь, всмотрелся в безобразную, барахтающуюся кучу тел, когда рассмотрел остервенившиеся лица детей Пимана, Андрона и Сергея, уже прижимавших коленками грудь, плечи, руки и ноги валявшегося Бориса, злое лицо которого смеялось таким нехорошим смехом, когда увидал Пимку-внука, бросавшегося, как щенок, истерзанного Алешку, наконец самого Пимана, дрожавшего от гнева и старости, сердитую Катерину Петровну, — он надвинул на уши шапку и пошел домой, не обертываясь, повторяя вслух: «Ну, как хотите!.. Бог с вами!.. Как хотите!.. Не нам уж, вам жить... Как хотите!..» По дороге он увидал Яньку, который стоял на углу прогона, прислонившись к чьей-то избе, и, как будто забывшись, рассеянно перебирал лады гармоники, словно не замечая, что это было вовсе некстати. «Пойдем, Янька, домой!» — зачем-то сказал мимоходом старик, все потряхивая головой, как будто в ней что-то стало неловко. И Янька почему-то, тоже не зная зачем, пошел за отцом нога за ногу. С крестьянином вообще бывает так, а с непосредственными на-

турами тем чаще, что иногда он решительно не в силах разобраться и понять самые бьющие в глаза факты и упорно лезет на рожон; напротив, другой раз весь преисполняется такою чуткостью, что вдруг бессознательно проникает интимную глубину самых сложных явлений. Он ничего не может объяснить в них, не может ясно проанализировать даже для себя эти явления, но внутренняя чуткость говорит в нем сильнее всяких доводов рассудка.

Вот это-то неопределенное ощущение неполноты в прежней цельности и округленности, так неожиданно сказавшееся в этот вечер, и угнетало Мина Афанасьича; оно-то сразу и обессилило его. На выкрики жены он не обращал никакого внимания: они его только начинали раздражать, как раздражает жужжащий под ухом комар, он уже начинал сердиться, и, может быть, между ними произошла бы обычная баталия с ухватами, кочергами и прочими орудиями, всегда так смешившая Яньку, как в избу вошла Ульяна Мосевна. Мин Афанасьич сначала всматривался в нее, не узнавая, пока она молилась, и вдруг в его глазах что-то блеснуло яркое, веселое, мягкое, сердечное, потом все это разлилось по маленькому лицу, по лучистой бородке, по широким губам, по жиденьким растрепанным волосам, из-под которых светилось желтоватая лысина, и он сказал:

— А, благомысленная жена!

И, сказав это, моргнул, улыбнулся и с особенным уже удовольствием почесал кулаком поясницу. Сразу повернулся на месте и Янька, как будто с тряской мостовой, по которой он ехал, телега свернула на гладкую и ровную дорогу. Сразу изменила выражение лица и Федора. Так всегда в минуты неопределенных томлений и тяжелых отношений между близкими бывает приятно появление доброго гостя, с которым каждый любил не раз говорить по душе и который с одинаковым вниманием относился к жалобам, болям и горю каждого.

— Здравствуйте... Ишь, я как поздно!.. Не взыщите, — сказала Ульяна Мосевна.

— Здравствуй, Ульяна Мосевна... Что за взыски? Хорошему человеку всегда рады, — переменила опять тон Федора Васильевна на жалобный и плаксивый и

стала вытирать рукой стол, зная, что Ульяна Мосевна была чистоплотная женщина и могла худо отозваться об ее хозяйственности.

— Что делается-то, что делается! — сказала Ульяна Мосевна, присаживаясь к Мину Афанасьичу на скамью и покачивая головой.

— Война, — улыбнувшись ей как-то особенно любовно, с прежнею вызывающею беззаветностью ответил Мин Афанасьич. — Везде война... Вот и мы с женою все воюем... Чем бы богу молиться, а мы, дураки, воюем!.. Вот уж сколько лет отбиваюсь!.. Думаю, вот мир, ан...

— Да уж пора бы вам перестать... Старики уж, а все пустым делом занимаетесь, — заметила Ульяна Мосевна, шутя.

— Да ведь, Мосевна, что мне с ним делать-то? — вдруг заныла Федора. — Ведь, голубушка, все думается, авось в ум придет.

— Уж где Васильевна, на старости лет меняться? Трудно, мать, это... Уж тебе бы оставить надо... Из старого молодого не сделаешь.

— Да мне-то плевать на него, одра эдакого, да ведь сын растет... Надо ли ему человеком быть?.. В отца, что ли, ему быть? Ведь ему жить надо! — плакалась Федора.

— Бог даст, и он человеком будет: в кого ему худым быть? — прибавила больше для утешения Федоры Ульяна Мосевна, мало, повидимому, интересуясь ее давно знакомыми всем в Дергачах жалобами, и тотчас же обратилась к Мину Афанасьичу:

— Ну-ка, Мин Афанасьич, ты-то скажи, что в мире-то делается, а? Правда-то где? Правды-то ведь в мире не стало: оттого ли, что все мы виноваты, али оттого, что уж и виноватых нет — не знаю.

— Правота есть, — проговорил Мин Афанасьич, — неправотой, может, только сказывается, — как-то необычно робко добавил он.

— Да какая же это правота, ты то подумай: люди дерутся, отец на детей, братья на братьев... А виноватого нет!.. Как же это? Ведь это по-старинному, говорят, последние времена...

— Может, и последние... неправоте! — сказал Мин Афанасьич и как-то конфузливо улыбнулся. — Может,

ей предел пришел... Дальше куда пойдешь?.. Дальше нельзя... (Мин Афанасьич приостановился.) Дальше нельзя, — повторил он еще раз.

— Ну, а это как же, что все правы, что виноватого никого нет? Коли правоте сказаться, так и виновный был бы и правый виден... А мы все себя правыми почитаем. Это как же? Ведь вот взять хоть бы старое время: греха было тоже немало... Все грешны были... Разве тоже жадности, али злобы, али обманов, зависти, али жестокосердия не было? Все было... Да зато же всякий, по грехам своим, и каялся... Разве кто себя в грехе правым почитал? Бывало, другой мужик жадничает-жадничает, безобразит-безобразит, а придет смертный час, али бы так — очухается вдруг, — возьмет да все и раздаст, что нажадничал, по людям или в храм божий, богу пойдет молиться... «Простите, скажет, православные христиане, грешен! великий я грешник!» А почему так? Значит, неправоту свою восчувствовал... Али вот тоже, другой мужичок запьянствует, от хозяйства отобьется, ребятишек, жену бросит, гуляет-гуляет, а все вернется назад, да миру-то в ноги, и жене-то, и ребятишкам... Опять, значит, неправоту восчувствовал. А ноне? Нуткась, Мин Афанасьич, пораздумай: кто ноне себя виноватым считает? Да в чем, скажет, я неправ? В чем мне каяться-то? Ну, точно, есть такие жадные мужики, что вон в волости жрут да пьют, да с живого и мертвого дерут, ну те, точно — больше от нахрапу так говорят... А ведь другого возьмешь — и точно, подумаешь: да и впрямь, виноват ли он? В чем ему каяться-то? Посмотри кругом — все такие: все заелись, задрались, и люди-то все хорошие, кажись; кабы были виноваты, покаялись бы сами, сами бы очнулись, а все правы! Все правы, а правды нет! Это что значит?

И Ульяна Мосевна с искренним недоумением смотрела на Мина Афанасьича: видимо, все, что она говорила, было слишком хорошо ей знакомо, слишком тяжело лежало на сердце. Но видно было также, что она пришла сегодня к Мину Афанасьичу если не для того, чтобы получить разрешение своих недоумений, то хотя бы душу отвести с ним. Она знала, как умел это делать Мин Афанасьич с своею обычною беззаветностью. Бывало, сейчас же подхватит и заговорит, заговорит... И чего только он не наговорит, а в конце выйдет легко

на душе: как будто он и действительно разрешил всякие недоумения. Такою уж от него всегда верой отдавало. Недаром говорил про него Ермил из Груздей: «И знаешь, что не надо бы его слушать, а веришь; хочешь не хочешь, а веришь». И вот сегодня Мин Афанасьич молчал, и как будто чем дальше говорила Ульяна Мосевна, тем он больше робел, как будто к тому угнетению, которое уже лежало на нем, Ульяна Мосевна с каждым словом прибавляла все новые и новые гири. Это невольное, необычайное молчание было даже для него самого как-то не в порядке вещей, и он то тер глаза, то бороду, то клал руки на стол, то опять сжимал, то потихоньку перхал и крякал, как овца, шевелил губами, постоянно думая что-нибудь сказать, и не говорил ничего, как будто все слова, которые он знал, были все неподходящие, *старые,* которых не хотелось повторять.

— Как же это? — повторяла Ульяна Мосевна, не дождавшись возражения Мина Афанасьича. — Что это такое, милые, поделалось?.. И ведь во всем, везде так... Ведь вот уж вы меня знаете: у кого я, где не перебывала... Слава богу, везде меня принимают, нигде передо мною дверь не закрывали... Видела я прежде всякого народу: и богатого, и бедного, и счастливого, и несчастного, вдоволь нагляделась и теперь вижу... И везде одно теперь: ежели все правы — правды нет, ежели все виноваты — каяться не в чем... Вот хоть бы взять мирское дело... Что это сталось, что хорошие люди мирского дела бегут? Бегут и бегут... Уж на что пустое дело: в загонщики или полесовщики, озимь от скотины беречь — нейдут хорошие люди!.. «Бог, говорят, с вами, управляйтесь, как хотите!» Все в одно слово, все бегут: из старшин бегут, из судей, из старост, отовсюду бегут... Говорят, вишь, потому, что хороших-то людей не стало. Да полноте, други!.. Да куда ж они девались? Все были, были, да вдруг провалились... Да что же это с ними поделалось? Коли так, так уж, значит, и раньше они не были хороши... Нет, милые, есть они, как их не знать, да что с ними поделалось, что правых не видят и виноватых не сыщут?.. Вот хоть бы суд взять... В суде, говорят, правды мало, а все скажу: в мирском суде, по старине, все старики умели правду найти, потому знали правого, знали и виновного... Бывало, что ни случись:

у мужа ли с женой, у отца ли с сыном, у соседа ли с соседом — все рассудят, греха на совесть не беря, потому грехи-то были для всех видимые, прямые; дела-то были простые. А нынче... Вот виделась я с Иваном Федотычем из Доброго. Уж то ли не благомысленный был старик, строгих правил, сколько лет в судьях ходил, а теперь ушел... «Что так, спрашиваю, Иван Федотыч?» — «Нет, говорит, не могу». — «Отчего так?»— «А оттого, говорит, что по двум правдам судить нельзя». — «Как же так по двум правдам?» — «А так, говорит, теперь зайди ты к нам в суд и увидишь: станут пред тобою либо две неправды, либо две правды. Как ты их рассудишь? Пока ты руками разводишь, а негодный человек этому и рад. «Какая, говорит, у *вас* теперь правда? *Вашей правды уж теперь нет:* делай, коли так, по закону, а не по правде... Эй, писарь, какой такой есть закон? Есть закон, чтобы мне правого дожать?» — «Есть, говорит, по закону ты прав...» — «Ну, так, говорит, с тем вы, старички, и останьтесь...» Так вот оно как!.. «Вот, говорит, хоть бы взять ваше дело с Петром: как бы вас судить-то стали по старой-то правде, коли у вас либо у обоих неправда, либо у обоих правда?.. Бывало, забалуйся сын, забунтуйся, запьянствуй, задури, ну, сейчас и видишь, в чем его против родителей вина: разложим на миру и выдерем! Глядишь, он еще сам благодарен... Так ты Петьку-то твоего разложишь, что ли, теперь? а? разложишь, что ли, говорю?.. Что он: пьяница, распутник, об доме, что ли, небрежет? Буян? Драчун? Ну, говори! — кричит на меня Иван-то Федотыч. — Как нам его судить?» — «Так ведь и мы разве виноваты? говорю, зачем же нас зорить-то». — «То-то, говорю тебе, и есть, что разобрать мы не можем теперь: две ли у вас неправды, али две правды, — все одно, ничего не рассудишь, коли виноватого не видать!.. Жизнь стала другая — другую и правду надо... а ее не вот возьмешь! Оттого-то вот посмотришь-посмотришь да от мира и уйдешь!»

Ульяна Мосевна остановилась и, подперев голову рукой, долго смотрела в пол, не говоря ни слова, как будто забыла, что она в гостях: дома в последнее время, после своих обычных поездок по больным и знакомым из соседних деревень, она часто сидела так на лавке, по нескольку раз перебирая в голове все,

что ей пришлось увидать и услыхать. Так сидела она и теперь, пока не закашлял Мин Афанасьич, у которого в голове так все и кружилось и суетилось в какой-то непонятной сутолоке и который все боролся с тщетным желанием что-нибудь сказать.

— Что ж это, скажи, Мин Афанасьич, у нас ноне на улице поделалось? Не доберусь я хорошенько-то, — спросила Ульяна Мосевна.

— У нас-то? — вдруг оживился Мин Афанасьич, как будто обрадовавшись, что, наконец, явилась ему возможность говорить. — У нас-то?.. А вот все это и объявилось, что ты говорила... Как есть все это!

— Да с чего же это, сразу-то?

— А так, загорелось... Деревня, конечно!.. Народ, что с норовом конь: все ходит, все ходит — бьешь ли ты его, ласкаешь ли... возит себе да возит... А тут попал на такое место, может камешек не тем боком под колесо попал, — и пошел, и пошел! Ты его ласкать, а он копытом в зубы, ты его бить, а он закусил удила и...

— Да с чего загорелось-то?

— А бог е знает!.. Может, и я тому причиной: я вот у Пимана со старовером Ионой поспорил... Ну, он огорчился... А может, Петрушка твой, что не в час приехал... А может.. Кто е знает, отчего? Другой раз то ли еще делается, да ничего... Другой раз хоть всю деревню колом избей — хоть бы тебе голос подали, а в иное время спичку подставь — глянь, все и вспыхнуло!.. Мир — не один человек... Гуляем мы, значит, песни поем, в полном довольстве все, стеной по улице ходим. Идем энто мимо избы Губина, старовера, а он и крикни, ровно собака, на Мишку, сынишку своего, чтобы домой шел. А тот с митревой Оленкой «стоял», женихался с ней... Мишка что-то ему ответь... А тот вышел с подогом, взял Мишку за ворот да подогом и давай домой гнать... Ведь он дуролом, чорт! Ведь он на крещеный-то мир, что на собак смотрит... «Я-де один святой, а вы-де давно все бесу запроданы!..» Глядим, на Мишке лица нет... Наши-то парни в хохот, кричат: «Вот так-то наших-то молодцов, вали по загривку!.. Дуй его и в ус, и в рыло!.. Мы ведь не Петюшки Вонифатьевы!.. Валяй его!.. Чего нам в зубы-то смотреть?..» А Иона весь побледнел, закричал: «Головорезы! кричит, пропойцы! Воры, говорит, вы. Из-

под машины мошенники!.. Трактирные пьяницы!.. Голытьба фабричная!..» Ну, а фабричные, ты знаешь, ругаться-то не уступят Ионе: сцепился с ним Прошка да еще трое. А Борис хохочет да травит... Ты знаешь, какой он, Борис-то?.. У него сердце-то, что кипяток. Глядь, за фабричных жены да матери встали, кричат на Иону, а за Иону уж Макары да Наумы староверские из ворот повылезли... Наши-то кричат: «Ах, говорят, бесстыжие ваши глаза. Вот святые выбрались! Да как у вас язык поворотился наших детей срамить?.. Да ведь кабы не вы, жадные, разве бы мы на фабрики-то в омут головой бросились?.. Да кабы они по фабрикам-то не жили, ведь вы бы все с голоду подохли!.. Ведь вы только тем и живы, что наши земли похватали... Еще вы нам землю-то подадите!.. Еще мы подумаем — пускать их опять на фабрики-то!..» Господи, боже мой! От малой искры и пошло, и пошло!.. За староверскую выть встали Коты, а против них Строгие да Поперешные, а уж коли Поперешные розвозились, тут уж всякие резоны оставь... Я было и тем, и сем: «Братцы, говорю, да из чего? Господи! Да разве мы виноваты, что земли нет?» Куда тебе! огонь так и рвет, так и разносит... Махнул я рукой, да и ушел на задворки... Гляжу, ан твой Петрушка с Графом задами уезжают!.. Испужались! Признаться, посмеялся я над ними вслед...

И Мин Афанасьич, щуря глаза, долго смеялся тихим смехом.

— Ну, милая моя, — продолжал он, — думаю, вот теперь утихает... Перегорит и утихнет. Вернулся, а там уж всех обняло: как старики-то из Строгих за староверов встали, за отцов, те с своими молодыми перессорились. Гляжу, и ваш медведь-то, Хипа, пьяный, развозился, все к Пиману в избу рвется, к Петюшке... А Пиман у ворот стоит, не пускает... Смотрю, а тут и Алешка ихний шумит, что веник... Борис, вишь, напоил его, а сам хохочет да над стариками издевается... А Алешка за ним того пуще: «Брюхо растить захотели? В богатеи лезете? На дураках хотите выехать? Небось, у кого мошна толста, тех в первый угол?.. А вам, мол, дуракам, и сухой каши будет! Подай, говорит, мою одежду, свое беру!.. Будет вам!..» Лезет сдуру-то в клеть, мешки тащит!.. А Борис то ли пару поддает, ровно леший, разливается... Вишь, Пиман-то не вытер-

пел да ему в грудь вцепился, а тот его толкнул да об ворота... Выбежали Андрон с Сергеем... Накинулись на Алешку да на Бориса... Господи!.. Чем бы стихать, а пожар так и забирает!.. Шуму-то, шуму-то...

И вдруг, увлекшийся рассказом об уличной драке, Мин Афанасьич как-то внезапно смолк, словно сконфузился, словно припомнил что-то, и уже тихо прибавил:

— Строгоньки они, Пиманы-то, строгоньки!..

— Хорошие люди, трезвые, работящие, а строги, — сказала и Ульяна Мосевна. — Вот недавно у Клопа чуть лошадь не убили, что на отаву к ним зашла... Андрон с Сергеем ровно с ума сошли; кричат: «Голодом поморим!.. Вас, говорят, учить надо, голяков, потому вы знать не хотите, чего чужой труд да забота стоят!.. Привыкли, говорят, спустя рукава на свете жить...» Насилу уж уняли молодых-то с Катериной! Да вот и Алеша... Парень хороший, взяли к себе во двор, а будто дурачком считают... Ну, уж ему и в обиду, как будто чести не дают...

— Строгоньки они, строг стал народ! — повторил опять Мин Афанасьич. — Вот я было тоже... — заговорил он, желая рассказать что-то, но опять остановился и замолчал.

Ульяна Мосевна тоже ничего не сказала. Наступило минутное молчание, как вдруг Федору что-то словно сорвало с лавки.

— Так дураков-то и учат умные люди! — выкрикнула она с каким-то даже визгом, сразу рассердившись на всех — и на мужа, и на сына, и даже на Ульяну Мосевну. Метнув на них сердитым взглядом, она быстро вышла, хлопнув за собой дверью.

И Ульяна Мосевна, и Мин Афанасьич, и Янька не сказали ни слова и продолжали молчать. А там, на дворе, слышно было, как Федора стучала дверями, засовом, скрипела по мосту.

— Как же это жить-то будем, Мин Афанасьич, а? Жить-то как будем? — тихо спросила Ульяна Мосевна. — Неужто так никто об этом в мире и не думает?

И вдруг при этих словах Мина Афанасьича словно что-то осенило. По лицу его скользнула привычная добродушно-лукавая и вызывающая улыбка. Он заморгал и, когда вошла опять Федора, прибавил весело:

— Хочу вот богу сходить помолиться!

— Что же, дело доброе, — заметила Ульяна Мосевна поднимаясь. — Простите, бога для, что засиделась.

Федора стояла в дверях и сердито смотрела на мужа.

— Бог-то на нас, кажись, не взыскал бы, — проворчала она.

— Али и то правда? — подхватил Мин Афанасьич. — До бога ли? — спросил он и засмеялся каким-то дребезжащим смехом, в котором сказалось все: и обманутые надежды, и ирония, и вера — опять вера, потому что звучала в нем мягкая, сердечная веселость.

Когда возвращалась Ульяна Мосевна домой, для нее уже не было сомнения, что Мин Афанасьич уйдет из Дергачей, исчезнет внезапно... уйдет так же, как он некогда уходил не один раз и раньше.

И Ульяне Мосевне почему-то вдруг стало легче, веселее... Она истово перекрестилась три раза.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

НА СМЕНУ

Глава первая

ЕФИМЫ

I

Усадьба Петра Вонифатьича Волка-младшего, купленная у разорившегося помещика два года назад, лежала в пяти верстах от Дергачей и в полуверсте от ближайшей деревеньки, отделенной от нее неглубоким оврагом. Усадьба не отличалась ни особою красотой местоположения, ни особыми какими-либо хозяйственными удобствами: голое, плоское место, невдалеке от трактовой дороги, кое-где покрытое одиноко торчащими жидкими кустами, отсутствие реки и озер, за исключением мелкого ручейка, бежавшего в овраге и пересыхавшего по летам, чужой лес, видневшийся лишь на горизонте, каменистая пашня и кое-где кочковатый, скудный луг,—все это глядело куда не весело. Повидимому, как прежний, так и новый владелец, приобретая эту усадьбу, руководились какими-то совсем особыми соображениями, в которых красота местности сельскохозяйственные удобства играли второстепенную роль. Основатель усадьбы был один из тех «случайных» помещиков, который, подвизаясь всю свою молодость около биллиардов, вдруг получил по отдаленной линии, по разделу, соседнюю деревеньку. Облюбованный столь неожиданною прихотью фортуны, новый помещик был несказанно рад, что вдруг кто-то бросил в его власть пятьдесят человеческих душ, которые почему-то теперь обязаны будут для

него «и коров доить, и масло пахтать, и на базар возить», и даже украшать пейзаж, а он попрежнему будет играть на биллиарде. В новом же владельце, заместившем прежнего «случайного» помещика, и приобревшем его жиденькое именьице, прежде всего сказалась та лихорадочная торопливость, с которою человек, только что повышенный в чине, спешит забраться в новый мундир, торопливо рассчитывает свои скудные средства, мучительно придумывает всевозможные комбинации, чтобы вытянуть их до пределов «нового положения», торопит портного и ребячески радуется в первый момент, когда, наконец, мундир готов, хотя того и гляди, что разлезется по всем швам. Хотя подобная ребяческая торопливость, и притом в таком деле, как деревенское хозяйство, может показаться неправдоподобной по отношению к новому владельцу, как известно, человеку, выросшему в диаметрально противоположных условиях тем, в каких воспитался его предместник, тем не менее это справедливо. Мы все слишком привыкли считать русского мужика узким, сухим практиком; между тем как практицизм его довольно низкой пробы часто в самых практических натурах является больше фикцией и самообольщением, чем настоящим «делом», и нередко весь вылетает в трубу от довольно легкомысленных «промашек». Как ни глубока разница между первым владельцем этой усадьбочки и его заместителем, но между ними, несомненно, существует нечто органически общее и даже в больших размерах, чем это допускается обыкновенно. Тем не менее новый владелец тотчас же заявил свой «вкус». Покоряясь каким-то темным традиционным влияниям, он прежде всего длинный низкий барский дом, с своеобразными удобствами тотчас же поставил ребром, и вместо одноэтажного прежнего здания, пропадавшего в укромной тени и глуши сада, получился высокий, весело глядевший на дорогу через сад двухэтажный флигель, как фонарь, усеянный маленькими, но частыми, с фигурными украшениями, окнами. Вообще великорусский мужик не любит глуши и полутьмы. Густой, запущенный сад с аллеями, в которых так любил изнывать в маниловской истоме наш помещик, Петр тотчас же вырубил, и хотя половину дерев употребил на амбары и сараи, однако и в этом случае руководствовался не столько практи-

ческими соображениями, сколько опять тем же своеобразным «вкусом»: так, ту часть сада, которая выдвигалась сбоку, ближе к трактовой дороге, он не тронул, он только разредил ее и устроил беседку так, чтобы с нее непременно был виден «тракт». С тою же, вероятно, целью, и балконы, прежде тянувшиеся вдоль дома внизу, он вынес на верхний этаж и приделал их сбоку. Особую практическую сметливость против прежнего владельца Петр выказал разве в одном: он обнес весь двор со всеми службами крепким тесовым забором, а не жиденькими, хотя и красивыми изгородями и балясами барского двора. Доступ за этот забор мог быть только через массивные ворота, всегда накрепко запиравшиеся. Но во всем этом сказывается уже «дух времени»... Ведь и то, что мы разумеем под «практичностью» русского мужика, до сего времени была больше робость, неуверенность, «семь раз примерь — и все-таки промахнись», чем истая практичность, прямолинейная, жестокая, без малейших колебаний и сомнений, чувствующая свою «правоту». Может быть, когда-нибудь «мужик-практик» и выработает для себя эту «правоту», а пока...

В то время как новый владелец жиденькой барской усадьбы, почему-то прозванной Ключи, праздновал так неудачно свой первый приезд в родную деревню, — два мальчугана, восьми и семи лет, один в старом-престаром дырявом полушубке, напоминавшем больше истерзанную и вытертую овчину, другой в широкой женской кацавейке, оба босиком и без шапок, сидели за полверсты от усадьбы, на самом «трахту». День был хотя и ведряный, но довольно прохладный. Однако ребятишек это обстоятельство мало беспокоило, так как уже два часа они безустали прыгали «через огонь», нагребя на самой середине дороги кучу земли и пыли и воткнув в вершину ее палку. Впрочем, от времени до времени они вдруг прекращали игру, заслышав вдали скрип колес, и начинали долго и пристально всматриваться вдоль дороги. Мальчуганы эти были те «кантонисты», которые некогда своим голосистым плачем вдруг оживили мирную тишь Волчьего поселка, когда староста дергачевский, Макридий Сафроныч, в одно прекрасное утро привел их вместе с матерью, солдаткой Сиклетеей, к Ульяне Мосевне и братьям-собственникам, прося их

«принять с мира тяготу». Тяготу мирскую приняли. И когда затем хитроумный дергачевский политик, Макридий, Сафроныч, увидал, как хорошо и солдаточка Сиклетея с детишками, и «неудобный» мужик Сатир, и смиренный Клоп устроились в Волчьем поселке, то искренно восклицал· «О, дуй вас горой! Что это у вас только за жизнь на выселке? Хоть бы денек пожил, кажись, тут бы и умер от удовольствия!» Умиленный идиллией Волчьего поселка, он даже мечтал, как он всех случайных обитателей его пережeнит и пересватает и даст начало новому «миру», в котором в свою очередь народится новый староста Макридий, обладающий в свою очередь необходимым уменьем «спускать с мира тяготу» и разрешать неразрешимые деревенские дилеммы... «Да мы,—говорил он, — весь выселок в законный брак сочетаем: первым делом, господи благослови, Ульянею с Сатиром... Вторым делом, благослови господи, Вонифатия к солдаточке Сиклетее приспособим!.. Так ли, Вонифатий Мосеич? А? Слышишь, что ли?»—спрашивал он тяжелого и меланхолического «большака» поселка. И пророчество Макридия относительно последних сбылось, хотя далеко не в форме старостиной идиллии.

Ключи тоже праздновали Покров, и тоже по-своему. В нижнем этаже нового дома вот уже с час как сидела за столом компания. Простой белый сосновый стол сплошь был уставлен деревенскими яствами: пироги, огурцы, картофель, яйца, самовар, водка, наливка... Вокруг стола сидели лица — красные, потные, пухлые, с маслеными умильными глазками, с теми широкими, расплывшимися улыбками, которые до того овладевают человеком в минуту довольства, что, при самом упорном желании согнать их с лица, они не покидают его даже во сне. Очевидно, все присутствовавшие тут находились в том высоком «градусе» физического и морального довольства, при котором «море по колено» и хоть трава не расти. И, видимо, вовсе не потому, чтобы эти люди слишком уже много выпили, а просто от душевной полноты опьянели. Это было слишком заметно и по лицу Вонифатия Мосеича, на котором витало одно безграничное блаженство, которое он тщетно силился сдержать плохо поддававшеюся ему степенностью и великатностью, и по лицам каких-то низеньких, маленьких ста-

ричков с растрепанными бородками, сплошь сиявших безграничным умилением, и по лицу солдаточки Сиклетеи, которая, склонив в какой-то невыразимо сладкой истоме голову на руку и вперив сладкие взоры в Вонифатия Мосеича, звонким, надрывающимся фальцетом тянула песню.

— Ах, боже мой! — вдруг вскрикивали старички. — Вонифатий Мосеич!.. Неужли ж нам нельзя?.. — спрашивали они, стуча в грудь кулаком. — Почему?.. Грех ли это, говорим?..

— Оставьте! — резонисто произносил Вонифатий Мосеич. — Дал нам господь праздник, и празднуй... Одно слово, в полноте...

— Верно! — вскрикивали старички. — Поцелуемся!.. Все господь... все он... все... Поцелуемся! — и старички тянулись к Вонифатию Мосеичу, и Вонифатий Мосеич смачно целовался с каждым из них.

— Эх, одно слово... — вдруг вскрикивала умиленная Сиклетея, нежно хлопая по плечу Вонифатия Мосеича, — одно слово... Почему нам грех?.. Ежели господь дал для человека праздничек...

— Верно, Сиклетеюшка! — перебивали старички. — Поцелуемся!.. Он ничего! — указывали они на Вонифатия, — мы от него не отымаем... Пускай в свое удовольствие!.. Почему грех?..

— Оставьте... Празднуй, одно слово! — замечал опять Вонифатий. — Сиклетеюшка, повеселее!

— «Ах вы, сени мои, сени!..» — взвизгнула Сиклетея и маленькие, низенькие с растрепанными бородками мужички пустились в плясовую, притопывая старыми разбитыми сапогами. Вонифатий Мосеич млел, помахивая руками. Сиклетея забирала все выше и выше; старички неистовее стучали о деревянный пол...

Странное было что-то в этом весельи: это не был дикий разгул бесшабашной бедности, пускающей ребром последнее достояние, чтобы забыться, под которым всегда звучит так много горечи, бессознательной мести чему-то; но не было оно и тем развратным гульбищем пресыщенных людей, под которым видится так много отвратительно искусственного, так мало сознательного захлебывания этим развратом. Что-то было здесь глупоребяческое, наивно-животное. Так странным кажется солидный человек, за минуту пред тем серьезно тянув-

ший лямку жизни и вдруг, в тихий летний вечер, бросившийся в теплые, мягкие волны реки: вот он повернулся на бок, на спину, на брюхо, бьет ногами и руками, обдает брызгами спину, фыркает, фонтаном выдувает из рта воду, ржет... Он весь тут, в воде, в этих теплых, мягких волнах, нежащих не только его тело, но и его душу, ибо он вместе с одеждой сбросил там, за берегом, весь жизненный груз, который сковывал, пригнетал, держал в границах и душу и тело. Странно, даже до неприятности, видеть в таком положении солидного человека, но тем не менее представляет ли он собой одно только это тело, животное, какого-то ржущего жеребца? Не видится ли за этим барахтающимся, трепещущим, млеющим в истоме физического наслаждения телом также трепещущая, ликующая, изнывающая в истоме душа, на мгновение освобожденная от всех пут греха, обязанностей, долга, от всех уз житейской сутолоки, в которых она билась и томилась?

В то время, когда Вонифатий Мосеич так беззаветно праздновал с своими гостями ниспосланный им господом «праздничек», тут же вместе с ними сидел человек, который в этом «праздничке» не видел никакого вкуса. Человек этот был тоже мужик, высокий, средних лет, солидный, плотный, костлявый, в больших сыромятных сапогах, в синей рубахе, с серьезно суровым и равнодушным лицом; он сидел у двери на лавке, глядел на пирующих, но на его лице не дрогнула ни одна жилка, как будто все, что совершалось пред ним, проходило мимо него, да и он сам как будто не тут сидел, а где-то совсем в другом месте. Его угощали водкой — он выпивал, но, кажется, совсем не ощущал ее вкуса; ему давали кусок пирога — он жевал его лениво, размеренно, неторопливо и тоже, повидимому, без всякого вкуса. Вообще все, что было кругом него, не имело для него вкуса; как будто не вокруг него была действительная, настоящая жизнь, а где-то там, далеко, о чем знал только он один. В то время когда окружающие его люди, попав в теплые, мягкие волны, барахтались, млели, ржали, фыркали, он в эти волны входил так же безвкусно, и безучастно, как входил в реку в жаркий полдень страды солидный мужик-хозяин. Раздевшись, он никогда не бросится азартно в волны, как парень, и не бросится вплавь, хотя и умеет плавать, а войдет в

воду мерным, осторожным шагом, пока не погрузится по грудь, истово перекрестится, зажмет руками уши и, три раза окунувшись, опять перекрестится, также солидно выйдет на берег, наденет наскоро порты и рубаху и торопливым шагом направится к своему «хозяйству».

Мужик этот был «работник» у Петра, с «дальней стороны», не из местных. Петр не сразу напал на это сосредоточенно-молчаливое, медлительно-равномерное существо, которым он оставался очень доволен. До него он немало переменил работников. Лишь только поселился он в новой усадьбе, как его осадила целая армия «своих» людей, которые галдя, добродушно махая руками, искренно или преднамеренно льстя ему, все предлагали себя или своих братьев и сыновей к нему в услужение, все говорили: «Да мы тебе по гроб жизни! Да уж сделай милость!.. Одно знай — свои! мы ведь не откуда — землячки будем!.. Верой-правдой — во́ как!.. Уважим! своего да не уважить!..» И все в таком роде. Петр в медовый месяц своего «нового положения» не был расположен слишком строго присматриваться к людям, и «свои люди» легко овладели им. Однако, как и следовало ожидать от Петра, их торжество было непродолжительно. Петр скоро заметил, что все эти «свои люди» распадались на две категории, одинаково для него несимпатичные. Одни слишком уже были похожи на тех шабров, троюродных и двоюродных братьев, которые почему-то еще в артели в Москве упорно считали себя призванными опекать «молодца», фамильярно, на основании «суседских» и «мирских» привычек, делать родительские наставления и прочее в таком же роде. Если такое рукосуйное отношение могло быть допустимо в артели, когда Петр был равновеликою с ними величиной, то оно становилось очень курьезно теперь, когда «шабры» превратились в «работников», а некогда «равновеликий» член артели — в «хозяина». Притом же, все они очень уж как-то скоро «по душе» сходились с Вонифатием Мосеичем и начинали так же беззаветно праздновать «сниспосланный ему богом праздничек», как и он сам. А потому часто по возвращении из отлучки Петр заставал свою усадьбу в таком состоянии, что почти вся соседняя деревня собиралась на двор смотреть, как весело празднуют новые владельцы, а эти «вла-

дельцы» вместе с работниками встречали его радушными улыбками, похлопывали по плечу, говорили какие-то умиленные речи... Нет; эта категория «своих людей» Петру очень скоро не приглянулась. Он стал менять работника за работником. Тогда пошла другая категория «своих людей»: они уже не заявляли претензий на равноправность, а тем более на опеку, так как были настолько внушительно вспудренны и взбиты жизнью, что потеряли всякую охоту считаться с нею. Но все они настолько оказались подловато-льстивыми, настолько «рабами лукавыми», что этого не мог не заметить и Петр. Не полюбилась ему и эта категория. Много переменил он людей этого рода, пока, наконец, слишком поспешно решил так или иначе отвязаться от «своих людей», по-видимому убедившись, что в деревне нет ничего хуже, как «свои люди».

Тогда-то подвернулся ему мужик «с дальней стороны»: это был Ефим. Он действительно забрел издалека, из губернии, которой южные уезды граничили с Белоруссией. Губерния эта всегда выдавалась скудостью почвы и бедностью своих обитателей... С тех пор как помнит себя Ефим, он знал в жизни одно: «искать работы». На это искание уходило две трети его жизни. Вместе с земляками искал он работы осенью, искал зимой, искал весной, и только два месяца, время страды, он оставался дома. Притом это искание работы для него вовсе не соединялось с тем внутренним чувством самосознания и довольства «мастера», с каким странствуют в России по отхожим промыслам разные великорусские плотники, каменщики, столяры, маляры и прочий деревенско-мастеровой люд. Несмотря на то, что Ефим готов был на всякую работу и исполнял ее честно и добросовестно, что он брался и землю копать, и воду возить, и камни бить, и дрова рубить, — эти работы не представляли для него никакого внутреннего содержания, кроме одного — платы. Вместе с земляками, нанявшись на какую-нибудь работу на чужой стороне, он знал только один интерес: ежедневно считать по вечерам и даже ночам — харчи, часы, гривенники, пятиалтынные и двугривенные; для этой «своей стороны» он мерз в снегах, пачкался в грязи, мочился по пояс в воде на чужой стороне. И, удивительное дело, чем дальше в глубь времени уходило то блаженное состоя-

ние, когда Ефим с земляками мог удовлетворять «при земле» свои потребности собственными средствами, чем больше росли подати, чем сильнее истощалась и без того скудная земля, тем упорнее подвергал себя иску работы Ефим, тем беззаветнее на ней подвижничал. И все это для нее, для своей земли, для своей деревни, для своей семьи. То был какой-то фатальный долг, невидимо сковавший Ефима, ликвидировать который у него никогда не было мысли. Почему для этого скудного клочка земли, для этой ветхой избенки, для этой семьи пятерых «едоков», для этой соломенной замухрястой деревенской улицы, с которой при том же приходилось быть ему в общей сложности очень короткое время, почему требовалось так много упорных жертв для поддержания всей этой скудной обстановки, для этих коротких часов и дней, в которые он мог непосредственно принимать в ней участие? Ни Ефим, ни земляки его об этом не думали. А между тем эту обстановку всюду носили они с собой в душе, она была для них целью целой жизни, она придавала смысл их существованию, она наложила на них целое ярмо обязанностей, долгов, без нее они не находили вкуса в чужой стороне. Весь мир для них распался на две половины: на «свою» и «чужую» сторону, на «своих» и «чужих» людей, на них, ищущих работы, и на тех которые дают работу. Чем больше скудела их «обстановка» и больше требовала себе жертв, тем это положение становилось для них незыблемее и, наконец, превратилось в принцип, осмысливавший для них всю жизнь: он охватил весь строй их понятий, экономических, юридических, нравственных. Ефим говорил: «Люди друг другом питаются, так бог положил: друг от друга кормятся. Ежели человек другому работу дает, дает кормиться, — ему все простится! И пуще нет греха, ежели человек все в себя берет, что собака на сене: ни сама не жрет, ни другому не дает».

Вот почему Ефим не находил ни вкуса, ни смысла в происходившем пред ним празднестве; по своему душевному складу не находил вкуса потому, что для него имело вкус только то, что непосредственно соприкасалось с той «обстановкой», которая была далеко отсюда, там, в «своей стороне», в своей деревне; с точки зрения своего принципа он не находил смысла в этом празднестве, так как видел, что эти люди ликовали и жили

«зря», что они не могли и не умели дать другим возможности «кормиться».

Как часто бывает во всех вообще пирушках, где ликующие люди неожиданно от буйного веселья переходят к спорам, бог знает по какому поводу начинающимся, — так было и здесь.

За минуту пред тем беззаветно плясавшие маленькие, седенькие старички теперь азартно говорили Вонифатию Мосеичу, перебивая один другого:

— Нет, ты, брат, этого не скажи... Это не модель!.. Ты говори по чести: мы, брат, люди свои, понимаем и знаем: что и отчего... Ты уж лучше напрямки кайся, а в худом деле правоты не ищи!..

— Все вы баловни, — говорил обиженно Вонифатий Мосеич. — Вас приголубь, помани, а вы уж и к делу хозяйственному лезете... Вас и угостить-то хорошему человеку нельзя...

— Отчего? — подхватывали старички. — Разве мы что делаем?.. Друг!.. да сделай милость, празднуй в свое удовольствие!.. Мы разве про то... Мы тебя не осуждаем!.. Господи спаси!.. Вот хоть бы теперь ты с Сиклетеей живешь... Да господь с тобой: празднуй!.. Конечно, ты мужик еще в теле... Жена у тебя умерла давно... Ну, и при достатке теперь — тело-то погулять просится... Разве мы что! А только что говорим: веди линию прямо... Праздную, мол, и шабаш!.. А ты ведь грешишь, а норовишь на правду повернуть... Ведь мы «свои» — говори прямо... Тоже ведь мы не знаем, что ли, откуда вам свалилось?.. Ведь это не иголка!.. Так-то, друг... Ведь уж этого не скроешь, как вы семью-то зорили... А ты — эвона!.. Правее, слышь, вас не сыщешь! Вместо, чтобы... а ты эвона куда!

— Баловни, говорю, вы! Балованный народ!—кричал Вонифатий Мосеич. — Вот вас метлой отсюда погнать, коли вы честно, благородно обходиться не умеете... Я вас честь-честью, а вы... Вы хоть бы постыдились чужого человека, — показал он на Ефима. — Вот он, чужой человек, с дальней стороны, а он понимает... Да!.. Он вот умеет оценить нашу правоту... Спроси-ка его: мы народу кормиться даем, мы к тому ведем, чтобы все как лучше... Мы не то, что вы, или вон в старину: набьет мужик кубышку правдами-неправдами, да в подполице и держит... Кому от того легость или питание?..

А мы богатство произращаем, мы всякой малой вещи цену даем... По-твоему, вот, скажем, щепка никуда негодна, а мы ей цену дадим... Около нее вот, щепки-то, глядишь, народу сколько прокормится... Мы народу хлеб даем!. Вот вы спросите-ка его, — тыкал обрубком своего пальца в Ефима красный весь от жары и волнения Вонифатий Мосеич.

— Да господь с тобой! Мы, что ж, хорошему делу мы всегда рады! — кричали старички. — Ты только худому делу правоты не ищи... Мы вот про что!.. А то... эвона!..

— Нет, вот вы его спросите: правильно ли мы говорили? — убеждал Вонифатий Мосеич, продолжая тыкать в невозмутимого Ефима. — Ну, Ефимушка, скажи: правы мы али нет?

— Что ж, знамо, так бог положил: людям друг от дружки кормиться... То и закон, коли сам живешь и другому жить даешь! — протянул лениво и безучастно Ефим.

Но в душе он вовсе не думал об этих «чужих людях». Что ему эти «чужие»! Они хороши или дурны для него по отношению к той, «своей стороне».

— Слышите!.. Что я говорил? а? Вот как бог-то располагает! — подхватил Вонифатий Мосеич торжествуя. — Вот он и чужой человек, а благодарность чувствует.

Но как равнодушно невозмутим ни был Ефим, однако это ликование Вонифатия пробрало и его: он как-то весь осклабился и хитро-насмешливо прибавил:

— Так ведь правда-то эта не твоя, Вонифатий Мосеич, а все Петра же Вонифатьича.

— Вот, вот! — подхватили, вскакивая, маленькие, седенькие старички, махая руками. — За свою правду пусть сам Петр отвечает, а ты за свою отвечай... Вот, вот — это так!.. Послал тебе господь праздничек, ты его, создателя, и возблагодари, смиренно и сокрушенно... Сколь побалуешься, столь и покаешься... Вот как, друг!.. А то... эвона куда забрел!..

— Да кто Петр-то?.. Мой он али нет? — кричал снова обиженный Вонифатий, — моя кровь али чужая?..

— Ну, полно, оставь!.. Ну, поцелуемся! — утешали его старички и лезли на него взлохматившимися бородами.

— Лучше, лучше, милые... Ну, что ж, коли грех — мы покаемся: господи, прости наше великое согрешение!.. Ну, грех, что ли, Ефимушка? — причитала раскрасневшаяся Сиклетея, умильно обводя всех пьяно-смеющимися глазами. — Коли грех, Ефимушка, мы покаемся... Ежели нам за всю-то жизнь праздничек выйдет единый, так уж мы за этот часок всю жизнь, всю жизнь... Пойми!.. Вот как мы! За единый-то часок!..

Ах, вейся ты, вейся, капустка!
Вейся ты, вейся, родная!—

вдруг вскрикнула она, вскочив, и, помахивая платком, пошла вдоль горницы, подхваченная седенькими старичками.

II

Своеобразное волнение, взбудораживши Дергачи, не только испортило их праздничное настроение, но, как увидим ниже, согласно предсказанию старика Ермила из Груздей, хватило далеко за границы дергачевского мира и некоторым образом коснулось даже нашей маленькой кучки с седенькими старичками, так беззаветно купавшимися в мягких волнах ниспосланного им господом праздничка. Ликование старичков с Вонифатием Мосеичем и Сиклетеей далеко не достигло еще наивысшего градуса, когда в дверь, как перепуганные куры, в смятении, толкая и перебивая друг друга, влетели сиклетеины ребятишки с разлетавшимися, как крылья, полами.

— Маменька! Дяденька! Едут!.. Едут! — кричали они с таким серьезным волнением, как будто вполне понимали всю экстренность настоящей минуты.

Так как пировавшие не могли, конечно, предусмотреть волнения, испортившего праздник в Дергачах, и не могли ожидать столь раннего возвращения Петра (Петр с Графом, по деревенскому обычаю, думали даже ночевать на празднике), это известие настолько поразило их, что мальчишки, перебивая один другого, должны были всячески уверять их в несомненной справедливости принесенной вести.

— Едут!.. Петр Вонифатьич!.. Из-за ям повернули!.. Мерин в яблоках! — кричал один. — Графский мерин!..

Барская дуга... точена! — кричал другой. — На городском ходу!

Сомнений больше не могло быть: на лицах седеньких старичков, Сиклетеи и даже самого Вонифатия Мосеича вдруг появилось такое глупо-ребяческое, конфузливое выражение, что сами ребятишки, несмотря на всю экстренность минуты, как-то снисходительно-покровительственно улыбались, глядя на них.

Когда в открытые окна ясно послышался несшийся издалека топот лошадиных копыт, Сиклетея моментально бросилась убирать со стола все видимые признаки празднества. Вонифатий Мосеич, покрякивая, солидно поднялся, подбадривая себя, а старички сначала закашляли, заперхали, как овцы, и затем вдруг, словно по уговору, стремительно бросились в дверь и исчезли со всею своею беззаветностью и даже вместе с улыбками, засевшими в их широких бородах. Такое легкомысленное волнение было, впрочем, малоосновательно, по крайней мере в данный момент.

Петр и Граф большую часть дороги ехали молча, изредка перекидываясь незначительными фразами. Когда показалась вдали усадьба Петра, Граф спросил его:

— Устроился?

— Совсем с постройкой, — отвечал Петр.

— А что отец?

Петра при этом вопросе покоробило; он повернулся на месте, отвернув лицо в бок дороги, и молчал.

— Празднует? — опять спросил Граф.

— Без передыху, — сказал Петр, не поворачивая головы и безучастно глядя на мелькавшие пред глазами близ дороги кусты, ельник, березник, — ровно бык отгуливается в степи... Как ни выглянешь во двор, а он с Сиклетеей либо в сарай плывет, либо из сарая... Смотреть не хочется!

Граф весело засмеялся беззвучным смехом, как-то животом.

— Да ты бы хоть повенчал их!.. Право!.. А мы на свадьбу приехали бы... Я вот читал книжку «Ледяной дом». Занятная... Так вот там такая свадьба расписана... Право, повенчал бы их! — советовал, шутя, Граф и долго продолжал еще смеяться брюшным смехом при воспоминании свадьбы в «Ледяном доме».

Но Петру, видимо, не нравился этот разговор, и он сердито молчал.

— А что, с работником устроился? — спросил опять Граф.

— Устроился, кажись.

— Каков?

— Ничего, мужик основательный, — отрекомендовал Петр Ефима, но тотчас же как будто спохватился. — А не знаю... Им в душу не влезешь... Одно по крайности хорошо: не из здешних, с дальней стороны...

— Для спокою это лучше всего, — заметил Граф, останавливая лошадь посредине дороги, от которой шел поворот к усадьбе Петра. Петр пригласил было Графа заехать, но Граф отказался, отговорившись «скукой», и, конечно, не преминул при этом зевнуть.

— В воскресенье, смотри, жду! — сказал Граф Петру, улыбнувшись двусмысленно.

Петр в ответ пожал ему только руку, поправил на голове картуз и деловою походкой пошел к своему дому. В калитке встретил его «основательный» Ефим, молча пропустил мимо себя, затем зачем-то запер за ним ворота и опять неторопливым и основательным шагом двинулся к дому. Проходя мимо окон нижнего этажа, Петр, по привычке, проницательно, хотя и мимоходом, заглянул в окно, но заходить туда и не думал, а с обычным серьезно-сухим выражением на лице вошел на крыльцо и, скрипя новыми, свежими, как будто только что выпиленными досками лестницы, поднялся к *себе* наверх, такой же новый, свежий, весь пропитанный влажным, душистым ароматом только что выстроенных сосновых стен, потолков, полов. Кругом еще виднелось полное отсутствие хозяйственности, уютности: все смотрело голо, сиротливо, «холосто», как говорят мужики, и действительно больше напоминало те «холостые стройки», амбары, бараки, конторы и т. п., которые строятся не для комфорта и семейного очага. Да и Петр на всю свою обстановку смотрел равнодушно, она не вызывала в нем ничего похожего на то чувство теплоты, предвкушения физического наслаждения, которое охватывает человека, возвращающегося в свой угол. Развесив с обычною обстоятельностью в передней свою праздничную одежду и оставшись в жилетке и рубахе навыпуск, он сел к столу и, смотря в окно, стал

барабанить пальцами по подоконнику, как будто кого-то поджидая. Наконец взобрался по лестнице Ефим.

— Самовар бы, — сказал Петр, не оборачиваясь от окна.

Ефим взял подмышку, небольшой собственный самовар Петра, в форме вазы, купленный им еще в Москве, и спустился вниз.

Если бы мы заглянули в душу Петра в данный период его жизни, мы прежде всего нашли бы в нем нечто похожее на душевное состояние человека, вдруг, с неимоверной энергией поднявшегося на высокую лестницу, в чаянии найти там дверь, ведущую к чему-то совершенно ясному, определенному, и неожиданно увидавшего пред собою несколько совершенно одинаковых, но замкнутых дверей. То был в жизни Петра минутный интервал, но интервал критический.

Такие интервалы в жизни детей народа вообще редки, а если и бывают, то под напором их непосредственности проживаются столь неуловимо быстро, что представляют собою какие-то salto mortale [1], проследить психический процесс которых так же трудно, как капризы детей. Вчерашняя блудница сегодня ходит по «божьим местам», вериги налагает на себя, «изможденне», искус; нынешняя подвижница назавтра становится блудницей; нынешний «черезвый» и крепкой воли человек завтра запивает мертвую, и многое в таком роде. Очевидно, что все это натуры крупного калибра, натуры «зарвавшиеся», которые, так же как и Петр, стремительно вздымались по лестнице, куда-то вверх, и стремительно отрывались от земли, от устойной почвы. Но, поднявшись, они, как непосредственные натуры, стукались лбами в запертые двери и, очнувшись от этого удара, внезапно *приходили в себя,* так как двери от удара не отворились, а между ними и «своею» устойною почвой, от которой они оторвались, уже образовалась захватывающая дух высота. У них кружилась голова — и они стремглав летели вниз, ломая себе члены. Не то бывает с натурами другого разбора, с натурами «массы». Если последние и достигают этой высоты, то вовсе не благодаря стремительной энергии, а исподволь карабкаясь друг на друга, цепляясь, переползая один через другого,

[1] Головоломный прыжок.

как те волки, которые, влезая один на другого, думают достать сидевшего на дереве портного. Они не прерывают связи с лежащею пред ними почвой и поднимаются вверх так сказать общим напором. Тут уж нет интервалов; добравшись на верх лестницы и не отворив дверей, они преспокойно располагаются с полным комфортом отдыхать на головах и плечах сидящих под ними товарищей, вполне довольные своею судьбой, и только боятся, как бы какой-нибудь остроумный портной не проделал с самым нижним из поддерживающих их товарищей того же, что было проделано в сказке над куцым волком.

Петр по существу принадлежал к натурам первого разбора. Конечно, голова у него не закружилась, и он не позволил бы себе броситься вниз в каком-то непостижимом экстазе, как бросались подвижники и подвижницы, блудодеи и блудницы, которым он хотя и был по натуре сродни, но вряд ли бы когда-либо сам признался в этом родстве. Притом сомнения и недоумения его были далеко не такого свойства, как понимают их в общепринятом смысле. С ним совершалось нечто удивительное, в чем он опять-таки никак не мог бы сознаться. Когда прошел первый медовый месяц его на новом положении (а он миновал у него быстро), когда, кажется, окончательно осуществилось его желание возможно дальше убежать, отрешиться, отмежеваться от всех этих «своих людей», от этих троюродных и двоюродных дядьев и шабров, когда прошел период мелочной суголки с банковыми операциями, с тяжбами и адвокатами, с устройством земельной аренды и перестройкой усадьбы, он вдруг ощутил вокруг себя и даже внутри души какую-то пустоту. Все, для чего он так много и энергично хлопотал, в правоте и значении чего он не сомневался (он не сомневался и теперь ни на секунду), вдруг стало безвкусно. Стало безвкусно без этих троюродных и двоюродных шабров и дядьев, без этих «своих людей». Лично в этом он никогда бы не сознался, и явись ему такая мысль, он назвал бы ее дикой. И тем не менее вот уже полгода, с тех пор как лихорадочная деятельность по приобретению и устройству «нового положения» кончилась, все, что он ни делал, было прежде всего постоянными попытками сблизиться с этими «своими людьми». Казалось, он достиг очень

многого, достиг такого положения, захлебываться которым от удовольствия хватало у других на целые поколения, и между тем у него вдруг оно оказалось очень скоро безвкусным. Банковые операции удались как нельзя лучше, земля пристроена была соседним хозяйственным мужичкам (Петр не отдал ее в аренду всему миру из соседней деревеньки, а отдал товариществу из хороших, хозяйных людей) очень выгодно и прочно; репутацию он создал для своих лет очень почтенную, если принять во внимание, что в его года такие мужички еще в бабки на улице играют. Только, казалось бы, теперь-то расправить крылья и показать во всей шири свою умственность, и вдруг для этого не оказалось чего-то очень существенного. В то время как какой-нибудь плутоватый кулачишка или кулак Маркушка, грязный, пьяный, оплывший жиром, краснорожий, вполне наслаждался своим положением, окруженный целою оравой чад и домочадцев, не разбирая средств, клавший все выше и выше свой муравейник, Петр с каждым часом все больше и больше терял вкус к новому положению. Он, конечно, не завидовал Маркушке, обворовывавшему всю волость при пособии всякого мелкого и крупного начальства, и очень неодобрительно отзывался о нем, но тем не менее смутно чувствовал, что вокруг Маркушки были «свои люди», своя «публика» и что, не будь этих своих людей, Маркушка далеко не достиг бы такого самодовольства.

Всякому необходимы эти «свои люди», своя публика, которая бы окружала его общим, дружным, хотя бы безмолвным сочувствием. А тем более нуждается в этом сын народа, не успевший выработать привычку к книге, заменяющей для грамотного человека непосредственное соучастие окружающих, лишенный еще возможности находить вкус в насаждении культуры. Петр очень скоро почувствовал, что ему недостает этих «своих людей», своей публики, которая оживила бы все вокруг него, признала бы его своим руководителем и, дружно сопутствуя ему, утвердила бы внутренюю правоту его существования, укрепила бы ее. Нельзя же Петру считать этими «своими людьми» Вонифатия Мосеича с Сиклетеей! Были у Петра кое-какие приятели, вроде Митродора Графа, но это слишком своеобразные люди, чтобы могли составить его «публику», притом

же это были «одиночки», между тем как ему нужны были «люди массы». Вот почему, когда кончилось лихорадочное взбирание на высоту, и в жизни Петра наступил интервал, его вдруг снова потянуло к своим, к Ульяне Мосевне, ко всей той гармонии, центром которой была последняя. Несмотря на неудачу первой попытки к примирению, сделанной им в медовый месяц под наплывом чисто романтических чувств, он теперь снова решился на ту же попытку, хотя уже не пошел к ним сам, а подослал отца. Когда же и эта попытка не увенчалась успехом, он окончательно обозвал своих дядьев юродивыми и начал искать свою публику среди других; по указаниям опытного, умного, но ленивого Митродора Графа он нашел ее в «хозяйственном мужике».

Конечно, Петр лично все эти неопределенные попытки и искания объяснял одною практическою стороной; даже визит в Дергачи к Пиманам и знакомство с Аннушкой представлялись ему не чем иным, как «делом», простым практическим расчетом, но в сущности это было искание почвы в массе, поиски за признанием его, Петра, правоты, без чего сын народа жить не может.

Несмотря на не совсем удачный сегодняшний визит в Дергачи, он тем не менее чувствовал в душе удовлетворенность: он открыл «людей массы», с которыми связь его несомненна.

Но еще прежде хозяйственного мужика порадовала его находка Ефима.

Ефим был столь же необходимое дополнение к Петру, как Захар к Обломову. И ни с кем еще Петр не спускался до такой непринужденности беседы, до такой фамильярности и даже искренности, как с Ефимом, хотя, впрочем по своей крайней недоверчивости, не смотрел сквозь пальцы и на него. Пока ставился самовар, Петр все время мечтал о слиянии с «хозяйственным мужиком»; больше всего ему нравились дети Пимана — Андрон и Сергей; нравилась Катерина Петровна, так много напоминавшая тетку и в то же время более сподручная с практической точки зрения; нравилась Аннушка, хотя она и вела с ним себя очень странно... Нравились все Пиманы, и сам старик, а всего больше приглянулась эта стойкая, трезвая, упорная трудовая гармония... И в это время ему представилась его собственная усадьба, его отец, Сиклетея с ребятиш-

ками, хозяйство, которое было заправлено на хорошую ногу, но все как-то больше смахивавшее на трактир, чем на оживленную, дружную, единодушную гармонию «своих людей». Он взглянул в окно: один за другой, покачиваясь, плыли по стенке под окнами, по направлению к сараю, Вонифатий и Сиклетея, оба румяные, улыбающиеся.

Петр сурово нахмурился и отвернулся от окна. В это время вошел, равномерно шагая, Ефим и стал ставить на стол перед Петром поднос и чашки. С тех пор как в доме обосновался Ефим, Петр уже не пускал к себе наверх Сиклетеи.

— Что *наши*-то, упраздновались? — спросил Петр, кивая головой на двор.

— Попраздновали, — отвечал Ефим ровным, размеренным и несколько певучим тоном, растягивая, по местному выговору, последний слог, — что же им больше делать? Они народ, от греха вольный... Что же им больше делать, что не праздновать? У них заповеди этой самой нету-у... Ежели бы какая заповедь была, они бы знали, что, и окромя их, на свете живут люди-и... А они от заповедей народ вольный-ый... Ну, и празднуют! — говорил Ефим, ерзая около стола своими колоссальными сыромятными сапогами.

Прервав свои рассуждения на полуслове, он спустился опять вниз к самовару, раздул его, внес наверх и продолжал в том же тоне:

— Ежели бы какая у них заповедь была, они бы знали, что, и окромя их, на свете люди живу-ут... А они от заповеди народ вольный... А ты вот как живи (и Ефим опять так дунул в самовар, что покрыл целым слоем пепла и стол, и Петра, и половину пола), ты вот как живи, ежели бог тебе от работы отдых указал: ты народу жить дай, хлеб народу дай... Народу хлеб нужен!.. Всем хлеб нужен, питание... Ежели ты дашь народу заработать хоть маленький ломтик, он тебя вспомнит, он тебя почтит... Ты такую заповедь держи: есть у тебя силы — работу изыскивай, сыт ли, не сыт ли; ежели сам сыт — все работай, деньгу приращай... Ты за денежкой-то, ровно за младенцем, ходи: дорога она, деньга-то... Она уход любит: коли ты ее оберегаешь, она, что ребенок, расте-ет. Недаром сказано: копеечка рубль бережет.

Ефим говорил так основательно, плавно, мягко, словно убаюкивая, что Петру даже жалко было его прерывать: с его лица все больше и больше сходили тени суровости. Не то, чтобы мысли Ефима были ему незнакомы (мало ли всякого голодного народа, толпившегося около него, говорило ему не только то же, но еще с заявлением такого самопожертвования, что, казалось, только бери их да с кашей ешь), но никогда, ни от кого он не слыхал такого ясного, плавного развития их, возведения их в устойный принцип, как от этого пришельца «с дальней стороны».

— Садись, попьем, — пригласил Петр, предлагая ему стакан, — снисхождение, которым дарил Петр с разбором. В последнее время он редко пил чай вместе даже с отцом.

Ефим подвинул к себе стакан с обычною своею медлительностью, без принуждения, даже не особенно принимая к сердцу делаемую ему честь.

— Беречь деньги — одно, а обхождение с деньгой иметь — друго-ое, — опять плавно, как ручей, потекла речь Ефима. — Что беречь деньгу, что прогулять деньги — добродетель ровная, ума тут надо немнога-а... А коли тебя господь послал деньгой, ты за ней, ровно за яблонькой, ходи: потому через денежку вокруг тебя народ питается; денежка растет — хлеб народу растет. А то вот, пожалуй, зашей в мошну, да и сиди на ней, али возьми да по ветру без пути рассыпь... Одна цена!.. В таком человеке добродетели не-ет...

В таком роде долго и плавно развивал свои положения Ефим, бесконечно варьируя их; долго слушал его Петр, выпивая чашку за чашкой, и вот в его глазах этот Ефим все рос и рос, превращаясь в целую массу Ефимов, в целые полчища, впереди которых стоял он, Петр, их руководитель и благодетель, — он, умственный мужик, умеющий придать всему ценность и значение, он, носитель «новой» деревенской правды...

Самовар давно был выпит досуха; короткий осенний день давно уже смеркся; за перегородкой вздыхал Ефим, собираясь спать, а в тишине сумерек ходил, поскрипывая половицами, в валеных сапогах, Петр, мечтая о том, как скоро вокруг него все закипит жизнью, все оживят хозяйственные Пиманы и основательные Ефимы... И первым звеном, которое обязыва-

лось связать их и лечь в основу гармонии, должна была сделаться пиманова Аннушка. Чем больше темнело в воздухе, тем образ этой грубоватой девушки завладевал им неотступнее; а в конце концов заговорила и молодая кровь... Когда, потушив лампу, он приготовился лечь в постель, для него уже было решено, что он женится на Аннушке... А как сама Аннушка?

Но у Петра не явилось даже сомнения, чтобы его, умственного мужика, могли предпочесть кому-нибудь другому: так полон он был сознания своей силы, и так полна была окружающая деревенская атмосфера тяготением к этой силе.

Все же Петр с некоторым волнением ждал назначенного Графом воскресенья.

Глава вторая

НОВЫЙ СОЮЗ

I

Уличная вспышка, испортившая праздник в Дергачах, потухла так же неожиданно и беспричинно, как, повидимому, быстро и беспричинно она явилась: к наступлению ранней осенней ночи, как мы видели, на дергачевской улице было так же все мирно, как в обычные дни, и эта вспышка, казалось, оставила столь же мало следов, как обыкновенные драки подвыпивших на празднике мужиков. Но это был мир только видимый: вспышка потухла, но вызванное ею волнение, скрывшись с улицы, тем напряженнее сказалось за стенами и крышами дергачевских изб. В доброй половине их семейный мир был нарушен; заговорили долго скрытые и накопившиеся неудовольствия; невестки шипели на свекровей и золовок, зятья на тестей, дети на отцов. Заговорило все униженное и оскорбленное, и все хозяйственное, экономически сильное вдруг сказалось грубым, жестоким деспотизмом, силясь потушить этот ропот, нарушавший хозяйственный ход. Прошло уже три дня со времени праздника, а во многих хозяйственных семьях все еще был целый ад, устроенный хозяйствен-

ным мужиком... Нечто смахивавшее на этот ад устроилось и в семье «счастливого» Пимана. Благодаря, с одной стороны, скоро наступившей осенней ночи, а с другой — действию водки, которая после сильного возбуждения моментально свалила с ног и расшибла «бунтовщиков», один из этих «бунтовщиков», Алешка, зять Пимана, скоро свалился и спал непробудным сном в избе своего приятеля Лукашки. Но дети Пимана, Андрон и Сергей, резонно предполагали, что этим дело не кончится и назавтра Алешка поднимет опять «дебош» вместе с другими «голяками», которых опять постарается натравить Борис. Они знали, что это было только временное затишье, и, как предусмотрительные хозяйственные люди, тотчас же постарались заблаговременно принять меры. Когда стемнело, Андрон и Сергей, не сказав отцу и матери, сбегали к старосте Макридию Сафронычу и пригласили его к себе «попраздновать».

Макридий Сафроныч относительно водки еще был довольно крепок духом; но что касается наливок и «красненького», которое водилось, конечно, только у истинно-хозяйственных мужиков, он часто пасовал, в особенности, когда, измотавшись на неблагоприятном деле примирения старой правды с новой, махнул на ту и другую рукой. Андрон и Сергей, сидя со старостой за самоваром, все больше и больше входили в хозяйственный азарт и, волнуясь, доказывали старосте, как невозможно жить хозяйственному мужику при подобных порядках, что хорошему человеку в деревне житья нет и пр. Макридий Сафроныч, конечно, также искренно волновался, хотя знал, что все это *так,* разговор пока, а что у Пимановых какая-нибудь штука еще припрятана к концу. И действительно, только после целого часа балаканья, несмотря на то, что каждый из собеседников знал, что цена этому балаканью — грош, добрались они, наконец, до самой сути, начав пытать старосту насчет того, «имеет ли какие такие права всякий, можно сказать, необстоятельный человек озорством своим зорить хороших людей и хозяйство разбивать, на которое, может, кровь и пот их излиты». Макридий Сафроныч, конечно, высказался против таких прав «необстоятельных» людей. Тогда Андрон и Сергей уже прямо стали доказывать, что «таких людишек прямо на

мороз надо гнать, чтоб они почувствовали, каково оно, хозяйство-то, достается, а не то что по ихнему ндраву да нахрапу выдел им выдавать да все хозяйство беспокоить».

— Да и в самом деле, — говорили, волнуясь все больше и больше, Андрон и Сергей, — ты, можно сказать, жизни своей не жалел, пот-кровь проливал, теперича с эскольких годов к хозяйству прилежал, а тут на́ ты поди, вздумают людишки бунтовать, несообразное в голову заберут, им и подай все, чего просят? Да за что мы хозяйство-то будем рушить? Ведь хозяйство-то потоль и сильно, коли огулом идет, кругом... Ты возьми-ка из хозяйства-то малую вещь, а оно тебе по всему дому трещину даст. Да с чего ж это? а? С чего ж это мы хозяйству ущерб будем делать?.. Не нравится — уходи, а касаться хозяйства не моги... Уходи, коли не нравится, гуляй — сделай милость!.. Ну, только чтобы ежели требовать... с чего так?

В таком роде волновались братья, угощая старосту, который выпивал, утирал солидно бороду и старался только возможно увлекательнее повторять фразы своих собеседников. Впрочем, кроме них троих, в собеседовании никто бо́льше не принимал участия: Катерина Петровна была сердита и упорно-молчаливо мыла посуду и месила тесто; Пиман сначала как-то нерешительно поддакивал сыновьям, потом стал просто вздыхать и, наконец, скрылся на печку. Наутро действительно Алешка «забунтовал» опять: в избу Пимана он явился с какими-то «добросовестными», в числе которых был его приятель Лукашка, требовал чего-то «своего»; Андрон и Сергей снова вошли в хозяйственный азарт, выставив своих «добросовестных»... Целых два часа шла неумолкаемая ругань; наконец братья стали выкидывать алешкины полушубки, сапоги, шапки, кушаки... каждая выбрасываемая вещь сопровождалась с той и другой стороны крупными пререканиями. Мирный двор Пимана превратился в настоящий кабак, около которого галдели, стояли, зевали посторонние люди. И так целый день, потому что Алешка, заполучив, например, сапоги, нес их сначала в кабак, выпивал с «своими добросовестными» и, выпивши, являлся снова с требованием выдачи «своего»... Опять начинались споры... Катерину Петровну выводил из себя весь этот кавар-

дак, нарушавший обычный ход хозяйства; она была зла на всех — и на сыновей, и на Алешку, и на дочь Пашу.

Впрочем, наибольшее количество огорчений во всей этой «компанейской войне» пало на долю доброй, мягкосердой, любящей и слезливой Паши: со слезами на глазах, вздыхая и причитая, целый день, не переставая, перебегала она от одного лагеря к другому, умоляя, миря: бежала за мужем в кабак, там от пьяного Алешки получив тукманку, бежала назад домой, а здесь пилили ее братья; рыдая, бросалась к матери, и раздраженная мать вскрикивала: «О, дуй вас горой всех, окаянных!.. Сама выбрала такое чадушко — никто не тянул!» К Пиману она уж не обращалась ни с мольбами, ни с укорами; сунулась было она один раз к нему, но он отчаянно замахал на нее руками, закричал не своим голосом, сердито и вместе отчаянно: «Ступайте прочь!.. Все прочь ступайте!.. Вон ступайте!.. Живите, как знаете!» Пиман, чем больше разгуливался ад в его семье, тем робел все больше и больше, тем чаще и неотвязчивее приходило в голову пророчество старика Ермила из Груздей: ему уж чуялось, что вот, того гляди, все его хозяйственное «счастие» разлетится прахом, что вот-вот не сегодня-завтра его постигнет неминучее разорение, пойдут суды, кляузы... Он робел, и чем больше робел, тем сердитее становился.

Аннушка тоже дулась. Она все эти дни не выходила из светелки. Закутавшись в нагольный полушубок, сидела она у окна и, недовольная, вслушивалась в долетавшие до нее через окно и дверь выкрики и брань родных. Когда, однажды, прибитая мужем Паша, не желая показываться с подбитым глазом, чтобы не вызвать пущих укоров на голову мужа и на свою, вбежала к Аннушке, как к единственному прибежищу, и залилась слезами, Аннушка, негодуя, сказала:

— Вольно было всякому встречному на шею вешаться!.. «Добрый да тихий!» Вот тебе и доброта... Сраму какого напустили. Господи! На улице стыдно показаться... Коли у самих сраму нет, так хоть бы других пожалели... Не одни живете! — выговорила, вся вспыхнув, Аннушка и, натянув себе на голову плечо полушубка, отвернулась к окошку. Но уж теперь Паша не выдержала больше.

— Да что вы в самом деле? а? Что вы меня тер-

заете? — вдруг крикнула она, сорвавшись с лавки. — Да что вы такие за господа-бояре?.. В кого вы другими-то уродились?.. Постой, матушка, не ершись, придет время — самой синяки-то слюбятся... Янька твой тоже не бог знает в какой Москве уродился... Да и твое тело не в барской сорочке родилось... Погоди в колодезь плевать, самой придется соленой водицы попить!.. Ишь, какие стали!.. И, господи-батюшка, с чего только взялось!.. Ровно и сам деле какие купцы проявились! На ты, поди ты! Ни к кому приступу нет... А вот вернуть вам под нос-то хвостом хорошенько, так свое место и узнаете!.. Больно уж высоко забираете! — кричала Паша сквозь слезы. — Что я вам далась? Что мы, в самом деле, хуже людей, что ли?.. Что вам Алеша-то дался? Что вы все на него накинулись? Что смирен-то он? Так уж вам и в диво, как это человек своим голосом заговорил?.. Эх вы, жестокие! — всхлипывая, закончила Паша и залилась слезами.

Аннушка плотнее закуталсь в полушубок и, ничего не говоря сестре, вышла из светелки.

История, происшедшая в семье Пимана, впрочем, кончилась довольно скоро и осталась почти без последствий, если не относительно кого другого, то для Алеши. Кончилась она довольно неожиданным образом для самих Пиманов.

Накануне того дня, когда они должны были ехать на званый праздник к Митродору Графу (о чем они в суматохе совсем и забыли, за исключением, впрочем, одного существа — Аннушки, которая все время суматохи была в каком-то лихорадочно-раздражительном состоянии; ее неустанно мучила мысль, что эта суматоха не только помешает их семье поехать к Графу, но может и совсем нарушить знакомство с ними умственных мужиков, а между тем, чем больше разгорался домашний ад, тем непобедимее росло в ней желание посмотреть, *как* живут умственные люди). Итак, накануне отъезда к Графу в семье Пимана происходила такая сцена: Катерина Петровна хлопотливо стряпала. Пиман мочил квасом голову и с неимоверным напряжением расчесывал волосы на голове и бороде частым гребнем: очевидно, он был доволен. Невдалеке от стола,

на скамье сидел Алеша, в чистой рубахе, причесанный, умытый, как шалун-школьник, которого только что притащили с улицы, из грязи, с кулачного боя с сверстниками, вымыли, вычистили, переменили костюмчик и привели к родителям выслушивать длинную нравоучительную речь. Алеша, несмотря на двадцать два года, был вылитый этот школьник. Он сидел, наклонив голову, и размочаливал пальцами кусочек веревки. Хотя все лицо его носило насупившееся выражение, с надутыми губами, с сердитым взглядом исподлобья, но слишком ясно было, что все это *так,* чорт знает зачем, а больше-то всего ему хотелось всех обнять, расцеловать, попросить прощения и затем вихрем вылететь опять на улицу и раскатиться по ней веселым, звонким смехом. Паша, с румяным, широким, полным лицом, ужасно похожим на улыбающееся лицо ребенка, на котором не успели еще высохнуть слезы, торопливо вносила в избу кожаные и валеные сапоги, синие и серые халаты, шубы и полушубки, которые недавно с таким азартом были вышвыриваемы в окно и двери «хозяйственным разгулом». Паше в этом обратном стаскивании скарба помогал приятель Алеши, Лукашка, с тем же старанием, с каким он несколько дней назад все это помогал таскать Алеше к себе в избу. Аннушка сидела у окна и лениво чистила картофель, сердито посматривая на происходившую пред нею сцену. В то время как прочие упорно молчали, Андрон и Сергей, в розовых ситцевых рубахах, в своем обычном хозяйственном волнении, говорили, перебивая друг друга, то ходя по избе, то снова присаживаясь на лавки.

— Ведь ты что?.. Ведь ты... — говорил Андрон, обращаясь к Алеше, — ведь ты подумал ли, на что покусился?.. Ты сообразил ли, с умной-то головы, на что ты смелость взял? а?.. Ты понимал ли, что на общее хозяйство покусился, на артель?.. Подумал ли ты, что за тобой народ стоит, что этим хозяйством-то не один ты питаешься?.. Ведь ты... ты, прямо тебе сказать, в разбойники шел!.. Да мало еще этого! Мало!.. Ведь тебя, ежели правду-то говорить, за эти самые проступки взять да расшибить!.. А?.. Умная голова!.. Покусился!.. На что!.. А?.. На обчее хозяйство покусился, в которое, может, столько теперича годов кровь изливали... а?

Так говорил Андрон, внушительно размахивая рука-

ми то в одну сторону, то в другую, как бы приглашая всех в свидетели справедливости своих слов; но едва он приостановился, как будто подыскивая дальнейший запас резонных рассуждений, и присел, как с лавки поднялся ему на смену Сергей, точь-в-точь как его двойник брат, так же внушительно размахивая руками, с тем же хозяйственно резонистым волнением.

— С кого ты пример-то хотел взять? С кого? С Бориса?.. Так ведь Борис-то не тебе чета!.. Не тебе с Борисом тягаться... Деревянный ты! Ведь Борис-то прежде, чем в разбойники-то обделаться, человеком был... Ведь Борис-то сам таких, как ты, тысячи в лапах держал... Ведь пред Борисом-то и барин, и начальник в трепете были... Вот он каков, Борис-то!.. А ты... Ведь ты... ты разве человек?.. Ты об своем животе небрежешь, об своей крови попечения не знаешь... Ведь ежели человек-то настоящий, так в нем ежели не ум, так кровь говорит, кровь дает знать!.. У тебя вон скоро ребенок будет: куда ты его с женой-то потащил бы по чужим людям? а? Ты это подумал ли? Припас ли ты для них дворцы-то? а? Али, может, пустил бы жену-то, что корову, в омшаннике родить? а? Ведь на кого ты покусился?.. Подумал ли ты, что это значит, хозяйство ежели тронуть!.. Ведь оно, хозяйство-то не то что тебя обует, накормит, напоит, а и детей-то твоих и внуков!.. Ну, кто же после того на деревне тебе доверие окажет, после таких твоих поступков?.. Ну?.. Ведь уж мы теперь так, можно сказать, глупости твоей ради снисходим...

И снова, едва истощился поток самых сильных резонов у Сергея, его сменил Андрон.

— Истинно глупости твоей ради снисходим, — подхватил он слова брата. — Хоть то подумать: взяли тебя мы во двор... за что мы тебя взяли?.. Ведь ты чужак... Ведь ты... Ведь ты хоша бы благодарность чувствовал: вот, мол, добрые люди век изжили, век кровь изливали, все для хозяйства старались, может, каждый кусок берегли, недопивали, недоедали, чтобы только, значит, детям напередки осталось, не голодать бы, мол, нашим детям... Вот бы ты как рассуждать должен, кабы ты был человеком... А ведь ты...

— А ведь ты... — подхватил было опять Сергей, срываясь с лавки. Но в это время из-за перегородки,

отделявшей стряпную, выглянуло раскрасневшееся от печного жара серьезное лицо Катерины Петровны.

— Ну, будет вам... али мало? Что у вас сердце-то, собачье, что ли? Али ему отходу нет? — сурово крикнула она на сыновей. — Что вы в самом деле, человека-то совсем, что ли, съесть хотите?

Сыновья сразу послушно смолкли, взглянув на мать, и оба уселись около стола. Алеша передернул плечами и повернулся на месте, как будто ему вдруг стало лучше и мягче сидеть.

— Не учась, век не проживешь, — пустил вполголоса Андрон, уже как последний раскат пронесшейся бури.

— Не одному ему навек польза будет, — поддержал его Сергей.

— Ну, все, кажись, слава тебе господи! — с искренним удовольствием выговорила вспотевшая, задохшаяся Паша, внося с Лукашкой последний сундук.

— Ну, что же тут навалили? — сказала опять сердито Катерина Петровна, обращаясь, впрочем, не к одной Паше и Алешке, а ко всем вообще. — Убирайте в клеть... Чего набросали на глаза-то? Чтобы всем сердцами терзаться?.. Прибрала с глаз долой, да и конец... А уж дурость-то свою да сердце, коли ума нет, припрячьте подальше.

Катерина Петровна, как рассудительная женщина, очень хорошо понимала, что если раньше «война» по каким-то причинам оказалсь неизбежной, и, ради спасения хозяйства, сама готова была принять в ней участие, то теперь продолжение войны было уже чистым «баловством», неоправдываемым даже с точки зрения сурового хозяйствования. Все замолчали. Катерина Петровна опять ушла к печи, предварительно окинув всех внимательным взором, как будто желая удостовериться, не кипело ли в ком еще «сердце». Повидимому, этот осмотр дал ей утешительный ответ, и только на лице Аннушки заметила она нехорошее выражение и задумалась.

— Аннушка, ты помогла бы мне в клеть все убрать, — сказала Паша сестре.

Аннушка ничего не ответила, но, высыпав чистый картофель в горшок и отнеся к матери, вернулась к наваленной куче скарба и, взвалив на плечо шубы, проговорила сквозь зубы сестре:

— Нашумели, что сухие веники... Только на это и хватило... По хорошим людям только славу пустили.

Но Паша теперь уже и не думала ей возражать; она так была переполнена всем существом своим настоящею минутой примирения, что все в ней как-то сладко переливалось; она чувствовала, как ровно, спокойно переливалась у нее кровь по жилам, как теплота равномерно расходилась по телу, как плавно, без боли поворачивался у нее под сердцем ребенок, мучивший ее во время переполоха сильными схватками, ознобом конечностей, приливами крови к голове... Это маленькое существо, еще не явившись на свет, тем не менее управляло житейскими событиями и подавало в них решающий голос за свою судьбу, заставляя свою мать страстно чувствовать эту минуту примирения, которая принесет ему так много благ: родится он среди своих, вдали от нужды, в тепле и просторе, среди прочного хозяйства, устроенного дедами и прадедами, которое обеспечит и охранит не только момент его появления на свете, но и его будущее, и даже будущее его детей. А вне этого прочного хозяйства этому маленькому существу так было страшно являться на свет, так сиротливо глядела предстоящая жизнь!.. Во имя этого ощущения для Паши исчезало кругом все другое, и она, словно торопясь, с удвоенною энергией таскала в клеть сундуки и одежду.

Что касается Алеши, то с ним случилась одна из тех странных, непостижимых еще для нас, но широко обычных в народе историй, которые почти всецело должны быть отнесены к области народной психики.

Проснувшись в избе Лукашки дня через три, в течение которых он неустанно «бунтовал», Алеша неожиданно почувствовал, что он устал; мало того, он весь был как-то разбит, все члены размякли, всякая энергия пала. Когда Лукашка поднес ему стаканчик опохмелиться, Алеша только ребячески улыбнулся ему, сморщился и покачал головой. Водка стала ему противна, он весь дрожал, хотя продолжал улыбаться.

— Ты что какой? — спросил его Лукашка, пристально всматриваясь ему в лицо.

Алеша не отвечал, только на лице его все больше и больше выражались ужас и робость. Он смотрел на

сваленное в кучу «свое имущество» и не понимал, что все это значило.

— Ты не робей... Чего робеешь? — утешал его Лукашка. — Мы коли что, так ведь и во! — показал он, улыбаясь, кулак. — Что из того, что ты чужак? Ты требуй... Главное, стой крепко, бунтуйся, а коли что — мы их, подлецов, во!

Как ни убедительно смотрел здоровый кулак Лукашки, но Алеша робел и робел все больше: он уже органически не мог «бунтоваться», ему хотелось куда-нибудь уйти, убежать, провалиться сквозь землю, только бы его не трогали.

— Ты бы, Алеша, умылся, — сказала вошедшая Паша, предварительно еще в дверях внимательно рассмотревшая его и сразу понявшая, что Алеша уже не тот. — Вишь ты — какой... Ровно из болота вылез!.. Вот я тебе рубаху чистую одену... Пойдем, умою... Пойдем, касатик... а?.. Пойдешь?.. Будет уж... Показал себя — и будет... Бог с ними!.. Вот так, подымайся, пойдем... Вишь, тебя лихоманка бьет! — говорила Паша, уводя Алешу на крыльцо к рукомойнику.

Здесь она проворно засучила полные, упругие руки, наклонила ему, как ребенку, голову и стала мыть, потом вытерла полотенцем. Пока мыла, она, не переставая, говорила над самым его ухом:

— Вон, вишь, я тяжелая... Ребенок-то все это время, как голубь, бился: тоже чувствует... Куда, мол, это тятенька с маменькой денутся, на зиму глядя... Не нравится тоже ему... А у дедушки, мол, вишь, тепло да уютно... Свои люди, своя кровь...

И долго бурлила ему Паша в самые уши, потом переодела она ему рубаху, причесала голову, потом уж как-то машинально он сам надел полушубок и шапку.

— Вот так-то лучше, — сказала Паша, беря его за руку. — Ты уж, Лука Петрович, неравно, помоги нам опять имущество-то перетащить, коли что...

— Что ж, с удовольствием! — сказал Лукашка. — Долго ли перенести!.. Перенести недолго... Конешно, что вам нельзя, на зиму глядя... Ну, и ребенок, того гляди... Что говорить, по чужим людям житье бедовое... Это вон ежели Борька, так он человек мощный... А перенести с полным удовольствием! Отчего не пере-

нести! — продолжал он говорить, провожая Алешу, которого Паша взяла за руку и повела к своим задами. Что было дальше, — нам неизвестно.

II

В первое воскресенье после Покрова Пиманы торжественно двинулись на праздник в усадьбу Митродора Графа. Были заложены две подводы в небольшие, с расписными задками телеги (хозяйственный крестьянин всегда имеет такую телегу, обыкновенно называемую им «тарантасиком»; для езды «за делом» он обыкновенно употребляет роспуски, даже навозные телеги, но на роспусках он никогда не поедет на праздник или в гости, а непременно в тарантасике, хотя езда на нем в тысячу раз неудобнее, чем на роспусках). На одной подводе сидели Пиман, Катерина Петровна и Аннушка, на другой — Андрон и Сергей. Все были веселы и очень довольны, но довольнее всех был сам Пиман, окончательно убедившийся, что пророчество Ермила из Груздей не оправдалось и что все осталось в его жизни попрежнему. Задумчивее других были мать и дочь: обе они смотрели пристально вдаль, как будто чувствовали, что там, в этой дали, должно находиться что-то для них серьезное, решающее... И именно там, вдали, а не позади, не в Дергачах... Как будто там, в Дергачах, что-то совершилось такое определенное, бесповоротное, о чем уже никто не считал нужным не только говорить, но и думать. Что такое совершилось, почему это совершившееся должно быть бесповоротно решающим, никто бы не сказал определенно, но все ясно чувствовали, что там, позади, что-то кончилось, а то, что должно начаться, — там, впереди... В особенности таинственным чутьем это ощущали женщины; хороша ли эта имеющая совершиться замена, или нет — они не знали; но они чувствовали, что так должно быть; это дело «судьбы». Разве с Катериной Петровной не то же было? Она любила Мина, любила искренно, и вышла замуж за Пимана, тяжелого, хозяйственного Пимана. Почему? Она не знала, но, положа руку на сердце, в глубине души искренно могла сознаться, что это не были ни прихоть, ни расчет, ни вероломство. То было нечто непонятное,

невидимое, неуловимое, но неотвратимое, сильное, что покоряет и прихоть, и самый расчет. Это была «судьба» — вот все, что она знала. И теперь, когда ей приходится выдавать замуж дочь, она чувствует, что и ею, и дочерью снова руководит не воля, не прихоть, даже не расчет, а все то же сильное, неотразимое — «судьба»... Аннушка, конечно, не могла так чувствовать и так вдумываться в это чувство, как мать; но и в ее сердце что-то ныло, жило какое-то неопределенное предчувствие. Все три дня, пока царил в Дергачах «ад», она не выходила почти за ворота, не искала встречи с Яней; не искал этой встречи и он... Как-то вдруг стало им почему-то совестно, стыдно встретиться друг с другом, и что-то непобедимое держало их вдали друг от друга. Ей часто приходил в голову Яня, вот он и теперь почти неотвязно стоит перед нею — и между тем ее стремительно влечет к себе что-то «новое», там, вдали, и у нее замирает сердце. Ей хочется забыть все это старое, все, что там, позади, потому что это старое вдруг как-то все оголилось, оголилось так, что она не может представить себе ни Яньку, ни другого дергачевского парня иначе, как в образе Алеши... Как она ни перебирает их всех — все, решительно все в ее воображении тускнеют, оголяются, и перед нею стоит все тот же Алеша. Алеша и Паша, Паша и Алеша... и вся эта трехдневная бестолковая суматоха с кулаками, кровью, бранью, криками, синяками, сапогами, шубами, сначала азартно выбрасываемыми в окно, потом опять притаскиваемыми одна за другой... А что там, *вдали?* А бог знает что: «судьба»... Так, замирая, несется иногда человек стремительно во сне: ему и страшно, и больно, дух захватывает, и хочется остановиться — и между тем страстно хочется узнать: что же будет?.. Не более ясно представляли себе цель и конечный результат этой поездки и Андрон с Сергеем, хотя они, если бы их спросить об этом, конечно, тотчас же пустились бы в длинные рассуждения, как будто все это для них совершенно ясно... Еще бы! чем же мужик живет, как только не брюхом да не экономическим расчетом? Тут все так ясно, что и сам мужик, если вы его спросите, скажет: «Да как же инако?.. Тем и жизнь держится!..» И Андрон, и Сергей были преисполнены самодовольства, что для них все ясно.

Пиманы, по-крестьянски, выехали рано. Воздух был ядреный, морозный; с полей не сошел еще выпавший за ночь мягкими, легкими пушинками снежок, кое-где белевший по сторонам дороги, в канавках, около камней, кустов. Солнце словно мигало из-за несшихся стремительно по небу разорванных облаков.

— Вон,—крикнули Андрон и Сергей,—смотри, вишь галдарея-то от солнца играет стеклами! Это его, графская!.. Вон за рощей-то видится!.. За версту увидишь.

— А Петр-то как выстроился? — спросил Пиман. — Я еще не видел...

— Та-акже!— протянул Андрон.— Словно колокольня, все галдареи... Тоже за версту видно... Вот, мол, мы как!.. Да чего ж с хорошим от людей скрываться?.. Коли поведешь себя благородно — и к барскому месту будешь впору.

Поместье Митродора Васильича Графа было куплено, как и Петром, что называется на медные деньги, а потому тоже было невелико и не особенно роскошно, хотя и не представлялось таким голым, как у Петра. Не то, чтобы кругом виделось больше практической предусмотрительности, а все как-то смотрело оживленнее. Во-первых, «барский» дом стоял несколько ближе к деревне, во-вторых, он представлял довольно странный по архитектуре, но очень удобный в других отношениях вид: был он поставлен в три яруса, из которых, как в церквах, каждый верхний ярус был короче нижнего; в самом нижнем помещались лавки и лабазы, в среднем — парадное жилье, смахивавшее на трактир (да в дни ярмарок и базаров оно иногда и в самом деле превращалось в него), и, наконец, верхний ярус, нечто вроде мезонина, с стеклянными «галдареями», был обычным обиталищем самого Графа.

Митродор Васильич принадлежал не совсем к ординарным личностям. Он был сын дворового, принадлежавшего одному богатому барину, у которого в дворне были всевозможные мастера: свои плотники, столяры, маляры. К последним принадлежал отец Митродора. Первый момент зарождения сознания в Митродоре совпал с романтическим периодом народной жизни, лет за пять перед освобождением, когда такою широкою волной ходили в народе всевозможные толки и слухи, поддерживаемые еще более ироническими намеками и

разговорами об эмансипации самими помещиками. Все ожидали. Все дворовые ясно выражали это ожидание словами: «Мы уж скоро будем сами по себе!.. Теперь нам никто не указ!.. Куда захотел — туда пошел; чего пожелал — то взял. Не пожелал здесь — хоть за море махнул. Теперь уж всяк сам по себе». Вскоре после освобождения барин распустил весь свой дворовый штат. Митродору тогда было двадцать лет; тогда вскоре у него умерли отец и мать, и он остался один устраиваться на белом свете. Митродор прежде всего вошел в одну малярную артель, работавшую без подрядчика. Он был плохой мастер, но проворный, бойкий и притом грамотный парень. Эту умственную бойкость, конечно, в артели скоро заметили и не преминули ею воспользоваться: с самой ранней весны артель снаряжала Митродора на поиски подрядов в города, отпуская ему скудную сумму на харчи. Бойкий Митродор очень усердно бился в городах на подрядах в пользу своей артели: ходил по трактирам, угощал «нужных людей», давал на водку и чай дворникам, лакеям, так что скудная сумма, отпускавшаяся ему артелью, исчезала очень быстро. Митродору приходилось в полном смысле голодать, тем не менее подряды он доставлял хорошие. Добродушная артель просто была от него в восторге и не нахваливалась им, но когда приходил день расчета, мужички оказывались очень туговаты в оценке митродоровской умственности, и как, ругаясь и горячась, ни доказывал им обиженный Граф, чего стоило ему добиться подряда, сколько стоило это хлопот, беготни, голодовок, ночевок чуть не на улице и, наконец, денег, которые он иногда занимал, артельные мужички тем не менее приходили в ужас от истраченной им суммы, туго стояли на своем, и если на что соглашались, то единственно только накинуть рублишко лишний на его умственность. Эти дни расчетов были самыми мучительными днями для Митродора; добродушные мужички, наученные опытом жизни, припирали его таким недоверием и притом так низко ценили его умственность, возражая ему, например, такими словами, что, мол, и ты, парень, недалеко без нас уедешь, — что Митродор получил органическое отвращение к этой «возне с народом» и бросил артель. Отчасти вследствие этого отвращения, отчасти потому, что еще был очень молод, он и не по-

думал забирать артель «в свои руки»; он захотел жить и действовать «сам по себе», чтобы всякий к нему в душу «не лез», «чтобы быть самому себе господином». Он бросил свое мастерство и, встретившись в городе с одним офеней, прельстился его промыслом. Получив от этого офени половину товара в кредит, он пустился из края в край, от моря и до моря охаживать Россию. Во время этих своих странствований он сталкивался со всевозможным народом: крестьянами, мещанами, семинаристами, мелким чиновничеством и духовенством, выучился от них арифметике, читать газеты и романы, приобрел особую повадку, поступь, стал носить брюки и пиджаки. Расторговавшись, он купил лошадь и с целым возом всевозможных товаров ездил по ярмаркам.

Когда ему минуло тридцать лет, он женился на дочери мещанина одного посада, невдалеке от Дергачей, и женился «по любви», так как жена его была красивая и притом «образованная» девушка, то есть умела читать, писать по-светскому и по-церковному, пела песни «по песеннику» и притом была мастерицей шить золотом. Близ посада было большое торговое село; к нему приписался Митродор и повел уже оседлую торговлю. Но с этого момента с ним случилось что-то странное: перемена ли кочевья на оседлость подействовала на него, или он устал и его сразу забрал в руки открывшийся перед ним «спокой», только он передал всю торговлю жене, а сам... зевнул, и с тех пор стал зевать все смачнее и упорнее.

Он даже и барскую усадьбу купил — не как Петр, не с замиранием и захлебыванием, а так, шутя, зевая.

— Пожалуйте-с, пожалуйте-с!.. Милости просим, — говорил он, полулениво встречая гостей в своей уютной зальце, уставленной плетеными стульями, столами, покрытыми разнообразных цветов скатертями. Вообще по убранству комнаты было заметно, что Граф любил и поддерживал чистоту, порядок и опрятность. На подоконниках лежали старые газеты. На стенах висели фотографии, и была даже одна картина, писанная масляными красками, изображавшая фламандский пейзаж: эту картину он никак не мог продать, так она у него и застряла. Но теперь он ею был доволен и вряд ли бы даже продал.

Когда приехали Пиманы, гости Митродора Графа

почти все уже были в сборе; некоторые пришли прямо от обедни. Публика была довольно разношерстная: крестьяне, мещане, купцы, разночинцы. В ожидании чая и закуски, которую с обычною небрежностью и ленью расставлял на столе Митродор Граф (нынче одетый по-городскому, в пиджак, что, при его длинной, сухопарой фигуре, при худощавом, выразительном лице, делало его совершенно непохожим на обычный кулацкий и мужицкий тип), гости чинно сидели по стульям вдоль стен; здесь были все мужчины; женщины были на половине жены Митродора. Из мужчин — стариков было всего двое: дьячок, дальний родственник его жены, да мужичок в скромной, но новенькой свитке, словно с иголочки, умильно и радостно смотревший на всех, очень смахивавший на седенького старичка-чиновника, выслужившего владимира и получившего дворянство. Сам он был землепашец, но от его корня расцвело пятеро «молодцов», «хозяйствовавших» на всех окраинах необозримой России. Все эти пятеро «молодцов», благодаря неизмеримым расстояниям, отделявшим их друг от друга, давно бы забыли один другого навеки, если бы не этот старичок, еще сидевший в самом центре, на клочке дедовской земли; этот старичок и этот клочок раз в два или три года стягивали к себе, как к сердцу, «молодцов» на праздник. «Молодцы», взаимно полюбовавшись друг другом, приведя в умиление старичка и, как Антеи, освежив свои силы прикосновением к родному клочку земли, с обновленными силами и верой в «мужицкую идею» разлетались вновь по окраинам.

Из сверстников Графа было трое: один, такой же длинный и сухопарый, как Граф, но только с каким-то детским наивным лицом и постоянно устремленными как будто внутрь себя взорами, был сектант, носивший в себе «храм божий». Он принадлежал к семье закоренелых раскольников и долгое время разделял воззрения своих родных, но, убедившись, что раскольничья «моленная» нисколько не уступала формализму, окружавшему представителей православной церкви, он пришел к убеждению, что «храм божий в сердце человеческом». Это убеждение определило всю его нравственную физиономию. Стоило только взглянуть на него, чтобы сразу предположить, что этот человек, как «скудельный сосуд», носит в себе какое-то сокровище и

что все мысли его направлены исключительно на то, как бы этот хрупкий сосуд неосторожно обо что-нибудь не ударить, как бы его кто-нибудь не толкнул грубою рукой... Все в нем — осторожная походка, жесты, постоянно сосредоточенные и тем не менее зорко наблюдающие по сторонам взоры, деликатное, мягкое обращение со всеми, готовое предупредить малейшую неловкость или грубость, — все говорило, что этот человек носит в себе «святыню». Личная нравственность его была безукоризненна: он никогда не выпил рюмки вина, никогда не пропел песни и, хотя был женат, никогда не испытал восторгов плотской любви. Был он прежде землепашец, но постоянный риск подвергать носимую в сердце «святыню» сутолоке мирских дел заставил его бросить это занятие; он открыл лавочку и харчевню, в которой торговала его жена, сам же он предавался внутреннему созерцанию жившей в нем «святыни». Но так как он жил в деревне, в миру, то греховные мирские люди не могли оставить его в покое. Так, зная его высокую личную нравственность, они неоднократно предлагали ему честь послужить мирскому правосудию в качестве волостного судьи. Эта честь, однако, приводила сектанта в ужас: сначала он откупался деньгами от нее, а затем, когда денег платить не захотелось, он хотя и согласился на выбор в судьи, но для охранения носимой в сердце святыни прибег к такой постановке дела: когда два судьи-сотоварища обращались к нему за мнением, он говорил: «Братцы, судите по своей совести: правы ли вы будете, неправы ли — вас двое, а я завсегда сам при себе останусь». Так и в этом скользком деле он сумел пронести незапятнанною свою «святыню». Достойно замечания, что, несмотря на уважение, которое питал к нему народ, и на удивление пред его личною нравственною безукоризненностью, он был известен под странным прозвищем: «антихристова кочерга». Может быть, этому подала повод его сухопарая фигура.

Второй сверстник Митродора Графа был Кум. — мужчина лет сорока, высокий, плотный, неимоверной силы и неизреченного добродушия. Кум был известен под этим именем (кроме станового, вряд ли кто и знал его имя, отчество и фамилию) не только в окрестной палестине, но в целых трех соседних уездах.

Слава про Кума гремела по всем окрестным дерев-

ням, и не было не только бабы и мужика, которые не знали бы, кто такой Кум, но и подростка, который не слыхал бы о нем. Вечно веселый, улыбающийся, с пухлым полузаспанным лицом, добрыми маленькими глазами, огромным ртом, всегда гремевшим трубой, безусый и безбородый, в длинном, никогда не чищенном сюртуке, испачканном на спине то в известке, то в меху, в широких шароварах, выпущенных поверх неуклюжих сапог, — это был кутила, «добрый малый», приводивший в восторг все крестьянское население. Прежде всего не было деревни, где бы он не крестил у какой-нибудь бабы; не было «мира», которому он *так,* зря, не выставил бы ведра водки; не было услуживавшего ему мужика, которому он не заплатил бы вдвое. Приезд Кума в какую-нибудь деревню был настоящим праздником (а он только и делал, что ездил из деревни в деревню): мужики, бабы, девки и парни, подростки и пятилетние малыши — все высыпали на улицу, лишь только здоровенная фигура Кума, в крестьянской телеге, показывалась в ней. «Кум, Кум приехал!» — кричали кругом. С ним дружески здоровались рука в руку, лишь он тяжело выбирался из телеги. Кто называл его Иваном Петровичем, кто — Петром Николаевичем: он никогда не поправлял. «Ну, братцы, здравствуйте! — кричал он. — Выпьем, что ли?» — «Да уж знамо, что выпьем, Петр Васильич! Чего ж нам с тобой, Кум, делать?..» — «Вали за четвертью! — говорил Кум, сунув в руку первому мальчугану зеленую. — Гривенник получай себе, остальное на закуску!.. Идем, братцы, на зады». И вся деревня отправлялась за Кумом на зады: приносилась водка, велись разговоры. «И что это, братец, за житье тебе, Кум! Хошь бы ты к месту какому пристроился, к делу». — «Зачем? — спрашивал Кум в добродушном изумлении. — Денег, что ли, у меня нет?» — «Оно точно... Да как-то, Кум, все что-то не по-людски. Ты бы деньгу, что ли, произращал...» — «А зачем? Ну, говори: зачем? Что мне, мало, что ли? Чего мне нехватает?» — «Так-то так, а все же, брат, как-то не по закону ты живешь...» — «Ну да говори, дурья голова, как мне жить-то?.. Ну! Ну, вот попадись мои деньги тебе, — кричал Кум, — ну, что бы ты стал с ними делать? Ну?» — «Я бы торговлей занялся... Оборот бы пустил... Эвона денег-то сколько было бы! Куча!»—

«Куча! — горячился Кум, — а на кой тебе чорт, прости господи, эту кучу-то?.. Облопаться, что ли, тебе с них?» — «Да ведь вон другие живут... вон в городах... Значит, куда ни то нужны...» — «Куды ни то! Другие! — дразнился Кум. — Ты не про других говори, а про себя... Тебе-то куда бы их?» — «Это точно, — соглашались мужики, — много нам не надо, совсем ни к чему, ну, а *малого* было бы куды надо... куды бы кстати! Вот мы опять было к тебе, Кум, насчет податей... Опять прижимка...» — «Вот бы и мне, Петр Николаевич, пожаловал бы что: корова пала», — говорила бойкая баба. — «Ну, уж это — извините... Ведь я прошлым годом за вас внес?» — «Внес, внес!.. Спасибо, Кум!.. Это что говорить... Да ведь опять...» — «Ну, брат, подожди!.. Эдак у меня денег-то не надолго хватит: тоже, кроме вас, деревни есть...» — «Это так, так...» — «То-то вот и есть; вот я заехал к вам: хотите выпить — выпьем, а приставать ежели будете, никогда не заеду... Коров-то покупать всем у меня тоже капиталу нехватит, голубушка, а вот трешницу я тебе на почин дам, коли хочешь: может, у тебя и нарастет...» В таком роде вел разговор Кум, а тут приносили водку, пили в круговую, песни пели, Кум расходился: сдергивал с себя сюртук, связывал с туловища кожаную кишку, набитую деньгами, которою он подпоясывался, как поясом, и щедрее, чем обещал, раздавал деньги. Благодаря своей могучей комплекции он мог выпить море, но никогда не валился с ног, даже не терял того небольшого, но всегда ясного смысла, который ему был присущ. Раздавал он деньги без всякой определенной системы, но эта присущая ему ясность взгляда как-то инстинктивно указывала ему настоящую нужду: его нельзя было подкупить ни лестью, ни подобострастием, потому что в нем самом не было ничего такого, на чем можно было бы разыгрывать подходящие песни. Зависело это от того, что он, во-первых, хорошо знал народ, понимал его органически, без рассуждений и изучений; во-вторых, от того, что за последние пять лет, пируя с мужиками по деревням, он эти деревни знал, как свои пять пальцев. Если Кума целый мир слишком уже одолевал домогательством, у него была одна угроза: «никогда не приеду!..» Эта угроза была столь могучей, что останавливала самые сильные и разгулявшиеся аппетиты. И были

такие деревни, в которые Кум не заезжал по году, по два.

Таков был Кум. Происхождение этого оригинального человека было довольно темное, и о нем ходили самые разнообразные легенды. Несомненно было одно, что он — сын народа. Самою распространенной была легенда о найденном под избой, где родился Кум, кладе, оставшемся еще от татар. Но справедливее были другие слухи о некоей крестьянской девке, которой пришла «идея» создать общежительство, в котором нашли бы приют странники, болящие и сироты. Идея эта, повидимому, явилась у нее по следующему случаю: жила она вместе с братом, у которого были жена и сын. Вследствие какого-то несчастия умерла жена, а сам брат стал юродивым. Девка осталась одна, принужденная ходить за братом и маленьким племянником. Не имея сил обрабатывать землю, она, взяв брата, стала ходить по городам и селам России, по святым местам, а племянника поручила соседу. Хождение ее пóмиру с юродивым было очень выгодно: городской и сельский богатый люд подавал ей очень щедро. Куда было девать ей деньги, она совсем не знала, но, прежде всего, стала их прятать, для чего каждый год возвращалась домой, в свою избу, и там глубоко закапывала их в землю. Между тем в голове ее создавался ряд проектов, ей все хотелось устроить на эти деньги богадельню, и в то же время она боялась и не знала, кому доверить свою тайну. Так долго, очень долго копила она деньги, пока не состарилась и не умерла внезапно. Племянник ее был парень очень добрый, недалекий; он хотя у соседа и прислуживал в последнее время в лавочке, но больше любил играть в бабки, бегать в лес и вообще мало подавал надежды в торговле, хотя и выучился грамоте. После смерти тетки опекун хотел его женить, для чего потребовалось поправить вторую избу тетки. Тогда-то и нашли в яме под полом несколько тысяч медной, серебряной и золотой монеты; но тут правдоподобие легенды прерывается, и дальше уже рассказывается что-то невероятное и притом в разных вариантах.

Когда Митродор Граф в первый раз «зевнул», этот важный момент его жизни совпал с его знакомством с одним богатым парнем. Что вышло бы из этого знакомства раньше, когда Граф еще «не зевал», трудно

сказать, но теперь он довольно равнодушно посмотрел на деньги парня и, как умный человек, хотя и зевая, разъяснил парню, что есть на свете банки, которые не только берегут деньги, но и дают за это проценты, и этих процентов дадут столь много, что можно жить припеваючи, а между тем деньги останутся в целости... Этот парень (ему тогда было уж лет тридцать) был Кум. Совет Графа осветил его, как солнце. Он расцеловал его, назвал «отцом» и всею душой привязался к Графу, за неимением других привязанностей. А скучающий Граф тоже привязался к нему: он не мог недели пробыть без Кума, без этой веселой, шутливой, добродушной натуры. Граф шутил над ним, хохотал, любил слушать рассказы об его похождениях и привык к нему.

Да, Кума все любили, любило даже начальство, которое он потешал своею эксцентричностью; только последнее побаивалось, как бы его когда-нибудь не убили. И опасения эти были справедливы: на Кума не один раз были делаемы нападения, и только благодаря своей невероятной силе он успевал уходить целым. Впрочем, палестина, в которой жили наши герои, несмотря на близость промышленных центров, была еще настолько патриархальна, что Кум мог вполне рассчитывать прожить еще долго, изредка только отделываясь кулаками.

Третий сверстник Графа был мужик Пров, лет сорока, мельник, суровый и неразговорчивый, «бирюк», человек трезвый, добросовестный, умный, но крутой и вспыльчивый. Он всего год как вышел из тюрьмы, где просидел три года, приговоренный присяжными за убийство отца без предвзятого намерения, в запальчивости и раздражении. Отец его, прежде крутой большак большой семьи, после раздела и падения своего авторитета «сбился с пахлей», запил и опустился до того, что стал воровать. Так как он по разделу жил у старшего сына Прова, то последний, дороживший своею репутацией умственного мужика, не мог сносить отцовского «поведения», тем более что его дом постоянно подвергался обыскам, облавам от мира и начальства. Однажды, раздраженный, он ударил старика хомутом, и старик через несколько дней умер.

Таковы были гости и приятели Графа, а вместе с ним

и Петра. Вся эта компания, вместе с Петром, во всей окрестности была известна за преимущественно «умственных мужиков». Они жили довольно обособленною жизнью, имели мало сношений с тою «деревенскою интеллигенцией», преимущественно обитавшею в волости, селе Добром, представителями которой являлись бойкие кулаки-коммерсанты, или пьяницы, как кулак Маркушка, старшина, писарь, адвокат, управляющий и прочий люд, заправлявший «крестьянским самоуправлением». Вся эта «деревенская интеллигенция» жила столь бесцеремонною жизнью, лишенною какой-либо умственности и даже внешней порядочности, что Петр не находил никаких побуждений сходиться с нею близко, хотя и сталкивался «по делам», но сдержанно и холодно. Граф относился к ней с обычным равнодушием. Народ же различал эти два аристократические слоя, назвав одних просто «грабителями», а других — «себялюбцами».

Вскоре после Пиманов приехал и Петр, а вслед за ним пришли два молодые человека, тоже родственники жены Графа: один обучался в школе ваяния и живописи в Москве, другой был только что вышедший из философского класса семинарист. Оба молодые человека были одеты уже вполне по-цивилизованному, в глаженых сорочках и черных сюртуках, и держали себя хотя непринужденно, но с достоинством. Одного из них — художника — Митродор Граф содержал на свой счет в Москве, а с другим, которого звал «ученым», любил от нечего делать беседовать; этот же «ученый», юноша крайне наивный, непосредственный и экспансивный, был рад всякому случаю, чтобы высыпать запас своей «учености»; он часто и увлеченно развивал перед Графом дарвиновскую теорию, сообщал о последних успехах электротехники, а Граф подсмеивался над ним, нарочно подзадоривал и поддразнивал и все-таки слушал и беседовал с ним с удовольствием, хотя снисходительным, конечно. Нельзя не сказать, что оба эти молодые человека, стоявшие к Графу в совершенно естественных и непосредственных отношениях, имели на него некоторые влияние. Так, они уговорили его стать попечителем местной народной школы, для которой, по их указаниям, накупил он книг, и только перебранка из-за чего-то с мужиками заставила его снова «зевнуть» и опять уйти в свой «спокой».

III

Как всегда бывает в начале таких сборищ, разговор шел вяло; Граф угощал водкой и вином, многие выпивали, крякали, но молчали. Только Кум успел выпить три рюмки, сопровождая каждую довольно-таки избитыми прибаутками. Граф как будто даже обрадовался приходу молодых людей.

— Ну-ка, господа! Водочки! — подхватил он их, едва они успели положить шапки.

— Можно, — сказал «ученый» и выпил. Художник отказался.

— Ну, так что ж, господа, будем землю делить? — спросил Граф с шутливым заигрыванием, очевидно больше для того, чтобы потешить своих гостей.

— Будем, — сказал юноша наивно-убежденно, закуривая папироску.

— И прекрасно-с. Мужику земли надо... А посмотрите, сколько ее кругом зря валяется!.. Ведь это государству ущерб... Между тем подати большие... Хорошему мужику житья нет. Посмотрите, то и дело драки, неурядица... Как мужику жить?.. Мужик любит спокой да мир. Ему воевать некогда...

— Что мы за вояки, — подхватили Андрон и Сергей. — Ты нам земли дай — все мы и довольны. Разложи-ка на всех подати, так мы тогда вдвое еще уплатим, чем теперь...

— Верно... Мужику земля нужна, а барину зачем?.. Это не барское дело, — сказал Граф. — Барин пускай жалованье получает за свое дело.

Выпивавшие гости расселись по местам, приготовляясь почтительно слушать дальнейшее продолжение диспута. Кум, выпив опять залпом три рюмки и торопливо закусив, как будто боясь, чтобы его чавканье не помешало разговору «умных людей», сел на прежнее место, широко расставив свои тумбообразные ноги, укрепив на коленях фертом руки, и с наивно ребяческим выражением широкого лица уставился на Графа и юношу. Петр налил рюмку вина и поставил около себя. Он вовсе не вмешивался в разговор; он не один раз слыхал все это от Графа, но вместе с тем и знал, что Граф все эти разговоры вел так, зря, от скуки. Он не понимал, зачем эти разговоры. Он понимал разговор «сурьезных людей» на-

едине, с глазу на глаз, «по делу», чтобы за ним, за этим разговором, немедленно, завтра же, следовало это «дело». Петр не понимал убеждения «словом» или, лучше, не любил его, считал пустым «времяпровождением»: это было органическое отвращение, воспитанное в нем многоголосным, шумливым, болтливым, «рукосуйным» миром, в котором сплошь и рядом за самыми дружелюбными беседами следовали или потасовки, или вообще деяния, прямо противоположные тому, о чем говорилось за минуту пред тем. Впрочем, надо сказать, что Петр ехал к Графу в довольно оживленном настроении духа, и только встретив у него столь разнообразную публику и притом «посторонних людей», каковыми он считал художника и семинариста, несмотря на их близость к Графу, снова ушел в себя. Напоминали ли ему эти «посторонние люди» что-либо тяжелое из прошлого или почему-либо другому, только он, как и сектант, также ревниво охранял свою святыню, боясь вынесть ее на торжище или неосторожно расплескать.

— Ты, святитель, выпьешь, что ли, — смеясь, спросил Граф сектанта, — или нет? Где уж тебе!.. Ведь ты сам «сосуд»! — подшутил Граф с обычным цинизмом, с которым он вообще относился к религиозному настроению.

Сектант в ответ тотчас же приподнялся и стал поспешно и конфузливо раскланиваться; на лице его выразилась такая робость, такая умильная мольба, как будто Граф готовился расшибить сразу весь его «сосуд».

— Ну, сиди, сиди... не соблазняйся! — замахал ему Граф рукой.

Всего больше удовольствия эта сцена доставила старому дьячку, который, покачиваясь на стуле всем туловищем, беззвучно смеялся, искоса поглядывая на сектанта.

— Вот вы разговариваете про землю, — начал опять Граф, выпив рюмку наливки, закусывая и обращаясь к «ученому» юноше. — Конечно, вы только что ежели по теории... Ну, только что самого дела касающее вы еще молоды понимать... Вот вы говорите — земля... Землю тоже надо отдать с разбором, чтоб она в надлежащие руки шла... А то ведь зря, пожалуй, разбросать все можно... Вот у барина сколько земли, а что из того?.. Он вон на двух лаптях бьется, — показал Граф на Пиманов, — да от податей преет, а у барина земля валяет-

ся!.. То-то и есть... Отдать можно (я про себя тоже скажу: мне земля для оборота нужна, у меня в ней деньги в обороте; отдай мне деньги, а я землю отдам... Я сам говорю: она мне не к рукам)... Отдать, говорю, можно, да чтобы с умом... Ты вот *ему* отдай, хозяину, он ее выведет в лучшем виде, он ее устроит... А ежели ты ошалелому народу отдашь, пьянице, дураку... Равнять! равнять можно, да между кем?.. Ну, землю поравняешь, а дурака с умным разве уравнять можно?.. Это вот господа-бояре так полагают, потому как для них мужик не иное что, как дурак... С дураком-то жить легче!.. Барину дурак нужен...

Граф что-то хотел сказать, быть может, порезче, но замялся и промолчал.

— А дурака в народе стало, что ни час, все больше, ошалелым народом хоть пруд пруди... А за ошалелым народом кабак растет!.. Ошалелый народ гуляет, а хорошему человеку житья нет... Вот они, *энти* самые порядки-то... А барину что! Барину мужик только деньги принеси — он ему все дозволит... Он все распустит... Ему умного мужика не надо...

Но тут Граф опять промолчал.

— Что же вы... Вы вот умный человек... Что же вы только разговоры разговариваете, а дела не делаете?.. Зачем вы в волость грабителей напустили?.. Сами бы делали, — сказал юноша.

— Делали мы... Ха-ха! делали! — захохотал Граф, подмигивая гостям, как будто им была известна вся таинственная история этих «дел».

И все гости, уверенно и тоже посмеиваясь, закачали утвердительно головами.

— Ничего вы не делаете... Только барышничаете... Торговлей...

— Что ж торговля?.. Торговля — дело спокойное... Мы не грабим... А коли само в руки течет, так не дурак я промеж пригоршней пропускать... А не делаем, так, значит, и незачем, почтенный... Не та нам расценка, чтобы мы стали делать... Цена не та-с, — все внушительнее, но и таинственнее на что-то намекал Граф. — По этой цене мы не хотим-с: себе дороже, почтенный! — повторил Граф, все больше и больше иронически посмеиваясь и начиная позевывать.

В конце разговора Петр тихо встал и ни для кого

незаметно прошел в соседнюю комнату, где сидели гостьи вкруг самовара и жены Митродора. Он заметил Аннушку, которая придвинула стул за дверь и из этой засады пристально вглядывалась в Петра, в Графа, во всех этих «умственных людей».

— Давно бы вы, Петр Вонифатьич, к нам пожаловали... Пускай они там разговаривают по-сурьезному! — сказала жена Графа. — Не все всурьез жить, когда-нибудь и чай надо пить да орехи грызть.

— Я не разговаривал, — ответил Петр.

— И лучше. Посидите-ка с нами.

Петр неловко подошел к Аннушке, видимо пересиливая себя.

— Что это вы... разговоры слушаете? — спросил он ее тихо.

— А что? Али нам уж, деревенским дуракам, умных людей и послушать нельзя? — вспыхивая румянцем, ответила Аннушка.

— Да нечего слушать... Ведь это так, разговоры. Митродор Васильич от скуки больше...

— Может быть, вам от скуки, а нам в новинку.

— Кажется, вы в недавнее время кого-то журавлями обозвали? — пошутил Петр и исподлобья смотрел на Аннушку начинавшимися блистать глазами.

— С досады, — ответила Аннушка, взглянув на него такими же блестящими глазами. — Очень уж вы надменны... Очень вы нас уж за ничто почитаете, деревенских.

— И в деревне есть люди всякие, — проговорил Петр, плохо вдумываясь в свои слова. В эту минуту он был весь поглощен чем-то, охватившим все его существо; он чувствовал, как у него начинало сильно биться сердце, как кровь горячим потоком переливалась то в груди, то в спине, вот она бросилась в лицо, подступила к глазам. Он сам чувствовал, что его глаза блестели... В нем загоралась страсть при виде этой красивой, здоровой, черноволосой девушки, у которой алая кровь горячо проступала сквозь смуглую кожу. Петр отмахнул со лба волосы и с непривычным для себя оживлением сказал, сдерживая голос:

— Желаете прокатиться в шарабане? У меня конь хороший.

— Желаю, — стыдливо выговорила Аннушка.

— Я приготовлю... А вы соберитесь...

— Хорошо.

Петр в волнении, раскрасневшись, отыскал свою фуражку и незаметно выскользнул из избы.

Аннушка, вся пунцовая и тоже взволнованная, стыдливо подошла к матери и тихо ей что-то шепнула.

Катерина Петровна таинственным взглядом обменялась с женой Графа, обе улыбнулись.

— Ступай... что же! — сказал Катерина Петровна тихо дочери. — Только ты постепенней держись. Ведь здесь — не у нас... Здесь на все смотрят... Своих не срами... Ты больно востра ведь...

Аннушка неторопливо оделась, как будто нарочно сдерживая слишком уже шибко говорившее в ней внутреннее волнение, именно только волнение, но не любовь. Этой таинственной, то пылкой, то тихой, замирающей симпатии не чувствовали ни она, ни Петр. Когда они сели рядом в плетеный шарабан и рослый карий жеребец понес их за село, они оба чувствовали только одно замирание. Что-то захватывающее дух, неотвратимое, непонятное, не столько приятное, сколько жгучее, охватило их. Так иногда встретятся две странные натуры, бросятся друг другу в объятия, выпьют залпом всю чашу страсти — и разойдутся... и будут уходить друг от друга все дальше и дальше, как будто между ними образовалась столь же сильная отталкивающая сила, насколько сильна была раньше сила притяжения. А бывает, что живут вместе, холодные, как лед.

Яркое, но чуть греющее осеннее солнце играло на легком покрове кое-где лежавшего по сторонам дороги первого снега. Быстро, плавно, ровно катился шарабан по промерзлой и гладкой, как холст, дороге. Гулко и звонко раздавался равномерный и твердый удар копыт хорошей лошади. Петр, держа в обеих руках натянутые вожжи, Аннушка, судорожно схватившаяся за край шарабана, — оба с устремленными вдаль глазами, не глядя друг на друга, затаив дыхание, словно окаменели. А лошадь все несла в необозримый простор.

— У вас такой же дом, что у Митродора Васильича? — спросила Аннушка, когда, наконец, Петр приостановил лошадь, поворачивая назад.

— Да, такой же...

— Хорошо, я думаю, жить вам... Спокой, чистота... Благородно... Шуму этого нет, без пути, бестолку...

— Да, этого нет... Только скучно...

— Что так?

— Хозяйства настоящего нет. Дом большой, только пустой... Я люблю, чтобы кругом все кипело... около дела... А вокруг меня таких людей нет... Это вот ежели Митродор Васильич, так ему все равно...

— Вот каково в жизни бывает... Вот у нас в деревнях — в одной избе сколько народу живет, ребятишек одних сколько, а и вся-то изба в два окна... Не знают, куда от тесноты деться. Одна моя подруга недавно замуж вышла в такую семью. Говорит: «Не знаю уж, как и зиму прожили!» Холод, а она родила. Ребенка окутать не во что. Все ребятишки перехворали... Сами все, большие-то, переругались. Из-за угла ссорятся... От тесноты не знают, куда разбежаться... А вот у вас—вишь, какие хоромы, а пустые стоят. Что вы раньше не приезжали, я бы вас на своей подруге сосватала... Она хорошая. То-то бы она вздохнула от такого житья! А то сердце надрывается на нее смотреть. Вот тоже сестра Паша...

— Мне, может, вашу подругу не надо было бы, — заметил Петр улыбнувшись.

— Какую же вам надо... городскую?

Но Петр нарочно стал хлестать усиленно вожжами лошадь, и та понеслась так быстро, что Аннушка невольно схватилась за руку Петра.

— Не бойтесь, — сказал он.

И снова оба они замерли, как окаменелые; снова блиставшими глазами упорно смотрели вдаль.

То был единственный «любовный» разговор, который вели между собой Петр и Аннушка.

Затем что-то сразу кем-то было сдвинуто, пущено в ход колесо машины, все невероятно быстро завертелось и закружилось.

После того как гости Графа разошлись, за исключением Пиманов, Петр увел Митродора в другую половину дома.

— Что ты? — спросил Граф, подозрительно смотря в взволнованное лицо Петра.

— Надо начинать, — сказал Петр. — Сватай! — и он улыбнулся.

— Одумал?

— Одумал... Только ты, того, Митродор Васильич...

Как бы это поскорее. Без всяких этих там, деревенских... Ну, знаешь... Ведь у них там это всякая... такая церемония... Не люблю я.

— Загорелось!.. Успеешь!..

— Нет, все одно... Только не люблю... Я бы, по-своему, прямо к попу, да и в дом... А то эти дружки, плясы... народ... Ты уж, пожалуйста, как-нибудь того... без церемонии...

— Нельзя, брат... Их тоже еще не скоро уломаешь... Еще они вот поломаются... Ну, а *сама-то* что? Как у вас?

Петр в недоумении взглянул на Графа.

— Ну, да это уж само собой, — прибавил Граф, сообразив, что этот вопрос был здесь неуместен. Он судил по себе. Но Петр и Аннушка были «влюблены» по-своему.

Как ни старался Петр сократить «церемонию», тем не менее ему удалось обвенчаться только через два месяца.

Глава третья

МИРНЫЕ ДЕТИ ТРУДА

I

Минула зима. Вслед за потоком первых весенних лучей все оживилось в деревне: вчера медленно двинулся снег по холмам, сегодня напружились воды, и, как будто от вздоха проснувшихся рек, лед поднялся, треснул и медленно, плавно тронулся, а назавтра вздохнула прогретая солнцем земля, и влажно-густые пары повисли над нею. Торопливо с полатей сползли мужики; хлопотливые бабы, крестясь, выгоняли скотину на потные нивы. Еще на полях листок не пробился, не высохла в улицах грязь, а уж всюду движенье, шум, суета: там провожают в работу артели; с топорами, пилами, толпясь, по улицам ходят отцы, сыновья и мужья; обливаясь слезами, матери в путь снаряжают подростков;

здесь шумно-крикливые сходятся сходы на выбор мирских целовальников, мерщиков, вытных и, выйдя в поля, покрестившись, равняют меж всеми еще неоттаявшую грудь кормилицы-пашни. Где — еще мирно, согласно заветам отцов, свершается дело мирского равненья, полагая предел жадным инстинктам; где — уже шумно и буйно, подобно голодным ягнятам, что алчно рвут друг у друга, толкаясь, полное вымя вернувшейся с пастбища матери... Всюду «зеленым шумом» загудела весна, всех пробуждая в деревне. Так отдыхающие близ божьего храма странники, вдруг заслыша первый удар с колокольни и скрип отворяемой двери, суетливо, шумной толпой, подбирая на спины котомки, спешат на призывные звуки.

Вот уж сошло половодье; ковром зеленеющих всходов покрылись поля; на припеке весеннего теплого солнца окрепли дороги; следом за артелями их оживили другие толпы: то переселенцы двинулись с севера к юго-востоку. Длинный ряд самодельных фур тянулся, тяжело нагруженный хозяйственным скарбом. Отцы, крупно шагая сбоку дороги, бичами коней погоняли; матери, окруженные стаей крикливых ребят, лепились поверх высоких возов, как пчелы около улья, когда пчеловоды переносят их с места на место. Медленно двигались фуры, истомленные клячи едва тянули постромки и часто, в гору поднявшись, долго стояли, расставив дрожащие ноги и тяжело дыша. Да и сами путники делали часто привалы. Достигнув большого селения, табором, словно цыгане, близ околиц они становились. Зажегши костры, готовили матери кашу, подростки хворост сбирали, а мужья и отцы расходились по окрестным селеньям, прося подаянья. Всюду охотно им помогали крестьяне, видя их грустно-смиренные лица, и, собравшись толпами вкруг них, долго слушали их полные скорби рассказы. Так ежегодно, капля по капле, насыщают крестьянскую душу и ум волны народного моря, переливаясь от края до края...

Троицын день был. Нынче три праздника выпало кряду. Старый Пиман с сыновьями, вымывшись в бане, вышел под вечер к воротам — на улицу. Здесь они рядом сели на лавку, предавшись обычному отдыху на

виду у деревни. Давно уж они тут не сидели. Много нынче дел у Пиманов: то свою землю вспаши, то поспевай к зятю, то в Волчий поселок. Свою деревенскую улицу только и знали они, когда уезжали до свету в поле или возвращались с поздней зарей. Случалось, всей вытью на неделю они уезжали в поля.

— Ну, вот и вы проявились!.. Пора бы и отдых уж знать... Пора бы и свой мир проведать, — говорили, шутя, подошедшие к ним соседи. — Совсем вы от улицы нашей отбились! По целым дням вас не видишь... Отбились от мира.

— Точно, давненько на улице мы не гуляли... Вот попарили кости да вышли их поразмять, — отвечали довольные телом и духом Пиманы.

— Вы, поди, уж совсем позабыли, что и творится в миру... В довольстве да в счастьи других забываешь скоро.

— А что?

— Да так... К слову... Вон вы всю зиму свадьбу играли да по усадьбам купецким гуляли... А теперь накинулись вот на работу...

— Что ж, слава богу!.. Всякому дай бог... Мы довольны теперь... Чего же нам больше?.. Больше желать нам не надо... Бога зачем гневить?.. Говорим: всякому дай бог, а мы, слава богу, довольны! — так отвечал счастливый Пиман.

— Слава богу, что говорить!.. Законнее счастья не сыщешь... Мы и то говорим на миру: вот счастье Пиманам!.. Да сто́ят, что говорить... Счастие ваше к рукам... Кто скажет иное? Про вас другого не скажешь: видимо всем, что у вас под сохой сама пашня поет... Вам завидовать грех!.. Как бы так-то к рукам да у всех в мире... а в мире другое... Весь и грех на земле, думать надо, от этого самого вышел... Кому не к рукам — у того всего много, а кому к делу — у того нет ничего... Вот взять хоть бы землю: сколько земли, поглядишь, а народу тесно!.. Не прямое ли дело, что бога гневим понапрасну?

Так говорили хозяйные люди.

— Вот вы не знаете, сколько нынче переселенцу мимо нас провалило... Из годов вон! Шли и прежде, да все же не так... Говорим: «Что вы, братцы, ровно сбесились? Ведь от родного гнезда отрываться не шутка!..» —

«Тесно, слышь, стало: от тесноты...» — «Да куда же божья земля подевалась? — толкуем. — Немец, что ли, пришел к вам?» — смеемся. «Как нет земли! Земля есть, да не у рук, говорят. Что было, и ту мироеды прибрали... Тесно и телу, а с телом душе утесненье...»

— Что говорить! одно к одному...

— Порассказали всего!.. К ночи припомнить — волосы встанут!.. Говорили одни: оттягал, вишь, у них мироед клин земли (а и то уж они кое-как перемогались), выгнал наемных косцов... А матери все собрались да под косы и побросали младенцев!..

— Господи-батюшка!.. Еще милосерд он, должно, к нам, создатель! — сказали Пиманы.

— Порассказали всего, — продолжали соседи. — Вчуже страх забирает... Тоже вот — драки, убивства... Бросили землю промеж собою равнять.

— Сохрани господь и помилуй!..

— Да уж и та мысль западает; как послушаешь этих рассказов: не дойти бы и нам... Похожего тоже немало... Недаром ноне Вальковщина вся бегает слушать эти рассказы... Больной больному весть подает... Вот и теперь половина наших ушла, а ребятишки еще с обеда, почесть, все убежали...

— Разве стоят и теперь? — спросил старший Пиманов сын.

— Стоят... Вот на трахту, версты за две отсюда, табор разбили... Семей, слышь, с полсотни... С Олонца идут...

— Надо сходить, — сказали Пиманы, — послушать, как люди живут в дальних краях... А то так, за работой, совсем одичаешь!..

— Дело одно! — подтвердили соседи. — Как раз одичаешь... Мина недаром припомнишь: работать — работай, а на народ все выбери время сходить: на народе мякнет душа!..

— А где он? Неуж с богомолья еще не вернулся? — разом спросили Пиманы, чуть не впервые вспомнив о Мине.

— Нет еще, нет, то-то и дело!.. И мы уж взыскались... Федора его чуть не всю волость с ног сбила: все начальство тревожит... Да как же инако? Надоть работать, земля ведь не ждет, а его нет, как нет!.. Ругательски баба ругает его!.. Да и жалко точно ее:

Янька тоже, должно быть, в отца уродился. Работать не шустер, нет прилежанья большого... Как мало время, так и закатится кто его знает куда... и бьет там баклуши... О Пасхе вон выдумал в город ходить; отца, вишь, все ищет... А дело-то проще: стал попивать.

Так говорили соседи, медленным шагом двигаясь к переселенцам. Но Пиманы молчали, и только Андрон немного спустя мимоходом заметил: «Против судьбы не пойдешь».

И, вздохнувши на эти слова, все повели разговор о хозяйственном деле.

Вот и переселенческий табор. Убого стоит он на голом, скотиной утоптанном выгоне. Не было здесь ни шатров, ни палаток; только на вздернутых кверху оглоблях висели рогожи и тем защищали сидевших под ними от зноя и непогоды. Солнце давно закатилось. В полумраке розово-желтой зари сновали тени вкруг теплин, бросавших на них прихотливо лучи. Плакали малые дети. Матери их окликали. Подростки беспечно чехардою играли, как будто желая пришедшим гостям показать свою ловкость. Старики и старухи, молча сидя у костров и широким размахом крестясь, жевали скудные крохи. Из хозяев иные еще доедали ужин, другие ж врастяжку лежали между колес. Вдали лошадей силуэты чернели... У последней только телеги толпился народ любопытный, прибежавший из деревень. Были тут люди всякого пола и возраста. Молча стояли они, запрятав руки в карманы, и кому-то внимали, изредка только рассказ прерывая коротким вопросом.

Пред ними, близ котелка, в котором варился картофель, стоял высокий, костлявый, в старой шинели, седой ветеран. Был он дряхл, и глаза у него постоянно слезились, но держался все еще выправки бравой и строгой; щетиной торчали усы и небритый давно подбородок. Одет он хоть в рубище жалком, но, видно, был всех веселее. Бойко лилась его речь, светло и радушно глядели глаза, и часто все его кости, казалось, плясали, когда говорил он или громко сам же смеялся рассказу. Так был он неунывающ и бодр, и верой проникнут, как будто Израиля вел в обетованную землю, где молочные реки текут, где теплое солнце весь день

не заходит, где жатва собирается дважды, где правда, довольство, свобода... Видно, что путникам был он немалой утехой в длинном пути, так как доселе они не скучали, может быть в сотый раз уже слушая эти рассказы, и многие, тут же собравшись, слушали молча. Близ котелка у огня, тихо прижавшись друг к дружке, две девочки сладко дремали под эти рассказы. Но, как будто стыдясь заснуть при народе, пока их дед говорил, вдруг просыпались и долго терли пальцами глаза.

— Польшу мы воевали, — говорил старик, обводя всех радушным взглядом. — Тоже вот было... Тяжко жилось там народу. Мы уж люди вольные были, а они все еще проживали при барах... А бары у них были не нашим чета... Что наш барин!.. Супротив ихних, наш барин так... дворецкий... Все одно, что по-ихнему шляхта... Барин же был у них пан ясновельможный... Так вот как: у нас был барин один, у них же и под барами баре стояли: сами лакеи барского звания были... Народ же и близко к барским хоромам не смел подходить, не то что сапог господину почистить! Раб был, хлоп, быдлом его прозывали: по-нашему просто, значит, скотина... Как скотина ж, и пил он, и ел... Не знавал ни хаты своей, ни земли. Изо дня в день шляхта гоняла его на работу к панам. А паны — так те и говорить с ним гнушались... Быдло — одно... Только крестьянина бог не покинет... Заслышали хлопцы, что царь даровал нам свободу. Ожили духом — и ну бунтоваться. Выбрали тут ходоков и к самому государю послали... «Что, говорит государь, вам, братцы, надо?» — «Да вот, говорят, государь, бунтоваться хотим, тяжко нам жить у господ, тяжко без правды и воли нам жить... Просим тебя, государь, окажи нам великую милость: дай нам своего короля, чтоб у него мы защиту нашли от шляхты и панов... Нет у нас короля, чтоб стоять за крестьянский народ, чтоб дал нам свой хлеб, скот свой и хату!..» — «Хорошо, говорит русский царь, вашему правому делу я помогу... Только не дам я вам своего короля, а вы мне покоритесь... Согласны?»—«Как не согласны! кричат, да мы всею душой, только дай нам защиту от панов!» — «Ну, царь говорит, хорошо; коли так, ступайте домой со Христом, а я пришлю к вам свое храброе войско...» Вот нас и послали...

— Кого ж воевать?

— А панов. Ну, и пошли мы: думаем самих бог по-

радовал волей, надоть и за других постараться... Все ведь одни, мужики-то, на свете: друг для друга надо ль стараться? Тоже и народ помогает народу.

— Ну, как же вы там воевали, служивый? — кругом раздавались вопросы. — Чем кончилось дело?

— Война была, братец, особого рода: солдат воевал с господами... Войны такие не часто бывают... За весь век и сам я одну только видел. Вышлют нас, роту, рощу облавить: оцепим, да словно бреднем и выудим рощу... И что же, братцы: все баре, все вьюношь одна молодая... Погоним конвоем, шагают так храбро, песни поют на своем языке; а Варшавой погоним, — паньи из окон им машут платками, бросают цветы, другие — матери, может, аль сестры — плачут... Жалко... Вьюношь все... Вся по книжкам учена наукам... Ну, да нельзя... Пред крестьянином царь обязан был словом своим...

— По книжкам учена, а неправды не хочет решиться? — заметили тут мимоходом.

— Да вот... поди ж ты!

И долго рассказывал старый служака свою бесконечную повесть. Между тем как одни из пришедших его окружали, другие, подсев к котелкам, вкруг которых переселенцы семьями сидели, тихо и с любопытством пытали: откуда? что сняло с родимого места? И в ответ им то там, то здесь слышались только короткие речи:

— Нудно землей... Ренды большие — невмочь... Правды не стало... Мир расшатался... Маетно... Что ни дележка — драки да брань... Велика ли землишка — и той поделить не сумеем... Нудно душе... Сын воюет с отцом... Брат брата убил за пятерку, а уж обоим было за шесть десятков... Помочи нет, только одни перекоры... Вот две девочки теперь у солдата... Дети мирские, сиротки... Миром кормить отказались... Мироеды на пьяниц, а эти на них... Уж солдат за себя взял.

— Захирели — вот вся причина! — вдруг раздался голос служаки, который, заслыша обычные пени, то к тем подходил, то к другим, сопя своей носогрейкой. — Захирели мои мужички — вот главное дело!.. Ну, да бог даст... Главное — духом не падать!.. А вы, господа, нас не смущайте!.. Ха-ха!.. — весело он гостям отзывался и уходил, заслыша говор в другой стороне.

А там опять говорили.

— Вы всей деревней снялись?

— Нет... Товарищи будем... С разных соседних селений... Мы те, что смирнее... Воевать было нам нудно... Остались кто похрабрее... да мироеды... Мы ж посмирнее... Вот и идем.

— Хорошо будет там?

— А не знаем, родные... Мы за солдатом... Он нас ведет... Мы уж за ним... Был он там, говорит...

— За мной, все за мной! — вдруг опять откликался служака. — Ничего, мужички! Главное дело — духом крепитесь... А что будет всем нам простор и приятство — это будьте в надежде!.. Главное дело — не захиреть!.. Ветром обдует, дождичком спрыснет, солнцем пригреет — хвать, и другой человек стал!.. Вот в чем загадка!.. Вот поглядите меня; мне ведь седьмой десяток в исходе, а что изведал, так, верно, из вас довелося немногим... А вот глядите: чем не солдат!.. Брав и весел — и духом, и телом! А все почему? Захиреть себе не дал... Как чуть малость — так полировку... Бывало, я вам скажу, засядешь где в гарнизоне, сейчас тут тебя и затянет: раскиснешь, что баба, ударишься в дрязги, из-за грошей станешь ругаться, душа зачерствеет, просто дрянь человек!.. Гляди того, за ничто человека загубишь... Только в одном и спасенье было: ударишься в ноги начальству — пустите в поход!.. Как ушел на свежее место — другой человек! Ожил!.. Куды что девалось!.. И весел, и сердцем отмяк... Побывал я везде: на Кавказе, в Крыму, в Бессарабии... В Финляндии был раза три, у киргиз, на китайской границе... И что ни раз, только пару в себя поддавал!.. Только бы новое место... Так-то, любезные!.. Дело великое это!.. Бог даст, придем: закипит тут работа. Избы ставить, подымать новину, хлебушко сеять... Дружба такая пойдет — не видали и век!.. Вот вам и правда окажется въяве!.. Что я же, все заново сразу пойдем! Сами себя не узнаем! Вот так обновимся — уж вы мне поверьте!

— Уж мы за солдатом! — твердили смиренные пахари. — Мы те, что смирнее... Пусть там вояки воюют, а мы за солдатом... Служака бывалый, нас не обманет...

— Уж будьте в надежде!.. Земли, что ли, нет? Для кого? Для мужичка?!. Для мужичка земли у господа много!.. Здесь нет — к татарам пойдем; у татар нет — к турке пойдем... Главная сила, чтобы нас пообдуло!.. А то захирели мы, мужички!

Уж заря потухала, пропел первый петух где-то вдали, и звонко донесся сюда по росе его выкрик, а Пиманы все слушали переселенцев.

Сутки прошли, и двинулся дальше убогий табор. Скрипя и шумя, тянулся по тракту длинный ряд фур. Впереди, вожаком, выступал беззаботный служака, подгоняя коней веселым свистом да сопя в свою носогрейку. Несмолкаемо он говорил: то с встречным прохожим, то обходил фуру за фурой и с каждым ронял по словечку, бодрость во всех пробуждая, говорил и с собакой своей, что устало плелась за телегой, и с лошадьми. Вот и еще повстречаться с Пиманами им указала судьба. Пиманы ехали к зятю в усадьбу на праздник.

— А! Знакомцы! — весело крикнул служивый. — Перебирайтесь-ка к нам ежели часом и вам захиреть доведется... Пишите!

— Дай бог счастливо! — улыбнувшись, сказали Пиманы в ответ на веселые речи вояки. — Смотри же, служивый, ведешь за собою ты горе большое!.. Будешь отвечать перед богом, коли это горе обманешь!..

— Я-то?! Смерти вернее — вот как скажу! — крикнул служака. — Двух лет не пройдет — не узнаете нас! Заново всех предоставлю!.. Мой лес не червяк подточил, а засухи!.. Только бы ветром пахнуло с весны, да спрыснуло б дождем, да солнышко теплым лучом приласкало — вот вам и зелень!.. Прощайте, миляки!..

— Дай бог счастливо, дай бог счастливо! — с искренним чувством говорили вслед им Пиманы.

И жалость прокралась им в сердце к путникам, которых судьба с родного гнезда погнала в неведомый край, и тайная радость в душе шевельнулась, что прочно теперь их довольство, что ни им и ни детям уже не придется, быть может, изведать горькую участь скитальцев...

Вдали, из-за рощи, уже виднелась светлая, высокая, веселая усадьба умственного мужика.

II

Не впервые подъезжают Пиманы к усадьбе умственного зятя, и с каждым разом ощущение довольства растет все больше и больше. В душе поднимаются темные, полуопределенные надежды, является полуосознан-

ное, но приятное ощущение общего подъема духа; в страшно однообразную жизнь вливается новая струя неизведанных прежде ощущений, интересов.

Вскоре после Рождества была свадьба Петра, и, таким образом, в лице его и Аннушки был заключен желанный союз умственных и хозяйственных мужиков. Все эти Пиманы и Ефимы были довольны, очень довольны, и целая масса Пиманов и Ефимов им сочувствовала от души, благословляя этот союз в простоте душевной и завидуя.

Пиманы и Ефимы были довольны и вели себя настолько безукоризненно, что даже Петр не имел никаких поводов быть недовольным и повеселел. Несмотря на всю свою замкнутость и на нелюбовь ко всяким церемониям, он настолько разошелся, что позволил себе кутнуть, хотя, впрочем, упорно настоял, чтобы празднество никоим образом не коснулось его родины, Дергачей. Медовый месяц продолжался почти вплоть до масленицы; праздновали исключительно в усадьбе Петра и Митродора Графа. Ездили даже кататься целым поездом в село Доброе. Петр не устоял против тщеславного желалания «утереть нос» добросельской интеллигенции и волостным воротилам. Женитьба на простой крестьянской девушке в этом случае не была лишена особого значения: она выдвигала только рельефнее собственную силу, личную мощь Петра, его умственность и независимость. Таким образом, здесь жених показывал не свою невесту, а самого себя. На праздниках Петра если не было много гостей, зато они были однороднее; тут не было никаких «почетных» лиц, даже старшину не позвали. Священник был принят очень холодно и, получив тотчас после проводов молодых от венца должное, принужден был скоро со всем причтом отретироваться во-свояси. Главными гостями Петра были те «умственные люди», со многими из которых мы познакомились в предыдущей главе. Душой компании был Кум, неистощимый на всякие шутовства, а украшением — почтенный сектант, Макар Макарыч Кочергин, и только на первые дни свадьбы приехавший Еремей Еремеич Строгий. Впрочем, недовольный тем, что на свадьбе не было никого из близких родных Петра — ни Ульяны Мосевны, ни дядьев (справедливость требует сказать, что Петр посылал к ним приглашение и получил от Ульяны

Мосевны заочное благословение, а от дядьев — молчаливый отказ), старик Строгий уехал, побеседовав только с сектантом и не завернув в Дергачи Петр, впрочем, был вполне в этом утешен своими новыми родными, в особенности благообразным и обстоятельным тестем Пиманом, в котором Петр, как ему казалось, нашел истинного для себя отца, а в Андроне и Сергее — истинных братьев.

Нынче, как и всегда, Пиманы застали у Петра обычное общество. Благодушный родитель, Вонифатий Мосеич, продолжал разыгрывать роль гостеприимного патриарха. Со времени женитьбы сына он, впрочем, почему-то стал держаться степеннее, надменнее и с сознанием собственного достоинства, как будто давая знать родне, что они собственно пред ним еще мелко плавают и что он — человек, раньше всех их понявший, что за птица его сын. Роль эту, однако, он не всегда выдерживал последовательно, отчасти, может быть, по внутреннему сознанию, что какое же это собственно достоинство — плавать с Сиклетеей из амбара в сенник, из сенника в амбар, отчасти вследствие грубоватых насмешек Митродора Графа или непосредственно-наивных замечаний на его счет разных Ефимов. Тогда Вонифатий конфузился и, чтобы скрыть замешательство, впадал в добродушно натянутое шутовство. Петру все это очень не нравилось, и он продолжал обращаться с отцом холодно и сдержанно. Стало это не нравиться и самому Вонифатию Мосеичу, и уже у него созрел кое-какой план, которым он думал поправить дело... Но это пока был их секрет с Сиклетеей.

Роскошная дочь хозяйственного мужика, Аннушка, распустившаяся за полгода в добре и привольи, как добрая дыня, была истинным украшением хозяйства молодого умственного мужика. Пока еще стройная, но с упругими и полными формами, выпукло выливавшимися в модные платья, с черною косой, с карими с поволокой глазами, хитро-насмешливо сверкавшими исподлобья, она уже вполне отлилась в тип тех красавиц, которых любил навещать некогда в разных веселых «хуторках» романтик-помещик и которых теперь отгуливает мужик для собственного «обиходу». Надо было видеть умиление, с которым каждый приезд свой смотрели на свою распускавшуюся в привольи «девку» хозяйственные мужики, от которых все еще наносило серотой и чернотой и ко-

торые до сих пор еще не сумели освоиться с поведением нового общества. Затем неизменными гостями Петра были: Граф, сектант и Кум, этот добродушнейший смертный, которого Граф не отпускал почти от себя. То был единственный человек, допущенный умственными людьми как увеселяющий их общество элемент. Всякое другое «фиглярство» было нетерпимо. Чем заслужил Кум такую льготу: тем ли, что у него умственные люди имели всегда возможность перехватить денег, или молчаливая беззаветность этого человека и непосредственность его шутливости были так увлекательны, что пред ними не могли устоять даже такие «серьезные» люди, как сектант? Таково было общество и сегодня, хотя оно иногда увеличивалось, когда приходили братья и сыновья сектанта и кое-кто из его сподвижников, столь же ревниво охранявших носимый ими в себе «храм божий», сколько и он сам. Бывали и приятели Графа...

И вот, когда серые Пиманы попадали в это общество, им казалось, что они себя редко чувствовали счастливее, или по крайней мере столько же, сколько при хорошем урожае, при прибыльной работе. И при том вдруг почему-то они начинали находить под собой прочную почву, чувствовали, что самое их существование было прочнее, тверже. Мало того, даже в будущем мелькали для них какие-то вполне осязательные идеалы: в умственных мужиках пред ними стояло как бы реальное воплощение некоторой «мужицкой идеи»... Да, «мужицкой идеи»... Пока жив барин — будет жива и эта «мужицкая идея», и в данный момент в народе столько же романтиков «мужицкой идеи», сколько и романтиков «народной правды».

— Ну, что, как дела? — обыкновенно спрашивал Граф после обычных приветствий.

— Что дела! Дела у нас за первый сорт!

— Дело у нас идет дружно, ходко, словно по воде течет...

— Дело у нас идет артельно, потому дело в руках, от рук не отбивается, — разом, перебивая друг друга, размахивая руками и сияя довольством, говорили Пиманы.

Это самодовольное сияние было столь увлекательно,

что не могли удержаться от улыбки даже Петр и сектант.

— Ну и ладно, — сказал Петр, — мы, коли так, в скором времени машины заведем...

— Что нам машины!.. Машин нам не надо... Мы сами почище машин дело обделаем... Ты нас только к настоящему делу припусти, чтобы мы в деле-то вкус видели, крепость, так нам что тогда машины!..

— Вот возьми моего Пимаху, так он тебе за двух машин постоит! — улыбнулся старый Пиман.

— Что машина! — продолжал Андрон. — Тут не машина, тут дело в правилах идет, дело в руках... Вот возьмем хоть бы нас: нанимали мы прежде у Маркушки землю в одиночку, в ренду... Ренды он гонит в шальную голову, каждый год выше да выше... С чем сообразно?.. Так мне на евойную-то землю, можно сказать, плюнуть... А вот как теперь, умственно-то все понять, вот как ты допустил к ней, матушке, настоящего человека, да пустил ее не в ренду, а исполу, или там из третьей доли, так мы тебе тут умрем на ней! Вот как!.. Да!.. Да у тебя земля-то поет... Она не бросовая будет: что ни год, то пуще в силу будет входить, потому навозу-то я в нее не пожалею... Тут не машина, а правильного дела нет, настоящий человек к земле не припущен...

— Вот переселенцы идут... Переселенцев встретили, — заметил Пиман. — Тоже говорят: земли много, а не к рукам, не у рук... Оттого и идет... переселенец. Земли много, а идет...

— Как земли мало! Земли много! — подхватили Андрон и Сергей. — Вот взять хоть бы теперь наших кулаков... Нахапали земли видимо-невидимо... А разве она к рукам у них?.. Так, грабительское дело — больше ничего. На землю-то матушку тяжело смотреть... вся иссохла, ровно вымя у голодалой скотины... Пожалуй, дои ее без пути-то!.. А дай-ка эту землю деревне, настоящему народу, так пашня-то запоет!.. «Мы, говорят, тоже за нее подати платим...» Да какой ляд в твоей-то подати, ежели одно тут утесненье?.. Да и царю от тебя доходу грош... Платит он, кулак-то, хотя примерно, десять рублей за сто десятин... А ты отдай-ка ее нам, так мы тридцать заплатим... А то нахапали земель, а сами сложа руки сидят...

Но тут Андрон и Сергей почувствовали, как будто в их речь вкралось, вследствие увлечения, что-то неладное. Действительно, в их словах звучало как будто некоторое противоречие, но эти противоречия составляют такой неизбежный в данный момент элемент всякой крестьянской речи, что его очень редко замечают сами говорящие. Слушающие же или сами тоже не замечают, а если и заметят, то или умолчат, или же поймут в особом смысле.

— А переселенцу идет видимо-невидимо, — начал опять Пиман, — ровно вот мыши али крысы иной раз подымутся: и идут, и идут... И бог их знает — куда и из чего!

— Как же нейти? Нельзя не бежать, когда хорошему человеку жить нельзя в таком беспорядке, — сказал Петр, припоминая свое восклицание по поводу беспорядков в Дергачах.

— Конешно, от беспорядков, — продолжал Пиман. — Земли много, а народу тесно. Царю ущерб, а народ бежит... Какой уж это порядок!.. И порассказали же всего! «Мы, говорят, кои посмирнее, уходим, а вояков-мироедов да пьяниц оставили... Пущай их воюют!.. Житья, говорят, не стало! Душе стало тесно...» Вишь ты, парень, до чего дошли — ребят стали пропивать! Ей-богу! Слышь, сиротки остались. Ну, стали говорить на миру, чтобы, значит, на мир их принять; пьяницы и говорят: «Пущай мироеды кормят, на то они и богаты», а мироеды говорят: «Не обязались, вишь, мы ваших щенят растить!» Ну, а тут, вишь, такой народ проявился, купцы такие пошли, что ребят сбирают на фабрики: «Уступите, говорят, нам! Мы в лучшем виде устроим!..» — «Ладно, говорят, сделай милость!.. Ставь магарыч...» Да уж солдат за себя взял... Вот какие бедовские дела пошли!.. Ну, и бегут...

— Правда от неправды бежит, — заметил сектант.

— Отберите, сказано, плевелы от пшеницы, — повторил его брат.

— Отделите козлищ от ягнят, — продолжал первый брат.

— Соберитесь в сонм избранных, да не пожрет вас проказа!

— Вот-вот! — подхватили братья Пиманы. — Только ежели настоящему народу собраться — ну, еще можно...

— Нынче в миру нельзя дело вести. Нынче только и можно жить, ежели уйдешь подальше... Еще свое дело можно кое-как вести, а общественное... — и Граф махнул рукой.

— Это верно... Еще вот ежели выбрать кого из настоящего народу, ну, можно, в товарищах ежели... И то — отойди подальше.

Так размеренно, степенно и «благородно» велись длинные, умственно-деловитые и хозяйственные разговоры, во вкус которых с каждым днем все больше входили наши хозяйственные мужики, и не только Андрон и Сергей, но даже сам Пиман мало-помалу научились «умственному» резонерству.

После обеда, когда гости разъезжались и оставался только Митродор Граф на правах ближайшего друга дома, Петр, дозволив себе поблагодушничать, снисходил до того, что допускал принять участие в этом благодушии даже хозяйственных мужиков. В эти минуты он настолько размякал, что решался мечтать вслух и показать хоть уголок своего внутреннего, замкнутого и ревниво охраняемого от постороннего взгляда мирка.

Запасшись орехами и брагой, все мужики, распустив пояса, друг за другом выходили в «галдарею» в сопровождении Аннушки и жены Митродора Графа. Здесь, в виду открывавшегося с галлереи однообразного и серенького пейзажа, перерезанного лишь мало оживленною пунктовою дорогой, все предавались послеобеденному «спокою», так располагающему к откровенности. Говорилось здесь о многом, о чем умалчивалось при посторонних. Говорилось, например, о пильном заводе, о том, что хорошо было бы купить и барский лес, да кабы его «взять к рукам». Говорилось о паровой мельнице. По поводу мельницы хозяйственными мужиками, уже понабравшимися от умственных людей некоторой фанаберии, был заведен такой разговор:

— Чтой-то, братцы мои, в нашем государстве ученого народу не видать? — спрашивал Андрон. — Все только одно начальство... диво! Как ежели мало что по умственной части, так тут тебе и немец! Механик какой или там машинист — все немец; вон чугунку, слышь, тоже француз вел... Значит, у них там всему этому обучают, что к жизни... А у нас не видать, братец мой!.. Косу теперь взять... Уж на что, кажись, коса инструмент немуд-

рящий, а и то вон от немца идет, от астрияка... А у нас нет как нет своей! Диво! Барин коли ежели есть где умственный при фабрике — знай прямо: немец! А у нас что барин, то становой: ездит да подати собирает. Науки, что ли, у нас нет такой, настоящей, али барин уж такой...

— Какой наш барин! — говорил Петр. — Науки есть... есть и у нас по столицам науки, только не в коня корм. Наш барин не настоящий, можно сказать, человек, а так... проживальщик! Ему науку дают, а он все норовит как бы безобразием. А народ уж от него учится. Смотрит: ученый барин безобразит, а мне и давно можно.

— А науки есть?

— Науки есть. Только настоящего человека к ним не подпущают.

И при этих словах в воображении Петра вдруг встала Москва, семья Дрекаловых, спущенный с лестницы «ученый», все эти Сережи, Веры, Пугаевы, и каким диким, грубым презрением звучали его слова! Это воспоминание неприятно подействовало на Петра, но в это время Аннушка сказала жене Митродора Графа:

— Как у нас здесь прекрасно. Мне бы, кажись, лучше до смерти не надо, а Петр Вонифатьич уезжать хотят... Нам их не понять! — прибавила она с наивною верой в безграничную умственность своего мужа.

— Куда ж это ты? — спросили изумленные гости.

— Да это так, — смущенно улыбаясь, проговорил Петр, — пока еще так... Об Волчьем поселке подумываю... Дедовское гнездо... Дед хлопотал, старался, настоящими людьми хотел всех сделать, а мы, по глупости, бросили его да разорили... Так вот хорошо бы подновить устои-то. Место привольное... Ежели с настоящим народом, можно лесопилку пустить и мельницу паровую... Вот бы туда все и перебрались... Глядишь, целый город разродился бы у нас. Вот около Москвы есть такие фабрики. Всякому там работа, все кипит варом... Вот тогда и у настоящего человека сила будет. А теперь у настоящего человека силы нет, теперь настоящий человек кроется... Тогда бы настоящий человек-то и указал бы грабежу-то да безобразию настоящее место. Тогда и показал бы настоящий крестьянин, каков он есть!

В таком роде долго велись интимные разговоры, и хотя Петр не пускался в большие подробности, но и этого было довольно, чтобы наивные Пиманы пришли в несказанное умиление, крестились широкими крестами, предвидя в перспективе целую уйму работы для «хорошего народа», которую открывал им умственный мужик.

А когда после вечернего чая и ужина все, сытые и довольные, разлеглись в прохладных сенях на душистом сене, каждому снились одни и те же радужные сны: будущее царство «настоящего», умственного и хозяйственного мужика.

III

Было ли тому причиной душистое, свежее сено, напомнившее Пиману о чем-то недавнем, или какая-нибудь другая комбинация условий, только сон его принял к концу несколько иное направление. Снилось сначала ему, что будто лежит он в своей сеннице вместе с Мином Афанасьичем, и идет между ними дружеская беседа. Жалуется Мин Афанасьич на свою жену Федору, что не дает она совсем, глупая баба, житья Мину: захочет ли Мин на народ выйти, побеседовать с хорошим человеком о правде, о житейском, задумает ли Мин богу сходить помолиться — вцепится ему в полы глупая баба и не дает никуда шагу ступить. «Работай, кричит, старый хрыч! Куда ты от работы бежишь?.. Не видишь, что ли, как добрые-то люди до работы дорываются? Взгляни-ка на Пиманов: думают ли они когда о чем? Они и об душе-то за работой забыли думать: все только работа... Уйма работы!..» — «И не знаю, что мне с своей глупой бабой делать: изведем мы друг друга — либо она меня, либо я ее... Как тому делу пособить? Сделай милость, ты уж мне посоветуй... Нет нам мирного жития». Думал-думал Пиман, как приятелю ответить, и не надумал. Вот и пошел он к умственным людям. И идет он будто час, другой, и пришел в Дергачи. В Дергачах сход: все-то на нем, на этом сходе, умственные да хозяйственные крестьяне, все-то в смазных, что ни есть новых сапогах, все-то в суконных поддевках и кумачных рубахах, у всех-то через шеи цепочки к часам серебряные, а жилетки ковровые. Бороды расчесаны, волосы помадой

смазаны. Перед сходом стоит Федора и ругательски Мина Афанасьича ругает.

— Господа миряне, — говорит она, — как вам угодно, войдите в мое положение, приведите мужа к порядку... нет мне житья... Земля стоит не пахана, хозяйство не прибрано, подати не плачены, а он ушел богу молиться да и сына свел... Спросите, почтенные, с него ответ... А мне помочью поля уберите, потому жить мне надо, а я за своего мужа, непутного, не ответчица!

Так вот и сыплет, и сыплет Федора, а умственные мужики ее слушают. И будто сидит тут же, в сторонке на бревнышке, Мин Афанасьич вместе с Янькой. И такое ли у обоих у них лицо светлое, мягко-так улыбаются, а сами в кафтанишках дерюжных, в лаптях.

— Как же это вы, братцы, так незаконно поступаете? — спрашивают их умственные мужики, Андрон и Сергей. — Все люди к хозяйству прилежат до поту лица, все люди о податях пекутся, все носят сапоги смазные да синие кафтаны, а вы, между прочим, это во внимание вовсе брать не хотите?

— Как, — говорят Мин с Янькой, — вам, господа, умственные миряне, угодно, а только вы от нас нашей правоты не отымете... Хотите — милуйте, хотите — казните, этим вы нас не огорчите, потому наша правота при нас останется...

— Какая же ваша правота, ежели все люди стараются, а вы между тем прилежания не оказываете? — спрашивают опять умственные люди. — Теперича вот баба помочью мир утруждает, хозяйственных мужичков от своей работы отбивает, а у хозяйственного мужичка теперь работы столь много, что и глазом не окинешь... Что теперь умственные люди должны сказать, ежели хозяйственный мужичок, свою работу бросивши, да пойдет вдовам да мужним женам помогать, а мужья будут между тем по богомольям ходить да по базарам толкаться?.. Ну, порядок ли это будет? Не стоишь ли ты с сыном, чтобы вас, примерно, казнить, а впоследствии времени, ежели от вас исправления не будет, то и совсем извести?..

— Как, господа умственные миряне, угодно вам будет, — опять сказал, улыбаясь, Мин Афанасьич, — а только правоты нашей вам от нас не отнять... А правота наша одна: пойду я богу молиться, а ты за меня пора-

ботай; захочу я на народ сходить поразветриться, — и опять же ты за меня поработай. А ежели и ты захочешь богу помолиться, я за тебя поработаю... Помогай, Пиман Савельич, помогай! — вдруг закричал Мин. — Как хочешь, а помогай... Не пущу я тебя к зятю на работу — помогай!.. Сначала мне полосу вспаши! Моя полоска небольшая, я не жаден... Помогай! Помогай!

И, будто вскочив, он и все — и Федора, и Мин, и Янька, и потом еще отставной служака, что переселенцев вел, и две сиротки с ним, — все протягивают руки и хотят схватить Пимана с сыновьями за полы. А Пиман с сыновьями бросился бежать к зятю и кричит, и будто все умственные и хозяйственные мужики кричат: «некогда! некогда!» Кричат, а сами полы подбирают, бегут все дальше и дальше, а Миновы руки все за ними тянутся и за полы хватают. Вот и бежит Пиман от Мина все скорее, все дальше и дальше, вот будто убежал он так далеко, что уж не только Мину не достать его за полы, а уж и совсем его не видать и голосу не слышно... А Пиман все бежит, бежит... и вдруг прибежал. Видит — острог! Ведут его конвойные солдаты. Вот загремели у тесовых ворот цепи и ключи, завизжали засовы; повели Пимана по темным коридорам, вместе с двумя другими крестьянами из Вальковщины. Пиман шагает, как будто во сне, он весь дрожит, лихорадка бьет его от страха...

IV

Пиман проснулся, огляделся кругом в чуть брезжившем сероватом свете раннего утра. Он был действительно в остроге маленького уездного городка: нары, решетки; серые халаты, храпят с боков, спереди, сзади... И точно, он долго не мог понять хорошенько, было ли все это сон или действительность. Все это совершилось так быстро и так неожиданно, сорвало с корня его, мирного пахаря, шестьдесят лет крепко цеплявшегося корнями в устойчивой почве, и притом в тот самый момент, когда он чувствовал, что эти корни запущены прочнее, чем когда-либо. Неожиданность эта была так велика, что из его памяти даже внезапно исчезли целые дни, события, лица. Так, сколько он ни силился напрягать воображение, он долго еще не мог отрешиться от мысли,

что он попал в тюрьму прямо после того, как заснул у зятя на душистом сене. Даже после, когда в его памяти мало-помалу воскресала вереница недавних событий, он все-таки не мог уяснить себе, когда и как он проснулся у зятя, куда поехал, что делал. История с Федорой и Мином на сходке то представлялась ему сном, то выступала со всею реальностью действительного факта. А потом... потом вот что он припомнил в тишине острожной ночи.

Время приближалось уже к Петрову дню. Крестьянская работа крепчала все больше. Поспевали травы. Крестьяне спешили убраться с арендными лугами и полями, чтобы поспеть к своим покосам. Труд становился лихорадочным для всякой деревни, а тем более для «жадных» Пиманов. Последние, когда только что созрела трава, всею артелью товарищей или «братов», с которыми они взяли у зятя землю, закатились в его луга на всю неделю, где и жили табором, в шалашах, почти совсем отбившись от деревни. Работали с ранней зари до позднего вечера, отдыхали только в самые жаркие часы дня. Из деревни только мимоходом, и то изредка, доходили кое-какие отрывочные вести: говорили, что на Вальковщине что-то неладно, что барин приехал, что у него идет тяжба с кулаками, что разговор идет об общем, нераздельном для всей Вальковщины, большом пойменном луге, который вся Вальковщина сообща косила доднесь и искони. Сообщали даже, к изумлению Пиманов, всю зиму пропраздновавших в усадьбе Петра и всецело погруженных в его интересы, что «неладное» стало замечаться на Вальковщине еще с Рождества и чуть ли не с побоища в Дергачах. Что это побоище вызвало разговоры в других деревнях волости, что по кабакам много шло о нем разговоров, и что в Пузырях была тоже битва у пьяниц с мироедами, за которых встали хозяйные мужики; что везде требовали «головных» переделов, везде кричали, что мироеды и хозяйные люди нарочно переделы оттягивают, нарочно безземельных в работы на сторону гоняют. Передавали за верное даже, что нынче в волости наполовину меньше паспортов было взято, что многие середняки остались дома и не пошли в заработки, не желая поручать стари-

кам дело в случае, как все ожидали, «шума» при переделе, так как, по прежним опытам, старики оказывались очень доверчивы и неграмотны. Говорили, что пузыревцы-офени, издавна славившиеся мироедством, подговорив Пеньки и Дубы, хотят оттягать по планам половину лугов себе, что приехавший молодой барин говорил, что я, коли так, лучше их за себя возьму, чем кулакам отдать; говорили даже, что будто он так сказал: «Коли вы, дураки, своим добром сами распорядиться не умеете и от кулаков оборониться не можете, то буду, говорит, опять я вам господин и сам вам стану землю выдавать».

Все эти сведения доходили до Пиманов с братами крайне отрывочно, даже не из одних рук, часто противореча одни другим: то мужик из какой-нибудь деревни проедет мимо через пойму и, остановившись полюбопытствовать насчет урожая травы, сообщит кое-что «из мира», то баба пройдет мимо с грибами и тоже кое-что расскажет, то пастухи, загонявшие лошадей на новую отаву. Только уже после попался им мужик, потолковее других, который, запоздав, остался у них заночевать. Он им и растолковал «пообстоятельнее» (насколько, впрочем, это для мужика возможно) «хитрую механику» всего дела. Оказалось, что это история старая, что о ней от времени до времени давно уже мимоходом поговаривали. «В том было дело, — передавал толковый мужик, — что, как всем ведомо, старый барин был у них до народа добрый, что жили они с ним по душе, что, когда составляли «уставные грамоты», он Вальковщине прямо сказал, что пользоваться ей всем, чем владела, кроме леса. Так и порешили тем. А после того барыня, снюхавшись с адвокатом Коронашкой, объявила старика без ума: что быдто не в своем уме он грамоту составлял, и составили ее по-своему, в таком разе, что, мол, по «Положению», «вам следует, мужички, столько-то, а что сверх сего, то, памяти ради старого барина, отдаем вам на десять лет, после чего платить вам за нее нам ренду, а буде вы ренды платить не намерены, вольны мы луга от вас взять и другим в пользование отдать». А нам и невдомек, что они такую вставку сделали: наше, мол, да наше... Да ведь наше и есть! Всею Вальковщиной сыскони и доднесь сообща владеем! Как же не наша? Пожалуй, мы ренду платить будем, ну, только как

же земля не наша, когда она искони была наша? Ну, хорошо. Первые эту механику пузыревцы раскусили (дошлый народ до всего). Правдами-неправдами добились грамоты. Повели было дело с барыней, да барыня умерла к этому разу, а барин молодой нас не убеспокоил. Так и шло дело, и пузыревцы бросили хлопотать. Только вот уж года три, сами знаете, как пошла у нас сумятица: что ни год — все хуже. Так уж оно по всему народу ровно эдак болезнь оказалась. Пошли, знаете, по деревням перекоры из-за переделов. Вот пузыревские мироеды как-то с своими голяками подрались да и удумали старое дело поднять. Помните, чай, что ни год все говорили: надо наделить, мол, луга и пустоши каждой деревне в вечное владение. Не стоит-де канитель тянуть с поровенкой да жеребьями!.. Поделить да поделить... А сами мекают: грамота составлена, дескать, незаконно. Что те луга, которые барин к себе тянет, наполовину должны в надел поступить Пузырям, Пенькам да Дубам, как у них, выходит, в наделе недочет и притом луга эти самые по живым урочищам в их владениях значатся искони... Пузыревцы — народ известный, мощный — с волостью стакнулись да и повели дело втихомолку... Тут бы нам и невдомек, как они нас накрыли бы. Узнал об этом барин, рассмотрел план и видит, что ведь луга-то он у нас может за себя взять. Узнал, что кулаки орудуют, осерчал: «Нет, говорит, вам ничего... Земля моя! Сам, как хочу, так и поделю». Ходили к нему ноне о Рождестве наши мужики, из Доброго, говорят: «Смилуйтесь... искони наши были...» А он, знай, кричит: «Вы, говорит, бараны... баранье стадо!.. Мы, говорит, так полагали, что вы с своими делами можете управляться, а замест того видим в вас одно невежество... Сами вы своей пользы не понимаете... Вас мироеды грабят, а вы только ушами хлопаете... Нет, говорит, теперь уж я вам не дам в руки!.. Вот, хотите, сам наделю!» А мужики наши твердят одно: «Смилуйся, не погуби... Искони была наша земля... Тятенька твой, царство ему небесное, сам на том порешил... Добрый был к мужику барин... Будь и ты отцом, не жми!..» Долго им тут барин высчитывал, слышь, сколь их будет велика польза, ежели они землю в его руках оставят и на него положатся, что сам он поделит между ними землю в лучшем виде и что кулаки уж тогда у них эту землю

не оттягают. Бился, бился, слышь — нет, твердят наши мужики одно: «Смилуйся, отступись, наша землица искони, от дедов...» С тем так и разошлись. Барин на своем стал, и они на своем. Да как же инако?.. Не мало дело — навек опять в крепость попасть! Тоже детки-то после не похвалят!»

Вот какую длинную и сложную историю рассказал им «толковый» мужик при потухающих вспышках костров, среди сероватой полутьмы влажной, мягкой и темной ночи. Вдали и вблизи, там и здесь, как черные гигантские привидения, стояли огромные стога; вокруг них полукругом раскинулся табор косцов, с палатками и теплинами. Слышалось аппетитное хрустение лошадьми свежего сена, всплески воды от реки, плач грудных ребят. Все мужики табора собрались около костра, где сидел толковый мужик, раскинувшись врастяжку, вниз животами, на влажно-душистом сене. Тут же сидели, так же как будто внимательно слушая рассказчика и смотря ему в лицо, сторожевые собаки, изредка навостряя уши и чутко прислушиваясь к каким-то отдаленным, им одним понятным звукам. И Пиманы, и все прочие мужики, конечно, слушали толкового мужика с большим вниманием и сочувствием, тем более, что большая половина рассказанной им истории была им известна; все прерывали рассказчика вопросами, вроде: «Да как же иначе?.. Знамо!.. Да уж пузыревские — одно слово, купцы!.. Барину-то тоже в рот не влезешь!.. Как можно, чтоб отдать... И то вон какие дела творятся, а тогда эдак и наш народ в переселенцу пойдет!.. Всякому тоже своя душа дорога!» и пр. В таком роде восклицали Пиманы и их «браты», и тем не менее, когда один из «братов», смачно зевнув, сказал: «Ну, да будет турусы-то на колесах разводить! Этим разговорам-то конца не будет... А ведь вон уж заря занялсь! Еще у нас эвон какое море травы-то лежит!» — и показал на пойму, где темнели длинные валы скошенной травы, — все вдруг тоже стали торопливо зевать, креститься и собираться к своим палаткам. А когда, с зарею все принялись за косьбу и толковый мужик ушел, все «турусы на колесах» были сразу забыты. В особенности мысль об этих «турусах» была далека теперь от Пиманов, переполненных довольством и сознанием прочности их личного хозяйственного положения. «Уйма дела», открытого для них умственным мужиком, погло-

щала все их внутреннее существо целиком. Со времени свадьбы Петра даже старого Пимана не тревожили больше «предчувствия», и из его памяти совершенно стерлось грозное и глубоко чувствительное для каждой мужицкой души предсказание старого Ермила из Груздей.

Вот все это, что рассказано нами и что происходило после того, как ночевал Пиман у зятя и видел во сне Мина, все это и пропало из его памяти. Почему ему и казалось, что все случившееся после было непосредственным продолжением его сна. А это последующее стояло перед ним с ужасающей яркостью, несмотря на то, что это был внезапный, неимоверно быстро поднявшийся и несшийся вихрь.

Дня три спустя после беседы с толковым мужиком сыновья Пимана отправили старика-отца за недостававшими вилами домой, с тем чтоб он «мигом» вернулся назад. Старик, наскоро заложив лошадь в сенные дроги, поехал к Дергачам. Здесь он даже и в улицу не въезжал, а, подъехав с гуменников к задам усадьбы, прямо к сараю, взял вилы и, свалив их на дроги, тем же путем двинулся обратно, весь поглощенный спешною работой.

Ржаное поле в нынешнем году подходило как раз к усадебным задам Дергачей, и Пиман, повернув лошадь на межпольную дорогу, сразу потонул в высоком море колосьев, колыхавшемся волнами по высокому холму. Но едва он добрался до вершины холма, как ему навстречу вынырнул торопливо бежавший откуда-то староста Макридий Сафроныч.

— Пиман, да ты куда? Да что с вами, лешими, ноне поделалось? — закричал на Пимана Макридий в сердитом недоумении. Он был весь в поту от сильного волнения и ходьбы.

— Да что я? — спросил тоже недоумевавший Пиман.

— Как что?.. Да вы ума, что ли, решились все... не видишь, что ли, что делается на деревне-то?..

— А что? — обернулся невольно глазами к Дергачам Пиман.

— Да разуй глаза-то... Ведь ты был или нет на улице-то!..

— То-то, что нет!..

— «То-то, что нет!» — передразнил его староста. — У всех у вас нынче глаза-то врозь смотрят... Ведь сход собирается...

— Что вы когда вздумали? — уже заворчал Пиман.— Нашли время!.. Нам неколи... У нас работа... Ишь, когда вздумали собирать!

И Пиман задергал вожжами.

— Да кто его собирал! — закричал Макридий. — Чорт его собирал — вот кто!.. Ты бы лучше глаза-то разул али уши-то ототкнул... Что вы, лешие, ноне ни о чем не думаете?.. Малые ребята — и те знают!.. Деревню вон чужие люди заполонили, полна деревня народу, а они ничего не видят и не слышат... Ну, что случится, господи спаси!.. Ведь это не что — вся Вальковщина собирается... Что ж, я, что ли, буду отвечать? Один отвечать я не буду... Вишь ты, всем бы разбежаться только... Право! — сокрушался Макридий Сафроныч, более, впрочем, относя народную нечувствительность лично к своей судьбе, чем к миру.

— Да что мы, гулять, что ли, бегаем? — заворчал Пиман. — Чай, у нас работа... Тоже не пироги в лугах-то едим... Ты вот торгуешь, тебе свободней... ну, и говоришь так. А мне неколи!

И Пиман опять дернул вожжами. Но тут Макридий Сафроныч уже вышел из себя. Он в отчаянии схватил под уздцы пиманову клячу и закричал:

— Да ты взгляни... взгляни, что делается!.. Ведь это сполох... Ведь вся Вальковщина... Подымись на телеге-то, взгляни!

Старый Пиман взобрался на телегу, посмотрел кругом и молча слез с телеги.

— Видел? — спросил Макридий.

— Видел... С чего ж это?

— А вот узнаешь, — внушительно сказал Макридий и, почему-то вполне уверенный, что теперь Пиман уже не уйдет, отчаянно заработал руками и ногами, побежав к Дергачам.

И действительно, Пиман снял шляпу, классически почесал затылок и, повернув лошадь, пустил ее рысцой обратно к Дергачам, внимательно посматривая по сторонам вдоль полей.

Глава четвертая

ДУХ МИРА

I

Если небольшая, обыкновенная серая деревенька Дергачи ничем особенным не выдавалась из среды своих ближайших соседок по внутреннему укладу своему, зато она пользовалась особым преимуществом, не имевшим, впрочем, в глазах ее исконных обывателей особенно важного значения: судьба поместила ее в самом поэтическом и красивом уголке Вальковщины. Уютно и весело засели Дергачи в зеленой ложбине между высокими скатами холмов, разубранных теперь — в июньский яркий день — разноцветными полосами еще нетронутых косой и серпом хлебов. С какого из этих холмов не подъезжай к Дергачам, всюду увидишь деревню, как на блюдечке. Она была вся налицо, вся на виду у своих соседок, рассевшихся по холмам: смотри, кто хочешь! Трудно было бы спрятаться дергачевскому обитателю от любопытного взгляда даже за старинными ветвистыми вязами, осенявшими деревеньку своими шумными вершинами, как шатром.

Трудно сказать, что было причиной: центральное ли положение Дергачей среди своих соседок, красота ли местности, или же древнее происхождение Дергачей, начала которых не помнят самые древние старожилы Вальковщины, — только эта небольшая деревенька искони играла видную роль в общинной жизни всей Вальковщины. Роль эта, впрочем, в последнюю четверть столетия умалялась больше и больше и жила в воспоминании обитателей как легендарная традиция, изредка только, и то через очень длинные периоды, освежаемая для молодых поколений бурными вспышками всей Вальковщины. Последняя из таких вспышек была в шестидесятых годах, когда для всей Вальковщины был поставлен вопрос о размежовке общих для всех деревень угодий. И на этом последнем традиционном сходе всей Вальковщины, после шумной борьбы, старые традиции должны были уступить перед «теорией наделов». С тех пор традиционная волость уже не собиралась в Дер-

гачах ни разу, и сами дергачевцы мало-помалу забыли свое традиционное преимущество. Оно совершенно стерлось пред возраставшим значением, хотя и иного свойства, богатого Доброго села, которое вместило в себе волость административную. Но тем не менее и до сих пор в Дергачах сохранилось еще нечто, связывавшее их в представлении обитателей Вальковщины с «былым».

Если войти на вершину одного из самых высоких холмов, окружающих Дергачи, на которой произошла случайная беседа Пимана со старостой Макридием, внимательный наблюдатель мог бы здесь заметить небольшую полянку, поросшую кустарником и никогда не запахиваемую. На этой полянке он увидал бы небольшую, древнюю, почти совсем развалившуюся, с изломанною и поросшею мхом крышей, деревянную часовню; под ее провалившимся дырявым навесом стоят две облезлых и полинялых иконы старого письма. Далекою стариной веет от этой покосившейся часовенки... А если посмотреть с этого пункта кругом, то невольно является мысль, что эти руины имеют многознаменательный смысл: с этого пункта в ясный день можно обозреть окрестность на громадное пространство; вся Вальковщина здесь открывается пред глазами, и в летний день воздух до того чист и прозрачен, что самые дальние деревни выступают рельефно среди зелени полей. Стоя на этой вершине, близ дряхлой часовни, в виду открывшейся перспективы деревень и полей, невольно чувствуешь, как что-то далекое, эпически величавое охватывает душу. А если вместе стоит здесь дряхлый старожил, то он двумя-тремя штрихами вызовет в воображении целую картину: кажется, что вот от всех этих деревень, как по радиусам к центру, тянутся к этой часовне мужицкие фигуры, в поярковых шляпах гречневиком; как на этой вершине мало-помалу толпа нарастает все больше и больше; как становится шумнее и говорливее, когда начинается выбор «мерщиков»; как, наконец, приступает эта толпа пахарей к дележу и равнению общего достояния; как перед вынутием жеребьев толпа обнажает головы и, в виду этой часовни, призывает бога в свидетели правоты предстоящего дела; как вся она падает на колена в подкрепление своей веры в прочность и ненарушимость совершающегося акта... А в это время вся вершина холма горит в зо-

лотистых лучах заходящего солнца... Но старый «дух мира», призывавший сюда толпы пахарей, давно отлетел из дряхлого остова часовни, и целые десятилетия она одиноко и равнодушно смотрит на давно забывшие ее поколения...

Когда Пиман забрался, по указанию Макридия, на телегу и оглянул окрестность, для него уж не было сомнения, что действительно совершается что-то необычное: от каждой деревни-соседки, по межпольным дорогам, брошенным по скатам холмов, среди зеленевших полей, как длинные извивающиеся полосы полотен, двигались по направлению к Дергачам мужицкие фигуры в шляпах-гречневиках и картузах, с накинутыми на спины или переброшенными через плечи халатами; все они двигались небольшими группами, по-двое, по-трое, с разных сторон, и одна за другой исчезали в дергачевской ложбине, в тени ее широковетвистых вязов.

Волнение Макридия, вид надвигавшегося на Дергачи народа, воспоминание прошлого, невольно вставшего при этом в памяти,—все это сначала как-то ошеломило Пимана, а когда он, убрав лошадь и наскоро застегивая кафтан, вышел на улицу, общее лихорадочное настроение этой улицы сказалось и в нем. Вот ребятишки пробежали мимо к дергачевскому «дубу маврийскому», на место обычных сходок; вон, широко шагая, почти бегом, перегоняя друг друга и весело кивая Пиману, прошли туда же Лимподист и Лукашка; вон Сысой Строгий трусцой пробежал, крестясь на ходу, этот «артельнейший» из мужиков; бабы повысыпали из ворот и смотрят; покорный общему настроению, заерзал усиленно сапогами и Пиман, направляясь к тому же дубу. Вот он взглянул еще раз: мужик так и валит на Дергачи со всех сторон... Вот Ульяна Мосевна торопливо надевает на голову праздничный платок и, торжественно крестясь, говорит подходящему Пиману: «Слава богу! Давно не были!.. Забыли Дергачи... Авось, хоть поговорят без вина по душе, по старине!.. Пошли-ка бог совет да разум!» Пиман ерзает дальше, почему-то считая нужным все больше ускорять шаги; ему даже слова Ульяны Мосевны как будто говорят: «скорее, скорее!..» Около обычного схода под дубом уже пребывает толпа: ребятишки, подростки, парни перебегают с места на место, мужики толкаются группами и что-то говорят, бабы взды-

хают, старики пробираются с клюками к заветному отдельному бревну. А толпа все растет, все прибывают новые и новые лица; слышен невнятный говор; здороваются, хлопают рука об руку; раздаются отдельные отрывочные вопросы, серьезные вместе с шуткой...

— Кто собрал? — слышится чей-то недовольный и грубый заспанный голос.

— А бог собрал, почтенный, бог собрал, — тоже кто-то отвечает с другого конца толпы.

— Дедушка, кафтан-то задом наперед надел. Ха-ха!.. Шляпу-то поправь! — весело шутят подростки.

— Говорят, мирских мерщиков с лугов кольями прогнали, — раздается сбоку.

— Что уж это, до последнего конца дошли! Господи, помилуй, спаси и сохрани! — вздыхает кто-то в ответ.

— Пузыревские мироеды...

— Что пузыревские мироеды?

— Спрашивай дальше!

— Кто собрал? — опять спрашивает кто-то.

— Мир! — отвечает Лимподист и хохочет.

— Отчего не в волости? Волость есть!..

— У волка в зубах немного наговоришь!..

— У-у! Го-го! фю!.. Шш! Шш! — неистово кричали ребятишки, подростки и разные великовозрастные Лукашки и Лимподисты; оказалось, что ошалевший теленок, задеря хвост и выпуча глаза, как сумасшедший, несся через толпу.

— Ну, наделают теперь делов... Эх, народ, народ! — кто-то произнес с искренним сожалением.

— В два, братцы, кнута жарят, — говорит кто-то с видимым восторгом. — И из волости, и пузыревские мироеды, и барин, и мир!.. Баталия!..

— Что уж это — мерщиков прогнали!..

— Их, подлецов, за это — во! — заорал вдохновившийся Лукашка и поднял здоровый кулак над толпой, приветствуемый взрывом дружного хохота Лимподистов.

Пиман, захлестнутый толпой в самую гущину, не знал, куда повертывать голову, к чему прислушиваться: мимо его ушей, как стрелы, пролетали отдельные фразы, заседали в голове и складывались в одну кучу, в которой Пиман не думал разбираться.

Наконец Пиману удалось пробраться к бревну, которое было вплотную уже засажено мужиками — мир-

скими представителями, плотно жавшимися одни к другим, словно стая галок, внезапно опустившаяся на застрехи. Тут увидал Пиман выборных мерщиков, вытных и старост от всех деревень Вальковщины: по-двое или по-трое, как будто выпущенные пары из Ноева ковчега, сидели они рядом, окруженные толпой. Вот подъехала последняя «пара»: два старика в телеге, на низенькой буланой лошадке. Один высокий, худой, с сивою гривой на голове и такою же сивою длинною бородой, какую рисуют на иконе св. Ануфрия; другой — низенький, с большою, круглою, как арбуз, и белою, как лунь, головой. Оба они, кряхтя, выбрались из телеги, оба враз принялись раскладывать лошаденку: кто спускал вожжи, кто чересседелку, один тащил дугу, другой хомут, и, наконец, стреножив лошадь и пустив ее тут же на лужайке, двинулись к мирским бревнам. Но тут и щепке трудно было бы поместиться.

— Что ж, братцы, потеснитесь! — закричали с бревен. — Пустите уж стариков... Ведь им и чести-то только осталось, что здесь!.. Садись, Грачи, садись!

Эти старики, оба из Грачей, оба приятели, были не только самыми древними из всех обывателей Вальковщины, но и просто легендарными, так как их не столько знала лично молодая Вальковщина, сколько слышала о них разнообразных легенд. Они родились в годы генерального межевания, помнили двенадцатый год, сколько-то голодных годов, сколько-то холерных, сколько-то бунтов, усмирений, — одним словом, очень много помнили и очень уже давно жили одними воспоминаниями... В течение десяти уже лет их никто не видал, кроме двух-трех дней в году, когда они, в качестве самых сведущих и опытных мирских мерщиков, вылезали из своих хат при дележе общих мирских лугов Вальковщины.

Легенды о них ходили самые невероятные: говорили, что они у Пугача служили еще, хотя в действительности они родились только около этого времени; говорили, что они в двенадцатом году хотели передаться французу «за вольную» и народ подговаривали; говорили, что они были сосланы в Сибирь, но оттуда бежали с жалобой к австрийскому королю; говорили... но мало ли что говорит молва, раз имеет для этого хотя несколько данных! Обоих легендарных старичков звали Евтропами: только

один был Евтроп Длинный, а другой Евтроп Короткий. Евтроп Длинный был мужик дубоватый, грубоватый и суровый, а Евтроп Короткий — мужик мягкий, нежный, говорливый, прибауточный. Когда Пиман увидел двух этих старичков, он подумал: «Ну, старички даже потревожились!..» — и при виде этих старичков оторопел еще больше.

А между тем толпа вкруг мирских выборных все росла, и над ней носился невнятный говор, из которого постоянно вырывались какие-то выкрики.

— Что же, тащите вытных! Вытных нет! — кричал кто-то. — Где Макридий?..

— Что Макридий! — отозвался староста Макридий Сафроныч откуда-то из такого далека, что Пиману казалось, будто он говорил из-под земли. — Что Макридий!.. Я теперь не слуга...

— Кто же слуга-то будет?

— Плюньте на него!..

— Тащите вытных!.. Чего они прячутся? Где Пиман? — вдруг заорал Борис.

Но в это время толпа колыхнулась, по ней пробежал какой-то зуд; вот она рванулась вправо, потом отошла влево, заколыхалась, словно водоворот над омутом, увлекла Пимана в самую средину, сжала его. Он вспотел, спотыкнулся, но тут толпа остановилась.

— Стой, слушай! — кричали кругом Пимана.

— Грачи говорят!.. Грачи!.. Стой, рабята!.. Молчи дружнее!

Пиман хочет прислушаться, но до него долетают только обрывки фраз, так как, очевидно, весь этот устремившийся с холмов на дергачевскую ложбину люд собрался здесь, настолько же гонимый любопытством, желанием послушать других, насколько, а может быть еще более, излить свои собственные ощущения; очевидно, что главные герои всего этого сборища не легендарные старики, не сидевшие на бревнах мерщики и вытные, а именно вот эта колыхавшаяся вкруг масса. И не сброд, а именно «масса-народ», «масса-мир», собравшийся не по принуждению, не по выбору, — «мир», в котором исчезали и друзья, и враги, в котором уже нельзя было отличить ни хозяйственных, ни умственных мужиков, ни кулаков, ни голытьбы; каждый выкрик, каждое мнение, каждая фраза, поминутно со всех сторон долетав-

шие до Пимана, были не личным чьим-либо мнением, выкриком, которому он мог доверяться или не доверяться, а «гласом народа», «мира», были выражением одного цельного, мощного, назревшего ощущения, которому не было дела до того, что говорили выборные и «умные» люди: что бы они там ни говорили, им не изменить уже этого ощущения, раз оно назрело.

— Православные! — уже в десятый раз выкрикивал Евтроп Малый, тщетно борясь с гулом толпы, который иногда то как будто ослабевал, замирал, то как будто, уловив две-три сказанные фразы, поднимался снова. — Православные! я — Грач, и он — Грач, оба мы Грачи, оба мы Евтропы, оба полвека в мерщиках стоим, оба меряли по чести-совести, никогда греха на душу не взяли, никаких от нас сумлений не выходило... Так ли, горюны?

— Так, так, верно, старики! Старики-то знают! У стариков — правда! Старикам неправды не надо!.. Выкликай, старики!.. Пора! Что в самом деле!.. Ровно оглашенные все стали! — гудело в ответ кругом Пимана.

— Знамо вам и ведомо православные,— силясь перевысить гул толпы, напрягался Евтроп Малый, — что поделить мир в честь и совесть, в совет и любовь, в соглас и мир, надо ума немало, немало, горюны! Одначе, по милости божией, сметкой на это дело мы были не обижены... А теперь говорим: мир православный — обида!.. Кольями гнали!.. Скверным словом поносили!.. Ослобоните нас, горюны, одна нам, старикам, стала истома!.. Служили миру в честь и совесть, а теперь, говорим, ослобоните стариков!.. Обиду-у выкликаем!

И только лишь успел уловить Пиман, в чем заключалась «обида» легендарных стариков, как уже полетевший по толпе гул снова потопил собой всю обиду, весь ораторский талант Евтропа Малого.

— Конечно, обида!.. Как не обида?.. То ли не обида, коли в миру житья нет... Где правда? Правды нет... Надо правду искать... Выкликай, старички, правду!.. За правду выкликай!

— Как не обида? — говорила рядом с Пиманом какая-то бабочка, держа одного ребенка на руках, а другого, побольше, за плечи. — Вот, милые, оставили одну, оглашенные, с ребятишками, а что я им — мать, что ли?.. Куда их дену? Ведь они, малые рабятишки, пить-есть хотят, ровно птенцы... Разве они что понимают?..

— Да на ком ты обиду ищещь, старуха? — кто-то спрашивал ее.

— На мужиках, на наших мужиках, родные... Из Поджарихи я... Что, милые, сдурачились ноне мужики совсем, ровно оглашенные стали... Жадные да нечувствительные... Все друг у друга рвут, все друг другу на горло лезут... Ты отца-то учи, учи его, пьяницу, да младенца-то не бросай... Младенец-то ведь не понимает ваших делов!.. Ты отца-то, пьяницу, высеки, накажи, а младенца-то приголубь... Вот по-мирскому-то!..

— А что с отцом-то? — спрашивала ее другая бабочка, посматривая на ребятишек.

— А бог-е знает, что с ним, оглашенным? Сестра я ему... Мать-то померши... А его, милая, пьяницу, на суде секли, да и миром за недоимку землю отняли... Говорят: вишь ты, у нас и хорошему мужику земли мало... И пустился он, милая, в бега... А наши-то мужики жадные.

— Как не обида? — говорилось с другого конца. — Как не говорить, коли бога забыли?.. Все-то брань, все-то свара...

— Слышь, к царю хотят итти...

— Как не итти?.. Надо итти... Мир прикажет, как не итти? — говорила какая-то старушка, маленькая, но прыткая, с вострым носом, вострым подбородком и вострыми глазами. — На что ж и народ сошелся?.. Ведь здесь не в волости водку пить собрались; здесь всем народом, всем миром сошлись... Здесь всяк свою обиду выкликает... Как не пойти, когда миром прикажут, народ?.. Нельзя; тут все в счету, и мы, старухи, слово скажем. Тут ни больших, ни малых нет — все равны пред правдой... Выкликайте, старички, мирскую обиду! Выкликайте! — вдруг крикнула она старческим, дряхлым, дребезжащим голосом, и до того громко, что сама испугалась и сконфузилась.

— Вот так, старушка!.. Кричи! — заметил, улыбаясь, один благообразный мужичок. — Нынче всем голос!..

— Ничего! — отозвалась старушка. — Может, и нас услышат...

Между тем толпа, как будто поддерживая и бабочку с ребятишками, и востроносую старуху, кричала:

— Говори, старики, говори!..

— Не робей, старики!.. Вали громче!.. Здесь у нас,

в Дергачах, свободно! — с веселым замиранием, не помня себя от какого-то несказанного удовольствия, орали во всю глотку Лимподист и Лукашка.

— Потише, потише бы, православные, глотки-то драли... Народ здесь тоже всякий... Потише бы! — слышался в толпе голос взволнованного и возбужденного старосты Макридия Сафроныча.

— Говори, старики! Выкликай! Не слушай его! Вы его у нас не бойтесь!.. Он из нашей воли не выходит!... Ха-ха-ха!.. — еще громче орала целая масса Лимподистов и Лукашек, пришедшая в совершенно неописанный восторг.

— Что скажу-у? — пользуясь минутным «штилем», установившимся над толпой, слышит опять Пиман голос Евтропа, но уже не Короткого, а Длинного, видимо выступившего на помощь изнемогшему своему сверстнику; голос у этого Евтропа грубый, дубоватый, говорит он, словно сидит в пустой и надтреснутой бочке. — Видимо и знамо всем, православные,— выкрикивал он, — дошло ноне, что не стало в миру поравнения, стало в миру шатание... Пошла в мире рознь... Пройди по Вальковщине — что услышишь? Что узришь? Плачет вдовица, плачут малые птенцы, плачут сирые, убогие... Отец — в кабак, а дед — с сумой! Дочь — к монахам, а сын — в Вавилон! Так ли я говорю?

— Так, так! Что тут!.. Дело видимое! — громко отозвались сидевшие на бревнах старики.

— Видимое дело, видимое!.. Правильно старички говорят, — вдруг словно зазвенел как-то пронзительно звонкий бабий голос, внезапно вырываясь из общего гула. — Послушайте, господа, мир православный!.. Вникните и в мою обиду!.. Не у кого больше защиты искать, нету правды... Ищу на старосте Макридии... Вон он, грабитель!.. Вон он, разоритель!.. Казните его, господа, мир православный!.. Не одна я, все покажут, как он наших детей в работу сдавал, как с мирской земли народ они на сторону сгоняли... Не у кого больше правды искать!..

— Все они жадны, как Пиманы! — вдруг загремел кто-то. — Все заодно!.. Поровёнку надо!.. Надо жадных сократить! Поровёнку!..

— Поровёнку! Поровёнку! — вторили сотни голосов.

Гул разливался все сильнее и сильнее; из сплошного

ровного волнения он начинал переходить в шум, в брань, в споры; кругом Пимана кто-то на кого-то наступал, кто-то кого-то умолял, деревня сцепилась с деревней, выть с вытью, семья с семьею. Что делалось у бревен — уже нельзя было расслышать. Что сталось со стариками Евтропами, Пиман уже не знал. Он только слышал, как откуда-то неслись выкрики:

— Нам!.. Нам! Кому вам? Нам, а не вам!..

Вдруг ему так ясно послышалось, как будто все разом крикнули: «Пиман! Пиман!» Совершенно безотчетно он рванулся на этот голос и стал продираться через толпу к сборному месту. Но он не успел еще добраться до него, как услыхал напряженный, охрипший, словно умоляющий о помощи голос утопающего: это собрал последние силы своей старческой груди Евтроп Длинный.

— Православные!.. Прислушайте... Прислушайте, православные!..

— Стой! Замолчите!.. Грачи говорят! Стой! Смолкните! — раздалось с разных концов.

Ураган, разгоравшийся все больше и больше над толпой, вдруг как-то порывисто стал стихать, как будто нехотя, ворчливо, кое-где еще поднимая не хотевшие улечься волны. Пиман остановился.

— Мир православный! все теперь, как на ладони, пред тобой объявилось! — ясно, резко, отчетливо раздался в ушах Пимана голос Евтропа Длинного, сухопарая фигура которого, как колодезный оцеп, торчала теперь над толпой; он был без шляпы, весь в поту и вместе дрожал, как в лихорадке; так же напряженно дыша, стоял близ него Евтроп Малый, возбужденными глазами бегая по толпе и взмахивая обеими руками, как будто порываясь тоже что-то сказать. — Въяве видно: человека надо-о! — продолжал Евтроп Длинный. — Надо человека-а-а!..

— Человека надо-о! — как эхо, прокричал вслед за ним Евтроп Малый. — Божье произволенье!.. Кто за мир крестьянский живота не пожалеет? Правду искать надо, горюны, правду!

Внезапное затишье вдруг стало над Вальковщиной. Пиману сделалось как-то жутко. Изредка только слышалось, как вполголоса говорили:

— Тяжел крест!

— Выше бога не станешь!

— Это, должно, не в старшины итти!

— Воспретить бы надо... Это сход незаконный...

— И смерти нет этим бунтовским старичишкам! — словно над самым ухом Пимана, прошептал Макридий. — С ними в острог угодишь... Мало их еще драли!

— Вот она ноне, правда-то, какая!.. Ох, господи, господи!.. — сказала бабочка с двумя ребятишками. — Нишкните, окаянные... Вишь, целый мир молчит! — окрикнула она вдруг заревевших ребятишек.

— Молчите!.. Я вас! — пристращал их почему-то и Пиман, добродушно погрозив пальцем (все это он помнит очень ясно, помнит даже, как ребятишки в недоумении посмотрели на него сквозь заволокшие глаза слезы и, всхлипывая, замолчали).

— Человека надоть, челове-е-ка-а! Али не слышите, горюны? — вдруг раздался уже среди тишины сердитый окрик Евтропа Длинного.

Пиману показалось, что старик действительно осердился, как сердятся деды на внуков, когда те не хотят сделать, что следует, и ждут, что за них все еще сделает дед.

По Вальковщине пробежал сдержанный гул, похожий на невнятный ропот.

— Вот ноне как за правду-то... Небойсь, за правду-то не скоро найдешь кого постоять, — сказала Пиману бабочка с ребятами, утирая слезы, почему-то вдруг покатившиеся у нее по облупившимся на солнце щекам.

— Где ноне!.. Ноне такого народу нет, — тоже вполголоса и сокрушенно вздыхая, сказал Пиман, — какой ноне народ!.. Бывало, народ-то умел за мир стоять, а ноне... Какой уж мы ноне народ!.. Э-эх!..

И Пиман не договорил, пораженный общею тишиной, налегшею на толпу.

— Что ж вы, лешие, молчите? а?.. Ведь народу погибель!.. За коим же вас рожном сюда принесло? — вдруг загремел над толпой чей-то голос. Но чей он был, Пиман не знал. Только Пиман вздрогнул, да, показалось ему, вздрогнула и вся Вальковщина. Вот толпа зачем-то отпрянула назад, и тотчас же раздались крики: «Что ж! выкликайте!.. В жеребьевку!.. Кричите: Рома-

нов!.. Евтропов, Евтропов, стариков!.. Мало их еще драли?.. Пожалели хоть бы!.. Власов, Дроздовских... Сысоя Строгого! Романов!.. Романов!..» Но не успели еще эти крики разлиться по толпе, как она опять колыхнулась: кто-то торопливо пробирался через нее с обоих боков. Послышалось чье-то тяжелое дыхание: это Сысой Строгий спешно продирается между мужицкими спинами и плечами. «Господи, благослови! — крестится он и говорит: — Братцы, идем!.. Идемте, почтенные!..» Вот за ним, с другого бока, лихорадочно дрожащими руками застегивая ворот кафтана, точно вплавь, боком, разрезая плечом толпу, как волны, плывет усиленно Ермил из Груздей, с широко открытыми, но как будто ничего невидящими глазами; за ним еще кто-то, и еще...

. . . .

— Вы, что ли, горюны? — говорит уже мягким, ласковым голосом старик Евтроп Малый, весь смеющийся и сияющий, крестя себя широкими и частыми размахами.

— Мы... что ж!.. желаем... потрудиться... для мира, — едва слышно выговаривают взволнованные и Сысой Строгий, и Ермил, и еще трое таких же мужиков, отирая с лица красными и синими платками пот.

— Желаю... для мира! — как-то машинально повторяет за ними и Пиман, сняв шляпу и кому-то кланяясь.

— Есть, православные! е-е-сть! — отчетливо прокричал Евтроп Длинный к толпе. — Бога благодарите! Есть! Благослови, царь небесный!..

— Кто? кто? — шумела толпа.

Но пока спрашивали задние, впереди уже кричали:

— Пишите приговор!.. Приговор давайте!..

— Без оттяжки! — подхватывала толпа.

— Ждать нечего: пишите, да по домам... Одно худо начали — веди до конца уж!.. Все одно теперь... заодно!.. Ступайте, вытные, в избу! В сборную ступайте! Ведите *их* в сборную! — говорил хлопотливо какой-то брюзгливый старик в синем халате, почему-то вдруг принявший на себя сан распорядителя, хотя Пиман знал, что он ни в каком начальстве, ни даже простым мерщиком не значился. Но все его стали слушаться почему-то. И ни он сам, и никто не думали сомневаться в справедливости его права.

II

Толпа, как распущенная из классов стая школьников, весело шумела, волновалась, распадалась на группы, которые сталкивались, расходились, опять сходились. Но особенно плотно скучился народ около «мирских людей». Скинув шляпы, полунаклонившись, растерянно смотрели они на сновавший мимо них народ, изредка проводя руками по головам и бородам. Странный вид был у этих мирских людей, вышедших на подвиг. В то время, как Сысой Строгий силился скрыть «конфуз» и застенчивость подшучиванием над собой, перебрасываясь подбадривающими фразами с подходившим народом, Ермил, напротив, имел вид человека, безропотно покорявшегося неизбежной судьбе, удары которой были уже ему знакомы. Но наивно-добродушное и несколько как будто даже глуповатое теперь лицо Пимана...

Впрочем, не случалось ли вам видеть такой сцены: жаркий летний день; широкая река лениво волнуется в крутых обрывистых берегах; тяжело нагруженные барки как будто застыли на ее поверхности. На палубах, растянувшись наотмашь, спят крючники, лоцманы, черпальщики. На горячем песке, изредка освежаемом брызгами мелкой, набегающей на берег волны, тоже вповалку лежат мужики. Заштатный пономарь с косичкой на затылке сидит под кустиком и дрожащими старыми руками насаживает на крючки червей... Тишь невозмутимая. Белый рыболов изредка покружится над рекой, быстро, как ком снега, упадет в воду и тотчас же поднимется с трепещущею в клюве серебристою плотвой. Лошадь где-то фыркает. Где-то мерно всплескивает весло... И вдруг: «Ба-атюшки! Тонем!.. Ба-атюшки!..» — внезапно проносится над заснувшею рекой и побережьем. Быстро вскочили на ноги спавшие и не спавшие; растерянным взглядом всматриваются в даль реки, которая колышется попрежнему равнодушно-холодно и лениво. «Во-о! во-о! Лодку перевернуло! Посеред реки... Над самою воронкой!» — кричит благим матом лохматый парень, тыкая куда-то пальцем и больше всего, кажется, довольный тем, что ему первому удалось сделать открытие. Словно внезапная рябь на

застывшей реке, всколыхнутой порывом ветра, заколыхался по берегу народ. «Готовь лодку!.. Лодку готовь! Живо!» Лодка отчалена... Мужики, толкаясь, усаживаются как попало и с устремленными в одну точку взорами быстро несутся на середину реки. «Во-о! во-о! Мырнул! Гли!..» — тихо и напряженно говорит кто-то.— «Надо мырнуть. Полезайте!» Все с минуту молчат. «Должно, рыбак... Так и есть! Вон шапка его... Верно — его!» — кто-то перебивает молчание. — «Как не утонуть? Вишь, челнок-то — душегубка... Утонешь!.. Особливо ежели выпивши». Опять молчат. Лодка медленно очерчивает полукруг около перевернутого вверх дном челнока... «Что же вы, растак вас, молчите? Ведь человек утонул али нет? Черти! Что ж вы сидите?» — вдруг раздирающим голосом, волнуясь, кричит один из лодочников с остервенелым и гневным лицом, тряся бородой. — «Сунься-ко сам... Тут воронка!» — кто-то нерешительно отвечает ему. — «Так, черти, что же вы сюда заехали?» — ревет лодочник. — «Ругайся еще чортом-то на эком месте!» — укоризненно кто-то отвечает ему. Но в это время уже сидевший на корме быстро распутывает онучи, сбрасывает порты, рубаху; глаза у него все больше начинают блуждать тупо и растерянно; наконец, как будто всякий проблеск сознания пропадает на лице. Вот поднялась в лодке высокая, здоровая фигура голого мужика с глянцовитою кожей; мощные мускулы, как канаты, выступают на спине, плечах и ногах; на голове встрепанная шапка кудрявых волос. В воздухе наскоро мелькает его рука, делая крест, и вот что-то громко шлепнулось пластом в воду... Все замерло. На берегу ждет уже целая толпа. Через четверть часа лодка тяжело и медленно приближается к берегу. Кто-то лежит посредине ее, в мокром кафтане, мокрые волосы упали на лицо... У самой головы утопленника в глубине кормы, кудрявый мужик наскоро надевает рубаху... Лодка причалила. Тело выносят на берег, и толпа окружает его плотным кольцом.

— Кто вытащил? Кто? — спрашивают в толпе.

— Кузяха... Вот он!

Все смотрят на Кузяху. Кузяха растерянно поводит глазами и обдергивает рубаху; чем дальше, тем больше он начинает приходить в смущение и, наконец, стыдливо прячется за толпу с тем классическим детски-

наивным выражением мужицкого лица, которое осеняет его в минуты высокого нравственного подвига.

. . . . .

Пиман, как и Кузяха, вплоть до того момента как он бросился в омут, понимал все ясно и действовал вполне сознательно. Да для Пимана и не могло быть иначе: раз выкрикнул, как ему казалось, «мир» его имя (его даже и не выкликали; кричали «Романов», и только ему послышалось совершенно ясно, что кричат «Пиманов»), для него уже не могло существовать сомнений. Но что должно было последовать за тем: сумеет ли, или нет он справиться с течением, куда его понесет, выплывет он или погибнет сам — все это уже решительно стояло вне его сознания. И чем дальше, тем, казалось, он безотчетнее отдавался на волю подхватившего его течения.

Вокруг него толпились знакомые и незнакомые, смотрели ему в лицо, крестились, другие покачивали головами.

— Дай бог, Пиман Савельич, дай бог тебе искус вынести! — говорил один седой старик из самой дальней деревни в Вальковщине, закинув руки за спину и внимательно рассматривая «мирского человека» с головы до пят. — Дай бог... Только оно того... мир-то ноне, что птичье стадо: разлетелся, — лови его, собирай!

— Ничего!.. Бог даст... с верой! — говорит Пиман, в смущении приглаживая волосы.

— Дай бог, — повторяют кругом, — корабли поведете большие...

— Как ни то... Даст бог... Других не хуже... послужим...

Вот подошла Ульяна Мосевна.

— Дай вам бог, — говорит она и крестится, — доброе дело!.. Давно пора... Глядишь, и народ-то веселее глянет... Может, ваша правда и дойдет... Помоги вам создатель!

И опять крестится, и, видимо, весело ей, радостно и хочется что-то сказать ей еще Пиману, да слов не находит.

И кажется Пиману, что действительно будто всем стало веселее, все ожили. Вот и бабочка с ребятишками подошла, смотрит на него... и лицо у нее уж совсем другое.

— Ну-у, — говорит она, — вот и не в разум было о тобе, как с тобой говорила... А оно вон как бог-то!.. Не забудьте, родные... Измаялись! — прибавляет она и кланяется Пиману.

Вон и Лимподист с Лукашкой чего-то суетятся: вон они подошли сначала к Ермилу, потом к Сысою, что-то машут руками, говорят громко. Вот они подошли и к Пиману.

— Н-ну, Пиман Савельич! Друг! Одно слово... Главное дело... Одно слово — руку! Во! — кричат они и машут руками, как крыльями, от полноты душевного довольства. — Главное дело, все говорите, все предоставьте!.. Главное дело, только бы до *самого*... Вся причина!.. Не робей, говори прямо — одно слово! Все говорите... Вам что! Мир — вот и все... Ваше дело правое... А уж мы постоим, только бы нам приказ... Мина-то нет!.. Ах ты, братцы, пропал!.. Уж Мина бы к вам — первое дело.

И, волнуясь, опять куда-то спешат.

Вон и сами легендарные старики Евтропы совсем переменились: словно помолодели они, словно ожило в них все старое, и вот со старческою бестолковою суетливостью снуют они то туда, то сюда; о чем-то со всеми разговаривают, кричат. Евтроп Длинный спешно ерзает почти несгибающимися уже ногами, а Евтроп Малый — так этот совсем бегом бегает. А между тем «мирские люди» не знают, совсем не знают, что им нужно делать, и все чего-то ждут.

Вот, наконец, подбежал к ним Евтроп Малый.

— Ну, ну, голуби, ступайте в сборную избу! — говорил он суетливо, таща за рукав Пимана. — Ступайте, принимайте, голуби, мирскую тяготу! Ступайте, горюны!.. Там вам все выпишут...

— Пообождать бы... ровно бы спешно... Одуматься бы надо, — говорит Пиман, которого начинает охватывать безотчетный страх.

— Неколи, горюн, неколи ждать... Мы уж знаем эти дела-то, видели... Лучше после дела погибать, чем до дела. Ведь оно кипит теперь!.. Ты уж не пяться, голубь, ежели тебе господь такую мысль вложил! — поучительно говорит опытный в «бунтовских делах» легендарный старичок и тащит Пимана за собой.

— Пятиться, брат, нехорошо, Пиман Савельич, — мимоходом замечает один мужик, в красной кумачной

рубахе, здоровый и высокий, с гладко причесанною головой и гладким плутовским лицом. — Что ж ты? Славу-то пустил, а сам... в кусты!.. Э, брат, не модель!..

Пиман мельком взглянул в плутоватое лицо говорившего и на секунду как будто сознал весь ужас пути, на который он вступил.

— Я не пячусь... зачем! От мира не отступаюсь... Только что распорядки бы сделать по домашнему обиходу.

— Зайдем, зайдем и в дом к тебе... Ты сызначала об мире думай... А там будь спокоен, — утешал его Евтроп Малый, — за всем, голубь, присмотрим, не сомневайся.

— Идемте, идемте! — вдруг закричал своим надтреснутым басом, откуда-то выплывая, Евтроп Длинный. — Идем, старики, к приговору кресты ставить... Иде-емте-е! Поторапливайтесь! — выкрикивают оба Евтропа, таща за собой мирских людей и продираясь сквозь толпу. Быстро плывет, словно на лыжах, Евтроп Длинный, быстро семенит за ним Евтроп Малый, оба лихорадочно возбужденные, как будто боятся, что вот-вот, гляди того, очарование исчезнет, иллюзия рассыплется — и моментально потухнет этот неожиданный возврат к старому, переживание которого так любят старики. Ведь двадцать лет уж прозябали легендарные старички, забытые, заброшенные, почти исключительно погруженные в борьбу за кусок хлеба с изумительно быстро нараставшим в их семьях молодым поколением; о существовании их давно уже почти забыли все (разве легенда говорит о живых людях?), они сами уже давно почти порешили с собственным существованием — и вот вдруг они ожили! Они могли сказать всем и себе, что они еще существуют!

За Евтропами, тяжело и неповоротливо, вперевалку, спешили «мирские люди»: Пиман, Сысой, Ермил. Следом тряслись какие-то архаические старички, увесисто ступая большими сапогами, тащить которые было им, видимо, не по силам. У всех этих лихорадочно спешивших людей бесцветные, потухавшие глаза смотрели возбужденно и напряженно вперед, не останавливаясь ни на ком и ни на чем, как будто эти люди потеряли совсем *личное* сознание, и шли, шли куда-то, влекомые иным, высшим, *общим* сознанием.

Кругом их гудели и переливались мужицкие толпы, рассыпавшиеся по Дергачам, как волны взбаламученной реки, по которой гулял порывистый ветер, а застигнутые ураганом пловцы, молча, сосредоточенно работая веслами, с устремленными в даль беспокойными взорами, беззвучно несутся по ее зыбкой поверхности.

III

Сборная изба была полна. Высокие и плечистые фигуры, широкие спины терлись одна о другую, сталкивались, расходились, выходили из избы и заменялись новыми. Громкий, едва выносимый для непривычного уха говор стоял в избе: все говорили разом. Кто-то низенький, толстый, краснорожий, как яблоко, с высокоподбритым сзади под щетку затылком, одетый купцом, сидел, поводя возбужденными глазами, в переднем углу и, от времени до времени стуча по столу кулаком, неистово кричал: «Не боюсь! не боюсь!» — вскакивал и снова садился на лавку. Молодые мужики — Лимподисты, Лукашки, Хипы, в красных рубахах, с красными лицами — разражались громким хохотом над купцом, пересыпая смех грубыми и дикими остротами.

— Врешь, купец, забоишься!.. Вре-ешь, отдашь!.. За милу душу отдашь!.. Ха-ха!.. Порастрясете животы-то!.. Мы вас предоставим всех в лучшем виде... Вот, мол, они: извольте получить... Ха-ха!.. Какая есть такая за ними правота? Почему такой грабеж в поземельном деле идет?.. Бога мужичок должен забыть, а они между тем брюха около энтой земли нагуливают!.. Да разве это по манифесту? а? Какой такой манифест был у нас, а вы, между прочим, что делаете с народом? а?.. Хо-хо-хо!..

— Вон, собачьи дети!.. Во-он!.. Кто посмеет мое взять? Не боюсь! — кричал пьяный кутила. — Вином залью!.. Не боюсь!..

— Хо-хо-хо! — гремели ему в ответ десятки здоровых кадыков, так что, казалось, матицы трещали в избе.

— Пропустите... Выборных пропустите! — слышались в сенях, наполненных спинами, голоса Евтропов.

— Подождешь!.. Успеешь!.. — отзывались из избы.

— Не боюсь! — снова орал кутила. — Кто мое возьмет?..

— Возьмут, брат... Хо-хо!.. У казны деньги есть... Прогуляешься, купец, по узенькой дорожке...

— Видели? — вскакивал кутила и энергичным жестом совал в воздух фигу. Все лицо его, обезображенное водкой, передергивало и корчило судорогами.

— Видали!.. Не впервой! Хо-хо-хо! — грохотала толпа.

Почтенные, седенькие и приличные старички сокрушенно покачивали головами, смотря на пьяного кутилу, и безнадежно махали руками. Несмотря на шум и гвалт, тут же седой старик что-то равномерно-невозмутимым голосом, не повышая и не понижая тона, уперев бороду в колени, рассказывал другим двум мужикам, сидевшим по бокам его. Дверь и окна были открыты настежь. Мириады мух носились у потолка. С улицы что-то кричали в окна; из окон отвечали туда. В переднем углу, около пьяного кулака, стоял большой сосновый стол. За этим же столом, на табурете, сидел здоровый, коренастый парень, приятель Лимподиста из Подпалихи, исполнявший по охоте должность секретаря при старосте, большой любитель каллиграфии, и поэтому приглашавшийся на все деревенские местные сходы для писания мирских приговоров. Приглашения эти всегда он принимал с великою охотой, и какая бы у него ни была работа в поле, он не мог противостоять каллиграфическому искушению: писал он мирские приговоры всегда с замечательным старанием, которое очень высоко ценили миряне, и большею частью бескорыстно, за исключением разве мирской выпивки, сопровождавшей большинство таких приговоров. Нравился он мужикам еще и тем, что не «фордыбачил», не спорил, молча и внимательно узнавал, в чем заключалось дело, и затем уже писал так, как ему бог на душу положит, истинно «по вдохновению». Слов он никогда не подбирал, писал коротко; если ему говорили, что то-то надо прибавить, он прибавлял и тут же кстати присовокуплял кое-что и «от себя», на что, впрочем, мир никогда не сердился. Хоть оно и некстати было, да отчего ж и не приписать, когда это Сосне (так прозывали писаря-земледельца) доставляло большое удовольствие? Писарская практика его, впрочем, не выходила дальше писания приговоров о переделах земли или о мирских «заказах» — праздновать тихвинской божьей матери в тече-

ние трех лет или не рубить лес до пятого года и т. п. Впрочем, с неизменным прилежанием и напряжением, нисколько не превышавшим обычной старательности, он писал и теперь. В розовой ситцевой рубахе, как парус надувшейся у него подмышками, сидел он за столом, раздвинув, как крылья, голые локти в длину стола, и, низко приклонив к нему большую кудрявую рыжевато-золотистую голову, выпучив, словно с остервенением, красноватые белки глаз, он писал, громко сопя мясистым носом. Ничто не смущало его, привыкшего к уличной, мирской каллиграфии: ни обычные остроты и шутки приятелей, хохотавших ему «под руку», ни пьяные выкрики кутилы-купца, ни говор сходки. Медленно, но твердо и уверенно, с усилием выводил он каждую букву, не задумываясь ни над одним словом (потому что писал он всегда не «литературно», а так, как думал и говорил): он даже больше заботился о буквах, чем о словах.

Прямо против писца зачем-то, плохо сознавая даже сам, сидел, словно ушибленный обухом, староста Макридий и, ни на кого не смотря, лихорадочно, в нервном волнении, барабанил по столу пальцами.

— Что выкрутасы-то разводишь? Скорей бы уж, что ли, канитель-то кончали! — иногда сердито окрикивал он Сосну, вскакивал зачем-то, но затем снова тяжело садился и искоса опять следил сердитым взглядом за медленно бродившим по серому листу пером Сосны.

Но на него никто не обращал внимания, нижѐ сам Сосна, который ни на минуту не ускорял своего писания.

Приговор уже близок был к концу, когда «мирским людям» удалось, наконец, пробраться к двери. Когда поднялся Сосна, к столу подошли благообразные, в синих халатах, хозяйчики-середняки, ходившие на заработки в Москву и другие большие города в качестве десятников или хозяйчиков небольших артелей, говорившие ровным, спокойным голосом, употреблявшие вычурные и мудреные выражения. Таким же ровным, спокойным тоном, не повышая и не понижая нигде голоса, один из них, слово за словом, прочел приговор, как будто читал он только тем, которые стояли у стола, и нисколько не интересуясь, слышали или нет

прочие. В избе, однако, говор несколько стих, и все придвинулись к столу.

Приговор, сочиненный Сосной на свой страх и по своему личному вдохновению, был следующий:

«Мы, нижеподписавшиеся, крестьяне волости Вальковщины (Добросельской тож), на волостном сходе, бывшем (такого-то) числа в деревне Дергачах, поставили выдать сей приговор крестьянам (имя рек), с тем, чтоб оным крестьянам искать у правительства за весь мир наш обиду на крестьян деревни Пузыри, кои завсегда были не наши, а переселены к нам барином, и значились мироедами по торговой части. Оные крестьяне, совратив вином крестьян же деревень Пеньки и Дубы, в сообществе с ними, с дрекольями и дубинами, когда мирские мерщики общий луг Коровье Поле делили, на оных бросились и нанесли им тяжкую обиду с побоями, за кои не стоим, а что касательно луга — того домогаться прав у них никаких быть не может и никогда им этого не будет, как оный луг искони в общей всей Вальковщины вотчине состоял. Одно дело и барину нашему молодому, Валентину Петровичу Сухорукову, на оную ж землю виду не иметь, как, значит, батюшкой ихним нам на вечное владение предоставили. А по ихнему указанию также владеть ей не желаем, потому будет это не по закону и противу милостивейшего манифесту. А просить оным крестьянам у высшего правительства приказ землю всю нам попрежнему поравнять, всем чтобы поровну, чего сами ныне мы, по народному нашему расстройству, сделать добровольно не можем, как почему-что в народе оказалась слабость противу прежнего. А без того мы видим в жизни своей большое утеснение для семейственного обиходу, равно также родителям и малолетним, и миру всему, и всей жизни расстройство. Жадности пределу никакого нет. Почему оным же крестьянам просить на попов и на волость: поборы идут большие, а дела не видим, кроме что грабежу, прямо сказать: пять тысяч за пунктовых лошадей взяли, а тех лошадей на деле не стояло, а безвинно двоих крестьян наказали, да мирских приговоров написали, каких в деле не было, да народ в работы сдают, будто в платеж недоимок, а за-все из мироедства, да от озорства и безобразия вреда много народу — девок портят силком и за деньги с угощением, да потому же

ноне хороший народ в выборы миру нейдет. А от этого всего как бы не было нам раззору, и теперь есть, которые на новые земли от срамоты думают уйти. Обо всем том оным крестьянам просить и где следует хлопотать и ежели что — доходить до правительствующего сената и просить приказу, чтобы поступать народу по милостивейшему манифесту. А что касательно земли у купцов и господ, что есть не у рук, то мы за платой не постоим, и так думаем, что государевой казне более много будет от того прибытку, чем того ноне есть, народу ж облегчение, как, значит, в земле со всемилостивейшего манифесту стало утеснение: где прежде делили на 100 душ, ноне надо, по нарождению малолетних, вдвое, а оттого всем утеснение и большие раздоры. А что оные крестьяне по сему учинят, в том спорить и прекословить не будем, а на бога и государя нашего уповаем».

— Ладно!.. Важно! — заголосили Лимподисты и Лукашки, лишь только кончилось чтение. — Вот так Сосна!.. Слово к слову!.. Ровно кто ему говорил... Ну, башка!..

— Чего ж тут?.. Чать, такой же мужик, как и все... Мудрость не велика!..

— Ну, тоже, брат... Попреешь важно!

— Правильно, правильно, — подтверждали, мотая бородами, солидные люди.

Но тут произошел было скандал. Вдруг пьяный кутила, вскочив и сделав прежний энергический жест по направлению к публике, крикнул:

— Видели?

Дружный хохот Лимподистов был ему ответом, вместе с целым градом не менее приличных острот. Благоразумные хозяйчики-середняки только улыбнулись и стали подписывать, как из толпы вырвался к столу Лукашка и, засучив волосатую руку, закричал:

— Его, подлеца, во-о!..

Благообразные хозяйчики вскочили и схватили Лукашку за руки.

— Оставь!.. что за бесчинство!.. Плюньте на него...

— А-а!.. ха-ха-ха... Присел! — кричал Лукашка, проталкиваемый опять в гущину публики.

— Подходите! Пожалуйте!.. Вытные, подходите! — торопливо приглашали хозяйчики.

Из толпы потянулись старики и вытные, фигура за фигурой, как тянутся в церкви прикладываться к образу.

Целое кладбище крестов уже стояло на листе, когда Евтропам удалось, наконец, протолкаться с «мирскими людьми» к столу.

— Садись, голуби!.. Присядьте!.. вот сюда!.. Посторонились бы вы, горюны! — говорил Евтроп Малый, усаживая Пимана на лавку.—Рукоприкладствуйте-ка побойчее, старички, побойчее! — прикрикивал он. — Много уж время-то... Вишь, смеркается.

Пиману пришлось сесть рядом с Макридием; он попрежнему широко открытыми глазами смотрел пред собой. Макридий сердито старался глядеть в сторону от него. Мужики-хозяйчики с кудрявыми бородками только мельком взглянули на «мирских людей». Никто никому не сказал ни слова. Томительно-медленно подходили старики и ставили кресты, подгоняемые теперь Евтропом Малым.

— Считай кресты, — сказал кто-то.

— Шесть десятков, — через минуту произнес один из благообразных мужиков с кудрявою бородкой.

— Будет! Довольно!

— Будет! Заглаза! — подхватила толпа.

Мужики с кудрявыми бородками поднялись.

— Макридий, где печать? — спросили они.

— Не дам! — вдруг, сверкнув глазами, отрывисто выговорил Макридий и отвернулся к окну.

— Ты чего? Ты чего, голубь? — налетели на него оба Евтропа, сердито задвигав своими большими бровями. — Не твою дурью голову несут!.. Не твою! Ты еще этого, дурья голова, заслужи!

Мужики с кудрявыми бородами хитро улыбнулись и стали искать что-то в божнице. Они скоро зажгли огарок сальной свечки и стали коптить отысканную печать.

— Мое слово было сказано! — выкрикнул не своим голосом Макридий и, вскочив, бросился в народ, к выходу.

— Ну, обойдется! — проговорили ему вслед.

— Еще прочесть? — спросил один из благообразных мужиков Пимана.

— Нету... К чему?.. Дело знамое... Дело мирское... А как прописано — вам лучше знать, — разом проговорили «мирские люди».

— Получите! — сказал тот же мужик, тщательно свертывая приговор и передавая Пиману.

Все благообразные мужики-хозяйчики внимательно посмотрели на «мирских людей», и во взгляде их сказалось одно: «Все равно... ничего не выйдет!..» Пимана опять было на мгновение озарило сознание ужаса того пути, на который он вступал. Но затем он тотчас же вместе с Сысоем и Ермилом стал креститься и взял в руку приговор. Все сидевшие зачем-то поднялись. Толпившийся народ в избе притих. Как вдруг пьяный кутила сорвался с лавки и повалился народу в ноги.

— Голубчики!.. Православные!.. Простите... меня, окаянного, пьяницу!.. Богохульник я! зверь!.. В содомский грех впал!.. Казните меня, пьяницу! Бога забыл! Забыл, православные! — причитал он, рыдая навзрыд и ползая по грязному полу. Волоса у него всклокотились, по красному лицу потоками лились слезы и пот. — Казните меня!.. Казните!.. Вот все берите, все берите, старички... Нате! — кричал он, вскакивая и выбрасывая на стол из карманов скомканные кредитки. — Все отдам... Богу пойду молиться, пьяница!..

— Обожрался! — сказал кто-то из толпы.

— А неправота-то сказывается...

— Ну, завтра проспится, не то заговорит... Из-за денег в петлю полезет.

— А все вот, должно, как правоты-то нет...

— Хозяин, поедем!.. Вакула Петрович, поедем!.. Что хозяйка скажет? Нутка-сь, какие дела: деньги бросаешь!.. Ай-ай-ай! — говорил какой-то мужик, беря купца подмышки.

Но что было с купцом дальше, — Пиман уже не знал. Вся толпа с шумным говором хлынула к двери, увлекая за собою и ходоков, и благообразных мужиков, и легендарных стариков.

IV

Помнит Пиман, как из сборной избы с прежнею суетливостью повели их Евтропы опять на сборное место, к дергачевскому «дубу маврийскому». Были сумерки, толпа редела. У сборного места на бревне опять сидели старосты, вытчики, мерщики... Опять что-то выкликал Евтроп Длинный... Опять что-то им здесь объясняли,

долго и обстоятельно говорили о городе, об адвокатах, советовали разыскать Филаретушку, говорили о Питере, о сенате... Потом опять что-то выкликал Евтроп Длинный, кричал: «Приберечь, приберечь надо! Случаи бывают!», после чего их опять повели в сборную избу.

В сборной избе их усадили, и опять изба наполнилась Лимподистами, Лукашками, Хипами, которые все в голос говорили:

— Да уж мы за них, сделайте милость... У нас только тронь!.. Да уж мы знаем!.. Где приговор-то?.. У него?.. Ну, уж будьте в надежде!.. Только кто сунься... Во-о!.. — показывал свой кулак Лукашка. Все смеялись. А Евтропы опять все что-то суетились, с кем-то говорили; сдав мирских людей под присмотр Лукашек и Лимподистов, они куда-то убегали, потом опять приходили, о чем-то шептались с Сосной; потом Сосну «потихоньку» отправили зачем-то в волость...

Потом, помнит Пиман, прибежали сыновья, Андрон и Сергей, запыхавшиеся, взволнованные, говорили: «Как?.. Что?.. Ах ты, господи!.. Да как это тебя? а?.. Да ты бы...» Помнит Пиман, что он сначала смутился, как будто сконфузился их... Но потом отвечал твердо, чтобы не подать им виду:

— Ну, что зря кричите, ровно бабы?.. Нельзя не итти... Не я пошел, другой пошел бы... Как не итти?.. Дело большое...

— Ах ты, грех какой! Ах ты!.. Вот не ждали, не гадали... А мы думаем: что старик запропал?.. Ан вон что... Ах, грех какой...

А тут уж Евтропы прибежали и оба накинулись на Андрона и Сергея:

— Какой грех, голуби? В чем грех? В правде греха нету... Что вы, голуби, али зажирели?

А после того Андрон и Сергей заговорили:

— Что ж, мы... не препятствуем... Уж ежели такой час... Только что будто дело-то... Толк-то будет ли?

А Евтропы опять говорили, и Лимподисты, и Лукашки кричали:

— Как толку не быть?.. Для кого ж и толку быть, как не для народу?.. Ведь народ... Ведь это не что... Ведь это не мы для своего мамону корыстуемся. Ведь это народ!

После того сыновья скоро ушли. Тогда пришла жена, Катерина Петровна. Она только спросила:

— Чай, далеко поедете?

— Далеко, бабушка, далеко, — сказали Евтропы. — Ты уж старичка-то снаряди!

— То-то, мол... как не снарядить?.. Надо позаботиться... Завтра поедут?

— Завтра, завтра, родная... Ты уж пораньше с печкой-то управляйся.

Потом все ушли — и Лимподисты, и Лукашки, и Евтропы. Пиман посмотрел в окно. На небе уж звезды загорались. Толпа быстро таяла. Приехавшие на лошадях торопливо закладывали их в телеги. Слышно, по улице бегают Евтропы, спрашивая: не видал ли кто их мерина?

— Эх, утро вечера мудренее! — весело сказал Сысой. — Выспаться покрепче.

И он, подложив под голову армяк, завалился на лавку. Ермил из Груздей сидел, как ушибленный, не шевелясь, наклонив голову, и не говорил ни слова, даже не вздыхал.

Потом пришел какой-то бедный, обдерганный старичок, присел на лавку и стал молча смотреть на них.

Скоро в окно послышалось, как подъехала с грохотом телега, и сидевшие в ней Евтропы что-то говорили с Лимподистом и Лукашкой, уже прилаживавшимися улечься на завальнях в качестве самых несокрушимых стражей при «мирских людях».

— Ну, прощайте-е-е, голуби! — крикнули Евтропы, и телега опять шумно загремела в наступившей тишине ночи.

— Прощай, бог простит, — ворчливо проговорил смотревший на мирских людей старичок. — Накаркали, что старые вороны, и улетели!.. Мало их еще драли!.. Мало еще народу разорили, — продолжал он, с недовольством поглядывая на Пимана, — а народ, что малый ребенок, все верит...

— Дедушко-о! — вдруг пронесся звонкий, но видимо, сквозь слезы, ребячий голос. — Да где ты?.. Поеди-им!.. Мамка ждать будет!..

— Иду-у!.. — ответил ему, вскрикнув словно старый кочет, старик.

Старик поднялся, крякнул, вздохнул и сказал:

— Эх, народ, народ!.. Когда за твою веру тебя почтут?

Старик ушел, а Пимана опять одолели смущения. Ему уже не раз вспоминались «умственные люди», с которыми ему хотелось посоветоваться. Но он помнит, что как ни выглядывал в толпе умственных людей, на этот раз никого не приметил.

«Ишь ты, — подумал он, — никто ведь не прибежал!»

К полудню, на другой день, опять приехали Евтропы, с деньгами; говорили, что пока успели по деревням немного собрать. Что после доставят в город. Приехал запыхавшийся Сосна и сказал, что насилу он в волости уставную грамоту «выкрал», при помощи второго писаря, которого подкупил; что копию писал всю ночь.

Потом *их повезли* на трех телегах, на парах; впереди и сзади Лимподисты, Хипы да Лукашки.

Потом они ехали мимо волости задами, чтобы с кем не встретиться... Потом за версту от волости, из-за моста через овраг, где густые кусты, по ним два раза стреляли... Лимподисты разогнали лошадей, а потом говорили, что это стреляли не иначе, что Маркушкины да старшинские «молодцы». Один охотник уверял, что «дробью пропуделяли» и что они — стрелки заведомо плохие: по корове промахнутся.

Потом их привезли в город. В городе жили неделю, ходили куда-то, искали Филаретушку — не нашли. Потом Евтропы привезли денег и отправили их по железной дороге.

Через две недели или через месяц они опять ехали по чугунке, но уже обратно, по этапу, вместе с каким-то другим народом.

Потом...

V

Потом Пиман проснулся совсем... В остроге понемногу начиналось движение. Кругом начинали на нарах подниматься, креститься, зевать, потягиваться... Вон и Сысой с Ермилом поднялись... Стал Пиман всматриваться в народ и видит: сидит в противоположном углу лысый мужичок, лицо у него веселое, глазами постоянно моргает, сидит у себя в углу, словно в своей избе, да в сумке копается.

— Да никак, братцы, это наш Мин, — сказал тихо Пиман Сысою.

— И правда, что он!.. Вот где привел бог встретиться, — весело сказал Сысой.

Подошли к Мину. Заморгал Мин больными глазами.

— Да как это вы, родные? а? Как это вы угодили в экое место?

— Ходоками, — сказали Пиман и Сысой.

— Ах, братцы...

Тут Мин и просиял и засветился.

— Натко-сь, натко-сь... Вот где привелось встретиться! — говорил он, протирая глаза, как будто никак не мог еще хорошенько разглядеть. — И ты, Пиман Савельич?.. Ну-у... Вот ведь правду, вишь, я тебе говорил, что мы с тобою из одного полена: расколи нас хоть на щепки, а придет время, все к одному месту придемся... Хи-хи-хи!..

И Мин Афанасьич засмеялся своим обычным мягким смехом.

— Эки дела, Мин Афанасьич, а? — говорили ходоки. — Думаем, разорят нас теперь.

— Пятьдесят вот лет старался, а тут вот... Разором разорят, как пить дадут! — прибавил Пиман, давно уже загрустивший.

— А вы, други, духом укрепитесь, — сказал Мин Афанасьич.

— То-то вот... А ты все вот весел!

— Да что нам, други, с чего горевать-то? Никто нашей правоты от нас не возьмет... Как нашу правоту от нас взять?.. Да ты меня куда хошь засади, в Сибирь сошли — и все я при своей правоте останусь!

— Да как ты сюда попал, мы и не спросим? — вскрикнул Сысой. — Ведь ты богу пошел молиться?..

— И богу помолился, и с народом поговорил... Надо думать, за это самое тоже по этапу справляют... Пока солнышка нет, она и все, правота-то, так гуляет!..

И Мин Афанасьич опять так весело засмеялся, что и сами ходоки улыбнулись.

Э П И Л О Г

ДВЕ ПРАВДЫ

(Письма Лизы)

Марта 4-го. Доброе село

Милый, дорогой Пугаев! Я не знаю, что делается со мной с тех пор, как вы уехали от нас. Мне кажется, в эти месяцы я пережила так много, так ужасно много. Мне иногда казалось даже, что сердце мое разорвется на части и лопнет моя бедная голова... Ах, Пугаев, знаете ли, я иногда негодовала на вас. Зачем вы увлекли за собой бедную, легкомысленную, веселую, глупенькую Лизу, ту Лизу, помните, девятнадцатилетнюю Лизу, которая беззаботно цвела в маленьком домике в Замоскворечьи? И как уже, однако, давно это было! Вчера мне минул двадцать седьмой год. Я была одна... Мне почему-то взгрустнулось, а в эти минуты как-то само собой начинаешь сводить итоги. Мне пришла странная мысль — прежде всего сравнить лицо. Я вынула из чемодана свою давнишнюю карточку, потом подошла к своему маленькому зеркальцу, взглянула в него, взглянула на карточку и отвернулась... Какая я стала гадкая, противная, старая дева! Добрый мой, простите, что я пишу такой вздор! Но ведь я привыкла с вами говорить искренно, вы сами научили меня этой искренности... Итак, я продолжаю: я легла на постель, спрятала лицо в подушки и зарыдала; я плакала долго, очень долго. Никогда в жизни не плакала я так. Но по-

чему, зачем я плакала, в ту минуту и сама не сознавала. Сетование на что-то, мольбы к кому-то, — все это, как будто растерзанное вихрем, носилось в моей голове... Помню, что я всего чаще повторяла: когда же свет?

Когда я немного успокоилась, то решила, что никому не покажусь в этот день, никого не приму, никуда не пойду... Мне так страстно хотелось уйти в себя, быть с собой одной... Не странное ли желание! Мне почему-то казалось, что до сих пор, в течение всех этих пяти лет, мои думы, мои чувства — все было направлено на что-то другое... Что-то я жадно и пытливо изучала, к чему-то прислушивалась; был какой-то всепожирающий объект, в котором исчезло все мое личное: мое прошлое, настоящее и... и даже будущее... А где была *я,* сама, как цельное, живое существо? Вопрос этот никогда не задавался... Разве может задать подобный вопрос весталка, не обидев свое божество? Ты сама — ничтожество, прах; ты жива только в своем божестве!.. И теперь, когда, побуждаемая темным инстинктом, я подумала о себе, мне стало страшно...

Я взяла песни Гейне... Случайность это или нет? И читала, перечитывала, и знаете, что меня завлекло и поразило? Его поэтическое предисловие: «Я шел, а вкруг меня цветы дышали... И соловей так сладко пел!» А потом — за̀мок и этот сфинкс, это жестокое божество, которое непобедимо влекло к себе, душило в своих объятиях, переполняло восторгом, трепетом все существо и в то же время когтями рвало грудь... Кто же этот сфинкс? Это ты — любовь, отвечал Гейне... Да, любовь, человечество, весь мир... А кто безжалостно бросил меня, бедную девушку, в объятия этого сфинкса, в которых изнывали сами Гейне... Кто? Вы, вы, безжалостный старик!

Простите! Вы, конечно, знаете, что это вздор... Вам уже не в первый раз слышать это от меня. А теперь я стала еще раздражительнее. Мне думается, что у меня развивается болезнь... Грудь что-то ноет. Кстати, сегодня исполнилось четыре года, как я «подвижничаю» в сельских учительницах.

Муха, попавшая в кринку с молоком... Бедная муха! Как она обрадовалась изобилию благодати — и потонула в ней!

Марта 5-го

Вчера я не могла больше писать: сводить итоги — страшное дело. Для кого, зачем нужна была моя жизнь?

Вы пишете, чтобы я подробно сообщила об всем, что делается теперь у нас... Что делается у нас? Господи! я ничего не понимаю... Я только чувствую, как томительно ноет мое сердце. Что у нас делается? Нет, бога ради, не заставляйте переживать еще раз ту муку, которую вызывают мгла, туман собственной души и всего окружающего... Помню, я была маленькою девочкой. Мы жили в губернском городе, в котором раз в год бывает огромное стечение народа по поводу принесения чудотворной иконы. Я всегда любила ожидать этого дня, когда город необычно оживлялся, но и боялась его, боялась его потому, что уж очень много наплывало на город мужика. Этот серый мужик, как неудержимый поток, еще с вечера начинал налегать на город; все шоссе, ведущее в город, на несколько верст представлялось непрерывною цепью мужицких групп, как волны, неторопливо катившихся в город. К утру, когда трогалась икона из пригородного монастыря, все это уже представлялось сплошною массой, волнующеюся и неудержимо стремящеюся в одном направлении. Вот эта стотысячная масса сгущается около городской заставы; со всех городских колоколен раздается трезвон; разряженный городской люд торопливо стремится навстречу ходу; мать в волнении схватывает нас, сестер, за руки и поспешно тащит туда же. Массовый поток уже ворвался в город, запрудив всю улицу; нас, встречавших, прижали к стенам... И вот, один раз я, не знаю как, отбилась от матери; оглянулась в стороны, назад, наших нет, а меня уже несет общий напор, не давая остановиться ни на секунду; и я бежала своими маленькими ножками, стараясь поспеть за широким шагом сыромятных сапог и лаптей. Я задыхалась; едва я обертывалась назад, чтобы посмотреть своих, как меня что-то опять подхватывало и несло, несло что-то пыльное, потное, запыхавшееся, высокое, могучее, от чего пахло маслом и дегтем: это все был мужик... А я была чуть-чуть выше его сыромятного сапога!.. Помню, меня охватил безотчетный страх перед этим напирающим мужи-

ком, который не обращал на меня никакого внимания. Чувство полной беспомощности, одиночества, ужаса охватило меня, и я, измученная, мокрая, уставшая, едва переплетая ногами, вдруг заплакала... Но мужик все валил и валил: с боков его жали крупы жандармских лошадей, в другом месте он сам жал их к стенам домов... На мои прюнелевые ботинки то и дело ступали тяжелые подковы мужицких сапог; барежевое платьице и юбочки не только были измяты, как тряпки, но готовы были превратиться в лоскутья... Слезы у меня лились все неудержимее, а кругом я слышала только звон колоколов, несвязный гул, тяжелое дыхание сотни грудей и только изредка возгласы старух или стариков, которые говорили, обгоняя меня: «Ай, ай! задавят, того гляди, девочку!.. Долго ли, господи!.. Много ли ей надо? Мужик сапогом раздавит!» И, сказав это, они уже перегоняли меня, увлекаемые сами. Вот я споткнулась — и упала... И мне, помню, мелькнула мысль — вот сейчас огромный мужицкий сапог придавит меня, и мне будет так же больно, как моей ноге в прюнелевой ботинке... Но затем я уже не помню, что было... Когда я очнулась, меня держал на руках какой-то деревенский старичок, с томным, ласковым, мягким взглядом, и говорил: «Ну, ну, не плачь, красавица!.. Теперь уж мы с тобой какой ни то путь найдем... И мамыньку найдем... Не плачь, красавица, не бойся!.. Ай, какое дело!.. И зачем это ты сюда попала?..» Я помню, что он, не переставая, говорил мне что-то в этом роде очень долго, выбираясь из толпы в первый попавшийся переулок... Я долго не могла остановить рыданий, долго еще боялась этого старика, и в то же время мне он почему-то нравился... Вот он носит меня по городским улицам и спрашивает встречных: не знают ли, чья это девочка? А сам все утешает: «Ты не плачь, красавица!.. Ты верь мне, мы уж найдем путь... И мамыньку найдем!.. На что бог-то?.. Бог нам укажет...» И пока носил он меня по улицам, я совсем с ним свыклась, и перестала бояться его, и почему-то верила, что уж теперь я не пропаду... Нам скоро попался один знакомый моего отца и указал дорогу к дому... Господи, как я обрадовалась!.. Мне кажется, что я теперь чувствую, как сильно забилось мое сердце, когда я увидала наш дом... Я быстро выскользнула из рук старичка и, закричав: «мама, мама!», бросилась бежать. Я только

слышала, как старичок сказал: «Ну, беги, беги! Теперь уж одна найдешь!..» Это были его последние слова — и уже старичка я больше не видала... Но с тех пор я как-то инстинктивно стала бояться мужиков; у меня даже эта боязнь развилась в какое-то предчувствие, что когда-нибудь мужицкий сапог раздавит меня, как случайно попавшую под ногу лягушку... И в то же время мне очень, очень часто все снился спасший меня старичок с мягкими, добрыми глазами; то будто я плутаю в лесу — и вот старичок тут как тут, выводит меня на дорогу; то будто я тону — и вот опять старичок берет меня на руки и несет домой...

Но что такое я написала вам? Вы спрашиваете о деле, а я пишу... Да что же мне делать, если под руку подвернулось это воспоминание, и если оно почему-то мне кажется теперь имеющим для меня какой-то особый смысл?.. Что я напишу вам о деле, когда кругом себя я ничего не вижу, кроме стремительно несущейся вкруг меня мужицкой толпы?.. Что могла бы вам сказать маленькая девочка, попавшая в эту мятущуюся толпу, если б вы спросили ее, задыхающуюся и объятую страхом, что делается вокруг нее?.. Она знает только одно: что привели ее молиться богу вместе с этою толпой, и думала она, что это будет мирная и тихая молитва, полная единения в духе любви, а между тем...

Бога ради, приезжайте сюда сами, если хотите узнать, что делается здесь, и понять это... Может быть вы сумеете найти таинственный и высокий смысл в том, в чем другие видят просто бестолочь, сумятицу и панургово стадо!..

Марта 6-го

Очевидно, на этот раз я не напишу вам настоящего письма: у меня бог знает что выходит, какой-то «дневник сумасшедшей»... Но все равно. Так как я отказываюсь понимать то, что делается со мной и вокруг меня, то буду передавать первое, что попадется под руку. Разбирайтесь сами, как хотите.

Да! У нас большое несчастие. Вот уже две недели, как мои хозяева не спят ночей, измучились всею семьей, да и я измучилась, глядя на них. Как ни много встречала я здесь нечеловеческого терпения, высокого в своей простоте самопожертвования среди ужасающего

хладнокровия и тупого равнодушия, я никак не ожидала быть свидетельницей того, что увидала в эти две недели.

Фрося (сестра моих хозяев, вы ее видели у меня, такая была милая, задушевная, добрая девушка! Год тому, как ее выдали замуж) сошла с ума, бедненькая! В самом расцвете жизни! И ее, голубушку, зачем-то зацепили могучие жернова непонятной машины, работающей непостижимую работу, и измололи... такую молодую, свежую, сердечную! И откуда, из каких источников родятся в народе эти светлые, как стекло, натуры? Вы знаете, какие суровые, при всем их добродушии, люди мои братья-хозяева. В особенности я боюсь до сих пор большака. Вы все еще подсмеивались, что я их трушу, помните, когда я только что поселилась у них... Я тогда с ними совсем не могла говорить. Едва я, по своей обычной восторженности, начинала говорить, как вдруг большак так спокойно, серьезно и, как мне казалось, ужасно холодно и сурово говорил: «А бог-то зачем?.. А царь-то зачем?..» И мой бойкий язык начинал заплетаться, глаза беспокойно бегать, и я умолкала, как виноватая, как школьники пред окриком учителя. А вы еще все подсмеивались надо мной!.. Итак, я боюсь этих мужиков, а между тем они воспитали такое нежное, хрупкое создание, как Фрося. Братья всегда жили большою неразделенною семьей; их три брата (один ходит в заработки), сестра-незамужница, крестная мать Фроси, и, наконец, Фрося, оставшаяся после смерти матери и отца, восьми лет, на попечении братьев. У старшего брата не было детей, и он еще больше полюбил сироту; но главным образом ее холила мать крестная. В большой семье Фросе жилось так привольно, что она могла расцветать свободно и пышно, как маков цвет... И она цвела, добрая веселая, романтичная, поэтическая... Вся она была — одна поэзия. Я как-то предложила ей учиться грамоте вместе с другими двумя ее сверстницами, которые бегали урывками ко мне от хозяйства и тихонько от семей (да, я вам укажу много таких девушек лет по восемнадцати, по двадцати, даже молодых баб, которые сидят по ночам над азбукой где-нибудь в углу и старательно «вышептывают» грамоту). Она, конечно, с радостью согласилась, но после двух уроков я заметила, что она больше смотрит мне в глаза, чем занимается. Кажется, и она поняла, что я заметила это. После уро-

ка она подошла ко мне, крепко обвила мою шею и, вся зардевшись, сказала:«Нет, мне скучно... Я глупая на это ученье... Зачем мне?.. Ты меня этим не мучай... Я крестьянка...» — «А Маша с Дуней тоже ведь крестьянки?» — «Они другие какие-то...» — отвечала она. Действительно, Фрося была вполне крестьянка: крестьянское хозяйство, жнитво, сенокос, пряжа — все, всякая мелочь была ею опоэтизирована... Весь нравственный склад ее души исчерпывался двумя замечательно краткими и простыми словами: «бог, царь». Какое бы затруднение ни представилось ей, какие бы вопросы ей ни давали, она так спокойно и уверенно повторяла за братьями: «А бог-то зачем? А царь-то зачем?»

Я увидела ее мужа еще парнем. Он не из заурядных, младший сын в большой семье в соседней деревне. Он очень напоминал Петра, каким он был у нас в Москве, только в нем больше души и веселости. У меня нередко были такие ученики, лет пятнадцати, есть и теперь двое. Они меня всегда очень занимали. Вечером, когда выйдешь гулять на улицу, они неторопливо всегда подойдут к тебе, заложив солидно руку за борт казакина. Всегда они одеты чисто, держатся «благородно», осанка, походка — все сдержанно. «Здравствуйте, Лизавета Ивановна! Гуляете?» — спрашивают они, приподнимая фуражку. «Гуляю. Пойдемте вместе!» Я уже знаю, что этого им только и нужно. И вот мы идем: они ступают важно, стараясь сдерживать шаги. И мы начинаем «солидную беседу»: это уже не школа; это первые ступени жизни...

Фрося вышла замуж по любви; это было заметно по всему. Но уже полгода спустя можно было приметить, что она нашла в муже, чего не ожидала... Или, лучше, она нашла в муже нечто больше того, что ожидала... Оказалось, что в семье Вассия[1] (так звали мужа Фроси) между ним и отцом со старшим братом уже есть какие-то недоразумения. Но Вассий молчал об этом. Дело, кажется, было в том, что когда Вассий учился в нашей школе, мой предместник-учитель был от него в восторге и всячески уговаривал его отца отпустить Вассия в учительскую семинарию. Отец с братом заупрямились, хотя Вассию приходилось итти в солдаты. За-

[1] Вассиан. (*Прим. автора.*)

упрямились просто потому, что Вассий, пробыв три года в солдатах, все же возвращался к хозяйству, а учительская семинария представлялась для них уже делом пропащим. Кажется, что-то было в этом роде, — не знаю хорошенько. Только через полгода после свадьбы, молчаливый и сдержанный в семье, Вассий задумал раздел, придравшись в сущности к очень еще небольшому поводу: ему казалось, что его жену начинают семейные слишком уж приучать к хозяйству... Сама Фрося, впрочем, нимало этого не чувствовала. И вот Вассий задумал «отделиться», но прежде чем окончательно решить это дело, он вдруг ушел на сторону, в конторщики к одному подрядчику. Плату давали хорошую, и, по его расчетам, это было очень важно для заведения хозяйства. У Фроси родился сын как раз пред отъездом Вассия. Вассий, боясь, чтобы его молодую жену не обидели в его семье, перевел ее к матери крестной, дал ей на содержание денег с сыном, обещая выслать и еще. Таким образом, Фрося опять поселилась в нашем селе, у своей матери крестной, которая живет рядом с нами в келье.

Первое время Фрося была весела и все няньчилась с ребенком, хотя была недовольна, что муж уехал очень далеко... в Нахичевань!.. Но он писал ей часто и высылал деньги. Письма были хоть короткие, но душевные. В каждом письме он вспоминал о ребенке и писал, что привезет ему гостинцев. Осенью, когда Фрося поджидала Вассия, он прислал письмо, что его подрядчик умер и что жена подрядчика просит его остаться на зиму... Он уговорил жену не грустить, что, может быть, он вырвется к Рождеству, что ему дают хорошие деньги и что эти деньги будут для них к делу. Фрося загрустила. Придешь к ней — она разглядывает подарки, какие прислал муж, но что-то все покачивает головой. Впрочем, никому ничего не говорила. К масленице приехала вдова-подрядчица в свою деревню, чтобы устроить дела после смерти мужа. Она заехала к Фросе. Я в это время сидела у нее. Вошла женщина лет тридцати, высокая, плотная, с энергичным и умным лицом, — больше умным и здоровым, чем красивым и симпатичным. На ней был лисий казакин, городское платье и ковровый платок.

— Здравствуй, Фрося, — сказала женщина громким, гортанным голосом, протяжным, каким не говорят обыкновенные крестьянки, а люди, привыкшие к длинным,

солидным, «поучительным» беседам. — Вот муж тебе подарок прислал... кланяться велел... Приказывал не скучать.

Сказав это, подрядчица степенно села к столу. Все в ней: поступь, движение, позы — были не обычные, какие-то степенно-сознательные, размеренные и в то же время деликатные, изящные: это был своего рода врожденный мужицкий аристократизм.

— Что ж ты молчишь? — спросила подрядчица. — Вишь, ты какая бледная... Или еще после родов не поправилась?

Я взглянула на Фросю: она была бледнее полотна и сидела, как ледяная, опустив голову, сжав тонкие, бледные губы и держа в руках, не развертывая, привезенный подрядчицей сверток.

— Долгонько, долгонько, Саломея Петровна, хозяин-то к нам не едет, — заметила мать крестная Фроси, — а мы еще молоды... к этому непривычные...

— Ты уж меня прости, — сказала Саломея Фросе, чуть-чуть улыбаясь, — это уж я виновата... Да ничего не сделаешь... Я теперь без него, как без рук... Такого мужика, как твой муж, *по вашим* деревням не часто встретишь... А у меня дела большие... Самой вот сюда надо было ехать...

— Разве вы не хотите прекращать дела после мужа? — спросила я.

— Зачем? Пока бог умом не обидел, нужды не вижу, — отвечала Саломея с таким уверенным самосознанием, что я невольно загляделась на нее.

Саломея помолчала. Потом встала и сказала:

— Ну, прощайте... Некогда мне... А ты на меня, голубушка, не сердись, — сказала она Фросе. — Такое дело вышло... Вот я и сама овдовела... Да слезами горю не поможешь: надо крепиться. Люди на слезы не смотрят; бог — высоко, а царь — далеко... Гляди горю в глаза прямо, чтоб оно тебя не съело... Неравно, что захочешь послать — забеги... Недельки через две опять поеду.

И, раскланявшись с нами, тою же ровною, самоуверенною поступью Саломея вышла.

Я тотчас же присела к Фросе.

— Что с тобой, Фрося? На тебе лица нет... Разве ты знаешь эту подрядчицу?..

— Да, знаю, — прошептала Фрося.

— Какая же она? Разве не хорошая женщина?

— Она не такая, как мы. *Они* все не такие, из той деревни... У нас таких не было, да и теперь еще мало.

— Какая же она?

— Так, не такая... И он, Вассий, тоже не такой... Я знаю...

Я старалась утешить ее, как могла, и разогнать ее ревнивые сомнения. Она как будто действительно отмахнула от себя черные мысли, проведя рукою по голове, оживилась, развернула сверток, в котором лежали чулочки, башмачки и ермолочка, вышитая шелком, для мальчика, и какой-то смешной халатик. Мы стали с Фросей обряжать годового мальчугана, и когда одели его, он показался нам таким смешным, забавным, что обе смеялись без умолку.

Я очень обрадовалась, что налетевшая было на Фросю туча рассеялась. А между тем меня очень заинтересовала Саломея, я стала расспрашивать о ней у знакомых соседок. Оказалось, что она действительно была из соседней деревни (верстах в восьми от нас), пользующейся здесь в окрестности довольно странною репутацией: к ней относились с каким-то особым уважением, смешанным с суеверным страхом. Говорили, что в той деревне давно все до одного «по старой вере» («староверами» народ обзывает всех раскольников, даже новейшего происхождения), что попы к ним ездят редко, что живут они чисто, аккуратно, зажиточно, но что все это добыто ими «не чисто». Когда же я спрашивала: как же именно?— мне отвечали: «Да уж так... не чисто!.. Бесом пахнет...» Ну, это я заношу между прочим. Что касается Саломеи, то она, как и большая часть женщин той деревни, грамотница и книгочея, что она старинного роду и что в роду у них все такие, что на слова она востра и что против речей ее и мужику устоять трудно, что с народом, которому у них приходится работать, обращаются хорошо и деньги дают большие и плату честно держат, да только наш народ к ним неохотно идет, боясь «соблазна»; разве кто из бойких... Более, впрочем, я ничего не могла узнать. Фрося, повидимому, настолько успокоилась, что я однажды рискнула спросить ее:

— Что, Фрося, ты все еще боишься подрядчицы?

— Боюсь, — отвечала она и улыбнулась, опустив глаза.

— Все оттого, что она не *такая,* как здешние?

— Не такая... Она в бога не верит... И Вассий мой не верит, — грустно прибавила она.

— Ну, что ты шутишь! — засмеялась я.

Заметив ее грусть, я больше не расспрашивала ее. Но с этих пор она опять стала задумчивее. Я ругала себя за неуместные расспросы. Через две недели, пред отъездом Саломеи, Фрося пришла ко мне — просить написать мужу письмо: благодарить за подарки, что она здорова, что ей и ребенку хорошо, но что она скучает без него... Попросила даже прибавить, как мы с ней смеялись, когда одели сынишку в ермолку и халатик. Но, несмотря на это веселое прибавление, Фрося все время, пока я писала, стояла неподвижно позади меня, скрестив на груди руки, склонив как-то беспомощно голову и как будто задерживая в себе рвавшиеся из груди вздохи. Она была совсем одета в дорогу, в синий на барашке кафтанчик и валенки. Получив от меня письмо, она завязала его в узелок вместе с деревенским подарком и ушла. Оказалось, что она домашним никому не сказала и пошла за восемь верст пешком; но так как погода стояла теплая, то об этом никто не беспокоился. Хватились уже на другой день утром, когда ее мать крестная вошла ко мне и сказала: «Ведь Фрося-то не ночевала дома! Ребенок-то надсадился, ревевши. Неужели она, глупая, там ночевать осталась, про ребенка забыла?» Старший брат заложил лошадь и поехал за ней. Оказалось, что она у Саломеи и не была. Все перепугались, и в нашем горе принял участие чуть не весь конец наш. Предположениям, конечно, не было конца. Братья на двух подводах поехали по соседним деревням. И только уже на третий день нашли ее в селе, верст за пятнадцать, в волостном правлении, где не знали, что с ней делать. Тут же был и мужичок, нашедший ее около дороги стоявшею по пояс в сугробе. «Я, говорит, ее окрикнул, а она молчит. Перекрестился я, подошел, а она совсем окоченела. Подол у нее хоть выжми. Взял я ее да в дровни, укрыл, привез к себе в деревню. Тут мы ее со старухой на полати затискали: думаем, авось отогреется — в себя придет... А она что же? Как отошла немного, схватила мальчика (ребятишки-то тоже на полатях спали), да и давай ему голову кусать... Бросились, насилу отняли. Старуха моя кричит: «Зови старосту, что

мы с ней будем делать?..» Ну, пришел староста, тут уж мы ее связали да в волость!..» Я не стану передавать вам всей грустной истории, как ее привезли, как целые дни и ночи оба брата, сестра и золовка держали ее попеременно за руки, как она билась, рвалась к ребенку, как толпился с утра до ночи народ у ее избы... Все это история известная... Приходили попы, дьяконы и дьячки, советовали отчитывать, везти по монастырям. Плакала мать крестная, плакал даже суровый старший брат, хотя обращался с нею строго: она одного его и боялась... Я умоляла их отправить ее в больницу в город, и тут-то опять загремел на меня старший брат: «А бог-то зачем? Бог-то?» И, кажется, никогда еще он не произносил этих слов с таким свирепым выражением... И вот стали ее возить, связанную, по монастырям, верст за тридцать, в мороз... Из одного монастыря их отправили в другой... И между тем ловили и исполняли советы первого встречного: чего-то давали пить, делали ножные ванны из настоя табаку, перца и еще чего-то... Измучились все, измучились сами, измучили ее... Да, бедненькую Фросю трудно узнать: такая она стала маленькая, худенькая, вся прозрачная, как воск, и только большие глаза с сумасшедшею энергией сверкают из глубоких впадин... А между тем это маленькое, беспомощное существо на каждое обращенное к ней слово разражается целым потоком самой грязной, кабацкой брани... Но — что всего удивительнее — она невыразимо кощунствует... Как-то ужасно странно слышать это из тех же губ, которые недавно с такою любовью и верой произносили другие речи... Отчего контрасты эти всегда так сильны и поразительны?

Вот вам и целый деревенский роман! Теперь, кажется, в моем письме есть все, кроме того, что я должна была и собиралась вам писать.

Впрочем, все одно уж, я докончу вам этот роман некоторыми характерными подробностями: к мужу послали телеграмму, но до сих пор ответа нет; очевидно, по деревенскому адресу ее не доставили. Братья истратили пропасть денег на лекарства, отчитыванья и советы, даже помогала сестра-солдатка, жившая в городе в кухарках, принося все свое жалованье... А между тем у матери крестной есть фросины деньги, около полусотни, но старуха не дает их ни под каким видом:

«Как я могу без хозяина?.. Ну, что с ней случится, с чем парнишка останется? И какой ответ я хозяину дам, когда они мне на сохранение даны?..»

Бедненькая Фрося! А все-таки она счастлива, у нее есть жизнь, полная, цельная... даже у нее есть роман!.. А как вы думаете, что лучше: сумасшедшая, хоть бы и деревенская, Офелия, или пропитанная школьною плесенью, иссохшая классная дама, потерявшая счет своим воспитанницам и никогда не знающая, как и что вышло из них и какой смысл внесла она в их существование?.. А воспитанницы между тем давно забыли даже ее имя, так что унесший их поток жизни не имеет ничего общего с существованием этой иссохшей дамы... Разве когда-нибудь, среди собравшихся подруг в гостиной, наиболее бойкая из них случайно передразнит полуиссохшую мумию и вызовет громкий, добродушный смех...

Кстати, вот еще подробность к роману Фроси. Полгода тому назад двух ее подруг чуть не отдали под суд. Одна из них — девушка — забеременела и, конечно, с великими усилиями скрывала это до тех пор, пока было возможно. Но чем ближе подходило дело к концу, тем она больше падала духом. В отчаянии, она призналась Фросе и другой общей подруге, уже года полтора вышедшей замуж. Подруг не столько поразило это событие само по себе, сколько отчаяние Маши (так звали девушку). Долго терзались вместе с нею подруги, долго не знали, что придумать, когда Фросе пришла мысль уговорить свою замужнюю подругу, у которой не было детей, а муж ходил в заработках, сказаться дома беременной. И вот заговор был составлен и начал постепенно приводиться в исполнение. Наивные подруги уже беззаветно радовались благополучному исходу дела, когда вернувшийся муж, после долгих недоумений и раздумываний, не пристал к своей бабе и та не объяснила, в чем дело.

Марта 10-го

Вы уж, вероятно, получили вместо ожидаемого письма мой сумбурный дневник? И изумлены? Изумляйтесь! Но я буду, вероятно, продолжать в том же роде... Знаете, я почему-то чувствую теперь ужасную жажду высказаться, наговориться (эта жажда, говорят, одолевает пред смертью). Да, наговориться, но не попрежнему: об-

думанно, резонно, в порядке, — нет, мне хочется именно говорить без всякого порядка, без всякого резона. Взять и высыпать все, все, что первое попадется под руку. О, как много, незаметно скрываешь от себя и от других, когда говоришь «обдуманно»! И в особенности при вас. Вы так чудно «умеете польстить», так «окурить упоительным куревом» очи, что и сама будто начинаешь думать о себе иначе. Знаете ли вы, две недели тому назад мою школу посетил в качестве начальства... Петр! Петр! Тот Петр... тот «юный сын народа», тот «интеллигентный парень», тот «любопытный экземпляр», которым мы так беззаветно «играли» во время óно, которого учили и дрессировали... О, Пугаев! какая хитрая и сложная штука жизнь!.. Что такое была тогда ваша Лиза? Добрая, сердечная, увлекающаяся, романтичная и легкомысленная, как вешний ветер, но глупенькая, полуграмотная барышня, дочь захудалого помещика. И, однако, могла ли бы она хотя на минуту допустить мысль, что через пять лет та же Лиза, но во сто раз образованнее, опытнее и умнее, будет стоять смущенная, растерянная перед этим полуграмотным парнем?

Помните тот день, тот знаменательный день, когда мы шли с вами по Лужнецкой улице к Петру?.. Впрочем, вряд ли вы его помните. Это день *мой,* а не *ваш*...

Вот мы идем с вами весело, бойко... Я вспоминаю: я очень была возбуждена, весела, что-то необычное было во мне, я чувствовала, что чувствует гимназистка, когда ее переводят в высший класс.

Помню, вы мне говорили: «*Он* хороший, хороший паренек», и говорили так мягко, нежно.

— А все-таки, если бы вы видели, Пугаев, какой он злой, какой злой! — возражала я, вспоминая ужасную сцену драки между Петром и женихом моей сестры. — О, он оказался настоящим волчонком!

— Лиза, — сказали вы, — будьте гуманны, любящи, добры с ними... Это несчастные... Мы, мы сбиваем их с пути, наши города, наша прогнившая, пропитанная миазмами цивилизация... Но подойдемте к ним, как братья... нет, как кающиеся, протянем к ним любовно руки, просветим их сиянием веры, знания, и вы увидите, как заблещут перлы из глубины их непосредственных натур.

И с этими словами мы подошли к крыльцу трех-

этажного домика и стукнули в дверь. Помню (все это я ужасно хорошо помню!), помню, как на лице моем сияла светлая, беззаботная дружеская улыбка, с которой я когда-то прыгала и бесилась, как школьница, около Петра, этого забавного волчонка (ведь я была всегда отходчивая, незлопамятная, и этим отличалась от серьезной сестры Веры). Мы стукнули еще. Вот, слышно, кто-то подошел к двери, чтобы отпереть, кто-то кашлянул. Мы узнали, что это сам Петр. На вашем лице я заметила ту же добрую, приветливую улыбку. И вдруг... Нет, это жестоко, безобразно, дико!.. «Не надо! Не желаем-с!» — как-то выкрикнул Петр, словно взвизгнул, и громко захлопнул перед нами дверь. Изумленные, пораженные, мы несколько секунд стояли, смотря на дверь. За дверью кто-то что-то спросил, кто-то ответил: «Так это... проживальщики!» И мы медленно повернулись и медленно сошли с лестницы, и долго шли, не говоря ни слова. У меня все лицо залила краска; что-то смутное, тяжелое на душе: негодование, злоба, омерзение, чувство позора — все было тут. И знаете, что мне тогда пришло на память? Я была еще очень маленькая девочка, у нас тогда были крепостные, но уж, кажется, последние... Кажется, даже это было года два спустя после манифеста. У отца в казачках служил тогда парень, такой же, как Петр, и так же все глядел исподлобья. Отец не любил его, но держал потому, что уж больше, должно быть, никого не было. И вот один раз этот парень, вместо того, чтобы ответить отцу, хлопнул дверью. Отец вспыхнул, затрясся, велел парню вернуться и с каким-то диким визгом ударил его три раза по щеке. Я помню, мне было очень жалко казачка, но (странное дело) я с уважением смотрела на отца: такое на лице его было благородное негодование! В первые минуты, теперь, во мне вспыхнуло вот это темное, инстинктивное «благородное негодование». Недаром же, конечно, припомнилась мне эта сцена! И разве было редкостью, что нежные ручки оставляли свои следы на пухлых щеках горничных, а алые губы, созданные «для звуков сладких и молитв», разве не изливали ругательств в «благородном негодовании»? Но это продолжалось во мне всего несколько минут; затем меня внезапно охватило чувство такого униженного смирения, сознания такого личного ничтожества и беспомощности... Я ду-

мала: вот он нагрубил дерзко, нагло... нам, мне... А почему ж он обязан был не грубить?.. Что такое я?.. Что такого во мне, что давало бы право... Да ведь он... он мужик?! — возражала я себе. — Что ж из этого? И вот все-таки сказал, и вот нет у меня, не чувствую я за собой никакой силы, ничего такого, что бы заставило его не делать этого, относиться иначе... Отец был барин, у него было право, и он мог отвести душу «в благородном негодовании»... А я — барышня... Что такое барышня? И на каком «праве» я могу «отвести душу»?.. А мне непременно, непременно надо отвести... как-нибудь надо... Потому что щеки у меня все-таки горят, потому что у меня что-то гложет на сердце. В чем же это *мое право?..*

Так, в этом роде, что-то странное, полупонятное, бессвязное носилось в моей голове.

Но тут, вздохнув, заговорили вы. Что вы говорили — вам, конечно, хорошо известно. Ваши мягкие, сердечные слова пронизывали меня насквозь, как осенняя изморось, пробирались до самого сердца, и я дрожала, как в лихорадке... Ну, да это все прошлое, далекое прошлое! Только с того времени прежней Лизы не стало, в ней что-то надтреснуло, надломилось.

Я уже тогда чувствовала, что меня с Петром связали какие-то невидимые, непостижимые нити, хотя с тех пор до нынешнего года я ни разу не встречала его. Но эти нити все больше и больше запутывали меня и неудержимо влекли под могучие жернова непостижимой машины, работавшей непостижимую работу. И все измололи, все пожрали эти жернова: и бедную Лизу («бедная Лиза!» — какое знакомое это для русского уха слово!), и все наши хорошие, сердечные слова.

Марта 11-го

Итак, меня осчастливил своим посещением Петр в качестве попечителя школы. Вы удивлены? Впрочем, постойте. Я уже забыла, на чем именно остановились мои сообщения вам об «истории нашей деревни» (как вам угодно было обозвать мою периодическую хронику).

Так с чего же мне начать? Все равно, я повторю вам вкратце все, что совершилось после вашего пребывания здесь, совпавшего с «торжеством устоев», как выразились вы... Но это ведь и действительно оказалось «торже-

ством», только не «устоев», а чего-то другого... чего-то такого, что так трудно поддается нашему пониманию, что мы как-то органически не можем теперь допустить, потому что *боимся*. Именно боимся; по крайней мере *я боюсь*, и выговариваю это искренно и прямо... А другие там как хотят.

Постойте, дайте скажу несколько слов об этой боязни. Вы уж, конечно, знаете, что я теперь далеко не прежняя, глупенькая и полуграмотная Лиза; положим, что и не бог знает как образованна, но все же скажу, что за эти шесть-семь лет проштудировано, продумано и прочувствовано мною столько хорошего, серьезного, что дай бог всякому, патентованному разными аттестатами зрелости и кандидатскими дипломами. Я говорю это с гордостью, без ложного смирения. Конечно, у меня не было школярской выдержки, но зато у меня была любовь и жажда истины. Кажется, я имею право прямо смотреть на припадки малодушия, которые охватывают меня, без страха внутренно обвинить себя в невежестве.

Итак, откуда же это малодушие и боязнь? Мне кажется, мое определение верно, что это малодушие и боязнь, эта постоянная смена веры и отчаяния — у нас *органические*. Крепостное право приучило нас смотреть на народ как на однообразную, бесцветную массу. Мы так же смотрели на нее и в то время, когда эту массу «освобождали». По инерции мы так же продолжаем на нее смотреть и теперь. Прибавилось только пока более резкое различие во взглядах на эту массу и в отношениях к ней. Но, несмотря на радикально противоположные воззрения на народ, мы относимся к нему так же, как холуйский живописец к полкам, которые он размалевывает: взял синей краски, мазнул — и сразу все мундиры стали синие; или взял красной краски, и не только все мундиры, но даже сапоги и лицо стали красные. Это же «сплошное» первобытное малеванье массы определяет и наше отношение к ней.

Впрочем, я зафилософствовалась и, признаться, совсем некстати... Да и скучно мне стало. Пусть философствуют те, у кого свербит ум, а у меня болит сердце и ноет грудь.

Хотела было я все это изорвать, да зачем? Рисоваться, что ли, мне пред вами? Написалось это — значит, так

нужно, значит, это *мое*, значит, это *я* в данный момент переживаю. А я теперь только и хочу, чтобы вы видели меня всю целиком, живую.

Марта 12-го

Мне невольно припоминается теперь, когда я в первый раз (в *первый* после того, как меня захватили могучие жернова) приехала в деревню. Какие это прелестные, светлые воспоминания! Ведь уж знаешь теперь, что глупы они, наивны ребячески, а между тем, как глубоко западают в душу эти ребяческие впечатления! Отчего веет от них таким теплом, таким нежным, оздоровляющим дыханием? Ах, если б теперь блеснул предо мной этот розовато-желтый, мягкий, ласкающий свет зари, которым для меня было окрашено тогда все — все эти поля, эти избы, эти «убогие» храмы, «мирные дети труда»! Все было, как дымкой, подернуто этим «сплошным» колоритом, и только спустя долгое время, и то мало-помалу, в этом сплошном колорите стало замечаться кое-какое разнообразие: одни лица и предметы были более красивы, другие — менее... А розовый свет зари все сиял!.. И мне казалось, что и меня он озарил, и я сияю в нем, как единое со всем окружающим! Говорят, что это иллюзия, мираж, вздор, детство мысли и чувства... Да. Но отчего же детство мысли и чувства так глубоко запечатлевается в душе? Отчего воспоминания о нем «разглаживают морщины на удрученном челе»?.. Отчего?.. Оттого, что в нем живет правда, и должна жить... если не вся, не сама правда, то предчувствие ее... Не так ли завязь хранит в себе все роскошное, прекрасное, что после распустится как цветок, и созреет как плод?.. Но что сравнения! Они никого не утешали. Ах, если б мне сюда хотя один проблеск этой веры в детскую правду! Или нет, не то... Я не утеряла веры в эту правду, — я чувствую присутствие ее вокруг себя, я чувствую, что она разлита в воздухе, которым я здесь дышу, но в то же время я чувствую, что стою *вне ее*, и потому не могу обнять ее, уловить, слиться с ней... Между тем как прежде, когда все было освещено мягким, розовато-желтым светом зари, я чувствовала себя с ней нераздельно...

Вы покачиваете головой, мой старый учитель, и думаете: какой же веры ей надо? И отчего она больше не верит?

Погодите, не сбивайте меня... Иначе я расплывусь пред вами в туманное, полуопределенное, без очертаний облако...

Марта 13-го

Я даже забыла, сколько прошло времени с вашего отъезда. Вообще со мной что-то творится неладное. Я не сомневаюсь, что если бы вы меня увидели теперь, вы немало изумились бы... в особенности потому, что, как мне кажется, вы несколько ошиблись относительно впечатления, которое произвели на меня последние события в нашей Вальковщине. Я, конечно, не скрываю, что этот «общий подъем духа», этот единодушный протест против шайки грабителей, засевшей в нашей волости, наконец этот эпический характер схода, выбор ходоков, — за чем мы следили с вами с затаенным дыханием, с биением сердца, — что все это не прошло для меня бесследно... О, нет! Все эти тонкие, неуловимые перипетии массового, «мирского» движения так глубоко захватывали душу, так волновали ее новыми, неизведанными ощущениями, высокими и умилительными, даже самая эта чарующая неожиданность, что в числе явившихся постоять за «мир» оказались люди, от которых менее, чем от других, можно было этого ожидать, — все это, говорю вам искренно, подействовало на меня сильно, даже трогательно... Мне почему-то хотелось плакать. Когда вы уезжали, то с своею обычною восторженностью сказали, обращаясь с высоты холма к полям: «Ныне отпущаеши!.. Я видел... и больше мне ничего не нужно!.. Я умру полный веры, которой у меня никто не отнимет!.. Лиза! когда вам взгрустнется в жизни, — прибавили вы, кладя мне руку на плечо, — припомните, что̀ мы видели с вами недавно, — и вы оживете! И вас озарит свет жизни!.. Теперь я спокоен и за вас, и за себя: кто раз видел *это,* для того нет отчаяния, нет страха смерти!..»

Видите, как я твердо помню ваши слова. Но когда я пришла домой — я разрыдалась. Никогда еще такая безнадежная грусть не охватывала меня, как в этот день... и она не только не покидала меня до этой минуты, но все растет, грозная, как туча, и в моих глазах все темнеет и темнеет...

Да, предо мною снова на мгновение мелькнул давно

желанный, мягкий, теплый, умиляющий розовый луч зари и озарил все, меня окружающее... но зачем же, как прежде, не озарил он и меня, отчего я не сияю в нем, как единое, как неразрывно слитое со всем окружающим?

И я смотрю на это сияние, как умирающий на последнюю зарю в своей жизни: он чувствует, что не для него она сияет. Вот еще два-три момента — и уже всякая связь с нею порвана... И безысходная грусть переполняет его сердце тяжелым равнодушием ко всему, что ликует, растет, полное жизни и энергии, молодости, в сиянии этих розовых лучей... Все, что он может, это — благословлять, но и только.

Вот может быть, почему я не могу до сих пор сообщить вам о делах с тою же точностью и интересом, доходившими до мельчайших мелочей, с какими сообщала вам о всех здешних делах раньше. Может быть, отчасти в этом виновата моя болезнь.

Марта 14-го

Мои ребятки уже накануне известили меня, что у нас будет новый попечитель, Петр Вонифатьев, и, главное, известили об этом с какою-то особенною глубокомысленною выразительностью, которая меня даже рассмешила. Но, очевидно, это ребячье глубокомыслие, как в зеркале, отражало глубокомысленные рассуждения насчет Петра их отцов. Спрашиваю:

— Разве он поступил на место Марка?

— Он, он, — отвечают все разом, — нового старшины зять...

— А откуда новый старшина?

— Он из дальней деревни... Так, из смирных... мужичок... Хотели было Петра, потому как он умственный, да, главное, молод еще. Мир говорит· «Хоть он в разум и вошел, пущай в лета войдет»... А Пиман Савельич (тесть-то его) в ходоках был, за мир в остороге сидел, разоренье всему хозяйству понес... Ну, мир говорит: «Хоть он и темный человек, да бога знает; пущай в старшинах ходит да хозяйство поправляет. Тоже три-то сотни в год — не вот на дороге найдешь!.. Ну, да для старшины он будет и видом посолиднее!»

Все это мне щебетала, как воробьи, самая мелкая

мелюзга, перебивая друг друга, захлебываясь, заикаясь. Но когда я к вечеру вышла посидеть на улицу, ко мне подошли двое из старших и лучших моих учеников. Я их очень люблю. Они были из тех солидных и степенных подростков, о которых я вам писала раньше. Мне всегда доставляло большое удовольствие беседовать с ними. Это были пытливые мальчики и очень способные; только уж очень солидно и серьезно всегда со мной разговаривали, хотя по натуре были очень живые, а Сеня, младший, так этот был совсем романтик. Но уж таково их (да и всех крестьянских детей) отношение к «грамоте» и ко мне. У городских детей, помню, совсем иное отношение... Мы, городские, все привыкли учиться как-то шутя, балуясь, и потому часто ленимся, считаем грамоту неприятною обязанностью. И давно ли она считалась только «украшением жизни»? Да и понятно: чего у кого много, тот этим и не дорожит. Вообще взгляд крестьян на грамоту, как известно, очень строгий и серьезный, а вместе с ними такой же взгляд и у детей. Это я могу вполне подтвердить и имею много чрезвычайно любопытных данных, с первого раза как будто даже противоречащих этому взгляду. Известны многие случаи, когда крестьяне упорно не желали иметь у себя школы или же закрывали имевшиеся. У нас привыкли объяснять это бедностью крестьян, а чаще всего их дикостью и тупым непониманием. Конечно, бедность имеет здесь большое значение. А еще большее значение имеет серьезность взгляда на школу: просто данная школа ничего в их глазах серьезного не дает, или, как говорят они, «ни до чего не доводит». Они понимают ученье не в смысле одной грамоты, а в смысле общего «развития», охватывающего всего человека целиком, всю умственную, духовную сторону. Поэтому, по их понятию, ученье может иметь только два исхода: или сделать человека вполне «умственным», поднять его выше всех окружающих, выше темного люда, и тогда он делается руководителем жизни, наставником, носителем божьей правды; весь склад его души, вся его жизнь уже не должна противоречить этому высокому призванию; или же ученье является злом, орудием достижения низких целей — просто лицемерием, несущим гибель всему окружающему.

Мне иногда приходилось слышать от очень хороших, умных стариков, всегда беседовавших со мной с большою охотой, всем интересовавшихся, такую страшную фразу: «Благодарю господа, что он, милостивый, отвел меня от грамоты... Будь я, при своей охоте к ученью да при своем характере, учен, — большое бы я зло наделал людям, по нынешнему времени!.. Вот за Никашку я не боюсь: учи его — он характером мягок... Он не в меня характером... Он только умом в меня... охотой... А вот Николашке — так совсем грамота ни к чему: пущай пашет — целее будет!..» А главное: наша теперешняя народная школа «ни до чего не доводит»... Вот в чем обида для народа, и вот почему не придает он ей «серьезного» значения... Поприще учителя или писаря, единственно доступное для мальчика из крестьян, — *мое поприще,* — народ не считает особенно высоким и важным: это поприще не «умственное», а чисто, можно сказать, механическое, которое может исполнить всякий... И если еще народ отдает нам в ученье своих детей, то единственно руководясь темною надеждой, что, умея читать, может быть, кто-нибудь сам из них «дойдет до чего-нибудь *своим* умом»... И если относительно мальчиков он еще может руководствоваться кое-какими практическими соображениями чисто житейского обихода, то относительно девочек такое объяснение найти трудно...

Боже мой!.. Однако, я написала вам чуть не целый педагогический реферат!.. Что делать?.. Но если бы не эти отвлечения в область «ума холодных наблюдений», мы, в наше время, «изошли бы слезами» — и только...

Во всяком случае эти «рассуждения», думаю, не будут для вас безынтересны, уже просто потому, что они представляют итоги моих бесед с «солидными» учениками.

— Здравствуйте, Лизавета Ивановна! Гуляете? — говорят мне Нил и Сеня обычное приветствие.

— Гуляю. Садитесь со мной.

Они садятся, поправляя на головах фуражки.

— Вот скоро кончим у вас ученье, — говорит Нил.— Отгуляли... Еще несколько времени пройдет, а там и за соху...

— А вам не хочется, Нил?

— Хочется — не хочется, а надо.

— А вы Сеня?

— Мне нельзя... Я в семье один... Вон и Нил говорит, что нельзя, а ему можно... У них трое в семье... Ему можно до чего ни то дойти... Была бы охота... А мой тятенька говорит: «Ты глупости оставь... Это не всякому дается... Нилке вот можно: дойдет или не дойдет, у них все хозяйство пойдет... А как ты до дела не дойдешь, что будет? Человеком не станешь, грабежом займешься... фальшивые расписки делать... Мало ли у нас таких-то?.. А при земле-то — божье дело... Что и нагрешишь, то трудом замолишь... А Нилке можно!»

Все это Сеня произнес протяжно, медленно и как будто несколько грустно.

— Что же вы, Нил? Или отец вас не пускает?

— Нет, отец ничего... Да ведь у нас, Лизавета Ивановна, куда же итти?.. По торговой ежели части только... А я вот сидел у дяди в кабаке — не показалось мне... Лучше уж пахать — веселее!..

— Отчего же вы думаете, что только по торговой части? Вы оба могли бы в учительскую семинарию, например.. Я бы за вас похлопотала...

— А оттуда, Лизавета Ивановна, до чего доходят?

— До учителя... Вот будете, как я...

Мои собеседники молчали.

— Ты разве все так в учительницах весь век и будешь? — спросил Нил.

И я чувствовала, как в его голосе уже слышалось изумление, смешанное с сожалением. У меня что-то сперло в горле, и я промолчала.

— И не скучно тебе все нас азам-то учить? — тихо проговорил Сеня.

И я видела, как он потупился и покраснел.

Пугаев, я не хотела лицемерить; я молчала и, сама не знаю отчего, не могла говорить... Мне даже казалось, что я что-то отвечала, только не знаю, что. Да, мне, вместе с этими мальчиками, самой так хотелось жить, хотелось «до чего-нибудь дойти...»

— Вам это так, можно, — вдруг сказал Нил, — потому вы женского положения... А нам, что ж? Вот если бы в попы хоть выходили, в настоящие... как вот поповы дети выходят, или вот как у староверов я видал. У них учитель-то всех учит: и больших, и малых... Его

все слушают, боятся. Что скажет — его слово свято. Его народ боится, уважает. Как велит жить, так и живут, и ослушаться никто не может... А тебя вот и в старшины не возьмут! — пошутил Нил.

И обоим юношам стало весело: они рассмеялись.

И я смеялась, а в глазах у меня стояли слезы...

Я знаю, как вы будете улыбаться, как покачивать станете головой, читая эти слова, но я знаю, что вы меня поймете, постараетесь понять. А попадись это письмо другим, какой град оскорбительных насмешек посыпался бы на мою голову, какая масса упреков в непонимании значения первоначальной школы, в неумении влиять на молодые души, в отсутствии любви к детям, которым истинный педагог посвящает целую жизнь и в этом находит высочайший смысл жизни. Упреки могут быть бесконечны, страшны, убийственны. Увы! — я пишу не педагогический трактат о значении первоначального образования, а простые письма к другу «о сердца горестных заметах» бедной, ни для кого не интересной Лизы.

Нил и Сеня, конечно, свели разговор на Петра.

— Да у нас теперь все начальство в волости новое!.. Очень уж прежние-то грабили — сил нет! Ну, и безобразия всякого было много...

— А теперь не будет?

— Думают, не будет. Хоть Пиман-то Савельич и темный человек, да все знают, что главная-то сила в Петре будет... А то где бы совладать с здешним народом! Ныне народ стал — беда!

— А отчего же Петр сладит?

— Да так весь мир говорит. Вся волость в один голос... Кабы не Петр, разве миру что поделать! Против него какая сила была — барин да мироеды... Вон ходоков засадили в тюрьму сразу, а взялся за дело Петр (тоже просили его немало; он без расчету, зря, не бросится), все пошло колесом! Куда барин, куда мироеды!.. И землю отдали, и ходоков выпустили.

И столько сдержанного восторга слышалось в голосе Нила, которого изредка перебивал и дополнял Сеня.

— Вот вы неправду говорите, Нил, — сказала я. — Я хорошо знаю, что барин Валентин Петрович сам помогал этому делу, сам по своей воле отступился...

— Кабы не Петр, где бы ему отступиться... Не тот

барин!.. Он не из таковских... Его прежде немало молили... А нашла коса на камень...

— А я вам говорю, что я хорошо знаю это дело, и оно было не так... Разве вы мне не верите?

И мои собеседники оба смолкли.

— Ну, Нил, будемте говорить откровенно... Ведь вы, Нил, и вы, Сеня, я знаю, любите меня?

— Мы тебя любим... Тебя все у нас любят. Говорят, раньше таких учителей не бывало, да и в округе не слыхать, — разом говорили они, улыбаясь.

— Ну, вот, скажите, отчего же вы мне не верите?

— Мало ли тебе чего барин наговорил!.. На себя охулки не положит...

— Да нет, я сама знаю... Ну, что такое Петр? Полуневежда, полуграмотный мужик, неопытный даже, бог знает какими-то путями деньги нажил, теперь кулаком стал... Ну, чем же ему выстоять против барина, ученого, образованного, сильного, если бы барин сам не захотел ему помочь или отступиться?

Мои слова, я видела, произвели сильное впечатление: Сеня весь покраснел, опустил, по обыкновению, глаза, съежился, как будто оробел даже, но молчал. Нил отвернулся от меня в сторону, но я заметила, как его глаза сердито сверкнули, и он молчал, плотно закутавшись в кафтанчик.

— Что же, Нил, вы не говорите?

— Конечно, — тихо протянул он, не оборачиваясь ко мне, — вы господа... Где нам, мужикам!

И, знаете, в эту минуту мне показалось, что голос звучит для меня чем-то знакомым: вот я будто слышала его еще вчера, слышала когда-то очень давно в Москве, слышала здесь, где-то в другом месте. Нил все сидел, смотря в сторону и нервно закутываясь в кафтанчик. Сеня как-то еще больше съежился и наклонил голову.

— Что же вы, Сеня, ничего не скажете? — спросила я.

— Мы к вам, Лизавета Ивановна, человека привели, — сказал он и вдруг выпрямился и засмеялся. — Вон, вон он там стоит, у прогона!.. И не видать...

— Что же вы мне до сих пор не скажете? Зачем он?

— Учиться хочет... Он уж парень, — ну, ему и стыдно... Его уж было совсем женить хотели...

— Чей он?

— Он из дальней деревни, из Дергачей... Так, простого мужичка сын... Только отец у него такой... необыкновенный... Все бродит по России... Как чуть мало отработается, так и пойдет ходить... Удержу не знает!.. А придет — бабы вкруг него соберутся, народ... Слушают его...

— Так вы позовите его, — показала я на парня.

Нил и Сеня стали махать ему руками, называя Янькой.

Пока он неторопливо подходил к нам, Нил и Сеня успели мне сообщить, что Янька уже совсем было сосватал дочь нового старшины, да приехал Петр, и невеста Яньки вышла за него замуж.

Опять Петр!

NB. Когда я дописывала это письмо, мне ясно представилась торжественная сцена, которую нам сделал Валентин Петрович после «торжества устоев». Помните, как он сказал, положив руку вам на плечо: «Ну, старик, только для тебя я это делаю... потому что уважаю тебя, твою веру, твои убеждения... Мой принцип жизни всегда был — строгое и неуклонное следование своим убеждениям. Я знаю, этого недостает именно нам, русским. И до тех пор у нас не будет ничего хорошего, пока мы не воспитаем себя в школе этой выдержки. Первый раз в жизни я поступлюсь этим правилом. Поступлюсь для тебя... Мое убеждение было: там, где невежество, не может быть никаких «устоев». Над массой дикарей необходима интенсивная опека, хотя бы насилием. И я отступаюсь от этого убеждения, конечно, только в данном случае, ради тебя, старик, и ради вас, барыня, — прибавил он снисходительно. — Вы убеждены, что в этом благо народа, и я покоряюсь, я жертвую... Я буду даже помогать». И вы троекратно облобызались. После этого Сухорукий, однако, сделал маленькое прибавление: «За последствия я не отвечаю... Вина падет на ваши головы!» — и улыбнулся.

Мы — виноватые!!.

Марта 15-го

Когда я на другой день после разговора с моими учениками вошла в школу (старшего отделения), она уже была полна и как-то лихорадочно шумлива. Взглянув на учеников, я сразу заметила, что сегодня занятия

пойдут плохо; это был один из тех школьных дней, которые в былое время назывались «рекреациями» — дни экстраординарные, в которые, почему-то думают ученики, обычное течение дел необязательно. Таковы: приезд директора или инспектора, освящение новой иконы, пожертвованной попечителем, или повешение лампадки к ней, или же просто постановка новых парт. Но все это далеко не так волновало мою мелкую публику, как нынешний день. Например, приезд директора производил на них очень слабое впечатление. Что такое директор? *Вообще* начальство, безличное, отвлеченное, мундир... Какое, например, значение для тысячи мужиков имеет смена мировых судей, непременных членов, председателей управы? Они могут сменяться сотнями, не оставляя никаких впечатлений. Но ожидание нынешнего, *своего* начальника было какое-то особенное. Отчасти это объяснялось тем, что ни Петра, ни его тестя, нового старшину Пимана, никто почти не видал в нашем селе до поступления их в начальство, хотя о первом, очевидно, многие знали по рассказам. Странное дело, я тоже давно не видала Петра, и общее настроение школы, я чувствовала, отразилось и на мне. Но, что всего хуже, это заметили чуткие и наблюдательные мои маленькие шпионы. Меня это настроение несколько раздражало и злило; я сделалась суровее. Но тем не менее, видимо, не могла отвлечь ни свое внимание, ни учеников от предстоящей сцены. Неизвестно, знал ли Петр о моем здесь пребывании (вероятно, уже знал), но во всяком случае встреча почему-то мне представлялась непременно могущей иметь какое-то значение и для меня, и для моих школьников... Как будто между мной и Петром должен был состояться турнир, состязание, как будто нас выводили на очную ставку.

Вы опять смеетесь и говорите про себя, что все это галлюцинация, что в сущности ничего подобного не было, что это не больше, как мое личное душевное состояние. Да, да, это мое душевное состояние. О чем же я вам и пишу?

Вот послышались в открытые форточки голоса с улицы, и половина ребятишек бросилась к окнам. Я прикрикнула на них даже необычно строго. Послышались шаги по лестнице, и как-то само собой все в школе замерло: я вспыхнула и тоже почему-то за-

молчала... Дверь отворилась, и из передней раздался громкий голос нашего батюшки:

— А мы вот к вам, Лизавета Ивановна, нагрянули!.. Уж извините, что не предупредили (это он всегда так извинялся, хотя нарочно никогда ни о чем не предупреждал). Все как-то нечаянно... нежданно-негаданно выходит... Вот-с с новым, можно сказать, в некотором роде начальством желаем нашу школу познакомить...

И батюшка, даже не отрекомендовав меня, остановился в стороне. Он как бы открывал занавес и предлагал любоваться, сказав: «Ну, вот-с!.. Милости просим!»

Петр вошел смущенный, покрасневший (какой он, однако, стал солидный!); неторопливо и нерешительно шагая, он, не глядя, поклонился мне, затем тотчас обернулся к ученикам и так же нерешительно остановился; одна рука его закинута была за спину, другая лихорадочно бегала по борту кафтана... Следом за ним вошел, тяжело ступая новыми, только что смазанными дегтем сапогами, высокий, сутуловатый старик, с большою белесоватою бородой, с тем широким, открытым лицом, с теми мягкими полузакрытыми глазами, которые всем нам так хорошо знакомы. Это обычный тип русского пахаря. Так и видно было, что его как будто сейчас только взяли от сохи. Он долго, как в церкви, кланялся на все стороны и, повидимому, старался все делать так, как Петр, потому что постоянно беспокойно взглядывал на него. Потом вошел еще господин, в новом черном халате, но из-под этого халата видно было, что он одет в городское платье, — сухой, высокий господин, с выразительным лицом. Это был некто Митродор Граф, уже лет пятидесяти. Я слышала, что ему предлагали место попечителя, но он отказался в пользу Петра, хотя обещал «содействовать». Потом вошли еще какие-то мужики.

— Ну, вот-с! — проговорил опять батюшка, когда все уставились по местам. — Вот это мы, а вот и вы! Теперь нам, Лизавета Ивановна, повеселее будет... Марк Маркыч, оно, конечно, гостеприимный был человек, ну, только насчет школы тугонек... Ну, и притом как бы соблазн был по его поведению, — внушительно сказал он, обращаясь к Петру, отличающемуся безупречной

трезвостью. — Ну, да, впрочем, того... этого... старших не осудим!.. А вы уж, Петр Вонифатьич, при содействии Митродора Васильича, нам не откажите... Вот теперь кабы нам перышков да грифельков...

И батюшка долго высчитывал, что нужно школе. Он тыкал пальцами в треснувшие парты, в худые стены, в оборванные обои, сопровождаемый внимательными посетителями. Я ушла в самый дальний угол, на свое обычное место, и посмотрела на моих ребятишек... на этот пестрый ряд голубых и карих глаз, смешавшихся, как в поле цветы. И я видела, как все эти глазенки, блистая напряженным вниманием, были прикованы к этим двум новым, стоявшим перед ними лицам: высокому старику и низенькому, худощавому молодому мужику, Петру Вонифатьеву.

Никогда еще так внимательно, с такою страстною и боязливою пытливостью не всматривалась я в глаза крестьянских детей, как в этот час. Мне казалось, я проникала в самую глубь их, читала их сокровенные ребячьи тайны. И мне показалось, что я все узнала, и мне стало страшно, жутко, тяжело. Мне не было времени обдумать и вникнуть в то, что я увидала там: я знала только одно — *меня* и *моего* там не было!

Я не слыхала, что говорил батюшка, что говорили гости. Я стояла, как окаменелая, в углу. Вот посетители тронулись к выходу, раскланялись со мной, попрежнему молча. Вот батюшка, шедший сзади, подошел ко мне и шепнул на ухо, двусмысленно улыбаясь: «Комедия!.. Выбрали же народ... Сектанты какие-то!.. А впрочем, для школы будет полезно... Ну, и мы можем рассчитывать на преферанс!..» И он засмеялся своим обычным дубоватым смехом и поспешил за ушедшими.

Дети давно уже выскочили и шумно говорили о новом начальстве. Кучка их окружила меня и спрашивала: «Понравился вам, Лизавета Ивановна, новый попечитель?.. Какой маленький! Маленький, да удаленький!.. А старшина вам понравился? Совсем мужик, настоящий...»

Я что-то бормотала бессвязное, неопределенное, когда вдруг громко спросил меня Нил:

— Что же вы, Лизавета Ивановна, не скажете, понравился ли вам новый попечитель?

Я взглянула на него: мне как будто показался этот вопрос вызовом.

— По одной наружности трудно судить... Вот увидим на деле.

— Нет, это сразу видно, каков!.. Этого не скроешь, — сказал Нил.

— Говорят, больно строгий, — прошептала одна девочка, — ужасти, какой строгий...

— По нонешнему времени так и надо,—заметил Нил.

И дети еще долго продолжали шумно выражать свои мнения о Петре и Пимане. Я видела, что занятия на нынешний день невозможны ни для меня, ни для детей, и я распустила их в честь посещения нового попечителя...

Вот и все. Судя по тому, как много я упоминала об этом событии в своих предыдущих письмах, вы, вероятно, ожидали, что встреча моя с Петром не обошлась без какого-нибудь чрезвычайного столкновения... Нет, ничего больше не было; ни я, ни он, мы не сказали друг другу ни слова, даже не глядели один на другого... И тем не менее, добрый мой, состязание совершилось. И бедное сердце вашей бедной Лизы разбито, и развеяно по ветру, как дым, все, во имя чего она пришла сюда. И победил ее здесь тот «волчонок», тот «хороший паренек», которым она когда-то так игриво играла и забавлялась. И ничто не спасло ее здесь. Что такое она, с своею любовью, с своею жертвой, с своими больными и тревожными думами, перед этим смирным, добродушным, робким стариком, попавшим «за мир» в острог, и перед этим низеньким, худощавым, полуграмотным молодым «умственным» мужиком, который до чего-то «сам дошел, своим умом»? За ними стоит все, а за мной?.. Завтра сменит новый *наемник*, «иже несть пастырь», и, может быть, поведет дело даже лучше с педагогической точки зрения.

Марта 28-го

Я ужаснулась, когда пересмотрела, какую кучу бумаги я исписала!.. Давай поскорее в пакет—и на почту. А то, чего доброго, еще наведешь подозрение (я, впрочем, не знаю, как относится к этому *новое* наше начальство, но думаю, что особого расположения питать к нам и ему нечего). И вот я поторопилась опять

собрать все написанное в груду и, не перечитывая, свалить в ваши руки... Читайте и браните меня всюду за малодушие!.. Что же, может быть, это будет кому-нибудь полезно, что-нибудь кому-нибудь скажет. Но только не спрашивайте, бога ради, меня: какая может следовать из сего мораль?.. Я пишу не басню.

Я сегодня особенно грустно настроена, может быть потому, что исписанная мною и отправленная вам груда бумаги вновь потревожила раны, которые стали было не то что заживать, а как-то тупо забываться (ведь это было так давно, или мне кажется, что очень давно). А может быть, и потому мне так грустно, что грудь болит все сильнее. А на улице весною пахнет... Солнце такое веселое смотрит, мягкое, теплое. Да и на улице все как-то веселее стало... все оживает, все живет полною, цельною (может быть, очень незавидною, очень узкою), несомненно осмысленною жизнью... А дети?.. О, на них мне так обидно, так завидно смотреть! Сколько в них жизни, энергии! Все так естественно развивается, растет, выпрямляет стебли, расправляет крылья, поднимает высоко головки... И, кажется, как бы ни велики были препятствия, какою бы юдолью скорби ни представлялось окружающее, это молодое тело тем не менее топорщится, пыжится, ищет лазеек к свету, пробивается темными, кривыми путями, иногда погибает в этой борьбе, иногда торжествует, но тем не менее неудержимо, страстно заявляет свои права на жизнь!

Я распустила сегодня школу раньше обыкновенного, села у окна и смотрела, как ученики, еще не проголодавшиеся, медленно, как божьи коровки, парами выползают из-под ворот, останавливаются кучками и о чем-то болтают, шалят с бегущими быстро ручейками талого снега... Я всматриваюсь в каждую группу и думаю о будущей судьбе каждого из своих воспитанников. Вот Сеня с Нилом стоят, над чем-то смеются. Они уже последний месяц в школе. Скоро выйдут. Сеня придет домой, покажет свидетельство: отец и мать полюбуются на него и поставят в шкаф, за стекло, а потом, благословясь, отец с сыном двинутся в поле... Робкий, смирный Сеня вначале еще поговорит о чем-нибудь с отцом, о земле, о небе, но отец скажет ему: «А бог-то зачем? А царь-то зачем?» — и этими простыми вопросами сами сразу на целую жизнь разрешат все вопросы. И

если, при тяжелых условиях, надо будет обратиться к богу, он сходит на богомолье, отслужит молебен; а если потребуется дело до царя, он вдруг вынырнет новым Пиманом перед новою Лизой... А где же та, старая Лиза?.. Оставила ли она какой-нибудь след в его душе, в его жизни?.. О, сколько переменилось уже с тех пор этих Лиз!.. Но не они, а все еще Пиманы и Петры заполняют собой мужицкую душу... Вот и Ваня Петров такой же, Вася Гурин, и Петя Гущин и... и... очень, очень много их... И из этих чистых, светлых, робких и добрых душ образ бедной учительницы Лизы, проведшей здесь с ними лучшие молодые годы, сотрется еще быстрее, чем они успеют забыть преподанную им грамоту. Зато Пиман крепко и прочно засядет в их душе.

А Нил? О, он не так скоро сдастся жизни... Он сначала пройдет по деревенской улице бойким лихачом-кудрявичем, с часами на жилетке, с новою песнью, заученною из хрестоматии, с мудреным словом, оставшимся в памяти от школы, зазнобит много девичьих сердец и, слюбившись с какою-нибудь Фросей, на другой же год разобьет вдребезги ее бедное существо, уйдя в Нахичевань или Ростов-на-Дону. И вот пройдут года — и вдруг он вынырнет деспотом-сектантом, суровым и грозным повелителем тысячной массы, и снова затуманит смысл существования и жертв этой новой Лизы. Вот и Сережа Прохоров, этот мальчик с бойкими черными глазами, уже теперь пронырливый и хитрый; он тоже запечатлел в своей душе образ Петра и топорщится добраться до него... да жадность помешала. И вот он осел в ближайшем торговом селе, в кабачке, и успокоился, применяя арифметику к счету косушек и шкаликов: пальцы у него раздуло, живот распух; он читает патриотические газеты и думает от нечего делать, как бы совсем извести господ.

А Пров Силин? Где он и что он? Это он пробрался в земство, руководимый все тою же петровою «умственностью» и, заискивающий, хитрый, твердо и неуклонно ведет оппозицию против бар... А Саша Рощин? Что он, этот нервный, раздражительный сангвиник? Он добрался сначала до ремесленного, а там и до технического училища; вышел куда-то на завод; он знает все «штуки» хозяев и десятников, он изучил всю систему грабежа

и, полный сознания своей умственности и мужицкого происхождения, злой, острый на язык, громит по кабакам и трактирам, перед партией рабочих и их хозяев, и их самих за тупое идиотство, пока не кончит жизнь избитый в полицейской кутузке...

А это кто такой? Это Асаф Асафов, угрюмый, вечно исподлобья смотрящий мальчик, наблюдательный, вдумчивый, резонный. Да, он «дошел *своим* умом». У отца его фабричка. Вот он развил ее, увеличил, усовершенствовал; он нарочно три года жил в Москве, толкался около техников, в мастерских; читал какие-то неудобочитаемые книги — и вот с запасом разношерстных знаний, претворенных в какую-то странную систему, явился он к себе на фабрику устраивать что-то «по-своему», из «своего ума».

И все эти Нилы, Провы, Асафы запечатлели на себе образ Петра в бесчисленных, своеобразных вариациях, но с неизменно-присущею им сущностью: борьбой за самобытное право мужицкой личности...

И ни на одной из этих энергичных, живых, деятельных душ не останется ни малейшего отблеска бедной Лизы, лишь только они потеряют из вида ее лицо; но даже и то, что бы и осталось вместе с грамотою, — и это они претворят в свое собственное столь быстро, что в них не явится даже сомнения, чтобы это было чужое. «Все господа!.. Где уж нам, мужикам!» — иронически звучат их смиренные, паче гордости, речи, когда им укажут на заимствованное. И опять нет следа бедной Лизы!.. Зачем им Лиза, ее жертва, ее любовь, ее жизнь?..

И могуче, стихийно катят свои волны эти два необозримых потока, широких и глубоких, то сливающихся, то расходящихся и враждебных, и погребают бесследно и безнадежно в своих волнах тысячи Лиз, тысячи самоотверженных существований...

Что же это такое? Куда же стремится этот стихийный океан? Какой смысл для меня в «устоях», если им не нужна любовь, мысль, самопожертвование, если они *всем* не дают смысла жизни, полной и цельной, если любовь, мысль и самопожертвование не могут жить с ними как единое, цельное, неразделимое?..

Значит, тут что-нибудь не так, — значит, между тем и другим что-то лежит гнетущее, — и пока оно есть —

не будет правды ни там, ни тут... Любовь, мысль, самопожертвование не могут быть затоптаны, не могут быть смяты, раздавлены и развеяны по ветру! Без них рухнут самые прочные устои и самое могучее движение превратится в застой!

Ах, если бы вы знали, какая у меня жажда веры, жажда жизни!..

Правда ли, говорят, что у чахоточных перед смертью бывает такая жажда?..

Да, Пугаев, две правды не могут быть: они должны слиться в одну, или иначе погибнут обе!..

Ночь

Сегодня вечером, после работы, пришел ко мне Яня. Какой славный, любящий, беззаветный! Он вовсе не так неуклюж, робок, как я воображала вначале. Вот истинно «хороший паренек». Он ходит ко мне чуть не каждый день — и это за пять верст после работы (они возят с отцом кирпич с завода). Отложит лошадь, даст ей есть, поставит отдыхать, а сам ко мне. Что за привязность — я не понимаю. Были привязанности, говорят, крепостных к своим господам. Эту привязанность называли остроумные люди «собачьей». Ну, а как же теперь, при свободе, назовут они эту привязанность? Да, Пугаев, *это* что-то такое глубокое, такое великое, чему я не могу подыскать определение, имя. И страшно сильное! Уж если *она* превозмогала цепи рабства, то что пред нею сословность, разница положения, образования!

Нас теперь трио, случайно связанное кое-чем общим: я, бедная Лиза, бедная Фрося и бедный Яня, все трое разбиты одною бурей, стихийно, неведомо как, неведомо зачем... И эта буря — Петр. У меня он унес смысл жизни, у Фроси разбил сердце (разве Вассий не тот же Петр?), у Яни вырвал из-под ног «устои»... И вот мы с ним вспоминаем об этом и шутим, хотя у обоих на сердце, видимо, кошки скребут, а из соседней с нами кельи раздаются дикие крики Фроси (да, до сих пор ни Вассия самого нет, ни даже письма от него).

Я все думаю о Яне и не могу надуматься. Я чувствую, что у меня что-то такое растет в душе, такое высокое, вздымающее, но не могу понять, откуда это, из каких источников. И потому *это* только моменталь-

ное что-то, тотчас исчезает, и меня снова грызет и терзает безжалостный сфинкс. Даже на Яню я смотрю иногда с тайным страхом. Мне кажется, что он опять завлекает меня, чарует, чтобы потом с еще большею яростью растерзать мне сердце. Мне кажется, что Яня замечает это недоверие, и тогда его вдруг охватывает грустная робость, он несколько раз собирается уходить — и не может, а если уйдет, то не приходит дня два-три.

Я спросила его:

— Отчего ты, Яня, к нам так привязан? Ну, дети — я понимаю, а ты уж не маленький...

Улыбается.

— Да что нам с тобою делить-то?.. Ты не жадна, и я не жаден. А коли жадности нет, так со всяким дружиться можно.

— Я вот все-таки барыня, а ты мужик...

— Что ж из этого?.. Это пустое. Из-за жадности мы друг друга губим да едим. Из нас какие подлецы-то есть — страсть божия!.. А все из жадности. А коли жадности нет, так все люди равны... Вот мой отец говорит: «Как засидишься дома, так и все кажется, что около тебя край земли, и всякому глупому слову веришь, а как походишь, говорит, так и увидишь, что люди-то, бедные, все одни-то одинешеньки; всех бог уравнял — у всех-то одна правда да одна неправда. А ежели мы по-другому думаем, так это потому, что друг друга мало видим, друг друга мало знаем. Нет лучше для жизни да для души, как ежели почаще на народ ходишь...» А я ему верю. Он у меня такой — что птица! Зернышко клюнет — сыт, на ветку сел — поет!.. Кто хочешь, слушай — ему все одно... Кабы ты поглядела, как он с мамкой воюет! Мать у меня, известно, баба, по нужде нашей, робкая: плох хлеб уродится — ругается, подати нечем платить — съесть тебя готова... Потому у ней робость большая... Ну, а старик-то — птица... Что с него возьмешь? Взял — порхнул и улетел!

И Яня смеется самым веселым, мягким смехом.

Спрашивала я его, зачем он учиться вздумал так поздно.

— Да ведь я тоже разбирал раньше-то всякую печать. У дьячка учили. Вот писать я не умел, арифметику... А учиться меня еще отец понуждал: «Книги,

говорит, все одно, что люди; книгу почитаешь, все одно, что на народ сходишь. Коли с людьми надо знаться, и книгой небрежить нельзя. Книги, говорит, что люди, тоже всякие есть: дурные и хорошие, все бери, ничего не чурайся: потому во всем есть что ни то для разумения...» Ну, да мне на Петра Вонифатьича обидно!..

Потом он меня спрашивал: кто я такая? откуда? зачем я в учительницы пошла в деревню? *На что польстилась?*

И вот тут весело рассказала я ему все, и рассказала так просто, ясно, как никогда в жизни не рассказывала; рассказала, как мне тяжело, как мне хочется жить, а не страдать... Многое я ему рассказала!

И он слушал меня, все больше и больше изумляясь, как будто перед ним вдруг открылся совершенно незнакомый ему мир.

— Какая ты! — сказал он после и улыбнулся. — Тебя бы вот с отцом свести... Ты тоже птица! Что с тебя взять?

И он так весело засмеялся. Вообще такой смех бывает только у детей да у крестьян: это что-то такое естественное, такое непосредственно свое, будто вся душа трепещет в этом смехе.

Как-то недавно он мне сказал, уходя, и посмотрел на меня:

— А ты, Ивановна, больна... смотри, не расхворайся. Ведь у тебя тельце-то, что у птахи... Загубишь ты себя на нашем житье...

И ушел, а на другой день мне принес подарок: двух тетерок, убитых из чужого ружья.

— Вот принес тебе, два дня ходил... Мы не едим их, а для господского тела, говорят, хорошо.

Я взглянула на него, у меня сдавило грудь, слезы душили, и я крепко пожала ему руку.

— Ты бы, Ивановна, в город уехала к своим... Чай, у тебя есть свои-то... Тебе бы там пожить... — советовал он мне. — Я бы тебя проводил.

Потом он мне, почему-то (мне показалось, что ему хотелось зарекомендовать себя) рассказал, как он сам «бегал», как и отец, в город, когда старик сидел в остроге. Я спросила его:

— За что?

— Говорят, за то, что «правду искал». Ну, а его и

взяли в кабаке... Там народ собрался, а он ему говорить что-то стал... Начальство и взяло... Рассказывает им: «Я так говорю: все одно ведь, добрые люди, я и в остроге правду буду искать, и в остроге люди есть... Как ты от меня отымешь?» А они все берут, тащат...

И вдруг мне так захотелось спросить его... Страшный этот вопрос!.. Ах, Пугаев, если бы вы знали, как больно отрывать куски от сердца! А у меня оно так изболело... Но все одно: убивать себя, так убивать зараз.

— А что, Яня, — спросила я, — если бы вот меня, как отца, пришли взять... Велели бы тебе связать меня, тащить?

— Ну-у, с чего ты!..

— Да ведь ты говоришь, что я такая же птица? Что ж мудреного! Ну, скажи откровенно, чистосердечно...

И во мне так сильно забилось сердце... А Яня вдруг покраснел, сконфузился.

— Отец не связал бы, — сказал он наконец.

. . . .

Апреля 7-го

Я простудилась и слегла. И только теперь мне несколько лучше. У нас совсем весна, реки вскрылись, снег сошел. Какой воздух у нас! А мне больно дышать (какое странное сравнение: прекрасный воздух — и убил меня!). Пользуюсь случаем черкнуть вам немного. За эти дни, хотя и лежала в постели, я, однако, много передумала. Я перечитала все, что написала вам об Яне, и чувствую, что не высказала и сотой доли, то есть просто не представила вам его ясно. Я не знаю, почему не так вышло: чем больше потрясен чем-нибудь, чем ближе стоишь к нему, чем глубже чувствуешь первый трепет восторга загорающейся веры, тем бледнее это выходит в передаче. Я думаю, что в первом порыве страсти ни один влюбленный ярко не нарисует свою возлюбленную. Говорят, для ясного, полного и цельного понимания предмета необходимо некоторое отдаление от него, необходимо спокойствие. А может быть, в данном случае этому есть другая причина... Когда я вновь думала и передумывала обо всем, тогда недавнее отчаяние уступило место — не вере, не порыву, не жизни, а просто тихому спокойствию усталого, больного человека,

которого убаюкивает простой шум листвы, тихое веяние ветра (да, таков для меня теперь и Яня — не больше). Так вот, когда я в состоянии этого полусонного спокойствия вновь сделала в воображении генеральный смотр всем прошедшим предо мною деревенским и старым и малым душам, я опять задала себе вопрос (так страшный для меня прежде): есть ли из них хоть одно существо, с которым бы я могла слиться как единое, нераздельное целое, без насилия над ним и над собой, с полным взаимным удовлетворением нравственных и умственных потребностей? Есть ли существо, которое, таким образом, поняв меня (*понять* не только значит *простить,* но и *защитить),* могло бы взять к себе на грудь мою голову, и я бы почувствовала, что здесь так же спокойно, как на груди друга?.. Я нашла в себе силы ответить искренно и прямо, рискуя растерзать свое сердце: нет!.. Ни одного нет! И в то же время меня что-то влекло к ним неотвратимое, необъяснимое, что-то такое, что говорило, что в этих существах есть то, чего так ищешь и не можешь найти. Нет, не одно чувство гуманности удерживало меня здесь, нет, нет и нет; что бы ни говорили люди, подобные Валентину Петровичу, это не простое сожаление и привязанность к страдающей собаке, хотя бы и в человеческом образе... Но что это было — я тщетно силилась постигнуть, тщетно напрягала всю силу моего разумения. И вдруг теперь (только теперь!) меня поразил другой вопрос: но где же были Яня и его отец? Отчего я не видала их на моем смотру?.. Да, их не было... не было их, беззаветных романтиков, как я ни искала их среди длинного ряда разнообразных, проходивших предо мною фигур... И между тем я чувствовала невидимое присутствие их вот тут, вокруг себя, вблизи и вдали, в этом воздухе, которым я дышала, во всех этих душах, с которыми я сталкивалась, в этой милой, но не далекой Фросе, в этом суровом большаке — ее брате, в Вассии, в подруге Фроси, взявшей чужого ребенка, в этом смирном Пимане, идущем «за мир» в острог, и в этом самонадеянном Петре, спасающем старика из острога... Так вот они где были!.. Это был драгоценный кристалл, разбитый вдребезги бесконечно разнообразных искр... Так вот что меня неотвратимо влекло в безжалостные объятия сфинкса!..

Апреля 10-го

Добрый мой, вы все утешаете меня, пишете, что жизнь впереди... Да, она всегда впереди и, может быть, была бы и для меня впереди, если бы... Я совсем слегла. В школе отправляет мою должность новый учитель (кстати: «сын народа», ходит с кокардой на фуражке и говорит, что *образование* кладет пропасть между *ним* и *невежеством*. Это естественный порядок вещей. Сухой, черствый и недалекий грамотей-«наемник»).

Мне хозяева и Яня сообщают каждый день «мирские» новости. Оказывается, что дела «нового» начальства не ладны. Петр оказался необузданным деспотом, безжалостным и неумолимым, какого не видали мужики со времени барства. Несчастным, свихнувшимся беднякам, запьянствовавшим и разорившимся, нет никакой пощады. Говорят, он даже сечет. Пиман — пассивное орудие в его руках; ни во что не вмешивается и только прикладывает печать. Петр орудует при нем в качестве волостного писаря. Но тем не менее большак, мой хозяин, его оправдывает, говоря, что с нынешним народом ничего нельзя поделать: иначе или все пропьют, или все разграбят. Говорят, положение Петра с Пиманом шатко. Но Пиман совсем сбился с толку, ничего не понимает, что делается, и только удивляется: прежде все было просто и понятно и сомнений не было, а теперь все стало выше его понимания... И потому он, когда ему выговаривают, все сваливает на «умного» зятя: он умен, с него и спрашивайте. Петр даже доходит до такой дерзости, что покушается на реформу по своей инициативе: землю, которую он «высудил» для мира при помощи Валентина Петровича, он не дает делить «по-прежнему» и делать «равнение»... Он хочет разбить ее на участки и давать во временное пользование только «настоящим», хозяйственным мужикам... Говорят, в Вальковщине начинается опять волнение.

Апреля 11-го

Продолжаю. Петр выказывает невероятную энергию, чувствуя, что за него большая «земельная сила»: большая часть зажиточных домохозяев, или «хозяйственных мужиков» и «рядчиков», которые очень рады такому изобильному освобождению народа от земли. Но против Петра идет чернота и беднота под предводительством

Пимана, нечто вроде Петра, бывший некогда возлюбленным барина и бурмистром, но затем за самонадеянность и дерзость высеченный барином... Оскорбленный и самолюбивый, он бежал и уже после «воли» явился опять в этих местах). Черноте сочувствуют все старинные люди — общинники. Прежние кулаки-грабители, сначала было оробевшие, теперь подняли голову и через Бориса входят в союз с чернотой, поят ее водкой... А она очень рада, чтобы только насолить хозяйственным мужикам. Строгость Петра, вследствие этого, не знает границ. У него даже в семье недавно случился большой скандал: его отец-старик заявил, что хочет жениться, «вступить в закон» с бедною солдаткой, у которой трое детей и с которой он живет уже давно. Умственный мужицкий аристократ — Петр до того взбесился, что, остервеневший, бросился на отца. Это, говорят, на старика так ужасно подействовало, что он бежал. Говорят, он напугался «антихристовых времен» и ушел в Иерусалим замаливать грехи. Замечательно в этом скандале следующее: когда Петр бросился на отца, его не могли остановить ни жена, ни Пиман, ни его работник, — и только когда бедная солдатка крикнула: «Ах ты, бесстыжий, бесстыжий... Мы думали, он человек, а он *как мужик* дерется!» — говорят, Петр тотчас же ушел.

Вечер

Не замечаете ли, как я стала спокойнее?.. Пишу, словно отец Пимен: «добру и злу внимая равнодушно...» Если бы я теперь написала хоть одно письмо такое, как раньше, я сразу убила бы себя... Но теперь мне «хроника» доставляет некоторое развлечение... И вот я как-нибудь понемногу передам вам все. Недавно же разразился еще больший скандал. Петр, возмущенный «продажною», как он называет, чернотой, вошедшей в союз с «грабителями», пристал к Пиману с требованием, чтобы тот выхлопотал мирской приговор о ссылке своего сына Бориса в Сибирь. Старик совсем растерялся и не знает, что делать. Он уже давно собирался сбежать со старшинства. Вообще идет что-то невероятное здесь. Собравшийся волостной сход вызывал на объяснение Пимана и Петра; Пимана обругали «старым дураком», но ничего от него не добились. Петр же, когда ему передали вызов на мирской суд, сказал «что еще не

было видано, чтобы суд дураков умных людей судил».

Сход жаловался в уездное присутствие. Валентин Петрович (вы слышали, он у нас непременным членом) вне себя от негодования на Петра (а между тем они, кажется, близки по «неуклонности принципов»), зовет его «зверем-мужиком». Об этом услыхал Петр и, обозвав весь мир «дураками», пораженный поднявшеюся общею бестолочью, в которой он не понимал, как разобраться, отказался от дел и самовольно уехал в Москву. За ним сбежал было и Пиман в Дергачи — *пахать,* но его привлекли. Впрочем, к изумлению Валентина Петровича, дела волостного правления оказались в образцовом порядке, касса — в цветущем состоянии, и только приговоры судов были все кассированы вследствие вмешательства писаря и необычайной строгости. После ревизии Пимана отпустили *пахать,* чему он несказанно обрадовался... Его место занял кандидат Сысой Строгий (такой же добродушный мужик, «артельный», как и Пиман: он вместе с ним сидел в тюрьме).

Я спросила хозяина: как теперь пойдут дела?

— Дураки, не умели умного человека ценить... Вот теперь опять на грабителей поработают.

— А что же, разве Сысой плох?

— Сысой-то хорош, да тут мало хорошему быть... Не прежние времена... Ноне жизнь-то понять надо... Хороши они, Пиман с Сысоем, при умном человеке... А при грабителях... Через полгода запутают их... Вот помяни мое слово — быть ему в Сибири...

Вот и конец моей хроники.

Апреля 12-го

Впрочем, погодите, еще не конец. Еще несколько слов. Я забыла передать вам одну подробность. Недавно я была свидетельницей одной странной сцены... По крайней мере я не могу отделаться от мысли, что тут есть какая-то страшная связь, хотя и не могу дать себе ясного отчета...

Вскоре за бегством Петра, после одного бурного мирского схода, я вышла на улицу, предполагая, что весь сход и народ с улицы разошелся. Действительно, около сборной избы уже не было никого. Становилось темно, кое-где только брели вместе, расходясь по избам

и толкуя, по-двое, по-трое стариков. Я прошла в конец улицы и вдруг слышу — около задворков последней избы, у околицы, идет сдержанный сговор. По некоторым голосам и по тону я узнала, что тут собрались все солидные, хозяйственные наши мужики.

— Что *они* здесь делают целыми годами? Что *им* нужно? — говорили некоторые. — Грохочут постоянно, что лешие... Бога-то у *них* не стало! Хозяйства нет... Добрых людей только сна решили...

— Всякая рвань к ним льнет... Конечно что — ум... Ну, как мухи к меду и льнут.

— Что у человека больше ума, то для крестьянина страшнее, — заметил, повидимому, какой-то старичок.

— Не стало никакого сладу ни в семьях, ни в миру... Что уж это! На сына прикрикнул, на сноху, — бегут к Борису жаловаться!.. С миру всякая рвань, голытьба, как что мало не по них настоящий крестьянин думает, — опять к Борису...

— Ведь эдак они с умною-то̀ головой до какого греха доведут!.. Ведь эдак все хозяйство в деревне хоть рушь...

— Мы люди смирные, нам так воевать нельзя — и в семье, и на миру. Опять же, чем они с сыном живут?..

— Ах, грехи, грехи!.. Вот и золотые головы, а что из них у нас вышло? Ни людям добро, ни самим — счастие, — вздохнул кто-то.

— Теперь у нас все село-то словно в осаде... Какая жизнь! Уж только господи... А-ах! — сокрушался кто-то. — Бьешься-бешься, а все настоящей жизни не видишь, — долетело до меня.

Я прошла уже дальше.

А через три-четыре дня после этого разговора произошло страшное несчастие: нашли Бориса убитым наповал где-то на задворках, около кабака. Все наше село в каком-то необъяснимом страхе крестилось.

Когда я расспрашивала своего сурового хозяина, не знает ли он чего об этом деле, он, не отвечая на мой вопрос, проговорил задумчиво:

— Вот оно у нас, золотой-то голове конец-то какой! Господи, спаси нас всех и помилуй! — истово перекрестился он.

Так это страшное дело ничем и не выяснилось.

Опять повторяю, я не имею никаких оснований

делать какие-либо решительные выводы из того разговора, который я случайно слышала у сходки, тем более, что после рассказывали, что будто Борис был убит в драке, но все-таки... не могу отделаться от мысли, что тут есть какая-то связь с очень многим. Впрочем, может быть, это чисто мое личное, субъективное ощущение.

Апреля 20-го

Весна! весна, добрый мой!.. Как я ждала ее! Что ж, хотя и последняя, но она так хороша!.. Мне все верится, что моя жизнь только еще теперь начинается. Только теперь... Придет лето — я встану, бодрая духом и телом, и... и уже сфинкс не будет терзать мне грудь! Я нашла к нему надежного проводника. Яня все навещает меня. Вчера мы долго говорили. И отчего это так легко говорить с ним? А ведь он такой же мужик, как и все. Он только... Все еще не могу определить одним словом: кто он? Нет, это не сын «земли», не сын «мира», не «ратник труда», не подвижник «ума»... Он даже не все это вместе, — он выше всего этого. Он царит над этим, беззаветный романтик! Мне кажется, что исчезни из народа *это,* что так целостно воплотилось в Яне и отце его Мине, бессильна будет оживить его и «земля», ибо власть ее обратится тогда в страшную, могильную власть животного, хотя бы и мирного прозябания, и власть «мира», община, ибо эта власть станет условною мертвою формой, деспотически принижающею неоживленную духом «порыва» личность; власть труда сделается страшною властью машины, и, наконец, самая власть «ума», власть интеллигенции, превратится в сухое, вялое доктринерство или умственный деспотизм... И только одно *это...*

А что такое *это* — я не знаю, дорогой Пугаев, не знаю до сих пор, но я верю в *это,* мало того, — я чувствую его... всем существом своим. Значит, *оно* реально... Что из того, что я теперь не могу определить *это?* Это даже лучше: значит, *оно* так глубоко...

Мая 1-го

Приезжайте... да, приезжайте! вы правы — мне плохо. Яня привел ко мне своего отца... «Он тебя, Лизавета Ивановна, рассказом займет...»

Мин Афанасьич, с своими добрыми, мигающими глазами, сидит около меня. А знаете, кто этот Мин?.. Это тот старичок, который, помните, поднял меня совсем было растоптанную мужицким сапогом, поднял и сказал: «Не плачь, не плачь, красавица!.. Мы теперь с тобой путь найдем!..» Да, это он, ей-богу!..

А что такое *он?* Одна бесконечная, неизживаемая вера в правду жизни, в то, что в этой жизни должна быть правда и что только мы ее не умеем найти...

Надо, надо уметь! Идите с ним рука об руку — и найдете!..

Добрый мой, прощайте!.. Прощай, Мин, прощай, Яня!.. Пугаев! Когда приедете, обоймите за меня старика и скажите, что он спас меня. А я обнимаю вас.

А как мне хочется жить!..

Ваша *Лиза Дрекалова.*

Через день, когда приехал Пугаев, она уже умирала. Старик отдал ей земной поклон и зарыдал.

1878—1883 гг.

ЗОЛОТЫЕ СЕРДЦА

Повесть

Глава первая

МОРОЗОВ

Как теперь вижу эту оригинальную, высокую, сутуловатую фигуру в смешном длинном сюртуке, застегнутом под самое горло на одну верхнюю пуговицу и затем на одну внизу, это умное, сердито-доброе, но вечно угрюмое лицо, обросшее черною бородой, которую нервно и безжалостно трепал он левой рукой в то время, когда правая непрестанно ерзала в образовавшуюся между незастегнутыми бортами сюртука, пазуху, как будто он всегда искал чего-нибудь в боковом кармане.

Я сидел на завалине около житницы, в далекой деревеньке одной из великороссийских палестин, и тянул из крынки парное молоко. Он порывисто ошагивал, как часовой, мимо меня пространство в три сажени, сердито смотря в землю и изредка окидывая взором окрестную местность: «зады» крестьянских дворов, смотревших на нас развалившимися гумнами, поля с тощим хлебом, плохой лесишко, раскинувшийся беспорядочно сбоку вперемежку с кустарником и перелогом. Мой собеседник негодовал, но у меня, — не знаю почему, — не сходила с губ самая добродушная улыбка, каждый раз, когда я встречал на себе его негодующий взор. Его доброе лицо, к несчастию, никак не укладывалось в мину негодования, и из этого выходило нечто милое и смешное. Я хорошо знал его, и для меня не мог скрыться его недостаток — неуменье, при всем желании, лицемерить и владеть личными мускулами настолько, чтобы можно

было скрыть природное добродушие. Он, казалось, знал это и часто сердился на свое лицо. «Чорт знает, — говорил он, — что за рожа такая холуйская!.. Увидит станового — и тотчас же изобразит: милости просим закусить!» Поэтому никакое начальство не было на него в претензии, как он ни силился изобразить из себя беспокойного человека.

Он был действительно прекрасной души человек и оригинал. Ему лет под тридцать пять. В его боковом кармане (к которому он, по случайной привычке, так часто отправлял на ревизию свою правую руку) лежало пять дипломов, выданных на разные ученые степени из разных высших учебных заведений. Он перекочевывал из одного в другое десять лет: кончив курс в Московском университете по юридическому факультету, перешел на второй курс математического факультета Петербургского университета; кончив здесь, перебрался на третий курс Земледельческого института, отсюда на третий курс Технологического института, и уже здесь закончил свою студенческую карьеру, набив карман разными дипломами, как паспортами на свободный проезд по всевозможным карьерам. Этому помогли, конечно, его замечательный ум, бесподобная память и неимоверная энергия, с которой он переносил все невзгоды необеспеченной жизни. Он был сын мелкого конторщика на фабрике, совершенно случайно попавший в «приватные» ученики к одному экс-студенту, который выучил его грамоте. Этот же студент остался для него какой-то святыней на всю жизнь, хотя он его уже не встречал более по окончании своей учебной карьеры. Он говорил, что это был «великий ум, высокая душа», что он, Морозов, «недостоин развязать ремень» и пр. Запасшись столькими ученым дипломами, он тем не менее не придавал им никакого значения. «Все это было приобретено, — говорил он, — не более как ввиду кормления. Вышел я из университета, потолкался было в адвокатах, только что расцветавших тогда, да не показалось. Пошел в лесной институт, в расчете на стипендию; получил, кончил, поехал на завод: думал, по глупости, нечто совершить, да кончил тем, что женился на помещице, бросил место и уехал опять в Питер, на стипендию в технологический, ибо с женою было жить нечем. Мы с ней без позволения сошлись, так тятенька, осердившись,

ничего ей не дал. Вот таким манером ради кормления и нахватал бумажонок...» После этого, он странствовал по разным местам, был опять юристом, техником, лесничим, даже учителем, но нигде не усидел больше года. Измучил этими переходами себя, расстроил нервы жене и дошел до того, что не нашел ничего лучше, как сделаться самостоятельным и независимым рабочим-механиком, в компании с двумя приятелями. уже пытавшимися изготовлять свои швейные машины. Но в это время умер у него тесть, и жена увезла его насильно в доставшееся ей по наследству имение. Его деятельность и виды приняли на некоторое время другое направление: он задумал устроить образцовое заведение сельского хозяйства, применительно к экономическим средствам среднего крестьянского хозяйства. Сзывал к себе мужиков-хозяев, поил их водкой, показывал им плодопеременные системы, опыты возращения леса и кукурузы, великолепную рожь, родившуюся у него... Мужики от всего этого ахали, приходили в восторг и говорили, что его, должно быть, бог возлюбил — потому ему и счастие...

— Врете вы! — кричал он. — Почему же у вас нет?

— Мы, должно, господа прогневили...

— Врете вы... Смотрите: вот и вот почему; делайте так... И пр.

Мужики стояли на своем и показывали на облака, «с которыми, брат, тоже пива не сваришь!.. Вон его, батюшку, кто ведает — куды несет: может, оно с градом, а может, и нет; может, с дождем, а может, и с засухой... Ты вот на это как скажешь?..»

Он опять ругался, кричал, выходил из себя, а мужики, выпив водки, уходили домой, может быть кое-что, впрочем, и унесши с собою из умственной пищи.

Однако он был недоволен, хотя жена не нарадовалась на образцовое хозяйство. Он заперся в кабинете и долго корреспондировал оттуда в газеты и журналы. Но, как человек живой, не вытерпел, стал опять ругаться с мужиками и... во время этой ругани организовал артель для разработки местного алебастра...

Но все это — и проба различных профессий, и образцовое хозяйство, и производительные артели — было для него не более, как суррогатом, которым он заглушал в себе искусственно потребность в чем-то ином, подобно

тому, как голодный бросается на различные суррогаты хлеба в виде древесной коры, мязги, лебеды и пр. Все это не столько удовлетворяло его, сколько еще больше раздражало. Он не только не видел во всех этих «экспериментах» что-либо прочное, не только верил в какое-либо особое значение их, но, напротив, как будто и проделывал их с единственной целью доказать самому себе, что все это не более, как «штуки» и «мазанье по губам».

— Русский человек — или романтик, или плут, — говорил он, залезая всей пятерней к себе в бороду.

— Будто бы так строго ограничено?

— Совершенно так. Какое же тут может быть общее дело? Общее дело только у плутов и может быть. А романтики к нему неспособны уже потому одному, что расплывчаты.

— Но ведь у нас, как вы знаете, были попытки с довольно определенной целью?

— Ничуть. Один романтизм, стремление к чему-то очень хорошему, но в чем состояло это хорошее, а еще более — как к нему итти, и что из сего выйдет, — мы ровно ничего в этом не понимали...

— Ну, вот! да и вы тоже романтик?

— И я романтик. Грешен теми же грехами уже потому, что сам русский...

— Но ведь вы — сын народа?

— Все некультурные народы — романтики; а наш тем более. Я, батюшка, такой крепкой верой в чертей заручился среди своих родичей, что, признаюсь вам, до сих пор еще кой от чего не освободился.

Он сплюнул на сторону, как будто действительно отплевывался от дьявольского наваждения. Я улыбнулся, но он не обратил внимания.

— И знаете что, — сказал он, уставившись на меня глазами и засовывая за пазуху сюртука правую руку,— пока народ не узнает хорошенько себя, до тех пор будут одни недоразумения...

— И все оттого, что романтики?

— От этого.

— Но согласитесь, что у народа нередко бывало «общее дело»?

— Какое же это дело? Заносит в деревню отставной солдат какую-нибудь прекрасную идею, примерно хоть о том, что с такого-то срока выйдет приказание с неба

галушкам валиться... Идейка эпидемически охватывает баб и мужиков-романтиков, деревню за деревней, село за селом... Начинается «общее дело», бросание работ, уличные сходы... Затем команда — и ушат холодной воды на романтические головы...

— Есть, однако, события и покрупнее... Вот, к примеру, двенадцатый год?

— Это сожжение-то своих хат и «животишек»?

— Да хоть бы и это.

— Помилуйте, да какой же народ солидной культуры дозволит себе такое молодечество?

— В таком случае все-таки нужно сознаться, что романтизм иногда бывал у нас «чреват результатами», как выражаетесь вы. И еще можно поспорить, что́ лучше: солидная культура с определенными и очень узкими идеалами, или бескультурный романтизм...

— Может быть. Тем не менее то, что все мы романтики, — несомненно. А романтизм имеет одно очень скверное свойство: он живет и питается иллюзиями, а этим свойством очень удобно пользуются плуты. Кстати, вы знаете, что сегодня моя жена именины справляет?

— Нет.

— Пойдемте ко мне. К ней сегодня, наверно, съехалась вся здешняя уездная палестина, как бывало съезжалась к ее отцу...

— А вы что же не участвуете в приеме?

— Я-с? — круто повернулся он ко мне. — Я с плутами несколько строг и груб, а романтики здешние меня считают не более, как мужем моей жены, и поэтому, кажется, презирают... Да и мне в них мало проку. Впрочем, жена у меня добрая, любит угощать. Я ей не мешаю: она теперь попала в свою стихию и отдыхает. Я и так бессовестно долго заставлял ее цыганствовать с собой... Пойдемте!

Замечу здесь кстати, что не только баре, но и мужики третировали его, не то, чтобы свысока, а запанибрата. Они давно знали, что он сын фабричного, и часто запросто «тыкали» его, в то время как пред «барыней» холопствовали. В особенности «по душе» относились к нему мужики помельче, неполитики. Им было известно, что он назывался еще в мальчиках Петром Малым, а потому он и преобразился у них в Петра Петровича Мало́ва. Настоящая же фамилия его была Морозов.

Мы обогнули «крестьянские зады» и вышли на сельскую улицу, почти сплошь заросшую мелкою кудрявою муравой, напитанной, как губка, водой после недавнего дождя. Нам нужно было пройти через все село. На половине улицы от одного дома отделился мужик, без шапки, в одной рубахе и портах, подошел к нам и сказал: «Здравствуйте», мотнув головой.

— А у барыни гости, — прибавил он, обращаясь к Петру Петровичу.

— А тебе что? — буркнул сердито Петр Петрович.

— Так, мол... Может, не знаешь... Она вон Дико́му твои заведенья показывает. Хвалит.

— И пускай показывает.

— Знамо... У тебя разве что худое есть. Тебе скрываться нечего. Твоим делом всякий любуйся — не налюбуешься... Твое дело начистоту у всех...

— То-то вот и есть... Так и пущай смотрят... На то я и ферму устроил... А вы вот мне не верите...

— Как не верить? верим. Да разве нам пристали эти игрушки-то? Мало что хорошо — да не возьмешь!

— Знаю, лучше вас это знаю. Кабы вы только это говорили, — так я бы вам ни слова не сказал... А вы вон в облако пальцем тыкаете.

— Что ж! В облаке, брат, и ты не велик владыко...

Пока мы разговаривали с этим мужиком, к нам подошло еще несколько человек. Видимо, у них было до Петра Петровича дело.

— Петр Петрович, а мы опять к тебе по нашему делу... Крестьянское присутствие опять, вишь ты, затянуло нас, — заговорил тот же мужик.

— Я сказал — ступайте к майору.

— Да ведь что ж майор? Майор у нас душа-человек! Только в заправском деле выправки у него нету...

— Поспособствуйте! — заговорили мужики. — Мы бы по гроб жизни...

— Я уже вам способствовал, чего еще? Полгода из кожи лез, а что сделал?

— Так, так... Это что говорить! Продолжительное дело... Да, может, теперь оно ходчей пойдет...

— Ну, и ступайте к майору. А я не хочу, потому что все одно оно, что у майора, что у меня пойдет...

— Обстоятельнее бы с тобой.

Петр Петрович надвинул шляпу и зашагал от мужиков. Мы шли некоторое время молча.

— Вы знаете этого майора? — спросил он.

— Мало.

— Мы его встретим у жены. Потешный человек: стар, детски-наивен, храбрится, как отставной солдат на костылях. Он теперь гласным в земстве от крестьян; распинается там, шумит, заводит истории, одним словом — подвижничает. Нажил себе врагов, а больше, впрочем, насмешников. Крестьяне в нем души не чают, а по-моему, все это выеденного яйца не стоит, потому что — романтизм.

— Однако, значит, он полезен все-таки крестьянам?

— Наверно, но настолько, насколько полезен был бы и простой волостной писарь. Потому что ведь у нас все «на законном основании», а «законное основание» одинаково и для меня, и для майора, и для писаря.

— Потому-то вы им и отказали в содействии?

— Потому и отказал... Воображать, что могу сделать что-нибудь помимо «законного основания», как воображает майор, не могу, а потому отказал.

Мы прошли село, за которым невдалеке показалась усадьба Морозовых. От деревни вид на нее был прелестный. Она стояла на косогоре, отлого спускавшемся к реке, поросшей по берегам зеленым тростником. Все здания скрыты были в зелени садов и рощи, разросшейся по косогору, и только кое-где мелькали сквозь деревья красные и белые крыши с белыми, блестящими на солнце трубами.

— Эдакая благодать у вас в усадьбе! — показал я Петру Петровичу, останавливаясь на повороте дороги, чтобы полюбоваться этой действительно редкой картиной.

— Да, хорошо! — прошептал он как-то лениво. — Я рад за жену. Рад, что, устроив это имение, я хоть чем-нибудь мог отблагодарить ее за кочевание со мной. А самому мне хотелось бы вон отсюда.

— Опять кочевать?

— Опять.

Петр Петрович улыбнулся.

— Вам это кажется смешным? Да, оно смешно выходит, действительно, — проговорил он задумчиво и шмыгнул правой рукой к боковому карману. «Щупает дипломы», — промелькнуло у меня в голове.

— Удивительное дело, — продолжал он, — не могу равнодушно смотреть ни на лес, ни на реку, в особенности на большую... Так и потянет руку к топору, к веслу. Тело у меня зудит. Кажется, с теми дипломами, какие у меня имеются, каким бы ученым можно быть, примерно хоть немцу! А у меня повалится из руки, потому что ей способнее и любезнее сжаться в кулак. И ведь не дилетант я, а вот, подите ж, больше дня в кабинете ни в жизнь не просидеть!

— Да и не зачем совсем закупориваться.

— А что же делать? Науку я мог бы считать единственным делом, которое не напоминает романтизм. Да что ж вы сделаете, ежели тянет! Мой дед был бурлак,— понимаете, настоящий бурлак, рабочая сила, лошадь, запряженная в лямку, и, как русский мужик, романтик по преимуществу...

— А ведь русский романтизм имеет глубокие корни в тысячелетней невеселой народной жизни,—заметил я.

— Это совершенно верно. Этою жизнью народ дошел до замечательных обобщений. Но все эти обобщения романтичны и неизмеримо далеки от действительной жизни. Они далеко опередили его культуру, — и вот почему ему теперь так «неможется». Мой дед любил петь и рассказывать про поволжскую вольницу, про Ермака, про Сибирь... При этом плакал. Да и есть о чем!.. Наш теперешний бурлак — и Ермак! А ведь дети одной реки! Как же можно было не быть моему дедке романтиком! В своих рассказах он то возил меня с песнями по Волге, то тянул лямку по ее песчаным берегам, то уходил в сибирские леса, на Лену, Иртыш. В трескучие морозы мы валили вековые деревья, звенели топоры, жужжали пилы, раздавались выстрелы, падал пушной зверь, трещал огромный костер. Мы проживали на «новине» зиму, строили хаты, устраивали рыбные ловли и, основав поселение, уходили дальше, туда, в глубь дебрей. Вероятно вследствие этого во мне так сильна «колонизаторская», «пионерская» жилка. Вот почему я и бросаюсь на такие предприятия, которые носят приблизительно этот колонизаторский характер, как, например, мое сельскохозяйственное заведение или артель, значению которых я, впрочем, не верю ни на грош. Дальше итти нельзя, ибо наткнешься на «законные основания», а удовлетвориться этим не в силах!

Туда бы вот, в глубь доисторических времен, где еще «законных оснований» не было!

Он улыбнулся, снял шляпу и провел рукой по волосам.

— Что же, — сказал я, — в Сибирь! Она велика...

— Конечно, я бы давно был там, если бы жил вместе с дедкой, во времена Ермака... Но, пройдя искус цивилизации, хочется взглянуть и на это дело пошире, чем смотрел поволжский бурлак. А когда сложатся обстоятельства сообразно этому «пошире»? Впрочем, для этого не единичные силы требуются, а общее дело, — прервал он резко свою речь, которая так необычно плавно полилась было у него, — общее дело-с!

Мы подошли к усадьбе.

II

У палисадника из акаций, окаймлявшего передний двор, в глубине которого пропадал господский дом обыкновенной «барской» архитектуры, с двумя «парадными» крыльцами по бокам, со множеством окон, длинный и низкий, с высокою красною крышей, стояло два экипажа. Один из них был старинный тарантас, с откинутым верхом, на рессорах, заложенный тройкой черных лошадей, две из которых были уже очень стары. Старый, угрюмый, с огромною седою бородой, кучер похаживал вокруг них, изредка медленно и обстоятельно запуская в нос понюшки табаку, поправляя сбрую и вытирая полами ветхого кафтана старческие ноги своих господских воспитанниц с побелевшими губами и проседью на гривах. Другой экипаж представлял собой легкую крестьянскую плетушку на тонких жердях, заложенную в одну лошадь, сытую, молодую, с широким глянцовитым крупом, густой и длинной гривой, в наборной, широкой и массивной сбруе, с расписною дугой. К ней то подбегала со двора какая-то юркая, неугомонная чуйка с чрезвычайно хлопотливым, сосредоточенным маленьким лицом, как говорят, «в кулачок», с торчащею на подбородке клиновидною бородой и маленькими, быстро бегавшими «мышиными» глазками, то опять убегала внутрь двора, в «барскую приемную».

Вдали палисадника виднелась простая крестьянская

телега с распростертыми по земле оглоблями; около нее ходила, помахивая хвостом, рабочая крестьянская лошадь, привязанная на всю длину вожжой, и подбирала придорожную траву.

Первый из экипажей, с заматорелым кучером и поседевшими лошадьми, принадлежал «Дикому барину», долго с честью и славою бившемуся за излюбленные «культурные начала», пока не удалился «в пустыню», как наилучший представитель их, и, обросши бородой, окутавшись в теплый шлафрок, не заперся наедине с самим с собой, с своею любовницей и единственной старой собакой в глухом кабинете своей разрушающейся усадьбы. Таков этот «Дикий барин», как прозвали его единогласно и окрестные крестьяне, и помещики, и начальство. Мрачный, капризный, нервный, ходит он по своей добровольной темнице, скрипя половицами, глотая без наслаждения и внимания старое бургонское из последних бутылок, оставшихся от былых времен. Он приходился крестным отцом Лизавете Николаевне (жене Петра Петровича) и сегодня в другой раз изменил своему затворничеству — приехал навестить ее, верный слову, данному при смерти ее отцу: заменить ей его и передать его прощение, благословение и наследство. Первое его посещение относилось к тому времени, когда только что приехали Морозовы в свою усадьбу. На этой же тройке, в том же экипаже приехал он тогда, молча поцеловал в лоб свою крестницу, молча взял у несшего за ним лакея дорогой, обделанный в золото портфель, и, вынув из него документы, относившиеся к имению его покойного друга, отца Морозовой, подал их ей, лаконично определив их значение. Затем, подав ей одну руку, попросил другой Петра Петровича последовать за ним; обошел с крестницей усадьбу, с инвентарем в руках, и потом, также молча раскланявшись с Морозовым и вновь поцеловав в лоб его жену, уехал к себе, не показываясь вплоть до нынешнего визита.

За домом, в глубине сада, из-за густо разросшихся деревьев мелькнуло пред нами белое платье Лизаветы Николаевны. Петр Петрович, не заходя в дом, пригласил меня пройти прямо в сад. Мы обогнули угол дома и пошли по узкой боковой липовой алее, из-за которой невдалеке виднелись деревянные и каменные усадебные

службы. В конце аллеи, где она подходила к скотному двору и затем поворачивала в сторону, нам навстречу вышли Дикий барин и Лизавета Николаевна, опиравшаяся на его руку. В белом платье, с сияющим лицом, сквозь бледную кожу которого пробивался румянец, она с самодовольно-гордым наслаждением о чем-то рассказывала Дикому барину, показывая то в ту, то в другую сторону рукой. Дикий барин, в длинном сюртуке, длинный и сутуловатый сам, с черными с проседью волосами на голове и с длинной эспаньолкой, в соломенной шляпе и толстою палкой в руке, послушно поворачивался в ту сторону, куда указывала Лизавета Николаевна, и одинаково сосредоточенно всматривался во все, что удостаивалось ее похвалы. А она хвалила все, потому что все это было делом рук ее мужа.

Нас долго они не замечали, но когда мы подошли уже довольно близко, Лизавета Николаевна, видимо, смешалась и несколько побледнела, как бледнеет нервный человек, опасливый и чуткий при всякой неожиданности. Она тотчас оставила руку Дикого барина и, улыбнувшись, подала руку мужу, который молча раскланялся с гостем.

— Ваша жена, — заговорил Дикий барин, — мне успела уже показать все свое имение и, конечно, не поскупилась на похвалу вам. Впрочем, похвала вполне заслуженная. Прекрасно, молодой человек! — прибавил он и протянул ему руку.

Петр Петрович слегка нахмурился и наскоро принял протянутую руку. Это маленькое замешательство тотчас же отразилось на нервной Лизавете Николаевне: она боязливо взглянула в лицо мужа и, опасаясь, чтобы не вышло чего-нибудь, тотчас же предложила итти в комнаты.

Все мы повернули обратно и двинулись вместе по той же аллее по направлению к дому, выходивщему балконом в разбитый пред ним большой цветник с живою изгородью из сирени, жимолости и тополей.

— К сожалению, я слышал, — заговорил с Петром Петровичем Дикий барин, надевая шляпу и закидывая руки с палкой за спину, — вы не придаете особого значения своим прекрасным работам по устройству родового имения вашей жены... Это справедливо?

— Да, не придаю, — отвечал Петр Петрович.

— Гм... Обыкновенная история! С таким небрежным отношением к делу русскому человеку никогда не быть передовым. В нем нет той упорной настойчивости, той культурной напряженности, которые так возвысили европейские нации. Русский человек — по преимуществу «не помнящий родства». Он не создаст себе почвы, с которой бы связали его крепко и неразрывно культурные предания. Он вечно будет цыганствовать. В его знаниях и способностях нет прочной устойчивости, нет уважения к ним. Он не сосредотачивает их на одном пункте, он, как расточительный и блудный сын, бесплодно разбрасывает их, не думая о том, попадут они на камень или на восприимчивую почву.

— Это справедливо, — заметил Петр Петрович, — но действительно ли это так плохо, как думают, — еще вопрос.

— Интересно знать, — заговорил Дикий барин, повернув в сторону от нас лицо и как бы не слыхав последнего возражения, — интересно знать, что́ при подобных воззрениях сделаете вы... то есть вообще *ваши*... для блага *вашей* родины... *Ваши,* кажется, свысока третировали и английского лорда, и французского буржуа... Ну, и прекрасно! События привели к тому, что дело у нас именно оказалось таким, как вам было желательно. Гм... События разрушили те культурные зачатки, которые вырабатывали наши отцы. Что же вы намерены наращать взамен того старого?

— Вместо ответа я бы спросил: помешали ли эти культурные традиции спустить «с веселой торопливостью» выкупные свидетельства и богатые имения в руки кулаков? Помогли ли они удержать оранжереи, парки, фруктовые сады, английские фермы и тому подобные культурные насаждения?

— Да ведь и вы совершенно хладнокровно оторветесь от той почвы, на которой возрастут посеянные вами плоды?

— Совершенно хладнокровно.

— И пойдете цыганствовать и бездомничать во имя каких-то исканий чего-то?

— Да.

— Вот оно, царство «не помнящего родства!..» Вот он, бесконечный юрьев день! — произнес Дикий барин сквозь зубы, и у него вырвался короткий, сухой смех.

— Ах, боже мой! — воскликнула Лизавета Николаевна, все время смущенно слушавшая разговор мужа и Дикого барина. — Да вы оба безжалостно лжете на самих себя! Ведь вы, папа-крестный, не продали кулакам свое имение? А он, Петя, мог ли бы так устроить свое хозяйство, если бы не любил это дело, если бы не нашел в нем, наконец, то, чего так долго искал! Неужели вы думаете, что это дело, начатое с такой любовью, с такими знаниями, непрочно? О, это неправда, неправда! Здесь положены любовь, знание, свобода... И на них-то построится то новое здание, которое получат в наследство наши дети!..

Все это она выговорила торопливо, нервно, ускоряя с каждым словом шаги и в волнении махая свободною рукой. Мы подошли уже к дому, и на ее горячее возражение никто не отвечал, только Дикий барин горько, надменно улыбнулся, да Петр Петрович раза два путешествовал рукой за пазуху сюртука, что было у него признаком раздражения.

III

Когда мы поднимались по ветхим ступеням террасы, выходившей в сад, до нас донесся из залы оживленный говор.

— У тебя уже гости, — сказал Дикий барин Лизавете Николаевне, приостанавливаясь на первых ступеньках. — Я не пойду. Я поеду домой.

— Зачем же так скоро? Выпейте хоть стакан кофе.

— У меня с ними нет ничего общего. Я не могу... Я раздражаюсь.

— Да и у нас с ними нет ничего общего...

— Не знаю-с, не знаю-с... Может быть... — скороговоркой проговорил Дикий барин. — Впрочем... я у тебя так редко бываю... Я останусь на четверть часа.. Но это — большая жертва с моей стороны... Это только для тебя...

Я заметил, как при этом коробило добродушного Петра Петровича. Он выделывал какие-то странные гримасы губами и покачивал головой, как будто говоря про себя: «Эк ведь изломался как! А романтик! Романтик чистый, как все мы!..» По его лицу и движе-

ниям заметно было, что он сам не раз был готов радушно пригласить Дикого барина, но всякий раз отступал и вместо приглашения только что-то бормотал беззвучно губами. «Что ж, коли ломается!» — говорило его добродушно-сердитое лицо. Это было понятно в Морозове. Насколько я его знал, он был чрезвычайно чуток ко всякой утрировке, ко всякой искусственности; он часто замечал ее в таких тонких формах, в таких, повидимому, «душевных» отношениях, где другой глаз все принимал за чистую монету; и так как он по открытости и добродушию своего характера никак не мог удержаться, чтобы не дать заметить своих наблюдений, то и нажил себе много врагов; люди, прежде души в нем не чаявшие, сердились на него, начинали дуться и «отъезжали» от него. Вследствие же такого свойства натуры он не раз терял популярность во времена своего «молодечества», как называл он один из периодов своей деятельности, и, вместо того, чтобы быть «передовиком», вопреки всем ожиданиям являлся на втором плане или даже совсем стушевывался. Это, впрочем, помогло ему избежать, помимо его воли, многих неприятностей.

Мы вошли в зал. Тут действительно собралась если не вся «уездная палестина», как говорил Петр Петрович, то кое-какие представители ее были налицо. Прежде всего бросились в глаза два высочайшего роста, уже немолодых, джентльмена, с здоровыми мясами, стянутыми в поношенные венгерки. Они постоянно подергивали плечами, распрямляли члены, как будто неустанно производили гимнастические упражения. Два Аякса были уже «изрядно заложивши», как было заметно по их глазам и испитым физиономиям. По отрывочной фразе, на которой мы их застали, оказывалось, что они стремились в Сербию — кого-то и за что-то «разжечь...» Но их пыл охлаждал земский председатель, человек крепкого сложения, румяный, с брюшком и одетый очень тщательно, даже слегка подвитой, очевидно с претензией нравиться дамам. Это был Бурцев, известный в уездной палестине под кличкой «Никаши», прежде большой забулдыга, а теперь «представитель». По уездной палестине ходила про него и Дикого барина сплетня. Рассказывали, что Никаша, промотав большую часть своего «родового», лет пять тому назад вернулся в свои палестины из столицы за приисканием «средств

к жизни». Он сумел скоро втереться во все дома скучающих помещиков, которым нравилась «новая, свежая струя», вливавшаяся вместе с его громким хохотом, скабрёзными рассказами и замечательно беззаветной «неунываемостью» в тоску и скуку их жизни. Он скоро заметил, что он нужен. В это же время, учуяв, что у Дикого барина осталось еще полпогреба бургонского, Никаша забрался и к нему. Дикий барин, никого не подпускавший к себе, отступил перед Никашей и позволил обольстить себя. Он глубоко верил, что если в ком осталась теперь прямота и честность, так это в добродушных Бурцевых, кутилах и забияках; во всех других он видел «подленькие подходцы», «либеральные виляньья», вообще «печать времени». Итак, Дикий барин допустил Никашу к себе. Часто сидели они вдвоем по вечерам в усадьбе Дикого барина и распивали бургонское...

— Прикажете налить? — спрашивал Никаша.

— Налей.

— И мне-с?

— И тебе.

Стаканы наливались — и выпивались.

Одним таким же вечером вдруг влетает Никаша к Дикому барину весь сияющий, весь пропитанный букетом какого-то невиннейшего самодовольства.

— Чего ты ликуешь? — спросил его Дикий барин, сидя с поджатыми ногами на широком оттомане.

— Я нынче счастлив ваше-ство... Позвольте чокнуться с вами!..

Дикий барин подозрительно поглядел на него. Он не допускал все-таки и с Никашей таких фамильярностей.

— С нынешнего дня я удостоен избранием почтенных представителей... — начал, сияя, Никаша.

— Ты? — спросил Дикий барин, и у него дрогнула рука.

— Я-с...

— Ты? На мое место? Ты, Никашка Бурцев?

— Ваше-ство, — обиделся Никаша, — в моем лице вы обижаете благосклонное внимание сословия...

— Во-он! — крикнул, весь побледнев, Дикий барин.

Никаша стушевался, а Дикий барин все еще стоял в одной и той же позе, бессознательно поводя сверкав-

шими из-под седых бровей глазами по двери, из-за которой он, казалось, все еще ждал появления кого-то. Вошел его старый камердинер.

— Одеваться! — приказал Дикий барин. Старик камердинер в недоумении стал чистить барский мундир; завозился, кряхтя, на печи седой кучер; заскрипел давно несмазываемый старый тарантас, выдвинутый на божий свет из кромешной тьмы сарая, и заматоревшие, в летах, клячи лениво становились в упряжь. Дикий барин поскакал в губернский город и через день же вернулся, еще более нервный, еще более мрачный.

Понятно, что Дикому барину и Никаше не особенно была приятна настоящая встреча.

Вместе с Аяксами, что-то доказывая, горячился старичок. Предупрежденный Морозовым, я сразу признал в нем майора. Он был в полувоенном сюртуке, с форменною фуражкой в руке, которою в споре махал по воздуху. Маленькие выцветшие глазки его так усердно бегали и метали такими взглядами, как будто хотели выпрыгнуть, не довольствуясь тем ограниченным пространством, которое отвела им природа под густыми седыми бровями; жидкие седые волосы торчали вокруг его маленькой лысины прихотливыми завитками «по-суворовски»; длинные белые усы, обрамляя небольшой рот и чисто выбритый подбородок, низко спускались к груди. Маленькое и легкое тельце майора поддерживалось и носилось с места на место словно невидимыми крыльями, так как тонкие его ножки, обутые в мягкие, стариковские сапоги без каблуков, дрожали и гнулись. В споре он старался перекричать всех, отчего краснел, задыхался и брызгал слюной, которую больше всех принимал на себя бывший тут же улыбающийся батюшка, мужчина лет тридцати пяти, из новых, гласный в земстве и член педагогического совета. Он все стремился ворваться в спор, но, пока вставал с места, пока запахивал ряску, пока поправлял широкие рукава и простирал руку, говоря: «позвольте заявить возражение», всегда опаздывал, ибо о том, на что он хотел заявить возражение, уже давно не говорилось, и он отходил с улыбкой опять к стулу. Не участвуя в разговоре, с надменным высокомерием ходил вдоль комнаты, закинув руку со шляпой за спину, очень молодой человек, в золотых очках и во фраке. Я слыхал про

него. Это был адвокат — феномен в своем роде, проникнутый глубочайшим уважением к родовитости и аристократизму, он презирал искренно, от всего сердца «мещанство» и брал защиту только родовых дворян. Наконец за входной дверью, в углу, сидел какой-то старик из крестьян, с подрезанными на лбу седыми волосами, в синем, застегнутом наглухо армяке; он от времени до времени то старался одним ухом вслушаться в спор, то плевал тихонько в угол и что-то шептал, — вероятно, молитвы, — наклонив голову.

Когда мы вошли, спор прекратился. Начались поздравления. Пользуясь ими, Дикий барин торопливой, но твердой поступью прошел в соседнюю комнату, не обратив ни на кого внимания, даже на адвоката, который выразил на лице своем глубочайшее почтение и ловко отдернул стоящий на дороге стул. Когда поздравления кончились, от дальнего окна поднялась стройная женская фигура, с крупными чертами лица, большой косой, просто собранной в кольцо на затылке, и в простом ситцевом платье. Ей было с первого взгляда лет двадцать пять. Она медленно сделала два шага вперед, когда Лизавета Николаевна с радушным лицом направилась к ней, и молча пожала ей руку, без всяких поздравлений; так же холодно и молча подала она руку и Морозову, который наскоро отдернул свою и, как мне показалось, чтобы скрыть замешательство, подошел тотчас же к батюшке и стал приглашать его тихонько «курнуть» к нему в кабинет, на что батюшка также шопотом и мимикой изъявил согласие. Я тоже счел наилучшим отправиться вслед за Морозовым и либеральным батюшкой.

IV

Скоро я остался один в кабинете Морозова. Я не бывал еще у него в новой, «барской обстановке», как называл он свое настоящее положение в качестве «барынина мужа», и потому меня интересовала всякая мелочь. Может быть, я думал уловить какой-нибудь смысл, «идею». В наше время этим «мелочам обстановки» было придано такое значение, что на них почти невольно обращаешь внимание. Прежде всего мне бросилась в глаза замечательная скромность кабинета Морозова.

Простой деревянный длинный письменный стол, покрытый черной клеенкой; у окна два-три деревянных, массивных стула, может быть своей работы; старый диван с кожаной жесткой подушкой; вдоль стены стоял верстак, под ним валялись свежие опилки и тряпки; немного дальше, сбоку от письменного стола, у другого окна — токарный станок. По стене висели два ружья с принадлежностями, револьвер, рабочая блуза, инструменты и подвесные полки с книгами, которых много, кроме того, лежало на письменном столе и на старинном комоде обыкновенного мещанского фасона, с полуобломанными медными ручками у ящиков. Книги были в здоровых, плотных переплетах, больше классики по различным «отраслям ведения»; все — томы внушительных размеров, компактной печати и тяжелого, неудобоваримого для обыкновенного смертного содержания. Я вынул одну из них: оказался том механики Вейсбаха. Но рядом с ним, к моему удовольствию, я откопал том Шекспира, из-за которого виднелась какая-то маленькая книжка. Я посмотрел; «Книга песен» Гейне. На заглавном листочке женской рукой написано: «Катерины Масловой»... Тут же дата: «1 декабр. 69 г.» А в самом низу, карандашом, два стиха из Шиллера:

В царство звуков из могилы,
В божий свет из тьмы густой!..

Я взял книгу и, сев к окну, стал ее перелистывать. Во многих местах были сделаны заметки карандашом и вписаны, уже мужской рукой, кое-какие стихи; попадались вопросительные знаки. Под одним из стихотворений, именно под второй главой «Горной идиллии», было написано рукой, кажется, Морозова: «Обращаю внимание своей дорогой воспитанницы... Прошу вникнуть». Но я заметил, кроме того, еще одну странность: заметно было, что книжка эта хранилась тщательно и с любовью, и все отметки и стихи, написанные карандашом женской рукой, были покрыты гуммиарабиком. «Словно министерские пометки!» — подумал я улыбнувшись.

Пока я вертел пред глазами эту книгу, до меня долетали из соседних комнат в полуотворенную дверь обрывки разговоров. Речь, кажется, шла «о событиях

дня», которыми было восстание славян. Два Аякса, вероятно выпив еще, выразили еще большее желание устремиться в Сербию, чтобы кому-то что-то «доказать». Никаша теперь уже не усмирял их пыл, а, напротив того, поощрял, тем более что и батюшка благословлял. Вообще, заметно было, что Никаша взял в «высокую ноту» и уже вошел в какую-то роль, которая, по его словам, заключалась, кажется, «с одной стороны, в искоренении вредных элементов, с другой стороны — в поощрении глубоких начал»; в чем состояли последние, наверное сказать было нельзя, но можно предположить, что дело касалось Аяксов. Всю эту «высокую ноту» он пускал, очевидно, в виду присутствия Дикого барина, потому что не раз повторял фразу: «Мы не с ветру-с... Мы сознательно идем к одной цели... Мы ясно определили для себя тот путь... Мы, как представители, обязаны уловить ту нить... Мы должны прозревать в среде направление общественных симпатий...» и т. п. Но батюшка с ним не мог согласиться, и, когда Никаша предложил проект панихиды «по убиенным славянам», он заявил, что-де «не будет ли это раненько и, так сказать, предвосхищением событий... У нас господин благочинный очень строг в политике и руководствуется наиболее официальными указаниями...» Никаша настаивал, но, несмотря на то, что он даже жертвовал на это своих три целковых, батюшка колебался и только тогда решился, когда Никаша крикнул: «Я отвечаю!»

— Мы вот-с как это сделаем, — заявил батюшка, — чтобы господину благочинному (батюшка, как «новый», звал заочно своего благочинного «господином», а не «отец благочинный»), чтобы господину благочинному не подать каких-либо поводов, я-с отслужу после обедни панихиду вообще, о всех христолюбивых воинах, павших на поле брани... Тут уж все войдут — и севастопольцы, и двенадцатый год... Тенденции-то никакой и не будет!

Все согласились на это, даже майор примкнул.

— А вот мы теперь не выпьем ли за успех? — предложил один из Аяксов.

— Вот это прекрасно! — поддержал Никаша. — Я кстати и книжку предложу-с, пользуясь случаем...

— Какую книжку?

— А вот видите... от комитета!

— Что ж, это хорошо! — сказал батюшка, — Вы с меня за панихиду-то и зачтите. Я готов пожертвовать!

— Нет-с, позвольте... Сначала, как и подобает, инициатива должна принадлежать его — ству...

Все отправились в гостиную, где Дикий барин с Морозовым пили чай.

— Ваше-ство! — начал Никаша: — вам, как и всем здесь присутствующим, небезызвестно, конечно, какие ужасные события совершаются в судьбе единопле...

Я нарочно подошел к двери, чтобы послушать речь Никаши, как вдруг он оборвал ее на полуслове.

— Извини, Лизочка, прощай! Я не могу больше... В другой раз!— заторопился Дикий барин. — Навестите меня как-нибудь... Буду рад... А теперь не могу... Где моя шляпа? палка?

Но Никаша смутился только на минуту, и, в то время как Дикий барин поспешно уходил, сопровождаемый Морозовыми, он продолжал речь к оставшимся. Конец речи вызвал сильный протест со стороны майора. Майор закипятился: дело, кажется, состояло в том, что Никаша заявил о своем намерении собрать с крестьян пожертвования: с одной стороны, через становых, «с разъяснением сущности дела», и с другой стороны — путем земства.

Майор восстал против этого, поддерживаемый упорным несогласием на этот проект со стороны седого старика.

— Так, так, миленький! — поощрял его майор, ликуя и сияя всей своей маленькой персоной. — Верно! Держи выстойку... Мы, мол, и сами сумеем... За нами дело не станет; захотим — головы положим!

— А что у вас много в земстве выживших из ума стариков? — спросил сдержанным голосом адвокат «от дворян» Никашу.

— Юноша! — загремел майор, нахмурив брови, и засеменил ножками (очевидно, он поторопился принять замечание на свой счет), — не спеши обижать старого майора!.. Не опасайся! он не тебя удостоит своим уважением... Вникни: в 1835 году...

Но тут майор заговорил так быстро, что до меня долетали только одни отрывки какой-то странной хронологии в таком роде: «...в 1835 году... состоял и, быв препровожден курьерно... в 1848 году... состоял и быв...

откомандирован в Орск... В 1854 году... испросив всемилостивейшего соизволения пролить за отечество... всеми лостивейше соизволено... пролил... За дело на Малаховом кургане состоял... и быв... выслужил и получил... В 1861 году, в незабвенный день девятнадцатого февраля... поселился среди крестьян... и ныне, божьею милостью, пребываю...

— Ха-ха-ха!.. Полно, старина, полно! — покровительственно посмеиваясь, заговорил Никаша. — Да кто же вас не знает! Ах, хорохора!.. Ха-ха-ха!..

И Никаша нежно тыкал его пальцем в живот. Батюшка посмеивался, а адвокат несколько струсил и конфузливо отошел к окну... Я взглянул на Морозова: он ходил по комнате, потрепывая бороду, и опять по лицу его носилась мысль: «Эк ведь ломается! И к чему ломается!.. А романтик! Чистый романтик!..»

— Так, так, миленький!.. — опять поощрял майор седого старика, равнодушно и лениво внимавшего «барскому разговору,» как слушает пустые речи больной или уже отрешившийся от мира человек, которому давно все это надоело, — так, так!.. Крепитесь, дружнее стойте... Хвалю!..

— Что нас хвалить? Стары уж мы, хвалить-то нас! — лениво и сердито, отворачиваясь к окну, проговорил седой старик. — Дурно ли, хорошо ли — наше при нас и останется. Нас уж бог разберет!..

— Да, да! — заволновался майор. — Все еще у меня это старое... Поощрить, похвалить... Эк в нас засело!.. Ха-ха!.. И Орск не вытрезвил... А? Петр Петрович! Орск — и тот не вытрезвил... А?

— И Орск — романтизм, — буркнул Петр Петрович, залезая рукой за пазуху и в нервном раздражении двинув ногой стоявшее не на своем месте кресло.

— И Орск? — переспросил майор внезапно надтреснувшим и даже дрогнувшим голосом.

— Ха-ха-ха!.. загрохотал опять Никаша. — Ах, хорохора!.. Ах, старина, старина!.. А он думал и нивесть что!..

— И Орск? — проговорил уже еще тише майор, как бы для самого себя. — Ну, это... это, кажется... слишком уж действительность...

Он весь покраснел, как уличенный школьник, смешался, смутился и закашлялся...

— Ха-ха-ха! Ах, хорохора! — поощрительно захохотал было опять Никаша и выразил даже намерение радушно обнять старика, а батюшка уже поправил рукава ряски, приготовляясь «сделать и с своей стороны заявление», как из соседней комнаты показалась та серьезная девушка, которую заметил я раньше... Неся в руках фуражку и толстую суковатую палку майора, она быстрой, но твердой поступью подошла к нему и взяла его под руку.

— Папа, уйдем отсюда... — раздался чистый и ясный до резкости голос, несколько дрогнувший на последнем слове. А через секунду в глазах ее блеснул огонек, и кровь залила обе щеки, когда ее взгляд приметил нервную дрожь на лице Морозовых.

— Домой? Да?.. пожалуй! Я ведь ничего... так... закашлялся! это пройдет, — торопливо заговорил еще более смущенный майор. — Прошу извинить, — обратился он, расшаркиваясь по-военному, к присутствовавшим, — вот она... домой хочет!

И он вышел «петушком» вслед за дочерью.

Гости с усмешкой переглянулись; Лизавета Николаевна, чтобы скрыть смущение, занялась с прислугой, а Никаша подлетел к старавшемуся с нервной торопливостью свернуть папиросу Петру Петровичу и, подернув плечом по направлению к двери, куда вышел майор с дочерью, сказал полушопотом и полутаинственно: «Вредные элементы-с!»

— А его — ство тоже «вредный элемент-с»? — силясь улыбнуться, спросил его Петр Петрович.

— Н-да?! — вскрикнул нелепо Никаша, не зная, засмеяться ли ему на этот вопрос или обидеться.

— Это значительно любопытный вопрос! — вывел его из затруднения батюшка.

— Ха-ха-ха! Да, это интересный вопрос!

— А вот тут еще господин доктор, Башкиров, проживает, — сообщил батюшка, — тоже элемент-с! Умный он человек, надо полагать, но не люблю я его. Не своим делом занимается. Мораль христианскую изволит проповедывать. Хорошее, конечно, это дело, но всякому довлеет свое...

— А не выпьем ли мы еще, господа? — предложил Морозов.

Это предложение было очень кстати. Все выпили,

но уже беседа не клеилась. Видя, что хозяева «не в своей тарелке», по замечанию батюшки, которое он сделал мне шопотом, войдя с бутербродом в руках в кабинет, гости стали прощаться, тем более что на обед рассчитывать было нельзя, так как Лизавета Николаевна, по общему мнению, была «либералка» и старыми обычаями пренебрегала.

Остался один седой старик, все так же мирно сидевший в углу за дверью и безучастно внимавший совершавшемуся перед ним. Наконец он вздохнул, собрал тщательно с колен крошки белого хлеба, с которым пил чай, стряхнул полы и поднялся. Вытянувшись во весь рост, он был очень красив: во всей его фигуре чувствовалось какое-то настойчивое самосознание с примесью смирения, как это бывает у монахов; его умные и зоркие глаза светились такой глубиной, что, казалось, они глядели постоянно куда-то вдаль, поверх всего, что было вблизи.

— Благодарствую, матушка Лизавета Николаевна,— сказал он, — за чай-сахар, вашей милости...

— Ты-то чего же торопишься, Филипп Иваныч? — спросили Морозовы.

— Я уж в другой раз приеду пособеседовать с тобой, Петр Петрович... Неколи теперь, недосуг. Я вот барыньку-то, по-старинному, поздравить завернул...

— Ну, что же, как у вас в земстве, Филипп Иваныч?— спросил Морозов.

— Ты сам, Петр Петрович, знаешь, что́ там... А наше дело одно: как бы греха не наделать. В этом всю и мысль полагаешь. Много было грехов-то, так на старости только одно смотришь, чтоб еще на душу не принять. Вот и все наше дело в самом этом земстве.

Я улыбнулся, что старик, казалось, заметил.

— Ох, грехи, грехи! Дело, кажись, немудреное, а куды не легко! Ежели бы его-то исполнять по-настоящему, так и то бы в самый раз было! — проговорил он, смотря куда-то вдаль, поверх моей головы. — Прощенья просим! — прибавил он, мотнув головой и протягивая Морозову старую, медно-коричневую руку.

— А то остался бы пообедать, Филипп Иваныч, — приглашали Морозовы.

— Нетутка... Неколи! — ответил он, махнул шляпой и вышел.

— Кто это? — спросил я Петра Петровича по уходе старика.

— Умный мужик и в то же время не подлец и не романтик. Знает, чего не нужно делать, чтобы не подличать, и что возможно делать при данных условиях, чтобы не тратить даром пороха...

— То есть то, что выражается в одном слове: «не грешить»?

— То, что выражается в слове: «не грешить». Бывают такие условия деятельности, при которых сохранение и защита даже отрицательных добродетелей составляет подвиг... Наши крестьяне-присяжные и лучшие гласные из крестьян — живые примеры этого.

Мы замолчали.

— Ну, вот и опять мы одни! — сказала со вздохом Лизавета Николаевна, садясь пред неубранным еще чайным прибором и откидываясь с беспомощно сложенными на коленях руками к спинке дивана. На ее лице светилась не то улыбка иронического сожаления о чем-то, не то выражение какого-то затаенного предчувствия, возможности возврата чего-то старого, тяжелого, пережитого. Я узнал это выражение: оно было хорошо знакомо мне. Встретив Лизавету Николаевну в саду, цветущую, довольную, очевидно наслаждающуюся, наконец, устроившеюся по ее вкусу жизнь, я уже думал, что этому выражению не суждено больше налагать на ее лицо печать преждевременной дряхлости, пассивной покорности судьбе и вечно неопределенного томления. И вот опять — оно. Опять я вижу пред собой прежнюю Лизавету Николаевну, как десять лет назад, сидящую так же за неприбранным чайным прибором, на студентской угарной и сырой квартирке в Петербурге, в Семеновском полку. Она сидит с озябшими ногами в теплых калошах на старом, с перелопавшейся подушкой, диване, с книгой в посиневших маленьких аристократических, почти прозрачных руках. Она смотрит в книгу, но ее мысль, очевидно, витает где-то далеко, и на ее лице лежит томительное и как бы вошедшее в привычку страдание.

Дочь богатого помещика, она, как дитя того периода, когда русская женщина жила «накануне» чего-то, увлеклась молодым Морозовым, жившим в качестве управляющего у соседнего помещика. Она страстно,

беззаветно отрешилась от всего и во имя любви к нему, и во имя какой-то неопределенной идеи «новой жизни»: бросив отца, богатых женихов, роскошь окружавшей ее обстановки, она ушла за Морозовым. «Грубая действительность», конечно, не заставила себя долго ждать и начала безжалостно и обрывать и мять «цветы романтизма». Лизавета Николаевна волей-неволей вступила с нею в борьбу. Она выставила против нее все душевные силы, какие были в ней; а в ней было сердце глубоко любящее, самоотверженно-преданное. Но и только. Борьба была тяжела и едва выносима. Морозовых беспощадно жала нужда. Эта нужда была ничто для Петра Петровича; он «купался в ней, как сыр в масле», по его собственному признанию; но она была тяжела для Лизаветы Николаевны. И это видел и чувствовал Морозов; видел до жуткой ясности, что он ничего не может выставить против этой нужды. Он несколько раз хотел бросить свои скитания по «научным капищам» и «пристроиться», — но могла ли эта жертва удовлетворить Лизавету Николаевну? Разве ей нужна была эта жертва? Мало этого: она угадывала чутьем, что она стесняет деятельность мужа. Были случаи, когда он отказывался от участия в некоторых рискованных предприятиях. Она даже слыхала, как прямо соболезновали об ее муже, что он пропащий человек для дела, что он изменил своим инстинктам, сойдясь с враждебным, в самом себе носящем разложение и расслабление, элементом, то есть с нею. Она металась в этой ужасной дилемме, поставленной ей жизнью. Но ни слова ропота, ни звука жалобы или отчаяния не вырвалось из ее души. Иногда сам Морозов думал о ней так же, то есть как о веригах, но это были мысли мимолетные, скверные мысли: он глубоко раскаивался в них. Он целовал ее руки, просил у нее прощения за эти мысли: он чувствовал искренно, что не может ни под каким видом не преклониться пред этим «золотым сердцем», не уважить то самопожертвование, с которым пионеры того времени выносили на своих плечах «новую идею», не ценить эту чистую, беззаветную преданность...

— Вы не поверите, как тяжело быть всегда *одним,* — продолжала Лизавета Николаевна, обращаясь ко мне, — не иметь дружка, солидарного по убежде-

ниям и симпатиям! Вечно сидеть между двумя стульями и, оторвавшись от одних, не пристать к другим!.. Вы видели: мы для всех чужие, какой бы слой общества ни взяли мы...

— Это, Лизочка, — «историческая необходимость», говоря ученым языком, — заметил Петр Петрович, наливая сам себе стакан. — Бывают времена, когда «не помнящие родства» цыгане составляют «историческую необходимость»...

— Но ведь и цыгане могли бы быть солидарны между собой? Они-то где же? Ну, дайте их. Мы протянем им руку, мы дадим им свою любовь, свое сердце, всех себя.

— А солидарность между цыганами и «не помнящими родства» составит второй период «исторической необходимости». А когда он настанет, не знаю; значит, еще время не пришло. Но уж, вероятно, не мы в нем будем фигурировать...

— А кто же?

— Кто помоложе...

— И они с нами все-таки не сойдутся?

— Нет.

— И мы состаримся, исполнив какую-то странную миссию «цыганства»?

— И состаримся.

— Вы знаете Катерину Егоровну... майорскую дочь? — спросила меня вдруг Лизавета Николаевна.

— Нет, почти не знаю.

— Странная девушка! Я ее не понимаю. Ее манеры меня разражают... раздражали всегда... Она ведь воспитанница Пети. Она приехала в Петербург и тогда познакомилась с нами. Мы знали ее сперва под фамилией Усташевой, потом вдруг она переменила фамилию и стала звать себя Масловой... Катериной Масловой...

Я вспомнил тотчас же книжку Гейне.

—Я ее не понимаю, — повторила опять задумчиво Лизавета Николаевна.

— И не понять нам. Или по крайней мере — трудно... — заметил Петр Петрович. — Вот тебе пример.

— Но неужели, Петя, мы, вчерашние «новые люди» (Лизавета Николаевна улыбнулась), так уже быстро успели состариться? Зачем эта сегодняшняя вы-

ходка Кати? Отчего к нам не ходит этот... Башкиров?..

Петр Петрович пожал плечами и задумчиво стал курить сигару. Задумалась и Лизавета Николаевна.

Я подал им руку; они молча пожали мне ее, и я ушел.

Глава вторая

БАШКИРОВ

I

Я безучастно глядел на растилавшийся предо мною тихий, мягкий пейзаж, каков он бывает в наших скудных палестинах пред закатом солнца. Его грубые во всякое другое время линии приняли то освещение, при котором солнце как будто ласкает своими последними лучами убогие равнины нашей родины, как будто этим нежным, мягким блеском силится скрыть грубоватый колорит скудной природы и ее обитателей, недавно еще так рельефно бросавшийся в глаза под изнуряющими, палящими его лучами. Я стоял на косогоре; от меня вниз, в широкую и глубокую лощину, сбегало море ржи, залитой золотом косых лучей, по которой мелкою волной ходили едва заметные полосы теней. Оно казалось мне бесконечным водопадом, беззвучно катившим от моих ног куда-то далеко, в беспредельную область, волны, несущие в себе довольство и полноту жизни. Дальше, по зеленой пойме, стеклянной лентой блестела река; за нею, в глубине, тянулась полоса лесов, как дикая гряда облаков на горизонте, а там, еще дальше, где-то искрилась, переливалась и горела на солнце, до боли в глазах, глава одинокой колокольни. С реки несся едва слышный шум колеблемой ветром осоки, сторожившей берега этой маленькой, но глубокой речки; откуда-то долетало журчанье мелкой волны, бившейся о камни, запрудившие родник; с отавы слышались смешанные звуки звенящих бубенцов и колокольчиков от пасшейся скотины... Все эти звуки лились мягко и плавно и погибали в беспредельном море чистого, теплого воздуха... И вдруг в смешанный

хор разнообразных звуков, несшихся и со стороны реки, и с поля, и от леса, влился еще особенный, нежный и лепечущий звук.

Я остановился и стал прислушиваться.

— А мне нынче сон приснился, — тихо говорил чей-то свежий, ясный голос, в котором звучали резкие, твердые ноты, — такой чудесный сон!..

— Какой? Ангел, что ли? — спросил другой, тоненький, слабый, очевидно еще детский, голосок. — Мне вот ангел приснился, весь белый, вошел он к нам в окошко и стал у меня в изголовьи. Так мне светом и резнуло в глаза, даром, что я закрывши глаза спала... Проснулась, а мне в лицо, прямо из окна месяц таково светит!..

— Вишь, тебе какой сон приснился! Это хороший сон...

— А мне вот такие сны не снятся, — заметил еще чей-то, тоже слабенький голос. — мне страшные все... Все лешие да домовые, а то ведьмы. Меня все пужають ими дома... Нет, мне такое хорошее не снится...

— А ты помолись, — посоветовал первый голосок.

— Я молюсь... Да это уж не оттого. А тебе какой приснился?.. Хороший тоже?

— Мне хороший, только простой, — ответил голос постарше; — мне приснилось, будто маленькая я, совсем маленькая, и будто я в поле с своей мамой... Маме нужно было рожь жать... Она взяла меня, подняла на руках, проговорила молитву и опустила вот на эту, на рожь-то... Потом перекрестила, поцеловала и ушла жать. А мне так сделалось хорошо, — лучше, чем в люльке... Рожь эта качается так тихо, и мягко так на ней. Вверху синее-синее небо, как теперь; нет-нет облачко пробежит, белое, как сахар; бежит-бежит и вдруг остановится и растает...

— Ну?

— Я глядела-глядела, качалась-качалась, меня рожь и убаюкала... я и заснула.

— И только? — спросил четвертый голосок, хриплый какой-то, болезненный.

— И только... Чего же больше? Больше и не нужно. Я и во сне видела то, что наяву люблю. Я люблю вон с того косогора смотреть на эту рожь... Сяду и смотрю, как она колышется, а в это время мысли так и бегут в голове...

— А о чем ты думаешь?

— Да многое думается, о всяком... Думается и то, что лучше: умирать ли, чем жить, или итти дальше куда-нибудь и искать, все искать...

— Мне вот, ровно в слово, такое же привиделось, — сказал больной голосок. — Будто я в эту рожь, словно в реку, бросилась — и поплыла. Только так мне страшно стало, будто тону я... Хочу вскрикнуть, а тут вдруг турка выхватил меня за ноги и держит над рожью... Я закричала и проснулась. И страшно мне, страсть как боюсь взглянуть на стену. А на стене у нас картинка с этой туркой есть, и подпись под ней: «Турки валятся, как чурки».

Раздался чей-то тихий смех.

— А ты пойдешь их лечить?

— Кого?

— А вот этих самых, что теперь турки мучат.

— Да ты откуда знаешь это?

— У нас на селе учитель читал. Всей деревней мы слышали. Пойдешь? — настойчиво спрашивал тот же голосок...

— Нет, незачем мне. Кабы я лечить умела!

— А как же ты у нас, третье лето, по избам в холеру с Кузьминичной везде ходила с ящиком? Нет, ты ступай туда. Тебе и доехать можно: у вас лошади хорошие...

Я обернулся, и вдруг через две полосы от меня поднялась изо ржи стройная фигура майорской дочери, а за ней повыскакали из глубины колосьев и васильков белые и темнорусые головки деревенских девчаток; кое-где в эти растрепанные головки всунуто было по цветку, на загорелых тельцах висели грязные рубашонки, прикрытые короткими сарафанами из синюхи.

Они побежали вслед за майорской дочерью, которая стала подниматься на косогор. Несколько приостановившись, она обернулась назад и равнодушно оглянула меня; ее стройный стан, в белом ситцевом платье, отчетливо обрисовался в слабевших лучах заходящего солнца, лицо носило выражение какого-то непонятного смущения, но было до того строго, что невозможно было предположить, что она только что рассказывала сон, как качали ее хлебные волны. Это была опять та резкая, грубоватая девушка, манеры которой так возмущали нервы Лизаветы Николаевны. Она приставила руку зон-

тиком к глазам, взглянула по направлению к лесу, к которому плавно катилось солнце, затем надвинула низко на лоб угол ситцевого платка, которым были прикрыты слегка ее волосы, повернулась и скорой походкой пошла с девочками по задам морозовской усадьбы.

Скоро все они скрылись. Я пошел вслед за ними. Взобравшись снова на косогор, я увидел, как вся группа уже спустилась и, рассыпавшись, занялась срыванием цветов. Девчата постоянно кричали что-то «барышне», подбегая к ней с новыми цветами; она, казалось, отбирала подходящие и связывала в букет. Минут через десять вся группа, перейдя луг, направилась к концу села. Я более кратчайшим путем пошел им навстречу и увидел снова, когда они выходили из-за задворок последней избы. Несколько в стороне от села, совершенно скрываясь в глуши придорожных деревьев, стояла дряхлая, полуразвалившаяся изба. По некоторым еще уцелевшим на ней признакам можно было догадываться, что здесь был прежде кабак, называвшийся в старину «притынный»... Группа оригинальных существ, за которою я так пристально следил, приблизилась к этому домику... Старый, поседевший пес, с вылинялой по бокам шерстью, бросился было с хриплым лаем с завальни, но тотчас завертел хвостом и, тоскливо замурлыкав, улегся опять у крыльца. Очевидно, пришедшие были ему знакомы, и он имел уже случай неоднократно убеждаться в их благонадежности.

Одно из маленьких лиц группы быстро забралось на завальню, перевесилось внутрь окна, оглядывая внутренность избы, и, наконец, крикнуло, обращаясь в майорской дочери и показывая взятый с окна стакан с засохшим букетом:

— Вона — повяли! совсем! А самого-то нету. И халат на полу валяется.

Майорская дочь подошла к окну, взяла из рук девочки стакан, выбросила завянувшие цветы, заменила их новыми и снова поставила стакан на окно. Вся группа повернула было обратно, как вдруг откуда-то вышла им навстречу низенькая старушка, в темном кубовом платье, повязанная шалью.

— Ах, милая барышня, опять это вы цветочков принесли! Все вы моего Ванюшку-то утешаете! — заговорила старуха, ища торопливо в юбке своего платья карман

с носовым платком. — Как же мне благодарить-то вас, дорогая моя? Все нами брезгают, все нами... Позвольте хоть ручку у вас поцеловать! — перебила свою речь старушка, найдя, наконец, платок и вытирая себе губы...

— Полноте, что вы? — вся вспыхнув и пряча руки, сказала майорская дочь: — за такие пустяки!..

— Нет, не пустяки это, дорогая барышня. Цветы-то эти для моего Ванечки, может быть, золота дороже.

И старушка заплакала.

— Что вы плачете? Вашим сыном вам бы не нарадоваться! Не всем такое счастье!

— Счастие!.. Дорогая моя, мне-то счастие, такое счастие, что и недостойна я, кажись... Да ему-то счастие ли? Ведь молодой еще он у меня, ведь любить тоже хочет. А кто его когда любил? Какая ему девушка бросила хоть словечко ласковое? А кто виноват? Ведь я все виновата, что его таким родила! Я, окаянная, должно быть, согрешила пред господом, что он, батюшка, попустил еще во чреве моем испортить его образ ангельский...

— Ну, что же делать... Зато он умница у вас. И сердце у него такое, что поискать надо!

— Умник он, дорогая моя! Да ведь с умом-то... разве ум нужен для любви?

Старушка печально покачала головой.

— Да что он у вас дичится всех?.. Ну, со мной бы поговорил... Если он уважает меня, то ему нечего скрываться, нечего думать, что я насмеюсь над ним. Вы скажите ему...

Она протянула старушке свою здоровую, сильную, загорелую руку и крепко пожала сухие, костлявые ее пальцы.

А в это время я заметил, как сам «Ва̀нюшка», с ружьем приближался к дому и вдруг, как заколдованный, остановился за деревьями и смотрел на происходившую у его ворот сцену.

— А вон он, дохтур-то! — крикнули девчата, заметив его сквозь деревья.

Все обернулись в ту сторону, но уже никого не было. В необычайном смущении и волнении, «Ва̀нюшка» бросился к плетню сада и, разломав его, пропал среди густых деревьев.

Майорская дочь весело улыбнулась старушке и, еще пожав ее руку, быстро пошла по дороге от села к «своей усадьбе».

II

«Неужели она полюбила этого «доктора Ва̀нющку», это странное существо, которому не улыбнулось приветливо ни одно женское лицо?» — подумал я. Я знал «Ва́нюшку» по ходившим о нем странным рассказам среди московской молодежи и лекарей. Предо мной теперь вдруг ясно и ярко встала его фигура, маленькая, но крепкая и мускулистая, широкая в плечах, приземистая, что называется «башкирская», на тоненьких, но крепких и сильных ножках; несоразмерно огромная голова с сильно развитою затылочною частью, отчего она казалась двойной, сидела на короткой шее; монгольский тип во всем давал себя знать — и в маленьких глазках среди широкого лица, и в больших бровях, сходившихся над широким приплюснутым носом, и в больших скулах с выдающейся нижнею частью лица, едва прикрываемой жидкими волосами бородки. Его рождение совершилось при обстоятельствах довольно романтичных, как бы в насмешку над всей последующей его судьбой. Его мать, страстная восемнадцатилетняя девушка, единственная дочь богатого помещика волжской палестины, воспитанная среди уединения дико-однообразной природы на рыцарских романах, которыми зачитывалась до умоисступления, влюбилась в одного «удалого молодца» из кочевой вольницы, предводителя шайки башкиров, рыскавшей в окрестных местах. Ее увлекла страсть и романтический ужас такой любви. В глухую ночь, когда ее отец играл в вист на дворянских выборах в ближайшем городишке, она в лесу обнимала дикого сына степей: здесь зачала она Ва̀нюшку. Пролетели месяцы, возвратился отец, пропал из виду «удалой молодец» с своей шайкой, и бедная девушка осталась одна с тайной думой о маленьком существе, развивавшемся под ее сердцем. Она с ужасом видела, что обыденная жизнь не укладывалась в романтические рамки, что за мгновение этого романтизма приходилось так или иначе платить. Неизвестно, что было бы с нею: может быть, она так же романтично погибла бы в одном из прудов своей

усадьбы, если бы, наконец, рано или поздно, отец заметил ее беременность, но, на ее счастье, в это время влюбился в нее уездный лекарь, только что вышедший в отставку из полка, уже немолодой человек, любивший выпить и поиграть в картишки. Он сделал ей предложение, а она недолго думая, приняла его. Через пять месяцев после свадьбы родился Вàнюшка. Уездный лекарь сначало было зашумел и даже, по-военному, переломил о стену чубук и разбил трубку, но тотчас же смирился, сообразив, что все-таки очень приятно пить с тестем наливки и играть в пикет, имея в виду, что жена — единственная его наследница. Тем не менее больной, уродливый Вàнюшка был в совершенном загоне; он не интересовался им, не любил говорить о нем, мать никогда не показывала его мужу, но зато сама отдала сыну всю душу и, как часто случается с романическими натурами, предалась религиозному созерцанию. Через год родился еще сын — баловень отца. Отец сам воспитывал его, лелеял, баловал. Вàнюшка никогда не сходился с своим братом, а если это случалось, то его били. Наконец отец с нетерпением стал дожидаться, когда ему можно будет «убрать» от себя куда-нибудь Вàнюшку; едва минуло ему семь лет, как он тотчас же увез его в город и отдал на попечение дьякона, с тем чтобы тот пристроил его в бурсу. Отставной лекарь не хотел отдать его в гимназию, где должен был учиться его собственный сын. Восьми лет Вàнюшка был «пристроен» в бурсу под фамилией Башкирова, которую придумал для него уездный лекарь. Понятно, чем стала для маленького Башкирова эта ужасная русская школа — для него, забитого, смирного, уродливого мальчика, лишенного ласки отца и матери. «Двухэтажная башка» — вот прозвище, которое носил он в продолжение двенадцати лет. Насмешки, щипки, тумаки, порка сделались неизбежными элементами его воспитания. Но чем больше они сыпались на него, тем он становился более и более хладнокровным к ним. Они как будто теряли для него всякое значение. Помогали ли этому его крепкая физическая натура, или сила его характера, но только равнодушие к врагам и какое-то безусловное всепрощение постоянно царили в его душе. Очень могло быть, что его забили бы совсем, если бы его не вывозила громадная, удивительная память, помогавшая ему избегать половину тех

по̀рок, которые переносили его товарищи. Сидя на постели и выделывая какое-нибудь украшение для своего единственного друга и любимца, дьяконского козла, он протяжным и ленивым голосом «покорнейше просил» зубрившего урок товарища прочитать ему вслух повнятнее. Товарищ читал, а Ванюшка говорил: «будет» и отправлялся к козлу. А на следующий день отвечал урок буква в букву. Учителя дивились; им даже было досадно, что нельзя было выпороть Ва̀нюшку за незнание урока. Но зато находили случай пороть его по другому поводу. Он был сделан авдитором, — и вот в этой-то должности не мог устоять от искушения ставить своим «слушанникам» самые похвальные баллы. Приходил учитель, вызывал ученика, — тот ни в зуб толкнуть. «Авдитор — сюда! — Ванюшка вылезает из-за парты. — Пороть!» — Ва̀нюшку порют, а на следующий день опять Ва̀нюшка поощряет своих слушанников отличными отметками. Кончил Ва̀нюшка, наконец, курс удивительной школы, постаравшейся стереть с его типической физиономии почти все, что оставил ему в наследство «дикий сын степей». В это время был вызов в университет. Несколько его однокашников собирались в Москву и, подсмеиваясь, приглашали его прогуляться вместе с ними. Они подсмеивались, ибо чистосердечно не могли ожидать от него такой «прыти» и столько нравственной энергии. В особенности они не могли представить его занимающимся «новыми языками». Действительно, последних боялся и сам Ва̀нюшка. Но как-то раз полюбопытствовал он посмотреть книжку Марго. Прочитал первую страницу лексикона — и выучил, прочитал вторую, проверил себя, перегнул пополам страничку, — знает. Он решился, и через две недели весь лексикон при этой книжке знал наизусть. В Москву он отправился в качестве не то товарища, не то лакея при одном из своих однокурсников, сыне благочинного, который постоянно читал ему наставительным тоном какие-то рассуждения о примирении науки с религией. Ва́нюшка за это чистил ему сапоги, бегал за вином в лавочку. Так прибыл он в Москву и поступил в студенты. Чем он жил, было совершенно неизвестно. Таскался по плотничным и малярным артелям, писал мужикам прошения, ночевал у них, и никогда никто не слыхал от него ни одной жалобы, несмотря на то, что он очень часто ел только кусок черного хлеба с

квасом. Ни у кого он и не просил ничего. Запуганный, робкий, неловкий, привыкший преувеличивать свою физическую уродливость, с которою, как ему думалось, нельзя было появиться в люди, чтобы не произвести смеха, он редко посещал лекции (за исключением анатомического театра), еще реже бывал у товарищей. Но к экзамену всегда являлся и сдавал его хорошо. Громадная память и здесь выручала его. Но эта же память приучила его отчасти к умственной лени: слишком уже легко ему давалось все. Каждая книга, которую он прочитывал, целиком укладывалась в его голове. Читал он немало, и так как прочитанное не улетучивалось у него, то «двухэтажная башка» его представляла собою какой-то чудовищный архив, в котором он, впрочем, не оказывал никакого желания разбираться. Обладающие огромной памятью обыкновенно бывают слабы в анализе и обобщениях: их будто гнетет избыток знания. Да Ванюшка и любил больше жизнь, чем отвлечение. С четвертого курса он уже имел случай прямо прилагать свое знание. Постоянно толкаясь и живя в подвалах, он неустанно лечил массу люда: швеек, прачек, плотников, столяров, фабричных; ставил им горчичники, прописывал слабительные, крепительные, вырезал чирьи, опухоли, вправлял вывихи. В это же время случилась с ним одна из тех неизбежных историй, которым платит дань каждый из юношей. Зашел он как-то раз к одному из приятелей, и тот представил его своей сестре. Ванюшка в нее влюбился. Это заметили. Но Ванюшка любил посвоему: он никому об этом не заикался, даже боялся заикнуться самому себе. Мысль о взаимности он гнал из своей головы, как что-то химерическое. Чем выше, чем красивее, чем милее представлял он себе предмет своей страсти, тем невозможнее считал он мысль о взаимности. Так любил он, долго и молча, все сильнее и сильнее, но зато и сосредоточеннее. Единственным утешением его было взглянуть хоть раз в день на предмет своего обожания. Он придумывал всякие предлоги, чтобы заходить ежедневно к приятелю, и это, конечно, скоро сделало его мишенью для веселых насмешек. Неизвестно, знала ли девушка об его любви, но только она никогда не сходилась с ним и через несколько времени вышла замуж. Долго ходил по этому поводу между товарищами следующий смешной анекдот. Говорят, что в день ее

свадьбы кто-то зашел к Ва́нюшке в то время, как он только что стал надевать брюки и уже успел натянуть одну штанину. (Он одевался, как и все вообще делал, медленно и обстоятельно.) В эту минуту его товарищ сообщил ему, что сегодня свадьба его возлюбленной. Ва̀нюшку как будто ударили оглоблей по голове. Он до того опешил, что товарищ испугался и ушел от него. Ва́нюшка не сказал ни слова: он долго смотрел в стену, потом поднялся и, не замечая, что все еще в одной штанине, поддерживая другую рукой, стал ходить из угла в угол комнаты. Так проходил он весь день, и этим разрешился вопрос его любви. С этих пор он еще дальше ушел от образованного общества и, наконец, мало-помалу потерял даже всякую нравственную связь с ним. В обществе сначала считали его оригиналом, потом стали называть полоумным. И вот, в то время как ему нужно было защищать диссертацию, когда ему предложили остаться при клиниках, он вдруг все бросил и ушел в подвалы, в которых в то время свирепствовал тиф. Наконец на него махнули рукой. Он в представлении общества стал тем же, чем обыкновенные юродивые, бог знает по каким побуждениям расхаживающие босиком, с открытой грудью и головой в лютые русские зимы, «когда так легко простудиться». Но общество ошибалось; в натуре Ва̀нюшки, к удивлению всех, лежала сосредоточенная, могучая нравственная сила, очень часто доходящая в подобных личностях до неимоверного упрямства, как следствие затаенной гордости. Но кто же мог предполагать, что у Ва̀нюшки есть «принципы»? А между тем он, когда ему предлагали стипендию, отказался и никогда не получал ее. Оказалось, что Ва̀нюшка дорожит своей независимостью. Это стоило ему очень дорого, но он пробился все пять лет на своем «коште», а стипендии так и не взял. Что у него были «принципы», об этом без смеха не могли бы и говорить его товарищи. Они его считали «осиной», «деревом» и крестили его этими именами, когда он равнодушно и лениво слушал их горячие споры о «народе», о «язвах», о различных «измах» и пр. А между тем, если у него и не было цельного миросозерцания, по неумению его, вследствие умственной лени, предаваться спекулятивным упражнениям, то было много кое-каких оригинальных «основных положений», «устоев». У человека непосредствен-

ной жизни всегда есть эти устои, заменяющие цельное миросозерцание; на этих устоях держится, бессознательно для него, все его нравственное здание, хотя они стоят у него одиноко и, повидимому, ничем один с другим не связаны. Такие устои в особенности очевидны в народе. Какого рода они были у Ва́нюшки, мы для примера приведем следующий разговор.

Молодые товарищи его знали, конечно, что Ва̀нюшка хорошо был знаком с простым народом, так как постоянно толкался среди него. Они это знали, но считали его совершенно не способным и не желающим воспользоваться своим знанием, как могли бы воспользоваться они. По этому обстоятельству они часто предавались соболезнованиям. Некоторым приходила в голову мысль эксплоатировать его практические знания в этой области. Так, однажды пришел к нему один из самых рьяных его товарищей по части разных «общих вопросов». Ва̀нюшка в то время жил в плотничьей артели, занимая на день все ее помещение, так как днем рабочих никого не было.

— Скажи, Башкиров, — заговорил приятель, — ты хорошо ведь знаешь простой народ?

— Чаво я знаю? знаю я Петра да Сидора. Вот чаво я знаю! (Нужно заметить, что Ва́нюшка говорил почти невозможным для порядочного общества языком: это была смесь семинарского жаргона с мужицким; да, кроме того, он говорил протяжно, лениво ворочая языком.)

— Ну, да хотя этого Петра да Сидора изучил же ты? Вот они с тобой сходятся, тебе доверяют. Ты, значит, знаешь, чем можно добиться их доверенности, чем разрушить ту стену недоверия, которая существует между нами и ими?

— Знаю, — протянул Ва́нюшка, хитро улыбнувшись.

— В чем же, в чем штука-то? — вскрикнул обрадовавшийся юноша, — трудно?

— Нет, ничего.., легко!

— Легко?

— Не сумлявайся... легко...

— Ну, так в чем же штука-то?

— Штука-то?.. Быть несчастным!

Приятель отчего-то переконфузился, а Ва́нюшка стал хладнокровно переобувать сапоги и молчал.

Такого же характера были и другие его «устои». Как человек, живущий постоянно настоящею, реальною жизнью, он решал все сложные вопросы конкретно, а не в отвлечении. Нашелся у него один пациент из мастеровых, парень лет двадцати пяти, больной и хилый, вздумавший, кроме того, тосковать еще от любви.

— Мне, — говорит, — жениться очень нужно... Вот главная суть в чем!.. — объяснял он Ва́нюшке.

— Так чаво ж тебе — женись!

— Жену прокормить нечем. Вот какая линия!... Сам я хилый, а она того хуже. У меня и на свадьбу-то гроша нет.

Пред Ва́нюшкой сейчас же стал *средний человек,* человек, так сказать, «гигиенический», который в лекциях медицинских фигурирует да в популярных гигиенах; явились у него в голове и теория Мальтуса, и наследственность, и распложение нищих, и ответственность пред потомством. Ва́нюшка покрутил головой и затем плюнул.

— Ты, парень, лучше женись, пока не умерли вы оба. Женишься — умрешь, и не женишься — умрешь. А все ж испробуете, что за штука любовь-то... Тоже ведь вашему брату счастие-то не вчастую... А на свадьбу я тебе денег принесу заимообразно... чтоб тебе это было не в огорчение!

«Потомство!.. Вишь что выдумали! Хитрые шельмы! Им это ничего... Говорят: имей в виду потомство! — твердил про себя Ва́нюшка и волновался. — А ты вот сними рубашку и отдай!»

По окончании курса Ва́нюшка остался в том же положении, в каком был и студентом. Года через два он вздумал было защищать диссертацию, да, как мы видели, самым легковерным образом не явился в назначенный день на защиту. Назначили другой срок, но едва он явился на кафедру, едва увидал пред собой группу растолстелых и вылощенных джентльменов, которые уже приготовились броситься на свою жертву (а им действительно диссертация была не по душе, ибо доказывала положительный вред некоторых медицинских учреждений), едва завидел публику, собравшуюся глазеть на эту «диалектическую травлю», как вдруг необычайно сме-

шался, сконфузился — и не «защитил», к удовольствию смеявшейся публики и гг. оппонентов.

Вскоре же после этого случилась с ним неприятная история, из-за которой пришлось ему возвратиться на родину. Семь лет не видал он своей матери и теперь застал ее уже худой, больной женщиной, живущей в келейке у одной крестьянской «начетчицы». Она молилась богу, ходя по церквам и монастырям, и жила тем, что читала по покойникам. Это не удивило Ва́нюшку, так как он знал, что всеобщее «разоренье» давно уже погребло в своем бурном водовороте и их «дворянское гнездо». Отец его промотал половину имения еще прежде, чем получились выкупные свидетельства, а его брат покончил с ними, спустив все до нитки. В одно утро мать, давно уже погрузившаяся в религиозный пиетизм, к удивлению, но не к ужасу (ей было почти все равно), узнала, что их имение перешло целиком к одному кулаку-купцу. С кое-какими деньжонками, оставшимися у нее от распродажи «родовой» рухляди, она перешла на житие к своей знакомой начетчице.

Ва́нюшка прожил некоторое время среди волжских мужиков, практикуя между ними и инородцами, и опять вернулся в столицу, взяв с собою мать. С этого времени он вел свою прежнюю жизнь и деятельность: зимой жил по подвалам и чердакам и практиковал там, а на лето уезжал куда-нибудь в деревню «проветриваться от миазмов», как говорил он. В деревне он что-то писал в серьезные медицинские журналы и изредка лечил мужиков. В это-то время мы и застаем у него майорскую дочь.

Знала ли эта серьезная девушка, кто был Ва́нюшка? По не знанию ли его личности ухаживала она за ним, или именно потому и ухаживала, что знала, кто он и что он? И почему все эти добрые люди — и майор, и Морозов, и Ва́нюшка не находят между собою общей точки соприкосновения, общего пункта, где бы они могли сойтись? Я чувствовал, что здесь легла густая тень какого-то общего тяжелого недоразумения. Я почувствовал какую-то жгучую потребность во что бы то ни стало проникнуть в суть этого недоразумения, осветить для них тьму ее, в которой они тоскливо бродили, и разогнать эту тьму, чтобы свои увидели своих и подали друг другу руки.

Глава третья

ОБИТАТЕЛИ МАЙОРСКОЙ КОЛОНИИ

Наутро я шел к майору. Его усадьба, которую все величали «полубарским выселком», находилась верстах в трех от деревни, в которой жил я, и верстах в двух от Морозовых. Полубарский выселок представлял из себя нечто оригинальное: это была кучка плотных, здоровых, обыкновенных крестьянских изб, вытянувшихся на косогоре пред речкой; сзади эта кучка примыкала к садам, переходившим в березовую рощу, а пред нею стояли в одиночку службы: амбары, овины. Изб всего-навсего было четыре, из которых две — одна, напоминавшая собою маленькие, пятиоконные домики уездных городов, а другая — просто крестьянская — принадлежали майору, прочие — его пайщикам: выселившемуся из села юркому мужичонке Чуйке, первейшему майорскому другу и слуге, привязавшемуся к нему, как собака, и вольноотпущенному дворовому человеку, старику-камердинеру, большому философу и резонеру, вечно спорившему с майором и препиравшемуся с ним по поводу разных «господских» и «мужицких» вопросов... Эти три оригинальные хозяина-собственника выделились из общего сельско-господского строя и образовали собою, непостижимо каким образом, особую колонию еще в конце шестидесятых годов. Клочок земли, на которой они поселились, принадлежал майору. Майор предложил сначала поселиться Чуйке, а затем и Троше (так звали камердинера, хотя ему уже было лет под семьдесят; он был в свое время любимец одного богатого барина, и тот никогда не звал его иначе, как нежным прозвищем «Троша», которое и утвердилось за ним навеки, несмотря на то, что старик очень сердился, когда мужики называли его так). Они поселились, разделили землю на паи и завели общее хозяйство: сняли вместе у соседей-помещиков землю и стали пахать; скупали у крестьян скот и завели скотный двор. Первым воротилой во всей этой «хозяйственной обстановке» был Чуйка, которому майор, по романтичности, а Троша, по «господской апатии и лени», доверились волей-неволей вполне. Была, впрочем, тут разница: майор доверялся вполне, беззаветно, хотя и

следил сам за хозяйством, или по крайней мере делал вид, что следил, ибо по живости своей натуры постоянно во все вникал, всегда шумел, всюду совался (на что Чуйка смотрел хитро-снисходительно и любовно), а Троша, напротив, постоянно ворчал, упрекал Чуйку за какие-то якобы «мазурнические дела», которые больше сочинял сам и которых в действительности не видал. Упрекал за всякое приобретение, какое Чуйка делал в своем личном хозяйстве: купит, например, Чуйка самовар, Троша уже направляется к майору и «конфиденциально» доносит, прося обратить внимание.

— Мне что! — говорил он при этом: — мне не надо. Я это не по жадности какой вам докладываю, сударь... А только примечательно, что он очень уж юрок, очень в вашу доверенность вошел...

Натурально, майор при первом свидании передавал эти слова Чуйке, который волновался и шел сейчас же «требовать объяснений» от Троши. Троша был, однако, большой руки трус и боялся настойчивого, крикливого характера Чуйки; он тотчас же начинал врать и отбоживаться, вздыхать о людской несправедливости и угощать Чуйку чаем, за которым убедительно доказывал, что майор — большой руки выдумщик и что он на него, Трошу, постоянно взводит напраслину. Чуйка успокаивался этими объяснениями,— и все входило в обычную колею. Он продолжал деятельно и неустанно блюсти общую хозяйственную обстановку, смотреть за рабочими, за скотом, ездить и маклачить на базарах; Троша попрежнему продолжал ходить лениво из сарая в сарай, в барском пальмерстоне и вытертой бобровой фуражке, понюхивать табак и, ворча, сидеть на лавочке около своей «горницы», как звал он свою избу; а майор постоянно странствовал и «вел баталию» на земских собраниях, у мировых судей, на волостных сходах, в присутствиях по крестьянским делам и даже в окружном суде. Это была чрезвычайно живучая и подвижная натура. Несмотря на свои шестьдесят лет, на седые волосы, на разбитые ревматизмом и болью, от засевшей в правой ляжке пули, ноги, он не знал устали и постоянно кипятился, кричал с мужиками, кричал с господами—и только выпивал стакан за стаканом воду да вытирал красное от волнения лицо большим ситцевым платком. Между натурой Чуйки и майора было много общего, и это-то, вероятно, и свело их.

Таковы были обитатели «полубарской усадьбы», этой своеобразной колонии, таковы были их отношения друг к другу. Все это, понятно, я узнал не вдруг.

Я подходил к усадьбе в то время, когда уже у «господского дома» (майорский дом звали «господским») стояла кучка мужиков, из которых одни были дальние, другие — вчерашние знакомцы, говорившие с Морозовым. Последние, как люди «свои», развязно сидели на крылечке, а первые недоверчиво и боязливо слушали Чуйку, который, не видя меня, горячо разговаривал с ними. Так как видимо было, что майора нет еще дома, то я приостановился, облокотившись на решетку палисада, и стал вслушиваться.

— Милый барин — они-с, господин майор, — говорил Чуйка, — вы не опасайтесь, мы с господином майором давно уж по крестьянским правам состоим...

— Разберет вас тут леший, прости господи! — проворчал один угрюмый мужик, видимо раздраженный трескотней Чуйки и уверенный, что он только среди «своих».—Все вы нынче насчет этих правов разъезжаете...

— А вы чьи? — спросили пришлые мужики Чуйку.

— Мы? Ихние-с были, майорские. А теперича они с нами поселились на равных правах...

— На каких на равных?

— На всяких, на крестьянских... Нда-с!

— Да он барин, что ли?.. Али так... из кантонистов? — полюбопытствовали пришлые.

— Барин!.. Знамо, барин, — улыбнулись на недогадливость пришлых «свойские» мужики.

— Барин! — каким-то своеобразным тоном прокричал Чуйка: — они майор, и ничего больше!..

— Так как же это он, почтенный, в монахи затесался? — интересовался один из пришлых.

— В монахи! Опять тут пустое слово, — как будто вконец обидевшись на несообразительность пришлых мужиков, сердито проворчал Чуйка. — В миру они, в безбрачии, пятьдесят лет жизни произошли... Двадцать лет тому назад, как они, господин майор, изволили свою вотчину, после покойников родителев своих, на волю отпустить, тут они и на безбрачие пообещались... Н-да!.. До всемилостивейшего манифеста изволили в этом обете пребывать, а девятнадцатого февраля, в незабвенный день, явились к нашему батюшке. «Соблаговолите, —

говорит, — батюшка, теперича с меня безбрачие снять и обвенчать на вдове — крестьянке Василисе Ивановой. А теперь они во вдовстве, при дочке, божиею милостью.

— А вы при нем как состоите?..

— Мы у них по конторской части. Ну и в то ж время вместе землю подымаем. Коммерцию ведем скотинкой... Мы на паях. А впрочем, — прибавил Чуйка, поправив фуражку, — обождите. Они сейчас будут и все вам скажут, что ежели можем.

— Да вы, почтенный, с майором-то аблакаты, что ли, будете?

— Аблакаты? Нет, не выйдет так, — подумавши что-то, отвечал Чуйка, — мы только единственно... И по судам ходим, но только не в том виде... Вы вот господина майора спросите. Они всякую, например, фальшь очень чудесно видят... Например, по земству, даже очень их эти земцы не любят! Обождите! — предложил Чуйка, заключив рекомендацию своего первейшего приятеля, пайщика и патрона, старого майора, репутацией которого он дорожил больше всего на свете и не упускал случая выставить личность старика в наивыгоднейшем свете, не пренебрегая даже, как заметно, украшениями из области своей личной фантазии.

Чуйка приставил козырьком руку к глазам, посмотрел по направлению пыльной дороги, затем моментально юркнул в один сарай, потом в другой, подбежал к амбару, освидетельствовал засов, притворил калитку дома, погладил мимоходом лежавшего пса, тут же кстати успел подразнить обидчивого индюка и, наконец, вновь посмотрел из-под ладони на дорогу.

— А вон и они-с, господин майор!

Чуйка еще раз показал фуражкой по направлению к ехавшему вдали экипажу и бросился отворять ворота сарая. Через несколько минут въехал в проселок знакомый майорский экипаж, плетушка из обыкновенных ивовых прутьев, поставленная на легкие дроги; в плетушке сидел майор и осторожно и внимательно правил здоровой, коренастой лошадью. Едва лошадь остановилась у сарая, Чуйка обязательно высадил майора, поддержав его под руки, и затем ввел лошадь в сарай. Майор, в старом военном плаще и фуражке, храбро постукивая своими плисовыми сапожками и грозно-добродушно поглядывая из-под нависших седых бровей серы-

ми, бесцветными глазами на стоявших у крыльца мужиков, подошел к ним и крикнул свое обычное военное приветствие: «Здорово, ребята!»

— Здравия желаем, ваше сиятельство! — ответили, ухмыляясь в широкие бороды, «свойские мужики».

— Зачем майор нужен, молодцы? — спросил он, обращаясь к пришлым.

— Да мы вот, ваше сиятельство, как, значит, наслышаны об вашей милости...

— Ладно, ладно! знаю, что наслышаны... Про майора худо не говорят... Об земле?

— Так точно. Об чем больше, как не об ней.

Мужики все враз что-то заговорили, стараясь возможно почтительнее и определеннее объяснить майору свое дело.

— Смирно! — крикнул вдруг майор командирским голосом. — Слушать команды! Объясняй, когда команда будет! Отойди к стороне!

Пришлые мужики совершенно растерялись при таком обороте дела и поспешили сбиться в кучу за крыльцом.

В это время подошел я.

— Что вы все воюете в мирное время? — шутя спросил я его.

— А! Здравствуйте!.. Иначе нельзя-с: форма и дисциплина, батюшка, давали направление великим событиям. Не будь их, был бы хаос... и я бы ничего не мог сделать, если б не придерживался этого принципа... Вам что? — обратился он к «свойским».

— Мы, ваше сиятельство, по команде, — снова улыбаясь в бороды, отвечали они.

— Ермил Петров, доложи!

— Мы, ваше сиятельство, как значится, — начал тяжелой поступью свою речь Ермил Петров, — как мы изволили вам тогда докладывать, выходит, что ежели касательно...

— У Морозова были?

— Это, значит, у Петра Петровича Малова?

— Ну, да.

— Были-с... Ну, только упирается, послал к вашей милости... говорит, что эти дела ему не подстать, а вашей милости в самый раз.

— «Нашей милости!» Белоручки! ученые! — выкрикивал майор, — нашей милости — мужицкие бороды, а

им — великие дела! Наполеоны! Ступайте к *ним!* — крикнул майор, сверкая глазами и теребя седой ус: — налево кругом, марш!

— Ваше сиятельство! — загалдели мужики. — Это вам Ермил сглупа наговорил! А вы извольте, ваше сиятельство, прислушать...

— Слушать команду! — крикнул майор: — отойди к стороне!

Мужики отошли. Молчание.

— Прошу вас в мои апартаменты, — пригласил меня майор, показывая рукою на дверь.

Я пошел, но, обернувшись, заметил, как майор вдруг почти сбежал с крыльца к мужикам и заговорил с самой плачевной миной...

— Голубчики! подождите! Устал я, ей-богу, устал... Поверите ли, во рту пересохло. Я только позавтракаю, рюмочку-другую пропущу... А вы присядьте!

Я вошел в переднюю и услыхал за дверью голоса в соседней комнате. Я прислушался.

— «Блаженни алчущие и жаждущие правды, яко тии насытятся», — истово выговаривая каждый слог и скандуя, читал кто-то старческим, шепелявым, но еще внятным голосом.

— А каким образом они, Кузьминишна, насытятся? — расслышал я голос майорской дочери. — Как ты думаешь, что, по-твоему, должно разуметь под словом «насытятся»? Будут блаженствовать? Да?..

— Умрут, Катюшенька. Умрут за ближних. И Христос, господь наш, спаситель, душу свою положил за овцы, и все, кто искал правды... Все насытились. Сколько было подвижников, мучеников, рыцарей храбрых, и благородных, воинов и проповедников — все легли за братий и насытились...

Мне не хотелось прерывать разговора, но опасение быть обвиненным в подслушивании заставило меня взяться за ручку двери. Я вошел. В маленькой, уютной и замечательно чистой гостиной с бледноголубыми обоями, по бокам стола, стоявшего в простенке между окнами, сидели две собеседницы: майорская дочь и какая-то старушка, лицо которой я не успел еще рассмотреть. Катерина Егоровна (так величали дочку майора) сидела, наклонившись над шитьем; ее белое, почти матовое, но с здоровым румянцем лицо резко выделялось из полу-

прозрачной тени на бледнозеленом фоне от листьев, которыми было сплошь застлано все окно. Старушка сидела против нее с чулком в руках и смотрела сквозь большие оловянные очки, державшиеся на толстых шнурках, на разложенную пред нею книгу.

На мой поклон Катерина Егоровна медленно подняла голову и слегка кивнула ею, в то время как по лицу ее пробежала какая-то тень, а старушка, снимая очки и не вставая, несколько раз мотнула мне седою головой.

— Майор все у вас воюет, все практикует, по привычке, старые военные приемы, — проговорил я, чувствуя, что говорю пошлость, и только думая о том, что надо же что-нибудь сказать,

— Да... он иногда любит шутить, — лениво ответила Катя, очевидно все еще не выходя из-под влияния какой-то идеи, каких-то образов, которые овладели ее мыслью.

Я не стал ей мешать больше разделываться с ними, как она хочет, и внимательно стал вглядываться в оригинальную старушку, так поразившую меня своей философией. Я смотрел в ее серые, бесцветные, но еще бойкие и выразительные глаза, на ее вытянувшийся длинный худой нос, на выдавшийся совсем лопаточкой, которою можно было с большим удобством заменить табакерку, насыпав на нее щепоть табаку, дрожащий нервно подбородок, с несколькими длинными седыми волосами, на всю ее длинную, костлявую фигурку, — и вдруг меня охватило какое-то далекое, неопределенное воспоминание. Чей-то знакомый, дорогой образ мелькнул раз, другой, третий в моем воображении, и моментально предо мной пронеслось все мое детство: знакомый образ был уловлен, весь, целиком, ясно, рельефно и определенно. Да, это была Кузьминишна, это была моя «старая нянька» (так звали ее, в отличие от молодых), пестун моих младенческих лет, моего юного ума, воображения и фантазии... И она еще все жива!

— Кузьминишна... няня, это ты? — вскрикнул я, сияя всем существом своим.

Старушка вздрогнула, замигала усиленно губами и задергала подбородком, потом наскоро протерла слезившиеся глаза, затем опять замигала, всматриваясь в меня.

— Николушка! Так, так... ты! Ну, устарела я... Кончен путь живота моего! — проговорила она строго.

— Стали у тебя глаза уж слабы, няня. На тебе чего взыскивать! а вот я и молод, да тебя не узнал.

— Нет, нет, не говори, глаза тут ни при чем. Сердце провещать перестало. Чутье пропало, сердце-вещун холодеет. Охолодало... Пришел конец пути живота моего! — повторила она еще раз. — Уж это верно; сердце охолодеет если, — умер тогда человек, тогда уж он не от жизни... На свете жить без сердца нельзя, — продолжала она резонировать и потом вдруг переменила тон: — Ну-ко-ся, ну-ко-ся! Ах, я глупая! Не признала! А ведь я его, Катюшенька, до девятого годочка выхаживала, до тех самых пор, как в емназию увезли его. Да ты к чему это больной-то, родной мой?

— Пережил больше, чем нужно, няня — вот в чем дело.

Она внимательно посмотрела мне в лицо, сжала сухие, тонкие губы и покачала в раздумьи головой.

— Ты у меня люби его, — тихо, но строго приказала она Кате, которая улыбнулась: — у него сердце есть, хорошее сердце... Всем может человек перемениться, а сердцем нельзя. Сердце не вырвешь... Ну, чего там, старикто твой нейдет? Пора бы и закусить. Вот погодите ж, коли так, я уж хоть этим заслужу!

Она зашумела в кармане ключами и, подмигнув мне, вышла.

Я еще никак не мог освободиться от всплывших в моей памяти картин детства. Я долго смотрел на дверь, в которую вышла старушка, и целиком погрузился в море воспоминаний, совершенно забыв о присутствии Кати.

Да, я как теперь вижу в моей детской эту старушку (она и тогда была уже, двадцать лет назад, такой же старушкой, или по крайней мере мне так казалось, что она нисколько не изменилась). Мы одни, сальная свеча горит, потрескивая, глухо постукивают ее спицы и беззвучно шевелятся ее губы, считая петли; я всегда вслух с нею учил уроки: был ли то закон божий, или арифметика, или история, — я все читал ей вслух и каждый урок раза по-два, по-три; она всегда слушала с неизменным любопытством, вниманием и серьезностью. Как

теперь помню, меня чрезвычайно удивляло одно обстоятельство. Я еще не умел читать бойко, то-есть не умел вперед отгадывать то выражение, которое должно следовать по смыслу речи, и потому часто, желая прочитать скорее, врал или заминался; в это время Кузьминишна всегда поправляла меня или подсказывала «наизуст», не глядя в книгу. Помню, с каким удивлением, смешанным с уважением, смотрел я в ее строгое лицо, обращенное к чулку, и долго не в состоянии был продолжать. «Ты чего же, Николушка, остановился?» — спрашивала она меня. «Да я, няня, думаю: как ты это так, не учившись, отгадывать умеешь?» — «А ты думал, что вы только одни умны, что уж простые люди и разумения не имеют?.. Нет, Колушка, разумом бог никого не обидел...» Но я все же сомневался, чтобы одним разумом можно было узнать всякие там Гвардафуи да Гибралтары, и полагал, что она непременно когда-нибудь географию Ободовского изучала. Так я и не мог постигнуть ее уменья отгадывать вперед географические названия, пока не догадался, что уроки-то я с ней вместе учил и перечитывал одно и то же несколько раз вслух.

Помню я и то время, когда, сложив книги, помолившись, ложился я спать, а она садилась на край моей кровати и начинала мне рассказывать. Замечательно, что в ее рассказах всегда отсутствовал «чудовищный и бесовский» элемент; в ее рассказах никогда не встречалось, как это бывает у всех других, ни бабы-яги, ни «кипят котлы кипучие, точат ножи булатные», ни чудовищ с песьими головами, напротив: все ее рассказы больше поспевали геройские или, по крайней мере, генеральские подвиги Кутузовых, Суворовых, даже рыцарей-крестоносцев, английских королей и проч. Или подвиги мученичества и добрых дел из Четьи-Миней. Конечно, это объясняется тем, что она была грамотна и в свободное время читала жития святых, а в молодости ей, кажется, попадали в руки «батальные» сочинения и даже рыцарские романы. Один рассказ ее поразил меня впоследствии удивительным сходством с романом Вальтера Скотта «Айвенго». Она была старая крепостная девка, но из хорошего, образованного помещичьего дома, и жила сначала в горничных при барышне, жившей со стариком отцом, кончавшим свой век среди уединения деревни и своей библиотеки, по независящим от него

обстоятельствам, затем была после ключницей. Барышня читала вслух с нею все книги из библиотеки отца и сама выучила ее грамоте. Старик-отец обращался хорошо с своими крепостными, а бывавшие у него знакомые нисколько не шокировались тем, что его дочь читала книжки с крепостной горничной и даже иногда заговаривала при последней «о материях важных». Все это имело на ее характер значительное влияние. Ее миросозерцание далеко хватало за пределы народных воззрений, а натура ее приобрела стойкость, развязность и удивительную безбоязненность. Замечательнее всего в ней было полное отсутствие холопства, даже самого невинного и добродушного... За смертию старого барина и отъездом за границу его дочери, она перебралась в город и через несколько лет попала в наше семейство. К кому она ни попадала, она тотчас же всех прибирала к рукам и начинала царствовать в доме. Но эта власть никогда никем особенно не чувствовалась. Так владычествовала она и над моими родителями, еще молодыми в то время людьми.

Наше семейство составляло одну из не особенно важных спиц обширнейшей чиновничьей общины. Кузьминишна и в этой общине успела составить себе репутацию «толковой девки» и пользовалась от нее если не уважением, то боязливо-сдержанным отношением. Последнее опять-таки внушала она к себе своей упорной настойчивостью и безбоязненностью. Она умела «резать правду-матку» в глаза всем чинам общины, которые, хотя и с усмешечкой, но тем не менее ежились под этой «правдой-маткой». Я никогда не забуду одного обстоятельства, которое резко характеризует настойчивость и безбоязненность, с которыми Кузьминишна преследовала свои цели. Аккуратно каждое первое число месяца, когда отец получал жалованье, она являлась к нему в кабинет, едва он возвращался домой со службы, и с смиренно-строгой решимостью на лице, сложив на груди руки, становилась в углу у дверей. Отец в это время всегда бывал крайне раздражителен и раздосадован всевозможными кредиторами, осаждающими обыкновенно в этот день чиновников, начиная от самых дверей места их служения вплоть до семейных очагов, не давая пропустить рюмку водки, съесть кусок пирога. Кузьминишна терпеливо выжидала всю эту стаю «хищников, архиплу-

тов и архибестий», выслушивала брань и споры между ними и хозяевами и, когда, наконец, стая удалялась, а раздражение хозяина доходило до последней степени, она твердо выговаривала: «Пожалуйте жалованье!» Раздраженные супруги неистово набрасывались на нее, вконец огорченные такой «мужицкой нечувствительностью», ставили ей на вид всю неделикатность ее отношения к семейству, в котором она жила столько лет, обвиняли ее за это даже в «неблагодарности». Но Кузьминишна упорно смотрела в угол, молча выслушивала все это и снова выговаривала: «Никак нельзя-с... пожалуйте жалованье!» — «Да ведь ни на что не нужно тебе его! ведь так же растранжиришь деньги ребятишкам на пряники!.. Неужели чувства нет подождать немного?» — внушительно усовещевали ее отец и мать. «Никак невозможно, пожалуйте, что следует по уговору. В животе и смерти бог волен», — настойчиво твердила Кузьминишна пока, наконец, рассерженный хозяин не бросал ей трехрублевую бумажку, посылая ее «ко всем чертям, чтоб и духу ее не пахло». Кузьминишна на это смиренно раскланивалась, благодарила за хлеб за соль, и уходила связывать в узелок свои пожитки.

Детям это всегда нравилось, мы окружали ее, разбирая ее лоскутки, и только уже под конец, когда узнавали, в чем дело, — начинали реветь. Само собой разумеется, что все кончалось ничем. На ее жалованье в крутые времена покупались нам, «ребятишкам», лекарства, шились на именины рубашонки, штанишки, посылались с оказией в деревню какой-то Глашке гостинцы. А один раз с этим «жалованьем» случилась вот какая оказия. В одно прекрасное утро над нашей семьей разразилось несчастие: отцу отказали от места ввиду каких-то не совсем чистых побуждений со стороны начальника. Семья осталась ни при чем; в немногие месяцы было перезаложено все, что можно было заложить, и к тому времени как отец нашел какое-то ничтожное место, семье нечего было бы есть, если бы каждым ранним утром Кузьминишна не отправлялась на рынок и не приносила оттуда необходимое количество харчей. Ее трудовые деньги уходили быстро, и также быстро возрастало ее негодование при виде некогда благоденствовавшей, а теперь голодавшей семьи. Наконец она решилась. Одним утром, приняв на себя личину смиренной проси-

тельницы, пробралась она в кабинет бывшего начальника отца и там, преобразившись в старую мегеру, «вырезала всю правду-матку» ему в лицо, пока насильно не вытащили ее лакеи. Она этим не удовольствовалась и пошла с жалобой к «господину начальнику губернии» и грозила «итти дальще», если б не успокоили ее на съезжем дворе, где просидела она недели две. Из последнего она снова вернулась к нам в смиренном сознании совершенного долга.

Повторяю: все это — и картины детства, и типичный образ старухи-няньки во всех его деталях — пронеслось в моем воображении почти моментально и вызвало столько приятных ощущений, что мне вдруг захотелось поделиться ими с кем-нибудь, и я передал все вышеописанное майорской дочери. К моему удивлению, задумчивая, сосредоточенная Катя внезапно оживилась при моем рассказе; ее глаза весело заиграли, она постоянно перебивала меня торопливо и дополняла, как будто переживала вместе со мной одно и то же прошлое, и, наконец, сказала: «Да, все это было и в моем детстве. Впрочем, я прибавлю вам еще кое-что про Кузьминишну и про себя, если уже на то пошло».

Но я лучше начну новую главу и передам в ней не только «кое-что», сообщенное мне Катей, но и все, что я узнал о майоре и его дочери.

Глава четвертая

ИСТОРИЯ ПОКАЯНИЯ

Двадцать два года тому назад, на том месте, где стоял полубарский выселок, был лес, а позади этого леса, в расстоянии полуторы версты, стоял небольшой помещичий дом, довольно ветхий, весь заросший кругом старым, запущенным садом, сзади которого лепились убогие избы небольшой господской деревеньки. Лет пять, как уже этот барский дом был наглухо заперт, после смерти стариков, барина и барыни, умерших скоро один за другим и оставивших свою небольшую усадьбочку наследнику — сыну, дравшемуся в то время

на Малаховом кургане. В ожидании приезда «молодого» барина старый дом оберегала семья дряхлого дворецкого, поселившаяся в людской. Вся эта стража состояла из старика-отца — дворецкого, старухи-матери—бывшей барской ключницы, молодой их восемнадцатилетней дочери, Паши, юного племянника старика, сироты Кузи, да штук пяти старых псов, с которыми Кузя ходил на охоту. Мирно управлял старый дворецкий имением молодого наследника и, верный слову, данному старику-барину, честно блюл интересы барского имения. Кончилась война, приехал наследник, оказавшийся зрелым мужчиной, закопченным пороховым дымом и закаленным жизнью, как кажется, прожитой не без треволнений. Барин поселился в уединении старого дома и занялся охотой, кое-что почитывая по временам, да балагуря по вечерам с семейством своего крепостного.

Он ничего не изменил в исконном обычном течении жизни в его поместьи, разве только сократил кое-какие излишние повинности, установленные еще бог знает когда, вроде доставления на барский двор грибов и ягод. Он, казалось, не тосковал был весел, выпивал со старым дворецким, навещал кое-кого из соседних помещиков и любезничал с своей крепостной девушкой Пашей. Как и следовало ожидать, эти любезности разыгрались в очень обыкновенную историю и могли бы кончиться тоже очень обыкновенно, если б молодой барин не был, во-первых, отчасти «тронут духом века», а во-вторых, не считался «честным русским воином». В виду последних условий барская интрижка получила несколько иной, хотя и романичный, но тяжелый ход. Честный воин и волтерьянец не имел ничего против брака с крепостной девкой и даже считал для себя это долгом, но старые традиции окружающей общественной жизни ставили для этого непроходимые преграды. Честный воин, добрый и любящий, храбрый и решительный на поле битвы с героями, и слабый, нерешительный на поле брани с пигмеями мелочной жизни, сделался жертвою томительных душевных колебаний между долгом, совестью и сознанием *просто* человека и таковыми же, но уже окультивированными, в крепостнической среде. Эта томительная душевная двойственность выразилась в нем еще более с беременностью Паши, но храбрый воин и тут не решался... И в то время пока

старуха-мать Паши бегала на поиски за повитухой, «честный воин» предавался скорбным думам о мрачном будущем нарождавшегося создания и каялся, и оплевывал в душе свою нерешительность, свою косность, пока не донеслись до его слуха слова: «Ну, где у вас тут отец-то? Куда ты, батюшка, запропастился? На, принимай: твоя дочь-то! Нечего отлынивать!» Эти слова поразили его своим необычным тоном, так как их произносила простая деревенская баба; пред ним стояла Кузьминишна, держа на руках крошечную Катю и поднося ее сконфузившемуся и растерявшемуся волтерьянцу.

Это событие как раз совпадало с тем временем, когда Кузьминишна, по устройстве благополучно дел в нашей семье, вдруг заскучала по деревне, по какой-то девушке Глашке, о которой она часто вздыхала, и ушла от нас, вопреки слезным упрашиваниям. Как кажется, она уже не нашла в живых ни прежней своей барыни, ни девушки Глашки, и поселилась в одной из соседних деревень, в качестве лекарки и повитухи, где и нашла ее мать Паши. Вольтерьянец вдруг проникся к ней необыкновенным уважением, упросил ходить ее за больной Пашей и ребенком и, наконец, уговорил остаться совсем в его доме. Она легко согласилась и скоро беззаветно привязалась к новому семейству.

Подрастала Катя, дитя «случайной семьи», выздоравливала и вновь хворала ее мать; вольтерьянец-майор, ее отец, продолжал попрежнему малодушествовать между двумя крайностями, любовью к своей семье и общественным мнением, между которыми он, для успокоения, проложил очень оригинальную тропинку, скроенную из кое-каких курьезных силлогизмов. Силлогизмы эти собственно были придуманы на случай столкновений с Кузьминишной, которая не оставляла майора в покое, забрав власть над его «барским домом».

Кузьминишна, вступив в этот дом, тотчас поставила себе очень определенную цель и стала преследовать ее безбоязненно и неуклонно. Прежде всего, она ходила за хворой Пашей и холила ее, как свою дочь, в воспоминание о какой-то таинственной «девушке Глашке», на которой почему-то были сосредоточены все струны ее сердца. Затем она всецело захватила в свои руки воспитание маленькой Кати и в этом воспитании думала

«провести принцип». Она старалась до ничтожных мелочей окружить ее тою обстановкой барского аристократизма, которую помнила со времен своей юности, пропитывала ее всеми воззрениями, какие успела удержать ее память от воспитания своей бывшей госпожи: главной ее целью было во что бы ни стало видеть в маленькой Кате заправскую барышню. В этом руководил ею тонкий политический расчет: этим путем она хотела нерешительного майора сбить на всех пунктах, постоянно, неуклонно, всякой мелочью давая ему знать, что Катя его — такая же дочь, какая была бы и от барского брака, и этим отрезывая ему всякое отступление. Может быть, в ней даже жила идея, — да и наверно жила, — что из мужички легко стать барыней, а из барыни мужичкой. Она практиковала эту идею на деле; заставила майора нанять старую гувернантку-немку, купить фортепиано, каждый месяц умела прогонять его в город за нарядами... Майор, добродушно посмеиваясь, исполнял все это, но венчаться все-таки не решался... «Ну, постой, окручу же я тебя, хромой чорт!» — ворчала вслух Кузьминишна, а майор выпивал рюмку, набивал трубку и посмеивался в полуседые усы, слушая, как величала его Кузьминишна за дверью (он хромал от засевшей в ляжке пули, которая с годами сильно стала донимать его)...

Странные бывают оказии в жизни русского человека: иногда он выкидывает неожиданные штуки — то покажет пример неимоверной храбрости, когда был заведомо трус, то вдруг удивит всех грандиозным подвигом самопожертвования, когда был известен всем за «шишигу» и «пройдоху», то, всеми признанный за человека радикального, безбоязненного, упорного и настойчивого во всех чрезвычайных и важных обстоятельствах, вдруг окажется, что никак *не может* (ну, вот решительно *никак)* расстаться с кое-какими мелочами, маленькими предрассудками, несмотря на то, что от них зависят многие важные обстоятельства. Таков был и майор. Охваченный движением, начавшимся вскоре после войны, он весь всецело предался крестьянскому делу: стал выписывать журналы и вдруг отпустил своих крестьян на волю, когда сгорела их деревенька, и переселил их на новое место, в другом уезде. А между тем он все еще никак не решался стать пред алтарем с бывшею своею

крестьянской девкой, в которой души не чаял, не мог признать свою дочь за дочь и вдруг вспыхивал весь как зарево, терялся, когда приезжал кто-нибудь из помещиков, и торопил гостя к себе в кабинет.

Кузьминишна при виде такого малодушия приходила в необычайное негодование. Она связывала свои узлы, входила в кабинет майора, показывая пальцем на образа, поражала его грозными речами и, наконец, просила расчета или, лучше сказать, не расчета, а просто отставки. За смертью таинственной «девушки Глаши», которая, как я узнал впоследствии, была единственным плодом увлечения ее юности, Кузьминишна отреклась окончательно от всякого корыстолюбия и предалась всей душой Кате, заглушив в себе все личные потребности. Майор спешил успокоить ее и пускал в ход силлогизмы, вроде тех, каковыми характеризовал его Чуйка, — плод его «глубоких соображений» и хитрых извивов ума, которым он предавался после каждого нападения Кузьминишны. Кузьминишна редко сдавалась на эти компромиссы, и тогда майор давал ей честное слово, что *скоро, очень скоро* он решится. Майор чего-то ждал, ждал лихорадочно, как ждала тогда этого *чего-то* половина России... Наступил «незабвенный день» 19 февраля; майор пришел в какое-то странное, возбужденное состояние, оделся в полную майорскую форму и, как-то особенно многозначительно посмотрел на Кузьминишну, уехал к попу в ближайшее село.

Вскоре после манифеста была его свадьба. Кузьминишна успокоилась. Но как она горько разочаровалась бы, если б была наблюдательным психологом, если б могла заглянуть в душу майора, в душу каждого тогдашнего вольтерьянца. «И чего он, хромой чорт, еще малодушествует!» — воскликнула бы она в отчаянии. А майор действительно опять малодушествовал, но заметила это, к несчастью, уже не Кузьминишна, а другое существо.

Пока росла Катя среди дикого однообразия своей уединенной усадьбы, пока крепли ее молодые физические силы и еще спал рефлектирующий ум, пока она довольствовалась лесными экскурсиями с Кузей, подвигами бесстрашия относительно волков и иных лесных чудовищ, все шло мирно и спокойно: даже смерть матери, случившаяся на двенадцатом году жизни Кати, не

произвела на нее никакого пробуждающего действия. Но вот наступил тот критический период, в который закладываются в душе человека первые «краеугольные камни» нравственного здания, те камни, которым уже нет разрушения, которыми обусловливается великая тайна будущего развития. Кузьминишна ждала давно этого дня, когда ее Кате стукнуло шестнадцать лет, и она давно уже подготовляла майора к этому дню. Давно ее настояниями все было припасено и приготовлено, чтобы достойно встретить этот день. Майор и здесь как-то стихийно подчинялся во всем Кузьминишне — и должен был решиться прожить зиму в губернском городе и показать людям свою Катю. Майор поехал.

Он, Катя и Кузьминишна — в маленьком домике губернского города. Декабрь. В городе особенное оживление по поводу дворянских выборов. Начались балы. На один из них должна была выехать в первый раз Катя. Накануне этого дня все взволнованы: и Катя, и майор, и сама Кузьминишна. Наконец, напутствуемые благословением старухи, отец и дочь едут «в свет». Малодушие майора принимает все большие и большие размеры. Они в зале. Катя чувствует, как дрожит рука отца, как он вспыхивает при каждом нескромном вопросе, предлагаемом ему, как, наконец (все это она слышит), он малодушно отрекается от своей дочери, в необычайном волнении и смущении стоя пред одной сановитой особой, и называет ее своей «племянницей, дальней родней». Она в недоумении смотрит на новое для нее общество; ее гнетут любопытные взгляды барынь, рассматривающих ее как оригинальный монстр, и чутко слышатся ей фразы: «дитя случайной семьи...», «несчастный плод свободомыслия...» Вся — недоумение, вся — напряженная, сосредоточенная пытливость, вернулась она домой. Несколько раз, после бессонных ночей, хотела она спросить отца, спросить — что это значит; но майор, очевидно, избегал ее. Он стал пропадать по целым дням. Он ездил по всем дворянам, где чуял обед, и приезжал пьяным. Наконец она сказала: «Папа, я не хочу этой жизни... Уедем в деревню...» И, к удивлению Кузьминишны, майор тотчас же нанял лошадей, и они вернулись в деревню.

Кузьминишна не узнавала своей резвой Кати. Катя

«засолидничала», но так и следовало, по мнению Кузьминишны. Только она не понимала, почему отец избегал своей дочери. Увы! она не постигала всей бездны его малодушия. Но ум Кати работал энергично, быстро. Нет больше леса, полей, лугов; не существует для нее уже Кузя; разрозненные книжки журналов заняли ее дни и ночи... С каким-то гнетущим страхом, смешанным с малодушным отчаянием, наблюдал майор резкий перелом, совершавшийся в его дочери, и, чем глубже он старался вникнуть в причины этого перелома, тем малодушнее становился он, тем чаще предавался он покаянным самооплевываниям. Мало-помалу, он прекратил всякие связи с знакомыми помещиками; стал запивать, якшаться с мужиками. А в это время Катя неослабно работала над собою: в своем уединении, поглощала жадно все, что только могла найти печатного в безалаберной библиотеке отца; и только изредка разнообразила свое уединение, навещая с Кузьминишной старую попадью и молодую дьяконицу ближайшего села, да одну вдову-помещицу, проживавшую мирно и тихо с своей племянницею в соседней усадьбе. В этих семействах наезжали на праздник молодые люди, заглядывавшие в медвежьи углы, где проживали «авторы их дней». Они были вестниками о какой-то иной, бурливой и непонятной жизни, кипевшей где-то там далеко, за дремучими лесами, за необозримо длинной степью.

Прошли два томительные года; капля за каплей, жадно воспринимала Катя случайные вести из далекого мира... «Папа, я не могу больше жить здесь, я уеду», — одним вечером, наконец, решилась Катя выговорить отцу давно уже созревшее в ней решение, когда он был особенно весел, распивая со стариком-дворецким рябиновую. Волтерьянец не понял сначала, об чем говорила ему дочь, но, казалось, смутно чувствовал что-то и горько-застенчиво улыбнулся ей. Старый дворецкий ровно ничего не понял и продолжал благодушно сиять своими обесцветевшими глазами, и только, когда подслушивавшая за дверью Кузьминишна, ворвавшись в комнату, грозно крикнула майору: «Да ты слышишь ли, сударь, что дочь-то тебе говорит?» — все вдруг всполошились, не то сконфузившись, не то испугавшись чего-то. Старик-дворецкий внезапно заторопился «к себе, на кухню», покрякивая и утирая усы и бороду; майор почему-то

быстро налил рюмку, быстро проглотил водку и тотчас же поставил графин на окно, а Кузьминишна торопливо отыскала в кармане очки и, надев их, стала через них строго и внимательно смотреть то на отца, то на дочь.

Майор прошелся по комнате и стремительно вернулся опять к окну, опять проглотил рюмку водки, с треском захлопнул графин и затем, сев в кресло, стоявшее в тени, стал набивать трубку «жуковым». Села и Катя, серьезная, задумчивая, но с какой-то нетерпеливой решимостью на лице; ее щеки и лоб горели; в глазах бегали искорки взволнованной мысли. Села и Кузьминишна против отца и дочери и все еще не переставала глядеть на них в упор поверх своих очков. Молчал майор, молчала дочь. «Да ты, сударь, спросишь, что ли: куда она у тебя собирается?» — не вытерпев, выпалила Кузьминишна, повернувшись всем негодующим лицом к майору. Майор вздрогнул, завертелся, усиленно затянулся и закашлялся...

— Я еду в столицу, — скороговоркой сказала Катя, предупреждая смущение отца; — я еду жить с людьми... еду учиться... — Она хотела было продолжать, заикнулась и замолчала...

Майор усиленно засопел трубкой, опять нервно завертелся на стуле и заговорил, прерывая речь попыхиваниями в чубук.

— Что ж?.. учиться... да, дело хорошее... это хорошо... Что ж? Я не мог... Я виноват! Я недостойный!

— Папа, папа!.. Нет, не надо так! — вдруг прервала его странную речь Катя: — Зачем? Это не нужно... Это я сама... тут никто не виноват, кроме меня!

— Да ты скажи: чему это ты учиться едешь, сударыня? Чему ты не научилась еще? — направила свою грозную физиономию Кузьминишна уже на Катю.

— Учиться? — улыбнулась Катя. — Многому, а прежде всего лечить... Пойду в фельдшерицы, в повивальные бабки...

Кузьминишна так и вскочила со стула и остановилась среди комнаты в необычайном недоумении; первая мысль ее была, что ее хотят провести.

— Да ты, сударь, не слышишь, что ли, что́ она говорит? — дернула она майора за рукав. — Али тебе не стыдно за дворянскую дочь?

Майор усиленно тянул из чубука. Кузьминишна подождала ответа, но он молчал.

— Ну, так этому не бывать,— азартно решила она и ушла, громко хлопнув дверью.

Отец и дочь остались одни и молчали.

— Мне, папа, завтра хочется ехать, — первая прервала молчание Катя. — Ты меня проводишь до города, — прибавила она с усилием и вдруг вся вспыхнула: в первый раз сказала она отцу «ты», приученная говорить с младенчества вежливое «вы», и это маленькое слово диким, терзающим диссонансом резнуло ее ухо.

— А дальше? — почти шопотом спросил майор, которого все сильнее и сильнее охватывала боязнь чего-то, у которого падали силы под наплывом чего-то гнетущего, неопределенного и непостижимого.

— А дальше... дальше не нужно... Дальше я не хочу никого...

— И не хочешь даже?..

— Да... и не хочу! — слабо и нерешительно выговорила Катя.

Майор поднялся — и вдруг замигал глазами, и щеки у него передернуло, губы свело судорогой: он силился улыбнуться...

— Я теперь, папа, спать пойду. Мы поговорим еще завтра, — сказала Катя и вышла, угнетенная первой борьбой.

По уходе ее майор опять сел в кресло и пролил покаянные слезы.

А в это время Кузьминишной овладела ужасная мысль, что с решением Кати та цель, неуклонно достижению которой посвятила она всю свою любовь, все свои заботы, исчезает окончательно, что ее «принцип» (повторяем, что у Кузьминишны были всегда принципы не менее крепкие, чем у образованных людей), ее идея, которую хотела она осуществить в лице Кати, подрывалась вкорень, и из Кати, как и из тысячи ей подобных, *случайных* существ, являвшихся результатом барской прихоти и рабства, должно было выйти нечто уже давно знакомое, несущее на себе проклятие отвержения. Эта мысль глубоко волновала ее, и со всею силой своей старческой энергии восстала она против намерения Кати.

Она уговаривала ее, сердилась на нее, грозила больше

«не знать и не ведать» ее, не молиться за нее, наконец решилась даже на непохвальное дело, стараясь тихими нашептываниями разных ужасов восстановить слабого отца против Кати. Но все было напрасно: воля и настойчивость Кати были достойны ее воспитательницы. Несмотря на то, что Кузьминишне почти на целую неделю удалось задержать разными способами отъезд нерешительного майора и Кати, одним ранним утром, наконец, подъехала к майорской усадьбе давно жданная Катей тройка пунктовых лошадей. В это же замечательное утро совершилось нечто неожиданное и с Кузьминишной: она вдруг круто изменила свой образ действий, принялась быстро и заботливо собирать и связывать вещи Кати, изредка только ворча себе что-то под нос. Катя улыбнулась, смотря на нее, а Кузьминишна, заметив это, полусердито, полунежно, говорила ей: «Ну, так хорошо же! поезжай... Хорошо же! хорошо же! хорошо же!» Говоря это, Кузьминишна лукаво подергивала головой и хранила какую-то тайну: очевидно, в душе ее опять зрела *идея*. Все вышли на крыльцо; весело позвякивал колокольчик, весела была и Катя; около крыльца собрались ближние «добрые люди», в шапках и без шапок, нарочно и мимоходом, мало зная или совсем не зная, что за стремления и куда влекут уезжающих, но — все с сердечным напутствием на широко улыбающихся лицах.

— Ну, поезжай, хорошо же! — проговорила в последний раз Кузьминишна, благословляя костлявою рукою Катю и не отирая с лица бежавших слез. Заскрипел тарантас, застучали колеса; «добрые люди» вслед за Кузьминишной осенились крестным знамением, и Катя скрылась надолго из родного гнезда.

Через месяц вернулся майор домой, скучный, расслабленный, разбитый. Две недели кутил он в губернском городе после проводов Кати, пока не прокутил все бывшие с ним деньги. Приехав, он вновь запил и с каждым днем падал все ниже и ниже, нравственно и физически: он теперь порвал уже окончательно всякую связь с соседними дворянами; он стыдился себя, а они гнушались им; стал ходить по деревенским кабачкам, таскаться с Кузей, сделавшимся ловким кулачком, по ярмаркам, по сельским трактирам. Здесь он то бушевал, то проливал покаянные слезы, несколько раз под-

вергался опасности быть избитым, а иногда совсем потерять жизнь, но всегда был спасаем самоотверженно Кузей, любившим его какой-то странной любовью. Иногда он запирался дома и грустил, грустил глубоко, давал обеты «вести осмысленный образ жизни». Это всегда случалось раз в месяц, когда на посылаемые им ежемесячно Кате 30 рублей он получал ее короткое письмо. «Я получила, папа, твои деньги; здорова, счастлива, учусь. Твоя Катя». Он целый день носился с этим письмом, выпивал только пред обедом и ужином, но на следующий день опять ослабевал, проклинал себя и пил и плакал, плакал и пил...

Если бы знала это Катя? Но было ли бы лучше, если бы она знала? Прошло четыре месяца, как вдруг вместо ожидаемого письма майор получает обратно посланную им обычную сумму... Дрогнули руки майора, ноги подкосились, мысль, что она умерла, рванула его за сердце. Но он видит на адресе ее почерк; он дрожащими руками сламывает печать и читает: «Папа, я больше не хочу жить *твоими* деньгами. Я отрекаюсь от всего, что мне напоминает *то*... прошлое... Больше не беспокойся присылать мне... Я знаю, ты будешь сердиться. Но я так хочу и, чтобы избежать ни к чему не могущих привести переговоров, не пишу тебе своего адреса. — Катерина Маслова». (Это была фамилия ее матери по отцу — дворецкому; фамилия же майора была Усташев.) Майор облокотился обеими руками на стол, положил пред собою письмо и долго, сквозь слезы смотрел на сливавшиеся его строки. Он просидел так, не шелохнувшись, два часа и, когда поднялся, Кузьминишна «не увидала на нем лица». На ее ужас он ответил отрывисто: «Все одно... умерла... то есть нет, я... я для нее умер». Он заскрипел зубами и, молча, показав невидимо кому-то кулак, велел заложить лошадей и поехал в ближайшее торговое село.

Давно уже окрестные крестьяне не раз выказывали добродушное желание, зная майора за хорошего и умного человека, «приспособить к чему-нибудь» его барское ничегонеделание; давно уж они пытались поэксплоатировать в свою пользу его знания, но безалаберность майора, а отчасти и дворянский гонор не позволяли ему подчиниться этой «добродушной эксплоатации». Но мужики, словно чутьем чувствовали, что ра-

но или поздно он будет их, да и сам майор давал надежду на это, потому что часто, пьянствуя с ними, он волей-неволей втягивался в их интересы, давал советы — то злобно, с какой-то ехидной преднамеренностью, желанием напакостить или им, или помещикам, или начальству, то добродушно и бескорыстно, любовно и заботливо. Мужицким надеждам суждено было осуществиться: диким, злым, пьяным протестом пошел майор на это «приспособленье». Ходя по кабакам и трактирам, нарочно искал он материала для этого приспособления: ни одна мужицкая просьба, ни одна жалоба, ни одно недоразумение между мужиками и помещиками и тех и других между посредниками не оставлялись им без внимания. Сначала полетели всевозможные «просьбы», «обжалования», «протесты», которые он строчил по кабакам, и, наконец, когда увидел, что эти «протесты» остаются в большинстве случаев мертвой буквой, он не вытерпел и стал принимать на себя личные ходатайства. Скоро имя майора загремело по окрестной палестине: он стал «тоской и надсадой» посредников, помещиков и мировых съездов. Все окрестные помещики негодовали на него, и только благодаря его севастопольским заслугам да пятидесятилетнему возрасту удалось ему остаться «неприкосновенным». Майор чувствовал, что он «не один в поле воин», и еще энергичнее направил свою деятельность: скоро он сделался «тоской и надсадой» уже не одних посредников, но целого местного земства. Вся эта деятельность, сначала какая-то стихийная, беспутная, вскоре мало-помалу поглотила целиком душу майора; майор перестал пьянствовать, в нем забродило и ожило кое-что из старого, он перечитал даже кое-какие книжки, не без дрожащих на ресницах слез. В нем иногда закипала надежда, что еще не все пропало для него... Иногда эти надежды так радужно сияли пред ним, что идея любви и всепрощения осенила его уставшую душу. Но чаще он чувствовал, что что-то «утекло», утекло невозвратно. В эти минуты его сердце разрывалось тоскою о рано умершей жене, о потерянной дочери, и только неустанно-шумная, не дающая очнуться деятельность среди наплывавших нужд серого люда помогла ему перенести эту тоску. Когда деятельность его стала разумнее и отчасти спокойнее, он занялся своим имением, под давлением Кузи, сделавше-

гося в это время известным всему окрестному люду под именем Чуйки; и скоро на месте старой усадьбы «обосновалась» та оригинальная колония, которую прозвали «полубарским выселком».

Шли годы — один, другой, третий, четвертый...

Был душный июльский вечер; в воздухе еще чуялась дневная гарь и пыль, не успевшая улечься. Нынешнее лето было очень тяжело для окрестной палестины; нестерпимые жары и засухи привели к пожарам, скотским падежам и холере. Майор, Троша и Чуйка, сидя на крылечке майорского дома, вели медленную беседу о «тяжелом времени», причины которого Троша, по обыкновению, искал в освобождении крестьян и народной, вследствие этого, «необстоятельности», а Чуйка, печалуясь о павших у них двух коровах, путем каких-то хитрых соображений пришел к заключению, что все это от того, что «в людях веры нет».

— Где нынче подвижники? Нынче, брат, их за брильянты не сыщешь! Ежели бы в старые времена, так в эдакую тяжелую пору сколько бы подвижников было! Сейчас бы иноки во власяницы одеялись, патриархи бы облеклись во вретище, бояре и гостиные богатые люди, изыйдя на площади и раздав одежды своя, посыпав главы пеплом и отженясь животов своих, пошли бы босы и наги по всей земле русской, инде учаще, инде милосердствуя, инде же вознося и укрепляя мятущийся дух. Вот как прописано в книжках... А нынче — все в копейку, в момент ушло! — закричал Чуйка, взволнованно поправив на голове фуражку.

Троша на это только скептически покачал головой и скосил глаза, понюхав табаку. А в голове у него егозила мысль: «Вот он — шишига-то! Аа-ах! Подвижники! А примерно, кто первым делом по базарам маклачит? В праздник божий, чем бы лоб перекрестить, а он, еле забрезжится, уж на ярманке и скупает где нито? А теперь, из каких это капиталов, позвольте спросить, ваша супруга форсы задает: что ни лето — новый сарафан?.. Подвижники!..» Троша так увлекся этими размышлениями, что даже забыл о присутствии Чуйки и хотел было уже сообщить их майору, как вдруг издали послышался шум колес; из-за угла повернула телега, и

майор, поднявшись, уже пристально всматривался в подъезжавших: из-за широкой спины мужика, сидевшего без шапки, в одной посконной рубахе, на передке, показалась шляпка, зонтик. Сердце майора забилось. Еще минута и он вдруг как-то автоматично снял фуражку, обнажив свою серебряную голову, и, опираясь другою рукою на суковатую палку, замер под неожиданным наплывом чего-то неизвестного, как замирает на мгновение человек после ослепившей его молнии, в ожидании, что вот-вот, еще секунда, и ужасный, потрясающий удар разразится над его головой...

Катя, не дав остановиться лошадям, выскочила из телеги, быстрыми, но неровными и слабыми шагами подошла к отцу и, взяв его старую руку, крепко сжала, без слов, без поцелуев. Что-то не выразимое словом было в этом пожатии для майора: из его глаз хлынули потоком слезы и сразу смочили, как благодатною росой, его старческое доброе лицо. Катя поспешно отерла платком эти слезы и, молча, поцеловала его в лоб.

— Пойдем, пойдем, — прошептал майор, — вон туда, ко мне... — Он заторопился и чуть не упал от волнения, но Чуйка успел уже поддержать его.

Отец и дочь вошли в дом, а Троша, давно уже лениво стащивший с головы своей бобровый картуз, недовольно опять натянул его на голову: в приезде барышни ему чувствовалось опять *«что-нибудь новое»,* что могло нарушить его мирный покой, хотя бы самым отдаленным и косвенным путем.

А в это время майор, усадив перед собою дочь, говорил ей с умоляющею просьбой в глазах:

— Голубушка! пожми мне еще руку, еще *так* пожми... Мне ничего больше не нужно...

Он ловил ее руки, и она жала ему их крепко, со слезами и страданием в глазах, смотря в его розовое, влажное лицо, обрамленное седыми, подстриженными под гребенку волосами и длинными усами, висевшими над плохо выбритой нижней частью лица.

— И надолго? — боязливо спросил майор Катю.

— Да, надолго... теперь надолго...

— А-а!.. Ты, значит, слышала обо мне? — стыдливо спросил майор.

— Да, я слышала... Но нет... нет... я не поэтому! —

вспыхнула Катя. — Я совсем по-другому... *совсем по-другому,* — повторила она задумчиво.

— И в такое время! Ты не слыхала, может быть, — у нас здесь вокруг холера...

— Слышала и это. Но мне все равно... Ведь ты же не боишься! А Кузьминишна уж наверно не боится? Чем я хуже вас?

В дверях показалась строгая фигура Кузьминишны.

— Так и надо... Омойтесь в бане покаяния и очиститесь в горниле смерти, — проговорила она наставительным тоном, молясь в передний угол.

Катя бросилась было к ней, но Кузьминишна чопорно и серьезно расцеловалась с ней и смиренно, скрестив на груди руки (это ее обычная поза в чрезвычайных случаях), встала в углу у двери. Кузьминишна сердилась: она не могла простить Кате ее «безчувственного забвенья» их, как будто их совсем на свете не было, как будто они не любили, или не умели уже, или отвыкли любить, как будто в них (то есть в майоре, в ней и «во всех прочих», подразумевала она) сердца не было, сердце вдруг застыло и охолодело. Она многое ей простила, она в продолжение долгих четырех лет предавалась наедине размышлениям о странном поведении Кати, о крутом переломе в ее характере, многое угадала; хотя и смутно, но угадала, и чем больше угадывала, тем больше прощала ей, но одного не могла простить, именно: «зачем сердце забыли; ведь сердце-то так же болело и страдало и о других, а забыли сердце, уму дали да отмщению волю!»

Но недолго, конечно, Кузьминишна фигурировала в этой роли огорченной матроны: она даже не выдержала и нескольких минут молчания, в продолжение которых отец безмолвно наслаждался, смотря в милое, дорогое лицо своей дочери и в каждой черте ища то того, старого, то совсем, *совсем нового.* В нем было и то, и другое: от старого осталась детская улыбка, иногда бойкий, резкий взгляд карих глаз, от нового — строгость и угловатость черт на лице и печать какого-то глубокого страдания, но такого, которое доставляло человеку много светлых, отрадных минут... Всего же поразительнее было в ней — строгая простота, почти аскетическая, из-под которой хотя и била ежеминутно свежая, знойная струя молодой, полной силы жизни, но тем не менее

нисколько не вредила общему впечатлению. Кузьминишна не утерпела; ее волновало это «беспечальное созерцание» майором своей дочери.

— А вы бы, сударь, полюбопытствовали: чему ваша дочка изволила научиться в иных землях? — предложила она майору.

— И всему, няня, и очень немногому, — поспешила ответить Катя.

— Так все ж таки научилась дельному... или так? — переспросила Кузьминишна.

— Кое-чему и дельному... Приехала вот в бабки сюда, в земство.

— Гм... Ну, так хорошо!.. Постой же, — погрозилась ей, улыбаясь, Кузьминишна и тотчас заволновалась, зашумела ключами, и лицо ее приняло то озабоченное выражение домовитых матерей, с которым они любят угощать своих возвращающихся из ученья детей. Кузьминишна устраивала праздник деревенского кулинарного искусства, сбив с ног для этого дела почти всю колонию, даже невозмутимого Трошу, которого заставила ловить курицу, забежавшую от страха пред гонявшейся за нею Кузьминишной к нему в огород.

Три дня Кузьминишна справляла по-старозаветному праздник в ознаменование возвращения «блудной дщери»: то заколола лучшего гуся, то индюшку, то каплуна. Но в то время, как, увлекшись слишком воспроизведением притчи о «блудном сыне», она забыла о всякой гигиенической предосторожности, майор, напротив окружил свою дочь самой нежной заботливостью и в каждой мелочи старался парализовать слишком усердное гостеприимство Кузьминишны. За обедом он то возьмет у Кати с тарелки слишком жирный кусок и положит ей тщательно выбранный им другой, то нежно спрячет у нее из-под глаз миску с земляникой и сливками, когда та слишком увлечется давно невиданною ею деревенскою роскошью, то запрет сад на ключ, в опасении, чтобы его дорогая Катя опять слишком не увлеклась красными вишнями, которые она так любила. По вечерам, когда Катя выйдет в сад, или ночью, когда она заснет мирным здоровым сном, майор тщательно дезинфицировал, карболкой, ждановской жидкостью и уксусом четырех разбойников не только комнаты дома, но и всю усадьбу; принудил даже Кузю и Трошу заботить-

ся об атмосфере своих жилищ. Его опасливость за нежно-любимую и неожиданно возвращенную ему дочь доходила до нервной и томительной боязни; он страдал бессонницей, его кидало в жар при мысли, что вот-вот занесут холеру в его усадьбу; он даже не подпускал мужиков из окрестных деревень близко к своей усадьбе. Часто ночью раза два заглядывал он в спальню Кати и чутко прислушивался к ее мерному дыханию... Он даже рискнул очень строго поступить с Кузьминишной: голосом, устраняющим всякое возражение, он запретил ей на сажень удаляться из усадьбы, а тем паче ходить в окрестные деревни — лечить или принимать у себя крестьянских беременных баб. Но бабы все-таки ухитрялись всевозможными способами проводить бдительность майора и проскользать на медицинские консультации Кузьминишны так ловко, что майор никогда бы не знал об этом, если бы не усердие Троши, который, еще более майора боясь холеры, уже по своей личной трусости доносил ему о замеченных им бабьих ухищрениях, нарушавших всякие карантинные предосторожности. Но скоро случилось такое непредвиденное событие, которое сразу положило конец этой охранительной войне майора и Троши против соседних баб. Случилось это событие как раз по прошествии трех дней с приезда Кати, когда Кузьминишна положила предел устроенному в честь возвращения «блудной дщери» празднику деревенского кулинарского искусства. На третий день к вечеру Катя случайно зашла в избу Кузьминишны и застала у нее проскользнувших из-под присмотра майора двух деревенских пациенток; пациентки было смутились, но Катя смутилась еще больше, когда ей сказали, под какой охраной держит майор свою усадьбу. Какая-то жгучая мысль пронеслась в ее голове, краска бросилась в лицо, и она как-то смущенно и порывисто стала расспрашивать баб о здоровьи, исследовать, давать им советы и, наконец, велела им назавтра прямо приходить к ней, а если кто задержит их, то сказать, что сама барыня так приказала. Бабы ушли, а Катя и Кузьминишна целый вечер пробеседовали о бабьих болезнях. Катя как будто очнулась, как будто вспомнила неотложность какой-то обязанности, и ночью долго горел в ее комнате огонь, долго просматривала она медицинские книги, торопливо, нервно, как будто собираясь куда-то. В эту ночь не

спалось и Кузьминишне: какие-то мысли не давали ей покою; несколько раз вставала она с лавки и молилась об укреплении в чем-то и спасении от чего-то. На следующий день, рано утром, с подогом в руках и узелком с какими-то снадобьями тихо прошла она в комнату Кати. Катя была уже одета в простую серенькую блузу, затянутую кожаным ремнем, с клеенчатой шляпой на голове.

— Ты не бойся, Катюшка, — шепнула Кузьминишна, — я уж за тебя молилась, а теперь сама помолись.

— Хорошо, няня; я про себя, в уме помолюсь.

— С молитвой-то лучше... Я вот уж как боялась за тебя, не решалась все, да помолилась — и трусить перестала... Вера, сказано, горами двигает... Иисус Навин с верой-то солнышко остановил... А ты шляпку-то сними, — вдруг посоветовала она Кате, — повяжись платком: для нас, деревенских лучше как-то...

Катя наскоро сняла шляпу, покрыла голову белым носовым платком и вышла вслед за крестившейся на ходу Кузьминишной.

Едва вышли они за околицу, как навстречу им показался майор, ехавший с Трошей с полевых работ. Кузьминишна перекрестилась.

— Куда?! — вскрикнул майор, в необычайном недоумении останавливая лошадь, едва они только поравнялись. Троша было поднес руку к своему бобровому картузу, чтобы с подобающим уважением раскланяться с «барышней», как вдруг его рука так и застыла на облупленном и вытопившемся на солнце козыре. Увы! он услышал следующие слова Кузьминишны, ворчливо обращенные ею к майору:

— Ну, батюшка, — сказала она, — не все праздновать; пора и других вспомнить... Недаром, поди, учились.

Майор уже готов был что-то еще крикнуть.

— Мы идем в деревню: там много больных, — предупредила его Катя.

— Старуха! сумасшедшая! Это ты! ты! — закричал майор, выскакивая из плетушки и в негодовании наступая на Кузьминишну.

— Папа, — твердо выговорила Катя, — она не виновата... Я должна была сама...

Майор и Катя оба были взволнованы; у последней на минуту в глазах сверкнул какой-то странный огонь,

который раньше не приходилось замечать майору. Он наскоро снял фуражку, наскоро перекрестился и, молча вскочив в плетушку, погнал лошадь...

— Ну, теперь загубили!.. как пить дадут!.. я говорил? Мое слово с ветра не бывает, — ворчал Троша, беспокойно вертясь рядом с майором. — Сударь! Прикажите наистрожайше вернуться, пока не поздно!

Вплоть до усадьбы продолжал волноваться Троша, несколько раз взывая к майору, но майор продолжал упорно молчать и, приехавши домой, бросил Троше вожжи, выскочил из плетушки и скрылся в своем кабинете. Долго сидел он здесь, молча выкуривая трубку за трубкой; глаза его нередко наполнялись слезами, им овладевал малодушный страх пред чем-то. «Опять! — шептал он. — Что̀ если теперь она *также* взглянет? Если опять отрешится от меня? Поймет ли она, что теперь уже не то... что теперь уже это я из любви к ней, к ней одной... Но, спросит, зачем же к ней одной?»

Покаянные мысли вновь обуяли душу майора, но уже это было последнее покаяние.

Глава пятая

ВЕРА СЕРДЦА

Общие впечатления детства скорее и вернее всего сближают людей. Так было и теперь. Вызванные мною в душе Кати воспоминания как-то незаметно нарушили ее сдержанность и холодность; она увлекалась, читая в моем лице, что я переживаю те же самые ощущения, какие овладели ею, и к концу рассказа мы были как будто давно знакомы. А последний эпизод с бабами и выходка Кузьминишны, когда она, вопреки всем майорским предосторожностям, повела Катю в деревню, охваченную эпидемией (этот эпизод Катя рассказала несколько иначе, нежели передал его я: она прямо всю инициативу дела приписала Кузьминишне, предоставив себе только пассивную роль, даже прибавила, как она будто бы струсила), заставили нас даже очень добродушно расхохотаться. В конце концов Катя, ка-

жется, осталась довольна мною, в особенности при рекомендации Кузьминишны, по которой оказывалось, что у меня «сердце есть»... Увлекшись такою доверчивостью Кати, я так-то невольно спросил ее:

— Скажите, что́ вас заставило вернуться сюда и жить здесь? Неужели только желание служить земскою повивальною бабкой?

— Нет, — ответила Катя и тотчас же насторожилась.

— Вас обманули *там?*

— Тот не обманывает, кто обманывается сам, — произнесла она докторальным тоном, в котором уже и следа не было прежней задушевности.

Но я, хотя и заметил это, хотел уже разузнать все, чего мне недоставало для понимания «истории майорской дочери».

— Значит, вы сами изверились?..

— Да, — предупредила она мой вопрос.

— И, как заблудшая дщерь, вернулись сюда, чтобы обратиться к старой вере?

— Нет, не к старой, а найти... *новую.*

— И нашли?..

— Отчасти... Да что вы меня допрашиваете? — резко спросила она.

— Меня это очень интересует, потому что я сам изверился... Вы мне не верите?

Она посмотрела мне в лицо.

— Нет, верю, — твердо сказала она после небольшого молчания. — Я о вас слыхала.

— Скажите, в чем же суть?..

— Вы знаете Башкирова? — прервала она.

— Знаю... Но, насколько мне известно, он не теоретик...

— Да, он не теоретик... У него нет системы. Но он сам — воплощение веры сердца...

— Как вы сказали?

— «Вера сердца»... Это не совсем точно, но еще нет названия, так как все это пока очень неопределенно... Башкиров сам по себе — факт, воплощение этой веры...

Я замялся и думал, что̀ ей ответить. В это время за дверями послышался голос майора.

— Наполеоны! Волтѐры! — кричал он.

— Да, этот грех за нами из веков, — ответил кто-то, сильно напирая на *о*.

Катя быстро встала, вспыхнув от чего-то: может быть, она узнала голос гостя.

— Говорите же что-нибудь... Вы понимаете, например, что такое Кузьминишна? — почти шопотом и нетерпеливо спросила она меня.

— Понимаю.

— Ну, вы должны чувствовать и это... эту «веру сердца», — сказала она и вышла в соседнюю комнату.

— Каточек! Катя!.. Поймал, наконец, брат!.. Поймал! Ха-ха-ха! — кричал майор, проталкивая сзади в дверь какую-то странную фигуру.

— Ничаво, я теперь не убегу, — протяжно проговорил оригинально принимаемый гость.

Признаюсь, не скажи он ничего, я не скоро узнал бы в этой странной фигуре Башкирова. Весь в пыли и поту, в старой синей поддевке, подпоясанной веревочкой, в брюках, засунутых в дегтярные сапоги, с широко улыбающейся потной физиономией и довольными глазами, прикрытыми большими синими очками, он был оригинален и неузнаваем.

— Ха-ха-ха, брат! Поймал! Старуха! Припирай двери! Засовом! Крепче! — суетился, видимо чрезвычайно чем-то довольный майор.

— Ничаво, я теперь не уйду. Я и сам изустал, — говорил Башкиров, садясь несмело на стул около двери, вытираясь большим клетчатым платком.

— Катя! Где же она? — озирался майор. — Ты посмотри-ка: затащил, брат, затащил!

— Наконец-то! — сказала Катя, скорой походкой выходя из соседней комнаты прямо к Башкирову, и пожала ему крепко руку.

— Потная. Издалека иду, виноват! — протянул конфузливо Башкиров, вытирая руку платком уже после того, как Катя ее пожала.

Катя ничего не ответила и снова села на прежнее место, с серьезным любопытством устремив взгляд на Башкирова и несколько даже подавшись вперед корпусом, как бы ожидая разъяснения и этого визита, и странности костюма, в серьезной цели которых она, повидимому, не сомневалась.

— Нет, ты спроси, Каточек: где он был? Какую он

штуку сделал... нет, не «сделал», а как?.. Оборудовал? Да? — обратился майор к Башкирову.

— Оборудовал.

— Да, да! никто ведь не сумел, никто не смог... А наш гениал-то, Морозов-то... Каков!.. Ха-ха-ха!.. Отказал!.. Вот они, Наполеоны! Волтеры!..

— Какое же это дело? — спросила Катя.

— Да я тебе, кажется, рассказывал? Нет? — заторопился майор, говоривший всегда скороговоркой, когда хотел сообщить что-нибудь чрезвычайное, как будто боясь, чтоб его не предупредили. — Помнишь, добросельцы с красносельцами хотели сообща луга и пашни снять у Дикого? У них ведь совсем лугов нет, на пашне скот пасут, а то по болотам, а рядом, у Дикого, поемщина в полтораста десятин лежит дарма: ни себе, ни людям. Кулаки к нему сколько раз было наведывались, цены нагнали страшные, — всех выгнал; мужички потом сами ходили, авось-де счастие не выпадет ли им, и их выгнал! Вот, изволите видеть, молодой человек (это майор ко мне обратился), мужички просто смотреть без слез не могут на эти луга. У них, скотина — кожа да кости, а под глазами — пойма... Да-с, так вот какая, можно сказать, поразительная картина была! Думали-думали мужики и надумали кого-нибудь со стороны послать к Дикому: сейчас, конечно, ко мне. Ну, я их спровадил к Морозову, — все же скорее может успеть: некоторым образом чуть не родные они с Диким. А наш гениал-то, каков!.. Как вы думаете: что он сделал? А? Отказал!.. Да, отказал!.. «Я, — говорит, — тут никакого успеха не предвижу, братцы, потому что мы с Диким слишком в убеждениях расходимся. Ступайте к майору! он сам помещик!» Каков!.. А? К майору! А майор — что? Майор, стало быть, не имеет убеждений? А?

Майор заходил в волнении по комнате.

— Старушенция! да скоро ли ты нам водки-то дашь? — вдруг крикнул он, обращаясь куда-то за стену.

— Несу, несу... Слышу уж! — говорила Кузьминишна, внося поднос с закуской и ставя его на стол. — У нас, бывало, у барина моего, вот так же: говорят-говорят об этих Волтерах-то, да и понапьются... Здравствуйте, батюшка! — поклонилась она Башкирову.

— Здравствуйте, здравствуйте, бабушка, — привстав, сказал Башкиров и подал ей с самым сердечным добродушием руку, к которой несмело прикоснулась своими пальцами Кузьминишна.

— А вы знакомы? — спросила Катя, по обыкновению широко открывая глаза.

— Мы... по-малости собеседовали, — ответил Башкиров.

— Кто меня не знает?.. Все меня, старуху, знают... Натко-с, какую махину годов прожила! — заметила Кузьминишна, скромно уходя и тихонько притворяя за́ собою дверь.

— Хорошая баба, куда хорошая!.. — с видимым удовольствием проговорил Башкиров и даже потер большими красными и толстыми руками свои колени.

— Н-да! так вот майор, делать нечего, и отправился, — заговорил майор, прожевывая огурец и успев уже под шумок выпить.—А вы выпейте-ка... Пьешь, ведь?— спросил он Башкирова (майор частенько говорил «ты» тем, к кому в данную минуту чувствовал особое расположение).

— Отчего ж? Пью... Нельзя не пить!..

— Я, брат, знаю! ты не из этих, не из гениалов... От царской да от мужицкой чарки никогда не отказывайся! Грех! Да, так вот и «поехал наш Иван за кольцом на окиян...» Уж именно — окиян! Насилу принял... Из ума выжил!

— Хороший мужик... Беда — хороший! — опять с особым удовольствием заметил Башкиров, выпивая в полуоборот от Кати водку, и затем почему-то сконфузился и покраснел.

— Хороший, брат, это верно. Только тут немножко тово... винта нехватает. Ну, да это — особая статья. Наконец добрался до него... Говорю: так и так: ежели даже по-христиански... И, боже мой!.. Поднялся, зашумел, заплевал... «Я, говорит, тебя уважал, старик, когда ты *тем* кровь портил... Ну, а мужицкое брюхо растить я тебе помогать не намерен!..» Бился, бился — с тем и отъехал!

— Чем же кончилось это дело? — спросила Катя, внимательно всматриваясь в хитро улыбавшееся лицо майора, которое давало повод предполагать, что «штука-то» еще впереди.

— А ты вот его спроси! — показал майор на Башкирова. — Вот Дикой всех прогнал, всем оглобли завернул, — а ему не завернул, его не прогнал! А почему?.. А потому, что вот он — не Вольтер; когда у одного мужика сошник лопнул, а пора была страдная, ни взять негде, ни послать в город некого, ни самому от бороны оторваться нельзя, — вот он, не Вольтер-то, пехтурой в город отмахал двадцать верст, а к вечеру мужику сошник принес! Нет, ты расскажи! Пускай он сам расскажет. Ну, как ты ухитрился? как ты оборудовал? А?.. ведь отдал он мужикам луга на съем?

— Один лужок отдал, — сказал Башкиров.

— Ну, как же, как же ты оборудовал? — спрашивал майор, и, подсев рядом к нему на стул, стал набивать трубку у себя в коленях, приготовляясь слушать.

— Да я не знаю... само сделалось, — протянул конфузливо Башкиров и засунул руки между колен.

— Нет, ты рассказывай все порядком, как было. Мы, брат, поймем.

— Сегодня утром приходят мужики ко мне, — начал обстоятельно излагать Башкиров,—и говорят: «Сходи ты, сделай милость, к нему сам: что это, господи, царь небесный, за оказия! Ведь мы не милостыню просим у его; деньги вперед уплатим!» — «Ну, ладно, говорю, коли так — испробуем...» Надел вот эту хламидку-то, взял хлеба кусок за пазуху и пошел. Прихожу и говорю: доложите, мол, лекарь пришел... Конечно, глаза таращат слуги-то. Велел войти. Вхожу, говорю: «К вашей милости». — «Ты кто такой?» — «Лекарь», говорю. «Знахарь?» — «Нету, батюшка, как быть: из ученых... Вот извольте посмотреть», — и ему на стол диплом выложил. Он сейчас же издивился... «А! — говорит, — прошу покорно садиться, и кресло мне ногой придвинул. — Федот! принеси нам вина!» Приказал, а сам с меня глаз не спускает. Все охаживает ими меня с головы до пяток. «По какому делу-с? Вы, кажется, обедняли, ищете места? Виноват, деньгами, несколькими рубликами, могу снабдить; а более ничего не могу... Я ни с кем теперь не имею ничего общего — ни с земством, ни с администрацией!..» Ну, я ему сейчас и доложил. «Чего-с? Вам что за дело? — воззрился он на меня: — вы служите? может быть, в гласные хоти-

те?» — «Нету, говорю, не хочу...» — «Имеете практику?..» — «Нету, не имею, а лечить лечу, кому надобность есть...» — «Извините, я вас не понимаю!» — говорит и поклонился мне.

— Ха-ха-ха!.. Вот тут и раскуси! — восторгался майор, постоянно повертываясь на стуле, перекладывая ноги с одной на другую, попыхивая в чубук и в самых интересных местах ероша свои седые волосы. — Ну, ну! — подгонял он.

— Ну, я ему и стал докладывать: «Мы, говорю, друг друга, ваше-ство, скоро поймем, потому что вы отрешились, и я отрешился...» — Ну, и повел в эдаком роде параллель... Он все слушал, все слушал. «Признаюсь, говорит, не ожидал. Хорошо, говорит, я согласен! интересный вы молодой человек, заходите ко мне!» Ну, я теперича пойду уж, — заключил Башкиров, тяжело вздохнув, как будто, сделав этот доклад, почувствовал себя совершенно свободным.

— Куда? Куда? — вскочил майор. — Старушенция, припирай двери!..

— Да чего же я здесь буду приятно собеседовать, когда мужики меня ждут! Нет, уж я пойду!

— Да, да, ступайте, — торопливо проговорила Катя и, быстро встав с места, пожала ему руку еще сильнее, чем прежде.

— Ну, нечего делать!.. хоть поцелуемся, брат, на прощание! — сказал майор, при всяком удобном случае падкий на нежные излияния, — и расцеловался с Башкировым.

— Хороший старик! — проговорил, улыбаясь, Башкиров, взглядывая то на майора, то на Катю. Очевидно, впрочем, эта фраза назначалась собственно для Кати. Щеки Кати покрылись легким румянцем довольства, и она вновь с глубоким чувством признательности пожала Башкирову руку. Мне почему-то невольно припомнилась при этом сцена у Морозовых на именинах, когда Катя на легкое раздражение Морозова, вызванное наивным докладом майора о своих заслугах, резко отвечала: «Папа, уйдем отсюда...» Сопоставление казалось мне знаменательным.

— Теперь вы, наконец, поняли?.. Видели, что такое *он?* — спросила меня Катя, несколько напряженным голосом, когда Башкиров вышел в сопровождении

майора, не перестававшего еще долго за дверью кого-то хвалить и кого-то бранить.

— Отчасти, — сказал я. — Впрочем, все это я знал о нем и раньше... Но ведь он, может быть, исключение?

— Нет, нет, — настойчиво ответила она, как-то особенно высоко подняв голову и проводя рукой по волосам, которые слегка всклокочил легкий ветер, пробивавшийся в окно, сквозь застилавшую его зелень, — потому что иначе невозможно было бы жить... по крайней мере для меня... Я лучше объясню вам примером: что́ сделали бы вы, если бы тот храм, в котором вы молились, обратили в торжище, одни — сознательно, другие — помогая по недоразумению или по неопытности?

— Я ушел бы из этого храма, унося в своем сердце бога и свою веру, — ответил я.

— И только?

— И только.

— Нет, этого мало... Нужно же проявить в каких-нибудь формах свою веру... А они не должны быть настолько податливы и растяжимы, чтобы дать место лицемерию или обману... Вот что нужно найти, чтобы спасти себя и всех!

— И возможное осуществление этого вы находите в Башкирове? — спросил было я, но в это время вернулся майор. Я успел только по глазам Кати заметить, что вряд ли бы еще она на этот вопрос ответила без колебания: *«да»*.

Она, очевидно, еще изучала его.

— И Орск — романтизм! А? Помните вы это?— крикнул майор, обращаясь ко мне. — И Орск — романтизм! каково!.. Вот тебе сын народа! Как прошли цивилизованную школу, да понюхали культурного житья, да ежели еще при этом жена богатая...

— Папа! ты слишком стал нападать на Петра Петровича, — заметила Катя, кладя со стола на колени шитье и принимаясь снова за прерванную работу.

— Как нападать? ведь ты сама видела! — несколько недоумевая, обратился майор к дочери, — и ведь ты, кажется, сама...

— Тогда, папа, было дело принципа, но собственно сам по себе он — человек очень хороший!

— Ну, извини. Я что-то мало тут понимаю...

— Морозов прежде всего очень хороший человек;

он не падает так низко, как думаешь, — продолжала Катя, — я его уважаю... я уважала и его принципы, я сама жила его верой, и ежели теперь... Но я знаю, я уверена, рано или поздно Морозов поймет это.

Все это Катя проговорила несколько взволнованным голосом, нервно делая складки на полотне.

— Ну, да, ну, да! защищай его! — сказал майор, любовно посмеиваясь и подмигивая мне на дочь. — Воспитатель ведь твой! Как, как ты говорила про него? «Он — пахарь, он — сеятель, он бросил первые зерна...» Так, что ли? А до жатвы ему нет дела?

— Да, жатва не его, — едва слышно проговорила задумчиво Катя.

— То-то вот и есть! А, что я тебе говорил: он — Рудин! Вы думаете, Рудины были и быльем поросли? Нет, брат, они живучи! Ты думаешь, что он артели устраивает, так будто и дело делает? А я тебе скажу, что все это — та же рудинщина, только в иных формах. Знаем мы их — этих разочарованных Наполеонов-то, что «по свету рыщут, дела себе исполинского ищут!»

— Да, это отчасти справедливо. Я не сомневаюсь, что он может умереть так же, как умер Рудин. Но если ты говоришь в ином смысле, в смысле фразы, в смысле надутого ученого самомнения — это неправда. Нет! нет! это неправда! В нем сильны хорошие инстинкты, он чуток к истине! — торопливо проговорила Катя, как будто боясь, чтоб ее не перебили.

— Ну, да, ну, да! разве с вами можно сговорить! То из-за одного слова чуть скандала у него не наделала, меня, старика, утащила, а теперь...

В эту минуту в дверях показался Чуйка.

— Ты что, Кузя? — спросил его майор.

Чуйка сел у двери.

— Господин Башкиров, кажись, изволили навестить? — спросил он, больше обращаясь к Кате.

— Как же, как же, — отвечал майор, — навестил! А ты его встретил?

— Встретил-с; идут, палочкой помахивают. Сожалею, что не потрафил сюда ко времени.

— А что, Кузя, он тебе нравится? — спросила, улыбнувшись, Катя.

— Как же! — протянул Чуйка с каким-то непередаваемым выражением в голосе.

— Чем же он тебе нравится? — спросила опять Катя, по лицу которой было заметно, что она очень хорошо знала и то, что Башкиров нравился Кузе, и почему он ему нравился; очевидно, эти вопросы задавались с целью только еще раз услыхать подтверждение любимой идеи, а отчасти, может быть, еще более убедить меня.

Кузя не скоро отвечал на этот вопрос; он сначала исподлобья посмотрел на Катю, потом на меня, потер колени и, запинаясь, проговорил:

— А потому — как вполне человек... ежели судя по настоящему времени...

— Ну, ладно! мне, брат, некогда, — сказал майор, когда Чуйка придумывал, что сказать дальше.

— Это так точно, — подхватил он, быстро вскакивая и запахивая полы чуйки: — мужики томятся. Пожалуйте-с!

— Сейчас, сейчас, вот только еще трубочку выкурю... Ну, а какое ты сообщение хотел сделать?

— А вот насчет этой самой алебастровой артели господина Морозова-с.

— Был там? — с видимым интересом спросил майор, раскуривая трубку.

— Был-с.

— Видел его?

— Его не видал, потому еще, почесть на заре ходил... прохладнее. А с мужиками собеседовал. «Ничего, говорят, мы согласны!» Ну, честь-честью, пригласили меня поутренничать: кашицу они вчерашнюю в котелке разогрели; я сейчас же к ним примостился... Люблю я так есть! Пары с речки подымаются, холодком тянет, дымком попахивает из-под котелка... Помнишь, в иные-то времена, как помоложе были, какие мы теплины на речке около лесу зажигали: дым-то у нас выше лесу стоячего, выше облака ходячего подымался!.. — увлекся Кузя, обращаясь к Кате.

Его глаза забегали и засияли, все лицо засветилось улыбкой, и он весело и любовно глядел в лицо Кати, как бы видя пред собой не эту взрослую, солидную девушку, но бойкую тринадцати-четырнадцатилетнюю дикарку, полную, румяную и загорелую, с кучей растрепанных кудрей на голове, с которой делал он некогда лесные экскурсии. Катя улыбнулась на это обращение к ней Кузи, но улыбнулась так, как улыбается юность при сви-

дании с старой няней на ее длинные и обстоятельные рассказы о том времени, когда эта юность и как сначала ползала, потом «пешком под стол ходила», когда и как расшибала себе нос и прочее. Кузя так же было пустился, поощренный улыбкой Кати, в подобные же подробности, но майор докурил трубку и заторопился.

— Ну, пошел, пошел! Правду говорят мужики, что у тебя чирей на языке. Что же Морозов-то, Морозов-то что же?

— А господин Морозов, так надо полагать, нашего брата не допущают.

— А-а! отчего ж так?—спросил майор и бегло взглянул на дочь.

— А так, надо полагать, что они против нас мнение имеют, в том роде, что мы, по своей коммерческой практике, в их понятии, кулаки выходим. Ну, а они, господин Морозов, артель свою на подборе устраивают. Тут тоже рассказывали, один мужичок, с пахлей сбившись, пристанища не находя, прослышал об этой самой артели — и к ним было. Ну, тоже господин Морозов отказал, то есть этим самым артельным мужичкам растолковал, что-де им наистрожайше нужно народ избирать!

— Так, так! нам чистеньких подавай! — взволновался майор, быстро выпил еще рюмку водки, взял фуражку, сказал мне, шаркнув ножкой: «прошу извинить», и вышел.

— Это точно... ежели подбор, — размышлял Кузя, разводя руками, — только ведь для этого нужно, чтобы было *дано*... А кому это дано? — спросил он меня, улыбаясь: — никому не *дано-с* еще, по настоящему времени судя... ха-ха! — закончил он, особенно внушительно подчеркивая слово *дано,* и затем, раскланявшись, тоже вышел.

Я взглянул на Катю: она сидела, низко наклонив голову к шитью, и нервно спешила окончить шов; все лицо ее и уши сплошь были залиты краской, вероятно вследствие сильного внутреннего волнения; она не поднимала головы, очевидно стараясь скрыть от меня это волнение; но, наконец, не выдержала, усиленно стегнула два раза иглой и, кладя на стол работу, поднялась, выпрямилась во весь рост и вдохнула полной грудью лившийся в окно из сада свежий, ароматический воздух.

— Вы пойдете сегодня к Морозову? — спросила она

меня деловым тоном и прищурила глаза, вероятно желая хоть несколько умерить их блеск.

Я сказал, что пойду.

— Пожалуйста, занесите от меня записку... несколько строк. Я сейчас напишу.

Она быстро вышла в свою комнату. В полуотворенную дверь я видел, как она, взяв первый попавшийся листок бумаги, лихорадочно стала писать. Написав несколько строк, она отбросила этот листок и принялась писать на другом. Она сидела ко мне спиной, и я не мог видеть выражения ее лица; но краска все еще покрывала ее слегка загорелую шею. Наконец она вышла ко мне, читая на ходу.

— Вот, — заговорила было она. — Или нет... это бесполезно... этого мало!

Она быстро скомкала в руке письмо, сунула его в карман и, взяв со стола легкий шейный платок, накинула его на голову.

— Хотите, по дороге? — спросила она меня, слегка подвязывая платок у подбородка.

— С удовольствием. Вы куда же?

— К Морозову.

— Но ведь теперь самое жаркое время?

— Это мне все равно, я его должна видеть.

— Мы пойдем с вами здесь,—сказала Катя, выходя не на так называемое мужиками «парадное крыльцо» майорского дома, со стороны которого слышался шумный говор, а в узенькие сени, из которых маленькая дверь вела в сад.

— Как вы думаете: не взять ли большой дождевой зонтик? Должно быть, очень жарко; да, пожалуй, и гроза соберется, — проговорила она, смотря из-под ладони на безоблачное небо. — Ступайте вот по этой дорожке. Я вас нагоню.

Я сошел в сад. Майорский сад был обыкновенный провинциальный садик, с кривыми полузаросшими дорожками, с полусгнившими деревянными скамьями, сплошь закрытыми крапивой, с густою травой, среди которой особенно высоко выдаются сочные дягили; одна сторона сада сплошь заросла густым вишенником, над которым подымались корявые яблони с кое-где обломанными сучьями и берестовыми пластырями, подвязан-

ными мочалками вокруг стволов; другая сторона была исключительно посвящена ягодам: густо разросшиеся кусты малины, смородины и крыжовника, подобранные снизу в перегородочки из старых драниц, так густо заростили предоставленную им местность, что поместившаяся было среди них молодая рябина, заглушенная ими, стала сохнуть; только в дальнем углу густая древняя ель, вероятно оставшаяся от бывшего когда-то здесь леса, могуче подымала свою пирамидальную вершину и царила над всей окрестной растительностью, усыпав широкую площадку засохшими иглами и шишками; вокруг ее еще здорового смолистого ствола была сделана из трех скамеек беседка, тут же стоял треснувший от дождей и солнца, полинявший красный столик; на нем виднелся клубок ниток, вязальные спицы, книга и майорский табачный кисет; вероятно, это было любимое место, где собирались на мирную беседу все обитатели майорской колонии.

За садом начинались гуменники, обращенные в майорской усадьбе в огороды; длинные ряды гряд зеленели разнообразной сочной листвой, среди нее были разбросаны маленькие яблони и груши, как подростки, нуждавшиеся в обильном и жирном черноземе; подпертые козелками на хорошо взрыхленной и часто поливаемой земле, они, видимо, росли под бдительным надзором чьей-то заботливой руки; некоторые из них начинали уже набирать плоды, и стая всякой прожорливой птицы усиленно нападала на них и на гряды с огурцами, нисколько не пугаясь старого майорского мундира, распяленного на кресте из кольев, и старого повойника Кузьминишны, венчавшего то место, на котором пернатые должны были предполагать строгую главу военного стража. Впрочем, строгий страж оказался теперь сам налицо, и в подобном же повойнике: в дальнем углу огорода я увидел Кузьминишну, которая с большим сухим суком в руках бегала между грядами, с азартом нападая и покрикивая необычайно строгим голосом на глумившихся над ней воробьев. Я подошел к ней; она выразила было желание вступить со мною в длинную беседу и, уже взяв за руку, потащила меня под заветную ель, как в это время нагнала нас Катя с большим распущенным парусинным зонтиком.

— Пойдемте, — торопливо сказала она.

— Да куда ты его тащишь? — запротестовала Кузьминишна. — Не успела я с ним и двух слов перемолвить.

— После, Кузьминишна, после. Нам нужно, — проговорила Катя, уже подходя к выходу.

Слышно было, что Кузьминишна что-то забормотала, но что — разобрать было никак нельзя; через минуту она уже начала вновь с сучком в руке военные действия против прожорливой птицы.

За огородом мы пошли с Катей по гладко протоптанной и обросшей по краям полевою ромашкой борозде, между озимым полем и паром. Катя мерной и уверенной поступью шла впереди меня, задумчиво наклонив голову и твердой рукой держа тяжелый старинный зонтик, с одного бока которого мерно прыгало большое медное кольцо.

Было время послеобеденного отдыха, и отчасти поэтому, отчасти вследствие томящего зноя кругом, не было видно ни одной живой души. Над высохшим и трескавшимся на солнце паром изредка пролетали один за другим вороны, пристально высматривая полевых мышей. Во всей окрестности чувствовалась томительная тишь, и в воздухе проносились только редкие звуки то скрипевших где-то далеко колес, то фырканье лошади, бродившей в ближайшем овраге, то шум от пронесшейся стаи галок, да карканье вороны, усевшейся на брошенную среди пашни борону.

Мы шли несколько времени молча.

— Ах, я вас совсем замучила... Посмотрите, что с вами: на вас лица нет! — вскрикнула Катя, обернувшись ко мне.

Действительно, я изнемогал от жары.

— Давайте руку, теперь недалеко, — сказала она и, не дожидаясь моего согласия, взяла меня под руку.

Поднявшись из оврага, мы очутились у старого полусгнившего и кое-где уже растасканного, вероятно крестьянами на дрова, забора из толстых кольев, окружавшего морозовский сад. Мы не стали обходить его, а прямо прошли в отворенную калиточку, заросшую бурьяном, сквозь который пробита была свежая тропа.

Из чащи густо разросшихся деревьев повеяло свежестью; несмотря на жар, воздух здесь был влажен, вероятно от находившегося невдалеке пруда, сплошь

покрытого зеленью. Эта часть сада была запущена и мало кем посещалась, что заметно было по той безбоязненности, с какою поместились здесь на жительстве целые колонии ворон, грачей и галок, унизавших гнездами старые вязы. Сопровождаемые карканьем, мы вышли в другую часть сада, где уже были заметны следы культуры: расчищенные дорожки были усыпаны песком; по бокам их кое-где виднелись цветочные клумбы; попадались скамейки, запрятанные в глушь сиреней, брошенные грабли, валявшиеся на боку лейки. Наконец мы свернули на главную аллею, примыкавшую к барскому дому. На террасе мы заметили Лизавету Николаевну, сидевшую за столом, уставленным мисками и блюдами, и отбиравшую ягоды. Она нас не заметила, пока Катя, оставив мою руку, не вбежала быстро на лестницу террасы. Лизавета Николаевна вздрогнула и смешалась.

— Извините, что мы прошли здесь... Так ближе... Петр Петрович дома? — спросила Катя, наскоро пожимая ей руку.

— Да, дома. Кажется, он там... в комнатах.

— Могу я его видеть?

— Да, конечно. Отчего же! — заминаясь, говорила, все еще не успевши притти в себя, Лизавета Николаевна, вытирая перепачканные красным соком руки.

Катя сдернула с головы платок, слегка поправила волосы и вышла в залу.

— Здравствуйте! Я вас и не заметила, — сказала Лизавета Николаевна, протянув мне руку. — Садитесь... или, может быть, и вы хотите туда, к мужу? — спросила она, стараясь не смотреть мне в лицо.

Я сказал, что останусь с ней, и сел возле перил. Сначала мы молчали, затем перекинулись несколькими пустыми фразами о погоде, о кое-каких общих знакомых — и снова замолчали. Лизавете Николаевне, казалось, чувствовалось несколько не по себе. Движения ее были нервны, порывисты. Наконец она крикнула девушку, заставила ее отбирать ягоды и спросила: «Барин у себя, в кабинете?» Белобрысая, лет двенадцати девушка, с растрепанной короткой косичкой на затылке, отвечала, что он в саду и что барышня прошла через другое крыльцо туда же.

— Пойдемте и мы в аллею, — пригласила меня Лизавета Николаевна: — здесь душно.

Мы тихо спустились с террасы и так же тихо пошли к аллее. Я заметил, чем ближе мы подходили к ней, тем медленнее ступала Лизавета Николаевна; казалось, она нарочно задерживала шаги.

— Не правда ли, как у нас хорошо здесь? — сказала она, когда мы вошли под густую сень древних лип, как будто дремавших в приятной истоме, опустив неподвижные ветви, на которых не шелохнулся ни один лист. Так неподвижно, пригретые солнцем, дремлют на завалинках дряхлые деревенские старцы, и в их жилах медленно движется спокойная, старческая кровь. — Если бы всем можно было жить так же, как мы! — продолжала она: — сколько свободы для любимых дум, для любимой работы, без мысли о давящей нужде, о куске насущного хлеба! Знаете что? Если еще теперь невозможно это дать всем, всем, то я, по крайней мере, эти мирные, заветные уголки предложила бы нашим работникам мысли, этим беднякам, изнывающим по душным меблированным комнатам столиц, по чердакам и подвалам... Как вы думаете, хорошо бы это было? Сколько сократилось бы тогда надорванных грудей, преждевременных смертей! Сколько сохранилось бы для родины драгоценных созданий мысли и фантазии!

Я смотрел на Лизавету Николаевну: она говорила совершенно серьезно; ее глаза смотрели вдаль и, казалось, ясно видели уже перед собой этот будущий приют работников мысли.

— Вот вам пример: Петя... Сколько даром потрачено было им сил на борьбу с нуждою! Он должен был разменять свой ум, свои знания на мелочь... А теперь...

Но она не договорила; из глубины аллеи донесся до нас громкий, резкий голос Кати, вероятно говорившей с Петром Петровичем. Лизавета Николаевна вздрогнула и замерла, невольно вслушиваясь в этот голос.

— Зачем вы меня обманули? вы меня обманывали? — спрашивала Катя, несколько понизив голос, — вы — мой учитель?

— Нет, я вас не обманывал, — глухо отвечал Петр Петрович.

— Что же вас держит здесь?.. Зачем вы живете в атмосфере этого расслабляющего общества? Вы полюбили эту жизнь, а сами... сами чему вы учили меня?..

— Нет, я не люблю этой жизни!

— Но что же вас держит здесь?

Лизавета Николавна медленно и как-то автоматично подвинулась вперед.

Я взглянул на нее; она была бледна, в лице ни кровинки, глаза лихорадочно заблистали.

— Что с вами? — спросил я, взяв ее за руку (руки были влажны и холодны).

— Ах, эта... ужасная девушка! Зачем она... зачем?— прошептала Лизавета Николаевна и, закрыв лицо руками, бросилась от меня, заглушив рыдание, обратно к террасе.

Я не хотел смущать ее своими услугами — и остался. Невдалеке от меня была старая, сгнившая скамейка. Я присел на нее.

Вдруг как-то стало совсем тихо; стрекотавшие в траве кузнечики замолкли все разом, словно по уговору; стая воробьев, щебетавшая на одной из соседних лип, мгновенно поднялась, прошумела крыльями и пропала куда-то. Из чащи не слышно было никакого звука. Вероятно, Катя и Морозов прошли по нерасчищенной дорожке, вившейся в чаще деревьев, дальше. Мне не хотелось уходить; почему-то думалось, что я еще услышу ответ Морозова. Скоро действительно до меня долетел невнятный говор; послышалось хрустенье валявшихся сухих веток, шуршанье платья о траву.

— И вы можете так жить? — донесся до меня голос Кати: — от скуки повторяя зады, которые давно потеряли смысл?

— Тяжело, но жить нужно, — отвечал Морозов.

— Нет, так нельзя!.. Это неправда! Вы только хотите прикрыться этим. Вы, не замечая, может быть, сами, с каждым днем все дальше уходите от тех, среди которых вы родились. В вас глохнет инстинкт правды; вы утеряли чуткость сердца. Да, вы меня обманывали!

— Вы слишком строги ко мне, — глухо проговорил Морозов. — Вы слишком строги, — повторил он после небольшого молчания. — Я не обманывал вас, покуда верил... Но теперь...

— Да? — переспросила Катя, не дав ему договорить. — Ну... так вы еще придете... если вы честны! Иначе — невозможно жить...

Из-за деревьев показалось платье Кати, но тотчас же опять пропало. Вероятно, она вернулась...

— Знаете ли, — заговорила она тихо, — вы... вы берете на себя большой грех!

— Я?

— Да, вы, своим малодушием, своим сомнением. Вы не можете не знать, что я привыкла верить в вас, итти с вами рука об руку. Я не могу оставить вас, — я нравственно связана с вами!.. Вы должны решить. До свидания!

Из чащи показалась Катя; ее щеки пылали; она шла торопливой, ровной походкой, приложив левую руку к разгоревшемуся лбу; глаза ее были опущены в землю. Подойдя к скамье, на которой я сидел, она безучастно и равнодушно взглянула на меня и, не останавливаясь, не сказав ни слова, прошла мимо.

Глава шестая

НЕЗАМУЖНИЦЫ

I

После первого знакомства я стал очень часто, не только что ежедневно, но раза по два в день, заходить в полубарский выселок. Старая Кузьминишна связывала меня с ним все сильнее, почти родственными узами, и меня что-то тянуло к майорской колонии, едва я успевал утром протереть глаза. Я перестал пить парное молоко у своей хозяйки и договорился насчет его с Кузьминишной; я стал даже очень редко навещать Морозовых. Я полюбил всей душой майорский садик с его древней, могучей, одинокой елью, величественно царившей над окрестною зеленью, с лавочками под ее густо и тяжело нависшими ветвями, от которых лился здоровый смолистый аромат. Я любил лежать на копне скошенной травы, у ее массивного ствола, смотреть сквозь ветви на голубое, чистое, как бирюза, небо, внимать мерному, добродушному ворчанью Кузьминишны, обыкновенно сидевшей рядом на лавочке, в своих оловянных очках, и слушать постукивание и потрескивание деревянных спиц, которыми она вязала какую-то

бесконечную штуку. Детством, самым ранним, самым зеленым, пахнуло на меня, и моя изболевшая грудь сладко отдыхала в этой мирной истоме. Ничто не нарушало этого покоя, ничто не тревожило моей груди. Напротив, мне чрезвычайно нравилось, когда кто-нибудь завертывал в этот уголок: то майор придет, весь в поту, в пыли, красный, но живой, деятельный; присядет на угол лавки, сострит что-нибудь на наш с Кузьминишной счет, набьет трубку и долго сопит ею; то Кузя забежит «на одну секунду», бросит мимоходом какой-нибудь афоризм собственной философии, вроде того, «что ежели, по настоящему времени судя, то самое лучшее — отрешиться, потому везде — единственно, как мамон, и более ничего!» Приходила к нам и Катя, улыбалась нашим «собеседованиям» и, полузадумчиво-рассеянно помахав зеленой веткой в лицо, порывисто опять уходила куда-то.

По уходе ее на меня почему-то постоянно наплывали целые вереницы мыслей, вопросов, недоумений и до того овладевали мною, что я часто ничего не слышал из болтовни Кузьминишны, даже не замечал, когда она уходила. Да, я стал замечать, что, помимо Кузьминишны, помимо той невыразимо умиряющей душу истомы, в которой отдыхал мой больной организм, меня влекло к майорской колонии что-то другое, еще более сильное: это был образ загадочной девушки с глубокими карими глазами, в которых светилась не понятая еще мною, не поддававшаяся точному анализу и определению «идея», одушевлявшая этот образ, придававшая ему особый, таинственный смысл. И вот, совершенно непреднамеренно, незаметно для самого себя, я стал старательно наблюдать за Катей. Разговаривая с Кузьминишной, я всегда как-то невольно сводил разговор на Катю. Кузьминишна, впрочем, этого не замечала, так как и сама имела слабость кстати и некстати болтать о своей питомице.

Помню, как-то раз зашла Катя в сад, улыбнулась нам, присела на скамью и стала играть с большим дымчатым котом, неизменным спутником и любимцем Кузьминишны, пригревшимся на солнечном пятне. Мы смотрели на нее.

— Что же вы замолчали? — спросила Катя, оставляя кота. — Разве я вам мешаю?

— Ну, матушка, уж ты-то не мешаешь! Бог знает, что с тобой поделалось. Нет, чтобы посидела с людьми да поговорила, а то сидит одна, али ходит бог знает где! — ворчала Кузьминишна.

— Да о чем говорить? Говорить-то не о чем. Обо всем уже давно переговорили.

Нужно заметить, что Катя не говорила со мною еще ни разу так, как в день первого знакомства: она действительно как будто считала, что уже тогда слишком многое сказала, так много, что больше говорить нечего и незачем. Это часто бывает с сосредоточенными и порывистыми натурами: то они неожиданно выложат пред вами всю душу, помимо вашего ожидания и часто помимо собственного желания, то вдруг сделаются к вам холодны, равнодушны, недоверчивы, — и тем холоднее, чем сильнее, чем жарче был первый сердечный порыв.

Кузьминишна совсем разворчалась, а Катя опять присела к коту и стала щекотать его веткой. Затем она с обычной своей порывистостью поднялась, сняла с шеи платок и накинула его на голову.

— Я ухожу, Кузьминишна. Приедет папа обедать — меня не ждите, — сказала она. Лицо ее сделалось опять так внушительно-серьезно, что, казалось, никакие возражения не могли иметь для нее значения.

— Ну, опять пошла егозить, — буркнула Кузьминишна. — Да ты скажи хоть, куда идешь-то? Чай, по избам бродить с этой... с Морозихой?

— Да, к ней... До свидания, — обратилась Катя ко мне. — Я вас, наверное, завтра опять увижу здесь... Вы позволите, мы будем уже по-родному: я не стану постоянно повторять вам «здравствуйте да прощайте!» Как-то смешно выходит.

— Нет, не могу согласиться, потому что тогда вы со мной совсем уже перестанете говорить.

— Когда будет о чем говорить, так наговоримся.

Она улыбнулась и скорою походкой пошла через огород в поле.

— Егоза, как есть настоящая егоза! — опять заговорила Кузьминишна. — Яблочко от яблони недалеко падает: вся в отца, вылитая! У того, даром что до седин дожил, а еще все зуда-то не прошла; и она по нем идет. Спокойна была, как приехала, год прожила:

сидит себе да книжки читает... Ан, хвать-похвать, и проговорилась: «Я, говорит, хочу в лекаря учиться, в бабки это мало...» И отцу так сказала: «Только, говорит, я уж теперь не одна поеду, а с тобой вместе там жить будем...» Ну, старый хрыч и рад!

— Так они скоро едут совсем отсюда?

— Чего тут — едут!.. И сама теперь не пойму... Старый и то все думал, что поедут... И не разберу уж!..

— А она раздумала?

— А уж и не знаю... Вот ведь она — какой крепыш, настоящий кремень! У нее тоже скоро-то ни до чего не достукаешься... Один раз только проговорилась; пришла этта такая задумчивая, весь день молчала, да уж ночью со мной и разговорилась... Проснулась я, дай-ка, думаю, посмотрю, откуда это так свежо дует, — а она сидит в одной юбке да в кофточке на окошке, растворила его... «Чего ты, говорю, не спишь?» — «Не спится, няня, бессонница...» Тут и разговорилась со мной... «Я, говорит, пока подожду ехать учиться...»

— А кто это Морозиха?.. Сестра Морозова?

— Она самая.

— Я, кажется, видел ее раза два у них.

— Она не живет с ними. Брат-то с женой сердятся на нее за это; уговаривают, чтобы с ними жила, а она не хочет. Знамо дело — мужичка она, так мужичка и есть. Ведь Морозов-то из мужиков, только теперь, как науки произошел, в баре попал...

— Что же она делает такого, что ты как будто недовольна знакомством с нею Кати?

— Ничего она дурного не делает... Незамужница она... «перехожая»...

— Какая это «перехожая»?

— А так... Есть у нас такие девки, ежели которые грамотны, что из семей уходят. Возьмет — уйдет, да и начнет ходить из деревни в деревню, из избы в избу ребят учат, по покойникам читают, а то заодно с девками в светелках работают, ткут. Есть из них всякие: одни для бога идут, а кто из паскудства. Ну, этих мужики к своим ребятам не допущают. Про Морозиху грех что-нибудь сказать, даром что девка — кровь еще с молоком... Всякий тоже видит, что от довольства ушла по своей воле, для бога. Ну, только все же — мужичка! Мало что нашей сестре хорошо!..

— По-моему, Кузьминишна, что вашей сестре хорошо, то и нашей — тоже...

— Бывает, бывает... Так уж тут и определи себя так: хочешь богу служить — и служи... Тут уж божье произволенье, значит; тут уж свыше дано.

Кузьминишна попала на свою любимую тему о «подвижниках». Она говорила долго; речь ее делалась то торжественной, то скорбящей, когда она приходила к заключению, что в наши времена все меньше и меньше становится подвижников и что им теперь «не надо проявляться».

— Ну, а если проявится? — спросил я.

— Дай господи! — торжественно произнесла Кузьминишна.

Я не смотрел на Кузьминишну; я только слушал, как лилась ее речь; а в это время пред моими умственными очами носился в каком-то полутаинственном, неопределенном очертании фантастический образ подвижника...

— А что, Кузьминишна, ты когда-нибудь говорила вот так... как теперь... с Катей?

— Много я ей, глупая, наговорила всякого... Да ведь и то сказать: кто знал, что она такая!..

— А что Башкиров? часто она у него бывает?

— К нему-то она не ходит, а к матери... ну, да это так только! Чего ей в нас, старых! У ней тут все свое на уме; со всеми перезнакомилась, кто к лекарю-то ходит. А недавно вот целых два дня пропадала; ждали-ждали, гадали-гадали, куда ушла, так мы со старым ни до чего и не додумались. А это она к мужичонке одному ходила: так мужичок, из самых-то что ни есть плохоньких, на десятой версте отсюда живет, в деревеньке... Тихий такой мужичок: от земли отбился, на охоту ходит да с лекарем приятельствует...

— А где теперь чаще можно застать Морозову?

— Ее-то? Верно, она теперь у келейниц живет... Чай, помнишь, в дом-то ваш муку возили две девки, деревенские девки... Одну-то Павла зовут, другую — Аксентья... Али забыл?

Я старался припомнить.

— Это суровецкие?

— Вот-вот, оне самые... Пять верст от нас Суровка-то всего...

— Так я побываю у. них...

— Побывай и то... Девки хорошие, старые уж теперь стали, а все еще куды бойки! По всем поселеньям у нас здесь гремят. Начальству всему известны, самой даже губернаторше их предоставляли: вот, дескать, какие у нас бабы проявляются по деревням! А народ мимо их не пройдет, не проедет, чтобы не завернуть: хорошее слово али совет услыхать. Сходи; от меня поклонись, — может вспомнят!

На другой день я шел по направлению к Суровке. Слова Кузьминишны вызвали в моей памяти ряд образов и картин, давно когда-то волновавших мою ребячью душу.

Припомнился мне наш маленький провинциальный домик, с засоренным и плохо прибранным садиком позади, с маленьким двором между домов и сараем. Я особенно любил и этот уютный двор, и этот садик ранним-ранним утром. Бывало, проснешься случайно раньше обыкновенного — и выйдешь: тишь кругом (в особенности меня очаровывала эта тишь); никто еще из людей не копошится, не кричит, не суетится; не слышно еще этой бестолковой провинциальной сутолоки жизни, которая так нарушает днем общую гармонию в природе. И вот среди этой тиши постепенно пробуждается жизнь: поперек двора лежит еще густая тень, и только противоположная стена вся уже залита утренним солнечным светом; я силюсь увидать солнце, поднимаюсь на цыпочки, но не могу, — оно еще скрывается от меня за крышей. Вот выпорхнул из слухового окна петух и, усевшись на конец крыши, захлопал крыльями и заорал на всю улицу; ему тотчас же ответили его единоплеменники, и несколько времени в разных концах слышалось их перекликанье. Мерной, неторопливой походкой, поклохтывая, вышли из курятника куры, сотни цыплят рассыпались по двору, расправляя маленькие пушистые крылья. Дворняжка Орелка почуяла меня и, выставив из окна конуры две передние лапы, прищуриваясь, понюхала воздух и, наконец, лениво потягиваясь, вылезла вся.

В хлеву промычал теленок, и его рыжая с белыми пятнами голова высунулась между перекладинами,

задвигавшими хлевное окно. Я, весь объятый какой-то особенно приятной дрожью, весь проникнутый невыразимо теплыми и нежными ощущениями, конечно, не забывал приласкать и Орелку, и теленка. А в саду было еще лучше. По мокрой траве лежали длинные тени от яблонь; через забор, сквозь густые вязы и липы, пробивались целые снопы лучей и, разбившись о густую листву, рассыпались золотом по траве и блестели изумрудами в каплях росы. Ни вороны, ни галки с их дисгармоническим карканьем не просыпались еще. Но зато утренние птицы уже давно приветствовали солнце.

Мне вспоминается воскресенье, и я уже слышу доносящиеся до меня откуда-то очень издалека особенные, присущие воскресному дню, звуки: мерное поскрипыванье лениво катящихся колес, иногда редкое фырканье лошади, изредка — тихий окрик возчика. Это — крестьяне, едущие в город на базар из дальних и ближайших деревень: это от их возов слышится скрип, а вот скоро потянуло и дегтем, который так резко поражает обоняние в утреннем воздухе. Я почему-то был всегда неравнодушен и к этому колесному скрипу, и к этому дегтярному аромату. Скрип и запах дегтя становятся все слышнее: возы уже проезжают мимо дома. Мы с Орелкой выбегаем на улицу. Мимо нас, слабо поднимая пыль, медленно тянутся телеги, летние роспуски, плетушки и одноколки, мерно покачиваясь на колесах и поталкивая дремавших, спустя ноги, мужиков и баб. Это, вероятно, крестьяне очень дальние, верст за пятьдесят, которые ехали, не спавши, целую ночь. Усталые лошади, понурив головы, ступают тоже медленно; за возами идут лениво привязанные к задам телеги коровы, изредка пытаясь натянуть бечевку и оторваться; с некоторых возов глядят добрыми большими глазами головы телят. Проснувшиеся бабы начинают креститься на виднеющиеся вдали колокольни, «прибираются», повязывая головы красными платками. Весь поезд, возов в пять-десять, тянется лениво, и только два жеребенка оживляют это путешествие, позвякивая весело бубенцами да перебегая с одной стороны улицы на другую. Не успел еще скрыться с глаз первый поезд, как уже издали снова слышится скрип и запах дегтя и свежего сена, — и новый ряд возов

тянется за первым. Но мы недаром стоим и ждем с Орелкой. Из-за поворота улицы появляется новый ряд возов, и вот, едва они успели поравняться с нами, как из средины их отделяется знакомая сивая старая кобылка с поблекшими серыми, добрыми и вечно унылыми глазами; грубо покрикивая на нее, две сидящие в телеге женщины приправляют к воротам нашего дома. Я и Орелка весело бросаемся к подъезжающим.

— Натка-сь, натка-сь, кто нас повстречал!.. Вот уж не ждали, не гадали! Да чего это ты, родной, встал так рано? — ласково приветствуют меня приезжие женщины, выскакивая неторопливо из телеги. — У нас ребятишки по деревням — и то еще спят об эту пору...

— Хорошо очень утром-то! — отвечал я, ликуя, что мне удалось перещеголять даже деревенских ребятишек.

— Хорошо, родной! Здорово эдак-то вставать. А папенька с маменькой здоровеньки ли?

— Здоровы, ничего; все здоровы.

— Ну и слава те господи! Мы вот вам мучки привезли, заказывал тогда папенька-то. Первая мучка, только что смолота. Вот на-ко тебе деревенского гостинчику, испробуй. Из этой самой мучки лепешку спекла, кушай во здравие.

И женщины тащили откуда-то из глубины телеги вываляннную в сене лепешку и совали ее мне, с прибавлением двух каленых яиц с полуоблупившеюся шелухой. Я не могу уже теперь передать ясно те ощущения «деревни», которые тогда охватывали меня всецело, но помню что-то невыразимо приятное и в поглаживании заскорузлых рук, которыми нежили меня крестьянки, и в прикосновении теплых побелевших старых губ сивки, которыми любезничала она со мной, когда я гладил ее голову. Что-то невыразимо вкусное было и в этом особенном запахе «деревни», который вдруг наполнил весь наш маленький дворик, когда телега была введена в ворота, и в этой серой, крутой, разрисованной крестиками и кружочками большой деревенской лепешке из «первой мучки». Но всего яснее, всего резче врезались в мою память образы этих двух женщин. Случалось, когда они были заняты чем-нибудь и не обращали на

меня внимания, я долго, молча, наблюдал над ними, всматриваясь в их грубые, загорелые лица, в их мерные, медленные движения, когда они таскали на спинах трех-четырехпудовые мешки. Я вслушивался в их тягучую, размеренную, вежливую, но неподобострастную речь, когда они говорили с моим отцом. Из своих наблюдений прежде всего я вывел одно: что эти женщины не были женщины, как я представлял их по окружавшим меня, что они если и женщины, то совершенно «особенные», как, например, совершенно особенными представлялись мне женщины Новой Гвинеи или Африки, которых я рассматривал в *Живописном обозрении*. И на такое представление я имел много данных. Так, например, я привык видеть наших городских женщин непременно в качестве подспорья: я не мог иначе представить их себе, как именно чьей-либо женой, сестрой, дочерью, матерью, непременно служащею, покоряющеюся, подчиняющеюся отцу, брату, мужу, чаще всего мужу. Если я встречал какую-нибудь женщину из городских, то в моем уме сейчас же, по ассоциации представлений, рисовался образ ее супруга, сообразно тому выражению, какое носило ее лицо. Здесь же не было ничего подобного. Чем больше я всматривался, чем ближе наблюдал этих женщин, тем окончательнее терялась для меня всякая возможность представить возле них мужика. Он при них совершенно делался ненужным. Кажется, не было для них такого положения, такого затруднения, с которым они не управились бы сами и при котором нужно было бы понуканье или помощь мужика. Вот эта-то именно черта и выделяла их в моем уме из всех прочих женщин, это-то соединение в одном лице того, что во всей окружающей меня обстановке было немыслимо, в особенности и поражало мое воображение, заставляло меня причислить их к какому-то особенному миру, жившему совершенно иной жизнью. Я приведу только один случай, который помню особенно хорошо и который еще более укрепил во мне такое представление. Нужно, впрочем, кстати заметить, что одну из них звали Павла (сама она звала себя «Павлия»), а другую — Аксентья (что это за имя и существует ли такое в календаре, я не знаю, но ее все так звали, хотя оказывалось, что она была крещена Секлетеей); обе они были девки, каждой лет около тридцати, почти одногодки. Вместе они были известны под названием «келейниц».

Однажды, когда они таким же образом заехали к нам в дом свалить пуда два муки, умыться, «прибраться» и затем поспешить на базар, я попросился ехать вместе с ними. Они согласились, посадили меня на передок телеги и, к моему величайшему удовольствию, дали в руки вожжи, которыми, впрочем, я ничего не мог поделать, так как сивка не выражала ни малейшего желания не только итти вскачь, как мне хотелось, но даже прибавить шагу. Впрочем, после нескольких напрасных попыток я стал очень нежно править, так как крестьянки постоянно мне замечали, что их «сивушку» забижать не следует, что она сорок верст без отдыху прошла и т. д.

Скоро добрались мы до базарной площади, где кипела уже жизнь, несмотря на раннюю пору. Приехавшие крестьяне выбирали места; заспанное начальство хрипло покрикивало на них, уставляя воза «по ранжиру»; поместились и мы около казенных весов. Павла и Секлетея сейчас же захлопотали: распустили у лошади хомут, бросили ей связку сена, затем вытащили три мешка с мукой и горохом и поставили у колеса телеги. Не прошло и полчаса, как базар загудел. Появились городские покупатели. Все шумело, кричало, волновалось. Кричали и шумели Павла и Секлетея с покупателями, но не теми пискливыми голосами, которыми пронзительно оглушают наши городские торговки, а грубыми, мужицкими, резонно-наставительными речами. Они бились из каждой лишней копейки на меру, из каждой полушки, которую приходилось сдавать покупателю; из-за этой полушки они бегали по соседним продавцам, по лавочкам, чтобы разменять деньги и не дать покупателю случай утянуть у них целую копейку, пользуясь неимением сдаточной полушки. Иногда, то Павла, то Секлетея уходили надолго и ворочались с какой-нибудь покупкой: лоханкой, оглоблей, связкой веревок. Так прошло часа два. Я уже сильно затомился и совсем было задремал под однообразный базарный гул, как вдруг позади меня раздался крик, шум, хохот. Я обернулся и увидел, что уже лошадь наша заложена, мешки и покупки сложены в телегу, а Павла и Секлетея, окруженные огромной толпой, бегут куда-то крича: «Держите, держите, православные!.. Куцавейку стащил проходимец-то!»

— Лови, лови его, бабы!.. ха-ха-ха! — покрикивал вслед им базар.

Скоро я увидел, как Павла и Секлетея нагнали какого-то пьяного, с глупым лицом, парня, тащившего подмышкой куцавейку. Они ухватили его за руки и повисли на них. Парень стал выбиваться, ругая и грозя, но куцавейки не отдавал. Вдруг, к моему изумлению и к удовольствию всего базара, на парня посыпались удары все чаще и чаще; наконец он был сшиблен с ног, Павла и Секлетея вцепились ему в волоса, сидели на нем верхом и кричали: «Отдай, оглашенный, честью! Отдай, говорят, не то, неровен час, тут и жизни твоей конец!»

— Ха-ха-ха!.. Важно! Ну, бабы... Лихо!.. Эдакой бабе попасться в лапы, что чорту!.. — поощрял базар.

У парня, наконец, была вырвана куцавейка, но он, вырываясь, изорвал на Павле и Секлетее сарафаны и рубахи.

— Нет, ты погоди, оглашенный! Ты не буйствуй! На твое буйство начальство есть! Ах, оголтелый!.. Благо силен — так думает на него и управы нет!.. Думает, что бабы, — так и обижать!.. Ах, обидчик! — покрывали базар голоса Павлы и Секлетеи, которые наскоро скрутили парню назад руки и, завязав их кушаком, потащили его к своему возу. Парень, красный от стыда, глупо глядел на толпу и, подталкиваемый сзади Секлетеей, шел за Павлой, которая вела его впереди за пояс, как барана.

— Ах, грех какой!.. Ах, грех какой! — повторяла запыхавшаяся Павла на ходу.

Когда они подошли к возу, парень опять было выразил намерение вырваться, но его опять удержали...

— Нет, нет, постой... Теперь нам по дороге... Нет, ты нам выплати, что требуется...

— Так, так, бабы! Веди до конца! Не отпущай! — опять поощрял базар.

И вот через несколько минут мы двинулись. Павла и Секлетея, стоя по бокам парня, крепко держали его за руки, а другой рукой Секлетея вела под уздцы сивку. Я восседал на телеге и торжественно ехал за ними, перебирая вожжами.

Базар проводил нас поощрительным гамом и смехом. Скоро мы подъехали к полицейскому управлению.

Я остался с лошадью, а Павла и Секлетея ввели парня в канцелярию. Немного спустя вышла Секлетея, и мы с нею вдвоем отправились домой, оставив Павлу вести «судное дело».

Был уже довольно поздний вечер, когда я подходил к Суровке. Я, впрочем, нарочно рассчитал притти к тому времени, когда мои «келейницы», управившись с дневной работой, должны были отдыхать дома. Суровка — большое некогда барское сельцо — растянулась на целую версту вдоль бойкой «столбовой» дороги, на берегу довольно большой реки, среди заливных лугов с одной стороны и большого леса — с другой. Несмотря, впрочем, на такое приволье, Суровка была замечательно бедна. Большинство изб в ней или окончательно развалились, или пустуют с провалившимися крышами, разбитыми окнами и голоторчащими вблизи столбами, остовами деревенских служб, или же так малы, дряхлы и неприглядны, что тяжело было смотреть на эту «голь вопиющую»; в особенности поразителен был контраст между ними и несколькими новыми деревянными и каменными домами, крытыми железом, с резьбой в русском стиле, с вычурными флюгерами на дымовых и водосточных трубах. А между тем и эти малые, хилые, неприглядные избы, крытые соломой, и эти, если не дубовые, то все же довольно плотные терема, как-то нахально мозолившие глаза своей узорчатой пестротой, охраняли под своим кровом ту же крестьянскую «душу», принадлежали тем же суровецким крестьянам, прадеды которых некогда «собща осели» на этом привольном месте, а дети их и сами они принадлежат одному «обчеству», хранят, по крайней мере формально, традиции пресловутой сельской общины, оставленные им теми же «собща осевшими» здесь прадедами-колонизаторами, расчищавшими первобытную почву и строившими одинаково однообразную избу «для всех вопче»...

Красный шар заходящего солнца, словно разрезанный на две половины узкой облачной полосой у горизонта, медленно катился к лесу. Деревенская улица была еще шумна. Кое-где запоздавшие бабы загоняли потерявшихся овец и коров. Больше всего были оживлены крестьянские ребятишки, рыскавшие по улице

верхами на лошадях, сбивая их в «ночное». Кучки малых девчат стояли на дороге и завистливо смотрели на гарцовавших братишек, в тайном томлении от ожидания, когда они отзовутся на их просьбы и, посадив впереди себя на шею смирного бурки, лихо прокатят их по улице. К первой попавшейся мне такой кучке обратился я с расспросами о «келейницах».

— А где бы мне у вас тут тетку Павлу да Секлетею найти?

— Это бабушки будут — Павла да Секлетея-то — вот кто!.. — поправили меня девчонки.

— Да, да, это верно, что теперь они — бабушки...— поправился я. — Так вот их-то мне и нужно...

— Коли тебе нужно, так мы тебя проводим. Они вон у нас там, на тыку, живут.

— Ну, проводите. Я вам за это целый пятак дам на пряники, — поощрил я.

— Подем, подем! Мы все тебя за пятак-то проводим! — зашумела куча и побежала, обступив меня со всех сторон. Некоторые даже пустились несколько вперед, вприпрыжку. Самая малая из них, с растрепанной головой и большим вздутым животом, с тонкими грязными ногами, старалась забежать вперед меня и посмотреть мне в лицо; ей, видимо, хотелось, что-то сообщить мне.

— А они от нас уйтить хочут, баушки-то! — наконец удалось ей выкрикнуть, рискуя попасть мне под ноги.

— Отчего так?

— Гонют их.

— Кто?

— На миру!.. Богатеи гонют.

— Пашка!.. Перестань!.. Замолчи!.. — закричали на малую солидные старшие. — Экая долгогривая!.. Космы-то долгие, а ума нет!

— За что же это? — спрашивал я.

— А они, богатеи-то, говорят: больно ишь старухи-то супротивны.

Но девчурке не дали продолжать, и одна, постарше всех, схватила ее из-за моей спины за рукав и оттащила назад...

— Поговори еще!.. не видишь рази — чужак он! Кто его знает! Может, подослан! Тятько-то вздерет тогда!.. — наставительно и строго шептали сзади меня.

Я обратился с расспросами к старшим, но они как-то испуганно все спрятались за меня. Вдруг разговаривавшая со мною малая девчурка вырвалась от сдерживавшей ее толпы сверстниц, отбежала на середину улицы и храбро прокричала оттуда мне: «Баушка-то Павла недавно в темной сидела! Она самому старшине...»

Но тут вся куча, шумевшая вокруг меня, как стая воробьев, бросилась за девчуркой. Девчурка, выпятив еще больше свой живот, со всех ног побежала от них, заливаясь на всю улицу пискливым смехом.

Посередине Суровка пересекалась широким переулком, делившим ее с давних времен на две значительно различные половины: на одной жили преимущественно бывшие помещичьи крестьяне, на другой — государственные, или, как говорят мужики, казенные. С одной стороны этого переулка находился небольшой, грязноватый и полузаросший прудок; около него лежала на козелках водопойная колода, а близ нее было брошено большое старое бревно. Это старое бревно, вероятно, искони было седалищем деревенских старцев, около которых собирался мир и часто толковал о своем житье-бытье. Около него и теперь собралась толпа. Проходя мимо, я рассмотрел человек пять стариков, сидевших на бревне; в кружок около разместились мужики помоложе: кто, сидя на корточках, ковырял задумчиво щепкой землю, кто просто сидел на траве, поджав ноги, кто стоял, переваливаясь с ноги на ногу или медленно переходя с одной стороны сборища на другую. Все они слушали кого-то, изредка вставляя односложные замечания.

— Вот она, баушка-то Павла, со стариками говорит! — показали мне девчонки на высокую, сгорбленную и сухую женщину, с черным платком на голове, в синем крашенинном сарафане и лаптях, стоявшую среди толпы пред стариками.

— А вона и келья ейная тут! Вона, на пригорке-то!.. Ступай, теперь сам найдешь!

Подойдя к угольной избе и никем не замеченный, я стал вслушиваться в мирской говор. Сначала я никак не мог понять, о чем шла речь, и только внимательно следил за Павлой, на которой было сосредоточено общее внимание.

Как изменилась она! Как тяжело осели на ней тридцать лет безустанной рабочей жизни! Я едва мог признать в ней ту высокую, здоровую, мускулистую девку, которую знал я в детстве. В ее наружности теперь было еще меньше женственности, чем прежде. Она, казалось, ничем не отличалась от стариков, сидевших на бревне, кроме костюма. Рубашка висела мешком на ее загорелой, сухой, впалой груди, из впадины которой резко виднелся большой осьмиконечный медный крест, висевший на суровом шнурке; сумрачно-сердитые глаза смотрели из-под седых бровей; сухой, длинный нос выдавался вперед между глубокими складками щек, а на костлявом подбородке выросло несколько седых волос. Несмотря на это, несмотря на ее согбенную горбом спину, несмотря на то, что в ее цепких, длинных руках был посох, в ней не чувствовалось ни упадка сил, ни старческой дряблости. Напротив, ее грубоватый, почти мужской голос раздавался замечательно резко и сильно. Я заметил даже, что теперь этот голос производил особенное впечатление на мирян: они все при словах Павлы чувствовали себя как-то не по себе, чем-то сильно смущались и старались не глядеть ей в глаза. Я, должно быть, пришел уже к концу мирской беседы, потому что скоро все замолчали, даже Павла, как замолкают люди, когда уже исчерпали весь материал по данному вопросу, но решение еще не успело сложиться, а каждый в уме подводил итоги.

— А засим честному миру кланяемся... От нас ему последнее слово сказано!.. Прощенья просим! — проговорила Павла и с суровым взглядом поклонилась в обе стороны в два приема.

Мужики смущенно молчали.

— А ты обожди, обожди малость! Ах, бабы! — прошамкал самый дряхлый из всех стариков, с огромною седою головой, сидевший на бревне в середине всех. — А ты не суровься... зачем суровиться?.. Мало что мы в Суровке родились!..

Павла остановилась, облокотившись на посох, и ждала. Старик крякнул.

— Так, значится, новых наложеньев вы с Аксентьей не примаете? — стал он допрашивать.

— Не примаем. Потому — это наложенье от богатеев, а не свыше... Пущай богатеи и платят...

— Ах, бабы! А-ах, бабы! — сокрушался старик. — Так, значится, старшинского приказу сполнять не хотите?

— Нету, не желаем... Хочет с нами честной мир жить, как исстари жили, и мы согласны...

— Ах, бабы!.. Да разве мы что сказали бы, кабы у нас земли было вдосталь... Ну-тка, сообрази!..

— Как земли нету? Есть земля, есть! У богатеев есть! Пущай богатеи за тую землю платят! А наша земля сиротская... А греха разве вы на себя не возьмете, коли с сиротской земли будете наложенья брать?

— Ты молчи, молчи об этом. Верно это, а-ах, верно! — заговорили разом старики. — Да не об этом речь, а об том, что вас велено на бабье положенье свести, а тую вашу землю плательщикам отдать.

— А мы на бабье положенье не желаем... И это наше вам слово сказано... Потому вам, честному миру, ведомо, что мы отродясь мужиками в миру изжили и вам честно служили...

— Молчи, молчи об этом! Ах, это мы все знаем!.. Да кабы у нас власть была на это самое дело!.. А вы смиритесь!

— Нету, мир честной, от нас умиренья не будет.

— Ах, бабы! Ах, бабы! — не переставал сокрушаться большеголовый старик, поглаживая бороду. — Так, значит, от вас умиренья не будет? — опять стал он допрашивать, как будто надеялся этим путем сбить настойчивую Павлу, выведя ее из терпения.

— Нету, не будет. Не слуги мы миру, коли он от своих устоев отрешается... Не слуги, коли мир стал сирот обирать...

— И новых наложеньев не примаете?

— Нету, не примаем...

— И на бабье положенье не желаете?

— Не желаем.

— Так, значит, порешить меж нами хотите?

— Ваша мирская воля! — поклонилась Павла, — а вконец себя покорять не желаем...

Павла поклонилась еще раз, мотнула подогом и торопливо пошла к своей келье.

— Ах, бабы!.. Да ты обожди! Постой, может сговоримся! — кричали ей вслед старики.

Но Павла, не оборачиваясь, махнула рукой и ушла.

— Что ты тут сделаешь? А? Ах, грех какой!.. Сколько годов прожили, а натко-сь, чем кончили! А? Каких баб от себя оттолкнули! — сокрушались мужики.

— Упрямства в них много. Ровно коровы, бодливы.

— Это так, так.

— А по нонешнему времени, смирись — то и жизнь. Смирненько бы, смирненько надоть — то и поживешь, — резонировал какой-то старичок. — Не прежняя ноне пора, ноне уж миру против богатея не выстоять... Нету! Ну, и умирись!

Я послушал сокрушения мужиков и направился к «келейницам». Келья их стояла несколько в стороне от прочих изб, вдаваясь в глубь гуменников. Это была небольшая, с одним окном на улицу, но длинная во двор, разделенная сенцами на две половины изба, построенная еще их отцом. Оставшись после него сиротами, они тридцать лет прожили в этой избе, так хорошо знакомой всему окружному крестьянскому миру. Так как вместе с ними остался после смерти отца молодой брат, отданный в ученье на завод, то за ними был оставлен надел, и этот надел обрабатывали Павла и Секлетея, как они выражались, «на всем мужицком положении». Они так свыклись с этим положением, что и не замечали, что оно было совершенно особенное и исключительное; привыкли к этому и мужики-миряне, и само начальство, так как Павла и Секлетея заодно с прочими мирянами отбывали все натуральные повинности, участвовали на сходах, даже бывали сотскими. Это «положение» так, наконец, укрепилось за ними, что по смерти брата-фабричного, умершего в молодых годах на заводе, никому и на мысль не пришло отобрать у «келейниц» землю и «ссадить их на бабье положенье», тем более что с годами Павла и Секлетея, грамотные начетчицы, стали пользоваться все большим и большим уважением. Их сила, терпение, уменье вести хозяйство, а больше всего то, что они, ведя почти аскетическую жизнь, привечали у себя много деревенских сирот, давало им большой вес среди прочих крестьян, а сами они вследствие своего особенного положения были храбры со всяким начальством, и их иногда трусили не на шутку сами старшины. В особенности умели они всегда выхлопатывать разные льготы для сирот у мира. У них же самих с мирским начальством происходили частые

стычки из-за разных «новых наложений», которых по каким-то причинам никак не хотели признавать Павла и Секлетея. Разбор этих столкновений старшины всегда передавали на мирское обсуждение, и мир обыкновенно освобождал их от этих «наложений», принимая уплату их на себя. Но в последнее время, когда этих «наложений» стало все больше, а население росло, земли же недоставало, и, кроме того, среди суровецкого общества появились богатеи, разжившиеся кулачеством, собственники, скупившие у помещиков окрестные земли и обрабатывавшие их батраками из своих же сообщинников, между миром и «келейницами» эти столкновения сделались чаще. Богатеи не хотели брать на себя круговую поруку уплаты за них «новых наложений»; кроме того, они жаловались, что за «келейницами» земля даром пропадает, а на миру недоимки растут. Между «келейницами» и богатеями началась борьба. Начальство стояло за богатеев, а мир малодушествовал...

Мы уже видели, к чему пришло дело. В Павле и Секлетее, кажется, уже созрело окончательное решение, и они не желали поступаться чем-либо и не шли «на умиренья».

Я вошел в темные сенцы и отворил дверь налево. Войдя в эту древнюю, с почерневшими стенами комнату, с русской печкой, по обыкновению, в левом углу, но довольно просторную, я тотчас почувствовал ту особенную приятность, которая возбуждает в нас домовитость. Всюду виделась замечательная чистота, выскобленные и вымытые мылом лавки и столы; в переднем углу была большая божница с деревянным голубем, висевшим с потолка, с толстыми, в кожаных переплетах книгами, с черными иконами, на которых чуть видно светились лики святых от лившегося на них слабого сияния зажженной восковой свечи, которую держала в руках Секлетея, стоя пред божницей «на поклонах». Павла, что-то тихо бормоча, копалась за печкой.

Старухи встретили меня ласково, даже у Павлы голос стал чуть-чуть нежнее. Секлетея была много женственнее Павлы: она и ростом была ниже, и черты лица у нее мягче, и голос певучее, хотя спина у нее так же была сгорблена, как и у Павлы. Начались, конечно, расспросы. Расспрашивала меня больше Секлетея, усевшись передо мной со свечкой в руках и смотря мне в

лицо своими несколько ослепшими, мутными глазами. Павла собиралась меня угощать.

— Ну, ну, — приговаривала Секлетея к каждому моему рассказу о моем житье, о судьбе моих родных и часто крестилась.

Скоро Павла поставила на стол ватрушку и стакан молока.

— Покушай-ка, Миколаич, покушай нашего угощеньица, не побрезгуй, — пригласила она и села по другую сторону стола.

Я стал в свою очередь расспрашивать их, и они передали мне все, что рассказал я раньше. Говорила больше Павла, как-то тягуче и нараспев, перемешивая свою речь церковно-славянскими оборотами. Рассказывала она долго. Секлетея только изредка вставляла слово, а больше вздыхала и не переставала смотреть на меня.

— Как же вы решили? — спросил я.

— А такое наше решенье; все сдать на мир и отрешиться... Будет уж, Миколаич, пожили для миру...

— И уйти?

— И уйти.

— Куда же?

— Нигде путь не заказан тому, кто отрешился, — сказала Павла.

— И это не тяжело вам, тридцать лет проживши здесь?

— Возьми крест свой, сказано... Чем тяжелее, тем и богоугоднее. В том-то, милушка, и сила, что умей от куска, от жилища, от живота отрешиться, и будет вера твоя велика. А без этого — все тлен и слабость... Посмотри теперь на наш мир: где в нем сила, где крепость? Нету той силы... А отчего? Оттого, что разучился человек отрешаться. Умирать человек не умеет. А ежели я умереть умею, ежели отрешиться осилю себя, то кого убоюся? Кто против сердца заставит меня что сотворить? Нету той силы, вот что я тебе скажу... Так-то! А в ком теперь это есть? Ни в ком нету: все ради грешные и слабые плоти живет...

Долго говорила на эту тему Павла, говорила глубоко убежденным словом. Секлетея крестилась при всяком тексте, который Павла вставляла в свою речь. Вдруг в середине ее речи раздался сзади меня вздох и

чей-то шопот. У дверей на скамье сидели старик и старуха и еще две какие-то бабы и благочестиво слушали проповедь Павлы. В таком же роде, вероятно, шли беседы между Павлой и расколоучителями, которые, как мне сказывали, нередко заходили к «келейницам», хотя Павла и Секлетея держались только старообрядчества и ни к какой секте не принадлежали. Среди этих слушателей, в полутьме, я заметил еще женскую фигуру, сидевшую в углу с скрещенными на груди руками. При слабом свете восковой свечи я не мог рассмотреть издали ее лица и полагал, что это Морозиха.

— Ну, что, любушка, как она там? — спросила Павла, обращаясь к этой женщине.

Та поднялась.

— Теперь ничего... Нужно будет зайти завтра к Ивану Терентьичу, к лекарю... Здравствуйте! — протянула мне руку Катя и прибавила, понизив голос: — Если бы я не слыхала вашего разговора здесь, я бы подумала, что вы за мной следите.

— Али знакомы? — спросила Павла. — Ну, вот и дело... Так зайди, любушка, к нему... Пущай завернет. Он — человек душевный, Иван-то Терентьич! Она ведь тоже мать; ребятишки... Нельзя не помочь! А об нашем деле скажи ему, касатка, чтобы оставил хлопотать... Мы уж решенье уставили...

— Хорошо! Прощайте пока, — сказала Катя, повязываясь платком.

— Не по дороге ли мне с вами?.. — спросил я ее.

— Пожалуй, проводите...

— Ну, до свидания, бабушки! Еще увидимся?

— Увидимся еще, касатик! Еще ведь не скоро уйдем. Желание будет со старухами поговорить, приходи. Теперь мы у безделья, потому как с землей уж все покончили. Сдали уж ее...

— Что же еще осталось вам?

— Мало ли делов! Вот тоже сиротки у нас есть Мать-то у них заболела, пристроить нужно... Вот старичка слепенького тоже не бросишь середь улицы, давно уж он у нас, годов, поди, пять живет, да вот еще девушки, тоже сироты, есть. Много дела, много горя... Немалый тоже муравейник потревожился! Ох, немалый! Все же нужно к месту прибрать... Матрена-то Петровна

обещалась, слышь ты, в Семенки сходить посправиться? — обратилась она к Кате.

— Да.

— Так ты уж, касатка, завтра пришли ее сюда.

Старушки с поклонами проводили нас до ворот.

Наступила уже ночь. На небе загорелись звезды. Воздух становился влажен. С реки подымался холодный пар. На лугу за деревней было тихо, и только слышались изредка те особенные звуки, которые присущи русской ночи: кое-где крякает утка, полуночник прошумит крыльями; откуда-то доносится мерный шум падающей воды; слышится тяжелое отфыркивание и звон цепей стреноженной лошади. Вдали, по дороге, скрипит обоз. Где-то скрипнула запоздалая калитка. Мы шли скоро, перебрасываясь незначительными фразами. Не доходя до перекрестка, от которого шла влево дорога к полубарскому выселку, а вправо — в деревню, где жил я, Катя неожиданно спросила меня:

— А что вы думаете относительно философии этих простых русских баб?

— Это о том, что нужно уметь умирать и отрешаться?

— Да.

— Я думаю, что эта философия специально выработана ими для себя, так как носителями ее бывают только они.

— Вы думаете?

Я не отвечал. Мы подошли к перекрестку; Катя пожала мне, молча, руку, и мы расстались.

Вскоре после этого, как-то ранним утром, я направился из своей деревни к полубарскому выселку, спеша застать у Кузьминишны парное молоко. Я обыкновенно входил не с улицы выселка и не через переднюю калитку, чтобы никого не тревожить, но прямо пробирался задами, через огород и сад, к заветной ели и здесь ожидал в прохладной утренней тени Кузьминишну.

Я шел не спеша. Утро было особенно хорошо. Солнце еще стояло низко, и его косые лучи, казалось, скользили по верхушкам деревьев и кустов. Воздух был свеж и редок; едва ощутительное дуновение ветра приносило откуда-то запах липового цвета. Вблизи чирикали малиновки, перелетая по кустам впереди меня.

На зелени лежала сильная роса. Стаи воробьев выпархивали внезапно из густой зелени овощей и, усевшись на дереве, начинали отряхать смоченные росою крылья. Было очень тихо. Я скрылся в кусты малины, соблазненный сочными ягодами. Несколько минут спустя, из-за ветвей малинника я приметил женскую фигуру, спустившуюся с крыльца и легкой торопливою походкой направившуюся под ель. На ней было легкое кисейное платье и маленькая соломенная шляпка с опущенною вуалью; на плечи накинут был пестрый платок, в который маленькая фигурка лихорадочно старалась закутать плечи и руки; видимо, ее тревожила утренняя сырость. Я в недоумении следил за нею. Она повернула в беседку под елью и вдруг заговорила с кем-то Я тихо обошел кусты и, дойдя до плетня, где валялся обрубок дерева, присел на него. Здесь не было такой гущины, и сквозь редкие ветви я мог рассмотреть собеседников.

В пришедшей фигуре я узнал Лизавету Николаевну; она села на край скамейки и старалась закинуть за голову спутавшийся вуаль. Пред нею сидела Катя, широко открыв глаза, в боязливо-вопросительном недоумении.

— Я к вам, — заговорила порывисто Лизавета Николаевна, задыхаясь от нервной одышки, — извините, что рано... Но так лучше: теперь никого нет.

Она оглянулась кругом.

— Я давно собиралась к вам, но мне хотелось раньше все, все обдумать, приготовить. Я хочу вам сказать: если вы, Катерина Егоровна... если я вам мешаю... если, может быть, совершенно невинно стою на пути к тому...

— Вы... мне? — еще более недоумевая, спрашивала Катя.

Но Лизавета Николаевна, кажется, не слыхала этих слов: она низко опустила глаза и, взяв руку Кати, проговорила торопливо:

— Я все обдумала, все решила. Да, я была виновата... Но вы поймете... вы простите мне: я была молода, я верила... Теперь я вижу... нет, не теперь, я давно уже должна была знать... Господи! знала это, и у меня не было сил!.. Я так любила его, я так была молода... А теперь я все решила: довольно! Не я нужна была ему в спутницы... Сколько лет он потерял со мной! Катерина Егоровна, скажите мне только одно слово, только

одно—и я уйду! Я уже все решила: имение отдам крестному отцу в заведывание. А сама... сама... уеду опять в Питер, куда-нибудь там... Там стану сиделкой, мамкой, воспитательницей... Это по мне, это мне по силам... Вы видите, мне не будет тяжело: я выбираю себе дело по любви... А вы, вы и Петя, будете свободны... Вы займете при нем место друга, которое не по праву заняла я... Вы рука об руку с ним пойдете, не стесняя и не обременяя один другого.

Пока говорила Лизавета Николаевна, Катя напряженно смотрела ей в лицо, и ее щеки постепенно покрывались краской, пока не зарделись сплошь.

— Я вас, право, очень плохо понимаю, — почти прошептала она, боязливо смотря в лицо Морозовой (и действительно все лицо ее выражало какой-то испуг).

Лизавета Николаевна при этих словах с горькой улыбкой подняла на нее глаза.

— Катерина Егоровна! Я думала поговорить с вами ка́к с другом, — сказала она. — Я думала, что между нами не нужно никаких официальных объяснений. Я надеялась, что вы чистосердечно откликнетесь на мой порыв. Мы знаем друг друга давно... я вас всегда считала искренней, честной!

— Я и теперь та же, — сказала Катя, — но я только не понимаю, зачем вы принимаете *такое именно* решение, когда можно бы все проще и лучше... Зачем уезжать и расходиться... когда могло бы быть общее дело.

— Да? Так вы... — хотела что-то сказать Лизавета Николаевна и не договорила, смотря все еще в лицо Кати, на котором светилась такая ясная искренность, что глаза Лизаветы Николаевны заискрились надеждой.

— О, если б это было так, — прибавила она, крепко сжимая руку Кати, — тогда... тогда я опять надеюсь, что еще сумею сделать все для него. Пока до свидания! — поднялась Лизавета Николаевна, быстро спуская на лицо вуаль. — Я не хочу, чтоб меня видел кто-нибудь! Лучше, если не будут знать.

Она пожала Кате руку и пытливо еще раз взглянула в ее смущенное лицо. Секунду обе женщины стояли молча одна пред другой.

— Если же... если вы еще сами не знаете, — заго-

ворила едва слышно Лизавета Николаевна, — если вы сами ошибаетесь... если, может быть, вы сами убедитесь, что любите его, что он вас любит (*он* мне ничего, ничего не говорил, — торопливо вставила она, — это я сама)... если так, то вспомните, что я вам говорила сегодня, что я все решила... Не могу ли я пройти здесь через сад? — спросила Лизавета Николаевна, заметив дорогу прямо в поле. — Вы, кажется, ходили к нам здесь где-то... ближе?

— Да, можно... Вот прямо, — указала Катя, проходя с нею несколько шагов по дороге между грядами.

Лизавета Николаевна ушла; Катя медленно вернулась. Необычайное смущение лежало на ее лице: она шла тихо, наклонив голову, с пылающими щеками, приложив одну руку к груди.

О чем она думала? Чем больше я всматривался в выражение ее лица, тем для меня становился определеннее ответ. Выражение это было именно то, когда в душу человека вдруг забрасывают мысль, которая никогда ясно не сознавалась им прежде, никогда не стояла на первом плане... «Неужели это так?.. Неужели я в самом деле влюблена в него?» — казалось, говорили ее задумчивые глаза. Она чуть-чуть приостановилась, и затем, вдруг покачав отрицательно головой, быстро пошла к дому, как будто решившись что-то скорее, скорее кончить... По дороге она сломила ветку сирени, махнула ею несколько раз себе в лицо и вошла на крылечко. Здесь она быстро обернулась, как будто ей почуялось, что кто-то шел за нею, посмотрела по направлению дороги, по которой ушла Лизавета Николаевна, и скрылась.

На третий день после этой сцены, в то время как я только что подходил сзади к полубарскому выселку, мне навстречу подвигались две женские фигуры, шедшие той мелкой, семенящей походкой, которой обыкновенно ходят богомолки; у обеих были в руках кривые палки, за плечами по небольшому узлу, в который были связаны пальто на случай непогоды. Обе были одеты почти одинаково: в простые ситцевые платья, с такими же платками на голове, низкой крышей спущенными над лицами от солнечных лучей; обе о чем-то весело

говорили. Они шли по межпольной дороге, по одной стороне которой лежала свежеподнятая пашня, а по другой — овраг. Из оврага прямо им навстречу подымался мужик, с косой на плече и точилом за поясом; голова у него была повязана красным платком вместо шапки; за ним шли, с граблями на плечах, две девки, в реденьких, полинялых ситцевых сарафанах, висевших на них, как тряпки.

— Матрене Петровне!.. — откланялся мужик, снимая с головы шлык и развязывая его. — Как здоровеньки?..

— Ничего!.. Что нам делается? — отвечала одна из женщин. Я узнал в ней сестру Морозова.

— Куда?

— В Семенки правим.

— Ну, ну! По болестям?

— Да.

— Так, так... Жарко будет итти-то! Да чего вы пешие?

— А что ж нам? Мы здоровые. А лошади теперь в деле.

— Верно. Ну, дай бог счастливо! Скоро ли вернетесь?

— Скоро.

— Ну, то-то! Ты от нас, смотри, совсем не уйди! В Семенках-то ведь хорошо жить, не то, что у нас... Мотри, как раз соблазнишься. Мою бабу с ребятишками не забудь. Плохо они поправляются, а мне неколи теперь присмотреть. Вот и девочкам тоже не впору.

— Нет, не забуду, — весело ответила Морозиха.

— Ну, так счастливо! Дай бог путь! — сказал мужик и протянул ей свою руку.

— Вы вот здесь идите, — посоветовали им вслед девки, показывая в овраг: — здесь прохладнее... А то изморитесь.

— Мы и то хотели...

Мужик и девки зашагали дальше. Спутницы хотели было спуститься в овраг.

— Катерина Егоровна! — окликнул я.

— Ах, это вы! — сказала Катя приостанавливаясь.— До свидания.

— Вы куда это? Далеко?

— Да. Верст за пятьдесят.

— За пятьдесят верст? — переспросил я.

— Да. Что вы так смотрите?
— Пешком?
— Как видите.
— И надолго?
— Да... Вероятно... На неделю, на полторы...
— Что же это вас побудило?
— Да я вот с нею...
— С Матреной Петровной? — сказал я, улыбаясь Морозовой. Матрена Петровна Морозова, или, по-народному, Морозиха — маленькая, но здоровая, хотя и с несколько бледным лицом, девушка, уже в летах, как говорят, — то есть ей лет под тридцать, с чрезвычайно добрым лицом, по которому постоянно бегала чуть заметная, добродушная улыбка, с большими, черными, умными глазами, смотревшими замечательно смирно и кротко, — стыдливо опустила широкие ресницы и зарделась.
— Так это вы вместе?
— Да, — коротко отвечала Катя. — Прощайте!

Катя подала мне руку серьезно, порывисто, почти с сердцем, а Морозова протянула несмело и все с тою же чуть заметною улыбкой на лице. Рука Кати была слегка влажна и горяча, но нежна; напротив, рука Морозовой была совсем потная, кожа на ней рябая, складками.

Обе женщины спустились в овраг и прежней мелкой походкой пошли вдоль его.

Матрена Петровна Морозова была сестра Петра Петровича, годами пятью моложе него. Пока он скитался по научным капищам, Матрена Петровна жила вместе с отцом и матерью на фабрике, где отец ее был самым мелким конторщиком. Жили они несколько лучше на вид, чем обыкновенные рабочие: так, у них была квартирка в четыре комнатки, обитая обоями, с цветами в окнах, а отец ходил в сюртуке вместо поддевки; но он получал так мало жалованья и, кроме того, любил так часто выпивать, что они вечно сидели без денег, и Матрена Петровна должна была работать. Когда помер отец, жить стали еще хуже; мать была стара и работать на фабрике не могла. Матрена Петровна должна была сделаться простой работницей. Впрочем, это продолжалось не более года. Мать тоже умерла, а к этому времени кончил курс в университете и Морозов. Он, задумавши тогда заняться адвокатурой, сейчас же

взял было сестру к себе, но она пробыла у него недолго, так как он сам подумывал уже через полгода бросить адвокатуру и уйти опять учиться. Матрене Петровне снова пришлось итти в работницы. Да ей и не казалось это особенно тяжелым, а с братом ей было скучно. Он обещался ей высылать понемногу, хотя и у самого ничего не было. Так отрывал он ее несколько раз от рабочей жизни, но всякий раз она опять уходила на родину, так как Морозов очень часто менял место и профессию и сам сидел без денег. Это раздражало несколько Морозова: он хотел всячески вытащить сестру из условий невежественной среды и тяжелой работы, но не было средств, а без средств, он видел, что ничего ей лучшего доставить не мог, как опять сделать какой-нибудь швеей и заставить корпеть вместе с ним на студенческих квартирах. Между тем у Матрены Петровны была уже крепкая связь с фабрикой: здесь были у нее подруги, знакомые, — и она не тосковала.

Но вот, наконец, Петр Петрович, уже женатый, поселился в имении жены (посад с фабрикой, где он родился, был верстах в тридцати от имения; так как много народа из окрестных деревень и даже из имения его жены ходило на заработки на эту фабрику, то почти все крестьяне знали Петра Петровича и Матрену Петровну); он взял к себе тогда и сестру. Однако она опять прожила у них недолго. Ее слишком тяготила барская обстановка; притом же она никак не могла сойтись с нервной Лизаветой Николаевной, никак не могла помириться с тем бездельем и досугом, какой представился ей теперь. Она было просила «братца крестного», как звала она Петра Петровича, пустить ее опять на фабрику, но он и слышать не хотел. Он мечтал сам у себя открыть такое же заведение, думал приискать «хорошего, здорового, честного и развитого работника», который бы руководил им, вместе с Матреной Петровной, сделавшись ее мужем. Но не так вышло дело. Матрена Петровна сначала поскучала, а затем скоро стала уходить к крестьянам, где она чувствовала себя как дома; ее деятельная натура тотчас же нашла себе приложение: она то помогала бабам и девкам ткать, то оставалась в рабочую пору с ребятишками и учила их по букварю, то ходила за больными крестьянками, а иногда напрашивалась на исполнение разных крестьянских поруче-

ний. Так вдруг она выдумала, что ей есть случай в город ехать, и собирала от баб разные поручения, пятаки на покупку платков, восковых свеч, вообще всего, чего нельзя было приобрести в деревне. Крестьянки были рады, и ей нравилось, когда, вернувшись из уездного городка (верст сорок до него было), она отдавала отчет в данных ей поручениях, и вся деревня встречала ее с вестями и обновами.

Морозову не особенно нравилось, что сестра его обращается в «христову невесту»; он боялся, что под давлением невежества она легко ударится в религиозный пиетизм, в ханжество. Несколько раз он ей, хотя и добродушно, выговаривал это, а она стала бояться его, чтоб он не сделал ее барыней, не заставил сидеть и зевать в барском доме вместе с «барыней-сестрицей», как прозвала она свою невестку; она стала избегать встречи с ними и на несколько времени уходила в дальние деревни, где скоро опять все крестьяне делались ее хорошими знакомыми. Ходила она и в раскольничьи скиты, и на богомолье — с поручением помолиться за «грешных рабов». Ее кроткий нрав и привычка к работе, ее «золотые руки», как говорили крестьянские бабы, ее, наконец, заведомое целомудрие доставили ей общую любовь и уважение. Относительно ее целомудрия, впрочем, многие были в недоразумении, так как она не прикрывалась никаким лицемерным ригоризмом, гуляла с девками и вела себя весело и свободно. Только иногда влюбленные подруги ее замечали некоторую грусть в ней, когда приходилось им вести с нею интимные разговоры про своих возлюбленных. Очевидно, для нее уже был пройден период страсти, был пережит ею, и она свято хранила память о нем. Теперь, чем старше делалась она, тем становилась религиознее.

Глава VII

СРЕДИ ДОБРЫХ ЗНАКОМЫХ

Однажды, подходя к крыльцу морозовского дома, я заметил в глубине двора два экипажа: один — легкий тарантас, запыленный, старомодный; другой, напротив, представлял собою нечто «новое», не похожее ни на

один русский экипаж; это был тот легкий, но прочный и удобный фаэтончик, заложенный в шоры, на котором так и виднеется «вся английская складка». У Морозовых, значит, были гости. В передней я увидел двух мужичков с медалями на шеях, дремавших, сидя на рундуке, и вздрагивавших при малейшем шорохе в соседних комнатах. По этим неизбежным спутникам всякого начальства, налетающего на деревню, можно было с уверенностью предположить, что бросившаяся мне на глаза в соседней комнате фуражка, в виде ковша, украшенная золотым позументом по околышку, принадлежит начальству. У Морозовых гостил исправник, дальний родственник Лизаветы Николаевны, всегда останавливавшийся у нее во время своих поездок в нашу палестину.

Войдя в гостиную, я, однако, застал только Лизавету Николаевну. Она сидела около стола и что-то писала с напряженно-наморщенным лбом, как это делают те, которым приходится писать не особенно часто; пальцы у нее были испачканы в чернилах, несколько листов почтовой бумаги валялось на столе с начатыми строками и затем оставленными. Вообще было заметно, что писание для Лизаветы Николаевны составляло в некотором роде дело не совсем заурядное: все у нее не удавалось, все раздражало ее нервы — и перья оказывались плохи, и бумага рвалась, и чернила густы... В этот неудачный момент вошел и я. Она, кажется, обрадовалась случаю отказаться от писем, сейчас же отодвинула от себя бумаги и пошла мне навстречу...

— Наконец-то, наконец-то! — заговорила она. — И вам не совестно? Вместе, рядом живут люди одних симпатий и не хотят знать один другого! Непостижимо, что такое делается с нашим поколением! Вот мы обвиняем других в розни, в недоверии, а между тем не можем сойтись между собой. Посмотрите, я принуждена писать письма к друзьям и знакомым, чтобы они хоть откликнулись на мой призыв и приехали к нам.

— Вам скучно?

— Нет, это не скука, — сказала, вздохнув, Лизавета Николаевна, причем лицо ее сделалось грустным: — тут не скука, тут поважнее. Я, право, не могу объяснить вам, что с нами делается. Я знаю только одно, что вы грешите против других.

— Я?

— Да, все вы, которые считаетесь друзьями Петра Петровича. Неужели вы не замечаете, что делается с ним? С каждым днем он становится меланхоличнее, в нем падает энергия, вера... А вы! вы оставляете нас одних... совершенно одних... все!

Лизавета Николаевна чуть не плакала, говоря это; голос ее дрожал, и на глазах блестели слезы.

Мне было ее искренно жаль.

— Лизавета Николаевна, мы не столько виноваты, как вы думаете. Здесь, мне кажется, причина лежит глубже; здесь имеют влияние какие-нибудь общие законы...

— Может быть. Но что из этого! Не должны ли мы бороться с ними, не должны ли мы принимать против этих нравственных поветрий такие же меры, как принимаем против других эпидемий? Да нет, это неверно! Ведь есть же люди, которые делают дело, которые нашли его и полюбили, отдали ему всю душу и энергию! Если б все эти люди имели общение между собою, они, конечно, поддерживали бы энергию и веру друг в друга. Впрочем, я не обвиняю Петю. Постоянные мелкие неудачи, постоянная борьба с невежеством, с непониманием, с подозрением... да, я понимаю, что это может на некоторое время лишить энергии... Но при содействии друзей, при нравственной поддержке это как рукой сняло бы!.. Я теперь очень рада, что у нас, кажется, соберется кружок друзей Петра Петровича (некоторых я пригласила тихонько от него; пожалуйста, не говорите ему об этом). Вот теперь приехал к нам кузен — исправник (я этого не считаю, конечно!) Приехал еще друг Пети, Колосьин. Вы знаете?

— Слыхал. («Так вот чья англизированная-то тележка?» — подумал я.)

— Я рада за Петю, — продолжала Лизавета Николаевна, откидываясь к спинке дивана, — в этом Колосьине есть какая-то оживляющая сила. Я не знаю, как это вам хорошенько выразить, но в присутствии его всегда как-то становишься бодрее, не чувствуешь апатии, приниженности. Все мелочные неудачи делаются как-то совсем ничтожными, когда видишь перед собой этот ровный, спокойный характер... Так и чувствуется, что для него никаких мелочей не существует... Вы ведь знаете: он — техник? Был пять лет в Англии, вернулся, открыл

собственную фабрику (небольшую), женился (жена его вылитая он: какая-то обруселая англичанка, тоже ровная, спокойная). Рабочие не нахвалятся им, да и он весел, доволен, так весь и светится. Если бы я могла хотя на минуту увидеть у Пети такое лицо!

— Он теперь где же?

— Кажется, смотрит ферму. Они сейчас придут... Где вы пропадали все это время?

— Признаться вам, я полюбил здесь одно местечко, по воспоминаниям детства, и хожу туда каждый день...

— Куда же это?

— В полубарский выселок...

— Уж не влюблены ли вы в Катерину Егоровну?

Лизавета Николаевна хотя и улыбнулась, но при этом, как будто неожиданном для нее самой, вопросе вдруг чуть заметно вздрогнула, и все черты ее лица мимолетно передернулись. Она, конечно, не могла и подозревать, чтобы я знал причину игры ее лица.

— Нет, не влюблен... Да и она ушла теперь надолго...

— Уехала? Куда?

Лизавета Николаевна силилась скрыть свое любопытство и сдерживала голос.

— Ушла верст за пятьдесят отсюда... Пешком...

— Пешком?.. Может быть...

Лизавета Николаевна не договорила, опустила ресницы и задумалась.

— Я с некоторого времени начинаю чувствовать, что была несправедлива к этой девушке. В ней есть что-то святое. Я прежде сердилась на ее угловатые выходки, на ее нежелание сходиться с нами, а теперь вижу, что мы для нее как будто и в самом деле малы. Она «не от мира сего», как говорят. Так, вы говорите, она ушла... пешком? — не поднимая головы, спросила опять Лизавета Николаевна.

— И знаете, с кем? С Матреной Петровной.

Лизавета Николаевна вздохнула и поднялась с дивана; лицо ее было серьезно и грустно. Я не хотел нарушать это настроение и, взяв лежавший на диване роман Элиота, стал перелистывать. Лизавета Николаевна вышла на террасу, постояла на ней, помахала платком в лицо и снова вернулась.

— А слышали ли вы еще новость? — спросил я,

— Какую?

— Ваш опекун навестил Башкирова...

— Папа крестный?

Лизавета Николаевна выпрямилась и полуудивленно, полувопросительно смотрела на меня.

— Да.

— И он был в гостях у этого чудака-лекаря... в избе?

— Даже в карете приезжал...

— Это очень интересно, — сказала Лизавета Николаевна, — непременно нужно прогнать Петю к Башкирову, чтобы он его привел к нам. Тут что-то кроется, чего я никак не могу понять.

За дверью приемной послышались голоса, звон шпор и чьи-то тяжелые шаги. Перед нами явился исправник, мужчина в том возрасте и с тою солидностью на лице, которые дают право на титло почтенного семьянина, главы полудюжины дочерей, руководимых толстою, сырою и дебелою супругой-матерью. Он был высок, мягкотел и плечист, с толстою шеей, составлявшей с затылком одну сплошную площадь, с длинными рыжими баками и здоровенными руками, внушающими страх. Но при всем этом в гостиной умел держать себя вежливо, по-джентльменски, и говорил с Лизаветой Николаевной довольно нежным голосом.

— Merci, merci, сестрица, — заговорил исправник, любезно раскланиваясь со мной. — Я никогда еще не выносил такого приятного впечатления от преуспеяния помещичьего хозяйства, какое вынес сегодня. И все благодаря вашему истинно образованному супругу! Я всегда говорил: дайте мне больше таких людей, каковы господин Колосьин и ваш супруг, и в экономической жизни всего государства (он не имел привычки оканчивать фразу, доставляя возможность каждому округлять ее по своему вкусу и соображению)... Сама администрация примет наиболее успешный ход, а затем и государственные... Ma chère, vous permettez?.. С вашего позволения...

Исправник расстегнул белый китель, ловко вставил в массивный янтарный мундштук окурок сигары, погрузил свое тело в вольтеровское кресло и, поглядывая весело то на меня, то на Лизавету Николаевну, приготовился к дальнейшему разговору.

— Нравится вам? — спросила Лизавета Николаевна.

— Замме-ча-ательно!.. Я всегда говорил вашему папа, сестрица: этими людьми нельзя так...

Исправник сделал какой-то странный знак рукой и не докончил. В это время вошли Морозов и Колосьин. Колосьин — маленькая, но здоровая и плотная фигура, в коротеньком, английском пиджаке, в каких любят ходить управляющие заводами и механики, с угрюмою, наморщенною, вдумчиво-деловитою физиономией, с большим горбатым носом и длинною черною бородой. Быстро окинув нас черными глазами, он, молча, наскоро и как бы мимоходом, протянул мне руку и тотчас же обратился к исправнику.

— Извините-с, господин... как? Колпаков?

— Калмыков... к вашим услугам, — поправил любезно исправник, чуть двинувшись к нему туловищем.

— Если вам, господин Колпаков, будет угодно сопровождать меня, то прошу... Для меня время дорого.

— Да, да... сейчас, к вашим услугам, молодой человек! — ядовито вытянул исправник. — Я уважаю драгоценное время человека, который его посвящает высшим...

— Позвольте, сударыня, раскланяться, — перебил сурово Колосьин и тотчас же опять, словно мимоходом, стал подавать нам руку.

— Мы вас ждем обедать в четыре часа...

— В четыре? — Колосьин посмотрел на часы. — Да, я буду в свое время; я успею кончить все.

И, вынув из-подмышки кожаную фуражку, которую он все время держал там, пригласил исправника следовать за ним и скорою походкой вошел в дверь, как уходит занятый доктор-практик с консультации.

Исправник тоже поднялся, отдуваясь, застегнул китель, сунул мундштук в карман широких синих шаровар и сделал нам любезный поклон, шаркнув по-военному ногой.

— В четыре часа будем иметь удовольствие видеться?

— Конечно, — сказала Лизавета Николаевна.

Все это время я не имел случая вглядеться хорошенько в лицо Морозова, но теперь, когда он сел, словно разбитый, в угол дивана, — я удивился: так изменился он за последнюю неделю. Добродушие на его лице сменилось какою-то досадливою грустью; глаза смотрели скучно; во всем в нем чуялось раздражение.

— Ну, что, Петя, как показался тебе теперь Колосьин? Мы давно уж его не видали? — спросила Лизавета Николаевна.

— Как же он мне может иначе показаться? Все та же самодовольная скотина! — проговорил Морозов и раздраженно повернулся в углу дивана.

Лизавета Николаевна взглянула на меня и грустно пожала плечами. Все молчали.

— Вот они, — заговорила опять Лизавета Николаевна, показывая на меня, — принесли две любопытные новости...

— Что же?

— Папа-крестный навестил Башкирова, а к нам даже не заехал. Говорят, они стали приятелями.

Морозов молчал.

— Катерина Егоровна ушла пешком... вместе с Матреной Петровной.

— Куда?

— Вероятно, за каким-нибудь делом.

— И прекрасно делают... Каждая баба, которая стучит лбом о пол где-нибудь в Соловках, бесконечно дельнее и честнее нас, дельцов...

Морозов выпалил это залпом и, быстро встав, пошел к себе в кабинет.

Лизавета Николаевна долго смотрела каким-то странным взглядом на затворившуюся дверь и потом, медленно поднявшись, сказала, что ей надо распорядиться по хозяйству, и попросила меня развлечь ее мужа.

Я пошел в кабинет к Петру Петровичу; он уже был в рабочей блузе. Сброшенный сюртук валялся на диване.

— Вот самый лучший медикамент при всяких психических неурядицах, — сказал он мне, показывая в руках рубанок, — только этим и спасаюсь... Дам себе гонку часа так на три, до третьего пота, — мигом всю чушь из головы выгонит. И опять хоть приблизительно на человека похож будешь...

— Лечитесь, а я вам помогу: буду молчать и не заикнусь ни о чем, что могло бы вызвать вновь приступы психической неурядицы.

Петр Петрович взворотил на верстак огромный конец доски и начал строгать. Работал он легко, плавно, хорошо. Скоро лицо его ожило, зарумянилось; на лбу показался здоровый пот; и через несколько минут он

уже так увлекся физическою работой, что даже замурлыкал под нос свою любимую песню «Не белы-то ли снега в поле забелелись...» Я ему не мешал. Открыв окно и перевесившись туловищем через подоконник, я смотрел на вившуюся за палисадом дорогу, которая пускала от себя поворот к морозовскому дому. Вдали, вправо, из-за облака пыли то показывался, то пропадал английский экипаж Колосьина, куда-то уносивший его с исправником; влево виднелось село.

Седой мужик что-то копался около вереи. Ребятишки гонялись за поросенком по околице. У ворот морозовского дома лежала старая собака, высунув язык и прислушиваясь к чему-то. Две девочки-подростки выбежали из калитки, пошептались о чем-то, пугливо оглядываясь на барские окна; пес медленно поднялся и стал вертеться около них.

Часа через полтора по отъезде исправника к морозовскому дому подъехала большая, крепкая, так называемая «купецкая», телега с заложенною в нее коренастою гнедой лошадью. Скоро в дверях из передней в залу показался тот самый высокий седой старик, которого я встретил на именинах Лизаветы Николаевны, — тот «умный», по словам Петра Петровича, мужик, который знает, «чего не нужно делать, чтобы не подличать, и что возможно делать при данных условиях, чтобы не тратить даром порох». Переступив порог, он истово перекрестился три раза на образ, поклонился и пригладил напереди чуть заметно подрезанные волосы.

— Доброго здоровья, — проговорил он и, по обыкновению, устремил взор куда-то вдаль.

— Здравствуй, Филипп Иваныч, — сказал Морозов. — А к вам исправник поехал... Или не знал?

— Были у нас уж они... Сюда приказал мне приехать, кушать они здесь будут... А у нас уж были, теперь к суседскому управляющему поехали.

— Ну, садись, Филипп Иваныч. Садись сюда! — пригласил его Морозов к переднему столу.

— Нет, уж я вот здесь.

Старик сел близ двери, у маленького столика, положил на него шляпу и стал барабанить слегка по ней

рукой, как обыкновенно делают крестьяне, когда что-нибудь обдумывают.

— Что нового скажешь? — спросил Морозов.

— Да есть... есть кое-что, — не скоро отвечал старик, — есть мне до тебя дело, Петр Петрович...

— Какое же?

— Да я уж — извини бога для, — с артелью-то нашей хочу нарушить.

— Что так? — спросил Морозов. По его лицу пробежала было какая-то тень, но он, видимо, задал этот вопрос без особого изумления, а больше из простого любопытства.

— Ты, Петр Петрович, не думай, что это из-за тебя, алибо что в этом самом деле есть нехорошо... Дело это доброе, это я завсегда скажу... А ежели я отхожу, так от себя единственно... И никто, кроме меня, тут непричинен.

— Что же у тебя такое случилось?

— Так, братец мой, полоса у меня эдакая незадашная пошла... во всем... Грех на меня идет. В земцы эти удостоен был, думал: отчего не послужить? Послужим. А дело совсем дрянь вышло...

— А что у вас?

— Выборы были, пьянство это началось... А-ах, господи! Неудовольствия пошли... Один за другого... Доношение в подкупе объявилось... Меня в то же число, в пьяницы, в душепродавцы занесли... О-ох, дела, дела!.. В артель эту свою ты меня приурочил... Только-что приспособился, а тут этот мужичок... помнишь, с пахлей сбившийся мужичок, просился к нам в артель?..

— Ну, что же? помню...

— Ну, с петли сняли... Обезработел совсем, обголодал. А мужичок-то из моей волости... Пошли это в народе толки...

По лицу Морозова прошла тень уже так ясно, что это заметил даже старик...

— Все бог! Никто, как он! — поспешил успокоить старик. — Теперь опять волостным удостоили... Такие дела пошли! Ровно вот грех за мной следом идет... Думал, думал, да вот сегодня самому-то, его высокородию, и забросил словечко, чтоб меня то есть освободил...

— Что же у тебя там?

— Много, братец мой, много всего. Как все-то это

сообразить, так, думается, и петли тебе мало... Вот каково! А ведь по душе-то, по совести тебе признаться, — только на одном и стоять тщился, чтобы как не согрешить, чтобы для всех было в любовь да в мир! Так, думается, что уж ежели на тебя эта полоса пошла, только одно тебе спасение — отойти... Значит, грех за тобой идет уж; значит, отойди, — чтобы твоя полоса другим не вредила... Вот что!

— По какому же делу к тебе исправник приехал?

— По порубке в колосьинской даче, а вторым делом — по «келейницам»... Старушьи проступки разбирать. А-ах, царь небесный! А вот, перед истинной совестью говорю я: я и не заикался... Обидела меня старуха Павлия... знаешь, может, две у нас старухи живут? Павлия да Аксентья... Обидела она меня всердцах, при всем мире... Ну, понимаю, что всердцах. Посадил я ее в темную, для ради чтобы соблазну не было, а опосля и выпустил... А вот со стороны, значится, доношение сделали, — якобы у нас в волости беспорядки проявились... Все это богатеи у нас там вертят... Старух-то им хочется выжить, чтобы землю от них отобрать, а их на бабье положенье ссадить. Теперь мир опять на меня пальцами указывает... До тебя, говорит, этого не было, а как ты проявился — и пошло все колесом...

— А порубка?

— Порубили — это точно... Да ведь и то сказать, — вдруг прибавил он, понизив голос: — где взять-то?!

— Так, значит, ты решил отойти, *«отрешиться»*, — спросил как-то особенно загадочно и задумчиво Морозов.

— Решил, Петр Петрович, отрешиться, решил... Выходит, недостоин. Зачем грех с собой в мир вносить! У мира своей тяготы много...

— Но мне кажется, вы умели и «не отрешаться» и в то же время «не грешить»? — спросил я старика.

Он молча посмотрел на меня, но опять не в лицо, а как-то поверх моей головы.

— Ох-ти, хти, хти! До времени все! — уклончиво отвечал он.

Нужно, впрочем, заметить, что и вообще, несмотря на видимую искренность, с какою старик рассказывал о своих невзгодах, в его речи замечалась недоговоренность, как будто он что-то скрывал.

Вошла Лизавета Николаевна. Разговор принял то

скучное направление, когда при появлении нового лица начинаются передопросы, пересказы только что сообщенных новостей. Лизавета Николаевна, по обыкновению, всему удивлялась и при всем недоумевала. Я и Морозов снова собрались было в сад, но в это время послышался ямщицкий колокольчик и стук экипажей. Старик поднялся, погладил бороду и, тихо подойдя к Петру Петровичу, наскоро шепнул ему:

— Нельзя ли *самому*-то закинуть словечко, чтоб уж он меня не очень лаской-то удостоивал... А то говорит: ты для меня дорог, я с тобой в жизнь не расстанусь... А-ах, господи! Замолви ему, чтоб он меня уж не очень при себе задерживал.

— Хорошо, я поговорю.

— Поговори. Лучше без греха, так-то!

— Без какого греха?

Но старик заметил, что экипажи уже огибали угол палисадника, махнул шляпой и выбрался совсем в переднюю, стараясь подняться на носки сапогов и ступать возможно тише.

Экипажи остановились у ворот: вместе с колосьинской тележкой подкатил большой тарантас, в котором и помещались все приехавшие: исправник, ловко соскочивший с подножки, откинутой крестьянским начальством с бляхой; Колосьин, вышедший с другой стороны и тотчас же начавший деловито осматривать своих лошадей и английскую тележку; и, наконец, после всех выбрался все время улыбавшийся и еще издали почему-то махавший фуражкой и делавший в направлении Лизаветы Николаевны ручкой, «земский представитель» Никаша Бурцев, которому и принадлежал тарантас.

В ожидании обеда гости собрались в гостиной. Исправник, теперь красный, как рак, от жары и от «исполнения служебных обязанностей» (о тягостях которых он, видимо, силился заявить нам каким-то особым пыхтением), тотчас же попросил у Лизаветы Николаевны позволения расстегнуть китель, погрузился в вольтеровское кресло и попрежнему ловко всунул в массивный мундштук крученую папиросу.

— Я говорю, сестрица, — тотчас же начал он, — дайте мне на выбор: управлять ли целым табуном толсто-

бородых мужиков или двумя старыми крестьянскими девками, — я выберу первое. Да-с... Потому что две старые закоснелые девки (pardon за повторение), две старые ведьмы постоят за сто тысяч чертей!

Никаша, ходя вдоль комнаты и разминая ноги, заливался тоненьким смехом. При последних словах исправника он вдруг круто повернулся к Лизавете Николаевне.

— Позвольте, позвольте, позвольте! — заговорил он, таинственно подмигивая на исправника.

— Да я ничего не говорю, Никандр Ульяныч, — заметила Морозова.

— По-озвольте, позвольте...

— Я говорю, сестрица, — начал было опять изрекать исправник, но Никаша бросился, растопырив руки на него.

— Позвольте, позвольте!.. Я хочу предложить вопрос несколько в иной форме!

— Ну-с, какой же? Давно бы уже предложили!

— А что сказали бы вы, любезнейший господин начальник, если бы вам предложили на выбор: иметь ли в своем ведении ораву толстобородых мужиков, или практиковать исполнительную власть над двумя прекрасными поселянками?

Никаша подождал секунду и затем разразился перекатистым смехом над своей будто бы «остротой». Лизавета Николаевна сделала легкую гримасу; исправник с снисходительным укором покачал головой, а Колосьин, бросив взгляд холодного презрения на разговаривающих, с серьезной миной вынул из кармана номер газеты и, отойдя к окну, погрузился в чтение. До этого он все время сидел в углу, поджав под стул ноги, с угрюмо-вдумчивым лицом, и занят был или делал вид, что занят глубокими соображениями, перед которыми, наверно, гостиная беседа провинциальных джентльменов являлась просто пошлостью.

Через несколько минут вошел Морозов, как кажется, преднамеренно ушедший к себе в кабинет. Вслед за ним из дверей соседней комнаты высунулась востроносая, растрепанная девушка и сказала Лизавете Николаевне, что «кушать подано». Все отправились в столовую на приглашение Лизаветы Николаевны.

— Я говорю, любезный Петр Петрович! — начал исправник, когда все сели за стол. («Мерси!» — вставил он,

обращаясь с нежной улыбкой к Лизавете Николаевне и принимая от нее тарелку с супом.)—Мы ехали с Павлом Александровичем... Извините, так, кажется, ваше имя и отечество? — спросил он Колосьина. — Так мы ехали с Павлом Александровичем, и я говорю: вот вы, господа, представляетесь такими деловитыми, вечно занятыми, как будто у вас минуты свободной нет... Конечно! конечно! Я ничего не говорю против... Люди европейского образования... ну, новые идеи... пионеры... Но я говорю... наша сфера деятельности значительно, позвольте так выразиться, напряженнее и в то же время представляет иногда такие сложные комбинации...

— А не жалуемся-с и, благодарение господу богу, без европейского образования благополучно обходимся,— вставил ядовито Никаша и тотчас же ядовитость эту скрыл под добродушно-лукавой улыбкой.

— Позвольте! — остановил его исправник. — Я говорю: возьмите, к примеру, хотя вашу фабрику... вполне образцовое, замечательное и, смею сказать, редкое у нас учреждение! Вы достигли замечательных результатов! Ваше учреждение... именно «учреждение» (я стою на этом) будет иметь для края важное значение как первый пример... Я говорю: первый пример или, лучше сказать, первый опыт разрешения задачи, о которую разбивались все мероприятия... Я признаю все это. Я не могу не признать, что фабрика, которая не давала прежде нам покоя, которая ежедневно выставляла целый ряд преступных действий: буйства, краж, неповиновения, пьянства, — что эта фабрика в ваших руках, под вашим высокообразованным наблюдением, сделалась таким тихим раем, куда мы забыли ездить... И без строгости-с, без карательных мер — вот что важно!.. Я заявляю сам, пред лицом всех, тот факт, что вы никогда не обращались ко мне за помощью (я исключаю нынешнюю поездку: это — пустяки!). Все это так-с. Но позвольте сказать и нам... Позвольте вас спросить: посредством каких мероприятий имеете вы удовольствие любоваться столь прекрасным учреждением? Почему этих же самых мероприятий не можем практиковать мы, дабы вкусить всю сладость столь мирного течения дел? Так ли я говорю, сестрица? Это правда?..

— Конечно, — заметила Лизавета Николаевна, по-видимому, или вовсе не слыша, о чем шел разговор, или еще плохо понимая, к чему вел речь ее кузен.

— Конечно-с. Однако Павел Александрович думает иначе. Павел Александрович говорит, что это достижимо только для них, для избранных...

— Я этого не говорил, — сердито заметил Колосьин.

— Виноват: может быть, иначе выразились. Не отрицаю. Затем я обращаюсь с вопросом: позвольте вас спросить, достоуважаемый Павел Александрович, какие мероприятия употребили бы вы в том случае, если б на вашей фабрике попались в числе прочих две старые, закоснелые девки, невежественно протестующие против самых разумных начал?

— Что ж ответил Павел Александрович? — быстро спросила Лизавета Николаевна, видимо заинтересовавшаяся вопросом.

Исправник бросил искоса хитрый взгляд на Колосьина, который отвернулся к Петру Петровичу, сообщая ему что-то из газетных новостей.

— Павел Александрович отвечал очень, очень просто и коротко. Павел Александрович сказал: фю!..

Господин исправник сделал при этом поясняющий жест.

— Я этого не говорил, милостивый государь!—вспыхнул Колосьин, внезапно повернувшись к нему.

— Виноват... Может быть, иначе выразились. Насколько могу, впрочем, припомнить, вы изволили высказаться так: мое правило—упразднять всякий элемент, не соответствующий общим интересам нашего учреждения; только путем строгого подбора необходимых элементов... и прочее в таком роде... Прошу извинить: я запамятовал точные ваши выражения... Вы согласны, что я передал мысль вашу верно?

— Да, теперь, но не раньше. Здесь существенная разница...

— Ха-ха-ха! — добродушно расхохотался господин исправник. — Позвольте! Мне пришел на память один курьезный анекдот. Когда-то, где-то я в газетах прочитал известие, что какой-то там англичанин или другой какой нации просвещенный гражданин изобрел новый способ действия против неприятельских сил. Способ этот, насколько могу припомнить, состоял в том, что поливали неприятельские войска из пожарных труб горящим петролием или чем-то в этом роде. Но дело не в этом, а в том, как он назвал свой способ избиения неприятеля?

Как вы думаете, сестрица? Конечно, как человек образованной нации, как ученый, он, может быть, совестился назвать свое изобретение убийством или там как-нибудь иначе, по-обыкновенному...

— А как же? изведением врага, что ли? Ха-ха! — спросил Никаша и опять захохотал, довольный своим остроумием.

— Немножко не отгадали... Он назвал его: «способом *упразднения* неприятельских колонн с места действия»... Конечно, мы — люди неученые, не умеем деликатно выражаться; а попросту возьмешь да назовешь тем именем, как наши праотцы называли...

— Ваш анекдот, господин Колпаков, не идет к делу. Вы не перефразировали, но извратили мои слова...

— Согласен. Могло случиться и это. Но не от чего иного, как от неумения выражаться ученым языком... Впрочем, дело не в словах! Будем говорить об *«упразднении»*.

Господин исправник выпил рюмку водки, медленно и тщательно вытер салфеткой усы и с самодовольно-хитрой улыбкой продолжал «развивать течение своих мыслей». Очевидно, он попал на тему, хорошо им обдуманную; очевидно, эта тема представляла очень выгодную позицию для него и была слабым местом противника. Исправник начал издалека, он коснулся и «обширности района, предоставленного его ведению», и «сложных комбинаций», которыми изобиловал этот район, и, наконец, проведя тонкую параллель между районом действий ученых пионеров и районом действий «всякого сына отечества, исполняющего долг службы», он заключил свою параллель следующим сопоставлением:

— Я говорю: вы, Павел Александрович, или вы, Петр Петрович, вы пользуетесь в своей деятельности замечательным упрощением, которое мы согласились называть *«упразднением* несоответствующих элементов». Прекрасно-с. Недавно Павел Александрович «упразднил» с своей фабрики около десятка таких элементов, а вы, Петр Петрович, «упразднили» одного пьяного мужичонку. Позвольте! позвольте! — перебил он свою речь, заметив недоумение на лице Лизаветы Николаевны и гримасу на лице Колосьина, — я нисколько не хочу порицать ваш образ действий... Боже меня упаси! Вот вам свидетель — сестрица. Я еще сегодня говорил ей: нам нужно

больше, больше таких людей, как уважаемый Петр Петрович или Павел Александрович!.. Не правда ли, сестрица? Но при этом я говорю: воздайте должное каждому. Петр Петрович и Павел Александрович, конечно, могут пользоваться и извлекать все выгоды из этого мероприятия... Они могут «упразднить» с поля своей просвещенной деятельности и тех двух закоснелых старых девок, о которых я уже говорил; но я — куда я их упраздню? Ведь и пьяный мужичок, и эти старые девки все-таки останутся в районе моих действий? Не правда ли, что мечтания мои о рае всегда будут отравляться их присутствием, пока они не совершат такого преступного деяния, которое я уже вправе буду представить на благоусмотрение высшего начальства?..

— Позвольте, господин Колпаков, вам заметить...

— Аристарх Федорович Калмыков — к вашим услугам, — поправил внушительно господин исправник.

— Позвольте, господин Калмыков, — не решился еще раз переврать фамилию Колосьин, — вам заметить, в заключение вашей речи, что ни я, ни Петр Петрович не имеем ничего общего с тем, о чем вы говорили так долго. Вы воспользовались словом «упразднение» и, между тем, совершенно извратили его смысл. Мы никого никогда не упраздняем. Наш принцип — не вмешательство, но воздействие. Наши предприятия тем сильны, что они покоятся на основах самостоятельного, из себя выходящего развития. Мы оставляем полную свободу членам нашего предприятия, как членам свободной артели, распоряжаться так, как они считают сообразным с убеждением их совести, и только считаем необходимым предлагать им известные внушения, если образ их действий, по нашим понятиям, может вредить интересу общего дела...

Все это выговорил Колосьин залпом, сердито смотря в тарелку и ни на кого не поднимая глаз.

— Да ведь и мы «внушаем-с»! Только вы внушите и сейчас же упраздните зловредный элемент... а две старые, закоснелые девки при мне останутся, и я, как истинный сын отечества, по долгу службы обязан о них пещись! Да и пьяный мужичок, вами упраздненный, в моем же районе действий на свою душу руку налагает: ведь это все — неприятности-с! За это нас не хвалят, а? — закончил исправник таким тоном, что Никаша, все

время блаженно улыбавшийся, счел нужным принять вид человека, задумавшегося над решением задачи высокой важности...

— Не замечаешь ли ты, — обратился Колосьин к Петру Петровичу, скривив рот в ядовитую улыбку,— не замечаешь ли ты, что господин исправник имеет наклонность смотреть на вещи радикальнее даже нас?..

— Да, замечаю, — как-то необычно резко перебил его Морозов и вдруг вспыхнул, так что Колосьин в недоумении искоса взглянул на него.

— Кстати, скажите,—переменяя разговор, обратился Петр Петрович к исправнику,— чем кончилось дело этих старух?

— Великолепно! Подобному решению я всегда покровительствую...

— То есть как именно? — спросила Лизавета Николаевна.

— Они — упразднились, говоря ученым языком, но упразднились сами.

Исправник засмеялся.

— Да разве можно самому «упраздниться»?

— Можно-с!.. Отчего же-с? У нас это часто, у мужиков...

— Каким же образом?

— А различным образом, смотря по тому, к чему кто более наклонен. Бабы преимущественно посвящают себя богу...

— И эти старухи тоже?

— Тоже-с. И давно бы пора. Это значительно упрощает решение вопроса. Конечно, они обидели у меня старика, представителя власти, а стало быть, некоторым образом и меня в лице его; но что же взять с двух старых, закоснелых девок? Бог с ними!..

— Я слышал, что старшина просит у вас отставки,— сказал Петр Петрович.

— Да, он говорил; но я ему сказал, чтоб он об этом и заикаться не смел...

— Напрасно. Я с своей стороны хотел просить вас уважить его просьбу.

Исправник несколько удивленно посмотрел на Петра Петровича.

— Прошу извинить, достоуважаемый Петр Петрович, никак не могу. Если б даже я сам хотел этого, не мо-

гу-с... потому что я — раб иных, высших соображений... Этот старшина — единственный в своем роде. Он умел привести в гармоническое слияние интересы управляемых и управителей... Это, батюшка, идеал! И чтоб я мог с ним расстаться!..

— Но вы забываете его самого. Каково-то ему самому достается это гармоническое слияние?

— Ну, это — другой вопрос... Служба — долг, уважаемый Петр Петрович! Мы все служим-с, все несем на алтарь-с... Про себя уже я не говорю, но вот представитель выборного начала... Вот Никандр Ульяныч... Спросите его: каково ему достается выборная служба? Обязанность пред обществом — это великая и трудная обязанность!.. Но зато и высокая! Не правда ли? — с улыбкой спросил исправник Никашу.

Никаша, очень плохо вникавший в разговор, выпучил на исправника глаза, крякнул и обвел всех блаженной улыбкой.

— Нет-с, и не просите,—решительно заявил исправник; — пока я здесь, Филипп Семенов будет старшиной, даже если б пришлось коснуться и выборных начал... Ввиду несомненной пользы, это должно быть допустимо... Но, конечно, без злоупотреблений!..

— А слышали вы новость? — сказала Лизавета Николаевна:—папа̀-крестный стал приятелем доктора Башкирова! Недавно он навестил его в карете... парадным образом, с камердинером... И ни к кому больше не заехал, даже к нам.

Исправник вдруг отодвинул от стола кресло и принял величественную, полуудивленную позу, но, вероятно, заметив неуместность ее в кругу близких людей, тотчас же значительно затушевал величественность выражения на своем лице, хотя и остался погруженным в серьезное размышление.

— Сестрица! — начал он несколько торжественно, — я говорю: *это* не может быть более допустимо... Я уже говорил Никандру Ульянычу, как представителю сословия, я говорил: в интересах общественной пользы вы должны принять меры...

— Да что такое *«это»?*

— Сестрица, не волнуйтесь! Прошу и вас, уважаемый Петр Петрович! Я говорю: не может быть допустимо расхищение имущества, которое может принести бо-

гатые плоды... Замечаются такие поступки, повторение которых не может быть допущено... С одной стороны — меланхолия, мизантропия, с другой — одиночество... Какая-то женщина из низшего звания, лакей, собака, отсутствие бдительного попечения родных... Затем — огромные брошенные поля, луга, даром пропадающий божий дар, которым пользуются преступно посторонние мужики... Значит, косвенная поблажка порубкам, самовольному скашиванию лугов, за которыми никто не смотрит... и, наконец, подчинение постороннему влиянию до того, что богатые земли бросают даром в руки первых попавшихся!

— Послушайте, кузен, бог знает, что вы говорите! Вы, наконец, хотите папа̀ крестного совсем помешанным представить! — вскрикнула Лизавета Николаевна.

— Я этого не сказал, но тем не менее...

— И это все вывели из невинного визита его к полюбившемуся доктору?

— Гм... Я имел честь, сестрица, представить вам значительный ряд совпадений... Что же касается до господина Башкирова, то я ничего не говорю... Боже упаси, чтобы я образованного, ученого человека мог заподозрить в каких-нибудь неблаговидных намерениях! Напротив, будь здесь господин Башкиров, я готов протянуть ему обе руки! Но это, конечно, не обязывает меня сочувствовать тому направлению, в котором его влияние на его с-тво...

— Полноте, полноте! — замахала рукой Лизавета Николаевна. — Вы слишком многое во всем провидите...

— По долгу службы-с, сестрица...

— Как вы думаете об этом? — спросила Лизавета Николаевна Колосьина. — Ведь вы знаете и папу крестного, и Башкирова?

— Н-да... отчасти... Я полагаю, что все это вполне естественно... Естественно и то, что люди, не имеющие крепких научных основ в своем мировоззрении, бросаются в мистические бредни; естественно и то, что за отсутствием у нас солидной культуры и ввиду переходного характера нашей эпохи переход собственности из слабых рук в более сильные должен быть неизбежен... Это закон Дарвина: все более слабое, дряблое вымирает, все более сильное, энергичное захватывает поле дейст-

вия в свои руки... Это — закон; это вполне естественно, а значит, и справедливо...

— Я совершенно с вами согласен, что это — закон... гм... гм... закон... как вы изволили выразиться?..

— Закон Дарвина...

— Да... да... его-с... Я теперь припомнил... Этот Дарвин — он будет германский подданный?

— Англичанин.

— Гм... да-с... Так я говорю: я с этим законом вполне согласен. Он не противоречит истинным видам и стремлениям всякого благонамеренного сына отечества. Но позвольте заметить: нет правила без исключений... Так и из этого благотворного, смею так выразиться, закона могут быть, по слабости человеческой природы, изъятия. Так, например, в данном случае этот закон подвергается искажению, ибо собственность не переходит в образованные и просвещенные руки, но подвергается расхищению. Если бы такой переход совершился в ваши руки или Петра Петровича...

— Это ничего не значит, это только переходный период, — заметил Колосьин, — с течением времени все придет в гармонию, и, конечно, собственность не минует людей, которые могут научным образом эксплоатировать ее с наибольшею пользою.

— Это так-с, так-с... Но зачем же ждать! Не обязаны ли мы способствовать немедленному насаждению культуры, не подвергая собственность длинному периоду расхищения? Я говорю: вы, сестрица, как наиближайшая наследница после его с-тва и любимая его крестница, и вы, Петр Петрович, как человек, вполне достойный, — вы нравственно обязаны... А Никандр Ульяныч, я уверен, не откажет вам в содействии, как представитель сословия...

Никаша мотнул утвердительно, с большою готовностью, головой.

— О чем вы это говорите? — испуганно спросила Лизавета Николаевна исправника, взглянув в побледневшее лицо мужа и заметив беззвучно замершие на его плотно сжатых губах какие-то звуки. В ответ на этот вопрос Морозов быстро двинул кресло и поднялся, а исправник, посмотрев на него, махнул Лизавете Николаевне рукой и тихо проговорил: «Мы после! Еще успеем! В другое время!»

Все встали из-за стола. Обед кончился.

— Ну-с, теперь курнем!.. — добродушно-весело заметил исправник Колосьину.

— Ах, Павел Александрович! Какие вы, право! — продолжал он любовно, стоя пред ним и покачиваясь слегка на ногах, — и к чему вот и вы, и Петр Петрович такие сердитые, такие угрюмые, как будто или вас кто хочет укусить, или вы кого собираетесь тяпнуть! А ведь совсем напрасно!.. Ха-ха-ха!.. Ей-богу, напрасно... Ведь ни в нас, ни в вас страшного ничего нет! Ах, голубчик! Ведь это все — только недоразумения, видимость, а в существе-то дела... Позвольте вас обнять, уважаемый Павел Александрыч!

— Вы очень любезны, — промычал конфузливо Колосьин, слабо выбиваясь из могучих объятий исправника.

— Ну, сестрица, вы нас извините с Никандром Ульянычем (Никаша еле стоял и попрежнему бестолково ухмылялся). Мы уж к Морфею... Вы, господа, — люди молодые, вам ничего; а мы — потертые, послужившие! Нам и отдохнуть не мешает... Так ли, Никандр Ульяныч?

— Я давно готов, — выпалил неожиданно Никаша.

— Ну, так до приятнейшего свидания! Allons, allons, allons! [1] — запел исправник под такт австрийского марша и, подхватив под руку Никашу, повлек его с собой.

— Чорт знает, что за мерзость! — выругался Петр Петрович, едва скрылись два приятеля, и тотчас же вышел в кабинет.

Лизавета Николаевна вздохнула. Колосьин сделал ей какой-то знак глазами и мотнул успокоительно головой.

В кабинете Петр Петрович уже стоял у станка, в одной жилетке. Сброшенный сюртук попрежнему валялся на диване. Петр Петрович принялся точить, а Колосьин стал ходить из угла в угол комнаты, потрепывая бороду и что-то соображая.

— Вот что, — заговорил он, приостанавливаясь около Морозова, — мне нужно бы с тобой поговорить....

Морозов молчал.

— Может быть, я буду лишний? — сказал я.

[1] Идемте, идемте, идемте!

— Нет, нет... Можете не беспокоиться, если желаете,— сказал мне Колосьин и опять прошел в угол.

— Ну, через полчаса я должен ехать. Мне время дорого, хоть я и очень сожалею, — сказал он, смотря на часы.

— Ну, что ж! — промычал Морозов.

— Хотя я и очень сожалею, что не могу поговорить с тобой больше... Да, впрочем, что ж разговоры! Для нас достаточно двух слов, чтобы мы поняли друг друга...

— Конечно!

— Я слышал, да и сам замечаю, — начал Колосьин, ходя по комнате и опять трепля бороду, — что тебя как будто муха укусила!

— Может быть, и укусила!

— Гм... странно! Зачем ты поддаешься этому настроению? В тебе нет этого довольства, которое сопровождает прочное, крепкое убеждение, гармонию деятельности с образом мыслей...

— А в тебе есть?

— Есть... Я и хотел сказать: смотри вот на меня...

— Ну, и твое счастие!

— Напрасно ты колеблешься, хмуришься... Я бы, при тех условиях, какими располагаешь ты, мог бы рай устроить для себя, и сколько из этого рая мог бы уступить другим, обществу... Ты счастливее меня. Вот хоть бы имение Дикóго. Если бы мне так везло, я бы мог еще более расширить поле своей деятельности и, следовательно, еще больший процент уступить благу общества... Но я... Ты знаешь, сколько я должен был употребить труда, настойчивости, хитрости, ума, знаний, пока не приобрел опытности жить с людьми и...

— И уметь невинность соблюдать и капиталы наживать?..

— Ты смеешься?

— Нет. Ведь ты сам же сказал, что у тебя в душе *гармоника.*

— Ну, да! Но ведь это досталось не без борьбы. А у тебя и борьбы-то никакой быть не может! У тебя все готово. Ты можешь сохраниться даже в нравственной неприкосновенности. И я не понимаю, отчего в тебе нет нравственного довольства? А в нем вся сила. Нет его — нет энергии... Вероятно, лошадь уже заложена? Как ты думаешь? — спросил Колосьин, смотря на часы.

— Наверно.

— Ну, мне пора. Я повторяю, что разговоры, — это праздная потеря времени. Тем более между нами, когда мы хорошо понимаем друг друга.

— Еще бы!

— Я тебе дам категорический совет: старайся главным образом достигнуть нравственного довольства, несмотря ни на что. Если хочешь, уединись для этого, погрузись в науку (ты — математик? она очень помогает), брось политику, газеты и журналы, возьми какую-нибудь солидную книгу. Не смотри по сторонам. Вот средство, к которому я всегда прибегал, чтобы установить в себе нравственную гармонию и довольство своего личного *я*. И всегда результаты получались благие. При этом условии ты принесешь возможную долю блага, хоть не большую, но зато прочную и солидную; без него не сделаешь ничего *положительного*... Я упираю на это слово. Химера, романтизм, утопия — вот какие результаты только могут выйти при отсутствии нравственного довольства и гармонии... Для подкрепления своих слов прибавлю, кстати, что предлагаемое мною средство испытано не только мною. Оно — результат исторического опыта... Я просто задался вопросом: отчего пошляки, кулаки и прочие необразованные дельцы преуспевают в сем мире? И нашел, что этот успех лежит в их самоуверенности, доходящей у них до наглости, а эта самоуверенность возможна только при полном нравственном довольстве. Следовательно... Но вывод ясен. (Колосьин опять посмотрел на часы). Однако прощай! Спешу... Да я, кажется, успел все высказать?

— Успел. Прощай.

— Если в чем встретишь сомнение или недоразумение, пиши мне, и я успокою тебя двумя словами... Когда буду здесь по делам, заеду сам...

— Спасибо.

— Прощайте!

Колосьин подал нам наскоро руки и, как профессор, прочитавший лекцию, не снисходя дождаться возражений и даже не помышляя, чтобы они могли быть, вышел.

Морозов принялся усиленно работать. Я посмотрел на него, подождал немного и, когда коляска Колосьина проехала мимо окон, тоже распростился.

В зале я встретил Лизавету Николаевну. Она была как-то грустно озабочена.

— Кажется, ваши надежды не оправдались? — сказал я.

— Да, должно быть, для нас все кончено, — грустно отвечала она, пожимая мне руку; — все-таки, пожалуйста, заходите чаще.

Глава восьмая

СТРАННЫЕ ЛЮДИ

I

Через несколько дней я был снова у Морозовых.

Жар хотя и спадал, но было душно, откуда-то наносило гарью. Со стороны видневшегося влево села не было слышно ни звука, как будто все замерло под палящим зноем. Но вот эту беззвучную тишину нарушил враз поднявшийся на селе собачий лай. Телега с грохотом повернула к усадьбе Морозовых, поднимая за собою огромное густое облако пыли, которая и осела густым слоем на деревья палисадника. Я, сидя у открытого окна, мог очень тщательно рассмотреть подъехавших. В плохую, кажется готовую рассыпаться в щепки при малейшем неосторожном толчке, деревенскую телегу были заложены две истомленные клячи в рваной веревочной сбруе; на пристяжной, впрочем, и ее не имелось, если не считать за таковую две в нескольких местах порванные и связанные узлами веревки, прикрепленные к какой-то рогожке, висевшей вместо хомута на лошади, и к деревянной палке, воткнутой в передок телеги вместо вальков. Лошаденки были вылинявшие, пегие, с плешинами на спине и боках, разбитые; как только подъехали они к воротам, так и остановились, как вкопанные, выпучив глаза и широко расставив передние ноги, из опасения упасть. Возница был как нельзя более в pendant[1] и к экипажу, и к коням; сидя на передке, он казался съежившимся гигантом: так чудовищно огромна была

[1] Дополнение.

его голова; но едва он встал на свои маленькие, худые, в изорванных портах ноги, оказалось, что его огромная, вводившая издали в заблуждение голова, покрытая шапкой сбившихся в мочку седых волос, была совершенно неосновательно посажена на тонкую, худую шею и сухое, худощавое, короткое туловище. Однако же субъект, сидевший в кузове телеги, был значительно интереснее и оригинальнее и самой телеги, и коней, и даже самого возницы.

— Почтенный Харон! — кричал он вознице, еще сидя в телеге, — изволили вы меня доставить к месту назначения?

— Да ты к кому рядился-то? — несколько недоумевая от такого вопроса, спросил возница.

— К господину Малову, моему первейшему другу...

— Ну, так, знамо, приехали. Вылезай!

Субъект высвободил из кузова телеги свои тонкие, как жерди, ноги в суконных брючках и штиблетках и, наконец, покряхтывая, выбрался совсем. На нем был короткий пиджачок, весь вывалянный в сене, и большая, с широкими полями, поярковая шляпа, из-под которой смотрело маленькое лицо с жиденькою узкою бородкою, обрамленною длинными, по плечи, русыми волосами.

— Вели-ка-лепно! — говорил он, нетвердо стоя на ногах и что-то ища в телеге. — Наконец у цели!.. А! прекрасные поселянки! — крикнул он, заметив прятавшихся в калитке девушек, и стремительно, изображая собою элегантнейшего Дон-Жуана и вывертывая ножками, подошел к ним, снимая одной рукой наотлет шляпу, а в другой держа какую-то корзину. — Прекрасные пейзанки! Осмелюсь узнать от вас, могу ли я лицезреть почтенного культурменша Петра Петровича, ci-devant [1] Петьку Малова?..

— Петр Петрович, — сказал я Морозову, — к вам приехал какой-то чудак. Как будто из знакомых кто-то.

— Не знаю... Войдет, так увидим, — проворчал Морозов, продолжая работать на станке.

Между тем прибывший субъект все еще продолжал объясняться с девушками.

— Насколько могу заметить, — кричал он, нарочно, кажется, пискливым голосом, — вы имеете честь состоять

---

[1] Иначе говоря.

в камерфрейлинах у сих новых культурменшей? Позвольте же поручить вашему вниманию и заботе сего малого птенца, поднятого мною на дороге с переломленною ногою.

Приехавший с поклоном подал девушкам шевереньку, в которой уложенным в сене лежал кролик. Девушки крикнули обычное «а-ах!» и занялись зверьком.

— Сколько имеете вы получить с меня, мой строгий Харон? — обратился приехавший к вознице, который уже успел отыскать в глубине телеги рваный картуз (он ехал с открытою головой), хранившийся там исключительно, кажется, для чрезвычайных случаев, как, например, на случай объяснения с господами.

— Известно, два рубля... Али забыл?

— Получите же, строгий проводник в царство культурных теней, от меня три рублика, — сказал гость, роясь в портмоне.

— Ладно. Три, так три...

Приезжий несколько времени молчал, как бы в недоумении, зорко всматриваясь в волосатое лицо возницы.

— Проси четыре, хам! Проси!.. Что ж ты не поддерживаешь издавна приписанной тебе хамской репутации? Проси еще на водку! — вдруг угрожающе закричал он, переменяя голос.

— Ладно, давай, давай три-то, коли тебе не нужно, — сердито ворчал большеголовый возница, вертя в руках нетерпеливо картузишко, казалось, мозоливший ему руки.

— Прошу вас покорнейше, почтенный хам, пропить сей рубль немедленно и тем закрепить издавна признанную за вами репутацию... Понимаете? Иначе оставьте его у меня, чтобы я мог ему сделать то же употребление с большею виртуозностью,—продолжал лицедействовать приехавший субъект, подавая мужику бумажки.

Возница пересмотрел их, быстро кивнул головой в знак благодарности, подошел к телеге, опять сунул в ее передок картуз и, взобравшись на облучок, крикнул, отъезжая от ворот:

— Спасибо! Будь неравно знаком! Коли когда еще поедешь, перекинь мне словечко с кем ни то... Мигом приеду... Свезу даром... А теперь деньги нужны... Живи счастливо!..

Лошаденки повернули от ворот, а приехавший субъект все стоял, погруженный, повидимому, в размышление, и смотрел взад вознице, который усердно принялся работать локтями, передергивая вожжи.

— Ну, это он! — сказал я Петру Петровичу.

— Кто, он?

— А вот, увидите... Сейчас войдет... Бьюсь об заклад, что никак не ожидаете.

Петр Петрович взглянул в окно, но странный субъект уже скрылся за калиткой.

Минуты через три за дверью в соседних комнатах послышались легкие шаги и голос приезжего:

— Не беспокойтесь, синьора... Прошу вас... Я все с собой... — говорил он кому-то. — Omnia mea mecum porto! [1] — торжественно произнес он, толкнув ногою дверь в кабинет Морозова, и остановился в ней с шляпой на голове, с саквояжем в руке. — Не узнал? — обратился он к Морозову, пытливо оглядывая нас подозрительным взглядом.

— Павел! Какими судьбами? — вскрикнул Морозов. Все лицо его при этом вдруг засияло прежним добродушием, любовью, радостью.

— Я, брат, я... и, как видишь, весь тут, — говорил Павел, все еще стоя в дверях и обнажив начинавшую лысеть голову.

— Ты опять? — покачал головой Морозов. — Да входи же наконец!

— Куда?.. Гм... в храм принципа? — кивнул Павел на токарный станок, верстак и инструменты.

— Полно вздор молоть!.. А ты сам что? Разве не ради принципа устраиваешь свои «перевброты»? Ну, давай, давай сюда, — говорил весело Морозов, беря у него из рук саквояж.

— Пер-ревороты! — проворчал Павел, тяжело садясь на диван от сильного утомления, внезапно как будто охватившего его. — Постой, брат, дай очнуться... А! Я и не заметил, что у тебя интеллигенция... Виноват! Прошу извинить! — обратился он ко мне.

— Полно же, перестань, — уговаривал его Морозов.

— А ты знаешь, зачем я сюда приехал? — спросил

---

[1] Все мне принадлежащее ношу с собой.

Павел. Его лицо как-то болезненно осунулось, глаза глядели устало и грустно.

— Конечно, нравы «наблюдать», — сказал Морозов, подсаживаясь к нему. — Иссяк, чай, запас... Понаберешься мужицкого-то материалу и опять в распрекрасную столицу, в обстановочку, как и все ваши, писать для почтенной публики «веселые пейзажцы»... Ха-ха! Что? не нравится?

— Ну, брат, не угадал... Я теперь не пейзажи... Я, брат, теперь за делом, за настоящим...

— Ну?!

— Да-а. Я, брат, напал на идею — изучить хамство... И прежде всего избрал тебя, как наитипичнейшего представителя...

— Меня?

— Да, брат, тебя... Хамство идеи! Знаешь ли ты, что такое «хамство идеи»? А-а! Хамы, брат, не они,— ткнул он пальцем по направлению к селу, — а мы.

— Что ж, может быть, ты и прав.

— Это, брат, верно... Он полною жизнью живет.. понимаешь? Полною жизнью, — ткнул он опять пальцем по направлению к селу. — Он один так живет, то есть, понимаешь, мужик... А вы — хамы, хамы!.. Все хамы!..

— Что же это значит у тебя — «хамство идеи»?

— А это, брат, грех старый, из веков он за нами... Вторую заповедь знаешь: «не сотвори себе кумира»?.. Ну, так вот все против нее же...

— И я, по-твоему, хам?

— Хам, брат, хам!.. Потому ведь — барин тоже кумир для хама, ну, а для «принципных» наших либералов принцип кумир будет...

— Какой же принцип?

— А так: приведение к одному знаменателю, знаешь? Ну, вот это и есть ваш принцип... Мужика!.. Гм!.. Живого человека к одному знаменателю привести!.. Хамы, брат, мы, повторяю. А его, брат, под один знаменатель не приведешь... Он, брат, полною жизнью живет... Я вот хотя и не он (ну, положим, и недалеко ушел: дьячковская кровь-то), а вот, попробуй-ка к одному знаменателю подвести... Ну-ка, попробуй!..

— Да ведь не все такие беспардонные, как ты? — смеясь заметил Морозов. — А может, придет время —

устанешь, покоя захочешь, захочешь и к одному знаменателю привестись!..

— Я—успокоиться?... Я?—вскочил Павел.—Смерть—вот общий знаменатель!.. А успокоиться на чем-нибудь помимо нее — вот оно, брат, хамство-то и есть. А я не хам!.. Потому — борюсь... борюсь, чорт возьми!..

Павел полуискренно, полуиронически сжал кулаки, заскрежетал зубами и сел. Несколько времени он молчал, тихо проводя рукой по лбу, как бы отдыхая и приходя в себя от непосильного напряжения.

— Петруша, извини, брат... Я всхрапну... Этот жар... да водка... Кости болят!..

— Спи, спи, сделай милость, — засуетился Морозов.

— Извините меня, мил-сдарь! — обратился Павел ко мне, затем забрался с сапогами на диван, подложил в голову подушку, поданную ему Петром Петровичем, и, повидимому, задремал на несколько минут.

Мы молчали.

— А знаешь что? — заговорил он словно в бреду, не открывая глаз: — я, брат, все опять разнес... всю эту обстановочку... Ра-азрушил!.. Ха-ха!.. Я, брат, теперь опять «omnia mea mecum porto»!..

Павел снова замолчал и через несколько минут стал даже всхрапывать.

— Нервы!.. Он весь — нервы, нервный комок, — шопотом говорил мне Морозов, пожимая плечами и любовно, заботливо смотря на засыпавшего Павла.

— Петя! — тихо окликнул Павел. — А она здесь... эта... ну, эта наша кровная, русская «дщерь случайной семьи»?

— Катя?

— Да, Катерина Маслова... А ведь я ее любил... люблю, брат... То есть, понимаешь, как люблю? Люблю, брат, не вожделением... Нет... Ее так нельзя любить... Тип я, брат, в ней люблю, русский органический тип... Органический потому, что она именно «дщерь случайной семьи»... А из этой-то «случайной семьи» на нас свет пролился, свет! свет! А один уважаемый мною учитель этой «случайной семье» все наши невзгоды приписывает... Обидно, брат, мне это было... Когда я прочитал у него эту несчастную мысль, я... с того, брат, момента, я всю и обстановку свою разнес... И, господи, как же я «разрушал» все эти «аксессуары жизни», все эти зеркальцы, ва-

зочки, собачки на пресс-папье, гарнй, лампочки, абажурчики... книжки в «изящных» переплетах... Великолепная, братец, была картина!.. Достойная кисти самого Каульбаха!.. Прелестный, братец, вышел бы у него пейзажец в «Сумасшедшем доме», если бы вставить этот русский эпизодец!.. Бррр!..

Павел скорчил злую гримасу и повернулся лицом к стене.

— И вот, брат, еще за что я люблю ее, эту «дщерь случайной семьи»: в ней, брат, этого хамства уж нет... Вот за что... Она, брат, тоже сумеет утечь, отрешиться... А в этом — свет! свет!..

Все это говорил Павел, медленно выговаривая слова, как будто в забытьи и, повидимому, нисколько не интересуясь, слушает его кто-нибудь или нет. Морозов сидел около дивана на стуле, смотрел серьезно-задумчиво на Павла и трепал свою бороду.

— А кроме этой... этой «дщери»... у меня в груди еще есть сюжетец, по выражению первых любовников с Замоскворечья, — прибавил Павел после небольшого молчания: — знаешь, что? Чахотка, брат, злейшая! Один знакомый докторишка мне дружески советовал повременить «перреворотом», то есть, попросту сказать — погодить пить... Гм!.. Повременить! Ну, я ему «дурака» загнул.

Павел беспокойно завозился и смолк. Из кармана его панталон выпало портмоне, и деньги рассыпались по полу вместе с десятком смятых папирос. Морозов медленно и молча подобрал с полу монеты и тумбочкой положил их на верстак. Мы долго сидели молча, вслушиваясь в сиплое дыхание Павла. Я всматривался в эту худую съежившуюся фигурку, и, не знаю почему, несмотря на его длинные ноги, на его бороду, на его лысину и сорок лет, мне виделось — и в этих тонких, белых, почти прозрачных руках, хотя и маленьких, но носивших явные следы плебейского происхождения, и в этой безмятежной позе, с поджатыми «калачиком» ногами, и в выражении тихого успокоения на лице,—чуялось что-то младенческое, хрупкое, нежное и вместе беспомощное, такое, что хотелось бы облелеять, охранить от невзгод жизни... Но уже, очевидно, было поздно: тяжелая рука жизни давно уже отметила свою жертву.

Павел Миртов был художник.

— Это обреченные! — как будто отвечая моей мы-

сли, шопотом проговорил Морозов и, тихо ступая на носках, знаком пригласил меня выйти вместе с ним. Когда мы повернулись к двери, в ней показалось радостно улыбавшееся лицо Лизаветы Николаевны. Смотря на спавшего Павла, она, кажется, готовилась что-то крикнуть от восторга, но муж приложил к губам палец и тихо сказал ей:

— Тс! Оставь его пока!.. Он так измаялся, что, мне кажется, стоит только на него дунуть, чтобы он рассыпался прахом... Ему, как ребенку, нужно люльку... Может быть, и оживет тогда!..

Морозов зашагал к выходу в сад.

— Я все, все сделаю... Я спасу его, — шепнула мне Лизавета Николаевна. — Видите, судьба идет сама мне на помощь... Вот уже есть один — и самый желанный!..

Лизавета Николаевна радовалась, как ребенок.

II

Не один десяток раз прошли мы с Морозовым по длинной аллее, а интересовавший нас вопрос все еще не был исчерпан. Мы толковали о Павле, о «новых людях» былого времени, о судьбе наших молодых писателей. Морозов и в этой судьбе видел «фатальную миссию цыганства», исторически завещанную нашему переходному времени. Для доказательства он постоянно ссылался на биографию Павла и приводил разнообразные характерные эпизоды из его жизни. Судьба Павла была такова же, как судьба всех русских писателей-разночинцев недавнего периода. Какой глубокий смысл скрыт в ряде этих страдальческих биографий, этих психических мартирологов, из которых каждый так внушительно и назидательно повторяет и подтверждает другой, что болью сжимается сердце и глубокою скорбью наполняется душа! Кто не различал в каждой из этих биографий трех резко определенных периодов: вначале — школа, баснословно дикая и мрачная, и в тьме царящей в ней рутины, схоластики, отвлеченной морали и лицемерия еле мерцает, готовая потухнуть и сгинуть бесследно, «божья искра» в душе ребенка. Путем почти немыслимых страданий, под страхом загубить навеки все будущее, навеки потерять право на дальнейшее развитие, сохраняет юно-

ша в глубине души, тайно от всех, как нечто запретное, эту «божью искру», пока торжествующе не вынесет ее из мрачных стен бурсы в божий вольный свет. Далее — жажда света, новой жизни и длинный путь пешком в столицы из глухих деревень и городков обширной отчизны на поиски этого света, на поиски «душевного дела». Это — ряд голодных годов борьбы за существование, борьбы сомнения с надеждой, веры с отчаянием и, в то же время лихорадочно-страстной, тяжелой выработки новых нравственных устоев... Наконец — проблеск зари, предчувствие близости «душевного дела», трепетание в груди ищущих исхода сил: одно мгновение — и загорелись лучи славы, в душу снизошел восторг нравственного удовлетворения, сердце полно беззаветной веры... Но это только мгновение... В сущности даже это мгновение — только ирония, грустная и тяжелая: это уголок обетованной земли, мелькнувший вдали усталому и разбитому путнику, у которого уже подкосились ноги, надорвалась грудь... В виду этой обетованной земли он изнемогает, скорбя за кого-то и посылая сквозь жгучие слезы невольные проклятия чему-то...

Павел Миртов был истинный «сын деревни». Рожденный в угарной, дряхлой, трехоконной избе сельского дьячка, кое-как перебивавшегося в плохом приходе, с двумя десятинами плохой земли, ходившего все лето в длинной белой холщевой рубахе за сохой и бороной, а зимой — в нагольном полушубке, и только «на требу» надевавшего синее нанковое полукафтанье, — Павел все детство провел на глазах вопиющей нужды, среди рабочей жизни «униженных и оскорбленных», среди тихого однообразия деревенских полей и лесов. Воспоминанию этого иногда глубоко трагического и трогательного детства, как своего, так и своих сверстников, посвятил он лучшие свои этюды, которыми и приобрел не громкую, но прочную репутацию.

Кончилось детство, самое зеленое детство, пролетевшее под благодушным и умиряющим влиянием деревенской природы. Настала школа... Бог с ней, с этой школой!.. Мимо ее!..

Юноша Миртов мерно шагает по шоссейной дороге с котомкой за плечами. Его молодые, здоровые ноги широко отмеривают саженные шаги; на лице пот и здоровая игра крови. На фуражке и пальто, перевязан-

ном бечевкою, густым слоем лежит пыль. Вот он проходит село, усталый останавливается у одной избы и бессильно садится на завальне, сняв фуражку и ослабевшею рукой тщетно силясь расчесать свалявшиеся кудри. «Испей, касатик, испей!» — говорит ему старуха, вынося из избы жбан квасу и ватрушку. Жадно съедает юноша эту ватрушку и так же жадно выпивает квас. Крестьянские любопытные ребятишки обступают его полукругом издали. Кто-то о чем-то спрашивает его, но от усталости у него идет кругом голова, шумит в ушах, и сон окончательно одолевает его... «Эй, Прасковья! Кинь-ка ты нам с ним на задворках, под навесом, сенца!.. Молодчик, а молодчик! — кричит над его ухом мужик, только что приехавший с мельницы: — подем-ка уснем вместе в холодке... Ах, важно укрепишься в путь-то свой дальний!.. А после мы с тобою косушечку раздавим на дорогу-то... Мы все так, коли на заработки ходим... И не услышишься, как отмахаешь верст сорок после того!.. Верно говорю!..»

Шатаясь, идет Миртов под навес и, бросившись на свежее сено, сладко засыпает...

Так проходит неделя... Вот, наконец, и она — Москва! Он поднимается на последнюю гору, с которой столица видна как на ладони: вся освещенная и палимая солнцем, ярко предстала она пред его глазами, блистая куполами и крестами церквей... От нее несся к нему как будто какой-то невнятный призывный шум и звон... Павел выпрямил усталые члены, глубоко вздохнул полной грудью — и улыбнулся младенчески-радостно и восторженно... Но с первых же шагов, сделанных по длинным и кривым московским улицам, молодого человека тревожит вопрос: куда приютиться? Он не знает Москвы. Он скорее ориентировался бы в родном лесу, чем в ней. Был уже вечер, когда он дошел до Москвы-реки. Искать товарищей поздно. Куда же? Среди этих высоких хором и палат, так негостеприимно и сурово смотревших на незнакомого пришельца, он не осмелился искать себе пристанища; чужие они ему: ни им не понять его нужды, ни ему не понять их суровости...

Но вот его глаза останавливаются на чем-то близком, родном, знакомом... Он быстро идет по спуску к реке, у берегов которой толпятся пустые, нагруженные и полуразгруженные барки. На них уже кончились ра-

боты. Рабочие сидят в кружок на палубах и хлебают тюрю из деревянной чашки. «Хлеб да соль, — говорит Павел. — Не знаете ли, братцы, нет ли здесь где поблизости среди вас бельцов, или толоканцев, или суровцев?» — «Есть, есть такие! — отзываются рабочие. — Вот Ивашка у нас будет суровец!» — «А! здорово, земляк!» — говорит Павел, протягивая ладонь молодому парню. «Никак, Павел Лександрыч будешь?» — спрашивает, осклабясь во весь рот, Ивашка. — «Должно, он самый!» — «Так, так... Куды?» — «Да вот к вам пока... Приютите...» — «Братцы! — говорит Ивашка артели, — нужно приютить земляка-то на первое время. Дьячков сын. Вишь, пешком шел, учиться идет... А ведь от нас считают семь сотен верст досюдова...» — «Что ж? Можно. Коли пешком шел, так не побрезгует нашим-то дворцом», — откликнулись артельщики. Павел забирается в каюту и безмятежно засыпает на жестких рогожных кулях...

Итак, пунктом его отправления в «новую жизнь» была каюта, простая барочная каюта.

Прошел десяток лет. В последний день десятого года он так резюмировал этот период:

Я погибал!
Мой злобный гений
Торжествовал...

Эти строки были произнесены им в полночь на новый год, который он встретил — одинокий, голодный, беспомощный — в трактире «Крым» на Трубе, в Москве.

— Милостивый государь! — крикнул он, после долгого одиночного созерцания трактирного буйства, какой-то темной личности с подбитым глазом, в опорках и в какой-то странной кофте вместо сюртука, когда эта личность тоскливо запускала тусклые взоры за стойку, где красовался соблазнительный ряд бутылок.

— Милостивый государь, — говорил Павел, — не имеете ли вы желания поздравиться со мною с новым годом, с новым счастьем?

— С полнейшим нашим удовольствием-с! — вспорхнула и духом и телом темная личность. — Мы готовы-с... Потому как в одиночестве и притом без финансов... Очень лестно... Как прикажете?

— Что?

— То есть насчет поздравления?.. С каким счастием прикажете, мы так и речь произнесем...

— Не трудитесь! Мы обойдемся без тостов. Наше счастье с вами — найденный мной в кармане рубль... Выпьемте же за этот рубль, с помощью которого мы можем отравиться целым штофом проклятого зелья.

— С удовольствием-с!

— Милостивый государь, — говорил Павел, чокаясь с темною личностью, когда часы пробили, шипя, двенадцать.—Милостивый государь, я погибал... Понимаете? Но...

Мой злобный гений
Торжествовал...

Понимаете, что я хочу сказать этими словами?

— Как же-с! Понимаем-с... Тоже насчет образования можем... Ибо в обер-офицерских чинах... Но по злоумышлению от врагов... — лебезила темная личность.

— Так ты понимаешь, говоришь? — мрачно спрашивал Павел.

— Помилуйте!.. Какой угодно разговор!.. Довольно обучены... В благородных собраниях с дамами имели обращение... Сам его превосходительство...

— Зачем ты лжешь, несчастный, зачем? — еще мрачнее допрашивал темную личность Павел. — Кто тебя просит? Кто тянет из твоей души эту ложь?.. Ведь я тебя не просил лгать! Ведь я тебя не заставлял! — закричал он, поднимаясь. — За то, что я разделил с тобою последний ломоть хлеба, ты не нашел ничем лучше благодарить меня, как ложью?.. Ты говоришь, что понимаешь меня?.. Да знаешь ли ты, несчастный, что от этой лжи-то царящей я погибал и погибаю!.. Я правды искал, правды, везде — и там, вверху, и здесь — в лохмотьях отверженных и прокаженных... И ложь везде... Как злой дух преследует она меня!.. Пошел прочь от меня!.. Пошел!.. — кричал Павел, скрежеща зубами и сжимая кулаки. — Пошел!.. Я опять останусь один!..

Морозов и Миртов были товарищи детства; они были сродни по происхождению: один был сын фабричного, другой — дьячка; только Морозов учился в гимназии,

а Миртов — в семинарии. Это, впрочем, не мешало им брататься.

Долго Морозов, верный данному обещанию в своем кружке, долго искал Павла и, наконец, нашел — в сырой, провонявшей табаком и водкой конуре на Грачевке. Бледен, худ, мрачен был Павел. Это было в конце 60-х годов.

— Петр! — говорил он Морозову, сидя пред ним на каком-то подобии дивана, схватив голову обеими руками. — Петр!.. Я погибаю... чувствую, что гибну совсем. Дальше невозможно жить так... Но невозможно и иначе!.. Я погибаю, потому что не могу уйти от этих отверженных и прокаженных; а быть с ними... Я не могу не пить! Нет, не могу... Я погибаю, но мой злобный гений торжествует!.. Уйти к «торжествующим» для меня немыслимо... Я там погибну, но погибну еще хуже... Проклятая дилемма!.. Где же выход?.. Дайте мне, укажите выход!.. Укажите мне спасение!.. В поисках за этим выходом мой мозг отупел, сердце чуть не надорвалось... И нет, нет спасения!...

— Павел, оно есть, — сказал Морозов...

— Есть? У кого?

— У нас...

— Это у кого же?

— У нас, у «новых людей»... Пойдем к нам — и ты будешь спасен! Ты увидишь! Согласись, Павел, что ведь в сущности подло пить и еще подлее, когда мы свое пьянство окрашиваем в цвет гражданской скорби!..

— О, верно, верно, трижды верно!.. Да будет проклято это зелье, эта ведьма — всероссийская сивуха!.. Если вы нашли спасение только от нее одной — я ваш, юные трезвые философы! — крикнул Павел, стремительно тиская свои ничтожные пожитки в плохой чемоданишко. — Идем к вам!.. Дальше от этого «места пуста»! Я устал здесь... Я задыхаюсь!.. Дайте мне глоток свежего воздуха!.. Может быть, у вас действительно есть «правда»!

А ровно год спустя, также накануне нового года, Павел Миртов опять сидел в «Крыму», в грязной, вонючей комнате, тускло освещенной висевшей с потолка лампой, за столом, покрытым облитой пивом и вином скатертью. Пред ним сидел мальчишка, лет семи-вось-

ми, в женской кацавейке, с тряпкой на шее, в валеных опорках на голых ногах, один из тех несчастных детей, которых много встречается по большим городам снующими по тротуарам, кабакам и трактирам. Пред ним лежали пироги; ребенок, ухватив один иззябшими руками, молча и смачно жевал, а его щеки лоснились от масла.

— Ешь, мальчик, ешь!.. Я опять к вам пришел... Ваша ложь прогнала было меня... Сил у меня больше не стало быть с вами, и я ушел искать спасения для себя и для вас, — говорил Павел сквозь слезы, смотря на евшего мальчика. — Бежал я от вас к тем, которые говорили, что у них есть «правда». Ну, и вот, видишь, я опять с вами... Ну, и довольно одного этого, чтобы понять, почему я... Или ты не понимаешь? Нет? — спрашивал он, гладя мальчика по голове.

Мальчик молчал, ел и боязливо взглядывал исподлобья на Павла; может быть, он боялся, чтобы тот не раздумал и не отнял у него пироги.

— Погоди, мальчик, придет время — и они придут к нам искать у нас «правды жизни», здесь... здесь!.. Ну, что, сыт? Приходи же завтра опять... У меня, мальчик, праздник: я переворот праздную!.. Да приведи ты ко мне еще таких же, как ты... Мы с вами «обстановку» разрушать начнем!.. Хватит нам!..

III

Мы и не заметили с Петром Петровичем, как проходили в саду около двух часов. Морозов увлекся, приводя мне разнообразные иллюстрации к общей идее «современного цыганства».

— Ну, теперь зайдемте-ка на ферму, — сказал Морозов: — нужно взглянуть... Потом уж и разбудим Павла, будет ему дрыхнуть.

Но едва мы повернули в боковую аллею, ведущую к ферме, как нам навстречу показались Павел и Лизавета Николаевна.

— Они уже нас предупредили! — сказал Морозов.

— Да, брат, предупредили, — отвечал Павел. — И, скажу тебе, я очень рад, что твоя супруга предупредила тебя... Сударыня! Вы не обидитесь, если я скажу

такое лестное изречение: женщины обладают способностью всякую мужскую идею возвести в квадрат...

— Или, иначе сказать, всякие пустяки возвести в перл создания? — улыбнулась Лизавета Николаевна.

— Сударыня! это смотря по идее... Да, брат, — сказал Павел Морозову, — ручаюсь, что тебе никак не удалось бы рекомендоваться мне «совершенно новым человеком» так, как это сделала за тебя твоя супруга... Может быть, ты, по свойственной человеку деликатности и смирению, кое-где умолчал бы... кое-где покраснел бы... кое-где замялся бы... Ну, а тут уж все начистоту рекомендовали... без всяких сомнений, недоумений...

— Вот это и плохо, потому что в сущности тут недоумений и сомнений очень много, — возразил Морозов серьезно.

— У тебя вечные сомнения! — крикнула Лизавета Николаевна. — Это уж черта твоего характера... Вот ты и переносишь свои личные недоумения на самое дело, которое...

— Которое?.. Виноват, извольте продолжать, — перебил Павел.

— Которое совершенно точно, ясно и определенно...

— Совершенно верно, сударыня... Я повторяю: мужчины никогда не обладают такою искренностью... таким, так сказать, прямолинейным отношением к делу, как женщины... Да, брат Петя, ты напрасно умаляешь значение своего дела... По-американски, чорт возьми, устроено!.. Я не ожидал, что ты такой практик... Я полагал, что ты больше теоретик... И все на основании «последнего слова науки»?

— Что?

— А вот это подведение-то к одному знаменателю?.. А ловко! Я не ожидал, что «новые идеи» могут на практике давать такие блестящие результаты... А каковы рабочие?.. Мужики?.. Все кровь с молоком, здоровы... и трезвые... Вот это главное — для прямолинейности-то... Потому ведь пьяный человек, по сущности, более имеет склонность шататься сема и овама... Какая уж тут прямолинейность!.. Ну и что ж, все это достигнуто дарвинским «подбором»?..

— Ты, Павел, совсем изострился, — заметил Морозов, когда мы входили на лестницу террасы.

— Напротив... совершенно искренно говорю... Ну,

скажи, пожалуйста: много ли у нас таких блестящих результатов подведения мужиков к одному знаменателю?.. Ты сам знаешь, какими слезами обливаются сельские хозяева в своих собраниях. Нет, брат, честь отдать тебе! Прямолинейно! Сам, думаю я, Угрюм-Бурчеев, незабвенной памяти, и тот бы в умиление пришел... А уже на что был практик по части подведения мужиков к одному знаменателю!.. Однако, чорт знает, как я скоро стал ослабевать! — почти беззвучно произнес Павел и тяжело опустился на диван, когда мы вошли в гостиную.

Лицо его стало мрачно и сердито: казалось, в уме его мелькнула мысль о смерти. Морозов тоже заугрюмел; в выражении его глаз светились досада, обида и грусть.

— Павел, мы перестали понимать друг друга... Это плохо! — сказал он, не обращая внимания на последние слова Павла, когда Лизавета Николаевна вышла.

— Напрасно, мой друг, ты так думаешь!.. Значит, ты плохо усвоил себе то, что разумею я под словами «хамство идеи»... Ты думаешь, я не знаю, что тебя, как человека честной души, мучат недоумения и сомнения? Знаю, брат... Но знаю и то, что, не имея в виду ничего лучшего, ты рабски, как хамово отродье, тянешь старую канитель и не находишь сил порвать крепостные цепи, которыми приковали тебя к себе старые божки... Верно, брат, это? верно ведь?

— Верно... Но верно и то, что не могу я итти и к вам... Если у нас хамство, как ты говоришь, то у вас...

— Свинство, — хочешь ты, может быть, сказать? — перебил Павел. — Что же? Вали... не впервой... Слыхивали и такие словца... Только, брат, зачем же к нам?.. Мы к себе уж никого не зовем... Мы люди отпетые...

— Но ведь должно же быть у вас что-нибудь впереди, что вы ищете, к чему вы стремитесь...

— Есть, мой друг...

— Что же?

— Койка в университетских клиниках, — проговорил снова почти беззвучно Павел.

Морозова передернуло было от досады (он не любил непрямых ответов), но, взглянув в лицо Павла, только теперь, казалось, он понял, что тут уже с «жизнью покончен расчет» и остается одно: de mortui aut

bene, aut nihil[1]... Повидимому, это ужасно поразило его; хотя он сам говорил, что «они — обреченные», хотя он чувствовал, что «стоило только дунуть, чтобы Павел рассыпался прахом», но так ощутительно почуять близость конца, так почти воочию увидеть веяние смерти над дорогим существом, как заметил это Морозов по лицу Павла, было ему не легко. Сострадание, прощение, любовь снова, как и раньше, согнали с его лица выражение досадливой грусти.

— Покой, брат, нам нужен... Но, понимаешь, абсолютный покой... Только в абсолютном покое, в смерти, и есть абсолютная справедливость, — тихо и медленно говорил Павел. — Чувствовал ли ты когда-нибудь эту жуткую потребность покоя-смерти? Нет, ты еще не чувствовал... Для этого нужно «отжить», как мы...

— Полно, Павел, полно... Это вздор, — заговорил с участием Морозов. — Знаешь это:

Еще работы в жизни много,
Работы честной и святой!..

В особенности для вас — художников...

— Нет, брат, и нам есть конец. Чувствую, что будет... В этих терзаниях мозг отупел... нервы притупились... Чувствую, брат Петя, мысль меня оставила... Уже и самые образы в моем воображении являются туманными, без плоти и крови... Случалось ли тебе наблюдать, как умирает в чахотке смышленый в своем деле врач? А мне случалось... Жутко, брат, со стороны смотреть было, а он мне рассказывает: «Вот, говорит, чувствую, как уже вся внутренность, все внутренние оболочки перешли в катаральное состояние...» Потом помолчит и опять заговорит: «А вот теперь, говорит, чувствую, как понемногу парализуется отправление органов... кишки уже парализованы...» Опять молчание... «А вот теперь, чувствую, и почки уж... и мочевой пузырь... Скоро, брат, скоро ad patres!»[2] Каковы тебе кажутся эти «чувствую»?.. Ну, вот и я как художник чувствую, как мысль покидает меня... Мысль... А что мы без мысли? Что? Ведь она-то и есть «божья искра», которая согревала нашу душу, поддерживала нашу энергию, укрепляла нас в страданиях и... питала наше грешное тело!..

[1] О мертвых говорят или хорошо или ничего.

[2] К праотцам.

Без мысли никто не даст нам гроша... Погибла мысль—и мы погибли от нравственного и физического голода!

Павел стал бледен, только болезненный румянец пятнами лежал на его щеках. Он провел рукою по лбу и смолк.

— А знаешь ли, что мне этот лекарь после того сказал, пред самым уж концом? — спросил Павел.

— Что?

— «А все же, говорит, Павлуша, мы с тобой летом еще в Эмс хватим. Что же, говорит, и нам можно... У меня есть кое-какие гроши... ребятишкам хотел было оставить... Только бы вот весну-то переждать!..» Ишь чего захотел — в Эмс!..

— Ну, вот видишь, — сказал Морозов, — жизнь свое возьмет!

— Да, а через полдня он умер, этот лекарь-то... И выходит:

Надежда, надежда,
Мой сладкий удел!
Куда ты, мой ангел,
Куда улетел?

А скажи, пожалуйста, говорят, где-то здесь некий лекарь (кстати уж, коли пошло на лекарей)... некий лекарь Башкиров проживает?..

— Проживает...

— Слыхал я о нем кое-что... Ты его знаешь?

— Знаю... Да ты вот что... перестал бы говорить-то много... Ляг лучше... Вот тут и подушка есть...

— Ну, ладно... Я лягу, а ты мне все же расскажи про него, что знаешь... Я буду молчать и слушать... Может быть, и засну, так уж ты извини... На меня нынче спячка иногда находит. Зловещий, брат, признак.

— Будет тебе!

— А твоя супруга сюда не придет?

— А что?.. Лежи... Я предупрежу ее, не конфузься...

— То-то... А то я теперь надлежащим джентльменством не обладаю... А она все насчет «украшения жизни»... Все уговаривает, чтобы я здесь остался... Для «высоких дум» самое, говорит, удобное место... Вы, говорит, скрасите нашу жизнь... А ведь эти подвалы, чердаки да «комнаты с небилью» — гибель для вас... Еще бы! — «Я, говорит, и Башкирова приглашу... А то, говорит, все мы врозь глядим, — вот, говорит, настоя-

щего-то дела и не выходит. — Славная она такая женщина, добрая... Да ведь и в Питере много было их, хороших-то женщин, а все же я утек.

— Ну, так или иначе, а я все-таки тебя не отпущу,— сказал Морозов.

— Да куда уж мне!.. Я, брат, и сам радешенек, что хоть есть приличное место для «исхода души»!.. Будет уж, помытарствовал!.. Да, ну так что же о Башкирове-то знаешь?

— Знаю я не особенно много, — сказал Морозов. — Вы, кажется, тоже интересовались им? — спросил он меня. — Так вот и кстати.

Павел вытянул вдоль дивана свои тонкие ноги, положил руки на грудь и сурово стал смотреть в потолок.

— Я только два раза и видел его перед тем, как он поселился около нас, в избе, — начал Морозов. — ...Однажды я его встретил в Москве, на студенческой квартире у одного довольно обеспеченного студента... Он только что кончил курс. Он уже и тогда поразил меня своею оригинальностью, а в особенности я был поражен тем, с каким уважением относилась молодежь к нему, к этой невзрачной, смирной, застенчивой личности... А он только и делал, что добродушно улыбался да краснел и потел... Говорить он, кажется, вовсе не умел... А между тем тут, по обыкновению, ораторствовали вдоволь, и каждый оратор в конце речи непременно обращался к нему с вопросом: «Как вы на это взглянете, Иван Терентьич?..» И все смотрели на Ивана Терентьича, пока он медленно вытягивал из-под дивана ноги и приводил в движение язык, чтобы только сказать: «Что ж! Ничаво... дело хорошее, ежели вообще-то взять...» И, изрекши это, опять усаживался в угол... К концу вечера хозяин, который, кажется, очень заискивал у Башкирова, обратился к нему опять, наверное уже с неоднократною просьбою — поселиться у него: квартира была просторная, светлая, сухая... Гости тоже присоединились к хозяину... Башкиров смутился — и не соглашался. Его допрашивали: почему? Приводили все удобства этой квартиры, сравнительно с тою конурой, в которой он жил. Башкиров, наконец, выпалил: «Да чаво ж я от своих хозяев уйду? К ним, окромя меня, никто не пойдет... А я все ж им малую толику в доходную статью вношу...» С тем и ушел. Начались, конечно, о

нем толки; говорили о том, что он жил с какими-то малярами, которые уступали ему маленькую, сырую комнатку, брали с него пять рублей в месяц, и все эти пять рублей всею артелью ежемесячно пропивали... Иные считали такой образ жизни оригинальничаньем со стороны Башкирова, но другие жарко его защищали, как может защищать юность своих любимцев.

— Только вы его и видели? — спросил я.

— Нет, и еще раз видел... Я вам опять признаюсь, что, несмотря на жаркую защиту молодежи, Башкиров своею утрировкой уже и тогда произвел на меня впечатление не в его пользу. Но... вот, год спустя после этого, один молодец, большой руки либерал, затащил меня к нему. Мы пришли к нему уже вечером. Пробравшись через темный и грязный двор, мы вошли в сени, совершенно поглощенные мраком, и целые полчаса искали дверную скобку; наконец нашли. В отворенную дверь повалил пар, и послышались целые десятки голосов. Вокруг стола сидели рабочие и пили чай; на столе горела сальная свеча, отчего в большой комнате было очень сумрачно. На наш вопрос, нам указали на маленькую дверь в стене. Отворив ее, мы, наконец, попали к Башкирову. Комната была длинная и просторная, но почти ничем не меблированная, кроме письменного стола с лампой, покрытой бумажным зеленым абажуром, трех стульев, двух простых сосновых табуреток, кушетки, очень похожей на корыто, так как средина в ней провалилась, и железной кровати, купленной по случаю в больнице, даже с доской, прикрепленной на палке у изголовья; на ней, кажется, и тогда еще я заметил полустертую латинскую надпись. Башкиров встретил нас в потертом пальто, с растрепанными волосами и в ночной семинарской рубашке, завязанной у шеи грязными тесемками... Черные брюки у него попали за спустившиеся от дряхлости рыжие голенища, из одного сапога высовывалась какая-то тесьма, которую он, ходя, возил за собою по полу... Как видите, я до мелочей все заметил, и это именно потому, что я был уже предубежден и видел во всем утрировку... Может быть, впрочем, ее и не было, но уже все так складывалось, как нарочно... Встретил он меня с моим либералом не особенно радушно, хотя либерал мой и называл его своим приятелем. У него были гости: два

мастеровых в нагольных полушубках, которые тотчас же было начали прощаться, но он их не пустил и усадил опять. А на кушетке сидела одна, чрезвычайно странная личность: я не мог определить, сколько ей было лет. Длинные, нечесаные волосы падали на плечи, лицо заросло белесовато-рыжею бородою, глаза блуждали; поверх выпущенной за пояс рубахи надет был широкий засаленный полукафтан, какие носят послушники и дьячки; из-за неприкрытых пол смотрели грязные белые штаны. Пока я вглядывался в эту странную личность, она вертела бестолково пальцами и, наконец, вдруг схватила стоявший за нею у стены посох с птицей вместо набалдашника... Башкиров, разговаривавший до этого с моим спутником, который предлагал ему принять участие в какой-то филантропической затее, тотчас же обратился к юродивому; этот понес обычную чепуху, в виде откровенных изречений — об отрешении, о пустыни... об обличениях на площадях, что будто бы он проповедывал на базарах, за что «терпел» и «нес крест» по полицейским кутузкам. Башкиров, нужно вам сказать, с чрезвычайным вниманием вслушивался в слова юродствующего. Мой спутник напрасно старался прервать эту болтовню. Башкиров только мельком взглядывал на него, мыча что-то в ответ, и опять обращался к юродивому... Это уже выходило из всяких границ, по крайней мере по мнению моего спутника. Он не вытерпел и, как-то заегозив на стуле, вскрикнул: «Послушай, Башкиров! Ведь это чорт знает что такое! Неужели тебе не наскучило слушать дребедень дармоеда?..» Как вы думаете, что сталось с этим застенчивым, тихим и смирным Башкировым?.. Он освирепел: башкирские глазки его обратились просто в узенькие щелки, из которых сверкал огонь, лицо налилось кровью, мне даже показалось, будто волосы поднялись на его голове... Он медленно повернулся к моему спутнику и отвечал не тотчас, по обыкновению; помолчав секунд десять, он проговорил своим обыкновенным неторопливым голосом: «Ежели кому неохотно уважать моих гостей, такового прошу не утруждать себя знакомством со мною». — «Ну, ты сегодня чрезвычайно странно настроен, — перебил его мой знакомый, в замешательстве ища шляпу. — Мы коли придем лучше к тебе в другой раз...» Башкиров молча опустился на стул и, пыхтя,

смотрел на нас, как будто дожидаясь, когда мы уйдем... Признаюсь вам, положение мое было невыразимо глупое... Выбравшись на божий свет из мрачного и затхлого подвала, с которым так гармонировала и душная духовная атмосфера в нем обитавших, я выругал и своего либерала, и Башкирова. Я был ужасно рассержен... С тех пор я уже не сталкивался близко с Башкировым; но его красное, освирепелое монгольское лицо так и застыло в моем воображении... Я и до сих пор иначе не представляю его себе... Боюсь я его, — закончил Морозов и улыбнулся. Павел молчал.

— Павел, ты спишь? — спросил Морозов.

— Кто? Я? — вздрогнул Павел. — Нет, кажется, я не спал... кажется, я о чем-то думал... Да!.. Вот что: пойдем-ка к тебе в кабинет... Я там, кстати, выпью... Мне легче будет... Но вот еще что: у меня есть заяц.

— Какой заяц?

— Собственно уж не заяц, а инвалид заячьей породы. Нога у него перебита. Мальчишки, чай, деревенские, шельмецы!.. Экая у них эта дикость. Никакой гуманности! Я отдал его на соблюдение твоим фрейлинам. Так уж ты, пожалуйста, прикажи им, чтобы пособлюли его.

— Ну, хорошо, хорошо!

Павел пошел в кабинет, а я стал прощаться с Морозовым.

— Как он своими «переворотами» напоминает мне такого же чудака — моего отца, — сказал Морозов, провожая меня. — Такой же был! Должно быть, и в этом сходстве есть какая-нибудь органическая связь. Может быть, потому он мне так и дорог.

IV

На третий день, ранним утром, свершая свой обычный моцион по полям и рощам, я случайно проходил по задам морозовской усадьбы, сплошь заросшей в этом месте густым парком, почти обратившимся в лес. Из маленькой калитки, уцелевшей в полуразрушенном заборе, мне навстречу показалась фигура, на длинных тонких ногах, в поярковой шляпе, с саквояжем в одной руке, и с лукошком в другой. Я тотчас же узнал в ней Миртова.

— Павел Иваныч, куда вы? — окликнул я.

Миртов остановился и стал вглядываться в меня.

— А! это вы! — сказал он, как будто несколько смутившись. — Вы туда? — показал он по направлению к морозовскому дому. — Пожалуйста, не говорите, что меня встретили. Я утекаю-с. Да-с, утекаю, самым мазурническим образом... яко тать в нощи, — прибавил он почти шопотом.

— Да что же такое?

— Не мог-с, никак не мог-с иначе. Такая уж натуришка! Это я не впервой так. Ну, знаете, если уйти по-джентльменски, так пришлось бы объясняться. Я их люблю... и уважаю... поверьте. Ведь они в сущности хорошие, славные люди... Петр Петрович очень хороший человек, ну, и супруга его... Да?

— Конечно.

— Ну, так вот видите: стали бы упрашивать, требовать объяснения... А я бы не устоял, никак не устоял бы. Потому что, первым делом, я никого не желаю огорчать.

— Вы куда же?

— Я? К Башкирову-с.

— Да вы идете в противоположную сторону! Вы знаете, где он живет?

— Доподлинно не знаю, но спросил бы кого-нибудь. Вы не укажете ли мне? А сюда я зашел-с нарочно... место глухое... так чтобы потихоньку пройти...

— Хорошо. Пойдемте вместе, я вам укажу.

— И прекрасно! Отправимтесь!

Павел, обремененный всем своим имуществом, зашагал впереди меня.

— Но что за причина? Ведь вы больны. Вам покой нужен. Вы же сами третьего дня, повидимому, рады были отдохнуть в тишине деревенского уединения?

— Это так-с... Да... верно... Только уж умереть мне иначе нельзя, как в клиниках. Это также верно. А утек я потому... Видите: все тут уж очень «прямолинейно»... Эти эксперименты над мужиками «по последнему слову науки»... Новые фермеры, откормленные с вящшими научными целями... А у меня грудь от этих «пейзажей» щемит. Нет, уж вы, пожалуйста, не говорите им, что встретили меня. Ведь они люди хорошие. Зачем же их огорчать!.. Теперь куда же прикажете по-

вернуть? — спросил он, когда мы прошли мимо парка.

— А вот сюда.

Павел нарочно, кажется, зашагал быстрее, чтобы избегнуть объяснения со мною.

Мы прошли по задворкам все село. Я показал ему избу Башкирова и распрощался.

В этот же день я должен был уехать верст за двадцать. Мне пришлось навестить Морозовых только спустя уже неделю. Меня встретила Лизавета Николаевна и тотчас же, не дожидаясь моего вопроса, сообщила мне об уходе от них Миртова.

— Я уже знал это в тот же день.

— Вы знали? Что ж вы не сказали нам? Отчего вы не зашли к нам тогда?

— Я обещал ему не говорить вам.

— Господи! Что это за странные люди все у нас! — сказала Лизавета Николаевна. — Только посредственность у нас нисколько не странна, но все, что мало-мальски выше этой посредственности, все это — странные люди, к которым не знаешь, как подойти, не знаешь, как любить их. Петя после его ухода стал еще мрачнее.

— Вам неудачи все.

— Да. Я теперь еще яснее вижу, что для нас, может быть, все кончено. И какой он чудак, этот Павел Иваныч. Ведь он так слаб... ведь он мог умереть где-нибудь на дороге!

— Где ж он теперь?

— А вот Петя вам скажет, — сказала Лизавета Николаевна, когда в зал вошел Морозов.

— Вы спрашиваете о Павле? — спросил он меня. — Вот полюбуйтесь, — прибавил он каким-то разбитым голосом, кладя предо мною на стол письмо.

Я привожу его дословно (впоследствии я получил от Морозова это письмо вместе с другими бумагами).

«Дорогой мой Петр! Наконец я в центре самого лучшего тепла и какой-то милой, безмолвной тишины, то есть в клинике, в 18-й палате, на Рождественке. Да, брат, наконец, в клинике! Наконец на один шаг от абсолютного покоя... чую близость могилы, которая обоймет меня своими холодными объятиями, и из нее уже некуда будет *утечь!*.. Finis!..[1] Впрочем, и теперь я

---

[1] Конец.

уже никуда не могу утечь: ноги отнялись, больше лежу и созерцаю. Большую часть времени пребываю в забытьи. Вот оно — предчувствие абсолютного покоя — смерти. Я уже и теперь почти мертв, почти уже снизошел в область этого абсолютного покоя, если бы... чорт бы их совсем побрал!.. если бы слишком усердные юные жрецы науки не напоминали мне ежедневно, что я жив, обращаясь со мною, как с автоматом, с трупом. Мне это ужасно обидно, и я постоянно ругаюсь с ними, желая хоть чем-нибудь заявить, что еще я живой человек, что я еще не просто cadaver[1], любопытный для них с научной точки зрения. В особенности ненавижу я одного из них: какой-то прилизанный студент с оловянными глазами, до умопомрачения обуянный желанием выказаться пред профессорами. И ради этого он мучает меня по целым часам! Но что всего обиднее: по роже его вижу, что подлецу капитал хочется нажить, из науки некую дойную корову сделать!.. Всем, брат, хороши клиники, только скверно сознание быть препаратом этих господ. Впрочем, от них я начинаю избавляться. Кажется, решили, что я скоро умру и потому интересного во мне уже мало. Но зато явился другой мучитель. Как раз рядом со мною поместился какой-то оболтус, выше сажени ростом, с телячьим взглядом и брайтовою болезнью. Ты не можешь представить, чего стоит мне этот человек?.. Неужели это еще не последнее испытание, посланное мне жизнью, даже без возможности «утечь» от него!.. Нет, уж это, должно быть, последнее. Представь, я лежу, нарочно закрывши глаза, но сам чувствую на себе телячий взгляд этого болвана. Он с невероятным постоянством выжидает, когда я открою глаза. И едва я успею их открыть, чтобы хоть только чихнуть, как уже с широчайшею улыбкой оболтус несется ко мне и начинает, и начинает. Ни один бес на том свете не придумает хитрее мучений. В продолжение двух часов он сыплет на тебя статистикой, финансами, политическою экономией, Вреденом и Бакстом, Шульце-Деличем и Бастиа, и в заключение вынимает из-под подушки рукопись. О, ужасная рукопись! Я запомнил ее заглавие, чтобы не забыть и на том свете. Она называется: «Опыт строго научного исследования о благо-

---

[1] Труп.

состоянии народов: ссудо-сберегательные кассы, как вернейшее средство... от блох, клопов, тараканов... Тьфу!.. нет, не так! (извини, не хочется зачеркнуть), как вернейшее средство от современных экономических зол»... Эту рукопись он называет «рассуждением» (!), имеющим быть представленным на степень «молодого нашего ученого»... то бишь, на степень магистра Московского университета. С каким удовольствием утек бы я от этих «молодых наших ученых» на мою милую Грачевку! Но чорт с ним! Говорят, завтра переведут его в другую палату. И тогда уж наверно — абсолютный покой!.. Постой, дай отдохнуть... Я ведь пишу урывками! Дай полежать часок в забытьи: славно уж очень это забвение-то! Славно и то, что я умираю один, один, в полном смысле этого слова. Стариков моих ведь уж давно нет вживе. Друзей... но виноваты ли они, что я всю жизнь «утекал» от них?.. Кто же виноват в том, что я один? Я сам, что ли? Ну, подожди до завтра. NB. Заяц мой издох дорогой. Не вынес и он, бедняга, цыганства!»

«Утро. Я уже встал. Все еще спят... Тихо... Да по утрам и чувствую я себя лучше. Побеседую с тобой еще. Ты, вероятно, на меня огорчился, что я и от тебя утек?.. Что делать, Петруша! Это — фатально... Ты сам ведь человек умный, и, кажется, сам развиваешь последовательно теорию «российского цыганства»... Что ж огорчаться-то?.. Но ты, может быть, огорчился не на то, что я утек вообще, а на то, что я утек к Башкирову?.. Брат! ведь я еще тогда живой человек был, а не «загробный», как теперь. (С тех пор, как я уже лишился возможности «утекать», а следовательно, заживо, так сказать, поступил в полное распоряжение меня окружающих, я потерял свою личность, провиденциальный смысл ее, специфическую сущность; ergo [1] — я уже теперь «загробный».) Жажда искания «правды жизни» жила, брат, во мне до того последнего момента, когда подкосились ноги и я уже очутился не в состоянии ходить на поиски этой «правды» и утекать от «неправды»... Мог ли же, брат, я отказаться услышать еще новый ответ на запрос о «правде жизни»?.. И я утек от тебя, но утек и от Башкирова, утек после того еще раз от тех, кого встретил после него... и, наконец, как видишь,

[1] Следовательно.

добрался до предназначенного мне свыше пункта — до клиники. Может быть, ты хочешь знать, почему я так скоро утек и от Башкирова?.. Как тебе сказать? Вообще это трудно объяснить... Ведь и все свои перевороты я совершал как-то больше непосредственно, чем ясно сознательно, больше под давлением каких-то смутно чувствуемых мною стимулов, вроде, например, того, что у меня грудь начинает щемить, сердце ныть, или вроде внезапно охватывающей меня боязни... (Скажешь, ты, пожалуй, что это плохие резоны; я и сам знаю, но я привык верить им — и редко ошибался... Непосредственное чутье имеет свои права.) Нечто вроде этой внезапной боязни охватило меня на другой же день моего пребывания у Башкирова. Но только я испугался не его, как ты. Он совсем не так страшен, как показался тебе. Он человек добрый, славный. Иногда он проделывает кое-какие «выверты», ну, да русский хороший человек без этого еще не может обойтись, нужно полагать... Это, полагаю, оттого, что хороший русский человек *слишком* способен чувствовать сам то, что он хороший человек, — как ребенок, сделав похвальное дело, ходит гоголем, с блестящими глазами, с пылающими щеками... Это подчеркивание хороших черт в себе — удел молодости, в первый раз почувствовавшей в себе самобытные силы... Современем это пройдет, как проходит это подчеркивание, когда юноша сделается мужем. Принял меня Башкиров радушно и предложил даже полечиться у него «по-деревенски»... И я рассчитывал надолго остаться у него. Когда я вошел в его чисто прибранную избу, просторную и вместе уютную, на меня повеяло чем-то родным, близким... Детством моим пахнуло на меня... Припомнилась родная изба... В переднем углу висел образ Спаса, хорошего, так называемого «строгого» письма; перед образом лампадка (мать у Башкирова — богомольная старушка). Под образом сидел постоянно седой старик, глядевший кротко своими, уже давно, как кажется, ничего не видящими очесами. Седая борода его свалялась и висела двумя длинными косицами. Он был в простой изгребной рубахе и синих портах, босиком... Тихий, вздрагивающий свет лампадки лился на его покойное, старческое лицо... Я не мог оторвать глаз от этого старика... То напоминал он мне моего деда, то вызывал в памяти ряд родных деревен-

ских картин... Он вновь вызвал было на мгновение во мне творческую мысль. Он напомнил мне другого такого же старца, которого я раза два прежде встречал на сельских базарах в храмовые праздники. Может быть, и ты припомнишь такую картину. (Не велено мне много писать, ну, да уж не могу удержаться! Вспомню хоть последний разок свою родину!)

Большая площадь в селе полна народа, двигающегося у возов. В конце площади — каменная посеревшая церковь с маленькою оградой вокруг; зеленая лужайка близ нее; на лужайку падает длинная тень, и в этой тени кучки баб с котомками, слепые нищие... С колокольни несется пронзительный звон «к отходу»; одни выходят из церкви, другие, запоздавшие, торопятся в нее... Слепые нищие стараются петь еще громче... Но вот в стороне вы видите толпу... Она собралась около высокого седого старика...

Вот уже двадцать лет, как и зимой, и летом, в валеных истоптанных, с пробитыми подошвами сапогах, в засаленной, когда-то сшитой из хорошего «дворянского» сукна чуйке, с головой, покрытой густою седою гривой вместо шапки, ходит он в сопровождении своего неизменного спутника, «глупенького» мужичонки Стешки, по всем окрестным градам и весям... Давно всем и каждому знакома и его широкая, сбитая в войлок, седая борода, которую приглаживает он заскорузлою ладонью, и его добрые, «по глупости», как говорят, глаза, и его высокий лоб, на котором многие видят следы бывшего у него прежде «крепкого рассудка»... Любил простой народ слушать этого «блаженного» старца, когда он, «изыдя на площадь» во время базаров, начинал «провещать» что-то, помахивая легонько своею клюкою и медленно поглаживая бороду... Часто прислушивались к его речам не только простой народ, а и «умные» люди — сановитые купцы, образованные чиновники и начальство, да ничего не поняли в его мягко лившейся безалаберной речи... «И чего эти дураки его слушают!» — удивлялись только образованные люди... Но слушали его эти дураки не так, как люди образованные, не хитрым умом внимали его речи, а глазам их приятно было читать на его лице то «блаженное», что разливалось по его лицу и искрилось в его полубезумном взгляде, — сердцем и душой слушали они его...

Подойдет к толпе старушка больная, долго и пристально взглядывает она на него и совсем ничего не слышит, а вдруг слезы и польются у нее ручьем, и польются... Шепчет молитву старуха, крестится и посылает «блаженненькому» всякие добрые пожелания... «Что, старушка, плачешь?» — спрашивает ее мимоходом бойкий и добродушно-любопытный сын народа. «А вот, красавец, Пименыча послушала... Посмотрела, как это от его лица такая ли мягкость да доброта исходит... Вот и плачу, и полегче мне стало...» — «Ну, дело хорошее! Так, так... От Пименыча речей, пожалуй, умней не станешь, а что душевнее будешь — это верно...»

Вот картина, вся освещенная ярким летним солнцем, обливающим своими лучами пыльную площадь, на которой совершается купля-продажа тяжкого народного труда...

Я передал все эти, охватившие меня воспоминания, Башкирову. «Ведь вы, известно, художники!—сказал он, добродушно улыбаясь. — А что вот ему с голоду пришлось было умирать под старость, так это тоже своего рода картина!..» И долго мы в этот вечер проболтали с Башкировым о народе... И ведь чудак — сам оказался таким же идеалистом! Как глубоко он чувствует и как беззаветно верит!.. Ну, мы, наговорившись, наконец, уснули... Старик давно уже спал на той же лавке под образами... Было два часа, а я еще не засыпал: вызванные стариком в моем воспоминании картины деревни, как в панораме, цепляясь одна за другую, бесконечною вереницей вставали в моем воображении... И... что я вижу?.. Во сне или наяву? В щель перегородки мне виден весь старик... Он поднялся, осмотрелся и, крадучись, стал развязывать на худых ногах онучи... Бережно, при свете лампадки, развернул он эти провонявшие и прогнившие почти тряпки... Дрожащими старческими руками, боязливо и чутко оглядываясь, стал он считать... деньги!.. Мне стеснило грудь, слезы подступили к горлу... Я чуть не зарыдал... Я завернулся с головой в одеяло, но спать уже не мог... Едва забрезжилось, я поднялся, сказал Башкирову, что я ухожу, — и вышел. Старик уже стоял на крыльце и, обратясь на восток, молился, едва держась на трясущихся ногах и цепляясь рукой за перила крылечка... Он посмотрел на меня своими бесцветными глазами... Не обертываясь, я побежал прочь,

все дальше и дальше от этого взгляда... Но он преследует меня и теперь! О, этот старик!.. Ты, может быть, спросишь меня, как и Башкиров: «Да что же тут такого?» Не знаю, не знаю, не спрашивайте меня... Я чувствую только, что мое сердце ноет и ноет, что демон лжи не оставляет меня даже у порога могилы...

Прости, больше не могу... Рука ослабела... Устал... Лягу сейчас.. Если бы забыться! Но этот демон лжи, развративший мою родину!..»

Здесь письмо кончалось словами, уже написанными, очевидно, после: «До свидания, Петр. Когда ты получишь это письмо, я, вероятно, уже буду на Ваганьковском... Вспоминай иногда мою «злохудожную» душу!.. Таких, как мы, уже, вероятно, не будет больше, или по крайней мере—*не должно* быть... Мы сделали *свое* дело:

Мертвые в мире почили,
Дело настало живым!

Вот мое завещание...»

— Он не умрет еще! — сказала Лизавета Николаевна: — этот покой, который был ему так нужен, спасет его...

— Он умер, — промолвил Морозов.

— Умер?!

— Да. Я сегодня получил телеграмму из Москвы.

Мрачен был Морозов, говоря эти слова. Повидимому, посещение Павла и его скорая смерть произвели на его душу глубокое впечатление.

Глава девятая

НАКАНУНЕ

Наступившее ненастье надолго засадило меня в моей избе, тесной, душной, с маленькими окнами, с плохими рамами, привязанными бечевками к косякам, с бесконечным количеством мух и запахом кислой прошлогодней капусты, которую усердно ели мои хозяева, в ожидании свежей, пользуясь постом, запрещавшим им есть скоромное, которого у них оказалось очень мало. Мелкий

дождь семенил с утра до вечера. Небо хмурилось кисло и слезливо. Скучно в ненастье досужим людям в городе, а в деревне еще скучнее. «Лоно природы» обращается в нечто грязное, мокрое, вязкое. Прекрасные поселянки становятся злее, хмурее и молчаливее. Очень могло случиться, что в качестве досужего человека я окончательно затосковал бы от деревни, если бы не произошло одно обстоятельство, которое несколько нарушило гнетущее однообразие деревенского ненастного дня. Это обстоятельство вызвало на улицу всю деревню и дало свежий материал для собеседований. Обстоятельство это, если хотите, было очень обыкновенное. Как-то раз, утром, когда вороны каркали особенно настойчиво и надоедливо, через деревню проносили покойника. Впереди, задолго еще до гроба, показался мальчуган с почернелой иконой в руках, которую он держал на лоскутке белого холста: чинно и солидно пространствовал он по жидкой грязи среди улицы; два других мальчугана, в огромных сапогах и в длинных материнских кацавейках, с шапками в руках и мокрыми головами, сопровождали его, стараясь возможно шире шагать через лужи. Немного спустя показалась крышка, надетая на головы, принадлежавшие, вероятно, тем двум синим сибиркам, которых длинные полы развевались на ходу из-под крышки. Наконец показался и гроб, вымазанный охрой, покрытый вылинявшим и окончательно потерявшим позолоту стареньким церковным покровом. Шестеро мокрых мужиков несли его на серых холстинах. За гробом торопливо шли две старухи; одна из них несла в руках узелок с медом и кутьей. В них я признал Павлу и Секлетею. Рядом с ними шел Башкиров, в больших сапогах, в старом черном пальтишке до колен, без шапки, с повязанными носовым платком ушами. Несколько сзади ковылял хромой мужик, размахивая одной рукой, в которой была шапка, а другой — опираясь на подог, да какая-то старуха, сгорбившись «в три погибели», трусила за ними и постоянно сморкалась в полу. Едва процессия вошла в деревенскую улицу, как из всех ворот повысыпали обыватели. Все крестились, а многие подходили к гробу и кидали гроши в деревянную чашку, поставленную в ногах покойника, и молча кланялись Башкирову. Посредине деревни мужики, несшие гроб, остановились, чтоб перетянуть холсты с одних

плеч на другие. Подошли обыватели и предложили от себя «смену». Трое усталых носильщиков согласились. Все разговаривали тихо, шопотом. Раздавались советы: «Держи, держи прямей! Подтяни в ногах-то! Господи Иисусе! В головах-то поддержите! Святый боже, святый крепкий! Ну, теперь ладно! Со святыми упокой!» Бабы, благочестиво сложив на грудях руки, разговаривали со старухами, поглядывая то на покойника, то на Башкирова, вставшего к гробу на смену одному из носильщиков. Дождь тихо барабанил в сосновую крышку и пробирался за воро́та провожавших. Звонко упал в чашку последний грош; процессия тронулась. Оставшиеся обыватели перекрестились, вздохнули и долго еще всей деревней смотрели вслед уходившим. Потом сбились в кучу под одними воротами с навесом и долго о чем-то толковали.

После обеда погода начала разведриваться; серые тучи рассеялись и превратились в белые, молочные хлопья быстро мчавшихся по голубому небу облаков; заходящее солнце весело заиграло на мокрой листве и соломенных крышах изб. Собаки вылезли сушиться из-под ворот на солнечные полосы, легшие поперек улицы. Ребятишки отправлялись странствовать по лужам. Деревня повеселела. Я вышел на улицу и завел разговор с первым же проходившим мимо мужиком.

— Кого это мимо вас утром пронесли?

— Пронесли-то? Мужика пронесли. Из суседских,— отвечал мужик и переложил хомут с одного плеча на другое.

— Это тот, что вешаться хотел, да сняли?

— Он самый. От смерти, брат, не спасешь, коли она идет, — заметил он.

— Ну, а Иван-то Терентьич Башкиров при чем тут?

— Иван-то Терентьич? — переспросил мужик и стал внимательно всматриваться в меня. — А вот что я тебе скажу, — неожиданно прибавил он, — ты тут посидишь, что ли?

— Посижу.

— Ну, ладно, посиди коли... А я вот сейчас мигом вернусь, только хомут в избу снесу... Так смотри, никуда не уходи! — крикнул он с дороги, трусцой пустившись к своей избе.

Минут через пять он шел обратно уже без хомута

и нес, тщательно рассматривая, какую-то бумагу. Не доходя до меня, он спрятал ее за пазуху.

— Доброго здоровья! — сказал он, подходя ко мне и снимая шляпу. — Вот и ведрышко господь дает. Слава те, господи! Теперь как-никак управимся. А то беда, хлеб весь, того гляди, погноили бы. И ты, чать, поди, рад солнышку-то? Болеешь ведь?

— Да, рад.

— Что ж у Ивана Терентьича не лечишься?

— У меня есть лекарь там, в столице, свой...

— Так, так... У вас свои лекаря. Иван Терентьич точно, по нашим, по мужицким, болезням больше, должно полагать?

— Нет, все одно: и он по всяким.

— Ну, где уж! Это, братец, кто что изобрал. Я однова вот в городе к лекарю затесался с дурьих глаз, а он на меня как крикнет: «Разве ты не знаешь, что я барынь лечу только!» Нет, это — кто к чему. Тоже ведь с нашим братом не всякому валандаться повадно. От нас барышей-то немного. Это уж кто разве из приятельства, — резонировал мой собеседник, а между тем потихоньку вынимал из-за пазухи бумажку. — Ну-ко, вот посмотри, — сказал он тихонько, всовывая мне бумажку в руку, и отвернулся от меня вполоборота, как бы отстраняя себя от всякого соучастия в дальнейшем ходе дела.

— Что же это? Письмо?

— Письмо... Ребятам своим посылаю... в Москву. В Москве они у меня на заработках... В плотничьей артели, — говорил он, изредка оборачивая лицо ко мне.

— Так прочесть тебе?

— Да. Проверку нужно сделать. Потому самый этот писец-то баловаться стал.

— Как баловаться? Он из каких?

— Из наших, из крестьян... бобыль. Что насчет письма — золотой был человек, а теперь только смотри за ним в оба... Избаловался, да и шабаш! Пить, что ли, стал много: балует — да и конец!

— Как же он балует?

— А так вот: ты ему говоришь одно, а он тебе напишет что ни то непотребное... Намедничка что ведь придумал: пишет вот также от одного мужичка. Мужичок говорит: «Пиши: у матки твоей зубы болят», а он

написал, что у матки все зубы за ночь повыпали, не пьет не ест, пришли, вишь ты, ей новых зубов заморских на целый рот... Вот ведь охальник какой!.. Думаем поучить его когда при случае...

— Да ведь он вам читает?

— Читает, как же, как быть надлежит, а потом и объявится какое ни то непотребство... Ну-ко, прочти, да потише! А то услышит — осерчает. Не любит он этих проверок.

Я развернул четвертку серой бумаги, всю исписанную толстым, так называемым «полууставным» почерком и стал читать. Мужик сидел ко мне попрежнему боком, наклонив голову, и слушал, сняв шляпу, перекладывая в ней платок и постоянно приговаривая: «Так, так! Как следует! Что верно, то верно!.. Вот-вот, как есть, все мое слово, все!»

Я не стану утомлять внимание читателя воспроизведением всем известных приемов крестьянского письма с неизбежным «к любезнейшим нашим кровным», с «родительским благословением, навеки нерушимым», с отчетами о здоровьи всей родни, составляющей чуть не полдеревни, и с вторичным переименованием ее же в отделе поклонов. Я постараюсь воспроизвести только одно место, может быть небезынтересное для читателя. «А что насчет сведомленья вашего об Иване Терентьиче и, как просили вы, от артели поклон ему передать, так мы все в точности по вашей общей просьбе исполнили, сами со старухой к нему в троицын день ходили и чаем от него угощались, а живет он попрежнему, и в согласии с нами то ж попрежнему, и мы им довольны такожде попрежнему. А в волости нашей большой вышел сюжет...»

— Вот, вот и пошел... Вот уж я этого слова в жизнь свою не говорил, — перебил меня мужик. — Ну-ко, нуко, прочти еще... Вишь ведь, попутал бес!.. Это что же значит?

— Да ничего особенного... Дальше видно, что это означает просто «происшествие», сумятица вышла.

— Ну, это так... так... точно, что сумятица... Так чего ж он эдакое слово ввернул?

— Так, захотел ученостью похвастать...

— Это, пожалуй что... У него эта повадка есть. Он прежде-то к дворне был приспособлен, ну, и нашвырялся

около бар-то. Это верно... Так оставить это слово-то? А то уж измени лучше, бога для!

Я обещал ему поправить и продолжал читать: «Старух наших Павлу да Аксентью суровецкие на месте их жительства очень убеспокоили и, что касательно земли и разных наложениев, утеснили. Слух идет, что от богатеев это все учинилось. А старухи были в большом огорчении, с миром и старшиной тягались. Слышно, уйтить хотят. А Иван Терентьич, слышь, у старшины по этим делам был и со стариками говорил, хлопотал, да тем временем старухи сами решенье уставили — отойтить. По сей причине старшина наш, Филипп Иваныч, просит себе у начальства увольнение, и как все это покончится — одному богу известно; о старухах же известим. А они вам кланяются и просят нижайше об этом отписать. А Иван Терентьич всем кланяются, и будет он к осени опять в столице. И засим мы с маткой живы и невредимы».

— Так, так... это все точно,—перебил меня мужик,— только я тебя попросить хотел бы: пропиши ты тут еще, сделай милость (вот тут, чистое местечко осталось), пропиши насчет вот покойника-то, как и что: Иван, мол, Терентьич за ним ходил неустанно, как его с петли сняли, и схоронил на свои капиталы (у мужика-то только одна матка и была старуха, чуть с голодухи не померла), сам на вечное упокоение провожал!

Я сделал мужику все, что он просил.

Наступающие после долгого ненастья ведряные дни бывают как-то особенно хороши: воздух, еще несколько влажный, мягок и свеж; вымытая зелень блестит ярко и пышно, как будто все убралось, вычистилось, выходилось под праздник; по голубому небу весело бегут белые облака, словно гоняясь с вьющимися вверху стрижами и ласточками.

На другой день, совершенно неожиданно, на пороге моей отворенной комнаты появилась сгорбившаяся в дверях фигура Морозова.

— Вот и я к вам забрел, — сказал он, с добродушно-суровым выражением подавая мне руку.

— Милости прошу!

— Я все поджидал вас к нам, не утерпел, сам пришел...

— Садитесь, будем чайничать...

— Нет, чайничать не стану, а так побеседуем.

Он было присел, но тотчас же, по обыкновению, поднялся, зашагал по комнате, скрипя половицами, и с добродушной иронией стал осматривать мое «обиталище». Несмотря, однако, на его старание придать своему посещению вид простого, обычного визита, я заметил по его лицу, что оно не было обычно, что он что-то обдумывал; вообще заметно было, что он пришел неспроста.

— Что вы поделывали за это время? — спросил я.

Он быстро повернулся и сел к окну на лавку.

— Собственно, дела никакого не делал, а, если хотите, — приканчивал дела и итоги подводил.

— Итоги? Чему?

— Всему. А прежде всего делам по имению жены, в качестве честного управляющего, который оставляет свой пост.

— Значит, снова снимаете свои шатры? — спросил я шутливо и посмотрел на него. Он опять поднялся и стал ходить, потрепывая бороду.

— Да, снова снимаю свой шатер, — поправил он меня: — должно быть, пора...

— И Лизавета Николаевна?

— Нет, уж это зачем же!.. Будет.

— Одни?

— Один. Что же тут особенного? Нам бы давно уже не мешало брать пример с народа. Беспокойный, неусидчивый мужик, отправляющийся шляться по лицу бесконечной великой и малой России, в поисках за «устоем», за тем, «где лучше», не возьмет с собой жены. Вот, когда найдет этот устой...

— А если не найдет?

— Да, и это может быть... очень может быть. Я вам расскажу про одного такого чудака, очень близкого мне человека. Он уже давно умер. Это был мужик сообразительный, бойкий самоучка. Благодаря этим качествам он скоро пошел в гору, нажил денег и открыл даже собственную фабрику. Энергия и деятельность его были поистине изумительны; не имея раньше за душой сломанного гроша, презираемый всеми, с кем ему приходилось конкурировать, ежедневно бившийся из каждого рубля насмерть, он выказал замечательное терпение и выносливость. Наконец добился всего, чего желал, и

именно самостоятельности и какого-то злорадного довольства, что он может теперь плевать в бороду тем, кто прежде его гнал и презирал. И он действительно наплевал. Когда стали лебезить пред ним, он выгнал всех. Семья его вздохнула: супружница завела себе приятельниц и налегла на самовары, которых по десяти в день выпивалось в приятной беседе. Ребятишки щеголяли в плисовых кафтанах, ставили вместо бабок в кон пятаки или писаные пряники. Казалось, чего лучше? Но чудак загрустил и зачудил. Не прошло и полгода, как он запил. Его дом с утра до ночи был полон самой оборванной, самой бесшабашной беднотой. Она тащила правдами и неправдами все, что ей попадалось под руку; сам он раздавал пригоршнями ей деньги, и раздавал с какой-то лихорадочной торопливостью, как будто боялся, что вот-вот скоро заметят это, и целый кагал родни, с женою и ребятишками, повиснут ему на руки и заголосят: «Сумасшедший! сумасшедший! Вяжите его! Живота своего не бережет!» Действительно, скоро так и случилось, но уже было поздно: он успел раздать все, что у него было. Ужасно было выражение его лица в то время, — выражение насмешливое, злое, когда он смотрел, как жена его с ругательствами каталась, как помешанная, по полу, в отчаянии, что ее лишили счастия выпивать десять самоваров; как ребятишки ходили вокруг него злыми волчатами и, подзадориваемые окружающими, набрасывались на отца с кулачонками, с сверкающими глазами. Как много было в них благородного негодования против сумасшедшего, лишившего их возможности есть писаные пряники! Но вот, наконец, чудак не вытерпел и в один прекрасный день, отколотив жену, выпоров ребятишек, взял палку, подвязал за спину мешок, надел лапти и ушел...

Морозов прошелся несколько раз молча и вдруг озабоченно стал рыться в боковом кармане.

— Впрочем, я пришел к вам вовсе не затем, чтобы рассказывать про чудаков...

— А это интересно. Что же сталося с этим чудаком и какое имеет он отношение к вам?

— Что с ним сталось, об этом не нужно много говорить: он скоро нанялся в другой губернии на фабрику, выписал к себе семью — и потекла обычная тяжелая рабочая жизнь... Так он странствовал с места

на место... до смерти. А что касается его отношения ко мне, к «моей истории»... я вам на это одно могу сказать: он был очень близкий мне человек, очень близкий... А пришел я к вам вот зачем...

Морозов сел к столу и, вынув из кармана пакет, положил его перед собой.

— Вот зачем, — повторил он, повертывая пакет в руках. — Видите ли, у меня здесь мои записки... Так, иногда находили на меня глупые полосы откровенности... Впрочем, и по другим побуждениям. Собственно, я очень мало предаюсь личным излияниям, но я люблю иногда записывать все выдававшееся в моих глазах. Мне приходилось сталкиваться с разнообразными личностями, в разнообразных положениях, с различными «направлениями»... Так вот это я и записывал... Сам я с своими записками, по крайней мере теперь, ничего не могу сделать... Возьмите-ка вы их. Думал оставить жене, да она ничего из них, кроме «вечного памятника любви», не сделает. Так вот вы и возьмите. Как только придет весть...

— Да вы уж не умирать ли собираетесь? — в невольном изумлении вскричал я.

— Нет, я не собираюсь. Но почему-то мне думается (Морозов лихорадочно стал повертывать в руках пакет все быстрее и быстрее), что вряд ли я вернусь... У меня есть предрассудок: если навстречу попадался покойник, я всегда ожидал, что в моей жизни произойдет какая-нибудь радикальная перемена. И ведь всегда так случалось! Вчера я еще собрался было к вам, и о записках у меня не было и мысли, но недалеко от нас встретил покойника. Тут был и Башкиров. Я тотчас же вернулся домой и принялся приводить эти записки в порядок. А сегодня, как видите, принес их к вам. Вы, может быть, из них что-нибудь и сделаете...

— Но все же я не понимаю, к чему завещание-то? Ну, не сделаете здесь, сделаете в другом месте.

— А есть у меня, видите ли, другой предрассудок (у русского человека, как романтика по преимуществу, очень много предрассудков: ни наука, ни скептицизм, ни жизнь, часто очень неласковая, не могут еще выбить их из него)... Мне всегда казалось, что мы, русские, очень умеем умирать за других, даже за такое дело, в которое только смутно верим... Но как скоро это самое

дело будет наше, будет притом вполне для нас ясно и определенно, ни за что не решимся пойти за него. У нас тотчас же начинается гамлетовщина, анализ, расчет. Так вот я и думаю, что и со мной будет в конце концов то же: *за свое* дело, реальное, я жизнью не пожертвовал, а за романтическую идею, пожалуй, умру...

— Полноте, что вы!

— Конечно, это — предположение... мое личное предположение, но все же...

Петр Петрович замолчал и задумался. Меня поразила его речь; он говорил теперь не так, как прежде; в его словах уже и следа не было добродушной ядовитости и раздражения: напротив, в ней звучали тоскливые, тихие, грустные ноты, какие издает постепенно ослабевающая струна.

— Вот что еще: не говорите пока ничего жене. Я лучше сам постепенно приготовлю...

Он опять помолчал.

— И вот еще что: у меня есть один воспитанник... там, в Москве, в техническом училище он... Он из крестьян, мальчиком я его взял. Вы его не знаете... Так вот он приедет скоро. Я ему оставлю кое-какие делишки: артель эту, ну, и другое. Я обо всем ему писал подробно... Так вот он приедет... Ну, конечно, юноша. Будет спрашивать обо мне... Ну, за жену я ручаюсь... А так как после жены знаете более или менее мою «историю» только вы, да еще одна личность... так я просил бы вас...

Петр Петрович остановился и замолчал, как бы ища подходящего выражения. Но он не нашел его. Он вдруг подошел ко мне и, крепко пожимая мои руки в своих, сказал: «Вы понимаете, что я хочу, чтобы сказали ему... Молодость и вера... Главное — вера... Вот что хотел я, чтобы сберег этот юноша!

Петр Петрович сел и закрыл руками лицо.

— Впереди меня — тьма, нерассветная тьма, — продолжал он, не отнимая рук, — кругом и сзади — поверженные идолы и потухшие алтари... Я ничего не вижу, не ощущаю, кроме неуловимо быстро сменяющих одна другую стихийных метаморфоз, из которых последняя уничтожает созданное первою. Сжигается то, чему поклонялись, и снова поклоняются тому, что сожигали... Вот каков результат двадцатилетнего опыта. Посмо-

трите, у меня уже волос седой пробивается... Кажется, я имею право сказать, что назади кое-что испытано... И этим-то результатом я должен отвечать всему, что свежо и молодо, в ком еще бьется бессознательно пульс жизни?! Нет, никогда не повернется у меня на это язык. Пусть бьется этот пульс, пусть вера дольше, как можно дольше поддерживает это биение. Я никогда кощунственно не посягну на эту веру... Пусть... Придет время, и сама собой разверзется эта пропасть, где... где, — как это говорили поэты?.. «где будет тьма без темноты, где будет бездна пустоты, без неба, света и светил...» Видите, и я когда-то непрочь был поэзией заняться!

— Поэзия поэзией, а знаете что? Мне кажется, вы сделали слишком поспешное умозаключение, слишком поспешили «итогами»... Потому, конечно, что чересчур преувеличили свою опытность... По-моему, жизнь, по самой сущности своей, никого не оставляет без ответа, никого не ввергает «в бездну пустоты»... Мне кажется, какими бы струнами ни звучала душа человека, он непременно найдет себе в жизни отклик... Ответов, которыми располагает жизнь, бесконечное множество. Только была бы охота искать... Если бы ваша опытность была в тысячу раз больше, если бы вами были поставлены себе самые крайние вопросы, то и тогда вы не имели бы права сказать, что жизни нечем ответить вам. Всмотритесь хорошенько, поищите, и вдруг пред вами, где вы и не ожидали, предстанет этот ответ в лице какой-нибудь замухрястой бабенки, шляющейся по богомольям, или какого-нибудь чудака, вроде приведенного вами... Скажите: вы ведь знаете Башкирова?

— Да, знаю...

— Что это, по-вашему, за личность?

— Башкиров? Башкиров — фанатик... Очень может быть, что Башкировы, эти ходячие односторонние оригиналы, сделают больше, чем мы, любители общих идей, искатели какой-то всеобщей гармонии. Нам всякий диссонанс режет ухо... — Мы — аристократы, идейные аристократы...

— А знаете ли что, Петр Петрович? Меня чрезвычайно интересует Башкиров... Сегодня я пред вашим приходом совсем было собрался к нему... И вот по какому поводу...

Я передал ему вчерашнюю похоронную сцену и

затем содержание письма, которое читал мужику, с необходимыми к нему дополнениями относительно знакомства моего с Павлой и Секлетеей.

— Ну, что же-с?

— А то, что пойдемте-ка сейчас к нему вместе. А?

— К Башкирову? Зачем? — Морозов как будто был несколько удивлен и даже испуган.

— А может быть...

— Что может быть? — быстро переспросил он.

— Да ведь вы в сущности очень мало его знаете. Притом же вам должно быть известно, что он «отвечает» Катерине Егоровне... Что у него, значит, есть «ответ», которого нет у вас...

— А что, как вы думаете, вернулась Катерина Егоровна? — спросил меня Морозов вместо ответа.

— Не знаю. Но нужно полагать, что вернулась, судя по ее словам... Так что ж, идемте?

Морозов ходил вдоль комнатки и молчал; потом взял со стола свою фуражку и, комкая ее в руках, еще прошелся несколько раз. Я сел набивать папиросы.

— Нет, незачем!.. Теперь совсем незачем. Теперь уж поздно... Знаете: переломанные кости хорошо и быстро срастаются только в юности, — вдруг заговорил он. — Прощайте! — Он подал мне руку и, крепко сжимая в ней мою, продолжал: — Прощайте! Наверно, я с вами не увижусь здесь... Может быть, впрочем, что после где-нибудь и свидимся. Если же нет — не поминайте лихом... Вот здесь (он показал на лежавший на столе пакет)... когда прочтете, вы, может быть, будете лучшего обо мне мнения... Во всяком случае мне было бы обидно, если бы вы думали обо мне плохо... Я вас знаю давно, и вы — единственный человек, которому я могу доверить свою «историю». Когда придет время, вы прочитаете ее и, если будет возможно, прочтите Кате... Катерине Егоровне... она поймет... Но не юноше, о котором я говорил вам... Вы знаете, чего я не хотел бы, чтобы знал этот юноша... Прощайте!

— Да надолго ли по крайней мере?

— Может быть, надолго; может быть и нет!..

Он надвинул фуражку на глаза, и, сгорбившись снова в моих низеньких дверях, его длинная фигура скрылась. У меня сжалось сердце, как будто что-то ушло из него и оставило после себя пустоту. Я любил

Морозова, любил его той привязанностью, которая никогда не высказывается, не выражается ни в каких особенно приятельских формах (мы всегда были с ним на «вы» и не допускали между собой никакой дружеской фамильярности); но я любил как-то издали любоваться его симпатичною личностью, его добродушной угрюмостью и раздражительностью и той тихой грустью, которая давно уже оттенила всю его нравственную физиономию. Я отворил окно и перевесился в него, чтобы еще раз взглянуть на Морозова (итти к нему я не хотел, так как он не желал этого, чтобы не увеличить, повидимому, тяжесть объяснений с женой); он обернулся; его доброе лицо еще раз мелькнуло предо мной. На повороте дороги он немного приподнял фуражку и, спотыкаясь своими длинными ногами, повернул за угол.

Прошло три месяца; я давно уж покинул деревенское убежище и жил в Петербурге. Здесь я совершенно случайно узнал от одного из возвратившихся из Сербии добровольцев, что он видел Морозова под Алексинацем.

1877—1878 гг.

КОММЕНТАРИИ

Сочинения Н. Н. Златовратского печатались в ряде крупных журналов его времени («Отечественные записки», «Русская мысль» и др.), издавались отдельными книжками, вышли собранием сочинений трижды при жизни автора (первое — 1884—1889, второе — 1891, третье — 1897 гг.) и вскоре после его смерти (в 1912 году, в издательстве «Просвещение»). Очень популярные в свое время, книги Златовратского около двадцати пяти лет (1884—1909) были запрещены к обращению в библиотеках (согласно высочайшего повеления от 5/I 1884 года о запрещенных к обращению в библиотеках книгах).

В письме Златовратского от 14 марта 1909 года к сыну, Николаю Николаевичу, мы находим следующее заявление: «Вчера Б. сообщил, что мои книжки «Избранные рассказы» допущены в рабочие и школьные библиотеки. Наконец-то, почти через 25 лет!» (Архив Златовратского, из писем к сыну Н. Н-чу.)

Тексты, помещенные в данной книге, воспроизводятся по собранию сочинений Н. Н. Златовратского 1897 года, наиболее внимательно просмотренному автором.

Повесть «Крестьяне-присяжные» — первое значительное произведение Н. Н. Златовратского. «Первый мой литературный опыт, — писал он, — был напечатан в конце шестидесятых годов... Это был рассказ из народного быта, за которым следовал ряд очерков». Но «писательство мое, — продолжал автор, — вначале шло очень неровно, порывами, иногда прекращаясь на целые годы, очень тяжелые, удручающие для моей духовной жизни. Поэтому писательство свое, в лучшем и дорогом для меня смысле, я собственно могу считать только с напечатания повести «Крестьяне-присяжные». Она была начата (судя по дате на сохранившейся черновой рукописи) 15 ноября 1873 года. Первую

часть повести автор отправил в «Отечественные записки»; одобренная тогдашним редактором их, М. Е. Салтыковым-Щедриным, она была сдана в набор еще до присылки второй части. На страницах этого журнала «Крестьяне-присяжные» и были впервые напечатаны: в № 12 за 1874 год и в № 3 за 1875 год. В том же году повесть вышла отдельным изданием, а затем включалась во все собрания сочинений Златовратского.

«Устои» — наиболее известное произведение Н. Н. Златовратского. Первоначально эта тема была реализована в форме драмы, носящей то же название, что и роман, но направленная в 1876 году Михайловскому опубликована не была. По содержанию драматическое произведение очень близко первой части романа. «Буду перелагать свои «Устои» из драмы в повесть», — писал Н. Златовратский Нефедову от 2 августа 1877 года. Первая часть романа была напечатана в «Отечественных записках» — в V, X и XII книжках 1878 года; в X и XI книжках за 1880 год того же журнала напечатана следующая часть романа; в 1882 году, в книгах III, V, VI, VIII и XI, помещены третья и четвертая части романа, в третьей книжке «Отечественных записок» за 1883 год появился эпилог романа: «Две правды (Письма Лизы)».

Журнальный текст романа значительно отличается от текста, вошедшего в полное собрание сочинений. В предисловии к собранию сочинений 1884—1889 гг. автор писал:

«Повесть писалась и печаталась в течение четырех лет, с интервалами по целому году, заполнявшимися другими работами. Все это, конечно, не могло не влиять самым неудобным образом на техническую сторону произведения, долженствовавшего по первоначальному плану представлять из себя нечто цельное. Хотя я никогда не упускал из виду этой цельности, но уже в глазах читателей, совершенно естественно, цельная вещь должна была неизбежно принять характер разорванных этюдов, имевших общую связь только в названии. Мне же самому, ввиду журнального способа печатания, приходилось удовлетворять двум совместным условиям: с одной стороны, каждой отдельной части или главе я должен был придавать характер более или менее обособленного очерка, с другой — желание по возможности сохранить цельность всей вещи заставляло меня каждый раз снова «вводить читателя» в интерес фигурировавших лиц; следовательно, неизбежно повторяться, вводить сцены для таких характеристик, которые уже были сделаны в свое время, а развитие многих характеров оставлять незаконченным.

Если же принять во внимание, что в интервалах между печатанием повести я сам лично входил все больше и больше, так

сказать, «в глубь деревни», то понятно, почему, начавшись очень скромным очерком разрушения мирной идиллии маленького поселка, моя повесть разрослась как-то сама собой в картину хаотического брожения целой волости.

Ввиду всего этого, при редактировании повести теперь я должен был, чтобы придать ей более или менее цельный вид, переделать целые главы, выпустить места, имевшие слишком случайный интерес, и, наконец, написать некоторые главы совсем вновь, чтобы хотя сколько-нибудь придать законченный вид многим характерам, оставшимся прежде невыясненными.

Такова, например, глава «Вольница». И за всем тем я нахожу, что повесть моя далеко не отвечает той задаче, которой должна бы удовлетворять».

Повесть «Золотые сердца» — также одно из наиболее популярных в свое время произведений Н. Н. Златовратского.

Впервые «Золотые сердца» печатались в журналах «Отечественные записки» за 1877 год, № 4—5, 8 и 12, и «Слово» за 1878 год, № 6.

СОДЕРЖАНИЕ

„ЗОЛОТЫЕ СЕРДЦА“. (Повесть)

Редактор К. Малышева
Технический редактор А. Егоров
Художник И. Николаевцев

Сдано в наб. 27/II-47 г.
Подписано к печ. 26/IV-47 г.
А-02047. Формат бум. 84×108 1/32
Печ. лист. 52. Уч.-ав. л. 43,7+1 вклейка
Тираж 25 000 экз. Заказ № 3232.

6-я типография треста „Полиграфкнига"
ОГИЗа при Совете Министров СССР.
Москва. 1-й Самотечный 17.

ОПЕЧАТКИ

№№ стр.	Строка	Напечатано:	Следует читать:
3	11 сн.	10 марта	23 декабря (н. ст.)
45	7 св.	платы	платке
167	1 сн.	стеленней!	степенней!
283	18 сн.	голов	голосов
348	3 сн.	Пугачев	Пугаев
531	3 св.	неизвестно	известно
641	1 св.	Пимана	Бориса (сын Пимана,
696	14 сн.	поспевали	воспевали

Н. Н. Златовратский — Избранные произведения

